This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Leskov, N.S.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Платоновна, вспомните, что̀ вы говорите-то? Какъ это дамѣ красть?

— А такъ себѣ просто, какъ крадутъ, такъ и украла. Еще ты то скажи, что я это ту жъ самую минуту замѣтила и вѣжливо, политично ей говорю: «извините, говорю, сударыня, не обронила ли я здѣсь воротничка, потому что воротничка, говорю, одного нѣтъ». Такъ она сейчасъ на эти слова хвать меня по наружности и отпечатала. «Вывесть ее!» говоритъ лакею; очень просто—и вывели. Говорю лакею: «милостивый государь! самъ ты, говорю, служащій человѣкъ, самъ, сказываю, посуди, голубчикъ, вѣдь свое добро, вѣдь жалко мнѣ!» А онъ мнѣ въ отвѣтъ: «что, говоритъ, жалко, когда у нея привычка такая!» Вотъ тебѣ только всего и сказу. Она теперь въ своемъ званіи всякія привычки себѣ позволяетъ, а ты, бѣдный человѣкъ, молчи.

— И что жъ вы изо всего этого, Домна Платоновна, выводите?

— А что, батюшка, мнѣ выводить! Не мое дѣло никого выводить, когда меня самоё выводятъ; а что народъ плутъ и весь плутомъ взялся, противъ этого ты со мной, пожалуйста, лучше не спорь, потому я ужъ, слава Тебѣ, Господи, я нонче только взгляну на человѣка, такъ вижу, что̀ онъ въ себѣ замыкаетъ.

И попробовали бы вы послѣ этого Домнѣ Платоновнѣ возражать! Нѣтъ, ужъ какой вы тамъ ни будьте діалектикъ, а ужъ Домна Платоновна васъ все-таки переспоритъ; ничѣмъ ее не убѣдите. Одно развѣ: приказали бы ее вывести; ну, тогда другое дѣло, а то непремѣнно переспоритъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я непремѣнно долженъ отрекомендовать моимъ читателямъ Домну Платоновну какъ можно подробнѣе.

Домна Платоновна росту невысокаго, и даже очень невысокаго, а скорѣе совсѣмъ низенькая, но всѣмъ она показывается человѣкомъ крупнымъ. Этотъ оптическій обманъ происходитъ оттого, что Домна Платоновна, какъ говорятъ, вповперекъ себя шире, и чѣмъ вверхъ не доросла, тѣмъ вширь беретъ. Здоровьемъ она не хвалится, хотя никто ее больною не помнитъ и на видъ она гора-горою ходитъ; одна грудь такъ такое изъ себя представляетъ, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется.

— Дама я, говоритъ, — изъ себя хотя, точно, полная, но настоящей крѣпости во мнѣ, какъ въ другихъ-прочихъ, никакой нѣтъ, и сонъ у меня — самый страшный сонъ,— аридовъ. Чуть я лягу, сейчасъ онъ меня оморитъ, и хоть ты послѣ этого возьми меня да воробьямъ на пугало выставь, пока вволю не высплюсь—ничего не почувствую.

Могучій сонъ свой Домна Платоновна также считала однимъ изъ недуговъ своего полнаго тѣла и, какъ ниже увидимъ, не мало отъ него перенесла горестей и несчастій.

Домна Платоновна очень любила прибѣгать къ медицинскимъ совѣтамъ и въ подробности описывать свои немощи, но лѣкарствъ не принимала и вѣрила въ однѣ только гарлемскія капли, которыя называла «гаремскими каплями» и пузыречекъ съ которыми постоянно носила въ правомъ карманѣ своего шелковаго капота. Лѣтъ Домнѣ Платоновнѣ, по ея собственному показанію, все вертѣлось около сорокапяти, но, по свѣжему ея и бодрому виду, ей никакъ нельзя было дать болѣе сорока. Волосы у Домны Платоновны въ пору перваго моего съ нею знакомства были темнокоричневые—сѣдого тогда еще ни одного не было замѣтно. Лицо у нея бѣлое, щеки покрыты здоровымъ румянцемъ, которымъ, впрочемъ, Домна Платоновна не довольствуется и еще покупаетъ въ Пассажѣ, по верхней галлереѣ, такія французскія карточки, которыми усиливаетъ свой природный румянецъ, не поддавшійся до сихъ поръ никакимъ горестямъ, ни финскимъ вѣтрамъ и туманамъ. Брови у Домны Платоновны словно какъ будто изъ чернаго атласа наложены: черны несказанно и блестятъ ненатуральнымъ блескомъ, потому что Домна Платоновна сильно наводитъ ихъ чернымъ фиксатуаромъ и вытягиваетъ между пальчиками въ шнурочекъ. Глаза у нея какъ есть двѣ черныя сливы, окропленныя возбудительною утреннею росою. Одинъ нашъ общій знакомый, плѣнный турокъ Испулатъ, привезенный сюда во время Крымской войны, никакъ не могъ спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Такъ, бывало, и заколотится какъ бѣсноватый, такъ и закричитъ:

— Ай, грецкая глаза, совсѣмъ грецкая!

Другая на мѣстѣ Домны Платоновны, разумѣется, за честь бы себѣ такой отзывъ поставила; но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрѣшимо-русское происхожденіе.

— Врешь ты, рожа твоя некрещеная! врешь, лягушка ты пузатая!—отвѣчаетъ она, бывало, весело турку:—я своего собственнаго поколѣнія извѣстнаго; да и у насъ въ своемъ мѣстѣ даже и грековъ-то этихъ въ заводѣ совсѣмъ нѣтъ, и никогда ихъ тамъ не было.

Носъ у Домны Платоновны былъ не носъ, а носикъ, такой небольшой, стройненькій и пряменькій, какіе только ошибкой иногда зарождаются на Окѣ и на Зушѣ. Ротъ у нея былъ-таки великонекъ: видно было, что круглою ложкою въ дѣтствѣ кушала; но ротъ былъ пріятный, такой свѣженькій, очертаніе правильное, губки алыя, зубы какъ изъ молодой рѣдьки вырѣзаны, — однимъ словомъ, даже и не на островѣ необитаемомъ, а еще даже и среди града многолюднаго съ Домной Платоновной поцѣловаться охотнику до поцѣлуевъ было весьма не злоключительно. Но высшую прелесть лица Домны Платоновны, безспорно, составляли ея персиковый подбородокъ и общее выраженіе, до того мягкое и дѣтское, что если бы васъ когда-нибудь взяла охота поразмыслить: какъ-таки, при этой безднѣ простодушія, разлитой по всему лицу Домны Платоновны, съ языка ея постоянно не сходитъ рѣчь о людскомъ ехидствѣ и злобѣ? — такъ вы бы непремѣнно сказали себѣ: «будь ты, однако, Домна Платоновна, совсѣмъ отъ меня проклята, потому что, чортъ тебя знаетъ, какія мнѣ по твоей милости задачи приходятъ!»

Нрава Домна Платоновна была самаго общительнаго, веселаго, добраго, необидчиваго и простодушно-суевѣрнаго. Характеръ у нея былъ мягкій и сговорчивый; натура въ основаніи своемъ честная и довольно прямая, хотя, разумѣется, была у нея, какъ у русскаго человѣка, и маленькая лукавинка. Трудъ и хлопоты были сферою, въ которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вѣчно суетилась, вѣчно куда-то бѣжала, о чемъ-то думала, что-то такое соображала или приводила въ исполненіе.

— На свѣтѣ я живу однимъ-одна, одною своей душенькой, ну, а все-таки жизнь, для своего пропитанія, веду самую прекратительную, — говорила Домна Платоновна:— мычусь я какъ угорѣлая кошка по базару, и если не одинъ, то другой меня за хвостъ безпрестанно такъ и ловятъ.

— Всѣхъ дѣлъ вѣдь сразу не передѣлаете,—скажешь ей, бывало.

— Ну, всѣхъ, хоть не всѣхъ, отвѣчаетъ: — а все же вѣдь ужасно это какъ, я тебѣ скажу, отяготительно, а пока что̀ прощай — до свиданья: люди ждутъ, въ семи мѣстахъ ждутъ,—и сама, дѣйствительно, такъ и побѣжитъ скороходью.

Домна Платоновна нерѣдко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единаго пропитанія, и что отяготительные труды ея и ея прекратительная жизнь могли бы быть значительно облегчены безъ всякаго ущерба ея прямымъ интересамъ; но никакъ она не могла воздержать свою хлопотливость.

— Завистна ужъ я очень на дѣло; сердце мое даже взыграетъ, какъ вижу дѣло какое есть.

Завистна Домна Платоновна именно была только на хлопоты, а не на плату. Къ заработку своему, напротивъ, она иногда относилась съ какимъ-то удивительнымъ равнодушіемъ.

«Обманулъ, варваръ!» или «обманула, варварка!» бывало, только отъ нея и слышишь, а глядишь, ужъ и опять она бѣгаетъ и распинается для того же варвара и для той же варварки, впередъ предсказывая самой себѣ, что они и опять непремѣнно надуютъ.

Хлопоты у Домны Платоновны были самыя разнообразныя. Офиціально она, точно, была только кружевница, то-есть мѣщанки, бѣдныя купчихи и поповны насылали ей «изъ своего мѣста» разные воротнички, кружева и манжеты: она продавала эти произведенія въ разносъ по Петербургу, а лѣтомъ по дачамъ, и вырученныя деньги, за удержаніемъ своихъ процентовъ и лишковъ, высылала «въ свое мѣсто». Но, кромѣ кружевной торговли, у Домны Платоновны были еще другія приватныя дѣла, при орудованіи которыхъ кружева и воротнички играли только роль пропускного вида.

Домна Платоновна сватала, пріискивала жениховъ невѣстамъ, невѣстъ женихамъ; находила покупщиковъ на мебель, на надѣванныя дамскія платья; отыскивала деньги подъ заклады и безъ закладовъ; ставила людей на мѣста вкупно отъ гувернерскихъ до дворническихъ и лакейскихъ; заносила записочки въ самые извѣстные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смѣетъ проникнуть, и приносила отвѣты отъ такихъ дамъ, отъ которыхъ несетъ только крещенскимъ холодомъ и благочестіемъ.

Но, несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платоновна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она въ достаткѣ, одѣвалась, по собственному ея выраженію, «поважно», и въ кускѣ себѣ не отказывала, но денегъ все-таки не имѣла, потому что, во-первыхъ, очень она зарывалась своей завистностью къ хлопотамъ и часто ее добрые люди обманывали, а потомъ и съ самыми деньгами у нея выходили какія-то мудреныя оказіи.

Главное дѣло, что Домна Платоновна была художница—увлекалась своими произведеніями. Хотя она разсказывала, что все это она трудится изъ-за хлѣба насущнаго, но все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дѣло какъ артистка: скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться дѣлами рукъ своихъ,—вотъ что было главное, и за этимъ просматривались и деньги, и всякія другія выгоды, которыхъ особа болѣе реалистическая ни за что бы не просмотрѣла.

Впала въ свою колею Домна Платоновна ненарокомъ. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряженіи съ этимъ промысломъ какихъ бы то ни было другихъ занятій: но столица волшебная преобразила нелѣпую мценскую бабу въ того тонкаго фактотума, какимъ я зазналъ драгоцѣнную Домну Платоновну.

Стала Домна Платоновна смекать на всѣ стороны и проникать всюду. Пошло это у нея такъ, что не проникнуть куда бы то ни было Домнѣ Платоновнѣ было даже невозможно: всегда у нея на рученкѣ вышитый саквояжъ съ кружевами, сама она въ новенькомъ шелковомъ капотѣ; на шеѣ кружевной воротничокъ съ большими городками, на плечахъ голубая французская шаль съ бѣлою каймою; въ свободной рукѣ бѣлый, какъ кипень, голландскій платочекъ, а на головѣ либо фіолетовая, либо серизовая гроденаплевая повязочка, ну, однимъ словомъ, прелесть дама. А лицо! — само смиренство и благочестіе. Лицомъ своимъ Домна Платоновна умѣла владѣть какъ ей угодно.

— Безъ этого,—говорила она:—никакъ въ нашемъ дѣлѣ и невозможно: надо виду не показать, что ты Ананья, или каналья.

Къ тому же и обращеніе у Домны Платоновны было тонкое. Ни за что, бывало, она въ гостиной не скажетъ, какъ другіе, что «была, дескать, я во всенародной банѣ»,

а выразится, что «имѣла я, сударь, счастіе вчера быть въ безтѣлесномъ маскарадѣ»; о беременной женщинѣ ни за что не брякнетъ, какъ другіе, что она, дескать, беременна, а скажетъ: «она въ своемъ марьяжномъ интересѣ», и тому подобное.

Вообще была дама съ обращеніемъ и, гдѣ слѣдовало, умѣла задать тону своей образованностью. Но, при всемъ этомъ, надо правду сказать, Домна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патріотка. По узости политическаго горизонта Домны Платоновны, и самый патріотизмъ ея былъ самый узкій, то-есть она считала себя обязанною хвалить всѣмъ орловскую губернію и всячески привѣчать и обласкивать каждаго челоловѣка «изъ своего мѣста».

— Скажи ты мнѣ,—говорила она:—что это такое значитъ: знаю вѣдь я, что наши орловцы первые на всемъ свѣтѣ воры и мошенники; ну, а все какой ты ни будь шельма изъ своего мѣста, будь ты хуже турки Испулатки лупоглазаго, а я его не брошу и ни на какого самаго честнаго изъ другой губерни промѣнять несогласна?

Я ей на это отвѣчать не умѣлъ. Только, бывало, оба удивляемся:

— Отчего это въ самомъ дѣлѣ?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мое знакомство съ Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жилъ я какъ-то на квартирѣ у одной полковницы, которая говорила на шести европейскихъ языкахъ, не считая польскаго, на который она сбивалась со всякаго. Домна Платоновна знала ужасно много такихъ полковницъ въ Петербургѣ и почти для всѣхъ ихъ обдѣлывала самыя разнообразныя дѣлишки: сердечныя, карманныя и совокупно карманно-сердечныя и сердечно-карманныя. Моя полковница была, впрочемъ, дѣйствительно дама образованная, знала свѣтъ, держала себя какъ нельзя приличнѣе, умѣла представить, что уважаетъ въ людяхъ ихъ прямыя человѣческія достоинства, много читала, приходила въ неподдѣльный восторгъ отъ поэтовъ и любила декламировать изъ «Маріи» Мальчевскаго:

«Bo na tym swiecie, śmierć wszystko zmiecie.
Robak sie legnie i w bujnym kwiecie» *).

*) Потому что на этомъ свѣтѣ смерть все уничтожитъ,
И въ пышномъ цвѣткѣ гнѣздится червякъ.

Я видѣлъ Домну Платоновну первый разъ у своей полковницы. Дѣло было вечеромъ; я сидѣлъ и пилъ чай, а полковница декламировала мнѣ:

«Во na tym swiecie, smierć wszystko zmiecie.
Robak się legnie i w bujnym kwiecie.»

Домна Платоновна вошла, помолилась Богу, у самыхъ дверей поклонилась на всѣ стороны (хотя, кромѣ насъ двухъ, въ комнатѣ никого и не было), положила на столъ свой саквояжъ и сказала:

— Ну, вотъ, миръ вамъ, и я къ вамъ!

Въ этотъ разъ на Домнѣ Платоновнѣ былъ шелковый коричневый капотъ, воротничокъ съ язычками, голубая французская шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словомъ весь ея мундиръ, въ которомъ читатели и имѣютъ представлять ее теперь своему художественному воображенію.

Полковница моя очень ей обрадовалась и въ то же время при появленіи ея будто немножко покраснѣла, но привѣтствовала Домну Платоновну дружески, хотя и съ немалымъ тактомъ.

— Что это васъ давно не видно было, Домна Платоновна?—спрашивала ее полковница.

— Все, матушка, дѣла, — отвѣчала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.

— Какія у васъ дѣла?

— Да вѣдь вотъ тебѣ, да другой такой-то, да третьей, всѣмъ вамъ кортить, всѣмъ и угодить надо; вотъ тебѣ и дѣла.

— Ну, а то дѣло, о которомъ ты меня просила-то, помнишь...—начала Домна Платоновна, хлебнувъ чайку.—Была я намедни... и говорила...

Я всталъ проститься и ушелъ.

Только всего и встрѣчи моей было съ Домной Платоновной. Кажется, знакомству бы съ этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.

Сижу я разъ послѣ этого случая дома, а кто-то стукъ-стукъ-стукъ въ двери.

— Войдите,—отвѣчаю, не оборачиваясь.

Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся—Домна Платоновна.

— Гдѣ жъ, говоритъ,—милостивый государь, у тебя здѣсь образъ виситъ?

— Вонъ, говорю,—въ углѣ, надъ шторой.

— Польскій образъ, или нашъ, христіанскій?—опять спрашиваетъ, приподнимая потихоньку руку.

— Образъ, отвѣчаю,—кажется, русскій.

Домна Платоновна покрыла глаза горсточкой, долго всматривалась въ образъ и, наконецъ, махнула рукою,—дескать: «все равно!»—и помолилась.

— А узелочекъ мой, говоритъ,—гдѣ можно положить?—и оглядывается.

— Положите, говорю,—гдѣ вамъ понравится.

— Вотъ, тутъ-то, отвѣчаетъ, — на диванѣ его пока положу.

Положила саквояжъ на диванъ и сама сѣла.

«Милый гость, думаю себѣ, безцеремонливый».

— Этакіе нынче образки маленькіе,—начала Домна Платоновна: — въ моду пошли, что ничего и не разсмотришь. Во всѣхъ это аристократовъ все маленькіе образки. Какъ это не хорошо.

— Чѣмъ же это вамъ такъ не нравится?

— Да, какъ же: вѣдь это, значитъ, они Бога прячутъ, чтобъ совсѣмъ и не найти Его.

Я промолчалъ.

— Да, право,—продолжала Домна Платоновна:—образъ долженъ быть въ свою мѣру.

— Какая же, говорю,—мѣра, Домна Платоновна, на образъ установлена?—и самъ, знаете, вдругъ сталъ чувствовать себя съ ней, какъ со старой знакомой.

— А какъ же! — возговорила Домна Платоновна: — посмотри-ка ты, милый другъ, у купцовъ: у нихъ всегда образъ въ своемъ видѣ, лампадъ и сіяніе... все это какъ должно. А это, значитъ, господа сами отъ Бога бѣжатъ и Богъ отъ нихъ далече. Вотъ нынче на Святой была я у одной генеральши... и при мнѣ камердинеръ ея входитъ и докладываетъ, что священники, говоритъ, пришли.

— Отказать,—говоритъ.

— Зачѣмъ, говорю ей,—не отказывайте—грѣхъ.

— Не люблю, говоритъ,—я поповъ.

— Ну, что жъ, ея, разумѣется, воля; пожалуй себѣ, отказывай, только вѣдь ты не любишь посланнаго, а тебя и пославшій любить не будетъ.

— Вонъ, говорю,—какая вы, Домна Платоновна, разсудительная!

— А нельзя, отвѣчаетъ, — мой другъ, нынче безъ разсужденія. Что ты, сколько за эту комнату платишь?

— Двадцать пять рублей.

— Дорого.

— Да и мнѣ кажется дорого.

— Да что жъ, говоритъ,—не переѣдешь?

— Такъ, говорю,—возиться не хочется.

— Хозяйка хороша?

— Нѣтъ, полноте, говорю,—что вы тамъ съ хозяйкой.

— Цъ-ты! Говори-ка, братъ, кому-нибудь другому, да не мнѣ: я знаю, какіе всѣ вы шельмы.

«Ничего, думаю, — отлично ты, гостья дорогая, выражаешься.»

— Онѣ, впрочемъ, полячки-то эти ловкія тоже,—продолжала, зѣвнувъ и крестя ротъ, Домна Платоновна,—онѣ это съ разсужденіемъ дѣлаютъ.

— Напрасно, говорю, — вы, Домна Платоновна: такъ о моей хозяйкѣ думаете: она женщина честная.

— Да тутъ, другъ милый, и безчестія ей никакого нѣтъ: она человѣкъ молодой.

— Рѣчи ваши, говорю, — Домна Платоновна, умныя и справедливыя, но только я-то тутъ ни при чемъ.

— Ну, былъ ни при чемъ, сталъ городничимъ; знаю ужъ я эти петербургскія обстоятельства, и мнѣ толковать про нихъ нечего.

«И вправду, думаю,—тебя, матушка, не разувѣришь.»

— А ты ей помогай, — плати, молъ, за квартиру-то, — говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мнѣ и ударяя меня слегка по плечу.

— Да какъ же, говорю,—не платить?

— А такъ — знаешь, вашъ братъ, какъ осѣтитъ нашу сестру, такъ и норовитъ сейчасъ все на ея счетъ...

— Полноте, что это вы!—останавливаю Домну Платоновну.

— Да, дружокъ, наша-то сестра, особенно русская, въ любви-то куда вѣдь она глупа: «на, мой соколъ, тебѣ», готова и мясо съ костей срѣзать да отдать; а вашъ братъ, шаматонъ, этимъ и пользуется.

— Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовникъ?

— Нѣтъ, а ты ее жалѣй. Вѣдь если такъ-то посудить, вѣдь жалка, ей-Богу же, другъ мой, жалка наша сестра! Нашу сестру ужъ какъ бы надо было бить да драть, чтобъ она отъ васъ, поганцевъ, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что міръ весь этими соглядатаями, мужчинами, преисполненъ!.. На что они? А опять посмотришь, и безъ нихъ все будто какъ скучно; какъ будто подъ иную пору словно тебѣ и недостаетъ чего. Чорта въ стулѣ, вотъ чего недостаетъ!—разсердилась Домна Платоновна, плюнула и продолжала:—я вонъ такъ-то разъ прихожу къ полковницѣ Домуховской... не знавалъ ты ее?

— Нѣтъ, говорю,—не знавалъ.

— Красавица.

— Не знаю.

— Изъ полячекъ.

— Такъ что жъ, говорю, — развѣ я всѣхъ полячекъ по Петербургу знаю?

— Да она не изъ самыхъ настоящихъ полячекъ, а крещеная,—нашей вѣры!

— Ну, вотъ и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не изъ самыхъ полячекъ, а нашей вѣры. Не знаю, говорю,—Домна Платоновна; рѣшительно не знаю.

— Мужъ у нея докторъ.

— А она полковница?

— А тебѣ это въ диковину, что-ль?

— Ну-съ, ничего, говорю,—что же дальше?

— Такъ она съ мужемъ-то съ своимъ, понимаешь, попштыкалась.

— Какъ это попштыкалась?

— Ну, будто не знаешь, какъ значитъ въ чемъ-нибудь не уговорились, да сейчасъ пшикъ-пшикъ, да и въ разныя стороны. Такъ и сдѣлала эта Леканидка.

«— Очень, говоритъ, — Домна Платоновна, онъ у меня нравенъ».

Я слушаю, да головой качаю.

«— Капризовъ, говоритъ,—я его сносить не могу; нервы мои, говоритъ,—не выносятъ».

Я опять головою качаю.

«Что это, думаю, у нихъ нервы за стервы, и отчего у насъ этихъ нервовъ нѣтъ?»

— Прошло этакъ съ мѣсяцъ, смотрю, смотрю — моя барыня квартиру сняла: «жильцовъ, говоритъ, буду пущать».

«Ну, что жъ, думаю, — надоѣло играть косточкой, покатай желвачокъ; не умѣла жить за мужней головой, такъ поживи за своей: пригонитъ нужа и къ поганой лужѣ, да еще будешь пить да похваливать.»

— Прихожу къ ней опять черезъ мѣсяцъ, гляжу—жилецъ у нея есть, такой изъ себя мужчина видный, ну, только худой и этакъ немножко осповатъ.

«— Ахъ, говоритъ,—Домна Платоновна, какого мнѣ Богъ жильца послалъ — деликатный, образованный и добрый такой, всѣми моими дѣлами занимается».

— Ну, деликатиться-то, молъ, они нынче всѣ ужъ, матушка, выучились, а когда во всѣ твои дѣла ужъ онъ взошелъ, такъ и на что жъ того и законнѣй?

Я это смѣюсь, а она, смотрю, пыхъ-пыхъ, да и сламенѣла.

Ну, мой судъ такой, что всякъ себѣ какъ знаетъ, а что если только добрый человѣкъ, такъ и умные люди не осудятъ, и Богъ проститъ.

Заходила я потомъ еще раза два, все застаю: сидитъ она у себя въ каморкѣ да плачетъ.

— Что такъ, говорю, — мать, что рано соленой водой умываться стала?

— Ахъ, говоритъ,—Домна Платоновна, горе мое такое,— да и замолчала.

— Что, молъ, говорю,—такое за горе? Иль живую рыбку съѣла?

— Нѣтъ, говоритъ,—ничего такого, слава Богу, нѣтъ.

— Ну, а нѣтъ, говорю,—такъ все другое пустяки.

— Денегъ у меня ни грошика нѣтъ.

Ну, это, думаю, ужъ, дѣйствительно, дрянь дѣло; но знаю я, что человѣка въ такое время не надо печалить.

— Денегъ, говорю,—нѣтъ—передъ деньгами. А жильцы жъ твои?—спрашиваю.

— Одинъ, говоритъ,—заплатилъ, а то пустыя двѣ комнаты.

— Вотъ ужъ эта мерзость запустѣнія, говорю,—въ вашемъ дѣлѣ всего хуже. Ну, а дружокъ-то твой?—Такъ ужъ, знаешь, безъ церемоніи это ее спрашиваю.

Молчитъ, плачетъ.

Жаль мнѣ ее стало: слабая, вижу, неразумная женщина.

— Что жъ, говорю,—если онъ наглецъ какой, такъ и вонъ его.

Плачетъ на эти слова, ажно платокъ мокрый за кончики зубами щипетъ.

— Плакать, говорю,—тебѣ нечего и убиваться изъ-за нихъ, изъ-за поганцевъ, тоже не стоитъ, а что отказала ему, да только всего и разговора, и найдемъ себѣ такого, что и любовь будетъ, и помощь; не будешь такъ-то зубами щелкать, да убиваться. А она руками замахала: «не надо! не надо! не надо!» да сама кинулась въ постель головой, въ подушки, и надрывается, ажно какъ спинка въ платьѣ не лопнетъ. У меня на то время былъ одинъ тоже знакомый купецъ (отецъ у него по суровской линіи свой магазинъ имѣетъ), и просилъ онъ меня очень: «познакомь, говоритъ, ты меня, Домна Платоновна, съ какой-нибудь барышней, или хоть и съ дамой, но только, чтобъ очень образованная была. Терпѣть, говоритъ, не могу необразованныхъ. И повѣрить можно, потому и отецъ у нихъ, и всѣ мужчины въ семьѣ все какъ есть на дурахъ женаты и у этого-то тоже жена дурища,—все, когда ни приди, сидитъ, да печатаные пряники ѣстъ.

«На что, думаю,—было бы лучше желать и требовать, какъ эту Леканиду съуютить съ нимъ.—Но, вижу, еще глупа,—я и оставила ее: пусть дойдетъ на солнцѣ!»

Мѣсяца два я у нея не была. Хоть и жаль было мнѣ ее, но что, думала себѣ, когда своего разума нѣтъ, и самъ человѣкъ ничѣмъ кругомъ себя ограничить не понимаетъ, такъ ужъ ему не поможешь.

Но о спажинкахъ была я въ ихъ домѣ; кружевцовъ немного продала, и вдругъ мнѣ что-то кофію захотѣлось, и страсть какъ захотѣлось. Дай, думаю, зайду къ Домуховской, къ Леканидѣ Петровнѣ, напьюсь у нея кофію. Иду это по черной лѣстницѣ, отворяю дверь на кухню—никого нѣтъ. «Ишь, говорю, какъ живутъ откровенно—бери что хочешь», потому и самоваръ, и кастрюли, все, вижу, на полкахъ стоитъ.

Да только-что этакъ-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлопъ-хлопъ, хлопъ-хлопъ. Ахъ ты, Боже мой! что это, думаю. Скажите, пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь въ ея комнату, а онъ, этотъ пріятель-то ея

добрый,—изъ актеровъ онъ былъ, и даже не маловажный актеръ—артистъ назывался; ну-съ, держитъ онъ, сударь, ее одною рукою за руку, а въ другой нагайка.

— Варваръ! варваръ!—закричала я на него:—что ты это, варваръ, надъ женщиной дѣлаешь! да сама-то, знаешь, промежъ нихъ, саквояжемъ-то своимъ накрываюсь, да промежъ нихъ-то.—Вотъ вѣдь, что вы, злодѣи, надъ нашей сестрой дѣлаете!

Я молчалъ.

— Ну, тутъ-то я ихъ разняла, не сталъ онъ ее при мнѣ больше наказывать, а она еще было и отговаривается: «Это, говоритъ, вы не думайте, Домна Платоновна; это онъ шутилъ».

— Ладно, говорю,—матушка; бочка-то, гляди, въ платьѣ отъ его шутилки не потрескались ли. Однако, жили опять; все онъ у нея стоялъ на квартирѣ, только ничего ей, мошенникъ, ни грошика не платилъ.

— Тѣмъ и кончилось?

— Ну, нѣтъ; черезъ нѣсколько времени пошелъ у нихъ опять карамболь, пошелъ онъ ее опять что день трепать, а тутъ она какую-то жиличку еще къ себѣ, пріѣзжую барыньку изъ купчихъ приняла. Чай вѣдь самъ знаешь, наши купчихи, какъ изъ дому вырвутся, на это дѣло препрóстыя... Ну, онъ ко всему же къ прежнему, да еще почалъ съ этой жиличкой амуриться—пошло у нихъ такое, что я даже и ходить перестала.

— Богъ съ вами совсѣмъ! живите, думаю, какъ хотите.

Только тринадцатаго сентября, подъ самое Воздвиженье Честнаго и Животворящаго Креста, пошла я къ Знаменью, ко всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и въ самомъ притворѣ на паперти, гляжу—эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусишко старенькій, стоитъ на колѣночкахъ въ уголочкѣ и плачетъ. Опять меня взяла на нее жалость.

— Здравствуй, говорю,—Леканида Петровна!

— Ахъ, душечка, говоритъ,—моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Самъ Богъ, говоритъ, мнѣ васъ послалъ,— а сама такъ вотъ ручьями слезъ горькихъ и заливается.

— Ну, я говорю,—Богъ, матушка, меня не посылалъ, потому что Богъ ангеловъ безплотныхъ посылаетъ, а я

человѣкъ въ свою мѣру грѣшный; но ты все-таки не плачь, а пойдемъ куда-нибудь подъ насѣсть сядемъ, разскажи мнѣ свое горе; можетъ, чѣмъ-нибудь надумаемся и поможемъ.

Пошли.

— Что, варваръ твой, что ли, опятѣ надъ тобой что̀ сдѣлалъ?—спрашиваю ее.

— Никого, говоритъ,—никакого варвара у меня нѣтъ.

— Да куда же это ты идешь? говорю,—потому квартира ея была въ Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачиваетъ.

Слово по слову и раскрылось тутъ все дѣло, что квартиры ужъ у нея нѣтъ: мебелишку, какая была у нея, хозяинъ за долгъ забралъ; дружокъ ея пропалъ—да и хорошо сдѣлалъ,—а живетъ она въ каморочкѣ, у Авдотьи Ивановны Дисленъ. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даромъ что майорская она дочь и дворянствомъ своимъ величается, ну, а преподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, одинъ разъ въ кварталъ не попала по своей простотѣ по дурацкой. Ну, только, говорю я Леканидѣ Петровнѣ,—я эту Дисленьшу, мой другъ, очень знаю—это первая мошенница.

— Что̀ жъ, говоритъ,—дѣлать! Голубочка Домна Платоновна, что же дѣлать?

Ручонки-то, гляжу, свои ломитъ, ломитъ, инда даже смотрѣть жалко, какъ она ихъ коверкаетъ.

— Зайдите, говоритъ,—ко мнѣ.

— Нѣтъ, говорю,—душечка, мнѣ тебя хоша и очень жаль, но я къ тебѣ въ Дисленьшину квартиру не пойду—я за нее, за бездѣльницу, и такъ одинъ разъ чуть въ кварталъ не попала, а лучше, если есть твое желаніе со мной поговорить, ты сама ко мнѣ зайди.

Пришла она ко мнѣ: я ее напоила чайкомъ, обогрѣла, почавкали съ нею, что Богъ послалъ на ужинъ, и спать ее съ собой уложила. Довольно съ тебя этого?

Я кивнулъ утвердительно головою.

Ночью-то что я еще черезъ нее страху имѣла! Лежитъ-лежитъ она, да вдругъ вскочетъ, сядетъ на постели, бьетъ себя въ грудь: «Голубочка, говоритъ, моя, Домна Платоновна! Что̀ мнѣ съ собой дѣлать?»

Какой часъ ужъ вижу поздній.—Полно, говорю, тебѣ убиваться; спи. Завтра подумаемъ.

— Ахъ, говоритъ,—не спится мнѣ, не спится мнѣ, Домна Платоновна.

Ну, а мнѣ спать смерть какъ хочется, потому у меня сонъ необыкновенно какой крѣпкій.

Проспала я этакъ до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, въ одной рубашоночкѣ сидитъ на стулѣ, ножонки подъ себя подобрала и папироску куритъ. Такая бѣленькая, хорошенькая, да нѣжненькая—точно вотъ пухъ въ атласѣ.

— Умѣешь, спрашиваю,—самоварчикъ поставить?

— Пойду, говоритъ,—попробую.

Надѣла на себя юбчонку бумазейную и пошла въ кухоньку. А мнѣ-таки тутъ что-то смерть не хотѣлось вставать. Приноситъ она самоваришко, сѣли мы чай пить, она и говоритъ: «что, говоритъ, я, Домна Платоновна, надумалась?»

— Не знаю, говорю,—душечка—чужую думку своей не раздумаешь.

— Поѣду я, говоритъ,—къ мужу.

— На что, молъ, лучше этого, какъ честной женой быть—когда бъ, спрашиваю, только онъ тебя принялъ?

— Онъ, говоритъ,—у меня добрый; я теперь вижу, что онъ всѣхъ добрѣй.

— Добрый-то, отвѣчаю ей,—это хорошо, что онъ добрый; а скажи-ка ты мнѣ, давно ты его покинула-то?

— А ужъ скоро, говоритъ,—Домна Платоновна, какъ съ годъ будетъ.

— Да; вотъ, молъ,—видишь ты, съ годъ ужъ тому прошло. Это тоже, говорю, дамочка, время не малое.

— А что же, спрашиваетъ,—такое Домна Платоновна, вы въ этомъ полагаете?

— Да то, говорю,—полагаю, что не завелась ли тамъ на твое мѣсто тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница.

— Я, отвѣчаетъ,—объ этомъ, Домна Платоновна, и не подумала.

— То-то, молъ,—мать моя, и есть, что *«не подумала»*. И всѣ-то вотъ вы такъ-то объ этомъ не думаете!.. А надо

думать. Когда бъ ты подумала-то да разсудила, такъ, можетъ-быть, и много-бъ чего съ тобой не было.

Она-таки тутъ ухъ какъ засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этакъ кусаетъ, да и произноситъ таково тихонечко: «онъ, говоритъ, мнѣ кажется, совсѣмъ не такой былъ».

— Ахъ вы, подумала я себѣ,—звѣри вы этакіе капустные! сами козами въ горохъ такъ и прыгаютъ, а мужъ хоть и имъ негожъ, такъ и другой не трожь. Не повѣришь ты, какъ мнѣ это всякій разъ на нихъ досадно бываетъ.— Прости-ка ты меня, матушка, сказала я ей тутъ-то: — а только рѣчь твоя эта, на мой згадъ, ни къ чему даже не пристала. Что же, говорю, онъ, твой мужъ, за такой, за особенный, что ты говоришь: *не такой онъ?* Ни въ жизнь мою никогда этому не повѣрю. Все, я думаю, и онъ такой же самый, какъ и всѣ: костяной да жильный. А ты бы, говорю, лучше бы вотъ такъ объ этомъ сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему, говорю, ничего это и въ судъ не поставится, потому что вѣдь и въ самомъ-то дѣлѣ, хоть и ты самъ, ангелъ мой, сообрази: мужчина что соколъ: онъ схватилъ, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети куда око глянетъ; а нашей сестрѣ вся и дорога, что отъ печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно, что дураку волынка: поигралъ, да и кинулъ. Согласенъ ли ты съ этой справедливостью?

Ничего не возражаю.

А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись моего отвѣта, продолжаетъ:

— Ну-съ, вотъ и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, послѣ такихъ моихъ словъ и говоритъ: «я, говоритъ, Домна Платоновна, ничего отъ мужа не скрою, во всемъ сама повинюсь и признаюсь: пусть онъ хоть голову мою сниметъ».

— Ну, это, отвѣчаю,—опять тоже по-моему не дѣло, потому что мало ли какой грѣхъ былъ, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствіе не будетъ. А ты скрѣпись и виду не покажи.

— Ахъ, нѣтъ! говоритъ,—ахъ, нѣтъ, я лгать не хочу.

— Мало, говорю,—чего не хочешь! сказывается: грѣхъ воровать, да нельзя миновать.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, я не хочу, не хочу! Это грѣхъ обманывать.

Зарядила свое да и баста.

— Я, говоритъ,—прежде все опишу, и если онъ проститъ—получу отвѣтъ, тогда и поѣду.

— Ну, дѣлай, молъ, — какъ знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только, говорю, одному, что какой это изъ васъ такой новый заводъ пошелъ, что на грѣхъ идете, вы тогда съ мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости Господи, о пакостяхъ о своихъ — грѣха боитесь. Гляди, говорю,—бабочка, не кусать бы тебѣ локтя! Такъ-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, въ которомъ, ужъ Богъ ее знаетъ—все объяснила должно-быть—отвѣта нѣтъ. Прійдетъ, плачетъ-плачетъ—отвѣта нѣтъ.

— Поѣду, говоритъ, — сама; слугою у него буду.

Опять я подумала — и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть по-первоначалу какое время и погнѣвается, а какъ она на глазахъ будетъ, авось опять духъ, во тьмѣ приходящій, спутаетъ; можетъ и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную завсегда перекукуетъ.

— Ступай, говорю, — все жъ мужъ, не полюбовникъ, все скорѣй смилуется.

— А гдѣ бъ, говоритъ,—мнѣ, Домна Платоновна, денегъ на дорогу достать?

— А своихъ-то, спрашиваю,—аль ужъ ничего нѣтъ?

— Ни грошика, говоритъ, — нѣтъ; я ужъ и Дисленьшѣ должна.

— Ну, матушка, денегъ доставать здѣсь остро.

— Взгляните, говоритъ,—на мои слезы.

— Что-жъ, говорю, — дружокъ, слезы?—слезы слезами, и мнѣ даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезамъ не вѣритъ, говоритъ пословица. Подъ нихъ денегъ не дадутъ.

Она плачетъ, я это тоже съ нею сижу, да такъ промежъ себя и разговариваемъ, а въ комнату ко мнѣ шасть вдругъ этотъ полковникъ... какъ его зовутъ-то?

— Да ну, Богъ тамъ съ нимъ, какъ его зовутъ!

— Уланскій, или какъ ихъ это называются-то они?—инженеръ?

— Да Богъ съ нимъ, Домна Платоновна.

— Ласточкинъ, онъ, кажется, будетъ по фамиліи, или какъ

не Ласточкинъ?—такъ какъ-то птичья фамилія и не то съ люди, не то съ како начинается...

— Ахъ, да оставьте вы его фамилію въ покоѣ.

— Я этакъ-то вотъ много кого: по мѣстамъ сейчасъ тебѣ найду, а ужъ фамилію не припомню. Ну, только входитъ этотъ полковникъ; начинаетъ, это, со мною шутить, да на ушко и спрашиваетъ:

— Что, говоритъ,—это за барышня такая?

Она совсѣмъ барыня, ну, а онъ ее барышней назвалъ: очень она еще моложава была на видъ.

Я ему отвѣчаю, кто она такая.

— Изъ провинціи?—спрашиваетъ.

— Это, говорю,—вы угадали—изъ провинціи.

А онъ это—не то какъ какой вѣтреникъ, или повѣса—извѣстно, человѣкъ ужъ въ такомъ чинѣ — любилъ, чтобъ женщина была хоть и на краткое время, но не забывши свой стыдъ, и съ правилами; ну, а наши питерскія, знаешь, чай, самъ, сколько у нихъ стыда-то, а правилъ и еще того больше: у стриженой дѣвки на головѣ волосъ больше, чѣмъ у нихъ правилъ.

— Ну-съ, Домна Платоновна?

— Ну, сдѣлай, говоритъ, — милость, Домна Панталоновна — у нихъ это, у полковыхъ, у всѣхъ все такая привычка: не скажетъ: Платоновна, а *Панталоновна.*—Ну-съ, говоритъ, Домна Панталоновна, — ничего, говоритъ, для тебя не пожалѣю, только ограничь ты мнѣ это дѣло въ порядкѣ.

Я, знаешь, ничего ему рѣшительнаго не отвѣчаю, а только бровями этакъ, понимаешь, на нее повела, и даю ему мину, что, дескать, «трудно».

— Невозможно?—говоритъ.

— Этого, говорю,—я тебѣ, генералъ мой хорошій, не объясняю, потому это ея душа, ея и воля, а что хотя и не надѣюсь, но попробовать я для тебя попробую.

А онъ сейчасъ мнѣ: «нечего, говоритъ, тутъ, Панталониха, словами разговаривать; вотъ, говоритъ, тебѣ пятьдесятъ рублей и всѣ ихъ сейчасъ ей передай».

— И вы ихъ, спрашиваю,—передали?

— А ты вотъ лучше не забѣгай, а если хочешь слушать, такъ слушай. Разсуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у насъ съ нею никогда разговора такого,

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, я не хочу, не хочу! Это грѣхъ обманывать.

Зарядила свое да и баста.

— Я, говоритъ,—прежде все опишу, и если онъ проститъ—получу отвѣтъ, тогда и поѣду.

— Ну, дѣлай, молъ, — какъ знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только, говорю, одному, что какой это изъ васъ такой новый заводъ пошелъ, что на грѣхъ идете, вы тогда съ мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости Господи, о пакостяхъ о своихъ — грѣха боитесь. Гляди, говорю,—бабочка, не кусать бы тебѣ локтя! Такъ-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, въ которомъ, ужъ Богъ ее знаетъ—все объяснила должно-быть—отвѣта нѣтъ. Прійдетъ, плачетъ-плачетъ—отвѣта нѣтъ.

— Поѣду, говоритъ, — сама; слугою у него буду.

Опять я подумала — и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть по-первоначалу какое время и погнѣвается, а какъ она на глазахъ будетъ, авось опять духъ, во тьмѣ приходящій, спутаетъ; можетъ и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную завсегда перекукуетъ.

— Ступай, говорю, — все жъ мужъ, не полюбовникъ, все скорѣй смилуется.

— А гдѣ бъ, говоритъ,—мнѣ, Домна Платоновна, денегъ на дорогу достать?

— А своихъ-то, спрашиваю,—аль ужъ ничего нѣтъ?

— Ни грошика, говоритъ, — нѣтъ; я ужъ и Дисленьшѣ должна.

— Ну, матушка, денегъ доставать здѣсь остро.

— Взгляните, говоритъ,—на мои слезы.

— Что-жъ, говорю, — дружокъ, слезы?—слезы слезами, и мнѣ даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезамъ не вѣритъ, говоритъ пословица. Подъ нихъ денегъ не дадутъ.

Она плачетъ, я это тоже съ нею сижу, да такъ промежъ себя и разговариваемъ, а въ комнату ко мнѣ шасть вдругъ этотъ полковникъ... какъ его зовутъ-то?

— Да ну, Богъ тамъ съ нимъ, какъ его зовутъ!

— Уланскій, или какъ ихъ это называются-то они?—инженеръ?

— Да Богъ съ нимъ, Домна Платоновна.

— Ласточкинъ, онъ, кажется, будетъ по фамиліи, или какъ

не Ласточкинъ?—такъ какъ-то птичья фамилія и не то съ люди, не то съ како начинается...

— Ахъ, да оставьте вы его фамилію въ покоѣ.

— Я этакъ-то вотъ много кого: по мѣстамъ сейчасъ тебѣ найду, а ужъ фамилію не припомню. Ну, только входитъ этотъ полковникъ; начинаетъ, это, со мною шутить, да на ушко и спрашиваетъ:

— Что, говоритъ,—это за барышня такая?

Она совсѣмъ барыня, ну, а онъ ее барышней назвалъ: очень она еще моложава была на видъ.

Я ему отвѣчаю, кто она такая.

— Изъ провинціи?—спрашиваетъ.

— Это, говорю,—вы угадали—изъ провинціи.

А онъ это—не то какъ какой вѣтреникъ, или повѣса—извѣстно, человѣкъ ужъ въ такомъ чинѣ — любилъ, чтобъ женщина была хоть и на краткое время, но не забывши свой стыдъ, и съ правилами; ну, а наши питерскія, знаешь, чай, самъ, сколько у нихъ стыда-то, а правилъ и еще того больше: у стриженой дѣвки на головѣ волосъ больше, чѣмъ у нихъ правилъ.

— Ну-съ, Домна Платоновна?

— Ну, сдѣлай, говоритъ, — милость, Домна Панталоновна — у нихъ это, у полковыхъ, у всѣхъ все такая привычка: не скажетъ: Платоновна, а *Панталоновна.*—Ну-съ, говоритъ, Домна Панталоновна, — ничего, говоритъ, для тебя не пожалѣю, только ограничь ты мнѣ это дѣло въ порядкѣ.

Я, знаешь, ничего ему рѣшительнаго не отвѣчаю, а только бровями этакъ, понимаешь, на нее повела, и даю ему мину, что, дескать, «трудно».

— Невозможно?—говоритъ.

— Этого, говорю,—я тебѣ, генералъ мой хорошій, не объясняю, потому это ея душа, ея и воля, а что хотя и не надѣюсь, но попробовать я для тебя попробую.

А онъ сейчасъ мнѣ: «нечего, говоритъ, тутъ, Панталониха, словами разговаривать; вотъ, говоритъ, тебѣ пятьдесятъ рублей и всѣ ихъ сейчасъ ей передай».

— И вы ихъ, спрашиваю,—передали?

— А ты вотъ лучше не забѣгай, а если хочешь слушать, такъ слушай. Разсуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у насъ съ нею никогда разговора такого,

на это похожаго, не было, чтобъ претекстъ мнѣ ей такой сдѣлать, ну, только, зная эти петербургскія обстоятельства, думаю: «охъ, какъ разъ она еще, гляди, и сама рада, бѣдная, будетъ!» Выхожу я къ ней въ свою въ маленькую комнатку, гдѣ мы сидѣли-то, и говорю: «ты, говорю, Леканида Петровна, въ рубашечкѣ, знать, родилась. Только о деньгахъ поговорили, а онѣ, говорю, и вотъ онѣ», да бумажку-то передъ ней кладу. Она: «кто это? какъ это? откуда?»— Богъ, я говорю, тебѣ послалъ — говорю ей громко, а на ушко-то шепчу: «вотъ этотъ баринъ, сказываю, за одно твое вниманіе тебѣ посылаетъ... Прибирай, говорю, скорѣй эти деньги!».

А она, смотрю, слезы у нея по глазамъ и на столъ капъ-капъ, какъ гороховины. Съ радости, или съ горя — никакъ не разберу, съ чего эти слезы.

— Прибери, говорю,—деньги-то, да выдь на минутку въ ту комнату, а я тутъ покопаюсь... Довольно тебѣ, кажется, какъ я все это для нея вдругъ прекрасно устроила?

Смотру я на Домну Платоновну: ни бровка у нея ни моргнетъ, ни уста у нея не лукавятъ; вся рѣчь ея проста, сердечна; все лицо ея выражаетъ одно доброе желаніе пособить бѣдной женщинѣ и страхъ, чтобъ это, внезапно подвернувшееся благодѣтельное событіе какъ-нибудь не разстроилось — страхъ не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.

— Довольно тебѣ этого? Кажется, все, что могла, все я для нея сдѣлала,—говоритъ, привскакивая и ударяя рукою по столу, Домна Платоновна, при чемъ лицо ея вспыхиваетъ и принимаетъ выраженіе гнѣвное.—А она, мерзавка этакая!—восклицаетъ Домна Платоновна.—Она съ этимъ самымъ словомъ — махъ, безо всего, какъ сидѣла, прямо на лѣстницу и гу-гу-гу: во всю мочь реветъ, значитъ. Осрамила! Я это въ свой уголокъ скорѣй; онъ тоже за шапку да драла. Гляжу вокругъ себя—вижу и платокъ она свой шейный, такъ мериносовый, старенькій платчишко — забыла. «Ну, постой же, думаю, ты, дрянь этакая! Прійдешь ты, гадкая, я тебѣ этого такъ не подарю». Черезъ день, не то черезъ два, вернулась, это, я къ себѣ домой, смотрю— и она жалуетъ. Я, хоть сердце у меня на нее невелико, потому что я вспылчива только, а сердца долго никогда не держу, но видъ такой ей даю, что сердита ужасно.

— Здравствуйте, говоритъ,—Домна Платоновна.

— Здравствуй, говорю, — матушка! За платочкомъ, что ли, пришла?—вонъ твой платокъ.

— Я, говоритъ, — Домна Платоновна, извините меня, такъ тогда испугалась.

— Да, говорю ей,—покорно васъ, матушка, благодарю. За мое же къ вамъ за расположеніе, вы такое мнѣ надѣлали, что на что̀ лучше желать-требовать.

— Въ перепугѣ, говоритъ,—я была, Домна Платоновна,—простите, пожалуйста.

— Мнѣ, отвѣчаю,—тебя прощать нечего, а что домъ мой не такой, чтобъ у меня шкандалить, бѣгать отъ меня по лѣстницамъ; да визги эти свои всякіе здѣсь поднимать. Тутъ, говорю, — и жильцы благородные живутъ, да и хозяинъ, говорю,—процентщикъ,—къ нему, что минута народъ идетъ, такъ онъ тоже этихъ визговъ-то не захочетъ у себя слышать.

— Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите, такое предложеніе.

— Что жъ ты, говорю, — такая за особенная, что этакъ очень тебя предложеніе это оскорбило! Предложить, говорю,— всякому это вольно̀, такъ какъ ты женщина нуждающая; а вѣдь тебя насильно никто не бралъ, и зѣвать-то, сталобыть, тебѣ во все горло нечего было.

Простить просить.

Я ей и простила, и говорить съ ней стала, и чаю чашку налила:

— Я къ вамъ, говоритъ, Домна Платоновна, съ просьбой: какъ бы мнѣ денегъ заработать, чтобъ къ мужу ѣхать.

— Какъ же, молъ, ты ихъ, сударыня, заработаешь? Вотъ былъ случай, упустила, теперь сама думай; я ужъ ничего не придумаю. Что жъ ты такое можешь работать?

— Шить, говоритъ, — могу; шляпы могу дѣлать.

— Ну, душечка, отвѣчаю ей: — ты лучше объ этомъ меня спроси; я эти петербургскія обстоятельства-то лучше тебя знаю; съ этой работой-то, окромя ужъ того, что ея, этой работы, достать негдѣ, да и тѣ, которыя ею и давно-то занимаются и настоящія-то шитвицы, такъ и тѣ, говорю, давно голыя бы ходили, если бъ на одеженку себѣ грѣхомъ не доставали.

— Такъ какъ же, говоритъ, — мнѣ быть? — и опять руки ломаетъ.

— А такъ, говорю, — и быть, что было бы не коробатиться; давно бы, говорю, — ужъ другой бы день, къ супругу выѣхала.

И-и-ихъ, какъ она опять на эти на мои слова вся какъ вспыхнетъ!

— Что это, говоритъ, — вы, Домна Платоновна, говорите? Развѣ, говоритъ, — это можно, чтобъ я на такія скверныя дѣла пустилась?

— Пускалась же, говорю, — меня про то не спрашивалась.

Она еще больше запламенѣла.

— То, говоритъ, — грѣхъ мой такой былъ, *увлеченіе*, а чтобы я, говоритъ, — раскаявшись, да собираясь къ мужу, еще на этакія подлыя средства поѣхала—ни за что на свѣтѣ!

— Ну, ничего, говорю, — я, матушка, твоихъ словъ не понимаю. Никакихъ я тутъ подлостей не вижу. Мое, говорю, — разсужденіе такое, что когда если хочетъ себя женщина на настоящій путь поворотить, такъ должна она всѣмъ этимъ пренебрегать.

— Я, говоритъ, — этимъ предложеніемъ пренебрегаю.

— Очень, слышь, большая барыня! Такъ тамъ съ своимъ съ конопастымъ безо всякаго безъ путя сколько время валандалась, а тутъ для дѣла, для собственнаго покоя, чтобъ на честную жизнь себя повернуть — шагу одного не можетъ, видишь, ступить, минута ужъ ей одна и та тяжелая очень стала.

Смотрю опять на Домну Платоновну — ничего въ ней нѣтъ такого, что лежитъ печатью на спеціалисткахъ по части образованія жертвъ «общественнаго недуга», а сидитъ передо мною баба самая простодушная и говоритъ свои мерзости съ невозмутимою увѣренностью въ своей добротѣ и непроходимой глупости госпожи Леканидки.

— Здѣсь, говорю, — продолжаетъ Домна Платоновна: — столица; здѣсь даромъ, матушка, никто ничего не дастъ и шагу-то для тебя не ступитъ, а не то что деньги.

Этакъ поговорили — она и пошла. Пошла она, и недѣли съ двѣ, я думаю, ея не было видно. На конецъ того дѣла является голубка вся опять въ слезахъ и опять съ своими охами да вздохами.

— Вздыхай, говорю, — ангелъ мой, не вздыхай, хоть грудь надсади, но какъ я хорошо петербургскія обстоятельства знаю, ничего тебѣ отъ твоихъ слезъ не поможется.

— Боже мой! сказываетъ, — у меня ужъ, кажется, какъ глаза отъ слезъ не вылѣзутъ, голова какъ не треснетъ, грудь болитъ. Я ужъ, говоритъ, и въ общества сердобольныя обращалась: пороги всѣ обила — ничего не выходила.

— Что жъ, сама жъ, говорю, — виновата. Ты бы меня разспросила, что̀ эти всѣ общества значатъ. Туда, говорю, для того именно и ходятъ, чтобъ только послѣдніе башмаки дотаптывать.

— Взгляните, говоритъ, — сами, какая я? На что̀ я стала похожа.

— Вижу, отвѣчаю ей, — вижу, мой другъ, и нимало не удивляюсь, потому горе только одного рака красить, но помочь тебѣ, говорю,—ничѣмъ не могу.

Съ часъ тутъ-то она у меня сидѣла и все плакала, и даже, правду сказать, ужъ и надоѣла.

— Нечего, говорю ей наконецъ того, — плакать-то: ничего отъ этого не поможется; а, умнѣе сказать, надо покориться.

Смотрю, слушаетъ съ плачемъ и—ужъ не сердится.

— Ничего, говорю,—другъ любезный, не подѣлаешь: не ты первая, не ты будешь и послѣдняя.

— Занять бы, говоритъ,—Домна Платоновна, хоть рублей пятьдесятъ.

— Пятидесяти копеекъ, говорю, — не займешь, а не то, что пятидесяти рублей — здѣсь не таковскій городъ, а столица. Были у тебя пятьдесятъ рублей въ рукахъ — точно, да не умѣла ты ихъ брать, такъ что жъ съ тобой дѣлать?

Поплакала она и ушла. Было это какъ разъ, помню, на Іоанна Рыльскаго, а тутъ какъ разъ черезъ два дня живетъ праздникъ: иконы Казанскія Божіей Матери. Такъ что-то мнѣ въ этотъ день ужасно какъ нездоровилось— съ вечера я, это, къ одной купчихѣ на Охту ѣздила, да должно быть простудилась — на этомъ каторжномъ перевозѣ — ну, чувствую я себя, что нездорова; никуда я не пошла: даже и у обѣдни не была; намазала себѣ носъ саломъ и сижу на постели. Гляжу, а Леканида Петровна моя ко мнѣ жалуетъ, безъ бурнусика, однимъ платочкомъ покрывшись.

— Здравствуйте, говоритъ,—Домна Платоновна.

— Здравствуй, говорю,—душечка.

— Что ты, спрашиваю,—такая неубранная?

— Такъ, говоритъ,—на минуту, говоритъ, выскочила,—а сама вижу, вся въ лицѣ мѣняется. Не плачетъ, знаешь, а то всполыхнетъ, то сблѣднѣетъ. Такъ меня тутъ же какъ молонья мысль и прожгла: вѣрно, говорю себѣ, чуть ли ее Дисленьша не выгнала.

— Или, спрашиваю,—что у васъ съ Дисленьшей вышло?—а она это дёргъ-дёргъ себя за губенку-то, и хочетъ, вижу, что-то сказать, и заминается.

— Говори, говори, матушка, что такое?

— Я, говоритъ,—Домна Платоновна, къ вамъ.

А я молчу.

— Какъ, говоритъ,—вы, Домна Платоновна, поживаете?

— Ничего, говорю,—мой другъ. Моя жизнь все одинаковая.

— А я, говоритъ... Ахъ, я просто совсѣмъ съ ногъ сбилася.

— Тоже, говорю,—видно и твое все еще одинаково?

— Все то же самое, говоритъ.—Я ужъ, говоритъ, всюду кидалася. Я ужъ, кажется, всякій свой стыдъ позабыла: все ходила къ богатымъ лицамъ просить. Въ Кузнечномъ переулкѣ тутъ, говорили, одинъ богачъ помогаетъ бѣднымъ—у него была; на Знаменской тоже была.

— Ну, и много же, говорю,—отъ нихъ вынесли?

— По три цѣлковыхъ.

— Да и то, говорю, — еще много. У меня, говорю, купецъ знакомый у Пяти Угловъ живетъ, такъ тотъ размѣняетъ рубль на копейки и по копеечкѣ въ воскресенье и раздаетъ. «Все равно, говоритъ, сто добрыхъ дѣлъ выходитъ передъ Богомъ». Но чтобъ пятьдесятъ рублей, какъ тебѣ нужно,—этого, говорю, я думаю, во всемъ Петербургѣ и человѣка такого нѣтъ изъ богачей, чтобы даромъ далъ.

— Нѣтъ, говоритъ,—говорятъ, есть.

— Кто жъ это, молъ, тебѣ говорилъ? Кто такого здѣсь видѣлъ?

— Да одна дама мнѣ говорила... Тамъ у этого богача мы съ нею въ Кузнечномъ вмѣстѣ дожидали. Грекъ, говоритъ, одинъ есть на Невскомъ: тотъ много помогаетъ.

— Какъ же это, спрашиваю, — онъ за здорово живешь, что ли, помогаетъ?

— Такъ, говоритъ,—такъ, просто такъ помогаетъ, Домна Платоновна.

— Ну, ужъ это, говорю,—ты мнѣ, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это, говорю, сущій вздоръ.

— Да, что же вы, говоритъ, спорите, когда эта дама сама про себя даже разсказывала? Она шесть лѣтъ уже не живетъ съ мужемъ и всякій разъ, какъ пойду, говоритъ, такъ пятьдесятъ рублей.

— Вретъ, говорю,—тебѣ твоя знакомая дама.

— Нѣтъ, говоритъ,—не вретъ.

— Вретъ, вретъ, говорю,—и вретъ. Ни въ жизнь этому не повѣрю, чтобы мужчина женщинѣ пятьдесятъ рублей даромъ далъ.

— А я, говоритъ,—утверждаю васъ, что это правда.

— Да, ты что жъ, сама, что ли, говорю, ходила?

А она краснѣетъ, краснѣетъ, глазъ куда дѣть не знаетъ.

— Да вы, говоритъ, — что, Домна Платоновна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте? Ему восемьдесятъ лѣтъ. Къ нему много дамъ ходятъ, и онъ ничего отъ нихъ не требуетъ.

— Что-жъ, говорю,—онъ красотою, что ли, только вашею освѣщается?

— *Вашею?* Почему же, это, говоритъ,—вы опять такъ утверждаете, что какъ будто и я тамъ была?—А сама такъ, какъ розанъ, и закраснѣлась.

— Чего жъ, говорю, — не утверждать? развѣ не видно, что была.

— Ну, такъ что жъ такое, что была? Да, была.

— Что жъ, очень, говорю, — твоему счастью рада, что побывала въ хорошемъ домѣ.

— Ничего, говоритъ, — тамъ нехорошаго нѣтъ. Я очень просто зашла, говоритъ, къ этой дамѣ, что съ нимъ знакома, и разсказала ей свои обстоятельства... Она, разумѣется, мнѣ сначала сейчасъ тѣ же предложенія, что и всѣ дѣлаютъ... Я не захотѣла; ну, она и говоритъ: «ну, такъ вотъ, не хотите ли къ одному греку богатому сходить? Онъ ничего не требуетъ и очень много хорошенькимъ женщинамъ помогаетъ. Я вамъ, говоритъ, адресъ дамъ. У него дочь на фортепіано учится, такъ вы будто какъ учительница придете, но къ нему самому ступайте, и ничего, говоритъ, васъ стѣснять не будетъ, а деньги получите. Онъ,

Переходъ ея весь въ томъ и былъ, что въ чемъ пришла, въ томъ и осталась: все Дисленьша, мерзавка, за долги забрала.

Ну, видя ея бѣдность, я дала ей тутъ же платье — купецъ одинъ мнѣ дарилъ: чудное платье, крепрошелевое, не то шикшинетеневое, такъ какъ-то матерія-то эта называлась— но только узко оно мнѣ въ лификѣ было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонныхъ платьевъ, потому сжимаютъ онѣ очень въ грудяхъ, я все вотъ въ этакихъ капотахъ хожу.

Ну, дала я ей это платье, даже кружевцовъ; перешила она это платьишко, отдѣлала его кое-гдѣ кружевцами, и чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, въ штинбоковъ пассажъ, купила ей полсапожки, съ кисточками такими, съ бахромочкой, съ каблучками; дала ей воротничковъ, манишечку — ну, однимъ словомъ, нарядила молодца, яко старца; не стыдно ни самой посмотрѣть, ни людямъ показать. Даже сама я не утерпѣла, пошутила ей: франтишка, говорю, ты какая! умѣешь все какъ къ лицу сдѣлать.

Живемъ мы послѣ этого вмѣстѣ недѣлю, живемъ другую, все у насъ съ нею отлично: я по своимъ дѣламъ, а она дома остается. Вдругъ тутъ-то дѣло мнѣ припало къ одной не то что къ дамкѣ, а къ настоящей барынѣ, и немолодая ужъ барыня, а такая-то, прости Господи!.. Звѣзда восточная. Студента все къ сыну въ гувернеры искала. Ну, ужъ я знаю, какого ей надо студента.

— Чтобъ былъ, говоритъ,—опрятный; чтобъ не изъ этихъ, какъ вотъ шляются — сицилисты, — они не знаютъ, небось, гдѣ и мыло продается.

— На что жъ, говорю,—изъ этихъ? Куда они годятся!

— И, говоритъ, — чтобъ въ возрастѣ былъ, а не дитею бы смотрѣлъ; а то дѣти его и слушаться не будутъ.

— Понимаю, молъ, все.

Отыскала я студента: мальченко молоденькій, но этакій штуковатый и чищеный, все сразу понимаетъ. Иду-съ я теперь съ этимъ дѣломъ къ этой дамѣ; передала ей адресъ; говорю: такъ и такъ, тогда и тогда будетъ и извольте его посмотрѣть, а что такое если не годится—другого, говорю, найдемъ, и сама ухожу. Только иду это съ лѣстницы, а въ швейцарской генералъ мнѣ навстрѣчу, и вотъ онъ. И

этотъ самый генералъ, надо тебѣ сказать, хоть онъ и штатскій, но очень образованный. Въ домѣ у него роскошь такой: зеркала, лампы, золото вездѣ, ковры, лакеи въ перчаткахъ, вездѣ это духами накурено. Одно слово, свой домъ и живутъ въ свое удовольствіе; два этажа сами занимаютъ: онъ, какъ взойдешь изъ швейцарской, сейчасъ налѣво; комнатъ восемь одинъ живетъ, а направо сейчасъ другая такая жъ половина, въ той сынъ старшій, тоже женатый ужъ года съ два. На богатой тоже женился, и всѣ какъ есть въ домѣ очень ее хвалятъ, говорятъ — предобрая барыня, только чахотка должно у нея — очень ужъ худая. Ну, а наверху, сейчасъ по этакой лѣстницѣ — широкая-преширокая лѣстница и вся цвѣтами установлена — тутъ сама старуха, какъ тетеря на токовищѣ сидитъ съ меньшинькими дѣтьми, и гувернеры-то эти тамъ же. Ну, знаешь ужъ, какъ на большую ногу живутъ!

Встрѣтилъ меня генералъ и говоритъ! «здравствуй, Домна Платоновна!» —Превѣжливый баринъ.

— Здравствуйте, говорю,—ваше превосходительство.

— У жены, что-ль, была?—спрашиваетъ.

— Точно такъ, говорю, — ваше превосходительство, у супруги вашей, у генеральши была; кружевца, говорю, старинныя приносила.

— Нѣтъ ли, говоритъ,—у тебя чего, кромѣ кружевцовъ, хорошенькаго?

— Какъ, говорю, — не быть, ваше превосходительство! Для хорошихъ, говорю,—людей всегда на свѣтѣ есть что-нибудь хорошее.

— Ну, пойдемъ-ка, говоритъ, — пройдемся; воздухъ, говоритъ,—нынче очень свѣжій.

— Погода, отвѣчаю,—отличная, рѣдко такой и дождешься.

Онъ выходитъ на улицу, и я за нимъ, а карета сзади насъ по улицѣ ѣдетъ. Такъ вмѣстѣ по Моховой и идемъ — ей-Богу правда. Препростодушный, говорю тебѣ, баринъ!

— Что жъ, спрашиваетъ,—чѣмъ же ты это нынче, Домна Платоновна, мнѣ похвалишься?

— А ужъ тѣмъ, молъ, ваше превосходительство, похвалюсь, что могу сказать, что рѣдкость.

— Ой-ли, правда? спрашиваетъ,—не вѣритъ, потому что онъ очень и опытный — постоянно все по циркамъ, да по

Пер
въ т
забра
Пу
пецъ
то ш
но т
ницы
ных
все
І
он
чу
пи
ка
р
м
л
ф

предмету со внима-

—вамъ, сударь, не стану,
что я попусту врать
вамъ угодно, извольте,
хваленаго.
мна Платоновна, стою-

— ваше превосходитель-
Не такой товаръ, чтобъ

—посмотримъ.
Когда пожалуете?
дняхъ, говоритъ, — вѣ-

превосходительство, вы из-
такъ говорю, — и ждать
дома не сижу: волка, молъ,

—послѣзавтра, въ пятницу изъ

— я ей скажу, чтобъ дожи-

—тутъ въ узелкѣ-то что-нибудь

шелковыхъ кружевъ черныхъ
ему—половину, говорю, ваша
говорю, какъ разъ на двадцать

— ей отъ меня эти кружева:
посылаетъ—шутитъ это, а самъ
бумажку подаетъ, и сдачи, гово-
на орѣхи.
въ глаза ее не видавши, этакой

тутъ у Семіоновскаго моста и по-
набережной, да и домой.
— Леканида Петровна, и твое счастье

—такое.
порядку разсказываю: хвалю его, знаешь,

ей, какъ ни быть лучше: хотя, говорю, и въ лѣтахъ, но мужчина видный, полный, бѣлье, говорю, тонкое носитъ, въ очкахъ, сказываю, въ золотыхъ; а она вся такъ и трясется.

— Нечего, говорю, — мой другъ, тебѣ его бояться: можетъ-быть, для кого-нибудь другого онъ тамъ по чину своему, да по должности пускай и страшенъ, а твое, говорю, дѣло при немъ будетъ совсѣмъ особливо; еще ручки, ножки свои его цѣловать заставь. Имъ, говорю, одна дамка-полячка (я-таки ее съ нимъ еще и познакомила), какъ хотѣла, помыкала, и амантовъ, говорю, имѣла, а онъ имъ еще и отличныя какія мѣста подавалъ, все будто замѣсто своихъ братьевъ она ему ихъ выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка, бывало, даже руку на него поднимала: сдѣлаетъ, бывало, истерику, да махъ его рукою по очкамъ; только стеклышки зазвенятъ, а твое воспитаніе ничуть не ниже? А вотъ, говорю, тебѣ отъ него, пока что и презентикъ—вынула кружева да передъ ней и положила.

Прихожу опять вечеромъ домой, смотрю — она сидитъ чулокъ себѣ штопаетъ, а глаза такіе заплаканные; гляжу, и кружева мои на томъ же мѣстѣ, гдѣ я ихъ положила.

— Прибрать бы, говорю,—тебѣ ихъ надо; вонъ хоть въ комоду, говорю, мою, что ли, бы положила; это вещь дорогая.

— На что, говоритъ,—они мнѣ?

— А не нравятся, такъ я тебѣ за нихъ десять рублей деньги ворочу.

— Какъ хотите,—говоритъ.

— Взяла я эти кружева, смотрю, что всѣ цѣлы — свернула ихъ какъ должно, и такъ, не мѣрявши, въ свой саквояжъ и положила.

— Вотъ, говорю,—что ты мнѣ за платье должна—я съ тебя лишняго не хочу — положимъ за него хоть семь рублей, да за полсапожки три цѣлковыхъ, вотъ, говорю, и будемъ квиту, а остальное тамъ, какъ сочтемся.

— Хорошо, говоритъ,—а сама опять плакать.

— Плакать-то теперь бы, говорю,—не слѣдовало.

А она мнѣ отвѣчаетъ:

— Дайте, говоритъ, — мнѣ, пожалуйста, мои послѣднія слезы выплакать. Что вы, говоритъ, — безпокоитесь? — не бойтесь, понравлюсь!

— Что жъ, говорю,—ты, матушка, за мое же добро, да на меня же фыркаешь? Тоже, говорю, новости: у Фили пили, да Филю-жъ и били!

Взяла да и говорить съ ней перестала.

Прошелъ четвергъ, я съ ней не говорила. Въ пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: изволь же, говорю, сударыня, быть готова: онъ нынче пріѣдетъ.

Она какъ вскочитъ: «какъ нынче! какъ нынче!»

— А такъ, говорю, — чай, сказано тебѣ было, что онъ обѣщался въ пятницу, а вчера, я думаю, былъ четвергъ.

— Голубушка! говоритъ, — Домна Платоновна! — пальцы себѣ кусаетъ, да бухъ мнѣ въ ноги.

— Что ты, говорю,—сумасшедшая? Что ты?

— Спасите!

— Отъ чего, говорю,—отъ чего тебя спасать-то?

— Защитите! Пожалѣйте!

— Да что ты, говорю, — блажишь? Не сама ли же, говорю,—ты просила?

А она опять беретъ себя руками за щеки, да вопитъ: «душечка, душечка, пусть завтра, пусть, говоритъ,—хоть послѣзавтра!»

Ну, вижу, нечего ее, дуру, слушать, хлопнула дверью и ушла. Пріѣдетъ, думаю, онъ сюда—сами поладятъ. Не одну ужъ такую-то я видѣла: всѣ онѣ попервоначалу благи бываютъ. Что ты на меня такъ смотришь? Это, повѣрь, я правду говорю: всѣ такъ-то убиваются.

— Продолжайте, говорю,—Домна Платоновна.

— Что-жъ, ты думаешь, она, поганка, сдѣлала!

— А кто ее знаетъ, что ее чортъ угораздилъ сдѣлать!— сорвалось у меня со злости.

— Ужъ именно, правда твоя, что чортъ ее угораздилъ,— отвѣчала съ похвалою моей прозорливости Домна Платоновна.—Этакого человѣка, этакую вельможу она, шельмовка этакая, и въ двери не пустила!.. Стучалъ-стучалъ, звонилъ-звонилъ—она тебѣ хоть бы ему голосъ какой подала. Вотъ, вѣдь, какая хитростная—на что отважилась! Сидитъ запершись, словно ея и духу тамъ нѣтъ. Захожу я вечеркомъ къ нему—сейчасъ меня впустили—и спрашиваю: ну, что, говорю, обманула я васъ, ваше превосходительство? а онъ туча-тучей. Разсказываетъ мнѣ все, какъ онъ былъ и какъ ни съ чѣмъ назадъ пошелъ.

— Этакъ, говоритъ, — Домна Платоновна, любезная моя, съ порядочными людьми не поступаютъ.

— Батюшка, говорю, — да какъ это можно! вѣрно, говорю,—она куда на минутую выходила, или что такое—не слыхала — ну, а сама себѣ думаю: ахъ ты, варварка! ахъ ты, злодѣйка этакая! страмовщица ты!

— Пожалуйте, прошу его, — ваше превосходительство, завтра—вѣрно вамъ ручаюсь, что все будетъ, какъ должно.

Да ушедши-то отъ него домой, да бѣгомъ, да бѣгомъ. Прибѣгаю, кричу:

— Варварка! варварка! что жъ ты это, варварка, со мной надѣлала? Съ какимъ ты меня человѣкомъ, можетъ-быть, разстроила? Вѣдь, ты, говорю, сама со всей твоей родней-то да и съ цѣлой губерніей-то съ вашей и сапога его одного отоптаннаго не стоишь! Онъ, говорю,—въ прахъ и въ пепелъ всѣхъ васъ и все начальство-то ваше истереть одной ногой можетъ. Чего жъ ты, бездѣльница этакая, модничаешь? Даромъ я, что ли, тебя кормлю? Я бѣдная женщина; я на твоихъ же глазахъ день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоихъ же глазахъ веду самую прекратительную жизнь да еще ты, говорю, щелчокъ ты этакой, пахлѣбница навязалась!

И какъ ужъ я ее тутъ-то ругала! Какъ страшно я ее съ сердцовъ ругала, что ты не повѣришь. Кажется-бъ вотъ взяла я да глаза ей въ сердцахъ повыцарапала.

Домна Платоновна сморгнула набѣжавшую на одинъ глазъ слезу и проговорила между строкъ: даже теперь жалко, какъ вспомню, какъ я ее тогда обидѣла.

— Гольтепа ты дворянская! говорю ей:—вонъ отъ меня! вонъ, чтобъ и духъ твой здѣсь не пахъ! и даже за рукавъ ее къ двери бросила.—Вѣдь вотъ, ты скажи, что съ сердцовъ человѣкъ иной разъ дѣлаетъ: сама назавтри къ ней такого грандеву пригласила, а сама ее нынче же вонъ выгоняю! Ну, а она — на эти мои слава, сейчасъ и готова—и къ двери.

У меня ужъ было и сердце все проходить стало, какъ она все это стояла-то, да молчала, а ужъ какъ она по моему, по послѣднему слову къ двери даже обернулась, я опять и вскипѣла.

— Куда, куда, говорю,—такая-сякая, ты летишь?

Ужъ и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала.

— Оставайся, говорю,—не смѣй ходить!..

— Нѣтъ, я, говоритъ,—пойду.

— Какъ пойдешь? какъ ты смѣешь идтить?

— Что жъ, говоритъ, вы, Домна Платоновна, на меня сердитесь, такъ лучше же мнѣ уйти.

— Сержусь! говорю. — Нѣтъ, я мало, что на тебя сержусь, а я тебя буду бить.

Она вскрикнула, да въ дверь, а я ее за ручку, да назадъ, да тутъ-то сгоряча оплеухъ съ шесть таки горячихъ ей и закатила.

— Воровка ты, говорю,—а не дама, кричу на нее;—а она стоитъ въ уголкѣ, какъ я ее оттрепала, и вся, какъ кленовъ листъ, трясется, но и тутъ, замѣть, свою анбицію дворянскую почувствовала.

— Что жъ, говоритъ,—такое я у васъ украла?

— Космы-то, говорю,—патлы-то свои подбери — потому я ей всю прическу разстроила. — То, говорю,—ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила двѣ недѣли; обула-одѣла тебя; я, говорю,—на всякій часъ отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще черезъ тебя должна куска хлѣба лишиться, какъ ты меня съ такимъ человѣкомъ поссорила!

Смотрю: она потихоньку косы свои опять въ пучокъ подвернула, взяла въ ковшикъ холодной воды — умылась; голову расчесала и сѣла. Смирно сидитъ у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку къ щекамъ прикладываетъ. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нея такъ и горятъ.

— Ахъ, думаю,—напрасно вѣдь это я, злодѣйка, такъ ужъ очень ее обидѣла!

Все, что стою надъ столомъ, да думаю — то все мнѣ ее жалче; что стою думаю—то все жалче.

— Ахъ-ти мнѣ, горе съ моимъ добрымъ сердцемъ! Никакъ я съ своимъ сердцемъ не совладаю. И досадно, и знаю, что она виновата, и вполнѣ того заслужила, а жалко.

Выскочила я на минуточку на улицу — тутъ у насъ, въ нашемъ же домѣ подъ низомъ кондитерская — взяла десять штучекъ песочнаго пирожнаго и прихожу; сама поставила самоваръ; сама чаю чашку ей налила и подаю съ пирожнымъ. Она взяла изъ моихъ рукъ чашку и пирожное взяла, откусила кусочекъ, да межъ зубовъ и держитъ. Кусочекъ

держитъ, а сама вдругъ улыбается, улыбается и весело улыбается, а слезы капъ-капъ-капъ, такъ и брызжутъ; таки вотъ просто не текутъ, а какъ сокъ изъ лимона, если подавишь, брызжутъ.

— Полно, говорю,—не обижайся.

— Нѣтъ, говоритъ,—я ничего, я ничего, я ничего... да какъ зарядила это: «я ничего, да я ничего» — твердитъ одно, да и полно.

Господи! думаю, ужъ не сдѣлалось ли ей помраченіе смысловъ? Водой на нее брызнула; она тише, тише и успокоилась: сѣла въ уголку на постелишкѣ и сидитъ. А меня все, знаешь, совѣсть мутитъ, что я ее обидѣла. Помолилась я Богу — прочитала, какъ еще въ Мценскѣ священникъ училъ отъ запаленія ума: «Благаго Царя, благая Мати, пречистая и чистая», — и сняла съ себя капотикъ, и подхожу къ ней въ одной юбкѣ и говорю: «Послушай ты меня, Леканида Петровна! Въ писаніи читается: «да не зайдетъ солнце во гнѣвѣ вашемъ»; прости же ты меня за мою дерзость; давай, помиримся!—поклонилась ей до земли и взяла ея руку поцѣловала: вотъ тебѣ, ей-Богу, какъ завтрашній день хочу видѣть, такъ поцѣловала. И она, смотрю, наклоняется ко мнѣ и въ плечо меня чмокъ, гляжу—и тоже мою руку поцѣловала и сами мы между собою обѣ другъ дружку обняли и поцѣловались.

— Другъ мой, говорю, — вѣдь я не со злости какой, или не для своей корысти, а для твоего же добра!—толкую ей, и по головкѣ ее ласкаю, а она все этакъ, скороговоркой:

— Хорошо, хорошо; благодарю васъ, Домна Платоновна, благодарю.

— Вотъ *онъ*, говорю,—завтра опять пріѣдетъ.

— Ну, что жъ! говоритъ, — ну, что жъ! очень хорошо, пусть пріѣзжаетъ.

Я ее опять по головкѣ глажу, волоски ей за ушко заправляю, а она сидитъ, и глазкомъ съ лампады не смигнетъ. Лампадъ горитъ передъ образами таково тихо, сіяніе отъ иконъ на нее идетъ, и вижу, что она вдругъ губами все шевелитъ, все шевелитъ.

— Что ты, спрашиваю, — душечка, Богу это, что ли, молишься?

— Нѣтъ, говоритъ,—это я, Домна Платоновна, такъ.

— Что жъ, говорю,—я думала, что ты это молишься, а такъ самому съ собой разговаривать, другъ мой, не годится. Это только одни помѣшанные сами съ собой разговариваютъ.

— Ахъ,—отвѣчаетъ она мнѣ:—я, говоритъ,—Домна Платоновна, ужъ и сама думаю, что я, кажется, помѣшанная. На что я только иду! на что я это иду!—заговорила вдругъ, и въ грудь себя таково изо всей силы ударяетъ.

— Что жъ, говорю, — дѣлать? Такъ тебѣ, вѣрно, путь такой тяжелый назначенъ.

— Какъ, говоритъ,—такой мнѣ путь назначенъ? Я была честная дѣвушка! я была честная жена! Господи! Господи! да гдѣ же Ты? Гдѣ же, гдѣ Богъ?

— Бога, говорю,—читается, другъ мой, никто же видѣ, и нигдѣ же.

— А гдѣ же есть сожалительные, добрые христіане? Гдѣ они? гдѣ?

— Да здѣсь, говорю,—и христіане.

— Гдѣ!

— Да какъ *гдѣ?* Вся Россія — все христіане, и мы съ тобой христіанки.

— Да, да, говоритъ,—и мы христіанки... и сама, вижу, эти слова выговариваетъ, и въ лицѣ страшная становится. Словно она съ кѣмъ съ невидимымъ говоритъ.

— Фу, говорю,—да сумасшедшая ты, что ли, въ самомъ дѣлѣ? что ты меня пужаешь-то? что ты ропотъ-то на Создателя своего произносишь?

Смотрю: сейчасъ она опять смирилась, плачетъ опять тихо и разсуждаетъ:

— Изъ-за чего, говоритъ,—это я только все себѣ надѣлала? Какихъ я людей слушала? Разбили меня съ мужемъ; натолковали мнѣ, что онъ и тиранъ, и варваръ, когда это совсѣмъ неправда была, когда я, я *сама,* презрѣнная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насулили мнѣ здѣсь горы золотыя, а не сказали про рѣки огненныя. Мужъ меня теперь бросилъ, смотрѣть на меня не хочетъ, писемъ моихъ не читаетъ. А завтра я... бррр...хъ!

Вся даже задрожала.

— Маменька!—стала звать,—маменька! если бъ ты меня теперь, душечка, видѣла? Если бъ ты, чистенькій ангелъ

мой, на меня теперь посмотрѣла изъ своей могилки? Какъ она насъ, Домна Платоновна, воспитывала! Какъ мы жили хорошо; ходили всегда чистенькія; все у насъ въ домѣ было такое хорошенькое; цвѣточки мама любила; бывало, говоритъ, возьметъ за руки и пойдемъ двое далеко... въ луга пойдемъ...

Тутъ-то знаешь ты, сонъ у меня удивительный — слушала я, какъ это хорошо все она вспоминаетъ, и заснула.

Ну, представь же ты теперь себѣ: сплю это; заснула у нея, на ея постеленкѣ, и какъ пришла къ ней, совсѣмъ даже въ юбкѣ заснула, и опять тебѣ говорю, что сплю я свое время крѣпко, и сновъ никогда никакихъ не вижу, кромя какъ развѣ къ какому у меня воровству; а тутъ, все это мнѣ видятся рощи такія, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нея русая, вся въ кудряшкахъ, и носитъ она въ рукахъ вѣночекъ, а за нею собачка, такая бѣленькая собачка, и все на меня гамъ-гамъ, гамъ-гамъ— будто сердится и укусить меня хочетъ. Я будто нагинаюсь, чтобъ поднять палочку, чтобъ эту собачку отъ себя отогнать, а изъ земли вдругъ мертвая ручища: хвать меня вотъ за самое за это мѣсто, за кость. Вскинулась я, смотрю—свое время я ужъ проспала, и руку страсть какъ неловко перележала. Ну, одѣлась я, помолилась Богу и чайку напилась, а она все спитъ.

— Пора, говорю, — Леканида Петровна, вставать; чай, говорю,—на конфоркѣ стоитъ, а я, мой другъ, ухожу.

Поцѣловала ее на постели въ лобъ, истинно говорю тебѣ, какъ дочь родную жалѣючи, да изъ двери-то выходя, ключикъ это потихоньку вынула, да въ карманъ.

— Такъ-то, думаю, дѣло честнѣе будетъ.

Захожу къ генералу и говорю: ну, ваше превосходительство, теперь дѣло не мое. Я свое сдѣлала — пожалуйте поскорѣй, и ему отдала и ключъ.

— Ну-съ, говорю, — милая Домна Платоновна, не на этомъ же все кончилось?

Домна Платоновна засмѣялась и головой закачала съ такимъ выраженіемъ, что: смѣшны, молъ, всѣ люди на бѣломъ свѣтѣ.

Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю — огня нѣтъ.

— Леканида Петровна! зову.

Слышу она на моей постели ворочается.

— Спишь? спрашиваю:—а самое меня, знаешь, такъ смѣхъ и подмываетъ.

— Нѣтъ, не сплю, отвѣчаетъ.

— Что же ты огня, молъ, не засвѣтишь?

— На что жъ онъ мнѣ, говоритъ,—огонь?

Зажгла я свѣчу, раздула самоваришку, зову ее чай пить.

— Не хочу, говоритъ, — я, а сама все къ стѣнкѣ заворачивается.

— Ну, по крайности, говорю,—встань же, хоть на свою постель перейди: мнѣ мою постель надо поправить.

Вижу, поднимается какъ волкъ угрюмый. Взглянула исподлобья на свѣчу и глаза рукой заслоняетъ.

— Что ты, спрашиваю,—глаза закрываешь?

— Больно, отвѣчаетъ,—на свѣтъ смотрѣть.

Ушла и слышу, какъ была опять совсѣмъ въ платьѣ одѣтая, такъ и повалилась.

Раздѣлась и я, какъ слѣдуетъ, помолилась Богу, но все меня любопытство беретъ узнать, какъ тутъ у нихъ безъ меня были подробности? Къ генералу я побоялась идти: думаю, чтобъ опять афронта какого не было, а ее спросить даже слѣдуетъ, но она тоже какъ-то не допускаетъ. Дай, думаю, съ хитростью къ ней пойду. Вхожу къ ней въ каморку и спрашиваю:

— Что, никого, говорю,—тутъ, Леканида Петровна, безъ меня не было.

Молчитъ.

— Что жъ, говорю,—ты, мать, и отвѣтить не хочешь?

А она съ сердцемъ этакъ: нечего, говоритъ,—вамъ меня разспрашивать.

— Какъ же это, говорю, — нечего мнѣ тебя разспрашивать? Я хозяйка.

— Потому, говоритъ, — что вы безъ всякихъ вопросовъ очень хорошо все знаете; и это, ужъ я слышу, совсѣмъ другимъ тономъ говоритъ.

Ну, тутъ, я все дѣло, разумѣется, поняла.

Она только вздыхаетъ; и пока я улеглась и уснула — все вздыхаетъ.

— Это, говорю,—Домна Платоновна, ужъ и конецъ?

— Это первому дѣйствію, государь мой, конецъ.

— А во второмъ-то что же происходило?

— А во второмъ она вышла противъ меня, мерзавка— вотъ что во второмъ происходило.

— Какъ же, спрашиваю,—это, Домна Платоновна, очень интересно, какъ такъ это сдѣлалось?

— А такъ, сударь мой, и сдѣлалось, какъ дѣлается: силу человѣкъ въ себѣ почуялъ, ну, сейчасъ и свиньей сталъ.

— И вскорѣ, говорю,—это она такъ къ вамъ перемѣнилась?

— Тутъ же таки. На другой день ужъ всю это свою козью прыть показала. На другой день я, по обнакновенію, въ свое время встала, сама поставила самоваръ и сѣла къ чаю около ея постели въ каморочкѣ, да и говорю: иди же, говорю,—Леканида Петровна, умывайся, да Богу молись, чай пора пить. Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нея изъ кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я къ этой бумажкѣ, чтобъ поднять ее, а она вдругъ сама, какъ ястребъ, на нее бросается.

— Не троньте! говоритъ,—и хапъ ее въ руку.

— Вижу, бумажка сторублевая.

— Что жъ ты, говорю,—такъ, матушка, рычишь?

— Такъ хочу, такъ и рычу.

— Успокойся, говорю,—милая; я, слава Богу, не Дисленьша, въ моемъ домѣ никто у тебя твоего добра отнимать не станетъ. Ни слова она мнѣ въ отвѣтъ не сказала: мой чай пьетъ и на меня жъ глядѣть не хочетъ; возьми ты это, хоть кому-нибудь доведися—станетъ больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще въ разстройкѣ, и точно вижу, что какъ это воротъ-то у нея въ рубашкѣ широкій, такъ видно, знаешь, какъ грудь-то у ней такъ вотъ и вздрагиваетъ, и на что я тебѣ сказывала: была она собою тѣломъ и бѣла, и розовая, точно пухъ въ атласѣ, а тутъ, знаешь, будто вдругъ она какая-то темная мнѣ показалась тѣломъ, и все у нея по голымъ плечамъ-то сиротки вспрыгиваютъ, пупырышки эти такія, что вотъ съ холоду когда выступаютъ. Холеной нѣженкѣ первый снѣжокъ труденъ. Я ее даже молча и пожалѣла еще, и никакъ себѣ не воображала, какая она ехидная.

Вечеромъ прихожу; гляжу — она сидитъ передъ свѣчкой и рубашку себѣ новую шьетъ, а на столѣ передъ

ней еще такъ три, не то четыре рубашки лежатъ прикроенныя.

— Почемъ, спрашиваю,—брала полотно?

А она этакъ тихо-тихохонько мнѣ вотъ что отвѣчаетъ:

— Я, говоритъ,—Домна Платоновна, желала васъ просить: оставьте вы меня, пожалуйста, съ вашими разговорами.

Смотрю, видъ у нея такой покойный, будто совсѣмъ и не сердится. Ну, думаю, матушка, когда ты такая, такъ и я же къ тебѣ стану иная.

— Я, говорю ей,—Леканида Петровна, въ своемъ домѣ хозяйка и все говорить могу; а тебѣ, если мои разговоры непріятны, такъ не угодно ли, говорю—отправляться куда угодно.

— И не безпокойтесь, говоритъ,—я и отправлюсь.

— Только прежде всего надо, я говорю,—разсчитаться: честные люди, не разсчитавшись, не съѣзжаютъ.

— Опять, говоритъ,—не безпокойтесь.

— Я, отвѣчаю,—не безпокоюсь, ну, только считаю ей, за полтора мѣсяца, за квартиру десять рублей и что пилаѣла, пятнадцать рублей, да за чай, говорю,—положимъ, хоть три цѣлковыхъ; прачкѣ опять тоже три цѣлковыхъ, тридцать-одинъ цѣлковый, говорю. За свѣчки тутъ-то не посчитала, и что въ баню съ собой два раза ее брала, и то тоже забыла.

— Очень хорошо-съ, отвѣчаетъ,—все будетъ вамъ за плачено.

На другой день вечеромъ ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидитъ, себѣ рубашку шьетъ, а на стѣнѣ, такъ насупротивъ ея, на гвоздикѣ виситъ этакой бурнусъ, черный атласный, хорошій бурнусъ, на гроденаплевой подкладкѣ и на пуху. Закипѣло у меня, знаешь, что все это она черезъ меня, черезъ мое радѣтельство получила, да еще безъ меня же, словно будто потоймя отъ меня справляетъ.

— Бурнусы-то, говорю,—можно бъ, мнѣ кажется, погодить справлять, а прежде бъ съ долгами расчесться.

Она на эти мои слова сейчасъ опущаетъ бѣлу-рученьку въ карманъ; вытаскиваетъ оттуда бумажку и подаетъ. Смотрю, въ этой бумажкѣ аккуратъ тридцать и одинъ цѣлковый.

Взяла я деньги и говорю:—Благодарствуйте, говорю,—Леканида Петровна. Ужъ «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.

— Не за что-съ, отвѣчаетъ, а сама и глазъ на меня даже съ работы не вскинетъ; все шьетъ, все шьетъ; такъ игла-то у нея и летаетъ.

Постой же, думаю,—змѣйка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась. Это, говорю,—Леканида Петровна, вы мнѣ мои расходы вернули, а что жъ вы мнѣ за мои за хлопоты пожалуете?

— За какіе, спрашиваетъ,—за хлопоты?

— Какъ же, говорю,—я вамъ стану объяснять? сами, чай, понимаете.

А она это шьетъ, наперстокомъ-то по рубцу водитъ, да и говоритъ, не глядя: пусть, говоритъ, вамъ за эти ваши милыя хлопоты платитъ тотъ, кому онѣ были нужны.

— Да вѣдь вамъ, говорю,—онѣ больше всѣхъ нужны-то были.

— Нѣтъ, мнѣ, говоритъ,—онѣ не были нужны. А впрочемъ, сдѣлайте милость, оставьте меня въ покоѣ.

Довольно съ тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю съ нею, и не говорю.

Только на утро, гдѣ бы пить чай, смотрю—она убралась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надѣла, недошитыя свернула въ платочекъ; смотрю, нагинается, изъ-подъ кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достаетъ... Прехорошенькая шляпочка... Все во всемъ ея вкусѣ... Надѣла ее и говоритъ: прощайте, Домна Платоновна.

Жаль мнѣ ее опять тутъ, какъ дочь родную, стало: постой же, говорю ей,—постой, хоть чаю-то напейся!

— Покорно благодарю, отвѣчаетъ:—я у себя буду пить чай.

— Понимай, значитъ—то, что у *себя!* Ну, Богъ съ тобой, я и это мимо ушей пустила.

— Гдѣ жъ, говорю,—ты будешь жить?

— На Владимірской, говоритъ,—въ Тарховомъ домѣ.

— Знаю, говорю,—домъ отличный, только дворники большіе повѣсы.

— Мнѣ, говоритъ,—до дворниковъ дѣла нѣтъ.

— Что жъ, говорю,—я думала, что ты это молишься, а такъ самому съ собой разговаривать, другъ мой, не годится. Это только одни помѣшанные сами съ собой разговариваютъ.

— Ахъ,—отвѣчаетъ она мнѣ:—я, говоритъ,—Домна Платоновна, ужъ и сама думаю, что я, кажется, помѣшанная. На что я только иду! на что я это иду!—заговорила вдругъ, и въ грудь себя таково изо всей силы ударяетъ.

— Что жъ, говорю, — дѣлать? Такъ тебѣ, вѣрно, путь такой тяжелый назначенъ.

— Какъ, говоритъ,—такой мнѣ путь назначенъ? Я была честная дѣвушка! я была честная жена! Господи! Господи! да гдѣ же Ты? Гдѣ же, гдѣ Богъ?

— Бога, говорю,—читается, другъ мой, никто же видѣ, и нигдѣ же.

— А гдѣ же есть сожалительные, добрые христіане? Гдѣ они? гдѣ?

— Да здѣсь, говорю,—и христіане.

— Гдѣ!

— Да какъ *гдѣ?* Вся Россія — все христіане, и мы съ тобой христіанки.

— Да, да, говоритъ,—и мы христіанки... и сама, вижу, эти слова выговариваетъ, и въ лицѣ страшная становится. Словно она съ кѣмъ съ невидимымъ говоритъ.

— Фу, говорю,—да сумасшедшая ты, что ли, въ самомъ дѣлѣ? что ты меня пужаешь-то? что ты ропотъ-то на Создателя своего произносишь?

Смотрю: сейчасъ она опять смирилась, плачетъ опять тихо и разсуждаетъ:

— Изъ-за чего, говоритъ,—это я только все себѣ надѣлала? Какихъ я людей слушала? Разбили меня съ мужемъ; натолковали мнѣ, что онъ и тиранъ, и варваръ, когда это совсѣмъ неправда была, когда я, я *сама,* презрѣнная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насулили мнѣ здѣсь горы золотыя, а не сказали про рѣки огненныя. Мужъ меня теперь бросилъ, смотрѣть на меня не хочетъ, писемъ моихъ не читаетъ. А завтра я... бррр...хъ!

Вся даже задрожала.

— Маменька!—стала звать,—маменька! если бъ ты меня теперь, душечка, видѣла? Если бъ ты, чистенькій ангелъ

мой, на меня теперь посмотрѣла изъ своей могилки? Какъ она насъ, Домна Платоновна, воспитывала! Какъ мы жили хорошо; ходили всегда чистенькія; все у насъ въ домѣ было такое хорошенькое; цвѣточки мама любила; бывало, говоритъ, возьметъ за руки и пойдемъ двое далеко... въ луга пойдемъ...

Тутъ-то знаешь ты, сонъ у меня удивительный — слушала я, какъ это хорошо все она вспоминаетъ, и заснула.

Ну, представь же ты теперь себѣ: сплю это; заснула у нея, на ея постеленкѣ, и какъ пришла къ ней, совсѣмъ даже въ юбкѣ заснула, и опять тебѣ говорю, что сплю я свое время крѣпко, и сновъ никогда никакихъ не вижу, кромя какъ развѣ къ какому у меня воровству; а тутъ, все это мнѣ видятся рощи такія, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нея русая, вся въ кудряшкахъ, и носитъ она въ рукахъ вѣночекъ, а за нею собачка, такая бѣленькая собачка, и все на меня гамъ-гамъ, гамъ-гамъ— будто сердится и укусить меня хочетъ. Я будто нагинаюсь, чтобъ поднять палочку, чтобъ эту собачку отъ себя отогнать, а изъ земли вдругъ мертвая ручища: хвать меня вотъ за самое за это мѣсто, за кость. Вскинулась я, смотрю—свое время я ужъ проспала, и руку страсть какъ неловко перележала. Ну, одѣлась я, помолилась Богу и чайку напилась, а она все спитъ.

— Пора, говорю, — Леканида Петровна, вставать; чай, говорю,—на конфоркѣ стоитъ, а я, мой другъ, ухожу.

Поцѣловала ее на постели въ лобъ, истинно говорю тебѣ, какъ дочь родную жалѣючи, да изъ двери-то выходя, ключикъ это потихоньку вынула, да въ карманъ.

— Такъ-то, думаю, дѣло честнѣе будетъ.

Захожу къ генералу и говорю: ну, ваше превосходительство, теперь дѣло не мое. Я свое сдѣлала — пожалуйте поскорѣй, и ему отдала и ключъ.

— Ну-съ, говорю, — милая Домна Платоновна, не на этомъ же все кончилось?

Домна Платоновна засмѣялась и головой закачала съ такимъ выраженіемъ, что: смѣшны, молъ, всѣ люди на бѣломъ свѣтѣ.

Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю — огня нѣтъ.

— Леканида Петровна! зову.

Слышу она на моей постели ворочается.

— Спишь? спрашиваю:—а самое меня, знаешь, такъ смѣхъ и подмываетъ.

— Нѣтъ, не сплю, отвѣчаетъ.

— Что же ты огня, молъ, не засвѣтишь?

— На что жъ онъ мнѣ, говоритъ,—огонь?

Зажгла я свѣчу, раздула самоваришку, зову ее чай пить.

— Не хочу, говоритъ, — я, а сама все къ стѣнкѣ заворачивается.

— Ну, по крайности, говорю,—встань же, хоть на свою постель перейди: мнѣ мою постель надо поправить.

Вижу, поднимается какъ волкъ угрюмый. Взглянула исподлобья на свѣчу и глаза рукой заслоняетъ.

— Что ты, спрашиваю,—глаза закрываешь?

— Больно, отвѣчаетъ,—на свѣтъ смотрѣть.

Пошла и слышу, какъ была опять совсѣмъ въ платьѣ одѣтая, такъ и повалилась.

Раздѣлась и я, какъ слѣдуетъ, помолилась Богу, но все меня любопытство беретъ узнать, какъ тутъ у нихъ безъ меня были подробности? Къ генералу я побоялась идти: думаю, чтобъ опять афронта какого не было, а ее спросить даже слѣдуетъ, но она тоже какъ-то не допускаетъ. Дай, думаю, съ хитростью къ ней пойду. Вхожу къ ней въ каморку и спрашиваю:

— Что, никого, говорю,—тутъ, Леканида Петровна, безъ меня не было.

Молчитъ.

— Что жъ, говорю,—ты, мать, и отвѣтить не хочешь?

А она съ сердцемъ этакъ: нечего, говоритъ,—вамъ меня разспрашивать.

— Какъ же это, говорю, — нечего мнѣ тебя разспрашивать? Я хозяйка.

— Потому, говоритъ, — что вы безъ всякихъ вопросовъ очень хорошо все знаете; и это, ужъ я слышу, совсѣмъ другимъ тономъ говоритъ.

Ну, тутъ, я все дѣло, разумѣется, поняла.

Она только вздыхаетъ; и пока я улеглась и уснула — все вздыхаетъ.

— Это, говорю,—Домна Платоновна, ужъ и конецъ?

— Это первому дѣйствію, государь мой, конецъ.

— А во второмъ-то что же происходило?

— А во второмъ она вышла противъ меня, мерзавка— вотъ что во второмъ происходило.

— Какъ же, спрашиваю,—это, Домна Платоновна, очень интересно, какъ такъ это сдѣлалось?

— А такъ, сударь мой, и сдѣлалось, какъ дѣлается: силу человѣкъ въ себѣ почуялъ, ну, сейчасъ и свиньей сталъ.

— И вскорѣ, говорю,—это она такъ къ вамъ перемѣнилась?

— Тутъ же таки. На другой день ужъ всю это свою козью прыть показала. На другой день я, по обнакновенію, въ свое время встала, сама поставила самоваръ и сѣла къ чаю около ея постели въ каморочкѣ, да и говорю: иди же, говорю,—Леканида Петровна, умывайся, да Богу молись, чай пора пить. Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нея изъ кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я къ этой бумажкѣ, чтобъ поднять ее, а она вдругъ сама, какъ ястребъ, на нее бросается.

— Не троньте! говоритъ,—и хапъ ее въ руку.

— Вижу, бумажка сторублевая.

— Что жъ ты, говорю,—такъ, матушка, рычишь?

— Такъ хочу, такъ и рычу.

— Успокойся, говорю,—милая; я, слава Богу, не Дисленьша, въ моемъ домѣ никто у тебя твоего добра отнимать не станетъ. Ни слова она мнѣ въ отвѣтъ не сказала: мой чай пьетъ и на меня жъ глядѣть не хочетъ; возьми ты это, хоть кому-нибудь доведися—станетъ больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще въ разстройкѣ, и точно вижу, что какъ это воротъ-то у нея въ рубашкѣ широкій, такъ видно, знаешь, какъ грудь-то у ней такъ вотъ и вздрагиваетъ, и на что я тебѣ сказывала: была она собою тѣломъ и бѣла, и розовая, точно пухъ въ атласѣ, а тутъ, знаешь, будто вдругъ она какая-то темная мнѣ показалась тѣломъ, и все у нея по голымъ плечамъ-то сиротки вспрыгиваютъ, пупырышки эти такія, что вотъ съ холоду когда выступаютъ. Холеной нѣженкѣ первый снѣжокъ труденъ. Я ее даже молча и пожалѣла еще, и никакъ себѣ не воображала, какая она ехидная.

Вечеромъ прихожу; гляжу — она сидитъ передъ свѣчкой и рубашку себѣ новую шьетъ, а на столѣ передъ

ней еще такъ три, не то четыре рубашки лежатъ прикроенныя.

— Почемъ, спрашиваю,—брала полотно?

А она этакъ тихо-тихохонько мнѣ вотъ что отвѣчаетъ:

— Я, говоритъ,—Домна Платоновна, желала васъ просить: оставьте вы меня, пожалуйста, съ вашими разговорами.

Смотрю, видъ у нея такой покойный, будто совсѣмъ и не сердится. Ну, думаю, матушка, когда ты такая, такъ и я же къ тебѣ стану иная.

— Я, говорю ей,—Леканида Петровна, въ своемъ домѣ хозяйка и все говорить могу; а тебѣ, если мои разговоры непріятны, такъ не угодно ли, говорю—отправляться куда угодно.

— И не безпокойтесь, говоритъ,—я и отправлюсь.

— Только прежде всего надо, я говорю,—разсчитаться: честные люди, не разсчитавшись, не съѣзжаютъ.

— Опять, говоритъ,—не безпокойтесь.

— Я, отвѣчаю,—не безпокоюсь, ну, только считаю ей, за полтора мѣсяца, за квартиру десять рублей и что пилала, пятнадцать рублей, да за чай, говорю,—положимъ, хоть три цѣлковыхъ; прачкѣ опять тоже три цѣлковыхъ, тридцать-одинъ цѣлковый, говорю. За свѣчки тутъ-то не посчитала, и что въ баню съ собой два раза ее брала, и то тоже забыла.

— Очень хорошо-съ, отвѣчаетъ,—все будетъ вамъ за плачено.

На другой день вечеромъ ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидитъ, себѣ рубашку шьетъ, а на стѣнѣ, такъ насупротивъ ея, на гвоздикѣ виситъ этакой бурнусъ, черный атласный, хорошій бурнусъ, на гроденаплевой подкладкѣ и на пуху. Закипѣло у меня, знаешь, что все это она черезъ меня, черезъ мое радѣтельство получила, да еще безъ меня же, словно будто потоймя отъ меня справляетъ.

— Бурнусы-то, говорю,—можно бъ, мнѣ кажется, погодить справлять, а прежде бъ съ долгами расчесться.

Она на эти мои слова сейчасъ опущаетъ бѣлу-рученьку въ карманъ; вытаскиваетъ оттуда бумажку и подаетъ. Смотрю, въ этой бумажкѣ аккуратъ тридцать и одинъ цѣлковый.

Взяла я деньги и говорю:—Благодарствуйте, говорю,—Леканида Петровна. Ужъ «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.

— Не за что-съ, отвѣчаетъ, а сама и глазъ на меня даже съ работы не вскинетъ; все шьетъ, все шьетъ; такъ игла-то у нея и летаетъ.

Постой же, думаю,—змѣйка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась. Это, говорю,—Леканида Петровна, вы мнѣ мои расходы вернули, а что жъ вы мнѣ за мои за хлопоты пожалуете?

— За какіе, спрашиваетъ,—за хлопоты?

— Какъ же, говорю,—я вамъ стану объяснять? сами, чай, понимаете.

А она это шьетъ, наперстокомъ-то по рубцу водитъ, да и говоритъ, не глядя: пусть, говоритъ, вамъ за эти ваши милыя хлопоты платитъ тотъ, кому онѣ были нужны.

— Да вѣдь вамъ, говорю,—онѣ больше всѣхъ нужны-то были.

— Нѣтъ, мнѣ, говоритъ,—онѣ не были нужны. А впрочемъ, сдѣлайте милость, оставьте меня въ покоѣ.

Довольно съ тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю съ нею, и не говорю.

Только на утро, гдѣ бы пить чай, смотрю—она убралась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надѣла, недошитыя свернула въ платочекъ; смотрю, нагинается, изъ-подъ кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достаетъ... Прехорошенькая шляпочка... Все во всемъ ея вкусѣ... Надѣла ее и говоритъ: прощайте, Домна Платоновна.

Жаль мнѣ ее опять тутъ, какъ дочь родную, стало: постой же, говорю ей,—постой, хоть чаю-то напейся!

— Покорно благодарю, отвѣчаетъ:—я у себя буду пить чай.

— Понимай, значитъ—то, что у *себя!* Ну, Богъ съ тобой, я и это мимо ушей пустила.

— Гдѣ жъ, говорю,—ты будешь жить?

— На Владимірской, говоритъ,—въ Тарховомъ домѣ.

— Знаю, говорю,—домъ отличный, только дворники большіе повѣсы.

— Мнѣ, говоритъ,—до дворниковъ дѣла нѣтъ.

— Разумѣется, говорю,—мой другъ, разумѣется! Комнатку себѣ, что ли, наняла?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ,—квартиру взяла, съ кухаркой буду жить.

— Вонъ, вижу, куда заиграло! Ахъ ты хитрая! говорю,—хитрая! шутя, на нее, знаешь, пальцемъ грожусь. Зачѣмъ же, говорю,—ты меня обманывала-то, говорила, что къ мужу поѣдешь?

— А вы, говоритъ,—думаете, что я васъ обманывала?

— Да ужъ, отвѣчаю,—что тутъ думать! когда бъ имѣла желаніе ѣхать, то, разумѣется, не нанимала бъ тутъ квартиры.

— Ахъ, говоритъ,—Домна Платоновна, какъ мнѣ васъ жалко! ничего вы не понимаете.

— Ну, говорю,—ужъ не хитри, душечка! Вижу, что ты умно обдѣлала дѣльце.

— Да вы, говоритъ,—что это толкуете! Развѣ такія мерзавки, какъ я, къ мужьямъ ѣздятъ?

— Ахъ, мать ты моя! что ты это, отвѣчаю,—себя такъ ужъ очень мерзавишь! И въ пять разъ мерзавнѣй тебя да съ мужьями живутъ.

А она, ужъ совсѣмъ это, на порогѣ-то стоючи, вдругъ улыбнулась, да и говоритъ: нѣтъ, извините меня, Домна Платоновна, я на васъ сердилась; ну, а вижу, что на васъ нельзя сердиться, потому что вы совсѣмъ глупы.

Это вмѣсто прощанья-то! нравится это тебѣ?—Ну, подумала я ей вслѣдъ, глупа-неглупа, а видно умнѣй тебя, потому, что я захотѣла, то съ тобой, съ умницей, съ воспитанной, и сдѣлала.

Такъ она отъ меня сошла, не то что съ ссорою, а все какъ съ небольшимъ удовольствіемъ. И не видала я ее съ тѣхъ поръ, и не видала, я думаю, больше какъ годъ. Въ это-то время у меня тутъ какъ-то работку Богъ давалъ: четырехъ купцовъ я женила; одну полковницкую дочь замужъ выдала; одного надворнаго совѣтника на вдовѣ, на купчихѣ, тоже женила, ну, и другія разныя дѣла тоже перепадали, а тутъ это товаръ тоже изъ своего мѣста насылали—такъ время и прошло. Только вышелъ тутъ такой случай: была я одинъ разъ у этого самаго генерала, съ которымъ Леканидку-то познакомила: къ невѣсткѣ его зашла. Съ сыномъ-то съ его я давно была знакома: такой

тоже весь въ отца вышелъ. Ну, прихожу я къ невѣсткѣ, мантиль блондовую она хотѣла дать продать, а ея и нѣтъ: въ Воронежъ, говорятъ, къ Митрофанію угоднику поѣхала.

— Зайду, думаю,—по старой памяти къ барину.

Всхожу съ задняго хода, никого нѣтъ. Я потихонечку топы-топы, да одну комнать прошла и другую, и вдругъ, сударь ты мой, слышу Леканидкинъ голосъ: «шарманъ мой! говоритъ, я, говоритъ, люблю тебя; ты одно мое счастье земное!»

— Отлично, думаю,—и съ папенькой, и съ сыночкомъ романсы проводитъ моя Леканида Петровна; да сама опять топы-топы, да тѣми же пятами вонъ. Узнаю-поузнаю, какъ это она познакомилась съ этимъ, съ молодымъ-то,—ажъ выходитъ, что жена-то молодого сама надъ нею сжалилась, навѣщать ее стала потихоньку, все, это, знаешь, жалѣючи ее, что такая будто она дамка образованная, да хорошая; а она, Леканидка, ей, не хуже какъ мнѣ, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это, значитъ, дѣло; знаю и молчу; даже еще покрываю этотъ ея грѣхъ, и гдѣ слѣдуетъ виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не съ годъ ли. Леканидка въ ту пору жила въ Кирпичномъ переулкѣ. Собиралась я, это, на средокрестной недѣлѣ говѣть, и иду этакъ по Кирпичному переулку, глянула на домъ-то, да думаю: какъ это нехорошо, что мы съ Леканидой Петровной такое время поссорившись: тѣла и крови готовясь принять—дай, зайду къ ней, помирюсь! Захожу. Парадъ такой въ квартирѣ, что лучше требовать нельзя. Горничная—точно какъ барышня.

— Доложите, говорю,—умница, что, молъ, кружевница Домна Платоновна желаетъ ихъ видѣть.

Пошла и выходитъ, говоритъ:—пожалуйте.

Вхожу въ гостиную; таково тоже все парадно, и на диванѣ сидитъ, это, сама Леканидка и генералова невѣстка съ ней: обѣ кофій кушаютъ. Встрѣчаетъ меня Леканидка будто и ничего, будто со вчера всего только не видались.

Я тоже со всей моей простотой: славно, говорю, живешь, душечка; дай Богъ тебѣ и еще лучше.

А она съ той что-то вдругъ и залопотала по-французски. Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, какъ дура, глазѣю по комнатѣ, да и зѣвать стала.

— Ахъ,—говоритъ, вдругъ Леканидка:—не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофію?

— Отчего жъ, говорю,—позвольте чашечку.

Она это сейчасъ звонитъ въ серебряный колокольчикъ и приказываетъ своей дѣвкѣ: Даша, говоритъ, напойте Домну Платоновну кофіемъ.

Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько, что такое значитъ *напойте*; только смотрю, такъ минутъ черезъ десять, эта самая ея Дашка входитъ опять и докладываетъ: готово, говоритъ, сударыня.

— Хорошо,—говоритъ ей въ отвѣтъ Леканидка, да и оборачивается ко мнѣ: — подите, говоритъ, Домна Платоновна: она васъ напоитъ.

Ухъ, ужъ на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала себѣ, но удержалась. Встала и говорю: нѣтъ, покорно васъ благодарю, Леканида Петровна, на вашемъ угощеніи. У меня, говорю, хоть я и бѣдная женщина, а у меня и свой кофій есть.

— Что жъ, говоритъ,—это вы такъ разсердились?

— А то, прямо ей въ глаза говорю, — что вы со мной мою хлѣбъ-соль вмѣстѣ кушивали, а меня къ своей горничной посылаете: такъ это мнѣ, разумѣется, обидно.

— Да моя, говоритъ,—Даша—честная дѣвушка; ея общество васъ оскорблять не можетъ, а сама будто, показалось мнѣ, какъ улыбается.

Ахъ ты, змѣя, думаю: я тебя у сердца моего пригрѣла, такъ ты теперь и по животу ползешь! Я, говорю, у этой дѣвицы чести ея нисколько не снимаю, ну только не вамъ бы, говорю, Леканида Петровна, меня съ своими прислугами за одинъ столъ сажать.

— А отчего это, спрашиваетъ,—такъ, Домна Платоновна, не мнѣ?

— А потому, говорю, — матушка, что вспомни, что ты была, и посмотри, что ты есть, и кому ты всѣмъ этимъ обязана.

— Очень, говоритъ, — помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обязана этимъ вамъ, вашей добротѣ, Домна Платоновна.

— И точно, отвѣчаю, — рѣчь твоя справедлива, прямая ты дрянь. Въ твоемъ же домѣ, да ничего не боясь, въ глаза

тебѣ эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сдѣлала.

А сама, знаешь, беру свой саквояжъ.

— Прощай, говорю,—госпожа великая!

А эта генеральская невѣстка-то чахоточная какъ вскочитъ, дохлая: какъ вы, говоритъ, смѣете оскорблять Леканиду Петровну!

— Смѣю, говорю,—сударыня.

— Леканида Петровна, говоритъ, — очень добра, но я, наконецъ, не позволю обижать ее въ моемъ присутствіи: она мой другъ.

— Хорошъ, говорю,—другъ!

Тутъ и Леканидка, гляжу, вскочила, да какъ крикнетъ: вонъ, говоритъ, гадкая ты женщина!

— А! говорю,—гадкая я женщина! Я гадкая, да я съ чужими мужьями романсовъ не провождаю. Какая я ни на есть, да такого не дѣлала, чтобъ и папеньку, и сыночка однѣми прелестями-то своими прельщать! Извольте, говорю, сударыня, вамъ вашего друга, ужъ вполнѣ, говорю, другъ.

— Лжете, говоритъ,—вы! Я не повѣрю вамъ, вы это со злости на Леканиду Петровну говорите.

— Ну, а со злости, такъ вотъ же, говорю, — теперь ты меня, Леканида Петровна, извини; теперь, говорю, ужъ я тебя сверзну, и все, знаешь, что̀ слышала, что̀ Леканидка съ мужемъ-то ея тогда чекотала, то все имъ и высыпала на столъ, да и вонъ.

— Ну-съ, говорю,—Домна Платоновна?

— Бросилъ ее старикъ послѣ этого скандала.

— А молодой?

— Да съ молодымъ нешто у нея интересъ былъ какой! Съ молодымъ у нея, какъ это говорится такъ,—пуръ-амуръ любовь шла. Тоже вѣдь, гляди ты, шушваль этакая, а безъ любви никакъ дышать не могла. Какъ же! нельзя же комиссару безъ штановъ быть. А вотъ теперь и безъ любви обходится.

— Вы, говорю,—почему это знаете, что обходится?

— А какъ же не знаю! Стало-быть, что обходится, когда живетъ въ такой жизни, что нынче одинъ князь, а завтра другой графъ; нынче англичанинъ, завтра итальянецъ или ишпанецъ какой. Ужъ тутъ, стало, не любовь, а деньги.

Бзыритъ по магазинамъ, да по Невскому въ такой коляскѣ лежачей на рысакахъ катается...

— Ну, такъ вы съ тѣхъ поръ съ нею и не встрѣчаетесь?

— Нѣтъ. Зла я на нее не питаю, но не хожу къ ней. Богъ съ нею совсѣмъ! Разъ какъ-то на Морской нынче по осени выхожу отъ одной дамы, а она на крыльцо всходитъ. Я-таки дала ей дорогу и говорю: «здравствуйте, Леканида Петровна!»—а она вдругъ, зеленая вся, наклонилась ко мнѣ, съ крылечка-то, да этакъ къ самому къ моему лицу и съ ласковой такой миной отвѣчаетъ: здравствуй, мерзавка!

Я даже не утерпѣлъ и разсмѣялся.

— Ей-Богу! Здравствуй, говоритъ,—мерзавка! Хотѣла я ей тутъ-то, было, сказать: не мерзавь, молъ, матушка, сама ты нынче мерзавка, да подумала, что лакей-то этотъ за нею, и зонтикъ у него большой въ рукахъ, такъ ужъ проходи, думаю, налѣво, французская королева.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Со времени сообщенія мнѣ Домною Платоновной повѣсти Леканиды Петровны прошло пять лѣтъ. Въ теченіе этихъ пяти лѣтъ я уѣзжалъ изъ Петербурга и снова въ него возвращался, чтобы услышать его неумолчный грохотъ, смотрѣть блѣдныя, озабоченныя и задавленныя лица, дышать смрадомъ его испареній и хандрить подъ угнетающимъ впечатлѣніемъ его чахоточныхъ бѣлыхъ ночей—Домна Платоновна была все та же. Вездѣ она меня какъ-то случайно отыскивала, встрѣчалась со мной съ дружескими поцѣлуями и объятіями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные происки человѣческаго рода, избравшаго ее, Домну Платоновну, своей любимой жертвой и какимъ-то вѣчнымъ игралищемъ. Много разсказала мнѣ Домна Платоновна въ эти пять лѣтъ разныхъ исторій, гдѣ она была всегда попрана, оскорблена и обижена за свои же добродѣтели и попеченія о нуждахъ человѣческихъ.

Разнообразны, странны и многообильны всякими приключеніями бывали эти интересные и безхитростные разсказы моей добродушной Домны Платоновны. Много я слышалъ отъ нея про разныя свадьбы, смерти, наслѣдства, воровства-кражи и воровства-мошенничества, про всякій нагольный и крытый развратъ, про всякія петербургскія мистеріи и про васъ, про ваши назидательныя похожденія, мои до-

рогія землячки Леканиды Петровны, про васъ, везущихъ сюда съ вольной Волги, изъ раздольныхъ степей саратовскихъ, съ тихой Оки и изъ золотой, благословенной Украины свои свѣжія, здоровыя тѣла, свои задорныя, но незлобивыя сердца, свои безумно-смѣлыя надежды на рокъ, на случай, на свои ни къ чему негодныя здѣсь силы и порыванія.

Но возвращаемся къ нашей пріятельницѣ Домнѣ Платоновнѣ. Васъ, кто бы вы ни были, мой снисходительный читатель, не должно оскорблять, что я назвалъ Домну Платоновну нашей общей пріятельницей. Предполагая въ каждомъ читателѣ хотя самое малое знакомство съ Шекспиромъ, я прошу его припомнить то гамлетовское выраженіе, что «если со всякимъ человѣкомъ обращаться по достоинству, то очень немного найдется такихъ, которые не заслуживали бы порядочной оплеухи». Трудно бываетъ проникнуть во святая-святыхъ человѣка!

Итакъ, мы съ Домной Платоновной все водили хлѣбъ-соль и дружбу; все она навѣщала меня и вѣчно, поспѣшая куда-нибудь по дѣлу, засиживалась по цѣлымъ часамъ на одномъ мѣстѣ. Я тоже былъ у Домны Платоновны два или три раза въ ея квартирѣ у Знаменья и видѣлъ ту каморочку, въ которой укрывалась до своего акта отреченія Леканида Петровна, видѣлъ ту кондитерскую, въ которой Домна Платоновна брала песочное пирожное, чтобы подкормить ее и утѣшить; видѣлъ, наконецъ, двухъ свѣжепривозныхъ молодыхъ «дамокъ», которыя прибыли искать въ Петербургѣ счастья и попали къ Домнѣ Платоновнѣ «на Леканидкино мѣсто»; но никогда мнѣ не удавалось вывѣдать у Домны Платоновны, какими путями шла она и дошла до своего нынѣшняго положенія и до своихъ оригинальныхъ убѣжденій насчетъ собственной, абсолютной правоты и всеобщаго стремленія ко всякому обману. Мнѣ очень хотѣлось знать, что такое происходило съ Домной Платоновной прежде, чѣмъ она зарядила: «Э, ге-ге, нѣтъ ужъ ты, батюшка, со мной, сдѣлай милость, не спорь; я ужъ это лучше тебя знаю». Хотѣлось знать, какова была та благословенная купеческая семья на Зушѣ, въ которой (т. е. въ семьѣ) выросла этакая круглая Домна Платоновна, у которой и молитва, и постъ, и собственное цѣломудріе, которымъ она хвалилась, и жалость къ людямъ, сходились вмѣстѣ съ сватовскою ложью, артистическою наклонностью къ устройству

коротенькихъ браковъ не любви ради, а ради интереса, и т. п. Какъ это, я думалъ, все пробралось въ одно и то же толстенькое сердце и уживается въ немъ съ такимъ изумительнымъ согласіемъ, что сейчасъ одно чувство толкаетъ руку отпустить плачущей Леканидѣ Петровнѣ десять пощечинъ, а другое поднимаетъ ноги принести ей песочнаго пирожнаго; то же сердце сжимается при сновидѣніи, какъ мать чистенько водила эту Леканиду Петровну, и оно же спокойно бьется, приглашая какого-то толстаго борова поспѣшить какъ можно скорѣе запачкать эту Леканиду Петровну, которой теперь нечѣмъ и запереть своего тѣла!

Я понималъ, что Домна Платоновна не преслѣдовала этого дѣла, въ видѣ промысла, а принимала *по-питерски*, какъ какой-то неотразимый законъ, что женщинѣ нельзя выпутаться изъ бѣды иначе, какъ насчетъ своего собственнаго паденія. Но все-таки, что же ты такое, Домна Платоновна? Кто тебя всему этому вразумилъ и на этотъ путь поставилъ? Но Домна Платоновна, при всей своей словоохотливости, терпѣть не могла касаться своего прошлаго.

Наконецъ неожиданно вышелъ такой случай, что Домна Платоновна, совершенно ненарокомъ и безъ всякихъ съ моей стороны подходовъ, разсказала мнѣ, какъ она была *проста* и какъ «они» ее *вышколили* и довели до того, что она *теперь никому на синь порохъ не вѣритъ*. Не ждите, любезный читатель, въ этомъ разсказѣ Домны Платоновны ничего цѣльнаго. Едва ли онъ много поможетъ кому-нибудь выяснить себѣ процессъ умственнаго развитія этой петербургской дѣятельницы. Я передаю вамъ дальнѣйшій разсказъ Домны Платоновны, чтобы немножко васъ позабавить и, можетъ-быть, дать вамъ случай одинъ лишній разъ призадуматься надъ этой тупой, но страшной силой «петербургскихъ обстоятельствъ», не только создающихъ и вырабатывающихъ Домну Платоновну, но еще предающихъ въ ея руки лѣзущихъ въ воду, не спрося броду, Леканидъ, для которыхъ здѣсь Домна становится тираномъ, тогда какъ во всякомъ другомъ мѣстѣ она сама чувствовала бы себя передъ каждою изъ нихъ паріей или много что шутихой.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Былъ я въ Петербургѣ боленъ и жилъ въ то время въ Коломнѣ. Квартира у меня, какъ выразилась Домна Пла-

тоновна, «была какая-то особенная». Это были двѣ просторныя комнаты въ старинномъ деревянномъ домѣ у маленькой, деревянной купчихи, которая недавно схоронила своего очень благочестиваго супруга и по вдовьему положенію занялась ростовщичествомъ, а свою прежнюю опочивальню, вмѣстѣ съ трехспальною кроватью, и смежную съ спальней гостиную комнату, съ громаднымъ кіотомъ, передъ которымъ ежедневно маливался ея покойникъ, пустила въ наемъ.

У меня въ такъ-называемомъ залѣ были диванъ, обитый настоящею русской кожей; столъ круглый, обтянутый полинявшимъ фіолетовымъ плисомъ, съ совершенно безцвѣтною шелковою бахромою; столовые часы съ мѣднымъ арапомъ; печка съ горельефной фигурой во впадинѣ, въ которой настаивалась настойка; длинное зеркало съ очень хорошимъ стекломъ и бронзовою арфою на верхней доскѣ высокой рамы. На стѣнахъ висѣли: масляный портретъ покойнаго императора Александра I; около него, въ очень тяжелыхъ золотыхъ рамахъ за стеклами, помѣщались литографіи, изображавшія четыре сцены изъ жизни королевы Женевьевы; императоръ Наполеонъ по инфантеріи и императоръ Наполеонъ по кавалеріи; какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей конурѣ, и портретъ купца съ медалью на аннинской лентѣ. Въ дальнемъ углу стоялъ высокій, трехъярусный образникъ съ тремя большими иконами съ темными ликами, строго смотрѣвшими изъ своихъ блестящихъ золоченыхъ окладовъ: передъ образникомъ лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу подъ образами шкафикъ съ полукруглыми дверцами и бронзовымъ кантомъ на мѣстѣ створа. Все это какъ будто не въ Петербургѣ, а будто на Замоскворѣчьѣ, или даже въ самомъ городѣ Мценскѣ. Спальня моя была еще болѣе мценская; даже мнѣ казалось, что та трехспальная постель, въ пуховикахъ которой я утопалъ, была не постель, а именно самъ Мценскъ, проживающій инкогнито въ Петербургѣ. Стоило только мнѣ погрузиться въ эти пуховыя волны, какъ какое-то сновторное, маковое покрывало тотчасъ надвигалось на мои глаза и застилало отъ нихъ весь Петербургъ съ его веселящейся скукой и скучающей веселостью. Здѣсь, при этой-то успокоивающей мценской обстановкѣ, мнѣ снова довелось всласть побесѣдовать съ Домной Платоновной.

Я простудился, и врачъ велѣлъ мнѣ полежать въ постели.

Разъ, такъ часу въ двѣнадцатомъ сѣренькаго мартовскаго дня, лежу я уже выздоравливающій и, начитавшись досыта, думаю: «не худо, если бы кто-нибудь и зашелъ», да не успѣлъ я такъ подумать, какъ словно съ этого моего желанія сталось—дверь въ мою залу скрипнула, и послышался веселый голосъ Домны Платоновны:

— Вотъ какъ это у тебя здѣсь прекрасно! и образа, и сіяніе передъ Божьимъ благословеніемъ—очень-очень даже прекрасно!

— Матушка, говорю,—Домна Платоновна, вы ли это?

— Да некому, отвѣчаетъ, — другъ мой, и быть какъ не мнѣ.

Поздоровались.

— Садитесь!—прошу Домну Платоновну.

Она сѣла на креслицѣ противъ моей постели и ручки свои съ бѣлымъ платочкомъ на колѣночки положила.

— Чѣмъ такъ хвораешь?—спрашиваетъ.

— Простудился, говорю.

— А то нынче очень много народу все на животы жалуются.

— Нѣтъ, я, говорю,—я на животъ не жалуюсь.

— Ну, а на животъ не жалуешься, такъ это пройдетъ. Квартира у тебя нынче очень хороша.

— Ничего, говорю,—Домна Платоновна.

— Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса крикивала, да вѣрно ей это прошло.

— Не знаю, говорю,—что-то будто не слышно, не кричитъ.

— А у меня-то, другъ мой, какое горе!—проговорила Домна Платоновна самымъ жалостнымъ голосомъ.

— Что такое, Домна Платоновна?

— Ахъ, такое, дружочекъ, горе, такое горе, что... ужасное, можно сказать, и горе, и несчастье, все вмѣстѣ. Видишь, вонъ въ чемъ я нынче товаръ-то ношу.

Посмотрѣлъ я, перегнувшись съ кровати, и вижу на столикѣ кружева Домны Платоновны, увязанныя въ черномъ шелковомъ платочкѣ съ бѣлыми каемочками.

— Въ траурѣ, говорю.

— Ахъ, милый, въ траурѣ, да въ какомъ еще траурѣ-то!

— Ну, а саквояжъ вашъ гдѣ же?

— Да вотъ о немъ-то, о саквояжѣ-то я и горюю. Пропалъ вѣдь онъ, мой саквояжъ.

— Какъ, говорю,—пропалъ?

— А такъ, другъ мой, пропалъ, что и по се два дни, какъ вспомню, такъ, Господи, думаю, неужели-жъ-таки такая я грѣшница, что Ты этакъ меня испытуешь? Видишь, какъ удивительно это все случилось: видѣла я сонъ; вижу, будто приходитъ ко мнѣ какой-то священникъ и приноситъ каравай, вотъ какъ, знаешь, въ нашихъ мѣстахъ изъ каши изъ пшенной пекутъ. «На, говоритъ, тебѣ, раба, каравай».— Батюшка, говорю, на что же мнѣ и къ чему каравай? Такъ вотъ видишь къ чему, онъ этотъ каравай-то, вышелъ—къ пропажѣ.

— Какъ же это, спрашиваю,—Домна Платоновна, было?

— Было это, другъ мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову?

— Нѣтъ, говорю,—не знаю.

— А не знаешь и не надо. Мы съ ней пріятельницы, и то-есть даже не совсѣмъ и пріятельницы, потому что она женщина преехидная и довольно даже подлая, ну, а такъ себѣ, знаешь, вотъ въ родѣ какъ съ тобой, знакомы. Зашла я къ ней такъ-то на свое на несчастье вечеромъ, да и засидѣлась. Все она, чтобъ ей пусто было совсѣмъ, право, посиди да посиди, Домна Платоновна. Все вѣдь съ жиру чѣмъ-то убивалась, что мужъ ее не ревнуетъ, а чего ревновать, когда съ рожи она престрашная и языкъ у нея такой пребольшущій, какъ у попугая. Разсказываетъ, болѣли у нея зубы, да лѣкарь велѣлъ ей поставить піявицу врачебную къ зубу, а фершаловъ мальчикъ ей эту піявицу къ языку припустилъ, и пошелъ у нея съ тѣхъ поръ въ языкѣ опухъ. Опять же-таки у меня въ этотъ вечеръ и дѣло было: къ Пяти-Угламъ надо было въ одинъ домъ сбѣгать къ купцу—жениться тоже хочетъ; но она, эта Кошевериха, не пущаетъ.

— Погоди, говоритъ,—кіевской наливочки выпьемъ, да Ѳадѣй Семеновичъ,—говоритъ, отъ всенощной придетъ, чайку напьемся: куда тебѣ спѣшить?

— Какъ, говорю,—мать, куда спѣшить?

Ну, а сама все-таки, какъ на грѣхъ, осталась, да это то водочки, то наливочки, такъ налилась, что даже въ головѣ у меня, чувствую, засточертѣло.

— Ну, говорю ей,—извини, Варвара Петровна, очень тебѣ на твоемъ угощеніи благодарна, только ужъ больше пить не могу.

Она пристаетъ, потчуетъ, а я говорю:

— Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою плипорцію знаю и ни за что больше пить не стану.

— Сожителя, говоритъ,—подожди.

— И сожителя, говорю,—ждать не буду.

Стала на своемъ, что иду, и иду, и только. Потому, знаешь, чувствую, что въ головѣ-то ужъ у меня чертополохъ пошелъ. Выхожу, это, я, сударь ты мой, за ворота, поворачиваю на Разъѣзжую и думаю: возьму извозчика. Стоитъ тутъ сейчасъ на углѣ живейный, я и говорю:

— Что, молодецъ, возьмешь къ Знаменью Божьей Матери?

— Пятиалтынный.

— Ну, какъ, отвѣчаю ему,—не пятиалтынный! пятачокъ.

А сама, знаешь, и иду по Разъѣзжей. Свѣтло вездѣ; фонари горятъ; газъ въ магазинахъ; и пѣшкомъ, думаю, дойду, если не хочешь, варваръ, пятачка взять, этакую близость проѣхать.

Только вдругъ, сударь мой, порхъ этакъ передо мною какой-то господинъ. Въ пальтѣ, въ фуражкѣ это, въ калошахъ, ну, одно слово баринъ. И откуда это только онъ передо мною выросъ, вотъ хоть убей ты меня, никакъ не понимаю.

— Скажите, говоритъ,—сударыня (еще сударыней, подлецъ, назвалъ), скажите, говоритъ, сударыня, гдѣ тутъ Владимірская улица?

— А вотъ, говорю,—милостивый государь, какъ прямо-то пойдете, да сейчасъ будетъ переулокъ направо... да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а онъ дергъ меня за саквояжъ.

— Наше, говоритъ,—вамъ сорокъ-одно да кланяться холодно, да и махъ отъ меня.

— Ахъ, говорю,—ты варваръ! ахъ, мерзавецъ ты этакой! Все это еще за одну насмѣшку только считаю. Но съ этимъ словомъ глядь, а саквояжа-то моего нѣтъ.

— Батюшки! заорала я, что было у меня силы во всю

мою глотку.—Батюшки! ору,—помогите! догоните его, варвара! догоните его, злодѣя! И сама-то, знаешь, бѣгу-натыкаюсь, и людей-то за руки ловлю, тащу: помогите, молъ,—защитите: саквояжъ мой сейчасъ унесъ какой-то варваръ! Бѣгу, бѣгу, ажно ноженьки мои стали, а его, злодѣя, и слѣдъ простылъ. Ну, и то сказать, гдѣ жъ мнѣ, дынѣ этакой, его, пса подчегараго, догнать! Обернусь такъ-то на народъ, крикну: варвары! что жъ вы глазѣете! креста на васъ нѣтъ, что ли? Ну, бѣгла, бѣгла да и стала. Стала и реву. Такъ ревма и реву, какъ дура. Сижу на тумбѣ да и реву. Собрался около меня народъ, толкуетъ: пьяная, должно-быть.

— Ахъ, вы, варвары, говорю,—этакіе! Сами вы пьяные, а у меня саквояжъ сейчасъ изъ рукъ украдено.

Тутъ городовой подошелъ: пойдемъ, говоритъ, тетка, въ кварталъ.

Приводитъ меня городовой въ кварталъ, я опять закричала.

Смотрю, изъ двери идетъ квартальный поручикъ и говоритъ:

— Что ты, здѣсь, женщина, этакъ шумишь?

— Помилуйте, говорю, — ваше высокоблагородіе, меня такъ и такъ сейчасъ обкрадено.

— Написать, говоритъ,—бумагу.

Написали.

— Теперь иди, говоритъ,—съ Богомъ.

Я пошла.

Прихожу черезъ день: что, говорю,—мой саквояжъ, ваше благородіе?

— Иди, говоритъ,—бумаги твои пошли, ожидай.

Ожидаю я, ожидаю; вдругъ въ часть меня требуютъ. Привели въ этакую большую комнату и множество тамъ лежитъ этихъ саквояжевъ. Частный майоръ, вѣжливый этакой мужчина и собою красивъ, узнайте, говоритъ, вашъ саквояжъ.

Посмотрѣла я—все не мои саквояжи.

— Нѣтъ-съ, говорю,—ваше высокоблагородіе, нѣтъ здѣсь моего саквояжа.

— Выдайте, приказываетъ,—ей бумагу.

— А въ чемъ, спрашиваю,—ваше высокоблагородіе, мнѣ будетъ бумага?

— Въ томъ, говоритъ,—матушка, что васъ обкрадено.

— Что жъ, докладываю ему,—мнѣ по этой бумагѣ, ваше высокоблагородіе?

— А что жъ, матушка, я вамъ еще могу сдѣлать?

Дали мнѣ эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, говорятъ,—въ благочинную управу. Прихожу я нонче въ благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчасъ выходитъ изъ дверей какой-то членъ, въ полковницкомъ одѣяніи, повелъ меня въ комнату, гдѣ видимо-невидимо лежитъ этихъ заквояжевъ.

— Смотри, говоритъ.

— Вижу, молъ,—ваше высокоблагородіе; ну, только моего саквояжа нѣтъ.

— Ну, погодите, говоритъ,—сейчасъ вамъ генералъ на бумагѣ подпишетъ.

Сижу я и жду-жду, жду-жду; пріѣзжаетъ генералъ: подали ему мою бумагу, онъ и подписалъ.

— Что же это такое генералъ подписали на моей бумагѣ? спрашиваю чиновника.

— А подписали, отвѣчаетъ,—что васъ обкрадено.

Держу эту бумагу при себѣ.

— Держите, говорю,—Домна Платоновна.

— Не равно сыщется.

— Что жъ, на грѣхъ мастера нѣтъ.

— Охъ, именно ужъ нѣтъ на грѣхъ мастера! Чтобъ это мнѣ, кабы знатье-то, остаться у нея, у Кошеверихи-то переночевать.

— Да, хоть бы, говорю, — ужъ на извозчика-то вы не пожалѣли.

— Объ извозчикѣ ты не говори; извозчикъ все равно такой же плутъ. Одна, вѣдь, у нихъ, у всѣхъ, у подлецовъ, стачка.

— Ну, гдѣ, говорю, — такъ ужъ у всѣхъ одна стачка. Развѣ ихъ мало, что ли?

— Да вотъ ты поспорь! я ужъ это мошенничество вотъ какъ знаю.

Домна Платоновна поднесла вверхъ крѣпко сжатый кулакъ и посмотрѣла на него съ нѣкоторой гордостью.

— Со мной извозчикъ-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сдѣлалъ,—начала она, опуская руку.—Съ вываломъ, подлецъ, везъ, да и обобралъ.

— Какъ это, говорю,—съ вываломъ?

— А такъ, съ вываломъ, да и полно: ѣздила я зимой на Петербургскую сторону, барынѣ одной мантиль кружевную въ кадетскій корпусъ возила. Такая была барынька маленькая и изъ себя нѣжная, ну, а станетъ торговаться—раскричится—настоящая примадонна. Выхожу я отъ нея, отъ этой барыньки, а ужъ темнѣетъ. Зимой рано, знаешь, темнѣетъ. Спѣшу это, спѣшу, чтобъ до пришпекта скорѣй, а изъ-за угла извозчикъ и этакой будто вохловатый мужичокъ. Я, говоритъ, дешево свезу.

— Пятиялтынный, молъ, къ Знаменью, даю ему...

— Ну, какъ же это, перебиваю,—развѣ можно давать такъ дешево, Домна Платоновна!

— Ну, вотъ, а видишь, можно было.—«Ближней дорогой, говоритъ, поѣдемъ».—Все равно!—Сѣла я въ сани—саквояжа тогда у меня еще не было: въ платочкѣ тоже все носила. Онъ меня, этотъ чортъ, извозчикъ, и повезъ ближней дорогой, гдѣ-то по за крѣпостью, да на Неву, да все по льду, да по льду, да вдругъ какъ передъ этимъ, передъ берегомъ, насупроти самой Литейной, каа-акъ меня чебурахнетъ въ ухабъ. Такъ меня, знаешь, будто снизу-то кто подъ самое донышко-то, чукъ!—я и вылетѣла... Вылетѣла я въ одну сторону, а узелокъ и Богъ его знаетъ куда отлетѣлъ. Подымаюсь я, вся чуня-чуней, потому вода по колдобинамъ стояла. «Варваръ! кричу на него, что ты это, варваръ, со мной сдѣлалъ?» А онъ отвѣчаетъ: вѣдь это, говоритъ, здѣсь ближняя дорога, здѣсь безъ вывала невозможно. «Какъ, говорю, тиранъ ты этакой, невозможно? Развѣ такъ, говорю, возятъ?» А онъ, подлецъ, опять свое говоритъ: «здѣсь, купчиха, завсегда съ вываломъ; я потому, говоритъ, пятиалтынный и взялъ, чтобы этой ближней дорогой ѣхать». Ну, говори ты съ нимъ, съ извергомъ! Обтираюсь я только да оглядываюсь; гдѣ мой узелочекъ-то оглядываюсь, потому какъ раскинуло насъ совсѣмъ врозь другъ отъ друга. Вдругъ откуда ни возьмись, этакой офицеръ, или въ родѣ какъ штатскій какой съ усами: «Ахъ ты, бездѣльникъ этакой! говоритъ, мерзавецъ! везешь ты этакую даму полную и этакъ неосторожно?» а самъ къ нему къ зубамъ такъ и подсыкается.

— Садитесь, говоритъ,—сударыня, садитесь, я васъ застегну.

— Узелокъ, говорю,—милостивый государь, я обронила, какъ онъ, извергъ, встряхнулъ-то меня.

— Вотъ, говоритъ, вамъ—вашъ узелокъ,—и подаетъ.

— Ступай, подлецъ, крикнулъ на извозчика,—да смотри! А вы, говоритъ, сударыня, ежели онъ опять васъ вывалитъ, такъ вы его безъ всякихъ околичностей въ морду.

— Гдѣ, отвѣчаю,—намъ, женщинамъ, съ ними, съ мереньями, справиться.

Поѣхали.

Только, знаешь, на Гагаринскую взъѣхали; гляжу, мой извозчикъ чего-то пересмѣивается.

— Чего, молъ, умный молодецъ, еще зубы скалишь?

— Да такъ, говоритъ,—намеднясь, я тутъ дешево жида везъ, да какъ вспомню это и не удержусь.

— Чего жъ, говорю, смѣяться.

— Да какъ же, говоритъ,—не смѣяться, когда онъ мордою-то прямо въ лужу, да какъ вскочитъ, да кричитъ *юхъ*, а самъ все вертится.

— Чего же, спрашиваю,—это онъ такъ юхалъ?

— А ужъ такъ, говоритъ, — видно это у нихъ по религіи.

Ну, тутъ я и начала смѣяться.

Какъ вздумаю этого жида, такъ и не могу воздержаться, какъ онъ бѣгаетъ, да кричитъ это: *юхъ, юхъ*.

— Пустая же самая, говорю, послѣ этого ихъ и религія.

Пріѣхали мы къ дому къ нашему, встаю я и говорю: хоша бы стоило тебя, говорю,—изверга, наказать, и хоть пятачокъ съ тебя вычесть, ну, только грѣха одного боясь: на тебѣ твой пятиалтынный.

— Помилуйте, говоритъ, — сударыня, я тутъ ничѣмъ непричиненъ; этой ближней дорогой никакъ безъ вывала невозможно; а вамъ, говоритъ,—матушка, ничего: съ того растете.

— Ахъ, бездѣльникъ ты, говорю, — бездѣльникъ! Жаль, говорю, — что давишній баринъ мало тебѣ въ шею-то наклалъ.

— А онъ отвѣчаетъ: смотри, говоритъ, — ваше степенство, не оброни того, что онъ тебѣ-то наклалъ, — да съ этимъ *ино!* на лошаденку и поѣхалъ.

Пришла я домой, поставила самоварчикъ и къ узелку:

думаю, не подмокъ ли товаръ; а въ узелкѣ-то какъ глянула, такъ и обмерла. Обмерла, я тебѣ говорю, совсѣмъ обмерла. Хочу взвесть голосъ и никакъ не взведу; хочу идти, и ножки мои гнутся.

— Да что жъ тамъ такое было, Домна Платоновна?

— Что—стыдно сказать что: гадости однѣ были.

— Какія гадости?

— Ну, извѣстно, какія бываютъ гадости: шароварки скинутые—вотъ что было.

— Да какъ же, говорю,—это такъ вышло?

— А вотъ и разсуждай ты теперь, какъ вышло. Меня по первоначалу это-то больше и испугало, что какъ онъ на Невѣ скинуть могъ ихъ, да въ узелокъ завязать. Вижу и себѣ не вѣрю. Прибѣжала я въ кварталъ, кричу: батюшки не мой узелъ.

— Знаемъ, говоритъ,—что *нѣмой*; разсказывай толкомъ.

Разсказала.

Повели меня въ сыскную полицію. Тамъ опять разсказала. Сыскной разсмѣялся.

— Это вѣрно, говоритъ,—онъ, подлецъ, изъ бани шелъ. А врагъ его знаетъ, откуда онъ шелъ, только какъ это онъ мнѣ этотъ узелокъ подсунулъ?

— Въ темнотѣ, говорю,—немудрено, Домна Платоновна.

— Нѣтъ, я къ тому, что ты говоришь извозчикъ-то: не оброни, говоритъ,—что накладено! Вотъ тебѣ и накладено, и разумѣй, значитъ, къ чему эти его слова-то были.

— Вамъ бы, говорю, — надо тогда же, садясь въ сани, на узелокъ посмотрѣть.

— Да какъ, мой другъ, хочешь смотри, а ужъ какъ обмошенничать тебя, такъ все равно обмошенничаютъ.

— Ну, это, говорю,—ужъ вы того...

— Э, ге-ге-ге! Нѣтъ, ужъ ты сдѣлай свое одолженіе: въ глазахъ тебя самого не тѣмъ, чѣмъ ты есть сдѣлаютъ. Я тебѣ вотъ какой случай скажу, какъ въ глаза-то нашего брата обдѣлываютъ. Иду я — вскорѣ это еще какъ изъ своего мѣста сюда пріѣхала—и надо мнѣ было идти черезъ Апраксинъ. Тогда тамъ тѣснота была, не то, что теперь послѣ пожару—теперь прелесть какъ хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себѣ. Вдругъ откуда ни возьмись молодецъ этакой, изъ себя красивый: купи, говоритъ,—тетенька, рубашку. Смотрю, держитъ въ рукахъ сит-

дарь мой, разъ одинъ къ нему — а онъ, надо тебѣ знать, двѣ комнаты занималъ: въ одной такъ у него спальнія его была, а въ другой въ родѣ зальца, Вхожу это и вижу, дверь изъ зальцы въ спальню къ нему затворена, а какой-то этакой господинъ подъ окномъ, надо полагать вояжный; потому ледунка у него черезъ плечо была, и сидитъ въ креслѣ и трубку куритъ. Это-то вотъ онъ самый полковникъ-то Егуповъ и будетъ.

— Что, я говорю, — этакъ сама-то къ нему оборачиваюсь — или, говорю, хозяина дома нѣтъ?

А онъ мнѣ на это таково сурово махнулъ головой и ничего не отвѣтилъ, такъ что я не узнала: дома землемѣръ или его нѣту.

Ну, думаю, можетъ, у него тамъ дамка какая, потому что хоть онъ и жениться собирается, ну, а все же. Сѣла я себѣ и сижу. Но, нехорошо же, знаешь, такъ въ молчанку сидѣть, чтобъ подумали, что ты ужъ и слова сказать не умѣешь.

— Погода, говорю, — стоитъ нынче какая прсотличная.

Онъ это сейчасъ же на мои слова вскинулъ на меня глазами, да, какъ словно изъ бочки, какъ рявкнетъ: что, говоритъ, такое?

— Погода, опять говорю, — стоитъ очень пріятная.

— Врешь, говоритъ, — пыль большая.

Пыль-таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тутъ же подумала, что̀ ты, молъ, это такой? Изъ какихъ такихъ взялся, что очень ужъ рычишь сердито?

— Вы, говорю ему опять, — какъ Степану Матвѣевичу — сродственникъ будете, или пріятели только, знакомые?

— Пріятель, — отвѣчаетъ.

— Отличный, говорю, — человѣкъ Степанъ Матвѣевичъ.

— Мошенникъ, говоритъ, — первой руки.

Ну, думаю, — вѣрно Степана Матвѣевича дома нѣтъ.

— Вы, говорю, — давно ихъ изволите знать?

— Да, зналъ, говоритъ, — еще когда баба дѣвкой была.

— Это, отвѣчаю, — сударь, и съ тѣхъ поръ, какъ я ихъ зазнала, можетъ, не одна ужъ дѣвка бабой ходитъ, ну только я не хочу грѣха на душу брать — ничего за ними худого не замѣчала.

А онъ ко мнѣ этакъ гордо:

— Да у тебя на чердакѣ-то, что, говоритъ, напхано?—сѣно!

— Извините, говорю, — милостивый государь, у меня, слава моему Создателю, пока еще на плечахъ не чердакъ, а голова, и не сѣно въ ней, а то же самое, что и у всякаго человѣка, что̀ Богомъ туда приназначено.

— Толкуй! говоритъ.

Мужикъ ты, думаю себѣ, — мужикомъ тебѣ и быть.

А онъ въ это время вдругъ меня и спрашиваетъ:

— Ты, говоритъ, — его брата Максима Матвѣева знаешь?

— Не знаю, говорю, — сударь: кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю.

— Этотъ, говоритъ, — плутъ, а тотъ и еще почище. Глухой.

— Какъ, говорю, — глухой.

— А совсѣмъ-таки, говоритъ, — глухой: одно ухо глухо, а въ другомъ золотуха, и обоими не слышитъ.

— Скажите, говорю, — какъ удивительно!

— Ничего, говоритъ, — тутъ нѣтъ удивительнаго.

— Нѣтъ, я, молъ, — только къ тому, что одинъ братъ такой красавецъ, а другой — глухъ.

— Ну, да; то-то совсѣмъ ничего въ этомъ и нѣтъ удивительнаго; вонъ у меня у сестры на рожѣ красное пятно, какъ лягушка точно сидитъ: что жъ мнѣ-то тутъ такого!

— Родительница, говорю, — вѣрно, въ своемъ интересѣ чѣмъ испугалась?

— Самоваръ, говоритъ, ей дѣвка на пузо вывернула.

Ну, я тутъ-то вѣжливо пожалѣла.

— Долго ли, говорю, — съ этими, съ быстроглазыми, до грѣха; а онъ опять и начинаетъ:

— Ты, говоритъ, — если только не совсѣмъ ты дура, такъ разбери: онъ, этотъ глухой братъ-то его, на лошадей охотникъ мѣняться.

— Такъ-съ, говорю.

— Ну, а я его вздумалъ отъ этого отучить, взялъ да ему слѣпого коня и промѣнялъ, что лбомъ въ заборъ лѣзетъ.

— Такъ-съ, говорю.

— А теперь мнѣ у него для завода бычокъ понадобился, я у него этого бычка и купилъ и деньги отдалъ; а онъ выходитъ совсѣмъ не быкъ, а волъ.

— Ахъ, говорю, — Боже мой, какая оказія! — Вѣдь это, говорю, не годится.

цевую рубашку, совсѣмъ новую, и ситецъ преотличный такой—никакъ не меньше какъ гривенъ шесть за аршинъ надо дать.

— Что жъ, спрашиваю,—за нее хочешь?

— Два съ полтиной.

— А что, говорю,—изъ половинки уступишь?

— Изъ какой половины?

— А изъ любой, говорю, — изъ какой хочешь. Потому, что я знаю, что въ торговлѣ за всякую вещь всегда половину надо давать.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, — тётка, тебѣ, видно, не покупать хорошихъ вещей, и изъ рукъ рубашку, знаешь, дергаетъ.

— Дай же, говорю, — потому вижу, рубашка отличная, цалковыхъ три кому не надо стоитъ.

— Бери, говорю,—рупь.

— Пусти, говоритъ, — мадамъ! дернулъ, и вижу, свертываетъ ее подъ полу и оглядывается. Извѣстное дѣло, думаю,—краденая; подумала такъ и иду, а онъ вдругъ изъза линіи выскакиваетъ: давай, говоритъ, тётка, скорѣй деньги. Богъ съ тобой совсѣмъ; твое, видно, счастье владѣть.

Я ему, это, въ руки рупь-бумажку даю, а онъ мнѣ самую эту рубаху скомканную отдаетъ.

— Владай, говоритъ,—тётенька; а самъ верть назадъ и пошелъ.

Я положила въ карманъ портмонэ, да покупку-то эту свою разворачиваю, ажъ гляжу—хлопъ у меня къ ногамъ что-то упало. Гляжу—мочалка старая, вотъ что въ небели бываетъ. Я тогда еще этихъ петербургскихъ обстоятельствъ всѣхъ не знала, дивуюсь.—Что, молъ, это такое? да на руките свои глядь, а у меня въ рукахъ лоскутъ! Того же самаго ситца, что рубашка была, такъ лоскутокъ одинъ съ полъ-аршина. А эти мѣреньё приказчики грохочутъ: «къ намъ, трещатъ, тётенька, пожалуйте; у насъ, говорятъ,—есть и фасъ—канифасъ, и для глупыхъ бабъ припасъ». А другой опять подходитъ: «у насъ, говоритъ,—тётенька, для вашей милости саванъ есть подержаный чудесный». Я ужъ это все мимо ушей пущаю: шутъ, думаю, съ вами совсѣмъ. Даже, я тебѣ говорю, сомлѣла я; страхъ на меня напалъ, что это за лоскутъ такой? Была рубашка, а сталъ лоскутъ. Нѣтъ, другъ мой, они какъ захотятъ, такъ все сдѣлаютъ. Ты Егупова полковника знаешь?

— Нѣтъ, не знаю.

— Ну, какъ, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый: отличный мужчина. Девять лошадей подъ нимъ на войнѣ убили, а онъ живъ остался: въ газетахъ писано было объ этомъ.

— Я его все-таки, Домна Платоновна, не знаю.

— Что намъ съ нимъ одинъ варваръ сдѣлалъ? Это я тебѣ говорю романъ, да еще и романовъ-то такихъ немного—на театрѣ развѣ только можно представить.

— Матушка, говорю,—вы ужъ не мучьте, разсказывайте!

— Да, эту исторію ужъ точно что стоитъ разсказать. Какъ онъ только называется?.. есть тутъ землемѣръ... Кумовѣевъ ни то Макавѣевъ, въ седьмой ротѣ въ Измайловскомъ онъ жилъ.

— Богъ съ нимъ.

— Богъ съ нимъ? Нѣтъ, не Богъ съ нимъ, а развѣ чортъ съ нимъ, такъ это ему больше кстати.

— Да это я только о фамиліи-то.

— Да, о фамиліи—ну, это пожалуй; фамилія ничего—фамилія простая, а что самъ ужъ подлецъ, такъ самый первый въ столицѣ подлецъ. Присталъ: «жени меня, Домна Платоновна!»

— Изволь, говорю,—женю; отчего, говорю, не женить?—женю.

Изъ себя онъ тварь этакая видная, въ лицѣ бѣлый и усики этакъ твердо носитъ.

Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выискала ему невѣсту изъ купечества—домъ свой на Пескахъ, и дѣвушка порядочная, полная, румяная; въ носикѣ вотъ тутъ-то въ самой въ переносицѣ хоть и былъ маленькій изъянецъ, но ничего это—потому отъ золотухи это было. Хожу я, и его, подлеца, съ собою вожу, и совсѣмъ ужъ у насъ дѣло стало на мази. Тутъ ужъ я, разумѣется, надзираю за нимъ, какъ не надо лучше, потому что это надо дѣлать безотходительно, да ужъ и былъ такой и слухъ, что онъ съ одной дѣвицей изъ купечества обручившись и деньги двѣсти серебра на окипировку себѣ забралъ, а имъ далъ женитьбинную росписку, но росписка эта оказалась коварная и ничего съ нимъ по ней сдѣлать не могли. Ну, ужъ знавши такое про человѣка, разумѣется, смотришь въ оба — нѣтъ-нѣтъ, да и завернешь съ визитомъ. Только прихожу, су-

дарь мой, разъ одинъ къ нему — а онъ, надо тебѣ знать, двѣ комнаты занималъ: въ одной такъ у него спальнія его была, а въ другой въ родѣ зальца. Вхожу это и вижу, дверь изъ зальцы въ спальню къ нему затворена, а какой-то этакой господинъ подъ окномъ, надо полагать вояжный; потому ледунка у него черезъ плечо была, и сидитъ въ креслѣ и трубку куритъ. Это-то вотъ онъ самый полковникъ-то Егуповъ и будетъ.

— Что, я говорю, — этакъ сама-то къ нему оборачиваюсь — или, говорю, хозяина дома нѣтъ?

А онъ мнѣ на это таково сурово махнулъ головой и ничего не отвѣтилъ, такъ что я не узнала: дома землемѣръ или его нѣту.

Ну, думаю, можетъ, у него тамъ дамка какая, потому что хоть онъ и жениться собирается, ну, а все же. Сѣла я себѣ и сижу. Но, нехорошо же, знаешь, такъ въ молчанку сидѣть, чтобъ подумали, что ты ужъ и слова сказать не умѣешь.

— Погода, говорю, — стоитъ нынче какая преотличная.

Онъ это сейчасъ же на мои слова вскинулъ на меня глазами, да, какъ словно изъ бочки, какъ рявкнетъ: что, говоритъ, такое?

— Погода, опять говорю, — стоитъ очень пріятная.

— Врешь, говоритъ, — пыль большая.

Пыль-таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тутъ же подумала, что̀ ты, молъ, это такой? Изъ какихъ такихъ взялся, что очень ужъ рычишь сердито?

— Вы, говорю ему опять, — какъ Степану Матвѣевичу — сродственникъ будете, или пріятели только, знакомые?

— Пріятель, — отвѣчаетъ.

— Отличный, говорю, — человѣкъ Степанъ Матвѣевичъ.

— Мошенникъ, говоритъ, — первой руки.

Ну, думаю, — вѣрно Степана Матвѣевича дома нѣтъ.

— Вы, говорю, — давно ихъ изволите знать?

— Да, зналъ, говоритъ, — еще когда баба дѣвкой была.

— Это, отвѣчаю, — сударь, и съ тѣхъ поръ, какъ я ихъ зазнала, можетъ, не одна ужъ дѣвка бабой ходитъ, ну только я не хочу грѣха на душу брать — ничего за ними худого не замѣчала.

А онъ ко мнѣ этакъ гордо:

— Да у тебя на чердакѣ-то, что, говоритъ, напхано?—сѣно!

— Извините, говорю, — милостивый государь, у меня, слава моему Создателю, пока еще на плечахъ не чердакъ, а голова, и не сѣно въ ней, а то же самое, что и у всякаго человѣка, что̀ Богомъ туда приназначено.

— Толкуй! говоритъ.

Мужикъ ты, думаю себѣ, — мужикомъ тебѣ и быть.

А онъ въ это время вдругъ меня и спрашиваетъ:

— Ты, говоритъ, — его брата Максима Матвѣева знаешь?

— Не знаю, говорю, — сударь: кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю.

— Этотъ, говоритъ, — плутъ, а тотъ и еще почище. Глухой.

— Какъ, говорю, — глухой.

— А совсѣмъ-таки, говоритъ, — глухой: одно ухо глухо, а въ другомъ золотуха, и обоими не слышитъ.

— Скажите, говорю, — какъ удивительно!

— Ничего, говоритъ, — тутъ нѣтъ удивительнаго.

— Нѣтъ, я, молъ, — только къ тому, что одинъ братъ такой красавецъ, а другой — глухъ.

— Ну, да; то-то совсѣмъ ничего въ этомъ и нѣтъ удивительнаго; вонъ у меня у сестры на рожѣ красное пятно, какъ лягушка точно сидитъ: что жъ мнѣ-то тутъ такого!

— Родительница, говорю, — вѣрно, въ своемъ интересѣ чѣмъ испугалась?

— Самоваръ, говоритъ, ей дѣвка на пузо вывернула.

Ну, я тутъ-то вѣжливо пожалѣла.

— Долго ли, говорю, — съ этими, съ быстроглазыми, до грѣха; а онъ опять и начинаетъ:

— Ты, говоритъ, — если только не совсѣмъ ты дура, такъ разбери: онъ, этотъ глухой братъ-то его, на лошадей охотникъ мѣняться.

— Такъ-съ, говорю.

— Ну, а я его вздумалъ отъ этого отучить, взялъ да ему слѣпого коня и промѣнялъ, что лбомъ въ заборъ лѣзетъ.

— Такъ-съ, говорю.

— А теперь мнѣ у него для завода бычокъ понадобился, я у него этого бычка и купилъ и деньги отдалъ; а онъ выходитъ совсѣмъ не быкъ, а волъ.

— Ахъ, говорю, — Боже мой, какая оказія! — Вѣдь это, говорю, не годится.

— Ужъ, разумѣется, говоритъ, — когда волъ, такъ не годится. А вотъ я ему, глухому, за это вотъ какую шутку отшучу: у меня на этого его брата, Степана Матвѣича, росписка во сто рублей есть, а у нихъ денегъ нѣтъ; ну, такъ я имъ себя теперь и покажу.

— Это, говорю, — точно, что можете показать.

— Такъ ты, говоритъ, — такъ и знай, что этотъ Максимъ Матвѣичъ — каналья, и я вотъ, его только дождусь, и сейчасъ его въ яму.

— Я, молъ, — ихъ точно въ тонкость не знаю, а что, сватаючи ихъ, сама я ихъ порочить не должна.

— Сватаешь!—вскрикнулъ.

— Сватаю-съ.

— Ахъ, ты, говоритъ, — дура, ты дура! Нешто ты не знаешь, что онъ женатый.

— Не можетъ, говорю, — быть!

— Вотъ тебѣ и не можетъ, когда трое дѣтей есть.

— Ахъ, скажите, говорю, — пожалуйста! Ну, Степанъ, думаю, Матвѣичъ — отличную жъ вы, было, со мной штуку подшутили! и говорю, что стало быть же, говорю, какъ я его теперь замѣчаю, онъ, однако, фортель!

А онъ, этотъ полковникъ Егуповъ, говоритъ: ты если хочешь кого сватать, такъ самое лучшее дѣло — меня сосватай.

— Извольте, молъ.

— Нѣтъ, я, говоритъ, — это тебѣ безъ всякихъ шутокъ вправду говорю.

— Да извольте, отвѣчаю, — извольте!

— Ты мнѣ, кажется, не вѣришь?

— Нѣтъ-съ, отчего же: это молъ, дѣйствительно, если человѣкъ имѣетъ расположеніе отъ разсѣянной жизни увольниться, то самое первое дѣло ему жениться на хорошей дѣвушкѣ.

— Или, говоритъ, — хоть на вдовѣ, но чтобъ только съ деньгами.

— Да, молъ, — или на вдовѣ.

Пошли у насъ тутъ съ нимъ разговоры; далъ онъ мнѣ свой адресъ, и стала я къ нему ходить. Что только тоже я съ нимъ, съ аспидомъ, помучилась! Изъ себя страшный-большой, и этакой фантастическій — никогда онъ не бываетъ въ одномъ положеніи, а всякаго принимаетъ по фантазіи. Есть, разумѣется, у людей разное расположеніе, ну

только такого мужчину, какъ этотъ Егуповъ, не дай Господи никакой женѣ на свѣтѣ. Станетъ, бывало, бѣльма выпучитъ, а самъ, какъ клопъ, кровью нальется — оретъ: «я тебя кверху дномъ поставлю и выворочу. Сейчасъ наизнанку будешь!» — Глядя на это, какъ онъ бѣснуется, думаешь: «ахъ, обиду какую кровную ему кто нанесъ!» — а онъ сердитъ отъ того, что не тѣмъ бокомъ корова почесалась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдовѣ, на купеческой. Такая-то тоже ему подъ пару, точно на заказъ была спечена, туша присноблаженная. Ну-съ, сударь ты мой, отбылись смотрины и сговоръ назначили.

Пріѣзжаемъ мы съ нимъ на этотъ сговоръ, много гостей — родственники съ невѣстиной стороны и знакомые, все хорошаго поколѣнія, значительнаго, и смотрю, промежъ гостей, въ одномъ углѣ на стулѣ сидитъ — этотъ землемѣръ, Степанъ Матвѣичъ.

Очень это мнѣ не показалось, что онъ тутъ, но ничего я не сказала.

Вѣрно, думаю, должно-быть, его изъ ямы выпустили, онъ и пришелъ, по знакомству.

Ну, впрочемъ, идетъ все, какъ слѣдуетъ. Прошла помолвка, прошло образованіе, и все ничего. Правда, дядя невѣстинъ, Колобовъ, Семенъ Иванычъ, купецъ, пьяный пришелъ, и началъ-было врать, что это, говоритъ, совсѣмъ не полковникъ, а Ѳедоровой банщицы сынъ. «Лизни, говоритъ, его кто-нибудь языкомъ въ ухо, у него такая привычка, что онъ сейчасъ за это драться станетъ. Я, болтаетъ, его знаю; это онъ одѣлъ эполеты, чтобъ пофорсить, но я съ него эти эполеты сейчасъ сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена Иваныча самого за это сейчасъ отвели въ пустую половину, въ холодную.

Но вдругъ, во время самаго благословенія, отецъ невѣстинъ поднимаетъ образъ, а по залѣ какъ что-то загудетъ! Тотъ опять поднимаетъ икону, а по залѣ опять гу-у-у-у! — и вдругъ явственно выговариваетъ:

— Нечего, говоритъ, пѣть Исаю, когда Мануилъ въ червѣ.

Господи! даже оторопъ на всѣхъ напалъ. Невѣстѣ конфузъ; Егуповъ, гляжу, тоже бѣльмами-то своими на меня.

Ну, что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшка, на меня остребенился, какъ чортъ на попа?

А въ залѣ опять, какъ застонетъ:

— Къ небесамъ въ полѣ пыль летитъ, къ женатому жениху — жена катитъ, Богу молится, слезьми обливается.

Бросились туда-сюда — никого нѣтъ.

Боже мой, что тутъ поднялось! Невѣстинъ отецъ образъ поставилъ, да ко мнѣ, чтобъ бить; а я, видючи, что дѣло до меня доходитъ, хвостъ повыше подобравши да отъ него драла. Егуповъ божится, что онъ сроду женатъ не былъ; говоритъ, хоть справки наведите, а гласъ все свое, такъ для всѣхъ даже внимательно: «не вдавайте, говоритъ, рабы, отроковицу на бракъ скверный». — Все дѣло въ разстрой! — Что жъ, ты думаешь, все это было?.. Приходитъ ко мнѣ послѣ этого черезъ недѣлю Егуповъ, самъ и говоритъ: а знаешь, говоритъ, Домна, вѣдь это все подлецъ землемѣръ пупкомъ говорилъ!

— Ну, какъ такъ, спрашиваю, — Домна Платоновна, пупкомъ?

— А пупкомъ, или чревомъ тамъ, что ли, бѣсъ его лукавый знаетъ, чѣмъ онъ это каверзилъ. — То-есть я тебѣ говорю, что все это они нонче одинъ передъ другимъ ухитряются, одинъ передъ другимъ выдумываютъ, и вотъ ты увидишь, что они чисто все государство запутаютъ и изнищутъ.

Я даже смутился, при выраженіи Домною Платоновною совершенно неожиданныхъ мною опасеній за судьбы россійскаго государства. Домна Платоновна, всеконечно, замѣтила это и пожелала полюбоваться производимымъ ею политическимъ эффектомъ.

— Да, право, ей-Богу! — продолжала она ноткою выше. — Ты только самъ, помилуй, скажи, что хитростевъ всякихъ настало? Тотъ летитъ по воздуху, что птицѣ одной назначено; тотъ рыбою плаваетъ и на дно морское опускается; тотъ теперь — какъ на Адмиралтейской площади — огонь сѣрный ѣстъ; этотъ животомъ говоритъ; другой — еще что другое, что человѣку непоказанное — дѣлаетъ... Господи! бѣсъ, лукавый самъ, и тотъ ужъ имъ повинуется, и все опять же-таки не къ пользѣ, а ко вреду. Со мной вѣдь одинъ разъ было же, что была я отдана бѣсамъ на поруганіе!

— Матушка, говорю, — неужто и это было?

— Было.

— Такъ не томите, разсказывайте.

— Давно это, лѣтъ, можетъ, двѣнадцать тому будетъ, молода я еще въ тѣ поры была и неопытна, и задумала я, овдовѣвши, торговать. Ну, чѣмъ, думаю, торговать? — Лучше нечѣмъ, по женскому дѣлу, какъ холстомъ, потому — женщина больше въ этомъ понимаетъ, что̀ къ чему принадлежитъ. Накуплю, думаю, на ярманкѣ холста и сяду у воротъ на скамеечкѣ и буду продавать. Поѣхала я на ярманку, накупила холста, и надо мнѣ домой ворочаться. Какъ, думаю, теперь мнѣ съ холстомъ домой ворочаться? а на дворъ, на постоялый, хлопъ, въѣзжаетъ троешникъ.

— Везли мы, сказываетъ,—изъ Кіева, въ коренную, на семи тройкахъ орѣхъ, да только орѣхъ мы этотъ подмочили, и теперь, говоритъ, сдѣлало съ насъ купечество вычетъ, и ѣдемъ мы къ дворамъ совсѣмъ безъ заработка.

— Гдѣ-жъ, спрашиваю,—твои товарищи?

— А товарищи, отвѣчаетъ,—кто куда въ свои мѣста поѣхали, а я думаю, не найду ли хоть сѣдочковъ какихъ.

— Откуда же, пытаюсь,—изъ какихъ мѣстовъ ты самъ?

— А я куракинскій, говоритъ,—изъ села изъ Куракина. Какъ разъ это мнѣ къ своему мѣсту. Вотъ, говорю, я тебѣ одна сѣдачка готовая.

Поговорили мы съ нимъ и на рублѣ серебра порѣшили, что пойдетъ онъ по дворамъ, чтобъ еще сѣдоковъ собрать, а завтра, чтобъ въ ранній обѣдъ и ѣхать.

Смотрю, завтра это вдругъ валитъ къ намъ на дворъ одинъ человѣкъ, другой, пятый, восьмой, и все мужчины изъ торговцевъ и красики такіе полные. Вижу, у одного мѣшокъ, у другого—сумка, у третьяго — чемоданъ, да еще ружье у одного.

— Куда-жъ, говорю извозчику, — ты это насъ всѣхъ запихаешь?

— Ничего, говоритъ,—улѣзете—повозка большая, сто пудовъ возимъ. Я, признаться, было хоть и остаться рада, да рупь-то ему отданъ, и ѣхать опять не съ кѣмъ.

Съ горемъ съ такимъ и съ неудовольствіемъ, ну, однако, поѣхала. Только-что за заставу мы выѣхали, сейчасъ одинъ изъ этихъ сѣдоковъ говоритъ: «стой у кабака!» Пили они тутъ много и извозчика поятъ. Поѣхали. Опять съ версту отъѣхали, гляжу — другой кричитъ: стой, говоритъ, здѣсь Иванъ Иванычъ Елкинъ живетъ, никакъ, говоритъ, его минать не должно.

Разъ они съ десять, этакъ, останавливались все у своего Ивана Иваныча Елкина.

Вижу я, что дѣло этакъ ужъ къ ночи, и что извозчикъ нашъ распьянымъ-пьяно-пьянъ сдѣлался.

— Ты, говорю,—не смѣй больше пить.

— Отчего это такъ, отвѣчаетъ,—не смѣй. Я и такъ, говоритъ, не смѣлый, я все это не смѣючи дѣйствоваю.

— Мужикъ, говорю,—ты, и больше ничего.

— Ну-къ, что-жъ, что мужикъ! а мнѣ, говоритъ, — абы водка.

— Тварь-то, глупецъ, учу его,—пожалѣлъ бы свою!

— А вотъ я, говоритъ,—ее жалѣю, да съ этимъ словомъ махъ своимъ кнутищемъ и пошелъ задувать. Телѣга-то такъ и подскакиваетъ. Того только и смотрю, что сейчасъ опрокинемся, и жизни нашей конецъ. А тѣ пьяные всѣ заливаются. Одинъ гармонію вынулъ, другой пѣсню оретъ, третій изъ ружья стрѣляетъ.—Я только молюсь: Пятница Просковея, спаси и помилуй!

Неслись мы, неслись во весь кульеръ, и стали кони наши, наконецъ, приставать, и поѣхали мы опять шагомъ. На дворѣ жъ, этакъ, смерклось, и не то, чтобы, какъ сказать, дождь ишелъ, а все будто туманъ брызгаетъ. Руки у меня просто страсть какъ набрякли держамшись, и ужъ я радарадешенька, что, наконецъ, мы ѣдемъ тихо; сижу ужъ и голосу не подаю. А у тѣхъ, тѣмъ часомъ слышу, разговоръ пошелъ; одинъ сказываетъ, что разбойники тутъ по дорогѣ шляются, а другой отвѣчаетъ ему, что онъ разбойниковъ не боится, потому что у него ружье два разъ стрѣлять можетъ. Опять еще какой-то о мертвецахъ заговорилъ: я, разсказываетъ, мертвую кость имѣю, кого, говоритъ, этою костью обведу, тотъ сейчасъ мертвымъ сномъ заснетъ и не подымется; а другой хвастается, что у него есть свѣча изъ мертваго сала. Я это все слушала, и вдругъ все словно кто меня сталъ за носъ водить, и ударилъ на меня сонъ, и въ одну минуту я заснула.

Только крѣпко я заснуть никакъ не могла, потому что все насъ словно орѣхи въ рѣшеткѣ потряхивало, и во снѣ мнѣ слышится, какъ будто кто-то говоритъ: «какъ бы, говоритъ, намъ эту чортову бабу отъ себя вонъ выкинуть, а то ногъ некуда протянуть». Но я все сплю.

Вдругъ, сударь ты мой, слышу крикъ, визгъ, гамъ. Что

такое? Гляжу—ночь, повозка наша стоитъ, и около нея все вертятся, да кричатъ, а что кричатъ—не разобрать.

— Шурле-мурле, шире-мире кравермиръ, оретъ одинъ.

Нашъ это, что съ ружьемъ-то ѣхалъ, бацъ изъ одного ружья — пистолетъ лопнулъ, а стрѣльбы нѣтъ — бацъ изъ другого—пистолетъ опять лопнулъ, а стрѣльбы нѣтъ.

Вдругъ этотъ, что кричалъ-то, опять какъ заоретъ: ширемире-кравермиръ! да съ этимъ словомъ хапъ меня подъ руки-то изъ телѣги да на поле, да ну вертѣть, ну крутить. Боже мой, думаю, что жъ это такое! Гляну, гляну вокругъ себя—все рожи такія темныя, да все вертятся и меня крутятъ, да кричатъ шире-мире да за ноги меня, да ну раскачивать.

— Батюшка! взмолилась я, такое надъ собой въ первый разъ видючи,—Никола Божій амченскій: тріехъ дѣвъ непорочный невѣстителю! чистоты усердный хранителю! не допусти же ты имъ хоть наготу-то мою недостойную видѣть!

Только-что я это въ сердцѣ своемъ проговорила, и вдругъ чувствую, что тишина вокругъ меня стала необъятная, и лежу будто я въ полѣ, въ зелени такой изумрудной, и передо мною передъ ногами моими плыветъ небольшое этакое озерцо, но пречистое, препрозрачное, и вокругъ него, словно бахрома густая, стоитъ молодой тростникъ и таково тихо шатается.

Забыла я тутъ и про молитву, и все смотрю на этотъ тростникъ, словно сроду я его не видала.

Вдругъ вижу я что же? Вижу, что съ этого съ озера поднимается туманъ, такой сизый, легкій туманъ, и точно настоящая пелена, такъ по полю и разстилается. А тутъ подъ туманомъ на самой на срединѣ озера вдругъ кружечекъ этакой, какъ будто рыбка плеснулась, и выходитъ изъ этого кружечка человѣкъ такъ маленькій, росту не больше какъ съ пѣтуха будетъ; личико крошечное; въ синенькомъ кафтанчикѣ, а на головкѣ зеленый картузикъ держитъ.

— Удивительный, думаю, — какой человѣкъ, будто какъ куколка хорошая, и все на него смотрю, и глазъ съ него не спускаю, и совсѣмъ его даже не боюсь, вотъ-таки ни капли не боюсь.

Только онъ, смотрю, начинаетъ всходить-всходить, и все ко мнѣ ближе, ближе и, наконецъ того дѣла, прыгъ прямо ко мнѣ на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а надъ

грудью стоитъ на воздухѣ и кланяется. Таково преважно поднялъ свой картузикъ и здравствуется.

Смѣхъ меня на него разбираетъ ужасный: гдѣ ты, думаю, такой смѣшной взялся?

А онъ въ это время хлопъ свой картузикъ опять и говоритъ... да, вѣдь, что же, говоритъ-то!

— Давай, говоритъ,—Домочка, сотворимъ съ тобой любовь!

Такъ меня смѣхъ и разорвалъ.

— Ахъ ты, говорю, — шишъ ты этакой. Ну, какую ты можешь имѣть любовь?

А онъ вдругъ задомъ ко мнѣ верть и запѣлъ молодымъ кочеткомъ: кука-реку-ку-ку!

Вдругъ тутъ зазвенѣло, вдругъ застучало, вдругъ заиграло: стонъ, я тебѣ говорю, стоитъ. Боже мой, думаю, что жъ это такое? Лягушки, карпіи, лещи, раки, кто на скрыпку, кто на гитарѣ, кто въ барабаны бьютъ; тотъ пляшетъ, тотъ скачетъ, того вверхъ вскидываетъ!

— Ахъ,—думаю,—плохо это! Ахъ, совсѣмъ это нехорошо! Огражду я себя, думаю, молитвой, да хотѣла такъ-то зачитать: «Да воскреснетъ Богъ», а на мѣсто того говорю: «Взвейся, выше понесися», и въ это время, слышу въ животѣ у меня бумъ-бурумъ-бумъ, бумъ-бурумъ-бумъ.

— Что это, молъ, я такое: торбанъ, что-ль? и гляжу, точно я торбанъ. Стоитъ надо мной давишній человѣчекъ маленькій и такъ-то на мнѣ нарѣзываетъ.

— Охъ, думаю,—батюшки! охъ, святые угодники! а онъ все по мнѣ смычкомъ-то пилитъ-пилитъ, и такое на мнѣ выигрываетъ, и вальсы, и кадрели всякія, а другіе еще поджигаютъ: тарабань жесче, жесче тарабань!—кричатъ.

Боль, тебѣ говорю, въ животѣ непереносная, а все гуду. И такъ цѣлую ночь цѣлехонькую на мнѣ торабанили; цѣлую ночь до бѣла до свѣта была я имъ, крещеный человѣкъ, замѣсто торбана; на утѣшеніе имъ, бѣсамъ, служила.

— Это, говорю,—ужасно.

— И очень даже, мой другъ, ужасно. Но тѣмъ это еще было ужаснѣе, что утромъ, какъ отторабанили они на мнѣ всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что мѣсто мнѣ совсѣмъ незнакомое: поле, лужица этакая точно есть большая, въ родѣ озерца, и тростникъ, и все, какъ я видѣла, а съ неба солнце печетъ жарко, и прямо мнѣ во всю наружность. Гляжу, тутъ же и мой сверточекъ съ холстами

и сумочка — все въ цѣлости; а такъ невдалекѣ деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, да къ вечеру домой и доѣхала.

— И что же вы, Домна Платоновна, увѣрены, что все это съ вами дѣйствительно приключилось?

— А то врать я, что ли, на себя стану?

— Нѣтъ, я говорю про то, что именно такъ ли все это было-то?

— Такъ и было, какъ я тебѣ сказываю. А ты вотъ подивись, какъ я имъ наготы-то своей не открыла.

Я подивился.

— Да; вотъ и съ бѣсомъ да совладала, а съ лукавымъ человѣкомъ такъ вышло разъ иначе.

— Какъ же вышло?

— Слушай.

— Купила я для одной купчихи мебель, на Гороховой у выѣзжихъ. Были комоды, столы, кровати и дѣтская кроватка съ этакимъ съ тесьменнымъ дномъ. Заплатила я тринадцать рублей деньги, выставила все въ коридоръ, и пошла за извозчикомъ. Взяла за рупь за сорокъ къ Николѣ Морскому извозчика ломового, и укладываемъ съ нимъ мебель, а хозяева, у которыхъ купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдругъ откуда ни возьмись дворники, татары, «халамъ-баламъ»: какъ ты смѣешь, орутъ, вещи брать? Я туда, я сюда — не спускаютъ. А тутъ дождь, а тутъ извозчикъ стоять не хочетъ. Боже мой! Насилу я надумалась: ну, ведите, говорю, меня въ кварталъ—я, говорю, квартальнаго жена. И только это сказала, входятъ на дворъ эти господа, у которыхъ мебель купила. «Продана, говорятъ, точно, ей эта мебель продана». Ну, извозчикъ мой говоритъ: садись. Думаю, и точно замѣстъ того, чтобъ на живѣйнаго тратить, сяду я въ короватку дѣтскую. Высоко они эту короватку, на самомъ на верху воза надъ комодой утвердили, но я вскарабкалась и сѣла. Только что жъ бы ты думалъ? Не успѣла я со двора выѣхать, какъ слышу низокъ-то подо мною тресь-тресь-тресь.

— Ахъ, думаю, батюшки, вѣдь это я проваливаюсь! И съ этимъ словомъ хотѣла встать на ноги, да трахъ—и просунулась. Такъ верхомъ какъ жандаръ на одной тесемкѣ и сижу. Срамъ, я тебѣ говорю, просто на смерть! Одежда вся избилась, а ноги голыя надъ комодой мотаются; народъ

дивуется; дворники кричатъ: «Закройся, квартальничиха», а закрыться нечѣмъ.

— Вотъ онъ варваръ какой!

— Это кто же, говорю,—варваръ?

— Да извозчикъ-то: гдѣ же, скажи ты, пожалуй, зѣваетъ на лошадь, а на пассажира и не посмотритъ. Мало вѣдь чуть не всю Гороховую я такъ проѣхала, да ужъ городовой, спасибо ему, остановилъ. «Что это, говоритъ, за мерзость такая? Это непозволено, что ты показываешь?» Вотъ какъ я посвѣтила наготой-то.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

— Домна Платоновна! говорю: — а что — давно я желалъ васъ спросить — молодою такой вы остались послѣ супруга? неужто у васъ никакого своего сердечнаго дѣла не было?

— Какого это сердечнаго?

— Ну, не полюбили вы кого-нибудь?

— Полно глупости болтать!

— Отчего же, говорю,—это глупости?

— Да оттого, отвѣчаетъ,—глупости, что хорошо этими любвями заниматься у кого есть приспѣшники да доспѣшники, а какъ я одна, и постоянно я отягощаюсь, и постоянно веду жизнь прекратительную, такъ мнѣ это совсѣмъ даже и не на умѣ, и не кстати.

— Даже и не на умѣ?

— И ни вотъ столичко! — Домна Платоновна черкнула ногтемъ по ногтю и добавила: — а къ тому же, я тебѣ скажу, что вся эта любовь—вздоръ. Такъ, напуститъ человѣкъ на себя шаль такую: «ахъ, молъ, умираю! жить безъ него, или безъ нея не могу!» вотъ и все. По-моему, то любовь, если человѣкъ женщинѣ какъ слѣдуетъ помогаетъ— вотъ это любовь, а что женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на примѣчаніи.

— Такъ, говорю,—стало-быть, ничѣмъ вы, Домна Платоновна, Богу не грѣшны?

— А тебѣ какое дѣло до моихъ грѣховъ? Хоша бы чѣмъ я и грѣшна была, то мой грѣхъ, не твой, а ты не попъ мой, чтобъ меня исповѣдывать.

— Нѣтъ, я говорю это, Домна Платоновна, только къ

тому, что молоды вы овдовѣли и видно, что очень вы были хороши.

— Хороша не хороша, отвѣчаетъ,—а въ дурныхъ не ставили.

— То-то, я говорю,—это и теперь видно.

Домна Платоновна поправила бровь и глубоко задумалась.

— Я и сама, начала она потихоньку,—много такъ разъ разсуждала: скажи мнѣ, Господи, лежитъ на мнѣ одинъ грѣхъ или нѣтъ? и ни отъ кого добиться не могу. Научила меня разъ одна монашка съ моихъ словъ списать всю эту исторію, и подать ее на духу священнику,—я и послушалась, и монашка списала, да я, шедши къ церкви, все и обронила.

— Что жъ это такое, Домна Платоновна, за грѣхъ былъ?

— Не разберу: не то грѣхъ, не то мечтаніе.

— Ну, хоть про мечтаніе скажите.

— Издаля это начинать очень приходится. Это еще какъ мы съ мужемъ жили.

— Ну, какъ же, голубушка, вы жили?

— А жили ничего. Домикъ у насъ былъ, хоша и небольшой, но по предмѣстности былъ очень выгодный, потому что на самый базаръ выходилъ, а базары у насъ для хозяйственнаго употребленія частые, только-что нечего на нихъ выбрать, вотъ въ чемъ главная цѣль. Жили мы не въ большихъ достаткахъ, ну и не въ бѣдности; торговали и рыбой, и саломъ, и печенкой, и всякимъ товаромъ. Мужъ мой, Ѳедоръ Ильичъ, былъ человѣкъ молодой, но этакой мудреный, изъ себя былъ сухой, но губы имѣлъ необыкновенныя. Я такихъ губъ ни у кого даже послѣ и не видывала. Нраву онъ, не тѣмъ будь помянутъ, былъ пронзительнаго—спорильщикъ и упротивный; а я тоже въ дѣвкахъ воительница была. Вышедши замужъ, вела я себя сначала очень даже прилично, но это его нисколько совсѣмъ не восхищало, и всякій день натощакъ мы съ нимъ буйственно сражались. Любви у насъ съ нимъ большой не было, и согласья столько же, потому оба мы собрались съ нимъ воители, да и нельзя было съ нимъ не воевать, потому, бывало, какъ ты его ни голубь, а онъ все на тебя тетерится, однако жили не разводились и восемь лѣтъ про-

жили. Конечно, жили не безъ непріятностей, но до драки настоящей у насъ не часто доходило. Разъ одинъ, точно, далъ онъ мнѣ, покойникъ, подзатыльника, но только, разумѣется, и моей тутъ немножко было причины, потому что стала я ему волосы подравнивать, да ножницами—кусочекъ уха ему и отстригнула. Дѣтей у насъ не было, но были у насъ на Нижнемъ городѣ кумъ и кума Прасковья Ивановна, у которыхъ я дѣтей крестила. Были они люди небогатые тоже, портной онъ назывался, и диплонъ отъ общества имѣлъ, но шить ничего не шилъ, а по покойникамъ пасалтырь читалъ и пѣлъ въ соборѣ на крылосѣ. По добычливости же, если что добыть по домашнему, все больше кума отягощалась, потому что она полезной бабой была, дѣтей правила и навью кость сводила.

Вотъ одинъ разъ, это ужъ на послѣднемъ году мужниной жизни (все ужъ тутъ валилось, какъ передъ пропастью), сдѣлайся эта кума Прасковья Ивановна именинница. Сдѣлайся она именинница, и пошли мы къ ней на именины, и засталъ насъ тамъ у нея дождь, и такой дождь, что какъ изъ ведра окатываетъ: а у меня на ту пору еще голова разболѣлась, потому выпила я у нея три пунша съ кисляркой, а эта кислярская для головы нѣтъ ея подлѣе. Взяла я и прилегла въ другой комнаткѣ на диванчикѣ.

— Ты, говорю,—кума, съ гостями еще посиди, а я тутъ крошечку полежу.

А она: ахъ, какъ можно на этомъ диванѣ: тутъ твердо; на постель ложись.

Я и легла и сейчасъ заснула.

— Нѣтъ тутъ моей вины?

— Никакой, говорю.

— Ну, теперь же слушай. Сплю я и чую, что какъ будто кто-то меня обнимаетъ, и таки, знаешь, не на шутку обнимаетъ. Думаю, это мужъ Ѳедоръ Ильичъ; но какъ будто и не Ѳедоръ Ильичъ, потому что онъ былъ сложенія духовнаго и изъ себя этакой секретный, — а проснуться не могу. Только проспавши свое время, встаю, гляжу—утро, и лежу я на куминой постели, а возлѣ меня кумъ. Я махъ этакъ, знаешь, перепрыгнула скорѣй черезъ него съ кровати-то, трясусь вся отъ страху и гляжу — на полу, на перинкѣ, лежитъ кума, а съ ней мой Ѳедоръ

Ильичъ... Толкъ я тутъ-то куму, гляжу—и та схватилась и крестится.

— Что же это, говорю, — кума, такое? какъ это сдѣлалось?

— Ахъ, говоритъ, — кумонька! Ахъ, я мерзкая этакая! Это все я сама, говоритъ, настроила, потому они еще, проводя гостей, допивать сѣли, а я тутъ впотьмахъ-то тебя не стала будить, да прилегла тутъ, гдѣ вамъ было постлано.

Я даже плюнула.

— Что жъ теперь, говорю,—намъ съ тобой дѣлать?

А она мнѣ отвѣчаетъ: намъ съ тобой нечего больше дѣлать, какъ надо про это молчать.

Это я, вотъ сколько тому лѣтъ прошло, первому тебѣ про это и разсказала, потому что тяжело мнѣ это ужасно, и всякій разъ, какъ я это вздумаю, такъ я этотъ сонъ свой проклясть совсѣмъ готова.

— Вы, говорю, — Домна Платоновна, не сокрушайтесь, потому что вѣдь все это вышло мимо воли вашей.

— А еще бы, говоритъ, — какъ? Я и такъ-то себя не мало измучила и истерзала. Горе-таки горемъ, какъ Ѳедоръ Ильичъ въ скорости тутъ померъ, потому не своею онъ померъ смертью, а дрова, сажени на берегу завалились, задавили его. О петербургскихъ обстоятельствахъ, чтобъ какъ чѣмъ себя развеселить, я и понятія тогда не имѣла; но какъ вспомню, бывало, все это послѣ его смерти-то, сяду вечеркомъ одна-одинешенька подъ окошечко, пою: «Возьмите вы все золото, всѣ почести назадъ», да сама льюсь, льюсь рѣкою, какъ глаза не выйдутъ. Такъ тяжко, такъ станетъ жутко, вспомнивши эти слова, что «другъ нѣжный спитъ въ сырой землѣ», что хоть надѣнь на себя осилъ пенечный да и полѣзай въ петлю. Продала все, всего рѣшилась и уѣхала; думаю, пусть лучше хоть глаза мои на все это не глядятъ и уши мои не слышатъ.

— Это, говорю,—Домна Платоновна, я вамъ вѣрю; нѣтъ ничего несноснѣе, какъ если одолѣетъ тоска.

— Спасибо тебѣ, милый, на добромъ словѣ, именно правду говоришь, что нѣтъ ничего несноснѣе, и утѣшь и обрадуй тебя за это слово Царица Небесная, что ты все это могъ понять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей

обо мнѣ тоски и жалости, если не открою я тебѣ всю мою настоящую обиду, какъ меня одинъ разъ обидѣли. Что это саквояжъ тамъ пропалъ, или что Леканидка тамъ неблагодарная — все это вздоръ. А былъ у меня на свѣтѣ одинъ такой день, что молила я Господа, что пошли Ты хоть змѣя, хоть скорпія, чтобъ очи мои сейчасъ выпилъ и сердце мое высосалъ. И кто жъ меня обидѣлъ? — Испулатка, нехристь, турка! А кто ему помогалъ?—свои пріятели, мvромъ святымъ мазаные.

Домна Платоновна горько-прегорько заплакала.

— Курьерша одна моя знакомая,—начала она, утираючи слезы:—жила въ Лопатинѣ домѣ, на Невскомъ, и присталъ къ ней этотъ плѣнный турка Испулатка. Она за него меня и проситъ: Домна Платоновна! опредѣли, говоритъ,—хоть ты его, чорта, къ какому-нибудь мѣсту!—Куда же, думаю, турку опредѣлить? Кромѣ какъ куда-нибудь арапомъ, никуда его не опредѣлишь—и нашла я ему арапскую должность. Нашла, и прихожу, и говорю: такъ и такъ, говорю, иди и опредѣляйся.

Тутъ они и затѣяли могорычи пить, потому что онъ уже своей поганой вѣры избавился, крестился и могъ вино пить.

— Не хочу я, говорю,—ничего, ну, только, однако, выпила. Этакой ужъ у меня характеръ глупый, что всегда я попервоначалу скажу «нѣтъ», а потомъ выпью. Такъ и тутъ: выпила и осатанѣла, и у нея, у этой курьерши, легла съ нею на постели.

— Ну-съ?

— Ну, вотъ тебѣ и все, а нынче зашиваюсь.

— Какъ зашиваетесь?

— А такъ, что если гдѣ ужъ прійдется неминуючи ночевать, то я совсѣмъ съ ногами, въ родѣ какъ въ мѣшокъ, и зашиваюсь. И даже, такъ тебѣ скажу, что и совсѣмъ, на сонъ свой подлый не надѣясь, я даже и постоянно нынче на ночь зашиваюсь.

Домна Платоновна тяжело вздохнула и опустила свою скорбную голову.

— Вотъ тебѣ ужъ, кажется, и знаю петербургскія обстоятельства, а однако, что̀ надъ собой допустила!—произнесла она послѣ долгаго раздумья, простилась и пошла къ себѣ на Знаменскую.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Черезъ нѣсколько лѣтъ привелось мнѣ свезти въ одну изъ временныхъ тифозныхъ больницъ одного бѣдняка. Сложивъ его на койку, я искалъ, кому бы его препоручить хоть на малѣйшую ласку и вниманіе.

— Старшòй, говорятъ.

— Ну, попросите, прошу,—старшую.

Входитъ женщина съ отцвѣтшимъ лицомъ и отвисшими мѣшками щекъ у челюстей.

— Чѣмъ, говоритъ,—батюшка, служить прикажете?

— Матушка, восклицаю,—Домна Платоновна!

— Я, сударь, я.

— Какъ вы здѣсь?

— Богъ такъ велѣлъ.

— Поберегите, прошу,—моего больного.

— Какъ своего родного поберегу.

— Что̀ жъ ваша торговля?

— А вотъ моя торговля: землю продать, да небо купить. Рѣшилась я, другъ мой, своей торговли.

— Зайди, шепчетъ,—ко мнѣ.

Я зашелъ. Каморочка сырая, ни мебели, ни штòрки, только койка да столикъ съ самоваромъ и сундучокъ крашеный.

— Будемъ, говоритъ,—чай пить.

— Нѣтъ, отвѣчаю,—покорно васъ благодарю, некогда.

— Ну, такъ заходи когда другимъ разомъ. Я тебѣ рада, потому я разбита, другъ мой, въ послѣдняя разбита.

— Что же съ вами такое случилось?

— Уста мои этого разсказать не могутъ, и сердцу моему это очень больно, и, сдѣлай милость, ты меня не спрашивай.

— И отчего, говорю,—вы это такъ вдругъ осунулись?

— Осунулась! что ты, Господь съ тобой! — ни капли я не осунулась.

Домна Платоновна торопливо выхватила изъ кармана крошечное складное зеркальце, поглядѣла на свои блеклыя щеки и заговорила:

— Ни крошечки я не осунулась, и то это теперь къ вечеру, а съ утра я еще гораздо свѣжѣе бываю.

Смотрю я на Домну Платоновну, и понять не могу, что̀ въ ней такое? а только вижу, что что-то такое странное.

Показалось мнѣ, что кромѣ того, что все ея лицо поблекло и обвисло, будто оно еще слегка подштукатурено и подкрашено, а тутъ еще эта тревога, при моемъ замѣчаніи, что она осунулась... Непонятная, думаю, притча!

Не прошло послѣ этого мѣсяца, какъ вдругъ является ко мнѣ какой-то солдатъ изъ больницы и неотступно требуетъ меня сейчасъ къ Домнѣ Платоновнѣ.

Взялъ извозчика и пріѣзжаю. На самыхъ воротахъ встрѣчаетъ меня сама Домна Платоновна и прямо кидается мнѣ на грудь съ плачемъ и рыданіемъ.

— Съѣзди, говоритъ,—ты, миленькій, сдѣлай милость, въ часть.

— Зачѣмъ, Домна Платоновна.

— Узнай ты тамъ насчетъ одного человѣка, похлопочи за него. Я, Богъ дастъ, современемъ сама тебѣ услужу.

— Да вы, говорю,—не плачьте только и не дрожите.

— Не могу, отвѣчаетъ,—не дрожать, потому это нутреннее, изнутри колотитъ. А этой услуги я тебѣ въ жизнь не забуду, потому что всѣ меня теперь оставили.

— Хорошо—но за кого же просить-то и о чемъ просить?

Старуха замялась, и блеклыя щеки ея задергались.

— Фортопьянщицкій ученикъ тамъ арестованъ вчера, Валерочка, Валерьянъ Ивановъ, такъ за него узнай и попроси.

Поѣхалъ я въ часть. Сказали мнѣ тамъ, что, дѣйствительно, есть арестованный молодой человѣкъ Валерьянъ Ивановъ, что былъ онъ ученикомъ у фортепьяннаго мастера, обокралъ своего хозяина, взять съ поличнымъ и, по всѣмъ вѣроятностямъ, пойдетъ по тяжелой дорогѣ Владимірской.

— Сколько же ему лѣтъ? разспрашиваю.

— Лѣтъ, говорятъ, — какъ разъ двадцать одинъ годъ минулъ.

Что̀, думаю, за чудеса такія и что̀ такое онъ, этотъ Валерка, моей Домнѣ Платоновнѣ?

Пріѣзжаю въ больницу и застаю Домну Платоновну въ ея каморкѣ: сидитъ, сложивши руки, на краю кровати и совсѣмъ помертвѣлая.

— Знаю, говоритъ, — все, сдѣлай милость, больше не

сказывай. Я фершала посылала узнать и все знаю. Огненнымъ прещеніемъ пресѣкается передъ смертью душа моя.

Вижу, моя воительница совсѣмъ сбрендила: распалась и угасла въ часъ одинъ.

— Боже мой! говоритъ,—глядя на бѣдный больничный образочекъ. — Боженька! миленькій! да поди же къ Тебѣ моя молитва прямо столбушкомъ: вынь Ты изъ меня душу, изъ старой дуры, да укроти мое сердце негодное.

— Да что жъ, говорю,—вамъ такое?

— Мнѣ?.. Люблю я его, душечка; люблю я его несносно, мой ангелъ; безъ ума, безъ разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одѣла, я на него дула, пыль съ него обдувала. Театрашникъ такой; все, бывало, кортитъ ему дома; все онъ клонится какъ бы въ цыркъ, какъ бы въ театръ; я ему послѣднее отдавала. Станешь, бывало, только просить: Валерочка! другъ мой! сокровище благихъ! не клонись ты къ этому цырку; что тебѣ этотъ цыркъ? Такъ затопочетъ, закричитъ и руками намѣряется. Вотъ тебѣ и цыркъ!.. Не позволялъ онъ, чтобы я говорила съ нимъ, такъ я издаля, бывало, только на него смотрю, да прошу: Валерочка! жизненочекъ! сокровище благихъ! не якшайся ты съ кѣмъ попадя; не пей ты много. Все онъ мое презрѣлъ... Когда бъ дворника не нанимала, чтобъ слухъ объ немъ подавалъ, и этого горя бъ, можетъ, не знала.

— Боженька! миленькій! Господи, да что жъ это? да что жъ это будетъ! вскрикнула она, и съ этимъ словомъ упала передъ образомъ на колѣна и еще горче заплакала, кивая своею сѣдою головою.

— Все,—заговорила она, подымаясь черезъ нѣсколько минутъ на ноги и тоскливо водя угасшими глазами по своей унылой каморкѣ:—все ему отдала, ничего у меня больше нѣтъ. Нечего мнѣ ему дать больше, голубчику... Хоть бы сходить къ нему...

— Ну, говорю,—сходите.

— Не велитъ онъ мнѣ ему показываться, не смѣю я къ нему идти; а сама дрожмя дрожитъ, бѣдная старуха.

Помолчалъ я и, чтобъ отрезвить ее хоть немножко, спрашиваю:

— Сколько вамъ, Домна Платоновна, нынче годочковъ?

— Что ты такое, говоритъ,—сказалъ?

— Сколько, молъ,—вамъ лѣтъ?

— А не знаю, право, сколько... въ прошломъ году въ февріѣ, кажется, сорокъ семь было.

— И откуда жъ это, спрашиваю,—онъ у васъ взялся, этотъ Валерка? Гдѣ вы его себѣ откопали на свое горе?

— Изъ нашихъ мѣстовъ, отвѣчаетъ, утирая слезы.— Куминъ племянникъ онъ. Кума его ко мнѣ прислала, чтобъ къ мѣсту опредѣлить.

— Скажи, пожалуйста,—пищитъ опять плачучи воительница:—жаль ли хоть тебѣ меня, дуру неповитую?

— Очень, отвѣчаю,—жаль.

— А людямъ, вѣдь, небось, и не жаль, смѣхъ имъ, небось, только. И всякій, если кто когда-нибудь про эту исторію узнаетъ, посмѣется—непремѣнно посмѣется, а не пожалѣетъ—а я все люблю, и все безъ радости, и все безъ счастья, безъ всякаго. Богъ съ ними люди! не понять имъ, какая это бѣда, если прилучится такое надъ человѣкомъ не ко времени. Ходила я къ сталовѣру,—говоритъ: «это тебѣ аггелъ сатаны данъ въ плоть... Не возносись». Пошла къ священнику, говорю: вотъ, батюшка, что со мною, такъ и такъ, говорю, силъ моихъ надъ собой нѣтъ; ну, священникъ меня хорошо пощунялъ: читай, говоритъ, раба, канонъ: «Утоли моя печали». Я теперь и канонъ этотъ читаю, и къ мѣсту такому нарочно опредѣлилась, чтобъ никакихъ смущеній мнѣ не было; ну, только... Валерушка! цыпленокъ ты мой! Сокровище благихъ! Что ты это надъ собою сдѣлалъ?..

Домна Платоновна припала головой къ окну и заколотила лбомъ о подоконникъ.

Такъ я и оставилъ мою воительницу въ этомъ убитомъ положеніи. Черезъ мѣсяцъ дали мнѣ знать изъ больницы, что Домна Платоновна вдругъ окончила свою прекратительную жизнь. Умерла она отъ быстраго истощенія силъ. Лежала она въ гробикѣ черномъ такая маленькая, сухенькая, точно въ самомъ дѣлѣ всѣ хрящички ея изныли и косточки прилегли къ суставамъ. Смерть ея была совершенно безболѣзненна, тиха и спокойна. Домна Платоновна соборовалась масломъ и до послѣдней минуты все молилась, а отпуская предсмертный вздохъ, велѣла отнести ко мнѣ свой сундучокъ, подушки и подаренную ей кѣмъ-то банку варенья, съ тѣмъ, чтобы я нашелъ случай передать все это «тому человѣку, про котораго самъ знаю», то-есть Валеркѣ.

ЛЕДИ МАКБЕТЪ МЦЕНСКАГО УѢЗДА.

(ОЧЕРКЪ.)

«Первую пѣсенку зардѣвшись спѣть».

Поговорка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Иной разъ въ нашихъ мѣстахъ задаются такіе характеры, что какъ бы много лѣтъ ни прошло со встрѣчи съ ними, о нѣкоторыхъ изъ нихъ никогда не вспомнишь безъ душевнаго трепета. Къ числу такихъ характеровъ принадлежитъ купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая нѣкогда страшную драму, послѣ которой наши дворяне, съ чьего-то легкаго слова, стали звать ее *леди Макбетъ Мценскаго уѣзда.*

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень пріятная. Ей отъ роду шелъ всего двадцать четвертый годъ; роста она была невысокаго, но стройная, шея точно изъ мрамора выточенная, плечи круглыя, грудь крѣпкая, носикъ прямой, тоненькій, глаза черные, живые, бѣлый высокій лобъ и черные, ажъ до-синя черные волосы. Выдали ее замужъ за нашего купца Измайлова съ Тускари изъ курской губерніи, не по любви или какому влеченію, а такъ, потому что Измайловъ къ ней присватался, а она была дѣвушка бѣдная и перебирать женихами ей не приходилось. Домъ Измайловыхъ въ нашемъ городѣ былъ не послѣдній: торговали они крупчаткою, держали въ уѣздѣ большую мельницу въ арендѣ, имѣли доходный садъ подъ городомъ и въ городѣ домъ хорошій.

Вообще купцы были зажиточные. Семья у нихъ къ тому же была совсѣмъ небольшая: свекоръ Борисъ Тимоѳеичъ Измайловъ, человѣкъ ужъ лѣтъ подъ восемьдесятъ, давно вдовый; сынъ его Зиновій Борисычъ, мужъ Катерины Львовны, человѣкъ тоже лѣтъ пятидесяти слишкомъ, да сама Катерина Львовна, и только всего. Дѣтей у Катерины Львовны, пятый годъ, какъ она вышла за Зиновія Борисыча, не было. У Зиновія Борисыча не было дѣтей и отъ первой жены, съ которою онъ прожилъ лѣтъ двадцать прежде чѣмъ овдовѣлъ и женился на Катеринѣ Львовнѣ. Думалъ онъ и надѣялся, что дастъ ему Богъ хоть отъ второго брака наслѣдника купеческому имени и капиталу; но опять ему въ этомъ и съ Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездѣтность эта очень много огорчала Зиновія Борисыча, и не то, что одного Зиновія Борисыча, а и старика Бориса Тимоѳеича, да даже и самоё Катерину Львовну это очень печалило. Разъ, что скука непомѣрная въ запертомъ купеческомъ терему съ высокимъ заборомъ и спущенными цѣпными собаками не разъ наводили на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, Богъ вѣсть какъ рада бы она была поняньчиться съ дѣточкой; а другое — и попреки ей надоѣли: «чего шла, да зачѣмъ шла замужъ; зачѣмъ завязала человѣку судьбу, неродица», словно и въ самомъ дѣлѣ она преступленіе какое сдѣлала и передъ мужемъ, и передъ свекромъ, и передъ всѣмъ ихъ честнымъ родомъ купеческимъ.

При всемъ довольствѣ и добрѣ, житье Катерины Львовны въ свекровомъ домѣ было самое скучное. Въ гости она ѣзжала мало, да и то, если и поѣдетъ она съ мужемъ по своему купечеству, такъ тоже не на радость. Народъ все строгій: наблюдаютъ, какъ она сядетъ, да какъ пройдетъ, какъ встанетъ; а у Катерины Львовны характеръ былъ пылкій, и, живя дѣвушкой въ бѣдности, она привыкла къ простотѣ и свободѣ: пробѣжать бы съ ведрами на рѣку да покупаться бы въ рубашкѣ подъ пристанью или обсыпать черезъ калитку прохожаго молодца подсолнечною лузгою; а тутъ все иначе. Встанутъ свекоръ съ мужемъ ранехонько, напьются въ шесть часовъ утра чаю, да и по своимъ дѣламъ, а она одна слоняетъ слоны изъ комнаты въ комнату. Вездѣ чисто, вездѣ тихо и пусто, лампады сіяютъ передъ

образами, а нигдѣ по дому ни звука живого, ни голоса человѣческаго.

Походитъ, походитъ Катерина Львовна по пустымъ комнатамъ, начнетъ зѣвать со скуки и полѣзетъ по лѣсенкѣ въ свою супружескую опочивальню, устроенную на высокомъ небольшомъ мезонинчикѣ. Тутъ тоже посидитъ, поглазѣетъ, какъ у амбаровъ пеньку вѣшаютъ или крупчатку ссыпаютъ — опять ей зѣвнется, она и рада: прикорнетъ часокъ-другой, а проснется — опять та же скука, русская, скука купеческаго дома, отъ которой весело, говорятъ, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница да и книгъ къ тому жъ, окромя кіевскаго патерика, въ домѣ ихъ не было.

Скучною жизнью жилось Катеринѣ Львовнѣ въ богатомъ свекровомъ домѣ въ теченіе цѣлыхъ пяти лѣтъ ея жизни за неласковымъ мужемъ; но никто, какъ водится, не обращалъ на эту скуку ея ни малѣйшаго вниманія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

На шестую весну Катерины Львовнинаго замужества у Измайловыхъ прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, какъ нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла подъ нижній лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никакъ не удавалось. Согналъ Зиновій Борисычъ народа на мельницу съ цѣлой округи и самъ тамъ сидѣлъ безотлучно; городскія дѣла ужъ одинъ старикъ правилъ, а Катерина Львовна маялась дома по цѣлымъ днямъ одна-одинешенька. Сначала ей безъ мужа еще скучнѣй было, а тутъ будто даже какъ и лучше показалось: свободнѣе ей одной стало. Сердце ея къ нему никогда особенно не лежало, а безъ него, по крайней мѣрѣ, однимъ командиромъ надъ ней стало меньше.

Сидѣла разъ Катерина Львовна у себя на вышкѣ подъ окошечкомъ, зѣвала-зѣвала, ни о чемъ опредѣленномъ не думая, да и стыдно ей, наконецъ, зѣвать стало. А на дворѣ погода такая чудесная: тепло, свѣтло, весело, и сквозь зеленую деревянную рѣшетку сада видно, какъ по деревьямъ съ сучка на сучокъ перепархиваютъ рѣзвыя птички.

«Что это я, въ самомъ дѣлѣ, раззѣвалась?—подумала Ка-

терина Львовна. — «Семъ-ну я хоть встану, по двору погуляю или въ садъ пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.

На дворѣ такъ свѣтло и крѣпко дышится, а на галлереѣ у амбаровъ такой хохотъ веселый стоитъ.

— Чего это вы такъ радуетесь?—спросила Катерина Львовна свекровыхъ приказчиковъ.

— А вотъ, матушка, Екатерина Ильвовна, свинью живую вѣшали,—отвѣчалъ ей старый приказчикъ.

— Какую свинью?

— А вотъ свинью Аксинью, что родила сына Василья, да не позвала насъ на крестины,—смѣло и весело разсказывалъ молодецъ съ дерзкимъ красивымъ лицомъ, обрамленнымъ черными, какъ смоль, кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Изъ мучной кади, привѣшенной къ вѣсовому коромыслу, въ эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиньи.

— Черти, дьяволы гладкіе!—ругалась кухарка, стараясь схватиться за желѣзное коромысло и вылѣзть изъ раскачивающейся кади.

— Восемь пудовъ до обѣда тянетъ, а пихтерь сѣна съѣстъ, такъ и гирь недостанетъ!—опять объяснялъ красивый молодецъ и, повернувъ кадь, выбросилъ кухарку на сложенное въ углу кулье.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

— Ну-ка, а сколько во мнѣ будетъ?—пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

— Три пуда семь фунтовъ, отвѣчалъ тотъ же красивый молодецъ Сергѣй, бросивъ гирь на вѣсовую скайму. — Диковина!

— Чему жъ ты дивуешься?

— Да что три пуда въ васъ потянуло, Катерина Ильвовна. Васъ, я такъ разсуждаю, цѣлый день на рукахъ носить надо — и то не уморишься, а только за удовольствіе это будешь для себя чувствовать.

— Что жъ, я не человѣкъ, что ли? Небось, тоже устанешь,—отвѣтила, слегка краснѣя, отвыкшая отъ такихъ рѣчей Катерина Львовна, чувствуя внезапный приливъ же-

ланія разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

— Ни Боже мой! Въ Аравію счастливую занесъ бы,—отвѣчалъ ей Сергѣй на ея замѣчаніе.

— Не такъ ты, молодецъ, разсуждаешь,—говорилъ ссыпавшій мужичокъ. — Что есть такое въ насъ тяжесть? Развѣ тѣло наше тянетъ? тѣло наше, милый человѣкъ, на вѣсу ничего не значитъ: сила наша, сила тянетъ — не тѣло!

— Да, я въ дѣвкахъ страсть сильна была,—сказала, опять не утерпѣвъ, Катерина Львовна. — Меня даже мужчина не всякій одолѣвалъ.

— А ну-съ, позвольте ручку, если какъ это правда,—попросилъ красивый молодецъ.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

— Ой, пусти кольцо: больно!—вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергѣй сжалъ въ своей рукѣ ея руку, и свободною рукою толкнула его въ грудь.

Молодецъ выпустилъ хозяйкину руку и отъ ея толчка отлетѣлъ на два шага въ сторону.

— Н-да, вотъ ты и разсуждай, что женщина!—удивился мужичокъ.

— Нѣтъ, а вы позвольте такъ взяться, на-борки,—относился, раскидывая кудри, Серега.

— Ну, берись,—отвѣтила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергѣй обнялъ молодую хозяйку и прижалъ ея твердую грудь къ своей красной рубашкѣ. Катерина Львовна только-было пошевельнула плечами, а Сергѣй приподнялъ ее отъ полу, подержалъ на рукахъ, сжалъ и посадилъ тихонько на опрокинутую мѣрку.

Катерина Львовна не успѣла даже распорядиться своею хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мѣркѣ, свалившуюся съ плеча шубку и тихо пошла изъ амбара, а Сергѣй молодецки каплянулъ и крикнулъ:

— Ну, вы, олухи царя небеснаго! Сыпь, не зѣвай, гребла не замай; будутъ вершки, наши лишки.

Будто какъ онъ и вниманія не обратилъ на то, что сейчасъ было.

— Дѣвичуръ этотъ проклятый Сережка!—разсказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Аксинья.—Всѣмъ

воръ взялъ—что ростомъ, что лицомъ, что красотой. Какую ты хочешь женчину сейчасъ онъ ее, подлецъ, улеститъ, и улеститъ, и до грѣха доведетъ. А что ужъ непостоянный, подлецъ, принепостоянный-непостоянный!

— А ты, Аксинья... того...—говорила, идучи впереди ея, молодая хозяйка:—мальчикъ-то твой у тебя живъ?

— Живъ, матушка, живъ—что ему! Гдѣ они не нужны-то кому, у тѣхъ они, вѣдь, живущи.

— И откуда это онъ у тебя?

— И-и! такъ, гулевой — на народѣ вѣдь живешь-то — гулевой.

— Давно онъ у насъ, этотъ молодецъ?

— Кто это? Сергѣй-то, что ли?

— Да.

— Съ мѣсяцъ будетъ. У Кончоновыхъ допрежь служилъ, такъ прогналъ его хозяинъ. — Аксинья понизила голосъ и досказала: — Сказываютъ, съ самой съ хозяйкой въ любви былъ... Вѣдь вотъ, треанаѳимская его душа, какой смѣлый!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Теплыя молочныя сумерки стояли надъ городомъ. Зиновій Борисычъ еще не возвращался съ попрудки. Свекра Бориса Тимоѳеича тоже не было дома: поѣхалъ къ старому пріятелю на именины, даже и къ ужину заказалъ себя не дожидаться. Катерина Львовна, отъ нечего дѣлать, рано повечерила, открыла у себя на вышкѣ окошечко и, прислонясь къ косяку, щелушила подсолнечныя зернушки. Люди въ кухнѣ поужинали и расходились по двору спать: кто подъ сараи, кто къ амбарамъ, кто на высокіе душистые сѣновалы. Позже всѣхъ вышелъ изъ кухни Сергѣй. Онъ походилъ по двору, спустилъ цѣпныхъ собакъ, посвисталъ и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядѣлъ на нее и низко ей поклонился.

— Здравствуй,—тихо сказала ему съ своей вышки Катерина Львовна, и дворъ смолкъ словно пустыня.

— Сударыня!—произнесъ кто-то черезъ двѣ минуты у запертой двери Катерины Львовны.

— Кто это?—испугавшись, спросила Катерина Львовна.

— Не извольте пугаться: это я, Сергѣй,—отвѣчалъ приказчикъ.

— Что тебѣ, Сергѣй, нужно?

— Дѣльце къ вамъ, Катерина Ильвовна, имѣю: просить вашу милость объ одной малости желаю: позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключъ и впустила Сергѣя.

— Что тебѣ?—спросила она, сама отходя къ окошку.

— Пришелъ къ вамъ, Катерина Ильвовна, попросить, нѣтъ ли у васъ какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолѣваетъ.

— У меня, Сергѣй, нѣтъ никакихъ книжекъ: не читаю я ихъ,—отвѣчала Катерина Львовна.

— Такая скука,—жаловался Сергѣй.

— Чего тебѣ скучать!

— Помилуйте, какъ не скучать: человѣкъ я молодой, живемъ мы словно какъ въ монастырѣ какомъ, а впередъ видишь только то, что, можетъ-быть, до гробовой доски долженъ пропадать въ такомъ одиночествѣ. Даже отчаянье иногда приходитъ.

- Чего жъ ты не женишься?

— Легко сказать, сударыня, жениться? На комъ тутъ жениться? Человѣкъ я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдетъ, а по бѣдности все у насъ, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Развѣ онѣ могутъ что объ любви понимать какъ слѣдуетъ! Вотъ изволите видѣть, какое ихнее и у богатыхъ-то понятіе. Вотъ вы, можно сказать, каждому другому человѣку, который себя чувствуетъ, въ утѣшеніе бы только для него были, а вы у нихъ теперь какъ канарейка въ клѣткѣ содержитесь.

— Да, мнѣ скучно,—сорвалось у Катерины Львовны.

— Какъ не скучать, сударыня, въ этакой жизни! Хоша бы даже и предметъ какой у васъ былъ со стороны, такъ, какъ другія прочія дѣлаютъ, такъ вамъ и видѣться съ нимъ даже невозможно.

— Ну, это ты... не то совсѣмъ. Мнѣ вотъ, когда бъ я себѣ ребеночка бы родила, вотъ бы мнѣ съ нимъ, кажется, и весело стало.

— Да вѣдь это, позвольте вамъ доложить, сударыня, вѣдь и ребенокъ тоже отъ чего-нибудь тоже бываетъ, а не такъ же. Нешто теперь по хозяевамъ столько лѣтъ живши и на этакую женскую жизнь по купечеству глядючи, мы тоже не понимаемъ? Пѣсня поется «безъ мила дружка обу-

яла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вамъ, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вотъ взялъ бы я его вырѣзалъ булатнымъ ножомъ изъ моей груди и бросилъ бы къ вашимъ ножкамъ. И легче, сто разъ легче бы мнѣ тогда было...

У Сергѣя задрожалъ голосъ.

— Что это ты мнѣ тутъ про свое сердце сказываешь? Мнѣ это ни къ чему. Иди ты себѣ...

— Нѣтъ, позвольте, сударыня,—произнесъ Сергѣй, трепеща всѣмъ тѣломъ и дѣлая шагъ къ Катеринѣ Львовнѣ.— Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вамъ не легче моего на свѣтѣ; ну, только теперь,—произнесъ онъ однимъ придыханіемъ:—теперь все это состоитъ въ эту минуту въ вашихъ рукахъ и въ вашей власти.

— Ты чего? чего? Чего ты пришелъ ко мнѣ? Я за окно брошусь,—говорила Катерина Львовна, чувствуя себя подъ несносною властью неописуемаго страха, и схватилась рукою за подоконницу.

— Жизнь ты моя несравненная! на что тебѣ бросаться?— развязно прошепталъ Сергѣй и, оторвавъ молодую хозяйку отъ окна, крѣпко ее обнялъ.

— Охъ! охъ! пусти,—тихо стонала Катерина Львовна, слабѣя подъ горячими поцѣлуями Сергѣя, а сама мимовольно прижималась къ его могучей фигурѣ.

Сергѣй поднялъ хозяйку, какъ ребенка, на руки и унесъ ее въ темный уголъ.

Въ комнатѣ наступило безмолвіе, нарушавшееся только мѣрнымъ тиканьемъ висѣвшихъ надъ изголовьемъ кровати Катерины Львовны карманныхъ часовъ ея мужа; но это ничему не мѣшало.

— Иди,—говорила Катерина Львовна черезъ полчаса, не смотря на Сергѣя и поправляя передъ маленькимъ зеркальцемъ свои разбросанные волосы.

— Чего я таперича отсюдова пойду,—отвѣчалъ ей счастливымъ голосомъ Сергѣй.

— Свекоръ двери запретъ.

— Эхъ, душа, душа! Да какихъ ты это людей знала, что имъ только дверью къ женщинѣ и дорога? Мнѣ что къ тебѣ, что отъ тебя—вездѣ двери,—отвѣчалъ молодецъ, указывая на столбы, поддерживающіе галлерею.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Зиновій Борисычъ еще недѣлю не бывалъ домой, и всю эту недѣлю жена его, что ночь, до самаго бѣла-свѣта гуляла съ Сергѣемъ.

Много было въ эти ночи въ спальнѣ Зиновія Борисыча и винца изъ свекроваго погреба попито, и сладкихъ сластей поѣдено, и въ сахарныя хозяйкины уста поцѣловано, и черными кудрями на мягкомъ изголовьи поиграно. Но не все дорога идетъ скатертью, бываютъ и перебоинки.

Не спалось Борису Тимоѳеичу: блуждалъ старикъ въ пестрой ситцевой рубашкѣ по тихому дому, подошелъ къ одному окну, подошелъ къ другому, смотритъ, а по столбу изъ-подъ невѣсткина окна тихо-тихонько спускается къ низу красная рубаха молодца Сергѣя. Вотъ тебѣ и новость! Выскочилъ Борисъ Тимоѳеичъ и хвать молодца за ноги. Тотъ развернулся-было, чтобъ съѣздить хозяина отъ всего сердца по уху, да и остановился, разсудивъ, что шумъ выйдетъ.

— Сказывай,—говоритъ Борисъ Тимоѳеичъ:—гдѣ былъ, воръ ты этакой?

— А гдѣ былъ, говоритъ:—тамъ меня, Борисъ Тимоѳеичъ, сударь, ужъ нѣту,—отвѣчалъ Сергѣй.

— У невѣстки ночевалъ?

— Про то, хозяинъ, опять-таки я знаю, гдѣ ночевалъ; а ты вотъ что, Борисъ Тимоѳеичъ, ты моего слова послушай: что, отецъ, было, того назадъ не воротишь; не клади жъ ты по крайности позору на свой купеческій домъ. Сказывай, чего ты отъ меня теперь хочешь? Какого ублаготворенія желаешь?

— Желаю я тебѣ, аспиду, пятьсотъ плетей закатить,—отвѣчалъ Борисъ Тимоѳеичъ.

— Моя вина—твоя воля,—согласился молодецъ.—Говори, куда идти за тобой, и тѣшься, пей мою кровь.

Повелъ Борисъ Тимоѳеичъ Сергѣя въ свою каменную кладовеньку, и стегалъ онъ его нагайкою, пока самъ изъ силъ выбился. Сергѣй ни стона не подалъ, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъѣлъ.

Бросилъ Борисъ Тимоѳеичъ Сергѣя въ кладовой, пока взбитая въ чугунъ спина заживетъ; сунулъ онъ ему глиняный кувшинъ водицы, заперъ его большимъ замкомъ и послалъ за сыномъ.

По за сто верстъ на Руси по проселочнымъ дорогамъ еще и теперь не скоро ѣздятъ, а Катеринѣ Львовнѣ безъ Сергѣя и часъ лишній пережить уже невмоготу стало. Развернулась она вдругъ во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала рѣшительная, что и унять ее нельзя. Провѣдала она, гдѣ Сергѣй, поговорила съ нимъ черезъ желѣзную дверь и кинулась ключей искать. — «Пусти, тятенька, Сергѣя», пришла она къ свекру.

Старикъ такъ и позеленѣлъ. Онъ никакъ не ожидалъ такой наглой дерзости отъ согрѣшившей, но всегда до сихъ поръ покорной невѣстки.

— Что ты это, такая-сякая,—началъ онъ срамить Катерину Львовну.

— Пусти, говоритъ:—я тебѣ совѣстью заручаюсь, что еще худого промежъ насъ ничего не было.

— Худого, говоритъ,—не было!—а самъ зубами такъ и скрипитъ.—А чѣмъ вы тамъ съ нимъ по ночамъ занимались? Подушки мужнины перебивали?

А та все съ своимъ пристаетъ: пусти его да пусти.

— А коли такъ,—говоритъ Борисъ Тимоѳеевичъ: — такъ вотъ же тебѣ: мужъ пріѣдетъ, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшнѣ выдеремъ, а его, подлеца, я завтра же въ острогъ отправлю.

Тѣмъ Борисъ Тимоѳеичъ и порѣшилъ; но только это рѣшеніе его не состоялось.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Поѣлъ Борисъ Тимоѳеичъ на ночь грибковъ съ капницей, и началась у него изжога; вдругъ схватило его подъ ложечкой; рвоты страшныя поднялись, и къ утру онъ умеръ, и какъ-разъ такъ, какъ умирали у него въ амбарахъ крысы, для которыхъ Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье съ порученнымъ ея храненію опаснымъ бѣлымъ порошкомъ.

Выручила Катерина Львовна своего Сергѣя изъ стариковой каменной кладовой и безъ всякаго зазора отъ людскихъ очей уложила его отдыхать отъ свекровыхъ побоевъ на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимоѳеича, ничто же сумняся, схоронили по закону христіанскому. Дивнымъ дѣломъ, никому и невдомекъ ничего стало: умеръ

Борисъ Тимоѳеичъ да и умеръ, поѣвши грибковъ, какъ многіе, поѣвши ихъ, умираютъ. Схоронили Бориса Тимоѳеича спѣшно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворѣ теплое, а Зиновія Борисыча посланный не засталъ на мельницѣ. Тому лѣсъ случайно какъ-то дешево попался еще верстъ за сто: посмотрѣть его поѣхалъ и никому путемъ не объяснилъ, куда поѣхалъ.

Справившись съ этимъ дѣломъ, Катерина Львовна уже совсѣмъ разошлась. То она была баба неробкаго десятка, а тутъ и нельзя было разгадать, что̀ такое она себѣ задумала; ходитъ козыремъ, всѣмъ по дому распоряжается, а Сергѣя такъ отъ себя и не отпускаетъ. Задивились-было этому по двору, да Катерина Львовна всякаго сумѣла найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдругъ сразу прошло.—«Зашла, смекали, у хозяйки съ Сергѣемъ алигорія, да и только.—Ее, молъ, это дѣло, ее и отвѣтъ будетъ».

А тѣмъ временемъ Сергѣй выздоровѣлъ, разогнулся и опять молодецъ-молодцомъ, живымъ кречетомъ заходилъ около Катерины Львовны, и опять пошло у нихъ снова житье разлюбезное. Но время катилось не для нихъ однихъ: спѣшилъ домой изъ долгой отлучки и обиженный мужъ Зиновій Борисычъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

На дворѣ послѣ обѣда стоялъ пеклый жаръ, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно въ спальнѣ ставнями и еще шерстянымъ платкомъ его изнутри завѣсила, да и легла съ Сергѣемъ отдохнуть на высокой купеческой постели. Спитъ и не спитъ Катерина Львовна, а только такъ ее и омариваетъ, такъ лицо пото̀мъ и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствуетъ Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти въ садъ чай пить, а встать никакъ не можетъ. Наконецъ, кухарка подошла и въ дверь постучала: «самоваръ, говоритъ, подъ яблонью глохнетъ». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну, кота ласкать. А котъ промежду ея съ Сергѣемъ трется, такой славный, сѣрый, рослый да претолстющій-толстый... и усы какъ у оброчнаго бурмистра. Катерина Львовна заворошилась

въ его пушистой шерсти, а онъ такъ къ ней съ рыломъ и лѣзетъ: тычется тупой мордой въ упругую грудь, а самъ такую тихонькую пѣсню поетъ, будто ею про любовь разсказываетъ. — «И чего еще сюда этотъ котище зашелъ?— думаетъ Катерина Львовна.—Сливки тутъ-то я на окнѣ поставила: безпремѣнно онъ, подлый, у меня ихъ выпаетъ. Выгнать его», рѣшила она и хотѣла схватить кота и выбросить, а онъ, какъ туманъ, такъ мимо пальцевъ у нея и проходитъ.—«Однако, откуда же этотъ котъ у насъ взялся?—разсуждаетъ въ кошмарѣ Катерина Львовна.— Никогда у насъ въ спальнѣ никакого кота не было, а тутъ, ишь, какой забрался!» Хотѣла она опять кота рукой взять, а его опять нѣтъ. — «О, да что жъ это такое? Уже это, полно, котъ ли?» подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдругъ взяла и сонъ, и дрему совсѣмъ отъ нея прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горницѣ— никакого кота нѣтъ, лежитъ только красивый Сергѣй и своей могучей рукой ея грудь къ своему горячему лицу прижимаетъ.

Встала Катерина Львовна, сѣла на постель, цѣловала-цѣловала Сергѣя, миловала-миловала его, поправила измятую перину и пошла въ садъ чай пить; а солнце ужъ совсѣмъ свалило, и на горячо прогрѣтую землю спускается чудный, волшебный вечеръ.

— Заспалась я,—говорила Аксиньѣ Катерина Львовна и усѣлась на коврѣ подъ цвѣтущею яблонью чай пить. — И что̀ это такое, Аксиньюшка, значитъ?—пытала она кухарку, вытирая сама чайнымъ полотенцемъ блюдечко.

— Что̀, матушка?

— Не то что во снѣ, а вотъ совсѣмъ вотъ наяву котъ ко мнѣ все какой-то лѣзъ?

— И, что̀ ты это?

— Право, котъ лѣзъ.

Катерина Львовна разсказала, какъ къ ней лѣзъ котъ.

— И зачѣмъ тебѣ его было ласкать?

— Ну, вотъ поди-жъ! сама не знаю, зачѣмъ я его ласкала.

— Чудно̀, право!—восклицала кухарка.

— Я и сама надивиться не могу.

— Это безпремѣнно въ родѣ какъ къ тебѣ кто - нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдетъ.

— Да что̀ жъ такое именно?

— Ну, *именно* что̀—ужъ этого тебѣ никто, милый другъ, объяснить не можетъ, что̀ именно, а только что-нибудь да будетъ.

— Мѣсяцъ все во снѣ видѣла, а потомъ этотъ котъ,— продолжала Катерина Львовна.

— Мѣсяцъ—это младенецъ.

Катерина Львовна покраснѣла.

— Не спосылать ли сюда къ твоей милости Сергѣя?—попытала ее напрашивающаяся въ наперсницы Аксинья.

— Ну, что̀-жъ,—отвѣчала Катерина Львовна:—и то правда, поди пошли его: я его чаемъ тутъ напою.

— То-то, я говорю,—што послать его,—порѣшила Аксинья и закачалась уткою къ садовой калиткѣ.

Катерина Львовна и Сергѣю про кота разсказала.

— Мечтанье одно,—отвѣчалъ Сергѣй.

— Съ чего жъ его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

— Мало чего прежде не бывало! бывало, вонъ, я на тебя только глазкомъ гляжу, да сохну, а нонче вона! Всѣмъ твоимъ бѣлымъ тѣломъ владѣю.

Сергѣй обнялъ Катерину Львовну, перекружилъ на воздухѣ и, шутя, бросилъ ее на пушистый коверъ.

— Ухъ, голова закружилась,—заговорила Катерина Львовна.—Сережа! поди-ка сюда; сядь тутъ возлѣ,—позвала она, нѣжась и потягиваясь въ роскошной позѣ.

Молодецъ, нагнувшись, вошелъ подъ низкую яблонь, залитую бѣлыми цвѣтами, и сѣлъ на коврѣ въ ногахъ у Катерины Львовны.

— А ты сохъ же по мнѣ, Сережа?

— Какъ же не сохъ.

— Какъ же ты сохъ? Разскажи мнѣ про это.

— Да какъ про это разскажешь? Развѣ можно про это изъяснить, какъ сохнешь? Тосковалъ.

— Отчего жъ я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мнѣ убиваешься? Это вѣдь, говорятъ, чувствуютъ.

Сергѣй промолчалъ.

— А ты для чего пѣсни пѣлъ, если тебѣ по мнѣ скучно было? что? Я вѣдь, небось, слыхала, какъ ты на голдареѣ пѣлъ,—продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

— Что жъ, что пѣсни пѣлъ? Комаръ вонъ и весь свой вѣкъ поетъ, а вѣдь не съ радости,—отвѣчалъ сухо Сергѣй.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшаго восторга отъ этихъ признаній Сергѣя.

Ей хотѣлось говорить, а Сергѣй супился и молчалъ.

— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой!—воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающія ее густыя вѣтви цвѣтущей яблони на чистое, голубое небо, на которомъ стоялъ полный погожій мѣсяцъ.

Лунный свѣтъ, пробиваясь сквозь листья и цвѣты яблони, самыми причудливыми, свѣтлыми пятнышками разбѣгался по лицу и всей фигурѣ лежавшей навзничь Катерины Львовны; въ воздухѣ стояло тихо; только легонькій теплый вѣтерочекъ чуть пошевеливалъ сонные листья и разносилъ тонкій ароматъ цвѣтущихъ травъ и деревьевъ. Дышалось чѣмъ-то томящимъ, располагающимъ къ лѣни, къ нѣгѣ и къ темнымъ желаніямъ.

Катерина Львовна, не получая отвѣта, опять замолчала и все смотрѣла сквозь блѣдно-розовые цвѣты яблони на небо. Сергѣй тоже молчалъ; только его не занимало небо. Охвативъ обѣими руками свои колѣни, онъ сосредоточенно глядѣлъ на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свѣтъ, ароматъ и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагомъ, позади сада, кто-то завелъ звучную пѣсню; подъ заборомъ въ густомъ черемушникѣ щелкнулъ и громко заколотилъ соловей; въ клѣткѣ на высокомъ шестѣ забредилъ сонный перепелъ, и жирная лошадь томно вздохнула за стѣнкой конюшни, а по выгону за садовымъ заборомъ пронеслась безъ всякаго шума веселая стая собакъ и исчезла въ безобразной, черной тѣни полуразвалившихся, старыхъ соляныхъ магазиновъ.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава такъ и играетъ съ луннымъ блескомъ, дробящимся о цвѣты и листья деревьевъ. Всю ее позолотили эти прихотливыя, свѣтлыя пятнышки и такъ на ней и мелькаютъ, такъ и трепещутся, словно живыя огненныя бабочки, или какъ-будто вотъ вся трава подъ деревьями взялась лунной сѣткой и ходитъ изъ стороны въ сторону.

— Ахъ, Сережечка, прелесть-то какая! — воскликнула, оглядѣвшись, Катерина Львовна.

Сергѣй равнодушно повелъ глазами.

— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или ужъ тебѣ и любовь моя прискучила?

— Что пустое говорить!—отвѣчалъ сухо Сергѣй и, нагнувшись, лѣниво поцѣловалъ Катерину Львовну.

— Измѣнщикъ ты, Сережа,—ревновала Катерина Львовна:—необстоятельный.

— Я даже этихъ и словъ на свой счетъ не принимаю,—отвѣчалъ спокойнымъ тономъ Сергѣй.

— Что жъ ты меня такъ цѣлуешь?

Сергѣй совсѣмъ промолчалъ.

— Это только мужья съ женами, — продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна: — такъ другъ дружкѣ съ губъ пыль обиваютъ. Ты меня такъ цѣлуй, чтобъ вотъ съ этой яблони, что̀ надъ нами, молодой цвѣтъ на землю посыпался.

— Вотъ такъ, вотъ,—шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и цѣлуя его съ страстнымъ увлеченіемъ.

— Слушай, Сережа, что̀ я тебѣ скажу,—начала Катерина Львовна, спустя малое время:—съ чего это всѣ въ одно слово про тебя говорятъ, что ты измѣнщикъ?

— Кому жъ это про меня брехать охота?

— Ну, ужъ говорятъ люди.

— Можетъ-быть, когда и измѣнялъ тѣмъ, какія совсѣмъ нестоющія.

— А на что, дуракъ, съ нестоющими связывался? съ нестоющею не надо и любви имѣть.

— Говори жъ ты! Нѣшь это дѣло тоже какъ по разсужденію дѣлается? Одинъ соблазъ дѣйствуетъ. Ты съ нею совсѣмъ просто, безъ всякихъ этихъ намѣреній, заповѣдь свою преступилъ, а она ужъ и на шею тебѣ вѣшается. Вотъ и любовь!

— Слушай же, Сережа! я тамъ, какъ другія прочія были, ничего этого не знаю да и знать про это не хочу; ну, а только какъ ты меня на эту теперешнюю нашу любовь самъ улещалъ, и самъ знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько жъ и твоей хитростью, такъ ежели ты, Сережа, мнѣ да измѣнишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную промѣняешь, я съ тобою, другъ мой сердечный, извини меня,—живая не разстанусь.

Сергѣй встрепенулся.

— Да вѣдь, Катерина Львовна! свѣтъ ты мой ясный!— заговорилъ онъ.—Ты сама посмотри, какое наше съ тобою дѣло. Ты вонъ такъ теперь замѣчаешь, что я задумчивъ нонче, а не разсудишь ты того, какъ мнѣ и задумчивымъ не быть. У меня, можетъ, все сердце мое въ запеченной крови затонуло!

— Говори, говори, Сережа, свое горе.

— Да что тутъ и говорить! Вотъ сейчасъ, вотъ первое дѣло, благослови Господи, мужъ твой наѣдетъ, а ты, Сергѣй Филиппычъ, и ступай прочь, отправляйся на задній дворъ къ музыкантамъ и смотри изъ-подъ сарая, какъ у Катерины Львовны въ спальнѣ свѣченька горитъ, да какъ она пуховую постельку перебиваетъ, да съ своимъ законнымъ Зиновіемъ съ Борисычемъ опочивать укладывается.

— Этого не будетъ!—весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

— Какъ такъ этого не будетъ! А я такъ понимаю, что совсѣмъ даже безъ этого вамъ невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имѣю и могу свои мѹки видѣть.

— Да ну, полно тебѣ все объ этомъ.

Катеринѣ Львовнѣ было пріятно это выраженіе Сергѣевой ревности, и она, разсмѣявшись, опять взялась за свои поцѣлуи.

— А повторительно,—продолжалъ Сергѣй, тихонько высвобаживая свою голову изъ голыхъ по плечи рукъ Катерины Львовны:—повторительно надо сказать и то, что состояніе мое самое ничтожное тоже заставляетъ, можетъ, не разъ и не десять разъ разсудить такъ и иначе. Будь я, такъ скажу, равный вамъ, будь я какой баринъ или купецъ, я бы то-есть съ вами, Катерина Ильвовна, и ни въ жизнь мою не разстался. Ну, а такъ, сами вы посудите, что̀ я за человѣкъ при васъ есть? Видючи теперь, какъ возьмутъ васъ за бѣлыя ручки и поведутъ въ опочивальню, долженъ я все это переносить въ моемъ сердцѣ и, можетъ, даже самъ для себя чрезъ то на цѣлый вѣкъ презрѣннымъ человѣкомъ сдѣлаться. Катерина Ильвовна! Я вѣдь не какъ другіе прочіе, для котораго все равно, абы ему отъ женчины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и какъ она черной змѣею сосетъ мое сердце...

— Что ты это мнѣ все про такое толкуешь?—перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергѣя.

— Катерина Ильвовна! какъ про это не толковать-то? Какъ не толковать-то? Когда, можетъ, все ужъ имъ объяснено и расписано, когда, можетъ, не только-что въ какомъ-нибудь долгомъ разстояніи, а даже самаго завтрашняго числа Сергѣя здѣсь ни духу, ни паху на этомъ дворѣ не останется?

— Нѣтъ, нѣтъ, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будетъ, чтобъ я безъ тебя осталась,—успокоивала его все съ тѣми же ласками Катерина Львовна. — Если только пойдетъ на что дѣло... либо ему, либо мнѣ не жить, а ужъ ты со мной будешь.

— Никакъ этого не можетъ, Катерина Ильвовна, послѣдовать,—отвѣчалъ Сергѣй, печально и грустно качая своею головою. — Я жизни моей не радъ самъ за этой любовью. Любилъ бы то, что не больше самого меня стоитъ, тѣмъ бы и доволенъ былъ. Васъ ли мнѣ съ собою въ постоянной любви имѣть? Нешто это вамъ почетъ какой — полюбовницей быть? Я бъ хотѣлъ предъ святымъ, предвѣчнымъ храмомъ мужемъ вамъ быть: такъ тогда я, хоть завсегда млаже себя передъ вами считая, все-таки могъ бы по крайности публично всѣмъ обличить, сколь я у своей жены почтеніемъ своимъ къ ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергѣя, этою его ревностью, этимъ его желаніемъ жениться на ней,—желаніемъ, всегда пріятнымъ женщинѣ, несмотря на самую короткую связь ея съ человѣкомъ до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергѣя въ огонь, въ воду, въ темницу и на крестъ. Онъ влюбилъ ее въ себя до того, что мѣры ея преданности ему не было никакой. Она обезумѣла отъ своего счастія; кровь ея кипѣла, и она не могла болѣе ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергѣевы губы и, прижавъ къ груди своей его голову, заговорила:

— Ну, ужъ я знаю, какъ я тебя и купцомъ сдѣлаю, и жить съ тобою совсѣмъ какъ слѣдуетъ стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дѣло наше не пришло до насъ.

И опять пошли поцѣлуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему въ сараѣ, сквозь крѣпкій сонъ сталъ слышаться въ ночной тишинѣ то шопотъ съ тихимъ смѣхомъ, будто гдѣ шаловливыя дѣти совѣтуются, какъ злѣе надъ хилою старостью посмѣяться; то хохотъ звонкій и веселый, словно кого озерныя русалки щекочутъ. Все это, плескаясь въ лунномъ свѣтѣ, да покатываясь по мягкому ковру, рѣзвилась и играла Катерина Львовна съ молодымъ мужниным приказчикомъ. Сыпался-сыпался на нихъ молодой бѣлый цвѣтъ съ кудрявой яблонки, да ужъ и пересталъ сыпаться. А тѣмъ временемъ короткая лѣтняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высокихъ амбаровъ и глядѣла на землю искоса тусклѣе и тусклѣе; съ кухонной крыши раздался пронзительный кошачій дуэтъ; потомъ послышались плевокъ, сердитое фырканье и вслѣдъ затѣмъ два или три кота, оборвавшись, съ шумомъ покатились по приставленному къ крышѣ пуку теса.

— Пойдемъ спать,—сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь съ ковра, и какъ лежала въ одной рубашкѣ да въ бѣлыхъ юбкахъ, такъ и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергѣй понесъ за нею коверчикъ и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Только Катерина Львовна задула свѣчу и совсѣмъ раздѣтая улеглась на мягкій пуховикъ, сонъ такъ и окуталъ ея голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натѣшившись, такъ крѣпко, что и нога ея спитъ, и рука спитъ; но опять слышитъ она сквозь сонъ, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелымъ осметкомъ упалъ давишній котъ.

«Да что же это въ самомъ дѣлѣ за наказаніе съ этимъ котомъ?—разсуждаетъ усталая Катерина Львовна.—Дверь теперь ужъ нарочно я сама своими руками на ключъ заперла, окно закрыто, а онъ опять тутъ. Сейчасъ его выкину»,—собиралась встать Катерина Львовна, да сонныя руки и ноги ея не служатъ ей; а котъ ходитъ по всей по ней и таково-то мудрено курнычитъ, опять будто слова человѣческія выговариваетъ. По Катеринѣ Львовнѣ по всей даже мурашки стали бѣгать.

«Нѣтъ,—думаетъ она,—больше ничего, какъ непремѣнно

завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудреный какой-то этотъ котъ ко мнѣ повадился».

А котъ курны-мурны у нея надъ ухомъ, уткнулся мордою да и выговариваетъ: «какой же, говоритъ, я котъ! Съ какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, разсуждаешь, что совсѣмъ я не котъ, а я именитый купецъ Борисъ Тимоѳеичъ. Я только тѣмъ теперь плохъ сталъ, что у меня всѣ мои кишечки внутри потрескались отъ невѣстушкинаго отъ угощенія. Съ того, мурлычитъ, я весь, вотъ, и поубавился, и котомъ теперь показываюсь тому, кто мало обо мнѣ разумѣетъ, что я такое есть въ самомъ дѣлѣ. Ну, какъ же нонче ты у насъ живешь-можешь, Катерина Львовна? Какъ свой законъ вѣрно соблюдаешь? Я и съ кладбища нарочно пришелъ поглядѣть, какъ вы съ Сергѣемъ Филиппычемъ мужнину постельку согрѣваете. Курны-мурны, я, вѣдь, ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, отъ твоего угощенія и глазки повылѣзли. Глянь мнѣ въ глаза-то, дружокъ, не бойся!»

Катерина Львонна глянула и закричала благимъ матомъ. Между ней и Сергѣемъ опять лежитъ котъ, а голова у того кота Бориса Тимоѳеича во всю величину, какъ была у покойника, и вмѣсто глазъ по огненному кружку въ разныя стороны такъ и вертится, такъ и вертится!

Проснулся Сергѣй, успокоилъ Катерину Львовну и опять заснулъ; но у нея весь сонъ прошелъ—и кстати.

Лежитъ она съ открытыми глазами и вдругъ слышитъ, что на дворъ будто кто-то черезъ ворота перелѣзъ. Вотъ и собаки метнулись было, да и стихли, — должно-быть, ласкаться стали. Вотъ и еще прошла минута, и желѣзная клямка внизу щелкнула и дверь отворилась.—«Либо мнѣ все это слышится, либо это мой Зиновій Борисычъ вернулся, потому что дверь его запаснымъ ключомъ отперта», подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергѣя.

— Слушай, Сережа,—сказала она, и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лѣстницѣ тихо, съ ноги на ногу осторожно переступаючи, дѣйствительно, кто-то приближался къ запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула въ одной рубашкѣ съ постели и открыла окошко. Сергѣй въ ту же минуту босикомъ выпрыгнулъ на галлерею и обхватилъ ногами

столбъ, по которому не первый разъ спускался изъ хозяйкиной спальни.

— Нѣтъ, не надо, не надо! Ты прилягъ тутъ... не отходи далеко,—прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергѣю за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула подъ одѣяло и дожидается.

Сергѣй послушался Катерины Львовны: онъ не шмыгнулъ по столбу внизъ, а пріютился подъ лубкомъ на галлереѣчкѣ.

Катерина Львовна тѣмъ временемъ слышитъ, какъ мужъ подошелъ къ двери, и, утаивая дыханіе, слушаетъ. Ей даже слышно, какъ учащенно стукаетъ его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смѣхъ разбираетъ Катерину Львовну.

«Ищи вчерашняго дня», думаетъ она себѣ, улыбаясь и дыша непорочнымъ младенцемъ.

Это продолжалось минутъ десять; но, наконецъ, Зиновію Борисычу надоѣло стоять за дверью да слушать, какъ жена спитъ: онъ постучался.

— Кто тамъ?—не совсѣмъ скоро и будто какъ соннымъ голосомъ окликнула Катерина Львовна.

— Свои,—отозвался Зиновій Борисычъ.

— Это ты, Зиновій Борисычъ?

— Ну, я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила, какъ лежала, въ одной рубашкѣ, впустила мужа въ горницу и опять нырнула въ теплую постель.

— Что-й-то передъ зарей холодно становится, — произнесла она, укутываясь одѣяломъ.

Зиновій Борисычъ вошелъ, озираясь, помолился, зажегъ свѣчу и еще оглядѣлся.

— Какъ живешь-можешь?—спросилъ онъ супругу.

— Ничего,—отвѣчала Катерина Львовна и, привставая, начала надѣвать распашную ситцевую блузу.

— Самоваръ, небось, поставить?—спросила она.

— Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставитъ.

Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбѣжала. Съ полчаса ея назадъ не было. Въ это время она сама раздула самоварчикъ и тихонько запорхнула къ Сергѣю на галлерейку.

— Сиди тутъ,—шепнула она.

— Докуда же сидѣть?—также шопотомъ спросилъ Сережа.

— О, да какой же ты безтолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое мѣсто.

А Сергѣю отсюда съ галлереи все слышно, что̀ въ спальнѣ происходитъ. Онъ слышитъ опять, какъ стукнула дверь и Катерина Львовна снова взошла къ мужу. Все отъ слова до слова слышно.

— Что̀ ты тамъ возилась долго?—спрашиваетъ жену Зиновій Борисычъ.

— Самоваръ ставила,—отвѣчаетъ она спокойно.

Вышла пауза. Сергѣю слышно, какъ Зиновій Борисычъ вѣшаетъ на вѣшалку свой сюртукъ. Вотъ онъ умывается, фыркаетъ и брызжетъ во всѣ стороны водою; вотъ спросилъ полотенце; опять начинаются рѣчи.

— Ну, какъ же это вы тятеньку схоронили?—освѣдомляется мужъ.

— Такъ,—говоритъ жена:—они померли, ихъ и схоронили.

— И что̀ это за удивительность такая!

— Богъ его знаетъ,—отвѣчала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновій Борисычъ грустный ходилъ по комнатѣ.

— Ну, а вы тутъ какъ свое время провождали?—разспрашиваетъ опять жену Зиновій Борисычъ.

— Наши радости-то, чай, всякому извѣстны: по баламъ не ѣздимъ и по тіатрамъ столько жъ.

— А словно радости-то у васъ и къ мужу немного,—искоса поглядывая, заводилъ Зиновій Борисычъ.

— Не молоденькіе тоже мы съ вами, чтобъ такъ безъ ума, безъ разума намъ встрѣчаться. Какъ еще радоваться? Я вотъ хлопочу, бѣгаю для вашего удовольствія.

Катерина Львовна опять выбѣжала самоваръ взять и опять заскочила къ Сергѣю, дернула его и говоритъ: «не зѣвай, Сережа!»

Сергѣй путемъ не зналъ, къ чему все это будетъ, но, однако, сталъ наготовѣ.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновій Борисычъ стоитъ колѣнями на постели и вѣшаетъ на стѣнку надъ изголовьемъ свои серебряные часы съ бисернымъ шнурочкомъ.

— Для чего это вы, Катерина Львовна, въ одинакомъ

положеніи постель на-двое разостлали?—какъ-то мудрено вдругъ спросилъ онъ жену.

— А васъ все дожидала,—спокойно глядя на него, отвѣтила Катерина Львовна.

— И на томъ благодаримъ васъ покорно... А вотъ этотъ предметъ теперь откуда у васъ на перинкѣ взялся?

Зиновій Борисычъ поднялъ съ простыни маленькій шерстяной поясочекъ Сергѣя и держалъ его за кончикъ передъ жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

— Въ саду, говоритъ,—нашла да юбку себѣ подвязала.

— Да!—произнесъ съ особымъ удареніемъ Зиновій Борисычъ:—мы тоже про ваши про юбки кое-что слыхали.

— Что жъ это вы слыхали?

— Да все про дѣла ваши про хорошія.

— Никакихъ моихъ дѣлъ такихъ нѣту.

— Ну, это мы разберемъ, все разберемъ,—отвѣчалъ, подвигая женѣ выпитую чашку, Зиновій Борисычъ.

Катерина Львовна промолчала.

— Мы эти ваши дѣла, Катерина Львовна, всѣ въявь произведемъ,—проговорилъ еще послѣ долгой паузы Зиновій Борисычъ, поведя на свою жену бровями.

— Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не такъ очень она этого пужается,—отвѣтила та.

— Что! что! — повыся голосъ, окрикнулъ Зиновій Борисычъ.

— Ничего—проѣхали,—отвѣчала жена.

— Ну, ты гляди у меня, того! Что-то ты больно рѣчиста здѣсь стала!

— А съ чего мнѣ и рѣчистой не быть?—отозвалась Катерина Львовна.

— Больше бы за собой смотрѣла.

— Нечего мнѣ за собой смотрѣть. Мало кто вамъ длинпымъ языкомъ чего наязычитъ, а я должна надъ собой всякія надругательства сносить! Вотъ еще новости тоже!

— Не длинные языки, а тутъ вѣрно про ваши амуры-то извѣстно.

— Про какіе-такіе мои амуры?—крикнула, непритворно вспыхнувъ, Катерина Львовна.

— Знаю я, про какіе.

— А знаете, такъ что жъ: вы яснѣе сказывайте!

Зиновій Борисычъ промолчалъ и опять подвинулъ женѣ пустую чашку.

— Видно, и говорить-то не про што,—отозвалась съ презрѣніемъ Катерина Львовна, азартно бросивъ на блюдце мужу чайную ложечку.—Ну, сказывайте, ну, про кого вамъ доносили? кто такой есть мой передъ вами полюбовникъ?

— Узнаете, не спѣшите очень.

— Что, вамъ про Сергѣя, что ли, что-нибудь набрехано?

— Узнаемъ-съ, узнаемъ, Катерина Львовна. Нашей надъ вами власти никто не снималъ и снять никто не можетъ... Сами заговорите...

— И-ихъ! терпѣть я этого не могу,—скрипнувъ зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, поблѣднѣвъ какъ полотно, неожиданно выскочила за двери.

— Ну, вотъ онъ,—произнесла она черезъ нѣсколько секундъ, вводя въ комнату за рукавъ Сергѣя.—Разспрашивайте и его, и меня, что вы такое знаете. Можетъ, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что тебѣ хочется?

Зиновій Борисычъ даже растерялся. Онъ глядѣлъ то на стоявшаго у притолки Сергѣя, то на жену, спокойно присѣвшую, со скрещенными руками, на краю постели, и ничего не понималъ, къ чему это близится.

— Что ты это, змѣя, дѣлаешь? — насилу собрался онъ выговорить, не поднимаясь съ кресла.

— Разспрашивай, о чемъ такъ знаешь-то хорошо,—отвѣчала дерзко Катерина Львовна. — Ты меня бойломъ задумалъ пужать,—продолжала она, значительно моргнувъ глазами:—такъ не бывать же тому никогда; а что я, можетъ, и допрежь твоихъ этихъ обѣщаніевъ знала, что надъ тобой сдѣлать, такъ я то сдѣлаю.

— Что это? вонъ! — крикнулъ Зиновій Борисычъ на Сергѣя.

— Какъ же!—передразнила Катерина Львовна.

Она проворно замкнула дверь, сунула ключъ въ карманъ и опять привалилась на постели въ своей распашонкѣ.

— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчикъ,—помапила она къ себѣ приказчика.

Сергѣй тряхнулъ кудрями и смѣло присѣлъ около хозяйки.

— Господи! Боже мой! Да что жъ это такое? Что жъ вы это, варвары?!—вскрикнулъ, весь побагровѣвъ и поднимаясь съ кресла, Зиновій Борисычъ.

— Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясенъ соколъ, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмѣялась и страстно поцѣловала Сергѣя при мужѣ.

Въ это же мгновеніе на щекѣ ея запылала оглушительная пощечина, и Зиновій Борисычъ кинулся къ открытому окошку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

— А-а, такъ-то!.. ну, пріятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась!—вскрикнула Катерина Львовна.—Ну, теперь, видно, ужъ... будь не по-моему и не потвоему...

Однимъ движеніемъ она отбросила отъ себя Сергѣя, быстро кинулась на мужа и, прежде чѣмъ Зиновій Борисычъ успѣлъ доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, какъ сырой конопляный снопъ, бросила его на полъ.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаха затылкомъ объ полъ, Зиновій Борисычъ совсѣмъ обезумѣлъ. Онъ никакъ не ожидалъ такой скорой развязки. Первое насиліе, употребленное противъ него женою, показало ему, что она рѣшилась на все, лишь бы только отъ него избавиться, и что теперешнее его положеніе до крайности опасно. Зиновій Борисычъ сообразилъ все это мигомъ въ моментъ своего паденія и не вскрикнулъ, зная, что голосъ его не достигнетъ ни до чьего уха, а только еще ускоритъ дѣло. Онъ молча повелъ глазами и остановилъ ихъ, съ выраженіемъ злобы, упрека и страданія, на женѣ, тонкіе пальцы которой крѣпко сжимали его горло.

Зиновій Борисычъ не защищался, руки его, съ крѣпко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна изъ нихъ была вовсе свободна, другую— Катерина Львовна придавила къ полу колѣномъ.

— Подержи его,—шепнула она равнодушно Сергѣю, сама поворачиваясь къ мужу.

Сергѣй сѣлъ на хозяина, придавилъ обѣ его руки колѣнями и хотѣлъ перехватить подъ руками Катерины Львовны за горло, но въ это же мгновеніе самъ отчаянно вскрикнулъ. При видѣ своего обидчика, кровавая месть приподняла въ Зиновіи Борисычѣ всѣ послѣднія его силы: онъ

страшно рванулся, выдернулъ изъ-подъ Сергѣевыхъ колѣнъ свои придавленныя руки и, вцѣпившись ими въ черныя кудри Сергѣя, какъ звѣрь, закусилъ зубами его горло. Но это было не надолго: Зиновій Борисычъ тотчасъ же тяжело застоналъ и уронилъ голову.

Катерина Львовна, блѣдная, почти не дыша вовсе, стояла надъ мужемъ и любовникомъ; въ ея правой рукѣ былъ тяжелый литой подсвѣчникъ, который она держала за верхній конецъ, тяжелою частью книзу. По виску и щекѣ Зиновія Борисыча тоненькимъ шнурочкомъ бѣжала алая кровь.

— Попа...—тупо простоналъ Зиновій Борисычъ, съ омерзѣніемъ откидываясь головою какъ можно далѣе отъ сидящаго на немъ Сергѣя.—Исповѣдаться,—произнесъ онъ еще невнятнѣе, задрожавъ и косясь на сгущающуюся подъ волосами теплую кровь.

— Хорошъ и такъ будешь,—прошептала Катерина Львовна.

— Ну, полно съ нимъ копаться,—сказала она Сергѣю:—перехвати ему хорошенько горло.

Зиновій Борисычъ захрипѣлъ.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергѣевы руки, лежавшія на мужниномъ горлѣ, и ухомъ прилегла къ его груди. Черезъ пять тихихъ минутъ она приподнялась и сказала: «довольно, будетъ съ него».

Сергѣй тоже всталъ и отдулся. Зиновій Борисычъ лежалъ мертвый, съ передавленнымъ горломъ и разсѣченнымъ виском. Подъ головой съ лѣвой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, болѣе уже не лилась изъ запекшейся и завалявшейся волосами ранки.

Сергѣй снесъ Зиновія Борисыча въ погребокъ, устроенный въ подпольѣ той же каменной кладовой, куда еще такъ недавно запиралъ самого его, Сергѣя, покойный Борисъ Тимоѳеичъ, и вернулся на вышку. Въ это время Катерина Львовна, засучивъ рукава распашонки и высоко подоткнувъ подолъ, тщательно замывала мочалкою съ мыломъ кровавое пятно, оставленное Зиновіемъ Борисычемъ на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла въ самоварѣ, изъ котораго Зиновій Борисычъ распаривалъ отравленнымъ чаемъ свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось безъ всякаго слѣда.

Катерина Львовна взяла мѣдную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

— Ну-ка, свѣти,—сказала она Сергѣю, идучи къ двери.— Ниже, ниже свѣти,—говорила она, внимательно осматривая всѣ половицы, по которымъ Сергѣй долженъ былъ тащить Зиновія Борисыча до самой ямы.

Только на двухъ мѣстахъ на крашеномъ полу были два крошечныя пятнышка величиною въ вишню. Катерина Львовна потерла ихъ мочалкою, и они исчезли.

— Вотъ тебѣ, не лазь къ женѣ воромъ, не подкарауливай,—произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись въ сторону кладовой.

— Теперь шабашъ,—сказалъ Сергѣй и вздрогнулъ отъ звука собственнаго голоса.

Когда они вернулись въ спальню, тонкая румяная полоска зари прорѣзывалась на востокѣ и, золотя легонько одѣтыя цвѣтомъ яблони, заглядывала сквозь зеленыя палки садовой рѣшетки въ комнату Катерины Львовны.

По двору, въ накинутомъ на плечи полушубкѣ, крестясь и позѣвывая, плелся изъ сарая въ кухню старый приказчикъ.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочкѣ ставню и внимательно оглянула Сергѣя, какъ бы желая прозрѣть его душу.

— Ну, вотъ ты теперь и купецъ,—сказала она, положивъ Сергѣю на плечи свои бѣлыя руки.

Сергѣй ничего ей не отвѣтилъ.

Губы Сергѣя дрожали и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Черезъ два дня у Сергѣя на рукахъ явились большія мозоли отъ лома и тяжелаго заступа; зато ужъ Зиновій Борисычъ въ своемъ погребкѣ былъ такъ хорошо прибранъ, что безъ помощи его вдовы или ея любовника не отыскать бы его никому до общаго воскресенія.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Сергѣй ходилъ, замотавъ горло пунсовымъ платкомъ и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тѣмъ, прежде чѣмъ у Сергѣя на горлѣ зажили мѣтины, положенныя зубами Зиновія Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Самъ Сергѣй еще чаще прочихъ началъ про него поговаривать. Присядетъ вечеркомъ съ молодцами на лавку около калитки и заведетъ: «что-й-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по-сю пору нѣтути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тутъ съ мельницы пришло извѣстіе, что хозяинъ нанялъ коней и давно отъѣхалъ ко двору. Ямщикъ, который его возилъ, сказывалъ, что Зиновій Борисычъ былъ будто въ разстройствѣ и отпустилъ его какъ-то чудно: не доѣзжая до города версты съ три, всталъ подъ монастыремъ съ телѣги, взялъ кису и пошелъ. Услыхавъ такой разсказъ, и еще пуще всѣ вздивовались.

Пропалъ Зиновій Борисычъ, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купецъ какъ въ воду кануль. По показанію арестованнаго ямщика узнали только, что надъ рѣкою подъ монастыремъ купецъ всталъ и пошелъ. Дѣло не выяснилось, а тѣмъ временемъ Катерина Львовна поживала себѣ съ Сергѣемъ, по вдовьему положенію, на свободѣ. Сочиняли наугадъ, что Зиновій Борисычъ то тамъ, то тамъ, а Зиновій Борисычъ все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всѣхъ знала, что возвратиться ему никакъ невозможно.

Прошелъ такъ и мѣсяцъ, и другой, и третій, и Катерина Львовна почувствовала себя въ тягости.

— Нашъ капиталъ будетъ, Сережечка: есть у меня наслѣдникъ,—сказала она Сергѣю и пошла жаловаться Думѣ, что, такъ и такъ, она чувствуетъ себя, что—беременна, а въ дѣлахъ застой начался: пусть ее ко всему допустятъ.

Не пропадать же коммерческому дѣлу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долговъ въ виду нѣтъ, ну и слѣдуетъ, стало-быть, допустить ее. И допустили.

Живетъ Катерина Львовна, царствуетъ, и Серегу по ней ужъ Сергѣемъ Филиппычемъ стали звать; а тутъ—хлопъ, ни оттуда, ни отсюда, новая напасть. Пишутъ изъ Ливенъ къ городскому головѣ, что Борисъ Тимоѳеевичъ торговалъ не на весь свой капиталъ, что болѣе чѣмъ его собственныхъ денегъ у него въ оборотѣ было денегъ его малолѣтняго племянника, Ѳедора Захарова Лямина, и что дѣло это надо разобрать и не давать въ руки одной Катеринѣ Львовнѣ. Пришло это извѣстіе, поговорилъ о немъ голова Катеринѣ Львовнѣ, а этакъ черезъ недѣлю бацъ,—изъ Ливенъ пріѣзжаетъ старушка съ небольшимъ мальчикомъ.

— Я, говоритъ,—покойному Борису Тимоѳеичу сестра двоюродная, а это—мой племянникъ Ѳедоръ Ляминъ.

Катерина Львовна ихъ приняла.

— Ну-ка, свѣти,—сказала она Сергѣю, идучи къ двери.— Ниже, ниже свѣти,—говорила она, внимательно осматривая всѣ половицы, по которымъ Сергѣй долженъ былъ тащить Зиновія Борисыча до самой ямы.

Только на двухъ мѣстахъ на крашеномъ полу были два крошечныя пятнышка величиною въ вишню. Катерина Львовна потерла ихъ мочалкою, и они исчезли.

— Вотъ тебѣ, не лазь къ женѣ воромъ, не подкарауливай,—произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись въ сторону кладовой.

— Теперь шабашъ,—сказалъ Сергѣй и вздрогнулъ отъ звука собственнаго голоса.

Когда они вернулись въ спальню, тонкая румяная полоска зари прорѣзывалась на востокѣ и, золотя легонько одѣтыя цвѣтомъ яблони, заглядывала сквозь зеленыя палки садовой рѣшетки въ комнату Катерины Львовны.

По двору, въ накинутомъ на плечи полушубкѣ, крестясь и позѣвывая, плелся изъ сарая въ кухню старый приказчикъ.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочкѣ ставню и внимательно оглянула Сергѣя, какъ бы желая прозрѣть его душу.

— Ну, вотъ ты теперь и купецъ,—сказала она, положивъ Сергѣю на плечи свои бѣлыя руки.

Сергѣй ничего ей не отвѣтилъ.

Губы Сергѣя дрожали и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Черезъ два дня у Сергѣя на рукахъ явились большія мозоли отъ лома и тяжелаго заступа; зато ужъ Зиновій Борисычъ въ своемъ погребкѣ былъ такъ хорошо прибранъ, что безъ помощи его вдовы или ея любовника не отыскать бы его никому до общаго воскресенія.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Сергѣй ходилъ, замотавъ горло пунсовымъ платкомъ и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тѣмъ, прежде чѣмъ у Сергѣя на горлѣ зажили мѣтины, положенныя зубами Зиновія Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Самъ Сергѣй еще чаще прочихъ началъ про него поговаривать. Присядетъ вечеркомъ съ молодцами на лавку около калитки и заведетъ: «что-й-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по-сю пору нѣтути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тутъ съ мельницы пришло извѣстіе, что хозяинъ нанялъ коней и давно отъѣхалъ ко двору. Ямщикъ, который его возилъ, сказывалъ, что Зиновій Борисычъ былъ будто въ разстройствѣ и отпустилъ его какъ-то чудно: не доѣзжая до города версты съ три, всталъ подъ монастыремъ съ телѣги, взялъ кису и пошелъ. Услыхавъ такой разсказъ, и еще пуще всѣ вздивовались.

Пропалъ Зиновій Борисычъ, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купецъ какъ въ воду канулъ. По показанію арестованнаго ямщика узнали только, что надъ рѣкою подъ монастыремъ купецъ всталъ и пошелъ. Дѣло не выяснилось, а тѣмъ временемъ Катерина Львовна поживала себѣ съ Сергѣемъ, по вдовьему положенію, на свободѣ. Сочиняли наугадъ, что Зиновій Борисычъ то тамъ, то тамъ, а Зиновій Борисычъ все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всѣхъ знала, что возвратиться ему никакъ невозможно.

Прошелъ такъ и мѣсяцъ, и другой, и третій, и Катерина Львовна почувствовала себя въ тягости.

— Нашъ капиталъ будетъ, Сережечка: есть у меня наслѣдникъ,—сказала она Сергѣю и пошла жаловаться Думѣ, что, такъ и такъ, она чувствуетъ себя, что—беременна, а въ дѣлахъ застой начался: пусть ее ко всему допустятъ.

Не пропадать же коммерческому дѣлу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долговъ въ виду нѣтъ, ну и слѣдуетъ, стало-быть, допустить ее. И допустили.

Живетъ Катерина Львовна, царствуетъ, и Серегу по ней ужъ Сергѣемъ Филиппычемъ стали звать; а тутъ—хлопъ, ни оттуда, ни отсюда, новая напасть. Пишутъ изъ Ливенъ къ городскому головѣ, что Борисъ Тимоѳеевичъ торговалъ не на весь свой капиталъ, что болѣе чѣмъ его собственныхъ денегъ у него въ оборотѣ было денегъ его малолѣтняго племянника, Ѳедора Захарова Лямина, и что дѣло это надо разобрать и не давать въ руки одной Катеринѣ Львовнѣ. Пришло это извѣстіе, поговорилъ о немъ голова Катеринѣ Львовнѣ, а этакъ черезъ недѣлю бацъ,—изъ Ливенъ пріѣзжаетъ старушка съ небольшимъ мальчикомъ.

— Я, говоритъ,—покойному Борису Тимоѳеичу сестра двоюродная, а это—мой племянникъ Ѳедоръ Ляминъ.

Катерина Львовна ихъ приняла.

Сергѣй, наблюдая со двора этотъ пріѣздъ и пріемъ, сдѣланный Катериною Львовною пріѣзжимъ, поблѣднѣлъ какъ платъ.

— Чего ты?—спросила его хозяйка, замѣтивъ его мертвую блѣдность, когда онъ вошелъ вслѣдъ за пріѣзжими и, разглядывая ихъ, остановился въ передней.

— Ничего,—отвѣчалъ, поворачиваясь изъ передней въ сѣни, приказчикъ.—Думаю, сколь эти Ливны дивны,—договорилъ онъ со вздохомъ, затворяя за собой сѣничную дверь.

— Ну, а какъ же теперь быть?—спрашивалъ Катерину Львовну Сергѣй Филиппычъ, сидя съ нею ночью за самоваромъ.—Теперь, Катерина Ильвовна, выходитъ все наше съ вами дѣло прахъ.

— Отчего такъ прахъ, Сережа?

— Потому, что это все теперь въ раздѣлъ пойдетъ. Надъ чѣмъ же тутъ надъ пустымъ дѣломъ будетъ хозяйничать?

— Нѣшь съ тебя, Сережа, мало будетъ?

— Да не о томъ, что съ меня; а я въ тѣмъ только сумливаюсь, что счастья ужъ того намъ не будетъ?

— Какъ такъ? За что̀ намъ, Сережа, счастья не будетъ?

— Потому, какъ по любви моей къ вамъ, я желалъ бы, Катерина Ильвовна, видѣть васъ настоящей дамой, а не то, что какъ вы допрежь сего жили,—отвѣчалъ Сергѣй Филиппычъ.—А теперь наоборотъ того выходитъ, что при уменьшеніи капитала мы и даже противъ прежняго должны гораздо ниже еще произойти.

— Да нѣшь мнѣ это, Сережечка, нужно?

— Оно, точно, Катерина Ильвовна, что вамъ, можетъ-быть, это и совсѣмъ не въ интересѣ, ну, только для меня, какъ я васъ уважаю, и опять же супротивъ людскихъ глазъ, подлыхъ и завистливыхъ, ужасно это будетъ больно. Вамъ тамъ какъ будетъ угодно, разумѣется, а я такъ своимъ соображеніемъ располагаю, что никогда я черезъ эти обстоятельства счастливъ быть не могу.

И пошелъ, и пошелъ Сергѣй играть Катеринѣ Львовнѣ на эту ноту, что сталъ онъ черезъ Ѳедю Лямина самымъ несчастнымъ человѣкомъ, лишенъ будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всѣмъ своимъ купечествомъ. Сводилъ это Сергѣй всякій разъ на то, что не будь этого Ѳеди, то родитъ она, Катерина Львовна, ребенка до девяти мѣсяцевъ послѣ пропажи мужа,

достанется ей весь капиталъ и тогда счастью ихъ конца-мѣры не будетъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

А потомъ вдругъ Сергѣй и пересталъ совсѣмъ говорить о наслѣдникѣ. Какъ только прекратились о немъ рѣчи въ устахъ Сергѣевыхъ, такъ засѣлъ Ѳедя Ляминъ и въ умъ, и въ сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и къ самому Сергѣю неласковая она стала. Спитъ ли, по хозяйству ли выйдетъ, или Богу молиться станетъ, а на умѣ все у нея одно: «Какъ же это? за что, въ самомъ дѣлѣ, должна я черезъ него лишиться капитала? Столько я страдала, столько грѣха на свою душу приняла,—думаетъ Катерина Львовна,—а онъ безъ всякихъ хлопотъ пріѣхалъ и отнимаетъ у меня... И добро бы человѣкъ, а то дитя, мальчикъ...»

На дворѣ стали ранніе заморозки. О Зиновіи Борисычѣ, разумѣется, никакихъ слуховъ ни откуда не приходило. Катерина Львовна полнѣла и все ходила задумчивая; по городу на ея счетъ въ барабаны барабанили, добираясь, какъ и отчего молодая Измайлова все нерòдица была, все худѣла, да чаврѣла, и вдругъ спереди пухнуть пошла. А отрочествующій сонаслѣдникъ Ѳедя Ляминъ въ легкомъ бѣличьемъ тулупѣ погуливалъ по двору да ледокъ по калдобинкамъ поламывалъ.

— Ну, Ѳеодоръ Игнатьичъ! ну, купецкій сынъ!—кричитъ, бывало, на него, пробѣгая по двору, кухарка Аксинья.—Пристало это тебѣ, купецкому-то сыну, да въ лужахъ копаться?

А сонаслѣдникъ, смущавшій Катерину Львовну съ ея предметомъ, побрыкивалъ себѣ безмятежнымъ козликомъ и еще безмятежнѣе спалъ супротивъ пѣстовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что онъ кому-нибудь перешелъ дорогу или поубавилъ счастья.

Наконецъ, набѣгалъ себѣ Ѳедя вѣтреную оспу, а къ ней привязалась еще простудная боль въ груди, и мальчикъ слегъ. Лѣчили его сначала травками, да муравками, а потомъ и за лѣкаремъ послали.

Сталъ ѣздить лѣкарь, сталъ прописывать лѣкарства, стали ихъ давать мальчику по часамъ, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попроситъ.

— Потрудись, скажетъ, — Катеринушка: ты, мать, сама человѣкъ грузный, сама суда Божьяго ждешь; потрудись.

Катерина Львовна не отказывала старухѣ. Пойдетъ ли та ко всенощной молиться за «лежащаго на одрѣ болѣзни отрока Ѳеодора», или къ ранней обѣднѣ часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидитъ у больного, и напоитъ его, и лѣкарство ему дастъ во-время.

Такъ пошла старушка къ вечернѣ и ко всенощной подъ праздникъ Введенія, а Катеринушку попросила присмотрѣть за Ѳедюшкой. Мальчикъ въ эту пору ужъ обмогался.

Катерина Львовна вошла къ Ѳедѣ, а онъ сидитъ на постели въ своемъ бѣличьемъ тулупчикѣ и читаетъ патерикъ.

— Что ты это читаешь, Ѳедя?—спросила его, усѣвшись въ креслѣ, Катерина Львовна.

— Житіе, тетенька, читаю.

— Занятно?

— Очень, тетенька, занятно.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотрѣть на шевелящаго губами Ѳедю, и вдругъ словно демоны съ цѣпи сорвались и разомъ осѣли ея прежнія мысли о томъ, сколько зла причиняетъ ей этотъ мальчикъ и какъ бы хорошо было, если бы его не было.

«А вѣдь что,—думалось Катеринѣ Львовнѣ,—вѣдь больной онъ; лѣкарство ему даютъ... мало ли что въ болѣзни... Только всего и сказу, что лѣкарь не такое лѣкарство потрафилъ».

— Пора тебѣ, Ѳедя, лѣкарства?

— Пожалуйте, тетенька,—отвѣчалъ мальчикъ и, хлебнувъ ложку, добавилъ:—очень занятно, тетенька, это о святыхъ описывается.

— Ну, читай,—проронила Катерина Львовна, и обведя холоднымъ взглядомъ комнату, остановила его на разрисованныхъ морозомъ окнахъ.

— Надо окна велѣть закрыть,—сказала она и вышла въ гостиную, а оттуда въ залу, а оттуда къ себѣ наверхъ и присѣла.

Минутъ черезъ пять къ ней туда же наверхъ, молча, вошелъ Сергѣй въ романовскомъ полушубкѣ, отороченномъ пушистымъ котикомъ.

— Закрыли окна?—спросила его Катерина Львовна.

— Закрыли,—отрывисто отвѣчалъ Сергѣй, снялъ щипцами со свѣчи нагаръ и сталъ у печки

Водворилось молчаніе.

— Нонче всенощная не скоро кончится?—спросила Катерина Львовна.

— Праздникъ большой завтра: долго будутъ служить,— отвѣчалъ Сергѣй.

Опять вышла пауза.

— Сходить къ Ѳедѣ: онъ тамъ одинъ,—произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

— Одинъ?—спросилъ ее, глянувъ исподлобья, Сергѣй.

— Одинъ,—отвѣчала она ему шопотомъ:—а что?

И изъ глазъ въ глаза у нихъ замелькала словно какая сѣть молніеносная; но никто не сказалъ болѣе другъ другу ни слова.

Катерина Львовна сошла внизъ, прошлась по пустымъ комнатамъ: вездѣ все тихо; лампады спокойно горятъ; по стѣнамъ разбѣгается ея собственная тѣнь; закрытыя ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Ѳедя сидитъ и читаетъ. Увидя Катерину Львовну, онъ только сказалъ:

— Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мнѣ вонъ ту, съ образника, пожалуйте.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

— Ты не заснулъ ли бы, Ѳедя?

— Нѣтъ, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

— Чего тебѣ ее ждать?

— Она мнѣ благословеннаго хлѣбца отъ всенощной обѣщалась.

Катерина Львовна вдругъ поблѣднѣла, собственный ребенокъ у нея впервые повернулся подъ сердцемъ и въ груди у нея протянуло холодомъ. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущія руки.

— Ну!—шепнула она, тихо взойдя въ свою спальню и снова заставая Сергѣя въ прежнемъ положеніи у печки.

— Что?—спросилъ едва слышно Сергѣй и поперхнулся.

— Онъ одинъ.

Сергѣй надвинулъ брови и сталъ тяжело дышать.

— Пойдемъ,—порывисто обернувшись къ двери, сказала Катерина Львовна.

Сергѣй быстро снялъ сапоги и спросилъ:

— Что жъ взять?

— Ничего, — однимъ придыханіемъ отвѣтила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Больной мальчикъ вздрогнулъ и опустилъ на колѣни книжку, когда къ нему въ третій разъ вошла Катерина Львовна.

— Что ты, Ѳедя?

— Охъ, я, тетенька, чего-то испугался,—отвѣчалъ онъ, тревожно улыбаясь и прижимаясь въ уголъ постели.

— Чего жъ ты испугался?

— Да кто это съ вами шелъ, тетенька?

— Гдѣ? Никто со мной, миленькій, не шелъ.

— Никто?

Мальчикъ потянулся къ ногамъ кровати и, прищуривъ глаза, посмотрѣлъ по направленію къ дверямъ, черезъ которыя вошла тетка, и успокоился.

— Это мнѣ, вѣрно, такъ показалось,—сказалъ онъ.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стѣнку племянниковой кровати.

Ѳедя посмотрѣлъ на тетку и замѣтилъ ей, что она отчего-то совсѣмъ блѣдная.

Въ отвѣтъ на это замѣчаніе Катерина Львовна произвольно кашлянула и съ ожиданіемъ посмотрѣла на дверь гостиной. Тамъ только тихо треснула одна половица.

— Житіе моего ангела, святого Ѳеодора Стратилата, тетенька, читаю. Вотъ угождалъ Богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

— Хотите, тетенька, сядьте, а я вамъ опять прочитаю?— ласкался къ ней племянникъ.

— Постой, я сейчасъ, только вотъ лампаду въ залѣ поправлю,—отвѣтила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

Въ гостиной послышался самый тихій шопотъ; но онъ дошелъ среди общаго безмолвія до чуткаго уха ребенка.

— Тетенька! да что жъ это? Съ кѣмъ же это вы тамъ шепчетесь?—вскрикнулъ, со слезами въ голосѣ, мальчикъ.— Идите сюда, тетенька: я боюсь,—еще слезливѣе позвалъ онъ черезъ секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала въ гостиной «ну!», которое мальчикъ отнесъ къ себѣ.

— Чего боишься?—нѣсколько охрипшимъ голосомъ спросила его Катерина Львовна, входя смѣлымъ рѣшительнымъ шагомъ и становясь у его кровати такъ, что дверь изъ гостиной была закрыта отъ больного ея тѣломъ.—Лягъ,—сказала она ему вслѣдъ за этимъ.

— Я, тетенька, не хочу.

— Нѣтъ, ты, Ѳедя, послушайся меня, лягъ... пора... лягъ,—повторила Катерина Львовна.

— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсѣмъ.

— Нѣтъ, ты ложись, ложись,—проговорила Катерина Львовна опять измѣнившимся, нетвердымъ голосомъ и, схвативъ мальчика подъ мышку, положила его на изголовье.

Въ это мгновеніе Ѳедя неистово вскрикнулъ: онъ увидалъ входящаго блѣднаго, босого Сергѣя.

Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый въ ужасѣ ротъ испуганнаго ребенка и крикнула:

— А ну, скорѣе; держи ровно, чтобъ не бился!

Сергѣй взялъ Ѳедю за руки и за ноги, а Катерина Львовна однимъ движеніемъ закрыла дѣтское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крѣпкой, упругой грудью.

Минуты четыре въ комнатѣ было могильное молчаніе.

— Кончился,—прошептала Катерина Львовна, и только-что привстала, чтобы привесть все въ порядокъ, какъ стѣны тихаго дома, сокрывшаго столько преступленій, затряслись отъ оглушительныхъ ударовъ: окна дребезжали, полы качались, цѣпочки висячихъ лампадъ вздрагивали и блуждали по стѣнамъ фантастическими тѣнями.

Сергѣй задрожалъ и со всѣхъ ногъ бросился бѣжать; Катерина Львовна кинулась за нимъ, а шумъ и гамъ за ними. Казалось, какія-то неземныя силы колыхали грѣшный домъ до основанія.

Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхомъ, Сергѣй не выбѣжалъ на дворъ и не выдалъ себя своимъ перепугомъ; но онъ кинулся прямо на вышку.

Взбѣжавши на лѣстницу, Сергѣй въ темнотѣ треснулся лбомъ о полупритворенную дверь и со стономъ полетѣлъ внизъ, совершенно обезумѣвъ отъ суевѣрнаго страха.

— Зиновій Борисычъ, Зиновій Борисычъ! — бормоталъ онъ, летя внизъ головою по лѣстницѣ и увлекая за собою сбитую имъ съ ногъ Катерину Львовну.

— Гдѣ?—спросила она.

— Вотъ надъ нами съ желѣзнымъ листомъ пролетѣлъ. Вотъ, вотъ опять! ай, ай!—закричалъ Сергѣй: — гремитъ, опять гремитъ.

Теперь было очень ясно, что множество рукъ стучатъ во всѣ окна съ улицы, а кто-то ломится въ двери.

— Дуракъ! вставай, дуракъ!—крикнула Катерина Львовна, и съ этими словами она сама порхнула къ Ѳедѣ, уложила его мертвую голову въ самой естественной, спящей позѣ на подушкахъ и твердой рукой отперла двери, въ которыя ломилась куча народа.

Зрѣлище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрезъ высокій заборъ цѣлыми рядами перелѣзаютъ на дворъ незнакомые люди и на улицѣ стонъ стоитъ отъ людского говора.

Не успѣла Катерина Львовна ничего сообразить, какъ народъ, окружающій крыльцо, смялъ ее и бросилъ въ покои.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

А вся эта тревога произошла вотъ какимъ образомъ: народу на всенощной подъ двунадесятый праздникъ во всѣхъ церквахъ хоть и уѣзднаго, но довольно большого и промышленнаго города, гдѣ жила Катерина Львовна, бываетъ видимо-невидимо, а ужъ въ той церкви, гдѣ завтра престолъ, даже и въ оградѣ яблоку упасть негдѣ. Тутъ обыкновенно поютъ пѣвчіе, собранные изъ купеческихъ молодцовъ и управляемые особымъ регентомъ тоже изъ любителей вокальнаго искусства.

Нашъ народъ набожный, къ церкви Божіей рачительный и по всему этому народъ въ свою мѣру художественный: благолѣпіе церковное и стройное «органистое» пѣніе составляютъ для него одно изъ самыхъ высокихъ и самыхъ чистыхъ его наслажденій. Гдѣ поютъ пѣвчіе, тамъ у насъ собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые съ фабрикъ, съ заводовъ и сами хозяева съ своими половинами,—всѣ собьются въ одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть подъ окномъ на пекломъ жару или на трескучемъ морозѣ послушать, какъ органитъ октава, а заносистый теноръ отливаетъ самыя капризныя варшлаки *).

*) Въ орловской губерніи пѣвчіе такъ называютъ форшляги.

Въ приходской церкви измайловскаго дома былъ престолъ въ честь Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, и потому вечеромъ подъ день этого праздника, въ самое время описаннаго происшествія съ Ѳедей, молодежь цѣлаго города была въ этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствахъ извѣстнаго тенора и случайныхъ неловкостяхъ столь же извѣстнаго баса.

Но не всѣхъ занимали эти вокальные вопросы: были въ толпѣ люди, интересовавшіеся и другими вопросами.

— А вотъ, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказываютъ, — заговорилъ, подходя къ дому Измайловыхъ, молодой машинистъ, привезенный однимъ купцомъ изъ Петербурга на свою паровую мельницу:—сказываютъ,—говорилъ онъ:—будто у нея съ ихнимъ приказчикомъ Сережкой по всякую минуту амуры идутъ...

— Это ужъ всѣмъ извѣстно, — отвѣчалъ тулупъ, крытый синей нанкой.—Ее нонче и въ церкви, знать, не было.

— Что церковь? Столь скверная бабенка испоскудилась, что ужъ ни Бога, ни совѣсти, ни глазъ людскихъ не боится.

— А ишь, у нихъ вотъ свѣтится,—замѣтилъ машинистъ, указывая на свѣтлую полоску между ставнями.

— Глянь-ка въ щелочку, что тамъ дѣлаютъ? — цикнули нѣсколько голосовъ.

Машинистъ оперся на двое товарищескихъ плечъ и только что приложилъ глазъ къ ставенному створу, какъ благимъ матомъ крикнулъ:

— Братцы мои, голубчики! душатъ кого-то здѣсь, душатъ!

И машинистъ отчаянно заколотилъ руками въ ставню. Человѣкъ десять послѣдовали его примѣру и, вскочивъ къ окнамъ, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновеніе, и произошла извѣстная намъ осада измайловскаго дома.

— Видѣлъ самъ, собственными моими глазами видѣлъ,— свидѣтельствовалъ надъ мертвымъ Ѳедею машинистъ:—младенецъ лежалъ повержонъ на ложѣ, а они вдвоемъ душили его.

Сергѣя взяли въ часть въ тотъ же вечеръ, а Катерину Львовну отвели въ ея верхнюю комнату и приставили къ ней двухъ часовыхъ.

Въ домѣ Измайловыхъ былъ нестерпимый холодъ: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытнаго народа смѣняла другую. Всѣ ходили смотрѣть на лежащаго въ гробу Ѳедю и на другой большой гробъ, плотно закрытый по крышѣ широкою пеленою. На лбу у Ѳеди лежалъ бѣлый атласный вѣнчикъ, которымъ былъ закрытъ красный рубецъ, оставшійся послѣ вскрытія черепа. Судебно-медицинскимъ вскрытіемъ было обнаружено, что Ѳедя умеръ отъ удушенія, и приведенный къ его трупу Сергѣй, при первыхъ же словахъ священника о страшномъ судѣ и наказаніи нераскаяннымъ, расплакался и чистосердечно сознался не только въ убійствѣ Ѳеди, но и попросилъ откопать зарытаго имъ безъ погребенія Зиновія Борисыча. Трупъ мужа Катерины Львовны, зарытый въ сухомъ пескѣ, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили въ большой гробъ. Своею участницею въ обоихъ этихъ преступленіяхъ Сергѣй назвалъ, къ всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на всѣ вопросы отвѣчала только: «я ничего этого не знаю и не вѣдаю». Сергѣя заставили уличать ее на очной ставкѣ. Выслушавъ его признанія, Катерина Львовна посмотрѣла на него съ нѣмымъ изумленіемъ, но безъ гнѣва, и потомъ равнодушно сказала:

— Если ему охота была это сказывать, такъ мнѣ запираться нечего: я убила.

— Для чего же?—спрашивали ее.

— Для него, — отвѣчала она, показавъ на повѣсившаго голову Сергѣя.

Преступниковъ разсадили въ острогѣ, и ужасное дѣло, обратившее на себя всеобщее вниманіе и негодованіе, было рѣшено очень скоро. Въ концѣ февраля Сергѣю и купеческой третьей гильдіи вдовѣ Катеринѣ Львовнѣ объявили въ уголовной палатѣ, что ихъ рѣшено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потомъ обоихъ въ каторжную работу. Въ началѣ марта, въ холодное морозное утро, палачъ отсчиталъ положенное число синебагровыхъ рубцовъ на обнаженной бѣлой спинѣ Катерины Львовны, а потомъ отбилъ порцію и на плечахъ Сергѣя и заштемпелевалъ его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергѣй почему-то возбуждалъ гораздо

болѣе общаго сочувствія, чѣмъ Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, онъ падалъ, сходя съ чернаго эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегли къ ея изорванной спинѣ.

Даже въ острожной больницѣ, когда ей тамъ подали ея ребенка, она только сказала: «ну, его совсѣмъ!»—и, отворотясь къ стѣнѣ, безъ всякаго стона, безъ всякой жалобы, повалилась грудью на жесткую койку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Партія, въ которую попали Сергѣй и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще, по народной пословицѣ, «ярко свѣтило, да не тепло грѣло».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитаніе старушкѣ, сестрѣ Бориса Тимоѳеича, такъ какъ, считаясь законнымъ сыномъ убитаго мужа преступницы, младенецъ оставался единственнымъ наслѣдникомъ всего теперь измайловскаго состоянія. Катерина Львовна была этимъ очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ея къ отцу, какъ любовь многихъ слишкомъ страстныхъ женщинъ, не переходила никакою своею частію на ребенка.

Впрочемъ, для нея не существовало ни свѣта, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала съ нетерпѣніемъ только выступленія партіи въ дорогу, гдѣ опять надѣялась видѣться съ своимъ Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны се не обманули: тяжело окованный цѣпями, клейменый Сергѣй вышелъ въ одной съ нею кучкѣ за острожныя ворота.

Ко всякому отвратительному положенію человѣкъ, по возможности, привыкаетъ и въ каждомъ положеніи онъ сохраняетъ, по возможности, способность преслѣдовать свои скудныя радости; но Катеринѣ Львовнѣ не къ чему было и приспособливаться: она видитъ опять Сергѣя, а съ нимъ ей и каторжный путь цвѣтетъ счастіемъ.

Мало вынесла съ собою Катерина Львовна въ пестрядинномъ мѣшкѣ цѣнныхъ вещей, и еще того меньше наличныхъ денегъ. Но и это все, еще далеко не доходя до Ниж-

няго, раздала она этапнымъ ундерамъ за возможность идти съ Сергѣемъ рядышкомъ дорогой и постоять съ нимъ, обнявшись, часокъ темной ночью въ холодномъ закоулочкѣ узенькаго этапнаго коридора.

Только штемпелеванный дружокъ Катерины Львовны сталъ что-то до нея очень неласковъ: что ей ни скажетъ, какъ оторветъ; тайными свиданьями съ ней, за которыя та, не ѣвши и не пивши, отдаетъ самой ей нужный четвертачокъ изъ тощаго кошелька, дорожитъ не очень и даже не разъ говаривалъ:

— Ты, замѣстъ того, чтобъ углы-то въ коридорѣ выходить со мной обтирать, мнѣ бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

— Четвертачокъ всего, Сереженька, я дала, — оправдывалась Катерина Львовна.

— А четвертачокъ нѣшь не деньги? Много ты ихъ на дорогѣ-то поднимала, этихъ четвертачковъ, а разсовала ужъ, чай, не мало.

— Зато же, Сережа, видались.

— Ну, легко ли, радость какая, послѣ этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклялъ бы, а не то что свиданіе.

— А мнѣ, Сережа, все равно: мнѣ лишь бы тебя видѣть.

— Глупости все это, — отвѣчалъ Сергѣй.

Катерина Львовна иной разъ до крови губы кусала при такихъ отвѣтахъ, а иной разъ и на ея неплаксивыхъ глазахъ слезы злобы и досады навертывались въ темнотѣ ночныхъ свиданій; но все она терпѣла, все молчала и сама себя хотѣла обманывать.

Такимъ образомъ въ этихъ новыхъ другъ къ другу отношеніяхъ дошли они до Нижняго-Новгорода. Здѣсь партія ихъ соединилась съ партіею, слѣдовавшею въ Сибирь съ московскаго тракта.

Въ этой большой партіи въ числѣ множества всякаго народа, въ женскомъ отдѣленіи были два очень интересныя лица: одна — солдатка Фіона изъ Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокаго роста, съ густою черною косою и томными карими глазами, какъ таинственной фатой завѣшанными густыми рѣсницами; а другая — семнадцатилѣтняя востролиценькая блондиночка съ нѣжно-розовой кожей, крошечнымъ ротикомъ, ямочками на свѣжихъ

щечкахъ и золотисто-русыми кудрями, капризно выбѣгавшими на лобъ изъ-подъ арестантской пестрядинной повязки. Дѣвочку эту въ партіи звали Сонеткой.

Красавица Фіона была нрава мягкаго и лѣниваго. Въ своей партіи ее всѣ знали и никто изъ мужчинъ особенно не радовался, достигая у нея успѣха, и никто не огорчался, видя, какъ она тѣмъ же самымъ успѣхомъ дарила другого искателя.

— Тетка Фіона у насъ баба добрѣющая, никому отъ нея обиды нѣтъ, — говорили шутя арестанты въ одинъ голосъ.

Но Сонетка была совсѣмъ въ другомъ родѣ.

Объ этой говорили:

— Вьюнъ: около рукъ вьется, а въ руки не дается.

Сонетка имѣла вкусъ, блюла выборъ и даже, можетъ-быть, очень строгій выборъ; она хотѣла, чтобы страсть приносили ей не въ видѣ сыроѣжки, а подъ пикантною, пряною приправою, съ страданіями и съ жертвами; а Фіона была русская простота, которой даже лѣнь сказать кому-нибудь: «прочь поди», и которая знаетъ только одно, что она баба. Такія женщины очень высоко цѣнятся въ разбойничьихъ шайкахъ, арестантскихъ партіяхъ и петербургскихъ соціально-демократическихъ коммунахъ.

Появленіе этихъ двухъ женщинъ въ одной соединенной партіи съ Сергѣемъ и Катериной Львовной имѣло для послѣдней трагическое значеніе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Съ первыхъ же дней вмѣстнаго слѣдованія соединенной партіи отъ Нижняго къ Казани, Сергѣй сталъ видимымъ образомъ заискивать расположенія солдатки Фіоны и не пострадалъ безуспѣшно. Томная красавица Фіона не истомила Сергѣя, какъ не томила она, по своей добротѣ, никого. На третьемъ или четвертомъ этапѣ Катерина Львовна съ раннихъ сумерекъ устроила себѣ, посредствомъ подкупа, свиданіе съ Сережечкой и лежитъ не спитъ: все ждетъ, что вотъ-вотъ взойдетъ дежурный унтерокъ, тихонько толкнетъ ее и шепнетъ: «бѣги скорѣй!» Отворилась дверь разъ, и какая-то женщина юркнула въ коридоръ; отворилась и еще разъ дверь, и еще съ наръ скоро вскочила и тоже исчезла за провожатымъ другая арестантка; наконецъ, дернули за свиту, которой была по-

крыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась съ облощенныхъ арестантскими боками наръ, накинула свиту на плечи и толкнула стоящаго передъ нею провожатаго.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только въ одномъ мѣстѣ, слабо освѣщенномъ слѣпою плошкою, она наткнулась на двѣ или три пары, не дававшія ничѣмъ себя замѣтить издали. При проходѣ Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорѣзанное въ двери, ей послышался сдержанный хохотъ.

— Ишь, жируютъ, — буркнулъ провожатый Катерины Львовны и, придержавъ ее за плечи, ткнулъ въ уголочекъ и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ея рука коснулась жаркаго женскаго лица.

— Кто это?—спросилъ вполголоса Сергѣй.

— А ты чего тутъ? съ кѣмъ ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмахъ повязку съ своей соперницы. Та скользнула въ сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то въ коридорѣ, полетѣла.

Изъ мужской камеры раздался дружный хохотъ.

— Злодѣй! — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергѣя по лицу концами платка, сорваннаго съ головы его новой подруги.

Сергѣй поднялъ-было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохотъ изъ мужской комнаты вслѣдъ ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявшій противъ плошки и плевавшій себѣ въ носокъ сапога, приподнялъ голову и рыкнулъ:

— Цыцъ!

Катерина Львовна улеглась молча и такъ пролежала до утра. Она хотѣла себѣ сказать: «не люблю жъ его», и чувствовала, что любила его еще горячѣе, еще больше. И вотъ въ глазахъ ея все рисуется, все рисуется, какъ ладонь его дрожала у *той* подъ ея головою, какъ другая рука его обнимала ея жаркія плечи.

Бѣдная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была въ эту минуту подъ ея головою и чтобъ другая его же рука обняла ея истерически дрожавшія плечи.

— Ну, одначе, дай же ты мнѣ мою повязку, — побудила ее утромъ солдатка Фіона.

— А, такъ это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачѣмъ разлучаешь?

— Да чѣмъ же я васъ разлучаю? Нѣшь это какая любовь, или интересъ въ самомъ дѣлѣ, чтобъ сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потомъ вынула изъподъ подушки сорванную ночью повязку и, бросивъ ее Фіонѣ, повернулась къ стѣнкѣ.

Ей стало легче.

— Тфу,—сказала она себѣ: — неужели жъ-таки къ этой лоханкѣ крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мнѣ и примѣнять-то себя къ ней скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вотъ что,—говорилъ идучи на завтра дорогою Сергѣй:—ты, пожалуйста, разумѣй, что одинъ разъ я тебѣ не Зиновій Борисычъ, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: такъ ты не пышись, сдѣлай милость. Козьи рога у насъ въ торгъ нейдутъ.

Катерина Львовна ничего на это не отвѣчала, и съ недѣлю она шла съ Сергѣемъ ни словомъ, ни взглядомъ не обмѣнявшись. Какъ обиженная, она все-таки выдерживала характеръ и не хотѣла сдѣлать перваго шага къ примиренію въ этой первой ея ссорѣ съ Сергѣемъ.

Между тѣмъ, этой порою, какъ Катерина Львовна на Сергѣя сердилась, Сергѣй сталъ чепуриться и заигрывать съ бѣленькой Сонеткой. То раскланивается ей съ «нашимъ особеннымъ», то улыбается, то, какъ встрѣтится, норовитъ обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видитъ, и только пуще у нея сердце кипитъ.

— Ужъ помириться бы мнѣ съ нимъ, что ли? — разсуждаетъ, спотыкаясь и земли подъ собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще болѣе, чѣмъ когда-либо, гордость не позволяетъ. А тѣмъ временемъ Сергѣй все неотступнѣе вяжется за Сонеткой, и ужъ всѣмъ сдается, что недоступная Сонетка, которая все вьюномъ вилась, а въ руки не давалась, что-то вдругъ будто ручнѣть стала.

— Вотъ ты на меня плакалась,—сказала какъ-то Кате-

ринѣ Львовнѣ Фіона:—а я что тебѣ сдѣлала? Мой случай былъ, да и прошелъ, а ты вотъ за Сонеткой-то глядѣла бъ.

«Пропади она, эта моя гордость: непремѣнно нонче же помирюсь», рѣшила Катерина Львовна, размышляя ужъ только объ одномъ, какъ бы только ловчѣй взяться за это примиреніе.

Изъ этого затруднительнаго положенія ее вывелъ самъ Сергѣй.

— Ильвовна! — позвалъ онъ ее на привалѣ. — Выдь ты нонче ко мнѣ на минуточку ночью: дѣло есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что жъ, можетъ, сердишься еще—не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не отвѣтила.

Но Сергѣй, да и всѣ, кто наблюдалъ за Катериной Львовной, видѣли, что, подходя къ этапному дому, она все стала жаться къ старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеекъ, собранныхъ отъ мірского подаянія.

— Какъ только соберу, я вамъ додамъ гривну, — упрашивала Катерина Львовна.

Ундеръ спряталъ за обшлагъ деньги и сказалъ:

— Ладно.

Сергѣй, когда кончились эти переговоры, крякнулъ и подмигнулъ Сонеткѣ.

— Ахъ, ты, Катерина Ильвовна!—говорилъ онъ, обнимая ее при входѣ на ступени этапнаго дома. — Супротивъ этой женщины, ребята, въ цѣломъ свѣтѣ другой такой нѣтъ.

Катерина Львовна и краснѣла, и задыхалась отъ счастья.

Чуть ночью тихонько пріотворилась дверь, она такъ и выскочила: дрожитъ и ищетъ руками Сергѣя по темному коридору.

— Катя моя!—произнесъ, обнявъ ее, Сергѣй.

— Ахъ ты, злодѣй ты мой!—сквозь слезы отвѣчала Катерина Львовна и прильнула къ нему губами.

Часовой ходилъ по коридору и останавливаясь плевалъ на свои сапоги и ходилъ снова, за дверями усталые арестанты храпѣли, мышь грызла перо, подъ печью, взапуски другъ передъ другомъ, заливались сверчки; а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги и слышна неизбѣжная проза.

— Смерть больно: отъ самой отъ щиколотки до самаго

колѣна кости такъ и гудутъ,—жаловался Сергѣй, сидя съ Катериной Львовной на полу въ углу коридора.

— Что же дѣлать-то, Сережечка? — разспрашивала она, ютясь подъ полу его свиты.

— Нешто только въ лазаретъ въ Казани попрошусь?

— Охъ, что-й-то ты, Сережа?

— А что жъ, когда, смерть моя, больно.

— Какъ же ты останешься, а меня погонятъ?

— А что-жъ дѣлать? третъ, такъ, я тебѣ говорю, третъ, что какъ въ кость вся цѣпь не въѣдается. Развѣ когда бъ шерстяные чулки, что ли, поддѣть еще,—проговорилъ Сергѣй спустя минутку.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что!—отвѣчалъ Сергѣй.

Катерина Львовна, ни слова не говоря болѣе, юркнула въ камеру, растормошила на нарахъ свою сумочку и опять торопливо выскочила къ Сергѣю съ парою толстыхъ синихъ болховскихъ шерстяныхъ чулокъ съ яркими стрѣлками сбоку.

— Этакъ теперь ничего будетъ,—произнесъ Сергѣй, прощаясь съ Катериной Львовной и принимая ея послѣдніе чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крѣпко заснула.

Она не слыхала, какъ послѣ ея прихода въ коридоръ выходила Сонетка и какъ тихо она возвратилась оттуда уже передъ самымъ утромъ.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Холодный, ненастный день съ порывистымъ вѣтромъ и дождемъ, перемѣшаннымъ со снѣгомъ, непривѣтно встрѣтилъ партію, выступавшую за ворота душнаго этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только-что стала въ рядъ, какъ вся затряслась и позеленѣла. Въ глазахъ у нея стало темно; всѣ суставы ея заныли и разслабѣли. Передъ Катериной Львовной стояла Сонетка въ хорошо знакомыхъ той синихъ шерстяныхъ чулкахъ съ яркими стрѣлками.

Катерина Львовна двинулась въ путь совсѣмъ неживая; только глаза ея страшно смотрѣли на Сергѣя и съ него не смаргивали.

На первомъ привалѣ она спокойно подошла къ Сергѣю, прошептала «подлецъ» и неожиданно плюнула ему прямо въ глаза.

Сергѣй хотѣлъ на нее броситься; но его удержали.

— Погоди жъ ты!—произнесъ онъ и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она съ тобой поступаетъ,— трунили надъ Сергѣемъ арестанты, и особенно веселымъ хохотомъ заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсѣмъ въ ея вкусѣ.

— Ну это жъ тебѣ такъ не пройдетъ,—грозился Катеринѣ Львовнѣ Сергѣй.

Умаявшись непогодою и переходомъ, Катерина Львовна съ разбитою душой тревожно спала ночью на нарахъ въ очередномъ этапномъ домѣ и не слыхала, какъ въ женскую казарму вошли два человѣка.

Съ приходомъ ихъ, съ наръ приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшимъ рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

Въ это же мгновеніе свита Катерины Львовны взлетѣла ей на голову, и по ея спинѣ, закрытой одною суровою рубашкою, загулялъ во всю мужичью мочь толстый конецъ вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ея не было слышно изъ-подъ свиты, окутывающей ея голову. Она рванулась, но тоже безъ успѣха: на плечахъ ея сидѣлъ здоровый арестантъ и крѣпко держалъ ея руки.

— Пятьдесятъ, — сосчиталъ, наконецъ, одинъ голосъ, въ которомъ никому не трудно было узнать голосъ Сергѣя, и ночные посѣтители разомъ исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только невдалекѣ кто-то злорадостно хихикалъ подъ свитою. Катерина Львовна узнала хохотъ Сонетки.

Обидѣ этой уже не было мѣры; не было мѣры и чувству злобы, закипѣвшей въ это мгновеніе въ душѣ Катерины Львовны. Она безъ памяти ринулась впередъ и безъ памяти упала на грудь подхватившей ее Фіоны.

На этой полной груди, еще такъ недавно тѣшившей сластью разврата невѣрнаго любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, какъ дитя къ матери, прижималась къ своей глупой и рыхлой

соперницѣ. Онѣ были теперь равны: онѣ обѣ были сравнены въ цѣнѣ и обѣ брошены.

Онѣ равны!.. подвластная первому случаю Фіона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катеринѣ Львовнѣ, впрочемъ, было уже ничто не обидно. Выплакавъ свои слезы, она окаменѣла и съ деревяннымъ спокойствіемъ собиралась выходить на перекличку.

Барабанъ бьетъ: тахъ-тарарахъ-тахъ; на дворъ вываливаютъ скованные и нескованные арестантики, и Сергѣй, и Фіона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольникъ, скованный съ жидомъ, и полякъ на одной цѣпи съ татариномъ.

Всѣ скучились, потомъ выровнялись кое въ какой порядокъ и пошли.

Безотраднѣйшая картина: горсть людей, оторванныхъ отъ свѣта и лишенныхъ всякой тѣни надежды на лучшее будущее, тонетъ въ холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругомъ все до ужаса безобразно: безконечная грязь, сѣрое небо, обезлиственныя, мокрыя ракиты и въ растопыренныхъ ихъ сучьяхъ нахохлившаяся ворона. Вѣтеръ то стонетъ, то злится, то воетъ и реветъ.

Въ этихъ адскихъ, душу раздирающихъ звукахъ, которые довершаютъ весь ужасъ картины, звучатъ совѣты жены библейскаго Іова: «Прокляни день твоего рожденія и умри».

Кто не хочетъ вслушиваться въ эти слова, кого мысль о смерти и въ этомъ печальномъ положеніи не льститъ, а пугаетъ, тому надо стараться заглушить эти воющіе голоса чѣмъ-нибудь еще болѣе ихъ безобразнымъ. Это прекрасно понимаетъ простой человѣкъ: онъ спускаетъ тогда на волю всю свою звѣриную простоту, начинаетъ глупить, издѣваться надъ собою, надъ людьми, надъ чувствомъ. Не особенно нѣжный и безъ того, онъ становится золъ сугубо.

— Что, купчиха? Все ли, ваше степенство, въ добромъ здоровьѣ? — нагло спросилъ Катерину Львовну Сергѣй, чуть только партія потеряла за мокрымъ пригоркомъ деревню, гдѣ ночевала.

Съ этими словами, онъ, сейчасъ же обратясь къ Сонеткѣ, покрылъ ее своею полою и запѣлъ высокимъ фальцетомъ:

За окномъ въ тѣни мелькаетъ русая головка.
Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.
Я полой тебя прикрою, такъ что не замѣтятъ.

При этихъ словахъ Сергѣй обнялъ Сонетку и громко поцѣловалъ ее при всей партіи...

Катерина Львовна все это видѣла и не видала: она шла совсѣмъ ужъ неживымъ человѣкомъ. Ее стали поталкивать и показывать ей, какъ Сергѣй безобразничаетъ съ Сонеткой. Она стала предметомъ насмѣшекъ.

— Не троньте ее, — заступалась Фіона, когда кто-нибудь изъ партіи пробовалъ подсмѣяться надъ спотыкающеюся Катериной Львовною. — Нешто не видите, черти, что женщина больна совсѣмъ?

— Должно ножки промочила, — острилъ молодой арестантъ.

— Извѣстно, купеческаго роду: воспитанья нѣжнаго, — отозвался Сергѣй.

— Разумѣется, если бы имъ хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще, — продолжалъ онъ.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змѣй подлый! — произнесла она, не стерпѣвъ: — насмѣхайся, подлецъ, насмѣхайся!

— Нѣтъ, я это совсѣмъ, купчиха, не въ насмѣшку, а что вотъ Сонетка чулки больно гожіе продаетъ, такъ я только думалъ: не купитъ ли, молъ, наша купчиха.

Многіе засмѣялись. Катерина Львовна шагала, какъ заведенный автоматъ.

Погода все разыгрывалась. Изъ сѣрыхъ облаковъ, покрывавшихъ небо, сталъ падать мокрыми хлопьями снѣгъ, который, едва касаясь земли, таялъ и увеличивалъ невылазную грязь. Наконецъ, показывается темная свинцовая полоса; другого края ея не разсмотришь. Эта полоса — Волга. Надъ Волгой ходитъ крѣпковатый вѣтеръ и водитъ взадъ и впередъ медленно приподнимающіяся широкопастыя темныя волны.

Партія промокшихъ и продрогнувшихъ арестантовъ медленно подошла къ перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошелъ весь мокрый, темный паромъ; команда начала размѣщать арестантовъ.

— На этомъ паромѣ, сказываютъ, кто-то водку держитъ, — замѣтилъ какой-то арестантъ, когда, осыпаемый хлопьями

мокраго снѣга, паромъ отчалилъ отъ берега и закачался на валахъ расходившейся рѣки.

— Да, теперь бы точно, бездѣлицу пропустить ничего, — отзывался Сергѣй и, преслѣдуя для Сонеткиной потѣхи Катерину Львовну, произнесъ: — купчиха, а ну-ко, по старой дружбѣ угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, какъ мы съ тобой, моя радость, погуливали, осеннія долги ночи просиживали, твоихъ родныхъ безъ поповъ и безъ дьяковъ на вѣчный спокой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала отъ холода. Кромѣ холода, пронизывающаго ее подъ измокшимъ платьемъ до самыхъ костей, въ организмѣ Катерины Львовны происходило еще нѣчто другое. Голова ея горѣла какъ въ огнѣ; зрачки глазъ были расширены, оживлены блудящимъ, острымъ блескомъ и неподвижно вперены въ ходящія волны.

— Ну, а водочки и я бъ ужъ выпила: мочи нѣтъ холодно, — прозвенѣла Сонетка.

— Купчиха, да угости, что-ль! — мозолилъ Сергѣй.

— Эхъ ты, совѣсть! — выговорила Фіона, качая съ упрекомъ головою.

— Не къ чести твоей совсѣмъ это, — поддержалъ солдатку арестантикъ Гордюшка.

— Хушь бы ты не противъ самой ея, такъ противъ другихъ за нее посовѣстился.

— Ну, ты, мірская табакерка! — крикнулъ на Фіону Сергѣй. — Тоже — совѣститься! Что мнѣ тутъ еще совѣститься! я ее можетъ и никогда не любилъ, а теперь... да мнѣ вотъ стоптанный Сонеткинъ башмакъ милѣе ея рожи, кошки этакой ободранной: такъ что жъ ты мнѣ противъ этого говорить можешь? Пусть вонъ Гордюшку косоротаго любитъ; а то... (онъ оглянулся на ѣдущаго верхомъ сморчка въ буркѣ и въ военной фуражкѣ съ кокардой и добавилъ) а то вонъ еще лучше къ этапному пусть поластится: у него подъ буркой по крайности дождемъ не пробираетъ.

— И всѣ бъ офицершей звать стали, — прозвенѣла Сонетка.

— Да какъ же!.. и на чулочки-то бъ шутя бы достала, — поддержалъ Сергѣй.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнѣе смотрѣла въ волны и шевелила губами. Промежду

мокраго снѣга, паромъ отчалилъ отъ берега и закачался на валахъ расходившейся рѣки.

— Да, теперь бы точно, бездѣлицу пропустить ничего, — отзывался Сергѣй и, преслѣдуя для Сонеткиной потѣхи Катерину Львовну, произнесъ: — купчиха, а ну-ко, по старой дружбѣ угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, какъ мы съ тобой, моя радость, погуливали, осеннія долги ночи просиживали, твоихъ родныхъ безъ поповъ и безъ дьяковъ на вѣчный спокой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала отъ холода. Кромѣ холода, пронизывающаго ее подъ измокшимъ платьемъ до самыхъ костей, въ организмѣ Катерины Львовны происходило еще нѣчто другое. Голова ея горѣла какъ въ огнѣ; зрачки глазъ были расширены, оживлены блудящимъ, острымъ блескомъ и неподвижно вперены въ ходящія волны.

— Ну, а водочки и я бъ ужъ выпила: мочи нѣтъ холодно, — прозвенѣла Сонетка.

— Купчиха, да угости, что-ль! — мозолил[illegible]

— Эхъ ты, совѣсть! — выговорила Ф[illegible]
комъ головою.

— Не къ чести твоей совсѣмъ это, –
датку арестантикъ Гордюшка.

— Хушь бы ты не противъ самой ея, [illegible]
гихъ за нее посовѣстился.

— Ну, ты, мірская табакерка! — крикну[illegible]
гѣй. — Тоже — совѣститься! Что мнѣ тутъ е[illegible]
я ее можетъ и никогда не любилъ, а теперь... да [illegible]
стоптанный Сонеткинъ башмакъ милѣе ея рожи, ко[illegible]
этакой ободранной: такъ что жъ ты мнѣ противъ этого го
ворить можешь? Пусть вонъ Гордюшку косоротаго л
а то... (онъ оглянулся на ѣдущаго верхомъ см
буркѣ и въ военной фуражкѣ съ кокардой и до
то вонъ еще лучше къ этапному пусть полластит
подъ буркой по крайности дождемъ не пробирае

— И всѣ бъ офицершей звать стали, — прозв
нетка.

— Да какъ же!.. и на чулочки-то бъ шутя бы дос
поддержалъ Сергѣй.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она вс
стальнѣе смотрѣла въ волны и шевелила губами. Про

крыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась съ облощенныхъ арестантскими боками наръ, накинула свиту на плечи и толкнула стоящаго передъ нею провожатаго.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только въ одномъ мѣстѣ, слабо освѣщенномъ слѣпою плошкою, она наткнулась на двѣ или три пары, не дававшія ничѣмъ себя замѣтить издали. При проходѣ Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорѣзанное въ двери, ей послышался сдержанный хохотъ.

— Ишь, жируютъ, — буркнулъ провожатый Катерины Львовны и, придержавъ ее за плечи, ткнулъ въ уголочекъ и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ея рука коснулась жаркаго женскаго лица.

— Кто это?—спросилъ вполголоса Сергѣй.

— А ты чего тутъ? съ кѣмъ ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмахъ повязку съ своей соперницы. Та скользнула въ сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то въ коридорѣ, полетѣла.

Изъ мужской камеры раздался дружный хохотъ.

— Злодѣй! — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергѣя по лицу концами платка, сорваннаго съ головы его новой подруги.

Сергѣй поднялъ-было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохотъ изъ мужской комнаты вслѣдъ ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявшій противъ плошки и плевавшій себѣ въ носокъ сапога, приподнялъ голову и рыкнулъ:

— Цыцъ!

Катерина Львовна улеглась молча и такъ пролежала до утра. Она хотѣла себѣ сказать: «не люблю жъ его», и чувствовала, что любила его еще горячѣе, еще больше. И вотъ въ глазахъ ея все рисуется, все рисуется, какъ ладонь его дрожала у *той* подъ ея головою, какъ другая рука его обнимала ея жаркія плечи.

Бѣдная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была въ эту минуту подъ ея головою и чтобъ другая его же рука обняла ея истерически дрожавшія плечи.

— Ну, одначе, дай же ты мнѣ мою повязку,— побудила ее утромъ солдатка Фіона.

— А, такъ это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачѣмъ разлучаешь?

— Да чѣмъ же я васъ разлучаю? Нѣшь это какая любовь, или интересъ въ самомъ дѣлѣ, чтобъ сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потомъ вынула изъподъ подушки сорванную ночью повязку и, бросивъ ее Фіонѣ, повернулась къ стѣнкѣ.

Ей стало легче.

— Тфу,—сказала она себѣ:—неужели жъ-таки къ этой лоханкѣ крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мнѣ и примѣнять-то себя къ ней скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вотъ что,—говорилъ идучи на завтра дорогою Сергѣй:—ты, пожалуйста, разумѣй, что одинъ разъ я тебѣ не Зиновій Борисычъ, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: такъ ты не пыпись, сдѣлай милость. Козьи рога у насъ въ торгъ нейдутъ.

Катерина Львовна ничего на это не отвѣчала, и съ недѣлю она шла съ Сергѣемъ ни словомъ, ни взглядомъ не обмѣнявшись. Какъ обиженная, она все-таки выдерживала характеръ и не хотѣла сдѣлать перваго шага къ примиренію въ этой первой ея ссорѣ съ Сергѣемъ.

Между тѣмъ, этой порою, какъ Катерина Львовна на Сергѣя сердилась, Сергѣй сталъ чепуриться и заигрывать съ бѣленькой Сонеткой. То раскланивается ей съ «нашимъ особеннымъ», то улыбается, то, какъ встрѣтится, норовитъ обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видитъ, и только пуще у нея сердце кипитъ.

— Ужъ помириться бы мнѣ съ нимъ, что ли? — разсуждаетъ, спотыкаясь и земли подъ собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще болѣе, чѣмъ когда-либо, гордость не позволяетъ. А тѣмъ временемъ Сергѣй все неотступнѣе вяжется за Сонеткой, и ужъ всѣмъ сдается, что недоступная Сонетка, которая все вьюномъ вилась, а въ руки не давалась, что-то вдругъ будто ручнѣть стала.

— Вотъ ты на меня плакалась,—сказала какъ-то Кате-

ринѣ Львовнѣ Фіона:—а я что тебѣ сдѣлала? Мой случай былъ, да и прошелъ, а ты вотъ за Сонеткой-то глядѣла бъ.

«Пропади она, эта моя гордость: непремѣнно нонче же помирюсь», рѣшила Катерина Львовна, размышляя ужъ только объ одномъ, какъ бы только ловчѣй взяться за это примиреніе.

Изъ этого затруднительнаго положенія ее вывелъ самъ Сергѣй.

— Ильвовна! — позвалъ онъ ее на привалѣ. — Выдь ты нонче ко мнѣ на минуточку ночью: дѣло есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что жъ, можетъ, сердишься еще—не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не отвѣтила.

Но Сергѣй, да и всѣ, кто наблюдалъ за Катериной Львовной, видѣли, что, подходя къ этапному дому, она все стала жаться къ старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеекъ, собранныхъ отъ мірского подаянія.

— Какъ только соберу, я вамъ додамъ гривну, — упрашивала Катерина Львовна.

Ундеръ спряталъ за обшлагъ деньги и сказалъ:

— Ладно.

Сергѣй, когда кончились эти переговоры, крякнулъ и подмигнулъ Сонеткѣ.

— Ахъ, ты, Катерина Ильвовна!—говорилъ онъ, обнимая ее при входѣ на ступени этапнаго дома. — Супротивъ этой женщины, ребята, въ цѣломъ свѣтѣ другой такой нѣтъ.

Катерина Львовна и краснѣла, и задыхалась отъ счастья.

Чуть ночью тихонько пріотворилась дверь, она такъ и выскочила: дрожитъ и ищетъ руками Сергѣя по темному коридору.

— Катя моя!—произнесъ, обнявъ ее, Сергѣй.

— Ахъ ты, злодѣй ты мой!—сквозь слезы отвѣчала Катерина Львовна и прильнула къ нему губами.

Часовой ходилъ по коридору и останавливаясь плевалъ на свои сапоги и ходилъ снова, за дверями усталые арестанты храпѣли, мышь грызла перо, подъ печью, взапуски другъ передъ другомъ, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги и слышна неизбѣжная проза.

— Смерть больно: отъ самой отъ щиколотки до самаго

колѣна кости такъ и гудутъ,—жаловался Сергѣй, сидя съ Катериной Львовной на полу въ углу коридора.

— Что же дѣлать-то, Сережечка? — разспрашивала она, ютясь подъ полу его свиты.

— Нешто только въ лазаретъ въ Казани попрошусь?

— Охъ, что-й-то ты, Сережа?

— А что жъ, когда, смерть моя, больно.

— Какъ же ты останешься, а меня погонятъ?

— А что-жъ дѣлать? третъ, такъ, я тебѣ говорю, третъ, что какъ въ кость вся цѣпь не въѣдается. Развѣ когда бъ шерстяные чулки, что ли, поддѣть еще,—проговорилъ Сергѣй спустя минутку.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что!—отвѣчалъ Сергѣй.

Катерина Львовна, ни слова не говоря болѣе, юркнула въ камеру, растормошила на нарахъ свою сумочку и опять торопливо выскочила къ Сергѣю съ парою толстыхъ синихъ болховскихъ шерстяныхъ чулокъ съ яркими стрѣлками сбоку.

— Этакъ теперь ничего будетъ,—произнесъ Сергѣй, прощаясь съ Катериной Львовной и принимая ея послѣдніе чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крѣпко заснула.

Она не слыхала, какъ послѣ ея прихода въ коридоръ выходила Сонетка и какъ тихо она возвратилась оттуда уже передъ самымъ утромъ.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Холодный, ненастный день съ порывистымъ вѣтромъ и дождемъ, перемѣшаннымъ со снѣгомъ, непривѣтно встрѣтилъ партію, выступавшую за ворота душнаго этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только-что стала въ рядъ, какъ вся затряслась и позеленѣла. Въ глазахъ у нея стало темно; всѣ суставы ея заныли и разслабѣли. Передъ Катериной Львовной стояла Сонетка въ хорошо знакомыхъ той синихъ шерстяныхъ чулкахъ съ яркими стрѣлками.

Катерина Львовна двинулась въ путь совсѣмъ неживая; только глаза ея страшно смотрѣли на Сергѣя и съ него не смаргивали.

На первомъ привалѣ она спокойно подошла къ Сергѣю, прошептала «подлецъ» и неожиданно плюнула ему прямо въ глаза.

Сергѣй хотѣлъ на нее броситься; но его удержали.

— Погоди жъ ты!—произнесъ онъ и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она съ тобой поступаетъ,— трунили надъ Сергѣемъ арестанты, и особенно веселымъ хохотомъ заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсѣмъ въ ея вкусѣ.

— Ну это жъ тебѣ такъ не пройдетъ,—грозился Катеринѣ Львовнѣ Сергѣй.

Умаявшись непогодою и переходомъ, Катерина Львовна съ разбитою душой тревожно спала ночью на нарахъ въ очередномъ этапномъ домѣ и не слыхала, какъ въ женскую казарму вошли два человѣка.

Съ приходомъ ихъ, съ наръ приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшимъ рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

Въ это же мгновеніе свита Катерины Львовны взлетѣла ей на голову, и по ея спинѣ, закрытой одною суровою рубашкою, загулялъ во всю мужичью мочь толстый конецъ вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ея не было слышно изъ-подъ свиты, окутывающей ея голову. Она рванулась, но тоже безъ успѣха: на плечахъ ея сидѣлъ здоровый арестантъ и крѣпко держалъ ея руки.

— Пятьдесятъ, — сосчиталъ, наконецъ, одинъ голосъ, въ которомъ никому не трудно было узнать голосъ Сергѣя, и ночные посѣтители разомъ исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только невдалекѣ кто-то злорадостно хихикалъ подъ свитою. Катерина Львовна узнала хохотъ Сонетки.

Обидѣ этой уже не было мѣры; не было мѣры и чувству злобы, закипѣвшей въ это мгновеніе въ душѣ Катерины Львовны. Она безъ памяти ринулась впередъ и безъ памяти упала на грудь подхватившей ее Фіоны.

На этой полной груди, еще такъ недавно тѣшившей сластью разврата невѣрнаго любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, какъ дитя къ матери, прижималась къ своей глупой и рыхлой

соперницѣ. Онѣ были теперь равны: онѣ обѣ были сравнены въ цѣнѣ и обѣ брошены.

Онѣ равны!.. подвластная первому случаю Фіона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катеринѣ Львовнѣ, впрочемъ, было уже ничто не обидно. Выплакавъ свои слезы, она окаменѣла и съ деревяннымъ спокойствіемъ собиралась выходить на перекличку.

Барабанъ бьетъ: тахъ-тарарахъ-тахъ; на дворъ вываливаютъ скованные и нескованные арестантики, и Сергѣй, и Фіона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольникъ, скованный съ жидомъ, и полякъ на одной цѣпи съ татариномъ.

Всѣ скучились, потомъ выровнялись кое въ какой порядокъ и пошли.

Безотраднѣйшая картина: горсть людей, оторванныхъ отъ свѣта и лишенныхъ всякой тѣни надеждъ на лучшее будущее, тонетъ въ холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругомъ все до ужаса безобразно: безконечная грязь, сѣрое небо, обезлиственныя, мокрыя ракиты и въ растопыренныхъ ихъ сучьяхъ нахохлившаяся ворона. Вѣтеръ то стонетъ, то злится, то воетъ и ревetъ.

Въ этихъ адскихъ, душу раздирающихъ звукахъ, которые довершаютъ весь ужасъ картины, звучатъ совѣты жены библейскаго Іова: «Прокляни день твоего рожденія и умри».

Кто не хочетъ вслушиваться въ эти слова, кого мысль о смерти и въ этомъ печальномъ положеніи не льститъ, а пугаетъ, тому надо стараться заглушить эти воющіе голоса чѣмъ-нибудь еще болѣе ихъ безобразнымъ. Это прекрасно понимаетъ простой человѣкъ: онъ спускаетъ тогда на волю всю свою звѣриную простоту, начинаетъ глупить, издѣваться надъ собою, надъ людьми, надъ чувствомъ. Не особенно нѣжный и безъ того, онъ становится золъ сугубо.

— Что, купчиха? Все ли, ваше степенство, въ добромъ здоровьѣ? — нагло спросилъ Катерину Львовну Сергѣй, чуть только партія потеряла за мокрымъ пригоркомъ деревню, гдѣ ночевала.

Съ этими словами, онъ, сейчасъ же обратясь къ Сонеткѣ, покрылъ ее своею полою и запѣлъ высокимъ фальцетомъ:

За окномъ въ тѣни мелькаетъ русая головка.
Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.
Я полой тебя прикрою, такъ что не замѣтятъ.

При этихъ словахъ Сергѣй обнялъ Сонетку и громко поцѣловалъ ее при всей партіи...

Катерина Львовна все это видѣла и не видала: она шла совсѣмъ ужъ неживымъ человѣкомъ. Ее стали поталкивать и показывать ей, какъ Сергѣй безобразничаетъ съ Сонеткой. Она стала предметомъ насмѣшекъ.

— Не троньте ее, — заступалась Фіона, когда кто-нибудь изъ партіи пробовалъ подсмѣяться надъ спотыкающеюся Катериной Львовною. — Нешто не видите, черти, что женщина больна совсѣмъ?

— Должно ножки промочила, — острилъ молодой арестантъ.

— Извѣстно, купеческаго роду: воспитанья нѣжнаго, — отозвался Сергѣй.

— Разумѣется, если бы имъ хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще, — продолжалъ онъ.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змѣй подлый! — произнесла она, не стерпѣвъ: — насмѣхайся, подлецъ, насмѣхайся!

— Нѣтъ, я это совсѣмъ, купчиха, не въ насмѣшку, а что вотъ Сонетка чулки больно гожіе продаетъ, такъ я только думалъ: не купитъ ли, молъ, наша купчиха.

Многіе засмѣялись. Катерина Львовна шагала, какъ заведенный автоматъ.

Погода все разыгрывалась. Изъ сѣрыхъ облаковъ, покрывавшихъ небо, сталъ падать мокрыми хлопьями снѣгъ, который, едва касаясь земли, таялъ и увеличивалъ невылазную грязь. Наконецъ, показывается темная свинцовая полоса; другого края ея не разсмотришь. Эта полоса — Волга. Надъ Волгой ходитъ крѣпковатый вѣтеръ и водитъ взадъ и впередъ медленно приподнимающіяся широкопастыя темныя волны.

Партія промокшихъ и продрогнувшихъ арестантовъ медленно подошла къ перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошелъ весь мокрый, темный паромъ; команда начала размѣщать арестантовъ.

— На этомъ паромѣ, сказываютъ, кто-то водку держитъ, — замѣтилъ какой-то арестантъ, когда, осыпаемый хлопьями

мокраго снѣга, паромъ отчалилъ отъ берега и закачался на валахъ расходившейся рѣки.

— Да, теперь бы точно, бездѣлицу пропустить ничего, — отзывался Сергѣй и, преслѣдуя для Сонеткиной потѣхи Катерину Львовну, произнесъ: — купчиха, а ну-ко, по старой дружбѣ угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, какъ мы съ тобой, моя радость, погуливали, осеннія долги ночи просиживали, твоихъ родныхъ безъ поповъ и безъ дьяковъ на вѣчный спокой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала отъ холода. Кромѣ холода, пронизывающаго ее подъ измокшимъ платьемъ до самыхъ костей, въ организмѣ Катерины Львовны происходило еще нѣчто другое. Голова ея горѣла какъ въ огнѣ; зрачки глазъ были расширены, оживлены блудящимъ, острымъ блескомъ и неподвижно вперены въ ходящія волны.

— Ну, а водочки и я бъ ужъ выпила: мочи нѣтъ холодно, — прозвенѣла Сонетка.

— Купчиха, да угости, что-ль! — мозолилъ Сергѣй.

— Эхъ ты, совѣсть! — выговорила Фіона, качая съ упрекомъ головою.

— Не къ чести твоей совсѣмъ это, — поддержалъ солдатку арестантикъ Гордюшка.

— Хушь бы ты не противъ самой ея, такъ противъ другихъ за нее посовѣстился.

— Ну, ты, мірская табакерка! — крикнулъ на Фіону Сергѣй. — Тоже — совѣститься! Что мнѣ тутъ еще совѣститься! я ее можетъ и никогда не любилъ, а теперь... да мнѣ вотъ стоптанный Сонеткинъ башмакъ милѣе ея рожи, кошки этакой ободранной: такъ что жъ ты мнѣ противъ этого говорить можешь? Пусть вонъ Гордюшку косоротаго любитъ; а то... (онъ оглянулся на ѣдущаго верхомъ сморчка въ буркѣ и въ военной фуражкѣ съ кокардой и добавилъ) а то вонъ еще лучше къ этапному пусть поластится: у него подъ буркой по крайности дождемъ не пробираетъ.

— И всѣ бъ офицершей звать стали, — прозвенѣла Сонетка.

— Да какъ же!.. и на чулочки-то бъ шутя бы достала, — поддержалъ Сергѣй.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнѣе смотрѣла въ волны и шевелила губами. Промежду

гнусныхъ рѣчей Сергѣя гулъ и стонъ слышались ей изъ раскрывающихся и хлопающихъ валовъ. И вотъ вдругъ изъ одного переломившагося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, изъ другого выглянулъ и закачался мужъ, обнявшись съ поникшимъ головкой Ѳедей. Катерина Львовна хочетъ припомнить молитву и шевелитъ губами, а губы ея шепчутъ: «какъ мы съ тобой погуливали, осеннія долги ночи просиживали, лютой смертью съ бѣла-свѣта людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящій взоръ ея сосредоточивался и становился дикимъ. Руки разъ и два невѣдомо куда протянулись въ пространство и снова упали. Еще минута — и она вдругъ вся закачалась, не сводя глазъ съ темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и однимъ махомъ перекинулась съ нею за бортъ парома.

Всѣ окаменѣли отъ изумленія.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула, другая волна вынесла Сонетку.

— Багоръ! бросай багоръ! — закричали на паромѣ.

Тяжелый багоръ на длинной веревкѣ взвился и упалъ въ воду. Сонетки опять не стало видно. Черезъ двѣ секунды, быстро уносимая теченіемъ отъ парома, она снова вскинула руками; но въ это же время изъ другой волны почти по-поясъ поднялась надъ водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, какъ сильная щука на мягкопёрую плотицу, и обѣ болѣе уже не показались.

ГРАБЕЖЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Шелъ разговоръ о воровствѣ въ орловскомъ банкѣ, дѣла котораго разбирались въ 1887 году по осени.

Говорили: и тотъ былъ хорошій человѣкъ, и другой казался хорошъ, но, однако, всѣ проворовались.

А случившійся въ компаніи старый орловскій купецъ говоритъ:

— Ахъ, господа, какъ надойдетъ воровской часъ, то и честные люди грабятъ.

— Ну, это вы шутите.

— Нимало. А зачѣмъ же сказано: «со избранными избранъ будеши, а со строптивыми развратишися»? Я знаю случай, когда честный человѣкъ, на улицѣ, другого человѣка ограбилъ.

— Быть этого не можетъ.

— Честное слово даю — ограбилъ, и если хотите, могу это разсказать.

— Сдѣлайте ваше одолженіе.

Купецъ и разсказалъ намъ слѣдующую исторію, имѣвшую мѣсто лѣтъ за пятьдесятъ передъ этимъ въ томъ же самомъ городѣ Орлѣ, незадолго передъ знаменитыми орловскими истребительными пожарами. Дѣло происходило при покойномъ орловскомъ губернаторѣ князѣ Петрѣ Ивановичѣ Трубецкомъ.

Вотъ какъ это было разсказано.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я орловскій старожилъ. Весь нашъ родъ—все были не послѣдніе люди. Мы имѣли свой домъ на Нижней улицѣ, у Плаутина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали артель трепачей, торговали пенькой и вели хлѣбную ссыпку. Отчаяннаго большого состоянія не имѣли, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей честныхъ.

Отецъ мой скончался, когда мнѣ пошелъ всего шестнадцатый годъ. Дѣломъ всѣмъ правила матушка Арина Леонтьевна при старомъ приказчикѣ, а я тогда только присматривался. Во всемъ я, по волѣ родительской, былъ у матушки въ полномъ повиновеніи. Баловства и озорства за мною никакого не было, и къ храму Господню я имѣлъ усердіе и страхъ. Еще же жила при насъ маменькина сестра, и моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Это—ужъ совсѣмъ была святая богомолка. Мы были, по батюшкѣ, церковной вѣры и къ Покрову, къ препочтенному отцу Ефиму приходомъ числились, а тетушка Катерина Леонтьевна прилежала древности: изъ своего особливаго стакана пила и ходила молиться въ Рыбные ряды, къ старовѣрамъ. Матушка и тетенька были изъ Ельца, и тамъ, въ Ельцѣ и въ Ливнахъ, очень хорошее родство имѣли, но рѣдко съ своими видѣлись, потому что слецкіе купцы любятъ передъ орловскими гордиться и въ компаніи часто бываютъ воители.

Домикъ у насъ у Плаутина колодца былъ небольшой, но очень хорошо, по-купечески, обряженъ, и житье мы вели самое строгое. Девятнадцать лѣтъ проживши на свѣтѣ, я только и ходу зналъ, что въ ссыпные амбары, или къ баркамъ, на набережную, когда идетъ грузка, а въ праздникъ къ ранней обѣднѣ, въ Покровъ,—и отъ обѣдни опять сейчасъ же домой, и чтобы въ доказательство разсказать маменькѣ, о чемъ Евангеліе читали, или не говорилъ ли отецъ Ефимъ какую проповѣдь; а отецъ Ефимъ былъ изъ духовныхъ магистровъ, и, бывало, если проповѣдь постарается, то никакъ ее не постигнешь. Театръ тогда у насъ Турчаниновъ содержалъ послѣ Каменскаго, а потомъ Молотковскій, но мнѣ ни въ театръ, ни даже въ трактиръ «Вѣну» чай пить матушка ни за что не дозволяли. «Ни-

чего, дескать, тамъ въ «Вѣнѣ», хорошаго не услышишь, а лучше дома сиди и ѣшь моченыя яблоки». Только одно полное удовольствіе мнѣ разъ или два въ зиму позволялось,—прогуляться и посмотрѣть, какъ квартальный Богдановъ, съ протодьякономъ, бойцовыхъ гусей спускаютъ, или какъ мѣщане и семинаристы на кулачки бьются.

Бойцовыхъ гусей у насъ въ то время много держали и спускали ихъ на Кромской площади; но самый первый гусь былъ квартальнаго Богданова: у другого бойца, у живого крыло отрывалъ; и чтобы этого гуся кто-нибудь не накормилъ моченымъ горохомъ, или иначе какъ не повредилъ,—квартальный его, бывало, на себѣ въ плетушкѣ за спиною носилъ: такъ любилъ его. У протодьякона же гусь былъ глинистый, и когда дрался—страшно гоготалъ и шипѣлъ. Публики собиралось множество. А на кулачки биться мѣщане съ семинаристами собирались или на ледъ, на Окѣ, подъ мужскимъ монастыремъ, или къ Навугорской заставѣ, тутъ сходились и шли, стѣна на стѣну, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить въ подвздохъ, а не по лицу, и не класть въ рукавицы мѣдныхъ большихъ гривенъ. Но, однако, это правило не соблюдалось. Часто случалось, что стащутъ домой человѣка на рукахъ и отысповѣдывать не успѣютъ, какъ ужъ и преставился. А многіе оставались, но чахли. Мнѣ же отъ маменьки позволеніе было только смотрѣть, но самому въ стѣну чтобы не становиться. Однако, я грѣшенъ былъ, и въ этомъ покойной родительницѣ являлся непослушенъ: сила моя и удаль нудили меня, и если, бывало, мѣщанская стѣна дрогнетъ, а семинарская стѣна на нее очень наваливаетъ и гнать станетъ,—то я, бывало, не вытерплю и становился. Сила у меня съ раннихъ поръ такая состояла, что, бывало, чуть я въ гонимую стѣну вскочу, крикну: «Господи благослови! бей, ребята, духовенныхъ!» да какъ почну противъ себя семинаристовъ подавать, такъ всѣ и посыпятся. Но славы себѣ я не искалъ, и даже, бывало, всѣхъ объ одномъ только прошу: «Братцы! пожалуйста, сдѣлайте милость, чтобы по имени меня не называть»—потому что боялся, чтобы маменька не узнала.

Такъ я прожилъ до девятнадцати лѣтъ и былъ здоровъ столь ужасно, что со мною стали обмороки, и кровь носомъ шла. Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы

не началъ на Сѣкеренскій заводъ ходить, или не сталъ съ перекрещенками баловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Начали къ намъ по этому случаю приходить въ салопахъ свахи, и съ Нижнихъ улицъ, и съ Кромской, и съ Карачевской, и разныхъ матушекъ для меня невѣстъ предлагали. Отъ меня это все велось въ секретѣ, такъ что всѣ знали больше, чѣмъ я. Трепачи наши подъ сараемъ и тѣ бывало говорятъ:

— Тебя, Михайло Михайлычъ, маменька женить собирается. Какъ же ты самъ на это, сколько согласенъ? Ты смотри—знай, что жена тебя послѣ вѣнца щекотать будетъ, но ты не робѣй,—ты ее самъ какъ можно щекочи въ бока, а то она тебя защекочетъ.

Я, бывало, только краснѣю. Догадывался, разумѣется, что что-то до меня касается, но самъ никогда не слыхалъ, про какихъ невѣстъ у маменьки съ свахами идутъ разговоры. Какъ придетъ одна сваха, или другая,—маменька съ нею запрутся въ образной, сядутъ ко крестамъ, самоваръ спросятъ и все наединѣ говорятъ, а потомъ сваха выйдетъ, погладитъ меня по головѣ, и обнадеживаетъ:

— Не тужи, молодчикъ Мишенька: вотъ ужъ скоро не будешь одинъ скучать, скоро мы тебя обрадуемъ.

А маменька даже, бывало, и за это сердятся и говорятъ:

— Ему это совсѣмъ не надо знать; что я надъ его головой рѣшу, то съ нимъ и быть должно. Это какъ въ писаніи.

Я и не тужилъ; мнѣ было все равно: жениться такъ жениться, а придетъ дѣло до щекотки, тогда увидимъ еще кто кого.

Тетушка же Катерина Леонтьевна шла противъ маменькинаго желанія и меня противъ ихъ научала.

— Не женись, говорила,—Миша, на орловской,—ни за что не женись. Ты смотри: здѣшнія орловскія всѣ какъ переверчены—не то онѣ купчихи, не то благородныя. За офицеровъ выходятъ. А ты проси мать, чтобы она взяла тебѣ жену изъ Ельца, откуда мы сами съ ней родомъ. Тамъ въ купечествѣ мужчины гуляки, но невѣсты есть настоящія дѣвицы: не щепотницы, а скромныя,—на офи-

перовъ не смотрятъ, а въ платочкѣ молиться ходятъ, и старымъ русскимъ крестомъ крестятся. На такой какъ женишься, то и благодать въ домъ приведешь, и самъ съ женой по-старому молиться начнешь, а я тебѣ тогда все свое добро откажу, а ей отдамъ свое Божіе благословеніе и жемчугъ окатный, и серебро, и пронизи, и парчевые шугаи, и тѣлогрѣи, и все болховское вязаніе.

И было у тетеньки съ маменькой на этотъ счетъ тихое между нихъ неудовольствіе, потому что маменька уже совсѣмъ были отъ старой вѣры отставши и по новымъ святцамъ Варварѣ великомученицѣ акаѳистъ читали. Они жену мнѣ хотѣли взять изъ орловскихъ для того, чтобы у насъ было обновленіе родства.

— По крайней мѣрѣ, говорили, чтобы на прощеные дни, передъ постомъ, было намъ къ кому на прощанье съ хлѣбами ѣздить и къ намъ чтобы было кому завитые хлѣбы привозить.

Маменька любили потомъ эти хлѣбы на сухари рѣзать и въ посту въ чай съ медомъ обмакивать, а у тетеньки надо всѣмъ выше стояло ихъ древнее благочестіе.

Спорили онѣ спорили, а все дѣло сдѣлалось иначе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Подвернулся вдругъ самый нежданный случай.

Сидимъ мы разъ съ тетушкой, на святкахъ, послѣ обѣда у окошечка, толкуемъ что-то отъ божества и ѣдимъ въ постѣ моченые яблоки, и вдругъ замѣчаемъ—у нашихъ воротъ на улицѣ, на снѣгу, стоитъ тройка ямскихъ коней. Смотримъ—изъ-подъ кибитки изъ-за кошмы вылѣзаетъ высокій человѣкъ въ калмыцкомъ тулупѣ, темнымъ сукномъ крытъ, алымъ кушакомъ подпоясанъ, зеленымъ гаруснымъ шарфомъ во весь поднятый воротникъ обверченъ, и длинные концы на груди жгутомъ свиты и за пазуху сунуты, на головѣ яломокъ, а на ногахъ телячьи сапоги мѣхомъ вверхъ.

Всталъ этотъ человѣкъ и вытряхивается, какъ пудель, отъ снѣга, а потомъ, вмѣстѣ съ ямщикомъ, зацѣпилъ изъ кибитки изъ-подъ кошмы другого человѣка въ бобровомъ картузѣ и въ волчьей шубѣ и держитъ его подъ руки, чтобы онъ могъ на ногахъ устояться, потому что ему скользко на подшивныхъ валенкахъ.

Тетенька Катерина Леонтьевна очень обезпокоилась, что̀ это за люди и зачѣмъ у нашихъ воротъ высаживаются, а какъ волчью шубу увидала, такъ и благословилася:

— Господи Исусе Христе, помилуй насъ, аминь! говоритъ.—Вѣдь это братецъ Иванъ Леонтьичъ, твой дядя, изъ Ельца пріѣхалъ. Что̀ это съ нимъ случилось? Съ самыхъ отцовыхъ похоронъ три года здѣсь не былъ, а тутъ вдругъ привалилъ на святкахъ. Скорѣе бери ключъ отъ воротъ, бѣжи ему встрѣчу.

Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключъ искать и насилу его нашли въ образникѣ, да пока я выбѣжалъ къ воротамъ, да замокъ отпирать стали, да засовъ вытаскивать, тройка уже и отъѣхала, и тотъ, что въ калмыцкомъ тулупѣ былъ, уѣхалъ въ кибиткѣ, а дядя одинъ стоитъ, за скобку держится и сердится.

— Что это, говоритъ,—вы, какъ тетери, днемъ закупорились.

Маменька съ нимъ здравствуются и отвѣчаютъ:

— Развѣ вы, говоритъ,—братецъ, не знаете, какое у насъ орловское положеніе? Постоянно съ ворами, и день, и ночь отъ полиціи запираемся.

Дядя отвѣчаетъ, что это у всѣхъ одно положеніе: Орелъ да Кромы—первые воры, а Карачевъ на придачу, а Елецъ всѣмъ ворамъ отецъ.—И мы, говоритъ,—тоже отъ своей полиціи запираемся, но только на ночь, а на что же днемъ? Мнѣ то и непріятно, что вы меня днемъ на улицѣ у воротъ оставили; у меня валенки кожей обшиты—идти нельзя, скользко,—а я пріѣхалъ по церковной надобности не съ пустыми руками. Помилуй Богъ, какой орловчинъ съ шеи рванетъ и убѣжитъ, а мнѣ догонять нельзя.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мы всѣ извинились передъ дяденькой, отвели его въ комнату изъ дорожнаго платья переодѣваться. Переобулся Иванъ Леонтьичъ изъ валенковъ въ сапоги, одѣлъ сюртукъ и сѣлъ къ самовару, а матушка стала его спрашивать: по какому онъ такому церковному дѣлу пріѣхалъ, что даже на праздничныхъ дняхъ побезпокоился, и куда его попутчикъ отъ нашихъ воротъ дѣлся?

А Иванъ Леонтьевичъ отвѣчаетъ:

— Дѣло большое. Развѣ ты не понимаешь, что я нынче

ктиторъ, а у насъ на самый первый день праздника дьяконъ оборвался.

Маменька говоритъ:—Не слышали.

— Да вѣдь у васъ когда же о чемъ-нибудь интересномъ слышать! Такой ужъ у васъ городъ глохлый.

— Но какимъ же это манеромъ у васъ дьяконъ оборвался?

— Ахъ, это онъ, мать моя, пострадалъ черезъ свое усердіе. Сталъ служить хорошо по случаю освобожденія отъ галловъ, и все громче, да громче, да еще громче, и вдругъ какъ возгласилъ о «спасеніи» — такъ ему жила и лопнула. Подступили его съ амвона сводить, а у него уже полонъ сапогъ крови натекло.

— Умеръ?

— Нѣтъ. Купцы не допустили: лѣкаря наняли. Наши купцы развѣ такъ бросятъ? Лѣкарь говоритъ: можетъ еще на поправку пойти, но только голоса уже не будетъ. Вотъ мы и пріѣхали сюда, съ нашимъ съ первымъ прихожаниномъ, хлопотать, чтобы нашего дьякона отъ насъ куда-нибудь въ женскій монастырь монашкамъ свели, а себѣ здѣсь должны выбрать у васъ промежду всѣхъ одного самаго лучшаго.

— А это кто же вашъ первый прихожанинъ и куда онъ отъѣхалъ?

— Нашъ первый прихожанинъ называется Павелъ Миронычъ Мукомолъ. На московской богачихѣ женатъ. Цѣлую недѣлю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержонъ и службу всякую церковную лучше протодьякона знаетъ. Затѣмъ его всѣ и упросили: поѣзжай, посмотри и выбери; что тебѣ полюбится — то и намъ будетъ любо. Его всякъ старъ и малъ почитаетъ. И онъ при огромномъ своемъ капиталѣ, что три дома имѣетъ и свѣчной заводъ, и крупчатку, а сейчасъ послушался и для церковной надобности все оставилъ и полетѣлъ. Онъ пока въ Рѣпинской гостиницѣ номеръ возьметъ. Шалятъ у васъ тамъ, или честно?

Маменька отвѣчаютъ:—Не знаю.

— То-то вотъ и есть, что вы живете и ничего не знаете.

— Мы гостиницъ боимся.

— Ну, да ничего; Павла Мироныча тоже не легко обидѣть: сильнѣй его ни въ Ельцѣ, ни въ Ливнахъ кулачника

нѣтъ. Что ни бой—то два да три кулачника отъ его руки падаютъ. Онъ въ прошломъ году, постомъ, нарочно въ Тулу ѣздилъ, и даромъ, что мукомолъ, а тамъ двухъ самыхъ первыхъ самоварниковъ такъ сразу съ грыжей и сдѣлалъ.

Маменька и тетенька перекрестились.

— Господи! говорятъ: — зачѣмъ же ты такого къ намъ съ собой на святые вечера привезъ!

А дяденька смѣется:

— Чего, говоритъ, — вы, бабы, испугались! Нашъ прихожанинъ хорошій человѣкъ, и по церковному дѣлу мнѣ безъ него обойтись невозможно: мы съ нимъ пріѣхали на живую минуту, чтобы обобрать въ свою пользу что намъ годится, и уѣхать.

Матушка съ тетей опять ахнули.

— Что ты это, братецъ, зачѣмъ такое страшное шутишь!

Дядя еще веселѣе разсмѣялся.

— Эхъ вы, говоритъ,—вороны-сударыни, купчихи орловскія! У васъ и городъ-то не то городъ, не то пожарище,— ни на что не похожъ, и сами-то вы въ немъ всѣ какъ капчужки въ коробкѣ заглохли! Нѣтъ, далеко вамъ до нашего Ельца, даромъ что вы губернскіе. Нашъ Елецъ хоть уѣздъ-городокъ, да Москвы уголокъ; а у васъ что и есть хорошаго, такъ вы и то цѣнить не можете. Вотъ мы это-то самое у васъ и отберемъ.

— Что же это такое?

— Дьяконъ намъ хорошій въ приходъ нуженъ, а у васъ, говорятъ, есть два дьякона съ голосами: одинъ у Богоявленья, въ Рядахъ, а другой на Дьячковской части, у Никитія. Выслушаемъ ихъ во всѣхъ манерахъ, какъ Павелъ Миронычъ покажетъ, что къ нашему, къ елецкому вкусу подходящее, и котораго изберемъ, того къ себѣ сманимъ и уговоръ сдѣлаемъ; а который намъ не годится — тому во второй номеръ: за безпокойство получай на рясу деньгами. Павелъ Миронычъ теперь уже поѣхалъ собирать ихъ на пробу, а мнѣ сейчасъ надо идти къ Борисоглѣбскому соборцу; тамъ, говорятъ, у васъ есть гостинникъ, у котораго всегда пустая гостиница. Вотъ въ этой, въ пустой гостиницѣ, возьмемъ три номера насквозь и будемъ пробу дѣлать. Долженъ ты, братъ Мишутка, сейчасъ меня туда вести въ провожатыхъ.

Я спрашиваю:

— Это вы, дяденька, мнѣ говорите?

Онъ отвѣчаетъ:

— Извѣстно, тебѣ. Кто же еще, кромѣ тебя, Мишутка? Ну, а если обижаешься, такъ, пожалуй, назову тебя Михайло Михайловичъ: окажи родственную услугу—проводи, сдѣлай милость, на чужой сторонѣ дядю родного.

Я откашлянулся и вѣжливо отвѣчаю:

— Это, дяденька, состоитъ не въ томъ расчисленіи: я ничѣмъ не обижаюсь и готовъ со всей моей радостью, но я самъ собой не владѣю, а какъ маменька прикажетъ.

Маменькѣ же это совершенно не понравилось:

— Зачѣмъ, говоритъ,—вамъ, братецъ, въ такую компанію съ собой Мишу брать? Можно сдѣлать, что васъ другой кто-нибудь проводитъ.

— Мнѣ съ племянникомъ-то приличнѣй ходить.

— Ну, что онъ еще знаетъ!

— Да, небось, все знаетъ. Мишутка, знаешь все?

Я застыдился.

— Нѣтъ, говорю,—я всего знать не могу.

— Почему же такъ?

— Маменька не позволяютъ.

— Вотъ такъ дѣло! А какъ ты думаешь: родной дядя всегда можетъ во всемъ племянникомъ руководствовать, или нѣтъ? Разумѣется, можетъ. Одѣвайся же сейчасъ и пойдемъ во всѣ слѣды, пока дойдемъ до бѣды.

Я то тронусь, то стою какъ пень: и его слушаю, и вижу, что маменька ни за что не хотятъ меня отпустить.

— У насъ, говорятъ,—Миша еще младъ, и со двора онъ въ вечернее время никуда выходить не обыкъ. Зачѣмъ же тебѣ его непремѣнно? Теперь не оглянешься, какъ и сумерки, и воровской часъ будетъ.

Но тутъ дядя на нихъ даже и покричалъ:

— Да полно вамъ, въ самомъ дѣлѣ, дурачиться! Что вы это парня въ бабьемъ рукавѣ парите! Малый выросъ такой, что вола убить можетъ, а вы его все въ дѣткахъ бережете. Это одна ваша женская глупость, а онъ у васъ отъ этого хуже будетъ. Ему надо развитіе силъ жизни имѣть и утвержденіе характера, а мнѣ онъ нуженъ потому, что, помилуй Богъ, на меня, въ самомъ дѣлѣ, въ темнотѣ или гдѣ-нибудь въ закоулкѣ ваши орловскіе воры нападутъ, или полиція обходомъ встрѣтится — такъ, вѣдь,

со мной всѣ наши деньги на хлопоты... Вѣдь сумма есть, чтобы и оборваннаго дьякона монашкамъ сбыть, и себѣ сманить сильнаго... Неужели же вы, родныя сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по головѣ огрѣли, или въ полицію бы забрали, а тамъ бы я послѣ безо всего оказался?

Матушка говоритъ:

— Боже отъ этого сохрани — не въ одномъ Ельцѣ уважаютъ родственность! Но ты возьми съ собой приказчика или даже хоть двухъ молодцовъ изъ трепачей. У насъ трепачи изъ кромчанъ, страсть, очень сильные, фунтовъ по восьми въ день одного хлѣба ѣдятъ безъ приварка.

Дядя не захотѣлъ.

— На что, говоритъ, — мнѣ годятся наемные люди. Это вамъ, сестрамъ, даже стыдно и говорить, а мнѣ съ ними идти стыдно и страшно. Кромчане! Хороши тоже люди называются! Они пойдутъ провожать, да сами же первые и убьютъ, а Миша мнѣ племянникъ,—мнѣ съ нимъ, по крайней мѣрѣ, смѣло и прилично.

Сталъ на своемъ и не уступаетъ.

— Вы, говоритъ,—мнѣ въ этомъ никакъ отказать не можете,—иначе я родства отрекаюсь.

Этого матушка съ тетенькой испугались и переглядываются другъ на дружку: дескать, что̀ намъ дѣлать — какъ быть?

Иванъ Леонтьичъ настаиваетъ:

— И то, говоритъ,—поймите: можете ли вы еще отказать для одного родства? Помните, что я его беру не для какой-нибудь своей забавы или для удовольствія, а по церковной надобности. Посовѣтуйтесь-ка, можно ли въ этомъ отказать? Это отказать—все равно, что для Бога отказать. А онъ, вѣдь, рабъ Божій и Богъ съ нимъ воленъ: вы его при себѣ хотите оставить, а Богъ возьметъ да и не оставитъ.

Ужасно какой былъ на словахъ убѣдительный.

Маменька испугались.

— Полно тебѣ, пожалуйста, говорить такія страсти.

А дядя опять весело расхохотался.

— Ахъ, вороны-сударыни! Вы и словъ-то силы не понимаете! Кто же не рабъ Божій? А я вотъ вижу, что вамъ самимъ ни на что не рѣшиться, и я самъ его у васъ изъподъ крыла вышибу...

И съ этимъ хвать меня за плечо и говоритъ:

— Поднимайся сейчасъ, Миша, и одѣвай гостиное платье,—я тебѣ дядя, и старикъ, сѣдыхъ лѣтъ доживший. У меня внуки есть, и я тебя съ собою беру на свое попеченіе и велю со мной слѣдовать.

Я смотрю на мать и на тетеньку, а самому мнѣ такъ на нутрѣ весело, и эта дяденькина слецкая развязка очень мнѣ нравится.

— Кого же, говорю,—я долженъ слушать?

Дядя отвѣчаетъ:

— Самаго старшаго надо слушать — меня и слушай. Я тебя не на вѣкъ, а всего на одинъ часъ беру.

— Маменька! вопію.—Что же вы мнѣ прикажете?

Маменька отвѣчаютъ:

— Что же... если всего на одинъ часъ, такъ ничего — одѣвай гостиное платье и иди, проводи дядю; но больше одного часу ни одной минуты не оставайся. Минуту промедлишь—умру со страху!

— Ну, вотъ еще, говорю,—приключеніе! Какъ это я могу въ такой точности знать, что часъ уже прошелъ и что новая минута начинается, — а вы межъ тѣмъ станете безпокоиться...

Дядя хохочетъ.

— На часы, говоритъ,—на свои посмотришь и время узнаешь.

— У меня, отвѣчаю,—своихъ часовъ нѣтъ.

— Ахъ, у тебя еще до сей поры даже и часовъ своихъ нѣтъ! Плохо же твое дѣло!

А маменька отзываются:

— На что ему часы?

— Чтобы время знать.

— Ну... онъ еще младъ... ихъ заводить не сумѣетъ... На улицѣ слышно, какъ на Богоявленіи и на дѣвичьемъ монастырѣ часы бьютъ.

Я отвѣчаю:

— Вы развѣ не знаете, что на богоявленскихъ часахъ вчера гиря сорвалась, и они не бьютъ.

— Ну, такъ дѣвичьи.

— А дѣвичьихъ никогда не слышно.

Дядя вмѣшался и говоритъ:

— Ничего, ничего: одѣвайся скорѣй и не бойся про-

срочить. Мы съ тобою зайдемъ къ часовщику, и я тебѣ въ подарокъ часы куплю. Пусть у тебя за провожанье дядина память будетъ.

Я какъ про часы услыхалъ — весь возгорѣлся: скорѣе у дяди руку чмокъ, надѣлъ на себя гостиное платье и готовъ.

Маменька благословила и еще нѣсколько разъ сказала:

— Только на одинъ часъ!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Дяденька былъ своего слова баринъ. Какъ только мы вышли, онъ говоритъ: — Свисти скорѣе живейнаго извозчика—поѣдемъ къ часовщику.

А у насъ тогда, въ Орлѣ, путные люди на извозчикахъ по городу еще не ѣздили. Ѣздили только какіе-нибудь гуляки, а больше извозчики стояли для наемщиковъ, которые въ Орлѣ за другихъ во всѣ мѣста въ солдаты нанимались.

Я говорю:

— Я, дяденька, свистать умѣю, но не могу, потому что у насъ на живейникахъ наемщики ѣздятъ.

Онъ говоритъ: «Дуракъ!» — и самъ засвисталъ. А какъ подъѣхали, опять говоритъ:

— Садись безъ разговора! Пѣшкомъ въ часъ оборотить къ твоимъ бабамъ не поспѣемъ, а я имъ слово далъ и мое слово олово.

Но я отъ стыда себя не помню и съ извозчика свѣшиваюсь.

— Что ты, говоритъ,—ерзаешь?

— Помилуйте, говорю,—подумаютъ, что я наемщикъ.

— Съ дядей-то?

— Васъ здѣсь не знаютъ; скажутъ: вотъ оно его уже катаетъ, по всѣмъ мѣстамъ обвезетъ, а потомъ закороводитъ. Маменьку стыдить будутъ.

Дядя ругаться началъ.

Какъ я ни упирался, а долженъ былъ съ нимъ рядомъ сидѣть, чтобы скандала не заводить. Ѣду, а самъ не знаю, куда мнѣ глаза дѣть,—не смотрю, а вижу и слышу, будто всѣ кругомъ говорятъ: «Вонъ оно какъ! Арины Леонтьевны Миша-то ужъ на живейномъ ѣдетъ—вѣрно въ хорошее мѣсто!» Не могу вытерпѣть!

— Какъ, говорю,—вамъ, дяденька, угодно, а только я долой соскочу.

А онъ меня прихватилъ и смѣется.

— Неужели, говоритъ,—у васъ въ Орлѣ уже всѣ подъ рядъ дураки, что будутъ думать, будто старый дядя станетъ тебя куда-нибудь по дурнымъ мѣстамъ возить? Гдѣ у васъ тутъ самый лучшій часовщикъ?

— Самый лучшій часовщикъ у насъ нѣмецъ Кернъ почитается; у него на окнахъ арапъ съ часами на головѣ во всѣ стороны глазами мигаетъ. Но только къ нему черезъ Орлицкій мостъ надо на Болховскую ѣхать, а тамъ въ магазинахъ знакомые купцы изъ оконъ смотрятъ; я мимо ихъ ни за что на живейномъ не поѣду.

Дядя все равно не слушаетъ.

— Пошелъ, говоритъ, — извозчикъ, на Болховскую, къ Керну.

Пріѣхали. Я его упросилъ, чтобы онъ хоть здѣсь отпустилъ извозчика,—что я назадъ ни за что въ другой разъ по тѣмъ же улицамъ не поѣду. На это онъ согласился. Меня назвалъ еще разъ дуракомъ, а извозчику далъ пятиалтынный и часы мнѣ купилъ серебряные съ золотымъ ободочкомъ и съ цѣпочкой.

— Такіе, говоритъ,—часы у насъ, въ Ельцѣ, теперь самые модные; а когда ты ихъ заводить пріучишься, а я другой разъ пріѣду—я тебѣ тогда золотые куплю и съ золотой цѣпочкой.

Я его поблагодарилъ и часамъ очень радъ, но только прошу, чтобы все-таки онъ больше на извозчикахъ со мною не ѣздилъ.

— Хорошо, хорошо, говоритъ, — веди меня скорѣе въ Борисоглѣбскую гостиницу; намъ надо тамъ сквозной номеръ нанять.

Я говорю:

— Это отсюда рукой подать.

— Ну, и пойдемъ. Намъ здѣсь у васъ въ Орлѣ прохлаждаться некогда. Мы зачѣмъ пріѣхали? Себѣ голосистаго дьякона выбрать сейчасъ;—это и дѣлать. Время терять некогда. Проведи меня до гостиницы и самъ ступай домой къ матери.

Я его проводилъ, а самъ поскорѣе домой.

Прибѣжалъ такъ скоро, что всего часа еще не прошло, какъ вышелъ, и своимъ дядинъ подарокъ, часы, показываю.

Маменька посмотрѣла и говоритъ:

— Что жъ... очень хороши, — повѣсь ихъ у себя надъ кроватью на стѣнку, а то ты ихъ потеряешь.

А тетенька отнеслась еще съ критикой:

— Зачѣмъ же это, говоритъ, — часы серебряные, а ободокъ желтый?

— Это, отвѣчаю,—самое модное въ Ельцѣ.

— Пустяки какіе, говоритъ,—у нихъ въ Ельцѣ выдумываютъ. Старики умнѣе въ Ельцѣ жили—все носили одного званія: серебряные часы такъ серебряные, а золотые такъ золотые; а это на что одно съ другимъ совокуплено насильно, что Богъ разно по землѣ разсѣялъ.

Но маменька помирили, что даровому коню въ зубы не смотрятъ, и опять сказали:

— Поди въ свою комнату и повѣсь надъ кроваткой. Я тебѣ, въ воскресенье, подъ нихъ монашкамъ закажу вышить подушечку съ бисеромъ и съ рыбьими чешуйками, а то ты какъ-нибудь въ карманѣ стекло раздавишь.

Я весело говорю:

— Починить можно.

— Какъ чинить понадобится, тогда часовщикъ сейчасъ магнитную стрѣлку на камень въ серединѣ перемѣнитъ, и часы пропали. Лучше поди скорѣе повѣсь.

Я, чтобы не спорить, вбилъ надъ кроваткой гвоздикъ и повѣсилъ часы, а самъ прилегъ на подушку и гляжу на нихъ, любуяся. Очень мнѣ пріятно, что у меня такая благородная вещь. И какъ они хорошо, тихо тикаютъ: тикъ-тикъ-тикъ-тикъ... Я слушалъ, слушалъ да и заснулъ. Пробуждаюсь отъ громкаго разговора въ залѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Раздается за стѣною и дядинъ голосъ, и еще чей-то другой, незнакомый голосъ; а тоже слышно, что и маменька съ тетенькой тутъ находятся.

Незнакомый разсказываетъ, что онъ былъ уже у Богоявленія и тамъ дьякона слушалъ, и у Никитья тоже былъ, но «надо, говоритъ,—ихъ вровняхъ ровно поставить и подъ свой камертонъ слушать».

Дядя отвѣчаетъ:

— Что же, дѣйствуй; я въ Борисоглѣбской гостиницѣ все приготовилъ. Сквозь всѣ комнаты открыты будутъ. Пріѣзжихъ никого нѣтъ, — кричите сколько хотите, обижаться будетъ некому. Отличная гостиница: туда только одни приказные изъ палатъ ходятъ съ челобитчиками, пока присутствіе; а вечеромъ совершенно никого нѣтъ, и даже передъ окнами какъ лѣсъ стоятъ оглобли да лубки на Полѣшской площади.

Незнакомый отвѣчаетъ:

— Это намъ и нужно, а то у нихъ тоже нахальные любители есть и непремѣнно соберутся мой голосъ слушать и пересмѣивать.

— А ты развѣ боишься?

— Я не боюсь, а за нахальство разсержусь и побью.

А у самого у него голосъ какъ труба.

— Я имъ, говоритъ,—на свободѣ всѣ примѣры объясню, какъ въ нашемъ городѣ любятъ. Послушаемъ, какъ они подведутъ и покажутъ себя на всѣ лады: какъ ворчкомъ при облаченіи, какъ середину, какъ многолѣтный верхъ, какъ «во блаженномъ успеніи» вопль пустить и памятную завойку сдѣлать. Вотъ и вся недолга.

И дядя согласился:

— Да, говоритъ,—надо ихъ сравнять и тогда для всѣхъ безобидное рѣшеніе сдѣлать. Который къ нашему елецкому фасону больше потрафитъ, — о томъ станемъ хлопотать и къ себѣ его сманимъ, а который слабже выйдетъ, — тому дадимъ на рясу за безпокойство.

— Бери деньги съ собою,—а то у нихъ крадутъ.

— Да и ты тоже свои съ собой бери.

— Хорошо.

— Ну, а теперь ты иди уставляй угощеніе, а я за дьяконами поѣду. Они просили, чтобъ въ сумерки, — потому что нашъ народъ, говорятъ, шельма: все пронюхаетъ.

Дядя и на это отвѣчаетъ согласно, но только говоритъ:

— Я вотъ этихъ сумерекъ-то у нихъ въ Орлѣ боюся, а теперь скоро совсѣмъ стемнѣетъ.

— Ну, я, отвѣчаетъ незнакомый,—ничего не боюсь.

— А какъ ихній орловскій подлётъ съ тебя шубу стащитъ? *)

*) «Подлетъ»—по стар. орловски то же, что въ Москвѣ «жуликъ», или въ Петербургѣ «мазурикъ» (см. «Историч. оч. г. Орла» Пясецкаго, 1874 г.).

— Ну, какъ же. Такъ-то онъ съ меня и стащитъ! Лучше пусть не попадается, а то я, пожалуй, и самъ съ него все стащу.

— Хорошо, что ты такъ силенъ.

— А ты съ племянникомъ ступай. Парнище такой, что кулакомъ вола ушибить можетъ.

Маменька отзывается:

— Миша слабъ,—гдѣ ему защищаться!

— Ну, пусть мѣдныхъ пятаковъ въ перчатку возьметъ, тогда и крѣпокъ сдѣлается.

Тетенька отзывается:

— Ишь, что выдумаетъ.

— Ну, а чѣмъ я худо сказалъ?

— На все у васъ въ Ельцѣ, видно, свое правило.

— А то какъ же? У васъ губернаторъ правила устаавляетъ, а у насъ губернатора нѣтъ,—вотъ мы зато и сами себѣ даемъ правило.

— Какъ бить человѣка?

— Да, и какъ бить человѣка есть правила.

— А вы лучше до воровского часу не оставайтесь, такъ ничего съ вами и не приключится.

— А у васъ въ Орлѣ въ которомъ часу настаетъ воровской часъ?

Тетушка отвѣчаетъ изъ какой-то книги:

— «Егда люди потрапезуютъ и помолятся уснутъ, въ той часъ возстаютъ татіе и исходя грабятъ».

Дядя съ незнакомымъ разсмѣялись. Имъ это все, что маменька съ тетенькой говорили, казалось будто невѣроятно или неразсудительно.

— Чего же, говорятъ,—у васъ въ такомъ случаѣ полицмейстеръ смотритъ?

— Тетенька опять отвѣчаютъ отъ Писанія:

— «Аще не Господь хранитъ домъ — всуе бдитъ стрегій». Полицмейстеръ у насъ есть съ названіемъ Цыганокъ. Онъ свое дѣло и смотритъ, хочетъ имѣнье купить. А если кого ограбятъ, онъ говоритъ: «Зачѣмъ дома не спалъ? И не ограбили бъ».

— Онъ бы лучше чаще обходы посылалъ.

— Ужъ посылалъ.

— Ну, и что же?

— Еще хуже стали грабить

— Отчего же такъ?

— Неизвѣстно. Обходъ пройдетъ, а подлёты за нимъ слѣдъ—и грабятъ.

— А можетъ-быть не подлёты, а сами обходные и грабили.

— Можетъ-быть и они грабили.

— Надо съ квартальнымъ.

— А съ квартальнымъ еще того хуже, — на него, если пожалуешься, такъ ему же и за безчестье заплатишь.

— Экій городъ несуразный!—вскричалъ Павелъ Миронычъ (я догадался, что это былъ онъ), и простился и вышелъ, а дядя пошевеливается и еще разсуждаетъ:

— Нѣтъ, и вправду, говоритъ,—у насъ въ Ельцѣ лучше. Я на живейномъ поѣду.

— Не ѣзди на живейникѣ! Живейный тебя обернетъ, да и съ санокъ долой скинетъ.

— Ну, такъ какъ хотите, а я опять племянника Мишу съ собой возьму. Насъ съ нимъ вдвоемъ никто не обидитъ.

Маменька сначала и слышать не хотѣли, чтобы меня отпустить, но дядя сталъ обижаться и говоритъ:

— Что же это такое: я же ему часы съ ободкомъ подарилъ, а онъ неужели будетъ ко мнѣ неблагодарный и пустой родственной услуги не окажетъ? Не могу же я теперь все дѣло разстроить. Павелъ Миронычъ вышелъ при моемъ полномъ обѣщаніи, что я съ ними буду и все приготовлю, а теперь вмѣсто того что же, я долженъ, наслушавшись вашихъ страховъ, дома, что ли, остаться, или одинъ на вѣрную погибель идти?

Тетенька съ маменькой притихли и молчатъ.

А дядя настаиваетъ:

— Ежели бъ, говоритъ, — моя прежняя молодость, когда мнѣ было хоть сорокъ лѣтъ,—такъ я бы не побоялся подлётовъ, а я мужъ въ лѣтахъ, мнѣ шестьдесятъ пятый годъ, и если съ меня далеко отъ дому шубу долой стащутъ, то я пока безъ шубы приду, непремѣнно воспаленіе плечъ получу, и тогда мнѣ надо молодую рожечницу кровь оттянуть, или я тутъ у васъ и околѣю. Хороните меня тогда здѣсь на свой счетъ у Ивана Крестителя, и пусть надъ моимъ гробомъ вспомнятъ, что твой Мишка своего дядю родного, въ своемъ отечественномъ городѣ, безъ родственной услуги оставилъ, и одинъ разъ въ жизни проводить не пошелъ...

Тутъ мнѣ стало такъ его жалко и такъ совѣстно, что я сразу же выскочилъ и говорю:

— Нѣтъ, маменька, какъ вамъ угодно, но я дяденьку безъ родственной услуги не оставлю. Неужели я буду неблагодарный, какъ Альфредъ, котораго ряженые солдаты по домамъ представляютъ? Я вамъ въ ножки кланяюсь и прошу позволенія, не заставьте меня быть неблагодарнымъ, дозвольте мнѣ дядюшку проводить, потому что они мнѣ родной и часы мнѣ подарили, и мнѣ будетъ отъ всѣхъ людей совѣстно ихъ безъ своей услуги оставить.

Маменька, какъ ни смущались, должны были меня отпустить, но только ужъ зато строго-престрого наказывали, чтобы и не пилъ, и по сторонамъ не смотрѣлъ, и никуда не заходилъ, и поздно не запаздывался.

Я ее всячески успокоиваю.

— Что вы, говорю, — маменька: зачѣмъ по сторонамъ, когда есть прямая дорога. Я при дядѣ.

— Все-таки, говорятъ, — хоть и при дядѣ, а до воровского часу не оставайся. Я спать не буду, пока вы домой обратите.

А потомъ стала меня за дверью крестить и шепчетъ:

— Ты на своего дяденьку Ивана Леонтьевича не очень смотри: они въ Ельцѣ всѣ колобродники. Къ нимъ даже и въ дома-то ихъ ходить страшно: чиновниковъ зазовутъ угощать, а потомъ въ ротъ силой льютъ, или выливаютъ за воротъ, и шубы спрячутъ, и ворота запрутъ, и запоютъ: «Кто не хочетъ пить—того будемъ бить». Я своего братца на этотъ счетъ знаю.

— Хорошо-съ, отвѣчаю,—маменька; хорошо, хорошо! Во всемъ за меня будьте покойны.

А маменька все свое:

— Сердце мое, говорятъ, — чувствуетъ, что это у васъ добромъ не кончится.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Наконецъ, вышли мы съ дяденькой наружу за ворота и пошли. Что такое съ нами подлѣты двумя могутъ сдѣлать? Маменька съ тетенькой, извѣстно, домосѣдки и не знаютъ того, что я одинъ по десяти человѣкъ на одинъ кулакъ колотилъ въ бою. Да и дяденька еще, хоть и пожилой человѣкъ, а тоже за себя постоять могутъ.

Побѣжали мы туда-сюда, въ рыбныя лавки и въ ренсковые погреба, всего накупили и все посылаемъ въ Борисоглѣбскую, въ номера, съ большими кулаками. Сейчасъ самовары грѣть заказали, закуски раскрыли, вино и ромъ разставили и хозяина, борисоглѣбскаго гостинника, въ компанію пригласили и просимъ.

— Мы ничего нехорошаго дѣлать не будемъ, но только желаніе наше и просьба,—чтобы никто чужой не слыхалъ и не видалъ.

— Это, говоритъ,—сдѣлайте милость; клопъ одинъ развѣ въ стѣнѣ услышитъ, а больше некому.

А самъ такой соня—все со сна ротъ креститъ.

Вскорѣ же и Павелъ Миронычъ пріѣхалъ и обоихъ дьяконовъ съ собой привезъ: и богоявленскаго, и отъ Никитія. Закусили сначала кос-какъ, на черно, балычка да икорки, и сейчасъ поблагословились за дѣло, чтобы пробовать.

Три верхніе номера всѣ сквозь въ одно были отворены. Въ одномъ, на кроватяхъ, одежду склали, въ другомъ, крайнемъ, закуску уставили, а въ среднемъ—голоса пробовать.

Прежде Павелъ Миронычъ посрединѣ комнаты сталъ и показалъ, что главное у нихъ въ Ельцѣ купечество отъ дьяконовъ любитъ. Голосъ у него, я вамъ говорилъ, престрашный, даже какъ будто по лицу бьетъ и въ окнахъ на стеклахъ трещитъ.

Даже гостинникъ очнулся и говоритъ:

— Вамъ бы самому и первымъ дьякономъ быть.

— Мало ли что!—отвѣчаетъ Павелъ Миронычъ:—мнѣ, при моемъ капиталѣ, и такъ жить можно, а я только люблю въ священномъ служеніи громкость слушать.

— Этого кто же не любитъ!

И сейчасъ послѣ того, какъ Павелъ Миронычъ прокричалъ, начали себя показывать дьякона: сначала одинъ, а потомъ другой одно и то же самое возглашать. Богоявленскій дьяконъ былъ черный и мягкій, весь какъ на ватѣ стеганъ, а никитскій рыжій, сухой, что есть хрѣновый корень, и бородка маленькая, смычкомъ; а какъ пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. Въ одномъ родѣ у одного лучше выходитъ, а въ другомъ у другого пріятнѣе. Сначала Павелъ Миронычъ представилъ, какъ у нихъ въ Ельцѣ любятъ, чтобы издали ворчанье раздавалось. Проворчалъ «Достойно есть», и потомъ «Прободи владыко» и

«Пожри владыко», а потомъ это же самое сдѣлали оба дьякона. У рыжаго ворчокъ вышелъ лучше. Въ чтеніи Павелъ Миронычъ съ такого съ низа взялъ, что ниже самаго низкаго, какъ будто издалека вѣтромъ наноситъ: «Во время оно». А потомъ началъ выходить все выше да выше и, наконецъ, сдѣлалъ такое воскликновеніе, что стекла зазвенѣли. И дьякона въ-ровняхъ съ нимъ не отставали.

Ну, потомъ, такимъ же манеромъ, и все прочее, какъ икатенью вести и какъ ее надо нѣвчимъ въ тонъ подводить, потомъ радостное многолѣтіе «и о спасеніи»; потомъ заунывное—«вѣчный покой». Сухой никитскій дьяконъ завойкою такъ всѣмъ понравился, что и дядя, и Павелъ Миронычъ начали плакать и его цѣловать и еще упрашивать, нельзя ли развести отъ всего своего естества еще южаснѣе.

Дьяконъ отвѣчаетъ:

— Отчего же нѣтъ: мнѣ это религія допускаетъ, но надо бы чистымъ ямайскимъ ромомъ подкрѣпиться — отъ него раскатъ въ грудяхъ шире идетъ.

— Сдѣлай твое одолженіе — ромъ на то изготовленъ: хочешь изъ рюмки пей, хочешь изъ стакана хлещи, а еще лучше оборони бутылку да и перелей все сразу изъ горлышка.

Дьяконъ говоритъ:

— Нѣтъ, я больше стакана за разъ не обожаю.

Подкрѣпились—дьяконъ и началъ сниза «во блаженномъ успеніи вѣчный покой» и пошелъ все поднимать вверхъ и все съ густымъ подвоемъ «всѣмъ усопшимъ владыкамъ орловскимъ и сѣвскимъ, Аполлосу же и Досифею, Іонѣ же и Гавріилу, Никодиму же и Иннокентію», и какъ дошелъ до «с-о-т-т-в-о-о-р-р-и имъ», такъ даже весь кадыкъ клубкомъ въ горлѣ выпятилъ и такую завойку взвылъ, что ужасъ сталъ нападать, и дяденька началъ креститься и подъ кароватъ ноги подсовывать, и я за нимъ то же самое. А изъ-подъ каровати, вдругъ, что-то бацъ насъ по буддажкамъ,—мы оба вскрикнули и вразъ на середину комнаты выскочили и трясемся...

Дяденька въ испугѣ говоритъ:

— Ну васъ совсѣмъ! Оставьте ихъ... не зовите ихъ больше... они ужъ и такъ здѣсь подъ кроватью толкаются.

Павелъ Миронычъ спрашиваетъ:

— Кто подъ кроватью можетъ толкаться?

Дядя отвѣчаетъ:

— Покойнички.

Павелъ Миронычъ, однако, не оробѣлъ: схватилъ свѣчку съ огнемъ, да подъ кровать, а на свѣчку что-то дунуло и подсвѣчникъ изъ рукъ вышибло, и лѣзетъ оттуда въ видѣ какъ будто нашъ купецъ отъ Николы, изъ Мясныхъ рядовъ.

Всѣ мы, кромѣ гостинника, въ разныя стороны кинулись и твердимъ одно слово:

— Чуръ насъ! чуръ!

А за этимъ, изъ-подъ другой кровати, еще другой купецъ выползаетъ. И мнѣ кажется, что и этотъ будто тоже изъ Мясныхъ рядовъ.

— Что же это значитъ?

А эти купцы оба говорятъ:

— Пожалуйста, это ничего не значитъ... Мы просто любимъ басы слушать.

А первый купецъ, который насъ съ дядей по ногамъ ударилъ и у Павла Миронича свѣчу вышибъ, извиняется, что мы его сами сапогами зашибли, а Павелъ Миронычъ свѣчою чуть лицо не подпалилъ.

Но Павелъ Миронычъ разсердился на гостинника и сталъ его обвинять, что если за номера деньги заплочены, такъ не надо было сторонникъ людей безъ спроса подъ кровать накладывать.

А гостинникъ будто все спалъ, но оказался сильно выпивши.

— Эти хозяева, говоритъ,—мнѣ оба родственники: я имъ хотѣлъ родственную услугу сдѣлать. Я въ своемъ домѣ, что хочу—все могу.

— Нѣтъ, не можешь.

— Нѣтъ, могу.

— А если тебѣ заплочено?

— Такъ что же, что заплочено? Это домъ мой, а мнѣ мои родные всякой платы дороже. Ты нобылъ здѣсь и уѣдешь, а они здѣсь всегдашніе: вы ихъ не пятками ткать, ни глаза имъ жечь огнемъ не смѣете.

— Не нарочно мы ихъ пятками ткали, а только ноги свои подвели,—говоритъ дядя.

— А вы ногъ бы не подводили, а прямо сидѣли.

— Мы подвели съ ужаса.

— Ну, такъ, что за бѣда. А они къ лерегіи привержены и желамши слушать...

Павелъ Миронычъ вскипѣлъ.

— Да это нешто, говоритъ, — лерегія? Это одинъ примѣръ для образованія, а лерегія въ церкви.

— Все равно,—говоритъ гостинникъ:—это все къ одному и тому же касается.

— Ахъ, вы, поджигатели!

— А вы бунтовщики.

— Какіе?

— Дохлымъ мясомъ у себя торговали. Засѣдателя на ключъ заперли!

И пошли въ этомъ родѣ безконечныя глупости. И вдругъ все возмутилось, и уже гостинникъ кричитъ:

— Ступайте вы, мукомолы, вонъ изъ моего заведенія, я съ своими мясниками самъ продолжать буду.

Павелъ Миронычъ ему и погрозилъ.

А гостинникъ отвѣчаетъ:

— А если грозиться, такъ я, сейчасъ, такихъ орловскихъ молодцовъ кликну, что вы ни одного не переломленаго ребра домой въ Елецъ не привезете.

Павелъ Миронычъ, какъ первый слецкій силачъ, обидѣлся.

— Ну, что дѣлать, говоритъ,—зови, если съ мѣста встанешь, а я вонъ изъ номера не пойду; у насъ за вино деньги плочены.

Мясники захотѣли уйти, — вѣрно вздумали людей кликнуть.

Павелъ Миронычъ ихъ въ кучу, и кричитъ:

— Гдѣ ключъ? Я ихъ всѣхъ запру.

Я говорю дядѣ:

— Дяденька! Бога ради! Вотъ мы до чего досидѣлись! Тутъ можетъ убійство выйти! А дома теперь маменька и тетенька ждутъ... Что онѣ думаютъ!.. Какъ безпокоются!

Дядя и самъ устрашился.

— Хватай шубу, говоритъ,—пока отперто, и уйдемъ.

Выскочили мы въ другую комнату, захватили шубы, и рады, что на вольный воздухъ выкатились; но только тьма вокругъ такая густая, что и зги не видно, и снѣгъ мокрый-премокрый цѣлыми хлопками такъ въ лицо и лѣпитъ, такъ глаза и застилаетъ.

— Веди,— говоритъ дядя:—я что-то вдругъ все забылъ— гдѣ мы, и ничего разсмотрѣть не могу.

— Вы, говорю,—ужъ только скорѣй ноги уносите.

— Павла Мироныча не хорошо что оставили.

— Да, вѣдь, что же съ нимъ дѣлать?

— Такъ-то оно такъ... но первый прихожанинъ.

— Онъ силачъ; его не обидятъ.

А снѣгъ такъ и слѣпитъ, и какъ мы изъ духоты выскочили, то ни вѣсть что̀ кажется, будто кто-то со всѣхъ сторонъ вылѣзаетъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Я, разумѣется, дорогу отлично зналъ, потому что городъ нашъ небольшой и я въ немъ родился и выросъ, но эта темнота и мокрый снѣгъ прямо изъ комнатнаго жара, да изъ свѣта, точно у меня память отуманили.

— Позвольте, говорю, — дяденька, сообразить, гдѣ мы находимся.

— Неужели же ты въ своемъ городѣ примѣтъ не знаешь?

— Нѣтъ, знаю, молъ;—первая примѣта у насъ два собора! одинъ новый, большой, а другой старый, маленькій, и намъ надо промежду ихъ взять направо, а я теперь за этимъ снѣгомъ не вижу ни большого собора, ни малаго.

— Вотъ тебѣ и разъ! Этакъ и въ самомъ дѣлѣ съ насъ шубы снимутъ или даже совсѣмъ раздѣнутъ, и нельзя знать будетъ, куда бѣжать голымъ. На-смерть простудиться можно.

— Авось, Богъ дастъ, не раздѣнутъ.

— А ты знаешь этихъ купцовъ, которые изъ-подъ постелей вылѣзли?

— Знаю.

— Обоихъ знаешь?

— Обоихъ знаю, одинъ называется Ефросинъ Ивановъ, а другой Агафонъ Петровъ.

— И что же—они въ самдѣлѣ купцы?

— Купцы.

— У одного рожа-то мнѣ совсѣмъ не понравилась.

— Чѣмъ?

— Язовитское въ немъ образеніе.

— Это Ефросинъ: онъ и меня разъ испугалъ.

— Чѣмъ?

— Ну, такъ, что за бѣда. А они къ лерегіи привержены и желамши слушать...

Павелъ Миронычъ вскипѣлъ.

— Да это нешто, говоритъ, — лерегія? Это одинъ примѣръ для образованія, а лерегія въ церкви.

— Все равно,—говоритъ гостинникъ:—это все къ одному и тому же касается.

— Ахъ, вы, поджигатели!

— А вы бунтовщики.

— Какіе?

— Дохлымъ мясомъ у себя торговали. Засѣдателя на ключъ заперли!

И пошли въ этомъ родѣ безконечныя глупости. И вдругъ все возмутилось, и уже гостинникъ кричитъ:

— Ступайте вы, мукомолы, вонъ изъ моего заведенія, я съ своими мясниками самъ продолжать буду.

Павелъ Миронычъ ему и погрозилъ.

А гостинникъ отвѣчаетъ:

— А если грозиться, такъ я, сейчасъ, такихъ орловскихъ молодцовъ кликну, что вы ни одного не переломленнаго ребра домой въ Елецъ не привезете.

Павелъ Миронычъ, какъ первый елецкій силачъ, обидѣлся.

— Ну, что дѣлать, говоритъ,—зови, если съ мѣста встанешь, а я вонъ изъ номера не пойду; у насъ за вино деньги плочены.

Мясники захотѣли уйти, — вѣрно вздумали людей кликнуть.

Павелъ Миронычъ ихъ въ кучу, и кричитъ:

— Гдѣ ключъ? Я ихъ всѣхъ запру.

Я говорю дядѣ:

— Дяденька! Бога ради! Вотъ мы до чего досидѣлись! Тутъ можетъ убійство выйти! А дома теперь маменька и тетенька ждутъ... Что онѣ думаютъ!.. Какъ безпокоются!

Дядя и самъ устрашился.

— Хватай шубу, говоритъ,—пока отперто, и уйдемъ.

Выскочили мы въ другую комнату, захватили шубы, и рады, что на вольный воздухъ выкатились; но только тьма вокругъ такая густая, что и зги не видно, и снѣгъ мокрый-премокрый цѣлыми хлопками такъ въ лицо и лѣпитъ, такъ глаза и застилаетъ.

— Веди,—говоритъ дядя:—я что-то вдругъ все забылъ—гдѣ мы, и ничего разсмотрѣть не могу.

— Вы, говорю,—ужъ только скорѣй ноги уносите.

— Павла Мироныча не хорошо что оставили.

— Да, вѣдь, что же съ нимъ дѣлать?

— Такъ-то оно такъ... но первый прихожанинъ.

— Онъ силачъ; его не обидятъ.

А снѣгъ такъ и слѣпитъ, и какъ мы изъ духоты выскочили, то ни вѣсть что кажется, будто кто-то со всѣхъ сторонъ вылѣзаетъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Я, разумѣется, дорогу отлично зналъ, потому что городъ нашъ небольшой и я въ немъ родился и выросъ, но эта темнота и мокрый снѣгъ прямо изъ комнатнаго жара, да изъ свѣта, точно у меня память отуманили.

— Позвольте, говорю, — дяденька, сообразить, гдѣ мы находимся.

— Неужели же ты въ своемъ городѣ примѣтъ не знаешь?

— Нѣтъ, знаю, молъ;—первая примѣта у насъ два собора! одинъ новый, большой, а другой старый, маленькій, и намъ надо промежду ихъ взять направо, а я теперь за этимъ снѣгомъ не вижу ни большого собора, ни малаго.

— Вотъ тебѣ и разъ! Этакъ и въ самомъ дѣлѣ съ насъ шубы снимутъ или даже совсѣмъ раздѣнутъ, и нельзя знать будетъ, куда бѣжать голымъ. На-смерть простудиться можно.

— Авось, Богъ дастъ, не раздѣнутъ.

— А ты знаешь этихъ купцовъ, которые изъ-подъ постелей вылѣзли?

— Знаю.

— Обоихъ знаешь?

— Обоихъ знаю, одинъ называется Ефросинъ Ивановъ, а другой Агафонъ Петровъ.

— И что же—они въ самдѣлѣ купцы?

— Купцы.

— У одного рожа-то мнѣ совсѣмъ не понравилась.

— Чѣмъ?

— Язовитское въ немъображеніе.

— Это Ефросинъ: онъ и меня разъ испугалъ.

— Чѣмъ?

— Ну, такъ, что за бѣда. А они къ лерегіи привержены и желамши слушать...

Павелъ Миронычъ вскипѣлъ.

— Да это нешто, говоритъ, — лерегія? Это одинъ примѣръ для образованія, а лерегія въ церкви.

— Все равно,—говоритъ гостинникъ:—это все къ одному и тому же касается.

— Ахъ, вы, поджигатели!

— А вы бунтовщики.

— Какіе?

— Дохлымъ мясомъ у себя торговали. Засѣдателя на ключъ заперли!

И пошли въ этомъ родѣ безконечныя глупости. И вдругъ все возмутилось, и уже гостинникъ кричитъ:

— Ступайте вы, мукомолы, вонъ изъ моего заведенія, я съ своими мясниками самъ продолжать буду.

Павелъ Миронычъ ему и погрозилъ.

А гостинникъ отвѣчаетъ:

— А если грозиться, такъ я, сейчасъ, такихъ орловскихъ молодцовъ кликну, что вы ни одного не переломленнаго ребра домой въ Елецъ не привезете.

Павелъ Миронычъ, какъ первый елецкій силачъ, обидѣлся.

— Ну, что дѣлать, говоритъ,—зови, если съ мѣста встанешь, а я вонъ изъ номера не пойду; у насъ за вино деньги плочены.

Мясники захотѣли уйти, — вѣрно вздумали людей кликнуть.

Павелъ Миронычъ ихъ въ кучу, и кричитъ:

— Гдѣ ключъ? Я ихъ всѣхъ запру.

Я говорю дядѣ:

— Дяденька! Бога ради! Вотъ мы до чего досидѣлись! Тутъ можетъ убійство выйти! А дома теперь маменька и тетенька ждутъ... Что онѣ думаютъ!.. Какъ безпокоются!

Дядя и самъ устрашился.

— Хватай шубу, говоритъ,—пока отперто, и уйдемъ.

Выскочили мы въ другую комнату, захватили шубы, и рады, что на вольный воздухъ выкатились; но только тьма вокругъ такая густая, что и зги не видно, и снѣгъ мокрый-премокрый цѣлыми хлопками такъ въ лицо и лѣпитъ, такъ глаза и застилаетъ.

— Веди,— говоритъ дядя:—я что-то вдругъ все забылъ— гдѣ мы, и ничего разсмотрѣть не могу.

— Вы, говорю,—ужъ только скорѣй ноги уносите.

— Павла Мироныча не хорошо что оставили.

— Да, вѣдь, что же съ нимъ дѣлать?

— Такъ-то оно такъ... но первый прихожанинъ.

— Онъ силачъ; его не обидятъ.

А снѣгъ такъ и слѣпитъ, и какъ мы изъ духоты выскочили, то ни вѣсть что кажется, будто кто-то со всѣхъ сторонъ вылѣзаетъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Я, разумѣется, дорогу отлично зналъ, потому что городъ нашъ небольшой и я въ немъ родился и выросъ, но эта темнота и мокрый снѣгъ прямо изъ комнатнаго жара, да изъ свѣта, точно у меня память отуманили.

— Позвольте, говорю, — дяденька, сообразить, гдѣ мы находимся.

— Неужели же ты въ своемъ городѣ примѣтъ не знаешь?

— Нѣтъ, знаю, молъ;—первая примѣта у насъ два собора! одинъ новый, большой, а другой старый, маленькій, и намъ надо промежду ихъ взять направо, а я теперь за этимъ снѣгомъ не вижу ни большого собора, ни малаго.

— Вотъ тебѣ и разъ! Этакъ и въ самомъ дѣлѣ съ насъ шубы снимутъ или даже совсѣмъ раздѣнутъ, и нельзя знать будетъ, куда бѣжать голымъ. На-смерть простудиться можно.

— Авось, Богъ дастъ, не раздѣнутъ.

— А ты знаешь этихъ купцовъ, которые изъ-подъ постелей вылѣзли?

— Знаю.

— Обоихъ знаешь?

— Обоихъ знаю, одинъ называется Ефросинъ Ивановъ, а другой Агафонъ Петровъ.

— И что же—они въ самдѣлѣ купцы?

— Купцы.

— У одного рожа-то мнѣ совсѣмъ не понравилась.

— Чѣмъ?

— Язовитское въ немъ образеніе.

— Это Ефросинъ: онъ и меня разъ испугалъ.

— Чѣмъ?

— Мечтаніемъ. Я одинъ разъ ишелъ, вечеромъ, сто всеночной мимо ихъ лавокъ и сталъ противъ Николы помолиться, чтобы пронесъ Богъ, — потому что у нихъ въ рядахъ злыя собаки; а у этого купца Ефросина Иваныча въ лавкѣ соловей свищетъ и сквозь заборныя доски лампада передъ иконой свѣтится... Я прилегъ къ щелкѣ подглядѣть и вижу: онъ стоитъ съ ножомъ въ рукахъ надъ бычкомъ,— бычокъ у его ногъ зарѣзанъ и связанными ногами брыкается, головой вскидываетъ; голова мотается на перерѣзанномъ горлѣ и кровь такъ и хлещетъ; а другой телокъ въ темномъ углѣ ножа ждетъ, не то мычитъ, не то дрожитъ, а надъ парной кровью соловей въ клѣткѣ яростно свищетъ, и вдали за Окою громъ погромыхиваетъ. Страшно мнѣ стало. Я испугался и крикнулъ: Ефросинъ Иванычъ! Хотѣлъ его просить меня до лавъ проводить, но онъ какъ вздрогнетъ весь... Я и убѣжалъ. И сейчасъ это въ памяти.

— Зачѣмъ же ты теперь такую страшность разсказываешь?

— А что же такое? развѣ вы боитесь?

— Не боюсь, да не надо про страшное.

— Вѣдь это хорошо кончилось. Я ему на другой день говорю: такъ и такъ,—я тебя испугался. А онъ отвѣчаетъ: а ты меня испугалъ, потому что я стоялъ, соловья заслушавшись, а ты вдругъ крикнулъ.

Я говорю: зачѣмъ же ты такъ чувствительно слушаешь?

— Не могу, отвѣчаетъ,—у меня часто сердце заходится.

— Да ты силенъ или нѣтъ?—вдругъ перебилъ дядя.

— Хвалиться, говорю, — особенной силой не стану, а если пятака три-четыре старинныхъ въ кулакъ зажму, то могу какого хотите подлёта треснуть прямо на поминъ души.

— Да хорошо, говоритъ,—если онъ будетъ одинъ.

— Кто?

— Ну, кто, подлётъ-то! А если они двое или въ цѣлой компаніи?..

— Ничего, молъ: — если и двое, такъ справимся — вы поможете. А въ большой компаніи подлёты не ходятъ.

— Ну, ты на меня не много надѣйся: я, братъ, старъ сталъ. Прежде, точно, я бивалъ во славу Божію такъ, что по Ельцу знали и въ Ливнахъ...

Но не успѣлъ онъ это проговорить, какъ вдругъ, слышимъ, сзади насъ будто кто-то идетъ и еще поспѣваетъ.

— Позвольте, говорю,—мнѣ кажется, какъ будто кто-то идетъ.

— А что? И я слышу, что идетъ,—отвѣчаетъ дядя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Я молчу, дядя мнѣ шепчетъ:

— Остановимся и впередъ его мимо себя пропустимъ.

А было это уже какъ разъ на спускѣ съ горы, гдѣ лѣтомъ къ Балашевскому мосту ходятъ, а зимой черезъ ледъ между барками.

Тутъ изстари мѣсто самое глухое. На горѣ мало было домовъ и тѣ заперты, а внизу, вправо, на Орликѣ, дрянныя бани да пустая мельница, а сверху сюда обрывъ, какъ стѣна, а съ правой садъ, гдѣ всегда воры прятались. А полицмейстеръ Цыганокъ здѣсь будку построилъ, и народъ сталъ говорить, что будочникъ ворамъ помогаетъ... Думаю: кто это ни подходитъ—подлѣтъ или нѣтъ, а въ самомъ дѣлѣ лучше его мимо себя пропустимъ.

Мы съ дядей остановились... И что же вы думаете: тотъ человѣкъ, который сзади шелъ, тоже, должно-быть, сталъ,—шаговъ его сдѣлалось не слышно.

— Не ошиблись ли мы,—говоритъ дядя: — можетъ-быть никто не шелъ.

— Нѣтъ, отвѣчаю,—я явственно слышалъ шаги и очень близко.

Постояли еще,—ничего не слышно; но только-что дальше пошли,—слышимъ онъ опять за нами поспѣваетъ... Слышно даже, какъ спѣшитъ и тяжело дышитъ.

Мы убавили шаги и идемъ тише,—и онъ тише; мы опять прибавимъ шагу — и онъ опять ближе подходитъ и вотъ-вотъ въ самый нашъ слѣдъ врѣзается.

Толковать больше нечего: мы явственно поняли, что это подлѣтъ насъ слѣдитъ и слѣдитъ какъ есть съ самой гостиницы; значитъ, онъ насъ поджидалъ, и когда я на обходѣ запутался въ снѣгу между большимъ соборомъ и малымъ — онъ насъ и взялъ на примѣтъ. Теперь, значитъ, не миновать чему-нибудь случиться. Онъ одинъ не будетъ.

А снѣгъ, какъ на зло, еще сильнѣй повалилъ; идешь,

точно будто въ горшкѣ съ простоквашей мѣшаешь: бѣло и мокро,—всѣ облипши.

А впереди теперь у насъ Ока надо на ледъ сходить; а на льду пустыя барки, и чтобы къ намъ домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тѣсными проходцами пробираться. А у подлёта, который за нами слѣдитъ, вѣрно тутъ-то гдѣ-нибудь и его воровскіе товарищи спрятаны. Имъ всего способнѣе на льду между барокъ грабить—и убить, и подъ воду спустить. Тутъ ихъ притонъ, и днемъ всегда можно видѣть ихъ мѣста. Логовища у нихъ налажены съ подстилкою изъ костры и изъ соломы, въ которыхъ они лежатъ, покуриваютъ и дожидаютъ. И особыя женки кабацкія съ ними тутъ тоже привитали. Лихія бабенки. Бывало, выкажутъ себя, мужчину подманятъ и заведутъ, а ужъ тѣ грабятъ, а эти опять на караулѣ караулятъ.

Больше всего нападали на тѣхъ, кто изъ мужского монастыря отъ всенощной возвращался, потому что наши пѣвчихъ любили, и былъ тогда удивительный басъ Струковъ, ужаснаго обличья: черный, три хохла на головѣ и нижняя губа какъ будто откидной передокъ въ фаэтонѣ отваливалась. Пока онъ ревётъ—она все откинута, а потомъ захлопнется. Если же кто хотѣлъ цѣлъ отъ всенощной воротиться, то приглашали съ собой провожатыми приказныхъ Рябыкина или Корсунскаго. Оба силачи были и ихъ подлёты боялись. Особливо Рябыкина, который былъ съ бѣльмомъ и по тому дѣлу находился, когда приказнаго Соломку въ Щекатихинской рощѣ на майскомъ гуляньѣ убили...

Я разсказываю все это дядѣ для того, чтобы ему о себѣ не думалось, а онъ перебиваетъ:

— Постой, ты меня совсѣмъ уморилъ. Все у васъ убиваютъ: отдохнемъ, по крайней мѣрѣ, передъ тѣмъ, какъ на ледъ сходить. Вотъ у меня еще есть при себѣ три мѣдныхъ пятака. Бери-ка ихъ тоже къ себѣ въ перчатку.

— Пожалуй, давайте, — у меня рукавичка съ варежкой свободная, три пятака еще могу захватить.

И только-что хочу у него взять эти пятаки, какъ, вдругъ, кто-то прямо мимо насъ изъ темноты выросъ и говоритъ:

— Что, добрые молодцы, кого ограбили?

Я думалъ: такъ и есть — подлётъ, но узналъ по голосу, что это тотъ мясникъ, о которомъ я сказывалъ.

— Это ты, говорю,—Ефросинъ Иванычъ? Пойдемъ, братъ, съ нами вмѣстѣ заодно.

А онъ второпяхъ проходитъ, какъ будто съ снѣгомъ смѣшался, и на ходу отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, братцы, гусь свиньѣ не товарищъ: вы себѣ свой дуванъ дуваньте, а Ефросина не трогайте. Ефросинъ теперь голосовъ наслышался, и въ немъ сердце въ груди зашедшись... Щелкану—и живъ не останешься...

— Нельзя, говорю,—его остановить; — видите, онъ на нашъ счетъ въ ошибкѣ: онъ насъ за воровъ почитаетъ.

Дядя отвѣчаетъ:

— Да и Богъ съ нимъ, съ его товариществомъ. Отъ него тоже не знаешь, живъ ли останешься. Пойдемъ лучше, что Богъ дастъ, съ одною съ Божьей помощью. Богъ не выдастъ—свинья не съѣстъ. Да теперь, когда онъ прошелъ, такъ стало и смѣло... Господи помилуй! Никола, мценскій заступникъ, Митрофаній воронежскій, Тихонъ и Іосафъ... Брысь! Что это такое?

— Что?

— Ты не видалъ?

— Что же тутъ можно видѣть?

— Вродѣ какъ будто кошка подъ ноги.

— Это вамъ показалось.

— Совсѣмъ какъ арбузъ покатился.

— Можетъ быть съ кого-нибудь шапку сорвало.

— Ой!

— Что вы?

— Я про шапку.

— А что такое?

— Да вѣдь ты же самъ говоришь: «сорвали»... Вѣрно тамъ, на горѣ, кого-нибудь тормошатъ.

— Нѣтъ, вѣрно просто вѣтеръ сорвалъ.

И мы съ этими словами стали оба спускаться къ баркамъ на ледъ.

А барки, повторяю вамъ, тогда ставили просто, безъ всякаго порядка, одна около другой, какъ остановятся. Нагромождено, бывало, такъ страшно тѣсно, что только между ними самые узкіе коридорчики, гдѣ насилу можно пролѣзть и все туда да сюда загогулями заворачивать надо.

— Ну, тутъ, говорю, — дяденька, я отъ васъ скрывать не хочу,—здѣсь и есть самая опасность.

И всѣ стоятъ, не понимаютъ.

Тетенька говоритъ:

— Вотъ такъ штука!

А дяденька успокаиваетъ:

— Постойте, говоритъ, — не пужайтесь; вѣрно онъ Мишуткины часы съ собой захватилъ, а эти съ кого-нибудь съ другого еще раньше снялъ.

Но я швырнулъ эти вынутые часы на столъ, и чтобы ихъ не видѣть, бросился въ свою комнату. А тамъ, слышу, на стѣнкѣ, надъ кроватью, мои часы потюкиваютъ: тикъ-такъ, тикъ-такъ, тикъ-такъ.

Я подскочилъ со свѣчой и вижу—они самые, мои часы съ ободочкомъ... Висятъ, какъ святые, на своемъ мѣстѣ!

Тутъ я треснулъ себя со всей силы ладонью въ лобъ и уже не заплакалъ, а завылъ...

— Господи! да кого же это я ограбилъ?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Маменька, тетенька, дядя — всѣ испугались, прибѣжали, трясутъ меня.

— Что ты, что ты? Успокойся!

— Отстаньте, говорю, — пожалуйста! Какъ мнѣ можно успокоиться, когда я человѣка ограбилъ!

Маменька заплакали.

— Онъ, говорятъ, — помѣшался, — онъ увидалъ, что ли, что-нибудь страшное!

— Разумѣется, увидалъ, маменька!.. Что тутъ дѣлать!!

— Что же такое ты увидалъ?

— А вотъ это самое, посмотрите сами.

— Да что? гдѣ?

— Да вотъ, вотъ это! Смотрите! Или вы не видите, что это такое?

Они поглядѣли на стѣнку, куда я имъ показалъ, и видятъ: на стѣнкѣ висятъ и преспокойно тикаютъ подаренные мнѣ дядей серебряные часы съ золотымъ ободочкомъ...

Дядя первый образумились.

— Святъ, святъ, святъ! говоритъ:—вѣдь это *твои* часы?

— Ну да, конечно, мои!

— Ты ихъ, значитъ, вѣрно, и не надѣвалъ, а здѣсь оставилъ?

— Да ужъ видите, что здѣсь оставилъ.

— А тѣ-то... тѣ-то... Чьи же это, которые ты снялъ?

— А я почемъ знаю, чьи они!

— Что же это! Сестрицы мои, голубушки! Вѣдь это мы съ Мишей кого-то ограбили!

Маменька такъ съ ногъ долой и срѣзалась: какъ стояла, такъ вскрикнула и на томъ же мѣстѣ на полъ сѣла.

Я къ ней, чтобы поднять, а она гнѣвно:

— Прочь, грабитель!

Тетенька же только крестить во всѣ стороны и приговариваетъ:

— Свять, свять, свять!

А маменька схватились за голову и шепчутъ:

— Избили кого-то, ограбили и сами не знаютъ кого!

Дяд ее поднялъ и успокаиваетъ:

— яДа ужъ успокойся, не путнаго же кого-нибудь избили.

— Почему вы знаете? Можетъ-быть и путнаго; можетъ-быть кто-нибудь отъ больного посланъ за лѣкаремъ.

Дядя говоритъ:

— А какъ же мой картузъ? Зачѣмъ онъ картузъ сорвалъ?

— Богъ знаетъ, что такое вашъ картузъ и гдѣ вы его оставили.

Дядя обидѣлся, но матушка его оставила безъ вниманія, и опять ко мнѣ.

— Берегла сынка столько лѣтъ въ страхѣ Божіемъ, а онъ вотъ къ чему уготовался: тать не тать, а на ту же стать... Теперь за тебя послѣ этого во всемъ Орлѣ ни одна путная дѣвушка и замужъ не пойдетъ, потому что теперь всѣ, всѣ узнаютъ, что ты самъ подлѣтъ.

Я не вытерпѣлъ и громко сказалъ:

— Помилуйте, маменька! Какой же я подлѣтъ, когда это все по ошибкѣ!

Но она не хочетъ и слушать, а все ткнетъ меня косточками перстовъ въ голову, да причитываетъ причтою по горю-злосчастію:

— Учила: живи, чадо, въ незлобіи, не ходи въ игры и въ братчины, не пей двѣ чары за единый вздохъ, не ложись въ мѣсто заточное, да не сняли бъ съ тебя драгіе порты, не доспѣть бы тебѣ стыда-срама великаго, и черезъ тебя племени укору и поносу бездѣльнаго. Учила: не ходи,

чадо, къ корыстямъ и къ корчемникамъ, не думай какъ бы украсти-ограбити, но не захотѣлъ ты матери покориться; снимай теперь съ себя платье гостиное и накинь на себя гуньку кабацкую *) и дожидайся, какъ сейчасъ будошники застучатъ въ ворота, и самъ Цыганокъ въ нашъ честный домъ ввалится.

И все сама причитаетъ, а сама меня костяшкой пристукиваетъ въ голову.

А тетенька, какъ услыхала про Цыганка, такъ и вскрикнула:

— Господи! Избавь насъ отъ мужа кровей и отъ Арида! Боже мой! То-есть это настоящій адъ въ домѣ сдѣлался.

Обнялись тетенька обѣ съ маменькой и, обнявшись, обѣ плачучи удалились. Остались только мы вдвоемъ съ дядей.

Я сѣлъ, облокотился объ столъ и не помню, сколько часовъ просидѣлъ, все думалъ: кого же это я ограбилъ? Можетъ-быть это французъ Сенвенсанъ съ урока ишелъ, или у предводителя Страхова въ домѣ опекунскій секретарь жилъ.... Каждаго жалко. А вдругъ, если это мой крестный Кулабуховъ съ той стороны отъ палатскаго секретаря шелъ!.. Хотѣлъ — потихоньку, чтобы не видали съ кулёчкомъ, а я его тутъ и обработалъ... Крестникъ!.. своего крестнаго!

— Пойду на чердакъ и повѣшусь. Больше мнѣ ничего не остается.

А дядя только ожесточенно чай пилъ, а потомъ какъ-то—я даже и не видалъ, какъ — подходитъ ко мнѣ и говоритъ:

— Полно сидѣть, повѣся носъ, надо дѣйствовать.

— Да что же, отвѣчаю, — разумѣется, если бы можно узнать, съ кого я часы снялъ...

— Ничего; вставай поскорѣе и пойдемъ вмѣстѣ, сами во всемъ объявимся.

— Кому же будемъ объявляться?

— Разумѣется, самому вашему Цыганку и объявимся.

— Срамъ какой сознаваться!

— А что же дѣлать? Ты думаешь мнѣ охота къ Цыганку?.. А все-таки лучше самимъ повиниться, чѣмъ онъ насъ разыскивать станетъ: бери обои часы и пойдемъ.

Я согласился.

Взялъ и свои часы, которые мнѣ дядя подарилъ, и тѣ,

*) Гуня — старинное слово; значитъ: обносокъ, рубище. Въ Орлѣ 50 лѣтъ назадъ еще говорили «гуня».

которые ночью съ собой принесъ и, не здоровавшись съ маменькою, пошли.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Пришли въ полицію, а Цыганокъ сидитъ уже въ присутствіи передъ зерцаломъ, а у его дверей стоитъ молодой квартальный, князь Солнцевъ-Засѣкинъ. Роду былъ знаменитаго, а таланту неважнаго.

Дядя увидалъ, что я съ этимъ княземъ поклонился и говоритъ:

— Неужели онъ правду князь?

— Ей-Богу, поистинѣ.

— Поблести ему чѣмъ-нибудь между пальцевъ, чтобы онъ выскочилъ на минутку на лѣстницу.

Такъ и сдѣлалось: я повертѣлъ полуполтинникъ — князь на лѣстницу и выскочилъ.

Дядя далъ ему полуполтинникъ въ руку и проситъ, чтобы насъ какъ можно скорѣе въ присутствіе пустить.

Квартальный сталъ сказывать, что нонче, говорятъ, ночью у насъ въ городѣ произошло очень много происшествіевъ.

— И съ нами тоже происшествіе случилось.

— Ну, да вѣдь какое? Вы вотъ оба въ своемъ видѣ, а тамъ на рѣкѣ одного человѣка подъ ледъ спустили; два купца на Полѣшской цлощади всѣ оглобли, слеги и лубки поваляли; одинъ человѣкъ безъ памяти подъ корытомъ найденъ, да съ двоихъ часы сняли. Я одинъ и остаюсь при дежурствѣ, а всѣ прочіе бѣгаютъ, подлѣтовъ ищутъ...

— Вотъ, вотъ, вотъ, ты и доложи, что мы пришли дѣло объяснить.

— Вы подравшись, или по родственной непріятности?

— Нѣтъ, ты только доложи, что мы по секретному дѣлу; намъ объ этомъ дѣлѣ при людяхъ объяснять совѣстно. Получи еще полмонетки.

Князь спряталъ полтинникъ въ карманъ и черезъ пять минутъ кличетъ насъ:

— Пожалуйте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Цыганокъ такой былъ хохолъ приземистый — совсѣмъ какъ черный тараканъ; усы торчкомъ, а разговоръ самый грубый, хохлацкій.

Дядя по-своему, по-елецки, захотѣлъ-было къ нему близко, но онъ закричалъ:

— Говорите здалеча.

Мы остановились.

— Что у васъ за дѣло?

Дядя говоритъ:

— Перво-на-перво—вотъ.

И положилъ на столъ барашка въ бумажкѣ. Цыганокъ прикрылъ.

Тогда дядя сталъ разсказывать.

— Я елецкій купецъ и церковный староста, пріѣхалъ сюда вчерашній день по духовной надобности; присталъ у родственницъ за Плаутинымъ колодцемъ...

— Такъ это васъ, что ли, нонче ночью ограбили?

— Точно такъ; мы возвращались съ племянникомъ въ одиннадцать часовъ и за нами слѣдовалъ неизвѣстный человѣкъ; а какъ мы стали переходить черезъ ледъ между барокъ, онъ...

— Постойте... А кто же съ вами былъ третій?

— Третьяго съ нами никого не было, окромѣ этого вора, который бросился...

— Но кого же такъ ночью утопили?

— Утопили?

— Да!

— Мы объ этомъ ничего неизвѣстны.

Полицмейстеръ позвонилъ и говоритъ квартальному:

— Взять ихъ за клинъ!

Дядя взмолился.

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе! Да за что же пасъ!.. Мы сами пришли разсказать...

— Это вы человѣка утопили?

— Да мы даже ничего и не слышали, ни о какомъ утопленіи. Кто утонулъ?

— Неизвѣстно. Бобровый картузъ изгаженный у проруби пайденъ, а кто его носилъ—неизвѣстно.

— Бобровый картузъ!?

— Да; покажите-ка ему картузъ, что онъ скажетъ.

Квартальный досталъ изъ шкафа дядинъ картузъ.

Дядя говоритъ:

— Это мой картузъ. Его вчера съ меня на льду воръ сорвалъ.

Цыганокъ глазами захлопалъ.

— Какъ воръ? Что ты врешь! Воръ не шапку снялъ, а воръ часы укралъ.

— Часы? Съ кого, ваше высокоблагородіе?

— Съ никитскаго дьякона.

— Съ никитскаго дьякона!

— Да; и его очень избили, этого никитскаго дьякона. Мы, знаете, такъ и обомлѣли.

Такъ вотъ это кого мы обработали!

Цыганокъ говоритъ:

— Вы должны знать этихъ мошенниковъ.

— Да, отвѣчаетъ дядя:—это мы сами и есть.

И разсказалъ все, какъ дѣло было.

— Гдѣ же теперь эти часы?

— Извольте—вотъ одни часы, а вотъ другіе.

— И только?

Дядя пустилъ еще барашка и говоритъ:

— Вотъ это еще къ сему.

Прикрылъ и говоритъ:

— Привести сюда дьякона!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Входитъ сухощавый дьяконъ, весь избитъ и голова перевязана.

Цыганокъ на меня смотритъ и говоритъ:

— Видишь?!

Кланяюсь и говорю:

— Ваше высокоблагородіе, я все претерпѣть достоинъ, только отъ дальняго мѣста помилуйте. Я одинъ сынъ у матери.

— Да нѣть, ты христіанинъ или нѣтъ? Есть въ тебѣ чувство?

Я вижу этакій разговоръ несоотвѣтственный и говорю:

— Дяденька, дайте за меня барашка, вамъ дома отдадутъ.

Дядя подалъ.

— Какъ это у васъ происходило?

Дьяконъ сталъ разсказывать, что были, говоритъ, мы цѣлой компаніей въ борисоглѣбской гостиницѣ и очень все было хорошо и благородно, но потомъ гостинникъ постороннихъ слушателей подъ кровать положилъ за ма:ъ-

Дядя по-своему, по-елецки, захотѣлъ-было къ нему близко, но онъ закричалъ:

— Говорите здалеча.

Мы остановились.

— Что у васъ за дѣло?

Дядя говоритъ:

— Перво-на-перво—вотъ.

И положилъ на столъ барашка въ бумажкѣ. Цыганокъ прикрылъ.

Тогда дядя сталъ разсказывать.

— Я елецкій купецъ и церковный староста, пріѣхалъ сюда вчерашній день по духовной надобности; присталъ у родственницъ за Плаутинымъ колодцемъ...

— Такъ это васъ, что ли, нонче ночью ограбили?

— Точно такъ; мы возвращались съ племянникомъ въ одиннадцать часовъ и за нами слѣдовалъ неизвѣстный человѣкъ; а какъ мы стали переходить черезъ ледъ между барокъ, онъ...

— Постойте... А кто же съ вами былъ третій?

— Третьяго съ нами никого не было, окромѣ этого вора, который бросился...

— Но кого же такъ ночью утопили?

— Утопили?

— Да!

— Мы объ этомъ ничего неизвѣстны.

Полицмейстеръ позвонилъ и говоритъ квартальному:

— Взять ихъ за клинъ!

Дядя взмолился.

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе! Да за что же насъ!.. Мы сами пришли разсказать...

— Это вы человѣка утопили?

— Да мы даже ничего и не слышали, ни о какомъ утопленіи. Кто утонулъ?

— Неизвѣстно. Бобровый картузъ изгаженный у проруби пайденъ, а кто его носилъ—неизвѣстно.

— Бобровый картузъ!?

— Да; покажите-ка ему картузъ, что онъ скажетъ.

Квартальный досталъ изъ шкафа дядинъ картузъ.

Дядя говоритъ:

— Это мой картузъ. Его вчера съ меня на льду воръ сорвалъ.

Цыганокъ глазами захлопалъ.

— Какъ воръ? Что ты врешь! Воръ не шапку снялъ, а воръ часы укралъ.

— Часы? Съ кого, ваше высокоблагородіе?

— Съ никитскаго дьякона.

— Съ никитскаго дьякона!

— Да; и его очень избили, этого никитскаго дьякона. Мы, знаете, такъ и обомлѣли.

Такъ вотъ это кого мы обработали!

Цыганокъ говоритъ:

— Вы должны знать этихъ мошенниковъ.

— Да, отвѣчаетъ дядя:—это мы сами и есть.

И разсказалъ все, какъ дѣло было.

— Гдѣ же теперь эти часы?

— Извольте—вотъ одни часы, а вотъ другіе.

— И только?

Дядя пустилъ еще барашка и говоритъ:

— Вотъ это еще къ сему.

Прикрылъ и говоритъ:

— Привести сюда дьякона!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Входитъ сухощавый дьяконъ, весь избитъ и голова перевязана.

Цыганокъ на меня смотритъ и говоритъ:

— Видишь?!

Кланяюсь и говорю:

— Ваше высокоблагородіе, я все претерпѣть достоинъ, только отъ дальняго мѣста помилуйте. Я одинъ сынъ у матери.

— Да нѣтъ, ты христіанинъ или нѣтъ? Есть въ тебѣ чувство?

Я вижу этакій разговоръ несоотвѣтственный и говорю:

— Дяденька, дайте за меня барашка, вамъ дома отдадутъ.

Дядя подалъ.

— Какъ это у васъ происходило?

Дьяконъ сталъ разсказывать, что были, говоритъ, мы цѣлой компаніей въ борисоглѣбской гостиницѣ и очень все было хорошо и благородно, но потомъ гостинникъ постороннихъ слушателей подъ кровать положилъ за ма:ъ-

рычъ, а одинъ елецкій купецъ обидѣлся и вышла колотовка. Я тихо одѣлся и самъ вышелъ, но какъ обогнулъ присутственныя мѣста, вижу, впереди меня два человѣка подкарауливаютъ. Я останавлюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся; я пойду — и они идутъ. А вдругъ между тѣмъ издали слышу еще меня кто-то сзади настигаетъ... Я совсѣмъ испугался, бросился, а тѣ два обернулись ко мнѣ въ узкомъ проходѣ, между барокъ, и дорогу мнѣ загородили... А задній съ горы совсѣмъ нагоняетъ. Я поблагословился въ умѣ: Господи благослови! да пригнулся, чтобы сквозь этихъ двухъ проскочить, и проскочилъ, но они меня нагнали, съ ногъ свалили, избили и часы сорвали... Вотъ и цѣпочки обрывокъ.

— Покажите цѣпочку.

Сложилъ обрывочекъ цѣпочки съ тѣмъ, что при часахъ остался, и говоритъ:

— Это такъ и есть. Смотрите, ваши эти часы?

Дьяконъ отвѣчаетъ:

— Это самые мои, и я ихъ желаю въ-обратъ получить.

— Этого нельзя, они должны остаться до разсмотрѣнія.

— А какъ же, говоритъ, — за что я избитъ?

— А вотъ это вы у нихъ спросите.

Тутъ дядя вступился.

— Ваше высокородіе! Что же насъ спрашивать понапрасну. Это въ дѣйствительности наша вина, это мы отца дьякона били, мы и исправимся. Вѣдь мы его къ себѣ въ Елецъ беремъ.

А дьяконъ такъ обидѣлся, что совсѣмъ и не въ ту сторону.

— Нѣтъ, говоритъ, — позвольте еще, чтобы я въ Елецъ согласился. Богъ съ вами совсѣмъ: только упросили и сейчасъ же на первый случай такое надо мной обхожденіе.

Дядя говоритъ:

— Отецъ дьяконъ, да вѣдь это въ ошибкѣ все дѣло.

— Хороша ошибка, когда мнѣ шею нельзя повернуть.

— Мы тебя вылѣчимъ.

— Нѣтъ, я, говоритъ, — вашего лѣченія не хочу, меня всегда у Финогеича банщикъ лѣчитъ, а вы мнѣ заплатите тысячу рублей на отстройку дома.

— Ну и заплатимъ.

— Я вѣдь это не въ шутку; меня бить нельзя... на мнѣ санъ.

— И санъ удовлетворимъ.

И Цыганокъ тоже дядѣ помогать сталъ:

— Елецкіе, говоритъ, — купцы удовлетворятъ... Кто тамъ еще за клиномъ есть?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Вводятъ борисоглѣбскаго гостинника и Павла Миронычa. На Павлѣ Миронычѣ сюртукъ изодранъ и на гостинникѣ тоже.

— За что дрались? — спрашиваетъ Цыганокъ.

А они оба кладутъ ему по барашку на столъ и отвѣчаютъ:

— Ничего, говорятъ, — ваше высокоблагородіе не было, мы опять въ полной пріязни.

— Ну, прекрасно, если за побои не сердитесь — это ваше дѣло; а какъ же вы смѣли сдѣлать безпорядокъ въ городѣ? Зачѣмъ вы на Полѣшской площади всѣ корыты и лубья, и оглобли поваляли?

Гостинникъ говоритъ, что по нечаянности.

— Я, говоритъ, — его хотѣлъ вести ночью въ полицію, а онъ — меня; другъ дружку тянули за руки, а мясникъ Агафонъ мнѣ поддерживалъ; въ снѣгу сбились, на площадь попали — никакъ не пролѣзть... все валяться пошло... Со страху кричать начали... Обходъ взялъ... часы пропали...

— У кого?

— У меня.

Павелъ Миронычъ говоритъ:

— И у меня тоже.

— Какія же доказательства?

— Для чего же доказательства? Мы ихъ не ищемъ.

— А мясника Агафона кто подъ корыто подсунулъ?

— Этого знать не можемъ, — отвѣчаетъ гостинникъ: — не иначе какъ корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а онъ заснулъ подъ нимъ хмельной. Отпустите насъ, ваше высокоблагородіе, мы ничего не ищемъ.

— Хорошо, — говоритъ Цыганокъ: — только надо другихъ кончить. Введите сюда другого дьякона.

Пришелъ черный дьяконъ.

Цыганокъ ему говоритъ:

— Вы это зачѣмъ же ночью будку разбили?

Дьяконъ отвѣчаетъ:

— Я, говоритъ, — ваше высокоблагородіе, былъ очень испугавшись.

— Чего вы могли испугаться?

— На льду какіе-то люди стали громко «караулъ» кричать; я назадъ бросился и прошусь къ будошнику, чтобы онъ меня отъ подлѣтовъ спряталъ, а онъ гонитъ: я, говоритъ, не встану, я подметки подъ сапоги отдалъ подкинуть. Тогда я съ перепуга на дверь понаперъ, дверь сломалась. Я виноватъ — силомъ вскочилъ въ будку и заснулъ, а утромъ всталъ, смотрю: ни часовъ, ни денегъ нѣтъ.

Цыганокъ говоритъ:

— Что же, елецкіе? Видите, и этотъ дьякопъ черезъ васъ пострадалъ, и у него часы пропали.

Павелъ Миронычъ и дядя отвѣчаютъ:

— Ну, ваше высокоблагородіе, намъ надо домой сходить занять у знакомцевъ, здѣсь при насъ больше нѣту.

Такъ и вышли всѣ, а часы тамъ остались. И скоро въ этомъ во всемъ утѣшились, и много еще было смѣху и потѣхи, и напился я тогда съ ними въ первый разъ въ жизни пьянъ въ борисоглѣбской и ѣхалъ по улицѣ на извозчикѣ, платкомъ махалъ. Потомъ они денегъ въ Орлѣ заняли и уѣхали, а дьякона съ собой не увезли, потому что онъ ихъ очень забоялся. Какъ ни просили — не поѣхалъ.

— Я, говоритъ, — очень радъ, что мнѣ Господь даровалъ съ васъ за мою обиду тыщу рублей получить. Я теперь домикъ обстрою и здѣсь хорошее мѣсто у секретаря выхлопочу, а вы, елецкіе, какъ я вижу, очень дерзки.

Для меня же настало испытанье ужасное. Маменька отъ гнѣва на меня такъ занемогли, что стали близко гробу. Унылость во всемъ домѣ стала повсемѣстная. Лѣкаря Дениша не хотѣли: боялись, что онъ будетъ обо всемъ состояньи здоровья разспрашивать. Обратились къ религіи: въ дѣвичьемъ монастырѣ тогда жила мать Евникея, у которой была іорданская простыня, какъ Евникея въ Іорданѣ рѣкѣ омочилась, такъ ею потомъ отерлась. Этой простыней маменьку окрывали. Не помогло. Каждый день въ семи церквахъ съ семи крестовъ воду спускали. Не помогло. Мужикъ — леженка былъ, Есафейка, — все лежнемъ лежалъ, ничего не работалъ, — ему картузъ яблочной рѣзани по-

слали, чтобы молился. То же самое и отъ этого помощи не было. Только, наконецъ, когда онѣ вмѣстѣ съ сестрой въ Финогеевичевы бани пошли и тамъ имъ рожечница крови сколола, только тогда она чѣмъ-нибудь распоряжаться стала. Іорданскую простыню Евникѣ велѣла отдать назадъ, а себѣ стала искать взять въ домъ сиротку воспитывать.

Это свахино было наученіе. Своихъ дѣтей у нея много было, но она еще до сиротъ была очень милая — все ихъ нріучала и маменькѣ стала говорить:

— Возьми въ домъ чужое дитя изъ бѣдности. Сейчасъ все у тебя въ своемъ домѣ перемѣнится: воздухъ другой сдѣлается. Господа для воздуха разставляютъ цвѣты, конечно, худа нѣтъ; но главнос, для воздуха это, чтобъ были дѣти. Отъ нихъ который духъ идетъ и тотъ ангеловъ радуетъ, а сатана — скрежещетъ... Особенно въ Пушкарной теперь одна дѣвка: такъ она съ дитемъ бьется, что даже подъ орлицкую мельницу уже топить носила.

Маменька проговорила:

— Скажи, чтобъ не топила, а мнѣ подкинула.

Въ тотъ же день у насъ дѣвочка Маврутка и запищала, и пошла кулачокъ сосать. Маменька ею занялись и перемѣна въ нихъ началась. Стали мнѣ оказывать язвительность.

— Тебѣ, говорятъ, — къ велику-дню вѣдь обновы не надо: ты теперь пьющій, тебѣ довольно гуньку кабацкую.

Я уже все терпѣлъ дома, но и на улицу мнѣ тоже нельзя было глаза показать, потому что рядовичи какъ увидятъ, дразнятся:

— Съ дьякона часы снялъ.

Ни дома не жить, ни со двора пройтись.

Одна только сирота Маврутка мнѣ улыбалась.

Но сваха Матрена Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная.

— Хочешь, говоритъ, — молодецъ, чтобъ тебѣ голову на плечи поставить? Я такъ поставлю, что если кто надъ тобой и. смѣяться будетъ — ты и не почувствуешь.

Я говорю:

— Сдѣлайте милость, мнѣ жить противно.

— Ну, такъ ты, говоритъ, — меня одну и слушай. Поѣдемъ мы съ тобою во Мценскъ — Николѣ угоднику усердно

помолимся и ослопную свѣчу поставимъ; и женю я тебя на кралѣ написанной, съ которой ты будешь вѣкъ-вѣковать, Бога благодарить, да меня вспоминать, и сироть бѣдныхъ жаловать, потому я къ сиротамъ милосердная.

Я отвѣчаю, что я сиротъ и самъ сожалѣю, а замужъ за меня теперь которая же хорошая дѣвушка пойдетъ.

— Отчего же? Это ничего не значитъ. Она умная. Ты вѣдь не со двора вынесъ, а къ себѣ принесъ. Это надо различать. Я ей прикажу понять, такъ она все въявь поймета и очень за тебя выйдетъ. А мы съѣздимъ какъ хорошо къ Николѣ во все свое удовольствіе: лошадка въ телѣжкѣ идти будетъ съ клажею, съ самоваромъ, съ провизіей, а мы втроемъ пѣшкомъ пойдемъ по протуварчику, для угодника потрудимся: ты, да я, да она, да я себѣ для компаніи сиротку возьму. И она, моя лебедка, Алёнушка, тоже сирота сожалѣетъ. Ее со мной во Мценскъ отпускаютъ. И вы тутъ съ ней пойдете-пойдете, да сядете, а посидите-посидите, да опять по дорожкѣ пойдете, и разговоритесь, а разговоритесь да слюбитесь, и какъ вкусишь любви, такъ увидишь ты, что въ ней вся наша и жизнь, и радость, и желаніе прожить въ семейной тихости. А на всѣ людскія рѣчи тебѣ тогда будетъ плевать, да и лица не взворачивать. Такъ все добро и пойдетъ, и былая шалость забудется.

Я и отпросился у маменьки къ Николѣ, чтобы душу свою исцѣлить, а остальное все стало какъ сваха Терентьевна сказывала. Подружился я съ дѣвицей Алёнушкой и позабылъ я про всѣ про исторіи; и какъ я на ней женился и пошелъ у насъ въ домѣ дѣтскій духъ, такъ и маменька успокоилась, а я и о сю пору живу и все говорю: Благословенъ еси, Господи!

АНТУКА.

(РАЗСКАЗЪ).

«En-tout-cas»—зонтикъ на всякую погоду.
(Изъ моднаго прейсъ-куранта).

На скоромъ поѣздѣ между чешской Прагой и Вѣной я очутился vis-à-vis съ неизвѣстнымъ мнѣ славянскимъ братомъ, съ которымъ мы вступили по дорогѣ въ бесѣду. Предметомъ нашихъ сужденій былъ «нашъ вѣкъ и современный человѣкъ». И я, и мой собесѣдникъ находили много страннаго и въ вѣкѣ, и въ человѣкѣ; но чтобы не впадать въ отчаяніе, я привелъ на память слово Льва Толстого и сказалъ:

— Образуется!

Собесѣдникъ понялъ значеніе этого слова и продолжалъ:

— Это вѣрно; но только *что* образуется-то! Было преобладающее впечатлѣніе свирѣпства, злости, бездушія или слабости и распущенности, и все-таки можно было предвидѣть, какъ жизнь перетолчетъ это въ своей ступѣ и что изъ этого образуется. А теперь преобладаетъ во всемъ какой-то фасонъ «антука»—что-то готовое на всякій случай и годное для всякой погоды: отъ дождя и отъ солнца. Меня поражаетъ эта удивительная приспособительность, которую я замѣчаю во всѣхъ слояхъ общества и повсюду. Недѣля тому назадъ какъ я видѣлъ такой экземпляръ въ этомъ родѣ, что прямо въ печать просится.

Я его попросилъ разсказать, и онъ мнѣ разсказалъ слѣдующее.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Недавно мнѣ привелось побывать въ соляныхъ копяхъ въ Галиціи. Оттуда, когда выйдешь на землю, представляются два мѣста для отдыха и подкрѣпленія: можно идти позавтракать при буфетѣ на желѣзнодорожной станціи, а можно то же самое сдѣлать и въ ближайшей «старой корчмѣ». Въ корчмѣ укромнѣе, проще и теплѣе, чѣмъ на станціи. Здѣсь въ сырое время можно и обсушиться, и обогрѣться, потому что тутъ есть огромный кирпичный каминъ, и чуть холодновато — всегда тлѣетъ толстый обрубокъ дерева, а вокруга него весело потрескиваетъ и издаетъ здоровый, смолистый запахъ зеленый вересковъ.

Тамъ, на «бангофѣ»—Европа, а здѣсь, въ корчмѣ—еще «stara Polska».

Я бываю въ той мѣстности раза два въ годъ и знаю тамошнюю корчму много лѣтъ назадъ. Когда тутъ не было желѣзнодорожнаго «бангофа», корчма была единственнымъ пріютомъ для путниковъ, а теперь она занимаетъ второе мѣсто, но я ей все-таки вѣренъ.

Лѣта мало измѣнили корчму. Тотъ же низенькій, старопольскій фасадъ и тотъ же грязноватый ходъ черезъ сѣни съ вытоптаннымъ кирпичнымъ поломъ, большая зала съ нависшимъ потолкомъ и съ тяжелыми столами, покрытыми не совсѣмъ чистыми ширинками грубой ткани. Въ огромномъ каминѣ и теперь пылаетъ огонь, въ сторонѣ перегородка, и въ ней квадратное оконце, за которымъ находится главное мѣсто хозяина. Передъ оконцемъ полка и на ней неизысканная выставка закусокъ: жареный гусь, обложенный кисло-сладкой капустой; бигосъ изъ колбасъ и капусты; зразы съ кашей, съ хлѣбомъ и капустой; капустнякъ съ фаршемъ; жареная серна и мелкая дичь, прошпигованная саломъ, и, вдобавокъ, щука по-жидовски съ шафраномъ. Въ графинахъ водка, наливки разныхъ цвѣтовъ, боченокъ съ пивомъ и нашъ добрый красный гольдекъ въ полубутылкахъ. Впрочемъ, надъ прилавкомъ есть надпись, что здѣсь еще можно имѣть старый медъ, и тутъ же иллюстрированный прейсъ-курантъ, въ которомъ значится нѣсколько названій венгерскихъ винъ, между которыми подчеркнутъ «маслачь». Патронъ большой краковской корчмы это вино особенно рекомендуетъ.

Но самое замѣчательное здѣсь собственно въ самомъ патронѣ, и съ него начинается дѣло. И корчма, и медъ, и бигосъ—это все стараго типа, а въ патронѣ есть обновленіе во вкусѣ «антука». Нынѣшній патронъ здѣсь съ прошлаго года и онъ мнѣ не знакомъ, но предмѣстникъ его внушалъ мнѣ большія симпатіи. Это былъ пожилой, сухощавый и очень медлительный въ своихъ движеніяхъ полякъ. Его звали панъ Игнацій. Онъ былъ человѣкъ задумчивый, точно онъ несъ на себѣ судьбы міра и по дорогѣ зашелъ въ корчму, присѣлъ у прилавка, пригорюнился и началъ хозяйствовать, но совсѣмъ безъ удовольствія, такъ какъ это не его дѣло. Въ такомъ грустномъ, но благородномъ настроеніи онъ здѣсь состарѣлся и умеръ, все размышляя о Польшѣ и о «ракушанскихъ швабахъ». Теперь вмѣсто почтеннаго Игнація за буфетомъ не сидитъ, а мотается новый арендаторъ — человѣкъ болѣе молодой и несравненно болѣе подвижный, даже черезчуръ подвижный и говорливый. Зовутъ его панъ Морицъ или «геръ Морицъ»,—кому какъ угодно,—онъ на все откликается. (Игнацій никогда на «гера» не откликался).

Между паномъ Игнаціемъ и Морицемъ во всемъ огромная и страшная разница: они и по характеру, и по темпераменту, и по воспитанію совсѣмъ разные типы.

Игнацій представлялъ изъ себя нѣчто поэтическое и вдохновительное, — особенно для нашего брата-славянина: это былъ матерой, чистокровный полякъ,—«шляхтичъ на огородѣ равный воеводѣ». Онъ ходилъ въ темной чемаркѣ изъ довольно грубаго, но зато настоящаго, «хозяйственнаго», польскаго сукна, въ панталонахъ, заправленныхъ въ сапоги, которые называются «бутами», и въ поясѣ съ бляхой. Лицо онъ имѣлъ красивое, смуглое, съ таинственнымъ и мрачнымъ выраженіемъ. Высокій лобъ его осѣнялъ высокій же съ просѣдью черный чубъ, а надъ устами его простирались огромные черные съ просѣдью усы. Въ глубокихъ карихъ глазахъ Игнація жила какая-то поэтическая, съ нимъ навѣки умершая тайна. Онъ мнѣ очень нравился, и я остаюсь въ томъ убѣжденіи, что снѣдавшая его тайна была въ своемъ родѣ что-то благородное и грустное.

Теперешній принципалъ корчмы, панъ Морицъ, съ перваго взгляда производитъ совсѣмъ иное, какъ будто легкомысленное впечатлѣніе. Онъ средняго роста, проворенъ,

вертлявъ, съ тонкими чертами лица, голубыми глазами и точно выточеннымъ тонкимъ носомъ, на которомъ у него ловко сидитъ маленькое стальное pince-nez безъ шнурка. Въ лицѣ и фигурѣ Морица не отпечатлѣлся никакой національный типъ. Онъ съ одинаковымъ удобствомъ можетъ быть принятъ за поляка, какъ и за чеха или за вѣнскаго нѣмца. Повидимому, національность даже нимало и не занимаетъ Морица: онъ даже, можетъ-быть, нарочно устроилъ себѣ такой туалетъ, чтобы въ немъ не было никакой цѣльности. Онъ весь человѣкъ сборный. Во-первыхъ, у него на головѣ, покрытой густыми русыми волосами, красуется французская бархатная ермолка, расшитая шелками и бисеромъ (бархатъ довольно просаленъ, а шитье мѣстами осыпалось), потомъ pince-nez въ дрянной стальной оправѣ, надѣтое безъ шнурочка. Это pince-nez у него соскакиваетъ съ переносицы отъ одного движенія бровями и всегда непремѣнно падаетъ къ нему прямо въ руки. Потомъ на Морицѣ сѣрая пражская куртка съ зелеными выпушками и съ пуговицами неполированнаго оленьяго рога, а подъ нею поддѣтъ длинный коричневый жилетъ, сшитый камзоломъ, въ стилѣ Фридриха II. Изъ кармана свѣшивается часовая цѣпочка изъ фальшиваго золота и торчатъ два огромные желѣзные ключа.

Нижній этажъ фигуры Морица напоминаетъ танцмейстера. На немъ легонькія панталонцы изъ самаго тонкаго свѣтленькаго трико, а изъ-подъ нихъ внизу видны красные шерстяные носки и туфли изъ моржовой кожи шерстью наверхъ.

Что содержится на умѣ у Морица и какое у него прошлое—это на его лицѣ ничѣмъ не выражено.

Морицъ говоритъ съ одинаковою бойкостью и свободою какъ по-польски, такъ и по-нѣмецки, и притомъ не выказываетъ ни къ одному изъ этихъ языковъ никакого предпочтенія. Повидимому, ему то и другое совершенно все равно. Съ удовольствіемъ и улыбкою онъ только произноситъ нѣкоторыя фразы по-французски.

Фразы эти Морицъ, по собственной его откровенности, усвоилъ въ Парижѣ, гдѣ онъ побывалъ, состоя барабанщикомъ при одномъ изъ «побѣдоносныхъ региментовъ», повергшихъ Францію въ лапы прусскаго орла, черезъ «неожиданный оборотъ милостію Божіей».

Мориц—познанскій полякъ; онъ затесался къ австріякамъ какъ-то случайно, а можетъ быть и умышленно — тоже, чтобы сдѣлать «оборотъ милостію Божіею».

Человѣкъ, одаренный особенно счастливо проницательностью и внимательно всматриваясь въ его лицо, можетъ-быть, подумалъ бы, что Мориц изрядный плутъ, способный вести довольно сложную и отвѣтственную игру, но въ немъ тоже бездна болтливости и легкомыслія, съ которыми плутни вести неудобно. Прежній задумчивый патріотъ Игнацій непремѣнно вспоминается и въ сравненіи съ Морицомъ представляетъ какое-то поэтическое олицетвореніе «оныхъ минувшихъ рыцарскихъ вѣковъ». Мориц — выжига, но зато онъ ни надъ чѣмъ не задумается и нигдѣ не потеряется.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Когда я взошелъ въ корчму, въ ней было всего только три человѣка: охотникъ съ ружьемъ, сидѣвшій въ углу за газетой и за кружкой пива, да очень старый еврей въ шелковомъ капотѣ. Этотъ помѣщался у маленькаго столика, на которомъ передъ нимъ стояла горячая вода, маленькій флакончикъ гольдека и корзинка съ поджареннымъ бѣлымъ хлѣбомъ. Онъ представлялъ изъ себя застывающую жизнь и отогрѣвался теплымъ виномъ съ водою. Въ окнѣ стоялъ и въ упоръ смотрѣлъ на меня въ pince-nez панъ Мориц. Онъ стоялъ неподвижно всего одну минуту, но зато такъ стойко, какъ будто это былъ портретъ, вставленный въ раму.

Я сейчасъ же замѣтилъ, что имѣю дѣло съ человѣкомъ новаго духа.

Игнацій никогда не находился въ такой бойкой и проницающей позиціи. Тотъ, бывало, всегда сидѣлъ на особливомъ этаблисманѣ, обитомъ черною кожею, и ни за что не обезпокоивалъ себя, чтобы смотрѣть на входящаго посѣтителя и опредѣлять себѣ, коего духа входящій? Это было бы слишкомъ много чести для всякаго. Игнацій держалъ свою задумчивую голову опустивъ лицо на грудь, или положивъ щеку на руку.

Входящій гость—кто бы онъ ни былъ, все равно, чортъ его возьми,—самъ прежде долженъ былъ сказать Игнацію первое привѣтствіе, и только тогда онъ могъ ожидать къ

себѣ отвѣтнаго вниманія. Но теперь, едва я переступилъ порогъ, какъ Мориць уже залепеталъ мнѣ навстрѣчу:

— Бонжуръ мосье! Мете ву пласъ!

И главное: «мете!» Отъ кого онъ это слышалъ въ Парижѣ? Вѣрно это ему такъ перешибло за барабаннымъ боемъ.

Но еще я не собрался ему ни слова отвѣтить, какъ онъ уже дальше зачастилъ:

— Комантъ са ва? Кѣ дезире ву?

Съ этимъ онъ выскочилъ изъ-за перегородки, шаркнулъ своими туфлями и, подвинувъ мнѣ стулъ къ одному изъ столовъ, проговорилъ:

— Асеѣ ву. Ну замонъ кельке шозъ а вотръ сервизъ.

Вмѣсто отвѣта я вручилъ ему карточку моего краковскаго знакомца, которымъ былъ сюда адресованъ и котораго я долженъ былъ здѣсь дожидаться.

Мориць взглянулъ, сказалъ: «тре бьенъ» и сдѣлалъ такое движеніе бровями, отъ котораго пенснэ спало и моментально прямо съ носа слетѣло въ открытую лѣвую руку. И замѣчательная вещь: какъ пенснэ соскочило съ лица Мориця, такъ словно спалъ съ него и весь его прежній пельмоватый видъ; онъ точно нашелъ, что меня не стоитъ разсматривать съ особенно серьезной точки зрѣнія, и началъ поналивать: во-первыхъ, онъ сразу упростился въ выраженіи и заговорилъ по-польски.

— Чѣмъ же смѣю потчивать, пока придетъ нашъ пріятель? Есть у меня, пане доброздѣю, гусь, и самый прекрасный гусь, кормленый чистымъ хлѣбомъ. Въ буфетъ на бангофъ беруть гусей у мазуровъ, но я не беру. Важныхъ пановъ, которые кушаютъ на бангофѣ, можно начинять чѣмъ угодно, лишь бы былъ соусъ съ каэнной, но у меня собирается почтенная шляхта, — люди хозяйственные, которые знаютъ, что такое мазурская домашняя птица. Ихъ гуси, откровенно сказать, всегда пахнутъ травою. Есть утка свѣтская и утка дикая. Дикая—свѣжохонькая, вчера только застрѣленная, и самъ стрѣлокъ здѣсь налицо: вотъ онъ, панъ Целестинъ, который читаетъ газеты и проникаетъ во всѣ тайныя соображенія Бисмарка. Я ни у кого не покупаю утокъ, кромѣ пана Целестина. Есть также бигосъ съ капустою до услугъ панскихъ; есть зразы, есть воловья печень, или, чѣмъ уже могу похвалиться я, есть добрая полендвица; но есть также и шинка, — настоящая польская, а не нѣ-

мелкая рыбка—и жидовскій щукакъ съ шафраномъ... Что? Какъ вамъ это нравится? Щукакъ отлично приготовленъ. Знаете—щука въ своей кожѣ. Я вамъ особенно рекомендую эту штуку. Вотъ реби Фола,—израэлитъ, а и онъ сейчасъ бы скушалъ при благословеніи Божіемъ, но не смѣетъ, потому что боится своихъ почтенѣйшихъ израэлитовъ. Онъ еще наблюдаетъ «конгеръ»

Старый еврей, услыхавъ свое имя, посмотрѣлъ и глухо повторилъ:

— Конгеръ.

— Кожа съ этой щуки снята безъ одной дырочки, какъ чулокъ съ ножки красивой паненки, и вы лучшей щуки не найдете даже въ самой чешской Прагѣ на жидовскомъ базарѣ.

Я попросилъ дать мнѣ кусочекъ жареной дичи.

Моріцъ одобрилъ.

— Да, — сказалъ онъ. — Это я понимаю! Я говорю насчетъ дичи. Щука и вообще всякая рыба — это тоже хорошо, но не то... Отъ рыбы всегда есть что-то... отдастъ сыростью; но черная, легкая дичь благородна, и притомъ она легко варится въ желудкѣ. А я вамъ услужу такою дичью, какой вы, можетъ-быть, еще и не ѣдали, да даже и навѣрно не ѣдали. Если только вы не бывали въ забранномъ краѣ за Гродномъ, въ Бѣловѣжской пущѣ, то и не могли ѣсть. Дичь для меня стрѣляетъ Целестинъ,—человѣкъ съ философскимъ настроеніемъ и добрый патріотъ. Это чего-нибудь стоитъ.

Моріцъ пересыпалъ все это скоро, словно дробь на барабанѣ, и, повернувшись на каблучкѣ, опять очутился на своемъ мѣстѣ, въ окнѣ за перегородкою. Тутъ онъ постучалъ черенкомъ ножа по выставочной доскѣ и на этотъ знакъ за его спиною тотчасъ же, какъ изъ земли, выросли молодой чумазый хлопецъ въ куртки и баба въ очипкѣ.

Моріцъ мановеніемъ чела отослалъ бабу назадъ, откуда она пришла, а хлопцу велѣлъ подать мнѣ приборъ и порцію дичины.

Дичина оказалась сухою и безвкусною.

Моріцъ это замѣтилъ и посовѣтовалъ мнѣ смочить ее гольдекомъ, что я и принялъ къ исполненію.

Вино оказалось нѣсколько лучше кушанья и послужило темою для разговора о разныхъ винахъ: рейнскихъ, венгерскихъ и французскихъ.

Мориц имѣлъ обо всемъ этомъ достаточныя понятія и особенно одобрялъ французскія вина, которыхъ онъ, по его словамъ, выпилъ «чертовски много».

Мориц сказалъ мнѣ, что тотъ, кого я ожидаю, придетъ черезъ часъ и я еще успѣю у него отдохнуть и хорошенько пообѣдать, причемъ обѣщалъ дать мнѣ отличный борщъ съ уткой «изъ двѣнадцати элементовъ». Такое обиліе «элементовъ» меня удивило; Мориц, чтобы убѣдить меня, началъ было ихъ перечислять, какъ вдругъ былъ прерванъ раздавшимся изъ-подъ стола неожиданнымъ и злобнымъ рычаніемъ охотничьей собаки.

Мориц сейчасъ же обратилъ на это вниманіе и проговорилъ:

— Ага! Это ничего... Это идетъ нашъ панъ бель-басъ! Бутько всегда его удивительно слышитъ.

Въ отвѣтъ на это охотникъ молча кивнулъ головою и толкнулъ ногою свою собаку.

— Вы, панъ Целестинъ, напрасно съ Бутько взыскиваете,—замѣтилъ Мориц.—Бутько добрый и даже почтенный песъ: повѣрьте, что онъ знаетъ, какой духъ въ человѣкѣ.—И, обратившись ко мнѣ, добавилъ:—Собака никогда не смѣшаетъ честнаго человѣка съ мерзавцемъ, и вотъ этотъ Бутько ни за что не пропуститъ, чтобы не зарычать на пана Гонората.

— А кто это панъ Гонората?

— А это... вотъ вы его сейчасъ увидите: шельма ужасная, но преинтересный собесѣдникъ. Я его умѣю заводить и сейчасъ заведу.

— Еще что!—пробурчалъ Целестинъ.

— Нѣтъ, отчего же... Правда, что онъ, шельма, вретъ часто...

— Не часто, а всегда.

— Эхъ, пане Целестинъ, да гдѣ нынче взять людей, которые не врутъ! А въ компаніи Гонората—соловей, у него есть анекдотъ на всякій случай и... знаете... иногда есть любопытное и поучительное.

— Чтобы чортъ побралъ его душу, — тихо прошипѣлъ Целестинъ и снова углубился въ газеты.

Въ сѣняхъ послышались тяжелые шаги и раздался сильный толчокъ въ дверь.

Отворявшаяся внутрь дверь широко распахнулась и въ просвѣтѣ ея, какъ въ рамѣ, показалась интересная фигура.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пришедшій былъ тучный человѣкъ среднихъ лѣтъ съ коротко остриженною красно-рыжею головою и съ совершенно краснымъ лицомъ, на которомъ виднѣе всего выступалъ большой выпуклый лобъ съ сильно развитыми глазными пазухами. Вся физіономія гостя была круглая, носъ картошкой, пухлыя чувственныя губы и крошечные сѣрые глазки съ веселымъ, задорнымъ и въ одно и то же время глуповатымъ, но хитрымъ выраженіемъ. Незнакомецъ былъ одѣтъ въ красивое и очень удобное форменное платье, состоявшее изъ коричневой суконной блузы, подпоясанной кожанымъ поясомъ съ бляхою; на головѣ высокая тирольская шляпа съ чернымъ перомъ. За плечами у него была винтовка, а въ лѣвомъ ухѣ серьга съ бирюзою. Серьга сидѣла точно заклепка и бросалась въ глаза съ перваго взгляда.

Словомъ, по лицу и по всѣмъ пріемамъ это былъ Фальстафъ, а по мундиру—австрійскій жандармъ.

Для довершенія сходства съ Фальстафомъ, онъ былъ въ веселомъ расположеніи духа и сразу началъ шутки. Онъ не переступалъ порога, а, отворивъ дверь, остановился, заложа руки за поясъ, и покатился со смѣху, показывая глазами на охотника.

Морицу не нравилось, что въ открытыя двери уходитъ тепло, и онъ просилъ жандарма войти.

— Просимъ, просимъ васъ, пане капитане, пожалуйте, не студите бѣдной шляхетской хаты.

Жандармъ принималъ величаніе, но продолжалъ смѣяться, глядя на охотника.

Морицъ вспыхнулъ.

— Входите сейчасъ въ комнату, почтенный капитанъ, или я выйду и захлопну мою дверь передъ самымъ вашимъ высокопочтеннымъ краснымъ носомъ.

— А ты, высокопочтенный прусскій барабанщикъ, если боишься замерзнуть, то все-таки постарайся говорить съ уваженіемъ о моемъ носѣ, — отвѣчалъ хриплымъ голосомъ жандармъ.—Я остановился и стою потому, что хочу издали налюбоваться великимъ дипломатомъ, нашимъ тонкимъ политикомъ, паномъ Целестиномъ, котораго я видѣлъ сегодня на зарѣ, какъ онъ сидѣлъ, глядя на конецъ королевы Боны.

— Чортъ возьми вашу милость, вы все отлично видите,

но вы можете налюбоваться паномъ Целестиномъ подойдя къ нему ближе!—воскликнулъ Морицъ и въ одно мгновеніе выскочилъ изъ-за своей перегородки, впихнулъ жандарма въ корчму и заперъ за нимъ дверь, а потомъ, оборотясь ко мнѣ, возгласилъ комически важнымъ тономъ:—Имѣю честь представить вамъ, мосье, высокопочтеннаго пана Гонората. Самый храбрый воякa и добрый товарищъ за бутылкою чужого вина; до сихъ поръ чиномъ не вышелъ, но первый кандидатъ въ капитаны жандармеріи его пресвѣтлаго величества нашего наисвѣтлѣйшаго цезаря.

— Болтай, болтай, прусскій барабанщикъ и первый кандидатъ на висѣлицу,—отпутился Гонорать и, снявъ съ себя перевязь и винтовку, началъ располагаться въ креслѣ передъ каминомъ.

Усѣвшись, онъ вытянулъ къ огню ноги и сейчасъ же задалъ насмѣшливый вопросъ Целестину: что пишутъ про политику и что думаетъ Бисмаркъ въ Берлинѣ и генералъ Милорадовичъ въ Петербургѣ?

Охотникъ сдѣлалъ гримасу и сквозь зубы отвѣтилъ, что онъ на умѣ у Бисмарка не бывалъ, а Милорадовича никакого не знаетъ.

— Какъ же не знаешь?.. Милорадовичъ—русскій фельдмаршалъ?

— Нѣтъ такого фельдмаршала.

— Ну, Суворовъ!

— Перестаньте говорить глупости. Нѣтъ Суворова.

— Кто же у нихъ вмѣсто Суворова?

Целестинъ не отвѣчалъ, а Морицъ замѣтилъ:

— Вамъ, какъ жандарму, стыдно не знать, кто вмѣсто Суворова.

— Ага! И ты опять меня хочешь стыдить! Лучше молчи!

— Передъ вами?

— Да, именно передо мною.

Морицъ сдѣлалъ презрительную гримасу.

— Ага!

— Я васъ не боюсь, господинъ капитанъ.

— А не хочешь ли ты, я тебѣ разскажу кое-что постыднѣе, чѣмъ не знать про Суворова?

— Очень радъ послушать, что вы соврете.

— Совру! Нѣтъ, мой милѣйшій! Я не совру: ты увидишь, что твои укоризны напрасны, и что я, какъ жандармъ, кое-что знаю.

Мориц приложил руки к виску и субординационно ответил:

— Извините, господин капитан!

— То-то и есть, приятель! Я знаю даже очень незначительный мелочи, и если хочешь, я сейчас же представлю тебе на это доказательство.

— Очень желаю! Как же... очень желаю, господин капитан.

— Третьяго дня, вот в такой же счастливый час свободы между двумя дорожными поездами, я пошел в проходку, и когда проходил мимо дома одного здешняго обывателя, то, как ты думаешь, на что я наткнулся?

— Чорт вас знает, на что вы наткнулись.

— Я увидал, как его сынишка резал звездочками морковь для супа и пел преглупую песенку: «Нашь шановный банъ налилъ воды въ жбанъ». Ты знаешь эту песенку?

— Не знаю, но слыхал.

— Да; но ведь это у тебя, если не ошибаюсь, третьяго дня в супе плавали морковныя звездочки?

— Вы все знаете и ни в чем не ошибаетесь, капитане.

— Так, мой милый Мориц, я все знаю, а за то, что ты знаешь, что я все знаю,—я советую тебе сейчас же пойти в свои комнаты и хорошенько выпороть твоего Яську.

— О, капитане, я это уже сделал.

— Вот это прекрасно! Теперь ты можешь надеяться, что это будет известно в Вене.

Мориц щелкнул туфлями и поклонился.

— И что же?.. Ты, надеюсь, стегал и причитывал, и может-быть добился от Яськи: кто его этой песне выучил?

— Узнал все, как на ладонке.

— Кто же его научил?

— Ваш Стаська, мой добрый капитан.

Гонорат оборотился в сторону Морица, посмотрел на него и, расхохотавшись, воскликнул:

— Ты шельма!

— Покорно вас благодарю.

— Нет, ей-Богу!.. Ты, мой любезный Мориц, не обижайся... Я тебе это откровенно говорю, что ты шельма! И ты знаешь...

— Что еще позволите знать, капитане?

— Ты, конечно, знаешь, что «шельма» это не значит то, что... шельма, а это значит, что ты *молодец*.

— О, я молодецъ! Мнѣ это еще раньше васъ говорили, капитане.

— Я тебя за это такъ и люблю. Я не люблю рохлей.

— Фуй! И я ихъ терпѣть не могу, пане капитане.

— Я больше всего уважаю въ человѣкѣ находчивость, чтобы человѣкъ всегда и вездѣ былъ уменъ и находчивъ. И я для находчиваго человѣка все готовъ сдѣлать.

— Но случалось ли такъ, чтобы вы что-нибудь для кого-нибудь дѣлывали?

— А ты развѣ въ этомъ сомнѣваешься?

— Признаюсь вамъ, что даже вовсе не вѣрю.

— Онъ не вѣритъ! Ахъ ты, прусскій барабанщикъ! Да! Я дѣлалъ, и много, Мориць, дѣлалъ. Въ моей жизни бывали самые ужасные, такіе ужасные случаи, когда ты бы навѣрное совсѣмъ не сумѣлъ найтись, а я нашелся.

— Ей-Богу не знаю, какъ вамъ и сказать, высокомощный капитане, вы знаете, что всѣмъ любопытно и прелюбопытно васъ слушать.

— Я тебѣ, пожалуй, и разскажу одну исторію. Это страшно, но зато это совершенно справедливо, а ты, вѣдь, любишь въ страшномъ родѣ?

— Какъ вамъ сказать?—молвилъ Мориць и сдѣлалъ гримасу:—я люблю и страшное, но...

— Говори откровенно.

— Больше я люблю *гемютлихъ!*

— Ахъ, гемютлихъ! Ну, тутъ будетъ и гемютлихъ.

— Вмѣстѣ?

— Да,—и страшное, и гемютлихъ.

— Клянусь, что это что-нибудь изъ вашей повстанской службы.

— Непремѣнно такъ! Ты отгадалъ! Но ты мнѣ за это прежде вспѣнишь большую кружку пива и велишь подать кусокъ брынзы.

— Съ восторгомъ, мой капитане!

Кружка съ пивомъ была подана, и Мориць объявилъ:

— Господа! вниманье! Панъ Гонорать будетъ разсказывать страшное пополамъ съ гемютлихъ. Онъ всегда такъ откровененъ, что даже за это помилованъ: грѣхи его прощены, но онъ много видѣлъ страшнаго... Да-съ, онъ даже самъ вѣшалъ людей своими собственными руками.

— Да; я вѣшалъ людей, — отвѣчалъ Гонорать: — и вотъ

объ этомъ-то самомъ я и буду разсказывать, потому что при этомъ и съ ихъ стороны, и съ нашей было выказано много ума.

— А всего больше, я думаю, подлости, — прошипѣлъ Целестинъ.

— Морицъ! Попроси этого господина замолчать.

— Помолчите, Целестинъ! Что вамъ за охота все сокрушаться о подлостяхъ! У Гонората, навѣрно, есть очень занимательная исторія, а ваши газеты, по правдѣ сказать, очень скучны.

— Скучны!

Целестинъ махнулъ головою и уткнулъ носъ въ газету,— дескать: «Пусть вретъ, я не буду слушать».

И вотъ наступило не то вранье, не то правда,—какъ хотите, такъ и думайте.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Гонoратъ началъ съ того, какъ онъ былъ въ повстаньѣ, въ отдѣлѣ у какого-то пана Цезарія, и очень его хвалилъ. Молодой, говоритъ, былъ вояка, но страсть какой храбрый. Учился воевать по-настоящему въ Парижѣ, у французовъ въ академіи, и могъ всякаго побѣдить по всѣмъ правиламъ; но безъ правилъ сражаться не могъ и потому у насъ не годился. Разныя вещи съ собой привезъ въ чемоданѣ: и бусоли, и планы, и даже молоденькаго адъютанта французской природы, а только все это не пошло впрокъ. Всѣ эти вещи адъютантъ растерялъ, и самъ заболѣлъ, потому что совсѣмъ былъ слабый, какъ барышня, даже и груденка впередъ коробочкомъ выперлась, будто какъ зобъ у птички. Говорили, что это такъ и есть, — что это барышня-француженка. Онъ все съ ней сидѣлъ и ѣлъ курку съ масломъ въ палаткѣ, а всѣмъ провіантъ отпускалъ ксендзъ Флоріанъ. И стали они оба въ лицѣ мѣняться: Цезарій сталъ отходить, а ксендзъ Флоріанъ усилился. Началась деморализація... Ты, барабанщикъ, понимаешь, что называется деморализаціей?

— Понимаю, капитане; только у насъ въ Пруссахъ ея не было.

— Ты правъ, у васъ не было. У васъ вѣдь гороховой колбасой кормили, — и то не жирно. А мы тогда сначала пришли съ охоты, и стали скучать, что Цезарій въ палаткѣ цѣлуется, и многіе тоже начали подумывать: какъ бы

и себѣ улизнуть домой, да тоже бы курку съ масломъ ѣсть, да цѣловаться.

Ксендзъ Флоріанъ это замѣтилъ и говоритъ:

— Я долженъ командовать отрядомъ, а не Цезарій.

Ему говорятъ:

— Цезарій отъ высшей власти назначенъ.

А ксендзъ Флоріанъ отвѣчаетъ:

— Это ничего не мѣшаетъ: его высшая власть назначила, а я видѣлъ Остробрамскую Божію Матерь, она мнѣ приказываетъ. Соберитесь-ка, говоритъ, — всѣ на берегъ рѣки, когда солнце сядетъ, и вы сами увидите за рѣкою, какъ она меня благословляетъ. Со мною непремѣнно будетъ побѣда. Только, чтобы видѣть это, вы должны весь этотъ день попоститься и съ утра ничего не ѣсть.

И приказалъ намъ ничего не давать.

Мы говоримъ:

— Хоть хлѣба!

— Нѣтъ, говоритъ, — ничего не надо: чтобы чудесное увидать надо быть совсѣмъ не ѣвши.

Мы очень проголодались и собрались, чуть стало смеркаться. Стоимъ и смотримъ за рѣку, а Флоріанъ пришолъ послѣ насъ и сѣлъ на скамейку.

Спрашиваетъ:

— Что, хлопцы, видите?

Мы отвѣчаемъ:

— Нѣтъ, отче, ничего не видимъ.

— Какъ ничего не видите!—А туманъ?

— Только и видимъ одинъ туманъ.

— А въ туманѣ Матерь Божія въ огненномъ сіяніи вся свѣтится и васъ благословляетъ. Видите?

— Нѣтъ, не видимъ.

— Ну, такъ это оттого, что вы еще со вчерашнаго дня очень наѣвшись. Вы недостойны. Не ѣшьте еще сегодня на ночь и завтра не ѣшьте до вечера, тогда вы увидите, а теперь ступайте спать—вы недостойны.

Не велѣлъ опять давать никому ни водки, ни хлѣба и прогналъ спать; а на другой день опять привелъ на берегъ и спрашиваетъ:

— Видите?

Мы то же самое ничего не видѣли, и такъ и отвѣчали.

А онъ говоритъ:

— Ну, такъ еще одинъ день не пьите, тогда увидите.

Тутъ между нами одинъ мазуръ нашелся и говоритъ:

— Позвольте-ка, отче, позвольте минуточку: я какъ будто начинаю что-то замѣчать...

— Ага! говоритъ,—это хорошо: всматривайся, всматривайся и говори, что ты замѣчаешь?

— Мнѣ въ туманѣ, дѣйствительно... какъ будто огонекъ показывается.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Смотри еще пристальнѣе! Все въ одну точку смотри, да читай въ умѣ молитву, непремѣнно больше увидишь!—А вы, капелланы, собирайтесь разводить здѣсь огонекъ подъ котломъ: нынче, кажется, вамъ Матерь Божія покажется, и вы будете ѣсть лозанки съ сыромъ.

Тотъ, который началъ видѣть, какъ услыхалъ это, такъ и вскрикнулъ:

— Вотъ, вотъ, въ самомъ дѣлѣ: какъ я сталъ читать молитву, такъ и вижу Божію Матерь!

Ксендзъ отвѣчаетъ:

— Ну, если ты ее видишь, то ты уже можешь ужинать.

Тутъ и всѣ увидали.

Флоріанъ говоритъ:

— Вотъ и молодцы, — только это и надо, чтобы вы всѣ были удостоены. Теперь присягните передъ крестомъ, что видѣли. Ходить далеко не нужно: кресть со мною, присягайте сейчасъ и пойдете пить водку и ужинать.

Мы всѣ присягнули и другъ-другу больше ничего не сказали; а Флоріанъ сказалъ Цезарію: «уѣзжай за границу съ своимъ адъютантомъ», а самъ сталъ командовать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

При Флоріанѣ сразу пошло совсѣмъ другое дѣло. Флоріанъ былъ не то, что Цезарій. Въ Парижѣ не учился, а былъ молодчина: онъ весь свой вѣкъ все пилъ въ капелицѣ да домъ сливы мариновалъ съ экономкою, а однако зналъ всѣ тропинки въ поляхъ и всѣ лѣсные входы и выходы. Онъ какъ утвердился, такъ сейчасъ и объявилъ, что я, говоритъ, никому не дамъ спуску,—и чужого, и своего сейчасъ повѣшу.

— Я, говоритъ,—по глазамъ умѣю читать: кто въ лицѣ станетъ извиваться — значитъ собирается удрать домой курку съ масломъ ѣсть,—и его сейчасъ и повѣшу.

Мы всѣ его стали бояться. Скажетъ: «вижу въ твоихъ глазахъ, ты въ лицѣ мѣняешься» — и повѣситъ. Стали всѣ притворяться какъ можно больше веселыми.

Но напала на насъ на всѣхъ робость. Какъ встанемъ, пойдемъ къ ручейку умываться и смотримся: не мѣняемся ли въ лицѣ. Помилуй Богъ мѣняешься—сейчасъ повѣситъ. И всѣ мы какъ другъ на друга взглянемъ—кажется, какъ будто всѣ въ лицахъ перемѣняемся, потому что боимся Флоріана до смерти, и надо, чтобы онъ этого въ глазахъ не прочиталъ. А онъ читаетъ. Многіе стали въ умѣ мѣшаться и путаться. Былъ у насъ мой крестовый братъ мазуръ, Якубъ, преогромный, а между тѣмъ началъ плакать. Безъ всякой причины стоитъ и плачетъ. Ему говорятъ: «Смотри, скучать нельзя!» Онъ говоритъ: «Я не скучаю, я даже теперь очень веселъ, а только я про жалостное вспомнилъ».—«Что же такое жалостное?»—«А вотъ, говоритъ, когда я дома поросятъ стерегъ, такъ у одной свиньи было двадцать поросятъ, а какъ одного изъ нихъ закололи, такъ всѣ его остальные коллежки захрюкали». И опять плачетъ, а на Якуба глядючи, молоденькій еврей, панычъ Гершко, который за наше дѣло воевать присталъ, также сталъ плакать.

— О чемъ? говоримъ.—Ну, Якубъ вспомнилъ про поросячьихъ коллегъ, а тебѣ что такое? У васъ свинины не ѣдятъ и жалѣть не о чемъ.

А онъ отвѣчаетъ:

— Мнѣ, говоритъ,—что такое поросяты... тьфу! Я даже таты и мамы не жалѣю, а слезы у меня такъ... я не знаю отчего... Можетъ-быть, отъ вѣтра льются.

— Смотри, молъ,—отворачивайся, подъ вѣтерокъ становись, а то Флоріанъ въ глазахъ прочитаетъ и вразъ повѣситъ.

Всѣ лежимъ кучкою у угольковъ, картофель печемъ и тихонько объ этомъ разговариваемъ, а сами думаемъ: вотъ только чтобы объ этомъ Флоріанъ не узналъ! Да какъ ему узнать! Его вѣдь здѣсь нѣтъ, онъ не услышитъ, о чемъ мы говорили. А кто-то напомнилъ: «А вѣдь онъ, говоритъ, завтра по глазамъ можетъ прочесть». Тьфу ты, чортъ возьми, положеніе! Всѣ и стали сокрываться, — кто полой голову накроетъ, будто спитъ, кто подъ фурманку отползетъ и тоже будто заснетъ, а другимъ и это страшно кажется—зачѣмъ другіе отползаютъ. И такъ вся ночь-то ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ прошла; а когда на зарѣ стали под-

ниматься—смотримъ, ни свинаря Якуба, ни паныча Гершки нѣтъ... Гдѣ ни искали по всему обозу—нигдѣ нѣтъ!

Флоріанъ какъ узналъ объ этомъ, такъ и заколотился. И плюетъ, и топочетъ, и кричитъ: «Чтобъ разысканы были, а то всѣхъ повѣшу! Они насъ выдать могутъ». И всѣ подумали: и вправду, они попадутся,—ихъ станутъ пытать и они насъ выдадутъ.

Послалъ за ними въ погоню искать ихъ по лѣсу и по ярамъ двадцать человѣкъ, и все по-двое, а Флоріанъ всѣхъ передъ тѣмъ осмотрѣлъ и сказалъ: «Смотрите, ворочайтесь и ихъ приведите, а то я васъ по глазамъ вижу».

Пошли наши и два дня никого не было, а наконецъ двое идутъ и ведутъ свинаря Якуба, а двое паныча Гершку, а остальные шестнадцать человѣкъ и сами не воротились.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Флоріанъ говоритъ: «Я такъ ихъ и по глазамъ видѣлъ, что они не воротятся. Теперь намъ здѣсь прохлаждаться некогда: сейчасъ надъ этими судъ сдѣлаемъ по старинному обозному правилу и уйдемъ въ походъ на другое мѣсто искать непріятеля».

Обернулся къ Якубу и къ Гершкѣ и говоритъ:

— Васъ сейчасъ судить.

Гершко заплакалъ, а Якубъ сѣлъ на землю у фурманки, къ колесу прислонился и говоритъ:

— Мнѣ все равно, я теперь не боюсь,—а самъ сомлѣлъ.

Сомлѣлъ и панычъ Гершко и пересталъ плакать. Оба ужъ они очень отощали въ лѣсу, оборвались и измучились.

Флоріанъ торопился судить.

— Они, говоритъ,—дезертиры и шпіоны, они бѣжали съ поля и хотѣли насъ выдать: за это ихъ должно повѣсить. Снимите съ двухъ фурманокъ вожжи, поднимите вверхъ дышла и замотайте ихъ крѣпко у передковъ, чтобы дышла не качались. Вотъ такъ... Теперь хорошо... Такъ велитъ старый обозный обычай. Теперь кто желаетъ быть палачомъ?.. А?.. Никто? Прекрасно! Ничего не значитъ. Мы узнаемъ сейчасъ, кто будетъ палачъ. Это сейчасъ будетъ показано. Пусть каждый изъ васъ закачаетъ себѣ рукавъ выше локтя. Вотъ такъ!.. Теперь раскройте одинъ мѣшокъ съ овсомъ.

Мы закачали рукава и мѣшокъ развязали.

— Берите каждый по очереди горсть зеренъ въ руки и мнѣ показывайте.

Мы стали захватывать зерна горстью. Первый захватилъ горсть и раскрылъ передъ ксендзомъ. Флоріанъ говоритъ:

— Отходи, на тебя нѣтъ указанія.

Взялъ слѣдующій. И на этого нѣтъ.

Дошло до меня. Я разжалъ передъ Флоріаномъ горсть, онъ говоритъ:

— По указанію судьбы, ты обозный палачъ.

Я обомлѣлъ, говорю:

— Помилуйте, гдѣ же указаніе?

— А вотъ, видишь, говоритъ, — у тебя въ горсти два черныя зерна. Это и есть указаніе: два зерна и два человѣка—ты двухъ долженъ повѣсить.

Я ему началъ кланяться въ землю.

— Отецъ святой!.. Я боюсь!.. Я не могу!

Но онъ и слушать не хочетъ.

— Если бы, говоритъ,—ты не могъ, такъ на тебя указанія не было бы. Или ты, можетъ-быть, ослушникъ вѣры? Такъ мы въ такомъ разѣ тебя и самого удавимъ. Хлопцы, говоритъ,—я долженъ его немножко поисповѣдывать, а вы не завязывайте мѣшка; можетъ-быть, придется доставать не два, а три зерна—кажется, надо будетъ троихъ вѣшать.

Я подумалъ себѣ: Э, нѣтъ, братку! Знаю я, что ты за птица. Ты меня станешь по глазамъ читать и вывѣсть что на меня скажешь! Нѣтъ, я лучше такъ, просто, безъ исповѣди согласенъ.

— Нѣтъ, не нужно, говорю, — отче; меня исповѣдывать не нужно. Я нынѣшній годъ исповѣдывался и сообщался... Я повѣшу... сколько угодно и кого угодно повѣшу.

— Хоть и самого ксендза повѣсили бы!—перебилъ Мориць.

— Онъ, я думаю, и отца съ матерью повѣсилъ бы, — вставилъ Целестинъ.

— Очень можетъ быть,—отвѣчалъ Гонорат:—но я объ этомъ сталъ бы разсуждать только съ тѣмъ, кто имѣлъ несчастіе вынуть изъ мѣшка черное зерно при дѣйствіи стараго обознаго обычая. А съ такою дрянью, которая стоитъ въ корчмѣ за стойкою или читаетъ газеты, мнѣ объ этомъ разсуждать непристойно. Я продолжаю. Я согласился, но я стоялъ не живой и не мертвый, потому что давить людей, повѣрьте... это не гемютлихъ, а это чортъ знаетъ что такое! А хлопцы, по ксендзову приказу, живо сдвинули двѣ фурманки, поставили ихъ передокъ къ передку, дышла свя-

зали, ремень ветчиннымъ саломъ помазали и наверху въ кольцо петлю пропустили.

— Пожалуйте, палачъ, на свою позицію!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Подвели свинаря Якуба и поставили подъ петлю на переднюю ось изъ-подъ другой фурманки. А ксендзъ Флоріанъ говоритъ мнѣ:

— Надѣвай на него петлю и смотри, чтобы непремѣнно пришлось выше косточки.

У меня руки трясутся,—весь растерялся.

— Какая тутъ у чорта косточка!

Флоріанъ говоритъ:

— А, ты не знаешь косточки?

— Не знаю. Я изъ простыхъ людей.

— Это ничего не стоитъ, говоритъ,—простого человѣка сейчасъ можно все сразу понять заставить.—Да съ этимъ какъ сожметъ меня пальцами за горло, такъ что я, было, задохся.

— Вотъ, говоритъ,—гдѣ бываетъ косточка. Понялъ?

А у меня ужъ и духу въ горлѣ не стало.

— Понялъ,—просипѣлъ я безъ голоса.

Ксендзъ толкнулъ меня сзади ногою въ спину.

— Дѣлай!

Я взялъ за ремень и сталъ по шеѣ гладить — искать косточку, гдѣ надѣвать. А Якубъ, вообразите, вдругъ оба глаза себѣ къ носу свелъ! Какъ это онъ могъ!.. И, кромѣ того, темя у него на головѣ, представьте, вдругъ все вверхъ поднимается... Такая гадость, что я весь задрожалъ и петлю бросилъ. Флоріанъ опять мнѣ далъ затрещину пребольно... Тогда я надѣлъ петлю.

Тутъ самъ Флоріанъ говоритъ мнѣ:

— Палачъ! Подожди!

Оборотился лицомъ ко всѣмъ и говоритъ:

— Паны-братья! По старому обозному обычаю, людей такъ не казнили, какъ ихъ теперь казнятъ. Кое-что въ старину было лучше. Вы это сейчасъ же увидите. По старому обозному обычаю, осужденному на смерть человѣку оказывали милость: у осужденнаго спрашивали, что онъ хочетъ, не имѣетъ ли онъ предсмертной просьбы? И если человѣкъ объявлялъ предсмертную просьбу, то исполняли, чего бы онъ ни попросилъ. Такъ и мы поступимъ.

Всѣ похвалили.

— Ахъ, какъ хорошо!

А ксендзъ Флоріанъ спрашиваетъ:

— Не имѣешь ли ты предсмертной просьбы, Якубъ?

Якубъ молчитъ.

— Ты напрасно не пользуешься тѣмъ, что тебѣ предоставляетъ нашъ старый обычай; а то и такъ повѣсимъ.

Якубъ говоритъ:

— Мнѣ все равно, мнѣ только пить хочется.

— Экій дуракъ!—говоритъ Флоріанъ:—ничего не умѣлъ выдумать. Дайте ему пива!

Подали Якубу пива, а онъ-было началъ губами пѣну раздувать, а потомъ говоритъ:

— Не надо, не хочу.

Флоріанъ говоритъ:

— Выдерни изъ-подъ него передокъ.

Дернули изъ-подъ него передокъ, онъ и закачался... Что-то щелкнуло.

Всѣ отворотились, и тихо-тихо стало все; только связанныя дышла подрагивали. А когда мы опять оборотились лицомъ, такъ ужъ Якубъ только помаленьку сучился на вожжахъ, и глаза отъ носа въ раскосъ шли, а лицо, представьте себѣ, оплевалось.

Ксендзъ Флоріанъ сказалъ:

— Это ничего, давайте жида на его мѣсто.

— Гдѣ же будетъ гемютлихъ?—спросилъ Морицъ.

— Погодите.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Панычъ Гершко оказался противъ Якуба находчивѣй. Онъ, какъ только увидалъ мертваго Якуба, самъ началъ про просьбу кричать:

— Я имѣю просьбу... Ай, я имѣю большую предсмертную просьбу!

Ксендзъ говоритъ:

— Хорошо, хорошо! Ты ее скажешь. Но только я впередъ тебѣ долженъ одно сказать: пожалуйста не просись въ христіанскую вѣру.—Это у васъ такая привычка, но теперь тебѣ это не поможетъ, а ты только поставишь насъ въ непріятное положеніе.

— Ой, нѣтъ, нѣтъ!—говорилъ панычъ Гершко:—я теперь

въ христіанскую вѣру проситься не буду. Я совсѣмъ другое... Совсѣмъ простое прошу.

— Ну, простое проси.

— Я прошу не вѣшать меня за шею!

Гонoратъ остановилъ разсказъ и воскликнулъ:

— Вы понимаете, въ чемъ тутъ штука?

Морицъ молча кивнулъ головой, а реби Фола вскричалъ:

— Разумно!

Гонoратъ бросилъ на него презрительный взглядъ и продолжалъ:

— Разумно!.. А вотъ же ты увидишь, къ чему это повело!

Ксендзъ разсердился.

— Ахъ ты, говоритъ,—каналья! Такъ-то ты за деликатность платишь! Развѣ это можно выдумывать!

— Отчего же не можно?

— Да за что же мы тебя повѣсимъ?

А Гершко отвѣчаетъ:

— Мнѣ все равно... Хоть ни за что не вѣшайте.

Флоріанъ только плечами пожалъ и говоритъ:

— Нѣтъ, братцы, жиды такой народъ, что съ ними, дѣйствительно, ничего невозможно.

И Гершку повѣсили.

— За что же?—перебилъ Морицъ.

— Ну, конечно за шею.

Вышла пауза.

Морицъ побарабанилъ пальцами и, вздохнувъ, сказалъ:

— Да, это гемютлихъ... Сколько вы, капитане, въ самомъ дѣлѣ, пережили ужаснаго!

— Не мало, Морицъ, не мало.

— Но вы, все-таки, хорошо нашлись.

— Какъ кажется. Иначе мнѣ самому висѣть бы на дышлѣ.

— Конечно; но если по правдѣ судить, то изъ всѣхъ изъ васъ жидъ, все-таки, былъ всѣхъ находчивѣй.

— Почему же? Развѣ онъ остался въ живыхъ, а не я?

— Конечно, конечно! — замѣтилъ Целестинъ. — Нельзя спорить, что всѣхъ находчивѣе вышли ксендзъ съ Гонoратомъ. Они ли не молодцы! Сами, чортъ знаетъ, выдумали откуда-то какой-то старинный обозный обычай, сами предсмертную просьбу учредили и сами же все это уничтожили: удавили людей какъ тетеревятъ, а сами живутъ спокойно.

Гонорать посмотрѣлъ на Целестина и, покачавъ головою, вздохнулъ и молвилъ:

— Почтенный панъ Целестинъ, вы не можете судить чужую душу. Теперь я спокоенъ, но меня это долго мучило, и я не находилъ покоя даже послѣ того, какъ насъ тогда скоро разсѣяли и я принесъ покаяніе, и меня простили...

— А вы, капитане, чистосердечно раскаялись? — спросилъ Морицъ.

— Это что за вопросъ? Разумѣется, чистосердечно.

— То-то... какъ добрый католикъ.

Гонорать покачалъ головою.

— Любезнѣйшій Морицъ! Какъ это глупо!

— Да я ничего.

— Нѣтъ, не «ничего». А я это для твоей же пользы... Я перемѣнилъ свой образъ мыслей, и надѣлъ вотъ эту жандармскую шляпу съ казеннымъ пѣромъ, Морицъ, — это всякій можетъ видѣть; но я долго не зналъ покоя въ жизни.

Целестинъ сдѣлалъ презрительную гримасу и процѣдилъ:

— Отчего же это?

— Да, вотъ именно «отчего»? Тебѣ, почтенный Целестинъ, будетъ непонятно, потому что ты не полякъ.

— Почему же это я не полякъ?

— Потому что ты лютеръ или кальвинъ, а не католикъ, и у тебя черствое сердце. Ты—вѣдь я тебя знаю... ты не вѣришь...

— Вы все должны знать.

— Да не перебивай! Ты въ Бога не вѣришь.

— Вы врете.

— Возьми свое слово назадъ. Твоя вѣра, какова она есть, это все равно, что ея и нѣтъ. Ты хлопочешь о томъ, что всего меньше стоитъ. Не отпирайся: ты внушаешь молодымъ людямъ, что поэзія вздоръ, и хлопочешь только о томъ, чтобы всѣ занимались работой, чтобы процвѣталъ трудъ и ремесла, какъ будто въ этомъ для насъ все и дѣло; а я—добрый католикъ; я люблю поэзію и имѣю чувствительное сердце: мнѣ дорого то, что ждетъ насъ послѣ смерти. Да; мнѣ всегда приходитъ на память, что всѣмъ надо умереть... И когда мнѣ это придетъ на умъ, и я подумаю, что я тоже умру, то всякій разъ ясно вижу передъ собою это... какъ у нихъ были глаза... оба къ носу... и темя

шевелилось. Я увѣряю тебя, что это прострашно, и это со мною долго продолжалось.

— Но, однако, прошло?

— Да, прошло.

— Отчего же?

— Отъ одного ужаснаго случая, отъ котораго я чортъ знаетъ какъ уцѣлѣлъ на свѣтѣ.

— Какой же это случай? — спросилъ Морицъ.

— Это, Морицъ, былъ чертовскій случай, — это адская сцена, на которую опять выходитъ отецъ Флоріанъ.

Реби Фола потянулъ ухо къ Морицу и прошепталъ:

— Такъ это было на сценѣ!

— Да, реби Фола, — молчите, — все это было на сценѣ.

— Хорошо, хорошо!

Гонораъ продолжалъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Это я могъ бы говорить только для вѣрующихъ, но все равно. Прошелъ слухъ въ народѣ, что подъ Злочевомъ въ лѣсу на пасѣкѣ поселился человѣкъ святой жизни. Онъ завелъ пчелъ, давалъ людямъ лѣкарства и ни отъ кого ничего за это не бралъ. Бѣдные глупые русины прозвали его между собою «пчелиный королекъ». Стали къ нему ходить отовсюду; онъ исцѣлялъ всѣхъ, у кого бы какая болѣзнь ни случилась. Если у кого было нехорошо на сердцѣ отъ сердечныхъ мыслей — и тѣ тоже къ нему приходили. И я тоже пошелъ, чтобы его видѣть. До Львова я доѣхалъ и все держалъ постъ дорогой, а дальше пошелъ пѣшкомъ, чтобы какъ можно лучше себя приготовить къ бесѣдѣ съ святымъ человѣкомъ. Нашелъ его очень легко: живетъ въ лѣсу — одинъ... старый, весь обросъ бородой, въ бѣлой свиткѣ, и даже пахнетъ отъ него прекрасно святостью, — медомъ и воскомъ... А глаза — такъ насквозь всего человѣка и проницаютъ. Посмотрѣлъ онъ на меня и говоритъ:

— Тебѣ надо покой, — иди отпочни у меня въ халупкѣ, а завтра съ тобой будемъ бесѣдовать.

Положилъ меня въ халупку и заперъ на ключъ, а утромъ вывелъ и говоритъ:

— Теперь ты мнѣ можешь открыться.

Я ему сталъ исповѣдываться и все, все разсказалъ, и что тогда дѣлалъ, и что теперь дѣлаю, и прошу:

— Отпусти мнѣ, отче!

Онъ говоритъ:

— Для того, чтобы отпустить раба, есть въ Библіи правило. Я тебя могу отпустить, но только по этому правилу.

Я согласился. Онъ похвалилъ.

— Вотъ, говоритъ, — хорошо, милый сынъ мой (такъ и назвалъ: *милый сынъ*); пойдемъ теперь къ двери, я тебя отпущу, какъ должно, по закону.

И тутъ, господа, вдругъ и совершенно неожиданно разыгралась вторая удивительная и невѣроятная сцена.

Реби Фола разинулъ ротъ и уронилъ сухарь.

— У васъ худой ротъ, реби Фола! — крикнулъ Морицъ.

— Нѣтъ, я слушаю, что̀ было на сценѣ.

Гонора̀тъ продолжалъ:

— А по закону, — сказалъ королекъ: — когда надобно отпускать раба, то надобно его вотъ какъ. Подходи, братъ, сюда... Стань вотъ здѣсь на порогѣ у притолки, прислонись къ притолкѣ... Такъ!.. Еще плотнѣе!

Я сталъ и прислонился, а онъ, подлецъ, вдругъ какъ хватитъ меня сзади шиломъ, такъ сквозь ухо къ притолкѣ и пришпилилъ...

— Это такъ и надо! — оживился Фола. — Такъ слѣдовало!

— Почему же такъ слѣдовало?

— По Второзаконію.

— Второзаконіе! Чортъ бы тебя взялъ со всею твоею раввинскою ученостью, — закричалъ на него Гонора̀тъ и досказалъ, что пустынникъ, пригвоздившій его шиломъ къ притолкѣ, оказался не кто иной, какъ бывшій ксендзъ Флоріанъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

— Вы, можетъ-быть, ошиблись, капитанъ?

— Я не могъ ошибиться, Морицъ! Да и, наконецъ, вѣдь мы объяснились.

— Объяснились?

— Какъ же! Когда онъ ушпилилъ меня шиломъ къ притолкѣ... вѣдь это было такъ больно, что я закричалъ во всю мочь и никуда не могъ тронуться... А онъ — чтобъ ему околѣть — сталъ передо мною, снялъ съ себя бѣлый парикъ, подперъ руки въ бока и спрашиваетъ:

— Узнаешь ли ты меня, наконецъ, противная собака въ

австрійскомъ ожерелкѣ? Ты, негодяй, пришелъ сюда, чтобы за мною шпіонить, а я тебя сейчасъ и разгадалъ; и вотъ за это ты простоишь здѣсь приколотый къ притолкѣ до тѣхъ поръ, пока издохнешь голодной смертью, а я уйду въ такое мѣсто, гдѣ меня другая такая собака, какъ ты, не отыщетъ.

И съ этимъ онъ досталъ изъ-подъ пола кису съ деньгами, показалъ мнѣ шишъ и ушелъ, а меня заперъ.

— Вотъ такъ гемютлихъ! — воскликнулъ Морицъ.

— Да! И представь себѣ, другъ мой Морицъ, что вѣдь я, дѣйствительно, такъ и стоялъ приколоченный цѣлыя сутки. Что это была за мука! Я тебѣ и сказать не могу. Отъ боли я не могъ вынуть шила. А ухо!.. Описать нельзя, что сдѣлалось съ моимъ ухомъ... Оно у меня пухло, какъ пирогъ на опарѣ, а при этомъ шла ужасная стрѣльба во всей головѣ и ко всему этому сѣсть невозможно. Я, Морицъ, молился, жарко молился... и какъ я плакалъ!..

Въ этомъ мѣстѣ разсказа въ голосѣ Гонората задрожали слезы, и онъ торопливо вытащилъ изъ кармана платокъ и закрылъ свое лицо.

Целестинъ посмотрѣлъ на него черезъ очки и прошипѣлъ:

— Мерзавецъ!

Черезъ минуту Гонората продолжалъ:

— Я думалъ, что я непремѣнно тамъ и умру голодною смертью; но Богъ бываетъ добръ ко всѣмъ, Морицъ! Онъ и надо мною смиловался, вѣроятно за то, что никогда не разсуждалъ на ученый манеръ, а всегда во все вѣрилъ какъ добрый католикъ. На другой день пришли къ домику благочестивые люди, чтобы просить у Флоріана благословенія. Они стали стучать. Вообрази, какъ я обрадовался! Но я не могъ имъ отпереть. Я спасъ себя только тѣмъ, что сталъ пѣть потихоньку. «Подъ Твою милость прибѣгаемъ». И хорошо, что я могъ это пѣть такъ жалостно, что благочестивые люди не могли разобрать моего голоса и подумали, что это поетъ самъ Флоріанъ. И Богъ Милосердный такъ сдѣлалъ, что мой голосъ издали былъ совсѣмъ какъ Флоріановъ голосъ, и благочестивые люди подумали, что это Флоріанъ кончается, и отбили запертую дверь. О, какое это было благополучіе! Они сняли меня съ шила и начали меня бить палками, подозрѣвая, что я раз-

бойникъ и былъ съ товарищами, которые убили или увели въ плѣнъ Флоріана. Я ихъ упросилъ, чтобы меня отвели къ комиссару. Комиссаръ отправилъ меня въ Вѣну. Въ Вѣнѣ хотѣли мнѣ ухо отрѣзать, но, къ счастью, отлично вылѣчили не рѣзавши — только вотъ эта дырка отъ шила осталась.

Гонорат показалъ на свою бирюзовую заклепку и, вздохнувъ, добавилъ:

— И вотъ только съ тѣхъ поръ мнѣ легче вспомнить и про Якуба, и про паныча Гершку, потому что не одни они, а и я тоже пострадалъ отъ отца Флоріана.

— Только вы нѣсколько меньше, а они больше, — замѣтилъ Морицъ.

— Это правда; но знаешь, вѣдь тутъ много зависитъ оттого, какъ смотрѣть на дѣло.

— Конечно, ксендзъ Флоріанъ сначала сдѣлалъ изъ вашей милости препоганаго палача, а потомъ преогромнаго дурака; но, однако, какъ ни смотри, вы все-таки живы.

— Да, я живъ... это правда.

— И ѣдите курку съ масломъ.

— Ѣмъ... иногда... А тебѣ завидно?

— И служите австрійскимъ жандармомъ, — подсказалъ Целестинъ.

— Да, и служу австрійскимъ жандармомъ... А все-таки вы мою душу не знаете и не можете судить: лучше мнѣ или не лучше, чѣмъ Якубу и Гершкѣ.

— Нѣтъ, лучше, лучше! — заметался реби Фола.

— Ты почему знаешь?

— По Писанію, — отвѣчалъ реби Фола, и, поднявъ передъ собою въ лѣвой рукѣ сухарь, онъ точно читалъ съ нимъ подъ указку слова изъ Кагелота: «Псу живому лучше, чѣмъ льву умершему».

Морицъ и Целестинъ расхохотались. Реби Фола не понималъ въ чемъ дѣло и увѣрялъ, что у Кагелота, дѣйствительно, такъ написано: «Псу живому лучше, чѣмъ льву умершему».

Гонорат всталъ, вздохнулъ, поглядѣлъ на свои часы и проговорилъ ко всѣмъ безразлично:

— Всѣ вы — безчувственныя животныя, и я еще не теряю надежды, что когда-нибудь мнѣ придется васъ повѣсить.

— Въ чей же бенефисъ, панъ капитанъ, вы насъ хотите повѣсить? — спросилъ Морицъ.

— А это для меня безразлично, панъ трактирщикъ, — отвѣчалъ шаловливо Гонорат и, вскинувъ на локоть свой карабинъ, онъ никому не кивнулъ головою и пошелъ встрѣчать подходившій срочный поѣздъ.

Съ этимъ поѣздомъ прибылъ и тотъ дѣловой человѣкъ, котораго я ожидалъ. Мы скоро переговорили все, что надо было по дѣлу, а потомъ я ему разсказалъ и о томъ, что слышалъ въ корчмѣ, и спрашиваю его: «неужто всему этому можно вѣрить?» Онъ же мнѣ отвѣчаетъ:

— А чортъ ихъ разберетъ! Да и зачѣмъ это нужно имъ вѣрить или не вѣрить?

— Чтобы уяснить себѣ: коего духа эти люди?

— Ну, вотъ пустяки!

— Какъ! Духъ — пустяки?

— Да, разумѣется, пустяки. Гдѣ теперь духа искать! Смотрите, пожалуйста, гдѣ хотите — на всѣхъ людскихъ лицахъ ничего яснаго не стало видно. Все какіе-то тусклые шершаки, точно волки травленые: шерсть клоками, морды скаленыя, глаза спаленые, уши дерганыя, хвосты терханые, гачи рваные, а бока драные — только всего и цѣлаго остается, что зубы смоленые, да первая родимая шкура не выворочена. А вы въ этакихъ-то отрепкахъ хотите разыскивать признаки цѣлостнаго духа! Травленый волкъ объ какую землю ударится, тамъ чѣмъ надо, тѣмъ онъ и скинется.

— Однако, что же хорошаго, если это у васъ такъ и въ Цислейтаніи и въ Транслейтаніи.

— Да вездѣ это теперь такъ, гдѣ вамъ угодно, — не только у насъ въ Цислейтаніи и въ Транслейтаніи, а и во Франціи, и въ Италіи, и такъ далѣе: травленый волкъ вездѣ одной породы; онъ объ какую землю ударится — тамъ чѣмъ ему надо, тѣмъ онъ и скинется.

— А къ чему же это, по-вашему, сведется!

— Да сведется къ такому прелюбопытному положенію, что никто, наконецъ, не будетъ знать, съ кѣмъ онъ дѣло имѣетъ.

Оглавленіе

XIII ТОМА.

	стр.
Воительница. Очеркъ	3
Леди Макбетъ Мценскаго уѣзда. Очеркъ	83
Грабежъ	131
Антука. Разсказъ	173

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ОВЦЕБЫКЪ.

РАЗСКАЗЪ.

Питается травою, а при недостаткѣ ея и лишаями.

Изъ зоологіи.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Когда я познакомился съ Василіемъ Петровичемъ, его уже звали «Овцебыкомъ». Кличку эту ему дали потому, что его наружность необыкновенно напоминала овцебыка, котораго можно видѣть въ иллюстрированномъ руководствѣ къ зоологіи Юліана Симашки. Ему было 28 лѣтъ, а на видъ казалось гораздо болѣе. Это былъ не атлетъ, не богатырь, но человѣкъ очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечій. Лицо у Василія Петровича было сѣрое и круглое, но круглое было только одно лицо, а черепъ представлялъ странную уродливость. Съ перваго взгляда онъ какъ будто напоминалъ нѣсколько кафрскій черепъ, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни подъ одну френологическую систему. Прическу онъ носилъ такую, какъ будто нарочно хотѣлъ ввести всѣхъ въ заблужденіе о фигурѣ своего «верхняго этажа». Сзади онъ очень коротко выстригалъ весь затылокъ, а напереди отъ ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василій Петровичъ обыкновенно крутилъ эти косицы, и онѣ постоянно лежали свернутыми валиками на его вискахъ, а на щекахъ загинались, напоминая собою рога того животнаго, въ честь котораго онъ получилъ свою кличку. Этимъ косицамъ Ва-

силій Петровичъ болѣе всего былъ обязанъ своимъ сходствомъ съ овцебыкомъ. Въ фигурѣ Василія Петровича, однако, не было ничего смѣшного. Человѣкъ, который встрѣчался съ нимъ въ первый разъ, видѣлъ только, что Василій Петровичъ, какъ говорится, «плохо скроенъ, да крѣпко сшитъ», а вглядѣвшись въ его каріе, широко разставленные глаза, нельзя было не видать въ нихъ здороваго ума, воли и рѣшительности. Характеръ Василія Петровича имѣлъ много оригинальнаго. Отличительною его чертою была евангельская беззаботливость о себѣ. Сынъ сельскаго дьячка, выросшій въ горькой нуждѣ и, вдобавокъ еще, рано осиротѣвшій, онъ никогда не заботился не только о прочномъ улучшеніи своего существованія, но даже никогда, кажется, не подумалъ о завтрашнемъ днѣ. Ему отдавать было нечего, но онъ способенъ былъ снять съ себя послѣднюю рубашку и предполагалъ такую же способность въ каждомъ изъ людей, съ которыми сходился; а всѣхъ остальныхъ обыкновенно называлъ кратко и ясно «свиньями». Когда у Василія Петровича не было сапоговъ, то-есть если сапоги его, какъ онъ выражался, «совсѣмъ разѣвали ротъ», то онъ шелъ ко мнѣ или къ вамъ, безъ всякой церемоніи бралъ ваши запасные сапоги, если они ему кое-какъ всходили на ногу, а свои осметки оставлялъ вамъ на память. Дома ли вы, или нѣтъ, Василію Петровичу это было все равно: онъ располагался у васъ по-домашнему, бралъ что ему нужно, всегда въ возможно маломъ количествѣ, и иногда при встрѣчѣ говорилъ, что онъ взялъ у васъ табаку или чаю, или сапоги, а чаще случалось, что и ничего не говорилъ о такихъ мелочахъ. Новой литературы онъ терпѣть не могъ и читалъ только евангеліе да древнихъ классиковъ; о женщинахъ не могъ слышать никакого разговора, почиталъ ихъ всѣхъ поголовно *дурами* и очень серьезно жалѣлъ, что его старуха-мать—женщина, а не какое-нибудь безполое существо. Самоотверженіе Василія Петровича не имѣло границъ. Онъ никогда не показывалъ кому-нибудь изъ насъ, что онъ кого-нибудь любитъ; но всѣ очень хорошо знали, что нѣтъ жертвы, которой бы Овцебыкъ не принесъ для каждаго изъ своихъ присныхъ и знаемыхъ. Въ готовности же его жертвовать собою за избранную идею никому и въ голову не приходило сомнѣваться, но идею эту не легко было отыскать подъ черепомъ нашего Овцебыка. Онъ не смѣялся надъ многими

теоріями, въ которыя мы тогда жарко вѣрили, но глубоко и искренно презиралъ ихъ.

Разговоровъ Овцебыкъ не любилъ, дѣлалъ все молча, и дѣлалъ именно то, чего въ данную минуту менѣе всего могли отъ него ожидать.

Какъ и почему онъ сошелся съ маленькимъ кружкомъ, къ которому принадлежалъ и я во время моего непродолжительнаго житья въ нашемъ губернскомъ городѣ—я не знаю. Овцебыкъ года за три передъ моимъ пріѣздомъ окончилъ курсъ въ курской семинаріи. Мать, кормившая его крохами, сбираемыми ради Христа, съ нетерпѣніемъ ждала, когда сынъ сдѣлается попомъ и заживетъ на приходѣ съ молодою женою. Но у сына и мысли не было о молодой женѣ. Жениться Василій Петровичъ не имѣлъ ни малѣйшаго желанія. Курсъ былъ оконченъ; мать все освѣдомлялась о невѣстахъ, а Василій Петровичъ молчалъ и въ одно прекрасное утро исчезъ неизвѣстно куда. Только черезъ полгода прислалъ онъ матери 25 рублей и письмо, въ которомъ увѣдомлялъ нищенствовавшую старуху, что онъ пришелъ въ Казань и поступилъ въ тамошнюю духовную академію. Какъ онъ дошелъ до Казани, отломавъ болѣе тысячи верстъ, и какимъ образомъ досталъ 25 рублей—это осталось неизвѣстнымъ. Овцебыкъ ни слова не написалъ объ этомъ матери. Но не успѣла старуха порадоваться, что ея Вася будетъ когда-нибудь архіереемъ и она будетъ тогда жить у него въ свѣтлой комнаткѣ съ бѣлой печкою и всякій день по два раза пить чай съ изюмомъ, Вася какъ будто съ неба упалъ—нежданно-негаданно снова явился въ Курскѣ. Много его разспрашивали: что такое? какъ? отчего онъ вернулся? но узнали немного. «Не поладилъ», коротко отвѣчалъ Овцебыкъ, и больше отъ него ничего не могли добиться. Только одному человѣку онъ сказалъ немножко болѣе: «Не хочу я быть монахомъ», а больше ужъ никто отъ него ничего не добился.

Человѣкъ, которому Овцебыкъ сказалъ болѣе, чѣмъ всѣмъ прочимъ, былъ Яковъ Челновскій, добрый, хорошій малый, неспособный обидѣть мухи и готовый на всякую службу ближнему. Челновскій доводился мнѣ родственникомъ въ какомъ-то далекомъ колѣнѣ. У Челновскаго я и познакомился съ коренастымъ героемъ моего разсказа.

Это было лѣтомъ 1854 года. Мнѣ нужно было хлопотать

по процессу, производившемуся въ курскихъ присутственныхъ мѣстахъ.

Въ Курскъ я пріѣхалъ въ 7 часовъ утра въ маѣ мѣсяцѣ, прямо къ Челновскому. Онъ въ это время занимался приготовленіемъ молодыхъ людей въ университетъ, давалъ уроки русскаго языка и исторіи въ двухъ женскихъ пансіонахъ и жилъ не худо; имѣлъ порядочную квартиру въ три комнаты съ передней, изрядную библіотеку, мягкую мебель, нѣсколько горшковъ экзотическихъ растеній и бульдога «Бокса», съ оскаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и походкой, которая слегка смахивала на канканъ.

Челновскій чрезвычайно обрадовался моему пріѣзду и взялъ съ меня слово непремѣнно остаться у него на все время моего пребыванія въ Курскѣ. Самъ онъ обыкновенно бѣгалъ цѣлый день по урокамъ, а я то навѣщалъ гражданскую палату, то бродилъ безъ цѣли около Тускари или Сейма. Первую изъ этихъ рѣкъ вы совсѣмъ не встрѣтите на многихъ картахъ Россіи, а вторая славится особенно вкусными раками, но еще бо́льшую извѣстность она пріобрѣла черезъ устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободивъ Сейма отъ репутаціи рѣки, «неудобной къ судоходству».

Прошло недѣли двѣ со дня пріѣзда въ Курскъ. Объ Овцебыкѣ никогда не заходило никакой рѣчи, я и не подозрѣвалъ вовсе существованія такого страннаго звѣря въ предѣлахъ нашей черноземной полосы, изобилующей хлѣбомъ, нищими и ворами.

Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во второмъ пополудни. Въ передней меня встрѣтилъ Боксъ, сторожившій наше жилище гораздо рачительнѣе, чѣмъ восемнадцатилѣтній мальчикъ, состоявшій въ должности нашего камердинера. На столѣ въ залѣ лежалъ суконный картузъ, истасканный до-нельзя; одна грязнѣйшая подтяжка съ надвязаннымъ на нее ремешкомъ, просаленный черный платокъ, свитый жгутомъ, и тоненькая палочка изъ лѣсной орѣшины. Во второй комнатѣ, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватою кабинетною мебелью, сидѣлъ на диванѣ запыленный до-нельзя человѣкъ. На немъ были ситцевая розовая рубашка и свѣтложелтые панталоны съ протертыми колѣнями. Сапоги незнакомца были покрыты густымъ слоемъ бѣлой шоссейной пыли, а

на колѣняхъ у него лежала толстая книга, которую онъ читалъ, не нагиная головы. При входѣ моемъ въ кабинетъ, запыленная фигура бросила на меня одинъ бѣглый взглядъ и опять устремила глаза въ книгу. Въ спальнѣ все было въ порядкѣ. Полосатая холстинковая блуза Челновскаго, въ которую онъ облачался тотчасъ по возвращеніи домой, висѣла на своемъ мѣстѣ и свидѣтельствовала, что хозяина нѣтъ дома. Никакъ я не могъ отгадать, кто этотъ странный гость, расположившійся такъ безцеремонно. Свирѣпый Боксъ смотрѣлъ на него, какъ на своего человѣка, и не ласкался только потому, что нѣжничанье, свойственное собакамъ французской породы, не въ характерѣ псовъ англосаксонской собачьей расы. Прошелъ я опять въ переднюю, имѣя двѣ цѣли: во-первыхъ, разспросить мальчика о гостѣ, а во-вторыхъ, вызвать своимъ появленіемъ на какое-нибудь слово самого гостя. Мнѣ не удалось ни то, ни другое. Передняя попрежнему была пуста, а гость даже не поднялъ на меня глазъ и спокойно сидѣлъ въ томъ же положеніи, въ которомъ я его засталъ пять минутъ назадъ. Оставалось одно средство: непосредственно обратиться къ самому гостю.

— Вы, вѣрно, Якова Иваныча дожидаете?—спросилъ я, остановясь передъ незнакомцемъ.

Гость лѣниво взглянулъ на меня, потомъ всталъ съ дивана, плюнулъ сквозь зубы, какъ умѣютъ плевать только великорусскіе мѣщане да семинаристы, и проговорилъ густымъ басомъ: «нѣтъ».

— Кого же вамъ угодно видѣть?—спросилъ я, удивленный страннымъ отвѣтомъ.

— Я просто такъ зашелъ,—отвѣчалъ гость, шагая по комнатѣ и закручивая свои косицы.

— Позвольте же узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

При этомъ я назвалъ свою фамилію и сказалъ, что я родственникъ Якова Ивановича.

— А я такъ, просто,—отвѣчалъ гость и опять взялся за свою книгу.

Тѣмъ разговоръ и покончился. Оставивъ всякую попытку разрѣшить для себя появленіе этой личности, я закурилъ папироску и легъ съ книгою въ рукахъ на свою постель. Когда придешь изъ-подъ солнечнаго припека въ чистую и прохладную комнату, гдѣ нѣтъ докучныхъ мухъ, а есть

— Пропадалъ? — повторилъ Овцебыкъ. — Я, братъ, не пропаду, а пропаду такъ не задаромъ.

— Проповѣдничество насъ заѣло! — отозвался ко мнѣ Челновскій. — «Охота смертная, а участь горькая!» На торжищахъ и стогнахъ проповѣдывать въ нашъ просвѣщенный вѣкъ не дозволяется; въ попы мы не можемъ идти, чтобы *не прикоснуться жене, аки сосуду змиину*, а въ монахи идти тоже что-то мѣшаетъ. Но ужъ что именно такое тутъ мѣшаетъ — про то не знаю».

— И хорошо, что не знаешь.

— Отчего же хорошо? Чѣмъ больше знать, тѣмъ лучше.

— Поди самъ въ монахи, такъ и узнаешь.

— А ты не хочешь послужить человѣчеству своимъ опытомъ?

— Чужой опытъ, братъ,—пустое дѣло, — сказалъ оригиналъ, вставъ изъ-за стола и обтирая себѣ салфеткой цѣлое лицо, покрывшееся потомъ отъ усердствованія за обѣдомъ. Положивъ салфетку, онъ отправился въ переднюю и досталъ тамъ изъ своего пальто маленькую глиняную трубочку съ чернымъ обгрызаннымъ чубучкомъ и ситцевый кисетикъ; набилъ трубку, кисетъ положилъ въ карманъ штановъ и направился снова къ передней.

— Кури здѣсь, — сказалъ ему Челновскій.

— Расчихаетесь неравно. Головы заболятъ.

Овцебыкъ стоялъ и улыбался. Я никогда не встрѣчалъ человѣка, который бы такъ улыбался, какъ Богословскій. Лицо его оставалось совершенно спокойнымъ; ни одна черта не двигалась, и въ глазахъ оставалось глубокое, грустное выраженіе, а между тѣмъ вы видѣли, что эти глаза смѣются, и смѣются самымъ добрымъ смѣхомъ, какимъ русскій человѣкъ иногда потѣшается надъ самимъ собою и надъ своею недолею.

— Новый Діогенъ! — сказалъ Челновскій вслѣдъ вышедшему Овцебыку: — все людей евангельскихъ ищетъ.

Мы закурили сигары и, улегшись на своихъ кроватяхъ, толковали о различныхъ человѣческихъ странностяхъ, приходившихъ намъ въ голову по поводу странностей Василія Петровича. Черезъ четверть часа вошелъ и Василій Петровичъ. Онъ поставилъ свою трубочку на полъ у печки, сѣлъ въ ногахъ у Челновскаго и, почесавъ правою рукою лѣвое плечо, сказалъ вполголоса:

— Кондицій искалъ.

— Когда? — спросилъ его Челновскій...

— Да вотъ теперь.

— У кого жъ ты искалъ?

— По дорогѣ.

Челновскій опять засмѣялся; но Овцебыкъ не обращалъ на это никакого вниманія.

— Ну, и что жъ Богъ далъ? — спросилъ его Челновскій.

— Нѣтъ ни шиша.

— Да шутина ты этакой! Кто же ищетъ кондицій по дорогѣ?

— Я заходилъ въ помѣщичьи дома, тамъ спрашивалъ,— серьезно продолжалъ Овцебыкъ.

— Ну, и что же?

— Не берутъ.

— Да разумѣется и не возьмутъ.

Овцебыкъ посмотрѣлъ на Челновскаго своимъ пристальнымъ взглядомъ и тѣмъ же ровнымъ тономъ спросилъ:

— Почему же это и не возьмутъ?

— Потому, что съ вѣтру пришлаго человѣка, безъ рекомендаціи, не берутъ въ домъ.

— Я аттестатъ показывалъ.

— А въ немъ написано: «поведенія довольно изряднаго»?

— Ну, такъ что жъ? Я, братъ, скажу тебѣ, что это все не оттого, а оттого что...

— Ты — Овцебыкъ, — подсказалъ Челновскій.

— Да, Овцебыкъ, пожалуй.

— Что жъ ты теперь думаешь дѣлать?

— Думаю вотъ еще трубочку покурить,—отвѣчалъ Василій Петровичъ, вставая и снова принимаясь за свой чубучокъ.

— Да кури здѣсь.

— Не надо.

— Кури: вѣдь окно открыто.

— Не надо.

— Да что тебѣ, первый разъ, что ли, курить у меня свой дюбекъ?

— Имъ будетъ непріятно, — сказалъ Овцебыкъ, показывая на меня.

— Пожалуйста, курите, Василій Петровичъ; я — чело-

вѣкъ привыкшій; для меня ни одинъ дюбекъ ничего не значитъ.

— Да вѣдь у меня тотъ дубекъ, отъ котораго чортъ убѣгъ, — отвѣчалъ Овцебыкъ, налегая на букву *у* въ словѣ *дубекъ*, и въ его добрыхъ глазахъ опять мелькнула его симпатическая улыбка.

— Ну, а я не убѣгу.

— Значитъ, вы сильнѣй чорта.

— На этотъ случай.

— Онъ о силѣ чорта имѣетъ самое высокое мнѣніе, — сказалъ Челновскій.

— Одна баба, братъ, только злѣй чорта.

Василій Петровичъ напихалъ махоркою свою трубочку и, выпустивъ изъ рта тоненькую струйку ѣдкаго дыма, осадилъ пальцемъ горящій табакъ и сказалъ:

— Задачки стану переписывать.

— Какія задачки? — спросилъ Челновскій, приставляя ладонь къ своему уху.

— Задачки, задачки семинарскія стану, молъ, пока переписывать. Ну, тетрадки ученическія, не понимаешь, что ли?—пояснилъ онъ.

— Понимаю теперь. Плохая, братъ, работа.

— Все равно.

— Два цѣлковыхъ въ мѣсяцъ какъ разъ заработаешь.

— Это мнѣ все едино.

— Ну, а дальше что?

— Кондиціи мнѣ отыщи.

— Опять въ деревню?

— Въ деревню лучше.

— И опять черезъ недѣлю уйдешь. Ты знаешь, что онъ сдѣлалъ прошлой весной, — сказалъ, обращаясь ко мнѣ, Челновскій. — Поставилъ я его на мѣсто, сто двадцать рублей въ годъ платы, на всемъ готовомъ, съ тѣмъ, чтобы онъ приготовилъ ко второму классу гимназіи одного мальчика. Справили ему все, что нужно, снарядили добраго молодца. Ну, думаю, на мѣстѣ нашъ Овцебыкъ! А онъ черезъ мѣсяцъ опять передъ нами какъ выросъ. Еще за свою науку и бѣлье тамъ оставилъ.

— Ну такъ что же, если нельзя было иначе,—сказалъ, нахмурясь, Овцебыкъ и всталъ со стула.

— А спроси его, отчего нельзя? — сказалъ Челновскій,

снова обращаясь ко мнѣ. — Оттого, что за волосенки пощипать мальчишку не позволили.

— Еще соври! — пробормоталъ Овцебыкъ.

— Ну, а какъ же было?

— Такъ было, что иначе нельзя было.

Овцебыкъ остановился передо мною и, подумавъ съ минутку, сказалъ:

— Вовсе особое дѣло было!

— Садитесь, Василій Петровичъ,—сказалъ я, подвигаясь на кровати.

— Нѣтъ, не надо. Вовсе особое дѣло, — началъ онъ снова. — Мальчишкѣ пятнадцатый годъ, а между тѣмъ ужъ онъ совсѣмъ дворянинъ, то-есть безстыжая шельма.

— Вотъ у насъ какъ! — пошутилъ Челновскій.

— Да,—продолжалъ Овцебыкъ. — Поваръ у нихъ былъ Егоръ, молодой парень. Женился онъ, взялъ дьячковскую дочь изъ нашего духовеннаго нищенства. Барчонокъ ужъ всему былъ обученъ и давай къ ней лязгаться. А бабёнка молодая, не изъ таковскихъ; пожаловалась мужу, а мужъ—барынѣ. Та тамъ что-то поговорила сыну, а онъ опять за свое. Такъ въ другой разъ, въ третій—поваръ опять къ барынѣ, что женѣ отбою нѣтъ отъ барчука — опять ничего. Взяла меня досада. «Послушайте, говорю ему;—если вы еще разъ защипнете Алёнку, такъ я васъ тресну». Покраснѣлъ отъ досады; взыграла благородная кровь, знаете; полетѣлъ къ мамашѣ, а я за нимъ. Гляжу: она сидитъ въ креслахъ, и тоже вся красная; а сынъ по-французски ей жалобу на меня расписываетъ. Какъ увидѣла меня, сейчасъ взяла его за руку и улыбается, чортъ знаетъ чего. «Полно, говоритъ,—мой другъ. Василью Петровичу, вѣрно, что-нибудь показалось; онъ шутитъ, и ты докажешь ему, что онъ ошибается». А сама, вижу, косится на меня. Малецъ мой пошелъ, а она, вмѣсто того, чтобы поговорить со мною о сынѣ, говоритъ: «Какой вы рыцарь, Василій Петровичъ! Ужъ не сердечная ли у васъ зазнобушка?» Ну, а я этихъ вещей терпѣть не могу,—сказалъ Овцебыкъ, энергически махнувъ рукою.—Не могу я этого слушать,—повторилъ онъ еще разъ, возвысивъ голосъ, и снова зашагалъ.

— Ну, вы тутъ же и оставили этотъ домъ?

— Нѣтъ, черезъ полтора мѣсяца.

— И жили въ ладу?

— Ну, я ни съ кѣмъ не говорилъ.

— А за столомъ?

— Я съ конторщикомъ обѣдалъ.

— Какъ съ конторщикомъ?

— Просто сказать на застольной. Да это мнѣ ничего. Меня вѣдь обидѣть нельзя.

— Какъ нельзя?

— А разумѣется нельзя... ну, да что объ этомъ толковать... Только сижу я разъ послѣ обѣда подъ окномъ. Тацита читаю, а въ людской, слышу, кто-то кричитъ. Что кричитъ—не разберу, а голосъ Алёнкинъ. Барчукъ, думаю, вѣрно забавляется. Всталъ, подхожу къ людской. Слышу, Алёнка плачетъ и сквозь слезы кричитъ: «стыдно вамъ», «Бога вы не боитесь» и разное такое. Смотрю, Алёнка стоитъ на чердакѣ надъ приставной лѣстницей, а малецъ мой подъ лѣстницей, такъ что бабѣ никакъ нельзя сойти. Стыдно... ну, знаете, какъ онѣ ходятъ... просто. А онъ еще ее поддразниваетъ: «лѣзь, говоритъ,—а то отставлю лѣстницу». Зло меня такое взяло, что я вошелъ въ сѣни да и далъ ему затрещину.

— Такую, что у него изъ уха и изъ носа кровь хлынула,—засмѣявшись, подсказалъ Челновскій.

— Какая тамъ на его долю выросла.

— Что же вамъ мать?

— Да я ее послѣ не глядѣлъ. Я изъ людской прямо въ Курскъ пошелъ.

— Сколько же это верстъ?

— Сто семьдесятъ; да хоть бы и тысяча-семьсотъ, такъ это все равно.

Если бы вы видѣли въ эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему, въ самомъ дѣлѣ, *все равно*, сколько верстъ ни пройти и кому ни дать затрещину, если, по его соображеніямъ, затрещину эту дать слѣдуетъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Начался знойный іюнь. Василій Петровичъ являлся къ намъ аккуратно всякій день часовъ въ 12, снималъ свой коленкоровый галстукъ, подтяжки и, сказавъ обоимъ намъ «здравствуйте», усаживался за своихъ классиковъ. Такъ проходило время до обѣда; послѣ же обѣда онъ закуривалъ трубочку и, ставъ у окна, обыкновенно спрашивалъ: «что жъ,

кондиціи?» Прошелъ мѣсяцъ съ того дня, какъ Овцебыкъ каждый день повторялъ этотъ вопросъ Челновскому, и цѣлый мѣсяцъ всякій день онъ слышалъ одинъ и тотъ же самый неутѣшительный отвѣтъ. Мѣста даже и въ виду не было. Василія Петровича, повидимому, это, однако, нисколько не обходило. Онъ кушалъ съ прекраснымъ аппетитомъ и былъ постоянно въ своемъ неизмѣнномъ настроеніи духа. Только разъ или два я видѣлъ его раздраженнѣе обыкновеннаго: но и эта раздражительность не имѣла никакого соотношенія съ положеніемъ дѣлъ Василія Петровича. Она происходила отъ двухъ совершенно стороннихъ обстоятельствъ. Разъ онъ встрѣтился съ бабой, которая рыдала впричетъ, и спросилъ ее своимъ басомъ: «чего, дура, ревешь?» Баба сначала испугалась, а потомъ разсказала, что у нея изловили сына и завтра ведутъ его въ рекрутскій пріемъ. Василій Петровичъ вспомнилъ, что дѣлопроизводитель въ рекрутскомъ присутствіи былъ его товарищемъ по семинаріи, сходилъ къ нему рано утромъ и возвратился необыкновенно разстроеннымъ. Ходатайство его оказалось несостоятельнымъ. Въ другой разъ партію малолѣтнихъ еврейскихъ рекрутиковъ перегоняли черезъ городъ. Въ ту пору наборы были частые. Василій Петровичъ, закусивъ верхнюю губу и подперши фертомъ руки, стоялъ подъ окномъ и внимательно смотрѣлъ на обозъ провозимыхъ рекрутъ. Обывательскія подводы медленно тянулись; телѣги, прыгая по губернской мостовой изъ стороны въ сторону, качали головки дѣтей, одѣтыхъ въ сѣрыя шинели изъ солдатскаго сукна. Большія сѣрыя шапки надвигались имъ на глаза и придавали ужасно печальный видъ красивымъ личикамъ и умнымъ глазенкамъ, съ тоскою и вмѣстѣ съ дѣтскимъ любопытствомъ смотрѣвшимъ на новый городъ и на толпы мѣщанскихъ мальчишекъ, бѣжавшихъ вприпрыжку за телѣгами. Сзади шли двѣ кухарки.

— Тоже, чай, матери гдѣ-нибудь есть?—сказала, поровнявшись съ нашимъ окномъ, одна рослая, рябая кухарка.

— Гляди, можетъ, и есть,—отвѣчала другая, запустивъ локти подъ рукава и скребя ногтями свои руки.

— И вѣдь имъ, небось, хоть и жиденята, а жалко ихъ?

— Да вѣдь что жъ, матка, дѣлать!

— Разумѣется, а только по материнству-то?

— Да, по материнству,—конечно... своя утроба... А нельзя...

— Конечно.

— Дуры!—крикнулъ имъ Василій Петровичъ.

Женщины остановились, взглянули на него съ удивленіемъ, обѣ вразъ сказали: «чего, гладкій песъ, лаешься», и пошли дальше.

Мнѣ захотѣлось пойти посмотрѣть, какъ будутъ ссаживать этихъ несчастныхъ дѣтей у гарнизонной казармы.

— Пойдемте, Василій Петровичъ, къ казармамъ,—позвалъ я Богословскаго.

— Зачѣмъ?

— Посмотримъ, что тамъ съ ними будутъ дѣлать.

Василій Петровичъ ничего не отвѣчалъ; но когда я взялся за шляпу, онъ тоже всталъ и пошелъ вмѣстѣ со мною. Гарнизонныя казармы, куда привезли переходящую партію еврейскихъ рекрутиковъ, были отъ насъ довольно далеко. Когда мы подошли, телѣги уже были пусты и дѣти стояли правильной шеренгой въ два ряда. Партіонный офицеръ съ унтеръ-офицеромъ дѣлалъ имъ повѣрку. Вокругъ шеренги толпились зрители. Около одной телѣги тоже стояло нѣсколько дамъ и священникъ съ бронзовымъ крестомъ на владимірской лентѣ. Мы подошли къ этой телѣгѣ. На ней сидѣлъ одинъ больной мальчикъ лѣтъ девяти и жадно ѣлъ пирогъ съ творогомъ; другой лежалъ, укрывшись шинелью, и не обращалъ ни на что вниманія; по его раскраснѣвшемуся лицу и по глазамъ, горѣвшимъ болѣзненнымъ свѣтомъ, можно было полагать, что у него лихорадка, а можетъ-быть тифъ.

— Ты боленъ?—спросила одна дама мальчика, глотавшаго куски непережованнаго пирога.

— А?

— Боленъ ты?

Мальчикъ замоталъ головой.

— Ты не боленъ?—опять спросила дама.

Мальчикъ снова замоталъ головой.

— Онъ не конпранъ-па—не понимаетъ,—замѣтилъ священникъ и сейчасъ же самъ спросилъ:—Ты ужъ крещеный?

Ребенокъ задумался, какъ бы припоминая что-то знакомое въ сдѣланномъ ему вопросѣ, и, опять махнувъ головкой, сказалъ:—«Не, не».

— Какой хорошенькій!—проговорила дама, взявъ ребенка

за подбородокъ и приподнявъ кверху его миловидное личико съ черными глазками.

— Гдѣ твоя мать?—неожиданно спросилъ Овцебыкъ, дернувъ слегка ребенка за шинель.

Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василія Петровича, потомъ на окружающихъ, потомъ на ундера и опять на Василія Петровича.

— Мать, мать гдѣ?—повторилъ Овцебыкъ.

— Мама?

— Да, мама, мама?

— Мама...—ребенокъ махнулъ рукой вдаль.

— Дома?

Рекрутъ подумалъ и кивнулъ головою въ знакъ согласія.

— Памятуетъ еще,—вставилъ священникъ и спросилъ:— Брудеры есть?

Дитя сдѣлало едва замѣтный отрицательный знакъ.

— Врешь, врешь, одинъ не берутъ въ рекрутъ. Врать нихтъ гутъ, нейнъ,—продолжалъ священникъ, думая употребленіемъ именительныхъ падежей придать болѣе понятности своему разговору.

— Я бродягесъ,—проговорилъ мальчикъ.

— Что-о?

— Бродягесъ,— яснѣе высказалъ ребенокъ.

— А, бродягесъ! Это по-русски значитъ онъ бродяга, за бродяжество отданъ! читалъ я этотъ законъ о нихъ, о еврейскихъ младенцахъ, читалъ... Бродяжество положено искоренить. Ну, это и правильно: осѣдлый сиди дома, а бродяжкѣ все равно бродить, и онъ приметъ святое крещеніе, и исправится, и въ люди выйдетъ,—говорилъ священникъ; а тѣмъ временемъ перекличка окончилась, и ундеръ, взявъ подъ уздцы лошадь, дернулъ телѣгу съ больными къ казарменному крыльцу, по которому длинною вереницею и поползли малолѣтніе рекруты, тянувшіе за собою сумочки и полы неуклюжихъ шинелей. Я сталъ искать глазами моего Овцебыка; но его не было. Не было его и къ ночи, и на другой, и на третій день къ обѣду. Послали мальчика на квартиру Василія Петровича, гдѣ онъ жилъ съ семинаристами,— и тамъ его не бывало. Маленькіе семинаристики, съ которыми жилъ Овцебыкъ, давно привыкли не видать Василія Петровича по цѣлымъ недѣлямъ и не обращали никакого

вниманія на его исчезновеніе. Челновскій тоже нимало не безпокоился.

— Придетъ, говорилъ онъ,—бродитъ гдѣ-нибудь или спитъ во ржи, и ничего больше.

Нужно знать, что Василій Петровичъ, по собственному его выраженію, очень любилъ «логовища», и логовищъ этихъ у него было довольно много. Кровать съ голыми досками, стоявшая на его квартирѣ, никогда долго не покоила его тѣла. Только изрѣдка, заходя домой, онъ улаживался на нее, дѣлалъ мальчикамъ неожиданный экзаменъ съ какимъ-нибудь курьезнымъ вопросомъ въ концѣ каждаго испытанія, и затѣмъ кровать эта опять стояла пустою. У насъ онъ спалъ рѣдко, и обыкновенно или на крыльцѣ, или, если съ вечера заходилъ горячій разговоръ, не доконченный къ ночи, то Овцебыкъ ложился на полу между нашими кроватями, не позволяя себѣ подостлать ничего, кромѣ рѣденькаго половика. Утромъ рано онъ уходилъ или въ поле, или на кладбище. На кладбищѣ онъ бывалъ всякій день. Придетъ, бывало, уляжется на зеленой могилѣ, разложитъ передъ собою книгу какого-нибудь латинскаго писателя и читаетъ, а то свернетъ книгу, подложитъ ее подъ голову да смотритъ на небо.

— Вы—жилецъ могилъ, Василій Петровичъ!—говорили ему знакомыя Челновскаго барышни.

— Глупости говорите,—отвѣчалъ Василій Петровичъ.

— Вы—упырь,—говорилъ ему блѣдный уѣздный учитель, прослывшій за литератора съ тѣхъ поръ, какъ въ губернскихъ вѣдомостяхъ напечатали его ученую статью.

— Глупости сочиняете,—отвѣчалъ Овцебыкъ и ему, и опять отправлялся къ своимъ покойникамъ.

Чудачества Василія Петровича пріучили весь небольшой кружокъ его знакомыхъ не удивляться ни одной его выходкѣ, а потому никто и не удивился его быстрому и неожиданному исчезновенію. Но онъ долженъ же былъ возвратиться. Никто и не сомнѣвался, что онъ возвратится: вопросъ былъ только въ томъ, куда онъ скрылся? гдѣ онъ скитается? что его такъ раздражало и чѣмъ онъ врачуетъ себя отъ этихъ раздраженій?—это были вопросы, разрѣшеніе которыхъ представляло для моей скуки довольно большой интересъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Прошло еще три дня. Погода стояла прекрасная. Могучая и щедрая природа наша жила полною своею жизнью. Было новолунье. Послѣ жаркаго дня наступила свѣтлая, роскошная ночь. Въ такія ночи курскіе жители наслаждаются своими курскими соловьями: соловьи свищутъ имъ напролетъ цѣлыя ночи, а они напролетъ цѣлыя ночи ихъ слушаютъ въ своемъ большомъ и густомъ городскомъ саду. Всѣ, бывало, ходятъ тихо и молчаливо, и лишь только одни молодые учители жарко спорятъ «о чувствахъ высокаго и прекраснаго», или о «дилетантизмѣ въ наукѣ». Жарки бывали эти громкіе споры. Даже въ самыя отдаленныя куртины стараго сада, бывало, доносятся возгласы: «это дилемма!» «позвольте!», «a priori разсуждать нельзя», «идите индуктивнымъ способомъ» и т. п. Тогда у насъ еще спорили о подобныхъ предметахъ. Теперь такихъ споровъ не слышно. «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и пѣсни». Теперешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, съ которымъ я жилъ въ Курскѣ въ эпоху моего разсказа. Вопросы, занимающіе насъ теперь, тогда еще не поднимались, и во множествѣ головъ свободно и властно господствовалъ романтизмъ, господствовалъ, не предчувствуя приближенія новыхъ направленій, которыя заявятъ свои права на русскаго человѣка и которыя русскій человѣкъ, извѣстнаго развитія, приметъ, какъ онъ принимаетъ все, то-есть не совсѣмъ искренно, но горячо, съ аффектаціею и съ пересоломъ. Тогда еще мужчины не стыдились говорить о чувствахъ высокаго и прекраснаго, а женщины любили идеальныхъ героевъ, слушали соловьевъ, свиставшихъ въ густыхъ кустахъ цвѣтущей сирени, и всласть заслушивались турухтановъ, таскавшихъ ихъ подъ руку по темнымъ аллеямъ и разрѣшавшихъ съ ними мудрыя задачи *святой любви*.

Мы пробыли съ Челновскимъ въ саду до 12 часовъ, много хорошаго слышали и о высокомъ, и о святой любви, и съ удовольствіемъ улеглись въ наши постели. Огонь у насъ былъ уже погашенъ; но мы еще не спали и лежа сообщали другъ другу свои вечернія впечатлѣнія. Ночь была во всемъ своемъ величіи, и соловей подъ самымъ окномъ громко щелкалъ и заливался своею страстною пѣснью.

Мы уже собирались пожелать другъ другу покойной ночи, какъ вдругъ изъ-за забора, отдѣлявшаго отъ улицы садикъ, въ который выходило окно нашей спальни, кто-то крикнулъ: «ребята!»

— Это—Овцебыкъ,—сказалъ Челновскій, быстро поднявъ голову съ подушки.

Мнѣ показалось, что онъ ошибся.

— Нѣтъ, это Овцебыкъ, — настаивалъ Челновскій и, вставъ съ постели, высунулся въ окно.

Все было тихо.

— Ребята!—опять крикнулъ подъ заборомъ тотъ же самый голосъ.

— Овцебыкъ!—окликнулъ Челновскій.

— Я.

— Иди же.

— Ворота заперты.

— Постучись.

— Зачѣмъ будить. Я только хотѣлъ узнать, не спите ли?

За заборомъ послышалось нѣсколько тяжелыхъ движеній, и вслѣдъ затѣмъ Василій Петровичъ, какъ куль съ землею, упалъ въ садикъ.

— Экой чортушко!—сказалъ Челновскій, смѣясь и смотря, какъ Василій Петровичъ поднимался съ земли и пробирался къ окну сквозь густые кусты акаціи и сирени.

— Здравствуйте! — весело проговорилъ Овцебыкъ, показавшись въ окнѣ.

Челновскій отставилъ отъ окна столикъ съ туалетными принадлежностями, и Василій Петровичъ перенесъ сначала одну изъ своихъ ногъ, потомъ сѣлъ верхомъ на подоконникъ, потомъ перенесъ другую ногу и, наконецъ, совсѣмъ явился въ комнатѣ.

— Ухъ! уморился,—проговорилъ онъ, снялъ свое пальто и подалъ намъ руки.

— Сколько верстъ отмахалъ?—спросилъ его Челновскій, ложась снова въ свою постель.

— Въ Погодовѣ былъ.

— У дворника?

— У дворника.

— Ѣсть будешь?

— Если есть что, такъ буду.

— Побуди мальчика!

— Ну, его, сопатаго!
— Отчего?
— Пусть спитъ.
— Да что ты юродствуешь!—Челновскій громко крикнулъ:—Моисей!
— Не буди, говорю тебѣ; пусть спитъ.
— Ну, а я не найду, чѣмъ тебя кормить.
— И не надо.
— Да вѣдь ты ѣсть хочешь?
— Не надо, говорю; я вотъ что́, братцы...,
— Что, братецъ?
— Я къ вамъ пришелъ проститься.

Василій Петровичъ сѣлъ на кровать къ Челновскому и взялъ его дружески за колѣно.

— Какъ проститься?
— Не знаешь какъ прощаются?
— Куда жъ это ты собрался?
— Пойду, братцы, далеко.

Челновскій всталъ и зажегъ свѣчу. Василій Петровичъ сидѣлъ и на лицѣ его выражалось спокойствіе и даже счастье.

— Дай-ка мнѣ на тебя посмотрѣть,—сказалъ Челновскій.
— Посмотри, посмотри,—отвѣчалъ Овцебыкъ, улыбаясь своей нескладной улыбкой.
— Что же твой дворникъ дѣлаетъ?
— Сѣно и овесъ продаетъ.
— Потолковали съ нимъ про неправды безсудныя, про обиды безмѣрныя?
— Потолковали.
— Что жъ, это онъ, что ли, тебѣ какой походъ насовѣтовалъ?
— Нѣтъ, я самъ надумалъ.
— Въ какія жъ ты направишься палестины?
— Въ пермскія.
— Въ пермскія?
— Да, чего удивился!
— Что ты забылъ тамъ?

Василій Петровичъ всталъ, прошедши по комнатѣ, закрутилъ свои виски и проговорилъ про себя: «это ужъ мое дѣло».

— Эй, Вася, дуришь ты,—сказалъ Челновскій.

Овцебыкъ молчалъ и мы молчали.

Это было тяжелое молчаніе. И я, и Челновскій поняли, что передъ нами стоитъ агитаторъ,—агитаторъ искренній и безстрашный. И онъ понялъ, что его понимаютъ, и вдругъ вскрикнулъ:

— Что жъ мнѣ дѣлать! Сердце мое не терпитъ этой цивилизаціи, этой нобилизаціи, этой стерворизаціи!..—И онъ крѣпко ударилъ себя кулакомъ въ грудь, и тяжело опустился на кресло.

— Да что жъ ты подѣлаешь?

— О, когда бъ я зналъ, что съ этимъ можно сдѣлать! О, когда бы это знать!.. Я на-ощупь иду.

Всѣ замолчали.

— Можно курить?—спросилъ Богословскій послѣ продолжительной паузы.

— Кури, пожалуйста.

— Я здѣсь съ вами на полу прилягу,—это будетъ моя вечеря.

— И отлично.

— Поговоримъ,—представь... молчу-молчу, и вдругъ мнѣ приходитъ охота говорить.

— Ты чѣмъ-нибудь разстроился.

— Ребятенокъ мнѣ жалко,—сказалъ онъ и сплюнулъ черезъ губу.

— Какихъ?

— Ну, моихъ, кутейниковъ.

— Чего жъ тебѣ ихъ жаль?

— Изгадятся они безъ меня.

— Ты самъ ихъ гадишь.

— Ври.

— Конечно: ихъ учатъ на одно, а ты ихъ переучиваешь на другое.

— Ну такъ что жъ?

— Ничего и не будетъ.

Вышла пауза.

— А я вотъ что скажу тебѣ,—проговорилъ Челновскій:—женился бы ты, взялъ бы къ себѣ старуху-мать, да былъ бы добрымъ попомъ—отличное бы дѣло сдѣлалъ.

— Ты мнѣ этого не говори! Не говори ты мнѣ этого!

— Богъ съ тобой,—отвѣчалъ Челновскій, махнувъ рукой.

Василій Петровичъ опять заходилъ по комнатѣ и, остановясь передъ окномъ, продекламировалъ:

Стой одинъ передъ грозою,
Не призывай къ себѣ жены.

— И стихи выучилъ,—сказалъ Челновскій, улыбаясь и показывая мнѣ на Василья Петровича.

— Умные только,—отвѣчалъ тотъ, не отходя отъ окна.

— Такихъ умныхъ стиховъ не мало есть, Василій Петровичъ,—сказалъ я.

— Все—дребедень.

— А женщины—все дрянь?

— Дрянь.

— А Лидочка?

— Что же Лидочка?—спросилъ Василій Петровичъ, когда ему напомнили имя очень милой и необыкновенно несчастной дѣвушки—единственнаго женскаго существа въ городѣ, которое оказывало Василью Петровичу всяческое вниманіе.

— Вамъ не будетъ о ней скучно?

— Что это вы говорите?—спросилъ Овцебыкъ, расширивъ свои глаза и пристально уставивъ ихъ на меня.

— Такъ говорю. Она—хорошая дѣвушка.

— Ну, такъ что жъ, что хорошая?

Василій Петровичъ помолчалъ, выколотилъ о подоконникъ свою трубку и задумался.

— Паршивые! — проговорилъ онъ, закуривая вторую трубку.

Челновскій и я разсмѣялись.

— Чего васъ разбираетъ?—спросилъ Василій Петровичъ.

— Это дамы, что ли, у тебя паршивыя?

— Дамы! Не дамы, а жиды.

— Къ чему жъ ты тутъ жидовъ вспомнилъ?

— А чортъ ихъ знаетъ, чего они помнятся: у меня мать, да и у нихъ у каждаго есть по матери, и всѣ знаютъ,—отозвался Василій Петровичъ и, задувъ свѣчку, съ трубкою въ зубахъ, повалился на половой коврикъ.

— Это ты еще не забылъ?

— Я, братъ, памятливъ.

Василій Петровичъ тяжело вздохнулъ.

— Подохнутъ, сопатые, дорогой,—сказалъ онъ, помолчавъ.

— Пожалуй.

— И лучше.

— Экое у него и сострадáніе-то мудреное,—сказалъ Челновскій.

— Нѣтъ, это у васъ все мудреное. У меня, братъ, все простое, мужицкое. Я вашихъ чохъ-мохъ не разумѣю. У васъ все такое въ головѣ, чтобъ и овцы были цѣлы, и волки сыты, а этого нельзя. Этакъ не бываетъ.

— Какъ же по-твоему будетъ хорошо?

— А хорошо будетъ, какъ Богъ дастъ.

— Богъ самъ ничего въ людскихъ дѣлахъ не дѣлаетъ.

— Понятно, что все люди будутъ дѣлать.

— Когда они станутъ людьми,—сказалъ Челновскій.

— Эхъ, вы, умники! Посмотришь на васъ, будто и въ самомъ дѣлѣ вы что знаете, а ничего вы не знаете,—энергически воскликнулъ Василій Петровичъ. — Дальше своего дворянскаго носа вамъ ничего не видать, да и не увидать. Вы бы въ моей шкурѣ пожили съ людьми, да съ мое походили, такъ и узнали бы, что нечего нюни-то нюнить. Ишь ты, чортъ этакой! и у него тоже дворянскія привычки,— переломилъ неожиданно Овцебыкъ и всталъ.

— У кого это дворянскія привычки?

— У собаки, у Боксы. У кого же еще?

— Какія жъ это у ней дворянскія привычки?—спросилъ Челновскій.

— Дверей не затворяетъ.

Мы тутъ только замѣтили, что черезъ комнату дѣйствительно тянулъ сквозной вѣтеръ.

Василій Петровичъ всталъ, затворилъ дверь изъ сѣней и заперъ ее на крючокъ.

— Спасибо,—сказалъ ему Челновскій, когда онъ возвратился и снова растянулся на коврикѣ.

Василій Петровичъ ничего не отвѣчалъ, набилъ еще трубочку и, закуривъ ее, неожиданно спросилъ:

— Что въ книжкахъ брешутъ?

— Въ которыхъ?

— Ну, въ вашихъ журналахъ?

— О разныхъ вещахъ пишутъ, всего не разскажешь.

— О прогрессѣ все, небось?

— И о прогрессѣ.

— А о народѣ?

— И о народѣ.

— О, горе симъ мытарямъ и фарисеямъ!—вздохнувъ, произнесъ Овцебыкъ.—Болты болтаютъ, а сами ничего не знаютъ.

— Отчего ты, Василій Петровичъ, думаешь, что ужъ, кромѣ тебя, никто ничего не знаетъ о народѣ? Вѣдь это, братъ, самолюбіе въ тебѣ говоритъ.

— Нѣтъ, не самолюбіе. А вижу я, что подло всѣ занимаются этимъ дѣломъ. Все на язычничествѣ выѣзжаютъ, а на дѣло—никого. Нѣтъ, ты дѣло дѣлай, а не бреши. А то любовь-то за обѣдомъ разгорается. Повѣсти пишутъ, разсказы!—прибавилъ онъ, помолчавъ,—эхъ, язычники! фарисеи проклятые! А сами, небось, не тронутся. Толокномъ-то боятся подавиться. Да и хорошо, что не трогаются,—прибавилъ онъ, помолчавъ немного.

— Отчего же это хорошо?

— Да все оттого жъ, говорю,—что толокномъ подавятся, доведется ихъ въ загорбокъ бить, чтобы прокашлянули, а они заголосятъ: «бьютъ насъ!» Такимъ развѣ повѣрятъ! А ты,—продолжалъ онъ, сѣвъ на своей постели:—надѣнь эту же замашную рубашку, да чтобы она тебѣ бока не мусолила; ѣшь тюрю, да не морщися, да не лѣнись свинью во дворъ загнать: вотъ тогда тебѣ и повѣрятъ. Душу свою клади, да такъ, чтобъ видѣли, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй. Людіе мой, людіе мои! что бы я ни сотворилъ вамъ?.. Людіе мой, людіе мои! что бы я вамъ ни отдалъ?—Василій Петровичъ задумался, потомъ поднялся во весь свой ростъ и, протянувъ руки ко мнѣ и къ Челновскому, сказалъ:—«Ребята! смутные дни настаютъ, смутные. Часу медлить нельзя, а то придутъ лжепророки, и я голосъ ихъ слышу проклятый и ненавистный. Во имя народа будутъ уловлять и губить васъ. Не смущайтесь сими зовущими, и если силы воловьей въ хребтахъ своихъ не чувствуете, ярма на себя не вскладывайте. Не въ числѣ людей дѣло. Пятью пальцами блохи не изловишь, а однимъ можно. Я отъ васъ, какъ и отъ другихъ, большого проку не жду. Это—не ваша вина, вы жидки на густое дѣло. Но, прошу васъ, заповѣдь одну мою братскую соблюдите: не брешите вы никогда на вѣтеръ! Эй, право, вредъ въ этомъ великій есть! Эй, вредъ! Ногъ не подставляйте, и будетъ съ васъ, а намъ, вотъ такимъ Овцебыкамъ,—сказалъ онъ, ударивъ себя въ грудь,—намъ этого мало. На насъ кара небесная

падетъ, коли этимъ удовольствуемся. «Мы свои своимъ, и свои насъ познаютъ».

Долго и много говорилъ Василій Петровичъ. Онъ никогда такъ много не говорилъ и такъ ясно не высказывался. На небѣ уже брезжилась зорька и въ комнатѣ замѣтно сѣрѣло, а Василій Петровичъ все еще не умолкъ. Коренастая фигура его дѣлала энергическія движенія, и сквозь прорѣхи старой ситцевой рубашки было замѣтно, какъ высоко поднималась его мохнатая грудь.

Мы заснули въ четыре часа, а проснулись въ девять. Овцебыка уже не было, и съ тѣхъ поръ я не видалъ его ровно три года. Чудакъ въ то же утро ушелъ въ страны, рекомендованныя ему его пріятелемъ, содержателемъ постоялаго двора въ Погодовѣ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ нашей губерніи есть довольно много монастырей, которые построены въ лѣсахъ и называются «пустынями». Моя бабушка была очень религіозная старушка. Женщина стараго вѣка, она питала неодолимую страсть къ путешествіямъ по этимъ пустынямъ. Она на память знала не только исторію каждаго изъ этихъ уединенныхъ монастырей, но знала всѣ монастырскія легенды, исторію иконъ, чудотворенія, какія тамъ сказывали, знала монастырскія средства, ризницу и все прочее. Это былъ ветхій, но живой указатель къ святынямъ нашего края. Въ монастыряхъ тоже всѣ знали старушку и принимали ее необыкновенно радушно, несмотря на то, что она никогда не дѣлала никакихъ очень цѣнныхъ приношеній кромѣ воздуховъ, вышиваньемъ которыхъ занималась цѣлую осень и зиму, когда погода не позволяла ей путешествовать. Въ гостиницахъ П—ской и Л—ской пустыни къ Петрову дню и Успенію всегда оставляли для нея двѣ комнаты. Мели ихъ, чистили и никому не отдавали даже подъ самый день праздника.

— Александра Васильевна пріѣдетъ, — говорилъ всѣмъ отецъ-казначей:—не могу отдать ея комнатъ.

И дѣйствительно, бабушка моя пріѣзжала.

Разъ какъ-то она совсѣмъ запоздала, а народу наѣхало на праздникъ въ пустынь множество. Ночью, передъ заутреней, пріѣхалъ въ Л—скую пустынь какой-то генералъ и требовалъ себѣ лучшаго номера въ гостиницѣ. Отецъ-казна-

чей былъ въ затруднительномъ положеніи. Первый разъ моя бабушка пропускала престольный праздникъ пустыннаго храма. «Умерла, видно, старуха», подумалъ онъ, но, взглянувъ на свои луковицеобразные часы и увидавъ, что до заутрени еще остается два часа, онъ все-таки не отдалъ ея комнатъ генералу и спокойно отправился въ келью читать свою «полунощницу». Прогудѣлъ три раза большой монастырскій колоколъ; въ церкви замелькала горящая свѣчечка, съ которою служка суетился передъ иконостасомъ, зажигая ставники. Народъ, позѣвывая и крестя рты, толпами повалилъ въ церковь, и моя милая старушка, въ чистомъ дикенькомъ платьицѣ и въ бѣломъ, какъ снѣгъ, чепцѣ московскаго фасона 12-го года, входила уже въ сѣверныя двери, набожно крестясь и шепча: «За утро услыши гласъ мой, Царю мой и Боже мой!» Когда іеродіаконъ возгласилъ свое торжественное «возстаните!», бабушка уже была въ темномъ уголкѣ и клала земные поклоны за души усопшихъ. Отецъ-казначей, подпуская богомольцевъ ко кресту, послѣ ранней обѣдни, нимало не удивился, увидѣвъ старуху, и, подавъ ей изъ-подъ рясы просфору, очень спокойно сказалъ: «Здравствуй, мать Александра!» Бабушку въ пустыняхъ только молодые послушники звали Александрой Васильевной, а старики иначе ей не говорили, какъ «мать Александра». Богомольная старушка наша, однако, никогда не была ханжою и не корчила изъ себя монахини Несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, она всегда была одѣта чисто, какъ колпикъ. Свѣженькое дикое или зеленое ситцевое платьице, высокій тюлевый чепчикъ, съ дикими лентами, и ридикюль съ вышитой собачкой,—все было свѣжо и наивно-кокетливо у доброй старушки. Ѣздила она въ пустыни въ деревенской безрессорной кибиткѣ на парѣ старыхъ рыжихъ кобылокъ очень хорошей породы. Одну изъ нихъ (мать) звали «Щеголихой», а другую (дочь)—«Нежданкою». Послѣдняя получила свое названіе оттого, что явилась на свѣтъ совершенно неожиданно. Обѣ эти лошадки у бабушки были необыкновенно смирны, рѣзвы и добронравны, и путешествіе на нихъ, съ елейной старушкой и съ ея добродушнѣйшимъ старичкомъ кучеромъ Ильею Васильевичемъ, составляло для меня во всѣ годы моего дѣтства наивысочайшее наслажденіе.

Я былъ адъютантомъ старушки съ самаго ранняго воз-

раста. Еще шести лѣтъ я съ ней отправился, въ первый разъ, въ Л—скую пустынь на рыжихъ ея кобылкахъ, и съ тѣхъ поръ сопровождалъ ее каждый разъ, пока меня десяти лѣтъ отвезли въ губернскую гимназію. Поѣздка по монастырямъ имѣла для меня очень много привлекательнаго. Старушка умѣла необыкновенно поэтизировывать свои путешествія. Ѣдемъ, бывало, рысцой; кругомъ такъ хорошо: воздухъ ароматный; галки прячутся въ зеленяхъ; люди встрѣчаются, кланяются намъ, и мы имъ кланяемся. По лѣсу, бывало, идемъ пѣшкомъ; бабушка мнѣ разсказываетъ о двѣнадцатомъ годѣ, о можайскихъ дворянахъ, о своемъ побѣгѣ изъ Москвы, о томъ, какъ гордо подходили французы, и о томъ, какъ потомъ безжалостно морозили и били французовъ. А тутъ постоялый дворъ, знакомые дворники, бабы съ толстыми брюхами и съ фартуками, подвязанными выше грудей, просторные выгоны, по которымъ можно бѣгать,—все это плѣняло меня и имѣло для меня обаятельную прелесть. Бабушка примется въ горенкѣ за свой туалетъ, а я отправляюсь подъ прохладный тѣнистый навѣсъ къ Ильѣ Васильевичу, ложусь возлѣ него на вязкѣ сѣна и слушаю разсказъ о томъ, какъ Илья возилъ въ Орлѣ императора Александра Павловича; узнаю, какое это было опасное дѣло, какъ много было экипажей и какимъ опасностямъ подвергался экипажъ императора, когда при съѣздѣ съ горы къ Орлику у хлоповскаго кучера лопнули вожжи и какъ тутъ одинъ онъ, Илья Васильичъ, своею находчивостью спасъ жизнь императора, собиравшагося уже выпрыгнуть изъ коляски. Ѳеакійцы не слушали такъ Одиссея, какъ слушалъ я кучера Илью Васильевича. Въ самыхъ же пустыняхъ у меня были пріятели. Меня очень любили два старичка: игуменъ П—ской пустыни и отецъ-казначей Л—ской пустыни. Первый, высокій, блѣдный старикъ, съ добрымъ, но строгимъ лицомъ, не пользовался, однако, моею привязанностью; но зато отца-казначея я любилъ отъ всего моего маленькаго сердца. Это было добродушнѣйшее созданіе въ подлунномъ мірѣ, о которомъ, мимоходомъ сказать, онъ ничего не вѣдалъ, и въ этомъ-то его невѣдѣніи, какъ мнѣ теперь кажется, и лежала основа безграничной любви этого старика къ человѣчеству.

Но, кромѣ этихъ, такъ сказать, аристократическихъ знакомствъ съ пустыноначальниками, у меня были демокра-

тическія связи съ пустынными плебеями: я очень любилъ послушниковъ—этотъ странный классъ, въ которомъ обыкновенно преобладаютъ двѣ страсти: лѣность и самолюбіе, но иногда встрѣчается запасъ веселой безпечности и чисторусскаго равнодушія къ самому себѣ.

— Какъ вы почувствовали призваніе поступить въ монастырь?—спросишь, бывало, кого-нибудь изъ послушниковъ.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ онъ:—призванія не было, а я такъ поступилъ.

— А вы примете монашество?

— Безпремѣнно.

Выйти изъ монастыря послушнику кажется безусловно невозможнымъ, хотя онъ и знаетъ, что ему никто въ этомъ препятствовать не станетъ. Я въ дѣтствѣ очень любилъ этотъ народъ, веселый, шаловливый, отважный и добродушно-лицемѣрный. Пока послушникъ послушникомъ или «слимакомъ», на него никто не обращаетъ вниманія, и потому никто и не знаетъ его натуры; а съ тѣмъ, какъ послушникъ надѣваетъ рясу и клобукъ, онъ рѣзко измѣняетъ и свой характеръ, и свои отношенія къ ближнимъ. Пока же онъ послушникъ, онъ — существо необыкновенно общежительное. Какіе гомерическіе кулачные бои я помню въ монастырскихъ хлѣбопекарняхъ. Какія пѣсни удалыя пѣлись вполголоса на стѣнахъ, когда пять или шесть рослыхъ, красивыхъ послушниковъ медленно прогуливались на нихъ и зорко поглядывали за рѣчку, за которой звонкими, взманывающими женскими голосами пѣлась другая пѣсня,—пѣсня, въ которой звучали крылатые зовы: «киньтеся, бросьтеся, во зелены гаи бросьтеся». И я помню, какъ, бывало, мятутся слимаки, слушая эти пѣсни, и, не утерпѣвъ, бросаются въ зеленые гаи. О! Я все это очень хорошо помню. Не забылъ я ни одного урока, ни въ пѣніи кантатъ, сочиненныхъ на самыя оригинальныя темы, ни въ гимнастикѣ, для упражненія въ которой, впрочемъ, высокія монастырскія стѣны были не совсѣмъ удобны, ни въ умѣніи молчать и смѣяться, сохраняя на лицѣ серьезное выраженіе. Болѣе же всего я любилъ рыбную ловлю на монастырскомъ озерѣ. Мои пріятели-послушники тоже считали праздникомъ поѣздку на это озеро. Рыбная ловля въ ихъ однообразной жизни была единственнымъ занятіемъ, при которомъ они могли хоть немножко разгуляться и по-

пробовать крѣпость своихъ молодыхъ мышцъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ этой рыбной ловлѣ было очень много поэтическаго. Отъ монастыря до озера было восемь или десять верстъ, которыя надо было пройти пѣшкомъ по очень густому чернолѣску. Отправлялись на ловлю обыкновенно передъ вечерней. На телѣгѣ, запряженной толстою и очень старою монастырскою лошадью, лежали неводъ, нѣсколько ведеръ, бочка для рыбы и багры; но на телѣгѣ никто не сидѣлъ. Вожжи были взвязаны у телѣжной грядки, и если лошадь сбивалась съ дороги, то послушникъ, исправлявшій должность кучера, только подходилъ и дергалъ ее за вожжу. Но, впрочемъ, лошадь почти никогда и не сбивалась, да и не могла сбиться, потому что отъ монастыря до озера по лѣсу была всего одна дорожка, и то такая колеистая, что коню никогда не приходило охоты вытаскивать колесъ изъ глубокихъ колей. Съ нами для надзора посылали всегда старца Игнатія, глухого и подслѣповатаго старичка, принимавшаго когда-то въ своей кельѣ императора Александра I и вѣчно забывавшаго, что Александръ I уже не царствуетъ. Отецъ Игнатій ѣздилъ на крошечной телѣжкѣ и самъ правилъ другою толстою лошадью. Я собственно всегда имѣлъ право ѣхать съ отцомъ Игнатіемъ, которому меня особо поручала моя бабушка, и отецъ Игнатій даже позволялъ мнѣ править толстою лошадью, запряженною въ короткія оглобли его телѣжки; но я обыкновенно предпочиталъ идти съ послушниками. А они никогда не шли по дорогѣ. Понемногу, понемногу заберемся, бывало, въ лѣсъ, сначала запоемъ: «Какъ шелъ по пути молодой монахъ, а навстрѣчу ему самъ Іисусъ Христосъ», а тамъ кто-нибудь заведетъ новую пѣсню, и поемъ ихъ одна за другою. Беззаботное, милое время! Благословенье тебѣ, благословенье и вамъ, дающимъ мнѣ эти воспоминанія. Къ ночи только, бывало, дойдемъ мы такъ къ озеру. Тутъ на берегу стояла хатка, въ которой жили два старичка, рясофорные послушники: отецъ Сергій и отецъ Вавила. Оба они были «некнижные», то-есть грамотѣ не умѣли, и исполняли «сторожевое послушаніе» на монастырскомъ озерѣ. Отецъ Сергій былъ человѣкъ необыкновенно искусный въ рукодѣліяхъ. У меня еще теперь есть прекрасная ложка и узорчатый крестъ его работы. Онъ также плелъ сѣти, кубари, лукошки, корзины и разныя такія вещицы. Была

у него очень искусно вырѣзанная изъ дерева статуэтка какого-то святого; но онъ ее показалъ мнѣ всего только одинъ разъ, и то съ тѣмъ, чтобы я никому не говорилъ. Отецъ Вавила, напротивъ, ничего не работалъ. Онъ былъ поэтъ. «Любилъ свободу, лѣнь, покой». Онъ готовъ былъ по цѣлымъ часамъ оставаться надъ озеромъ въ созерцательномъ положеніи и наблюдать, какъ летаютъ дикія утки, какъ ходитъ осанистая цапля, таская повременамъ изъ воды лягушекъ, выпросившихъ ее себѣ въ цари у Зевеса. Тотчасъ передъ хаткою двухъ «некнижныхъ» иноковъ начиналась широкая песчаная полоса, а за нею озеро. Въ хатѣ было очень чисто: стояли двѣ иконы на полочкѣ и двѣ тяжелыя деревянныя кровати, выкрашенныя зеленою масляною краскою, столъ, покрытый суровой ширинкой, и два стула, а по сторонамъ обыкновенныя лавки, какъ въ крестьянской избѣ. Въ углу былъ маленькій шкафикъ съ чайнымъ приборомъ, а подъ шкафикомъ на особой скамеечкѣ стоялъ самоваръ, вычищенный какъ паровикъ на королевской яхтѣ. Все было очень чисто и уютно. Въ кельѣ «некнижныхъ» отцовъ, кромѣ ихъ самихъ, не жилъ никто, кромѣ желтобураго кота, прозваннаго «Капитаномъ» и замѣчательнаго только тѣмъ, что, нося мужское имя и будучи очень долгое время почитаемъ настоящимъ мужчиною, онъ вдругъ, къ величайшему скандалу, окотился и съ тѣхъ поръ не переставалъ размножать свое потомство, какъ кошка.

Изъ всего нашего обоза въ хаткѣ съ отцами «некнижными» укладывался спать, бывало, только одинъ отецъ Игнатій. Я обыкновенно отпрашивался отъ этой чести и спалъ съ послушниками на открытомъ воздухѣ у хатки. Да мы, впрочемъ, почти и не спали. Пока, бывало, разведемъ огонь, вскипятимъ котелокъ воды, засыплемъ жидкую кашицу, бросивъ туда нѣсколько сухихъ карасей, пока поѣдимъ все это изъ большой деревянной чашки — ужъ и полночь. А тутъ, только ляжемъ, сейчасъ заводится сказка, и непремѣнно самая страшная или многогрѣшная. Отъ сказокъ переходили къ былямъ, къ которымъ каждый разсказчикъ, какъ водится, всегда и «небылицъ безъ счета привиралъ». Такъ и ночь зачастую проходила, прежде чѣмъ кто-нибудь собирался заснуть. Разсказы обыкновенно имѣли предметомъ странниковъ и разбойниковъ. Особенно много

такихъ разсказовъ зналъ Тимоѳей Невструевъ, пожилой послушникъ, слывшій у насъ за непобѣдимаго силача и всегда собиравшійся на войну за освобожденіе христіанъ, съ тѣмъ, чтобы всѣхъ ихъ «подъ себя подбить». Онъ исходилъ, кажется, всю Русь, былъ даже въ Палестинѣ, въ Греціи и высмотрѣлъ, что всѣхъ ихъ «подбить можно». Уляжемся, бывало, на веретья, огонекъ еще курится, толстыя лошади, привязанныя у хрѣптуга, пофыркиваютъ надъ овсомъ, а кто-нибудь ужъ и «заводитъ исторію». Я теперь перезабылъ множество этихъ исторій и помню только одну послѣднюю ночь, которую я, благодаря снисходительности моей бабушки, спалъ съ послушниками на берегу П—скаго озера. Тимоѳей Невструевъ былъ не совсѣмъ въ духѣ — въ этотъ день онъ стоялъ посреди церкви на поклонахъ за то, что перелѣзалъ ночью черезъ ограду въ настоятельскомъ садѣ, — и началъ разсказывать Емельянъ Высоцкій, молодой человѣкъ, лѣтъ восемнадцати. Онъ былъ родомъ изъ Курляндіи, брошенъ ребенкомъ въ нашей губерніи и сдѣлался послушникомъ. Мать его была комедіантка, и онъ о ней ничего больше не зналъ; а выросъ онъ у какой-то сердобольной купчихи, пристроившей его девятилѣтнимъ мальчикомъ въ монастырь на послушаніе. Разговоръ начался съ того, что кто-то изъ послушниковъ, послѣ одной разсказанной сказки, вздохнулъ глубоко и спросилъ:

— Отчего это, братцы мои, нѣтъ теперь хорошихъ разбойниковъ?

Никто ничего не отвѣчалъ, и меня начиналъ мучить этотъ вопросъ, котораго я давно никакъ не могъ разрѣшить себѣ. Я тогда очень любилъ разбойниковъ и рисовалъ ихъ на своихъ тетрадяхъ въ плащахъ и съ красными перьями въ шляпахъ.

— Есть и теперь разбойники,—отозвался тоненькимъ голоскомъ послушникъ изъ курляндцевъ.

— Ну, говори, какіе есть теперь разбойники?—спросилъ Невструевъ и закрылся подъ самое горло своимъ коленкоровымъ халатомъ.

— А вотъ, какъ я жилъ еще у Пузанихи,—началъ курляндецъ:—такъ пошли мы одинъ разъ съ матерью Натальею, что̀ изъ Боровска, да съ Аленою, тоже странницею изъ-

подъ Чернигова, на богомолье къ Николаю угоднику амченскому *).

— Это какая Наталья? Бѣлая-то, высокая? Она, что ли?— прервалъ Невструевъ.

— Она,—отвѣтилъ торопливо разсказчикъ и продолжалъ далѣе:—А тутъ на дорогѣ есть село Отрада. Двадцать пять верстъ отъ Орла. Пришли мы въ это село такъ подъ вечеръ. Попросились у мужиковъ ночевать — не пустили; ну, мы пошли на постоялый. На постояломъ по грошу всего берутъ, да тѣснота была страшная! Все — трепачи. Человѣкъ, можетъ, съ сорокъ. Питра у нихъ тутъ зашла, сквернословіе такое, что уходи да и только. Утромъ, какъ возбудила меня мать Наталья, трепачей ужъ не было. Только трое осталось, и то увязывали свои сумочки къ трѣпламъ. Увязали и мы свои сумочки, заплатили три гроша за ночлегъ и тоже пошли. Вышли изъ деревни, смотримъ — и тѣ три трепача за нами. Ну, за нами и за нами. Ничего намъ это невдомекъ. Только мать Наталья этакъ проговорила: «Что, дискать, за диво! Вчера, говоритъ, — эти самые трепачи говорили, ужинавши, что въ Орелъ идутъ, а нынче, гляди, идутъ за нами къ Амченску». Идемъ дальше — трепачи за нами все издали. А тутъ лѣсокъ этакой на дорогѣ вышелъ. Какъ стали мы подходить къ этому лѣсу, трепачи насъ стали догонять. Мы скорѣй, и они скорѣй. «Чего, говорятъ, — бѣжите! не убѣжите вѣдь», да вдвоемъ хвать мать Наталью за руки. Та какъ вскрикнетъ не своимъ голосомъ, а мы съ матерью Аленой ударились бѣжать. Мы бѣжимъ, а они вслѣдъ намъ грохочутъ: «Держи ихъ, держи!» И они орутъ, и мать Наталья кричитъ. «Вѣрно ее зарѣзали», думаемъ, да сами еще пуще. Тетка Алена такъ и ушла изъ глазъ, а у меня ноги подкосились. Вижу, нѣтъ ужъ моей моченьки, взялъ да и упалъ подъ кустъ. «Что, думаю, ужъ опредѣлено Богомъ, то и будетъ». Лежу и чуть духъ перевожу. Жду, вотъ сейчасъ наскочатъ! анъ, никого нѣтъ. Только съ матерью Натальей слышно все еще борются. Баба здоровая, не могутъ ее прикончить. Въ лѣсу-то тишь, все по зорькѣ мнѣ слышно. Нѣтъ-нѣтъ, да и опять вскрикнетъ мать Наталья. Ну, думаю, упокой Господи ея душеньку. А самъ ужъ не знаю, вставать мнѣ

*) То-есть «мценскому», отъ г. Мценска, гдѣ есть рѣзная икона св. Николая.

да бѣжать, или ужъ тутъ и ждать какого-нибудь добраго человѣка? Ажъ слышу, кто-то будто подходитъ. Лежу я ни живъ, ни мертвъ, да смотрю изъ куста. Что жъ, братцы мои, думаете, вижу? Проходитъ мать Наталья! Черный платокъ у нея съ головы свалился; косица-то русая, здоровенная такая, вся растрепана, и сумку въ рукахъ несетъ, а сама такъ и натыкается. Кликну ее, думаю себѣ; да и крикнулъ этакъ не во весь голосъ. Она остановилась и глядитъ на кусты, а я опять ее кликнулъ. «Кто это?» говоритъ. Я выскочилъ, да къ ней, а она такъ и ахнула. Озираюсь кругомъ — никого нѣтъ ни сзади, ни спереди.— «Гонятся?» спрашиваю ее, — «побѣжимъ скорѣй!» А она стоитъ какъ остолбенѣлая, только губы трясутся. Платье на ней, смотрю, все-то изорвано, руки исцарапаны, а ажъ по самые локти, и лобъ тоже исцарапанъ, словно какъ ногтями. — «Пойдемъ», говорю ей опять.—«Душили тебя?» спрашиваю. — «Душили», говоритъ, — «пойдемъ скорѣй», и пошли. — «Какъ же ты отъ нихъ отбилась?» — А она ничего больше не сказала до самой деревни, гдѣ мать Алену встрѣтили.

— Ну, а тутъ что разсказывала?—спросилъ Невструевъ, хранившій, такъ же, какъ и другіе, во время всего разсказа мертвое молчаніе.

— Да и тутъ только и говорила, что гонялись все за ней, а она все молитву творила да пескомъ имъ въ глаза бросала.

— И ничего у нея не взяли?—спросилъ кто-то.

— Ничего. Башмакъ только съ ноги да ладанку съ шеи потеряла. Все они у нея денегъ за пазухой, сказывала, искали.

— Ну, да! Это какіе разбойники! имъ все и дѣло за пазухой только,—растолковалъ Невструевъ и вслѣдъ затѣмъ началъ разсказывать про лучшихъ разбойниковъ, которые напугали его въ обоянскомъ уѣздѣ.—«Вотъ это, говоритъ,— были настоящіе русскіе разбойники».

Становилось нестерпимо интересно, и всѣ обратились въ слухъ о настоящихъ, хорошихъ разбойникахъ.

Невструевъ началъ: «Шелъ, говоритъ,—я изъ Коренной одинъ разъ. По обѣщанію отъ зубъ ходилъ. Денегъ при мнѣ было рубля съ два, да сумка съ рубахами. Сошелся

съ двумя въ родѣ... мѣщанъ на дорогѣ. «Куда, спрашиваютъ,—идешь?» — «Туда-то», говорю. — «И мы, говорятъ, туда».—«Пойдемъ вмѣстѣ».—«Ну, пойдемъ». Пошли. Пришли въ одну деревню; ужъ смеркалось. «Давайте, говорю имъ,—ночевать здѣсь», а они говорятъ: «Тутъ скверно; пойдемъ еще съ версту: тамъ дворъ будетъ важный; тамъ, говорятъ, — намъ всякое удовольствіе предоставятъ». — «Мнѣ, говорю,—никакихъ вашихъ удовольствій не надо». — «Пойдемъ, говорятъ,—недалеко вѣдь!» Ну, пошелъ. Точно, этакъ верстъ черезъ пятокъ, стоитъ въ лѣсу дворъ не маленькій, словно какъ постоялый. Въ двухъ окнахъ свѣтло виднѣется. Одинъ мѣщанинъ постучалъ въ кольцо, собаки въ сѣняхъ залаяли, а никто не отпираетъ. Опять постучалъ; слышимъ, кто-то вышелъ изъ избы и окликнулъ насъ; голосъ, можно распознать, женскій. «Кто такіе будете?» спросила, а мѣщанинъ говоритъ: «свои».—«Кто свои?» — «Кто, говоритъ,—съ борка, кто съ сосенки». Двери отперли. Въ сѣняхъ темень такая, что смерть. Баба заперла за нами дверь и отворила избу. Въ избѣ мужчинъ никого не было, только баба та, что намъ отворяла, да другая, корявая такая, сидѣла, волну щипала. «Ну, здорово, атаманиха!» говоритъ мѣщанинъ бабѣ. — «Здорово», говоритъ баба и вдругъ стала на меня смотрѣть. И я на нее гляжу. Здоровенная баба, годовъ этакъ тридцати будетъ, да бѣлая, шельма, румяная, и глаза повелительные. «Гдѣ, говоритъ,—вы этого молодца взяли?» Это на меня-то, значитъ. «Опосля, говорятъ, — разскажемъ, а теперь дай спотыкаловки, да ѣдаловки, а то зубаревы дѣвки отъ работы отвыкли». Поставили на столъ солонины, хрѣну, водки бутылку и пироговъ. «Ѣшь!» говорятъ мнѣ мѣщане.—«Нѣтъ, говорю,—я мяса не ѣмъ».—«Ну, бери пирогъ съ творогомъ». Я взялъ. «Пей, говорятъ,—водку». Выпилъ я рюмку. «Пей другую»; я выпилъ и другую. «Хочешь, говорятъ,—жить съ нами?» — «Какъ, спрашиваю,—съ вами?» — «А вотъ, какъ видишь: намъ вдвоемъ несподручно, — ходи съ нами и пей, ѣшь... только атаманьшу слушай... Хочешь?» Плохо, думаю себѣ, дѣло! Въ недоброе я попалъ мѣсто. «Нѣтъ, говорю, — ребята; мнѣ съ вами не жить». — «Отчего, говорятъ, — не жить?» А сами все тянутъ водку и ко мнѣ пристаютъ: «пей да пей». «Умѣешь, спрашиваетъ одинъ,—драться?» — «Не учился», говорю. — «А не учился, такъ вотъ тебѣ наука!»

да съ этимъ словомъ какъ свистнетъ меня по уху. Хозяйка ни слова, а баба, знай, волну щипетъ.

— За что же это, говорю,—братцы?

— А за то, говоритъ,—не ходи по лавкѣ, не гляди въ окно, да опять съ этимъ словомъ въ другое ухо ляпъ. Ну, думаю, пропадать все равно, такъ ужъ недаромъ, развернулся самъ, да какъ щелкану его по затылку. Онъ такъ подъ столъ и соскочилъ. Поднимается изъ-подъ стола, ажъ покряхтываетъ. Отмахнулъ рукой волосы да прямо за бутылку. «Хошь, говоритъ,—тутъ твой и конецъ!» Всѣ, вижу, молчатъ, и товарищъ его молчитъ. «Нѣтъ, говорю,—не хочу я конца».—«А не хочешь, такъ пей водку».—«И водки пить не стану».—«Пей! Игуменъ не увидитъ, на поклоны не поставитъ».—«Не хочу я водки».—«Ну, а не хочешь, такъ чортъ съ тобой; заплати за то, что выпилъ, и ступай спать».

— «Сколько, говорю,—за водку съ меня?»—«Всѣ, что есть; у насъ, братъ, дорогая, прозывается «горькая русская доля», съ водой, да съ слезой, съ перцемъ, да съ собачьимъ сердцемъ». Я, было, въ шутку повернуть хотѣлъ, такъ нѣтъ; только-что я досталъ кошелекъ, а мѣщанинъ цапъ его, да и швырнулъ за перегородку. «Ну, теперь, говоритъ,—иди спать, чернецъ».—«Куда жъ, молъ, я пойду?»—«А вотъ тебя глухая тетеря проводитъ. Проведи его! закричалъ онъ бабѣ, что волну щипала. Пошелъ я за бабой въ сѣни, изъ сѣней на дворъ. Ночь такая хорошая, вотъ какъ теперь, на небѣ стожары горятъ и по лѣсу вѣтерокъ какъ бѣлка бѣгаетъ. Такъ мнѣ жалко стало и жизни-то своей, и монастыря тихаго, а баба отворила мнѣ подклѣть, «иди, говоритъ, болѣзный», да и ушла. Словно какъ ей жаль меня было. Вошелъ я, щупаю руками-то, что-то нагромощено, а что—не разберешь никакъ. Нащупалъ столбъ. Думаю: все равно пропадать, и полѣзъ вверхъ. Добрался до матицы да къ застрѣхѣ, и ну рѣшетины раздвигать. Руки всѣ ободралъ, наконецъ рѣшетинъ пять раздвинулъ. Сталъ копать солому—звѣзды показались. Я еще работать; продралъ дыру; выкинулъ въ нее сперва свой мѣшочекъ, а тамъ перекрестился да и самъ кувыркнулъ. И бѣжалъ я, братцы мои, такъ рѣзво, какъ и сроду не бѣгалъ.

Все, бывало, больше въ этомъ родѣ разсказываютъ, но эти разсказы казались тогда такъ интересными, что за-

слушаешься ихъ и едва-едва сомкнешь глаза передъ зарею. А тутъ отецъ Игнатій ужъ и поталкиваетъ палочкой. «Вставайте! На озеро пора». Поднимутся, бывало, послушники, позѣваютъ, бѣдные: сонъ ихъ клонитъ. Возьмутъ неводъ, разуются, снимутъ порты и пойдутъ къ лодкамъ. А неуклюжія, черныя, какъ гагары, монастырскія лодки всегда были привязаны къ кольямъ саженяхъ въ пятнадцати отъ берега, потому что съ берега далеко шла песчаная отмель, а черныя лодки сидѣли очень глубоко въ водѣ и не могли приставать къ берегу. Меня Невструевъ всю мель до лодокъ переносилъ, бывало, на рукахъ. Помню хорошо я эти переходы, эти добрыя, беззаботныя лица... Будто вижу теперь, какъ послушники, бывало, со сна идутъ въ холодную воду. Подпрыгиваютъ, посмѣиваются и, дрожа отъ холода, тащатъ тяжелый неводъ, нагинаясь къ водѣ и освѣжая ею свои липнущіе отъ сна глаза. Помню рѣдкій паръ, поднимавшійся съ воды, золотистыхъ карасей и скользкихъ налимовъ; помню утомительный полдень, когда всѣ мы, какъ убитые, падали на траву, отказываясь отъ янтарной ухи, приготовленной отцомъ Сергіемъ «некнижнымъ». Но еще болѣе помню недовольное и какъ бы злое выраженіе всѣхъ лицъ, когда запрягали толстыхъ лошадей, чтобъ везти въ монастырь наловленныхъ карасей и нашего командира, отца Игнатія, за которымъ слимаки должны шествовать въ свои монастырскія стѣны.

И въ этихъ-то памятныхъ мнѣ съ дѣтства мѣстахъ пришлось мнѣ еще разъ совершенно неожиданно встрѣтиться съ убѣжавшимъ изъ Курска Овцебыкомъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Много воды уплыло съ того времени, къ которому относятся мои воспоминанія, можетъ быть, весьма мало касающіяся суровой доли Овцебыка. Я подросталъ и узналъ горе жизни; бабушка скончалась; Илья Васильевичъ и Щеголиха съ Нежданкою побывшились; веселые слимаки ходили солидными иноками; меня поучили въ гимназіи, потомъ отвезли за 600 верстъ въ университетскій городъ, гдѣ я выучился пѣть одну латинскую пѣсню, прочиталъ кое-что изъ Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабёфа и во всеоружіи моихъ знаній возвратился къ своимъ Ларамъ

и Пенатамъ. Тутъ-то я свелъ описанное мною знакомство съ Василіемъ Петровичемъ. Прошло еще четыре года, проведенные мною довольно печально, и я снова очутился подъ родными липами. Дома и въ это время не произошло никакихъ перемѣнъ ни въ нравахъ, ни во взглядахъ, ни въ направленіяхъ. Новости были только естественныя: матушка постарѣла и пополнѣла, четырнадцатилѣтняя сестра прямо съ пансіонерской скамьи сошла въ безвременную могилу, да выросло нѣсколько новыхъ липокъ, посаженныхъ ея дѣтскою рукою. «Неужто же,—думалъ я,—ничто не перемѣнилось въ то время, когда я пережилъ такъ много: вѣрилъ въ Бога; отвергалъ Его и паки находилъ Его; любилъ мою родину и распинался съ нею и былъ съ распинающими ее!» Это даже обидно показалось моему молодому самолюбію, и я рѣшился произвести повѣрку,—всему повѣрку,—себѣ и всему, что меня окружало въ тѣ дни, когда мнѣ были новы всѣ впечатлѣнья бытія. Прежде всего я хотѣлъ видѣть мои любимыя пустыни, и въ одно свѣжее утро я поѣхалъ на бѣгунцахъ въ П—скую пустынь, до которой отъ насъ всего двадцать съ чѣмъ-то верстъ. Та же дорога, тѣ же поля, и галки такъ же прячутся въ густыхъ озимяхъ, и мужики такъ же кланяются ниже пояса, и бабы такъ же ищутся, лежа передъ порогомъ. Все по-старому. Вотъ и знакомыя монастырскія ворота — тутъ новый привратникъ, старый—ужъ монахомъ. Но отецъ-казначей еще живъ. Больной старикъ уже доживалъ девятый десятокъ лѣтъ. Въ нашихъ монастыряхъ есть много примѣровъ рѣдкаго долговѣчія. Отецъ-казначей, однако, уже не исправлялъ своей должности и жилъ «на покоѣ», хотя, попрежнему, назывался не иначе, какъ «отцомъ-казначеемъ». Когда меня ввели къ нему, онъ лежалъ на постели и, не узнавъ меня, засуетился и спросилъ келейника: «Кто это?» Я, ничего не отвѣчая, подошелъ къ старику и взялъ его за руку. «Здравствуйте, здравствуйте!» бормоталъ отецъ-казначей,—«кто вы такой будете?» Я нагнулся къ нему, поцѣловалъ его въ лобъ и сказалъ свое имя. «Ахъ ты дружочекъ, дружочекъ!.. ну что-жъ; ну, здравствуй!» заговорилъ старикъ, снова засуетясь на своей кровати.—«Кириллъ! самоварчикъ раздуй скорѣй!» сказалъ онъ келейнику.—«А я, рабъ, ужъ не хожу. Вотъ больше года ноги все пухнутъ». У отца-казначея была водяная, которою очень часто оканчиваютъ монахи, проводящіе жизнь

въ долгомъ церковномъ стояніи и въ другихъ занятіяхъ, располагающихъ къ этой болѣзни.

— Зови же Василья Петровича,—сказалъ казначей келейнику, когда тотъ поставилъ самоваръ и чашки на столикъ къ постели.—Тутъ у меня одинъ бѣдакъ живетъ,—добавилъ старикъ, обращаясь ко мнѣ.

Келейникъ вышелъ и черезъ четверть часа по плитяному полу сѣней послышались шаги и какое-то мычанье. Отворилась дверь и моимъ удивленнымъ глазамъ предсталъ Овцебыкъ. Онъ былъ одѣтъ въ короткую свитку изъ великорусскаго крестьянскаго сукна, пестрядиные порты и высокіе юхтовые, довольно ветхіе, сапоги. Только на головѣ у него была высокая черная шапочка, какія носятъ монастырскіе послушники. Наружность Овцебыка такъ мало измѣнилась, что, несмотря на довольно странный нарядъ, я узналъ его съ перваго взгляда.

— Василій Петровичъ! Вы ли это?—сказалъ я, идя навстрѣчу моему пріятелю, и въ то же время подумалъ: «о, кто же лучше, какъ ты, скажетъ мнѣ, какъ пронеслись надъ здѣшними головами годы суроваго опыта?»

Овцебыкъ мнѣ какъ будто обрадовался, а отецъ-казначей удивлялся, видя въ насъ двухъ старыхъ знакомыхъ.

— Ну, вотъ и прекрасно, прекрасно,—лепеталъ онъ.—Наливай же, Вася, чай.

— Вы вѣдь знаете, что я не умѣю наливать чаю,—отвѣчалъ Овцебыкъ.

— Правда, правда. Наливай ты, гостёкъ.

Я сталъ наливать чашки.

— Давно вы здѣсь, Василій Петровичъ?—спросилъ я, подавъ Овцебыку чашку.

Онъ откусилъ сахару, стрягнулъ кусочекъ и, хлебнувъ раза три, отвѣчалъ: «мѣсяцевъ девять будетъ».

— Куда жъ вы теперь?

— Покуда никуда.

— А можно узнать откуда?—спросилъ я, невольно улыбаясь при воспоминаніи, какъ Овцебыкъ отвѣчалъ на подобные вопросы.

— Можно.

— Изъ Перми?

— Нѣтъ.

— Откуда же?

Овцебыкъ поставилъ выпитую чашку и проговорилъ:

— Былъ иже вездѣ и нигдѣ.

— Челновскаго не видали ли?

— Нѣтъ. Я тамъ не былъ.

— Мать ваша жива ли?

— Въ богадѣльнѣ померла.

— Одна?

— Да вѣдь съ кѣмъ же умираютъ-то?

— Давно?

— Съ годъ, говорятъ.

— Погуляйте, ребятки, а я сосну до вечерни,—сказалъ отецъ-казначей, которому ужъ тяжело было всякое напряженіе.

— Нѣтъ, я на озеро хочу проѣхать,—отвѣчалъ я.

— А! ну, поѣзжай, поѣзжай съ Богомъ и Васю свези: онъ тебѣ почудитъ дорогой.

— Поѣдемте, Василій Петровичъ.

Овцебыкъ почесался, взялъ свой колпачокъ и отвѣчалъ:

— Пожалуй.

Мы простились до завтра съ отцомъ-казначеемъ и вышли. На житномъ дворѣ мы сами запрягли мою лошадку и поѣхали. Василій Петровичъ сѣлъ ко мнѣ задомъ, спина со спиною, говоря, что иначе онъ не можетъ ѣхать, потому что ему воздуху мало за чужой головой. Дорогой онъ вовсе не чудилъ. Напротивъ, онъ былъ очень неразговорчивъ и только все меня разспрашивалъ: видалъ ли я умныхъ людей въ Петербургѣ и про что они думаютъ? или, переставъ разспрашивать, начиналъ свистать то соловьемъ, то иволгой.

Въ этомъ прошла вся дорога.

У давно знакомой хатки насъ встрѣтилъ низенькій, рыжій послушникъ, заступившій мѣсто отца Сергія, который года три какъ умеръ, завѣщавъ свои инструменты и приготовленный матеріалъ беззаботному отцу Вавилѣ. Отца Вавилы не было дома: онъ, по обыкновенію, гулялъ надъ озеромъ и смотрѣлъ на капель, глотающихъ покорныхъ лягушекъ. Новый товарищъ отца Вавилы, отецъ Прохоръ, обрадовался намъ точно деревенская барышня звону колокольчика. Самъ онъ бросался отпрягать нашу лошадь, самъ раздувалъ самоваръ и все увѣрялъ, что «отецъ Вавило вотъ ту минуту вернутся». Мы съ Овцебыкомъ вняли этимъ увѣ-

реніямъ, усѣлись на заваленкѣ лицомъ къ озеру и оба пріятно молчали. Никому не хотѣлось говорить.

Солнце уже совсѣмъ сѣло за высокія деревья, окружающія густою чащею все монастырское озеро. Гладкая поверхность воды казалась почти черною. Въ воздухѣ было тихо, но душно.

— Гроза будетъ ночью,—сказалъ отецъ Прохоръ, таща на себѣ въ сѣни подушку съ моихъ бѣговыхъ дрожекъ.

— Зачѣмъ вы безпокоитесь? отвѣчалъ я:—можетъ-быть, еще и не будетъ.

Отецъ Прохоръ застѣнчиво улыбался и проговорилъ:

— Ничего-съ! Какое безпокойство!

— Я и лошадку тоже заведу въ сѣни, началъ онъ, выйдя снова изъ хатки.

— Зачѣмъ, отецъ Прохоръ?

— Гроза большая будетъ: испужается, оторвется еще. Нѣтъ-съ, я ее лучше въ сѣни. Ей тамъ хорошо будетъ.

Отецъ Прохоръ отвязалъ лошадь и, войдя въ сѣни, тянулъ ее за поводъ, приговаривая: «иди, матушка! иди, дурашка! Чего боишься?»

— Вотъ такъ-то лучше,—сказалъ онъ, уставивъ лошадь въ уголку сѣней и насыпавъ ей овса въ старое рѣшето.— Что-й-то отца Вавилы долго нѣтъ, право! проговорилъ онъ, зайдя за уголъ хатки.—А вонъ ужъ и замолаживаетъ, добавилъ онъ, показывая рукою на сѣровато-красное облачко.

На дворѣ совсѣмъ смеркалось.

— Я пойду посмотрю отца Вавилу,—сказалъ Овцебыкъ и, закрутивъ свои косицы, зашагалъ въ лѣсъ.

— Не ходите: вы съ нимъ разойдетесь.

— Небось!—и съ этимъ словомъ онъ ушелъ.

Отецъ Прохоръ взялъ охапку дровъ и пошелъ въ избу. Скоро въ окнахъ засвѣтилось пламя, которое онъ развелъ на загнеткѣ, и въ котелкѣ закипѣла вода. Ни отца Вавилы, ни Овцебыка не было. Между тѣмъ, вершины деревьевъ въ это время изрѣдка стали поколыхиваться, хотя поверхность озера еще стояла спокойною, какъ застывающій свинецъ. Только изрѣдка можно было замѣтить бѣленькіе плески отъ какого-нибудь рѣзвящагося карася, да лягушки хоромъ тянули одну монотонно-унылую ноту. Я еще все сидѣлъ на заваленкѣ, глядя на темное озеро и вспоминая мои въ темную даль улетѣвшіе годы. Тутъ тогда были эти неуклюжія

лодки, къ которымъ носилъ меня могучій Невструевъ; здѣсь я спалъ съ послушниками, и все тогда было такое милое, веселое, полное, а теперь какъ-то все, какъ будто и то же, да нѣтъ чего-то. Нѣтъ беззаботнаго дѣтства, нѣтъ теплой, животворящей вѣры во многое, во что такъ сладко и такъ уповательно вѣрилось.

— Русь духъ пахнетъ! Откуда гости дорогіе?—крикнулъ отецъ Вавила, внезапно выйдя изъ-за угла хатки, такъ что я совершенно не замѣтилъ его приближенія.

Я его узналъ съ перваго раза. Онъ только совсѣмъ побѣлѣлъ, но тотъ же дѣтскій взглядъ и то же веселое лицо.

— Издалека изволите быть?—спросилъ онъ меня.

Я назвалъ одну деревню верстъ за сорокъ.

Онъ спросилъ: не сыночекъ ли я Аѳанасья Павловича?

— Нѣтъ, говорю.

— Ну, все равно: милости прошу въ келью, а то дождь накрапываетъ.

Дѣйствительно, началъ накрапывать дождикъ и по озеру зарябило, хотя вѣтра въ этой котловинѣ никогда почти не бывало. Разгуляться ему здѣсь было негдѣ. Такое ужъ было *мѣсто тихое*.

— Какъ величать позволите?—спросилъ отецъ Вавила, когда мы совсѣмъ вошли въ его хатку.

Я назвалъ свое имя. Отецъ Вавила посмотрѣлъ на меня, и на его добродушно-хитрыхъ губахъ показалась улыбка. Я тоже не удержался и улыбнулся. Мистификація моя не удалась: онъ узналъ меня; мы обнялись со старикомъ, много разъ сряду поцѣловались и ни съ того, ни съ сего оба заплакали.

— Дай-ка, я посмотрю на тебя поближе,—сказалъ продолжавшій улыбаться отецъ Вавила, подводя меня къ очагу. — Ишь, выросъ!

А вы состарѣлись, отецъ Вавила.

Отецъ Прохоръ засмѣялся.

— А они у насъ еще все молодятся,—заговорилъ отецъ Прохоръ:—и даже ужасть какъ молодятся.

— А то по-вашему, что-ль!—храбрясь отвѣчалъ отецъ Вавила, но тутъ же и присѣлъ на стульце и добавилъ:—нѣтъ, братикъ! духъ бодръ, а плоть ужъ отказывается. Къ отцу Сергію пора. Поясницу нынче все ломитъ—плохъ становлюсь.

— А давно умеръ отецъ Сергій?

— Третій годъ со Спиридона пошелъ.

— Хорошій былъ старикъ,—сказалъ я, вспоминая покойника съ его палочками и ножичкомъ.

— Смотри-ка! Въ уголъ-то смотри: тутъ вся его мастерская и теперь стоитъ. Да зажги ты свѣчу, отецъ Прохоръ.

— А Капитанъ живъ?

— Ахъ, ты, кота... то бишь кошку нашу Капитана помнишь?

— Какъ же.

— Удушился, братъ, Капитанъ. Подъ дежу его какъ-то занесло; дежа захлопнулась, а насъ дома не было. Пришли, искали-искали—нѣтъ нашего кота. А дня черезъ два взяли дежу, смотримъ—онъ тамъ. Теперь другой есть... гляди-ко какой: Васька! Васька!—сталъ звать отецъ Вавила.

Изъ-подъ печи вышелъ большой сѣрый котъ и началъ тыкать головою въ ноги отцу Вавилѣ.

— Ишь ты бестія какая!

Отецъ Вавила взялъ кота и, положивъ его на колѣни, брюхомъ кверху, щекоталъ ему горло. Точно теньеровская картина: бѣлый какъ лунь старикъ съ сѣрымъ толстымъ котомъ на колѣняхъ, другой полу-старикъ въ углу ворочается; разная утварь домашняя, и все это освѣщено теплымъ, краснымъ свѣтомъ горящаго очага.

— Да зажигай свѣчу-то, отецъ Прохоръ!—крикнулъ опять отецъ Вавила.

— Вотъ сейчасъ. Никакъ не справишь.

Отецъ Вавила между тѣмъ оправдывалъ Прохора и разсказывалъ мнѣ:

— Мы, вѣдь, себѣ свѣчи теперь не зажигаемъ. Рано ложимся.

Зажгли свѣчу. Хата точно въ томъ же порядкѣ, какъ была за двѣнадцать лѣтъ назадъ. Только вмѣсто отца Сергія у печки стоитъ отецъ Прохоръ, а вмѣсто бураго Капитана съ отцомъ Вавилою забавляется сѣрый Васька. Даже ножикъ и пучокъ кореневатыхъ палочекъ, приготовленныхъ отцомъ Сергіемъ, виситъ тамъ, гдѣ ихъ повѣсилъ покойникъ, приготовлявшій ихъ на какую-то потребу.

— Ну, вотъ и яйца сварились, вотъ и рыба готова, а Василья Петровича нѣтъ,—сказалъ отецъ Прохоръ.

— Какого Василья Петровича?

— Блажного,—отвѣчалъ отецъ Прохоръ.

— Нѣпь-ты съ нимъ пріѣхалъ?

— Съ нимъ,—сказалъ я, догадываясь, что кличка принадлежитъ моему Овцебыку.

— Кто жъ это тебя съ нимъ сюда снравилъ?

— Да мы давно знакомы,—сказалъ я.—А вы мнѣ скажите, за что вы его блажнымъ-то прозвали?

— Блажной онъ, братъ. Охъ, какой блажной!

— Онъ—добрый человѣкъ.

— Да я не говорю, что злой, а только блажь его одолѣла: онъ теперь какъ нестоющій: всѣми порядками недоволенъ.

Было ужъ десять часовъ.

— Что жъ, давайте ужинать. Авось, подойдетъ,—скомандовалъ, начиная умывать руки, отецъ Вавила. — Да, да, да: поужинаемъ, а потомъ литійку... Хорошо? По отцѣ Сергіѣ-то, говорю, литійку всѣ пропоемъ?

Стали ужинать и поужинали, и «со святыми упокой» пропѣли отцу Сергію, а Василій Петровичъ все еще не возвращался.

Отецъ Прохоръ убралъ со стола лишнюю посуду, а сковороду съ рыбой, тарелку, соль, хлѣбъ и пятокъ яицъ оставилъ на столѣ, потомъ вышелъ изъ хаты и, возвратясь, сказалъ:

— Нѣтъ, не видать.

— Кого не видать?—спросилъ отецъ Вавила.

— Василья Петровича.

— Ужъ если бъ тутъ былъ, такъ не стоялъ бы за дверью. Онъ теперь, видно, на прогулку вздумалъ.

Отецъ Прохоръ и отецъ Вавила непремѣнно хотѣли меня уложить на одной изъ своихъ постелей. Насилу я отговорился, взялъ себѣ одну изъ мягкихъ, ситниковыхъ рогожъ работы покойнаго отца Сергія и улегся подъ окномъ на лавкѣ. Отецъ Прохоръ далъ мнѣ подушку, погасилъ свѣчу, еще разъ вышелъ и довольно долго тамъ оставался. Очевидно, онъ поджидалъ «блаженнаго», но не дождался, и возвратясь, сказалъ только:

— А гроза непремѣнно соберется.

— Можетъ-быть, и не будетъ,—сказалъ я, желая успокоить себя насчетъ исчезшаго Овцебыка.

— Нѣтъ, будетъ: парило нынче крѣпко.

— Да ужъ давно́ паритъ.

— У меня поясницу такъ и ломитъ,—подсказалъ отецъ Вавила.

— И муха съ самаго утра, какъ оглашенная, въ рожу лѣзла,—добавилъ отецъ Прохоръ, фундаментально повернувшись на своей массивной кровати, и всѣ мы, кажется, въ эту же самую минуту и заснули. На дворѣ стояла страшная темень, но дождя еще не было.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

— Встань!—говорилъ мнѣ отецъ Вавила, толкая меня на постели.—Встань! не хорошо спать въ такую пору. Неравенъ часъ воли Божіей.

Не разобравъ въ чемъ дѣло, я проворно вскочилъ и сѣлъ на лавкѣ. Передъ образникомъ горѣла тоненькая восковая свѣча, и отецъ Прохоръ, въ одномъ бѣльѣ, стоялъ на колѣняхъ и молился. Страшный ударъ грома, съ грохотомъ раскатившійся надъ озеромъ и загудѣвшій по лѣсу, объяснилъ причину тревоги. Муха, значитъ, не даромъ лѣзла въ рожу отцу Прохору.

— Гдѣ Василій Петровичъ?—спросилъ я стариковъ.

Отецъ Прохоръ, не переставая шептать молитву, обернулся ко мнѣ лицомъ и показалъ движеніемъ, что Овцебыкъ еще не возвращался. Я посмотрѣлъ на мои часы: былъ ровно часъ пополуночи. Отецъ Вавила, также въ одномъ бѣльѣ и въ коленкоровомъ ватномъ нагрудникѣ, смотрѣлъ въ окно; я тоже подошелъ къ окну и сталъ смотрѣть. При безпрерывной молніи, свѣтло озарявшей все открывавшееся изъ окна пространство, можно было видѣть, что земля довольно суха. Дождя большого, значитъ, не было съ тѣхъ поръ, какъ мы заснули. Но гроза была страшная. Ударъ слѣдовалъ за ударомъ, одинъ другого громче, одинъ другого ужаснѣе, а молнія не умолкала ни на минуту. Словно все небо разверзлось и готово было съ грохотомъ упасть на землю огненнымъ потокомъ.

— Гдѣ онъ можетъ быть?—сказалъ я, невольно думая объ Овцебыкѣ.

— И не говори лучше,—отозвался отецъ Вавила, не отходя отъ окна.

— Не случилось ли чего съ нимъ?

— Да случиться, кажется, чему бы! Звѣря большого нѣтъ тутъ.. Развѣ лихой человѣкъ — такъ и то не слышно было давно. Нѣтъ, такъ, небось, ходитъ. Вѣдь на него какая блажь найдетъ.

— А видъ точно прекрасный,—продолжалъ старикъ, любуясь озеромъ, которое молнія освѣщала до самаго противоположнаго берега.

Въ это мгновеніе грянулъ такой ударъ, что вся хата затряслась; отецъ Прохоръ упалъ на землю, а насъ съ отцомъ Вавилою такъ и отбросило къ противоположной стѣнѣ. Въ сѣняхъ что-то рухнуло и повалилось къ двери, которою входили въ хату.

— Горимъ!—закричалъ отецъ Вавила, первый выйдя изъ общаго оцѣпенѣнья, и бросился къ двери.

Дверь нельзя было отпереть.

— Пустите,—сказалъ я, совершенно увѣренный, что мы горимъ, и съ размаху крѣпко ударилъ плечомъ въ дверь.

Къ крайнему нашему удивленію, дверь на этотъ разъ отворилась свободно, и я, не удержавшись, вылетѣлъ за порогъ. Въ сѣняхъ было совершенно темно. Я вернулся въ хату, взялъ отъ образника одну свѣчечку и съ нею опять вышелъ въ сѣни. Шумъ весь надѣлала моя лошадь. Перепуганная послѣднимъ ужаснымъ ударомъ грома, она дернула поводъ, которымъ была привязана къ столбу, повалила пустой капустный напòлъ, на которомъ стояло рѣшето съ овсомъ, и, кинувшись въ сторону, притиснула нашу дверь своимъ тѣломъ. Бѣдное животное пряло ушми, тревожно водило кругомъ глазами и тряслось всѣми членами. Втроемъ мы все привели въ порядокъ, насыпали новое рѣшето овса и возвратились въ хату. Прежде чѣмъ отецъ Прохоръ внесъ свѣчечку, мы съ отцомъ Вавилою замѣтили въ хаткѣ слабый свѣтъ, отражавшійся черезъ окно на стѣну. Посмотрѣли въ окно, а какъ разъ, напротивъ, на томъ берегу озера, словно колоссальная свѣчка, теплилась старая сухостойная сосна, давно одиноко торчавшая на голомъ песчаномъ холмѣ.

— А-а!—протянулъ отецъ Вавила.

— Молонья зажгла,—подсказалъ отецъ Прохоръ.

— И какъ горитъ прелестно!—сказалъ опять художественный отецъ Вавила.

— Богомъ ей такъ назначено,—отвѣчалъ богобоязливый отецъ Прохоръ.

— Ляжемте, однако, спать, отцы: гроза утихла.

Дѣйствительно, гроза совершенно стихла, и только издали неслись далекіе раскаты грома, да по небу тяжело ползла черная безконечная туча, казавшаяся еще чернѣе отъ горящей сосны.

— Глядите! глядите!—неожиданно воскликнулъ все еще смотрѣвшій въ окно отецъ Вавила. — Вѣдь это нашъ блажной!

— Гдѣ?—спросили въ одинъ голосъ я и отецъ Прохоръ, и оба глянули въ окно.

— Да вонъ, у сосны.

Дѣйствительно, шагахъ въ десяти отъ горящей сосны ясно обрисовывался силуэтъ, въ которомъ можно было съ перваго взгляда узнать фигуру Овцебыка. Онъ стоялъ, заложа руки за спину, и, поднявъ голову, смотрѣлъ на горѣвшіе сучья

— Прокричать ему?—спросилъ отецъ Прохоръ.

— Не услышитъ,—отвѣчалъ отецъ Вавила.—Видите, шумъ какой: невозможно услышать.

— И разсердится,—добавилъ я, хорошо зная натуру моего пріятеля.

Постояли еще у окна. Овцебыкъ не трогался. Назвали его нѣсколько разъ «блаженнымъ», и легли на свои мѣста. Чудачества Василья Петровича давно перестали и меня удивлять; но въ этотъ разъ мнѣ было нестерпимо жаль моего страдающаго пріятеля... Стоя рыцаремъ печальнаго образа передъ горящею сосною, онъ мнѣ казался шутомъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Когда я проснулся, было уже довольно поздно. «Некнижныхъ» отцовъ не было въ хаткѣ. У стола сидѣлъ Василій Петровичъ. Онъ держалъ въ рукахъ большой ломоть ржаного хлѣба и прихлебывалъ молокомъ, прямо изъ стоящаго передъ нимъ кувшина. Замѣтивъ мое пробужденіе, онъ взглянулъ на меня и молча продолжалъ свой завтракъ. Я съ нимъ не заговаривалъ. Такъ прошло минутъ двадцать.

— Чего растягиваться-то?—сказалъ, наконецъ, Василій Петровичъ, поставивъ выпитый имъ кувшинъ молока.

— А что жъ бы намъ начать дѣлать?

— Да случиться, кажется, чему бы! Звѣря большого нѣтъ тутъ.. Развѣ лихой человѣкъ — такъ и то не слышно было давно. Нѣтъ, такъ, небось, ходитъ. Вѣдь на него какая блажь найдетъ.

— А видъ точно прекрасный,—продолжалъ старикъ, любуясь озеромъ, которое молнія освѣщала до самаго противоположнаго берега.

Въ это мгновеніе грянулъ такой ударъ, что вся хата затряслась; отецъ Прохоръ упалъ на землю, а насъ съ отцомъ Вавилою такъ и отбросило къ противоположной стѣнѣ. Въ сѣняхъ что-то рухнуло и повалилось къ двери, которою входили въ хату.

— Горимъ!—закричалъ отецъ Вавила, первый выйдя изъ общаго оцѣпенѣнья, и бросился къ двери.

Дверь нельзя было отпереть.

— Пустите,—сказалъ я, совершенно увѣренный, что мы горимъ, и съ размаху крѣпко ударилъ плечомъ въ дверь.

Къ крайнему нашему удивленію, дверь на этотъ разъ отворилась свободно, и я, не удержавшись, вылетѣлъ за порогъ. Въ сѣняхъ было совершенно темно. Я вернулся въ хату, взялъ отъ образника одну свѣчечку и съ нею опять вышелъ въ сѣни. Шумъ весь надѣлала моя лошадь. Перепуганная послѣднимъ ужаснымъ ударомъ грома, она дернула поводъ, которымъ была привязана къ столбу, повалила пустой капустный напòлъ, на которомъ стояло рѣшето съ овсомъ, и, кинувшись въ сторону, притиснула нашу дверь своимъ тѣломъ. Бѣдное животное пряло ушми, тревожно водило кругомъ глазами и тряслось всѣми членами. Втроемъ мы все привели въ порядокъ, насыпали новое рѣшето овса и возвратились въ хату. Прежде чѣмъ отецъ Прохоръ внесъ свѣчечку, мы съ отцомъ Вавилою замѣтили въ хаткѣ слабый свѣтъ, отражавшійся черезъ окно на стѣну. Посмотрѣли въ окно, а какъ разъ, напротивъ, на томъ берегу озера, словно колоссальная свѣчка, теплилась старая сухостойная сосна, давно одиноко торчавшая на голомъ песчаномъ холмѣ.

— А-а!—протянулъ отецъ Вавила.

— Молонья зажгла,—подсказалъ отецъ Прохоръ.

— И какъ горитъ прелестно!—сказалъ опять художественный отецъ Вавила.

— Богомъ ей такъ назначено,—отвѣчалъ богобоязливый отецъ Прохоръ.

— Ляжемте, однако, спать, отцы: гроза утихла.

Дѣйствительно, гроза совершенно стихла, и только издали неслись далекіе раскаты грома, да по небу тяжело ползла черная безконечная туча, казавшаяся еще чернѣе отъ горящей сосны.

— Глядите! глядите!—неожиданно воскликнулъ все еще смотрѣвшій въ окно отецъ Вавила. — Вѣдь это нашъ блажной!

— Гдѣ?—спросили въ одинъ голосъ я и отецъ Прохоръ, и оба глянули въ окно.

— Да вонъ, у сосны.

Дѣйствительно, шагахъ въ десяти отъ горящей сосны ясно обрисовывался силуэтъ, въ которомъ можно было съ перваго взгляда узнать фигуру Овцебыка. Онъ стоялъ, заложа руки за спину, и, поднявъ голову, смотрѣлъ на горѣвшіе сучья

— Прокричать ему?—спросилъ отецъ Прохоръ.

— Не услышитъ,—отвѣчалъ отецъ Вавила.—Видите, шумъ какой: невозможно услышать.

— И разсердится,—добавилъ я, хорошо зная натуру моего пріятеля.

Постояли еще у окна. Овцебыкъ не трогался. Назвали его нѣсколько разъ «блаженнымъ», и легли на свои мѣста. Чудачества Василья Петровича давно перестали и меня удивлять; но въ этотъ разъ мнѣ было нестерпимо жаль моего страдающаго пріятеля... Стоя рыцаремъ печальнаго образа передъ горящею сосною, онъ мнѣ казался шутомъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Когда я проснулся, было уже довольно поздно. «Некнижныхъ» отцовъ не было въ хаткѣ. У стола сидѣлъ Василій Петровичъ. Онъ держалъ въ рукахъ большой ломоть ржаного хлѣба и прихлебывалъ молокомъ, прямо изъ стоящаго передъ нимъ кувшина. Замѣтивъ мое пробужденіе, онъ взглянулъ на меня и молча продолжалъ свой завтракъ. Я съ нимъ не заговаривалъ. Такъ прошло минутъ двадцать.

— Чего растягиваться-то?—сказалъ, наконецъ, Василій Петровичъ, поставивъ вышитый имъ кувшинъ молока.

— А что жъ бы намъ начать дѣлать?

— Пойдемъ бродить.

Василій Петровичъ былъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Я очень дорожилъ этимъ расположеніемъ и не сталъ его разспрашивать о ночной прогулкѣ. Но онъ самъ заговорилъ о ней, какъ только мы вышли изъ хаты.

— Ночь была грозная какая!—началъ Василій Петровичъ.—Просто, не запомню такой ночи.

— А дождя, вѣдь, не было.

— Начиналъ разъ пять, да не разошелся. Люблю я, смерть, такія ночи.

— А я не люблю ихъ.

— Отчего?

— Да что жъ хорошаго-то? вертитъ, ломитъ все.

— Гм! вотъ то-то и хорошо, что все ломитъ.

— Еще придавитъ ни за что, ни про что.

— Эко штука!

— Вотъ сосну разбило.

— Славно горѣла.

— Мы видѣли.

— И я видѣлъ. Хорошо жить въ лѣсахъ.

— Комаровъ только много.

— Эхъ, вы, канареечный заводъ! Комары заѣдятъ.

— Они и медвѣдей, Василій Петровичъ, донимаютъ.

— Да, а все жъ медвѣдь изъ лѣсу не пойдетъ. Полюбилъ я эту жизнь,—продолжалъ Василій Петровичъ.

— Лѣсную-то?

— Да. Въ сѣверныхъ-то лѣсахъ что это за прелесть! Густо, тихо, листъ ажъ синій—отлично!

— Да ненадолго.

— Тамъ и зимой тоже хорошо.

— Ну, не думаю.

— Нѣтъ, хорошо.

— Что жъ вамъ тамъ нравилось?

— Тихость, и сила есть въ той тихости.

— А каковъ народъ?

— Что значитъ: каковъ народъ?

— Какъ живетъ и чего ожидаетъ?

Василій Петровичъ задумался.

— Вы вѣдь два года съ ними прожили?

— Да, два года и еще съ хвостикомъ.

— И узнали ихъ?

— Да чего узнавать-то?

— Что въ тамошнихъ людяхъ таится?

— Дурь въ нихъ таится.

— А вы же прежде такъ не думали?

— Не думалъ. Что думы-то наши стоятъ? Думы тѣ со словъ строились. Слышишь «*расколъ*», «расколъ», сила, протестъ, и все думаешь открыть въ нихъ нивѣсть что. Все думаешь, что тамъ слово такое, какое нужно, знаютъ и только не вѣрятъ тебѣ, оттого и не доберешься до живца.

— Ну, а на самомъ дѣлѣ?

— А на самомъ дѣлѣ—буквоѣды, вотъ что.

— Да вы съ ними сошлись ли хорошо?

— Да какъ еще сходиться-то! Я вѣдь не съ тѣмъ шелъ, чтобы баловаться.

— Какъ же вы сходились-то? Вѣдь это интересно. Разскажите, пожалуйста.

— Очень просто: пришелъ, нанялся въ работники, работалъ какъ волъ... Вотъ ляжемъ-ка тутъ надъ озеромъ.

Мы легли, и Василій Петровичъ продолжалъ свой разсказъ, по обыкновенію, короткими отрывистыми выраженіями.

— Да, я работалъ. Зимою я назвался переписывать книги. Уставомъ и полууставомъ писать наловчился скоро. Только все книги чортъ ихъ знаетъ какія давали. Не такія, какихъ я надѣялся. Жизнь пошла скучная. Работа да моленное пѣніе, и только. А больше ничего. Потомъ стали все звать меня; «Иди, говорятъ, совсѣмъ къ намъ!»—Я говорю: «все одно, я и такъ вашъ».—«Облюбуй дѣвку и иди къ кому-нибудь во дворъ». Знаете, какъ мнѣ непонутру! Однако, думаю, не изъ-за этого же бросить дѣло. Пошелъ во дворъ.

— Вы?

— А то кто жъ?

— Вы женились?

— Взялъ дѣвку, такъ стало-быть женился.

Я просто остолбенѣлъ отъ удивленія и невольно спросилъ:

— Ну, что жъ дальше вышло?

— А дальше дрянь вышла,—сказалъ Овцебыкъ, и на лицѣ его отразились и зло, и досада.

— Женою, что ли, вы несчастливы?

— Да развѣ жена можетъ сдѣлать мое счастіе или несчастіе? Я самъ себя обманулъ. Я думалъ найти тамъ городъ, а нашелъ лукошко.

— Раскольники не допустили васъ до своихъ тайнъ?

— До чего допускать-то! — съ негодованіемъ вскрикнулъ Овцебыкъ.—Только вѣдь за секретомъ все и дѣло. Понимаете, этого слова-то «Сезамъ, отворись», что въ сказкѣ говорится, его-то и нѣтъ! Я знаю всѣ ихъ тайны, и всѣ они презрѣнія единаго стоятъ. Сойдутся, думаешь, думу великую зарѣшатъ, анъ чортъ знаетъ что—«благая честь, да благая нѣра». Въ вѣрѣ благой они останутся, а въ чести благой тотъ, кто въ чести сидитъ. Забобоны да буквоѣдство, лѣстовки изъ ремня да плеть бы ременную подлиннѣе. Не ихъ ты креста, такъ и дѣла до тебя нѣтъ. А ихъ, такъ нѣтъ, чтобъ тебѣ подняться дали, а въ богадѣльню ступай, коли старъ или слабъ, и живи при милости на кухнѣ. А молодъ—въ батраки иди. Хозяинъ будетъ смотрѣть, чтобъ ты не баловался. На бѣломъ свѣтѣ тюрьму увидишь. Все еще соболѣзнуютъ, индюки проклятые: «Страху мало. Страхъ, говорятъ, исчезаетъ». А мы на нихъ надежды, мы на нихъ упованія возверзаемъ!.. Байбаки дурацкіе, только морочатъ своимъ секретничаньемъ.

Василій Петровичъ съ негодованіемъ плюнулъ.

— Такъ, стало-быть, нашъ здѣшній простой мужикъ лучше?

Василій Петровичъ задумался, потомъ еще плюнулъ и спокойнымъ голосомъ отвѣчалъ:

— Не въ примѣръ лучше.

— Чѣмъ же особенно?

— Тѣмъ, что не знаетъ, чего желаетъ. Этотъ разсуждаетъ такъ, разсуждаетъ и иначе, а у того одно разсужденіе. Все около своего пальца мотаетъ. Простую вотъ такую-то землю возьми, либо старую плотину раскапывай. Что по ней, что ее руками насыпали! Хворостъ въ ней есть, хворостъ и будетъ, а хворостъ повытаскаешь, опять одна земля, только еще дуромъ взбуровленная. Такъ вотъ и разсуждай, что лучше-то?

— Какъ же вы ушли?

— Такъ и ушелъ. Увидалъ, что дѣлать нечего, и ушелъ.

— А жена?

— Что же вамъ про нее интересно?

— Какъ же вы ее одну тамъ оставили?

— А куда же мнѣ съ нею дѣваться?

— Увести ее съ собою и жить съ нею.

— Очень нужно.

— Василій Петровичъ, вѣдь это жестоко! А если она васъ полюбила?

— Вздоръ говорите! Что еще за любовь: нынче уставщикъ почиталъ—мнѣ жена; завтра «поблагословится»—съ другимъ въ чуланъ спать пойдетъ. Да и что мнѣ до бабы, что мнѣ до любви, что мнѣ до всѣхъ бабъ на свѣтѣ!

— Но человѣкъ же она, говорю.—Пожалѣть-то ее все-таки слѣдовало бы.

— Вотъ въ этомъ-то смыслѣ бабу-то пожалѣть!.. Очень важное дѣло, съ кѣмъ ей въ чуланъ лѣзть. Какъ разъ время къ сему, чтобъ объ этомъ печалиться! Сезамъ, Сезамъ, кто знаетъ, чѣмъ Сезамъ отпереть,—вотъ кто нуженъ!—заключилъ Овцебыкъ и заколотилъ себя въ грудь.—Мужа, дайте мужа намъ, котораго бы страсть не дѣлала рабомъ, и его одного мы сохранимъ душѣ своей въ святѣйшихъ нѣдрахъ.

Дальнѣйшая бесѣда наша съ Василіемъ Петровичемъ не ладилась. Пообѣдавъ у стариковъ, я завезъ его въ монастырь, простился съ отцомъ-казначеемъ и уѣхалъ домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Спустя дней десять послѣ моей разлуки съ Васильемъ Петровичемъ, я сидѣлъ съ матушкою и сестрою на крылечкѣ нашего маленькаго домика. Смеркалось. Вся прислуга отправилась ужинать и возлѣ дома никого кромѣ насъ не было. Вездѣ была кругомъ глубочайшая вечерняя тишина, и вдругъ среди этой тишины двѣ большія дворныя собаки, лежавшія у нашихъ ногъ, разомъ вскочили, бросились къ воротамъ и съ озлобленіемъ на кого-то напали. Я всталъ и пошелъ къ воротамъ посмотрѣть на предметъ ихъ злобной атаки. У частокола, прислонясь спиною, стоялъ Овцебыкъ и насилу отмахивался палкою отъ двухъ псовъ, напавшихъ на него съ человѣческимъ ожесточеніемъ.

— Заѣли было, проклятыя,—сказалъ онъ мнѣ, когда я отогналъ собакъ.

— Вы пѣшкомъ?

— Какъ видите, на цуфускахъ.

У Василья Петровича за спиною былъ и мѣшочекъ, съ которымъ онъ обыкновенно путешествовалъ.

— Пойдемте же.

— Куда?

— Ну, къ намъ въ домъ.

— Нѣтъ, я туда не пойду.

— Отчего не пойдете?

— Тамъ какія-то барышни.

— Какія барышни! Это—мать моя и сестра.

— Все равно, не пойду.

— Полноте чудить! онѣ люди простые.

— Не пойду!—рѣшительно сказалъ Овцебыкъ.

— Куда жъ мнѣ васъ дѣть?

— Нужно куда-нибудь дѣть. Мнѣ некуда дѣваться.

Я вспомнилъ о банѣ, которая лѣтомъ была пуста и нерѣдко служила спальнею для пріѣзжающихъ гостей. Домикъ у насъ былъ маленькій, «шляхетскій», а не «панскій».

Черезъ дворъ, мимо крыльца, Василій Петровичъ тоже ни за что не хотѣлъ идти. Можно было пройти черезъ садъ, но я зналъ, что баня заперта, а ключъ отъ нея у старой няни, которая ужинаетъ въ кухнѣ. Оставить Василья Петровича не было никакой возможности, потому что на него снова напали бы собаки, отошедшія отъ насъ только на нѣсколько шаговъ и злобно лаявшія. Я перегнулся черезъ частоколъ, за которымъ стоялъ съ Васильемъ Петровичемъ, и громко крикнулъ сестру. Дѣвочка подбѣжала и остановилась въ неудомѣніи, увидя оригинальную фигуру Овцебыка въ крестьянской свиткѣ и послушничьемъ колпакѣ. Я послалъ ее за ключомъ къ нянѣ и, получивъ вожделѣнный ключъ, повелъ моего нежданнаго гостя черезъ садъ въ баню.

Всю ночь напролетъ мы проговорили съ Васильемъ Петровичемъ. Ему нельзя было возвращаться въ пустынь, откуда онъ пришелъ, ибо его оттуда выгнали за собесѣдованія, которыя онъ задумалъ вести съ богомольцами. Идти въ иное мѣсто у него не было никакого плана. Неудачи его не обезкуражили, но разбили на время его соображенія. Онъ много говорилъ о послушникахъ, о монастырѣ, о приходящихъ туда со всѣхъ сторонъ богомольцахъ, и все это говорилъ довольно послѣдовательно. Василій Петровичъ, живучи въ монастырѣ, приводилъ въ исполненіе самый ори-

гинальный планъ. Мужей, которыхъ бы страсти не дѣлали рабами, онъ искалъ въ рядахъ униженныхъ и оскорбленныхъ монастырской семьи и съ ними хотѣлъ отпереть свой Сезамъ, дѣйствуя на массы приходящаго на богомолье народа.

— Этого пути никто не видитъ; его никто не сторожится; имъ не брегутъ зиждущіе; а тутъ-то и есть то, что нужно во главу угла,—разсуждалъ Овцебыкъ.

Припоминая себѣ хорошо знакомую монастырскую жизнь и тамошнихъ людей изъ разряда униженныхъ и оскорбленныхъ, я готовъ былъ признать, что соображенія Василья Петровича во многомъ не лишены основанія.

Но пропагандистъ мой уже прогорѣлъ. Первый мужъ, стоявшій, по его мнѣнію, выше страстей, мой старый знакомый, послушникъ Невструевъ, въ монашествѣ дьяконъ Лука, сдѣлавшись повѣреннымъ Богословскаго, вздумалъ помочь своему униженію и оскорбленію: онъ открылъ начальству «коего духа» Овцебыкъ, и Овцебыкъ былъ выгнанъ. Теперь онъ былъ безъ пріюта. Мнѣ черезъ недѣлю нужно было ѣхать въ Петербургъ, а у Василья Петровича не было мѣста, куда бы приклонить голову. Оставаться у моей матери ему было невозможно, да и онъ самъ не хотѣлъ этого.

— Найдите мнѣ опять кондицію, я обучать хочу,—говорилъ онъ.

Нужно было искать кондицію. Я взялъ съ Овцебыка слово, что онъ новое мѣсто приметъ только для мѣста, а не для посторонникъ цѣлей, и сталъ искать ему пріюта.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Въ нашей губерніи очень много мелкопомѣстныхъ деревень. Вообще у насъ, говоря языкомъ членовъ с.-петербургскаго политико-экономическаго комитета, довольно распространено хуторное хозяйство. Однодворцы, владѣвшіе крѣпостными людьми, послѣ отобранія у нихъ крестьянъ, остались хуторянами, небольшіе помѣщики промотались и крестьянъ попродали на сводъ въ дальнія губерніи, а землю кущамъ или разбогатѣвшимъ однодворцамъ. Около насъ было пять или шесть такихъ хуторовъ, перешедшихъ въ руки лицъ недворянской крови. Въ пяти верстахъ отъ нашего хутора былъ Барковъ-хуторъ: такъ онъ назывался по

имени своего прежняго владѣтеля, о которомъ говорили, что въ Москвѣ онъ жилъ когда-то

Праздно, весело, богато
И отъ разныхъ матерей
Прижилъ сорокъ дочерей,

а на старости лѣтъ вступилъ въ законный бракъ и продавалъ имѣніе за имѣніемъ. Барковъ-хуторъ, составлявшій нѣкогда отдѣльную дачу большого имѣнія промотавшагося барина, принадлежалъ теперь Александру Ивановичу Свиридову. Александръ Ивановичъ родился въ крѣпостномъ сословіи, обученъ грамотѣ и музыкѣ. Смолоду онъ игралъ на скрипкѣ въ помѣщичьемъ оркестрѣ, а девятнадцати лѣтъ откупился за пятьсотъ рублей на волю и сдѣлался винокуромъ. Одаренный яснымъ практическимъ умомъ, Александръ Ивановичъ отлично повелъ свои дѣла. Сначала онъ сдѣлалъ себѣ извѣстность, какъ лучшій винокуръ въ околоткѣ; потомъ сталъ строить винокуренные заводы и водяныя мельницы; собралъ рублей тысячу свободныхъ денегъ, съѣздилъ на годъ въ сѣверную Германію и возвратился оттуда такимъ строителемъ, что слава его быстро разнеслась на далекое пространство. Въ трехъ смежныхъ губерніяхъ знали Александра Ивановича и на перебой навязывали ему постройки. Дѣла онъ велъ необыкновенно аккуратно и снисходительно смотрѣлъ на дворянскія слабости своихъ заказчиковъ. Вообще онъ зналъ людей и часто смѣялся въ рукавъ надъ многими, но былъ человѣкъ недурной и даже, пожалуй, добрый. Его всѣ любили, кромѣ мѣстныхъ нѣмцевъ, надъ которыми онъ любилъ подтруниватъ, когда они принимались вводить культурные порядки съ полудикими людьми. «Обезьяну, говорилъ онъ,—сейчасъ сдѣлаетъ», и нѣмецъ, дѣйствительно, какъ нарочно, ошибался въ расчетѣ и дѣлалъ обезьяну. Черезъ пять лѣтъ по возвращеніи изъ Мекленбургъ - Шверина, Александръ Ивановичъ купилъ у своего бывшаго помѣщика Барковъ-хуторъ, записался въ купечество нашего уѣзднаго городка, выдалъ замужъ двухъ сестеръ и женилъ брата. Семья была выкуплена имъ изъ крѣпостного званія еще до поѣздки за границу и вся держалась вокругъ Александра Ивановича. Братъ и зятья всѣ были у него на службѣ и на жалованьѣ. Обращался онъ съ ними крутенько. Не обижалъ, но держалъ въ страхѣ. Такъ онъ держалъ и приказчиковъ,

и рабочихъ. И не то, чтобы онъ любилъ почетъ, а такъ... Убѣжденъ онъ былъ, что «нужно, чтобъ люди не баловались». Купивъ хуторъ, Александръ Ивановичъ выкупилъ у того же помѣщика горничную дѣвушку Настасью Петровну и сочетался съ ней законнымъ бракомъ. Жили они всегда очень согласно. Люди говорили, что у нихъ «совѣтъ да любовь». Выйдя замужъ за Александра Ивановича, Настастья Петровна, что говорятъ, «раздобрѣла». Она всегда была писаная красавица, но замужемъ расцвѣла какъ пышная роза. Высокая, бѣлая, немножко полная, но стройная, румянецъ во всю щеку и большіе, ласковые голубые глаза. Хозяйка Настасья Петровна была очень хорошая. Мужъ, бывало, рѣдко когда недѣлю просидитъ дома—все въ разъѣздахъ по работамъ, а она и хозяйство по хутору ведетъ, и приказчиковъ отсчитываетъ, и лѣсъ или хлѣбъ, если нужно куда на заводы, покупаетъ. Во всемъ она была Александру Ивановичу правая рука, и зато всѣ относились къ ней очень серьезно и съ большимъ уваженіемъ, а мужъ вѣрилъ ей безъ мѣры и съ нею не держался своей строгой политики: Ей у него ни въ чемъ отказу не было. Только она ничего не требовала. Читать сама выучилась и имя свое умѣла подписывать. Дѣтей у нихъ было всего двѣ дѣвочки: старшей девять лѣтъ, а младшей семь. Учила ихъ гувернантка изъ русскихъ. Сама Настасья Петровна шутя называла себя «дурой безграмотной». А впрочемъ, она знала едва ли менѣе многихъ иныхъ такъ-называемыхъ воспитанныхъ дамъ. По-французски она не разумѣла, но русскія книги просто пожирала. Память у ней была страшная. Карамзинскую исторію, бывало, чуть не наизусть разсказываетъ. А стиховъ на память знала безъ счету. Особенно она любила Лермонтова и Некрасова. Послѣдній былъ особенно понятенъ и сочувственъ ея много перестрадавшему въ былое время крѣпостному сердцу. Въ разговорѣ у нея еще часто прорывались крестьянскія выраженія, особенно когда она говорила съ воодушевленіемъ, но эта народная рѣчь даже необыкновенно шла къ ней. Бывало, если она станетъ разсказывать этой рѣчью что-нибудь прочитанное, такъ такую силу придастъ своему разсказу, что послѣ ужъ читать не хочется. Очень способная была женщина. Дворянство наше часто наѣзжало въ Барковъ-хуторъ, иногда такъ, чужого ужина попробовать, а

больше по дѣламъ. Александру Ивановичу вездѣ былъ кредитъ открытый, а помѣщикамъ мало вѣрили, зная ихъ плохую расплату. Говорили: «онъ аристократъ — дай ему, да ори сто кратъ». Такова была ихъ репутація. Понадобится хлѣбъ — вино курить не изъ чего, а задатки либо промотаны, либо на уплату старыхъ долговъ пошли, — ну, и тянутъ къ Александру Ивановичу. «Выручи! Голубчикъ, такой-сякой, поручись». Тутъ у Настасьи Петровны ручки цѣлуютъ — ласковые такіе и простодушные. А она, бывало, выйдетъ, да помираетъ-хохочетъ. «Видѣли, говоритъ, *жиристовъ-то!*» Настасья Петровна «жиристами» прозывала дворянъ съ тѣхъ поръ, какъ одна московская барыня, вернувшись въ свое разоренное имѣніе, хотѣла «воспитать дикій самородокъ» и говорила: «какъ же вы не понимаете ma belle Anastasie, что вездѣ есть свои жирондисты!» Впрочемъ, руку у Настасьи Петровны всѣ цѣловали, и она къ этому привыкла. Но были и такіе ухорцы, что открывались ей въ любви и звали ее «подъ сѣнь струй». Одинъ лейбъ-гусаръ доказывалъ ей даже безопасность такого поступка, если она захватитъ съ собой юхтовый бумажникъ Александра Ивановича. Но

Они страдали безуспѣшно.

Настасья Петровна умѣла держать себя съ этими поклонниками красоты.

Къ этимъ людямъ—къ Свиридовой и къ ея мужу — я и рѣшилъ обратиться съ просьбой о моемъ неуклюжемъ пріятелѣ. Когда я пріѣхалъ просить за него, Александра Ивановича, по обыкновенію, не было дома; я засталъ одну Настасью Петровну и разсказалъ ей, какого мнѣ судьба послала малолѣтка. Черезъ два дня я отвезъ къ Свиридовымъ моего Овцебыка, а черезъ недѣлю поѣхалъ къ нимъ снова проститься.

— Что ты, братъ, мнѣ бабу тутъ безъ меня сбиваешь?— спросилъ меня Александръ Ивановичъ, встрѣчая меня на крыльцѣ.

— Чѣмъ я сбиваю Настасью Петровну?—спросилъ я въ свою очередь, не понимая его вопроса.

— Какъ же, помилуй, для чего ты въ филантропію ее затягиваешь? Какого ты ей тутъ шута на руки навязалъ?

— Слушайте его! — закричалъ изъ окна знакомый не-

множко рѣзкій контральтъ.—Отличный вашъ Овцебыкъ. Я вамъ за него очень благодарна.

— А взаправду, что̀ ты за звѣря такого намъ завезъ?—спросилъ Александръ Ивановичъ, когда мы взошли въ его чертежную.

— Овцебыка,—отвѣчалъ я, улыбаясь.

— Непонятный, братъ, какой-то!

— Чѣмъ?

— Да совсѣмъ блажной какой-то!

— Это сначала.

— А можетъ-быть, подъ конецъ хуже будетъ?

Я разсмѣялся, и Александръ Ивановичъ тоже.

— Да, парень, смѣхъ-смѣхомъ, а куда его дѣть? Вѣдь мнѣ, право, такого приткнуть некуда.

— Пожалуйста, дай ему что-нибудь заработать.

— Да вѣдь не о томъ! Я не прочь; да куда его опредѣлить-то? Вѣдь ты гляди, какой онъ,—сказалъ Александръ Ивановичъ, указывая на проходившаго въ эту минуту по двору Василья Петровича.

Я посмотрѣлъ, какъ тотъ шагаетъ, заложа одну руку за пазуху свиты, а другою закручивая косицу, и самъ подумалъ: «Куда бы его, въ самомъ дѣлѣ, однако можно было опредѣлить?»

— Пусть на порубкѣ смотритъ, — посовѣтовала мужъ хозяйка.

Александръ Ивановичъ засмѣялся.

— Пусть его будетъ на порубкѣ, — сказалъ и я.

— Эхъ, вы, дѣти малыя! Что̀ онъ тамъ будетъ дѣлать? Тамъ вѣдь непривычный человѣкъ со скуки повѣсится. А мой згадъ — дать ему сто рублей, да пусть идетъ куда знаетъ, и пусть дѣлаетъ что̀ хочетъ.

— Нѣтъ, ты его не отгоняй.

— Да, этакъ обидѣть можно!—поддержала меня Настасья Петровна.

— Ну, куда жъ я его дѣну? У меня вѣдь все мужики; я самъ мужикъ; а онъ...

— Тоже не баринъ, — сказалъ я.

— Ни баринъ, ни крестьянинъ, да и ни на что никуда не годящійся.

— Да отдай ты его Настасьѣ Петровнѣ.

— Право, отдай, — вмѣшалась она снова.

— Бери, бери, моя матушка.

— Ну, и прекрасно,—сказала Настасья Петровна.

Овцебыкъ остался на рукахъ Настасьи Петровны.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ августѣ мѣсяцѣ, живучи уже въ Петербургѣ, я получилъ въ почтамтѣ страховое письмо со вложеніемъ пятидесяти рублей серебромъ. Въ письмѣ было написано:

«Возлюбленный брате!

Я нахожусь при истребленіи лѣсовъ, которые росли на всеобщую долю, а попали на свиридовскую часть. За полгода дали мнѣ жалованья 60 рублей, хотя еще полгода и не прошло. Видно, гарнитура моя подъ это подговорилась, но сія ихъ великатность пусть будетъ втуне: я въ семъ не нуждаюсь. Десять цѣлковыхъ себѣ оставилъ, а пятьдесятъ, при семъ прилагаемыхъ, тотчасъ, *безъ всякаго письма*, отошлите крестьянской дѣвицѣ Глафирѣ Анфиногеновой Мухиной въ деревню Дубы, — ской губерніи — скаго уѣзда. Да чтобъ не знали, отъ кого. Это та, которая будто жена моя: такъ это ей на случай, если дитя родилось.

Тутъ мое житье постылое. Дѣлать мнѣ здѣсь нечего, и я однимъ себя утѣшаю, что нигдѣ, видно, нечего дѣлать, опричь того, что всѣ дѣлаютъ: родителей поминаютъ да свои брюхи набиваютъ. Здѣсь всѣ на Александра Свиридова молятся. Александръ Ивановичъ! — и человѣка больше ни для кого нѣтъ. До него все дорасти хотятъ, а что онъ такое за суть, сей мужъ кармана?

Да, понялъ нынѣ и я нѣчто, понялъ. Разрѣшилъ я себѣ «Русь, куда стремишься ты?» и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти. Вездѣ все одно. Черезъ Александровъ Ивановичей не перескочишь.

Василій Богословскій».

Ольгина-Пойма.

3 августа 185... года.

Въ первыхъ числахъ декабря я получилъ другое письмо. Этимъ письмомъ Свиридовъ извѣщалъ меня, что онъ выѣзжаетъ на-дняхъ въ Петербургъ съ женою, и просилъ нанять ему удобную квартирку.

Дней черезъ десять послѣ этого второго письма Александръ Ивановичъ съ женою сидѣли въ премиленькой квар-

тирѣ противъ Александринскаго театра, отогрѣвались чаемъ и отогрѣвали мою душу разсказами о той далекой сторонѣ,

Гдѣ сны златые снились мнѣ.

— А что же вы мнѣ не скажете,—спросилъ я, улучивъ минуту:—что дѣлаетъ мой Овцебыкъ?

— Брыкается, братъ, — отвѣчалъ Свиридовъ.

— Какъ, брыкается?

— Чудитъ. Къ намъ не ходитъ, пренебрегаетъ, что ли, все съ рабочими якшался, а теперь и это, должно-быть, надоѣло: просилъ, чтобъ его въ другое мѣсто отправить.

— Что жъ вы-то?—спросилъ я Настасью Петровну.—На васъ, вѣдь, вся надежда была, что вы его приручите?

— Чего надежда? Отъ нея-то онъ и бѣгаетъ.

Я взглянулъ на Настасью Петровну, она на меня.

— Что будешь дѣлать? Страшна, видно, я.

— Да какъ же это? Разскажите.

— Что говорить? — и говорить-то не про что — просто: пришелъ ко мнѣ, да и говоритъ: «отпустите меня».—«Куда?» говорю.—«Я, говоритъ, не знаю».—«Да чѣмъ вамъ худо у меня?»—«Мнѣ, говоритъ, не худо, а отпустите».—«Да что же, молъ, такое?» Молчитъ. «Обидѣлъ васъ кто, что ли?» Молчитъ, только косицы крутитъ. «Вы, говорю, Настѣ сказали бы, что вамъ худого дѣлаютъ».—«Нѣтъ, вы, говоритъ, пошлите меня на другую работу». Жаль стало мнѣ его совсѣмъ выправить—послалъ на другую порубку въ Жогово, верстъ за тридцать. Тамъ онъ и теперь,—прибавилъ Александръ Ивановичъ.

— Чѣмъ же вы его такъ разогорчили? спросилъ я Настасью Петровну.

— А ужъ Богъ его знаетъ: я его ничѣмъ не огорчала.

— Какъ мать родная за нимъ упадала,—поддержалъ Свиридовъ.—Обшила, одѣла, обула. Вѣдь знаешь, какая она сердобольная.

— Ну, и что же вышло?

— Не взлюбилъ меня,—смѣясь, сказала Настасья Петровна.

Зажили мы знатно съ Свиридовыми въ Петербургѣ. Александръ Ивановичъ все хлопоталъ по дѣламъ, а мы съ Настасьей Петровной все «болтались». Городъ ей очень понравился; но особенно она полюбила театры. Всякій вечеръ мы ходили въ какой-нибудь театръ, и никогда это ей не

наскучало. Время шло быстро и пріятно. Отъ Овцебыка я въ это время получилъ еще одно письмо, въ которомъ онъ ужасно злобно выражался объ Александрѣ Ивановичѣ. «Разбойники и чужеземцы», писалъ онъ,—«по мнѣ лучше, чѣмъ эти богатѣи изъ русскихъ! А всѣ за нихъ и черевы лопаются какъ подумаешь, что это такъ и быть должно, что всѣ за нихъ будутъ. Вижу я нѣчто дивное: вижу, что онъ, сей Александръ Ивановъ, мнѣ во всемъ на дорогѣ стоялъ, прежде чѣмъ я узналъ его. Вотъ кто врагъ-то народный— сей видъ сытаго мужлана, мужлана, питающаго отъ крупицъ своихъ перекатную голь, чтобы она не сразу передохла, да на него бы работала. Сей вотъ самый христіанинъ нашему нраву подъ стать и онъ всѣхъ и побѣдитъ и дондеже пріидутъ отложенная ему. Съ моими мыслями намъ вдвоемъ на одномъ свѣтѣ жить не приходится. Я уступлю ему дорогу, ибо онъ излюбленный ихъ. Онъ хоть для кого-нибудь на потребу сдастся, а мое, вижу, все ни къ чорту не годится. Недаромъ вы какимъ-то звѣринымъ именемъ называли. Никто меня не признаетъ своимъ, и я ни въ комъ своего не призналъ». Затѣмъ онъ просилъ написать, живъ ли я и какъ живетъ Настасья Петровна. Этимъ же временемъ изъ Вытегры къ Александру Ивановичу зашли бондари, сопровождавшіе вино съ одного завода. Я ихъ взялъ къ себѣ въ свободную кухню. Ребята все были знакомые. Съ ними мы какъ-то разговорились о томъ, о семъ, и до Овцебыка дошло.

— Какъ онъ у васъ поживаетъ?—спрашиваю ихъ.

— Ничего, живетъ!

— Дѣйствуетъ,—подсказываетъ другой.

— А что онъ работаетъ?

— Ну, какая отъ него работа! Такъ, нивѣсть для чего его хозяинъ содержитъ.

— Въ чемъ же онъ время проводитъ.

— Слоняется по лѣсу. Указано ему отъ хозяина въ родѣ приказчика рубку записывать, и того не дѣлаютъ.

— Отчего?

— Кто его знаетъ. Баловство отъ хозяина.

— А здоровый онъ,—продолжалъ другой бондарь.—Иной разъ возьметъ топоръ, да какъ почнетъ садить — ухъ! только искорья летятъ.

— А то на караулъ ходилъ еще.

— На какой караулъ?

— Брехалъ народъ, что бѣглые будто ходятъ, такъ онъ по цѣлымъ ночамъ сталъ пропадать. Ребята подумали, что и онъ не заодно ли съ тѣми бѣглыми, да и подкарауль его. Какъ онъ пошелъ, а они втроемъ за нимъ. Видятъ, прямо на хуторъ поперъ. Ну, только ничего — все пустяки вышли. Сѣлъ, сказываютъ, подъ ракитой, насупротивъ хозяйскихъ оконъ, подозвалъ Султанку, да такъ и просидѣлъ до зорьки, а зорькою поднялся и опять къ своему мѣсту. Такъ и въ другой, и въ третій. Ребята и бросили за нимъ смотрѣть. Почитай до осени до самой такъ ходилъ. А послѣ Успенья тутъ какъ-то ребята стали разъ спать ложиться, да и говорятъ ему: «Полно, Петровичъ, на караулъ-то тебѣ ходить! Ложись-ко съ нами». Ничего не сказалъ, а черезъ два дни, слышимъ, отпросился: въ другую дачу его хозяинъ поставилъ.

— А любили его, — спрашиваю, — ваши ребята-то?

Бондарь подумалъ и сказалъ:

— Ничего будто.

— Вѣдь онъ добрый.

— Да, онъ худа не дѣлалъ. Разсказывать, бывало, когда что зачнетъ про Филарета Милостиваго, либо про другое что, то все на доброту сворачиваетъ, и противъ богачества складно говоритъ. Ребята его много которые слушали.

— И что же: нравилось имъ?

— Ничего. Тоже другой разъ и смѣшно сдѣлаетъ.

— А что же бываетъ смѣшно?

— А вотъ, напримѣръ, говоритъ-говоритъ про божество, да вдругъ—про господъ. Возьметъ горсть гороху, выберетъ что ни самыя ядреныя гороховины, да и разсажаетъ ихъ по свиткѣ: вотъ это, говоритъ, самый набольшій — король; а это, поменьше — его министры съ князьями; а это, еще поменьше — баре, да кущы, да попы толстопузые; а вотъ это — на горсть-то показываетъ — это, говоритъ, мы, гречкосѣи. Да какъ этими гречкосѣями-то во всѣхъ въ принцевъ и въ поповъ толстопузыхъ шарахнетъ: все и сравняется. Куча станетъ. Ну, ребята, извѣстно, смѣются. Покажи, просятъ, опять эту комедію.

— Это онъ такъ, извѣстно, дурашенъ, — подсказалъ другой.

Оставалось молчать.

— А изъ какихъ онъ будетъ? Не изъ комедіантовъ? — спросилъ второй бондарь.

— Съ чего это вы выдумали?

— Народъ такъ-то баилъ. Миронка, что-ли, сказывалъ.

Миронка былъ маленькій, вертлявый мужикъ, давно разъѣзжающій съ Александромъ Ивановичемъ. Онъ слылъ за пѣвца, сказочника и балагура. Въ самомъ дѣлѣ, онъ иногда выдумывалъ нелѣпыя утки и мастерски распускалъ ихъ между простодушнымъ народомъ и наслаждался плодами своей изобрѣтательности. Очевидно было, что Василій Петровичъ, сдѣлавшись загадкою для ребятъ, рубившихъ лѣсъ, сдѣлался и предметомъ толковъ, а Миронка воспользовался этимъ обстоятельствомъ и сдѣлалъ изъ моего героя отставного комедіанта.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Была масленица. Мы съ Настасьей Петровной едва достали билетъ на вечерній спектакль. Давали «Эсмеральду», которую ей давно хотѣлось видѣть. Спектакль шелъ очень хорошо и, по русскому театральному обычаю, окончился очень поздно. Ночь была погожая, и мы съ Настасьей Петровной пошли домой пѣшкомъ. Дорогою я замѣтилъ, что моя винокурша очень задумчива и часто отвѣчаетъ невпопадъ.

— Что васъ такъ занимаетъ? — спросилъ я ее.

— А что?

— Да вы не слышите, что я вамъ говорю.

Настасья Петровна засмѣялась.

— А какъ вы думаете: о чемъ я задумываюсь?

— Трудно отгадать.

— Ну, а такъ, напримѣръ?

— Объ Эсмеральдѣ.

— Да, вы почти отгадали; но не сама Эсмеральда меня занимаетъ, а этотъ бѣдный Квазимодо.

— Вамъ жаль его?

Очень. Вотъ настоящее несчастіе: быть такимъ человѣкомъ, котораго нельзя любить. И жаль его, и хотѣлъ бы снять съ него горе, да нельзя этого сдѣлать. Это — ужасно! А нельзя, никакъ нельзя, — продолжала она въ раздумьѣ.

Усѣвшись за чай, въ ожиданіи возвращенія къ ужину Александра Ивановича, мы очень долго толковали. Александръ Ивановичъ не приходилъ.

— Э! Еще слава Богу, что въ самомъ дѣлѣ на свѣтѣ такихъ людей не бываетъ.

— Какихъ? Какъ Квазимодо?

— Да.

— А Овцебыкъ?

Настасья Петровна ударила ладонью по столу и сначала разсмѣялась, но потомъ какъ бы застыдилась своего смѣха и проговорила тихо:

— А вѣдь въ самомъ дѣлѣ!

Она придвинула свѣчку и пристально стала смотрѣть въ огонь, прищуривая слегка свои прекрасные глаза.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Свиридовы пробыли въ Петербургѣ до лѣта. Все день за день откладывали за дѣлами свой отъѣздъ. Они уговорили меня ѣхать съ ними вмѣстѣ. Вмѣстѣ мы ѣхали до нашего уѣзднаго города. Тутъ я сѣлъ на перекладную и повернулъ къ матушкѣ, а они уѣхали къ себѣ, взявъ съ меня слово быть у нихъ черезъ недѣлю. Александръ Ивановичъ собирался тотчасъ же по пріѣздѣ домой ѣхать въ Жогово, гдѣ у него шла рубка и гдѣ резидировалъ теперь Овцебыкъ, а черезъ недѣлю обѣщалъ быть дома. У насъ меня не ожидали и очень мнѣ обрадовались... Я сказалъ, что съ недѣлю никуда не выѣду; мать вызвала моего двоюроднаго брата съ женою, и начались разныя буколическія наслажденія.

Такъ прошло дней десять, а на одиннадцатый или на двѣнадцатый, на самой ранней зорѣ, ко мнѣ вошла нѣсколько встревоженная моя старушка-няня.

— Что такое? — спрашиваю ее.

— Отъ барковскихъ, дружочекъ, къ тебѣ, говоритъ, — прислали.

Вошелъ двѣнадцатилѣтній мальчикъ и, не кланяясь, переложилъ раза два изъ руки въ руку свою шляпенку, откашлялся и сказалъ:

— Хозяйка тебѣ велѣла, чтобъ сичасъ къ ней ѣхалъ.

— Здорова Настасья Петровна? — спрашиваю.

— Ну, а то что ей.

— А Александръ Иванычъ?

— Хозяина нѣту-ти дома, — отвѣчалъ мальчикъ, снова откашливаясь.

— Гдѣ же хозяинъ?

— У Жогови... тамъ, вишь, случай припалъ.

Я велѣлъ осѣдлать себѣ одну изъ матушкиныхъ пристяжныхъ лошадей и, одѣвшись въ одну минуту, поѣхалъ шибкою рысью въ Барковъ-хуторъ. Было только пять часовъ утра и дома у насъ всѣ еще спали.

Въ домикѣ на хуторѣ, когда я пріѣхалъ туда, всѣ окна, кромѣ комнаты дѣтей и гувернантки, были уже отворены, и въ одномъ окнѣ стояла Настасья Петровна, повязанная большимъ голубымъ фуляромъ. Она растерянно отвѣчала головою на мой поклонъ и, пока я привязывалъ къ коновязи лошадь, два раза махнула рукой, чтобы я шелъ скорѣе.

— Вотъ напасть-то! — сказала она, встрѣчая меня на самомъ порогѣ.

— Что такое?

— Александръ Ивановичъ третьяго дня, вечеромъ, уѣхалъ въ Турухтановку, а нынче, въ три часа ночи, изъ Жогова, съ порубки, вотъ какую записку прислалъ съ нарочнымъ.

Она подала мнѣ измятое письмо, которое до того держала въ своихъ рукахъ.

«Настя! — писалъ Свиридовъ. — Пошли сейчасъ въ М—ъ на телѣгѣ парой, чтобъ отдали письмо лѣкарю и исправнику. Чудакъ-то твой таки надѣлалъ намъ дѣлъ. Вчера вечеромъ говорилъ со мной, а нынче передъ полдниками удавился. Пошли кого поумнѣе, чтобъ купилъ все въ порядкѣ и чтобъ гробъ везли поскорѣе. Не то время теперь, чтобы съ такими дѣлами возиться. Пожалуйста, поторопись, да растолкуй, кого пошлешь: какъ ему надо обращаться съ письмами-то. Знаешь, теперь какъ день дорогъ, а тутъ мертвое тѣло.

Твой Александръ Свиридовъ».

Черезъ десять минутъ я ѣхалъ крупной рысью къ Жогову. Виляя по различнымъ проселкамъ, я очень скоро потерялъ настоящую дорогу и едва къ сумеркамъ добрался до жоговскаго лѣса, гдѣ шла рубка. Лошадь я совершенно измучилъ и самъ изнемогъ отъ продолжительной верховой ѣзды по жару. Въѣхавъ на поляну, на которой была караульная изба, я увидѣлъ Александра Ивановича. Онъ стоялъ на крыльцѣ въ одномъ жилетѣ и держалъ въ рукахъ счеты. Лицо у него было, по обыкновенію, спокойно, но нѣсколько

серьезнѣе обыкновеннаго. Передъ нимъ стояли человѣкъ тридцать мужиковъ. Они были безъ шапокъ, съ заткнутыми за пояса топорами. Нѣсколько въ сторонѣ отъ нихъ стоялъ знакомый мнѣ приказчикъ Орефьичъ, а еще далѣе — кучеръ Миронка.

Тутъ же стояла пара выпряженныхъ коренастыхъ лошадокъ Александра Ивановича.

Миронка подскочилъ ко мнѣ и, взявъ мою лошадь, съ веселой улыбкой сказалъ:

— Эхъ, какъ упарили!

— Поводи, поводи хорошенько! — крикнулъ ему Александръ Ивановичъ, не выпуская счетъ изъ руки.

— Такъ, такъ, ребята? — спросилъ онъ, обратясь къ стоявшимъ передъ нимъ крестьянамъ.

— Должно такъ, Александра Иванычъ, — отозвалось нѣсколько голосовъ.

— Ну, и съ Богомъ, коли такъ, — отвѣчалъ онъ крестьянамъ, протянулъ мнѣ руку и, долго посмотрѣвъ мнѣ въ глаза, сказалъ:

— Что, братъ?

— Что?

— Какову штучку-то откололъ?

— Повѣсился.

— Да; сказнилъ себя. Ты отъ кого узналъ?

Я разсказалъ, какъ было.

— Умница баба, что сносылала за тобою; я, признаться, и не вздумалъ. Да ты еще-то что знаешь? — понизивъ голосъ, спросилъ Александръ Ивановичъ.

— А еще я ничего не знаю. Развѣ еще что есть?

— Какъ же! Онъ тутъ, братъ, было такую гармонію изладилъ, что унеси ты мое горе. Поблагодарилъ-было за хлѣбъ за соль. Да и вамъ съ Настасьей Петровной спасибо: одра этакого мнѣ навязали.

— Что же такое? говорю. — Сказывай толкомъ!

А самому страсть какъ непріятно.

— Писаніе, братецъ, началъ толковать на свой салтыкъ, и, скажу тебѣ, ужъ не на честный, а на дурацкій. Про мытаря началъ, да про Лазаря убогаго, да вотъ какъ кому въ иглу пролѣзть можно, а кому нельзя, и свелъ все на меня.

— Какъ же онъ оборотилъ на тебя?

— Какъ?.. А такъ, видишь ли, что я въ его расчисле-

ніи «купецъ — загребущая лапа» и гречкосѣямъ надо меня лобанить.

Дѣло было понятно.

— Ну, а что же гречкосѣи? — спросилъ я Александра Ивановича, смотрѣвшаго на меня значительнымъ взглядомъ.

— Ребята, извѣстно — ничего.

— То-есть на чистоту, что-ли, все вывели?

— Разумѣется. Волки! — продолжалъ Александръ Ивановичъ съ лукавой усмѣшкой. — Все будто не смысля, ему говорятъ: «это, Василій Петровичъ, ты должно въ правилѣ. Мы теперь какъ отца Петра увидимъ, тоже его объ этомъ разспрошаемъ», а мнѣ тутъ это все больше шутя сказываютъ, и говорятъ: «не въ порядкахъ, говорятъ, все онъ гуторитъ». И прямо въ глаза при немъ его слова повторяютъ.

— Ну, что жъ дальше?

— Я, было, это хотѣлъ такъ и спустить, будто тоже по разумѣю; ну, а теперь, какъ такой грѣхъ случился, призывалъ ихъ нарочно, будто счеты повѣрить, да стороною имъ загвоздку добрую закинулъ, что эти, молъ, рѣчи пустошныя, ихъ надо изъ головы выкинуть и про нихъ крѣпко молчать.

— А хорошо, какъ они это соблюдутъ.

— Небось, соблюдутъ, со мной не дурачатся.

Мы вошли въ избу. На лавкѣ у Александра Ивановича лежали пестрая казанская кошма и красная сафьянная подушка; столъ былъ накрытъ чистой салфеткой и на немъ весело кипѣлъ самоваръ.

— Что это ему вздумалось?—проговорилъ я, усѣвшись къ столику вмѣстѣ съ Свиридовымъ.

— Поди жъ ты! Съ большого ума-то вѣдь чего не вздумаешь. Терпѣть я не могу этихъ семинаристовъ.

— Третьягодня вы съ нимъ говорили?

— Говорили. Ничего промежъ насъ не было непріятнаго. Вечеромъ тутъ рабочіе пришли, водкой я ихъ потчивалъ, потолковалъ съ ними, денегъ далъ, кому впередъ просили; а онъ тутъ и улизнулъ. Утромъ его не было, а передъ полденками дѣвчонка какая-то пришла къ рабочимъ: «Смотрите, говоритъ, вотъ тутъ за поляной человѣкъ какой-то удавился». Пошли ребята, а онъ, сердечный, ужъ очерствѣлъ. Должно, еще съ вечера повѣсился.

— А больше ничего непріятнаго не было?

— Ничегошеньки.

— Можетъ, ты не сказалъ ли ему чего?

— Еще что выдумай!

— Письма онъ никакого не оставилъ?

— Никакого.

— Въ бумагахъ ты у него не посмотрѣлъ?

— Бумагъ у него, кажется, и не было.

— А все бы посмотрѣть, пока полиція не пріѣхала.

— Пожалуй.

— Что, у него сундучокъ, что ли, былъ?—спросилъ Александръ Ивановичъ у стряпки.

— У покойника-то?—сундучокъ.

Принесли маленькій незапертый сундучокъ. Открыли его при приказчикѣ и стряпкѣ. Ничего тутъ не было, кромѣ двухъ перемѣнъ бѣлья, засаленныхъ выписокъ изъ сочиненій Платона да окровавленнаго носового платка, завернутаго въ бумажку.

— Что это за платокъ такой?—спросилъ Александръ Ивановичъ.

— А это, какъ онъ, покойникъ, руку тутъ при хозяйкѣ порубилъ, такъ она ему своимъ платочкомъ завязала,—отвѣчала стряпка.—Тотъ онъ самый и есть,—добавила баба, посмотрѣвъ на платокъ поближе.

— Ну, вотъ и все,—проговорилъ Александръ Ивановичъ

— Пойдемъ посмотрѣть на него.

— Пойдемъ.

Пока Свиридовъ одѣвался, я внимательно разсмотрѣлъ бумажку, въ которой былъ завернутъ платокъ. Она была совершенно чистая. Я перепустилъ листы Платоновой книги—нигдѣ ни малѣйшей записочки; есть только очеркнутыя ногтями мѣста. Читаю очеркнутое:

«Персы и аѳиняне потеряли равновѣсіе, одни слишкомъ распространивши права монархіи, другіе—простирая слишкомъ далеко любовь къ свободѣ.»

«Вола не поставляютъ начальникомъ надъ волами, а человѣка. Пусть царствуетъ геній.»

«Ближайшая къ природѣ власть есть власть сильнаго.»

«Гдѣ безстыдны старики, тамъ юноши необходимо будутъ безстыдны.»

«Невозможно быть отлично добрымъ и отлично богатымъ. Почему? Потому что кто пріобрѣтаетъ честными и нечест-

ными способами, тотъ пріобрѣтаетъ вдвое больше пріобрѣтающаго одними честными способами, и кто не дѣлаетъ пожертвованій добру, тотъ менѣе расходуетъ, чѣмъ тотъ, кто готовъ на благородныя жертвы.»

«Богъ есть мѣра всѣхъ вещей, и мѣра совершеннѣйшая. Чтобы уподобиться Богу, надо быть умѣреннымъ во всемъ, даже въ желаніяхъ.»

Тутъ есть на полѣ слова, слабо написанныя какимъ-то рыжимъ борщомъ рукой Овцебыка. Съ трудомъ разбираю: *«Васька глупецъ! Зачѣмъ ты не попъ? Зачѣмъ ты обрѣзалъ крылья у слова своего? Не въ рязь учитель — народу шутъ, себѣ поношеніе, идетъ---пагубникъ. Я тать, и что дальше пойду, то больше сворую.»*

Я закрылъ Овцебыкову книгу.

Александръ Ивановичъ надѣлъ свой казакинъ, и мы пошли на поляну. Съ поляны повернули вправо и пошли глухимъ сосновымъ боромъ; перешли просѣку, отъ которой начиналась рубка, и опять вошли на другую большую поляну. Здѣсь стояли два большіе стога прошлогодняго сѣна. Александръ Ивановичъ остановился посреди поляны и, вобравъ въ грудь воздуха, громко крикнулъ: «гопъ! гопъ!» Отвѣта не было. Луна ярко освѣщала поляну и бросала двѣ длинныя тѣни отъ стоговъ.

— Гопъ! гопъ!—крикнулъ во второй разъ Александръ Ивановичъ.

— Гоп-па!—отвѣчали справа изъ лѣса.

— Вотъ гдѣ! сказалъ мой спутникъ, и мы пошли вправо.

Черезъ десять минутъ Александръ Ивановичъ снова крикнулъ и ему тотчасъ отвѣчали, а вслѣдъ затѣмъ мы увидѣли двухъ мужиковъ: старика и молодого парня. Оба они, увидя Свиридова, сняли шапки и стояли, облокотясь на свои длинныя палки.

— Здорово, христіане!

— Здравствуй, Ликсандра Иванычъ?

— Гдѣ покойникъ-то?

— Тутотка, Ликсандра Иванычъ.

— Покажите: я не запримѣтилъ что-то мѣста.

— Да вотъ онъ.

— Гдѣ?

— Да вотъ онъ!

Крестьянинъ усмѣхнулся и показалъ вправо.

Въ трехъ шагахъ отъ насъ висѣлъ Овцебыкъ. Онъ удавился тоненькимъ крестьянскимъ пояскомъ, привязавъ его къ сучку не выше человѣческаго роста. Колѣни у него были поджаты и чуть не доставали до земли. Точно онъ на колѣняхъ стоялъ. Руки даже у него, по обыкновенію, были заложены въ карманы свитки. Фигура его вся была въ тѣни, а на голову, сквозь вѣтки, падалъ блѣдный свѣтъ луны. Бѣдная это голова! Теперь она была уже покойна. Косицы на ней торчали такъ же вверхъ, бараньими рогами, а помутившіеся, остолбенѣлые глаза смотрѣли на луну съ тѣмъ самымъ выраженіемъ, которое остается въ глазахъ быка, котораго нѣсколько разъ ударили обухомъ по-лбу, а потомъ уже сразу проѣхали ножомъ по горлу. Въ нихъ нельзя было прочесть предсмертной мысли добровольнаго мученика. Они не говорили и того, что говорили его платоновскія цитаты и платокъ съ красною мѣткою.

— Вотъ тебѣ и все: былъ человѣкъ, какъ его и не было,— сказалъ Свиридовъ.

— Ему гнить, а вамъ жить, батюшка Ликсандра Иванычъ,—проговорилъ старичокъ заискивающимъ, сладенькимъ голоскомъ.

Онъ тоже говорилъ, что ему гнить, а Александрамъ Ивановичамъ жить.

Душно тутъ было въ этомъ темномъ лѣсномъ куточкѣ, избранномъ Овцебыкомъ для конца своихъ мученій. А на полянѣ было такъ свѣтло и отрадно. Мѣсяцъ купался въ лазури небесъ, а сосны и ели дремали.

Парижъ.
28-го ноября 1862 года.

КОЛЫВАНСКІЙ МУЖЪ.

(Изъ остзейскихъ наблюденій).

«Пошелъ по канунъ
И самъ потонулъ.»
Русск. пословица.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Изъ городовъ Балтійскаго побережья я жилъ четыре сезона въ Ревелѣ; четыре въ окрестностяхъ Риги и три въ Аренсбургѣ на островѣ Эзелѣ. Въ одну изъ моихъ побывокъ въ Ревелѣ,—помнится, въ первый годъ, когда тамъ губернаторствовалъ М. Н. Галкинъ-Врасскій,—я нанялъ себѣ домикъ въ аллеѣ «Подъ капитанами». Это въ самомъ Екатеринеталѣ, близко парка, близко купаленъ, близко «салона» и не далеко отъ дома губернатора, къ которому я тогда былъ вхожъ.

На дворѣ у моихъ дачныхъ хозяевъ стояли три домика,—всѣ небольшіе, деревянные, выкрашенные сѣренькою краскою и очень чисто содержанные. Въ домикѣ, выходившемъ на улицу, жила сестра бывшаго петербургскаго генералъ-губернатора, князя Суворова, — престарѣлая княгиня Горчакова, а двухъэтажный домикъ, выходившій одною стороною на дворъ, а другою — въ садъ, былъ занятъ двумя семействами: бельэтажъ принадлежалъ мнѣ, а нижній этажъ, еще до моего пріѣзда, былъ сданъ другимъ жильцамъ, имена которыхъ мнѣ не называли, а сказали просто:

— Тутъ живутъ нѣмки.

Всѣ мы были жильцы тихіе и, что называется, «обстоятельные». Важнѣе всѣхъ между нами была, разумѣется, кня-

гиня Варвара Аркадьевна Горчакова, вліятельное значеніе которой было, можетъ-быть, даже немножко преувеличено. О ней говорили, будто она «можетъ сдѣлать все черезъ брата». Она, кажется, знала, что о ней такъ говорятъ, и не тяготилась этимъ. Впрочемъ, для нѣкоторыхъ она что-то и дѣлала. Постоянное занятіе ея состояло въ томъ, что она принимала визиты знатныхъ соотечественниковъ и молилась Богу въ русскомъ соборѣ. Тамъ тогда діаконствовалъ нынѣшній настоятель русской церкви въ Вѣнѣ, о. Николаевскій, который отличался изяществомъ въ священнослуженіи и почитался національнымъ борцомъ и «истинно-русскимъ человѣкомъ», такъ какъ онъ корреспондировалъ въ московскую газету покойнаго Аксакова.

У княгини Горчаковой можно было встрѣтить всю мѣстную и наѣздную знать, начиная съ М. Н. Галкина и Ланскихъ до вице-губернатора Поливанова, котораго не знали, на какое мѣсто ставить въ числѣ «истинно-русскихъ людей». Княгиня также принимала, разумѣется, и духовенство, особенно священника Ѳеодора Знаменскаго и діакона Николаевскаго. Въ «фамиліяхъ» у духовенства княгиня имѣла крестниковъ и фаворитовъ, которымъ она понемножку «благодѣтельствовала»—впрочемъ, только «малыми» и «средними» дарами. До настоящихъ, «большихъ», она не доходила и имѣла, кажется, на то достаточныя причины. Вообще же среди всего, что было въ тотъ годъ знатнаго въ Ревелѣ, княгиня Варвара Аркадьевна имѣла самое первое и почетное положеніе, и ея сѣренькій домикъ ежедневно посѣщался какъ нѣмецкими баронами, имѣвшими основаніе особенно любить и уважать ея брата, такъ и всѣми болѣе или менѣе достопримѣчательными «истинно-русскими людьми».

Всѣ здѣсь на перебой старались быть искательнѣе одинъ другого, но отнюдь не всѣ знали, на что имъ это годится и вообще можетъ ли это хоть на что-нибудь годиться.

И домъ, и кругъ были прелюбопытные и обѣщали много интереса.

Я бо́льшую часть своего времени проводилъ за столомъ у окна, выходившаго въ садъ, которымъ, по условіямъ найма, имѣли равное право пользоваться жильцы верхняго и нижняго этажей, т.-е. мои семейные и занимавшія нижній этажъ «нѣмки». Но нѣмки, нанявшія квартиру нѣсколько раньше

меня, не хотѣли признавать нашего права на совмѣстное пользованіе садомъ; онѣ все спорили съ хозяйкою и утверждали, что та имъ будто бы объ этомъ ни слова не сказала, и что это не могло быть иначе, потому что онѣ ни за что бы не согласились жить на такихъ условіяхъ, чтобы ихъ дѣти должны были играть въ одномъ саду вмѣстѣ съ русскими дѣтьми.

Споръ возгорѣлся въ первый же день нашего прибытія въ Ревель, какъ только дѣти сошли въ садъ. Я узналъ объ этомъ сначала черезъ донесеніе прислуги, для которыхъ хозяйскіе кòнтры на самыхъ первыхъ порахъ при занятіи дачи представляли много захватывающаго интереса, а потомъ я самъ услыхалъ распрю въ фазѣ ея наивысшаго развитія, когда споръ былъ перенесенъ изъ комнатъ подъ открытое небо. Это было въ полдень. Въ садъ вышли три нѣмки: дама высокая, стройная и довольно еще красивая, съ сѣдыми буклями; дама молодая и весьма красивая, одного типа и сильно схожая съ первою, и третья—наша хозяйка, онѣмеченная эстонка, громко отстаивавшая права моего семейства на пользованіе садомъ.

Всѣ были въ большомъ волненіи,—особенно хозяйка и старшая изъ двухъ «нижнихъ дамъ», какъ ихъ называла моя прислуга.

Хозяйка возвышеннымъ голосомъ говорила:

— Я васъ предупреждала... я говорила, что наверху будутъ жильцы, и садъ всѣмъ вмѣстѣ.

А старшая дама на все кротко отвѣчала: «Nein!» и встряхивала буклями и краснѣла. Младшая дама трогала обѣихъ этихъ за руки и упрашивала ихъ «не разбудить малютку».

Сама же эта дама держала за руки двухъ хорошо одѣтыхъ мальчиковъ,—одного лѣтъ пяти и другого лѣтъ трехъ. Оба они не спали. Значитъ, кромѣ этихъ двухъ дѣтей, было еще третье, которое спало. Можетъ-быть, это слабое и больное дитя. Бѣдная мать такъ за него безпокоится.

Мнѣ стало жаль ее и, чтобы положить конецъ тяжелой сценѣ, я рѣшился отказаться отъ сада и кликнулъ домой своихъ племянниковъ.

Дѣти вышли, за ними удалилась хозяйка, и садикъ остался въ обладаніи двухъ нѣмокъ. Онѣ успокоились, вышли и повѣсили на дверцѣ садовой рѣшетки замокъ.

Хозяйка при встрѣчѣ со мною жаловалась на возложеніе

самка, называла это «дерзостью» и совѣтовала мнѣ гдѣ-то «требовать свои права». Прислуга совершенно напрасно прозвала обѣихъ дамъ «язвительными нѣмками».

Я не поддавался этому злому внушенію и находилъ въ обѣихъ дамахъ много симпатичнаго. Я на нихъ не жаловался, оставался вѣжливъ, спокоенъ и не предъявлялъ болѣе на садъ никакихъ требованій. Садикъ оставался постоянно запертымъ, но мы отъ этого не чувствовали ни малѣйшаго лишенія, такъ какъ деревья своими зелеными вершинами прямо лѣзли въ окна, а роскошный екатеринентальскій паркъ начинался сейчасъ же у нашего домика.

Нѣмки выжили насъ изъ садика не по надобности, а какъ будто больше по какому-то принципу. Впрочемъ, онъ былъ имъ нужнѣе, чѣмъ намъ. Онѣ почти постоянно были въ саду обѣ и съ двумя дѣтьми и непремѣнно запирались на замокъ. Это имъ было не совсѣмъ ловко дѣлать,—надо было перевѣшиваться за рѣшетку и вдѣвать замокъ въ пробой съ наружной стороны, но онѣ все это выполняли тщательно и аккуратно. Я думалъ, что онѣ опасаются, какъ бы мы не ворвались въ садикъ насильно, и тогда имъ придется насъ выбивать вонъ. При этомъ имъ, вѣроятно, представлялась война, а судьбы всякой войны неразгаданны, и потому лучше запереться и держаться въ своемъ укрѣпленіи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Такъ это и шло. Побѣда была за нѣмками и никто не покушался у нихъ ее оспаривать. Дѣти наши были совершенно равнодушны къ маленькому домашнему садику въ виду свободы и простора, которые открывалъ имъ берегъ моря, и только кухарка съ горничною немножко дулись, такъ какъ онѣ разсчитывали на дачѣ пить кофе въ «присадникѣ»; но когда это не удалось, я позаботился успокоить ихъ претензію предоставленіемъ имъ другихъ выгодъ, и дѣло уладилось. Притомъ же обѣ эти дѣвушки отличались столь добрыми и незлопамятными сердцами, что удовольствовались возможностью пить свой кофе у растворенаго окна и не порывались въ садикъ, а я былъ даже доволенъ, что нѣмки никого не пускали въ садъ, гдѣ благодаря этому была постоянная тишина, представлявшая значительныя удобства для моихъ литературныхъ занятій.

Вставая изъ-за своего рабочаго стола и подходя къ окну,

чтобы покурить папироску, я всегда видѣлъ двухъ этихъ дамъ, всегда съ работою въ рукахъ, и около нихъ двухъ изящно одѣтыхъ мальчиковъ, которыхъ онѣ звали «Фридэ» и «Воля». Мальчики играли и пѣли «Anku dranku dri-li-dru, seter faber fiber-fu». Мнѣ это нравилось. Вскорѣ появился и третій, только недавно еще увидавшій свѣтъ малютка. Его вывозили въ хорошую пору дня въ крытой колясочкѣ.

Обѣ женщины жили, повидимому, въ большой дружбѣ и въ такомъ полномъ согласіи, что почему-то чувствовалось, какъ будто у нихъ есть какая-то важная тайна, которую обѣ онѣ берегутъ и обѣ за нее боятся.

Образъ жизни ихъ былъ самый тихій и безупречный. Овладѣвъ безраздѣльно садикомъ при дачѣ, онѣ имъ однимъ и довольствовались и не показывались ни на музыкѣ, ни въ паркѣ. Объ ихъ общественномъ положеніи я не зналъ ровно ничего. Прислуга доносила только, что старшая изъ дамъ называется «баронесса» и что обѣ онѣ такъ горды, что никогда не отвѣчаютъ на поклоны и не знаютъ ни одного слова по-русски.

Только одинъ разъ тишина, царствовавшая въ ихъ домѣ, была нарушена посѣщеніемъ трехъ лицъ, изъ которыхъ первое можно было принять за какое-то явленіе.

Я первый подстерегъ, какъ оно насъ освѣтило,—именно я не могу подобрать другого слова, какъ *освѣтило.*

Хлопнула входная сѣрая калитка и въ ней показалось легкое, граціозное и все сіяющее свѣтлое созданіе,—молодая, бѣлокурая дѣвушка, съ красивымъ саквояжемъ въ одной рукѣ и съ зонтикомъ въ другой. Платьице на ней было легкое, изъ блѣдно-голубого ситца, а на головѣ простая соломенная шляпа съ коричневою лентою и съ широкими полями, отѣнявшими ея прелестное полудѣтское лицо.

Навстрѣчу ей изъ окна нижняго этажа раздался возгласъ:

— Aurora!

Она отвѣчала:

— Tante!

И вдругъ и баронесса, и ея дочь выбѣжали къ Авроръ, а Аврора бросилась къ нимъ и, какъ говорится, «не было конца поцѣлуямъ».

Черезъ часъ Аврора и младшая изъ дамъ вышли въ садъ. Онѣ долго щебетали и цѣловались,—потомъ сѣли. Аврора

теперь была безъ шляпы, но въ очень ловко сшитомъ платьицѣ, а на головѣ имѣла какой-то розовый колпачокъ, придававшій ея легкой и граціозной фигурѣ что-то фригійское.

Аврора ласкала даму по головѣ и нѣсколько разъ принималась цѣловать ея руки, и называла ее Лина.

Вышедшая къ нимъ въ садъ баронесса обнимала и цѣловала ихъ обѣихъ.

Изъ ихъ разговора я понялъ, что Аврора и Лина—кузины.

Вечеромъ въ этотъ же день къ нимъ пріѣхали два почтенные гостя: пасторъ и вице-адмиралъ, котораго называли «Onkel». Они оставались недолго и уѣхали. А вслѣдъ за ними, въ сумерки, пронеслась опять со своимъ саквояжемъ Аврора, и ея больше не стало.

Мои дѣвушки узнали, что старая баронесса проводила «эту зажигу» на пароходъ, и при этомъ онѣ также разслѣдовали, что «у нѣмокъ были крестины», и именно окрестили того малютку, который выѣзжалъ въ садъ въ своей дѣтской колясочкѣ.

Мнѣ до этого не было никакого дѣла, и я надѣялся, что и позже это никогда меня нимало не коснется; но вышло, что я ошибался.

Завтра и послѣзавтра и въ цѣлый рядъ послѣдующихъ дней у насъ все шло попрежнему: всѣ наслаждались прекрасными днями погожаго лѣта, два старшіе мальчика пѣли подъ моими окнами «Anku dranku dri-li-dru», а окрещенный пеленашка спалъ въ своей колискѣ, какъ вдругъ совершенно неожиданно вся эта тишь была прервана и возмущена набѣжавшею съ моря страшною бурею.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Въ одинъ прекрасный день, передъ вечеромъ, когда удлинялись тѣни деревьевъ и вся дачная публика выбиралась на promenade,—въ калиткѣ нашего сѣраго дома показался молодой и очень красивый морской офицеръ. Значительно растрепанный и перепачканный, онъ вошелъ порывисто и спѣшною походкою направился прямо въ помѣщеніе, занимаемое нѣмками, гдѣ по этому поводу сейчасъ же обнаружилось нѣкоторое двусмысленное волненіе.

Прежде молодая нѣмка прокричала:

— Er ist gekommen... ah!

А потомъ старшая повторила:

— Ah! Er ist gekommen!

И вдругъ обѣ суетливо забѣгали, чего никогда до сихъ поръ не дѣлали.

При открытыхъ окнахъ у меня вверху и у нихъ внизу, на несчастіе, все было слышно изъ одного помѣщенія въ другое. Ночами при общей тишинѣ даже бывало слышно, какъ пеленашка иногда плачетъ и какъ мать его беретъ и баюкаетъ.

И теперь мнѣ показалось, будто тоже что-то происходило около этого пеленашки. Мнѣ казалось такъ потому, что вслѣдъ за возгласами: «Er ist gekommen!», старшая нѣмка съ буклями вылетѣла въ садъ съ пеленашкою на рукахъ и, прижимая къ себѣ дитя, тревожно, острымъ взглядомъ смотрѣла въ окна своего покинутаго жилища, гдѣ теперь растрепанный морякъ остался вдвоемъ съ ея дочерью.

Я сообразилъ, что, вѣроятно, пеленашка составляетъ неожиданный сюрпризъ для гостя, находящагося въ какихъ-нибудь особенныхъ отношеніяхъ къ матери и дочери, живущимъ со мною въ сосѣдствѣ. И вскорѣ мои подозрѣнія еще увеличились.

Черезъ минуту я увидѣлъ, какъ мать вывела въ садикъ старшихъ мальчиковъ и, оставивъ ихъ бабушкѣ, сказала каждому по наставленію, изъ котораго я уловилъ только:

— Still, Papa,—и сама убѣжала.

Бабушка обхватила внучковъ руками, какъ насѣдка покрываетъ цыплятъ крыльями, и тоже внушала:

— Still, Friede, Papa! Er ist gekommen! Still, Walia! Papa!

Дѣти слушались бабушку и робко къ ней жались. Каждый изъ нихъ одною ручонкою обхватывалъ ея руку, а въ другой держалъ по новой игрушкѣ.

«Что же это можетъ значить?—думалось мнѣ. Неужто и оба старшіе мальчики тоже составляютъ секретъ для гостя, точно такъ же, какъ и маленькій пеленашка?»

Насчетъ пеленашки у меня уже утвердилось такое понятіе, что «рыцарь ѣздилъ въ Палестину», а въ это время старая баронесса плохо смотрѣла за своей дочкой, и явился пеленашка, котораго теперь прячутъ при возвращеніи супруга, чтобы его не сразу поразило ужасное открытіе.

Какая у нихъ, должно-быть, теперь происходитъ тяжелая сцена! Бѣдный мореходецъ; бѣдная бѣлокурая дама; бѣдная баронесса; бѣдный малютка, маленькій пеленашка!

Чтобы быть дальше отъ горя, которому ничѣмъ нельзя пособить, я взялъ въ руки трость, надѣлъ шляпу и ушелъ къ морю.

Но все, что я сообразилъ насчетъ причины безпокойства въ нижнемъ семействѣ, было не совсѣмъ такъ, какъ я думалъ. Дѣло было гораздо сложнѣе и носило отчасти политическій или національный характеръ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Когда я возвращался домой при сгустившихся сумеркахъ, меня еще за воротами дома встрѣтила моя служанка и въ большомъ волненіи разсказала, что пріѣхавшій мужъ молодой нѣмки—«страшный варваръ и ужасно бунтуетъ».

— Какъ вы ушли, говоритъ,—онъ началъ грозно ходить по всѣмъ комнатамъ и кричать разныя русскія слова, которыхъ повторить невозможно.

— Какъ, говорю,—русскія?

— Да такъ разныя слова, самыя обидныя, и все по-русски, а потомъ сталъ швырять вещи и стулья и началъ кричать: «вонъ, вонъ изъ дома—вы мнѣ не по ндраву!» и, наконецъ, прибилъ и жену, и баронессу и, выгнавъ ихъ вонъ изъ квартиры, выкинулъ имъ въ окна подушки, и одѣяла, и дѣтскую колыбель, а самъ со старшими мальчиками заперся и плачетъ надъ ними.

— О чемъ же плачетъ?

— Не знаю, вѣрно пьянъ напился.

— Почему же вы такъ обстоятельно все это знаете?

— Шумъ былъ, княгиней его пугали, а онъ и на нее не обращаетъ вниманія, а отъ насъ все слышно: и русскія слова, и какъ онъ ихъ пихнулъ за дверь и подушки выкинулъ... Я говорила хозяйкѣ, чтобы она послала за полиціей, но онѣ, и мать и дочь, говорятъ «не надо», говорятъ, «у него это пройдетъ», а мнѣ, разумѣется,—не мое дѣло.

— Конечно, не ваше дѣло.

— Да я только перепугалась, что убьетъ онъ ихъ, и за нашихъ дѣтей боялась, чтобы они русскихъ словъ не слы-

хали. А васъ дома нѣтъ; я давно смотрѣла васъ, чтобы вы скорѣе шли, потому что обѣ дамы съ пеленашкой сидятъ въ моей комнатѣ.

— Зачѣмъ же онѣ у васъ?

— Вы, пожалуйста, не сердитесь: вы видите, на дворѣ туманъ, какъ же можно оставаться на ночь въ саду съ грудным ребенкомъ!—Вы извините, я не могла.

— Нечего, говорю, — и извиняться: вы прекрасно сдѣлали, что ихъ пріютили.

— Онѣ уже дитя уложили, а сами усѣлись передъ лампочкой и достали вязанье.

«Что за странность!—думаю себѣ:—этихъ бѣдныхъ дамъ только-что вытолкали вонъ изъ ихъ собственнаго жилища, а онѣ, какъ будто ничего съ ними и не случалось, присѣли въ чужой квартирѣ, и сейчасъ за вязанье.»

Я не выдержалъ и высказалъ это мое удивленіе дѣвушкѣ, а та отвѣчаетъ:

— Да, ужъ и не говорите: удивительныя! Этакія слова выслушать и будто какъ ничего... Наша бы русская крышу съ дома скопала.

— Ну, слова, говорю,—еще ничего: онѣ нашихъ русскихъ словъ не знаютъ.

— Понимаютъ всѣ.

— Вы почему знаете?

— А какъ же я съ ними говорила? Вѣдь по-русски.

Я еще подивился. Такія были твердыя нѣмецкія дамы, что ни на одно русское слово не отзывались, а тутъ вдругъ низошелъ на нихъ даръ нашего языка, и онѣ заговорили.

«Такъ,—думаю себѣ,—мы преодолѣемъ и всѣ другія ихъ вредныя дикости и упорства и доведемъ ихъ до той полноты, что онѣ у насъ увѣруютъ и въ чохъ, и въ сонъ, и въ птичій грай, а теперь пока надо хорошенько пріютить изгнанницъ.»

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Это и было исполнено. Баронесса и ея дочь съ грудным младенцемъ ночевали на диванахъ въ моей гостиной, а я тихонько прошелъ къ себѣ въ спальню черезъ кухню. Въ началѣ ночи пеленашка немножко попищалъ за тонкой стѣною, но мать и бабушка слѣдили за его поведеніемъ и

тотчасъ же его успокоивали. Гораздо больше безпокойства причинялъ мнѣ его отецъ, который все ходилъ и метался внизу по своей квартирѣ и хлопалъ окнами, то открывая ихъ, то опять закрывая.

Утромъ, когда я всталъ, нѣмокъ въ моей квартирѣ уже не было: онѣ ушли; но зато ихъ обидчикъ ожидалъ меня въ саду, да еще вмѣстѣ съ отцомъ Ѳедоромъ.

Отецъ Ѳедоръ всѣмъ въ Ревелѣ былъ извѣстенъ какъ самый добродѣтельный человѣкъ и какъ трусъ: онъ и самъ себя всегда рекомендовалъ человѣкомъ робкимъ.

— Я робокъ,—говорилъ онъ.—Я боюсь, всего боюсь и всѣхъ боюсь. Дѣтей крестить—и тѣхъ боюсь: держать ихъ страшно, и покойниковъ боюсь—на нихъ глядѣть страшно.

Отецъ Ѳедоръ самъ разсказывалъ, что онъ «первый былъ присланъ сюда бороться съ нѣмцами», и «очень бы радъ былъ ихъ всѣхъ побороть, но не могъ, потому что онъ *всѣхъ ихъ боится*».

Робость этого перваго, видѣннаго мною «борца» была замѣчательная, и ее нельзя и не нужно чѣмъ-нибудь прі-украшивать; да это и неудобно, потому что на свѣтѣ еще живы коллеги отца Ѳедора и множество частныхъ людей, которые хорошо его знали.

Онъ боялся всего на свѣтѣ: неодушевленной природы, всѣхъ людей и всѣхъ животныхъ и даже насѣкомыхъ. И самъ онъ, какъ выше замѣчено, надъ этою своею слабостью смѣялся и шутилъ, но побороть ее въ себѣ не могъ.

Онъ не могъ войти безъ провожатаго въ темную комнату, хотя бы она была ему какъ нельзя болѣе извѣстна; убѣгалъ изъ-за стола, если падала соль; замиралъ, если въ комнатѣ появлялись три свѣчки; обходилъ далеко кругомъ каждую корову, потому что она «можетъ боднуть», обходилъ лошадь, потому что она «можетъ брыкнуть»; обходилъ и овцу, и свинью, и разсказывалъ, что все-таки съ нимъ былъ разъ такой случай, что свинья остановилась передъ нимъ и завизжала. По счастью, онъ убѣжалъ, но послѣ все-таки у него долго сердце билось. Собакъ, кошекъ, крысъ и мышей онъ боялся еще болѣе. Онъ былъ увѣренъ, что одинъ разъ даже мышь укусила его соннаго за пятку. О собакахъ уже и говорить нечего, а кошки представляли въ его глазахъ двойную опасность: во-первыхъ, онѣ царапаются, а потомъ онѣ могутъ перегрызть сонному горло.

И этотъ-то великій трусъ расхаживалъ по саду и разговаривалъ самымъ пріятельскимъ образомъ съ драчуномъ, причемъ одинъ только драчунъ обнаруживалъ нѣкоторое внутреннее волненіе и обрывалъ губами листочки съ вѣтки сирени, которую держалъ въ рукѣ, а отецъ Ѳедоръ даже похохатывалъ и, присѣдая на ходу, хлопалъ себя длинными руками по колѣнамъ.

При одномъ изъ оборотовъ, онъ увидалъ меня у окна и, совсѣмъ развеселившись, закричалъ:

— Пожалуйте сюда, къ намъ, поскорѣе! Пожалуйте! Мы васъ ждемъ.

Драчунъ былъ человѣкъ въ цвѣтущей порѣ; онъ по виду могъ имѣть немного за тридцать. Онъ былъ съ открытымъ, довольно пріятнымъ и даже, можно сказать, привлекательнымъ русскимъ лицомъ, выражавшимъ присутствіе здраваго смысла, добродушной довѣрчивости и большой терпѣливости. По общему выраженію большихъ и въ своемъ родѣ прекрасныхъ темно-карихъ глазъ и всей его физіономіи и движеніямъ головы онъ напоминалъ бычка,—молодого, смирнаго и добронравнаго заводскаго бычка. Онъ все потихоньку отматывалъ головою въ одну сторону, и очевидно могъ такъ мотать долго, но потомъ могъ и боднуть, не разбирая, во что попадетъ и во что ему самому это обойдется. Теперь въ большихъ карихъ глазахъ у бычка какъ-разъ свѣтилось отраженіе большой, свѣжеперенесенной и тяжкой обиды, послѣ которой онъ только боднулъ и еще не совсѣмъ успокоился. Довольно полное лицо его то блѣднѣло, то покрывалось краскою гнѣва, внезапно набѣгавшею и разливавшеюся подъ загорѣлою и огрубѣвшею отъ морского вѣтра кожею.

Все это отчетливо и ясно бросилось мнѣ въ глаза, когда я вошелъ въ садъ, гдѣ меня отецъ Ѳедоръ тотчасъ же схватилъ за руки и, весело смѣясь, закричалъ:

— Здравствуйте! здравствуйте!.. Пожалуйте скорѣе сюда, сюда... Вотъ вамъ рекомендую — Иванъ Никитичъ Синачевъ *). Отличный, образованный человѣкъ, говоритъ на трехъ языкахъ, и мой духовный сынъ, и музыкантъ, и

*) Имя, отчество и фамилія этого съ натуры воспроизводимаго мною лица въ дѣйствительности были иныя. Имена лицъ, которыя будутъ выведены далѣе, я всѣ замѣняю *вымышленными* названіями въ соотвѣтственномъ родѣ.

пѣвецъ, и все, что хотите... Ха-ха-ха!.. Любите меня—полюбите и его... Ха-ха-ха!.. Вы думаете, что Иванъ Никитичъ буянъ и разбойникъ?.. Ха-ха-ха! Онъ смирный, какъ самый смирный теленокъ.

Мнѣ Иванъ Никитичъ казался бычкомъ, а отецъ Ѳедоръ его почиталъ теленочкомъ: разница выходила небольшая, и если онъ даже отцу Ѳедору кажется не страшнымъ, то уже вѣрно онъ въ самомъ дѣлѣ не страшенъ.

А отецъ Ѳедоръ продолжаетъ свою рекомендацію и говоритъ:

— Ивану Никитичу съ вами надо объясниться... Это не онъ придумалъ, а я, я. Вы меня за это простите. Онъ растерялся и придумывалъ Богъ знаетъ что... Хотѣлъ на себя руки наложить, а я его удержалъ. Я говорю: этотъ человѣкъ мнѣ знакомъ, пойдите къ нему и объяснитесь... Онъ—«ни за что!» говоритъ. «Я такъ себя велъ». А я говорю: «Что же теперь дѣлать! Надо все объяснить... Объяснить съ русской точки зрѣнія, а не стрѣляться и не сваливать себя въ гробъ собственною рукою». Иванъ Никитичъ прибѣгаетъ сегодня чѣмъ-свѣтъ, будитъ меня и что говоритъ... Вы только подумайте, вы подумайте, вы вспомните, что вы мнѣ говорили!—обратился онъ къ офицеру.—Ай-ай-ай! Ай, не хорошо!.. Ай, не хорошо!.. А я утѣшать словами никого не умѣю... Что, братцы, дѣлать — не умѣю. Отецъ Михаилъ, или отецъ Константинъ—тѣ умѣютъ, а я не умѣю. Я только сказалъ: — Отложи попеченіе! Все это еще, можетъ-быть, обомнется. Такъ это, или нѣтъ?

Офицеръ тихо качнулъ головой и сказалъ:

— Такъ!

— Да, я такъ его отъ себя и не пустилъ, и вотъ такъ его сюда и привелъ,—и пусть онъ самъ все разскажетъ.

— Зачѣмъ же это?—говорю.

— Нѣтъ, отчего же? Ему легче будетъ, чтобы о немъ не думали дурно. Онъ самъ желаетъ...

Въ это время и самъ морякъ отозвался.

— Да, говоритъ,—извините: я себя поставилъ въ такое недостойное положеніе, что мнѣ нельзя оставить безъ объясненія то, что я надѣлалъ. Мнѣ это необходимо... Потребность души... потребность души...

— Вы теперь очень взволнованы, а послѣ можете пожалѣть.

— Нѣтъ, я не буду жалѣть. Я, дѣйствительно, взволнованъ, но жалѣть не буду.

— Вотъ видите!—поддержалъ о. Ѳедоръ.—Пусть онъ все говоритъ,—ему будетъ легче.

— Да, мнѣ будетъ легче, — подсказалъ офицеръ и бросилъ на скамейку свою фуражку.—Я не хочу, чтобы обо мнѣ думали, что я негодяй, и буянъ, и оскорбляю женщинъ. Довольно того, что это было, и что причины этого я столько лѣтъ таилъ, снося въ моемъ сердцѣ; но тутъ я больше не выдержалъ, я не могъ выдержать — прорвало. Подло, но надо знать за что. Вы должны выслушать мою повѣсть.

Отецъ Ѳедоръ сблизилъ мою руку съ рукой офицера и подсказалъ:

— Да, голубчики,—это повѣсть.

Что же мнѣ оставалось дѣлать? Я, разумѣется, согласился слушать оправданіе о томъ, за что были выгнаны воспитанныя и милыя дамы, изъ которыхъ одна была жена разсказчика, а другая—ся мать, самая внушающая почтеніе старушка.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Бычокъ махнулъ головою въ сторону и началъ:

— Вы и всякій имѣетъ полнѣйшее право презирать меня послѣ того, что́ я надѣлалъ, и если бы я былъ на вашемъ мѣстѣ, а въ моей сегодняшней роли подвизался другой, то я, можетъ-быть, даже не сталъ бы съ нимъ говорить. Что тутъ ужъ и разсказывать! Человѣкъ поступилъ совсѣмъ какъ мерзавецъ, но повѣрьте... (у него задрожало все лицо и грудь) повѣрьте, я совсѣмъ не мерзавецъ, и я не былъ пьянъ. Да, я морякъ, но я вина не люблю, и никогда не пью вина.

— Не пьетъ, никогда не пьетъ,—поддержалъ отецъ Ѳедоръ.

Священникъ ручается. Надо вѣрить. А онъ оказывается такъ наблюдателенъ, что какъ будто читаетъ на лицѣ всѣ отраженія мыслей.

— Мнѣ это стыдно,—говоритъ онъ:—стыдно взрослому человѣку увѣрять, что я совсѣмъ не пью вина. Вѣдь я совершеннолѣтній мужчина и морякъ, а не институтка. Отчего бы я и не смѣлъ пить вино? Но я его дѣйствительно не пью, потому что оно мнѣ не нравится, мнѣ всѣ вина

противны. И это, можетъ-быть, тѣмъ хуже, что я былъ совершенно трезвъ, когда обидѣлъ и выгналъ мою жену и тещу... Да, я былъ трезвъ точно такъ же, какъ теперь, когда я не знаю, какъ мнѣ васъ благодарить за то, что вы дали имъ у себя пріютъ, иначе онѣ должны бы были ночевать съ дѣтьми въ паркѣ или въ гостиницѣ, и теперь объ этомъ моемъ тиранствѣ зналъ бы уже цѣлый городъ. Здѣсь вѣдь кишитъ сплетня. Подняли бы такой вой... «Русскій офицеръ какъ обращается съ своею женою! Мужикъ, невѣжа. Женился на баронессѣ». И все это правда: я русскій офицеръ, и дѣйствительно, если вамъ угодно, по образованію я мужикъ въ сравненіи съ моею женою, особенно съ ея матерью; но, вѣдь, онѣ объ знали, что я русскій человѣкъ, воспитывался въ морскомъ училищѣ на казенный счетъ, но по-французски и по-нѣмецки я, однако, говорю, и благодаря родительскимъ заботамъ кое-что знаю, но надъ общимъ уровнемъ я, конечно, не возвышаюсь и имѣю свои привязанности. Я какимъ себя предъявлялъ имъ, таковъ я и есть, такъ и живу. Я ни въ чемъ ихъ не обманулъ, ни жену, ни всѣми уважаемую мою тещу, между тѣмъ какъ онѣ сдѣлали изъ моей семьи мой позоръ и терзаніе.

Всякій, услышавъ то, что я говорю, вѣроятно подумалъ бы, что, конечно, моя жена мнѣ не вѣрна, что она измѣняетъ своимъ супружескимъ обѣтамъ; но это неправда. Моя жена прелестная, добрая женщина и относится ко всѣмъ своимъ семейнымъ обязанностямъ чрезвычайно добросовѣстно и строго. Въ этомъ отношеніи я счастливѣй великаго множества женатыхъ смертныхъ; но у меня есть горе хуже этого, больнѣе.

— Да, гораздо хуже!—вздохнулъ отецъ Ѳедоръ.—Больнѣе.

Я недоумѣвалъ: что же можетъ быть «хуже этого и больнѣе».

А мореходъ продолжалъ:

— Измѣна тяжела, но ее можно простить. Трудно, но можно. Женщины же намъ прощаютъ наши измѣны, отчего же и мы имъ простить не можемъ? Я знаю, что на этотъ счетъ говорятъ, но вѣдь это предразсудокъ. «Чужое дитя!» Ну и что же такое? Ну и покорми чужое дитя. Вѣдь это не грѣхъ, а мы вѣдь считаемъ, что мы умнѣе и справедливѣе женщинъ, и во всѣхъ отношеніяхъ ихъ совершеннѣе.

Покорми! И если женщина увлеклась и потомъ сожалѣетъ о своемъ увлеченіи, прости ее и не обличай. Она можетъ перемѣниться и исправиться. Тоже и онѣ вѣдь недаромъ живутъ на свѣтѣ и пріобрѣтаютъ опытъ. Я такихъ убѣжденій, и я чувствую, что я все это могъ бы исполнить, но этого въ моей жизни нѣтъ. Этимъ я не наказанъ; но то, что я переношу и что уже два раза перенесъ, да вѣроятно и третій перенесу — этому нѣтъ сравненія, потому что это уязвляетъ меня въ самый корень. Это поражаетъ меня до нѣдръ моего духа; это убивало моего отца и мать, отторгало меня отъ самыхъ священныхъ узъ съ моею родней, съ моимъ народомъ. Это, наконецъ, дѣлаетъ меня смѣшнымъ и жалкимъ шутомъ, которому тычутъ въ носъ шиши. Однако, я и это сносилъ, но когда это повторяется безъ конца—этого снесть невозможно.

— Извините, говорю,—я не понимаю въ чемъ дѣло.

— Я поясню. У меня былъ отецъ старикъ и уважаемый старикъ. Онъ жилъ въ своемъ имѣньицѣ въ калужской губерніи и матушка тоже достойная всякаго уваженія: они жили мирно, покойно и ихъ уважали. Я у нихъ одинъ, единственный сынъ. Есть сестра, но она далеко, замужемъ за докторомъ-нѣмцемъ, на Амурѣ. У нея уже другая фамилія, а мужского поколѣнія только одинъ и есть — это я. Дядюшка въ Москвѣ, отцовъ братъ, старый холостякъ, весь вѣкъ все славянской археологіей занимался и забылъ жениться. И отецъ мой, и мать, разумѣется, были насквозь русскіе люди, а о московскомъ дядѣ ужъ и говорить нечего. Онъ съ Кирѣевскими, съ Аксаковыми—со всѣми знакомъ. Словомъ, все самые настоящіе родовитые и истинно русскіе люди, а изъ меня вышла какая-то «игра природы». Моя жизнь—это какой-то глупый романъ. Но это говорить надо по пунктамъ.

— И прекрасно!—воскликнулъ отецъ Ѳедоръ:—теперь я вижу, что вы разговоритесь и дѣло будетъ хорошо, а я уйду—мнѣ есть дѣло.

Мы его не удерживали и остались вдвоемъ въ бесѣдкѣ изъ купы сирени.

Разсказчикъ продолжалъ свою страстную и странную повѣсть.

— Это мой третій бракъ—на Линѣ N. Первый разъ я былъ женатъ въ Москвѣ, по общему семейному избранію,

на «дѣвицѣ изъ благословеннаго дома». Это должно было принести мнѣ большое счастіе. Мнѣ тогда было 24 года, а ей 26 лѣтъ. Она была красива и порочна, какъ будто она была настоящая теремница, искусившаяся во всѣхъ видахъ скрытности. Одинъ годъ жизни съ нею — это была цѣлая эпопея, которой я разсказывать не стану. Кончилось тѣмъ, что она попала во что не мѣтила, и я ее увидѣлъ однажды въ литерной ложѣ, въ которую она поѣхала съ родственною намъ княгиней Марьей Алексѣевной. Я хотѣлъ войти, а княгиня говоритъ: «Это нельзя,—твоя жена тамъ не одна». — Это что?! «Это, говоритъ, этикетъ». Я плюнулъ и сейчасъ же ушелъ изъ дома и хотѣлъ застрѣлиться, или кого-то застрѣлить. Такое было возбужденіе!

Я вамъ говорилъ, какъ я терпимо отношусь къ ошибкамъ женщины; но это тамъ, гдѣ есть увлеченіе, а не тамъ, гдѣ этикетъ. Я не изъ такихъ. Я ударился въ противный лагерь, гдѣ не было этикета. Именно—противный! Въ душѣ моей клокотала ненависть, и я попалъ къ ненавистникамъ. По-моему, они были не то, за что слыли. Впрочемъ, я дѣлъ съ ними не надѣлалъ, а два года изъ своей жизни за нихъ вычеркнулъ. Жена изъ «благословеннаго семейства» въ это время жила за границею и проигралась въ рулетку. Вслѣдъ затѣмъ дифтеритъ и ея печальный конецъ, а мое освобожденіе. Я никакъ не могу уйти отъ внутренняго чувства, которое говоритъ мнѣ, что эти два событія находились въ какой-то причинной связи. Я мчался куда-то,—чортъ меня знаетъ куда, и съ разбѣга попалъ въ «общежитіе», гдѣ одна барышня, представлявшая изъ себя помѣсь нигилистки и жандарма, отхватала меня въ два пріема такъ, что я опять ни къ чорту. Сначала она прозвала меня для чего-то псевдонимомъ «Левель-вдовецъ», а потомъ «во имя принципа» потребовала, чтобы я вступилъ съ нею въ фиктивный бракъ для того, чтобы она могла жить свободно съ кѣмъ захочетъ. Я имѣлъ честь всю эту глупость продѣлать, а она исполняла то, что жила какъ хотѣла, но требовала съ меня половину моего жалованья, котораго мнѣ самому на себя недоставало. Я вооружился противъ такой неожиданности. Она явилась къ начальству,—меня призвали, пристыдили и обязали давать. Я чувствовалъ униженіе сверхъ мѣры и, дождавшись вечера, взялъ пистолетъ и пошелъ опять къ частоколу у Таврическаго сада. Мнѣ по-

чему-то казалось, что я непремѣнно тамъ долженъ застрѣлиться, чтобы упасть въ канаву. Я и упалъ въ канаву, но только съ такой раной, отъ которой скоро поправился. Мой строгій начальникъ былъ тронутъ моимъ положеніемъ и послалъ меня въ отпускъ къ роднымъ. «Здѣсь, въ Петербургѣ, скверный воздухъ,—сказалъ онъ.—Поѣзжайте *домой*. Подумайте тамъ общимъ семейнымъ судомъ, какъ вамъ облегчить свою участь». Я пріѣхалъ къ отцу и къ матери, но что же я имъ могъ разсказать? Развѣ они, добрые помѣщики и славяне, могли понять, что̀ такое я надѣлалъ? Дядѣ при концѣ отпуска я, однако, все открылъ. Онъ говоритъ:

— Очень скверно; но постой, мнѣ одна мысль приходитъ. Тебѣ отъ этой курносой надо куда-нибудь уйти.

Онъ поднялся изъ-за своего письменнаго стола, походилъ взадъ и впередъ по комнатѣ въ своемъ синемъ шелковомъ халатѣ, подпоясанномъ краснымъ, мужичьимъ кушакомъ, и сталъ соображать:

— Есть какая-то морская служба въ Ревелѣ. Тамъ теперь живетъ баронесса Генріетта Васильевна. У себя въ Москвѣ мы ее звали Венигретой. Она замѣчательно умная, очень образованная и очень добрая женщина, съ прямымъ и честнымъ характеромъ. Я ее зналъ, когда она еще была воспитательницею и безъ всякихъ интригъ пользовалась большимъ вѣсомъ, но не злоупотребляла этимъ, а напротивъ—дѣлала много добра. Она должна быть и тамъ, въ своей сторонѣ, съ большими связями. Нѣмцы вѣдь всегда со связями, а Венигрета Васильевна въ свое время много своихъ нѣмцевъ вывела. У нея непремѣнно должны быть и въ вашемъ вѣдомствѣ люди ей обязанные. Я ей напишу, и знаю какъ напишу—совершенно откровенно и правду.

Я говорю: всего-то лучше не пишите,—совѣстно.

— Нѣтъ, отчего же?

— Да что ужъ такую глупость безъ нужды разсказывать!

— А-а, нѣтъ, ты этого не говори. «Быль молодцу не укоръ», а нѣмки вѣдь, братецъ, сентиментальны и на всѣхъ ступеняхъ развитія сохраняютъ чувствительность. Онѣ любятъ о чемъ-нибудь повздыхать и взъахаться! Ah Gott! Ah Herr Jesu! Ah Himmel! Вотъ до этого-то и надо возогрѣть Венигрету! Тогда дѣло и пойдетъ, а безъ этого имъ неповадно.

Написалъ дядя въ Ревель баронессѣ Вешигретѣ, и вразъ дней черезъ десять оттуда письмо и самое задушевное и удачное, и какъ разъ начинается со словъ: «Ah, mein Gott!.. Пишетъ: «какъ я была потрясена и взволнована, читая письмо ваше, уважаемый другъ. Бѣдный вы, бѣдный молодой человѣкъ, и еще сто разъ болѣе достойны сожалѣнія его несчастные родители! Какъ я о нихъ сожалѣю. Schreckliche Geschichte! Я думала, что такія исторіи только сочиняютъ. Бѣдный вашъ племянникъ! Я прочитала ваше письмо сама, а потомъ мѣстами прочитала его моей дочери Линѣ и племянницѣ Аврорѣ, которую мать прислала ко мнѣ изъ Курляндіи для того, чтобы я прошла съ нею высшій курсъ англійскаго языка и вообще закончила образованіе, полученное ею въ пансіонѣ. Понятно, что я передала дѣвочкамъ только то, что можетъ быть доступно ихъ юнымъ понятіямъ объ ужасныхъ характерахъ тѣхъ русскихъ женщинъ, которыя утратили жаръ въ сердцѣ и любовь къ Всевышнему. Бѣдныя дѣти были глубоко тронуты страданіями вашего молодого Вертера и отнеслись ко всему этому каждая сообразно своимъ наклонностямъ и характерамъ. Дочь моя Лина, которой теперь семнадцать лѣтъ, тихо плакала и сказала: «Ah, mein Gott! Я бы не пожалѣла себя, чтобы спасти жизнь и счастіе этому несчастному молодому человѣку»; а маленькая Аврора, которой еще нѣтъ и шестнадцати лѣтъ, но которая хороша какъ ангелъ на Каульбаховской фрескѣ, вся исполнилась гнѣвомъ и, насупивъ свои прямыя брови, замѣтила: «А я бы гораздо больше хотѣла наказать такихъ женщинъ своимъ примѣромъ». У вашего претерпѣвшаго юноши здѣсь теперь есть друзья,—не одна я, старуха, а еще два молодыя существа, которыя его очень жалѣютъ, и когда онъ будетъ съ нами, — онѣ своимъ чистымъ участіемъ помогутъ ему если не забыть, то съ достоинствомъ терпѣть муки отъ ранъ, нанесенныхъ грубыми и безчеловѣчными руками его сердцу».

Это такъ именно было написано. Я привожу вамъ это письмо хотя и на память, но совершенно дословно, какъ будто я его сейчасъ читаю. Оно было получено мною въ такой моментъ моей жизни, когда я былъ въ пухъ и прахъ разбитъ и растрепанъ, и эти теплыя, умныя и полныя участія строки баронессы Вешигреты были для меня какъ посланіе съ неба. Я уже не добивался того, есть ли какая-

нибудь возможность устранить меня отъ Петербурга и убрать въ спокойный Ревель; но меня теперь оживило и согрѣло одно сознаніе, что есть гдѣ-то такая милая и добрая, образованная пожилая женщина и при ней такія прекрасныя дѣвушки. Съ направленскими дамами, съ которыми я обращался, въ моей душѣ угасло чувство ютливости,—меня уже даже не тянуло къ женщинѣ, а теперь вдругъ во мнѣ опять разлилось чувство благодарности и чувство пріязни, которыя манили меня къ какой-то сладостной покорности всѣмъ этимъ существамъ, молодымъ особенно. А между тѣмъ, въ письмѣ баронессы было полное удовлетвореніе и на главный, на самый существенный вопросъ для моего спасенія отъ скандализовавшихъ меня въ Петербургѣ нападокъ. Она извѣщала, что просила за меня своего брата, барона Андрея Васильевича Z., начальствующаго надъ извѣстною частью морского вѣдомства въ Ревелѣ, и что я непремѣнно получу здѣсь мѣсто. А вслѣдъ затѣмъ послѣдовалъ надлежащій служебный запросъ и состоялся мой переводъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

— Я, разумѣется, былъ такъ радъ, что себя не помнилъ отъ радости, и сейчасъ же навалялъ баронессѣ Венигретѣ самое нелѣпое благодарственное письмо, полное разной чувствительной чепухи, которой вскорѣ же послѣ отправленія письма мнѣ самому стало стыдно. Но въ Ревелѣ это письмо понравилось. Баронесса отвѣтила мнѣ въ нѣжномъ, почти материнскомъ тонѣ, и въ ея конвертѣ оказалась иллюминованная карточка, на которой, среди гирлянды цвѣтовъ, два бѣлые голубка или, быть-можетъ, двѣ голубки держали въ розовыхъ клювахъ голубую ленту съ подписью: «Willkommen». Дѣтское это было что-то такое, точно или меня привѣчали, какъ дитя, или это было отъ дѣтей: «Милому Ванѣ отъ Лины и Авроры». Надписано это не было, но такъ мнѣ чувствовалось. Я былъ увѣренъ, что этотъ листочекъ всунули въ конвертикъ или ручки мечтательной Лины, или маленькая лапка энергической и гнѣвной Авроры, которая хочетъ всѣмъ примѣръ задать. И я унесъ этотъ листокъ въ свою комнату, поцѣловалъ его и положилъ въ бумажникъ, который всегда носилъ у своего сердца. Во мнѣ не только шевелилась, но уже жила

самая поэтическая и дружественная расположенность къ обѣимъ дѣвушкамъ. Я ожидалъ и даже началъ мечтать, хотя очень хорошо зналъ, что мнѣ мечтать не о чемъ, что для меня все кончено, потому что я погубилъ свою жизнь и мнѣ остается только заботиться о томъ, чтобы избѣгать дрянныхъ скандаловъ и какъ-нибудь легче влачить свое существованіе.

Словомъ, я сюда рвался и летѣлъ, и не зная лично ни баронессу, ни дѣвицъ, уже любилъ ихъ отъ всего сердца и былъ въ увѣренности, что могу броситься въ ихъ объятія, обнимать ихъ колѣни и цѣловать ихъ руки. А пока я только обнималъ и цѣловалъ дядю, который устроилъ мнѣ это совершенное благополучіе.

Но родители мои, къ которымъ я вернулся, чтобы проститься, отнеслись къ этому холоднѣе и съ предосторожностями, которыя мнѣ казались даже обидными. Они меня все предостерегали. Отецъ говорилъ:

— Это хорошо,—я ни слова не возражаю. Между нѣмцами есть даже очень честные и хорошіе люди, но все-таки они нѣмцы.

— Да ужъ это, говорю,—конечно, какъ водится.

— Нѣтъ, но мы обезьяны,—мы очень любимъ подражать. Вотъ и скверность.

— Но если хорошему?

— Хоть и хорошему. Вспомни «Любушинъ судъ». Не хорошо, коли искать правду въ нѣмцахъ. У насъ правда по закону святу, которую принесли наши дѣды черезъ три рѣки.

— Пышно, говорю,—это какъ-то чрезъ мѣру.

— Да, это пышно, а у нихъ, у нѣмцевъ, хороша экономія и опрятность. Въ старину тоже было довольно и справедливости: въ Берлинѣ разъ судъ въ пользу простого мельника противъ короля рѣшилъ. Очень справедливо, но все-таки они нѣмцы и нашего брата русака любятъ передѣлывать. Вотъ ты и смотри, чтобы никакъ надъ собою этого не допустить.

— Да съ какой же, говорю,—стати!

— Нѣтъ, это бываетъ. У нихъ система, или, пожалуй, даже двѣ системы и чертовская выдумка. Ты это помни и вѣру отцовъ уважай. Живи, хлѣбъ-соль води, и даже пожалуй дружи, во всякомъ случаѣ будь благодаренъ, потому

что «ласковое телятко двѣ матки сосетъ», и неблагодарный человѣкъ—это не человѣкъ, а какая-то скверность, но похаживай почаще къ священнику и эту суть-то свою,—нашу-то настоящую русскую суть не позволяй изъ себя нѣмцамъ выкуривать.

— Да ужъ за это, говорю,—будьте покойны,—и привелъ ему шутя слова Тургенева, что «нашей русской сути изъ насъ ничѣмъ не выкуришь».

А отецъ поморщился:

— Твой Тургеневъ-то, говоритъ,—самъ, братецъ, западникъ. Онъ ужъ и сознался, что съ тѣхъ поръ, какъ окунулся въ нѣмецкое море, такъ своей сути и лишился.

— Да и Некрасовъ тоже,—хотѣлъ-было я продолжать, но при этомъ имени отецъ меня перебилъ и погрозился.

— Этого, говоритъ, — ужъ и совсѣмъ не трожь, — этотъ чего еще ненадежнѣе. Самъ и зудъ зудитъ, самъ и расчесъ расчесываетъ, и взманъ манитъ, и казнить велитъ: самъ проситъ «виновныхъ не щади!» Нѣтъ, намъ надо чистыя руки... Вотъ какъ Самарины, Хомяковы, братья Аксаковы—вотъ съ кого намъ надо примѣръ брать. Самаринъ-то — вѣдь онъ былъ въ этомъ, въ ихъ Колыванскомъ краю, но они, небось, его не завертѣли. Думали завертѣть, да онъ имъ шишъ показалъ. И ты будь таковъ же. Дружба дружбой и служба службой, а за пазухой шишъ. Помни это и чаще къ духовенству похаживай и мнѣ пиши. Я тебѣ буду отвѣчать и укрѣплять тебя въ направленіи, а по воскресеньямъ непремѣнно къ священнику похаживай. Какой ни есть попъ — онъ не тутъ, такъ тамъ, не въ церкви, такъ за порогомъ, а все патріотическое слово скажетъ. А проѣздомъ черезъ Москву появись Аксакову. Скажи, что я тебѣ говорилъ, и послушай, что онъ еще тебѣ скажетъ. Онъ мужикъ вѣщій!

Матушка наказала только въ Москвѣ у Иверской покрошиться.

— А за прочее,—сказала она,—я за тебя ужъ не боюсь—ты уже такъ себя погубилъ, что теперь тебя отъ женщинъ предостерегать нечего: самая хитрая нѣмка тебя больше спутать не можетъ; но объ опрятности ихъ говорятъ много лишняго: я ихъ тоже знаю,—у насъ акушерка была Катерина Христофоровна; бывало, въ которомъ тазу осенью ва-

ренье варитъ, въ томъ же сама цѣлый годъ воротнички подсниваетъ.

Дядя повелъ меня въ Москвѣ къ Аксакову.

— Нельзя, говоритъ, — безъ этого. А когда станешь съ нимъ разговаривать, то помни, какого ты роду и племени, и пускай что-нибудь отъ глаголовъ. Сипачевы, братецъ, издавна были стояльцы, а теперь и ты уже созрѣлъ—и давай понимать, что отправляешься для борьбы.

Я, признаться, совсѣмъ этого не думалъ, но промолчалъ и былъ представленъ Аксакову, который, узнавъ о моей «миссіи», долго смотрѣлъ мнѣ въ глаза и сказалъ:

— Шествуйте и сразу утверждайтесь твердой пятой. Мы должны быть хозяевами на Колыванскомъ побережьи. Ревель—вѣдь это наша старая Колывань!

И дядя тоже вспомнилъ про «Колывань». Когда мы «шествовали» отъ Аксакова домой, дядя меня поучалъ:

— Если встрѣтишь добрый привѣтъ въ *колыванскомъ семействѣ* (такъ именовалъ онъ семью Венигреты), будь имъ благодаренъ, но не увлекайся до безразсудства, дабы не ощутить въ себѣ измѣны русскимъ обычаямъ. Лучше старайся самъ получить вліяніе на нихъ.

Я чувствовалъ, какъ будто все это что-то фальшивое. Какая Колывань? Какая моя тамъ «миссія»? На кого я могъ вліять и кому стану показывать «шишъ», когда я самъ какая-то чортова кукла и нуждаюсь въ спасеніи бѣгствомъ!

Было въ этомъ во всемъ даже нѣчто дѣтски-эгоистическое: никакого вниманія къ душевному состоянію человѣка, а только—*свой вкусъ* и баста! Можно было думать, что и этимъ, какъ и другимъ, до *личнаго счастья* человѣка нѣтъ никакого дѣла!

Все, къ чему я самъ стремился, заключалось именно только въ томъ, чтобы свободно вздохнуть и оправиться. На это были настроены всѣ мои помыслы, въ этомъ на мой взглядъ состояла вся моя «миссія» на Колыванскомъ морѣ. Но тѣмъ болѣе я спѣшилъ на эту Колывань, къ своимъ колыванскимъ «друзьямъ», и дѣйствительно встрѣтилъ друзей прелестныхъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Баронесса Венигрета Васильевна жила въ своемъ домикѣ въ новой части города. Она была побогата. Мужъ, котораго

она по всѣмъ вѣроятностямъ очень любила, умеръ очень рано и ничего ей не оставилъ, кромѣ честнаго имени и дочки Лины. Баронесса была красавица и отлично образована, что, впрочемъ, не рѣдкость между женщинами изъ остзейской аристократіи,—даже и въ захудалыхъ родахъ. Благодаря этому образованію, а также, конечно, хорошимъ связямъ, Венигрета Васильевна попала въ воспитательницы. Она окончила свое дѣло съ честію и пять лѣтъ передъ этимъ отпущена съ пенсіею, которой ей было довольно на то, чтобы жить съ дочерью въ своемъ городкѣ безбѣдно. Она имѣла полную возможность остаться и въ Петербургѣ, но свѣтъ ей прискучилъ, и она предпочла возвратиться подъ свой отчій кровъ, гдѣ у нихъ еще была жива бабушка. Смѣшного въ баронессѣ не было ровно ничего: напротивъ, она всегда была препочтенная и всѣмъ внушала къ себѣ уваженіе. Прозвать ее «Венигретой» могло только наше русское пустосмѣшество.

Домикъ, гдѣ жила семья баронессы, былъ небольшой, но прехорошенькій, съ флигелькомъ въ три комнаты, гдѣ жила бабушка, которую и я засталъ еще въ живыхъ, и при домѣ прелестнѣйшій садикъ. Словомъ, настоящее жилище честной нѣмецкой образованной семьи.

Когда я сюда первый разъ пришелъ, мнѣ показалось, что я вступилъ въ рай и встрѣтилъ ангеловъ. О баронессѣ нечего и говорить: вы и теперь еще видите, какая это женщина,—она всѣмъ внушаетъ почтеніе. И она его стоитъ и больше того стоитъ. Лина... вы тоже видите... Ангелъ. Кузина Аврора—эта вся блескъ и ароматъ; даже старая бабушка, которой тогда было восемьдесятъ лѣтъ, и та была очарованіе: бѣленькая, чистенькая и воплощенная доброта. Приняли онѣ меня—я хотѣлъ бы сказать: какъ родные, но я никогда не видалъ, чтобы у насъ самые лучшіе родные умѣли такъ принять человѣка, такъ тихо и просто, а въ то же время ласково и деликатно.

Я тутъ и привился. Меня пригласили приходить всякій день, и я это буквально исполнялъ. Прекрасный, тихій и всегда пріятный образъ жизни «колыванскаго семейства» охватилъ меня со всею душою. Мы сошлись во всѣхъ вкусахъ. Я любилъ домашнюю жизнь—и онѣ тоже. Я любилъ литературу—онѣ, кажется, еще болѣе. Не было образованнаго языка, который имъ былъ бы недоступенъ. Я немножко

музыкантъ, а онѣ всѣ артистки. Лина съ матерью играли въ четыре руки на фортепіано, я на флейтѣ, а Аврора на скрипкѣ. Да, эта миніатюрная фея играла на скрипкѣ твердо и сильно, какъ бравый скрипачъ въ оркестрѣ. Кромѣ того, обѣ дѣвушки занимались живописью на матеріи и на фарфорѣ, и произведенія ихъ въ обоихъ этихъ родахъ были такъ замѣчательны, что ихъ покупали за границу. Было кѣмъ и чѣмъ залюбоваться и не скучать домосѣдствомъ, а даже забывать свое горе. Мой здѣшній начальникъ, братъ баронессы, баронъ Андрей Васильичъ, тоже былъ ихъ ежедневный гость и очень одобрялъ установившуюся у насъ дружбу. Онъ былъ гернгутеръ и чудакъ, но человѣкъ глубокой честности и благородства. Терпѣть не могъ кутежей и разгула и очень утѣшался моимъ поведеніемъ.

— Что можетъ быть этого лучше,—говорилъ онъ,—какъ встрѣтить утро молитвою къ Богу, днемъ послужить царю, а вечеръ провести въ образованномъ и честномъ семейномъ домѣ. Васъ, мой юный другъ, сюда привелъ Божій перстъ, а я всегда радъ это видѣть и позаботиться о такомъ благонравномъ молодомъ человѣкѣ.

Я ужъ не знаю, было ли ему извѣстно все, что я натворилъ до этого времени, но онъ былъ ко мнѣ неимовѣрно милостивъ и дѣйствительно позаботился обо мнѣ, какъ никто изъ русскихъ, а баронесса и вообще все женское поколѣніе знали всѣ мои бѣдствія. И это ихъ престранно занимало, особенно баронессу, которая имѣла общія понятія о тогдашнихъ нашихъ русскихъ «сѣняіяхъ и вѣняіяхъ», но интересовалась подробностями. Она, впрочемъ, и вообще любила говорить о нравахъ, причемъ обнаруживала удивительную и привлекательную терпимость, свойственную только большому уму, доброму сердцу и большой опытности. Такъ, напримѣръ, поговоривъ разъ со мною наединѣ о тѣхъ и другихъ «дикостяхъ», она умолкла, потомъ сложила въ корзинку свою работу и, поднявшись съ мѣста, сказала съ какимъ-то возвышеннымъ чувствомъ:

— Да! Спаси Боже насъ отъ нихъ, но спаси и ихъ отъ насъ. Они ужасны, а мы слишкомъ мало дѣлаемъ, или ничего не дѣлаемъ для того, чтобы они стали иными.

Я вскочилъ и поцѣловалъ ея руку, а она поцѣловала меня въ голову и добавила:

— Да будетъ прощенъ и пощаженъ и отъ вѣка наказанный.

Я понялъ ея религіозное настроеніе и отвѣтилъ:
— Аминь.

Къ бесѣдамъ такого рода мы возвращались, бывало, не разъ. Часто, какъ усядемся у лампы, онѣ съ работою, а я начну читать для нихъ французскую или нѣмецкую книжку, такъ разговоръ незамѣтно опять и свернемъ на эти «ужасныя сердца и противные вкусы». И смотришь — опять я уже, какъ оный венеціанскій мавръ, разсказываю что-то, а онѣ слушаютъ, бабушка тихонько посвистываетъ носомъ и спитъ, баронесса слушаетъ и изрѣдка покачиваетъ головою, а дѣвушки опустятъ руки съ работой и смотрятъ въ глаза мнѣ: Лина съ снисходительнымъ состраданіемъ, а Аврора съ затаеннымъ гнѣвомъ.

Такъ мы достигли одного вечера ранней весною, когда «наша бабушка» одинъ разъ, по обыкновенію, уснула въ своемъ креслѣ и болѣе не проснулась. Мы ее хоронили очень для меня памятнымъ образомъ. Можетъ ли что-нибудь нравиться въ погребальномъ обрядѣ? Одни только русскіе репортеры пишутъ про «красивые» гроба и «прекрасныя» похороны; однако, обычай, какъ хоронили бабушку, и мнѣ понравился. Старушка лежала въ бѣломъ гробѣ и вокругъ нея не было ни пустоты, ни суеты, ни бормотанья: днемъ было свѣтло, а вечеромъ на столѣ горѣли обыкновенныя свѣчи, въ обыкновенныхъ подсвѣчникахъ, а вокругъ были разставлены старинныя желтыя кресла, на которыхъ сидѣли свои и посторонніе и вели вполголоса тихую бесѣду о *ней*, — припоминали ея жизнь, ея хорошіе честные поступки, о которыхъ у всѣхъ оказались воспоминанія. Она любила, была несчастлива, — мужъ ея, французскій выходецъ, былъ ревнивецъ, мотъ и игрокъ, онъ ее бросалъ и опять находилъ, когда ему не за кого было, кромѣ нея, взяться, и вдругъ оказался женатымъ, раньше ея, на полькѣ изъ Плоцка. Когда эта жена явилась съ тѣмъ, чтобы донести на него, — его ударилъ параличъ, бабушка сейчасъ же отдала претенденткѣ свое имѣньице въ Курляндіи и осталась при разбитомъ и была его ангеломъ, а потомъ удивительно воспитала сына Андрея и дочерей — Генріэтту и Августу, которая была матерью кузины Авроры и жила за Митавой.

Этотъ разсказъ такъ расположилъ слушателей къ лежавшей во гробѣ бабушкѣ, что многіе попеременно вставали

и подходили, чтобы посмотрѣть ей въ лицо. И какъ это было уже вечеромъ, когда всѣ сидѣвшіе здѣсь сторонніе люди удалялись, то вскорѣ остались только мы вдвоемъ— я и Лина. Но и намъ пора было выйти къ баронессѣ, и я всталъ и подошелъ ко гробу старушки съ одной стороны, а Лина—съ другой. Оба мы долго смотрѣли въ тихое лицо усопшей, потомъ оба разомъ взглянули другъ на друга и оба вразъ произнесли:

— Какой благородный характеръ!

Съ этимъ я протянулъ свою руку, чтобы коснуться руки доброй старушки, и вздрогнулъ: рука моя возлѣ самой руки мертвой бабушки прикоснулась и сжала руку Лины, а въ это же самое мгновеніе тихій голосъ изъ глубины комнаты произнесъ:

— Тотъ же самый характеръ есть у живой Лины.

Мы оглянулись и увидали Аврору, которая сидѣла за трельяжемъ, гдѣ мы ее рапѣе не замѣтили.

Это не былъ поводъ сконфузиться, но и я, и Лина—оба сконфузились.

Лина отошла и тихо сказала:

— Другъ мой Аврора, къ несчастію—это не такъ.

А Аврора ей отвѣчала:

— Нѣтъ, другъ мой Лина, *для меня*—это такъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Послѣ этого происшествія у гроба я не спалъ цѣлую ночь, и съ этого случая меня не оставляло чувство необъяснимой и страшной тревоги. Бабушка была схоронена, а я, по приглашенію баронессы и по совѣту барона Андрея Васильевича, перешелъ жить во флигель старушки. Баронъ говорилъ:

— Это перстъ Божій! (Онъ вездѣ видѣлъ перстъ Божій). Вы должны быть какъ сынъ и какъ братъ у вашихъ достойныхъ друзей.

— О, я очень радъ,—отвѣчалъ я.

— Да, да; я вѣрю, что вы ихъ любите.

— Конечно, баронъ: онѣ показали мнѣ такъ много добра.

— Прекрасно, прекрасно! Вы благородный молодой человѣкъ, — сказалъ мнѣ баронъ и, пожавъ мою руку, тихо заплакалъ отъ умиленія.

Я поселился и сталъ жить еще ближе къ нимъ и со-

всѣмъ слился душою съ этими женщинами. Меня приглашали пріѣхать повидаться въ Москву и въ калужскую губернію, — я не ѣхалъ и чувствовалъ, что это не надо. Станутъ разспрашивать, а я не хотѣлъ, чтобы меня разспрашивали и какъ-нибудь называли ихъ шутливо или обидно-снисходительно. Я даже мучился, когда въ получаемыхъ письмахъ отца были напоминанія: смотрѣть, — не онѣмечиться съ нѣмками. «Держи ухо востро. Дружи, а камень за пазухой носи, — чтобы шишъ взяли». Все это меня мучило и казалось мнѣ напрасно, неделикатно и нечестно. Какъ я могъ говорить или слушать о нихъ что-нибудь, кромѣ похвалъ и восторговъ? Я никогда и во всю мою жизнь не жилъ такъ мирно и хорошо, какъ теперь. Всегдашній миръ, всегдашняя цѣломудренная простота, доведенная до предѣловъ въ нашемъ обществѣ невѣроятныхъ. Моя квартира—это былъ рай, и я зналъ, я не могъ не знать, что эти букеты цвѣтовъ на столѣ перемѣняетъ не толстая эстонка-служанка, съ которою я могъ говорить только одно слово «еймуста», т. е. «не понимаю». Мое бѣлье — и то было осмотрѣно, и это меня сначала мучило. Я не могъ спросить и не могъ не догадываться, что за этимъ смотрятъ такія образованныя женщины, которыя въ другой средѣ гнушались бы подобными занятіями,— нашли бы ихъ съ своимъ положеніемъ несовмѣстными, даже, пожалуй, шокирующими и унизительными. Англійская литература, поэзія, классическая музыка, живопись на фарфорѣ—и мои полотенца! Но у нихъ все это мирилось вмѣстѣ.

Лѣто проходило. Аврора ѣздила къ матери въ Курляндію и возвратилась. Мы ее нетерпѣливо ждали и разучили ко встрѣчѣ ея новый вальсъ Шопена. Аврора пріѣхала нѣсколькими днями раньше, чѣмъ обѣщала, но нимало не поправилась, а даже какъ будто похудѣла и имѣла видъ «грозный». Мы такъ надъ нею шутили, и она шутила и улыбалась, но потомъ черезъ минуту ея очаровательное дѣтское лицо опять становилось «грозно». Она стала какъ будто уединяться, и осенью, когда уже съ деревьевъ сыпались листья, не позволяла снять качель и своего гамака, въ которомъ она всегда любила лежать и качаться какъ индіянка. На участливые вопросы Лины, отчего она стала держать себя нѣсколько странно, Аврора долго не отвѣчала, а потомъ одинъ разъ сказала:

— Не спрашивай меня: у меня есть предчувствія.

— Какія?

— Ахъ, вотъ ты какъ любопытна! Я боюсь, что дождь повредилъ шнурки моего гамака, и онъ оборвется.

И она съ этимъ такъ сильно повернулась въ гамакѣ, что вышала изъ него на землю и до слезъ больно подвихнула себѣ ногу.

Это произвело въ домѣ тревогу, и мы цѣлыя сутки клали ледъ къ больной ногѣ Авроры; а черезъ нѣсколько дней она стала ходить съ палочкой, причемъ въ ея фигурѣ и походкѣ обнаружилось чрезвычайно большое сходство съ покойной бабушкой. Оно было такъ велико, что сначала всѣхъ насъ удивило и заставило улыбаться, а потомъ показалось и поразительнымъ.

— Вотъ видишь,—говорила Аврорѣ Лина:—не я, а ты будешь похожа на бабушку.

— Да, я похожа, но только наружно, а ты внутренно: у тебя прекрасное сердце, а у меня—злое. Ты вѣстникъ жизни и свободы, я—вѣстникъ смерти и неволи. Я деспотъ.

Лина и я разсмѣялись, Аврора же продолжала быть веселою, и въ самый этотъ день, дѣйствительно, сдѣлалась «вѣстникомъ смерти».

Я никогда не забуду этого важнѣйшаго дня въ моей жизни. Онъ былъ день свѣжій и ясный. Солнце ярко обливало своимъ сверканьемъ деревья, на полуобнаженныхъ вѣтвяхъ которыхъ слабо качались пожелтѣвшіе и озолотившіеся листья, въ гроздахъ красной рябины тяжело шевелились ожирѣвшіе дрозды. Баронессы и Лины не было дома, служанка работала на кухнѣ, Аврора качалась съ книгою въ рукахъ въ своемъ гамакѣ, а я составлялъ служебный отчетъ въ своей комнатѣ. Ради прекраснаго дня, окна въ садъ у меня были открыты.

Сильно занятый вычисленіями, я слышалъ среди работы, что какъ будто стукнулъ молотокъ у запертой входной двери, а потомъ какъ будто мимо оконъ промелькнула стройная фигурка Авроры. Я подумалъ, что, вѣроятно, некому отпереть двери, и Аврора сама пошла это сдѣлать. Конечно, было бы вѣжливѣе, если бы я ее предупредилъ, но мнѣ было некогда, я сводилъ сложное вычисленіе, и сейчасъ же опять въ него погрузился.

Однако, мнѣ въ этотъ разъ не суждено было кончить

мою работу, потому что въ окно ко мнѣ влетѣло и прямо упало на столъ письмо въ траурномъ конвертѣ, съ очень рѣзкими и, какъ мнѣ показалось, чрезмѣрно-широкими черными каймами по краямъ и крестъ-на-крестъ.

Я вздрогнулъ и взглянулъ въ окно, — отъ него тихо и молча отходила Аврора.

«Вѣстникъ смерти!» промелькнули у меня въ памяти ея слова.

Женщины, которая такъ предательски меня обманула и опошлила мою жизнь, не было больше на свѣтѣ. Моя жена умерла такъ же гадко и скандалезно, какъ жила. О ея смерти меня извѣщала ея сестра, шедшая съ нею нѣкогда тѣмъ же безпорядочнымъ путемъ, но болѣе ловко воспользовавшаяся случаемъ, чтобы свернуть на торную дорогу приличій. Я съ нею едва былъ знакомъ, но зналъ, что она притворщица и лицемѣрка. Какъ всѣ неискренніе люди, желающіе казаться не тѣмъ, что они есть на самомъ дѣлѣ, она пересаливала и была несносна въ своемъ новомъ направленіи точно такъ же, какъ была противна въ прежнемъ. Отъ этого, можетъ-быть, и трауръ на ея конвертѣ былъ слишкомъ жиренъ для обозначенія горя. Извѣстительное письмо носило тѣ же слѣды неумѣренности: она писала, что ея сестра «довела себя до крайнихъ положеній и сама прекратила свою жизнь безтрепетною рукою». Затѣмъ шло описаніе самаго этого происшествія и потомъ выраженіе участія ко мнѣ: «Вы свободны, и да благословитъ васъ Богъ большимъ счастіемъ, чѣмъ вы имѣли».

Я, какъ гоголевскій городничій, могъ тоже сказать: «Боже благослови, а я не виноватъ». Но какъ бы тамъ ни было,— я свободенъ, во второй разъ свободенъ, и теперь я уже умѣю цѣнить свободу и ее не процыганю.

И первая мысль, которая явилась въ моей головѣ вслѣдъ за сознаніемъ моей свободы, была мысль о томъ, какъ я долженъ повести себя съ этимъ извѣстіемъ передъ «колыванскимъ семействомъ».

Скрывать это отъ нихъ я бы не хотѣлъ, но мнѣ казалось неловко и сообщать объ этомъ баронессѣ. Печаль въ моемъ лицѣ была неумѣстна, равнодушіе — глупо, а радость — противна. Другое дѣло дѣвицы: онѣ молоды, и я съ ними короче.

Аврора проходила съ книгою со своего гамака. Я ее позвалъ. Она остановилась.

— Не поставьте себѣ въ трудъ пробѣжать это письмо.

Она посмотрѣла на листокъ и не приняла его, а спросила:

— Въ чемъ дѣло?

Я неловко и застѣнчиво сообщилъ ей новость. Аврора выслушала ее такъ спокойно, какъ будто она это знала, и отошла, не сказавъ мнѣ ни одного слова. Непосредственно затѣмъ она вошла въ домъ и черезъ минуту оттуда, изъ залы, послышались трудныя упражненія на скрипкѣ. За ними служанкѣ не слыхать было, какъ снова ударилъ дверной молотокъ. Я пошелъ и открылъ двери.

Это возвратилась баронесса и Лина. У Лины развязалась и упала одна изъ ея покупокъ. Я ее поднялъ и сталъ завязывать. Баронесса тѣмъ временемъ вошла въ домъ, а мы остались вдвоемъ на дворѣ.

Стоя на одномъ колѣнѣ и на другомъ обвязывая развязавшійся узелъ, я почти безотчетно досталъ изъ кармана полученное письмо и сказалъ: «Пожалуйста прочтите», а самъ опять опустилъ глаза къ узлу и, когда поднялъ ихъ, то увидалъ, что за минуту передъ этимъ свѣжее и спокойное лицо Лины было покрыто слезами.

Она поспѣшно сунула мнѣ назадъ письмо, воскликнула: «Gott! O, Gott!» и скрылась въ домѣ. Аврора теперь стояла у окна, и я видѣлъ ея бѣлую, маленькую руку и тонкіе пальцы, красиво державшіе смычокъ, выводившій фугу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Я никогда не желалъ никому зла. Да; никому, и потому не желалъ и смерти моей мучительницѣ, и не ожидалъ, что это случится. Еще болѣе я считалъ бы за отвратительную гадость мечтать о свободѣ, пока эта женщина была жива; но «вѣдь воля дорога и птичкѣ», а тѣмъ болѣе молодому человѣку, какимъ я былъ тогда, семь лѣтъ тому назадъ. Я чувствовалъ, что у меня опять есть перья въ крыльяхъ, есть шансъ на долю счастья въ жизни, но мнѣ было странно, что вмѣстѣ съ этимъ оживляющимъ меня сознаніемъ я чувствовалъ мертвящую немощь передъ тѣмъ, что мнѣ надо объявить свою новость баронессѣ.

Какъ? въ какихъ выраженія я ей скажу это?

Я ее такъ уважалъ и такъ дорожилъ ея мнѣніемъ, что

не могъ придумать, какимъ образомъ это выразить такъ, чтобы не вышло ни непристойной радости, ни неумѣстнаго и притворнаго сокрушенія. Но я надъ этимъ напрасно ломалъ голову: мнѣ вовсе и не пришлось говорить объ этомъ баронессѣ; но у меня также и не оставалось мѣста ни для подозрѣнія, что она этого не знаетъ, ни для недоумѣнія, какъ она къ этому относится.

За столомъ у насъ былъ такой обычай, что прежде, чѣмъ сѣсть на свои мѣста, всѣ становились на минуту за своими стульями и брались руками за ихъ спинки. Баронесса на короткое мгновеніе поникала головою. Всѣ мы знали, что она въ это мгновеніе произносила мысленно короткую молитву. Лина тоже слѣдовала примѣру матери. Я и Аврора не наклонялись. Это никого не раздражало и не обижало. Здѣсь понимали, что вѣрить и не вѣрить—это не во власти человѣка, и о вѣрѣ не спорили, а прямую искренность умѣли уважать выше притворства. Потомъ Лина снимала крышку съ суповой вазы, и мы садились, а баронесса начинала намъ раздавать налитыя ея рукою тарелки.

Нынче это произошло не такъ. Послѣ того, какъ баронесса нагнула въ молчаніи свою голову, она ее подняла и, не отодвигая, по обыкновенію, своего стула, взглянула вверхъ и произнесла вслухъ:

— Прости всѣхъ и убѣли ихъ грѣхи Твоею кровію.

Лина сказала «Аминь», и онѣ всѣ — мать, дочь и Аврора—взглянули на меня и сѣли.

Обѣдъ прошелъ своимъ чередомъ. Я все понялъ. Порою мнѣ думалось: зачѣмъ онѣ, протестантки, молились за умершую? Потомъ мнѣ подумалось, что это онѣ молились и за меня, и за другихъ, «за всѣхъ». Мнѣ припомнились первые дни и первые разговоры въ этомъ дорогомъ мнѣ колыванскомъ семействѣ, и тогдашній вздохъ баронессы и ея слова: «Спаси насъ отъ нихъ, но и ихъ спаси отъ насъ, потому что и мы слишкомъ мало дѣлаемъ, или ничего не дѣлаемъ».

Какая гармонія чувствъ и ощущеній! Какая во всемъ этомъ деликатность и грація, и теплота, и ширь, и свобода! Кто могъ бы устоять противъ тихаго, но неодолимаго обаянія этого круга, исполненнаго благодати! Конечно, не я. Если бы я въ ту пору, несмотря на мою молодость, въ двадцать-пять лѣтъ не былъ уже нравственнымъ калѣкою,

съ изломанной и исковерканной прошедшею жизнью,—я бы, конечно, занесся мечтами и, можетъ-быть, возмнилъ бы себя въ правѣ претендовать на болѣе тѣсное сближеніе съ этимъ семействомъ. Но Провидѣніе дало мнѣ каплю разсудка и каплю честности; я зналъ всю раздѣляющую насъ бездну, я понималъ ихъ недосягаемую для меня чистоту и свою омраченность. Что бы тамъ ни заговорилъ за меня какой-нибудь софизмъ, я все-таки былъ виноватъ, я путался въ недостойныхъ исторіяхъ, водился съ безнравственными людьми и, волей-неволей, ко мнѣ все-таки прилипла грязь моего прошедшаго. Я зналъ, что я ни о чемъ не смѣю думать, и что мнѣ нѣтъ, да и не нужно поправки; но тѣмъ не менѣе я вспомнилъ теперь, что я здѣсь не крѣпокъ, что я тутъ чужой, что эти прекрасныя, достойныя дѣвушки непремѣнно найдутъ себѣ достойныхъ мужей, и нашъ теперешній милый кружокъ разлетится, и я останусь одинъ... одинъ...

«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!»

Окончивъ обѣдъ, я подошелъ къ баронессѣ, чтобы поблагодарить ее, и, цѣлуя ея руку, тихо сказалъ ей:

— Не прогоняйте меня никогда отъ себя!

Она мнѣ отвѣчала рукопожатіемъ.

Что же дальше скажу? Дальше случилось именно то, о чемъ я не смѣлъ и думать, какъ о высшемъ и никогда для меня недосягаемомъ счастьи. Слѣдующей весной я былъ мужемъ Лины—счастливѣйшимъ и недостойнымъ мужемъ самой святой и самой высокой женщины, какую Богъ послалъ на землю, чтобы осчастливить лучшаго человѣка. И это Божіе благословеніе выпало на мою горькую долю... и я... я... его теперь утратилъ, какъ неразумный звѣрь, или какъ каторжникъ. Я не могу жить... я долженъ себя убить... Я не могу... Но я вамъ доскажу все, чтобы вы знали, что я надѣлалъ и что во мнѣ происходитъ.

Возвращаюсь къ порядку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Все это произошло радѣніемъ кузины Авроры, въ которой, Богъ ее знаетъ, какое біеніе пульса и какое кровообращеніе. Глядя на нее, иногда можно зафантазироваться

надъ теоріями метапсихоза и подумать, что въ ней живетъ душа какой-то тевтобургской векши. Прыгъ туда, прыгъ сюда! Ей все нипочемъ. У насъ такъ долго живутъ въ общеніи съ нѣмцами и такъ мало знаютъ характеры нѣмецкихъ женщинъ. То-есть, я говорю, знаютъ только одну заурядность. У этой же все горитъ: одна рука строитъ, другая—ломаетъ, а первая уже опять возводитъ что-то заново. Ходитъ по залу со своею скрипкою и все фуги и фуги... Всѣмъ надоѣла! Случилась надобность ее о чемъ-то спросить. Вхожу и спрашиваю. Видитъ—и ни слова не отвѣчаетъ: идетъ прямо, прямо на меня, какъ лунатикъ, и вырабатываетъ свою фугу. Пришлось то же самое во второй разъ—и опять результатъ тотъ же самый. Зато въ третій разъ нѣчто совсѣмъ особенное: шла, шла, играла, вела фугу, и вдругъ у самаго моего уха струна хлопъ — и завизжала по грифу.

— Лопнуло терпѣніе! говорю.

— Да! отвѣчаетъ.—Когда же вы, наконецъ, соберетесь?

— Что?

— Сдѣлать Линѣ предложеніе!

— Я?! дѣлать предложеніе!! Линѣ!!!

— Да, я думаю,—*вы*, а не я, и никто другой за васъ.

— Да вы вспомните, что вы это говорите!

— О, я все помню и все знаю.

— Развѣ я смѣю думать... развѣ я стою вниманія Лины!

— Говоря по совѣсти, какъ надо между друзьями, конечно, нѣтъ, но... произошла роковая неосторожность: мы, сентиментальныя нѣмки, мы иногда бываемъ излишне чувствительны къ человѣческому несчастію... Если вы честный человѣкъ, въ чемъ я не сомнѣваюсь, вы должны уѣхать изъ этого города, или... я вѣдь вамъ не позволю, чтобы Лина страдала. Она васъ любитъ и *поэтому* вы ея стоите. А я васъ спрашиваю: когда вы хотите уѣхать?

— Никогда!

— Въ такомъ случаѣ... Лина!

— Бога ради! Дайте время!.. Дайте подумать!

— Лина! Лина!—позвала она еще громче.

— А-а?—отозвался изъ сосѣдней гостиной голосъ Липы.

— Иди скорѣй, или я разобью мою скрипку.

Вошла, какъ всегда, милая, красивая и спокойная Лина.

— Этотъ господинъ проситъ твоей руки.

И, повернувшись на каблучкѣ, Аврора добавила:

— Извини за неожиданность, но изъ долгаго раздумья тоже ничего лучшаго бы не вышло. Я иду къ Tante!

— Лина!—прошепталъ я, оставшись вдвоемъ.

Она на меня взглянула и остановилась.

— Развѣ я смѣю... развѣ могу...

Она тихо отвѣтила:

— Да.

Черезъ недѣлю Аврора уѣхала къ матери въ Курляндію. Мы всѣ передъ баронессой молчали. Наконецъ, Лина сама взялась сказать, что между нами было объясненіе. Я непремѣнно ждалъ, что мнѣ откажутъ, и вслѣдъ затѣмъ придется убираться, какъ говорятъ рижскіе раскольники, «къ себѣ въ Москву, подъ толстые звоны». Вышло совсѣмъ не то. Мы съ баронессой гуляли вдвоемъ, и она мнѣ сказала:

— Я не противъ избранія Лины, хотя я не совсѣмъ ему рада. Вы не знаете почему?

— Знаю. Мое прошлое...

— Совсѣмъ нѣтъ. Это слишкомъ глупо и жестоко тянуть за человѣкомъ весь вѣкъ его ошибки, но... вы русскій!..

— Вы такъ терпимы, баронесса!.. Такъ долго жили въ Россіи.

— Да, это я.

— А Лина тѣмъ болѣе.

— Нѣтъ — *вы??*

— Я — все, что вы хотите!

— Просите благословенія у вашихъ родителей.

Я попросилъ.

Тутъ и загудѣли изъ Москвы «толстые звоны».

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Матушка сокрушалась. Она находила, что я уже два раза Богъ вѣсть что съ собою надѣлалъ, а теперь еще *нѣмка*. Она не будетъ почтительна. Но отецъ и дядя радовались,—только съ какой стороны! Они находили, что наши стали всѣ очень верченыя,—такія затѣйницы, что никакого покоя съ ними нѣтъ, и притомъ очень требовательны, и такъ дорого стоятъ, что мужу остается для ихъ угожденія либо красть, либо взятки брать.

«Нѣмки лучше», возвѣщалъ отцу дядя изъ Москвы въ

Калугу и привелъ примѣры «отъ иныхъ родовъ», такихъ же «столповыхъ», какъ и нашъ родъ Сипачевыхъ. Успокоили отецъ съ дядею и матушку, что «нѣмки хозяйственны и *для заводу добры*». Такъ все это мнѣ и было изъяснено въ пространныхъ отпискахъ съ изъясненіемъ, кто что думалъ, и что сказалъ, и чѣмъ одинъ другого пересилилъ. Матушка, кажется, больше всего была тѣмъ утѣшена, что онѣ «для заводу добры», но отецъ бралъ примѣры и «отъ большихъ родовъ, гдѣ много вѣдомо съ нѣмками браковъ и все хорошія жены, и между поэтами и писателями тоже многіе, которые судьбу свою съ нѣмецкою женщиною связали, получили весь нужный для правильной дѣятельности покой души и на избраніе свое не жаловались». Низводилось это до самыхъ столповъ славянофильства. Стало-быть, мнѣ и Богъ проститъ. Отецъ писалъ: «Это твое дѣло. Тебѣ жить съ женою, а не намъ, ты и выбирай. Дай только Богъ счастія и не измѣняй вѣрѣ отцовъ твоихъ, а намъ желательно, наконецъ, имѣть внука Никитку. Помни, что имя Никиты въ нашемъ сипачевскомъ роду никогда прекращаться не должно, а если первая случится дочь, то она должна быть, въ честь бабушки, Маріа». Я, разумѣется, обрадовался и говорю баронессѣ, что отецъ и мать согласны. Она захотѣла видѣть письмо, и я подалъ это письмо баронессѣ, а она Линѣ. Лина покраснѣла, а уважаемая баронесса не сдѣлала никакого замѣчанія. Я ихъ обнялъ и расцѣловалъ: «Друзья мои! говорю:—истинно нѣтъ лучше, какъ нѣмецкія женщины». И я, дѣйствительно, тогда такъ думалъ—и женился. Жена моимъ старикамъ письма написала по-русски. Живемъ прекрасно; Москва и Калуга спокойны и рады,—только все освѣдомляются: «въ походѣ ль Никитка?» Наконецъ напророчили! Я пишу: «Лина, кажется, чувствуетъ себя не одною».

Сейчасъ же и дядя, и отецъ сразу съ обѣихъ колоколенъ зазвонили: «Благословеніе непраздной и имущей во чревѣ; да разверзетъ ея ложесна отрокъ», и проч., и проч. У дяди всегда все выходило такъ хорошо и выспренно, какъ будто онъ Аксакову въ газету передовицу пишетъ, а отецъ не былъ такъ литературенъ и на живчака прихватывалъ: «Только смотри—доставь мнѣ Никитку!.. Или развѣ въ самомъ крайнемъ случаѣ прощается на одинъ разъ Маріа». Болѣе же одного раза не прощалось.

Матушка мало умѣла писать; лучше всего она внушала: «Береги жену—время тяготно», а отецъ съ дядею съ этихъ поръ пошли жарить про Никиту. Дядя даже прислалъ серебряный ковшикъ, изъ чего Никиту поить. А отецъ все будто сны видитъ, какъ къ нему въ садъ вскочилъ отъ нѣмецкой коровки русскій теленочекъ, а онъ его будто поманилъ: тпрюсѝ-тпрюсѝ,—а теленочекъ ему дѣтскимъ языкомъ отвѣчаетъ: «я не тпрусѝ-тпрусѝ, а я Никитушка, свѣтъ Ивановичъ по изотчеству, Сипачевъ по прозванію».

Сдѣлался этотъ Никита Ивановичъ Сипачевъ моимъ нравственнымъ или долговымъ обязательствомъ, котораго мнѣ никакъ избыть нельзя. Итакъ, жена моя что-то заводское, и я заводскій, и наша любовь и счастливый бракъ нашъ—все это разсматривается, оцѣнивается только съ племенной, заводской точки зрѣнія.

— «Никитка! Никитка!»—«Подай Никитку!» — «Въ походѣ ли Никитка!» Да что же это, наконецъ, за родственная глупость и даже унижающее безстыдство! Ну, а если нѣтъ и не будетъ «въ походѣ» не только Никиты, а даже и Марѳы, то что же тогда? Неужто объ этомъ плакать, что ли, или считать это за несчастіе и укорять Лину, какъ это бывало у евреевъ ветхаго завѣта и у русской знати московскаго періода? Но, къ счастію, мнѣ было чего ожидать, и раздраженіе на своихъ было напрасно. Только очень они съ этимъ льнутъ. Отецъ пишетъ, что мать теперь все молится Спорушницѣ «объ имущей во чревѣ». Писали, что въ поминанье Лина у нихъ за здравіе записана Катериной, потому что Каролину священникъ находилъ неудобнымъ поминать, такъ какъ это имя неправославное. Лина—«еретица». Давали мнѣ совѣтъ «наклонять жену къ вѣрѣ моихъ отцовъ», но надѣялись, что «когда будетъ Никитушка, то она, вѣроятно, и сама поймет, что это неизбѣжно. Когда же онъ родится и станемъ его крестить, то чтобы попъ крестилъ его непремѣнно настоящимъ трократнымъ погруженіемъ въ купели, а не облилъ съ блюдечка, какъ будто канарейку». Мать же извѣщала, что она шьетъ Никитѣ распашоночки и дѣлаетъ пеленки изъ старенькаго, чтобы ему не рѣзало рубцами тѣльце подъ шейкой и подъ мышечками.

Словомъ, покой мой замутился съ этимъ Никитою. И чѣмъ дальше, тѣмъ все неотступнѣе.

Пришли и распашонки, и пеленочки, а отъ дяди изъ Москвы старинный серебряный крестъ съ четырьмя жемчужинами, а отъ отца новыя наставленія. Пишетъ: «Когда же придетъ уреченное время — поставь къ купели вмѣсто меня стоять дьячка или понамаря. Они, каковы бы ни были, — все-таки вѣрные русскіе люди, ибо ничѣмъ инымъ и быть не способны».

Все вѣдь это надо какъ-нибудь выполнить, а здѣсь такіе пріемы не приняты. Непремѣнно придется что-нибудь лгать старикамъ, а я ихъ такъ люблю и никогда ихъ не обманывалъ.

Ожиданіе Никиты стало меня нервировать и мучить. Зачѣмъ они черезчуръ все это раздуваютъ и о чемъ хлопочутъ? Все дѣлалось бы само собою несравненно спокойнѣе и лучше, если бы они не гнали такой суеты и горячки. Кто родится, того бы и окрестили, и назвали бы Никитою или Маѳеой, а то я уже сталъ тревожиться: какъ въ самомъ дѣлѣ это будетъ? Или, можетъ-быть, и совсѣмъ ничего не будетъ,—такъ пройдетъ?

Высказался даже въ этомъ духѣ тещѣ. Баронесса, вязавшая въ это время одѣяльце, покачала головою и, тихо улыбнувшись, отвѣчала:

— Нѣтъ, это *такъ* не проходитъ. А они напрасно такъ много безпокоятся, и ты сталъ безпокоенъ. Тебѣ бы пока лучше проѣхаться.

— Куда же, говорю,—и какъ мнѣ теперь отлучаться?

— Отчего же? Это даже хорошо. Еще чѝсла Лины далеко, а я попрошу барона—онъ тебѣ дастъ командировку. Проѣзжайся. Чѝсла далеко.

И я получилъ командировку, и въ самомъ дѣлѣ радъ былъ проѣхаться. Вѣдь «чѝсла далеко», а Лину оставить съ нѣжно-любящею ее матерью нимало не страшно. Да и мой безпокойный видъ и нервозность, по словамъ баронессы, даже нехорошо вліяли на настроеніе духа жены, а ей въ ея положеніи нужно спокойствіе.

А заботы родныхъ все не унимаются: передъ самымъ моимъ отъѣздомъ дядя пишетъ, что онъ намѣренъ завѣщать свой домъ, въ переулкѣ близъ Арбата, Никитѣ, а отецъ пишетъ, что «все наше принадлежитъ тебѣ и сыну твоему, первенцу Никитѣ Иванычу Сипачеву».

Я уѣхалъ въ командировку на особомъ катерѣ.

Прекрасно! Море, свободная стихія, маяки, запасы, повѣрки знаковъ,—все это меня развлекло и заняло; но—чортъ возьми,—чуть только я удалился отъ своего берега, въ моей душѣ вдругъ зародилось какое-то безпокойство, что я обманутъ, что со мной сыграли какую-то штуку, что я выгнанъ изъ дома нарочно, какъ какой-то дурачокъ, и вообще со мною играютъ какую-то комедію.

Кто?.. Кто могъ со мною играть комедію? Неужто моя милая, преданная жена, моя кроткая, вѣрная Лина? Или неужто моя теща, баронесса, просвѣщенная, истинно честная и всѣми уважаемая женщина, сочувствующая всему высокому и презирающая все недостойное истиннаго благородства?.. Невозможно! Не вѣрю навѣтамъ коварнымъ.

А какой-то чортъ шепчетъ на ухо: «Э, милый другъ, все на свѣтѣ возможно. Стернъ, англійскій великій юмористъ, больше тебя понималъ, и онъ сказалъ: «Tout est possible dans la nature»—все возможно въ природѣ. И русская пословица говоритъ: «Изъ одного человѣка идетъ и горячій духъ, и холодный». Всѣ твои домашнія дамы въ своемъ родѣ прелестныя существа и достойны твоего почтенія, и другія ихъ тоже не напрасно увалкаютъ, а въ чемъ-нибудь такомъ, въ чемъ онѣ никому уступить не хотятъ,—и онѣ не уступятъ, и онѣ по-своему обработаютъ.

Засыпаю подъ плащомъ на палубѣ и вижу фигуры баронессы и Лины на берегу, какъ онѣ меня провожали и махали мнѣ своими платками. Лина плакала. Она навѣрно и теперь иногда плачетъ, а я все-таки представляю себѣ, будто я нахожусь въ положеніи сказочнаго царя Салтана, а моя теща Венигрета Васильевна—«сватья баба Бабариха», и что она непремѣнно сдѣлаетъ мнѣ страшное зло: Никитку моего изведетъ, какъ Бабариха извела Гвидона, а меня чѣмъ-нибудь на всю жизнь одурачитъ.

Идемъ подъ свѣжимъ вѣтеркомъ, катерокъ кренится и бортомъ захватываетъ, а я ни на что вниманія не обращаю и въ груди у меня слезы. Въ душѣ самыя теплыя чувства, а на умѣ какая-то гадость, будто отнимаютъ у меня что-то самое драгоцѣнное, самое родное. И чуть я позабудусь, сейчасъ въ умѣ толкутся стихи: «А ткачиха съ поварихой, съ сватьей бабой Бабарихой». «Родила царица въ ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а невѣдома

звѣрушку». Я зарыдалъ во снѣ. «Никита, мой милый! Никитушка! Что съ тобою дѣлаютъ!»

Боцманъ меня разбудилъ.

— Вы, говоритъ,—ваше благородіе, ужасно колобродите и руками брылявитесь! Перекреститесь.

Я перекрестился и успокоился.

Въ самомъ дѣлѣ, что за глупость: вѣдь я не царь Салтанъ, и Никитушка не Гвидонъ Салтановичъ; не посадятъ же его съ матерью въ бочку и не бросятъ въ море!

Такъ и странствую въ такомъ душевномъ расположеніи отъ одного берегового пункта къ другому, водворяю порядки и снабжаю людей продовольствіемъ. И вдругъ на одномъ изъ дальнихъ островковъ получаю депешу: «совершенно благополучно родился сынъ,—sehr kräftiger Knabe». Всѣ тревоги минули: такимъ именно kräftiger Knabe и долженъ былъ появиться Никита! «Sehr kräftiger». Молодецъ! Знай нашихъ комаринскихъ!

Сами можете себѣ вообразить, какъ я послѣ извѣстія о рожденіи сына нетерпѣливо кончалъ свои визиты къ остальнымъ маякамъ, и съ какимъ чувствомъ черезъ двѣ недѣли выскочилъ съ катера на родной берегъ этого города, гдѣ меня ждали жена и ребенокъ.

На самой пристани матросъ передаетъ приказаніе моего начальника явиться къ нему прямо сію минуту.

Досадно, а дѣлать нечего: ѣду.

Добрѣйшій баронъ Андрей Васильевичъ прямо заключаетъ меня въ свои объятія, смотритъ на меня своими ласковыми синими глазами и, пожимая руки, говоритъ:

— Ну, поздравляю, молодой отецъ, поздравляю! Извините, что я васъ задержалъ и не пустилъ прямо домой, но это необходимо. Лина еще слаба, вѣдь она немножко обсчиталась числомъ, но зато Фриде—славный мальчикъ.

Я сначала не понялъ, что такое. Какой Фриде!

— Кто это, говорю,—Фриде?

— А этотъ вашъ славный мальчикъ! Мы его вчера окрестили и все думали: какое ему дать имя, чтобы оно понравилось...

Я перебилъ:

— И какъ же, говорю,—вы его назвали?

— Готфридъ, мой милый, Готфридъ! Это всѣмъ намъ понравилось, и пасторъ назвалъ его Готфридъ.

— Пасторъ!—закричалъ я.

— Да, конечно, пасторъ, нашъ добрый и ученый пасторъ. Я нарочно позвалъ его. Я другого не хотѣлъ, потому что это вѣдь онъ, который открылъ, что надо перенесть двоеточіе послѣ слова: «Гласъ вопіетъ въ пустынѣ: приготовьте путь Богу». Старое чтеніе не годится.

— Позвольте, говорю, — но вѣдь я его задушу моими руками!

— Кого это?

— Этого пастора!

— За то, что онъ перенесъ двоеточіе?

— Нѣтъ, за то, что онъ смѣлъ окрестить моего сына!

Баронъ выразилъ лицомъ полнѣйшее недоумѣніе.

— Какъ зачѣмъ окрестилъ сына? Какъ душить нашего пастора? Развѣ можно не крестить?

— Его долженъ былъ крестить русскій священникъ!

— А!.. Я этого не зналъ, не зналъ. Я думалъ, вы такъ хотите! Но вѣдь лютеране очень хорошіе христіане.

— Все это вѣрно, но я самъ русскій, и мои родные русскіе, и дѣти мои должны принадлежать къ русской вѣрѣ.

— Не зналъ, не зналъ!

— Зачѣмъ же мои семейные, жена, теща не подождали моего возвращенія?

— Не знаю,—судьба, перстъ...

— Какая, ваше превосходительство, судьба! Судьба вотъ была въ чемъ, вотъ чего хотѣли всѣ мои русскіе родные!

Разсказалъ ему все и прибавилъ:

— Вотъ какова должна была быть настоящая судьба, и имя, и вѣра этого ребенка, а теперь все это вывернули вонъ. Я этого не могу снесть.

— Въ такомъ случаѣ вы здѣсь прежде успокойтесь.

— Нечѣмъ мнѣ успокоиться! Это останется навсегда, что у меня первый сынъ—нѣмецъ.

— Но вѣдь нѣмцы также хорошіе люди.

— Хорошіе, да я-то этого не ожидалъ.

— А перстъ Божій показалъ.

Ну, что еще съ нимъ говорить! Бѣгу домой.

Отворила сама теща,—какъ всегда, въ букляхъ, въ чепцѣ и въ кожаномъ поясѣ, во всемъ своемъ добромъ здоровьѣ и въ полномъ нарядѣ,—и говоритъ мнѣ:

— Тсссъ! Потише... Фриде спитъ...

— Покажите мнѣ его.

— Подожди, это сейчасъ нельзя.

— Нѣтъ, покажите, а то я сойду съ ума! Я лопну съ досады.

Показали мнѣ мальчишку. Славный! Я его обнялъ и зарыдалъ.

— Ахъ, ты, говорю,—Никитка, Никитка! За что только тебя, бѣднягу, оборотили въ Готфрида!

Выплакался до-сыта и ничего не сталъ говорить до тѣхъ поръ, пока жена оправилась.

Потомъ разъ выбралъ время и говорю:

— Что же это вы сдѣлали, Лина? Какъ я напишу объ этомъ на Арбатъ и въ Калужскую губернію? Какъ я его когда-нибудь повезу къ дѣду и бабушкѣ, или въ Москву къ дядѣ, русскому археологу и историку?

Она будто не понимаетъ этого и ласкается; но я-то вѣдь понимаю, какое мое положеніе съ новорожденнымъ нѣмцемъ. Встанутъ отецъ и мать: показывай, молъ, намъ колыванское производство, а что такое я имъ могу сказать, что я покажу? Вотъ, молъ, я вамъ оттуда своего производства нѣмца привезъ!.. Потрудитесь получить, — называется Готфридъ Бульоновичъ, въ ласкательной формѣ Фриде, въ уничижительной — Фридька. Имя не трудное, а довольно потѣшное. Меня засмѣютъ и со двора съ нѣмцемъ сгонятъ. Или, еще вѣрнѣе, мнѣ не повѣрятъ, потому что этому и нельзя повѣрить, чтобъ я, калужанинъ, истинно русскій человѣкъ, борецъ за право русской народности въ здѣшнемъ краѣ, самъ себѣ первенца нѣмца родилъ! Адъ и смерть.

Прыгалъ я, прыгалъ,—разныя глупости выдумывалъ, хотѣлъ дѣло поднимать, доносъ писать, перекрещивать, да на кого доносить станешь? На свою семью, на любимую жену, на добрую и всѣми уважаемую тещу Венигрету, которую я и люблю, и уважаю!.. Чортъ знаетъ, что за положеніе!

Такъ ничего иного и не могъ придумать, какъ признать «совершившійся фактъ», а въ немъ участіе «перста», и затѣмъ началъ врать моимъ старикамъ, что случилось несчастіе: Никитки, пишу, нѣтъ, а вышелъ фосъ-кушъ.

Ничего другого въ этомъ положеніи не выдумалъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Живемъ на-ново и опять такъ же невозмутимо хорошо, какъ жили. Мой нѣмчикъ растетъ, и я его, разумѣется,

люблю. Мое вѣдь дитя! Мое рожденье! Лина — превосходная мать, а баронесса Венигрета — превосходная бабушка. Фридька молодецъ и красавецъ. Баронъ Андрей Васильевичъ носитъ ему конфеты и со слезами слушаетъ, когда Лина ему разсказываетъ, какъ я люблю дитя. Оботретъ шелковымъ платочкомъ свои слезливые голубые глазки, приложитъ ко лбу мальчика свой бѣлый палецъ и шепчетъ:

— Перстъ Божій! перстъ! Мы всѣ сами по себѣ не значимъ ничего. И прочитаетъ въ нѣмецкомъ переводѣ изъ Гафиза:

«Тщетно, художникъ, ты мнишь,
Что твореній своихъ—ты создатель.»

Меня повысили въ должности и дали мнѣ новый чинъ. Это поправило наши достатки. Прошло три года. Дѣтей болѣе не было. Лина прихварывала. Андрей Васильевичъ далъ мнѣ командировку въ Англію для пріема портовыхъ заказовъ. Линѣ совѣтовали полѣчиться въ Дубельнѣ у Нордштрема, въ его гидропатической лѣчебницѣ. Я ихъ завезъ туда и устроилъ въ Майоренгофѣ, на самомъ берегу моря. Слагалось прекрасно: я пробуду мѣсяца два за границей, а онѣ у Нордштрема. Чудесный старикъ-нѣмецъ, и терпѣть не могъ остзейскихъ нѣмцевъ, все ихъ ругалъ по-русски «прохвостами». Больныхъ заставлялъ ходить по берегу то босикомъ, то совсѣмъ нагишомъ. Въ аптечное лѣченіе не вѣрилъ нисколько и надъ всѣми докторами смѣялся. Исключеніе дѣлалъ только для одного московскаго Захарьина.

— Этотъ, говорилъ, — одинъ чисто дѣйствуетъ: онъ понялъ дѣло и напалъ на свою роль.

А похвала эта, впрочемъ, въ простомъ изъясненіи сводилась къ тому, что онъ почиталъ знаменитаго московскаго врача «объюродѣвшимъ», но увѣрялъ, что «въ Москвѣ такіе люди необходимы», и что она потому и крѣпка, что держится «credo quia absurdum».

Любопытный былъ человѣкъ! Жилъ холостякомъ, бракъ считалъ недостойнымъ и запоздалымъ учрежденіемъ, остающимся пока еще только потому, что люди не могутъ найти, чѣмъ бы его замѣнить; ходилъ часто безъ шапки, съ толстой дубиной въ рукѣ, ѣлъ мало, вина не пилъ и не курилъ, и былъ очень уменъ.

Моя теща пользовалась его расположеніемъ «какъ умная нѣмка». Жена моя должна была у него лѣчиться. Послѣ

она хотѣла съѣздить къ Tante Августѣ въ Полангенъ, гдѣ море гораздо солонѣе.

Я сказалъ:

— Прекрасно.

— И Фриде съ собою возьмемъ: надо его показать тантѣ и Аврорѣ; она вѣдь его еще не видала.

— Пожалуйста, возьмите; его только и остается показывать тантѣ Августѣ да Аврорѣ.

Лина укоризненно покачала головою.

— Какой ты, говоритъ,—злой!

— Да, я злой; а вы съ своей мамой очень добрыя: вы такъ устроили, что мнѣ своимъ роднымъ сына показывать стыдно.

— Почему же стыдно?

— Нѣмецъ!.. лютеранинъ!

— Ну, такъ что же такое?

— Ничего больше.

— Будто не все равно? Всѣ христіане.

— То-то и есть, вѣрно, не все равно. И я такъ думаю: не все ли равно, а вотъ по-вашему, видно, не все равно: вы взяли да и переправили его изъ Никитки на Готфрида.

А женѣ ужъ нечего сказать, такъ она отвѣчаетъ:

— Ты придираешься. Лишнюю комнату, которая у насъ наверху, мы отдадимъ дядѣ-барону (т. е. Андрею Васильевичу).

— Чудесно.

— Вѣдь мы ему много обязаны.

— Конечно.

— Онъ очень любитъ Нордштрема.

— И Нордштремъ его любитъ.

— Правда?

— Да.

— Онъ тебѣ говорилъ это?

— Какъ же. Онъ мнѣ говорилъ, что баронъ — горховый шутъ.

Лина обидѣлась.

— Я, говоритъ,—думаю, что ты шутишь.

— Нѣтъ, не шучу; но, впрочемъ, Нордштремъ хотѣлъ свести барона съ какимъ-то пасторомъ, который одну ночь говоритъ во снѣ по-еврейски, а другую—по-гречески.

Лина замѣтила мнѣ, что я дерзокъ и неблагодаренъ.

Въ ней была какая-то нервность. Такъ мы разстались и почти три мѣсяца не видались. Въ разлукѣ, въ моемъ настроеніи, разумѣется, произошла перемѣна: огорченія потеряли свою остроту, а хорошія, радостныя минуты жизни всплывали и манили къ женѣ. Я вѣдь ее любилъ и теперь люблю.

Андрей Васильевичъ встрѣтилъ меня въ Ригѣ на самомъ вокзалѣ, повелъ завтракать въ паркъ и въ первую стать разсказалъ свою радость. Пасторъ, съ которымъ познакомилъ его Нордштремъ и который «во снѣ говорилъ одну ночь по-еврейски, а другую — по-гречески», принесъ ему «обновленіе смысла».

— Что же такое онъ открылъ?

— А, другъ мой,—это благословенная, это великая вещь! Я теперъ могу молиться такъ, какъ до этой поры никогда не молился. Сомнѣнья больше нѣтъ!

— Это большая радость.

— Да, это радость. Впрочемъ, я всегда думалъ и подозрѣвалъ, что здѣсь нѣчто должно быть не такъ, что здѣсь что-то должно быть иначе. Я говорю о «Молитвѣ Господней».

— Я ничего не понимаю.

— Но вѣдь вы ее знаете?

— «Отче нашъ»-то?—Ну, конечно, знаю.

— И помните прошеніе: «Хлѣбъ нашъ *насущный* дай намъ сегодня»?

— Да, это такъ.

— А вотъ то-то и есть, что это не такъ.

— Позвольте...

— Да, не такъ, не такъ! Я и прежде задумывался: какъ это странно!.. «Не о хлѣбѣ человѣкъ живъ», и «не безпокойтеся, что будете ѣсть или пить», а тутъ вдругъ прошеніе о хлѣбѣ... Но теперь онъ мнѣ открылъ глаза.

— А мнѣ хочется сперва въ Дубельнъ, къ женѣ... боюсь, какъ бы не пропустить поѣзда.

— Нѣтъ, не пропустимъ. Вы понимаете по-гречески слово: «ἐπιούσιος»?

— Не понимаю.

— Это значитъ: «*над*-сущный», а не насущный,—хлѣбъ *не* вещественный, а духовный... Все ясно!

- Я перебилъ:

— Позвольте, говорю, — вы мнѣ это что-то еретическое внушаете. Мнѣ это нельзя.

— Почему?

— Я человѣкъ истинно русскій и православный, — мнѣ нуженъ «хлѣбъ насущный», а не *над*-сущный!

— Ахъ, да! А я теперь въ восторгѣ читаю эту молитву, и васъ все-таки съ пасторомъ познакомлю. Это я непремѣнно и хотѣлъ, чтобы онъ, а не другой пасторъ крестилъ маленькаго Волю, и онъ это сдѣлалъ...

— Какого Волю?

— А второй сынъ вашъ, Освальдъ!

— Ничего не понимаю!.. Какой сынъ?.. У меня одинъ сынъ, Готфридъ!

— Это первый, а второй-то, второй, который мѣсяцъ назадъ родился!

— Что?.. Мѣсяцъ назадъ?.. Что же онъ тоже «ἐπιούσιος», что ли, необыкновенный, *над*-сущный? Откуда онъ взялся?

— Его мать—Лина.

— Но она не была беременна.

— А, этого я не знаю.

Я внѣ себя, бросаю Андрея Васильевича и лечу къ себѣ на дачу, и первое, что встрѣчаю—теща, «всѣми уважаемая баронесса». Не могу здороваться и прямо спрашиваю:

— Что случилось?

— Ничего особеннаго.

— У Лины родился ребенокъ?

— Да.

— Какъ же это такъ?.. Отчего же?..

— Что за вопросъ!

— Нѣтъ, позвольте!.. Какъ же, три мѣсяца тому назадъ, когда я уѣзжалъ... я ничего не зналъ? Въ три мѣсяца это не могло сдѣлаться!

— Конечно... Это надо девять мѣсяцевъ. Зачѣмъ же ты это не зналъ?

— Почему же я могъ знать, когда мнѣ ничего не говорили?

— Ты самъ могъ знать по числамъ.

— Чортъ вы, говорю, — чортъ, а не женщина! Чортъ! чортъ!

Это вдругъ такой оборотъ-то послѣ того, какъ я къ ба-

ронессѣ чувствовалъ одно уваженіе и почтительно къ ней относился!

Ну, дальше что же разсказывать! Разумѣется, хоть лопни съ досады — ничего не подѣлаешь! Опять все кончилось, какъ и въ первомъ случаѣ. Только я уже не истеричничалъ, не плакалъ надъ своимъ вторымъ нѣмцемъ, а окончилъ объясненіе въ мажорномъ тонѣ.

Я сказалъ баронессѣ, что терпѣніе мое лопнуло и что я въ моихъ отношеніяхъ къ семьѣ перемѣняюсь.

— Какъ? Зачѣмъ перемѣняться?

— А такъ, говорю,—что совсѣмъ перемѣнюсь, — вы вѣдь еще не знаете, какой у меня неизвѣстный характеръ.

— А какой неизвѣстный характеръ?

— Я вамъ говорю—«неизвѣстный». Я и самъ не знаю, что я могу сдѣлать, если выйду изъ терпѣнія. Вы это имѣйте въ виду, если еще разъ захотите мнѣ сдѣлать сюрпризъ по числамъ.

— Какая глупость!

— Ну, вотъ, смотрите!

У меня явился какой-то дьявольскій порывъ — схватить потихоньку у нихъ этого Освальда и швырнуть его въ море. Слава Богу, что это прошло. Я ходилъ-ходилъ,—и по горѣ, и по берегу, а при восходѣ луны сѣлъ на песчаной дюнѣ и все еще ничего не могъ придумать: какъ же мнѣ теперь быть, что написать въ Москву и въ Калугу, и какъ дальше держать себя въ своемъ собственномъ, нѣкогда мнѣ столь миломъ семействѣ, которое теперь какъ будто взбѣсилось и стало самымъ упрямымъ и самымъ строптивымъ.

Вдругъ, на счастье мое, вижу, по бережку моря идетъ мой благодѣтель, Андрей Васильевичъ, одинъ, съ своей вѣрной собачкой и съ книгой, съ библіей. Кортикъ мотается, а самъ какъ пѣтушокъ распѣваетъ, безмятежнымъ старческимъ выкрикомъ:

Я усталъ,—иду къ покою;
Отче! очи мнѣ закрой,
И съ любовью надо мною
Будь хранитель вѣрный мой!

И какимъ молодцомъ идетъ на своихъ тоненькихъ ножкахъ, и все выше и выше задуваетъ высокимъ фальцетомъ:

И сегодня, безъ сомнѣнья,
Я виновенъ предъ Тобой;

Дай мнѣ всѣхъ грѣховъ прощенье,
Тѣлу—сонъ, душѣ—покой!

Мнѣ стало завидно его бодрости и спокойствію, да и къ жизни, къ общенію съ людьми опять меня поманило, и на умъ пришла шутка.

«Нѣтъ, постой ты, думаю, — старый пѣвунъ: пока ты дойдешь до своей постели, чтобы вкушать сонъ и покой, котораго просишь, — я тебя порастравлю за то, въ чемъ, кажется, и ты «виновенъ безъ сомнѣнья».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Я покинулъ холмъ, гдѣ сидѣлъ, и безъ труда догналъ Андрея Васильевича.

Адмиралъ, увидя меня, очень обрадовался и сердечно меня обнялъ.

— Здравствуйте, говоритъ, — мой другъ, здравствуйте! Какая послѣ чудеснаго дня становится чудесная ночь! Я въ упоеньи,—гуляю и молюсь, все повторяю «Отче нашъ» въ новомъ разночтеньи, — благодарю за «хлѣбъ *над-сущный*» и мосму сердцу легко. «Сердце полно,—будемъ Богу благодарны». А вы какъ себя чувствуете?.. Вы тоже гуляли?

— Да, гулялъ.

— Прекрасный вечеръ. Теперь домой?

— Домой.

— Вотъ и чудесно, и пойдемъ вмѣстѣ. Я не скучаю и одинъ, но съ сердечнымъ, съ сочувственнымъ и благородномыслящимъ человѣкомъ вдвоемъ еще веселѣй... А вы вѣрно узнали все, какъ это случилось, и тоже спокойны?

— Нѣтъ, отвѣчаю,—я ничего не узналъ, да и не хочу узнавать!

— Да, это перстъ Божій.

— Ну, позвольте... ужъ вы хоть перстъ-то оставьте.

— Отчего же? Когда нельзя понять, — надо признать перстъ.

— А я скорѣе согласенъ видѣть въ этомъ чей-то шишъ, а не перстъ.

Онъ остановился, какъ будто долго не могъ понять, а потомъ помоталъ передъ собою пальцемъ и произнесъ:

— Ни-ни-ни! Это перстъ!.. И вы никогда больше не говорите «шишъ», потому что «шишъ»,—это русскій нигилизмъ.

— Ну, ужъ нигилизмъ или не нигилизмъ, а я тутъ перста не вижу. Перстъ не указываетъ, какъ обманывать человѣка, а здѣсь обманъ, и потому я принимаю это за шишъ, показанный всему моему дальнѣйшему семейному благополучію. Семейное счастье мое разстроено...

— Почему?

«Ахъ, ты, думаю, — тупица этакій! Еще извольте ему разъяснять «почему»!

— Я не могу больше вѣрить самымъ близкимъ людямъ.

— То-то: почему?

«Фу, чортъ тебя возьми! думаю.—Ишь въ чемъ у нихъ, между прочимъ, сила кроется. Чего они не хотятъ понять, того и не понимаютъ. Такъ и моя жена, и всѣми уважаемая теща, и этотъ благочестивый пѣвунокъ.—А я же васъ разочарую по-русски, откровенно.»

И говорю:

— Я, ваше превосходительство, вамъ скажу только одно: я вамъ скажу, до какихъ острыхъ объясненій у насъ дошло съ баронессою, которую, какъ вы знаете, я любилъ и уважалъ какъ родную мать.

— Знаю, знаю! И она этого стоитъ.

— Да, а теперь я ей пригрозилъ.

— Чѣмъ?... Какъ можно пригрожать!

— Такъ... сказалъ, что я больше ничего не потерплю, и что у меня есть ужасныя черты въ характерѣ, которыхъ я самъ боюсь.

— Вы это пошутили?

— Нѣтъ,—совершенно серьезно.

— А что вы, напримѣръ, можете сдѣлать?

— Не знаю...

— Какъ же не знаете?

— Въ томъ-то для меня и есть самый большой ужасъ, что я самъ не знаю. Я терплю много и долго, держу себя... какъ воспитанный человѣкъ, какъ европеецъ; а потомъ, если меня станутъ очень сильно скребсти,—я и освирѣпѣю, какъ быкъ.

— Какъ быкъ!.. Гм!.. Это скверно.

— И я впередъ вамъ говорю, что это можетъ кончиться скверно.

— Напримѣръ—какъ?

— А напримѣръ такъ, что я сегодня-было вздумалъ швырнуть за ноги это дитя.

— Ой, какая гадость!

— Да, это гадость, но вѣдь и со мною дѣлаютъ нехорошее. Пословица говоритъ: «противъ жару и котелъ треснетъ».

— А-га! Хорошая пословица. Я очень люблю русскія пословицы. Но это не годится. Дитя ничѣмъ не виновато.

— Ну, я доносъ на собственную семью напишу и пошлю.

— Офицеръ!.. Доносъ!

— Да, самъ на себя.

— Этого никто не дѣлаетъ.

— Нѣтъ, дѣлаютъ; въ бракоразводныхъ дѣлахъ даже очень часто дѣлаютъ.

— Нѣтъ, ужъ вы этого не дѣлайте.

— Ну, такъ вотъ вы меня, ваше превосходительство, научите, что же мнѣ дѣлать-то, чего держаться и какъ изъ себя не выйти?

— Держитесь русской пословицы.

— Которой прикажете?

— «Когда ты хочешь разсердиться, подумай, что ты говоришь съ генералъ-губернаторомъ».

— Такой пословицы нѣтъ.

— Есть.

— Да ужъ позвольте мнѣ, какъ русскому, лучше знать, что такой пословицы нѣтъ.

— Я ее отъ князя Суворова въ Ригѣ слышалъ.

— Про рижскаго князя Суворова про самого-то стоитъ пословицу сложить.

— Это правда, правда. Онъ фантазеръ, но добрякъ. Многое, что было невозможно, онъ сдѣлалъ возможнымъ. Его, бывало, попросятъ, — онъ скажетъ: «это возможно». Очень жаль, что его больше нѣтъ,—и вамъ было бы хорошо.

— Мнѣ все равно, меня мучитъ только, какъ своимъ роднымъ написать, что у меня все нѣмцы родятся.

— Да!.. въ самомъ дѣлѣ: какъ бы имъ это написать?

— Я имъ чистосердечно во всемъ признаюсь, что я ихъ по вашей милости обманывалъ, и что у меня сына Никиты нѣтъ, а есть даже два сына, и оба нѣмца. Пусть и отецъ и дядя это узнаютъ, и они меня пожалѣютъ, и отпишутъ свое наслѣдство, находящееся въ Россіи, дѣтямъ моей

сестры, русскимъ и православнымъ, а не моимъ дѣтямъ-нѣмцамъ, Роберту и Бертраму.

— Фуй!

— Отчего фуй? Я больше лгать не хочу. Приду домой и напишу: мнѣ будетъ легче.

— Чѣмъ же легче?

— Тѣмъ, что я не буду больше моихъ честныхъ стариковъ обманывать.

Адмиралъ задумался и прошепталъ:

— Это тоже правда.

— Конечно, правда.

— А вы первый разъ имъ... о первомъ ребенкѣ какъ написали?

— Я тогда солгалъ.

— А-а! Какъ жаль!

— Да, я нагло и гнусно солгалъ.

— Что же именно?

— Свалилъ все дѣло на fausse couche.

— Недурно! Очень хорошо!—Теперь свалите на фоскушку!

— Нѣтъ, ваше превосходительство, я попробую придумать что-нибудь другое.

— Зачѣмъ? Лучше этого не придумаете.

Разстались. Я вернулся домой и въ самомъ дѣлѣ сѣлъ писать чистосердечное признаніе... Какъ-то не пишется... Противно это излагать, какая я тряпка, что у меня все рождаются нѣмцы, и я не могу этого прекратить.

Чортъ возьми нашу телѣгу и всѣ четыре колеса! При случаѣ написалъ про фоскушку.

Опять живемъ. Получилъ крестъ и денегъ дали.

Къ жизни охладѣлъ, и къ тѣмъ вопросамъ, которые приходятъ изъ Россіи, охладѣлъ. Семья-нѣмцы растутъ, живу хорошо и очень тихо. Ну ихъ совсѣмъ, всѣ вопросы! Это надо имѣть къ нимъ охоту и здоровые нервы, чтобы ими заниматься. И то не здѣсь и не въ колыванской семьѣ. Никитки отъ меня больше не ждутъ и не требуютъ. Все замерло тамъ и пріутихло, и во мнѣ, казалось бы, конецъ. Но только какъ пуганая ворона сучка боится, такъ и я: изъ дому отлучаться боюсь. Думаю: кажется, безопасно, кажется, ничего нѣтъ, а между тѣмъ, Богъ ихъ знаетъ, какая у нихъ... природа какая-то «*над*-сущная»: неравно вернешься, а у нихъ уже и поетъ въ пеленкахъ новый нѣмецъ.

Этого я не хотѣлъ больше ни за что, и, признаюсь вамъ въ своей низости, болѣе для этого и съ отцомъ Ѳедоромъ Знаменскимъ познакомился, когда его назначили благочиннымъ. Пошелъ къ нему исповѣдаться и говорю:

— Вотъ что въ моемъ семействѣ два раза было. Я самъ вамъ объ этомъ объявляю. Вы теперь благочинный, должны за этимъ смотрѣть, чтобы законъ не обходили. Я часто бываю въ отлучкахъ, а вы смотрите... А то я самъ послѣ на васъ донесу.

Онъ испугался и денегъ за исповѣдь не взялъ и вмѣсто отпуска сказалъ мнѣ: «мое почтенье», а доноса не подалъ.

Трусъ неописанный. Но зато и безъ его помощи нечего стало бояться. Одно горе прошло,—стала надвигаться другая туча. Моему семейному счастію угрожало неожиданное бѣдствіе съ другой стороны: всегда пользовавшаяся превосходнымъ здоровьемъ Лина начала хворать. Измѣняется въ лицѣ, цвѣтъ дѣлается сѣроватый, зловѣщій.

Я себя не помню отъ отчаянія. Кляну себя за то, что когда-нибудь что-нибудь ей сказалъ, плачу какъ безумный.

Она меня ободряетъ и утѣшаетъ.

— Успокойся, говоритъ,—я буду жить.

Мать, баронесса, являетъ безмѣрную силу любви и самообладанія.

Здѣшніе врачи нашли у нея что-то непонятное. Лина и баронесса отправились въ Ригу. Тамъ имъ сказали, что нужна скорая операція. Разсуждаемъ: въ Петербургъ, или въ Берлинъ? Разумѣется, въ Берлинъ: лучше и дешевле. Я не спорю; гдѣ больная хочетъ, пусть тамъ и будетъ. Дѣтей, чтобы они не оставались одни при моихъ отлучкахъ по службѣ, рѣшили завезти по дорогѣ къ тантѣ Августѣ и кузинѣ Аврорѣ. Такъ я по необходимой служебной надобности ушелъ въ море тотчасъ съ началомъ навигаціи, а онѣ должны были выѣхать черезъ недѣлю, когда Лина будетъ себя немножко крѣпче чувствовать. Я жду отъ нихъ въ условленныхъ мѣстахъ извѣстій объ отъѣздѣ; но сначала писемъ нѣтъ, а потомъ извѣщаютъ, что «еще не выѣхали», послѣ,—что «на Лину прекрасно дѣйствуетъ покой и воздухъ», еще позже,—что «къ удивленію можно сказать, что врачи въ Ригѣ, кажется, ошибались и что операціи вовсе, можетъ-быть, не нужно», и наконецъ,—

что «Лина поправляется и онѣ переѣзжаютъ изъ города на дачу въ Екатеринентальъ».

Это послѣднее извѣстіе шло долго, и я получилъ его только двѣ недѣли тому назадъ, вмѣстѣ съ другимъ извѣстіемъ, что дядя изъ Москвы пишетъ, что отецъ мой умеръ и завѣщалъ имѣньице мнѣ и «моимъ дѣтямъ».

Я и обрадовался благопріятной ошибкѣ врачей, и очень поскорбѣлъ и поплакалъ объ отцѣ, котораго давно не видалъ, а теперь совсѣмъ его лишился. И вотъ вчерашній день, разстроенный всѣмъ этимъ, возвращаюсь домой, влетаю въ комнаты, стремлюсь обнять жену—и вижу у нея на рукахъ грудное дитя!

Боже мой! Я ударилъ себя ладонью въ лобъ и спросилъ только:

— Какъ его имя?

— Гуня.

— Что это значитъ?

— Гунтеръ!

— Значитъ, я и въ третій разъ обманутъ!

Выходитъ баронесса и тихо говоритъ:

— Никакого обмана нѣтъ,—это ошибкой подкралось.

Остальное вы сами знаете. Слово «подкралось» такъ вдругъ лишило меня разсудка, что я надѣлалъ все, что вы знаете. Я ихъ прогналъ, какъ грубіянъ. И вотъ теперь, когда я все это сдѣлалъ,—открылъ въ себѣ татарина и разбилъ навсегда свое семейство, я превираю и себя, и всю эту свою борьбу, и всю возню изъ-за Никитки: теперь я хочу одного—умереть! Отецъ Ѳедоръ думаетъ, что у меня это прошло, но онъ ошибается: я не стану жить.

— Вы хотите довольно дешево отдѣлаться,—произнесъ по-нѣмецки молодой и сильный женскій голосъ, впадающій въ контральто.

Мы оба оглянулись и увидѣли на дорожкѣ, у самой дверцы, стройную молодую дѣвушку, изо всего лица которой, оттѣненнаго широкими полями соломенной шляпы, былъ виденъ одинъ нѣжный, но сильный подбородокъ.

Я узналъ, что это была Аврора, и почувствовалъ въ душѣ большую радость. Я здѣсь становился совершенно излишнимъ, и притомъ этотъ разбитый человѣкъ теперь будетъ управленъ хорошимъ кормчимъ.

Кузина Аврора, конечно, за этимъ предстала и, посмо-

трѣвъ на нее, можно было сказать, что она знаетъ, что надо сдѣлать, и что надо, то и будетъ сдѣлано.

— Умереть легко; надо не умереть и оставить семью безъ опоры... *а возвратить себѣ расположеніе жены и уваженіе людей*—вотъ что должно быть достигнуто!—услыхалъ я черезъ открытое окно своей комнаты, и тотчасъ же поспѣшилъ взять шляпу и уйти изъ дома, чтобы не быть нескромнымъ свидѣтелемъ щекотливаго и важнаго семейнаго разговора. Но живое любопытство и особенное вниманіе, какое возбуждала къ себѣ эта, такъ театрально какъ будто по пьесѣ для развязки назначенная, эвирная Аврора,—побуждали меня узнать: что тутъ случится, что эта оригинальная и смѣлая дѣвушка выдумаетъ, и что устроитъ. Какъ она поможетъ этому бѣдняку достичь исполненія очень трудной, но въ самомъ дѣлѣ необходимой и единственно достойной въ его положеніи задачи: «не оставить семью безъ своей опоры и возвратить себѣ расположеніе жены и уваженіе людей».

Это совсѣмъ не пѣсенка изъ московскаго пѣсенника на голосъ: «Когда сынъ у насъ родится—мы Никитой назовемъ», а это трудная, серьезно задуманная фуга, развить которую есть серьезная цѣль для всего предстоящаго, но зато сколько надо имѣть смысла и терпѣнія, чтобы всю эту фугу вывесть одною рукою!

Фуга, какъ стройный рядъ повторяемостей, берется сначала однимъ голосомъ безъ всякаго аккомпанемента и ея основная тема называется «вождемъ» (Führer), а когда онъ окончитъ—другіе повторяютъ то же въ ладѣ доминанты главнаго тона (Antwort).

Иначе это не идетъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Въ семьѣ, потрясенной описанными событіями, все стало тихо: весь безпорядокъ прекратился и какъ будто ничего особеннаго и не случилось. Было опять утро и былъ вечеръ въ день второй. Я, кажется, больше всѣхъ былъ обезпокоенъ и боялся взглянуть въ садъ, а по двору проходилъ не иначе какъ послѣ обозрѣнія, что путь свободенъ. На третій день былъ праздникъ «Johannes», соотвѣтствующій нашему Купалѣ. Всѣ уѣзжали in's Grüne на мызу. Тамъ пили, ѣли, пѣли и танцовали, а дѣвушки

плели вѣнки и украшались ими. И я былъ тамъ. Много ходилъ, усталъ и за небольшую плату, внесенную какому-то рабочему при мызѣ, помѣстился отдохнуть на сѣносушкѣ. Это была деревянная постройка, сдѣланная такимъ образомъ: внизу срубъ небольшой, на немъ балки, превосходящія величиною этотъ срубъ, и на нихъ второй, верхній срубъ, обширнѣе нижняго. Въ этомъ верхнемъ срубѣ—кладовая и сушильня. Выше ея, подъ самою крышею, оригинальный карнизъ, состоящій изъ цѣлаго ряда совершенно однообразныхъ и правильно размѣщенныхъ скворешницъ. Здѣсь свѣжо, сухо, нѣтъ никакихъ досадительныхъ насѣкомыхъ, а только скворцы то тихо копошатся въ своихъ скворешняхъ, то торопливо рокочутъ, ведя другъ съ другомъ торопливыя и жаркія бесѣды на трехъ огромнѣйшихъ липахъ.

Вся площадка, гдѣ построена эта сушильня, обнесена высокимъ частоколомъ, образовавшимъ дворикъ, на которомъ стояли подъ навѣсомъ два плуга, телѣжка и ометъ соломы. Подъ липами былъ круглый столъ, утвержденный на столбѣ, двѣ скамейки и самодѣльный тяжелый стулъ изъ карельской березы. Въ нижнемъ этажѣ сушильни было жилое помѣщеніе для того работника, который далъ мнѣ отрадный пріютъ на сѣнѣ.

Я спалъ довольно долго и крѣпко, и проснулся какъ будто отъ оживленнаго говора, который слышался снизу.

Это и въ самомъ дѣлѣ было такъ.

При пробужденіи своемъ я услыхалъ три раза и твердо повторенное:

— Nain! nain! nain!

Это произносилъ молодой, сильный голосъ, и произносилъ именно «nain», а не «nein», и притомъ съ усиленною твердостью и съ энергіею. Голосъ мнѣ показался знакомымъ.

Другой, болѣе густой, но тихій голосъ отвѣчалъ:

— Но вѣдь это же очень несправедливо и странно, Аврора. Ты должна же признать, что если не правъ и даже много виноватъ я въ своей непростительной несдержанности и грубости, для которой я и не ищу оправданій, то вѣдь не правы и онѣ.

Это былъ голосъ моряка Синачева.

Въ отвѣтъ на его слова опять послышалось то же самое упорное:

— Nain, nain!

— Какое возмутительное упорство!

— Nain, это не упорство. Упорство въ тебѣ.

— Ну, въ такомъ случаѣ это—дикость.

— О да, да! Непремѣнно! Но тебѣ, можетъ-быть, неудобно говорить о дикости! Вѣдь ты сегодня именинникъ, мы сегодня пируемъ здѣсь твой день, и я тебя увела сюда не для того, чтобы говорить о прошломъ, а для того, чтобы сказать тебѣ наединѣ радость, что открывается въ настоящемъ и будущемъ.

— Ты всегда живешь въ будущемъ.

— Nain! Я живу *только въ настоящемъ*, но для будущаго.

— Слушаю.

— Onkel баронъ сейчасъ мнѣ шепнулъ, что онъ получилъ отъ Литке отвѣтную депешу: тебя назначаютъ на корабль, который вышелъ въ кругосвѣтное плаваніе. Онъ теперь уже въ Плимутѣ, и ты долженъ его догнать; тебѣ послѣзавтра надо выѣхать.

— Гм!.. Прекрасно. Это баронъ Андрей Васильевичъ все исполнилъ по вашей командѣ, милая Аврора?

— Аврора никѣмъ не командуетъ.

— Я готовъ... готовъ, и я даже радъ, что ты это исхлопотала, Аврора.

— Еще бы не радоваться! Это единственный способъ дать всему успокоиться. Ты послѣ возвратишься домой съ успокоеннымъ сердцемъ.

— Да, но только это вѣдь я возвращусь не ближе какъ черезъ два года, Аврора.

— Да, это будетъ *всего* черезъ два года; но если сильно надъ собою наблюдать и хорошо себя школить, то и этого времени довольно, чтобы передѣлать въ себѣ, что не годится.

— Это все одинъ я долженъ въ себѣ все передѣлывать?

— Конечно, ты; но вовсе не все, а только то, что мѣшаетъ твоему семейному благополучію.

— А два года изъ жизни вонъ?

— Почему «вонъ»? Что употреблено на исправленіе себя, то не потеряно. Дѣло не въ *долгой* жизни, а въ *достойной* жизни.

— А другіе въ это время ничего не будутъ въ себѣ ни исправлять, ни передѣлывать?

— Имъ нечего передѣлывать. Развѣ постараться сдѣлать себя хуже.

Аврора захохотала и шутливо добавила:—Можетъ-быть ты думаешь, что это и стоило бы для тебя сдѣлать?

— Я думаю не это, а я думаю, что я вспыльчивый и дурно воспитанный человѣкъ, но что и тѣ, кто привелъ меня въ состояніе безумнаго гнѣва, тоже не правы.

— Nain!—перебила Аврора.

— Вы поступали со мною непростительно дурно.

— Nain!

— Вы поступили зло, упрямо, узко...

— Nain!

— И, наконецъ, безчестно!..

— Nain!

— Вы отравили мое спокойствіе, вы лишили меня возможности откровенныхъ отношеній съ моими родными, сдѣлали всѣхъ дѣтей лютеранами, когда они должны были быть русскими.

— Nain!

Очевидно, — ей теперь хоть колъ на головѣ теши — она все будетъ твердить свое «nain».

Я приложилъ глазъ къ одной изъ рѣзныхъ продушинъ сушильной стѣны, чтобы посмотрѣть на ея лицо. Я хотѣлъ видѣть: какое оно теперь имѣетъ выраженіе—и оно меня непріятно поразило. Это лицо ясно говорило, что Аврора не желаетъ знать никакихъ доводовъ, и что къ справедливости или къ разсудку въ разговорѣ съ нею теперь взывать напрасно. Она видѣла только то, что̀ хотѣла видѣть, и шла къ тому, чего хотѣла достигать. Все это можно бы принять за тупость, но такому заключенію противорѣчилъ быстрый и умный взглядъ ея изящныхъ сѣрыхъ глазъ и чертовски твердое выраженіе подбородка.

Произнося свое «nain», она точно что-то отгрызала и, откусивъ, даже не смыкала губъ, а оставляла ихъ открывши, чтобы опять еще и еще разъ что-то перекусить и бросить. Ея бѣлые, правильные зубы были оскалены какъ у разсерженнаго звѣрка.

Она говорила стоя, поворотясь къ собесѣднику спиною,

и судорожно копала и расшвыривала землю палкою своего сѣраго кружевного зонтика съ коричневой лентой.

Морякъ сидѣлъ на одной изъ скамеекъ; но когда Аврора на всѣ его доводы отвѣтила «найнъ», онъ порывисто всталъ и сказалъ:

— Ну, хорошо. Довольно. Я не буду съ тобою болѣе спорить. Я тебя даже очень благодарю. Твое жестокое упрямство послужитъ мнѣ въ пользу... Когда я буду отъ васъ далеко... и одинъ... и когда мнѣ станетъ о васъ скучно... я вспомню тебя вотъ такою, какой вижу теперь... и мнѣ будетъ легче.

— Nain!

— Какъ это «найнъ»?.. Я тебѣ сказалъ: мнѣ будетъ легче.

— Nain!

— Почему «найнъ»?

Аврора полуоборотилась къ нему и, топнувъ ногою, произнесла придыханіемъ:

— Потому, что ты меня будешь вспоминать не такою!

Офицеръ улыбнулся и, тихо вставъ съ мѣста, взялъ и поцѣловалъ руку Авроры.

— Ты права,—проговорилъ онъ, поцѣловалъ ту же руку вторично и добавилъ:—но знай, Аврора, что ты сегодня самая противная, самая упрямая нѣмка.

— О, я думаю!—отвѣчала, такъ же улыбаясь и пожавъ плечами Аврора.—Вѣдь это только мы, упрямыя нѣмки, и имѣемъ дурную привычку додѣлывать до конца свое дѣло. Не-нѣмка надѣлала бы совсѣмъ другое,—у нея тутъ были бы и слезы, и угрозы, и sacrifice или примиреніе ни на чемъ, до перваго новаго случая ни изъ-за чего. Да, я нѣмка, мой милый Johann!.. я упрямая нѣмка.

— И очень красивая, чортъ возьми, нѣмка!

— Да, да, да! «Чортъ кого-нибудь возьми» — я и довольно красивая нѣмка.

Онъ опять взялъ ея руку и проговорилъ:

— Но уступи же мнѣ хоть что-нибудь.

— Ничего!

— Ну, такъ и я же поставлю на своемъ: я буду звать вашего Гунтера—Никиткой.

— Что-о?!

— Вотъ этого третьяго мальчишку я буду звать Никиткой.

Аврора громко разсмѣялась.

— Можешь, можешь... Это будетъ очень забавно!

А въ это время изъ-за частокола показался баронъ Андрей Васильевичъ и ласково заговорилъ:

— Что это могло такъ разсмѣшить нашу милую крошку, Аврору?

Аврора показала пальцемъ на офицера и проговорила:

— Онъ будетъ называть своего третьяго сына Никиткой!

— И прекрасно!—воскликнулъ баронъ.—А ты, Аврора, въ самомъ дѣлѣ остаешься здѣсь, съ нами, съ кузиной и съ тантой?

— Да, Onkel, я буду жить съ Tante и съ Линой.

— И пробудешь все время, пока онъ возвратится?

— Да, Onkel.

— Милое дитя! А ты сама... Думаешь ли ты когда-нибудь о себѣ?

— Что думать, Onkel!—это вредно.

— Ты развѣ до сихъ поръ никого особенно не любишь?

— Ай-ай! къ чему вамъ знать это, Onkel?

— Прости. Я думалъ, вѣдь и тебѣ пора. Года идутъ.

— О, не безпокойтесь, Onkel! Моя пора любить уже настала, и я съ нея собираю плоды.

— Ага! Что же даетъ тебѣ эта любовь?

— Удовольствіе видѣть счастіе тѣхъ, кого я люблю, Onkel!

— И этого съ тебя развѣ довольно?

— Этого?.. Этого много, Onkel. Это только стоитъ начать,—и потомъ это никогда не окончишь!

Старикъ покачалъ головой и сказалъ:

— Да, ты найдешь себѣ роль въ жизни, Аврора.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

И она, дѣйствительно, ее нашла.

Со времени описаннаго происшествія минуло пятнадцать лѣтъ. Я заѣхалъ въ Дрезденъ навѣстить поселившееся тамъ дружественное мнѣ русское семейство, и однажды неожиданно встрѣтилъ у нихъ слабенькаго, но благообразнѣйшаго старичка, котораго мнѣ назвали барономъ Андреемъ Васильевичемъ. Мы другъ друга насилу узнали и загово-

рили про Ревель, гдѣ видѣлись, и про людей, которыхъ видѣли. Я спросилъ о Сипачевѣ.

— Ну да, да, да!.. Какъ же!.. Онъ здѣсь, былъ здѣсь... здѣсь.

Андрей Васильевичъ говорилъ такъ же ласково и мягко, или даже еще мягче, и теперь онъ даже одѣтъ былъ во все самое мякенькое.

— «Былъ»,—а гдѣ же онъ теперь?

— Онъ умеръ, но умеръ здѣсь. Вѣдь здѣсь его семейство и здѣсь его похоронили. Перстъ Божій! Аврора ему поставила очень хорошій памятникъ на большомъ кладбищѣ. Вы можете видѣть. У нихъ реестръ. Спросите: «гдѣ контръ-адмиралъ Сипачевъ», сейчасъ укажутъ.

— А онъ уже былъ контръ-адмиралъ?

— Какъ же! Какъ же!.. Разумѣется, чинъ дали къ отставкѣ. Прекрасно сдѣлалъ кругосвѣтное плаваніе и прекрасно кончилъ весь кругъ своей жизни. Аврора получаетъ пенсію и много пишетъ сама на фарфорѣ. «W» и «R» внутри буквы «А»—это ея монограмма. Ей очень хорошо платятъ, но у нея вѣдь не мало дѣтей. Старшая дочь уже помогаетъ Аврорѣ.

— Позвольте, говорю,—я не все понимаю: сколько помню, имя его жены—Лина.

— Ахъ, вы еще про ту старину! Лина давно умерла, и мать ея, баронесса, сестра моя, тоже умерла. А когда Лина умирала, она взяла мужа за руку и сказала:—«Ты не плачь, я не боюсь умереть, я боюсь только за тебя и дѣтей. А чтобы я не боялась отойти къ Богу съ покойной душой, дай мнѣ слово непремѣнно жениться на Аврорѣ». И онъ, чтобы не огорчать кроткую Лину, далъ ей это слово. Тогда она позвала Аврору и сказала: «Облегчи мнѣ уходъ мой отсюда: подай ему руку и сохрани его и моихъ дѣтей».—И Аврора подала ему руку. Все такъ и сдѣлалось, какъ просила Лина. Но вы знаете, тамъ... у насъ это было нельзя, потому что когда онъ еще не былъ христіаниномъ, онъ былъ два раза женатъ, Лина была его третья жена, и хотя одинъ бракъ его совсѣмъ не былъ бракомъ, но тѣмъ не менѣе ему жениться на Аврорѣ было невозможно. Тогда Аврора сказала:—«пойдемъ отсюда», и они продали все тамъ и пришли сюда, и купили все здѣсь. Ихъ благословилъ пасторъ, у нихъ миленькій домъ, садъ

и мастерская, и печь для фарфора. Перевели сюда его пенсію, и послѣ того, когда Аврора стала его женою, у нихъ было три дочери, и всѣ одна другой лучше. Они прожили въ счастьѣ одиннадцать лѣтъ. Мнѣ стало скучно, и Аврора мнѣ написала: «Onkel, пріѣзжай и ты», и я у нихъ жилъ и живу. Теперь я и совсѣмъ остался здѣсь, при нихъ, потому что одинъ я только мужчина. Надо всегда быть готовымъ въ помощь другъ другу, и перстъ Божій мнѣ такъ указалъ.

— А гдѣ же его сыновья? Вѣдь имъ, я думаю, надо отбывать воинскую повинность въ Россіи?

Баронъ покривился и сказалъ:

— Нѣтъ, имъ, я думаю, это не надо. Они вѣдь совсѣмъ... Все ихнее теперь здѣсь... И мать, — эта Tante Aurora. Она вѣдь ихъ воспитала и очень ихъ любитъ, и они ее любятъ, а Аврора Россію не любитъ.

— Да за что она ее такъ—не любитъ?

Адмиралъ пожалъ недоумѣнно плечами и молвилъ:

— Навѣрно не знаю, но думаю такъ, что... Аврора вѣдь очень опредѣленная... и она боится всего неопредѣленнаго. Мать... и дѣтей любитъ, а тамъ выходитъ все... что-то непредѣленное.

Иванъ Никитичъ погребенъ въ Дрезденѣ не на русскомъ кладбищѣ; онъ, какъ бычокъ, окончательно отмахнулъ головою и отъ Москвы, и отъ Калуги, и кончилъ свой курсъ нѣмцемъ.

РАКУШАНСКІЙ МЕЛАМЕДЪ.

РАЗСКАЗЪ НА БИВУАКѢ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дѣло было для насъ неудачливо: мы отступили, но, къ счастію, непріятель насъ болѣе не тревожилъ и давалъ намъ время отдохнуть и оправиться. Мы расположились бивуакомъ въ безопасномъ ущельѣ, раздѣлясь самыми маленькими сторожевыми отрядами. Нашимъ отрядомъ командовалъ маіоръ Никаноръ Ивановичъ Плескуновъ, очень добрый, спокойный и мужественный офицеръ и изрядный оригиналъ, изъ вымирающей породы Лермонтовскихъ Максимъ Максимовичей. Онъ считалъ за собой одно немаловажное, по его мнѣнію, преимущество, что съ тѣхъ поръ какъ произведенъ въ офицеры, все время служилъ «въ сѣрыхъ войскахъ». Такъ онъ называлъ таможенную стражу, по которой числился, состоя начальникомъ небольшой команды на одномъ изъ весьма извѣстныхъ контрабандныхъ пунктовъ на австрійской границѣ. Война съ турками его разсердила, и онъ бросилъ свой «сѣрый постъ», и перевелся въ дѣйствующую армію.

Маіоръ Плескуновъ былъ не старъ и не молодъ, не высокъ ростомъ, коренастъ и немножко мужиковатъ въ манерахъ и въ движеніяхъ, но былъ, какъ я сказалъ, прямая душа, добрая, и во всѣхъ своихъ сужденіяхъ и взглядахъ на вещи оригиналъ. Онъ былъ беззавѣтно храбръ, хотя по наружности казался изрядным рохлей: не горячился, не вскидывался, не подымался на дыбы, но не робѣлъ и не

падалъ духомъ, а всегда и вездѣ разсуждалъ и дѣйствовалъ съ настоящимъ твердымъ мужествомъ и съ «прохладкой». Похвальбы онъ терпѣть не могъ и считалъ ее и недостойною военнаго человѣка, и вредною.

— Это,—говорилъ онъ,—дѣло купеческое; наври, чтобы было можно изъ чего уступить, а потомъ и спускай. А наше дѣло солдатское, тутъ что Богъ дастъ.

Понятно, что, держась такого правила, онъ не имѣлъ въ своемъ обычаѣ ни малѣйшей тѣни самохвальства и задора. Рѣчей онъ никакихъ не говорилъ, ни обширныхъ, ни краткихъ, кромѣ общаго внушенія:

— Дѣлай свое дѣло, не стой на мѣстѣ, когда плютъ впередъ, и не хвались впередъ, чья будетъ горка, а работай.

Горка—это была его поговорка, то-есть чья возьметъ, чей верхъ будетъ.

Солдаты Плескунова любили и называли его «настоящимъ командиромъ».

— Форсу, говорили, — не задастъ, а воюетъ какъ надо и судитъ умно: дѣлай, говоритъ, какъ надо, а горку кому Богъ дастъ, на то Его воля, а не твое распоряженіе.

Хорошъ Плескуновъ былъ и съ офицерами, и съ нами, юнкерами, которыхъ у него въ батальонѣ было не мало. Между нашими офицерами водились люди довольно различнаго калибра: были у насъ и настоящіе армейцы, были и «привилегиранты», прибывшіе къ Балканамъ изъ дальней сѣверной столицы. Никаноръ Ивановичъ не дѣлалъ между ними никакого различія и держалъ себя со всѣми съ нами на самой короткой, товарищеской ногѣ, хотя, впрочемъ, очевидно, въ дѣлѣ оказывалъ больше довѣрія настоящимъ армейцамъ и политиковалъ, говоря, что «у привилегирантовъ мундиры дорого стоятъ, ихъ надо пожалѣть». Но, поступая такимъ образомъ, онъ все-таки не любилъ, чтобы армейцы задирали привилегирантовъ или какъ-нибудь надъ ними подсмѣивались.

О храбрости Плескунова и о его преданности дѣлу, за которое онъ пришелъ сражаться, покинувъ свою таможенную стражу, не могло быть и рѣчи; первая достаточно доказывалась многочисленными рубцами, которыми все лицо Никанора Ивановича было изборождено отъ контрабандистовъ, съ которыми онъ велъ тридцатилѣтнюю войну, безъ

РАКУШАНСКІЙ МЕЛАМЕДЪ.

РАЗСКАЗЪ НА БИВУАКѢ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дѣло было для насъ неудачливо: мы отступили, но, къ счастію, непріятель насъ болѣе не тревожилъ и давалъ намъ время отдохнуть и оправиться. Мы расположились бивуакомъ въ безопасномъ ущельѣ, раздѣлясь самыми маленькими сторожевыми отрядами. Нашимъ отрядомъ командовалъ маіоръ Никаноръ Ивановичъ Плескуновъ, очень добрый, спокойный и мужественный офицеръ и изрядный оригиналъ, изъ вымирающей породы Лермонтовскихъ Максимъ Максимовичей. Онъ считалъ за собой одно немаловажное, по его мнѣнію, преимущество, что съ тѣхъ поръ какъ произведенъ въ офицеры, все время служилъ «въ сѣрыхъ войскахъ». Такъ онъ называлъ таможенную стражу, по которой числился, состоя начальникомъ небольшой команды на одномъ изъ весьма извѣстныхъ контрабандныхъ пунктовъ на австрійской границѣ. Война съ турками его разсердила, и онъ бросилъ свой «сѣрый постъ», и перевелся въ дѣйствующую армію.

Маіоръ Плескуновъ былъ не старъ и не молодъ, не высокъ ростомъ, коренастъ и немножко мужиковатъ въ манерахъ и въ движеніяхъ, но былъ, какъ я сказалъ, прямая душа, добрая, и во всѣхъ своихъ сужденіяхъ и взглядахъ на вещи оригиналъ. Онъ былъ беззавѣтно храбръ, хотя по наружности казался изряднымъ рохлей: не горячился, не вскидывался, не подымался на дыбы, но не робѣлъ и не

падалъ духомъ, а всегда и вездѣ разсуждалъ и дѣйствовалъ съ настоящимъ твердымъ мужествомъ и съ «прохладкой». Похвальбы онъ терпѣть не могъ и считалъ ее и недостойною военнаго человѣка, и вредною.

— Это,—говорилъ онъ,—дѣло купеческое; наври, чтобы было можно изъ чего уступить, а потомъ и спускай. А наше дѣло солдатское, тутъ что Богъ дастъ.

Понятно, что, держась такого правила, онъ не имѣлъ въ своемъ обычаѣ ни малѣйшей тѣни самохвальства и задора. Рѣчей онъ никакихъ не говорилъ, ни обширныхъ, ни краткихъ, кромѣ общаго внушенія:

— Дѣлай свое дѣло, не стой на мѣстѣ, когда плютъ впередъ, и не хвались впередъ, чья будетъ горка, а работай.

Горка—это была его поговорка, то-есть чья возьметъ, чей верхъ будетъ.

Солдаты Плескунова любили и называли его «настоящимъ командиромъ».

— Форсу, говорили, — не задастъ, а воюетъ какъ надо и судитъ умно: дѣлай, говоритъ, какъ надо, а горку кому Богъ дастъ, на то Его воля, а не твое распоряженіе.

Хорошъ Плескуновъ былъ и съ офицерами, и съ нами, юнкерами, которыхъ у него въ батальонѣ было не мало. Между нашими офицерами водились люди довольно различнаго калибра: были у насъ и настоящіе армейцы, были и «привилегиранты», прибывшіе къ Балканамъ изъ дальней сѣверной столицы. Никаноръ Ивановичъ не дѣлалъ между ними никакого различія и держалъ себя со всѣми съ нами на самой короткой, товарищеской ногѣ, хотя, впрочемъ, очевидно, въ дѣлѣ оказывалъ больше довѣрія настоящимъ армейцамъ и политиковалъ, говоря, что «у привилегирантовъ мундиры дорого стоятъ, ихъ надо пожалѣть». Но, поступая такимъ образомъ, онъ все-таки не любилъ, чтобы армейцы задирали привилегирантовъ или какъ-нибудь надъ ними подсмѣивались.

О храбрости Плескунова и о его преданности дѣлу, за которое онъ пришелъ сражаться, покинувъ свою таможенную стражу, не могло быть и рѣчи; первая достаточно доказывалась многочисленными рубцами, которыми все лицо Никанора Ивановича было изборождено отъ контрабандистовъ, съ которыми онъ велъ тридцатилѣтнюю войну, безъ

единаго дня перемирія. А что онъ считалъ войну за славянъ близкою своему сердцу, въ этомъ убѣждало то, что онъ оставилъ для нея свою старуху, о которой ничего не говорилъ, кромѣ какъ то, что «она набожна», но которую, очевидно, любилъ очень сильно.

Ни главнаго, ни ближайшаго своего начальства Плескуновъ никогда не критиковалъ и терпѣть не могъ слышать что-нибудь подобное отъ другихъ.

— Что тебѣ до него за дѣло?—говорилъ онъ, стараясь всегда остановить критика.—Хорошо намъ съ тобой разсуждать, какъ у насъ ума мало, а они, можетъ-быть, больше знаютъ и путаются. Ты, что ли, въ отвѣтъ за него пойдешь? Свой носъ, смотри, въ чистотѣ содержи.

Плескуновъ имѣлъ нерасположеніе къ «политиканамъ», въ числѣ которыхъ считалъ всѣхъ интересующихся газетными толками и дѣлающихъ по этимъ толкамъ какія бы то ни было предположенія о высшихъ соображеніяхъ и общей судьбѣ событій. Газеты же просто ненавидѣлъ, — и всѣ равно безъ различія, какого бы онѣ ни были направленія, о чемъ, впрочемъ, онъ едва ли и имѣлъ надлежащее понятіе. Онъ былъ о газетахъ того мнѣнія, какое одно изъ Грибоѣдовскихъ лицъ высказывало о календаряхъ: «Всѣ врутъ календари».

— Врутъ-съ,—говорилъ Никаноръ Ивановичъ.

Впрочемъ, Никаноръ Ивановичъ и вообще съ печатью не дружилъ, окромя какъ съ церковною, въ которой былъ весьма начитанъ, такъ какъ, по его разсказамъ, они съ женой эти книги всегда другъ другу въ зимніе вечера «гласно» читали. Если же у кого-нибудь въ отрядѣ появлялся листокъ газеты, которую тотъ намѣревался прочесть прочимъ, то Плескуновъ сейчасъ звалъ казака и нарочно громко чѣмъ-нибудь распоряжался. Иной разъ, не зная что сказать, онъ посылалъ «попарить», нельзя ли гдѣ-нибудь достать для него бутылку чуфурляръ-лафиту.

Что это за вино имѣло быть, этотъ «чуфурляръ-лафитъ»— мы не могли себѣ представить, и думали, что Плескуновъ его просто намъ на смѣхъ выдумалъ, но Никаноръ Ивановичъ увѣрялъ, что въ Балканахъ непремѣнно есть такое вино, что его отецъ, когда дѣлалъ прошедшую турецкую кампанію, такъ пилъ чуфурляръ-лафитъ и помнилъ о немъ

до самой смерти; а потому какъ Никанору Ивановичу станетъ что-нибудь досадительно, онъ сейчасъ и вспомнитъ.

— Вѣдь не можетъ же быть, чтобы наши тогда его весь выпили; а если выпили, такъ съ тѣхъ поръ новаго надо было намять. Ступай, братецъ казакъ, пошарь хорошенько,— непремѣнно долженъ найти.

Казакъ отправлялся «шарить», но обыкновенно всегда шарилъ безуспѣшно: вина или совсѣмъ не было, или же казакъ, шаря, находилъ вино, но только это было не чуфурляръ-лафитъ.

Плескуновъ и этимъ довольствовался: онъ пилъ, что ему добывалъ казакъ, и говорилъ, что чуфурляръ-лафиту надо будетъ въ другомъ мѣстѣ пошарить. Впрочемъ, вся эта возня съ чуфурляръ-лафитомъ поднималась только тогда, когда маіору угрожало слушаніе газетъ.

Всѣ мы знали эту слабость нашего добраго маіора и порой его щадили, а порой ему досаждали: нарочно заводили съ нимъ споръ, доказывали, что въ наше время невозможно такъ вести дѣла, чтобы не читать газетъ, не думать и не соображать по ходу дѣлъ: чья будетъ горка? И въ тотъ разъ, съ котораго начинается мой разсказъ, мы были на этотъ счетъ очень упрямы: горе каждаго изъ насъ брало и досады много накопилось, и ничего-то путемъ нигдѣ узнать не можемъ, а тутъ еще этотъ чудакъ съ своими рацеями.

— Что тебѣ знать хочется? Себя знай хорошенько! Ума, что ли, очень много набралось, тяготить начало! Ступай за пригорокъ, высунь лобъ. Турокъ сейчасъ лишнее выпуститъ.

Мы его и принялись допекать и, можетъ-быть, первый разъ за всю кампанію такъ пропекли, что онъ ужъ не одного, а двухъ казаковъ послалъ шарить, какъ мы въ ту пору думали, нигдѣ не существующаго чуфурляръ-лафита, а самъ даже отошелъ отъ насъ въ сторону. Но добрая душа его не умѣла долго сердиться, да вѣрно и онъ не всѣмъ былъ доволенъ послѣ несчастливаго дѣла, выбравшись изъ котораго мы не досчитывали и половины своихъ товарищей.

Нельзя было не чувствовать, что намъ жутко и горько, и Плескуновъ, понимая это, сдалъ тону: онъ вернулся къ

нашему кружку, гдѣ жарился болгарскій баранъ, и терпѣливо слушалъ наши сѣтованія.

Тутъ ему кто-то изъ насъ и молвилъ:

— Что же, Никаноръ Иванычъ, и теперь еще не станете ли ругаться, что смѣемъ считать себя несчастливыми?

Онъ вздохнулъ и отвѣчастъ:

— Нѣтъ; что же ругаться: мы съ женой у Исаіи пророка читали, что «усталый и голодный на Самого Бога ропщетъ», стало ужъ этому такъ надо быть. Поругайтесь, поругайтесь, можетъ-быть вамъ отъ этого полегчаетъ; а какъ отлежитесь, да поѣдите, такъ можетъ и сдобритесь.

Но мы и на это не сдавались.

— Поѣсть, говоримъ, — мы поѣдимъ, а все при своемъ останемся, что не хорошо идетъ.

— Не хорошо-то, отвѣчаетъ,—не хорошо, и говорить нечего, а все еще повременимъ: чья будетъ горка?

— Да нечего, говоримъ,—и временить, когда уже видно: на чьей сторонѣ горка, если все такъ будетъ.

— Ну, я еще этого не вижу, да и удивляюсь, въ чемъ вы это видите?

Тутъ наши политиканы и пошли:

— Какъ въ чемъ? говорятъ: — а во что вы ставите всѣ эти подыски всей Европы при коварномъ нейтралитетѣ Биконсфильда, виляньяхъ Андраши и...

Словомъ, и пошли, и пошли. Все ему высчитали, чего отъ кого ждать, кому не вѣрить и чего бояться. И свели опять къ тому, что нынче-де уже не тѣ времена, когда можно было во всемъ полагаться на силу да на отвагу, а нуженъ умъ и расчетъ, да капиталъ. Что капиталъ—душа движенія, и что гдѣ будетъ больше дальнозоркой сообразительности, тонкаго расчета и капитала, на той сторонѣ будетъ и горка. А у насъ, молъ, и ни того-то, и ни этого-то, да и жиды одолѣли: и въ Лондонѣ жидъ, и въ Вѣнѣ жиды, страсть что жидовъ, и у насъ они въ гору пошли—даже и кормитъ насъ подрядчикъ, женатый на Биконсфильдовой племянницѣ, да и самые славяне-то, за которыхъ воюемъ, въ рукахъ вѣнскихъ жидовъ. Что же этого безотраднѣе: жидъ страшный человѣкъ,—онъ все разочтетъ, всѣхъ заберетъ въ свои лапы и всѣхъ опутаетъ.

Никаноръ Иванычъ и разсердился.

— Ну вотъ, говоритъ, — еще что вздумаете: ужъ и жидъ у васъ сталъ страшный человѣкъ.

— А разумѣется страшный, потому что онъ коварный, а коварство—большая сила: она, какъ зубная боль, сильнаго въ безсиліе приведетъ.

А Никаноръ Ивановичъ отвѣчаетъ:

— А мы зубную боль заговоримъ.

— Да, да; вотъ это развѣ! Ну, такъ пошлите-ка казака «пошарить», гдѣ такого мастера, найдете?

— А что же, казакъ, разумѣется найдетъ.

— Да; найдетъ онъ ихъ, вотъ все равно какъ вашего чуфурляръ-лафиту.

— А что же: надо вѣру имѣть и ждать, и лафиту достанетъ.

И что же вы думаете. Въ эту самую минуту, какъ нарочно, къ Плескунову бѣжитъ казакъ и подаетъ бутылку, а на бутылкѣ надпись: «чуфурляръ-лафитъ». Даже самъ Никаноръ Ивановичъ смутился и спросилъ:

— Гдѣ ты это сперъ, благодѣтель?

А казакъ отвѣчаетъ:

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе: у маркитанта взялъ.

— Что же онъ прежде-то его не давалъ?

— Давно, говоритъ,—съ собой вожу, только подавать не смѣлъ, больно пакостное.

Маіоръ отбилъ горлышко, сплеснулъ немного въ сторону, попробовалъ, и говоритъ:

— Хорошо, братецъ, маркитантъ тебѣ правду сказалъ: винишко поганое, и я теперь вспомнилъ, что мой отецъ его пилъ совсѣмъ не въ Турціи, а на Кавказѣ; ну да не въ томъ дѣло; а это, господа, вамъ отвѣтъ: видите,—пошарить, такъ все найдешь. Я политики не читаю и споровъ не люблю, но ничего, чѣмъ вы меня пугаете, не боюсь. Спросите: почему? Отвѣчу вамъ: «по Писанію». О Тирѣ сказано, что тамъ не будетъ горка, гдѣ «князья купцы и гдѣ сильные земли барышничаютъ», а сила въ тѣхъ, кои «не видали самоцвѣтныхъ камней и не завистны на золото». Оно такъ и бываетъ, какъ пророкъ говоритъ, и мнѣ теперь приходитъ на память одна исторія про самаго, что ни на есть каверзнѣйшаго, тонкаго израильскаго политика, который въ своемъ мѣстѣ всѣ пружины въ рукахъ держалъ

и во всемъ собаку съѣлъ, а запилъ такимъ чуфурляромъ, что и съ ума спятилъ. И я, чтобы не позабыть и чтобы васъ кстати немножко поразвлечь, пока баранъ сжарится, пожалуй, готовъ вамъ это разсказать въ видѣ притчи...

Тутъ всѣ и заговорили:

— Помилуйте, Никаноръ Ивановичъ, да когда же мы не хотимъ васъ слушать? пожалуйста, разскажите.

Никаноръ Ивановичъ и началъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Старый Схарія, про котораго я вамъ буду разсказывать, былъ, такъ сказать, прирожденный политикъ, ученый-преученый и притомъ святой, которому, казалось, все было открыто и само небо съ нимъ нерешентывалось. По занятіямъ онъ былъ меламедъ, держалъ школу, гдѣ юные сыны Израиля получали высшее направленіе на весь проспектъ жизни. Жилъ Схарія отъ меня всего въ полуверстѣ, въ торговомъ мѣстечкѣ, по тотъ бокъ австрійской границы; а славенъ былъ по обѣ ея стороны.

Схарія былъ человѣкъ старый и для своихъ мѣстъ очень богатый. Состояніе онъ нажилъ своею обширною ученостью, святостью и плутовствомъ. Если бы вы знали еврея какъ слѣдуетъ, то не удивились бы, что всѣ эти три вещи въ немъ не только совершенно совмѣстимы, но даже одна другую требуютъ, а не исключаютъ. Сколько именно было лѣтъ этому патріарху, я съ точностью опредѣлить не берусь, потому что, когда я, тридцать лѣтъ тому назадъ, поступилъ на таможню, Схарія уже былъ меламедъ, обучившій рядъ поколѣній, и тогда уже былъ почти такъ же старъ и ходилъ съ такою же сѣдою бородой, съ какою ходитъ и нынче. Только нынче онъ слыветъ безумцемъ и служитъ поношеніемъ и посмѣшищемъ для безумцевъ, а до того анекдотическаго случая, который его такимъ сдѣлалъ, онъ былъ у всѣхъ въ почетѣ, въ ласкѣ; онъ первенствовалъ на молеліяхъ, предсѣдалъ на пиршествахъ и вездѣ имѣлъ рѣшающій голосъ. Какъ наисовершеннѣйшій знатокъ закона и наилучшій его истолкователь, что бывало онъ скажетъ, то такъ и дѣлается. Нынѣ же жизнь его пригодна только развѣ на то, чтобы показать основательность словъ Псалмопѣвца: «не хощетъ Господь смерти грѣшника». Но нѣкогда было совсѣмъ иное: ученая слава Схаріи была такъ велика, что

говорили, будто ей завидовалъ даже самъ караимъ Фирковичъ. Святость Схаріи равнялась его учености, но славилась еще болѣе первой. Разумѣется, это была та каверзная праведность и та убивающая духъ ученость, которыми огорчался нашъ Спаситель и за которыя возглашалъ: «горе вамъ, горе и горе».

Схарія зналъ все, чрезъ что можно прослыть праведнымъ между евреями, и съ этой стороны былъ для многихъ, и въ томъ числѣ и для меня грѣшнаго, необыкновенно интересенъ. Онъ жилъ весь по правиламъ, «почивалъ на законѣ»: каждый часъ дня и ночи, каждый его шагъ и движеніе,— все это шло такъ, чтобы могло возвѣщать его преподобность. Кто знаетъ, что значитъ соблюсти всю еврейскую обрядовую праведность, тотъ знаетъ, какъ это трудно. Я же, весь свой вѣкъ проведя съ евреями, могу вамъ это показать, хотя, разумѣется, только отчасти.

Наблюдая наказъ рабби Еліазара, Схарія просыпался до разсвѣта, но какъ бы ему ни хотѣлось встать, онъ не вставалъ и даже знака не подавалъ, что онъ проснулся, и такъ лежалъ до тѣхъ поръ, пока его не побудитъ жена. Это такъ должна сдѣлать каждая воспитанная въ законѣ еврейка. И зато въ ту самую секунду, какъ жена его будила, онъ сразу же вскакивалъ и на весь домъ кричалъ: «Благословенъ Богъ, одарившій пѣтуха разумомъ, что онъ различаетъ день отъ ночи», а потомъ читалъ вслухъ: «Возстану рано». Все это дѣлалось такъ энергично, что всѣ въ домѣ проклинали «возставшаго рано», но непремѣнно и сами поднимались. Схарія никогда не надѣвалъ рубашки сидя или стоя, а исправлялъ все это непремѣнно лежа подъ одѣяломъ, чтобы сатана, подсматривающій за каждымъ евреемъ, не увидалъ бы его чудеснаго тѣла и не вздумалъ бы самъ смастерить что-нибудь, если не совершенно такое, то, по крайней мѣрѣ, хоть подходящее къ еврею. Схарія никогда не позабывалъ спуститься съ кровати непремѣнно правою ногой. Умываясь, онъ аккуратно обливалъ каждую руку по три раза и вытиралъ лицо такъ сухо, чтобы не испарилась память.

Пергаментъ съ написанными на немъ словами изъ книгъ Моисея былъ у него обмотанъ волосами изъ телячьяго хвоста и снабженъ прикрѣпленнымъ къ нему репейникомъ, который долженъ былъ колоть Схарію, если онъ задумаетъ

какъ-нибудь нарушить какую-нибудь изъ десяти заповѣдей. Кололъ ли его этотъ репейникъ или нѣтъ, этого не знаю; но поколоть, кажется, было за что. Свитки на дверяхъ дома этого законника были самые полномѣрные; ихъ всѣ должны были издали видѣть и понимать, что на домъ Схаріи снисходитъ безпрестанное благословеніе, какъ на браду Аарону и на ометы его ризъ.

Никто никогда не видалъ, чтобъ у Схаріи хранилище висѣло на ремешкѣ или оставалось не спрятаннымъ въ три коробочка, если въ той комнатѣ спала женщина; хранилище онъ надѣвалъ на себя, какъ только можно было отличать бѣлый цвѣтъ отъ голубого и носилъ до темноты. Въ школу Схарія не шелъ, а бѣжалъ, чтобы Богъ видѣлъ, что онъ «духомъ гонимъ». Его талосъ или мантія была изъ бѣлой шерсти, выпряденной еврейкой, и притомъ съ извѣстными приговорами. Молился онъ много и долго, оборотясь непремѣнно на югъ, откуда идетъ мудрость, а съ нею, разумѣется, и всѣ благополучія. Люди алчные и глупые молятся на сѣверъ, откуда приходитъ богатство, но Схарія, какъ Соломонъ, зналъ, что все дѣло въ премудрости. Онъ молился, всегда тщательно выровнявъ ноги въ первой позиціи, и качался, и трясся не щадя колѣнъ, чтобы ангелы видѣли, какъ сильно колеблетъ его страхъ предъ Вездѣсущимъ. Моленья свои онъ сначала выкрикивалъ по-еврейски, а потомъ посылалъ особыя молитвы по-сирски и по-халдейски, чтобы ангелы, не понимающіе этихъ языковъ, не позавидовали тому, чего онъ проситъ у грядущаго Мессіи. Еще болѣе тонкая осторожность нужна была противъ діавола, чтобы этотъ хитрецъ не провѣдалъ о прошеніяхъ Схаріи и не повредилъ ему; но это было предусмотрѣно: діаволъ никогда не могъ узнать, чего проситъ Схарія, потому что діаволъ тоже по-сирски и по-халдейски не знаетъ, а обучиться этимъ языкамъ не можетъ, потому что учиться у человѣка ему не позволяетъ его пустая «свинячья» гордость.

Если Схаріи случалось плюнуть во время молитвы, то онъ дѣлалъ это невѣжество не иначе, какъ въ лѣвую сторону, чтобы не оплевать толпой на него любовавшихся съ правой его руки ангеловъ. Каждый день онъ возсылалъ сто благодареній, и такъ на виду у людей и ангеловъ пребывалъ въ моленьи почти весь день. Отдыхъ его начинался

только съ той поры, когда наступающія сумерки возвѣщали, что Егова уже далъ ангеламъ приказъ затворить двери и окна неба. Съ этихъ поръ, разумѣется, оттуда на землю уже ничего не было видно и потому чиниться было нечего, да и продолжать самое моленіе не было никакого расчета.

Но большая ученость Схаріи обнаруживалась не въ одномъ только богомоленіи,—нѣтъ, она также была видна во всѣхъ его житейскихъ поступкахъ: онъ развелся съ нѣсколькими женами по одному подозрѣнію, что онѣ происходятъ не отъ Евы, а отъ первой жены Адама, строптивой Лалисъ, и, подобно своей матери, склонны заниматься не однимъ тѣмъ, чтобъ угождать мужу. Самъ же онъ никогда не смотрѣлъ въ лицо никакой сторонней женщинѣ, хотя бы даже это была недостойная вниманія христіанка. Всѣ были увѣрены, что онъ ни разу не видалъ лица къ ряду десять лѣтъ служившей у него молчаливой и туной хохлуши Оксаны, о которой я прошу помнить, потому что ей въ моей повѣсти будетъ своя роль.

Любя во всемъ ортодоксальный порядокъ, Схарія самъ подавалъ въ немъ первый примѣръ повиновенія «Закону»: онъ ломалъ хлѣбъ не прежде, какъ растопыривъ надъ нимъ всѣ свои десять пальцевъ, чтобы всѣ видящіе это воспоминали о десяти «Божіихъ приказаніяхъ». Заботясь о нравственности и о душѣ, онъ не забывалъ и гигіэну, для чего всегда завтракалъ рано, чтобы въ желчь его по пустому проходу не успѣли вскочить съ голодомъ тридцать шесть болѣзней, а обѣдая—поспѣшно отдѣлялъ Оксанѣ кусокъ отъ всякаго кушанья, имѣющаго вкусный запахъ, способный возбудить въ человѣкѣ аппетитъ. Дѣлалось это не изъ состраданія къ нетерпѣливости Оксаны, а для того, чтобы она отъ жадности не затряслась, какъ Исавъ, и не опрокинула другого блюда. Всѣ знали, что Схарія во всю свою жизнь никогда еще не уронилъ на полъ ни одной крошки хлѣба, и строгій ангелъ Набель, приставленный смотрѣть за этимъ, ни разу не могъ сдѣлать на него въ этомъ смыслѣ доноса по начальству. Къ ангеламъ Схарія наблюдалъ большую осторожность и никогда не клалъ ножа лезвеемъ вверхъ. Даже этого докучнаго наблюдателя, Набеля—онъ и того берегъ, чтобы онъ, вертясь у стола, какъ-нибудь не сбрѣзался.

Схарія не умствовалъ о томъ «чи все добре на світі— чи не все дюже добре». Боже сохрани! Онъ благословилъ Бога за все, что понималъ и чего не понималъ, потому что все устроено премудростію, даже тупая Оксана и вообще всѣ прочіе дураки, такъ какъ они, по увѣренію рабби Геноха, созданы для увеселенія умныхъ, а въ числѣ такихъ умныхъ былъ, конечно, нашъ мудрый и ученый Схарія, котораго всѣ давно признали въ этомъ чинѣ. И его дѣйствительно увеселяла сильная и глупая наймычка Оксана, когда она позволяла колотить себя не только женѣ Схаріи, золотушной Хавѣ, но и всѣмъ крошечнымъ ребятамъ Схаріина отрожденія. По огромной силѣ своей, съ которою эта Оксана молча и безъ отдыха ворочала въ домѣ всѣ тяжкія работы, она могла бы смахнуть и Схарію, и Хаву такъ, что ничего бы отъ нихъ не осталось, а она все сносила безропотно и много содѣйствовала тому, что Схарія могъ благоугождать Богу, благословляя Его, что Онъ создалъ такую невѣжественную дуру для удовольствія всѣхъ домашнихъ такого ученаго праведника, какъ онъ, Схарія. Опытомъ убѣжденный, какъ хорошо жить по «Закону», онъ даже спалъ по «Закону»; для этого онъ всегда ложился на лѣвый бокъ, на которомъ лежалъ Исаакъ, когда Авраамъ хотѣлъ заколоть его въ жертву Богу, и такъ Схарія почивалъ всегда, какъ готовая жертва. А чтобы еще болѣе уподобляться Исааку, онъ всегда спалъ нагой, безъ рубашки, и на кровати, обращенной непремѣнно головами къ югу, а ногами къ сѣверу.

При такомъ радѣніи о житьѣ по «Закону», сѣмя Схаріи множилось и обѣщало ему славу въ потомствѣ. Отъ нѣсколькихъ браковъ у него были въ живыхъ и женатые сыновья, и замужнія дочери, и маленькія дѣти, а еще не мало ихъ было и на мѣстномъ кладбищѣ. Схарія любилъ дѣтей, даже и тѣхъ, которыя были зарыты въ землю. Благочестивый отецъ и о нихъ заботился; онъ каждый годъ нанималъ нѣсколько человѣкъ, чтобы тѣ за нихъ постились, и платилъ за это каждому говѣльщику, по крайней мѣрѣ, по двадцати гульденовъ въ недѣлю; а въ день разоренія Храма онъ самъ собственноручно клалъ на могилы дѣтей соль и муку и кричалъ имъ въ землю, чтобы они за то хорошенько о немъ молилися и выкликали ему столько новыхъ дѣтей изъ предѣловъ небытія,

сколько онъ прокормить можетъ. Словомъ, жизнь Схаріи была образцовая и преночтенная: какъ настоящій мѣстечковый патріархъ, онъ давалъ рѣшающій совѣтъ во всѣхъ трудныхъ дѣлахъ и, должно сказать правду, достоинство его совѣтовъ стояло чрезвычайно высоко и каждому приносило несомнѣнную пользу, а это дѣлало Схарію необходимымъ человѣкомъ, которому всякій охотно уступалъ долю въ гешефтахъ.

Такимъ образомъ праведность была основаніемъ прочнаго благосостоянія Схаріи, а благосостояніе опять давало ему средство еще болѣе увеличивать свою праведность. Онъ былъ уже такъ прославленъ, что чтецъ синагоги, обходя собраніе съ предложеніемъ купить право развернуть и носить книгу закона, хотя и выкликалъ: «Кто хочетъ купить Геліу? Кто хочетъ купить Ецъ-Хаюмъ? Кто хочетъ купить Хахбо? Кто дастъ болѣе?» но въ существѣ чтецъ исполнялъ это только для формы. На самомъ же дѣлѣ онъ зналъ, что священныя права никто другой откупить не можетъ, кромѣ Схаріи, потому что никто за нихъ болѣе его предложить не въ состояніи. А потому только одинъ Схарія всегда носилъ свитокъ закона и держалъ «древо жизни», а его ближайшіе родственники имѣли привилегію, ходя за нимъ, прикасаться къ этой святынѣ, въ то время какъ ихъ ученый родоначальникъ, принявъ изъ рукъ кантора свитокъ, обносилъ его посреди умиленной толпы. Ему канторъ давалъ серебрянымъ грифелемъ знакъ, когда вскричать: «возвеличьте Господа!» На его зовъ весь народъ привыкъ отвѣчать: «Благословенъ Господь Богъ нашъ, избравшій насъ предъ всѣми иными народами», и надъ нимъ всегда произносилось благословеніе: «со всѣмъ его домомъ, гдѣ соблюдены всѣ заповѣди и гдѣ всякое задуманное предпріятіе должно быть благоуспѣшно». Поэтому всѣ самыя ловкія контрабандныя предпріятія задумывались въ благословенномъ домѣ Схаріи въ тѣ сумеречные часы, когда запиралось небо, и у него же хоронились ихъ концы.

Вотъ какой былъ Схарія поистинѣ важный изъ важныхъ человѣкъ. Смѣстить его съ его высокаго положенія, казалось, никто не могъ: всѣ знали, что какъ ни подними цѣну послѣдняго урока «Закона» въ день Кущей, Схарія все-таки откупитъ этотъ урокъ и опять на цѣлый годъ останется «женихомъ Закона». Ну, вотъ и посудите, какъ можно

было одолѣть такого тонкаго и дальновиднаго человѣка, и какой для этого былъ нуженъ борецъ? А пришелъ часъ Схаріи и разбило всю его механику громомъ, да не изъ тучи, а изъ навозной кучи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

По моей дозорной, таможенной обязанности я, разумѣется, зналъ всѣхъ окрестныхъ евреевъ по обѣ стороны своей границы,—какъ нашихъ русскихъ подданныхъ, такъ и австріаковъ. Это нашему брату, таможенному, необходимо, потому что насъ всѣ стараются обмануть, особенно еврен. Это первые наши непріятели, и мы должны знать, сколько какая шельма изъ нихъ въ этомъ искусна. Свѣдѣнія эти у насъ, пограничныхъ жителей, собираются очень просто, такъ какъ *граница* для насъ, вѣдь, совсѣмъ не то, что̀ она для васъ и для всѣхъ другихъ людей, которые ее видятъ разъ, либо два въ жизни. Вы когда переѣзжаете границу, будто изъ одного міра въ другой переходите; а для насъ это просто дѣло сосѣдское. Мы смотримъ на границу безъ впечатлѣній, а знаемъ только, что и у нихъ, и у насъ есть молодцы, которые нашего брата надувать хотятъ, и зато никому не вѣримъ. Пограничная жизнь этимъ очень скверная: она тому способствуетъ, чтобы не вѣрить человѣку. И мы хотя съ инымъ по виду и ведемъ дружбу, а все ему пальца въ ротъ не положимъ. Я даже удивлялся этому и нарочно себя пробовалъ: къ тещѣ съ женой повидаться въ воронежскую губернію ѣздилъ—и ничего: тамъ всѣмъ вѣрую. Иной хоть и знаю, что плутъ, а вѣрю ему, и по дорогѣ ѣду—все вѣрю; а какъ къ себѣ на границу пріѣду—сейчасъ и отрѣзало: никому не вѣрю. Право удивительно. Такъ тоже и съ этимъ съ праведнымъ Схаріей я былъ весьма знакомъ, и о пророкахъ любилъ съ нимъ толковать, потому что у меня жена большая до Писанія охотница, но все бывало, знаете, говоришь про Даніиловы седьмины, а самъ думаешь, а когда же я тебя, пріятель, въ ровъ посажу! Потому что я зналъ, какъ этотъ праведникъ по всѣмъ пивамъ плутней сшитъ, и мнѣ очень хотѣлось его сцапать. Разумѣется, я его лично въ числѣ контрабандистовъ не замѣчалъ; но намъ было хорошо извѣстно, что въ благочестивомъ домѣ этого «жениха Закона» затѣ-

вались самыя дерзкія противъ насъ предпріятія, и я большую охоту имѣлъ наказать его.

Надо вамъ знать, что у одного изъ зятьевъ Схаріи, по имени Нахмана, на той сторонѣ, въ Австріи, было что-то въ родѣ трактира, или кофейни, а, вѣрнѣе сказать, просто игорный пріютъ, въ которомъ страсть какъ любили рѣзаться и австрійскіе, и наши таможенники. Чуть имъ свободное время, уже они и тамъ.

Это такъ шло у насъ много лѣтъ, и зять Схаріи наживалъ съ своего вертепа добрые гроши, изъ которыхъ перепадала частица и Схаріи. Съ развалomъ нашей послѣдней польской рухавки и сборомъ нашихъ войскъ на границу гешефты Нахмана въ его игрецкомъ притонѣ достигли неожиданнаго успѣха; и австрійскіе, и наши офицеры, стоявшіе по границѣ, скучали отъ бездѣйствія, и все шныряли къ Нахману. Да опо и простительно: взаправду, вѣдь, очень скучно!

Нашъ братъ стражникъ, который и въ мирное, и въ военное время всегда воюетъ, онъ отъ всякой веселости отвыкъ—мы какъ единъ разъ насупимся, такъ и живемъ насупясь. Все удовольствіе наше развѣ въ картишки перекинуть, или въ церковь сходить помолиться. На бѣду въ церкви у насъ дьяконъ изъ хохловъ былъ, очень томителенъ: голосъ имѣлъ козелковатый и произносилъ, гдѣ не надо, мягко, а гдѣ не надо, грубо. Очень непріятно. Заѣзжій же человѣкъ съ городскими привычками, разумѣется, могъ ли нашимъ простымъ житьемъ довольствоваться? А самое большее весселье, какое въ нашемъ мѣстѣ можно было получать, было за границей въ этомъ заведеніи у Нахмана. Наши чиновники давно еще когда-то хотѣли было Австрію перещеголять, чтобъ у себя что-то гораздо лучше завесть, да ничего не вышло; сначала столоначальникъ въ казенной палатѣ долго не разрѣшалъ, а потомъ всѣ товарищи перессорились, и съ тѣхъ поръ уже ничего не затѣвали, а ходили на австрійскую сторону, потому что тамъ какъ-то живѣе и развязнѣе. Ничего особеннаго, а какъ только на ихъ сторону перевалишь, такъ сразу въ мысляхъ другое ощущеніе и фантазіи больше: издали слышите, какъ то кегли катаютъ, то жидки тамъ на платформѣ сидятъ, разныя пьески наигрываютъ,—и недурно, каналыи, нарѣзываютъ. Тутъ сейчасъ и ресторанъ, и кафе, или эти

арфисточки, а у насъ только развѣ и услышишь какъ кто-нибудь съ досады крѣпкимъ словомъ обругается. Всего четверть версты черезъ лощинку и перекатишь,—но люди живутъ иначе—хоть не важно, а припѣваючи. Разумѣется, гдѣ веселѣе, туда и манитъ.

Какъ понаѣхали къ намъ по случаю польскихъ дѣлъ военные, такъ и началось у нихъ болтанье на ту сторону въ Нахмановъ трактиръ. Конечно, бродяжничать этакъ за границу дѣло незаконное, но дѣлалось все это будто подъ секретомъ, а къ тому же: кому до этого и надобность, если съ той стороны не претендуютъ? А австріаки же насчетъ вѣрности хотя народъ самый сомнительный, но очень обходительны со всякимъ; жалуй къ нимъ сколько хочешь, они компанію дѣлить любятъ. Такъ, бывало, наши офицеры снимутъ здѣсь съ себя сабельки и идутъ на австрійскую половину и рѣжутся тамъ съ австріаками въ трактирѣ, кто на бильярдѣ, кто въ кегли, а иные и въ карты. Картежная игра длилась, бывало, иногда по цѣлымъ суткамъ. Все это шло семейно,—особенно какъ австріакъ въ это время по случаю мятежа съ нами заодно дѣйствовалъ, и сближеніе нашихъ офицеровъ съ австріацкими, по всей вѣроятности, было даже желательно.

Теперь же нужно вамъ знать, что у австріаковъ, на ихъ сторонѣ, былъ одинъ комиссаръ изъ поляковъ, самый невѣроятный картежникъ. Такой былъ страстный игрокъ, что я всегда удивлялся: какъ ему могли довѣрять казенныя деньги и имущество. Но онъ, шельма, такой корень у себя имѣлъ, что казеннаго не трогалъ, а уже зато свое только и зналъ, что изъ рукъ въ руки перепускалъ. Нынче его горка,—онъ на парѣ лошадей взадъ и впередъ катаетъ и тогда добръ, всѣхъ угощаетъ, а завтра горка другому досталась,—комиссаръ самъ у другихъ кушать проситъ. Не игралъ онъ только тогда, когда было или совсѣмъ некогда, или совсѣмъ не на что, или совсѣмъ не съ кѣмъ. И когда это случалось, потому что противъ его игрецкой неутомимости никто не могъ выдержать, то ходитъ онъ, бывало, какъ въ воду опущенный и отъ скуки все въ рукахъ карты тасуетъ. Я въ призоры очесъ, по правдѣ сказать, не вѣрю, но говорили о немъ, что онъ будто такимъ манеромъ испорченъ, и вдругъ на этого-то испорченнаго наскочилъ съ нашей стороны человѣкъ, должно-быть, уже совсѣмъ пере-

порченный: наспѣлъ отъ насъ комиссару такой компаніонъ, что даже еще превосходилъ его и въ постоянствѣ страсти, и въ неутомимости. Былъ это нашъ армейскаго полку маіоръ Аѳанасьевъ, который и подалъ поводъ къ Схарінной погибели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Армейскіе маіоры, какъ извѣстно, большею частію бываютъ меланхолики, все думать любятъ. Живетъ человѣкъ въ молодыхъ чинахъ, все фантазируетъ, а схватитъ маіорство и задумается. Можетъ это оттого, что имъ въ этомъ чинѣ предѣлъ положенъ, его же не прейдеши. Оттого они мрачны и не веселы. И маіоръ Аѳанасьевъ тоже былъ не веселаго нрава и словно «отыгрывался» отъ какого-то червя, который неустанно глодалъ его душу.

И австрійскій комиссаръ, и нашъ маіоръ духомъ другъ друга почуяли и чуть только ихъ свели, какъ ужъ ихъ и водой разлить стало невозможно. Дѣлъ боевыхъ на ту пору не было, а въ междучасіе отрядомъ маіора у насъ, по всеобщему россійскому обыкновенію, правилъ его помощникъ, а онъ, бывало, только на нѣкоторый часъ домой появится, и если горка на его сторонѣ, то поблеститъ своимъ выигрышемъ и опять улизнетъ за границу въ Нахмановъ игорный домъ, и тамъ и рѣжутся, пока или тотъ или другой оберутъ другъ друга до-чиста и, осоловѣвъ, выходятъ отдохнуть, какъ мученики послѣ истязанія. До чего они доигрывались, про это и разсказывать нельзя: деньги ихъ въ цѣломъ составѣ всей наличности безпрестанно переходили отъ одного къ другому, но все это не такъ замѣтно, потому деньги вещь миніатюрная, а главный курьезъ происходилъ съ громоздкими движимостями, передвиженія которыхъ скрыть невозможно. У комиссара, напримѣръ, былъ фортепіанчикъ,—хорошенькій и большой фортепіанъ, настоящій рояль, на которомъ онъ не умѣлъ играть и никогда не игралъ, а имѣлъ его Богъ знаетъ по какому-то особому случаю,—вѣроятно за самую дешевую цѣну съ аукціона досталъ, да была еще охотничья собака, легавая; а маіоръ пріѣхалъ къ намъ въ мѣстечко въ польской бричкѣ на своей парѣ лошадей. Вотъ эти фортепіанъ и бричка и балансировали: какъ денежная наличность у игроковъ кончится, они сейчасъ и начинаютъ двигать эту свою движи-

мость. И мы уже и счетъ потеряли, сколько разъ эти фортепіано и бричка съ конями переходили у нихъ изъ рукъ въ руки. Переходила нѣсколько разъ и собака, но ей скоро наскучило мѣнять хозяевъ, и она сначала обоихъ ихъ искусала, а потомъ, когда они оба ее за это выпороли, она ихъ обоихъ бросила и сбѣжала.

Разумѣется, звѣрь умный, съ такими пустыми людьми жить не захотѣла. Ну, а остальное все шло своимъ правиломъ: то нашъ маіоръ поѣдетъ въ бричкѣ, а возвращается съ палочкой, то онъ идетъ, а за нимъ тащатъ фортепіано, и стоятъ они у него, при его квартирѣ подъ сараемъ, и только намъ докучаютъ, потому что ключъ отъ нихъ въ этихъ переѣздахъ потерялся, и какъ они стояли разиня ротъ, то по нимъ все, бывало, жиденята пальцами тяпкаютъ. Играть на нихъ у насъ никто не умѣлъ, кромѣ какъ одинъ нашъ таможенный дьяконъ, да и тотъ только хвалился, что будто умѣетъ, а на самомъ дѣлѣ всей его игры было, что могъ однимъ пальцемъ подбирать «аллилуію», да Царю Небесный. Тюкаетъ съ утра до ночи и подпѣваетъ. Бывало страшно надоѣстъ этимъ, а попросить его лучше что-нибудь свѣтское, такъ онъ еще хуже затянетъ:

Скука прелубэзна
Серцю приполэзна.

Совсѣмъ тоску наведетъ, и мы всегда очень радовались, когда нашъ маіоръ проигрывался и фортепіано опять въ Австрію увозили. И шла такая азартная игра безъ отдыха и безъ перерыва, съ постояннымъ переходомъ однихъ и тѣхъ же фондовъ изъ кармана въ карманъ, а въ чистыхъ отъ нея прибыткахъ были одни Нахманъ да Схарія.

Но какъ и комиссаръ, и маіоръ оба были люди служащіе и ни одному изъ нихъ нельзя было не держаться на чеку по своимъ обязанностямъ, то надо было устроить для этого благонадежную почту. Дѣло было не совсѣмъ удобное,—одначо устроили: если комиссаръ на нашей сторонѣ, а дома въ немъ надобность, — къ намъ бѣжитъ за нимъ кургузый цесарецъ въ курткѣ, а наши за своимъ игрокомъ казака Ѳомку посылали. Казакъ Ѳомка былъ мужикъ здоровый, краснощекій, находчивый и расторопный, но шельма чищеный. Маіоръ хорошо узналъ его и говорилъ, что онъ человѣкъ очень надежный и службистъ. Былъ такой случай, что этотъ Ѳомка Ананьевъ или Капальевъ при разгромѣ

одного опальнаго дома увидалъ, что простодушные армейскіе солдатики присѣли около суповой чаши, горяченькаго похлебать, онъ сейчасъ это искоренилъ:

— Развѣ, говоритъ, — это можно? а можетъ-быть это отравленное!—и чтобы споровъ не было, сейчасъ же чашу разбилъ объ уголъ, а серебряныя ложки себѣ въ карманъ спряталъ.

— Это, говоритъ,— отъ грѣха убрать надо, чтобы молодые некрута не баловались.

Словомъ, Ѳомка былъ человѣкъ, который обладалъ военнымъ тактомъ.

Военный тактъ казака Ананьева я особенно рекомендую вашему вниманію, потому что мнѣ придется въ этой исторіи поставить его супротивъ тонкаго, талмудическаго такта ученаго Схаріи. Служба нашего Ѳомки, разумѣется, была гораздо труднѣе службы цесарца, потому что комиссаръ бывалъ у насъ рѣдко, а нашъ маіоръ сидѣлъ на той сторонѣ постоянно. Потомъ у австріаковъ по всѣмъ должностямъ мало пишутъ, а у насъ на это больше аккуратности и всякому офицеру постоянно надо что-нибудь подписывать. А потому нашъ землячокъ Ананьевъ безпрестанно и шмыгалъ за границу къ маіору, то одно подписать, то другое, — чаще всего съ «рапортичками». И всегда казачокъ въ этихъ поѣздкахъ былъ исправенъ и благополученъ: только падало кой-кому въ примѣту, что онъ на возвратномъ пути изъ Австріи точно какъ будто выше ростомъ на сѣдлѣ дѣлался: иногда, бывало, точно каланча движется. Ну, а пріѣдетъ домой, спѣшится, разберется, и опять въ свою мѣру войдетъ. Я его даже разъ или два объ этомъ спрашивалъ. Отвѣчаетъ:

— Никакъ нѣтъ, ваше выскобродіе, — это такъ только показывается.

— Ты, можетъ-быть, говорю, — подбадриваешься этакъ чтобы молодцоватѣй высматривать.

— Это точно такъ, отвѣчаетъ, — я хорохорюсь, чтобы чужой народъ на насъ дивовался, и подъ нашу державу желалъ, а впрочемъ... ни Боже мой!

Казакъ былъ смѣтливый, зналъ, на что я намекалъ, ну и увѣрялъ меня крѣпко.

— Вотъ крестъ, говоритъ, — на себя кладу, что ѣзжу честно.

— То-то, моль, ты помни, что это земля чужая и что нашъ государь теперь съ ихъ цезаремъ въ дружбѣ,—такъ и мы этою дружбой должны дорожить, а не то чтобы какую худую славу на себя класть.

— Помилуйте, утверждаетъ,— нешто мы деревенскіе мужики, что этого не понимаемъ, или не можемъ политику чувствовать.

И знаете, пожалуй, по-своему онъ это и чувствовалъ, но только, тѣмъ не менѣе, въ его владѣніи скоро стали обнаруживаться разные странные запасы, происхожденіе которыхъ онъ объяснялъ не совсѣмъ вѣроятно; но вѣдь что же, кто не поймалъ, тотъ не воръ,—это вездѣ такое правило,— особенно на боевомъ положеніи. Но вотъ доходитъ до меня слухъ, что на той сторонѣ бабы-хохлушки обижаются, будто Ѳомка-политикъ, проѣзжая по лугу, гдѣ стадо паслось, соскочилъ и сталъ корову въ киверъ доить; а пока на него дивовались, онъ взялъ да и другую выдоилъ.

Я его этотъ грѣхъ покрылъ и обѣщался даже маіору не разсказать, если признается. Ѳомка признался.

— Точно такъ, говоритъ,— виноватъ, ошибся: я думалъ, что съ нашей стороны корова; въ грудяхъ очень тяжело чувствовалъ.—Знахарка, вѣдьма, научила: молочкомъ, сказала, смягчитъ. Послушалъ ее, лукавый и попуталъ, коровкой ошибся.

— Ну, смотри же, говорю,—чтобы больше тебя не путало.

— Вотъ вамъ Христосъ, отвѣчаетъ, — я этой знахарки не стану теперь слушать, и киверка больше не буду одѣвать, въ фуражкѣ стану ѣздить.

— И прекрасно, говорю, — оно даже такъ и лучше будетъ: то вѣдь не наша земля, ѣзди-ка въ фуражкѣ. Незачѣмъ тамъ киверомъ махать и соблазну не будетъ.

— Убѣдительно благодарю, говоритъ,—ваше высокоблагородіе, радъ стараться.

Я и оставилъ. Что же, казакъ вѣдь не красная дѣвушка, — его много-то никогда не сконфузишь и не передѣлаешь; у него природа такая, что онъ не рохля, не ротозѣй, любитъ, чтобы мимо его ни птица не пролетала, ни звѣрь не прорыскивалъ, и ничто не убранное не валялось. Вотъ эта-то казацкая сноровка и была причиной одного казуснаго столкновенія нашего Ѳомки Ананьева съ казуистомъ Схаріей.

Случай попуталъ нашего казака на той сторонѣ рыжею козой, которая принадлежала какой-то еврейкѣ. Была эта коза непокорна къ доенью — брыкалась, а казакъ ѣдетъ и увидѣлъ черезъ заборъ, что коза отбрыкнула и опрокинула мѣдную доенку, а молодая еврейка заплакала. Онъ и сжалостился, остановилъ коня и говоритъ:

— Постой, постой, еврейчка,—не скучай, и гляди, только тятькѣ не сказывай, а я тебѣ эту козу выучу.

И съ этимъ прыгнулъ черезъ заборъ, свистнулъ брыкливую козу нагайкой, такъ что та и голосъ дать позабыла, и тутъ же подпихнулъ ее куда-то всю подъ сѣдло, такъ что развѣ только ножки да рожки наружу оставались, а кстати захватилъ и доенку, сѣлъ и поѣхалъ.

Еврейка только послѣ его отъѣзда догадалась кричать; сбѣжались сосѣди, бросились въ погоню и нагнали Ананьева, потому что онъ по своей политикѣ ѣхалъ не спѣша, тихонечко, да и доенку-то, разбойникъ, наружи держалъ.

Нагнали его евреи и кричатъ:

— Ты зачѣмъ это взялъ?—а сами за доенку хватаются.

— А что, развѣ это ваше?

— Разумѣется, наше.

— А ваше, братцы, такъ свое берите; мнѣ Богъ съ вами съ вашимъ добромъ; мнѣ чужого не нужно.

И онъ возвратилъ великодушно доенку, а самъ ускакалъ, прежде чѣмъ о козѣ успѣли ему слово сказать.

Впослѣдствіи онъ объяснилъ, будто потому не воротилъ козу, что ея у него не спрашивали.

— А я, говоритъ,—по ея виду думалъ, что она дикая, а не свѣтская, и прикололъ ее дома, потому что мнѣ шкурка на потничокъ подъ сѣдло надобилась.

Такъ эта коза и пропала, но зато съ той поры пошли большіе разговоры. Пронажъ оказывалось много и у евреевъ, и у крестьянъ. Хохлы-крестьяне, впрочемъ, что за люди,—ихъ можно и не очень слушать, а вотъ евреи, это другое дѣло; они какъ загалдятъ, такъ ихъ надо скоро успокоить. А какъ успокоить?

Чтобы не ѣздилъ туда больше Ананьевъ? Такъ; но маіоръ говорилъ, что у него нѣтъ такого другого расторопнаго человѣка: не будетъ ѣзды Ананьеву,—не будетъ маіору покоя играть по цѣлымъ днямъ въ карты; не будетъ игры—не будетъ самаго лучшаго гешефта Нахману, будетъ боль-

было одолѣть такого тонкаго и дальновиднаго человѣка, и какой для этого былъ нуженъ борецъ? А пришелъ часъ Схаріи и разбило всю его механику громомъ, да не изъ тучи, а изъ навозной кучи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

По моей дозорной, таможенной обязанности я, разумѣется, зналъ всѣхъ окрестныхъ евреевъ по обѣ стороны своей границы,—какъ нашихъ русскихъ подданныхъ, такъ и австріаковъ. Это нашему брату, таможенному, необходимо, потому что насъ всѣ стараются обмануть, особенно евреи. Это первые наши непріятели, и мы должны знать, сколько какая шельма изъ нихъ въ этомъ искусна. Свѣдѣнія эти у насъ, пограничныхъ жителей, собираются очень просто, такъ какъ *граница* для насъ, вѣдь, совсѣмъ не то, что̀ она для васъ и для всѣхъ другихъ людей, которые ее видятъ разъ, либо два въ жизни. Вы когда переѣзжаете границу, будто изъ одного міра въ другой переходите; а для насъ это просто дѣло сосѣдское. Мы смотримъ на границу безъ впечатлѣній, а знаемъ только, что и у нихъ, и у насъ есть молодцы, которые нашего брата надувать хотятъ, и зато никому не вѣримъ. Пограничная жизнь этимъ очень скверная: она тому способствуетъ, чтобы не вѣрить человѣку. И мы хотя съ инымъ по виду и ведемъ дружбу, а все ему пальца въ ротъ не положимъ. Я даже удивлялся этому и нарочно себя пробовалъ: къ тещѣ съ женой повидаться въ воронежскую губернію ѣздилъ—и ничего: тамъ всѣмъ вѣрую. Иной хоть и знаю, что плутъ, а вѣрю ему, и по дорогѣ ѣду—все вѣрю; а какъ къ себѣ на границу пріѣду—сейчасъ и отрѣзало: никому не вѣрю. Право удивительно. Такъ тоже и съ этимъ съ праведнымъ Схаріей я былъ весьма знакомъ, и о пророкахъ любилъ съ нимъ толковать, потому что у меня жена большая до Писанія охотница, но все бывало, знаете, говоришь про Даніиловы седьмины, а самъ думаешь, а когда же я тебя, пріятель, въ ровъ посажу! Потому что я зналъ, какъ этотъ праведникъ по всѣмъ швамъ плутней сшитъ, и мнѣ очень хотѣлось его сцапать. Разумѣется, я его лично въ числѣ контрабандистовъ не замѣчалъ; но намъ было хорошо извѣстно, что въ благочестивомъ домѣ этого «жениха Закона» затѣ-

вались самыя дерзкія противъ насъ предпріятія, и я большую охоту имѣлъ наказать его.

Надо вамъ знать, что у одного изъ зятьевъ Схаріи, по имени Нахмана, на той сторонѣ, въ Австріи, было что-то въ родѣ трактира, или кофейни, а, вѣрнѣе сказать, просто игорный пріютъ, въ которомъ страсть какъ любили рѣзаться и австрійскіе, и наши таможенники. Чуть имъ свободное время, уже они и тамъ.

Это такъ шло у насъ много лѣтъ, и зять Схаріи наживалъ съ своего вертепа добрые гроши, изъ которыхъ перепадала частица и Схаріи. Съ разваломъ нашей послѣдней польской рухавки и сборомъ нашихъ войскъ на границу гешефты Нахмана въ его игрецкомъ притонѣ достигли неожиданнаго успѣха; и австрійскіе, и наши офицеры, стоявшіе по границѣ, скучали отъ бездѣйствія, и все шныряли къ Пахману. Да оно и простительно: взаправду, вѣдь, очень скучно!

Нашъ братъ стражникъ, который и въ мирное, и въ военное время всегда воюетъ, онъ отъ всякой веселости отвыкъ—мы какъ единъ разъ насупимся, такъ и живемъ насупясь. Все удовольствіе наше развѣ въ картишки перекинуть, или въ церковь сходить помолиться. На бѣду въ церкви у насъ дьяконъ изъ хохловъ былъ, очень томителенъ: голосъ имѣлъ козелковатый и произносилъ, гдѣ не надо, мягко, а гдѣ не надо, грубо. Очень непріятно. Заѣзжій же человѣкъ съ городскими привычками, разумѣется, могъ ли нашимъ простымъ житьемъ довольствоваться? А самое большее веселье, какое въ нашемъ мѣстѣ можно было получать, было за границей въ этомъ заведеніи у Нахмана. Наши чиновники давно еще когда-то хотѣли было Австрію перещеголять, чтобъ у себя что-то гораздо лучше завесть, да ничего не вышло; сначала столоначальникъ въ казенной палатѣ долго не разрѣшалъ, а потомъ всѣ товарищи перессорились, и съ тѣхъ поръ уже ничего не затѣвали, а ходили на австрійскую сторону, потому что тамъ какъ-то живѣе и развязнѣе. Ничего особеннаго, а какъ только на ихъ сторону перевалишь, такъ сразу въ мысляхъ другое ощущеніе и фантазіи больше: издали слышите, какъ то кегли катаютъ, то жидки тамъ на платформѣ сидятъ, разныя пьески наигрываютъ,—и недурно, канальи, нарѣзываютъ. Тутъ сейчасъ и ресторанъ, и кафе, или эти

арфисточки, а у насъ только развѣ и услышишь какъ кто-нибудь съ досады крѣпкимъ словомъ обругается. Всего четверть версты черезъ лощинку и перекатишь,—но люди живутъ иначе—хоть не важно, а припѣваючи. Разумѣется, гдѣ веселѣе, туда и манитъ.

Какъ понаѣхали къ намъ по случаю польскихъ дѣлъ военные, такъ и началось у нихъ болтанье на ту сторону въ Нахмановъ трактиръ. Конечно, бродяжничать этакъ за границу дѣло незаконное, но дѣлалось все это будто подъ секретомъ, а къ тому же: кому до этого и надобность, если съ той стороны не претендуютъ? А австріаки же насчетъ вѣрности хотя народъ самый сомнительный, но очень обходительны со всякимъ; жалуй къ нимъ сколько хочешь, они компанію дѣлить любятъ. Такъ, бывало, наши офицеры снимутъ здѣсь съ себя сабельки и идутъ на австрійскую половину и рѣжутся тамъ съ австріаками въ трактирѣ, кто на бильярдѣ, кто въ кегли, а иные и въ карты. Картежная игра длилась, бывало, иногда по цѣлымъ суткамъ. Все это шло семейно,—особенно какъ австріакъ въ это время по случаю мятежа съ нами заодно дѣйствовалъ, и сближеніе нашихъ офицеровъ съ австріацкими, по всей вѣроятности, было даже желательно.

Теперь же нужно вамъ знать, что у австріаковъ, на ихъ сторонѣ, былъ одинъ комиссаръ изъ поляковъ, самый невѣроятный картежникъ. Такой былъ страстный игрокъ, что я всегда удивлялся: какъ ему могли довѣрять казенныя деньги и имущество. Но онъ, шельма, такой корень у себя имѣлъ, что казеннаго не трогалъ, а уже зато свое только и зналъ, что изъ рукъ въ руки перепускалъ. Нынче его горка,—онъ на парѣ лошадей взадъ и впередъ катаетъ и тогда добръ, всѣхъ угощаетъ, а завтра горка другому досталась,—комиссаръ самъ у другихъ кушать проситъ. Не игралъ онъ только тогда, когда было или совсѣмъ некогда, или совсѣмъ не на что, или совсѣмъ не съ кѣмъ. И когда это случалось, потому что противъ его игрецкой неутомимости никто не могъ выдержать, то ходитъ онъ, бывало, какъ въ воду опущенный и отъ скуки все въ рукахъ карты тасуетъ. Я въ призоры очесъ, по правдѣ сказать, не вѣрю, но говорили о немъ, что онъ будто такимъ манеромъ испорченъ, и вдругъ на этого-то испорченнаго наскочилъ съ нашей стороны человѣкъ, должно-быть, уже совсѣмъ пере-

порченный: наспѣлъ отъ насъ комиссару такой компаніонъ, что даже еще превосходилъ его и въ постоянствѣ страсти, и въ неутомимости. Былъ это нашъ армейскаго полку маіоръ Аѳанасьевъ, который и подалъ поводъ къ Схарінной погибели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Армейскіе маіоры, какъ извѣстно, большею частію бываютъ меланхолики, все думать любятъ. Живетъ человѣкъ въ молодыхъ чинахъ, все фантазируетъ, а схватитъ маіорство и задумается. Можетъ это оттого, что имъ въ этомъ чинѣ предѣлъ положенъ, его же не прейдеши. Оттого они мрачны и не веселы. И маіоръ Аѳанасьевъ тоже былъ не веселаго нрава и словно «отыгрывался» отъ какого-то червя, который неустанно глодалъ его душу.

И австрійскій комиссаръ, и нашъ маіоръ духомъ другъ друга почуяли и чуть только ихъ свели, какъ ужъ ихъ и водой разлить стало невозможно. Дѣлъ боевыхъ на ту пору не было, а въ междучасіе отрядомъ маіора у насъ, по всеобщему россійскому обыкновенію, правилъ его помощникъ, а онъ, бывало, только на нѣкоторый часъ домой появится, и если горка на его сторонѣ, то поблеститъ своимъ выигрышемъ и опять улизнетъ за границу въ Нахмановъ игорный домъ, и тамъ и рѣжутся, пока или тотъ или другой оберутъ другъ друга до-чиста и, осоловѣвъ, выходятъ отдохнуть, какъ мученики послѣ истязанія. До чего они доигрывались, про это и разсказывать нельзя: деньги ихъ въ цѣломъ составѣ всей наличности безпрестанно переходили отъ одного къ другому, но все это не такъ замѣтно, потому деньги вещь миніатюрная, а главный курьезъ происходилъ съ громоздкими движимостями, передвиженія которыхъ скрыть невозможно. У комиссара, напримѣръ, былъ фортепіанчикъ,—хорошенькій и большой фортепіанъ, настоящій рояль, на которомъ онъ не умѣлъ играть и никогда не игралъ, а имѣлъ его Богъ знаетъ по какому-то особому случаю,—вѣроятно за самую дешевую цѣну съ аукціона досталъ, да была еще охотничья собака, легавая; а маіоръ пріѣхалъ къ намъ въ мѣстечко въ польской бричкѣ на своей парѣ лошадей. Вотъ эти фортепіанъ и бричка и балансировали: какъ денежная наличность у игроковъ кончится, они сейчасъ и начинаютъ двигать эту свою движи-

мость. И мы уже и счетъ потеряли, сколько разъ эти фортепіано и бричка съ конями переходили у нихъ изъ рукъ въ руки. Переходила нѣсколько разъ и собака, но ей скоро наскучило мѣнять хозяевъ, и она сначала обоихъ ихъ искусала, а потомъ, когда они оба ее за это выпороли, она ихъ обоихъ бросила и сбѣжала.

Разумѣется, звѣрь умный, съ такими пустыми людьми жить не захотѣла. Ну, а остальное все шло своимъ правилюмъ: то нашъ маіоръ поѣдетъ въ бричкѣ, а возвращается съ палочкой, то онъ идетъ, а за нимъ тащатъ фортепіано, и стоятъ они у него, при его квартирѣ подъ сараемъ, и только намъ докучаютъ, потому что ключъ отъ нихъ въ этихъ переѣздахъ потерялся, и какъ они стояли разиня ротъ, то по нимъ все, бывало, жиденята пальцами тяпкаютъ. Играть на нихъ у насъ никто не умѣлъ, кромѣ какъ одинъ нашъ таможенный дьяконъ, да и тотъ только хвалился, что будто умѣетъ, а на самомъ дѣлѣ всей его игры было, что могъ однимъ пальцемъ подбирать «аллилуію», да Царю Небесный. Тюкаетъ съ утра до ночи и подпѣваетъ. Бывало страшно надоѣстъ этимъ, а попросить его лучше что-нибудь свѣтское, такъ онъ еще хуже затянетъ:

Скука прелубэзна
Серцю приполэзна.

Совсѣмъ тоску наведетъ, и мы всегда очень радовались, когда нашъ маіоръ проигрывался и фортепіано опять въ Австрію увозили. И шла такая азартная игра безъ отдыха и безъ перерыва, съ постояннымъ переходомъ однихъ и тѣхъ же фондовъ изъ кармана въ карманъ, а въ чистыхъ отъ нея прибыткахъ были одни Нахманъ да Схарія.

Но какъ и комиссаръ, и маіоръ оба были люди служащіе и ни одному изъ нихъ нельзя было не держаться на чеку по своимъ обязанностямъ, то надо было устроить для этого благонадежную почту. Дѣло было не совсѣмъ удобное,—одкнао устроили: если комиссаръ на нашей сторонѣ, а дома въ немъ надобность, — къ намъ бѣжитъ за нимъ кургузый цесарецъ въ курткѣ, а наши за своимъ игрокомъ казака Ѳомку посылали. Казакъ Ѳомка былъ мужикъ здоровый, краснощекій, находчивый и расторопный, но шельма чищеный. Маіоръ хорошо узналъ его и говорилъ, что онъ человѣкъ очень надежный и службистъ. Былъ такой случай, что этотъ Ѳомка Ананьевъ или Капальевъ при разгромѣ

одного опальнаго дома увидалъ, что простодушные армейскіе солдатики присѣли около суповой чаши, горяченькаго похлебать, онъ сейчасъ это искоренилъ:

— Развѣ, говоритъ, — это можно? а можетъ-быть это отравленное!—и чтобы споровъ не было, сейчасъ же чашу разбилъ объ уголъ, а серебряныя ложки себѣ въ карманъ спряталъ.

— Это, говоритъ,— отъ грѣха убрать надо, чтобы молодые некрута не баловались.

Словомъ, Ѳомка былъ человѣкъ, который обладалъ военнымъ тактомъ.

Военный тактъ казака Ананьева я особенно рекомендую вашему вниманію, потому что мнѣ придется въ этой исторіи поставить его супротивъ тонкаго, талмудическаго такта ученаго Схаріи. Служба нашего Ѳомки, разумѣется, была гораздо труднѣе службы цесарца, потому что комиссаръ бывалъ у насъ рѣдко, а нашъ маіоръ сидѣлъ на той сторонѣ постоянно. Потомъ у австріаковъ по всѣмъ должностямъ мало пишутъ, а у насъ на это больше аккуратности и всякому офицеру постоянно надо что-нибудь подписывать. А потому нашъ землячокъ Ананьевъ безпрестанно и шмыгалъ за границу къ маіору, то одно подписать, то другое, — чаще всего съ «рапортичками». И всегда казачокъ въ этихъ поѣздкахъ былъ исправенъ и благополученъ: только надало кой-кому въ примѣту, что онъ на возвратномъ пути изъ Австріи точно какъ будто выше ростомъ на сѣдлѣ дѣлался: иногда, бывало, точно каланча движется. Ну, а пріѣдетъ домой, спѣшится, разберется, и опять въ свою мѣру войдетъ. Я его даже разъ или два объ этомъ спрашивалъ. Отвѣчаетъ:

— Никакъ нѣтъ, ваше выскобродіе, — это такъ только показывается.

— Ты, можетъ-быть, говорю, — подбадриваешься этакъ чтобы молодцоватѣй высматривать.

— Это точно такъ, отвѣчаетъ, — я хорохорюсь, чтобы чужой народъ на насъ дивовался, и подъ нашу державу желалъ, а впрочемъ... ни Боже мой!

Казакъ былъ смѣтливый, зналъ, на что я намекалъ, ну и увѣрялъ меня крѣпко.

— Вотъ крестъ, говоритъ, — на себя кладу, что ѣзжу честно.

— То-то, моль, ты помни, что это земля чужая и что нашъ государь теперь съ ихъ цезаремъ въ дружбѣ,—такъ и мы этою дружбой должны дорожить, а не то чтобы какую худую славу на себя класть.

— Помилуйте, утверждаетъ,— нешто мы деревенскіе мужики, что этого не понимаемъ, или не можемъ политику чувствовать.

И знаете, пожалуй, по-своему онъ это и чувствовалъ, но только, тѣмъ не менѣе, въ его владѣніи скоро стали обнаруживаться разные странные запасы, происхожденіе которыхъ онъ объяснялъ не совсѣмъ вѣроятно; но вѣдь что же, кто не пойманъ, тотъ не воръ,—это вездѣ такое правило,—особенно на боевомъ положеніи. Но вотъ доходитъ до меня слухъ, что на той сторонѣ бабы-хохлушки обижаются, будто Ѳомка-политикъ, проѣзжая по лугу, гдѣ стадо паслось, соскочилъ и сталъ корову въ киверъ доить; а пока на него дивовались, онъ взялъ да и другую выдоилъ.

Я его этотъ грѣхъ покрылъ и обѣщался даже маіору не разсказать, если признается. Ѳомка признался.

— Точно такъ, говоритъ,—виноватъ, ошибся: я думалъ, что съ нашей стороны корова; въ грудяхъ очень тяжело чувствовалъ.—Знахарка, вѣдьма, научила: молочкомъ, сказала, смягчитъ. Послушалъ ее, лукавый и попуталъ, коровкой ошибся.

— Ну, смотри же, говорю,—чтобы больше тебя не путало.

— Вотъ вамъ Христосъ, отвѣчаетъ,—я этой знахарки не стану теперь слушать, и киверка больше не буду одѣвать, въ фуражкѣ стану ѣздить.

— И прекрасно, говорю, — оно даже такъ и лучше будетъ: то вѣдь не наша земля, ѣзди-ка въ фуражкѣ. Незачѣмъ тамъ киверомъ махать и соблазну не будетъ.

Убѣдительно благодарю, говоритъ,—ваше высокоблагородіе, радъ стараться.

Я и оставилъ. Что же, казакъ вѣдь не красная дѣвушка, — его много-то никогда не сконфузишь и не передѣлаешь; у него природа такая, что онъ не рохля, не ротозѣй, любитъ, чтобы мимо его ни птица не пролетала, ни звѣрь не прорыскивалъ, и ничто не убранное не валялось. Вотъ эта-то казацкая сноровка и была причиной одного казуснаго столкновенія нашего Ѳомки Анашьева съ казуистомъ Схаріей.

Случай попуталъ нашего казака на той сторонѣ рыжею козой, которая принадлежала какой-то еврейкѣ. Была эта коза непокорна къ доенью — брыкалась, а казакъ ѣдетъ и увидѣлъ черезъ заборъ, что коза отбрыкнула и опрокинула мѣдную доенку, а молодая еврейка заплакала. Онъ и сжалостился, остановилъ коня и говоритъ:

— Постой, постой, евреечка,—не скучай, и гляди, только тятькѣ не сказывай, а я тебѣ эту козу выучу.

И съ этимъ прыгнулъ черезъ заборъ, свистнулъ брыкливую козу нагайкой, такъ что та и голосъ дать позабыла, и тутъ же подпихнулъ ее куда-то всю подъ сѣдло, такъ что развѣ только ножки да рожки наружу оставались, а кстати захватилъ и доенку, сѣлъ и поѣхалъ.

Еврейка только послѣ его отъѣзда догадалась кричать; сбѣжались сосѣди, бросились въ погоню и нагнали Ананьева, потому что онъ по своей политикѣ ѣхалъ не спѣша, тихонечко, да и доенку-то, разбойникъ, наружи держалъ.

Нагнали его евреи и кричатъ:

— Ты зачѣмъ это взялъ?—а сами за доенку хватаются.

— А что, развѣ это ваше?

— Разумѣется, наше.

— А ваше, братцы, такъ свое берите; мнѣ Богъ съ вами съ вашимъ добромъ; мнѣ чужого не нужно.

И онъ возвратилъ великодушно доенку, а самъ ускакалъ, прежде чѣмъ о козѣ успѣли ему слово сказать.

Впослѣдствіи онъ объяснилъ, будто потому не воротилъ козу, что ея у него не спрашивали.

— А я, говоритъ,—по ея виду думалъ, что она дикая, а не свѣтская, и прикололъ ее дома, потому что мнѣ шкурка на потничокъ подъ сѣдло надобилась.

Такъ эта коза и пропала, но зато съ той поры пошли большіе разговоры. Пронажъ оказывалось много и у евреевъ, и у крестьянъ. Хохлы-крестьяне, впрочемъ, что за люди,—ихъ можно и не очень слушать, а вотъ евреи, это другое дѣло; они какъ загалдятъ, такъ ихъ надо скоро успокоить. А какъ успокоить?

Чтобы не ѣздилъ туда больше Ананьевъ? Такъ; но маіоръ говорилъ, что у него нѣтъ такого другого расторопнаго человѣка: не будетъ ѣзды Ананьеву,—не будетъ маіору покоя играть по цѣлымъ днямъ въ карты; не будетъ игры—не будетъ самаго лучшаго гешефта Нахману, будетъ боль-

шой убытокъ и ему, и Схарiи. Какъ тутъ быть, какъ вывернуться? Нельзя же дать пропасть хорошему гешефту!

А на что это есть на свѣтѣ ученый Схарiя: онъ долженъ найти средства, какъ сдѣлать, чтобъ и овцы были цѣли, и волки сыты!

И вотъ явились къ Схарiи и Нахманъ, и его поставщики и говорятъ:

— Ты, Схарiя, самый умный, думай и скажи намъ, какъ это сдѣлать.

Схарiя почесалъ себѣ затылокъ, много разъ помотавъ предъ носомъ пальцами, и сталъ думать. Думалъ онъ, думалъ и объявилъ, что «будетъ еще думать», ушелъ въ завѣтную хороминку, часа три и слуху оттуда не подавалъ, а потомъ выслалъ къ публикѣ жену объявить, чтобы шли обѣдать, потому что онъ будетъ еще очень долго думать. Тѣ сходили домой, пообѣдали и опять вернулись, а Схарiя еще думалъ. И наконецъ уже въ сумерки, когда уже ни у кого болѣе и терпѣнiя не оставалось ждать изреченiя Схарiи, Хава выглянула въ окно и дала рукой знакъ, чтобы все было тихо. Все и затихло, а тогда она сообщила имъ шопотомъ и подъ большимъ секретомъ, что Схарiя такъ сильно задумался, что ничего не слышитъ. Она ему уже и кричала, и пантофлю съ него сняла, но онъ ничего не слышитъ.

Призадумались евреи и разошлись.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Во всякомъ дѣлѣ, господа, не исключая и нашего теперешняго боевого поля, если откуда ждутъ извѣстiй, а ихъ долго нѣтъ, это не хорошо. Хотя худое извѣстiе, да поданное во-время и съ искренностью, все лучше,—истома хуже смерти. Такъ и тутъ, когда Схарiя позамѣшкался изнесть глаголъ, это не хорошо повѣяло.

Зачѣмъ онъ медлитъ? *Не заколодило ли ему?*

А Схарiи, дѣйствительно, заколодило и притомъ по всѣмъ правиламъ, съ чѣмъ-то таинственнымъ, съ какою-то кабалой.

Я не смѣю допытываться, кто изъ васъ вѣрующiй, кто невѣрующiй. Разумѣется, я говорю про вѣру въ тѣ вещи, которыя еще мудрецамъ не снились, а если и снились, то не объяснились. Смѣйтесь надо мною, если вамъ угодно, я человѣкъ малообразованный и обижаться не стану, ну а

только по-моему этакія вещи не только существуютъ, а вотъ одна изъ нихъ — это сны. Что вы мнѣ ни говорите, а я снамъ вѣрю и не перестану вѣрить, и основаніе къ тому имѣю.

Схарія, вѣроятно, прозябъ и усталъ, а потому какъ сѣлъ обдумывать, что сдѣлать съ казакомъ, чтобы онъ попрежнему ѣздилъ, но никого не трогалъ, такъ и самъ не замѣтилъ какъ заснулъ. Но что онъ за тяжкія претерпѣвалъ при этомъ мученія. Видитъ онъ предъ собою книгу Закона и уже быстро разогнулъ ее и хочетъ читать завѣтное мѣсто у Даніила, какъ вдругъ откуда ни возьмись кто-то рыжій закрылъ книгу рукой и говоритъ: «Я ее запечатлѣваю». Сказать такое слово благочестивому еврею, это дѣло ужаснее. Послѣ этого онъ не можетъ молиться до тѣхъ поръ, пока признаетъ себя нарушившимъ заповѣдь противъ ближняго и выпроситъ себѣ у него прощенія. Схарія остолбенѣлъ отъ такой наглости! Кто могъ быть этотъ дерзкій, корый удралъ ему такую штуку? Никто иной, какъ Коганъ Шліома, которому давно хочется быть святѣе Схаріи и перекупить у него Геліу. Схарія видитъ его дерзкую руку, обернулся, но Шліома уже исчезъ. Схарія въ синагогѣ; поднялъ книгу Закона вверхъ обѣими руками, такъ высоко, чтобы всѣ ее видѣли, и, прохаживаясь съ нею при общемъ одобреніи, громко выкрикаетъ: «Вотъ законъ, который Моисей далъ дѣтямъ Израилевымъ!» но вдругъ ко всеобщему ужасу зашатался и уронилъ книгу Закона на полъ, — это второй знакъ почти уже неотвратимаго несчастія.

Не обошлось и безъ третьяго. Схарія дома; собралъ на школьный дворъ множество мальчишекъ, далъ каждому изъ нихъ по грошу и по деревянной пикѣ и заставилъ ихъ какъ можно громче кричать и махать пиками, чтобы прогнать дьявола, явно строящаго ему каверзы. А самъ вошелъ въ комнату, горя желаніемъ узнать: хорошаго или худого долженъ онъ, послѣ такого крайняго употребленнаго имъ средства, ожидать себѣ въ будущемъ, и сталъ съ этою цѣлью разсматривать надъ свѣчой свои руки. Но у нихъ пропала тѣнь! Испуганный Схарія бросилъ свѣчу и поспѣшно выбѣжалъ нагой на крыльцо, чтобы при лунѣ вернуть себѣ тѣнь отъ Авеля, но луна вдругъ вся потемнѣла и какъ будто упала съ неба.

Хуже этого ничего не можетъ быть на свѣтѣ, такъ какъ

самые знаменитые раввины въ одно говорятъ, что исчезновеніе тѣни знаменуетъ неизбѣжную погибель, и это вѣрно, потому что основано на Моисеевомъ словѣ «и тѣни своей не узрите».

Столь быстро, кажется, никто не падалъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ всего общества, какъ падалъ Схарія. Осталось послѣднее средство: до зари испов'ѣдывалъ Схарія свои грѣхи, стоя не на землѣ, по которой ползалъ райскій змѣй, а въ тазу съ водой, и потомъ взялъ бѣлаго пѣтуха, а Хавѣ далъ насѣдку, и оба они долго вертѣли этихъ птицъ около своей головы. Пѣтухъ и курица громко кричали, а Схарія выкрикалъ:

— Пусть этотъ пѣтухъ будетъ жертвой за мой грѣхъ: пусть онъ заслужитъ мнѣ хорошую награду! Пусть какъ машетъ этотъ пѣтухъ крыльями, такъ машутъ крыльями и перелетаютъ вокругъ меня съ мѣста на мѣсто ангелы. Пусть улетаютъ злые и садятся вокругъ моей головы на ихъ мѣсто добрые! И пусть этотъ пѣтухъ умретъ за меня на этотъ годъ, а я буду жить, и Хава будетъ жива и будетъ меня слушать съ одного раза и будетъ у насъ съ нею всякую недѣлю гутъ-шабашъ...

И онъ протянулъ руку и дернулъ Хаву за руку, велѣлъ ей сварить и пѣтуха, и насѣдку; внутренности жертвенныхъ птицъ завязалъ въ узелокъ и положилъ на крышу дома, чтобы вороны унесли ихъ съ глазъ. Такъ Схаріей было сдѣлано все, что можно было сдѣлать для отвращенія грозной судьбы, и онъ слышалъ уже, какъ, прежде чѣмъ началась вечерняя молитва, два раввина разомъ въ одинъ голосъ начали восклицать ему публичное прощеніе. Но въ это самое время досадительная Хава разбудила мужа.

Небесный сводъ уже алѣлъ: занималась заря, свѣжая мартовская заря, предъ днемъ Пурима, торжественнаго празднества въ память побѣды Мардохея надъ Аманомъ. Это день, когда каждому благочестивому еврею не только разрѣшается, но даже вмѣняется въ обязанность пить до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ не въ состояніи отличить Амана отъ Мардохея.

Это не только день радости, но и день чудесъ, когда еврею сходитъ съ рукъ все, что бы онъ ни сдѣлалъ. Писано, что когда два знаменитыхъ раввина, Рабба и Сиро, сошлись въ этотъ день, чтобы вмѣстѣ упиться до несно-

собности различить Амана отъ Мардохея, то раввинъ Рабба принялъ за Амана раввина Сиро и убилъ его, и уложилъ подъ лавку, но и это нимало раввину Сиро не повредило, потому что когда раввинъ Рабба о немъ помолился, то Сиро сію же минуту ожилъ и такъ ловко убѣжалъ изъ-подъ лавки, что Рабба не могъ его догнать и даже совсѣмъ его не видѣлъ.

Въ этотъ день еврей безопасенъ отъ всѣхъ бѣдъ, а потому Схарія не боялся даже своего вѣщаго сна, который до зари пугалъ его цѣлымъ рядомъ послѣдовательно развивающихся злыхъ предзнаменованій.

Схарія всталъ бодро, мастерски выпотрошилъ рыбу, которую долженъ былъ самъ приготовить, и пошелъ въ синагогу, гдѣ долженъ былъ объявить, какъ поступить съ казакомъ, чтобы онъ ѣздилъ, но никого не тревожилъ.

Отвѣтъ этотъ, по своей простотѣ и краткости, отдавалъ чѣмъ-то библейскимъ; онъ весь состоялъ въ томъ, что пусть казакъ ѣздитъ, но пусть онъ оставляетъ лошадь гдѣ-нибудь со въѣзда и ходитъ черезъ мѣстечко пѣшкомъ; а главное, чтобы онъ не смѣлъ ни къ кому обращаться ни съ какимъ словомъ. Тогда ему нельзя будетъ никому грозить, никого пугать, и ничего онъ не уложитъ себѣ подъ сѣдло; а между тѣмъ комиссаръ съ маіоромъ будутъ играть, и дѣла въ трактирѣ Нахмана не остановятся, и всѣмъ будутъ идти добрые гешефты.

Планъ былъ очень хорошъ, и его одобрили всѣ евреи, и комиссаръ, и нашъ маіоръ, который немедленно же отдалъ въ этомъ смыслѣ точный приказъ Ананьеву и затѣмъ закатился самъ на ту сторону отыгрываться.

Кажется, даже самъ Ананьевъ, котораго это всѣхъ прямѣе касалось, и тотъ былъ этимъ доволенъ, и съ великою клятвой присягалъ маіору, что все то исполнитъ.

— Ей-Богу,— сказалъ онъ:—я, ваше благородіе, даже радъ, что этакъ уже по крайности съ меня вся напраслина снимется. А мнѣ что съ ними говорить? Богъ съ ними совсѣмъ; нешто мнѣ, кромѣ ихъ, не съ кѣмъ поговорить? Я и на своей сторонѣ поговорю.

Такъ большимъ и тонкимъ дипломатическимъ умомъ Схаріи былъ улаженъ, ко всеобщему удовольствію, этотъ казусный вопросъ, и Схарія, прекрасно проведя канунъ веселаго праздника, пошелъ держать съ своей Хавой опо-

чивъ, который долженъ былъ дать ему силу и крѣпость потрудиться завтра въ честь побѣдительнаго Амана и за столомъ, и за молитвой.

Но какъ въ старенькой пѣсенкѣ поется: «что на счастье прочно всякъ надежду кинь», то этою ночью, когда Схарія улегся по всѣмъ правиламъ талмудической науки и спалъ нагишомъ и на лѣвомъ боку, изображая собой Исаака, положеннаго на жертвенникъ, ему опять привидѣлся тотъ же зловѣщій сонъ вчерашней ночи и повторился во всѣхъ мельчайшихъ своихъ подробностяхъ.

Это Схарію смутило тѣмъ болѣе, что какъ ни точны на всѣ случаи жизни указанія раввиновъ, но такое буквальное повтореніе сна ими, вѣроятно, не было предвидѣно и во всей обширной наукѣ Схаріи не было рецепта, какъ поправить это дѣло, да и не было уже времени его поправлять; заря Пурима восходила, и Хава, соблюдая свой супружескій долгъ, возвѣщала объ этомъ толчкомъ въ бокъ своему супругу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Начался веселый Пуримъ; какъ подобаетъ по написанному и по переданному дѣдами, всѣ пришли утромъ въ синагогу, мужчины и женщины, причемъ почти каждый захватилъ съ собою ножичекъ, гвоздь и молотокъ или колотушку. Каждый тотчасъ съ прихода спѣшилъ нацарапать гдѣ-нибудь на видномъ мѣстѣ, на стѣнѣ или на чемъ другомъ, имя Амана для того, чтобы потомъ во время чтенія книги Эсѳирь «бить Амана»,—то-есть колотить по его выцарапанному имени, пока оно изгладится. Канторъ пропѣлъ громко исповѣдь, прочитавъ урокъ изъ книги Закона; Схарія, который старался скрыть свое смущеніе, откупилъ право обносить посреди синагоги Законъ, и всѣ сыны Израиля цѣловали на рукахъ его священный свитокъ. Послѣ этого чтецъ зачиталъ книгу Эсѳири, и при первомъ же звукѣ «Аманъ» по синагогѣ раздался оглушительный стукъ молотковъ и колотушекъ, которыми благочестивый народъ усердно изглаживалъ ненавистное ему имя. Схарія, какъ извѣстный законникъ, дѣйствовалъ всѣхъ ретивѣе. Онъ выгравировалъ предъ собою имя Амана крупнѣе и глубже, чѣмъ всѣ другіе, и съ перваго же раза ударилъ по немъ

такъ ожесточенно, что случилось самое ужаснѣйшее изъ ужасныхъ происшествій: большая, надежная колотушка Схаріи сломалась въ самой рукояткѣ, и ненавистное имя Амана оставалось во всемъ своемъ очевидномъ значеніи неизглаженнымъ. Рыжій-таки запечаталъ его книгу...

Это былъ скандалъ невѣроятный и примѣта самая скверная; порядокъ моленья нарушился; неизглаженнаго Схаріей Амана должны были добить другіе, что они и исполнили съ ожесточеніемъ общими силами, но, тѣмъ не менѣе, Схарія былъ страшно униженъ и сконфуженъ. Все обаяніе его сразу пало въ прахъ во мнѣніи мятежнаго народа, который легко бунтовался даже противъ самого Моисея. И Схарія видѣлъ это и не удивлялся; предзнаменованіе было слишкомъ зловѣщее, чтобы строго религіозный человѣкъ не отшатнулся отъ того, надъ кѣмъ такъ видимо тяготѣетъ какое-то ужасное указаніе. Всѣ сказали себѣ, что Схарія вѣрно чѣмъ-нибудь безъ мѣры тяжко согрѣшилъ и что онъ непремѣнно долженъ погибнуть. Всѣ отъ него отшатнулись, и кучки гуляющихъ въ праздничномъ уборѣ удалялись отъ его дома, какъ отъ зачумленнаго.

Положеніе было псаломское: Господь удалялъ отъ Схаріи и друга, и искренняго, и пріуготовлялъ его быть въ мерзость себѣ самому и въ поношеніе людямъ.

Если изъ васъ кто-нибудь такъ счастливъ, что уже переходилъ въ жизни полосу, когда человѣкъ весь видитъ себя въ рукѣ какой-то неодолимой власти, которая его мнетъ и тяготитъ, то вы можете понять это положеніе, а если вы еще сыры и не научены доброму смыслу и вѣдѣнію, то вы и не поймете, какъ въ подобныхъ случаяхъ человѣкъ удивительно одурѣваетъ и начинаетъ самъ лѣзть на свою погибель. Все это и продѣлалъ надъ собою въ совершенствѣ Схарія.

Мучительное сознаніе отверженія терзало его, но онъ отправлялъ праздникъ по установленію и усердно старался привести себя въ такое состояніе, когда благочестивый еврей перестаетъ отличать Амана отъ Мардохея. Доспѣвая къ этому, Схарія частенько подходилъ къ укрѣпленному въ углѣ поставцу и послѣ каждаго стаканчика отходилъ къ окну, растопыривалъ предъ собою обѣ руки и считалъ пальцы; но хмель былъ не разымчивъ и число пальцевъ все оставалось одно и то же: на двухъ рукахъ и теперь,

въ Пуримъ, все было десять пальцевъ, какъ будто въ самый простой день.

Съ коихъ поръ Схарія себя помнилъ, съ нимъ этого еще никогда не случалось. Не худо ли было винцо въ баклажкѣ, но каждый Пуримъ онъ припасалъ себѣ одно и то же винцо, которое чортъ его знаетъ почему называется «розенвейнъ», хотя состоитъ просто изъ смѣси коньяку и воды. Проще сказать, по-нашему это ополоски, которыми ополаскиваютъ бочки изъ-подъ красныхъ французскихъ винъ, подправляютъ коньякомъ и продаютъ жидамъ, а тѣ пьютъ и дурѣютъ. Въ былые годы Схарія отъ этого розенвейна видѣлъ у себя на двухъ рукахъ пальцевъ по двадцати, и теперь чѣмъ туже это давалось, тѣмъ онъ сильнѣе этого добивался. Онъ выпивалъ и, выпивая, расхаживалъ по комнатѣ и размышлялъ: за что такъ разгнѣвался на него Всесильный и въ самый Пуримъ отдалъ его въ посмѣяніе невѣждамъ? Если онъ, Схарія, чѣмъ-нибудь и согрѣшилъ болѣе или менѣе тяжко, если онъ даже когда-нибудь, садясь за столъ, позабылъ вымыть руки, то вѣдь и это можетъ быть изглажено въ такой праздникъ. Но сколько же у него, Схаріи, есть зато заслугъ и святыхъ дѣлъ? Не онъ ли, Схарія, всю свою жизнь подстерегалъ всѣ грѣхи христіанъ, выставлялъ ихъ на видъ своимъ старцамъ и дѣтямъ и лучше всѣхъ успокоивалъ ихъ совѣсть въ разрѣшеніи всякихъ присягъ, клятвъ и обѣщаній, данныхъ христіанину? Не онъ ли вредилъ христіанамъ неупустительно всегда и чѣмъ только могъ? Не онъ ли доказывалъ, какъ бѣдна и ничтожна христіанская вѣра, какъ она ничего не даетъ своимъ на землѣ, гдѣ они до сихъ поръ еще не научились, чтобы другъ друга поддерживать, а въ будущемъ даже и не обѣщаетъ имъ ничего такого, что бы могло согрѣть внутренность? Какъ осязательно онъ умѣлъ представить награды, которыя ждутъ вѣрныхъ евреевъ. Онъ умѣлъ научать всѣхъ вотъ именно въ этотъ веселый праздникъ Пуримъ забывать всѣ притѣсненія и бѣдствія, которыя они несутъ отъ ненавистныхъ христіанъ. Самаго несчастнаго и бѣднаго онъ приводилъ въ расположеніе мечтать теперь о хорошемъ пивѣ, о крѣпкомъ винѣ, о рыбѣ Левіаѳанѣ и о большомъ быкѣ, котораго пасутъ ангелы и даютъ ему въ день траву съ тысячи горъ.

Сердце Схаріи сохло и внутренность его требовала ро-

зенвейна: онъ подошелъ къ поставцу и сразу палилъ два заповѣдные сосуда: узкодонный бокалъ, изъ котораго онъ пилъ, когда женился на первой женѣ, бывшей дѣвушкой, и стаканъ, изъ котораго поила его Хава, выходившая за него замужъ вдовой.

— Жены мои, развеселите меня хмелемъ винограда и воспоминаніемъ того, что было, когда мы въ первый разъ пили вмѣстѣ изъ этихъ стакановъ!

Проговоривъ это, Схарія духомъ проглотилъ узкодонный бокалъ и стаканъ и, отойдя къ окну, опять растопырилъ и пересчиталъ всѣ свои пальцы.

Дѣло не подвигалось: на рукахъ у Схаріи продолжало оставаться десять пальцевъ. Было очевидно, чтобы выбиться изъ этого гнуснаго положенія, надо было прибѣгнуть къ послѣднимъ, самымъ дѣйствительнымъ средствамъ и уже ничего не жалѣть.

Схарія такъ и сдѣлалъ.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ,—пусть это не будетъ такъ! Нѣтъ; если ужъ на то пошло, то я уже ничего не пожалѣю и такъ и быть я обновлю Законъ въ синагогѣ.

У этихъ суевѣровъ «обновить», то-есть пожертвовать въ синагогу новый свитокъ, все равно, что у игроковъ смарать старыя записи. Но это стоитъ дорого, потому что «обновить» иначе нельзя, какъ чтобы новый свитокъ былъ наряднѣе того, который уже находится въ употребленіи.

Но Схарія рѣшилъ «обновить» и притомъ «безъ обмана», и объявилъ это Хавѣ.

— Жена моя, встань и слушай, слушай, что будетъ говорить твой мужъ, потому что я буду давать обѣтъ Богу и безъ всякой хитрости, и что я Ему обѣщаю, ты, Хава, будешь тому свидѣтельница.

— Только не надо обѣщать сроней,— отозвалась Хава.

— Нѣтъ, ты молчи и слушай. Это не твое дѣло: я обѣщаю, Хава, что если надъ нами не будетъ ничего худого и если я и ты, Хава, и всѣ дѣти мои, и весь домъ мой проживемъ этотъ годъ здорово до другого Пурима, то я, Хава, буду дѣлать большія жертвы: я выпишу, Хава, изъ Вильны самаго лучшаго писаря и прикажу ему списать весь Законъ на телячьемъ пергаментѣ большими, ровными, какъ одна, литерами. И это будутъ, Хава, такія книги, какихъ у насъ еще не было: всѣ онѣ будутъ списаны безъ

одной ошибки и кусокъ пергамена будетъ пришитъ къ другому куску воловьими жилами изъ быка, котораго я самъ заколю на это. И приколочу я пергаменъ къ крашенымъ палкамъ съ золотыми цвяшками... И это будетъ *мой Законъ*... О-о-о-й, не мѣшай, не мѣшай мнѣ обѣщаться, Хава: я знаю, что ты хочешь говорить, а ты только слушай. Тебѣ, Хава, не надо говорить, потому что я все знаю, и даю обѣтъ Богу за то, чтобы Онъ меня хорошо охранилъ до другого Пурима... Да; и тебѣ зато со мною хорошо будетъ, Хава. И когда все будетъ готово, Хава, ты приготовишь тогда гусель и перцу съ медомъ и всякихъ пряниковъ, только такъ хъ, чтобы отъ нихъ не болѣлъ крѣпко животъ и никто, ихъ поѣвши, не умеръ. Я куплю намоченныхъ яблоковъ и всякихъ хорошихъ плодовъ, и состроимъ балдахинъ... О-о-о-й, не мѣшай, Хава, не мѣшай, мнѣ это надо все громче кричать, чтобы всѣ ангелы слышали, что я обѣщаю! Построимъ балдахинъ съ золотомъ, Хава, и съ серебромъ... да, Хава,— съ настоящимъ яснымъ золотомъ, какъ Соломонъ дѣлалъ, и будетъ балдахинъ на двадцати четырехъ высокихъ крашеныхъ палкахъ, и всѣ будутъ за тѣ палки цѣпляться, а возьмутъ ихъ мои сыны и друзья, и мы одни понесемъ его по серединѣ всей улицы и впереди всѣхъ войдемъ въ синагогу, а книги будутъ нести раввины. Каждый раввинъ все будетъ нести всего по пяти шаговъ и перемѣняться,— да... по пяти...

— И за то имъ всѣмъ надо платить? — рѣшительно перебила Хава.

— Да, Хава, да; всѣмъ надо будетъ платить,—отвѣчалъ Схарія:—и мы всѣмъ заплатимъ, Хава. Что же такое: мы заплатимъ, но потомъ Богъ отдастъ намъ всемеро... Ты, вѣрно, забываешь, Хава, что Богъ долженъ отдать намъ все всемеро, и даже больше какъ всемеро.

— Еще отдастъ ли, и когда Онъ отдастъ!

— Хава, развѣ такъ можно говорить? Развѣ я не ученый человѣкъ, развѣ я не весь Законъ знаю; развѣ это не я тебѣ говорю? И какъ ты можешь мнѣ не вѣрить съ одного слова, когда я могу тебя за это отпустить.

— А если ты умрешь прежде, чѣмъ получишь отъ Бога всемеро, какой тогда будетъ намъ гешефтъ?

— Ага! вотъ ты опять не хорошо говоришь, Хава: право, ты не хорошо говоришь, для чего же я умру: я за то обѣтъ

дѣлаю, чтобы я не умеръ и былъ цѣлъ до другого Пурима, а ты говоришь, что я умру. Знаешь, я опять теперь боюсь, Хава, что твоя бабка была не Ева, а глупая Лалисъ, которая докучала Адаму тѣмъ, что все спорила. Смотри, Хава, чтобы я за это не далъ тебѣ разводъ.

Но Хава, относительно еще молодая жена Схаріи, которая была маловѣрна и довольно скупа, а къ тому же знала себѣ цѣну, рѣшительно возстала противъ цѣнныхъ обѣтовъ и, указывая на преклонные годы Схаріи и на свою относительную молодость и на кучу здѣсь же шнырявшихъ и валявшихся по перинамъ дѣтей, съ совершенно несвойственною еврейкѣ самостоятельностью, рѣшительно протестовала противъ такъ торжественно признесеннаго ея мужемъ обѣта.

Схарія, какъ ни былъ преисполненъ самой основательной ученой солидности, не могъ снести этой дерзости: онъ сталъ сердиться, кричать, а наконецъ, видя, что не можетъ побѣдить строптивой жены, сказалъ ей:

— Штиль! я завтра же напишу тебѣ разводное письмо, да непремѣнно! и велю писарю написать его ровными, одна къ одной буквами и безъ всякой ошибки, и ты его возьми и ступай вонъ, и пусть имя твое изгладится въ потомствѣ.

И Схарія въ гнѣвѣ подошелъ опять къ шкапу и налилъ себѣ розенвейна, а Хава, которая не очень боялась изглажденія своего имени, но очень боялась остаться безъ денегъ, спокойно отвернулась къ окну, но вдругъ пронзительно вскрикнула:

— Что тамъ?—спросилъ Схарія.

— Казакъ,—прошептала Хава и указала на свои ворота, въ которыя Ананьевъ тянулъ за поводъ свою длинноногую поджарую лошадь.

Схарія уронилъ стаканъ и, взглянувъ торопливо на свои пальцы, увидалъ, что ихъ ни одного нѣтъ... Да, совсѣмъ ни одного не было, а предъ глазами только какой-то огромный трясущійся паукъ косилъ во всѣ стороны кривыми ногами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Схарія наладилъ свое дѣло! Его обѣтъ уже несомнѣнно принесъ свои плоды: исчезновеніе пальцевъ возвѣщало при-

ближеніе того вожделѣннаго состоянія, когда онъ не станетъ отличать Амана отъ Мардохея, а тогда по его молитвѣ будутъ твориться чудеса, какія творились по молитвѣ Рабба, убившаго и воскресившаго раввина Сиро. Меламедъ сообразилъ это и быстро поправился: казакъ ему пересталъ быть страшенъ.

— Не смѣй кричать! сказалъ онъ женѣ:—ты увидишь, что я съ нимъ сдѣлаю.

— Нѣтъ, ты смотри, что онъ дѣлаетъ,—и Хава указала на Ананьева, который въ это время щелкнулъ нагайкой по боку хозяйскую корову, что меланхолически жевала сѣно у обрѣза, и, отогнавъ ее, поставилъ къ сѣну свою донскую клячу.

— Это ничего,—отвѣчалъ Схарія.

— А коровѣ больно: она не дастъ молока, и когда у нея заболитъ печенка, она будетъ трефъ.

— Если у нея заболитъ печенка, мы ее продадимъ христіанамъ и намъ не будетъ никакого убытка.

— А когда онъ придетъ и будетъ просить ѣсть.

— Онъ не можетъ, Хава, просить, онъ ничего *съ нами* говорить не смѣетъ.

— А когда онъ станетъ пугать?

— Онъ не будетъ пугать!

— Почему не будетъ?

— Молчи: я знаю: онъ *съ нами* ничего дѣлать не смѣетъ.

— А какъ онъ украдетъ мою серебряную ложку?

— Ты сядь, Хава, на ложку; сядь на нее хорошенько, какъ Рахиль, и онъ ея не украдетъ, а мнѣ скорѣе подай изъ шкапа листъ бумаги и чернила, и смотри и понимай, что умно-преумно буду дѣлать. Теперь смирно: онъ входитъ.

— И онъ съ кѣмъ-то говоритъ, Схарія,—робко прошептала Хава.

— Молчи; пусть съ кѣмъ хочетъ говоритъ, а съ нами онъ говорить не будетъ. Тутъ я буду говорить; ты замѣчай, Хава, что я буду говорить. Я буду очень умно говорить.

Въ это время сильный толчокъ изъ сѣней отворилъ дверь и на порогѣ показался во весь свой огромный ростъ казакъ Ананьевъ. По дипломатическимъ условіямъ своей поѣздки онъ былъ безо всякаго оружія, но съ нагайкой, увѣсистость которой уже испытала на себѣ Схаріина корова.

Дѣти, видя казака, сначала-было всѣ сразу заплакали,

но когда Хава загребла ихъ кучкой въ уголь и покрыла своею ватною юбкой, они сейчасъ же стихли. Въ покоѣ водворилось мертвое молчаніе.

Казакъ немножко покачивался: онъ, очевидно, былъ пьянъ. Это такъ и слѣдовало. Пуримъ справлялся не на одной австрійской сторонѣ, а и на нашей, гдѣ благочестивыхъ евреевъ еще болѣе, чѣмъ въ Австріи, и всѣ они не менѣе австрійскихъ крѣпки въ отеческихъ преданіяхъ.

Моментъ былъ тягостный и острый, который, повидимому, ни одна, ни другая сторона не знали какъ прервать; но это длилось не долго, и меламедъ первый далъ починъ къ оживленію сцены.

Схарія, какъ будто не обращая на казака вниманія, взялъ въ руку перо и, глядя на него, заговорилъ по-русски:

— Ой, перо мое, перо! ой, кабы ты могло знать, мое перо, что̀ я съ тобою буду дѣлать? А я съ тобою сейчасъ буду писать все, что̀ здѣсь будетъ говорить чужой человѣкъ, которому ничего по сей бокъ ни съ какимъ цезарскимъ человѣкомъ говорить не велѣно. И какъ, что онъ скажетъ, я все сейчасъ запишу и пошлю то къ комиссару, а комиссаръ отошлетъ московскому маіору, а московскій маіоръ выбьетъ тѣ слова кому надо по-московски на спину, и будетъ тогда отъ этого чужому человѣку совсѣмъ очень прескверно. Теперь слушай, мое перо, и пиши хорошенько.

Проговоривъ это, Схарія обмакнулъ перо, положилъ руку на бумагу и приготовился писать; но писать было нечего. Ананьевъ не обращался ни съ однимъ словомъ ни къ Схаріи, ни къ его Хавѣ, ни къ ихъ дѣтямъ, а, выслушавъ политичную рѣчь меламеда, повелъ противъ него свою политику.

Стоя посреди горницы, казакъ прежде всего вынулъ изъ шароваръ трубку и началъ ее молча набивать. Потомъ закурилъ трубку собственною спичкой, спряталъ въ шаровары кисетъ и, усѣвшись на скамьѣ за столомъ, вытащилъ изъ кармана маленькій бѣлый миткалевый платочекъ и преосторожно-осторожно началъ его разворачивать.

Казакъ раскрывалъ свой платокъ, точно въ немъ былъ завернутъ какой-то драгоцѣнный перстень, но, разумѣется, ни перстня, ни какой другой драгоцѣнности въ платкѣ не было. Это досконально видѣлъ и Схарія, и его жена, и ихъ дѣти, и баба Оксана. Похоже было, что это какая-то хит-

столбѣ, и поганая птица съ большимъ носомъ сядетъ на нихъ и будетъ ихъ ѣсть. А мы дадимъ этому дураку водки и рыбы и больше ничего, потому что у меня есть настоящій умъ, который все злое можетъ передѣлать. Пусть онъ думаетъ, что ему все это принесла сюда его знагайка, и пусть сдѣлаетъ этакъ же завтра съ Шліомою. Вотъ что я выдумалъ!

И Схарія отъ нетерпѣнія самъ помогалъ скорѣе выставлять на указанное казакомъ мѣсто бутылку вина и полмисокъ съ рыбой, и былъ очень радъ, что въ эту же самую минуту въ окнѣ мелькнула фигура Ананьева и чрезъ секунду находчивый плутъ самъ появился.

Одно, что не было приготовлено Ананьеву, это не поставили ему другой скамейки, но походный человѣкъ за этимъ не гонится; нашъ же казакъ теперь былъ особенно скоръ и рѣшителенъ: онъ даже выпилъ всего одну рюмку водки, а всю остальную бутылку спустилъ за голенище; а кушанье только попробовалъ и замѣтилъ, что жиды очень мало рыбы въ перецъ кладутъ. А затѣмъ собралъ все въ платокъ и прочелъ казачью молитву:

— Богъ напиталъ — чортъ не видалъ, а если видѣлъ — не обидѣлъ. И тебѣ, нагайка, спасибо: хорошо спроворила, за то и не будешь о жидовъ бита; а теперь хочешь здѣсь оставайся, хочешь вели бабѣ, чтобъ она несла тебя за мной съ почестью.

— Неси ее! — шепнулъ грозно Оксанѣ Схарія.

И та понесла нагайку за Ананьевымъ, который, войдя на дворъ, отвязалъ отъ обрѣза свою клячу и сталъ подтягивать подпруги, но вдругъ слышитъ — баба говоритъ ему:

— Господа Москалю, а господа Москалю!

Казакъ посмотрѣлъ на нее и отвѣчаетъ:

— Молчи, тетка, мнѣ въ вашемъ царствѣ съ вами говорить нельзя.

— Да мени отъ васъ только одно слово треба.

— Какое одно слово: худое или доброе?

— Скажите мени, чи вы чего у насъ не вкралы?

— Что ты, что ты, дура! Развѣ мы не крещеные?

— Да що съ того, що вы хрещены, да крадете, а меня потомъ хозяева бить будутъ.

— Бить будутъ! Вотъ видишь жизнь-то у васъ какая горькая!

— Отдайте же що вы вкралы?

— Да отвяжись ты отъ меня, сдѣлай милость, съ такими пустяками. Ты лучше молись Царицѣ Небесной, чтобы мы васъ поскорѣй побѣдили и за себя взяли, тогда тебя жидъ не посмѣетъ бить.

— Да що молиться, я и такъ молюсь, щобъ и вы побидыли и щобъ васъ побидыли, а яки не побидятся, тихъ щобы сила Божа побидыла, тылько скажите, що вы у меня вкралы?

Казакъ и разсердился.

— Тьфу ты, дура, говоритъ: — съ тобой и словъ тратить нечего!

Вскочилъ на коня и говоритъ:

— Подай мою нагайку.

Но Оксана, что бы вы думали:

— Эге, — говоритъ — нѣтъ, вы мени отдайте що вы вкралы.

Тутъ Ѳомка Ананьевъ уже совсѣмъ взбѣсился, да къ ней, а она отъ него, да въ сѣни заперлась, а нагайка у нея въ рукахъ осталась. А казакъ туда-сюда, ломиться не смѣетъ — и былъ таковъ — ускакалъ на свою сторону. И вышла всѣхъ дальновиднѣе баба Оксана, а всѣхъ глупѣе мудрый Схарія, который тутъ только и понялъ, какъ онъ просто могъ отдѣлаться. Съ этой поры мой Схарія и сталъ у всѣхъ въ посмѣшищѣ и доживаетъ вѣкъ въ дуракахъ, ожидая, пока придетъ часъ обмазать ему голову сырымъ яйцомъ и зарыть его въ землю. Вотъ вамъ и «страшный жидъ» съ расчетомъ. Конечно, можетъ-быть это къ другимъ въ примѣръ не идетъ, ну да я вѣдь это такъ разсказалъ, къ тому, что и разсчетливый просчитывается. Не взыщите. А теперь спать бы! да если ночью тревога, пожалуйста вставать — не копаться.

БѢЛЫЙ ОРЕЛЪ.

(ФАНТАСТИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ).

«Собакѣ снится хлѣбъ, а рыба — рыбаку».
Феокритъ (Идиллія).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Есть вещи на свѣтѣ. Съ этого обыкновенно у насъ принято начинать подобные разсказы, чтобы прикрыться Шекспиромъ отъ стрѣлъ остроумія, которому нѣтъ ничего неизвѣстнаго. Я, впрочемъ, все-таки думаю, что «есть вещи» очень странныя и непонятныя, которыя иногда называютъ сверхъестественными, и потому я охотно слушаю такіе разсказы. Поэтому же самому, два-три года тому назадъ, когда мы, умаляясь до дѣтства, начали играть въ духовидство, я охотно присоєдился къ одному изъ такихъ кружковъ, уставомъ котораго требовалось, чтобы въ нашихъ собраніяхъ по вечерамъ не произносить ни одного слова ни о властяхъ, ни о началахъ міра земного, а говорить единственно о безплотныхъ духахъ — объ ихъ появленіи и участіи въ судьбахъ людей живущихъ. Даже «консервировать и спасать Россію» не дозволялось, потому что и въ этомъ случаѣ многіе, «начиная за здравіе, все сводили за упокой».

На этомъ же основаніи строго преслѣдовалось всякое упоминовеніе всуе какихъ бы то ни было «большихъ именъ», кромѣ единственнаго имени Божія, которое, какъ извѣстно, наичаще употребляется для красоты слога. Бывали, конечно, нарушенія, но и то съ большою осторожкой. Развѣ какіе-нибудь два нетерпѣливѣйшіе изъ политиковъ отобьются

къ окну или къ камину и что-то пошепчутъ, но и то одинъ другого предостерегаетъ: «pas si haut!» А хозяинъ ихъ уже назираетъ, и шутя грозитъ имъ штрафомъ.

Каждый долженъ былъ по очереди разсказывать что-нибудь фантастическое *изъ своей жизни*, а какъ умѣнье разсказывать дается не всякому, то къ разсказамъ съ художественной стороны не придирались. Не требовали также и доказательствъ. Если разсказчикъ говорилъ, что разсказываемое имъ событіе, дѣйствительно, происходило съ нимъ, ему вѣрили, или, по крайней мѣрѣ, притворялись, будто вѣрятъ. Такой былъ этикетъ.

Меня это больше всего занимало со стороны субъективности. Въ томъ, что «есть вещи, которыя не снились мудрецамъ», я не сомнѣваюсь, но какъ такія вещи кому представляются — это меня чрезвычайно занимало. И въ самомъ дѣлѣ, субъективность тутъ достойна большого вниманія. Какъ, бывало, ни старается разсказчикъ, чтобы стать въ высшую сферу безплотнаго міра, а все непремѣнно замѣтишь, какъ замогильный гость приходитъ на землю окрашиваясь, точно свѣтовой лучъ, проходящій черезъ цвѣтное стекло. И тутъ уже не разберешь, что ложь, что истина, а между тѣмъ слѣдить за этимъ интересно, и я хочу разсказать такой случай.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

«Дежурнымъ мученикомъ», т. е. очереднымъ разсказчикомъ было довольно высокопоставленное и притомъ очень оригинальное лицо, Галактіонъ Ильичъ, котораго въ шутку звали «худородный вельможа». Въ кличкѣ этой скрывался каламбуръ: онъ, дѣйствительно, былъ немножко вельможа и притомъ былъ страшно худъ, а вдобавокъ имѣлъ очень незнатное происхожденіе. Отецъ Галактіона Ильича былъ крѣпостнымъ буфетчикомъ въ именитомъ домѣ; потомъ откупщикомъ и, наконецъ, благотворителемъ и храмоздателемъ, за что получилъ въ сей бренной жизни орденъ, а въ будущей мѣсто въ царствѣ небесномъ. Сына онъ обучалъ въ университетѣ и вывелъ въ люди, но «вѣчная память», которую пѣли ему надъ могилой въ Невской лаврѣ, сохранилась и тяготѣла надъ его наслѣдникомъ. Сынъ «человѣка» достигъ извѣстныхъ степеней и допускался въ

общество, но шутка все-таки волокла за нимъ титулъ «худороднаго».

Объ умѣ и способностяхъ Галактіона Ильича едва ли у кого-нибудь были ясныя представленія. Что онъ могъ сдѣлать и чего не могъ,—этого тоже навѣрно никто не зналъ. Кондуитъ его былъ коротокъ и простъ: онъ въ началѣ службы, по заботамъ отца, попалъ къ графу Виктору Никитичу Панину, который любилъ старика за какія-то извѣстныя ему достоинства и, принявъ сына подъ свое крыло, довольно скоро выдвинулъ его за тотъ предѣлъ, съ котораго начинаются «ходы».

Во всякомъ случаѣ надо думать, что онъ имѣлъ какія-нибудь достоинства, за которыя Викторъ Никитичъ могъ его повышать. Но въ свѣтѣ, въ обществѣ Галактіонъ Ильичъ успѣха не имѣлъ и вообще не былъ избалованъ насчетъ житейскихъ радостей. Онъ имѣлъ самое плохое, хлипкое здоровье и фатальную наружность. Такой же долгій, какъ его усопшій патронъ, графъ Викторъ Никитичъ, — онъ не имѣлъ, однако, внѣшняго величія графа. Напротивъ, Галактіонъ Ильичъ внушалъ ужасъ, смѣшанный съ нѣкоторымъ отвращеніемъ. Онъ въ одно и то же время былъ типическій деревенскій лакей и типическій живой мертвецъ. Длинный, худой его остовъ былъ едва обтянутъ сѣроватой кожей, непомѣрно высокій лобъ былъ сухъ и желтъ, а на вискахъ отливала блѣдная трупная зелень, носъ широкій и короткій, какъ у черепа; бровей ни признака, всегда полуоткрытый ротъ съ сверкающими длинными зубами, а глаза темные, мутные, совершенно безцвѣтные и въ совершенно черныхъ глубокихъ яминахъ.

Встрѣтить его—значило испугаться.

Особенностью наружности Галактіона Ильича было то, что въ молодости онъ былъ гораздо страшнѣе, а къ старости становился лучше, такъ что его можно было переносить безъ ужаса.

Характера онъ былъ мягкаго и имѣлъ доброе, чувствительное и даже, какъ сейчасъ увидимъ, — сентиментальное сердце. Онъ любилъ мечтать и, какъ большинство дурнорожихъ людей, глубоко таилъ свои мечтанія. Въ душѣ онъ былъ поэтъ больше чѣмъ чиновникъ и очень жадно любилъ жизнь, которою никогда во все удовольствіе не пользовался.

Несчастіе свое онъ несъ на себѣ и зналъ, что оно вѣчно

и неотступно съ нимъ до гроба. Въ самомъ его возвышеніи по службѣ для него была глубокая чаша горечи: онъ подозрѣвалъ, что графъ Викторъ Никитичъ держалъ его при себѣ докладчикомъ больше всего въ тѣхъ соображеніяхъ, что онъ производилъ на людей подавляющее впечатлѣніе. Галактіонъ Ильичъ видѣлъ, что когда люди, ожидающіе у графа пріема, должны были изложить ему цѣль своего прихода,—у нихъ меркъ взоръ и подгибались колѣна... Этимъ Галактіонъ Ильичъ много содѣйствовалъ тому, что послѣ него личная бесѣда съ самимъ графомъ каждому была уже легка и отрадна.

Съ годами Галактіонъ Ильичъ изъ чиновника докладывающаго сталъ самъ лицомъ, которому докладываютъ, и ему дано было очень серьезное и щекотливое порученіе въ отдаленной мѣстности, гдѣ съ нимъ и случилось сверхъестественное событіе, о которомъ ниже слѣдуетъ его собственный разсказъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Не съ большимъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ, началъ худородный сановникъ, до Петербурга стали доходить слухи о многихъ злоупотребленіяхъ власти губернатора П—ва. Злоупотребленія эти были обширны и касались почти всѣхъ частей управленія. Писали, будто губернаторъ собственноручно билъ и сѣкъ людей; забиралъ вмѣстѣ съ предводителемъ для своихъ заводовъ всю мѣстную поставку вина; бралъ произвольныя ссуды изъ приказа; требовалъ къ себѣ для пересмотра всю почтовую корреспонденцію—подходящее отправлялъ, а неподходящее рвалъ и металъ въ огонь, а потомъ мстилъ тѣмъ, кто писалъ; томилъ людей въ неволѣ. А при этомъ онъ былъ, однако, артистъ, содержалъ большой, очень хорошій оркестръ, любилъ классическую музыку и самъ превосходно игралъ на віолончели.

Долго о его безчинствахъ доносились только слухи, но потомъ взялся тамъ одинъ маленькій чиновникъ, который притащился сюда въ Петербургъ, очень обстоятельно и въ подробности описалъ всю эпопею, и подалъ ее самъ въ надлежащія руки.

Исторія выходила такая, что хоть сейчасъ сенаторскую ревизію назначать. По-настоящему оно такъ бы и слѣдо-

вало, но и губернаторъ, и предводитель были на лучшемъ счетѣ у покойнаго государя, а потому взяться за нихъ было не совсѣмъ просто. Викторъ Никитичъ хотѣлъ прежде обо всемъ удостовѣриться поточнѣе черезъ *своего* человѣка и выборъ его палъ на меня.

Призываетъ онъ меня и говоритъ:

— Такъ и такъ, доходятъ вотъ такія и такія печальныя вѣсти и, къ сожалѣнію, кажется, въ нихъ какъ будто есть статочность; но прежде чѣмъ дать дѣлу какое-нибудь движеніе, я желаю въ этомъ поближе удостовѣриться и рѣшилъ употребить на это васъ.

Я кланяюсь и говорю:

— Если могу, буду очень счастливъ.

— Я увѣренъ,—отвѣчаетъ графъ:—что вы можете, и я на васъ полагаюсь. У васъ есть такой талантъ, что вамъ вздоровъ говорить не станутъ, а всю правду выложатъ.

— Талантъ этотъ,—пояснилъ, тихо улыбнувшись, разсказчикъ:—это моя печальная фигура, наводящая уныніе на фронтъ; но кому что дано, тотъ съ тѣмъ и мыкайся.

— Бумаги всѣ для васъ уже готовы,—продолжалъ графъ: — и деньги тоже. Но вы ѣдете *только* по одному нашему вѣдомству... Понимаете *только!*

— Понимаю, говорю.

— Ни до какихъ злоупотребленій по другимъ вѣдомствамъ вамъ какъ будто дѣла нѣтъ. Но это только такъ должно казаться, что *нѣтъ*, а на самомъ дѣлѣ вы должны узнать *все*. Съ вами поѣдутъ два способныхъ къ дѣлу чиновника. Пріѣзжайте, засядьте за дѣло и вникайте будто всего внимательнѣе въ канцелярскій порядокъ и формы судопроизводства, а сами смотрите во все... Призывайте мѣстныхъ чиновниковъ для объясненій и... смотрите *построже*. А назадъ не торопитесь. Я вамъ дамъ знать, когда вернуться. Какая у васъ послѣдняя награда?

Я отвѣчаю:

— Владиміръ второй степени съ короной.

Графъ снялъ своей огромной рукою его извѣстный тяжелый бронзовый прессъ-папье «убитую птичку», досталъ изъ-подъ него столовую памятную тетрадь, а правою рукою всѣми пятью пальцами взялъ толстый исполинъ-карандашъ чернаго дерева и, нимало отъ меня не скрывая, написалъ мою фамилію и противъ нея «*бѣлый орелъ*».

Такимъ образомъ я зналъ даже награду, которая ожидала меня за исполненіе возложеннаго на меня порученія, и съ тѣмъ совершенно спокойный уѣхалъ на другой же день изъ Петербурга.

Со мною былъ мой слуга Егоръ и два чиновника изъ сената—оба люди ловкіе и свѣтскіе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Доѣхали мы, разумѣется, благополучно; прибывъ въ городъ, наняли квартиру и расположились всѣ: я, мои два чиновника и слуга.

Помѣщеніе было такое удобное, что я вполнѣ могъ отказаться отъ удобнѣйшаго, которое мнѣ предупредительно предлагалъ губернаторъ.

Я, разумѣется, не хотѣлъ быть ему обязанъ ни малѣйшей услугой, хотя мы съ нимъ, конечно, не только размѣнялись визитами, но даже я разъ или два былъ у него на его гайденовскихъ квартетахъ. Но, впрочемъ, я до музыки не большой охотникъ и не знатокъ, да и вообще, понятно, старался не сближаться болѣе, чѣмъ мнѣ нужно, а нужно мнѣ было видѣть не его галантность, а его темныя дѣянія.

Впрочемъ, губернаторъ былъ человѣкъ умный и ловкій и своимъ вниманіемъ мнѣ не докучалъ. Онъ какъ будто оставилъ меня въ покоѣ возиться съ входящими и исходящими регистрами и протоколами, но тѣмъ не менѣе я все-таки чувствовалъ, что вокругъ меня что-то копошится, что люди выщупываютъ, съ какой бы стороны меня уловить и потомъ, вѣроятно, запутать.

Къ стыду рода человѣческаго долженъ упомянуть, что не считаю въ этомъ совсѣмъ безучастными даже и прекрасный полъ. Ко мнѣ стали являться дамы то съ жалобами, то съ просьбами, но при всемъ этомъ всегда еще съ такими планами, которымъ я могъ только подивиться.

Однако, я вспомнилъ совѣтъ Виктора Никитича, — «посмотрѣлъ построже», и граціозныя видѣнія сникли съ моего, неподходящаго для нихъ горизонта. Но мои чиновники имѣли въ этомъ родѣ успѣхи. Я это зналъ и не препятствовалъ имъ ни волочиться, ни выдавать себя за очень большихъ людей, за какихъ ихъ охотно принимали. Мнѣ было даже полезно, что они тамъ кое-гдѣ вращаются и преуспѣваютъ въ сердцахъ. Я требовалъ только, чтобы не

случилось никакого скандала, и чтобы мнѣ было извѣстно: на какіе пункты ихъ общительности сильнѣе налегаетъ провинціальная политика.

Они были ребята добросовѣстные и все мнѣ открывали. Отъ нихъ все хотѣли узнать мою слабость и что я особенно люблю.

Имъ бы поистинѣ этого никогда не добраться, потому что, благодаря Бога, особенныхъ слабостей у меня нѣтъ, да и самые вкусы мои, съ коихъ поръ себя помню, всегда были весьма простые. Ѣмъ я всю жизнь столъ простой, пью обыкновенно одну рюмку простого хересу, даже и въ лакомствахъ, до которыхъ смолоду былъ охотникъ, — всякимъ тонкимъ желе и ананасамъ предпочитаю астраханскій арбузъ, курскую грушу или, по дѣтской привычкѣ, медовый папошникъ. Не завидовалъ я никогда ничьему богатству, ни знаменитости, ни красотѣ, ни счастью, а если чему завидовалъ, то можно сказать развѣ одному *здоровью.* Но и то слово зависть не идетъ къ опредѣленію моего чувства. Видъ цвѣтущаго здоровьемъ человѣка не возбуждалъ во мнѣ досадливой мысли: зачѣмъ онъ таковъ, а я не таковъ. Напротивъ, я глядѣлъ на него только радуясь, какое море счастія и благъ для него доступно, и тутъ, бывало, развѣ иногда помечтаю на разные лады о невозможномъ для меня счастіи пользоваться здоровьемъ, котораго мнѣ не дано.

Пріятность, которую доставлялъ мнѣ видъ здороваго человѣка, развила во мнѣ такую же странность въ эстетическомъ моемъ вкусѣ: я не гонялся ни за Тальони, ни за Бозіо, и вообще былъ равнодушенъ какъ къ оперѣ, такъ и къ балету, гдѣ все такое искусственное, а больше любилъ послушать цыганъ на Крестовскомъ. Ихъ этотъ огонь и пылъ, эта ихъ страстная сила движеній мнѣ лучше всего нравились. Иной даже не красивъ, корявый какой-нибудь, а пойдетъ точно самъ сатана его дергаетъ, ногами пляшетъ, руками машетъ, головой вертитъ, таліей крутитъ — весь и колотитъ, и молотитъ. А тутъ въ себѣ знаешь только однѣ немощи, и поневолѣ заглядишься и замечтаешься. Что съ этимъ можно вкусить на пиру жизни?

Вотъ я и сказалъ моему чиновнику:

— Если васъ, другъ мой, будутъ еще разспрашивать: что мнѣ болѣе всего нравится, скажите, что здоровье, что я

больше всего люблю людей бодрыхъ, счастливыхъ и веселыхъ.

— Кажется, тутъ нѣтъ большой неосторожности?—пріостановясь вопросилъ разсказчикъ.

Слушатели подумали, и нѣсколько голосовъ отвѣчали:

— Конечно, нѣтъ.

— Ну, и прекрасно, и я тоже думалъ, что нѣтъ, а теперь вы извольте дальше слушать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ко мнѣ изъ палаты присылали въ мое распоряженіе на дежурство чиновника. Такъ, онъ докладывалъ мнѣ о приходящихъ, отмѣчалъ кое-что и, въ случаѣ надобности, сообщалъ адресы за кѣмъ надо было послать или о чемъ-нибудь сходить справиться. Чиновникъ данъ былъ подъ стать мнѣ, — пожилой, сухой и печальный. Впечатлѣніе производилъ нехорошее, но я мало обращалъ на него вниманія, а звали его, какъ я помню, Орнатскій. Фамилія прекрасная, точно герой изъ стариннаго романа. Но вдругъ въ одинъ день говорятъ: Орнатскій занемогъ и вмѣсто его экзекуторъ прислалъ другого чиновника.

— Какой-такой? спрашиваю. — Можетъ-быть я лучше бы подождалъ, пока Орнатскій выздоровѣетъ.

— Нѣтъ-съ,—отвѣчаетъ экзекуторъ:—Орнатскій теперь не скоро,—онъ запилъ-съ и запой у него продолжится, пока Ивана Петровича мать его выпользуетъ, а о новомъ чиновникѣ не извольте безпокоиться: вамъ вмѣсто Орнатскаго самого Ивана Петровича назначили.

Я на него смотрю и немножечко не понимаю: про какого это онъ мнѣ про *самого* Ивана Петровича говоритъ, и въ двухъ строкахъ два раза его проименовалъ.

— Что это, говорю,—за Иванъ Петровичъ?

— Иванъ Петровичъ!.. это, который у регистратуры сидитъ, — помощникъ. Я думалъ, что вы его изволили замѣтить: самый красивый, его всѣ замѣчаютъ.

— Нѣтъ, говорю, — я не замѣтилъ, а какъ его зовутъ?

— Иванъ Петровичъ.

— А фамилія?

— Фамилія...

Экзекуторъ сконфузился, взялся тремя пальцами за лобъ

и силился припомнить, но вмѣсто того, почтительно улыбаясь, добавилъ:

— Простите, ваше превосходительство, вдругъ какъ столбнякъ нашелъ и не могу вспомнить. Фамилія его Аквиляльбовъ, но мы всѣ его называемъ просто Иванъ Петровичъ или иногда въ шутку «Бѣлый орелъ» за его красоту. Человѣкъ прекрасный, на счету у начальства, жалованья по должности помощника получаетъ четырнадцать рублей пятнадцать копеекъ, живетъ съ матушкой, которая нѣкоторымъ гадаетъ и пользуетъ. Позвольте представить: Иванъ Петровичъ дожидается.

— Да, ужъ если такъ нужно, то попросите, пожалуйста, сюда этого Ивана Петровича.

— Бѣлый орелъ!.. думаю себѣ: — что это за странность. Мнѣ орденъ слѣдуетъ бѣлый орелъ, а не Иванъ Петровичъ.

А экзекуторъ пріотворилъ дверь и крикнулъ:

— Иванъ Петровичъ, пожалуйте.

Я не могу вамъ его описывать безъ того, чтобы не впадать въ нѣкоторый шаржъ и не дѣлать сравненій, которыя вы можете счесть за преувеличенія, но я вамъ ручаюсь, что какъ бы я ни старался расписать вамъ Ивана Петровича — живопись моя не можетъ передать и половины красотъ оригинала.

Передо мною стоялъ настоящій «Бѣлый орелъ», форменный Aquila alba, какъ его изображаютъ на полныхъ парадныхъ пріемахъ у Зевса. Высокій, крупный, но чрезвычайно пропорціональный мужчина и такого здороваго вида, будто онъ никогда не горѣлъ и не болѣлъ, и не зналъ ни скуки, ни усталости. Отъ него пышило здоровьемъ, но не грубо, а какъ-то гармонично и привлекательно. Цвѣтъ лица у Ивана Петровича былъ весь нѣжно-розовый съ широкимъ румянцемъ, щеки обрамлены свѣтло-русымъ пушкомъ, который, однако, уже переходилъ въ зрѣлую растительность. Лѣтъ ему было какъ разъ двадцать пять; волосы свѣтлые, слегка волнистые blonde и такая же бородка съ нѣжной подпалиной и синіе глаза подъ темными бровями и въ темныхъ рѣсницахъ. Словомъ, сказочный богатырь Чурило Апленковичъ не могъ быть лучше. Но прибавьте къ этому смѣлый, очень осмысленный и весело открытый взглядъ, и вы имѣете передъ собою

настоящаго красавца. Одѣтъ онъ въ вицмундиръ, который сидѣлъ отлично, и темно-гранатнаго цвѣта шарфъ съ пышнымъ бантомъ.

Тогда носили шарфы.

Я и залюбовался Иваномъ Петровичемъ, и зная, что произвожу на людей, первый разъ меня видящихъ, впечатлѣніе не легкое, сказалъ запросто:

— Здравствуйте, Иванъ Петровичъ!

— Здравія желаю, ваше превосходительство, — отвѣчалъ онъ очень задушевнымъ голосомъ, который тоже показался мнѣ чрезвычайно симпатичнымъ.

Говоря отвѣтную фразу въ солдатской редакціи, онъ, однако, мастерски умѣлъ дать своему тону оттѣнокъ простой и вполнѣ позволительной шутливости, и въ то же время одинъ этотъ отвѣтъ устанавливалъ для всей бесѣды характеръ своего рода семейной простоты.

Мнѣ становилось понятнымъ, почему этого человѣка «всѣ любятъ».

Не видя никакой причины мѣшать Ивану Петровичу держать его тонъ, я сказалъ ему, что я радъ съ нимъ познакомиться.

— И я съ своей стороны тоже считаю это для себя за честь и за удовольствіе,— отвѣчалъ онъ стоя, но выступивъ шагъ впередъ своего экзекутора.

Мы раскланялись,—экзекуторъ ушелъ на службу, а Иванъ Петровичъ остался у меня въ пріемной.

Черезъ часъ я попросилъ его къ себѣ и спросилъ:

— У васъ хорошій почеркъ?

— У меня характеръ письма твердый,—отвѣчалъ онъ и сейчасъ же добавилъ: — вамъ угодно, чтобы я что-нибудь написалъ.

— Да, потрудитесь.

Онъ сѣлъ за мой рабочій столъ и черезъ минуту подалъ мнѣ листъ, посереднѣ котораго четкою скорописью «твердаго характера» было написано: «Жизнь на радость намъ дана.—Иванъ Петровъ Аквиліальбовъ».

Я прочелъ и неудержимо разсмѣялся: лучше того, что онъ написалъ, не могло къ нему идти никакое выраженіе. «Жизнь на радость»; *вся* жизнь для него сплошная радость!

Совсѣмъ въ моемъ вкусѣ человѣкъ!..

и силился припомнить, но вмѣсто того, почтительно улыбаясь, добавилъ:

— Простите, ваше превосходительство, вдругъ какъ столбнякъ нашелъ и не могу вспомнить. Фамилія его Аквиляльбовъ, но мы всѣ его называемъ просто Иванъ Петровичъ или иногда въ шутку «Бѣлый орелъ» за его красоту. Человѣкъ прекрасный, на счету у начальства, жалованья по должности помощника получаетъ четырнадцать рублей пятнадцать копеекъ, живетъ съ матушкой, которая нѣкоторымъ гадаетъ и пользуетъ. Позвольте представить: Иванъ Петровичъ дожидается.

— Да, ужъ если такъ нужно, то попросите, пожалуйста, сюда этого Ивана Петровича.

— Бѣлый орелъ!.. думаю себѣ: — что это за странность. Мнѣ орденъ слѣдуетъ бѣлый орелъ, а не Иванъ Петровичъ.

А экзекуторъ пріотворилъ дверь и крикнулъ:

— Иванъ Петровичъ, пожалуйте.

Я не могу вамъ его описывать безъ того, чтобы не впадать въ нѣкоторый шаржъ и не дѣлать сравненій, которыя вы можете счесть за преувеличенія, но я вамъ ручаюсь, что какъ бы я ни старался расписать вамъ Ивана Петровича — живопись моя не можетъ передать и половины красотъ оригинала.

Передо мною стоялъ настоящій «Бѣлый орелъ», форменный Aquila alba, какъ его изображаютъ на полныхъ парадныхъ пріемахъ у Зевса. Высокій, крупный, но чрезвычайно пропорціональный мужчина и такого здороваго вида, будто онъ никогда не горѣлъ и не болѣлъ, и не зналъ ни скуки, ни усталости. Отъ него пышило здоровьемъ, но не грубо, а какъ-то гармонично и привлекательно. Цвѣтъ лица у Ивана Петровича былъ весь нѣжно-розовый съ широкимъ румянцемъ, щеки обрамлены свѣтло-русымъ пушкомъ, который, однако, уже переходилъ въ зрѣлую растительность. Лѣтъ ему было какъ разъ двадцать пять; волосы свѣтлые, слегка волнистые blonde и такая же бородка съ нѣжной подпалиной и синіе глаза подъ темными бровями и въ темныхъ рѣсницахъ. Словомъ, сказочный богатырь Чурило Апленковичъ не могъ быть лучше. Но прибавьте къ этому смѣлый, очень осмысленный и весело открытый взглядъ, и вы имѣете передъ собою

настоящаго красавца. Одѣтъ онъ въ вицмундиръ, который сидѣлъ отлично, и темно-гранатнаго цвѣта шарфъ съ пышнымъ бантомъ.

Тогда носили шарфы.

Я и залюбовался Иваномъ Петровичемъ, и зная, что произвожу на людей, первый разъ меня видящихъ, впечатлѣніе не легкое, сказалъ запросто:

— Здравствуйте, Иванъ Петровичъ!

— Здравія желаю, ваше превосходительство, — отвѣчалъ онъ очень задушевнымъ голосомъ, который тоже показался мнѣ чрезвычайно симпатичнымъ.

Говоря отвѣтную фразу въ солдатской редакціи, онъ, однако, мастерски умѣлъ дать своему тону оттѣнокъ простой и вполнѣ позволительной шутливости, и въ то же время одинъ этотъ отвѣтъ устанавливалъ для всей бесѣды характеръ своего рода семейной простоты.

Мнѣ становилось понятнымъ, почему этого человѣка «всѣ любятъ».

Не видя никакой причины мѣшать Ивану Петровичу держать его тонъ, я сказалъ ему, что я радъ съ нимъ познакомиться.

— И я съ своей стороны тоже считаю это для себя за честь и за удовольствіе,—отвѣчалъ онъ стоя, но выступивъ шагъ впередъ своего экзекутора.

Мы раскланялись,—экзекуторъ ушелъ на службу, а Иванъ Петровичъ остался у меня въ пріемной.

Черезъ часъ я попросилъ его къ себѣ и спросилъ:

— У васъ хорошій почеркъ?

— У меня характеръ письма твердый,—отвѣчалъ онъ и сейчасъ же добавилъ: — вамъ угодно, чтобы я что-нибудь написалъ.

— Да, потрудитесь.

Онъ сѣлъ за мой рабочій столъ и черезъ минуту подалъ мнѣ листъ, посерединѣ котораго четкою скорописью «твердаго характера» было написано: «Жизнь на радость намъ дана.—Иванъ Петровъ Аквиляльбовъ».

Я прочелъ и неудержимо разсмѣялся: лучше того, что онъ написалъ, не могло къ нему идти никакое выраженіе. «Жизнь на радость»; *вся* жизнь для него сплошная радость!

Совсѣмъ въ моемъ вкусѣ человѣкъ!..

Я далъ ему переписать на моемъ же столѣ малозначительную бумагу, и онъ сдѣлалъ это очень скоро и безъ малѣйшей ошибки.

Потомъ мы разстались. Иванъ Петровичъ ушелъ, а я остался одинъ дома и предался своей болѣзненной хандрѣ, и признаюсь,—чортъ знаетъ почему нѣсколько разъ переносился мыслію къ *нему*, т. е. къ Ивану Петровичу. Вѣдь вотъ онъ, небось, не охаетъ и не хандритъ. Ему жизнь на радость дана. И гдѣ это онъ проживаетъ ее съ такой радостью на свои четырнадцать рублей... Поди, пожалуй, въ карты счастливо играетъ, или тоже взяточки перепадаютъ... А можетъ-быть купчихи... Недаромъ у него этотъ такой свѣжій гранатный галстукъ...

Сижу за раскрытыми передо мною во множествѣ дѣлами и протоколами, а думаю о такихъ безцѣльныхъ, вовсе до меня не относящихся пустякахъ, а въ это самое время человѣкъ докладываетъ, что пріѣхалъ губернаторъ.

Прошу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Губернаторъ говоритъ: «у меня послѣзавтра квинтетъ,— надѣюсь, будетъ недурно сыграно, и дамы будутъ, а вы, я слышалъ, захандрили у насъ въ глуши, и пріѣхалъ васъ навѣстить и попросить на чашку чаю, — можетъ-быть, не лишнее будетъ немножко развлечься».

— Покорно васъ благодарю, но отчего вамъ кажется, что я хандрю?

— По Ивана Петровича замѣчанію.

— Ахъ, Иванъ Петровичъ! Это который у меня дежуритъ? И вы его знаете?

— Какъ же, какъ же. Это нашъ студентъ, артистъ, хористъ, но только не аферистъ.

— Не аферистъ?

— Нѣтъ, онъ такъ счастливъ, какъ Поликратъ, ему не надо быть аферистомъ. Онъ всеобщій любимецъ въ городѣ и непремѣнный членъ по части всякихъ веселостей.

— Онъ музыкантъ?

— Мастеръ на всѣ руки: спѣть, сыграть, протанцовать, веселые фанты устроить — все Иванъ Петровичъ. Гдѣ пиръ, тамъ и Иванъ Петровичъ; затѣвается аллегри или спектакль съ благотворительною цѣлью — опять Иванъ

Петровичъ. Онъ и выигрыши распредѣлитъ, и вещицы всѣхъ красивѣе разставитъ; самъ декораціи нарисуетъ, а потомъ сейчасъ изъ маляра въ актера на любую роль готовъ. Какъ онъ играетъ королей, дядюшекъ, пылкихъ любовниковъ, — это заглядѣнье, но особенно хорошо онъ старухъ представляетъ.

— Будто и старухъ!

— Да, удивительно! Вотъ я къ послѣзавтрашнему вечеру, признаться, и готовлю съ помощью Ивана Петровича маленькій сюрпризъ. Будутъ живыя картины. Иванъ Петровичъ ихъ поставитъ. Разумѣется, будутъ и такія, что ставятся для дамъ, желающихъ себя показать, но три будутъ имѣть кое-что и для настоящаго художника.

— Это сдѣлаетъ Иванъ Петровичъ?

— Да, Иванъ Петровичъ. Картины представляютъ «Саула у волшебницы андорской». Сюжетъ, какъ извѣстно, библейскій, а расположеніе фигуръ нѣсколько дутое, что называется, «академическое», но тутъ все дѣло въ Иванѣ Петровичѣ. На одного его всѣ и будутъ смотрѣть, — особенно когда при второмъ открытіи картины обнаружится нашъ сюрпризъ. Вамъ я могу сказать этотъ секретъ. Картина открывается, и вы увидите Саула: это царь,—царь съ головы до ногъ! Онъ будетъ одѣтъ, какъ всѣ. Ни малѣйшаго отличія, потому что по сюжету Саулъ приходилъ къ волшебницѣ переодѣтымъ, такъ, чтобы она его не узнала, но его *нельзя не узнать*. Онъ царь, и притомъ настоящій библейскій царь-пастухъ. Но занавѣсъ упадетъ, фигура быстро измѣнитъ свое положеніе: Саулъ лежитъ ницъ передъ явившейся тѣнью Самуила. Саула теперь все равно что нѣтъ, но зато какого видите Самуила въ саванѣ!.. Это вдохновеннѣйшій пророкъ, на раменахъ котораго почіетъ сила въ лицѣ, величіе и мудрость. *Этотъ* могъ «*повелѣть царю* явиться и въ Веѳилѣ, и въ Галгалахъ»?

— И это будетъ опять Иванъ Петровичъ?

— Иванъ Петровичъ! Но вѣдь это не конецъ. Если попросятъ повторенія,—въ чемъ я увѣренъ и самъ о томъ позабочусь, — то мы васъ не станемъ томить задами, а вы увидите продолженіе эпопеи. Новая сцена изъ жизни Саула будетъ совсѣмъ безъ Саула. Тѣнь исчезла, царь и сопровождавшіе его вышли; въ двери можно замѣтить только кусокъ плаща на спинѣ послѣдней удаляющейся фигуры, а на сценѣ одна волшебница...

— И это опять Иванъ Петровичъ?

— Разумѣется! Но вѣдь вы передъ собою увидите не то, какъ изображаютъ вѣдьмъ въ «Макбетѣ»... Никакого столбняковаго ужаса, ни ломки, ни кривляній, но вы увидите лицо, которое знаетъ то, что̀ не снилось мудрецамъ. Вы увидите какъ страшно говорить съ выходцемъ изъ могилы.

— Воображаю,—отвѣчалъ я, будучи всемѣрно далекъ отъ мысли, что не пройдетъ трехъ дней, какъ мнѣ приведется не воображать, а на самомъ себѣ испытывать такую пытку.

Но это пришло послѣ, а теперь все было полно однимъ Иваномъ Петровичемъ,—этимъ веселымъ, живымъ человѣкомъ, который вдругъ, какъ боровичокъ послѣ грибного дождика, изъ муравы выскочилъ, не великъ еще, а отовсюду его видно,—всѣ на него поглядываютъ и улыбаются:—«Вотъ-де какой крѣпенькій, да хорошенькій».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я вамъ передавалъ, что̀ говорилъ о немъ его экзекуторъ и губернаторъ, а когда я полюбопытствовалъ, не слыхалъ ли чего-нибудь о немъ одинъ изъ моихъ чиновниковъ свѣтскаго направленія, такъ они оба въ разъ заговорили, что встрѣчали его, и что онъ въ самомъ дѣлѣ очень милъ и хорошо поетъ съ гитарой и съ фортепіано. И имъ онъ тоже нравился. На другой день заходитъ протопопъ. Онъ, какъ я побывалъ у него въ церкви, всякій праздникъ приносилъ мнѣ просфору и на всѣхъ священно-ябедничалъ. Онъ ни о комъ хорошо не говорилъ и въ этомъ отношеніи не дѣлалъ исключенія и для Ивана Петровича, но зато священно-ябедникъ зналъ не только природу всякой вещи, но и ея происхожденіе. Про Ивана Петровича онъ самъ началъ:

— Вамъ чинца обмѣнили. Это все съ умыслью...

— Да, говорю,—какого-то Ивана Петровича дали.

— Вѣдомъ намъ, какъ же, довольно вѣдомъ. Мой своякъ, на котораго мѣсто я сюда переведенъ съ обязательствомъ воспитать сиротъ, онъ его и крестилъ... Отецъ-то тоже былъ изъ колокольныхъ дворянъ... въ приказные вышелъ, а мать... Кира Ипполитовна... Такое у нея имячко,—она по страстной любви къ его родителю уходомъ за него ушла... Скоро, однако, вкусила и горечи любовнаго зелья, а потомъ и овдовѣла.

— Она сама сына воспитывала?

— Да какое его воспитаніе: въ гимназіи классовъ пять проучился, да и пошелъ въ писатели въ уголовную палату... современемъ помощникомъ сдѣлали... А счастливъ очень: въ прошломъ году коня съ сѣдломъ въ лотерею выигралъ и съ губернаторомъ на охоту нынче за зайцами ѣздилъ... Фортепіанъ,—полковые выходили такъ разыгрывали,—опять тоже ему достался. Я пять билетовъ взялъ и не выигралъ, а онъ всего одинъ, да и на тотъ получилъ. Самъ музычитъ и Татьяну учитъ.

— Это кто же,—Татьяна?

— Сиротку они взяли,—ничего себѣ... черномазенькая. Онъ ее обучаетъ.

Весь день проговорили объ Иванѣ Петровичѣ, а вечеромъ, слышу, у моего Егора въ комнаткѣ что-то жужжитъ. Зову его и спрашиваю: «что это у тебя такое?»

— Это, отвѣчаетъ,—я пропилеи дѣлаю.

— Что еще за пропилеи?

Иванъ Петровичъ, обративъ вниманіе, что Егоръ скучаетъ отъ бездѣйствія, принесъ ему пилокъ и дощечекъ отъ сигарныхъ ящиковъ съ наклеенными узорами и научилъ его подставочки выпиливать. Заказъ далъ къ лотереѣ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Утромъ въ тотъ день, когда Иванъ Петровичъ вечеромъ долженъ былъ и играть, и всѣхъ удивлять въ картинахъ на пиру у губернатора, я не хотѣлъ его задерживать, но онъ оставался при мнѣ до обѣда и даже очень насмѣшилъ меня. Я пошутилъ, что ему надо бы жениться, а онъ отвѣчалъ, что предпочитаетъ остаться «въ дѣвушкахъ». Въ Петербургъ его звалъ.

— Нѣтъ, говоритъ,—ваше превосходительство, меня здѣсь всѣ любятъ, да и мать, и сиротка Таня у насъ есть, я ихъ люблю, а онѣ для Петербурга не годятся.

Удивительно, какой гармоничный молодой человѣкъ! Я его даже обнялъ за эту любовь къ матери и сироткѣ, и мы разстались за три часа до картинъ.

На прощанье я сказалъ:

— Нетерпѣливо жду васъ видѣть въ разныхъ видахъ.

— Надоѣмъ, — отвѣчалъ Иванъ Петровичъ.

Онъ ушелъ, а я пообѣдалъ одинъ и прикорнулъ въ креслѣ, чтобы быть бодрѣе, но Иванъ Петровичъ не далъ мнѣ за-

снуть, онъ меня скоро и немножко странно потревожилъ. Вдругъ вошелъ очень спѣшной походкой, шумно оттолкнулъ ногою стоявшіе посрединѣ комнаты стулья и говоритъ:

— Вотъ можете меня видѣть; но только покорно васъ благодарю,—вы меня сглазили. Я вамъ за это отомщу.

Я проснулся, позвонилъ человѣка и велѣлъ подавать одѣваться, и самъ себѣ подивился: какъ ясно привидѣлся мнѣ во снѣ Иванъ Петровичъ!

Пріѣзжаю къ губернатору — все освѣщено и гостей уже много, но самъ губернаторъ, встрѣчая меня, шепчетъ:

— Разстроилась самая лучшая часть программы; картины не могутъ состояться.

— А что случилось?

— Тссссъ... я не хочу говорить громко, чтобы не портить общаго впечатлѣнія. Иванъ Петровичъ умеръ.

— Какъ!.. Иванъ Петровичъ!.. умеръ?!

— Да, да, да,—умеръ.

— Помилуйте, онъ три часа тому назадъ былъ у меня здоровъ-здоровешенекъ.

— Ну и вотъ, придя отъ васъ, прилегъ на диванъ да и умеръ... И вы знаете... я долженъ вамъ сказать на тотъ случай, чтобы его мать... она въ такомъ безуміи, что можетъ прибѣжать къ вамъ... Она, несчастная, убѣждена, что вы и есть виновникъ смерти сына.

— Какимъ образомъ? Отравили его у меня, что ли?

— Этого она не говоритъ.

— Что же она говоритъ?

— Что вы Ивана Петровича *сглазили*!

— Позвольте, говорю,—что за пустяки!

— Да, да, да,—отвѣчаетъ губернаторъ: — все это, разумѣется, глупости, но вѣдь здѣсь провинція,—здѣсь глупостямъ охотнѣе вѣрятъ, чѣмъ умностямъ. Разумѣется, не стоитъ обращать вниманія.

Въ это время губернаторша предложила мнѣ карту.

Я сѣлъ, но что я только выносилъ за этою мучительною игрою, — и сказать вамъ не могу. Во-первыхъ, мучитъ сознаніе, что этотъ милый молодой человѣкъ, которымъ я такъ любовался, лежитъ теперь на столѣ, а во-вторыхъ, мнѣ безпрестанно кажется, что всѣ о немъ шепчутъ и на меня указываютъ «сглазилъ». Даже слышу это глупое слово «сглазилъ, сглазилъ», а въ-третьихъ, позвольте вамъ за

истину сказать,—я вижу вездѣ самого Ивана Петровича!.. Такъ глазъ, что ли, наметался, — куда ни взгляну — все Иванъ Петровичъ... То онъ ходитъ, прогуливается по пустой залѣ, въ которую открыты двери; то стоятъ двое, разговариваютъ,—и онъ возлѣ нихъ, слушаетъ. Потомъ вдругъ около самого меня является и въ карты смотритъ... Тутъ я, разумѣется, и понесу съ рукъ что попало, а мой vis-à-vis обижается. Наконецъ даже другіе стали это замѣчать и губернаторъ шепнулъ мнѣ на ухо:

— Это вамъ Иванъ Петровичъ портитъ: онъ вамъ мститъ за себя.

— Да, говорю,—я дѣйствительно разстроенъ и мнѣ очень нездоровится. Я прошу позволенія расписать игру и меня уволить.

Это одолженіе мнѣ сдѣлали, и я сейчасъ же поѣхалъ домой. Но я ѣду на саняхъ и Иванъ Петровичъ со мною,—то рядомъ сидитъ, то на облучкѣ съ кучеромъ явится, а лицомъ ко мнѣ.

Думаю: не горячка ли у меня начинается?

Пріѣхалъ домой—еще хуже. Чуть легъ въ постель и погасилъ огонь,—Иванъ Петровичъ сидитъ на краю кровати и даже говоритъ:

— Вы, говоритъ,—меня вѣдь въ самомъ дѣлѣ сглазили, я и умеръ, а мнѣ никакой надобности не было такъ рано умирать. Въ томъ-то и дѣло!.. Меня всѣ такъ любили, и тоже матушка, и Танюша—она еще недоучена. Какое имъ отъ этого ужасное горе.

Я позвалъ человѣка и, какъ это ни было неловко, велѣлъ ему лечь у себя на коврѣ, но Иванъ Петровичъ не боится, куда ни оборочусь—онъ торчитъ передо мною да и баста.

Насилу я утра дождался, и первымъ дѣломъ послалъ одного изъ своихъ чиновниковъ къ матери покойнаго, чтобы отвезъ и какъ можно деликатнѣе передалъ ей триста рублей на похороны.

Тотъ возвращается и привозитъ деньги назадъ: говоритъ—не приняли.

— Что же, спрашиваю,—сказали?

— Сказали, что «не надо: его *добрые* люди похоронятъ».

Я, значитъ, былъ на счету *злыхъ*.

А Иванъ-то Петровичъ, какъ только я про него вспомню, сейчасъ тутъ и есть.

Въ сумерки не могъ оставаться спокойно: взялъ извозчика и самъ поѣхалъ, чтобы взглянуть на Ивана Петровича и поклониться. Это вѣдь въ обычаѣ, и я думалъ, что никого не обезпокою. А въ карманъ взялъ все что могъ—сотьсотъ рублей, чтобы упросить ихъ принять хоть для Тани.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Видѣлъ Ивана Петровича: лежитъ «Бѣлый орелъ» какъ подстрѣленный.

Таня тутъ же ходитъ. Такая, дѣйствительно, черномазенькая, лѣтъ пятнадцати, въ коленкоровомъ траурѣ и все покойника оправляетъ. По головѣ его поправитъ и поцѣлуетъ.

Какое терзаніе это видѣть!

Попросилъ ее: нельзя ли мнѣ поговорить съ матерью Ивана Петровича.

Дѣвушка отвѣчала «хорошо» и пошла въ другую комнату, а черезъ минуту отворяетъ дверь и приглашаетъ взойти, но только-что я вошелъ въ комнату, гдѣ сидѣла старушка, та сейчасъ встала и извиняется:

— Нѣтъ, простите меня,—я напрасно на себя понадѣялась, я не могу васъ видѣть,—и съ этимъ ушла.

Я былъ не обиженъ и не сконфуженъ, а просто подавленъ и обратился къ Танѣ:

— Ну, хоть вы, молодое существо, можетъ-быть, вы можете быть ко мнѣ добрѣе. Вѣдь я же, повѣрьте, не желалъ и не имѣлъ причины желать Ивану Петровичу какого-нибудь несчастія, а тѣмъ меньше смерти.

— Вѣрю,—уронила она.—Ему никто не могъ желать ничего дурного,—его всѣ любили.

— Повѣрьте, что въ два-три дня, которые я его видѣлъ, и я полюбилъ его.

— Да, да,—сказала она.—О, эти ужасные «два-три дня»,—зачѣмъ они были? Но тетя это въ горѣ такъ обошлась съ вами; а мнѣ васъ жалко.

И она протянула мнѣ обѣ ручки.

Я взялъ ихъ и сказалъ:

— Благодарю васъ, милое дитя, за эти чувства; они дѣлаютъ честь и вашему сердцу, и благоразумію. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, вѣрить такому вздору, будто я его сглазилъ!

— Знаю,—отвѣчала она.

— Такъ явите же мнѣ ласку... сдѣлайте мнѣ одолженіе *со имя его!*

— Какое одолженіе?

— Возьмите вотъ этотъ конвертъ... тутъ немножко денегъ... это на домашнія надобности... для тети.

— Она не приметъ.

— Ну, для васъ... для вашего образованія, о которомъ заботился Иванъ Петровичъ. Я глубоко увѣренъ, что онъ бы это оправдалъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не возьму. Онъ никогда ни у кого ничего не бралъ даромъ. Онъ былъ очень, очень благородный.

— Но вы меня этимъ огорчаете... вы, значитъ, на меня сердитесь.

— Нѣтъ, не сержусь. Я вамъ дамъ доказательство.

Она раскрыла лежавшій на столѣ французскій учебникъ Олендорфа, торопливо достала лежавшую тамъ между страницъ фотографическую карточку Ивана Петровича и, подавая ее мнѣ, сказала:

— Вотъ это онъ положилъ. До сихъ поръ мы вчера доучились. Возьмите это отъ меня на память.

Тѣмъ свиданіе и кончилось. На другой день Ивана Петровича хоронили, а потомъ я еще дней восемь оставался въ городѣ и все въ той же мучительности. Ночью нѣтъ сна; прислушиваюсь къ каждому шороху; открываю фортки въ окнахъ, чтобы хоть съ улицы долеталъ какой-нибудь свѣжій человѣческій голосъ. Но мало пользы: идутъ два человѣка, разговариваютъ, — прислушиваюсь, — про Ивана Петровича и про меня.

— Вотъ здѣсь, говорятъ,—живетъ этотъ чортъ, что Ивана Петровича сглазилъ.

Поетъ кто-то, возвращаясь въ тишинѣ ночи домой, слышу какъ у него снѣгъ подъ ногами хруститъ, разбираю слова: «Ахъ, бывалъ я удалъ»,—жду, когда пѣвецъ поровняется съ моимъ окномъ, гляжу—это самъ Иванъ Петровичъ. А тутъ еще и отецъ-протоіерей жалуетъ и шепчетъ:

— Сглазъ и пріурокъ есть, да вѣдь это цыплятъ глазятъ а Ивана Петровича отравили...

Мучительно!

— Для чего и кто могъ его отравить?

— Опасались, чтобы онъ вамъ всего не разсказалъ..

Его бы непремѣнно надо было распотрошить. Жаль, что не распотрошили. Ядъ бы нашли.

Господи! избавь меня хотя отъ этой подозрительности!

Наконецъ, вдругъ совершенно неожиданно получаю конфиденціальное письмо отъ директора канцеляріи, что графъ предписываетъ мнѣ ограничиться тѣмъ, что я успѣлъ сдѣлать, и нимало не медля вернуться въ Петербургъ.

Я былъ очень этому радъ, въ два дня собрался и уѣхалъ.

Дорогою Иванъ Петровичъ не отставалъ,—нѣтъ-нѣтъ, да и покажется, но теперь отъ перемѣны ли мѣста, или отъ того, что человѣкъ ко всему привыкаетъ, я осмѣлѣлъ и даже привыкъ къ нему. Мотается онъ у меня въ глазахъ, а я уже ничего; даже иногда въ дремотѣ какъ будто другъ съ другомъ шутимъ. Онъ грозится:—«пробралъ я тебя!»

А я отвѣчаю:

— А ты все-таки по-французски не выучился!

А онъ отвѣчаетъ:

— На что мнѣ учиться: я теперь отлично самоучкой жарю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ Петербургѣ я почувствовалъ, что мною не то что недовольны, а хуже, какъ-то сожалительно, какъ-то странно на меня смотрятъ.

Самъ Викторъ Никитичъ видѣлъ меня всего одну минуту и не сказалъ ни слова, но директору, который былъ женатъ на моей родственницѣ, онъ говорилъ, что ему кажется, будто я *нездоровъ*...

Разъясненій не было. Черезъ недѣлю подошло Рождество, а потомъ Новый годъ. Разумѣется, праздничная сутолока—ожиданіе наградъ. Меня это не сильно озабочивало, тѣмъ болѣе, что я зналъ мою награду—«Бѣлый орелъ». Родственница моя, что за директоромъ, еще наканунѣ мнѣ и орденъ съ лентой въ подарокъ прислала, и я положилъ въ бюро и орденъ, и конвертъ со ста рублями для курьеровъ, которые принесутъ приказъ.

Но ночью вдругъ толкъ меня въ бокъ Иванъ Петровичъ и подъ самый подъ носъ мнѣ *шишъ*. При жизни онъ былъ гораздо деликатнѣе, и это совсѣмъ не отвѣчало его гармонической натурѣ, а теперь, какъ сорванецъ, ткнулъ шишъ и говоритъ:

— Съ тебя пока вотъ этого довольно. Мнѣ надо къ бѣдной Танѣ, и сникъ.

Встаю утромъ—курьеровъ съ приказомъ нѣтъ. Спѣшу къ зятю узнать: что это значитъ?

— Ума, говоритъ,—не приложу. Было, стояло и вдругъ точно въ печати выпало. Графъ вычеркнулъ и сказалъ, что это онъ лично доложитъ... Тебѣ, знаешь, вредитъ какая-то исторія... Какой-то чиновникъ, выйдя отъ тебя, какъ-то подозрительно умеръ... Что это такое было?

— Оставь, говорю,—сдѣлай милость.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ... графъ даже не разъ спрашивалъ: какъ ты въ своемъ здоровьѣ... Оттуда разныя лица писали и въ томъ числѣ общій духовникъ, протопопъ... Какъ ты могъ позволить вмѣшать себя въ такое странное дѣло?

Я слушаю, а самъ,—какъ Иванъ Петровичъ изъ-за могилы сталъ дѣлать,—чувствую одно желаніе ему языкъ или шишъ показать.

А Иванъ Петровичъ, по награжденіи меня шишомъ вмѣсто «Бѣлаго орла», исчезъ и не показывался ровно три года, когда сдѣлалъ мнѣ заключительный и притомъ всѣхъ болѣе осязательный визитъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Было опять Рождество и Новый годъ и также ожидались награды. Меня уже давно обходили, и я объ этомъ не заботился. Не даютъ и не надо. Встрѣчали Новый годъ у сестры,—очень весело,—гостей много. Здоровые люди ужинали, а я передъ ужиномъ посматриваю какъ бы улизнуть и подвигаюсь къ двери, но вдругъ слышу въ общемъ говорѣ такія слова:

— Теперь мои скитальчества кончены: мама со мною. Тапюша устроена за хорошаго человѣка; послѣднюю шутку сдѣлаю и же манъ вэ! И потомъ вдругъ протяжно запѣлъ:

Прощай, моя родная,
Прощай, моя земля.

«Э-ге, думаю,—опять показался, да еще и французить началъ... Ну, я лучше кого-нибудь подожду, одинъ по лѣстницѣ не пойду».

А онъ мимо меня изволитъ проходить, все въ томъ же вицмундирѣ съ пышнымъ гранатнаго цвѣта галстукомъ, и только минулъ, вдругъ парадная дверь такъ хлопнула, что весь домъ затрясся.

Хозяинъ и люди бросились посмотрѣть: не добрался ли

кто до гостиныхъ шубъ, но все было на мѣстѣ и дверь на ключѣ... Я молчалъ, чтобы опять не сказали «галюцинатъ» и не стали освѣдомляться о здоровьѣ. Хлопнуло и шабашъ,— мало ли что можетъ хлопать...

Я досидѣлъ случая, чтобы не одному идти, и благополучно возвращаюсь домой. Человѣкъ у меня былъ уже не тотъ, который со мною ѣздилъ и которому Иванъ Петровичъ пропилейные уроки давалъ, а другой; встрѣчаетъ онъ меня немножко заспанъ и свѣтитъ. Проходимъ мимо конторки, и я вижу что-то лежитъ бѣлой бумагой прикрыто... Смотрю—мой орденъ Бѣлаго орла, который тогда, помните, сестра подарила... Онъ всегда запертъ былъ. Какъ онъ могъ взяться! Конечно, скажутъ: «самъ вѣрно въ забывчивости вынулъ». Такъ не стану объ этомъ спорить, но а вотъ это что такое: на столикѣ у моего изголовья небольшой конвертикъ на мое имя и рука какъ будто знакомая... Та самая рука, которою было написано «жизнь на радость намъ дана».

— Кто принесъ?—спрашиваю.

А человѣкъ прямо показываетъ мнѣ на фотографію Ивана Петровича, которую я берегу, память отъ Танюши, и говоритъ:

— Вотъ этотъ господинъ.

— Ты вѣрно ошибся.

— Никакъ нѣтъ, говоритъ, — я его съ перваго взгляда узналъ.

Въ конвертѣ оказался на почтовой бумажкѣ экземпляръ приказа: мнѣ дали «Бѣлаго орла». И что еще лучше, всю остальную ночь я спалъ, хотя слышалъ, какъ что-то гдѣ-то пѣло самыя глупыя слова: «до свидансъ, до свидансъ,—же але о контрадансъ».

По преподанной мнѣ Иваномъ Петровичемъ опытности въ жизни духовъ, я понималъ, что это Иванъ Петровичъ «по-французски жаритъ самоучкою», отлетая, и что онъ больше меня уже никогда не побезпокоитъ. Такъ и вышло: онъ мнѣ отмстилъ и помиловалъ. Это понятно. А вотъ почему у нихъ, въ мірѣ духовъ, все такъ спутано и смѣшано, что жизнь человѣческая, которая всего дороже стоитъ, отомщевается пустымъ пуганьемъ да орденомъ, а прилетъ изъ высшихъ сферъ сопровождается глупѣйшимъ пѣніемъ «до свидансъ, же але о контрадансъ»,—этого я не понимаю.

ЧЕРТОГОНЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Это обрядъ, который можно видѣть только въ одной Москвѣ и притомъ не иначе какъ при особомъ счастіи и протекціи.

Я видѣлъ чертогонъ съ начала до конца, благодаря одному счастливому стеченію обстоятельствъ, и хочу это записать для настоящихъ знатоковъ и любителей серьезнаго и величественнаго въ національномъ вкусѣ.

Хотя я съ одного бока дворянинъ, но съ другого близокъ къ «народу»: мать моя изъ купеческаго званія. Она выходила замужъ изъ очень богатаго дома, но вышла уходомъ, по любви къ моему родителю. Покойникъ былъ молодецъ по женской части и что намѣчалъ, того и достигалъ. Такъ ему удалось и съ мамашей, но только за эту ловкость матушкины старики ничего ей не дали, кромѣ, разумѣется, гардеробу, постелей и Божьяго милосердія, которые были получены вмѣстѣ съ прощеніемъ и родительскимъ благословеніемъ навѣки нерушимымъ. Жили мои старики въ Орлѣ, жили нуждно, но гордо, у богатыхъ материныхъ родныхъ ничего не просили, да и сношеній съ ними не имѣли. Однако, когда мнѣ пришлось ѣхать въ университетъ, матушка стала говорить:

— Пожалуйста сходи къ дядѣ Ильѣ Ѳедосѣевичу и отъ меня ему поклонись. Это не униженіе, а старшихъ родныхъ уважать должно,—а онъ мой братъ, и къ тому благочестивъ и большой вѣсъ въ Москвѣ имѣетъ. Онъ при всѣхъ встрѣчахъ всегда хлѣбъ-соль подаетъ... всегда вис-

Въ сумерки не могъ оставаться спокойно: взялъ извозчика и самъ поѣхалъ, чтобы взглянуть на Ивана Петровича и поклониться. Это вѣдь въ обычаѣ, и я думалъ, что никого не обезпокою. А въ карманъ взялъ все что̀ могъ— сомьсоть рублей, чтобы упросить ихъ принять хоть для Тани.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Видѣлъ Ивана Петровича: лежитъ «Бѣлый орелъ» какъ подстрѣленный.

Таня тутъ же ходитъ. Такая, дѣйствительно, черномазенькая, лѣтъ пятнадцати, въ коленкоровомъ траурѣ и все покойника оправляетъ. По головѣ его поправитъ и поцѣлуетъ.

Какое терзаніе это видѣть!

Попросилъ ее: нельзя ли мнѣ поговорить съ матерью Ивана Петровича.

Дѣвушка отвѣчала «хорошо» и пошла въ другую комнату, а черезъ минуту отворяетъ дверь и приглашаетъ взойти, но только-что я вошелъ въ комнату, гдѣ сидѣла старушка, та сейчасъ встала и извиняется:

— Нѣтъ, простите меня,—я напрасно на себя понадѣялась, я не могу васъ видѣть,—и съ этимъ ушла.

Я былъ не обиженъ и не сконфуженъ, а просто подавленъ и обратился къ Танѣ:

— Ну, хоть вы, молодое существо, можетъ-быть, вы можете быть ко мнѣ добрѣе. Вѣдь я же, повѣрьте, не желалъ и не имѣлъ причины желать Ивану Петровичу какого-нибудь несчастія, а тѣмъ меньше смерти.

— Вѣрю,—уронила она.—Ему никто не могъ желать ничего дурного,—его всѣ любили.

— Повѣрьте, что въ два-три дня, которые я его видѣлъ, и я полюбилъ его.

— Да, да,—сказала она.—О, эти ужасные «два-три дня»,— зачѣмъ они были? Но тетя это въ горѣ такъ обошлась съ вами; а мнѣ васъ жалко.

И она протянула мнѣ обѣ ручки.

Я взялъ ихъ и сказалъ:

— Благодарю васъ, милое дитя, за эти чувства; они дѣлаютъ честь и вашему сердцу, и благоразумію. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, вѣрить такому вздору, будто я его сглазилъ!

— Знаю,—отвѣчала она.

— Такъ явите же мнѣ ласку... сдѣлайте мнѣ одолженіе *со имя его!*

— Какое одолженіе?

— Возьмите вотъ этотъ конвертъ... тутъ немножко денегъ... это на домашнія надобности... для тети.

— Она не приметъ.

— Ну, для васъ... для вашего образованія, о которомъ заботился Иванъ Петровичъ. Я глубоко увѣренъ, что онъ бы это оправдалъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не возьму. Онъ никогда ни у кого ничего не бралъ даромъ. Онъ былъ очень, очень благородный.

— Но вы меня этимъ огорчаете... вы, значитъ, на меня сердитесь.

— Нѣтъ, не сержусь. Я вамъ дамъ доказательство.

Она раскрыла лежавшій на столѣ французскій учебникъ Олендорфа, торопливо достала лежавшую тамъ между страницъ фотографическую карточку Ивана Петровича и, подавая ее мнѣ, сказала:

— Вотъ это онъ положилъ. До сихъ поръ мы вчера доучились. Возьмите это отъ меня на память.

Тѣмъ свиданіе и кончилось. На другой день Ивана Петровича хоронили, а потомъ я еще дней восемь оставался въ городѣ и все въ той же мучительности. Ночью нѣтъ сна; прислушиваюсь къ каждому шороху; открываю фортки въ окнахъ, чтобы хоть съ улицы долеталъ какой-нибудь свѣжій человѣческій голосъ. Но мало пользы: идутъ два человѣка, разговариваютъ, — прислушиваюсь, — про Ивана Петровича и про меня.

— Вотъ здѣсь, говорятъ,—живетъ этотъ чортъ, что Ивана Петровича сглазилъ.

Поетъ кто-то, возвращаясь въ тишинѣ ночи домой, слышу какъ у него снѣгъ подъ ногами хруститъ, разбираю слова: «Ахъ, бывалъ я удалъ»,—жду, когда пѣвецъ поровняется съ моимъ окномъ, гляжу—это самъ Иванъ Петровичъ. А тутъ еще и отецъ-протоіерей жалуетъ и шепчетъ:

— Сглазъ и пріурокъ есть, да вѣдь это цыплятъ глазятъ а Ивана Петровича отравили...

Мучительно!

— Для чего и кто могъ его отравить?

— Опасались, чтобы онъ вамъ всего не разсказалъ..

Его бы непремѣнно надо было распотрошить. Жаль, что не распотрошили. Ядъ бы нашли.

Господи! избавь меня хотя отъ этой подозрительности!

Наконецъ, вдругъ совершенно неожиданно получаю конфиденціальное письмо отъ директора канцеляріи, что графъ предписываетъ мнѣ ограничиться тѣмъ, что я успѣлъ сдѣлать, и нимало не медля вернуться въ Петербургъ.

Я былъ очень этому радъ, въ два дня собрался и уѣхалъ.

Дорогою Иванъ Петровичъ не отставалъ,—нѣтъ-нѣтъ, да и покажется, но теперь отъ перемѣны ли мѣста, или отъ того, что человѣкъ ко всему привыкаетъ, я осмѣлѣлъ и даже привыкъ къ нему. Мотается онъ у меня въ глазахъ, а я уже ничего; даже иногда въ дремотѣ какъ будто другъ съ другомъ шутимъ. Онъ грозится:—«пробралъ я тебя!»

А я отвѣчаю:

— А ты все-таки по-французски не выучился!

А онъ отвѣчаетъ:

— На что мнѣ учиться: я теперь отлично самоучкой жарю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ Петербургѣ я почувствовалъ, что мною не то что недовольны, а хуже, какъ-то сожалительно, какъ-то странно на меня смотрятъ.

Самъ Викторъ Никитичъ видѣлъ меня всего одну минуту и не сказалъ ни слова, но директору, который былъ женатъ на моей родственницѣ, онъ говорилъ, что ему кажется, будто я *нездоровъ*...

Разъясненій не было. Черезъ недѣлю подошло Рождество, а потомъ Новый годъ. Разумѣется, праздничная сутолока—ожиданіе наградъ. Меня это не сильно озабочивало, тѣмъ болѣе, что я зналъ мою награду—«Бѣлый орелъ». Родственница моя, что за директоромъ, еще наканунѣ мнѣ и орденъ съ лентой въ подарокъ прислала, и я положилъ въ бюро и орденъ, и конвертъ со ста рублями для курьеровъ, которые принесутъ приказъ.

Но ночью вдругъ толкъ меня въ бокъ Иванъ Петровичъ и подъ самый подъ носъ мнѣ *шишъ*. При жизни онъ былъ гораздо деликатнѣе, и это совсѣмъ не отвѣчало его гармонической натурѣ, а теперь, какъ сорванецъ, ткнулъ шишъ и говоритъ:

— Съ тебя пока вотъ этого довольно. Мнѣ надо къ бѣдной Танѣ,— и сникъ.

Встаю утромъ—курьеровъ съ приказомъ нѣтъ. Спѣшу къ зятю узнать: что это значитъ?

— Ума, говоритъ,—не приложу. Было, стояло и вдругъ точно въ печати вышло. Графъ вычеркнулъ и сказалъ, что это онъ лично доложитъ... Тебѣ, знаешь, вредитъ какая-то исторія... Какой-то чиновникъ, выйдя отъ тебя, какъ-то подозрительно умеръ... Что это такое было?

— Оставь, говорю,—сдѣлай милость.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ... графъ даже не разъ спрашивалъ: какъ ты въ своемъ здоровьѣ... Оттуда разныя лица писали и въ томъ числѣ общій духовникъ, протопопъ... Какъ ты могъ позволить вмѣшать себя въ такое странное дѣло?

Я слушаю, а самъ,—какъ Иванъ Петровичъ изъ-за могилы сталъ дѣлать,—чувствую одно желаніе ему языкъ или шишъ показать.

А Иванъ Петровичъ, по награжденіи меня шишомъ вмѣсто «Бѣлаго орла», исчезъ и не показывался ровно три года, когда сдѣлалъ мнѣ заключительный и притомъ всѣхъ болѣе осязательный визитъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Было опять Рождество и Новый годъ и также ожидались награды. Меня уже давно обходили, и я объ этомъ не заботился. Не даютъ и не надо. Встрѣчали Новый годъ у сестры,—очень весело,—гостей много. Здоровые люди ужинали, а я передъ ужиномъ посматриваю какъ бы улизнуть и подвигаюсь къ двери, по вдругъ слышу въ общемъ говорѣ такія слова:

— Теперь мои скитальчества кончены: мама со мною. Танюша устроена за хорошаго человѣка; послѣднюю шутку сдѣлаю и же манъ вэ! И потомъ вдругъ протяжно запѣлъ:

Прощай, моя родная,
Прощай, моя земля.

«Э-ге, думаю,—опять показался, да еще и французить началъ... Ну, я лучше кого-нибудь подожду, одинъ по лѣстницѣ не пойду».

А онъ мимо меня изволитъ проходить, все въ томъ же вицмундирѣ съ пышнымъ гранатнаго цвѣта галстукомъ, и только минулъ, вдругъ парадная дверь такъ хлопнула, что весь домъ затрясся.

Хозяинъ и люди бросились посмотрѣть: не добрался ли

кто до гостиныхъ шубъ, но все было на мѣстѣ и дверь на ключѣ... Я молчалъ, чтобы опять не сказали «галюцинатъ» и не стали освѣдомляться о здоровьѣ. Хлопнуло и шабашъ,— мало ли что можетъ хлопать...

Я досидѣлъ случая, чтобы не одному идти, и благополучно возвращаюсь домой. Человѣкъ у меня былъ уже не тотъ, который со мною ѣздилъ и которому Иванъ Петровичъ пропилейные уроки давалъ, а другой; встрѣчаетъ онъ меня немножко заспанъ и свѣтитъ. Проходимъ мимо конторки, и я вижу что-то лежитъ бѣлой бумагой прикрыто... Смотрю—мой орденъ Бѣлаго орла, который тогда, помните, сестра подарила... Онъ всегда запертъ былъ. Какъ онъ могъ взяться! Конечно, скажутъ: «самъ вѣрно въ забывчивости вынулъ». Такъ не стану объ этомъ спорить, но а вотъ это что такое: на столикѣ у моего изголовья небольшой конвертикъ на мое имя и рука какъ будто знакомая... Та самая рука, которою было написано «жизнь на радость намъ дана».

— Кто принесъ?—спрашиваю.

А человѣкъ прямо показываетъ мнѣ на фотографію Ивана Петровича, которую я берегу, память отъ Танюши, и говоритъ:

— Вотъ этотъ господинъ.

— Ты вѣрно ошибся.

— Никакъ нѣтъ, говоритъ,—я его съ перваго взгляда узналъ.

Въ конвертѣ оказался на почтовой бумажкѣ экземпляръ приказа: мнѣ дали «Бѣлаго орла». И что еще лучше, всю остальную ночь я спалъ, хотя слышалъ, какъ что-то гдѣ-то пѣло самыя глупыя слова: «до свидансъ, до свидансъ,—же але о контрадансъ».

По преподанной мнѣ Иваномъ Петровичемъ опытности въ жизни духовъ, я понималъ, что это Иванъ Петровичъ «по-французски жаритъ самоучкою», отлетая, и что онъ больше меня уже никогда не побезпокоитъ. Такъ и вышло: онъ мнѣ отмстилъ и помиловалъ. Это понятно. А вотъ почему у нихъ, въ мірѣ духовъ, все такъ спутано и смѣшано, что жизнь человѣческая, которая всего дороже стоитъ, отомщевается пустымъ пуганьемъ да орденомъ, а прилетъ изъ высшихъ сферъ сопровождается глупѣйшимъ пѣніемъ «до свидансъ, же але о контрадансъ»,—этого я не понимаю.

ЧЕРТОГОНЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Это обрядъ, который можно видѣть только въ одной Москвѣ и притомъ не иначе какъ при особомъ счастіи и протекціи.

Я видѣлъ чертогонъ съ начала до конца, благодаря одному счастливому стеченію обстоятельствъ, и хочу это записать для настоящихъ знатоковъ и любителей серьезнаго и величественнаго въ національномъ вкусѣ.

Хотя я съ одного бока дворянинъ, но съ другого близокъ къ «народу»: мать моя изъ купеческаго званія. Она выходила замужъ изъ очень богатаго дома, но вышла уходомъ, по любви къ моему родителю. Покойникъ былъ молодецъ по женской части и что намѣчалъ, того и достигалъ. Такъ ему удалось и съ мамашей, но только за эту ловкость матушкины старики ничего ей не дали, кромѣ, разумѣется, гардеробу, постелей и Божьяго милосердія, которые были получены вмѣстѣ съ прощеніемъ и родительскимъ благословеніемъ навѣки нерушимымъ. Жили мои старики въ Орлѣ, жили нуждно, но гордо, у богатыхъ материныхъ родныхъ ничего не просили, да и сношеній съ ними не имѣли. Однако, когда мнѣ пришлось ѣхать въ университетъ, матушка стала говорить:

— Пожалуйста сходи къ дядѣ Ильѣ Ѳедосѣевичу и отъ меня ему поклонись. Это не униженіе, а старшихъ родныхъ уважать должно,—а онъ мой братъ, и къ тому благочестивъ и большой вѣсъ въ Москвѣ имѣетъ. Онъ при всѣхъ встрѣчахъ всегда хлѣбъ-соль подаетъ... всегда вис-

реди прочихъ стоитъ съ блюдомъ, или съ образомъ... и у генералъ-губернатора съ митрополитомъ принятъ... Онъ тебя можетъ хорошему наставить.

А я хотя въ то время, изучивъ Филаретовъ катехизисъ, въ Бога не вѣрилъ, но матушку любилъ, и думаю себѣ разъ: «вотъ я уже около года въ Москвѣ и до сихъ поръ материной воли не исполнилъ; пойду-ка я немедленно къ дядѣ Ильѣ Ѳедосѣичу, повидаюсь,—снесу ему материнъ поклонъ и взаправду погляжу, чему онъ меня научитъ».

По привычкѣ дѣтства, я былъ къ старшимъ почтителенъ,—особенно къ такимъ, которые извѣстны и митрополиту, и губернаторамъ.

Возставъ, почистился щеточкой и пошелъ къ дядѣ Ильѣ Ѳедосѣичу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Было такъ часовъ около шести вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сѣроватая,—словомъ, очень хорошо. Домъ дяди извѣстенъ,—одинъ изъ первыхъ домовъ въ Москвѣ,—всѣ его знаютъ. Только я никогда въ немъ не былъ и дядю никогда не видалъ, даже издали.

Иду, однако, смѣло, разсуждая: приметъ—хорошо, а не приметъ—не надо.

Прихожу на дворъ; у подъѣзда стоятъ кони-львы, сами вороные, а гривы разсыпныя, шерсть какъ дорогой атласъ лоснится, а заложены въ коляску.

Я взошелъ на крыльцо и говорю: «такъ и такъ—я племянникъ, студентъ, прошу доложить Ильѣ Ѳедосѣичу». А люди отвѣчаютъ:

— Они сами сейчасъ сходятъ,—ѣдутъ кататься.

Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная,—въ глазахъ съ матушкою есть сходство, но выраженіе иное,—что называется—солидный мужчина.

Отрекомендовался ему; онъ выслушалъ молча, тихо руку подалъ и говоритъ:

— Садись, проѣдемся.

Я было хотѣлъ отказаться, но какъ-то замялся и сѣлъ.

— Въ паркъ!—велѣлъ онъ.

Львы сразу приняли и понеслись, только задокъ коляски

подпрыгиваетъ, а какъ за городъ выѣхали—еще тише помчали.

Сидимъ ни слова не говоримъ, только вижу, какъ дядя себѣ цилиндръ краемъ въ самый лобъ врѣзалъ и на лицѣ у него этакая, что называется, плюмса, какъ бываетъ отъ скуки.

Туда-сюда глядитъ и одинъ разъ на меня метнулъ глазомъ и ни съ того, ни съ сего проговорилъ:

— Совсѣмъ жисти нѣтъ.

Я не зналъ, что отвѣчать, и промолчалъ.

Опять ѣдемъ, ѣдемъ; думаю: куда это онъ меня завозитъ? и начинаетъ мнѣ сдаваться, что я какъ будто попалъ въ какую-то статью.

А дядя вдругъ словно повершилъ что-то въ умѣ и начинаетъ отдавать кучеру одно за другимъ приказанія:

— Направо, налѣво. У «Яра»—стой!

Вижу изъ ресторана много прислуги высыпало къ намъ и всѣ передъ дядею чуть не въ три погибели гнутся, а онъ изъ коляски не шевелится и велѣлъ позвать хозяина. Побѣжали. Является французъ,—тоже съ большимъ почтеніемъ, а дядя не шевелится: костью набалдашника палки о зубы постукиваетъ и говоритъ:

— Сколько лишнихъ людей есть?

— Человѣкъ до тридцати въ гостиныхъ,—отвѣчаетъ французъ:—да три кабинета заняты.

— Всѣхъ вонъ!

— Очень хорошо.

— Теперь семь часовъ,—говоритъ, посмотрѣвъ на часы, дядя:—я въ восемь заѣду. Будетъ готово?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ,—въ восемь трудно... у многихъ заказано... а къ девяти часамъ пожалуйте, во всемъ ресторанѣ ни одного сторонняго человѣка не будетъ.

— Хорошо.

— А что приготовить?

— Разумѣется, эѳіоповъ.

— А еще?

— Оркестръ.

— Одинъ?

— Нѣтъ, два лучше.

— За Рябыкой послать?

— Разумѣется.

— Французскихъ дамъ?
— Не надо ихъ!
— Погребъ?
— Вполнѣ.
— По кухнѣ?
— Карту.

Подали дневное menue.

Дядя посмотрѣлъ и, кажется, ничего не разобралъ, а можетъ-быть, и не хотѣлъ разбирать; пощелкалъ по бумажкѣ палкою и говоритъ:

— Вотъ это все на сто особъ.

И съ этимъ свернулъ карточку и положилъ въ кафтанъ.

Французъ и радъ, и жмется:

— Я, говоритъ,—не могу все подать на сто особъ. Здѣсь есть вещи очень дорогія, которыхъ во всемъ ресторанѣ всего только на пять-шесть порцій.

— А я какъ же могу моихъ гостей разсортировывать? Кто что захочетъ, всякому чтобъ было. Понимаешь?

— Понимаю.

— А то, братъ, тогда и Рябыка не подѣйствуетъ. Пошелъ!

Оставили ресторанщика съ его лакеями у подъѣзда и покатили.

Тутъ я уже совершенно убѣдился, что попалъ не на свои рельсы и попробовалъ-было напроситься, но дядя не слышалъ. Онъ былъ очень озабоченъ. Ѣдемъ и только то одного, то другого останавливаемъ.

— Въ девять часовъ къ Яру!—говоритъ коротко каждому дядя.

А люди, которымъ онъ это сказываетъ, все почтенные такіе старцы, и всѣ снимаютъ шляпы и также коротко отвѣчаютъ дядѣ:

— Твои гости, твои гости, Ѳедосѣичъ.

Такимъ порядкомъ не помню, сколько мы остановили, но я думаю человѣкъ двадцать, и какъ разъ пришло девять часовъ, мы опять подкатили къ Яру. Слугъ цѣлая толпа высыпала навстрѣчу и берутъ дядю подъ руки, а самъ французъ на крыльцѣ салфеткою пыль у него съ панталонъ обилъ.

— Чисто?—спрашиваетъ дядя.

— Одинъ генералъ, говоритъ,—запоздалъ, очень просился въ кабинетѣ кончить...

— Сейчасъ вонъ его!

— Онъ очень скоро кончитъ.

— Не хочу,—довольно я ему далъ времени—теперь пусть идетъ на траву доѣдать.

Не знаю, чѣмъ бы это кончилось, но въ эту минуту генералъ съ двумя дамами вышелъ, сѣлъ въ коляску и уѣхалъ, а къ подъѣзду одинъ за другимъ разомъ начали прибывать гости, приглашенные дядею въ паркѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ресторанъ былъ убранъ, чистъ и свободенъ отъ посѣтителей. Только въ одной залѣ сидѣлъ одинъ великанъ, который встрѣтилъ дядю молча и, ни слова ему не говоря, взялъ у него изъ рукъ палку и куда-то ее спряталъ.

Дядя отдалъ палку нимало не противорѣча и тутъ же передалъ великану бумажникъ и портмонэ.

Этотъ полусѣдой, массивный великанъ былъ тотъ самый Рябыка, о которомъ при мнѣ дано было ресторатору непонятное приказаніе. Онъ былъ какой-то «дѣтскій учитель», но и тутъ онъ тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. Онъ былъ здѣсь столь же необходимъ, какъ цыгане, оркестръ и весь туалетъ, мгновенно явившійся въ полномъ сборѣ. Я только не понималъ: въ чемъ роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности.

Ярко освѣщенный ресторанъ работалъ: музыка гремѣла, а цыгане расхаживали и закусывали у буфета, дядя обозрѣвалъ комнаты, садъ, гротъ и галлереи. Онъ вездѣ смотрѣлъ «нѣтъ ли непринадлежащихъ», и рядомъ съ нимъ безотлучно ходилъ учитель, но когда они возвратились въ главную гостиную, гдѣ всѣ были въ сборѣ, между ними замѣчалась большая разница: походъ на нихъ дѣйствовалъ не одинаково: учитель былъ трезвъ, какъ вышелъ, а дядя совершенно пьянъ.

Какъ это могло столь скоро произойти—не знаю, но онъ былъ въ отличномъ настроеніи; сѣлъ на предсѣдательское мѣсто и попла писать столица.

Двери были заперты и о всемъ мірѣ сказано такъ: «что ни отъ нихъ къ намъ, ни отъ насъ къ нимъ перейти нельзя». Насъ разлучала пропасть,—пропасть всего вина, яствъ, а главное—пропасть разгула, не хочу сказать безобразнаго,—но дикаго, неистоваго, такого, что и передать

не умѣю. И отъ меня этого не надо и требовать потому, что, видя себя зажатымъ здѣсь и отдѣленнымъ отъ міра, я оробѣлъ и самъ поспѣшилъ скорѣе напиться. А потому я не буду излагать, какъ шла эта ночь, потому что *все* это описать дано не моему перу, я помню только два выдающіеся батальные эпизода и финалъ, но въ нихъ-то и заключалось главнымъ образомъ *страшное*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Доложили о какомъ-то Иванѣ Степановичѣ, какъ впослѣдствіи оказалсь важнѣйшемъ московскомъ фабрикантѣ и коммерсантѣ.

Это произвело паузу.

— Вѣдь сказано: никого не пускать,— отвѣчалъ дядя.

— Очень просятся.

— А гдѣ онъ прежде былъ, пусть туда и убирается.

Человѣкъ пошелъ, но робко идетъ назадъ.

— Иванъ Степанычъ, говоритъ,—приказали сказать, что они очень покорно просятся.

— Не надо, я не хочу.

Другіе говорятъ: «пусть штрафъ заплатитъ».

— Нѣтъ! гнать прочь, и штрафу не надо.

Но человѣкъ является и еще робче заявляетъ:

— Они, говоритъ,—всякій штрафъ согласны,—только въ нихъ годы, отъ своей компаніи отстать, говорятъ,—имъ очень грустно.

Дядя всталъ и сверкнулъ глазами, но въ это же время между нимъ и лакеемъ всталъ во весь ростъ Рябыка: лѣвой рукой, какъ-то однимъ щипкомъ, какъ цыпленка, онъ отшвырнулъ слугу, а правою посадилъ на мѣсто дядю.

Изъ среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича: просили пустить его,—взять сто рублей штрафу на музыкантовъ и пустить.

— Свой братъ, старикъ, благочестивый,—куда ему теперь дѣваться? Отобьется, пожалуй еще скандалъ сдѣлаетъ на виду у мелкой публики. Пожалѣть его надо.

Дядя внялъ и говоритъ:

— Если быть не по-моему, такъ и не по-вашему, а по-Божью: Ивану Степанову впускъ разрѣшаю, но только онъ долженъ бить на литаврѣ.

Пошелъ пересказчикъ и возвращается.

— Просятъ, говорятъ,—лучше съ нихъ штрафъ взять.

— Къ чорту! — не хочетъ барабанить — не надо, — пусть его куда хочетъ ѣдетъ.

Черезъ малое время Иванъ Степановичъ не выдержалъ и присылаетъ сказать, что *согласенъ* въ литавры бить.

— Пусть придетъ.

Входитъ мужъ нарочито великъ и видомъ почтененъ: обликомъ строгъ, очи угасли, хребетъ согбенъ, а брада комовата и празелень. Хочетъ шутить и здороваться, но его остепеняютъ.

— Послѣ, послѣ, это все послѣ, — кричитъ ему дядя: — теперь бей въ барабанъ.

— Бей въ барабанъ! — подхватываютъ другіе.

— Музыка! подлитаврную.

Оркестръ начинаетъ громкую пьесу, солидный старецъ беретъ деревянныя колотилки и начинаетъ въ тактъ и не въ тактъ стучать по литаврамъ.

Шумъ и крикъ адскій: всѣ довольны и кричатъ:

— Громче!

Иванъ Степановичъ старается сильнѣе.

— Громче, громче, еще громче!

Старецъ колотитъ во всю мочь, какъ Черный царь у Фрейлиграта, и, наконецъ, цѣль достигнута: литавра издаетъ отчаянный трескъ, кожа лопается, всѣ хохочутъ, шумъ становится невообразимый, и Ивана Степановича облегчаютъ, за прорванные литавры, штрафомъ въ пятьсотъ рублей въ пользу музыкантовъ.

Онъ платитъ, отираетъ потъ, усаживается и въ то время. какъ всѣ пьютъ его здоровье, онъ, къ немалому своему ужасу, замѣчаетъ между гостями своего зятя.

Опять хохотъ, опять шумъ и такъ до потери моего сознанія. Въ рѣдкіе просвѣты памяти вижу, какъ пляшутъ цыганки, какъ дрыгаетъ ногами, сидя на одномъ мѣстѣ, дядя; потомъ, какъ онъ передъ кѣмъ-то встаетъ, но тутъ же между ними появляется Рябыка, и кто-то отлетѣлъ и дядя садится, а передъ нимъ, въ столѣ, торчатъ двѣ воткнутыя вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки.

Но вотъ въ окно дохнула свѣжесть московскаго утра, я снова что-то сознаЛъ, но какъ будто только для того, чтобы усомниться въ разсудкѣ. Было сраженіе и рубка лѣсовъ: слышался трескъ, громъ, колыхались деревья, дѣвственныя,

экзотическія деревья, за ними кучею жались въ углу какія-то смуглыя лица, а здѣсь, у корней, сверкали страшные топоры и рубилъ мой дядя, рубилъ старецъ Иванъ Степановичъ... Просто средневѣковая картина.

Это «брали въ плѣнъ» спрятавшихся въ гротѣ за деревьями цыганокъ, цыгане ихъ не защищали и предоставили собственной энергіи. Шутку и серьезъ тутъ не разобрать: въ воздухѣ летѣли тарелки, стулья, камни изъ грота, а тѣ всѣ врубались въ лѣсъ и всѣхъ отважнѣе дѣйствовали Иванъ Степанычъ и дядя.

Наконецъ, твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцѣлованы, каждый — каждой сунулъ по сторублевой за «корсажъ», и дѣло кончено...

Да; сразу вдругъ все стихло... все кончено. Никто не помѣшалъ, но этого было довольно. Чувствовалось, что какъ безъ этого «жисти не было», такъ зато теперь довольно.

Всѣмъ было довольно и всѣ были довольны. Можетъ-быть, имѣло значеніе и то, что учитель сказалъ, что ему «пора въ классы», но, впрочемъ, все равно: вальпургіева ночь прошла, и «жисть» опять начиналась.

Публика не разъѣзжалась, не прощалась, а просто исчезла; ни оркестра, ни цыганъ уже не было. Ресторанъ представлялъ полнѣйшее разореніе: ни одной драпировки, ни одного цѣлаго зеркала, — даже потолочная люстра — и та лежала на полу вся въ кускахъ, и хрустальныя призмы ея ломались подъ ногами еле бродившей, утомленной прислуги. Дядя сидѣлъ одинъ посреди дивана и пилъ квасъ; онъ по временамъ что-то вспоминалъ и дрыгалъ ногами. Возлѣ него стоялъ поспѣшавшій въ классы Рябыка.

Имъ подали счетъ, — короткій: «гуртомъ писанный».

Рябыка читалъ счетъ внимательно и потребовалъ полторы тысячи скидки. Съ нимъ мало спорили и подвели итогъ: онъ составлялъ семнадцать тысячъ, и просматривавшій его Рябыка объявилъ, что это добросовѣстно. Дядя произнесъ односложно: «плати», и затѣмъ надѣлъ шляпу и кивнулъ мнѣ за нимъ слѣдовать.

Я, къ ужасу моему, видѣлъ, что онъ ничего не забылъ и что мнѣ невозможно отъ него скрыться. Онъ мнѣ былъ чрезвычайно страшенъ, и я не могъ себѣ представить, какъ я останусь въ этомъ его ударѣ съ глазу-на-глазъ. Прихва-

тилъ онъ меня съ собою, даже двухъ словъ резонныхъ не сказалъ, и вотъ таскаетъ, и нельзя отъ него отстать. Что со мною будетъ? у меня весь и хмель пропалъ. Я просто только боялся этого страшнаго, дикаго звѣря, съ его невѣроятною фантазіею и ужаснымъ размахомъ. А между тѣмъ мы уже уходили: въ передней насъ окружила масса лакеевъ. Дядя диктовалъ: «по пяти» — и Рябыка расплачивался: ниже платили дворникамъ, сторожамъ, городовымъ, жандармамъ, которые всѣ оказывали намъ какія-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы, а тутъ еще на всемъ видимомъ пространствѣ парка стояли извозчики. Ихъ было видимо-невидимо, и всѣ они тоже ждали насъ, — ждали батюшку Илью Ѳедосѣича, «не понадобится ли зачѣмъ послать его милости».

Узнали сколько ихъ и выдали всѣмъ по три рубля, и мы съ дядей сѣли въ коляску, а Рябыка подалъ ему бумажникъ.

Илья Ѳедосѣичъ вынулъ изъ бумажника сто рублей и подалъ Рябыкѣ.

Тотъ повернулъ билетъ въ рукахъ и грубо сказалъ:

— Мало.

Дядя накинулъ еще двѣ четвертки.

— Да и это недостаточно: — вѣдь ни одного скандала не было.

Дядя прибавилъ третью четвертную, послѣ чего учитель подалъ ему палку и откланялся.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мы остались вдвоемъ, съ глазу-на-глазъ, и мчались назадъ въ Москву, а за нами, съ гикомъ и дребезжаніемъ, неслась во всю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не понималъ, что имъ хотѣлось, но дядя понялъ. Это было возмутительно: имъ хотѣлось еще сорвать отступного и вотъ они, подъ видомъ оказанія особой чести Ильѣ Ѳедосѣичу, предавали его почетное высокостепенство всесвѣтному позору.

Москва была предъ носомъ и вся въ виду, — вся въ прекрасномъ утреннемъ освѣщеніи, въ легкомъ дымкѣ очаговъ и мирномъ благовѣстѣ, зовущемъ къ молитвѣ.

Вправо и влѣво къ заставѣ шли лабазы. Дядя всталъ у

крайняго изъ нихъ, подошелъ къ стоявшей у порога липовой кадкѣ, и спросилъ:

— Медъ?

— Медъ.

— Что̀ сто̀итъ кадка?

— На мелочь, по фунтамъ, продаемъ.

— Продай на крупное: смекни, что̀ сто̀итъ.

Не помню, кажется, семьдесятъ или восемьдесятъ рублей онъ смекнулъ.

Дядя выбросилъ деньги.

А кортежъ нашъ надвинулся.

— Любите меня, молодцы, городскіе извозчики?

— Какъ же, — мы завсегда къ вашему степенству...

— Привязанность чувствуете?

— Очень привязаны.

— Снимай колеса.

Тѣ недоумѣваютъ.

— Скорѣй, скорѣй! — командуетъ дядя.

Кто попрытче, человѣкъ двадцать, слазили подъ козла, достали ключи и стали развертывать гайки.

— Хорошо, — говоритъ дядя: — теперь мажь медомъ.

— Батюшка!

— Мажь!

— Этакое добро... въ ротъ любопытно.

— Мажь!

И не настаивая болѣе, дядя снова сѣлъ въ коляску, и мы понеслись, а тѣ, сколько ихъ было, всѣ остались съ снятыми колесами надъ медомъ, которымъ они колесъ вѣрно не мазали, а растащили по карманамъ, или перепродали лабазнику. Во всякомъ случаѣ, они насъ оставили, и мы очутились въ баняхъ. Тутъ я себѣ ожидалъ кончину вѣка, и ни живъ, ни мертвъ сидѣлъ въ мраморной ваннѣ, а дядя растянулся на полъ, но не просто, не въ обыкновенной позѣ, а какъ-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучнаго тѣла упиралась объ полъ только самыми кончиками ножныхъ и ручныхъ пальцевъ и на этихъ тонкихъ точкахъ опоры красное тѣло его трепетало подъ брызгами пущеннаго на него холоднаго дождя и ревѣлъ онъ сдержаннымъ ревомъ медвѣдя, вырывающаго у себя больничку. Это продолжалось съ полчаса и онъ все одинаково весь трепеталъ какъ желе на тряскомъ столѣ, пока, наконецъ, сразу

вспрыгнулъ, спросилъ квасу, и мы одѣлись и поѣхали на Кузнецкій «къ французу».

Здѣсь насъ обоихъ слегка подстригли и слегка завили и причесали, и мы пѣшкомъ перешли въ городъ — въ лавку.

Со мной все нѣтъ ни разговора, ни отпуска. Только разъ сказалъ:

— Погоди, не все вдругъ;—чего не понимаешь—съ лѣтамъ поймешь.

Въ лавкѣ онъ помолился, взглянувъ на всѣхъ хозяйскимъ окомъ, и сталъ у конторки. Внѣшность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищенія.

Я это видѣлъ и теперь пересталъ бояться. Это меня занимало,—я хотѣлъ видѣть, какъ онъ съ собою раздѣлается: воздержаніемъ, или какой благодатію?

Часовъ въ десять онъ сталъ больно нудиться, все ждалъ и высматривалъ сосѣда, чтобы идти втроемъ чай пить, — троимъ собираютъ на цѣлый пятакъ дешевле. Сосѣдъ не вышелъ: померъ скоропископю смертью.

Дядя перекрестился и сказалъ:

— Всѣ помремъ.

Это его не смутило, несмотря на то, что они сорокъ лѣтъ вмѣстѣ ходили въ Новотроицкій чай пить.

Мы позвали сосѣда съ другой стороны и не разъ сходили, того-сего отвѣдали, но все на-трезво. Весь день я просидѣлъ и проходилъ съ нимъ, а передъ вечеромъ дядя послалъ взять коляску ко Всепѣтой.

Тамъ его тоже знали и встрѣтили съ такимъ же почетомъ, какъ у Яра.

— Хочу пасть передъ Всепѣтой и о грѣхахъ поплакать. А это, рекомендую, мой племяшъ, сестры сынъ.

— Пожалуйте,—говорятъ инокини:—пожалуйте, отъ кого же Всепѣтой, какъ не отъ васъ, и покаянье принять, — всегда Ея обители благодѣтели. Теперь къ Ней самое расположеніе... всенощная.

— Пусть кончится,—я люблю безъ людей и чтобъ мнѣ благодатный сумракъ сдѣлать.

Ему сдѣлали сумракъ: погасили все, кромѣ одной или двухъ лампадъ и большой глубокой лампады, съ зеленымъ стаканомъ, передъ Самою Всепѣтою.

Дядя не упалъ, а рухнулъ на колѣни, потомъ ударилъ лбомъ объ полъ ницъ, всхлипнулъ и точно замеръ.

Я и двѣ инокини сѣли въ темномъ углу, за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежалъ, не подавая ни гласа, ни послушанія. Мнѣ казалось, что онъ будто уснулъ, и я даже сообщилъ объ этомъ монахинямъ. Опытная сестра подумала, покачала головою и, возжегши тоненькую свѣчечку, зажала ее въ горсть и тихо-тихонько направилась къ кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочкахъ, она возмутилась и шепнула:

— Дѣйствуетъ... и съ оборотомъ.

— Почему вы замѣчаете?

Она пригнулась, давъ знакъ и мнѣ сдѣлать то же, и сказала:

— Смотри прямо черезъ огонекъ,—гдѣ его ножки.

— Вижу.

— Смотрите, какое бореніе!

Всматриваюсь и, дѣйствительно, замѣчаю какое-то движеніе: дядя благоговѣйно лежитъ въ молитвенномъ положеніи, а въ ногахъ у него словно два кота дерутся, — то одинъ, то другой другъ друга борютъ, и такъ частенько, такъ и прыгаютъ.

— Матушка, говорю,—откуда же эти коты?

— Это, отвѣчаетъ,—вамъ только показываются коты, а это не коты, а искушеніе: видите, онъ духомъ къ небу горитъ, а ножками-то еще къ аду перебираетъ.

Вижу, что и дѣйствительно это дядя ножками вчерашняго трепака доплясываетъ, но точно ли онъ и духомъ теперь къ небу горитъ?

А онъ, словно въ отвѣтъ на это, вдругъ какъ воздохнетъ, да какъ крикнетъ:

— Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо одинъ святъ, а мы всѣ черти окаянные,—и зарыдалъ.

Да вѣдь такъ такъ зарыдалъ, что всѣ мы трое съ нимъ навзрыдъ плакать начали: Господи, сотвори ему по его моленію.

И не замѣтили, какъ онъ уже стоитъ рядомъ съ нами и тихимъ благочестивымъ голосомъ говоритъ мнѣ:

— Пойдемъ—справимся.

Монахини спрашиваютъ:

— Сподобились ли, батюшка, отблескъ видѣть?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ,—отблеска не сподобился, а вотъ... этакъ вотъ было.

Онъ сжалъ кулакъ и поднялъ, какъ поднимаютъ за вихоръ мальчишекъ.

— Подняло?

— Да.

Монахини стали креститься и я тоже, а дядя пояснилъ:

— Теперь мнѣ, говоритъ, — прощено! Прямо съ самаго сверху, изъ-подъ кумпола, разверстой десницей сжало мнѣ всѣ власы вкупѣ и прямо на ноги поставило...

И вотъ онъ не отверженъ, и счастливъ; онъ щедро одарилъ обитель, гдѣ вымолилъ себѣ это чудо, и опять почувствовалъ «жисть» и послалъ моей матери всю ея приданую долю, а меня ввелъ въ добрую вѣру народную.

Съ этихъ поръ я вкусъ народный позналъ въ паденіи и въ возстаніи... Это вотъ и называется *чертогонъ* «иже бѣса чужеумія изпраздняетъ». Только сподобиться этого, повторяю, можно въ одной Москвѣ, и то при особомъ счастіи, или при большой протекціи отъ самыхъ степенныхъ старцевъ.

Оглавленіе

XIV ТОМА.

	стр.
Овцебыкъ. Разсказъ.	3
Колыванскій мужъ. (Изъ остзейскихъ наблюденій)	70
Ракушанскій меламедъ. Разсказъ на бивуакѣ	130
Бѣлый орелъ. Фантастическій разсказъ	166
Чертогонъ	187

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

СМѢХЪ и ГОРЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Свѣжій мартовскій вѣтеръ гулко шумѣлъ деревьями большого Таврическаго сада въ Петербургѣ и быстро гналъ по погожему небу ярко-красныя облака. На дворѣ было около восьми часовъ вечера; сумерки съ каждою минутой надвигались все гуще и гуще, и въ небольшой гостиной опрятнаго домика, выходившаго окнами къ одной изъ оранжерей опустѣлаго Таврическаго дворца, ярко засвѣтилась бѣлая фарфоровая лампа, разливавшая тихій и ровный свѣтъ по уютному покою. Это было въ одномъ дружескомъ семействѣ, куда я, дядя мой Орестъ Марковичъ Ватажковъ и еще двое нашихъ общихъ знакомыхъ только-что вернулись съ вербнаго базара, что стоитъ о Лазаревой субботѣ у Гостинаго двора. Мы всѣ пришли сюда прямо съ этого базара и разговорились о значеніи праздничныхъ сюрпризовъ.

Семейный домъ, въ которомъ мы собрались, былъ изъ числа тѣхъ домовъ, гдѣ не спѣшатъ отставать отъ завѣтныхъ обычаевъ. Здѣсь извѣстные праздничные дни отличаются отъ простыхъ дней года всѣми мелочами, какими отличались эти дни у отцовъ и дѣдовъ. Тутъ непремѣнно поздній обѣдъ при звѣздѣ наканунѣ Рождества; кутья по Предтечѣ въ Крещенскій сочельникъ; жаворонки дѣтямъ 9-го марта, а въ воскресенье предъ Страстною недѣлей вербные подарки. Послѣдніе обыкновенно состояли изъ разныхъ игрушекъ и сюрпризовъ, которые наканунѣ съ вечера закупались на вербномъ базарѣ у Гостинаго двора и рано утромъ подвѣшивались на лентахъ подъ пологами дѣтскихъ кроватокъ. Каждый подарокъ украшался вѣткою вербы и

крылатымъ херувимомъ... Дѣти были увѣрены, что вербные подарки имъ приноситъ самъ этотъ вербный херувимъ или, какъ они его называли, «вербный купидонъ».

Объ этихъ подаркахъ и зашла теперь рѣчь: всѣ находили, что подарки—прекрасный обычай, который оставляетъ въ дѣтскихъ умахъ самыя теплыя и поэтическія воспоминанія; но дядя мой, Орестъ Маркѳвичъ Ватажковъ, человѣкъ необыкновенно выдержанный и благовоспитанный, вдругъ горячо запротиворѣчилъ и сталъ настаивать, что всѣ сюрпризы вредны и не должны имѣть мѣста при воспитаніи нигдѣ, а тѣмъ паче въ Россіи.

— Потому,—продолжалъ дядя:—что здѣсь и безъ того что̀ ни шагъ, то сюрпризъ, и притомъ самый скверный; такъ зачѣмъ же вводить дѣтей въ заблужденіе и пріучать ихъ ждать отъ внезапности чего-нибудь пріятнаго? Я допускаю, въ видѣ сюрприза, только одно—смѣть ребенка.

Всѣ переглянулись; кое-кто улыбнулся.

— Это и понятно, что Оресту Марковичу непріятно говорить о дѣтяхъ и о дѣтствѣ,—сказала хозяйка. — Старые холостяки не любятъ дѣтей.

— Опять долженъ вамъ возражать, — отвѣчалъ дядя. — Хотя я уже и дѣйствительно въ такихъ лѣтахъ, что не могу обижаться именемъ стараго холостяка, но, тѣмъ не менѣе, дѣтей я люблю, а сюрпризы для нихъ считаю вредными, потому что это вселяетъ въ нихъ ложныя надежды и мечтанія. Надо приготовлять дѣтей къ жизни сообразно ожидающимъ ихъ условіямъ, а такъ какъ жизнь на Руси чаще всего самыхъ лучшихъ людей ни за что ни про что бьетъ, то въ видѣ сюрприза можно только развѣ бить и наилучшихъ дѣтей и то преимущественно въ тѣ дни, когда они заслуживаютъ особой похвалы.

— Вы чудачествуете, Орестъ Марковичъ?

— Нимало: вербные купидоны для меня, какъ и для вашихъ дѣтей, еще не перешли въ область прошедшаго, и я говорю о нихъ даже не безъ замиранія сердца.

— Это шутка?

— Нисколько. Что̀ за шутка серьезными вещами.

— Такъ это исторія?

— Даже нѣсколько исторій, если вамъ угодно: лучше сказать, это такое же potpourri изъ сюрпризовъ, какъ бываетъ potpourri изъ пѣсенъ.

— И вы, можетъ-быть, будете такъ любезны, что разскажете намъ кое-что изъ вашего potpourri?

— Охотно,—отвѣчалъ мой дядя:—тѣмъ болѣе, что здѣсь и тепло, и свѣтло, и пріятно, и добрые снисходительные слушатели, а мое potpourri варьировано на интереснѣйшую тему.

— А именно?

— А именно вотъ на какую: всѣ полагаютъ, что на Руси жизнь скучна своимъ однообразіемъ, и ѣздятъ отсюда за границу *развлекаться*, тогда какъ я утверждаю и буду имѣть честь вамъ доказать, что жизнь нигдѣ такъ не преизобилуетъ самыми внезапнѣйшими разнообразіями, какъ въ Россіи. По крайней мѣрѣ я уѣзжаю отсюда за границу именно *для успокоенія* отъ калейдоскопической пестроты русской жизни, и думаю, что я не единственный экземпляръ въ своемъ родѣ.

— Орестъ Марковичъ! Мы васъ слушаемъ.

— Милостивые государи! Я повинуюсь и начинаю.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Большинству здѣсь присутствующихъ обстоятельно извѣстно, что я происхожу изъ довольно древняго русскаго дворянскаго рода. Я записанъ въ шестую часть родословной книги своей губерніи; получилъ въ наслѣдство по разнымъ прямымъ и боковымъ линіямъ около двухъ тысячъ душъ крестьянъ; учился когда-то и въ Россіи, и за границей; служилъ неволею въ военной службѣ; холостъ, корнетъ въ отставкѣ, имѣю преклонныя лѣта, живу постоянно за границей и проѣдаю тамъ мои выкупныя свидѣтельства; очень люблю Россію, когда ея не вижу, и непомѣрно раздражаюсь противъ нея, когда живу въ ней, а потому наѣзжаю въ нее какъ можно рѣже, въ экстренныхъ случаяхъ, подобныхъ тому, отъ котораго сегодня только освободился. Я разсказываю вамъ все очень подробно и не утаиваю никакихъ мелочей моего характера, эгоистическаго и мелкаго, не дѣлающаго мнѣ ни малѣйшей чести. Я знаю, что вы меня за это не почтете вашимъ особеннымъ вниманіемъ, но я уже, во-первыхъ, старъ, чтобы заискивать себѣ чьенибудь расположеніе лестью и притворствомъ, а во-вторыхъ, строгая истина совершенно необходима въ моемъ полуфантастическомъ разсказѣ для того, чтобы вы ни на мн-

нуту не заподозрили меня во лжи, преувеличеніяхъ и утайкахъ.

Въ воспитаніи моемъ есть что-то необыкновенное. Я русскій, но родился и выросъ внѣ Россіи. Должность родныхъ липъ, подъ которыми я впервые осмотрѣлся, исправляли для меня южные каштаны, я крещенъ въ водѣ итальянской рѣки и глаза мои увидали впервые солнце на итальянскомъ небѣ. Родители мои постоянно жили въ Италіи. Отецъ мой не былъ изгнанникъ, но, тѣмъ не менѣе, сѣверъ былъ для него вреденъ, и онъ предпочиталъ родинѣ чужіе края. Мать моя тосковала по Россіи и научила меня любить ее и стремиться къ ней. Когда мнѣ минуло шесть лѣтъ, стремленію этому суждено было осуществиться: отецъ мой, катаясь на лодкѣ въ Генуэзскомъ заливѣ, опрокинулся и пошелъ какъ ключъ ко дну въ море. Послѣ этой потери, югъ утратилъ для насъ съ матерью свое значеніе, и мы потянулись съ нею на сѣверъ. Мнѣ о ту пору было всего восемь лѣтъ. Тогда и по Европѣ еще сплошь ѣздили въ дилижансахъ, а у насъ плавали по грязи.

Я не помню уже сколько дней мы ѣхали до Петербурга, сколько потомъ отъ Петербурга до Москвы и далѣе отъ Москвы до далекаго уѣзднаго города, вблизи котораго, всего въ семи верстахъ, жилъ мой дядя. Эта продолжительная и утомительная поѣздка, или, вѣрнѣе сказать, это плаваніе въ тарантасахъ по грязи, по тридцати верстъ въ сутки на почтовыхъ, останется вѣчно въ моей памяти. Я какъ будто вчера еще только отбылъ эти муки, и у меня даже еще ноютъ при всякомъ движеніи хрящи и ребра. Я поистинѣ могу сравнивать это странствованіе съ странствованіями Одиссея Лаэртида. Приключенія были чуть не на каждомъ шагу, и покойница матушка во всѣхъ этихъ приключеніяхъ играла роль добраго генія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Благія вмѣшательства моей матери въ судьбы странниковъ начались съ перваго же ночлега по петербургскому шоссе, которое существуетъ и по-днесь, но о которомъ всѣ вы, нынѣшніе легковѣсные путешественники, разумѣется, не имѣете никакого понятія. Желѣзныя дороги—большое препятствіе къ изученію Россіи, я въ этомъ положительно увѣренъ, но это à propos... Какъ сейчасъ помню: теплый осен-

ній вечеръ; полоска слабаго свѣта чуть брезжится на западѣ и на ней отъ времени до времени вырѣзываются силуэты ближайшихъ деревьевъ: они все казались мнѣ солдатиками, и я мысленно сравнивалъ ихъ съ огненными мужичками, которые пробѣгаютъ по сгорѣвшей, но не истлѣвшей еще бумагѣ, брошенной въ печку. Я любилъ, бывало, засматриваться на такую бумагу, какъ засмотрѣлся ѣдучи и на полосу заката, и вовсе не замѣтилъ, какъ она угасла и какъ передъ остановившимся внезапно экипажемъ вытянулась черная полоска какихъ-то городулекъ, испещренныхъ огненными точками краснаго цвѣта, отражавшагося длинными и острыми стрѣлками на темныхъ лужахъ шоссе, по которымъ порывистый вѣтеръ гналъ безконечную рябь. Это былъ придорожный поселокъ, станція и ночлегъ. Борисъ Савельичъ, старый и высокій, съ сѣдымъ кокомъ лакей, опытный путешественникъ, отряженный дядею въ наши провожатые и высланный намъ навстрѣчу въ Петербургъ для сопровожденія насъ въ завѣтную глубь Россіи, соскочилъ съ козелъ и отправился на станцію. Я видѣлъ, какъ его грандіозная, внушающая фигура въ безпредѣльной, подпоясанной ремнемъ, волчьей шубѣ, поднялась на крыльцо; видѣлъ, какъ въ окнѣ моталась тѣнь его высокаго кока и какъ потомъ онъ тотчасъ же вышелъ назадъ къ экипажу, крикнулъ ямщику: «не смѣй отпрягать», и объявилъ матушкѣ, что на почтовой станціи остановиться ночевать невозможно, потому что тамъ проѣзжіе ремонтеры играютъ въ карты и пьютъ вино, а «ночью,—добавлялъ нашъ провожатый,—хотя они и благородные, но у нихъ навѣрное случится драка». Матушка страшно перепугалась этого доклада и тотчасъ же сдалась на предложеніе Бориса Савельича отъѣхать на постоялый дворъ къ какому-то Петру Ивановичу Гусеву, который, по словамъ Бориса, былъ «отличнѣйшій человѣкъ и имѣлъ у себя для проѣзжающихъ преотличные покои».

Дворъ этого отличнѣйшаго человѣка былъ всего въ двухъ шагахъ отъ станціи, и не успѣлъ Борисъ скомандовать: «къ Петру Ивановичу», какъ экипажъ нашъ свернулъ съ шоссе налѣво, прокатилъ по небольшому мостику чрезъ придорожную канаву и, проползя нѣсколько шаговъ по жидкой грязи, застучалъ по бревенчатому помосту подъ темными сараями крытаго двора. Посреди этого двора, подъ высокими стропилами, висѣлъ на перекинутой чрезъ блокъ веревкѣ боль-

шой фонарь, ничего не освѣщавшій, но глядѣвшій на все точно красный глазъ кикиморы. Въ непроглядной тьмѣ подъ сараями кое-гдѣ слышались человѣческіе голоса и то тихій стукъ конскихъ зубовъ, жевавшихъ овесъ, то усталое лошадиное отпыхиванье.

Матушка и моя старая няня, возвращавшаяся съ нами изъ-за границы, высвободившись изъ-подъ вороха шубъ и мѣховыхъ одѣялъ, укутывавшихъ наши ноги отъ пронзительнаго вѣтра, шли въ «упокои» пѣшкомъ, а меня Борисъ Савельичъ несъ на рукахъ, покинувъ предварительно свой кушакъ и шапку въ тарантасѣ. Держась за воротникъ его волчьей шубы, я мечталъ, что я сказочный царевичъ и ѣду на сказочномъ же сѣромъ волкѣ.

«Упокоевъ», которыми соблазнилъ насъ Борисъ, къ нашимъ услугамъ, впрочемъ, не оказалось. Встрѣтившая насъ въ верхнихъ сѣняхъ баба, а затѣмъ и самъ Петръ Ивановичъ Гусевъ,—атлетическаго роста мужчина съ окладистою бородой, — ласковымъ голосомъ и съ честнѣйшимъ видомъ, объявилъ намъ, что въ «упокояхъ» передѣлываются печи и ночевать тамъ невозможно, но что въ залѣ преотлично и чай кушать, и опочивать можно на диванахъ.

— А барчуку,—добавилъ онъ, указывая на меня: — мы смостимъ два креслица и пуховичокъ подкинемъ.

Мать рѣшила, что это прекрасно и, взявъ съ хозяина слово, что онъ въ залу уже никого, кромѣ насъ, не пуститъ, велѣла подать самоваръ. Послѣднее распоряженіе матушки тотчасъ же вызвало со стороны Бориса осторожное, шопотомъ выраженное замѣчаніе, что, молъ, этакъ, не спросивши напередъ цѣны, на постоялыхъ дворахъ ничего спрашивать невозможно.

— Хотя это точно,—говорилъ Борисъ:—что мы съ вашимъ братцемъ всегда останавливаемся у Петра Ивановича и онъ обижать насъ по-настоящему не долженъ, ну, а все же правило того требуетъ, чтобы спросить.

Борисъ Савельичъ былъ изъ числа тѣхъ крѣпостныхъ людей, выросшихъ въ передней господскаго дома, для которыхъ поѣздки, особенно далекія поѣздки въ столицы, въ Москву или Петербургъ, составляли высшее удовольствіе. Въ этихъ поѣздкахъ онъ могъ щеголять своею опытностью, знаніемъ свѣта, тонкимъ пониманіемъ людей и вообще такими свѣдѣніями, какихъ при обыкновенномъ теченіи жизни

ему показать было некому, да которыхъ отъ него въ обыкновенное время никто и не спрашивалъ. Все, что онъ ни дѣлалъ въ дорогѣ,—все это онъ дѣлалъ какъ бы нѣкое священнодѣйствіе, торжественно, величественно и притомъ съ нѣкоторымъ жреческимъ лукавствомъ.

Въ большой комнатѣ, которую мы для себя заняли, Борисъ Савельичъ тотчасъ же оріентировалъ насъ къ углу, гдѣ была тепло, даже жарко натопленная печка. Онъ усадилъ меня на лежанку, матушку на диванъ и безпрестанно прибѣгалъ и убѣгалъ съ разными узлами, дѣлая въ это время отрывочныя замѣчанія то самому дворнику, то его кухаркѣ, — замѣчанія, состоявшія въ томъ, что не во-время они взялись передѣлывать печки въ упокояхъ, что темно у нихъ въ сѣняхъ, что вообще онъ усматриваетъ у нихъ въ хозяйствѣ большія нестроенія.

Затѣмъ Борисъ убѣгалъ снова и снова возвращался съ корзинками, въ которыхъ были припасенные въ дорогу папушники и пирожки. Все это было разложено на печкѣ, на чистой бумагѣ, и Борисъ Савельичъ, разбирая эту провизію, внушалъ матушкѣ, что все это надо кушать, а у дворника ничего не брать, потому-де, что у него все очень дорого.

— Я про ужинъ для себя полюбопытствовалъ,—говорилъ Борисъ: — да полтину проситъ, такъ я ему въ глаза и плюнулъ.

Матушку такая рѣзкость смутила, и она поставила это Борису на видъ; но тотъ только махнулъ рукой и отвѣчалъ, что съ торговымъ человѣкомъ на Руси иначе обходиться невозможно.

— Ихъ, матушка,—увѣрялъ онъ:—и попъ когда креститъ, такъ въ самое темя имъ три раза плюетъ.

Это меня очень заинтересовало, и я снова замечтался, какъ это производится указанная Борисомъ процедура, а между тѣмъ былъ поданъ самоваръ; я выпилъ одну чашку, почувствовалъ влеченіе ко сну и меня уложили на той же теплой лежанкѣ. Матушка расхаживала по комнатѣ, чтобы размять ноги, а Борисъ съ нянькою сѣли за чай; они пили очень долго и въ совершенномъ молчаніи. Я, потягиваясь на лежанкѣ, все наблюдалъ, какъ моя нянька краснѣла и, какъ мнѣ казалось, распухала. Она мнѣ тогда представлялась бѣлой піявкой, какихъ я, впрочемъ, никогда не ви-

далъ; я думалъ: вотъ еще, вотъ еще, раздуется моя няня и хлопнетъ. И точно, старуха покраснѣла, раздулась, разстегнула даже платокъ на груди и отпала. Но Борисъ Савельичъ упорно оставался одинъ за столомъ. Онъ сидѣлъ прямо, какъ будто проглотилъ аршинъ, и наливалъ себѣ мѣрно стаканъ за стаканомъ, съ очевиднымъ непреложнымъ намѣреніемъ выпить весь самоваръ до послѣдней капли. Онъ не раздувался и не краснѣлъ, какъ няня, но у него зато со всякимъ хлебкомъ престрашно выворачивались вѣки глазъ и изъ сѣдого его чуба вылеталъ и возносился легкій паръ. Мнѣ очень хотѣлось спать, но я не могъ уснуть, потому что все мною наблюдаемое чрезвычайно меня занимало. Это была *она*, моя завѣтная, моя долго жданная Россія, которую я жаждалъ видѣть ежесекундно. Она была въ этой безпріютной комнатѣ, въ этомъ пузатомъ самоварѣ, въ этомъ дымящемся чубѣ Бориса..

Но наблюденіямъ моимъ готовъ былъ и иной матеріалъ. Среди такихъ занятій нашей компаніи, о которыхъ я разсказываю, подъ окнами послышался шумъ отъ подъѣхавшаго экипажа, и вслѣдъ затѣмъ стукъ въ ворота и говоръ. Няня взглянула въ окно и сказала:

— Шестерная карета!

— Ну, какъ пріѣхали, такъ и уѣдутъ,— отвѣчалъ ей Борисъ:—останавливаться негдѣ;—но въ эту минуту на порогѣ явился умильный Петръ Ивановичъ и съ заискивающею подобострастною улыбкою началъ упрашивать мать во что бы то ни стало дозволить напиться чаю въ нашей комнатѣ проѣзжей генеральшѣ. Борисъ Савельичъ окрысился-было за это на дворника, какъ песъ Дагобера, но, услышавъ со стороны матери предупредительное согласіе, тотчасъ же присѣлъ и продолжалъ допивать свой чай и дымиться. Я имѣлъ чортъ знаетъ какое возвышенное понятіе о русскихъ генералахъ, про которыхъ няня мнѣ говорила дива и чудеса, и потому я торжествовалъ, что увижу генеральшу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ комнату нашу вошла большая, полная, даже почти толстая дама съ косымъ проборомъ и съ мушкой на лѣвой щекѣ. За ней четыре барышни въ ватныхъ шелковыхъ капотахъ, за ними горничная дѣвушка съ красивымъ дорожнымъ ларцемъ изъ краснаго сафьяна, за дѣвушкой лакей

съ ковромъ и нѣсколькими подушками, за лакеемъ ливрейнымъ лакей не-ливрейный съ маленькою собачкой. Генеральша, очевидно, была недовольна, что мы заняли комнату, прежде чѣмъ она накушалась здѣсь своего чаю.

Она извинялась передъ матушкой, что побезпокоила ее, но извинялась такимъ страннымъ тономъ, какъ будто мы были предъ нею въ чемъ-то виноваты и она насъ прощала. Матушка по своей добротѣ ничего этого не замѣчала и даже радовалась, что она можетъ чѣмъ-нибудь услужить проѣзжимъ, вызывалась заварить для нихъ новый чай и предложила дочерямъ генеральши нашихъ отогрѣтыхъ пирожковъ и папушниковъ. Но генеральша отклонила матушкино хлѣбосольство, объяснивъ, все въ томъ же неприступномъ тонѣ, что она разогрѣтаго не кушаетъ и чаю не пьетъ, что для нея сейчасъ сварятъ кофе въ ея кофейникѣ, а пока... она въ это время обратилась къ Петру Ивановичу и сказала:

— Послушай, мужикъ, у тебя есть что-нибудь завтракать?

— Матушка,—отвѣчалъ, выгибаясь, Петръ Иванычъ:—у меня сію минуту индюкъ въ печи сидитъ, на станцію для ремонтеровъ жарилъ, да если твоей милости угодно, мы тебѣ его подадимъ, а они подождутъ.

— Давай,—приказала генеральша.

Нашъ Борисъ тряхнулъ чубомъ и еще съ бо̀льшимъ ожесточеніемъ сталъ глотать остывающій чай. И мнѣ, и Борису показалось, что генеральша приказала подать индюка единственно затѣмъ, чтобъ унизить этимъ насъ, занимавшихъ въ комнатѣ лучшее мѣсто, но скромно подкрѣплявшихся чаемъ и разогрѣтыми пирожками. Всѣ мы были не мало переконфужены этимъ начинавшимъ подавлять насъ великосвѣтскимъ сосѣдствомъ и нетерпѣливо ждали появленія индюка, въ надеждѣ, что вслѣдъ затѣмъ гости наши покушаютъ и уѣдутъ.

Наконецъ, явился и онъ. Какъ теперь его помню: это былъ огромный, хорошо поджаренный, подрумяненный индюкъ, на большомъ деревянномъ блюдѣ и въ его папоротку былъ артистически воткнутъ сверкающій клинокъ большого ножа съ бѣлой костяною ручкой. Петръ Ивановичъ подалъ индюка и, остановясь, сказалъ:

— Прикажете раскроить?

— Нѣтъ, пожалуйста, пожалуйста... твоихъ услугъ не надо,—отвѣчала генеральша.

Петръ Ивановичъ, не конфузясь, отошелъ въ сторону.

На столѣ запылалъ кофейникъ, и генеральша обратилась къ дочерямъ съ вопросомъ, чего кому хочется. Ни одной не хотѣлось ничего. Надо помнить, что это были тѣ времена, когда наши барышни считали обязанностью держаться неземными созданьями и кушали очень мало, а потому генеральша только и могла отрѣзать отъ индюка одно крылышко. Это крылышко какая-то изъ дѣвицъ подержала въ рукахъ, покусала и бросила на тарелку. Затѣмъ лакей доложилъ, что карета готова, и чопорные гости стали собираться. Но тутъ произошла престранная исторія, впервые поколебавшая мое высокое понятіе о генеральшахъ.

Петръ Ивановъ явился съ огромными счетами, началъ выкладывать за теплоту и за свѣтлоту, и вдругъ потребовалъ за жареного индюка семнадцать съ полтиной (конечно на ассигнаціи).

Генеральша такъ и вскипѣла.

— Что ты, что ты! Да гдѣ же это за индюка семнадцать съ полтиной? Этакъ и за границей не дерутъ.

— Намъ, сударыня, заграница не указъ; мы свой расчетъ держимъ.

— Да мы твоей индюшки и не съѣли: ты самъ видишь, я одно крылышко отъ нея отломила.

— Какъ вамъ угодно,—отвѣчалъ Петръ Ивановъ:—только я ее теперь никому подать не могу. Какъ у насъ русскій дворъ, то мы, сударыня, только цѣлое подаемъ, особенно ремонтерамъ, потому какъ это господа завсегда строгіе.

— Ахъ, какой же ты мошенникъ!—закричала генеральша.

Петръ Ивановъ просилъ его не порочить.

— Нѣтъ, скажите Бога ради, мошенникъ онъ или нѣтъ?—обратилась генеральша заискивающимъ тономъ къ моей матери.

Мать промолчала, а Петръ Ивановъ положилъ на столъ счеты и вышелъ.

— Я не заплачу̀, — рѣшила генеральша: — ни за что не заплачу̀, — но тутъ же и спасовала, потому что вошедшій лакей объявилъ, что Петръ Ивановъ не выпускаетъ его съ вещами къ каретѣ.

— Ахъ, Боже мой, развѣ это же можно? — засуетилась генеральша.

— Торговаться впередъ надо,—отвѣчалъ ей поучительно Борисъ.

— Но, мой другъ, пойди, уговори его. — Вы позволите?

Мать позволила, Борисъ пошелъ, долго кричалъ и вернулся съ тѣмъ, что менѣе пятнадцати рублей не беретъ.

— Скажите, что же мнѣ дѣлать?—засуетилась снова генеральша.

Мать моя, зѣвая и закрывая ротъ рукою, отвѣчала генеральшѣ по-французски, что надо заплатить, и добавила, что съ одного ея кузена на Кавказѣ какіе-то казаки на постояломъ дворѣ потребовали пять рублей за пять яицъ, и когда тотъ не хотѣлъ платить, заперли его на дворѣ.

— Неужели это можетъ быть и со мною?—воскликнула генеральша и, заливаясь слезами, начала упрашивать Петра Иванова объ уступкѣ, но Петръ Ивановъ изъ пятнадцати рублей не уступилъ ни одной копейки, и деньги эти ему были заплачены; генеральша, негодующая и заплаканная, стала прощаться, проклиная Русь, о которой я слышалъ за границей одни нѣжные вздохи.

— Возьмите же, по крайней мѣрѣ, съ собою этого индюка: онъ вамъ пригодится,—сказала моя мать генеральшѣ.

Растерянная генеральша съ радостію согласилась.

— Да, да,—заговорила она:—конечно, жаркое пригодится.

И съ этимъ ея превосходительство, остановивъ за руку Петра Иванова, который хотѣлъ уносить индюка, сказала ему:

— Позволь, позволь, батюшка: ты деньги получилъ, а индюкъ мой. Дай мнѣ сахарной бумаги, чтобы завернуть.

Петръ Ивановъ отказалъ, но мать встала съ своего мѣста, пересыпала рубленый сахаръ изъ бумажнаго картуза въ холщевый мѣшочекъ и передала его Борису, который тутъ же мастерски увернулъ индюка и вручилъ его непосредственно самой генеральшѣ. Встрѣча съ этою гордою дамой, ея надутый видъ и метаморфозы, которыя происходили съ нею въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, были для меня предметомъ не малаго удивленія.

Съ этихъ поръ я, при видѣ всякаго земного величія, постоянно не могъ отучиться задавать себѣ вопросъ: а какъ бы держало себя это величіе предъ индюкомъ и запертыми воротами?

Это невинное событіе преисполнило юную душу мою неулегающимися волнами сомнѣнія и потомъ во многихъ случаяхъ моей жизни служило мнѣ соблазномъ и камнемъ преткновенія, о который я спотыкался и довольно больно разбилъ себѣ носъ.

Тотчасъ по отъѣздѣ генеральши въ нашей компаніи начались на ея счетъ самыя злыя насмѣшки, изъ чего я тогда же вывелъ для себя, сколь невыгодно выходить изъ собранія первымъ, а не послѣднимъ. Изъ этой же бесѣды мнѣ впервые уяснилось, что такое называется чванствомъ, фанфаронствомъ и другими именами. Но въ концѣ этого разговора матушка, однако, обратила Борисово вниманіе на то, что хорошъ же, молъ, однако, и твой Петръ Ивановъ,—какой онъ мошенникъ!—Борисъ по этому поводу пустился въ безконечные разсказы о томъ, что придорожному человѣку, а тѣмъ больше дворнику, никогда вѣрить нельзя, будь онъ хоть самый честнѣйшій человѣкъ, ибо на большихъ дорогахъ... Тутъ онъ началъ разсказывать разныя страсти, слушая которыя я заснулъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вслѣдъ за этимъ, я какъ сейчасъ помню небольшую почтовую станційку въ нижегородской губерніи, гдѣ мы натолкнулись на другую престранную исторію. Это было во второй половинѣ нашего путешествія, которое мы уже два дня совершали гораздо лучше, потому что на землю выпалъ густой снѣгъ и сталъ первопутокъ. Мы бросили въ какомъ-то городишкѣ нашъ тарантасъ и ѣхали теперь въ кибиткѣ на полозьяхъ. Разсказы Бориса о дорожныхъ странахъ возымѣли на всѣхъ насъ свое устрашающее дѣйствіе, вслѣдствіе чего матушка по ночамъ аккуратно пересаживала Бориса съ козелъ въ возокъ. Помню, какъ онъ, бывало, влѣзалъ къ намъ въ волчьей шубѣ, внося съ собою цѣлое облако холоднаго пара, и обыкновенно сейчасъ же опять заводилъ страшные разсказы. Такъ мы проѣхали огромныя лѣсныя пространства, и однажды вечеромъ, остановясь передъ маленькою станційкой, увидѣли у крыльца кибитку съ тройкой дрожащихъ и дымящихся лошадей. На станціи была замѣтна какая-то суетня и бѣготня съ крыльца во дворъ и со двора на крыльцо. Всѣхъ, очевидно, занимало что-то и необыкновенное, и смѣшное, потому что всѣ

бѣгали, и не то охали, не то смѣялись. Одинъ верховой выскочилъ изъ воротъ и, скаля зубы, понесся въ одну сторону лѣса; другой, совсѣмъ помирая со смѣха и нещадно настегивая по бокамъ коня, поскакалъ въ другую. Мы разсчитывали здѣсь пить чай и вошли въ сѣни. Нянька вела подъ руку матушку; Борисъ, по обыкновенію, несъ меня на рукахъ. Въ маленькой слабо освѣщенной комнаткѣ, въ которую мы вступили прямо изъ сѣней, была куча самыхъ странныхъ людей, съ самыми невѣроятными, длинными и горбатыми носами, какихъ я никогда до тѣхъ поръ не видалъ. Мнѣ даже показалось, что это вовсе не люди, а одни носы. Во всей этой смятенной сутолокѣ раздавался странный и непонятный говоръ и трепетный плачъ съ какимъ-то гортаннымъ переливомъ. Три огромные носа въ огромныхъ бараньихъ шапкахъ держали надъ тазомъ четвертый носъ, изъ котораго въ двѣ противоположныя стороны били фонтаны крови. Эти носы были армяне, возвращавшіеся куда-то къ себѣ изъ Москвы. Ихъ было счетомъ четверо, и они ѣхали всего за полчаса предъ нами черезъ лѣсъ, который мы благополучно минули. Трое изъ армянъ сидѣли въ самой кибиткѣ, а четвертый, ихъ молодой приказчикъ, съ самымъ большимъ восточнымъ носомъ, помѣщался у нихъ на колѣняхъ, такъ что огромный носъ его высовывался изъ кибитки наружу. Вдругъ изъ лѣсной чащи раздался выстрѣлъ, и несчастный носъ этого злополучнаго армянина какъ разъ предъ самымъ кончикомъ простреленъ крупной леткой... Нужно же было случиться такой странности!

Мы застали армянина истекающаго кровью надъ тазомъ; около него всѣ кричали, суетились и никто ничего не предпринималъ. Узнавъ, въ чемъ дѣло, моя мать быстро разорвала свой носовой платокъ и устроила изъ него для раненаго бинтъ и компрессы, а Борисъ, выдернувъ изъ стоявшей на столѣ сальной свѣчки фитиль, продернулъ его армянину сквозь носъ, и перевязка была готова. Теперь всѣ только смѣялись, что, конечно, было очень непріятно раненому, но удержаться было невозможно. Этотъ жалкій армянинъ съ прострѣленнымъ носомъ и продернутымъ сквозь него фитилемъ изъ свѣчки былъ, дѣйствительно, до такой степени смѣшонъ, что, несмотря на его печальное положеніе, сама матушка моя постоянно отворачивалась, чтобы скрыть свой смѣхъ. Мы обогрѣлись и уѣхали съ этой стан-

ціи, оставивъ на ней армянъ ожидать пристава, а сами съ этихъ поръ всю дорогу только и толковали про то, какъ и почему разбойникъ прострѣлилъ армянину не щеку, не ухо, а именно одинъ носъ? Признаюсь вамъ, я до сихъ поръ считаю это событіе совершенно чрезвычайнымъ, и когда заходитъ гдѣ-либо рѣчь о Промыслѣ или о фатализмѣ, я всегда невольно припоминаю себѣ этого армянина, получившаго въ носъ первое предостереженіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Третье путевое происшествіе, которое живыми чертами врѣзалось въ моей памяти, было уже всего за полтораста верстъ отъ дядина имѣнія. На дворѣ стояла сухая морозная ночь. Снѣгъ скрипѣлъ подъ полозьями и искрился какъ рафинадъ. На лошадяхъ и на людяхъ сверкали морозныя иглы. Мы подъѣхали къ большому непривѣтливому дому, похожему на заброшенныя боярскія хоромы. Это тоже была станція, на которой намъ категорически отказали въ лошадяхъ и не обѣщали даже дать ихъ въ скорости. Дѣлать было нечего, мы выбрались изъ кибитки и пошли на станцію. Въ единственной большой комнатѣ, назначенной и для пріѣзжающихъ, и для смотрительскаго стола, мы нашли сердитаго, пресердитаго вида человѣка въ старой, поношенной бекешѣ. Это былъ станціонный смотритель. Онъ сидѣлъ, подперши голову обѣими руками, и смотрѣлъ въ огромную, тускло освѣщаемую сальнымъ огаркомъ книгу. При нашемъ появленіи онъ не тронулся и не ворохнулся, но, тѣмъ не менѣе, видно было, что чтеніе не сильно его занимало, потому что онъ часто зѣвалъ, вскидывалъ глазами на пламя свѣчи, очищалъ пальцами нагаръ и, поплевавъ на пальцы, опять лѣниво переводилъ глаза къ книгѣ. Въ комнатѣ было мертвое молчаніе, прерываемое лишь то тихимъ и робкимъ, то громкимъ и азартнымъ чириканьемъ сверчка гдѣ-то за старою панелью теплой печки. И вотъ опять на столѣ чай, — это единственное универсальное лѣкарство отъ почтовой скуки; опять няня краснѣетъ, опять дымится Борисовъ чубъ, а смотритель все сидитъ и не удостоиваетъ насъ ни взгляда, ни звука. Богъ знаетъ, до чего бы додержалъ насъ здѣсь этотъ невозмутимый человѣкъ, если бы на выручку намъ не подоспѣло самое неожиданное обстоятельство.

Среди мертвой тишины, подъ окнами, послышался скрипъ полозьевъ, и въ комнату вошелъ бойкою и щеголеватою походкой новый путешественникъ. Это былъ высокій и стройный молодой человѣкъ, въ хорошей енотовой шубѣ, подпоясанной краснымъ гаруснымъ шарфомъ, и въ франтовской круглой мѣховой шапочкѣ изъ боброваго котика. Онъ подошелъ прямо къ смотрителю и, вѣжливо положивъ ему на столъ свернутую подорожную, проговорилъ очень мягкимъ и, какъ мнѣ казалось, симпатическимъ голосомъ:

— Прошу васъ нарядить пять лошадей.

Смотритель, кажется, очень обрадовался, что судьба посылала ему новаго человѣка, котораго онъ могъ помучить. Онъ даже искоса не взглянулъ на незнакомца и, отодвинувъ локтемъ его подорожную, сказалъ:

— Нѣтъ лошадей.

Подорожная упала на полъ. Молодой человѣкъ въ енотовой шубѣ поднялъ бумагу безъ гнѣва и вышелъ съ нею вонъ. Борисъ, няня и матушка только переглянулись между собою, а Борисъ даже прошепталъ вдогонку проѣзжему:

— Вотъ тебѣ и енотъ!

Смотритель, очевидно, ликовалъ. Я впослѣдствіи имѣлъ случай сдѣлать выводъ, что смотрительская должность имѣетъ свойство пріуготовлять въ людяхъ особенное расположеніе къ злорадству.

Но въ то время, какъ мы переглядывались, а смотритель радовался, въ сѣняхъ раздались тяжелые шаги, пыхтѣнье и сапъ, и затѣмъ дверь грозно распахнулась настежь.

Мы всѣ встрепенулись и насторожили и слухъ, и зрѣніе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ комнату вплыло цѣлое облако холоднаго воздуха и въ этомъ воздухѣ заколебалась страшная черная масса, предъ которою за минуту вошедшій человѣкъ казался какою-то фитюлькой. Масса эта, въ огромной черной медвѣжьей шубѣ съ широкимъ воротникомъ, спускавшимся до самаго пояса, съ аршинными отворотами на доходившихъ до пола рукавахъ, въ медвѣжьихъ сапогахъ и большой собольей шапкѣ,—вошла, рыкнула: «гдѣ?» и, по безмолвному манію слѣдовавшаго за нимъ енота, прямо надвинулась на смотрителя; одно мгновеніе,—что-то хлопнуло, и на полу, у ногъ

медвѣжьей массы, закопошился смотритель. Еще хлопъ— и новый полетъ кувыркомъ, и снова безмолвіе.

— Ты читалъ, мерзавецъ, подорожную? — заревѣлъ въ медвѣдѣ.

Смотритель стоялъ вытянувшись, дрожа и пятясь.

— Читалъ?—грозно переспросилъ медвѣдь.

— Нѣ... нѣ... нѣтъ-съ.

Но еще прежде чѣмъ смотритель кончилъ это «нѣтъ-съ», въ комнатѣ опять раздалась оглушительнѣйшая пощечина и смотритель снова кувыркомъ полетѣлъ подъ столъ.

— Такъ ты даже не читалъ? Ты даже не знаешь, кто я? А небось ты четырнадцатымъ классомъ, каналья, пользуешься?

— Пользуюсь, ваше высокопревосходительство.

Оплеуха.

— Чинъ: «не бей меня въ рыло», имѣешь?

— Имѣю-съ.

— Избавленъ по закону отъ тѣлеснаго наказанія?

— Избавленъ-съ.

— Такъ вотъ же, не уповай на законъ! Не уповай!

И посыпались пощечина за пощечиной; летѣли онѣ градомъ, дождемъ, потокомъ; несчастный смотритель только-что поднимался, какъ падалъ снова на полъ. Мы всѣ привстали въ страхѣ и ужасѣ и рѣшительно не знали, что̀ это за Наполеонъ такой набѣжалъ, и какъ намъ себя при немъ держать, а смотритель все падалъ и снова поднимался для того, чтобы снова падать, между тѣмъ какъ шуба все косила и косила. Я и теперь не могу понять, какъ непостижимо-ловко наносила удары эта медвѣжья шуба. Она дѣйствовала какъ мельница: то однимъ крыломъ справа, то другимъ слѣва, такъ что это была какъ бы машина, ниспосланная сюда затѣмъ, чтобы наказать невозмутимаго чиновника. Вслѣдъ за послѣднимъ ударомъ шуба толкнула избитаго смотрителя сапогомъ подъ столъ и, не говоря ему болѣе ни слова, повернула къ дверямъ и исчезла въ морозномъ облакѣ; за медвѣдемъ ушелъ и енотъ. Чуть только она вышла, смотритель тотчасъ же выкарабкался, встряхнулся какъ пудель и тоже исчезъ. Черезъ секунду на дворѣ зазвенѣлъ его распорядительный голосъ, а еще черезъ минуту экипажъ ускакалъ. Смотритель, проводивъ гостей, вошелъ въ комнату, повѣсилъ на колышекъ шапку и сѣлъ къ своей

книгѣ, но прочиталъ немного. Онъ видимо нуждался въ бесѣдѣ: хотѣлъ облегчить свою душу разговоромъ, и потому, обратясь къ матушкѣ, сказалъ довольно спокойнымъ для его положенія тономъ:

— Вотъ, изволили видѣть, какія у насъ въ Россіи бываютъ по службѣ непріятности.

— Да, это ужасная непріятность,— отвѣчала моя сердобольная матушка и добавила:—Я удивляюсь, неужто вы все это такъ и оставите?

— Нѣтъ-съ: да что же... тутъ если все взыскивать, такъ и служить бы невозможно,—отвѣчалъ смотритель.—Это большая особа: тайный совѣтникъ и сенаторъ (смотритель назвалъ одну изъ важныхъ въ тогдашнее время фамилій). Отъ такого, по правдѣ сказать, оно даже и не обидно; а вотъ какъ другой разъ прапорщикъ какой набѣжитъ, или корнетъ, да тоже къ рылу лѣзетъ, такъ вотъ это ужъ очень противно.

Сказавъ это, смотритель вздохнулъ, вышелъ и велѣлъ запрягать намъ лошадей.

Такимъ образомъ, если вамъ угодно, я, проѣзжая по Россіи до мѣста моего пріюта, получилъ уже довольно своеобычные уроки и составилъ себѣ довольно самостоятельное понятіе о томъ, что можетъ ждать меня въ предстоящемъ. Все, что я ни видалъ, все для меня было сюрпризомъ, и я получилъ наклонность ждать, что впередъ пойдетъ все чуднѣе и чуднѣе.

Такъ оно и вышло.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ имѣніи дяди меня на первыхъ же порахъ ожидали еще новыя, гораздо болѣе удивительныя вещи. Братъ моей матери, князь Семенъ Одолѣнскій, безпардонный либералъ самаго не либеральнаго времени, былъ человѣкъ, преисполненный всяческихъ противорѣчій и чудачествъ.

Онъ когда-то много учился, сражался въ отечественную войну, былъ масономъ, писалъ либеральнѣйшіе проекты и за то, что ихъ нигдѣ не принимали, сердился на всѣхъ,— на государя, на Сперанскаго, на г-жу Крюденеръ, на Филарета, уѣхалъ въ деревню и мстилъ всѣмъ имъ оттуда разными чудачествами, вѣроятно оставшимися для тѣхъ никогда неизвѣстными. Онъ жилъ въ домѣ страннымъ, страш-

номъ, желтомъ и такомъ длинномъ, что въ немъ, кажется, можно было уставить двѣ цѣлыя державы—Липпе и Кнингаузенъ. Въ этомъ домѣ братъ моей матери никогда не принималъ ни одного человѣка, равнаго ему по общественному положенію и образованію; а если кто къ нему по незнанію заѣзжалъ, то онъ отбояривалъ гостей такъ, что они впередъ сюда уже не заглядывали. Назадъ тому лѣтъ двадцать, верстахъ въ сорока отъ него жила его родная тетка, старая княжна Авдотья Одолѣнская, которая лѣтъ пять сряду ждала къ себѣ племянника и, не дождавшись, потеряла, наконецъ, терпѣніе и рѣшила сама навѣстить его. Для этого визита она выбрала день его рожденія и прикатила. Дядя, узнавъ о такомъ неожиданномъ родственномъ набѣгѣ, выслалъ дворецкаго объявить теткѣ, что онъ не знаетъ, по какому бы такому дѣлу имъ надобно было свидѣться. Однимъ словомъ, онъ ее выпроваживалъ; но тетка тоже была не изъ уступчивыхъ, и дворецкій, побесѣдовавъ съ ней, возвратился къ дядѣ съ докладомъ, что старая княжна пріѣхала къ нему, какъ къ новорожденному. Дядя нимало этимъ не смутился и опять выслалъ въ залъ къ теткѣ того же самаго дворецкаго съ такимъ отвѣтомъ, что князь, молъ, рожденію своему не радуются и поздравленія съ онымъ принимать не желаютъ, такъ какъ новый годъ для нихъ не что иное, какъ шагъ къ смерти. Но княжна и этимъ не пронялась: она сѣла на диванъ и велѣла передать князю, что до тѣхъ поръ не встанетъ и не уѣдетъ, пока не увидитъ новорожденнаго. Тогда князь позвалъ въ кабинетъ камердинера, разоблачился до-нага и вышелъ къ гостьѣ въ чемъ его мать родила.

— Вотъ, молъ, государыня тетушка, каковъ я родился!

Княжна давай Богъ ноги, а онъ въ этомъ же райскомъ нарядѣ выпроводилъ ее на крыльцо до самаго экипажа.

Вообще присутствія всякаго ровни князь не сносилъ, а водился съ окрестными хлыстами, сочинялъ имъ для ихъ радѣній пѣсни и стихи, самъ мнилъ себя и хлыстомъ, и духоборцемъ, и участвовалъ въ радѣніяхъ, но въ Бога не вѣрилъ, а только юродствовалъ со скуки и досады, происходившихъ отъ безсильнаго гнѣва на позабывшее о немъ правительство. Семьи законной у него не было: онъ былъ холостъ, но имѣлъ много дѣтей и не только не скрывалъ этого, но неумолчно требовалъ, чтобъ ему записали его дѣтей въ

формулярный списокъ. На бумагахъ же, гдѣ только была надобность спросить его «холостъ онъ или женатъ и имѣетъ ли дѣтей», онъ постоянно съ особеннымъ удовольствіемъ писалъ: «Холостъ, но дѣтей имѣю». Объ обществѣ онъ не заботился, потому что якобы пренебрегалъ всѣми «поклоняющимися злату и древу», и въ пріемномъ покоѣ, гдѣ некого было принимать, держалъ на высокой, обитой краснымъ сукномъ колоннѣ литого изъ золота тельца со страшными зелеными изумрудными глазами. Предъ этимъ тельцомъ будто бы когда-то кланялись и присягали по особой присягѣ попы и чиновники, и телецъ имъ выкидывалъ за каждый поклонъ по червонцу, но впослѣдствіи все это дядѣ надоѣло, и комедія съ тельцомъ была брошена. Дѣловыми занятіями князя были безчисленные процессы, которые онъ велъ почти со всѣми губернскими властями, единственно съ цѣлью дразнить ихъ и оскорблять безнаказаннымъ образомъ. Въ этомъ искусствѣ онъ достигъ замѣчательнаго совершенства, и нерѣдко даже не однихъ чиновниковъ поражалъ неожиданностію и оригинальностію своихъ пріемовъ. Онъ сочинялъ самъ на себя извѣты и доносы, чтобы заводить переписку съ властями, имѣя заранѣе обдуманные планы какъ злить и безнаказанно обижать чиновниковъ. Пропадалъ, напримѣръ, въ сосѣднемъ съ нимъ губернаторскомъ имѣніи скотъ. Дядя тотчасъ призывалъ самаго ябедливаго дьячка, подпаивалъ его водкой, которой и самъ вышивалъ для примѣра, и вдругъ ни съ того, ни съ сего довѣрялъ дьячку, что губернаторскій скотъ стоитъ у него на задворкѣ. Черезъ недѣлю губернаторъ получалъ доносъ на дядю, и тотъ ликовалъ: всѣ хлопоты и заботы о томъ только и шли, чтобы вступить въ переписку. На первый же запросъ дядя очень спѣшно отвѣчалъ, что «*я-де скота губернатора* съ его полей въ свои закуты загонять никогда не приказывалъ, да и имѣть *его скота* нигдѣ вблизи меня и моихъ четвероногихъ не желаю; но опасаюсь, не загналъ ли *скота губернатора*, по глупости, мой бурмистръ изъ села *Поганецъ*». По этому показанію особый чиновникъ летѣлъ въ село Поганецъ, и тамъ тоже, разумѣется, никакого «скота губернатора» не находилъ; а дядя уже строчилъ новую бумагу, въ коей жаловался, что «*Поганецъ губернаторскій чиновникъ*, обыскивая, перепугалъ на скотномъ дворѣ всѣхъ племенныхъ телятъ». Если же дядѣ не

удавалось втравливать мѣстныхъ чиновниковъ въ переписку съ собою, то онъ строчилъ на нихъ жалобы въ томъ же тонѣ въ столицы. Такъ, въ одной жалобѣ, посланной имъ въ Петербургъ на мѣстнаго губернатора, онъ писалъ безъ запятыхъ и точекъ: «въ бытность мою въ губернскомъ городѣ на выборахъ я однажды встрѣтился съ господиномъ начальникомъ губерніи и былъ изруганъ *имъ подлецомъ и мошенникомъ*», а въ другой разъ, въ просьбѣ, поданной въ уголовную палату, устроилъ, конечно съ умысломъ, въ разныхъ мѣстахъ подчистки нѣкоторыхъ словъ въ такомъ порядкѣ, что получилъ возможность въ концѣ прошенія написать слѣдующую оговорку: «а что въ семъ прошеніи по почищенному написано, что судившіе, меня, члены, уголовной, палаты, всѣ, до, одного, взяточники, подлецы, и, дураки, то это все вѣрно и прошу въ томъ не сомнѣваться»...

Тогда, въ тѣ мрачныя времена безсудія и безмолвія на нашей землѣ, все это казалось не только верхомъ остроумія, но даже вмѣнялось безпокойному старику въ высочайшую гражданскую доблесть, и если бы онъ кого-нибудь принималъ, то къ нему всеконечно многіе бы ѣздили на поклоненіе и считали бы себя черезъ то въ опасномъ положеніи, но у дяди, какъ я сказалъ, дверь была затворена для всѣхъ и эта-то недоступность дѣлала его еще интереснѣе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

У матери были дѣла съ дядею: ей надлежала отъ него значительная сумма денегъ. Такихъ гостей обыкновенные люди принимаютъ вообще нерадостно, но дядя мой былъ не таковъ: онъ встрѣтилъ насъ съ матерью привѣтливо, но помѣстилъ не въ домѣ, а во флигелѣ. Въ обширномъ и почти пустомъ домѣ у него для насъ мѣста недостало. Это очень обидѣло покойную матушку. Она мнѣ не сказала ничего, но я при всей молодости моихъ тогдашнихъ лѣтъ видѣлъ, какъ ее передернуло.

Непосредственно за прибытіемъ нашимъ въ дядину усадьбу, у насъ такъ и потянулась полоса скучной жизни. Дяди я не видалъ, а грустная мать моя была плохимъ товарищемъ моему дѣтскому возрасту, жаждавшему игръ и забавъ. Зима уходила и снѣга стали сѣрѣть; кончался постъ. Однажды, пригорюнясь, сидѣлъ я у окна и смотрѣлъ на склонявшееся къ закату весеннее солнце, какъ вдругъ кто-то

большою, твердою, тяжелою походкой прошелъ мимо окна и ступилъ на крыльцо флигеля такъ, что ступени затрещали подъ его ногами. Черезъ минуту растворилась дверь и на порогѣ показался мой дядя.

Это было первое посѣщеніе, которое онъ рѣшился сдѣлать моей матери послѣ нашего пріѣзда въ его имѣніе.

Не знаю почему, для чего и зачѣмъ, но при видѣ дяди я невыразимо его испугался и почти въ ужасѣ смотрѣлъ на его блѣдное лицо, на его пестрой термаламы халатъ, пунцовый гро-гро галстукъ и лисью высокую, остроконечную шапочку. Онъ мнѣ казался великимъ магомъ и волшебникомъ, о которыхъ я къ тому времени имѣлъ уже довольно обстоятельныя свѣдѣнія.

Прислонясь къ спинкѣ кресла, на которомъ засталъ меня дядя, я не сомнѣвался, что у него въ карманѣ непремѣнно есть гдѣ-нибудь вѣтка омелы, что онъ коснется ею моей головы, и что я тотчасъ скинусь бѣлымъ зайчикомъ и поскачу въ это широкое поле съ темными перелогами, въ которыхъ растлѣвается флеромъ весны подернутый снѣгъ, а онъ скинется волкомъ и пойдетъ меня гнать... Что шагъ, то становится все страшнѣе и страшнѣе... И вотъ дядя подошелъ именно прямо ко мнѣ, взялъ меня за уши и сказалъ:

— Здравствуй, пумперлей! — и при этомъ онъ подавилъ мнѣ слегка книзу уши и добавилъ: — ишь что за гадость мальчишка! плечишки съ вершокъ, а внизу жирѣешь. Постное, небось, ѣлъ?

— Постное,—прошепталъ я едва слышно.

Дядя опять давнулъ меня за уши и проговорилъ:

— Точная дѣвочка; изгадила, братъ, тебя мать, изгадила.

— Братъ!—отозвалась ему изъ другой комнаты съ укоризною мать.

Дядя ушелъ къ ней, и она заговорила съ нимъ по-англійски, сначала просто шумно, а потомъ и сердито.

Я понялъ одно, что дядя надъ чѣмъ-то издѣвался, и мнѣ показалось, что насмѣшки его имѣютъ нѣкоторое соотношеніе къ восковому купидону, котораго въ большомъ отъ меня секретѣ золотила для меня моя мать.

— Это—растлѣніе,—говорилъ дядя:—въ жизни все причинно, послѣдовательно и условно. Сюрпризами только гадость дѣлается.

Мать умоляла дядю замолчать.

— Пусть, — говорила она: — пусть по-твоему. Пускай жизнь будетъ подносить ему однѣ непріятности, но пусть я... пусть мать поднесетъ ему удовольствіе.

Я тогда несвободно понималъ по-англійски и не понялъ, чѣмъ кончился ихъ разговоръ, да и вдобавокъ я уснулъ. Меня раздѣли и соннаго уложили въ кровать. Это со мною часто случалось.

Помнилось мнѣ только сквозь сонъ, что дядя, проходя мимо меня, будто сказалъ мнѣ:

— Мой милый другъ, тебя завтра ждетъ большой сюрпризъ.

На утро я проснулся очень рано, но боялся открыть глаза: я зналъ, что вербный купидонъ, вѣроятно, уже слетѣлъ къ моей постелькѣ и паритъ надъ нею съ какими-нибудь большими для меня радостями.

Я раскрылъ глаза сначала чуть на одинъ волосокъ, потомъ нѣсколько шире и, наконецъ, уже не самъ я, а невѣдомый ужасъ растворилъ ихъ, такъ что я почувствовалъ ихъ совсѣмъ круглыми, и при этомъ имѣлъ только одно желаніе: влипнуть въ мою подушку, уйти въ нее и провалиться...

Вербный купидонъ дѣлалъ мнѣ сюрпризъ, котораго я, дѣйствительно, ни за что не ожидалъ: онъ висѣлъ на широкой голубой лентѣ, а въ объятіяхъ несъ для міра печали и слезъ... розгу. Да-съ, не что иное, какъ большую березовую розгу!.. Увидавъ это, я долго не могъ придти въ себя и повѣрить, проснулся я или еще грежу спросонья; я приподнимался, всматривался и, къ удивленію своему, все болѣе и болѣе изумлялся: мой вербный купидонъ, дѣйствительно, держалъ у себя подъ крылышками огромный пукъ березовыхъ прутьевъ, связанныхъ такою же голубою лентой, на какой самъ онъ былъ подвѣшенъ, и на этой же лентѣ я замѣтилъ и бѣлый билетикъ. Что это было на билетикѣ при такомъ странномъ приношеніи? размышлялъ я, и хотя самъ тщательно кутался въ одѣяло и дулся на прилетъ купидона съ розгой, но... но не выдержалъ... вскочилъ, сорвалъ билетикъ и прочиталъ:

«Кто ждетъ себѣ ни за что ни про что радостей, тотъ дождется за то всякихъ гадостей».

— Это дядя! это непремѣнно дядя! — рѣшилъ я себѣ и не ошибся, потому что въ эту минуту дядя распахнулъ за-

навѣски моей кроватки и... изрядно меня высѣкъ, ни за что и ни про что.

Матушка была въ церкви и защищать меня было некому; но зато она, узнавъ о моемъ сюрпризѣ, рѣшилась немедленно отвезти меня въ гимназическій пансіонъ, гдѣ и начался для меня новый родъ жизни.

Такимъ я припоминаю вербнаго купидона моего дѣтства. Онъ имѣлъ для меня свое серьезное значеніе. Съ тѣхъ поръ, при какихъ бы то ни было упованіяхъ на что бы то ни было свыше, у меня въ крови пробѣгаетъ трепетъ и мнѣ представляется вѣчно онъ, вербный купидонъ, спускающійся ко мнѣ съ березовою розгой, и онъ меня сѣкъ, да-съ, онъ много и страшно сѣкъ меня и... я опасаюсь какъ бы еще разъ не высѣкъ... Нечего, господа, улыбаться,—я разсказываю вамъ исторію очень серьезную и вы только благоволите въ нее вникнуть.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ нынѣшнее время у школяровъ есть честность гражданская; у насъ была честность рыцарская. Жизнь была тоже рыцарская. Неустрашимость, храбрость и мужество въ разнообразнѣйшихъ ихъ приложеніяхъ и проявленіяхъ подвергались испытанію. Классныя комнаты назывались залами различныхъ орденовъ. Тутъ были круглоголовые, черноголовые рыцари, странствующіе рыцари и всякіе другіе, какихъ вамъ угодно орденовъ и званій. Огромный садъ пансіона служилъ необъятнымъ поприщемъ, на которомъ происходили бои и турниры, что бывало зимой, когда насъ пускали въ этотъ садъ, особенно удобно по причинѣ огромныхъ, наваленныхъ тутъ сугробовъ, изображавшихъ замки и крѣпости.

Я жилъ голодно и учился прекрасно. Такъ прошелъ годъ, въ теченіе котораго я не ѣздилъ домой ни разу. Я, впрочемъ, обвыкся и не скучалъ. Затруднительною порой въ этой жизни было для насъ вдругъ объявленное намъ распоряженіе, чтобы мы никакъ не смѣли: «отвѣчать въ повелительномъ наклоненіи». Намъ было сказано, что это требуется изъ Петербурга, и мы были не мало устрашены этимъ требованіемъ, но все-таки по привычкѣ отвѣчали: «подведи шаръ подъ меридіанъ», или «раздѣли частное и умножь дѣлителя». Отучить насъ отвѣчать иначе, какъ напечатано

въ книгахъ, долго не было никакой возможности, и бывали мы за то биты жестоко и много, даже и не постигая въ чемъ наша вина и преступленіе. Знакомства и исключительнаго дружества я ни съ кѣмъ въ школѣ не водилъ, хотя мнѣ немножко болѣе другихъ нравились два нѣмца-братья: Карлъ, который былъ со мною во второмъ классѣ, и Аматусъ, который былъ въ третьемъ. Помню, что оба они были очень краснощекіе, и аккуратно каждую перемѣну сходились другъ съ другомъ у притолоки двери, раздѣлявшей наши классы; и Карлъ, бывало, говорилъ Аматусу:

— Аматусъ, мнѣ кажется, что я себѣ нынче изъ русскаго нуль досталъ.

А на слѣдующую перемѣну Аматусъ являлся къ притолокѣ и возвѣщалъ:

— Нѣтъ, Карлюсъ, я о тебѣ справился, ты ошибаешься: это тебѣ не кажется, а ты себѣ настоящій нуль досталъ.

Эта пунктуальность и обстоятельность въ сихъ юныхъ характерахъ мнѣ чрезвычайно нравились, и я всегда съ жадностію прислушивался къ этому тихому совершенно серьезному разговору двухъ нѣмцевъ объ одномъ нулѣ.

Но сюрпризъ мнѣ былъ уже готовъ и ждалъ меня, а я къ нему мчался.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Приближалась Пасха. До Страстной недѣли оставалась всего одна недѣля, одна небольшая недѣля. Въ дортуарахъ вечеромъ разнесся слухъ, что насъ распустятъ не въ субботу, а въ четвергъ. Я уѣду и увижу мать!.. Сердце мое трепетало и билось. Тревожныя ощущенія эти еще болѣе усилились, когда въ среду, утромъ, одинъ изъ лакеевъ, утирая меня полотенцемъ, шепнулъ мнѣ:

— За вами прислали.

Когда я пришелъ въ столовую, сѣлъ за свой чай, то почувствовалъ, что вся кровь бросилась мнѣ въ лицо и у меня начали пылать уши. Все это произошло отъ одного магическаго слова, которое произнеслось шопотомъ, и въ сотнѣ различныхъ переливовъ разнеслось по столовой. Это магическое слово было: «за нимъ прислали».

Понятно, что ежели бы насъ пустили сегодня, или завтра, въ четвергъ, то я завтра же могъ бы и ѣхать.

— Если бы только пустили!

Но вотъ въ четвергъ начинаются и оканчиваются классы. Начальство не заводитъ ровно никакой рѣчи объ отпускѣ. Предъ обѣдомъ нѣсколько другихъ товарищей выбѣгаютъ по вызову лакея въ переднюю и возвращаются съ радостными лицами: и за ними прислали. Въ часы послѣобѣденнаго отдыха извѣстія о присылкѣ еще учащаются, вечеромъ они еще возрастаютъ и, наконецъ, оказывается, что чуть ли не прислали уже за всѣмъ пансіономъ. Нетерпѣніе разгорается съ каждою минутой. Каждая минута становится Богъ вѣсть какою тягостью. Мысль о томъ, что нужно идти спать въ тѣ же прохладные дортуары — становится несносна. Приготовлять уроки съ вечера нѣтъ уже никакой силы. Такъ и мерещатся, такъ и снятся наяву лошади, бричка, няня и теплая бѣличья шубка, которую прислала за мною мама и которую няня, неизвѣстно для чего, въ первыя минуты своего появленія въ пансіонъ, принесла мнѣ и оставила. Вечерніе уроки мы всѣ отсидѣли какъ на иголкахъ. Четвергъ насъ уже обманулъ, но, можетъ быть, зато выручитъ пятница? Неужто же ждать до субботы? Неужто нельзя ускорить приближеніе счастливаго момента хотя на однѣ сутки?

Кто-то изъ дѣтей, — я очень долго помнилъ его имя, но теперь позабылъ, — вздохнулъ и съ дѣтскимъ равнодушіемъ воскликнулъ:

— Боже мой, неужто нѣтъ никакихъ средствъ, чтобы выдумать что-нибудь такое, чтобы насъ отпустили раньше!

— Нѣтъ такихъ средствъ, и если даже не ошибаюсь, то, мнѣ кажется, нѣтъ такихъ *физическихъ* средствъ, — сказалъ въ отвѣтъ ему, вздохнувши, другой маленькій мальчикъ.

Замѣчательное дѣло, что тогда, когда въ людяхъ было менѣе всего всякой положительности, у насъ, когда говорили о средствахъ, всегда прибавлялось, что нѣтъ *физическихъ* средствъ, какъ будто въ другихъ средствахъ, нравственныхъ и моральныхъ, тогда никто даже не сомнѣвался.

— Да, такъ; нѣтъ никакихъ физическихъ средствъ, — отвѣчалъ первый маленькій мальчикъ.

— А кто это сказалъ — тотъ дуракъ, — замѣтилъ возмужалымъ голосомъ нѣкто Калатузовъ, молодой юноша, лѣтъ восемнадцати, котораго нѣжные родители, Богъ вѣсть для

чего, продержали до этого возраста дома и потомъ привезли для того, чтобы посадить рядомъ съ нами во второй классъ.

Мы его звали «дядюшкой», а онъ насъ за это билъ. Калатузовъ держалъ себя на «офицерской ногѣ». Держать себя на офицерской ногѣ въ наше время значило: не водиться за панибрата съ маленькими, ходить въ разстегнутой курткѣ, носить неформенный галстукъ, приподниматься лѣниво, когда спросятъ, отвѣчать какъ бы нехотя и басомъ, ходить въ развалку. Все это строго запрещалось, но, не умѣю вамъ сказать какъ и почему, всегда въ каждомъ заведеніи тогдашняго времени, къ которому относится мое воспитаніе, были ученики, которые умѣли ставить себя «на офицерскую ногу», и имъ это не воспрещалось.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ нашемъ классѣ одинъ Калатузовъ былъ на офицерской ногѣ. Онъ могъ у насъ бить всю мелкоту, самъ онъ былъ большой дуракъ, аппетитъ имѣлъ огромный, а къ ученію способности никакой. Это знали всѣ учителя и потому никогда его не спрашивали, а если въ заведеніе пріѣзжало какое-нибудь начальствующее лицо, то Калатузова совсѣмъ убирали и клали въ больницу. Онъ этимъ гордился. Впрочемъ, разъ было съ нимъ несчастное происшествіе: его спросилъ одинъ новый учитель. Это былъ новоприбывшій преподаватель географіи. Производя первую перекличку, онъ вызвалъ и Калатузова.

Калатузовъ тяжело приподнялся, перевалился сбоку-набокъ, облокотился косточками правой руки на столъ и легкимъ бархатнымъ баскомъ сказалъ:

— Я полагалъ, что вы, вѣроятно, знаете, что я ничего не знаю.

Учитель разсмѣялся и отвѣчалъ:

— Ну, въ такомъ случаѣ я запишу вамъ нуль.

— Это какъ вы хотите,—отвѣчалъ спокойно Калатузовъ, но, замѣтивъ, что непривычный къ нашимъ порядкамъ учитель и въ самомъ дѣлѣ намѣревается безтрепетною рукой поставить ему «котелку» и, сообразивъ, что въ силу этой отмѣтки, онъ, несмотря на свое крупное значеніе въ классѣ, останется съ лѣнивыми безъ обѣда, Калатузовъ немножко

привалился на столъ и закончилъ: — Вы запишете мнѣ нуль, а я на слѣдующій классъ буду все знать.

Большой ростъ дурака, его пробивающіеся усы, мужественный голосъ и странная офицерская манера держаться, рѣзко выдѣлявшая его изъ окружавшей его мелюзги, все, повидимому, возбуждало къ нему большое вниманіе новаго учителя; разсмѣявшись, онъ положилъ перо и сказалъ шутливо:

— Хорошо, г. Калатузовъ, я вамъ въ такомъ случаѣ не напишу нуля, если вы обѣщаетесь знать что-нибудь.

— Вы будьте въ этомъ увѣрены,—отвѣчалъ Калатузовъ.

И вотъ пришелъ слѣдующій классъ; прочитали молитву; учитель сѣлъ за столъ; сдѣлалась тишина. Многихъ изъ насъ занимало, спроситъ или не спроситъ нынѣшній разъ новый учитель Калатузова; а онъ его какъ разъ и зоветъ.

— Вы намъ, кажется, — говоритъ: — обѣщали прошлый разъ что-то выучить?

Калатузовъ, нехотя, что называется, какъ воръ на ярмаркѣ, повернулся, наклонился въ одинъ бокъ плечомъ, потомъ перевалился въ другой, облокотился кистями обѣихъ рукъ о парту и медленно возгласилъ:

— Точно, я вамъ это обѣщалъ.

— Что же вы знаете?—спросилъ учитель.

Для Калатузова это былъ вопросъ весьма затруднительный; ему было безразлично, о чемъ бы его ни спросили, потому что онъ ничего не зналъ, но онъ, нимало не смутившись, равнодушно посмотрѣлъ на свои ногти и сказалъ:

— Я все знаю.

— Все?

— Да, все,—еще спокойнѣе отвѣчалъ Калатузовъ.

Учителю стало необыкновенно весело, а мы съ удовольствіемъ и не безъ зависти замѣтили, что Калатузовъ овладѣвалъ и этимъ новымъ человѣкомъ и, конечно, и отъ него будетъ пользоваться всякими вольностями и льготами.

— Но есть же что-нибудь такое, — спросилъ его учитель:—что вы особенно хорошо знаете?

— Нѣтъ, мнѣ все равно; я все одинаково знаю,—отвѣчалъ, нимало не смущаясь, Калатузовъ.

— Но вѣрно есть что-нибудь такое, что вамъ особенно пріятно разсказать. Я хочу, чтобы вы сами выбрали.

— Извольте,—отвѣчалъ Калатузовъ, и, безцеремонно нагнувшись къ своему маленькому сосѣду, взялъ въ руки географію, развернулъ ее, взглянулъ на заголовокъ статьи и сказалъ:

— Пруссію.

— Вы лучше всего знаете Пруссію?

— Да, Пруссію,—отвѣчалъ Калатузовъ.

— Потрудитесь начинать.

— Извольте,—отвѣчалъ Калатузовъ и, глядя преспокойно въ книгу, началъ, какъ теперь помню, слѣдующее опредѣленіе: — «Бранденбургія была»: — но на этомъ расхохотавшійся учитель остановилъ его и сказалъ, что читать по книгѣ вовсе не значитъ знать. Калатузовъ бросилъ книгу на столъ, далъ въ обѣ стороны два кулака сидѣвшимъ около него малюткамъ и довольно громко сказалъ: «Подсказывай»... Молодой учитель смотрѣлъ на всю эту продѣлку съ видимымъ удовольствіемъ. Его это смѣшило и тѣшило. Два маленькіе мальчика, боявшіеся своего огромнаго сосѣда, оба зажужжали: «Бранденбургія была первоначальнымъ зерномъ Прусскаго королевства». Такъ излагались свѣдѣнія о Пруссіи въ нашей географіи.

Жужжавшіе наперерывъ другъ предъ другомъ мальчики подсказывали, однако, неудовлетворительно. Калатузовъ пригинался то къ одному изъ нихъ, то къ другому и, получая, вмѣсто опредѣлительныхъ словъ, какое-то жужжаніе, вышелъ, наконецъ, изъ терпѣнія и сказалъ:

— Одинъ подсказывай.

Сосѣдній мальчикъ справа внятно произнесъ ему:

— Бранденбургія была первоначальнымъ зерномъ Прусскаго королевства.

— Довольно,—сказалъ Калатузовъ; съ этимъ онъ откашлянулся, провелъ пальцемъ за галстукомъ, поправилъ рукой волосы, которые у него, по офицерскимъ же правиламъ, были немножко длиннѣе, чѣмъ у всѣхъ насъ, и спокойно возгласилъ:

— *Пруссія есть зерно.*

— Какъ зерно? — переспросилъ изумленный учитель.

— Такъ написано, — отвѣчалъ Калатузовъ.

— Но позвольте же узнать, какъ же это? Есть зерна ржаныя, овсяныя, пшеничныя. Какое же зерно Пруссія?

Калатузовъ подумалъ и, сдѣлавъ кислую гримасу, отвѣчалъ:

— Я вамъ не могу объяснить этого, какое это чортово зерно.

Вотъ этотъ-то умникъ Калатузовъ во время тайнаго разговора вечеромъ въ четвергъ Лазаревой недѣли и говоритъ:

— Пустяки, говоритъ,—есть физическая возможность, чтобы насъ отпустили завтра утромъ; мнѣ, говоритъ, нѣтъ ничего легче доказать вамъ эту физическую возможность.

Мы стали просить, чтобъ онъ намъ ее доказалъ.

— Сегодня вечеромъ, — началъ внушать Калатузовъ: — за ужиномъ пусть каждый оставитъ мнѣ свой хлѣбъ съ масломъ, а черезъ полчаса я вамъ открою физическую возможность добиться того, чтобы насъ не только отпустили завтра, но даже по шеямъ выгнали.

— Выгонятъ по шеямъ!.. У насъ даже ушки отъ этого запрыгали.

— Только надо, чтобы кто-нибудь взялся сдѣлать одно дѣло, — продолжалъ Калатузовъ.

— Страшное? — спросило разомъ нѣсколько голосовъ.

— Ну, не очень страшное, — отвѣчалъ Калатузовъ: — но таки рискованное.

— Рискованное? — крикнулъ тоненькимъ голоскомъ маленькій, чистенькій и опрятный мальчикъ, который былъ необыкновенно красивъ и котораго всѣ въ классѣ цѣловали.

Онъ назывался Локотковъ.

— Рискованное? — воскликнулъ Локотковъ. — Я берусь за всякое рискованное дѣло.

Локотковъ былъ у насъ отчаянною головой; онъ употреблялся въ классѣ для того, чтобы передразнивать учителя-нѣмца или приводить въ ярость и неистовство учителя-француза. Характера онъ былъ живого, предпріимчиваго и пылкаго.

Локоткову удавалось входить въ довѣріе къ учителю французскаго языка и коварно выводить его на посмѣшище, увѣряя его во время перевода, что сказать: «у рыбъ нѣтъ зубъ» невозможно, а надо говорить: или «у рыбей нѣтъ зубей», или «у рыбовъ нѣтъ зубовъ», и т. п.

Кончалось это обыкновенно тѣмъ, что Локоткову доставался нуль за поведеніе, но ему это, бывало, неймется и на слѣдующій урокъ Локотковъ снова, бывало, сму-

щаетъ учителя, объясняя ему, что онъ не такъ перевелъ, будто «голодный мужикъ выпилъ кувшинъ воды однимъ духомъ».

— Однимъ духомъ невозможно пить, monsieur Basel,—внушалъ съ кротостію учителю Локотковъ.

— Taisez-vous! — сердито кричалъ французъ и, покусавъ въ задумчивости губы, лепеталъ:—«мужикъ, le paysan, выпилъ кувшинъ воды однимъ... шагомъ. Да,—выговаривалъ онъ тверже, вглядываясь во всѣ дѣтскія физіономіи, — именно выпилъ кувшинъ воды *однимъ шагомъ*... нѣтъ... однимъ духомъ... нѣтъ однимъ шагомъ»...

И раздавался снова хохотъ, и monsieur Basel снова выписывалъ Локоткову zéro. И вотъ этотъ-то веселый, добродушный мальчикъ вызвался совершить рискованное предпріятіе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Рискованное предпріятіе, которое должно было спасти насъ и выпустить двумя днями раньше изъ заведенія, по плану Калатузова, заключалось въ томъ, чтобы ночью изъ всѣхъ подсвѣчниковъ, которые будутъ вынесены въ переднюю, накрасть огарковъ и побросать ихъ въ печки: сдѣлается-де угаръ и насъ отпустятъ съ утра.

Планъ былъ простъ и геніаленъ.

Что за тревожная ночь за симъ наступила! Тишина была замѣчательная: не спалъ никто, но всѣ притворялись спящими. Маленькій Локотковъ, въ шерстяныхъ чулкахъ, которые были доставлены мнѣ нянею для путешествія, надѣлъ на себя мнѣ же доставленную шубку мѣхомъ навыворотъ, чтобъ испугать, если невзначай кого встрѣтитъ, и съ перочиннымъ ножикомъ и съ двумя пустыми жестяными пиналями отправился на очистку оставленныхъ подсвѣчниковъ. Походъ совершился благополучно. Локотковъ возвратился, сало украдено, но самъ воръ какъ будто занемогъ; онъ легъ въ постель и не разговаривалъ. Это было вслѣдствіе тревоги и волненія. Мы это понимали.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

На небѣ засѣрѣло туманное, тяжелое апрѣльское утро. Намъ все не спится. Еще минута, и вотъ начинается перепархиваніе съ одной кровати на другую, начинаются

нервная горячка и страхъ. На нѣкоторыхъ кроватяхъ мальчики помѣщаются по-двое, и здѣсь и тамъ повсемѣстно идетъ тихій шопотъ и подсмѣиванье надъ тѣмъ, что будетъ и какъ будетъ. Кое-кто сообщаетъ идиллическія описанія своей деревушки, своего домика, но и между идилліями и между хохотомъ всѣ безпрестанно оборачиваются на кроватку, на которой лежитъ Локотковъ. Онъ, кажется, спитъ; его никто не безпокоитъ. Всѣ чувствуютъ къ нему невольное почтеніе и хотѣли бы пробудить его, но считаютъ это святотатствомъ. Кто-то тихо подкрался къ нему, посмотрѣлъ въ глаза, прислушался къ дыханію и покачалъ головой. Что значитъ это неопредѣлительное покачиванье головой — никому неизвѣстно, но по дортуару тихо разносится «спитъ». И вотъ еще минута. Всѣмъ кажется, что Локоткова пора бы, наконецъ, будить, но ни у кого недостаетъ рѣшимости. Наконецъ гдѣ-то далеко внизу, на крыльцѣ, завизжалъ и хлопнулъ дверной блокъ.

Это истопники несутъ дрова... роковая минута приближается: сейчасъ начнутъ топить. Духъ занимается. У всѣхъ на умѣ одно и у всѣхъ одно движеніе будить Локоткова.

Длинный, сухой ученикъ, съ совершенно бѣлыми волосами и бѣлесоватыми зрачками глазъ, прозванный въ классѣ «бѣлымъ тараканомъ», тихо крадется къ Локоткову и только что хотѣлъ произнести: «Локотковъ, пора!» какъ тотъ, вдругъ расхохотавшись беззвучнымъ смѣхомъ, сѣлъ на кровать и прошепталъ: — «Ахъ, какіе же вы трусы! Я тоже не спалъ всю ночь, но я не спалъ отъ смѣха, а вы... трусишки!» и съ этимъ онъ началъ обуваться.

— Вотъ-то Локотковъ, молодчина! — думали мы, съ завистью глядя на своего благороднаго, самоотверженнаго товарища.

— Вотъ-то характеръ, такъ характеръ!

За ширмами потянулся гувернеръ, всталъ, вышелъ съ заспаннымъ лицомъ и удивился, что мы уже всѣ на ногахъ.

Въ нижнемъ этажѣ и со всѣхъ сторонъ начинается хлопанье дверей и слышится веселое трещанье затопившихся печекъ. Роковая минута все ближе и ближе. Проходя въ умывальную попарно, мы всѣ бросали значительные взгляды на топившуюся печку и держались серьезно, какъ заговорщики, у которыхъ есть общая тайна.

неподвижно лежала на недопитомъ стаканѣ чаю, который онъ только хотѣлъ приподнять со стола.

— Да, славная будетъ порка, — продолжалъ Калатузовъ и, отойдя къ окну, не безъ аппетита сталъ утирать свой ротъ.

— Но кто же это можетъ открыть? — робко спросилъ въ это время весь покрывшійся пунцовымъ румянцемъ Локотковъ.

— Тотъ, кто домой хочетъ пораньше, — отвѣчалъ Калатузовъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Начальство сразу смекнуло, въ чемъ дѣло, да немудрено было это и смекнуть. Распахнулись двери и на порогѣ, расчищая усъ, явился сторожъ Кухтинъ, который у насъ былъ даже воспѣтъ въ стихахъ, гдѣ было представлено торжественное веденіе юношей-рыцарей на казнь, причемъ

Какъ грозный исполинъ,
Шагалъ тамъ съ розгами Кухтинъ.

При видѣ этого страшнаго человѣка, Локотковъ изобличилъ глубокій упадокъ духа. Стоя возлѣ него, я видѣлъ не только какъ онъ покачнулся, но даже чувствовалъ, какъ трепетала на его сюртучкѣ худо пришитая пуговка и какъ его маленькія пухленькія губки сердечкомъ выбивали дробь.

Начался допросъ. Дѣти сначала не признавались, но когда директоръ объявилъ, что всѣ три низшіе класса будутъ высѣчены черезъ четыре человѣка пятый, началось смятеніе.

— Отдѣляйтесь! — началъ директоръ. — Ты, первый, становись къ скамьѣ.

Одинъ робкій мальчикъ отошелъ и подвинулся къ скамьѣ. Онъ водилъ тревожными глазами по залѣ и ничего не говорилъ, но правая рука его постоянно то поднималась, то опускалась, — точно онъ хотѣлъ отдать кому-то честь. Слѣдующіе четыре мальчика были отставлены въ сторону; эти немедленно начали часто и быстро креститься. Пятый снова тихо подвигался къ скамьѣ. Это былъ тотъ блѣдный, запуганный мальчикъ, котораго звали «бѣлымъ тараканомъ». Совсѣмъ оробѣвъ, онъ не могъ идти: ноги у него

въ колѣняхъ подламывались, и онъ падалъ. Кухтинъ взялъ его подъ мышку, какъ скрипку, и посадилъ на полъ.

— Бросали сало? — отнесся къ нему директоръ.

— Да, да, — пролепеталъ ему мальчикъ.

— Кто бросалъ?

«Бѣлый тараканъ» пошатнулся, оперся ладонями въ полъ и, качнувъ головой, прошепталъ:

— Я не знаю... всѣ...

— Всѣ? стало-быть и ты?

— Я, нѣтъ, не я.

У него, видимо, развязался языкъ, и онъ готовъ былъ проговориться; но вдругъ онъ вспомнилъ законы нашей рыцарской чести, побагровѣлъ и сказалъ твердо:

— Я не знаю кто.

— Не знаешь? ну, — восписуемъ ти, раба, — отвѣчалъ директоръ, толкнувъ его къ скамейкѣ, и снова отдѣлилась четверка счастливыхъ.

Въ числѣ счастливыхъ четвертаго пятка выскочилъ Локотковъ. Я замѣтилъ, что онъ не раздѣлялъ общей радости другихъ товарищей, избѣгавшихъ наказанія; онъ не радовался и не крестился, но то поднималъ глаза къ небу, то опускалъ ихъ внизъ, дрожалъ и, кусая до крови ногти и губы, шепталъ: «Подъ Твою милость прибѣгаемъ, Богородица Дѣва».

У насъ было повѣрье, что для того, чтобы избѣжать наказанія или чтобы оно, по крайней мѣрѣ, было легче, надо было читать про себя эту молитву. Локотковъ и шепталъ ее, а между тѣмъ къ роковымъ скамейкамъ было отдѣлено человѣкъ двадцать. Калатузовъ былъ избавленъ отъ общей участи. Онъ стоялъ въ ряду съ большими, къ которымъ могли относиться однѣ увѣщательныя мѣры. Надъ маленькими началась экзекуція. Я былъ въ числѣ счастливыхъ и стоялъ зрителемъ ужаснаго для меня тогда зрѣлища. Стоны, вопли, слезы и верченья истязуемыхъ дѣтей поднимали во мнѣ всю душу. Я сперва началъ плакать слезами, но вдругъ разрыдался до истерики. Меня хотѣли выбросить вонъ, но я крѣпко держался за товарищей, стиснулъ зубы, и рѣшился ни за что не уходить. Мнѣ казалось, что происходитъ дѣло безчеловѣчное, за которое всѣ мы, какъ рыцари, должны были вступиться. Высѣчены уже были два мальчика и хотѣли наказывать третьяго. Въ это время Локот-

ковъ, бѣлѣе полотна, вдругъ началъ шевелиться, и чуть только раздался свистъ прутьевъ надъ третьимъ тѣломъ, онъ быстро выскочилъ впередъ и заговорилъ торопливымъ, безсвязнымъ голосомъ:

— Позвольте, позвольте... это я бросилъ сало.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Кухтинъ пересталъ сѣчь; тевтонскій клювъ директора вытянулся, и онъ сквозь очки остро воззрился на блѣднаго Локоткова; въ группѣ учениковъ пробѣжалъ тихій ропотъ, и на мгновеніе все затихло.

— Ты? — спросилъ директоръ. — Ты самъ сознаешься?..

— Я, — твердо отвѣчалъ Локотковъ. — Я самъ сознаюсь: сѣките меня одного.

— Онъ? — обратился директоръ къ ученикамъ.

Дѣти молчали. Нѣкоторыя только, покашливая, слегка поталкивали другъ друга. На нѣсколькихъ лицахъ какъ бы мелькнула какая-то нехорошая рѣшимость, но никто не сказалъ ни слова.

— А, вы такъ! — сказалъ директоръ: — тогда я буду сѣчь васъ всѣхъ, всѣхъ, поголовно всѣхъ.

И, — представьте себѣ мою прелестнѣйшую минуту въ этомъ гадкомъ воспоминаніи! насъ всѣхъ, маленькихъ дѣтей, точно проникла одна электрическая искра, мы всѣ рванулись къ Локоткову и закричали:

— Да, да, сѣките насъ всѣхъ, всѣхъ сѣките, а не его!»

Директоръ закричалъ, затопалъ, далъ нѣсколькимъ ближе къ нему стоявшимъ звонкія пощечины, и тутъ вдругъ начальство перешло отъ угрозы къ самымъ лукавымъ соблазнамъ.

— Это не можетъ быть,—сказалъ директоръ:—чтобы вы всѣ были такъ безнравственны, низки, чтобы желать подвергнуть себя такому грубому наказанію. Я увѣренъ, что между вами есть благородные, возвышенные характеры, и начальство вполнѣ полагается на ихъ благородство; я отношусь теперь съ моимъ вопросомъ именно только къ такимъ, и кто истинно благороденъ, кто мнѣ объяснитъ эту исторію, тотъ поѣдетъ домой сейчасъ же, сію же минуту!

Едва кончилась эта сладкая рѣчь, какъ изъ заднихъ рядовъ вышелъ Калатузовъ и началъ разсказывать все по порядку ровнымъ и тихимъ голосомъ. По мѣрѣ того, какъ онъ

разсказывалъ, я чувствовалъ, что по тѣлу моему разсыпается какъ будто горячій песокъ, уши мои пылали, верхніе зубы совершенно сцѣплялись съ нижними; рука моя безотчетно опустилась въ карманъ панталонъ, достала оттуда небольшой перочинный ножикъ, который я тихо раскрылъ и, не взвидя вокругъ себя свѣта, бросился на Калатузова и вонзилъ въ него...

Это было дѣломъ одного мгновенія, предъ которымъ другія три или четыре мгновенія я не давалъ себѣ никакого отчета. Я опомнился и пришелъ въ себя, спустя три недѣли въ незнакомой мнѣ комнатѣ, и увидѣлъ предъ собою доброе, благословенное лицо моей матери. У изголовья моего стоялъ маленькій столикъ съ лѣкарственными бутылочками; окна комнаты были завѣшены; вездѣ царствовалъ полусвѣтъ. Въ углу моя няня тихо мочила въ полоскательной чашкѣ компрессы. Я хотѣлъ что-то сказать, но мать погрозила мнѣ пальцемъ и положила этотъ блѣдный палецъ на мои почернѣвшія губы.

— Я знаю, что ты хочешь спросить,— сказала мнѣ мать.— Забудь все: мы теперь живемъ здѣсь въ гостиницѣ, а *туда* ты больше не поѣдешь.

Меня взяли изъ заведенія и отвезли въ другое, въ Москву, гдѣ меня не били, не сѣкли, но гдѣ зато не было плѣнявшаго меня рыцарскаго духа. Отсюда, семнадцати лѣтъ, я выдержалъ экзаменъ въ московскій университетъ. Я былъ смиренъ и тихъ; боялся угрозъ, боялся шутокъ, бѣжалъ отъ слезъ людскихъ, бѣжалъ отъ смѣха и складывался чудакомъ; но отъ сюрпризовъ и внезапностей все-таки не спасался; напротивъ, по мѣрѣ того, какъ я подрасталъ, сюрпризы и внезапности въ моей жизни все становились серьезнѣе и многозначительнѣе. Начинаю вамъ теперь мой университетскій анекдотъ: отчего я хорошо учился, но не доучился.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Время моего студенчества было славное время московскаго университета, про которое нынче такъ кстати и некстати часто вспоминаетъ наша современная литература. Я съ самаго перваго дня былъ однимъ изъ прилежнѣйшихъ фуксовъ. Домой къ матушкѣ я ѣздилъ только однажды въ годъ. Одинъ разъ я уже гостилъ у нея, несказанно радуя

съ моимъ голубымъ воротникомъ; другая побывка домой предстояла мнѣ слѣдующимъ лѣтомъ. Переписывались мы съ матушкой часто; она была покойна и очень довольна своимъ положеніемъ у дяди: онъ былъ чудакъ, но человѣкъ предобрый, что, однако, не мѣшало ему порою сердить и раздражать мою мать. Такъ, онъ, напримѣръ, въ тотъ годъ, какъ я былъ въ университетѣ, въ Свѣтлый праздникъ прислалъ матери самый странный подарокъ: это былъ запечатанный конвертъ, въ которомъ оказался билетъ на могильное мѣсто на монастырскомъ кладбищѣ. Шутка съ этимъ подаркомъ необыкновенно встревожила мою немного мнительную мать; она мнѣ горько жаловалась на дядино шутовство и видѣла въ этомъ что-то пророческое. Я ее успокоивалъ, но безъ успѣха.

Между тѣмъ, въ ожиданіи лѣта, когда я снова надѣялся увидѣться съ матушкой, я долженъ былъ перемѣнить квартиру. Это обусловливалось случайностью. Въ семейство, въ которомъ я жилъ, пріѣхала одна родственница, и комната, которую я занималъ, понадобилась хозяевамъ. Я пустился на поиски себѣ новаго жилища. Дѣло это, конечно, не трудное и не головоломное, но злая судьба меня подстерегла. Должно вамъ сказать, что въ первый разъ, когда я пустился на эти поиски, мнѣ мерещилось, какъ бы я не попалъ въ какое-нибудь дурное мѣсто. Я зналъ много разсказовъ о нехорошихъ людяхъ, нехорошихъ обществахъ и боялся попасть въ эти общества, частью потому, что не любилъ ихъ, чувствовалъ къ нимъ отвращеніе, частью же потому, что боялся быть обиженнымъ. Я всегда былъ характера кроткаго, и прошу васъ не судить обо мнѣ по моей гимназической исторіи. Ножъ и мечъ вообще рукѣ моей несвойственны, хотя судьба въ насмѣшку надо мною влагала въ мои руки и тотъ, и другой. Я могъ вспыхивать только на мгновеніе, но вообще всегда былъ человѣкъ свойствъ самыхъ миролюбивыхъ, и обстоятельства моего дѣтства и отрочества сдѣлали меня даже меланхоликомъ и трусомъ до того, что я,—поистинѣ вамъ говорю,—боялся даже перемѣнить себѣ квартиру. Но это было необходимо: я крайне стѣснялъ увеличившуюся семью моего хозяина—до того, что онъ шутя сказалъ мнѣ:

— Ну, дружокъ, Орестъ Марковичъ, воля твоя, а если честью отъ насъ не выйдешь, я тебя съ полиціей вытравлю!

Удалиться было необходимо, и я на это рѣшился..

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

И вотъ не успѣлъ я выйти на свои поиски, какъ вижу передо мною вдругъ стала какая-то старушка.

— Батюшка мой, говоритъ,—не квартиру ли ищешь?

«Господи, словно благодѣтельная волшебница, думаю,—узнала, въ чемъ я затрудняюсь, и стремится помочь мнѣ».

— Да, говорю,—вы отгадали: я ищу квартиру.

— А у насъ, голубчикъ, тутъ въ домѣ для тебя какъ разъ есть прекрасная комната.

И съ этимъ словомъ добродушная старушка взяла меня за руку и подвела меня къ обитой чистою зеленою клеенкой двери, на которой была мѣдная дощечка, въ тогдашнее время составлявшая еще въ Москвѣ довольно замѣчательную рѣдкость. На этой дощечкѣ французскими литерами было написано: «Léonide Postelnikoff Capitaine».

— Вотъ тутъ онъ, говоритъ,—родной мой, Леонидъ-то Григорьевичъ. Онъ ей, Марьѣ Григорьевнѣ, хозяйкѣ нашей, братъ доводится. Ты звякни, онъ и отопрется.

И съ этимъ словомъ старушка сама позвонила и добавила:

— Она теперь сама-то, Марья Григорьевна, потерямши мужа, въ разстройствѣ; а онъ ея дѣлами управляетъ; онъ и комнату сдаетъ; съ нимъ покалякай, и тебѣ здѣсь хорошо-прехорошо будетъ.

За стѣной послышались шаги, щелкнула задвижка и въ двери показался высокій человѣкъ, одѣтый въ сѣрый нанковый казакинъ. По усамъ, по полувоенному казакину и по всей манерѣ въ этомъ человѣкѣ не трудно было узнать солдата.

— Къ барину они, Климъ Степановичъ,—заговорила къ нему моя старушка.—Квартиру у Марьи Григорьевны снять желаютъ.

И, толкнувъ меня въ спину, старушка зашлепала внизъ по лѣстницѣ, а я очутился въ небольшой свѣтлой передней, въ которой меня прежде всего поразила необыкновенно изящная чистота и, такъ сказать, своеобразная женственность убранства. Такъ, въ этой передней стоялъ мягкій диванчикъ, обитый свѣтленькимъ ситцемъ; вѣшалки не было, но вмѣсто нея громоздился высокій платяной

шкафъ, какъ бываетъ въ небольшихъ квартирахъ, гдѣ живутъ одинокія женщины. Возлѣ шкафа, на столикѣ, стоялъ подносъ съ графиномъ свѣжей воды и двумя стаканами. На окнѣ были два горшка гортензій и чистенькая проволочная клѣтка, съ громко трещавшею калужской канарейкой, а въ углу—пяльцы.

Изъ дверей открылась другая комната, болѣе обширная и окрашенная розовою краской самаго пріятнаго цвѣта. Чистота этой комнаты еще болѣе бросалась въ глаза. Крашеные полы были налощены, мебель вся свѣтилась, диванъ былъ весь уложенъ гарусными подушками, а на большомъ столѣ, подъ лампой, красовалась большая гарусная салфетка; такія же меньшія вышитыя салфетки лежали на другихъ меньшихъ столикахъ. Всѣ окна уставлены цвѣтами и у двухъ оконъ стояли два очень красивые, самой затѣйливой, по тогдашнему времени, работы дамскіе рабочіе столика: одинъ темнаго эбенового дерева, съ перламутровыми инкрустаціями; другой—изъ мелкаго узорнаго паркета.

Человѣкъ въ сѣромъ казакинѣ ввелъ меня въ эту комнату и, попросивъ подождать, ушелъ въ другую дверь, далѣе. Дверь эта была полуотворена и открывала покой еще болѣе веселый и свѣтлый: свѣтло-голубыя, небеснаго цвѣта, стѣны его такъ и выдвигались. Всего убранства этого новаго покоя я не могъ разсмотрѣть, потому что видѣлъ только одинъ уголокъ, но замѣтилъ тамъ и горки, и этажерки, и статуэтки. Судя по обстановкѣ квартиры, я рѣшительно не могъ объяснить себѣ, куда это я попалъ. Но прежде чѣмъ пришелъ на этотъ счетъ къ какимъ-нибудь опредѣленнымъ заключеніямъ, человѣкъ въ сѣромъ казакинѣ попросилъ меня въ кабинетъ.

«Такъ это кабинетъ», подумалъ я,—и, направясь по указанію, очутился въ этой небесной комнатѣ, пріюту и убранству которой, въ самомъ дѣлѣ, можно было позавидовать. Та же несказанная, невыразимая чистота, свѣтлая, веселенькая мебель, какая уже теперь рѣдко встрѣчается, или какую можно только встрѣтить у охотниковъ работать калькомани; вся эта мебель обита свѣтлымъ голубымъ ситцемъ, голубые ситцевые занавѣсы, съ подзорами на окнахъ, и дорогой голубой шелковый пологъ надъ широкою двухспальною постелью. По угламъ были, какъ я сказалъ, вездѣ горки и этажерки, уставленныя самыми затѣйливыми фигурками,

разсказывалъ, я чувствовалъ, что по тѣлу моему разсыпается какъ будто горячій песокъ, уши мои пылали, верхніе зубы совершенно сцѣплялись съ нижними; рука моя безотчетно опустилась въ карманъ панталонъ, достала оттуда небольшой перочинный ножикъ, который я тихо раскрылъ и, не взвидя вокругъ себя свѣта, бросился на Калатузова и вонзилъ въ него...

Это было дѣломъ одного мгновенія, предъ которымъ другія три или четыре мгновенія я не давалъ себѣ никакого отчета. Я опомнился и пришелъ въ себя, спустя три недѣли въ незнакомой мнѣ комнатѣ, и увидѣлъ предъ собою доброе, благословенное лицо моей матери. У изголовья моего стоялъ маленькій столикъ съ лѣкарственными бутылочками; окна комнаты были завѣшены; вездѣ царствовалъ полусвѣтъ. Въ углу моя няня тихо мочила въ полоскательной чашкѣ компрессы. Я хотѣлъ что-то сказать, но мать погрозила мнѣ пальцемъ и положила этотъ блѣдный палецъ на мои почернѣвшія губы.

— Я знаю, что ты хочешь спросить,— сказала мнѣ мать.— Забудь все: мы теперь живемъ здѣсь въ гостиницѣ, а *туда* ты больше не поѣдешь.

Меня взяли изъ заведенія и отвезли въ другое, въ Москву, гдѣ меня не били, не сѣкли, но гдѣ зато не было плѣнявшаго меня рыцарскаго духа. Отсюда, семнадцати лѣтъ, я выдержалъ экзаменъ въ московскій университетъ. Я былъ смиренъ и тихъ; боялся угрозъ, боялся шутокъ, бѣжалъ отъ слезъ людскихъ, бѣжалъ отъ смѣха и складывался чудакомъ; но отъ сюрпризовъ и внезапностей все-таки не спасался; напротивъ, по мѣрѣ того, какъ я подрасталъ, сюрпризы и внезапности въ моей жизни все становились серьезнѣе и многозначительнѣе. Начинаю вамъ теперь мой университетскій анекдотъ: отчего я хорошо учился, но не доучился.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Время моего студенчества было славное время московскаго университета, про которое нынче такъ кстати и некстати часто вспоминаетъ наша современная литература. Я съ самаго перваго дня былъ однимъ изъ прилежнѣйшихъ фуксовъ. Домой къ матушкѣ я ѣздилъ только однажды въ годъ. Одинъ разъ я уже гостилъ у нея, несказанно радуя

ее моимъ голубымъ воротникомъ; другая побывка домой предстояла мнѣ слѣдующимъ лѣтомъ. Переписывались мы съ матушкой часто; она была покойна и очень довольна своимъ положеніемъ у дяди: онъ былъ чудакъ, но человѣкъ предобрый, что, однако, не мѣшало ему порою сердить и раздражать мою мать. Такъ, онъ, напримѣръ, въ тотъ годъ, какъ я былъ въ университетѣ, въ Свѣтлый праздникъ прислалъ матери самый странный подарокъ: это былъ запечатанный конвертъ, въ которомъ оказался билетъ на могильное мѣсто на монастырскомъ кладбищѣ. Шутка съ этимъ подаркомъ необыкновенно встревожила мою немного мнительную мать; она мнѣ горько жаловалась на дядино шутовство и видѣла въ этомъ что-то пророческое. Я ее успокоивалъ, но безъ успѣха.

Между тѣмъ, въ ожиданіи лѣта, когда я снова надѣялся увидѣться съ матушкой, я долженъ былъ перемѣнить квартиру. Это обусловливалось случайностью. Въ семейство, въ которомъ я жилъ, пріѣхала одна родственница, и комната, которую я занималъ, понадобилась хозяевамъ. Я пустился на поиски себѣ новаго жилища. Дѣло это, конечно, не трудное и не головоломное, но злая судьба меня подстерегла. Должно вамъ сказать, что въ первый разъ, когда я пустился на эти поиски, мнѣ мерещилось, какъ бы я не попалъ въ какое-нибудь дурное мѣсто. Я зналъ много разсказовъ о нехорошихъ людяхъ, нехорошихъ обществахъ и боялся попасть въ эти общества, частью потому, что не любилъ ихъ, чувствовалъ къ нимъ отвращеніе, частью же потому, что боялся быть обиженнымъ. Я всегда былъ характера кроткаго, и прошу васъ не судить обо мнѣ по моей гимназической исторіи. Ножъ и мечъ вообще рукѣ моей несвойственны, хотя судьба въ насмѣшку надо мною влагала въ мои руки и тотъ, и другой. Я могъ вспыхивать только на мгновеніе, но вообще всегда былъ человѣкъ свойствъ самыхъ миролюбивыхъ, и обстоятельства моего дѣтства и отрочества сдѣлали меня даже меланхоликомъ и трусомъ до того, что я,—поистинѣ вамъ говорю,—боялся даже перемѣнить себѣ квартиру. Но это было необходимо: я крайне стѣснялъ увеличившуюся семью моего хозяина—до того, что онъ шутя сказалъ мнѣ:

— Ну, дружокъ, Орестъ Марковичъ, воля твоя, а если честью отъ насъ не выйдешь, я тебя съ полиціей вытравлю!

Удалиться было необходимо, и я на это рѣшился..

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

И вотъ не успѣлъ я выйти на свои поиски, какъ вижу передо мною вдругъ стала какая-то старушка.

— Батюшка мой, говоритъ,—не квартиру ли ищешь?

«Господи, словно благодѣтельная волшебница, думаю,—узнала, въ чемъ я затрудняюсь, и стремится помочь мнѣ».

— Да, говорю,—вы отгадали: я ищу квартиру.

— А у насъ, голубчикъ, тутъ въ домѣ для тебя какъ разъ есть прекрасная комната.

И съ этимъ словомъ добродушная старушка взяла меня за руку и подвела меня къ обитой чистою зеленою клеенкой двери, на которой была мѣдная дощечка, въ тогдашнее время составлявшая еще въ Москвѣ довольно замѣчательную рѣдкость. На этой дощечкѣ французскими литерами было написано: «Léonide Postelnikoff Capitaine».

— Вотъ тутъ онъ, говоритъ,—родной мой, Леонидъ-то Григорьевичъ. Онъ ей, Марьѣ Григорьевнѣ, хозяйкѣ нашей, братъ доводится. Ты звякни, онъ и отопрется.

И съ этимъ словомъ старушка сама позвонила и добавила:

— Она теперь сама-то, Марья Григорьевна, потерямши мужа, въ разстройствѣ; а онъ ея дѣлами управляетъ; онъ и комнату сдаетъ; съ нимъ покалякай, и тебѣ здѣсь хорошо-прехорошо будетъ.

За стѣной послышались шаги, щелкнула задвижка и въ двери показался высокій человѣкъ, одѣтый въ сѣрый нанковый казакинъ. По усамъ, по полувоенному казакину и по всей манерѣ въ этомъ человѣкѣ не трудно было узнать солдата.

— Къ барину они, Климъ Степановичъ,—заговорила къ нему моя старушка.—Квартиру у Марьи Григорьевны снять желаютъ.

И, толкнувъ меня въ спину, старушка зашлепала внизъ по лѣстницѣ, а я очутился въ небольшой свѣтлой передней, въ которой меня прежде всего поразила необыкновенно изящная чистота и, такъ сказать, своеобразная женственность убранства. Такъ, въ этой передней стоялъ мягкій диванчикъ, обитый свѣтленькимъ ситцемъ; вѣшалки не было, но вмѣсто нея громоздился высокій платяной

шкафъ, какъ бываетъ въ небольшихъ квартирахъ, гдѣ живутъ одинокія женщины. Возлѣ шкафа, на столикѣ, стоялъ подносъ съ графиномъ свѣжей воды и двумя стаканами. На окнѣ были два горшка гортензій и чистенькая проволочная клѣтка, съ громко трещавшею калужской канарейкой, а въ углу—пяльцы.

Изъ дверей открылась другая комната, болѣе обширная и окрашенная розовою краской самаго пріятнаго цвѣта. Чистота этой комнаты еще болѣе бросалась въ глаза. Крашеные полы были налощены, мебель вся свѣтилась, диванъ былъ весь уложенъ гарусными подушками, а на большомъ столѣ, подъ лампой, красовалась большая гарусная салфетка; такія же меньшія вышитыя салфетки лежали на другихъ меньшихъ столикахъ. Всѣ окна уставлены цвѣтами и у двухъ оконъ стояли два очень красивые, самой затѣйливой, по тогдашнему времени, работы дамскіе рабочіе столика: одинъ темнаго эбенового дерева, съ перламутровыми инкрустаціями; другой—изъ мелкаго узорнаго паркета.

Человѣкъ въ сѣромъ казакинѣ ввелъ меня въ эту комнату и, попросивъ подождать, ушелъ въ другую дверь, далѣе. Дверь эта была полуотворена, и открывала покой еще болѣе веселый и свѣтлый: свѣтло-голубыя, небеснаго цвѣта, стѣны его такъ и выдвигались. Всего убранства этого новаго покоя я не могъ разсмотрѣть, потому что видѣлъ только одинъ уголокъ, но замѣтилъ тамъ и горки, и этажерки, и статуэтки. Судя по обстановкѣ квартиры, я рѣшительно не могъ объяснить себѣ, куда это я попалъ. Но прежде чѣмъ пришелъ на этотъ счетъ къ какимъ-нибудь опредѣленнымъ заключеніямъ, человѣкъ въ сѣромъ казакинѣ попросилъ меня въ кабинетъ.

«Такъ это кабинетъ», подумалъ я,—и, направясь по указанію, очутился въ этой небесной комнатѣ, пріюту и убранству которой, въ самомъ дѣлѣ, можно было позавидовать. Та же несказанная, невыразимая чистота, свѣтлая, веселенькая мебель, какая уже теперь рѣдко встрѣчается, или какую можно только встрѣтить у охотниковъ работать калькомани; вся эта мебель обита свѣтлымъ голубымъ ситцемъ, голубые ситцевые занавѣсы, съ подзорами на окнахъ, и дорогой голубой шелковый пологъ надъ широкою двухспальною постелью. По угламъ были, какъ я сказалъ, вездѣ горки и этажерки, уставленныя самыми затѣйливыми фигурками,

по преимуществу женскими и, разумѣется, обнаженными. Дорогой пологъ надъ кроватью былъ перетянутъ черезъ толстое золотое кольцо, которое держалъ въ лапахъ огромный вызолоченный орелъ. Въ углу былъ красивый трехъярусный образникъ и предъ нимъ темнаго дерева аналой, съ зелеными бархатными подушками. Словомъ, это было маленькое небо; недоставало только небожителя. Но и его собственно не недоставало: онъ былъ тоже здѣсь, налицо, но только я его сразу не разсмотрѣлъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

— Ахъ, приношу вамъ сто извиненій!—услышалъ я почти изъ-за своего собственнаго плеча и, обернувшись, увидѣлъ предъ дамскимъ туалетомъ, какой привыкъ видѣть въ спальнѣ моей матери... какъ вамъ сказать, кого я увидѣлъ? Иначе не могу выразиться, какъ увидѣлъ уже самаго настоящаго купидона. Увидѣлъ и... растерялся, да и было отчего. Вы, конечно, помните, что я долженъ былъ встрѣтить здѣсь *капитана;* но представьте себѣ мое удивленіе, когда я увидѣлъ предъ туалетомъ какое-то голубое существо,—таки все, все сплошь голубое; голубой воротникъ, голубой сюртукъ, голубые рейтузы,—однимъ словомъ, все голубое, съ легкою бѣлокурою головкой, въ бѣломъ спальномъ дамскомъ чепцѣ, изъ-подъ котораго выбивались небольшія золотистыя кудерьки въ бумажныхъ папильоткахъ. Я просто никакъ не могъ себѣ уяснить, что это—мужчина или женщина. Но въ это время купидонъ обернулъ ко мнѣ свою усыпанную папильотками голову, и я увидѣлъ круглое, нѣжное, матовое личико, съ нѣжнымъ пушкомъ на верхней губѣ, защипнутымъ у угловъ устъ вверхъ тоненькими колечками. За этою работой, за завертываніемъ усиковъ, я собственно и засталъ моего купидона.

— Приношу вамъ пятьсотъ извиненій, что я васъ принимаю за туалетомъ: я спѣшу сегодня въ нарядъ,—заговорилъ купидонъ:—и у меня едва есть нѣсколько минутъ на всѣ сборы; но эти минуты всѣ къ вашимъ услугамъ. Мнѣ сказали, что вы хотите занять комнату у сестры Маши? Это прекрасная комната, вы будете ею очень довольны.

— Да,—отвѣчалъ я:—мнѣ нужна комната, и мнѣ сказали..

— Кто вамъ сказалъ?

— Не знаю... какая-то старушка...

— Ахъ, это вѣрно Авдотьюшка; да, у сестры прекрасная комната; сестра моя—это не изъ барышей отдаетъ, она недавно овдовѣла, такъ только чтобы не въ пустой квартирѣ жить. Вамъ будетъ прекрасно: тамъ тишина невозмутимая. Скучно можетъ быть?

— Я, говорю,—этого не боюсь.

— А не боитесь, такъ и прекрасно; а соскучитесь—пожалуйте во всякое время ко мнѣ, я всегда радъ. Вы студентъ? Я страшно люблю студентовъ. Самъ въ университетѣ не былъ, но къ студентамъ всегда чувствую слабость. Да что! Какъ и иначе-то? Это наша надежда. Молодой народъ, а между тѣмъ у нихъ всѣ идеи и мысли... а притомъ же вы сестринъ постоялецъ, такъ, стало-быть, все равно что свой. Не правда ли?

Я очень затруднялся отвѣчать на этотъ потокъ краснорѣчія, но лупидонъ и не ждалъ моего согласія.

— Эй, Климъ!—крикнулъ капитанъ.—Климъ!

Онъ при этомъ ударилъ два раза въ ладоши и крикнулъ:

— Трубочку поскорѣе, трубочку и шоколадъ... Двѣ чашки шоколаду... Вы выкушаете?—спросилъ онъ меня и, не дождавшись моего отвѣта, добавилъ:—Я чаю и кофе терпѣть не могу: чай дѣйствуетъ на сердце, а кофе—на голову; а шоколадъ живитъ... Приношу вамъ тысячу извиненій, что мы такъ мало знакомы, а я позволяю себѣ шутить.

Съ этимъ онъ схватилъ меня за колѣно, приподнялся, отодвинулъ немного табуретку и, придвинувшись къ зеркалу, началъ тщательно вывертывать изъ волосъ папильотки.

— Приношу вамъ двѣ тысячи извиненій, что задерживаю васъ, но все это сейчасъ кончится... мнѣ и самому некогда... Климъ, шоколаду!..

Климъ подалъ шоколадъ.

Я поблагодарилъ.

— Нѣтъ, пожалуйста! У насъ на Руси отъ хлѣба-соли не отказываются. Въ Англіи сорокъ тысячъ даютъ, чтобъ было хлѣбосольство, да нѣтъ,—сами съ голоду умираютъ, а у насъ отечество кормитъ... Извольте кушать.

Дѣлать было нечего, я принялъ чашку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

— Вонъ ваша комната-то, всего два шага отъ меня,— заговорилъ капитанъ.—Видите, на извозчика ко мнѣ ужъ немного истратите. Вонъ видите тотъ флигель, налѣво?

Я приподнялся, взглянулъ въ окно и отвѣчалъ, что вижу.

— Нѣтъ, вы подойдите, пожалуйста, къ окну.

— Да я и отсюда вижу.

— Нѣтъ, вы подойдите; тутъ есть маленькій фокусъ. Видите прекрасный флигелекъ. У насъ, впрочемъ, и вообще весь дворъ въ порядкѣ. Прежде этого не было. Хозяйка была страшная скареда. Я здѣсь не жилъ; сестра моя здѣсь прежде поселилась; я къ ней и хаживалъ. Хозяйка, вотъ точно такъ же какъ сестра теперь, лѣтъ пять тому назадъ овдовѣла. Купчиха ничего себѣ,—этакая, всегда довольно жантильная была, съ манерами, потому что она изъ актрисъ, но тяготилась и вдовствомъ, и управлять домомъ: а я, какъ видите, люблю жить чисто,—не правда ли? Что? Я вѣдь, кажется, чисто живу? Правда-съ?

— Да, отвѣчаю я,—правда.

— Кажется правда, и это съ самаго дѣтства. Познакомитесь съ сестрой, она вамъ все это разскажетъ; я всегда любилъ чистоту, и еще въ кадетскомъ корпусѣ ею отличался. Кто тамъ что ни говори, а военное воспитаніе... нельзя не похвалить его; разумѣется, не со всѣхъ сторонъ: съ другихъ сторонъ университетъ, можетъ-быть, лучше, но съ другой стороны... всегда щеточка, гребенка, маленькое зеркальце въ карманѣ, и я всегда этимъ отличался. Я, бывало, приду къ сестрѣ, да и говорю: какъ это у васъ все грязно на дворѣ! Пять тысячъ извиненій, говорю, приношу вамъ, но просто въ свинушникѣ живете. Хозяйка иногда хаживала къ сестрѣ... ну, и... сестра ей шутила: вотъ, говоритъ, вамъ бы какого мужа. Шутя, конечно, потому что моя сестра знаетъ мои правила, что я на купчихѣ не женюсь, но наши, знаете, всегда больше женятся на купчихахъ, такъ ужъ тѣ это такъ и разсчитываютъ. Однакоже, я совсѣмъ не такой, потому что я къ этой службѣ даже и неспособенъ; но та развѣсила уши. Ну, куда же, скажите пожалуйста, мнѣ жениться—приношу вамъ двадцать тысячъ извиненій;—да еще жениться на купчихѣ?.. Нѣтъ, говорю, я жениться не могу; но порядокъ, дѣйствительно, моя пас-

сія, и домомъ управлять я согласенъ. Она мнѣ и предложила вотъ эту квартиру. Квартира, конечно, очень не велика. Передняя, что вы видѣли, залъ, да вотъ эта комната; но, вѣдь, съ одного довольно, а денщикъ мой въ кухнѣ; но кухоньку выправилъ, такъ что не стыдно; Климъ у меня не такъ, какъ у другихъ. Вотъ вы его видѣли; спросите его потомъ когда-нибудь, пожалуется ли онъ на меня? Климъ! — крикнулъ онъ громко:—Климъ!

Въ дверяхъ показался сѣрый Климъ.

— Доволенъ ты мной, или нѣтъ? Не бойся меня, отвѣчай имъ такъ, какъ бы меня здѣсь не было.

— Много доволенъ, ваше благородіе, — отвѣчалъ денщикъ.

— Ахъ, ты, скотина!

Постельниковъ самодовольно улыбнулся и, махнувъ денщику рукою, добавилъ:

— Ну, и только, и ступай теперь къ своему мѣсту, готовь шинель. На меня никто не жалуется, — продолжалъ капитанъ, обратясь ко мнѣ. — Я всѣмъ, кому я что могу сдѣлать—дѣлаю. Отчего же, скажите, и не дѣлать? Вѣдь эгоизмъ,—я приношу вамъ сто тысячъ извиненій,—я вашихъ правилъ не знаю, но я откровенно вамъ скажу, я терпѣть не могу эгоистовъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Потокъ этихъ словъ былъ сплошной и неудержимый, и даже увлекательный, потому что голосъ у Леонида Григорьевича былъ необыкновенно мягкій, тихо вкрадчивый, слова, произносимыя имъ, выходили какія-то кругленькія и катились словно орѣшки по лубочному желобку. На меня отъ его говора самымъ неприличнымъ образомъ находилъ неодолимѣйшій магнетическій сонъ. Подъ обаяніемъ этого рокота, я даже съ удовольствіемъ сидѣлъ на мягкомъ креслѣ, съ удовольствіемъ созерцалъ моего купидона и слушалъ его рѣчи, а онъ продолжалъ развивать передо мной и свои мысли, и свои папильотки.

— Хозяйка, — продолжалъ онъ: — живетъ тутъ внизу, но до нея ничто не касается; всѣмъ управляю я. И сестра теперь тоже, и о ней надо позаботиться. У меня, по правдѣ сказать, не малая опека, но я этимъ не тягощусь, и вы будьте покойны. Вы сколько платили на прежней квартирѣ?

Я сказалъ, сколько я платилъ.

— О, мы устроимъ васъ у сестры даже гораздо дешевле и вѣрно гораздо лучше. Вы студентъ, а въ той комнатѣ, гдѣ вы будете жить, все даже располагаетъ къ занятіямъ. Я оттуда немножко отдаляюсь, потому что я жизнь люблю, а сестра теперь, послѣ мужниной смерти, совсѣмъ, какъ она говоритъ, «предалась Богу»; но не суди—не сужденъ будеши. Впрочемъ, опять говорю, тамъ бѣсовъ изгоняютъ ладаномъ, а вы, если когда захотите посмотрѣть бѣсовъ, ко мнѣ милости просимъ. Я, знаете, живу молодымъ человѣкомъ, потому что юность дважды не приходитъ, и я васъ познакомлю съ прекрасными дамочками... я не ревнивъ; нѣтъ, что ихъ ревновать!

Онъ, махнувъ рукой, развернулъ послѣднюю папильотку и, намочивъ лежавшее возлѣ него полотенце одеколономъ, обтеръ себѣ руки и заключилъ:

— А теперь, прошу покорно, въ вашу комнату. Времени уже совсѣмъ нѣтъ, а мнѣ еще надо завернуть въ одно мѣстечко. Климъ! — громко крикнулъ онъ, хлопнувъ въ ладоши, и, пристегнувъ аксельбанты, направился чрезъ гостиную.

Я шелъ за нимъ молча, не зная, на что и для чего я все это дѣлалъ. Въ передней стоялъ Климъ, держа въ рукахъ сѣрую шинель и фуражку. Хозяинъ мой взялъ у него эту шинель изъ рукъ и молча указалъ ему на мою студенческую шинель; я торопливо накинулъ ее на плечи, и мы вышли, прошли черезъ дворъ и остановились у двери, обитой уже не зеленою сіяющею клеенкой, а темнымъ, толстымъ, сѣрымъ сукномъ. Звонокъ здѣсь висѣлъ на довольно широкомъ черномъ ремнѣ, и когда капитанъ потянулъ за этотъ ремень, намъ послышался не веселый, дребезжащій звукъ, а какъ бы ударъ маленькаго колокола, когда онъ ударяетъ отъ колеблемой вѣтромъ веревки. Прошла минута, намъ никто не отворялъ. Постельниковъ снова дернулъ за ремень. Снова раздался заунывный звукъ, и дверь неслышнымъ движеніемъ проползла по полу и распахнулась. Предъ нами стояла старушка, бодренькая, востроносенькая, покрытая темнымъ коричневымъ платочкомъ. Капитанъ освѣдомился, дома ли сестра и есть ли у нея кто-нибудь.

— Есть-съ,—отвѣчала старушка.

— Монахи?

— Отецъ Варлаамій и Евстигнея съ Филаретушкой.

— Ну, вотъ и прекрасно! Пусть они себѣ тамъ и сидятъ. Скажи: постояльца рекомендую знакомаго. Это необходимо,— добавилъ онъ мнѣ шопотомъ и тотчасъ же снова началъ вслухъ:—Вотъ видите, налѣво, этотъ коридоръ? тамъ у сестры три комнаты; въ двухъ она живетъ, а третья—тамъ у нея образная; а это вотъ, прямо дверь,—тутъ кабинетъ зятевъ былъ; вотъ тамъ въ нее и ходъ; а это и есть ваша комната. Глядите,—заключилъ онъ, распахивая передо мной довольно высокія бѣлыя двери въ комнату, которую, дѣйствительно, можно было назвать прекрасною.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Комната, предлагаемая мнѣ голубымъ купидономъ, была большой наугольный покой въ два окна съ одной стороны, и въ два—съ другой. Весь онъ выходилъ въ большой густой садъ, деревья котораго обѣщали весной и лѣтомъ много прохлады и тѣни. Стѣны комнаты были оклеены дорогими коричневыми обоями, на которыхъ милліонъ разъ повторялась одна и та же буколическая сцена между пастухомъ и пастушкой. Въ углу стоялъ большой образъ, и предъ нимъ тихо мерцала лампада. Вокругъ стѣнъ выстроилась тяжелая мебель краснаго дерева съ бронзой, обитая темнокоричневымъ сафьяномъ. Два овальные стола были покрыты коричневымъ сукномъ; бюро краснаго дерева, съ бронзовыми украшеніями; дальше письменный столъ и кровать въ альковѣ, задернутая большимъ вязанымъ ковромъ; однимъ словомъ, такая комната, какой я никогда и не думалъ найти на мои скромныя деньги. Неудобствъ, казалось, никакихъ.

Несмотря на то, что мы только-что вступили въ эту комнату, тишина ея уже оказывала на меня свое пріятное дѣйствіе. Это, дѣйствительно, была глубокая и спокойная тишина, охватывающая собой человѣка съ первой же минуты. Вдобавокъ ко всему этому, въ комнатѣ слышался слегка запахъ роснаго ладану и смирны, что я очень люблю.

Капитанъ Постельниковъ замѣтилъ, что этотъ запахъ не ускользнулъ отъ меня, и сказалъ:

— Запахецъ, конечно, есть; но какъ на чей взглядъ, а на мой все-таки это не Богъ вѣсть какое неудобство. А за то, я вамъ говорю, эта Василиса,—старушка, которую вы

видѣли,—предобрая, и сестра предобрая. Богомольная только, ну, да что же вамъ до этого? Я, разумѣется, не знаю вашихъ правилъ, но я никогда открыто противъ религіи не возражаю. Къ чему? Всѣхъ вдругъ не просвѣтишь. Это все само собой имѣетъ свое теченіе и окончится. Я богомольнымъ не возражаю. Вы даже, можетъ-быть, замѣтили, у меня у самого есть лампады? Я ихъ самъ жгу. Что же такое? Это вѣдь въ существѣ ничему не мѣшаетъ, а есть люди, для которыхъ это очень важно... Вы можете этому не повѣрить, но это именно такъ: вотъ, недалеко ходить, хоть бы сестра моя, рекомендую: если вы съ ней хорошенько обойдетесь, да этакъ иногда кстати пустите при ней о чемъ-нибудь божественномъ, такъ случись потомъ и недостатокъ въ деньгахъ, она и денегъ подождетъ; а заговорите съ ней по-модному, что «молъ Богъ—пустяки, я знать Его не хочу», или что-нибудь такое подобное, сейчасъ и провалъ, а... а особенно на нашей службѣ... этакою откровенностію даже все можно потерять сразу.

— Сестра! — крикнулъ капитанъ, стукнувъ въ стѣну: — вели Василисѣ чрезъ два часа здѣсь все освѣжить, къ тебѣ придетъ твой постоялецъ, мой хорошій знакомый. Это необходимо,—опять сказалъ онъ мнѣ шопотомъ.

— А какъ васъ зовутъ?

Я назвалъ мое имя.

— Его зовутъ Орестъ Марковичъ Ватажковъ; запиши у себя, а теперь мы съ нимъ ѣдемъ. И съ этимъ Постельниковъ надѣлъ посреди комнаты фуражку и повлекъ меня за собою.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Черезъ ту же лѣстницу мы снова спустились на дворъ, гдѣ я хотѣлъ раскланяться съ Постельниковымъ, не имѣя, впрочемъ, никакого опредѣленнаго плана ни переѣзжать на квартиру къ его сестрѣ, ни улизнуть отъ него; но Леонидъ Григорьевичъ предупредилъ меня и сказалъ:

— Нѣтъ, вы что же? развѣ вы куда-нибудь спѣшите?

— Да, немножко.

— Ну, немножко ничего... Вы въ какую сторону?

Я сказалъ.

— Ахъ, Боже мой, намъ почти по дорогѣ. Немножко въ сторону, да отчего же? Для друга семь верстъ не околица,

а я,—прошу у васъ шестьдесятъ тысячъ извиненій,—можетъ быть и не имѣю еще права вполнѣ называться вашимъ другомъ, но надѣюсь, что вы не откажете мнѣ въ небольшой услугѣ.

— Охотно, говорю,—если только могу.

— О, очень можете, а я вамъ сдѣлаю услугу за услугу.

Съ этими словами мы снова очутились у знакомой зеленой двери капитановой квартиры. Онъ нетерпѣливо дернулъ звонокъ и, вскочивъ на минуту, дѣйствительно, тотчасъ же выскочилъ назадъ. Въ рукахъ его была женская картонка, въ какихъ обыкновенно модистки носятъ дамскія шляпы, большой конвертъ и длинный тонкій свертокъ. Изъ этого свертка торчала зонтичная ручка.

— Вотъ,—обратился онъ ко мнѣ:—потрудитесь это подержать, только держите осторожнѣе, потому что тутъ цвѣты, а тутъ,—я, разумѣется, приношу вамъ сто тысячъ извиненій, но вѣдь вамъ ужъ все равно,—такъ тутъ зонтикъ. Но, Боже мой, что же это такое?—воскликнулъ капитанъ, взглянувъ на этотъ зонтикъ.

— Вотъ проклятая разсѣянность! Эта проволочка такъ и осталась не спиленною! Климъ, скорѣе напилокъ!—И капитанъ быстро однимъ движеніемъ сбросилъ съ себя шинель, присѣлъ верхомъ на стулъ, съ большимъ мастерствомъ укрѣпилъ къ столбику стула зонтикъ и началъ быстро отпиливать небольшой кусокъ проволоки.

— Я люблю эту работу, — говорилъ онъ мнѣ, между дѣломъ.—Я вамъ скажу: въ наши лѣта все въ магазинахъ для дамъ покупать,—это, чортъ возьми, накладно, да и что тамъ купишь? Все самое обыкновенное и втридорога; а я этакъ, все какъ-нибудь, у Сухаревой башни, да на Смоленскомъ... очень пріятно, въ родѣ прогулки и вещи подержанныя не дорого, а ихъ вотъ самъ починю, выправлю, и презентую... Вы увидите, какъ мы заживемъ,—жаловаться не будете. Я вотъ васъ сейчасъ подвезу до Никитскихъ воротъ и попрошу о маленькомъ одолженіи, а самъ поскорѣе на службу; а вы зато заведете первое знакомство, и въ то же время вамъ будетъ оказана услуга за услугу.

Я совсѣмъ не зналъ, что со мною дѣлаютъ. У подъѣзда стояла гнѣдая лошадка, запряженная въ небольшія дрожечки. Мы сѣли и понеслись. Во всю дорогу до Никитскихъ воротъ капитанъ говорилъ мнѣ о своемъ житьѣ, о службѣ,

о бывающихъ у него хорошенькихъ женщинахъ, о томъ, какъ онъ весело живетъ, и вдругъ остановилъ кучера, указалъ мнѣ на одни ворота и сказалъ:

— Вотъ тутъ я васъ усердно прошу спросить прямо по лѣстницѣ, въ третьемъ этажѣ, перчаточницу Марью Матвѣевну; отдайте ей эти цвѣты и зонтикъ, а коробочку эту Лизѣ, блондинкѣ; приволокнитесь за нею смѣло: она самое безкорыстнѣйшее существо и очень влюбчива, вздохните, глядя ей въ глаза, да руку къ сердцу, она и загорится, а пока au revoir.

И прежде, чѣмъ я нашелся что-нибудь отвѣтить, капитанъ Постельниковъ уже исчезъ изъ моихъ глазъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Должно вамъ сказать, что всѣ эти порученія, которыя надавалъ мнѣ капитанъ Постельниковъ, конечно, были мнѣ вовсе не по нутру, и я, несмотря на всю излишнюю мягкость моего характера и на апатію, или на полусонное состояніе, въ которомъ я находился во все время моихъ разговоровъ съ капитаномъ, все-таки хотѣлъ возвратить ему всѣ эти порученности; но, какъ я сказалъ, это было уже невозможно.

Слѣдующею мыслью, которая мнѣ пришла за этимъ, было возвратиться назадъ и отнести все это на его квартиру и отдать его Климу. Я находилъ, что это всего достойнѣе; но, къ крайнему моему удивленію, сколько я ни звонилъ у капитанской двери, мнѣ ея никто не отперъ. Я отправился-было въ квартиру его сестры, но здѣсь на двукратно повторенный мною звонокъ мнѣ отперъ двери полный, румяный монахъ и съ соболѣзнующимъ взглядомъ въ очахъ проговорилъ:

— Великодушно извините: Марья Григорьевна позатрапезно опочили, услужающихъ ихъ дома нѣтъ, а мы, приходящіе, ничего принять не можемъ.

— Чортъ знаетъ, что такое. Э, думаю, была не была, пойду ужъ и сдамъ скорѣй по адресу.

И вотъ я снова взялъ извозчика и поѣхалъ къ Никитскимъ воротамъ.

Нѣтъ никакой нужды разсказывать, что̀ за особъ встрѣтилъ я въ тѣхъ дѣвицахъ, которымъ я передавалъ посланныя черезъ меня вещи. Довольно сказать, что все это было

свѣжо, молодо и, на тогдашній юный неразборчивый мой вкусъ, очень приглядно, а, главное, безцеремонно и простодушно. Я попалъ на именины и хотѣлъ, разумѣется, сейчасъ же отсюда уйти; но меня схватили за руки и, буквально, силой усадили за пирогъ, а пока ѣли пирогъ, явился внезапно освободившійся отъ своихъ дѣлъ капитанъ Постельниковъ и съ нимъ мужчина съ страшными усищами: это былъ поэтъ Трубицынъ. Кончилось все это для меня тѣмъ, что я здѣсь впервые въ жизни ощутилъ вліяніе пиршества, въ питьѣ дошелъ до неблагопристойной потребности уснуть въ чужомъ домѣ и получилъ отъ Трубицына кличку «Филимонъ-простота», — обстоятельство ничтожное, но имѣвшее для меня, какъ увидите, самыя трагическія послѣдствія.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Проснувшись передъ вечеромъ на диванѣ, въ чужой квартирѣ, я быстро вскочилъ и съ жесточайшею головною болью бросился скорѣй бѣжать къ себѣ на квартиру; но представьте же себѣ мое удивленіе! только-что я прихожу домой, на свою прежнюю квартиру, какъ вижу, что комнату мою тщательно прибираютъ и моютъ и что въ ней не осталось уже ни одной моей вещи, положительно, что-называется, ни синя-пороха.

— Какъ же и куда все мое отсюда дѣлось?

— А ваше все, отвѣчаютъ,—перевезъ къ себѣ капитанъ Постельниковъ.

— Позвольте-съ, говорю, позвольте, что̀ это за вздоръ! какъ капитанъ Постельниковъ перевезъ? Этого быть не можетъ.

— Нѣтъ-съ, говорятъ,—дѣйствительно перевезъ.

— Да по какому же праву, говорю, вы ему отпустили мои вещи?

Но вижу, что предстоящіе послѣ этого вопроса только рты разинули и стоятъ передо мною какъ удивленные галчата.

— По какому праву?—продолжаю я добиваться.

— Капитану-то Постельникову?—отвѣчаютъ мнѣ съ смущеніемъ.

— Да-съ.

— Капитану Постельникову по какому праву?

— Ну да: капитану Постельникову по какому праву?

Галчата и рты замкнули: дескать на тебя, братъ, даже и удивляться не стоитъ.

— Вотъ, говорятъ,—чубучокъ вашъ съ змѣиными головками капитана Постельникова денщикъ не захватилъ, такъ извольте его получить.

Я разсердился, послалъ всѣмъ мысленно тысячу проклятій, надѣлъ шинель и фуражку, захватилъ въ руки чубучокъ съ змѣиными головками и повернулся къ двери, но досадно же такъ уйти, не получа никакого объясненія. Я вернулся снова, взялъ въ сторонку мать моего хозяина, добрѣйшую старушку, которая, казалось, очень меня любила, и говорю ей:

— Матушка Арина Васильевна! Поставьте мнѣ голову на плечи: разскажите, зачѣмъ вы отдали незнакомому человѣку мои вещи?

— Да мы, дитя, думали, говоритъ, что—сынокъ мой Митроша на тебя жалобу приносилъ, что ты квартиры не очищаешь, такъ что тебя по начальству отъ насъ сводятъ.

— Ахъ, Арина Васильевна, да развѣ, молъ, это можно, чтобы вашъ сынъ на меня пошелъ жаловаться? Вѣдь мы же съ нимъ пріятели.

— Знаю, говоритъ,—ангелъ мой, что вы пріятели, да мы думали, что, можетъ-быть, онъ въ шутку это надъ тобой пошутилъ.

— Что это: жаловаться-то, говорю, онъ въ шутку ходилъ?

— Да.

— Арина Васильевна, да нѣшто этакъ бываетъ? Нѣшто это можно?

Арина Васильевна только растопырила руки и бормочетъ:

— Вотъ, говори же, баитъ, ты съ нами!—мы сами, дитя, не знаемъ, что у насъ было въ думкѣ.

Я махнулъ рукой, захватилъ опять чубучокъ, сухо простился и вышелъ на улицу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Не могу вамъ разсказать, въ какомъ я былъ гадкомъ состояніи духа. Разыгранная со мной штука просто сбила меня съ пахвей, потому что я, послѣ своего неловкаго поведенія у знакомыхъ дамъ капитана, ни за что не расположенъ былъ жить у его сестры и даже далъ-было себѣ слово никогда не видать его. Комната мнѣ нравилась, и я

ничего не имѣлъ противъ нея, но я имѣлъ много противъ капитана; мнѣ его предупредительность была не по нутру, а, главное, мнѣ было чрезвычайно непріятно, что все это сдѣлалось безъ моей воли. Но я могъ сердиться сколько мнѣ угодно, а дѣло уже было сдѣлано.

Досада объяла меня несказанная, и я, чтобы немножко поразвлечься и поразсѣяться и чтобы не идти на новую квартиру, отправился бродить по Москвѣ.

Я ходилъ очень долго, заходилъ въ нѣсколько церквей, гдѣ тупо и безсознательно слушалъ вечернюю службу, два или три раза пилъ чай въ разныхъ трактирахъ, но, наконецъ, дѣваться болѣе было некуда. На дворѣ уже совсѣмъ засумерчило и по улицамъ только изрѣдка кое-гдѣ пробѣгали запоздалыя чуйки; бродить по улицамъ стало совсѣмъ неловко. Я подошелъ къ одному фонарю, вынулъ мои карманные часы: было одиннадцать часовъ. Пора было на ночлегъ; я взялъ извозчика и поѣхалъ на мою новую квартиру. Къ удивленію моему, у воротъ ждалъ меня дворникъ; онъ раскрылъ передо мною калитку и вызвался проводить меня по лѣстницѣ съ фонарикомъ, который онъ зажегъ внизу, въ своей дворницкой. Ремень, приснащенный къ звонку моей квартиры, былъ тоже необыкновенно чутокъ и послушенъ: едва я успѣлъ его потянуть, какъ дверь, шурша своимъ войлочнымъ подбоемъ, тихо отползла и приняла меня въ свои объятія. Въ передней, на полочкѣ, тихо горѣлъ чистенькій ночничокъ. Комната моя была чиста, свѣжа; предъ большимъ образомъ Спасителя ярко сіяла лампада; вещи мои были разложены съ такою аккуратностью и съ такимъ порядкомъ, съ какимъ я самъ разложить ихъ никогда не сумѣлъ бы. Платье мое было развѣшено въ шкафѣ; посреди стола, предъ чернильницей, лежалъ мой бумажникъ и на немъ записка, въ которой значилось: «Денегъ наличныхъ 47 руб. ассигнаціями, 4 цѣлковыхъ и серія», а внизу подъ этими строками выдавлена буква «П», по которой я узналъ, что всею этой аккуратностью въ моей комнатѣ я былъ обязанъ тому же благодатному Леониду Григорьевичу.

— И скажите пожалуйста, разсуждалъ я себѣ:—когда же онъ все это дѣлалъ? Я раскисъ и ошалѣлъ, да слоны слонялъ по Москвѣ, а онъ какъ ни въ чемъ не бывалъ и еще всѣ дѣла за меня попередѣлалъ!

Я отдернулъ альковъ моей кровати и увидѣлъ постель,

застланную ослѣпительно чистымъ бѣльемъ. Думать мнѣ ни о чемъ больше не хотѣлось; переѣхалъ такъ переѣхалъ, или перевезли такъ перевезли,—дѣлать ужъ нечего, благо тихо, покойно, кровать готова и спать хочется. Я раздѣлся, перекрестился, легъ и заснулъ въ ту же самую минуту, какъ только упалъ головой на подушки. Занавѣски, которою отдѣлялся мой альковъ, я не задернулъ, потому что, ложась, надѣялся помечтать при свѣтѣ лампады; но мечтанья, по поводу внезапнаго крѣпкаго сна, не случилось; зато около полуночи меня началъ осѣнять цѣлый рой самыхъ прихотливыхъ сновидѣній. Мы съ Постельниковымъ не то летѣли, не то валились на землю откуда-то, совсѣмъ изъ другого міра, не то въ дружественныхъ объятіяхъ, не то въ какомъ-то невольномъ сцѣпленіи. Я былъ какой-то темный, неопредѣленный, онъ такой же голубой, какимъ я его видѣлъ и какимъ онъ мнѣ только и могъ представляться; но у него, кромѣ того, были большія влажныя крылышки; помахивая ими, онъ меня словно всего склеивалъ, и свистъ отъ взмаховъ этихъ крыльевъ и сладостно и рѣзко раздавался въ моемъ слухѣ. Затѣмъ вдругъ мы очутились въ этой самой комнатѣ и ѣздили по ней долго и долго, пока вдругъ капитанъ далъ мнѣ въ носъ щелчокъ, и я проснулся.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Пробужденіе мое было удивительно не менѣе самаго сна. Во-первыхъ, я увидѣлъ надъ собою—кого бы вы думали?—Точно такъ, какъ бывало въ моемъ дѣтствѣ, я увидѣлъ надъ моимъ изголовьемъ свѣжаго, воскового купидона, привѣшеннаго къ алькову моей кровати. У купидона подъ крылышками была бархатная ермолочка на розовой шелковой подкладкѣ, а на ней пришпилена бумажка, опять точно такъ же съ надписью, какъ бывало во время моего дѣтства. Это меня поразило. Я приподнялся съ кровати и съ нѣкоторымъ удовольствіемъ устремилъ глаза мои на бумажку. На ней было написано: «Оресту Марковичу Ватажкову на новоселье, въ знакъ дружбы и пріязни, Постельниковъ».

— Чортъ знаетъ, чего этотъ человѣкъ такъ нахально лѣзетъ ко мнѣ въ дружбу? подумалъ я, и только-что хотѣлъ привстать съ кровати, какъ вдругъ двери моей комнаты распахнулись и въ нихъ предсталъ самъ капитанъ Постельниковъ. Онъ несъ большой крендель, а на кренделѣ

маленькую вербочку. Это было продолженіе подарковъ на мое новоселье, и съ этихъ поръ для меня началась новая жизнь и далеко не похвальная.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

По моему безволію и малохарактерности я, конечно, сблизился съ капитаномъ Постельниковымъ безмѣрно и зато сталъ заниматься науками гораздо менѣе и гораздо хуже, чѣмъ прежде. Все свое время я проводилъ у моего голубого купидона и перезнакомился у него съ массою самыхъ нестрогихъ лицъ женскаго пола, которыхъ въ квартирѣ Постельникова было всегда какъ мошекъ въ погожій вечеръ. Это преимущественно были дамы и дѣвицы не безъ пятенъ и не безъ упрековъ. Постельниковъ былъ женскій любимецъ и, какъ настоящій любимецъ женщинъ, онъ не привязывался рѣшительно ни къ одной изъ нихъ, и третировалъ ихъ en canaille, но въ то же время лукаво угождалъ всѣмъ имъ всевозможными мелкими, нѣжными услугами. Онъ и меня втиралъ въ особенное ко многимъ изъ этихъ дамъ расположеніе, отказываться отъ котораго, при тогдашнихъ юныхъ моихъ лѣтахъ, я не всегда былъ въ состояніи. Сближеніе мое съ этою женскою плеядой, которую я едва въ силахъ возобновить въ своей памяти, началось со свадьбы той самой Тани или Лизы, которой я возилъ цвѣты. Она выходила замужъ за какого-то чиновника. Постельниковъ былъ у нея посаженымъ отцомъ и поднесъ живую розу, на которой были его же живые стихи, которые я до сихъ поръ помню. Тамъ было написано:

Розу розѣ посвящаю,
Розѣ розу я дарю,
Розу розой украшаю,
Чтобы шла такъ къ алтарю.

На этой свадьбѣ, помню, произошелъ небольшой скандальчикъ, довольно страннаго свойства. Постельниковъ и его пріятель, поэтъ Трубицынъ, увезли невѣсту изъ-подъ вѣнца прямо въ Сокольники и возвратили ее ея супругу только на другой день... Жизнь моя вся шла среди подобныхъ исторій, въ которыхъ, впрочемъ, самъ я былъ очень неискусенъ и слылъ «Филимономъ».

Такъ прошелъ цѣлый годъ, въ теченіе котораго я все слылъ «Филимономъ», хотя, по правдѣ вамъ сказать, мнѣ,

какъ бы по какому-то предчувствію, кличка эта жестоко не нравилась, и я употреблялъ всяческія усилія, чтобъ ее съ себя сбросить. Я и пилъ вино, и дѣломъ своимъ не занимался, и въ дѣвичьемъ вертоградѣ оріентировался, а поэтъ Трубицынъ и другіе наши общіе друзья какъ зарядили меня звать «Филимономъ», такъ и зовутъ. Ну, думаю, врагъ васъ побери; зовите себѣ какъ хотите! Пересталъ объ этомъ думать и даже началъ совершенно равнодушно отзываться на кличку, безправно замѣнившую мое крещеное имя.

Однако, я долженъ вамъ сказать, что совѣсть моя была неспокойна: она возмущалась моимъ образомъ жизни, и я рѣшилъ во что бы то ни стало выбраться изъ этой компаніи: дѣло стояло только затѣмъ, какъ къ этому приступить? Какъ сказать объ этомъ рѣшеніи голубому купидону и общимъ друзьямъ?... На это у меня не хватало силы и я все откладывалъ свое рѣшеніе день ото дня въ сладостной надеждѣ, что не подвернется ли какой счастливый случай и не выведетъ ли онъ меня отсюда, какъ привелъ?

Избравъ себѣ такой выжидательный способъ дѣйствій, я не ошибся въ моихъ надеждахъ на благодѣтельный случай: онъ не заставилъ себя долго ожидать и явился именно яко тать въ нощи. Этимъ распочинается самая скверная полоса, закончившая собою первую половину моей жизни.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Одинъ разъ, проводивъ отъ всенощной одну изъ своихъ знакомыхъ дамъ, я подъ мелкимъ, частымъ дождемъ возвратился домой и, отворивъ свою дверь, остолбенѣлъ. Въ передней у меня сидѣли рядомъ два здоровенные солдата въ голубыхъ шинеляхъ, а двери моей комнаты были связаны шнуркомъ, на которомъ болталась на бумажкѣ большая красная печать. Меня такъ и откинуло назадъ въ сѣни. Не забудьте, что въ тогдашнее время увидѣть въ своей комнатѣ голубого солдата было совсѣмъ не то, что теперь, хотя и теперь, конечно, это визитъ не изъ особенно пріятныхъ, но тогда... это спаси Боже что значило! Мнѣ тотчасъ же представилась тройка, которая помчитъ меня Богъ вѣсть куда, гдѣ я пропаду безъ вѣсти и сгину невѣдомый ни матери, ни роднымъ, ни приснымъ... И вотъ во мнѣ вдругъ пробудилась вообще мало свойственная мнѣ жгучая энергія, твердая и непреклонная рѣшимость спасаться: прежде чѣмъ

подстерегавшіе меня алгвазилы могли что-нибудь сообразить, я быстро скатился съ лѣстницы и явился къ Леониду Григорьевичу. Капитанъ Постельниковъ теперь въ моемъ отчаянномъ положеніи былъ единственный человѣкъ, у котораго я могъ просить какого-нибудь разъясненія и какой-нибудь защиты. Но его Климъ отворилъ мнѣ двери и объявилъ, что барина нѣтъ дома и что даже неизвѣстно, когда онъ и возвратится, потому что они, говоритъ, «порютъ теперь горячку по службѣ».

— Лантрыганили, говоритъ, — лантрыганили, а вотъ теперь имъ генералъ даютъ проборку; они и порютъ горячку и на ночь наврядъ ли вернутся.

Положеніе мое дѣлалось еще безпомощнѣе, и я рѣшился во что бы то ни стало отсюда не выходить. Хотя, конечно, и квартира Леонида Григорьевича была не Богъ знаетъ какое надежное убѣжище, но я предпочиталъ оставаться здѣсь, во-первыхъ, потому, что все-таки разсчитывалъ на большую помощь со стороны Постельникова, а во-вторыхъ, какъ извѣстно, гораздо выгоднѣе держаться подъ самою стѣной, съ которой стрѣляютъ, чѣмъ отбѣгать отъ нея, когда вовсе убѣжать невозможно.

Тутъ, думалъ я, меня, по крайней мѣрѣ, никто не вздумаетъ искать, и выстрѣлы хотя на первое время, вѣроятно, пролетятъ надъ моей головой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Изнывая и томясь въ самыхъ тревожныхъ размышленіяхъ о томъ—откуда и за что рухнула на меня такая напасть, я довольно долго шагалъ изъ угла въ уголъ по безлюдной квартирѣ Постельникова и вдругъ почувствовалъ неодолимую слабость, прикурнулъ на диванчикѣ и задремалъ. Я спалъ такъ крѣпко, что не слышалъ какъ Постельниковъ возвратился домой и проснулся уже, по обыкновенію, въ восемь часовъ утра. Голубой купидонъ въ это время всталъ и умывался.

Разстроенный и взволнованный, я вбѣжалъ въ его комнату и впопыхахъ объяснилъ ему, какая со мною случилась исторія.

Постельниковъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня долгимъ пристальнымъ взглядомъ, и вдругъ что-то припомнивъ, быстро хватилъ себя по лбу ладонью и воскликнулъ:

— Ахъ, чортъ меня возьми, прости мнѣ, Бога ради, Филимоша, за мою дурацкую разсѣянность. Успокойся, — все это, дружокъ, пустяки!

— Позволь, говорю, — какъ же мнѣ успокоиться, когда меня сейчасъ могутъ сослать, и я даже не знаю за что?

— Пустяки это, Филимоша, все пустяки: арестъ—вздоръ и сослать тебя никуда не сошлютъ, я тебѣ въ томъ порука, что никуда тебя не сошлютъ.

— Такъ ты, говорю,—разскажи мнѣ, пожалуйста, въ чемъ же меня подозрѣваютъ, въ чемъ моя вина и преступленіе, если ты это знаешь?

— «Если я знаю»? Чудакъ ты, Филимоша! Разумѣется, я знаю; прекрасно, мой другъ, знаю. Это все дѣло изъ пустяковъ: у тебя книжку нашли.

— Какую, какую нашли у меня книжку?

— Рылѣева «Думы».

— Ну, такъ что же, говорю, такое? Вѣдь это я у тебя же эту книжку взялъ.

— Ну, разумѣется, говоритъ, у меня; я этого tête-à-tête съ тобою и не отвергаю...

— Такъ позволь же, пожалуйста, что же это такое?.. Откуда же кто-нибудь могъ узнать, что у меня есть эта книжка?

— А вотъ ты, говоритъ, не горячись, а сядь, да имѣй терпѣніе выслушать, такъ я тебѣ разскажу.

Зная обильные потоки словотеченія Леонида Постельникова и его неумѣніе ничего разсказывать коротко и просто, я повиновался и, скрѣпя сердце, сѣлъ и страдальчески сложилъ на груди руки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

— Видишь ли,—неспѣшно началъ мой мучитель, основательно усаживаясь у туалета и приступая къ распусканію своихъ папильотокъ: — видишь ли, про это, наконецъ, дознались...

— Да я, говорю, я именно это-то и хочу знать, какимъ образомъ могли дознаться про то, что я всего позавчера съ глаза-на-глазъ взялъ у тебя книжку?

— Душа моя, да зачѣмъ же, говоритъ,—ты усиливаешься это постичь, когда это все именно такъ и устроено, что ты даже, можетъ-быть, чего-нибудь и самъ не знаешь, а тамъ о тебѣ все это извѣстно! Зачѣмъ же тебѣ въ это проникать?

— Нѣтъ я, говорю,—хочу знать, что же, гдѣ же я, съ кѣмъ я и кто за мною шпіонитъ?

— Ну, вотъ ужъ и «шпіонъ»! Какія у васъ, право, глупыя слова всегда наготовѣ... Вотъ отъ этого-то мнѣ и не удивительно, что вы часто за нихъ попадаетесь... языкъ мой—врагъ мой. Что такое «шпіонство»? Это обидное слово и ничего болѣе. Шпіонъ, соглядатай—это употребляется въ военное время противъ непріятеля, а въ мирное время ничего этого нѣтъ.

— Да позволь же, говорю, — пожалуйста: какъ же стало извѣстно, что у меня есть твоя книга?

— А это другое дѣло; это совсѣмъ другое дѣло: тутъ нѣтъ никакого шпіонства, а я, видишь... я тебѣ откровенно признаюсь, я, чортъ меня побери, какъ на себя ни злюсь, но я совсѣмъ неспособенъ къ этой службѣ. Я въ нее и не хотѣлъ, — я хотѣлъ въ уланы, а это все маменька такъ устроила, что... въ этомъ войскѣ, говоритъ, хорошо, и обезпечено, и мундиръ, и шпоры, и это войско на войну не ходитъ,—а между тѣмъ она, моя почтенная матушка-то, того не сообразила, годенъ ли я, способенъ ли я къ этой службѣ. Тутъ, правда, не контузятъ и не ранятъ, а выслужиться можно скорѣй, чѣмъ въ битвахъ, но зато эта служба требуетъ, такъ сказать, высшихъ способностей, тутъ, такъ сказать... къ ученому даже нѣчто примыкаетъ, потому что требуется наблюдательность, а у меня ее никакѣйшей, а у насъ за это не хвалятъ... и основательно дѣлаютъ, что не хвалятъ, потому что у насъ безъ этого нельзя, потому что иначе на что же мы?

Нетерпѣніе беретъ меня страшное!

— Позволь, говорю,—Христа ради, мнѣ тебя перебить.

— Да, хорошо, отвѣчаетъ,—перебей, братецъ,—перебей, но ты во всякомъ случаѣ долженъ со мной согласиться, что вѣдь мы же должны заботиться о томъ, чтобы мы оказывались на что-нибудь нужными?

— Прекрасно, говорю,—прекрасно, но позволь...

— Нѣтъ, ты самъ позволь: мы обязаны это доказать, или нѣтъ: что мы нужны? А почему? Потому, душа моя, что вѣдь мы во что-нибудь странѣ-то обходимся, потому что мы вѣдь рубля два съ полтиною въ годъ государству-то стоимъ?

Господи, мнѣ приходилось хоть плакать.

— Бога ради, говорю,—Леонидъ Григорьевичъ, мнѣ не до разговоровъ; я тебя съ умиленіемъ прошу, не неси ты мнѣ, Христа ради, всей этой ахинеи, а скажи мнѣ, за что меня берутъ?

— Да я къ этому и иду! что же ты самъ меня перебиваешь, а самъ говоришь, что я несу ахинею?

— Ну, ладно, говорю,— я молчу и не перебиваю, но только, ради Бога, скажи скорѣе, въ чемъ же дѣло?

— А въ чемъ, ты думаешь, дѣло? Все дѣло въ томъ, что у насъ до этихъ поръ нѣтъ еще настоящихъ наблюдательныхъ людей. Оттого мы чортъ знаетъ чѣмъ и занимаемся. Ты видалъ у меня нашего офицера Бекасинникова?

— Ну, видалъ, говорю,—видалъ.

— Прекрасный парень, товарищъ и добрѣйшая душа,— а вѣдь какъ, каналья, одинъ разъ меня срѣзалъ? Тоже вотъ какъ у меня: наблюдательности у него никакѣйшей, и не находчивъ, а вѣдь это въ извиненіе не берется; его и приструнили, и такъ приструнили, что хоть или въ отставку подавай, или переходи въ другую службу, но изъ нашего вѣдомства это уже считается... неловко. Что же ты думаешь онъ, свинья, сдѣлалъ? Встрѣтилъ меня на улицѣ и ну меня обнимать, да потихоньку снялъ у меня съ сабли темлякъ, и положилъ его мнѣ въ карманъ шинели, а самъ сообщилъ, что «Постельниковъ, говоритъ, манкируетъ формой и подаетъ вредный примѣръ другимъ». Меня вдругъ и зовутъ: я ничего не знаю, являюсь какъ былъ—и прямо поѣхалъ за это на гауптвахту. Тамъ и нашелъ я темлякъ въ шинели, да ужъ нечего дѣлать. Но я Бекасинникова въ томъ не виню: что же ты будешь дѣлать? Герои рѣдки, а службой своей долженъ каждый дорожить.

Меня вдругъ осѣнило.

— Остановись, говорю, — Леонидъ Григорьевичъ: — я боюсь, что я тебя, наконецъ, понимаю?

— Ну да, говоритъ,—Филимоша, да, ты правъ; между четырехъ глазъ я отъ тебя не скрою: это я сообщилъ, что у тебя есть запрещенная книжка. Приношу тебѣ, голубчикъ, въ этомъ пять милліоновъ извиненій, но такъ какъ иначе дѣлать было нечего... Ты, я думаю, вѣдь самъ замѣтилъ, что я послѣдніе дни повѣся носъ ходилъ... Я вѣдь службы могъ лишиться, а вчера мнѣ приходилось хоть вотъ какъ,—

и Постельниковъ выразительно черкнулъ себя рукой по горлу и бросился меня цѣловать.

Повѣрите или нѣтъ, я даже не могъ злиться. Я былъ такъ ошеломленъ откровенностью Постельникова, что не только не обругалъ его, но даже не нашелъ въ отвѣтъ ему ни одного слова! Да, немного времени осталось мнѣ и для разговоровъ, потому что въ то время, какъ я не мѣшалъ Постельникову покрывать поцѣлуями мои щеки, онъ махнулъ у меня за плечами своему денщику, и по этому мановенію въ комнату явились два солдата и отъ него же взяли меня подъ арестъ.

Я просидѣлъ около десяти дней въ какой-то дырѣ, а въ это время вышло распоряженіе исключить меня изъ университета съ тѣмъ, чтобы ни въ какой другой университетъ не принимать; затѣмъ меня посадили на тройку и отвезли на казенный счетъ въ нашъ губернскій городъ подъ надзоръ полиціи, причемъ, конечно, утѣшили меня тѣмъ, что, во вниманіе къ молодости моихъ лѣтъ, *дѣло* мое не довели до вѣдома высшей власти. Симъ *родительскимъ* мѣропріятіемъ положенъ былъ предѣлъ учености моей.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

У насъ въ деревнѣ уже знали о моемъ несчастіи. Извѣстіе объ этомъ дошло до дядина имѣнія черезъ чиновниковъ, которымъ былъ присланъ секретный наказъ, гдѣ мнѣ дозволить жить и какъ наблюдать за мною. Дядя тотчасъ понялъ, въ чемъ дѣло, но отъ матушки половину всего скрыли. Дядя возмутился за меня и, Богъ знаетъ сколько лѣтъ не выѣзжая изъ деревни, тронулся самъ въ губернскій городъ, чтобы встрѣтить меня тамъ, разузнать все въ подробности и потомъ ѣхать въ Петербургъ и тряхнуть въ мою пользу своими старыми связями.

При первомъ нашемъ свиданіи старикъ былъ со мною, сверхъ ожиданія, тепелъ и нѣженъ; онъ держалъ меня во все время разговора за руку, и когда я окончилъ свой разсказъ, онъ пожалъ плечами и проговорилъ:

— Боже великій, чѣмъ люди занимаются! Ну, однако,— добавилъ онъ:—этого такъ имъ оставить невозможно. Я поѣду просить, чтобы тебѣ дозволили поступить въ другой университетъ, а теперь пока отдохни.

Онъ самъ наблюдалъ, какъ мнѣ сдѣлали ванну, самъ уложилъ меня въ постель, но черезъ два часа самъ сдѣлалъ мнѣ такое горе, нанесъ мнѣ такое несчастіе, передъ которымъ шутка Постельникова была невиннѣйшею идилліей.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Я спалъ безмятежно сномъ совершенно мертвымъ, какимъ только можно спать послѣ тысячеверстнаго пути на перекладной телѣгѣ, и вдругъ сквозь этотъ невѣроятный сонъ я услышалъ заупокойное пѣніе «Святый Боже», затѣмъ ужасный, потрясающій крикъ, стонъ, вопль—не знаю какъ вамъ и назвать этотъ ужасный звукъ, отъ котораго еще сейчасъ ноетъ мозгъ костей моихъ... Раздался этотъ крикъ и вдругъ какая-то паника, какой-то смущающій шопотъ, хлопанье дверей и всеобъемлющій ужасъ... Изъ живыхъ людей меня никто не будилъ, но чья-то незримая рука толкнула меня въ ребра и надъ ухомъ прожужжала пчела. Я вскочилъ, выбѣжалъ въ залъ... и увидѣлъ на диванѣ мою мать... мертвою.

Вѣщунъ сердце ея не выдержало: она чуяла, что со мной худо, и прилетѣла въ городъ вслѣдъ за дядей; дядѣ вдругъ вздумалось пошутить надъ ея *сентиментальностью*. Увидѣвъ, что матушка въѣхала на дворъ и выходитъ изъ экипажа, онъ заперъ на крючокъ дверь и запѣлъ «Святый Боже». Онъ ей спѣлъ эту отходную, и вопль ея, который я слышалъ во снѣ, былъ предсмертный крикъ ея ко мнѣ. Она грохнулась у двери на землю и... умерла отъ разрыва сердца.

Этого ужъ я не могъ вынести и заболѣлъ горячкой, въ которой отъ всѣхъ почитался въ положеніи безнадежномъ, но вдругъ въ двѣнадцатый день опомнился, сталъ быстро поправляться и толстѣть самымъ непозволительнымъ образомъ.

Дядя избѣгалъ со мною всякихъ свиданій, но какими-то доселѣ мнѣ невѣдомыми путями исходатайствовалъ мнѣ позволеніе жить въ Петербургѣ и оканчивать тамъ свое образованіе.

Я, конечно, не заставилъ себѣ повторять этого разрѣшенія, и немедленно же собрался.

Дядя наблюдалъ за моимъ здоровьемъ, но самъ скры-

лался; онъ показался мнѣ только въ самую минуту моего отъѣзда, но это отнюдь не былъ уже тотъ мой дядя, какого я привыкъ видѣть: это былъ старецъ смирный, тихій, убитый, въ сермяжномъ подрясникѣ, подпоясанномъ черным ремнемъ, и съ сѣдою щетиной на бородѣ.

Старикъ встрѣтилъ меня въ сѣняхъ, когда я выходилъ, чтобы садиться въ телѣгу, и, упавъ предо мной на колѣна, горько зарыдалъ и прошепталъ:

— Орестъ! прости меня Христа ради.

Я бросился къ нему, поднялъ его, и мы поцѣловались и разстались съ тѣмъ, чтобы уже никогда больше на этомъ свѣтѣ не видаться.

Такимъ образомъ, *шутя* выгнанный изъ Москвы, я пріѣзжалъ въ свой городъ какъ будто только для того, чтобы тамъ быть свидѣтелемъ, какъ *шутя* убили при мнѣ страстно любимую мною мать и, къ стыду моему, растолстѣть отъ горячки и болѣзни.

— Что-то ждетъ меня еще въ Петербургѣ? — задавалъ я себѣ пытанье, и хотя совсѣмъ разучился вѣрить во что-нибудь хорошее, но съ озлобленіемъ не боялся ничего и худого.

— На же тебѣ меня, на!—говорилъ я мысленно своей судьбѣ.—На тебѣ меня, и подѣлай-ка со мной что-нибудь чуднѣе того, что ты дѣлала. Нѣтъ, молъ, голубка, ты меня ужъ ничѣмъ не удивишь!

Но я въ этомъ наижесточайше ошибся: то, что судьба готовила мнѣ здѣсь, превзошло всякія неожиданности.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Я вамъ говорилъ, что въ моей рукѣ не только былъ перочинный ножъ, которымъ я ранилъ въ гимназіи великаго Калатузова, но я держалъ въ монхъ рукахъ и мечъ. Вотъ какъ это случилось.

Живу я въ Петербургѣ тихо и смирно, и учусь. Новой бѣды надъ собой, разумѣется, ни откуда не жду, да и думаю, что и взяться ей не откуда. Вѣрно, думаю, злая судьба моя ужъ удовлетворилась.

Успокоивая себя такимъ образомъ, я самъ сталъ терять мое озлобленіе и началъ разсуждать обо всемъ въ духѣ сладчайшаго всепрощенія. Я даже нашелъ средство примириться съ поступкомъ дяди, стоившимъ жизни моей матери.

«Что же, — думаю я,—матушка умерла праведницей, а кончина ея обратила безпокойнаго и строптиваго дядю моего къ христіанскому смиренію. Благому духу моей матери это сладчайшая награда, и не обязанъ ли я смотрѣть на все совершившееся какъ на исполненіе предначертаній Промысла, ищущаго каждой заблудшей овцы?»

Я рѣшилъ себѣ, что это именно такъ, и написалъ объ этомъ моему дядѣ, отъ котораго чрезъ мѣсяцъ получаю большой пакетъ съ дарственною записью на всѣ его имѣнія и съ письмомъ, въ которомъ онъ кратко извѣщалъ меня, что онъ оставилъ домъ, живетъ въ кельѣ въ одной пустыни и постригся въ монахи, а потому,—добавляетъ,—«не только сіятельствомъ, но даже и благородіемъ меня впредь не титулуй, ибо монахъ благороднымъ быть не можетъ!» Эта двусмысленная, шутливая приписка мнѣ немножко не понравилась: и этого онъ не сумѣлъ сдѣлать серьезно!.. Но что его осуждать?.. Это кувшинъ, который уже сломилъ себѣ голову.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Стояло великопостное время; я былъ тогда, какъ говорю вамъ, юноша теплый и умиленный, а притомъ же потеря матушки была на-свѣжѣ, и я очень часто ходилъ въ одну домовую церковь и молился тамъ и пресладко, и преискренно. Начинаю говѣть и ужъ отгавливаюсь — совсѣмъ собираюсь подходить къ исповѣди, какъ вдругъ, словно изъ театральнаго люка, вырастаетъ предо мною въ темномъ углѣ церкви господинъ Постельниковъ и проситъ у меня христіанскаго прощенія, если онъ чѣмъ-нибудь меня обидѣлъ.

«Ахъ, ты, ракалья этакая! — подумалъ я, — еще онъ сомнѣвается... «если онъ чѣмъ-нибудь меня обидѣлъ!» Да и зачѣмъ онъ очутился здѣсь, и говѣетъ какъ разъ въ той же церкви, гдѣ и я?.. А впрочемъ, думаю: по-христіански я его простилъ и довольно; больше ничего не хочу про него ни знать, ни вѣдать.» Но вотъ-съ причастился я, а Постельниковъ опять предо мною въ новомъ мундирѣ, съ жирными эполетами и поздравляетъ меня съ принятіемъ Святыхъ Таинъ.

«Ну да ладно, думаю, ладно, и отъ меня прошу принять такое же поздравленіе.»

Вышли мы изъ церкви: онъ меня, гляжу, догоняетъ по дорогѣ и говоритъ:

— Ты вѣдь меня, Филимоша, простилъ, и больше не сердишься?

Я даже и слова не нашелъ, что отвѣтить ему на такой фамильярный приступъ.

— Не сердись, говоритъ, — пожалуйста, Филимоша; я, ей-Богу, всегда тебя любилъ; но я совсѣмъ неспособенъ къ этой службѣ и оттого, чортъ меня знаетъ, какъ медленно и подвигаюсь.

— Однако, говорю,—чѣмъ же медленно? У васъ уже жирные эполеты. — А самъ, знаете, все норовлю отъ него въ сторону.

А онъ не отстаетъ и продолжаетъ:

— Ахъ, что, говоритъ,—въ этомъ, Филимоша, что жирные эполеты? Развѣ другіе-то это одно до сихъ поръ имѣютъ? Нѣтъ, да я, впрочемъ, на начальство и не ропщу: я самъ знаю, что я къ этой службѣ неспособенъ. Стараюсь, да неспособенъ, и вотъ это меня сокрушаетъ. Я переведенъ сюда для пользы службы, а службѣ отъ меня никакой пользы нѣтъ, да и впередъ не будетъ, и я это чувствую и скорблю... Мнѣ худо потому, что я человѣкъ товарищественный. Вы вѣдь, я думаю, это помните?

— Какъ же, помню,—молъ, даже непремѣнно очень помню.

— Да вотъ, у меня здѣсь теперь есть новый пріятель, Станиславъ Пржикрживницкій, по-просту—Стаська... Представьте, какой только возможно,—чудеснѣйшій малый: товарищъ, весельчакъ и покутить не прочь, и въ картишки, со всѣми литературами знакомъ, и самъ веселые стихи на все сочиняетъ; но тоже совершенно, какъ у меня, нѣтъ никакой наблюдательности. Представьте себѣ, комизма много, а наблюдательности нѣтъ; вѣдь это даже удивительно! Генерала нашего представляетъ какъ нельзя лучше, да и вообще всѣхъ насъ пересмѣшитъ въ манежѣ. Пріѣдетъ и кричитъ: «Bonjour, мой взводъ!» Тѣ орутъ: «Здравія желаемъ, ваше благородіе!» — «Какое, говоритъ, у насъ нынче мечю?» — «Шпы, ваше благородіе». — «Вахмистръ, говоритъ, покажи мнѣ мое мѣсто!»... Однимъ словомъ, пересмѣшитъ до упаду, а служебной наблюдательности все-таки нѣтъ. Онъ мнѣ разъ и говоритъ: «Душка, Постельниковъ, ты опытнѣе, пособи мнѣ обратить на себя вниманіе. Иначе,

говоритъ, я васъ больше и тѣшить не хочу, потому что на меня начинаютъ находить прегорькія минуты».—«Да, другъ ты мой, отвѣчаю я ему, да мнѣ самому не легче тебя».— И я это не лгу. Вы не повѣрите, что я Богъ знаетъ какъ обрадовался, узнавъ, что вы въ Петербургѣ.

— А вы почему, говорю,—это узнали?

— Да какъ же, говоритъ,—не узнать? Вѣдь у насъ это по реестрамъ видно.

— Гмъ, да, молъ, вотъ что... по реестрамъ у васъ видно.

А онъ продолжаетъ, что хотѣлъ-было даже ко мнѣ поѣхать, «чтобы душу отвести», да все, говоритъ, ждалъ случая.

Ухъ, батюшки, такъ меня и кольнуло!

— Какъ, какого, говорю,—вы ждали случая?

— А какого-нибудь, отвѣчаетъ,—чтобы въ именины или въ рожденье... нагрянуть къ вамъ съ хлѣбомъ и солью... А кстати, вы когда именинникъ? — И тотчасъ же самъ и отгадываетъ. — Чего же, говоритъ, я, дуракъ, спрашиваю, будто я не знаю, что 14-го декабря?

Это вовсе неправда, но мнѣ, разумѣется, слѣдовало бы такъ и оставить его на этотъ счетъ въ заблужденіи; но я это не сообразилъ, и со страха, чтобъ онъ на меня не нагрянулъ, говорю: я вовсе и не именинникъ 14-го декабря.

— Какъ, говоритъ,—не именинникъ? Развѣ святого Филимона не 14-го декабря?

— Я, отвѣчаю,—этого не знаю, когда святого Филимона, да и мнѣ можно это и не знать, потому что я вовсе не Филимонъ, а Орестъ.

— Ахъ, и вправду!—воскликнулъ Постельниковъ.—Представьте: сила привычки! Я даже и позабылъ: вѣдь это Трубицынъ поэтъ васъ Филимономъ прозвалъ... Правда, правда, это онъ прозвалъ... а у меня есть одинъ знакомый, онъ, дѣйствительно, именинникъ 14-го декабря, такъ онъ даже просилъ консисторію перемѣнить ему имя, потому... потому... что... четырнадцатаго декабря... Да!.. четырнадцатаго...

И вдругъ Постельниковъ воззрился на меня острымъ, пристальнымъ взглядомъ, еще разъ повторилъ слово «четырнадцатаго декабря», и съ этимъ тихо, въ разсѣянности, пожалъ мнѣ руку и медленно ушелъ отъ меня въ сторону.

Я былъ очень радъ, что отъ него освободился, пришелъ домой, пообѣдалъ и пресладостно уснулъ, но вдругъ увидѣлъ

во снѣ, что Постельниковъ подалъ меня на блюдѣ въ видѣ поросенка подъ хрѣномъ какому-то веселому господину, котораго назвалъ при этомъ Стаськой Пржикрживницкимъ.

— На, говоритъ, — Стася, кушай; совсѣмъ готовый: и ошпаренъ, и сваренъ.

Дѣло пустое сонъ, но такъ какъ я ужасный сновидецъ, то это меня смутило. Впрочемъ, авось, думаю, пронесетъ Богъ этотъ сонъ мимо. Ахъ! не тутъ-то было; сонъ палъ въ руку.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Приходитъ день къ вечеру; «почною темнотой мрачатся небеса и люди для покоя смыкаютъ ужъ глаза», — а ко мнѣ въ двери кто-то динь-динь-динь, а вслѣдъ затѣмъ сбруею брясь-дрясь-жись! «Здѣсь, говоритъ, — такой-то Ватажковъ?»

Ну, конечно, отвѣчаютъ, что здѣсь.

Вошли милые люди и вѣжливо попросили меня собраться и ѣхать.

Одѣлся я бѣдный и ѣду.

Ѣдемъ долго ли, коротко ли, пріѣзжаемъ куда-то и идемъ по коридорамъ и переходамъ. Вотъ и комната большая, не то казенная, не то общежитейская... На окнахъ тяжелыя занавѣски, посерединѣ круглый столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, на столѣ лампа съ рѣзнымъ матовымъ шаромъ и нѣсколько кипсековъ; этажерка съ книгами законовъ, а въ глубинѣ диванъ.

— Дожидайтесь здѣсь, — велѣлъ мнѣ мой провожатый и скрылся за слѣдующею дверью.

Жду я часъ, жду два: ни звука ни откуда нѣтъ. Скука беретъ ужасная, скука, одолѣвающая даже волненіе и тревогу. Вздумалъ-было хоть законъ какой-нибудь почитать, или посмотрѣть въ окно, чтобъ уяснить себѣ мало-мальски: гдѣ я и въ какихъ нахожусь палестинахъ, но боюсь! Просто тронуться боюсь, одну ногу поднимаю, а другая такъ мнѣ и кажется, что подъ полъ уходитъ... Терпѣнья нѣтъ, какъ страшно!

«Вотъ что, думаю себѣ, — проползу-ка я осторожненько къ окну на четверенькахъ — это совсѣмъ не такъ рискованно: руки осунутся, я сейчасъ всѣмъ тѣломъ назадъ и не провалюсь».

Думалъ-думалъ, да вдругъ насмѣлился, какъ вдругъ въ то самое время, когда я пробирался медвѣдемъ, двери въ комнату растворились и на порогѣ показался лакей съ серебрянымъ подносомъ, на которомъ стоялъ стаканъ чаю.

Появленіе этого свидѣтеля моего комическаго ползанія на четвереньках меня чрезвычайно сконфузило... Лакей-каналья держался дипломатическимъ совѣтникомъ, а самъ едва не хохоталъ, подавая чай, но мнѣ было не до его сатирическихъ ко мнѣ отношеній. Я взялъ чашку и только внимательно смотрѣлъ на всѣ половицы, по которымъ пройдетъ лакей. Ясно, что это были половицы благонадежныя и что по нимъ ходить было безопасно.

«Да и Боже мой, сообразилъ я вдругъ, — что же я за дуракъ такой, что я боюсь той или другой половицы? Вѣдь если мнѣ ужъ опредѣлено здѣсь провалиться, такъ все равно;—и весь диванъ, конечно, можетъ провалиться!»

Это меня чрезвычайно успокоило и осмѣлило, и я, послѣ долгаго сидѣнья, вдругъ вскочилъ и заходилъ черезъ всю комнату съ ярымъ азартомъ. Нестерпимѣйшая досада, негодованіе и гнѣвъ, — гнѣвъ душащій, но безсильный, все это погоняло и шпорило, и я шагалъ и шагалъ, и... вдругъ, милостивые мои государи, столкнулся лицомъ къ лицу съ сѣдымъ человѣкомъ, очень небольшого роста, съ огромными усами и въ мундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы. За его плечомъ стоялъ другой человѣкъ, ростомъ повыше и въ такомъ же точно мундирѣ, только съ оберъ-офицерскими эполетами.

Оба незнакомца, повидимому, вошли сюда уже нѣсколько минутъ и стояли, глядя на меня съ усиленнымъ вниманіемъ.

Я сконфузился и остановился.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Маленькій генералъ понялъ мое замѣшательство, улыбнулся и сказалъ:

— Ничего-съ.

Я поклонился. Генералъ мнѣ показался человѣкомъ очень добрымъ и мягкимъ.

— Васъ зовутъ *Филимонъ?* — спросилъ онъ меня тихо и безстрастно, но глубоко таинственно.

— Нѣтъ-съ,—отвѣчалъ я ему смѣло:—меня зовутъ не Филимонъ, а Орестъ

— Знаю-съ и не о томъ васъ спрашиваю.

— Я, говорю, — я отвѣчаю вашему превосходительству какъ разъ на вашъ вопросъ.

— Неправда-съ,—воскликнулъ, возвышая голосъ, генералъ, причемъ добрые голубые глаза его хотѣли сдѣлаться злыми, но вышли только круглыми.—Неправда-съ: вы очень хорошо знаете, о чемъ я васъ спрашиваю, и отвѣчаете мнѣ вздоръ!

Теперь я, дѣйствительно, ужъ только и могъ отвѣчать одинъ вздоръ, потому что я ровно ничего не понималъ, чего отъ меня требуютъ.

— Васъ зовутъ *Филимонъ!*—воскликнулъ генералъ, сдѣлавъ еще болѣе круглые глаза и упирая мнѣ въ грудь своимъ указательнымъ пальцемъ.—Ага! что-съ,—продолжалъ онъ, изловивъ меня за пуговицу, — что? Вы думаете, что намъ что-нибудь неизвѣстно? Намъ все извѣстно: прошу не запираться, а то будетъ хуже! Васъ въ вашемъ кружкѣ зовутъ Филимономъ! Слышите: не запираться, хуже будетъ!

Я спокойно отвѣчалъ, что не вижу вовсе и никакой нужды быть въ этомъ случаѣ не искреннимъ предъ его превосходительствомъ; дѣйствительно, говорю, пришла когда-то давно одному моему знакомому блажь назвать меня *Филимономъ*, а другіе это подхватили, находя, будто имя *Филимонъ* мнѣ почему-то идетъ...

— А вотъ въ томъ-то и дѣло, что это вамъ идетъ; вы, наконецъ, въ этомъ сознались, и я васъ очень благодарю.

Генералъ пожалъ мнѣ съ признательностью руку и добавилъ:

— Я очень радъ, что послѣ вашего раскаянія могу все это представить въ самомъ мягкомъ свѣтѣ и, Богъ дастъ, не допущу до дурной развязки. Извольте за это сами выбирать себѣ полкъ; вы гдѣ хотите служить: въ пѣхотѣ или въ кавалеріи?

— Ваше превосходительство, говорю, — позвольте... я нигдѣ не хочу служить, ни въ пѣхотѣ, ни въ кавалеріи...

— Тсъ! молчать! молчать! тссъ!—закричалъ генералъ.— Намъ все извѣстно! Вы человѣкъ съ состояніемъ, вы должны идти въ кавалерію.

— Но, ваше превосходительство, я никуда не хочу идти.

— Молчать! тсъ! не смѣть!.. молчать! Отправляйтесь сейчасъ съ моимъ адъютантомъ въ канцелярію. Вамъ тамъ

приготовятъ просьбу и завтра вы будете записаны юнкеромъ,—понимаете? юнкеромъ въ уланы, или въ гусары; я предоставляю это на вашъ выборъ, я не стѣсняю васъ: куда вы хотите?

— Да, ваше превосходительство, я—говорю—никуда не хочу.

Генералъ опять затопоталъ, закричалъ и кричалъ долго что-то такое, въ чемъ было не мало добрыхъ и жалкихъ словъ насчетъ спокойствія моихъ родителей и моего собственнаго будущаго, и затѣмъ вдругъ,—представьте вы себѣ мое вящшее удивленіе,—вслѣдъ за сими словами непостижимый генералъ вдругъ перекрестилъ меня крестомъ со лба на грудь, быстро повернулся на каблукахъ и направился къ двери.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Отчаяніе придало мнѣ неожиданную смѣлость: я бросился вслѣдъ за генераломъ, схватилъ его рѣшительно за руку и зычно воскликнулъ:

— Ваше превосходительство! воля ваша, а я не могу... Извольте же мнѣ, по крайней мѣрѣ, сказать, что же я такое сдѣлалъ? За что же я долженъ идти въ военную службу?

— Вы ничего не сдѣлали,—тихо и безгнѣвно отвѣчалъ мнѣ генералъ. — Не думайте, что намъ что-нибудь неизвѣстно: намъ все извѣстно, мы на то поставлены, и мы знаемъ, что вы ничего не сдѣлали.

— Такъ за что же-съ, за что, говорю, — меня въ военную службу?

— А развѣ военная служба — это наказаніе? Военная служба это презервативъ.

— Но помилуйте, говорю,—ваше превосходительство; вы только извольте на меня взглянуть: вѣдь я совсѣмъ къ военной службѣ неспособенъ и я себя къ ней никогда не предназначалъ, притомъ же... я дворянинъ, и по вольности дворянства, дарованной Петромъ III и подтвержденной Великою Екатериной...

— Тсъ! тсъ! не смѣть! молчать! тсъ! ни слова больше! — замахалъ на меня обѣими руками генералъ, какъ бы стараясь вогнать въ меня назадъ вылетѣвшія изъ моихъ устъ слова. — Я вамъ дамъ здѣсь разсуждать о вашей Великой

Екатеринѣ! Тссс! Что такая ваша Великая Екатерина? Мы лучше васъ знаемъ, что такое Великая Екатерина!.. черная женщина!... не смѣть, не смѣть про нее говорить!..

И генералъ снова повернулъ къ двери.

Отчаяніе мною овладѣло страшное.

— Но, Бога ради!—закричалъ я, снова догнавъ и схвативъ генерала дерзостно за руку.—Я вамъ повинуюсь, повинуюсь, потому что не могу не повиноваться...

— Не можете, да, не можете и не должны!—проговорилъ мягче прежняго генералъ.

По тону его голоса и по его глазамъ мнѣ показалось, что онъ не безучастливъ къ моему положенію.

Я этимъ воспользовался.

— Умоляю же, говорю,—ваше превосходительство, только объ одномъ: не оставьте для меня вѣчною тайной, въ чемъ моя вина, за которую я иду въ военную службу?

Генералъ, не сердясь, сложилъ наполеоновски свои руки на груди и, отступивъ отъ меня шагъ назадъ, проговорилъ:

— Васъ прозвали *Филимонъ!*

— Знаю, говорю,—это несчастье;—это Трубицынъ.

— *Филимонъ!*—повторилъ, растягивая, генералъ.—И какъ вы сами мнѣ здѣсь благородно сознались, это больше или меньше соотвѣтствуетъ вашимъ свойствамъ?

— Внѣшнимъ, ваше превосходительство, внѣшнимъ, наружнымъ,—торопливо лепеталъ я, чувствуя, что какъ будто въ имени «Филимонъ», дѣйствительно, есть что-то преступное.

— Прекрасно-съ!—и съ этимъ генералъ неожиданно прискакнулъ ко мнѣ пѣтушкомъ, взялъ меня руками за плечи, подвинулъ свое лицо къ моему лицу, носъ къ носу и, глядя мнѣ инквизиторски въ глаза, заговорилъ:—А позвольте спросить васъ, когда празднуется день святого Филимона?

Я вспомнилъ свой утренній разговоръ съ Постельниковымъ о моемъ тезоименитствѣ и отвѣчалъ:

— Я сегодня случайно узналъ, что этотъ день празднуется четырнадцатаго декабря.

— *Четырнадцатаго декабря!*—произнесъ вслѣдъ за мною въ нѣкоемъ ужасѣ генералъ и, быстро отхвативъ съ моихъ плечъ свои руки, поднялъ ихъ съ трепетомъ вверхъ надъ своею головой и, возведя глаза къ небу, еще разъ прошепталъ придыханіемъ «*четырнадцатаго декабря!*» и, ка-

чая въ ужасѣ головою, исчезъ за дверью, оставивъ меня вдвоемъ съ его адъютантомъ.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ.

— Вы ничего этого не бойтесь, — весело заговорилъ со мною адъютантъ, чуть только дверь за генераломъ затворилась.—Повѣрьте, это все гораздо страшнѣе въ разсказахъ. Онъ вѣдь только егозитъ и пѣтушится, а на дѣлѣ онъ Божья коровка и къ этой службѣ совершенно неспособенъ.

— Но, однако, говорю, — мнѣ, по его приказанію, все-таки надо идти въ полкъ.

— Да полноте, говоритъ, — я даже не понимаю, за что вы его такъ сильно раздражили? Не все ли вамъ равно, гдѣ ни служить?

— Да, такъ-съ; но я совершенно неспособенъ къ военной службѣ.

— Ахъ, полноте вы, Бога ради, толковать о способностяхъ! Развѣ у насъ это все по способностямъ расчисляютъ? Я и самъ къ моей службѣ не чувствую никакого призванія, и онъ (адъютантъ кивнулъ на дверь, за которую скрылся генералъ), и онъ самъ сознается, что онъ даже въ кормилицы больше годится, чѣмъ въ нашей службѣ, а всѣ мы между тѣмъ служимъ. Я вамъ посовѣтую: идите вы въ гусары; вы,—извините меня,—вы этакій кубастенькій бочеточекъ, прикоренастый; вамъ лучше въ гусары, да тамъ и общество дружное и залихватское... Вы пьете?.. Нѣтъ!.. Ну, да все равно. А острить можете?

— Нѣтъ, отвѣчаю,—я и острить не могу.

— Ну, какъ-нибудь, изъ Грибоѣдова, что ли: «Ахъ, Боже мой, что станетъ говорить княгиня Марья Алексѣвна», или что-нибудь другое, — вѣдь это не трудно... Неужто и этого не можете?

— Да, это, можетъ-быть, и могу,—отвѣчаю я:—да зачѣмъ же это?

— Ну, вотъ и довольно, что можете, а зачѣмъ — это послѣ сами поймете; а что это не трудно, такъ я вамъ за то головой отвѣчаю: у насъ одинъ гусаръ чортъ знаетъ какимъ острякомъ слылъ оттого только, что за каждымъ словомъ прибавлялъ: «Ахъ, екскюзе, ма фамъ»; но все это пока въ сторону, а теперь къ дѣлу: бумага у меня для васъ уже заготовлена; что вамъ тамъ таскаться въ канце-

лярію? только выставить полкъ, въ какой вы хотите, — заключилъ онъ, вытаскивая изъ-за лацкана сложенный листъ бумаги, и тотчасъ же вписалъ тамъ въ пробѣлѣ имя какого-то гусарскаго полка, далъ мнѣ подписать и, взявъ со обратно, сказалъ мнѣ, что я совершенно свободенъ и долженъ только завтра же обратиться къ такому-то портному, состроить себѣ юнкерскую форму, а послѣзавтра опять явиться сюда къ генералу, который самъ отвезетъ меня и отрекомендуетъ моему полковому командиру.

ГЛАВА СОРОКЪ ПЕРВАЯ.

Такъ все это и сдѣлалось. Портной одѣлъ меня, писаря записали, а генералъ осмотрѣлъ, ввелъ къ себѣ въ кабинетъ, благословилъ маленькимъ образцомъ въ ризѣ, сказалъ, что «все это вздоръ», и отвезъ меня въ каретѣ къ другому генералу, моему полковому командиру. Я сдѣлался гусаромъ недуманно-негаданно, противъ всякаго моего желанія и противъ всѣхъ моихъ дворянскихъ вольностей и природныхъ моихъ способностей. Жизнь моя казалась мнѣ погибшею, и я самовольно представлялъ себя себѣ самому не иначе какъ волчкомъ, который посукнула рука какого-то злого чародѣя,—и вотъ я кручусь и верчусь по его капризу: ѣзжу верхомъ въ манежѣ и слушаю Грибоѣдовскія остроты и, какъ Гамлетъ, сношу удары оскорбляющей судьбы купно до сожалѣній Трубицына и извиненій Постельникова, а все-таки не могу вооружиться противъ моря бѣдъ и покончить съ ними разомъ: съ мосту да въ воду... Что вы на меня такъ удивленно смотрите? Ей-Богу, я въ пору моей воинской дѣятельности часто и много помышлялъ о самоубійствѣ, да только все помышлялъ, но, по слабости воли, не рѣшался съ собою покончить. А въ это время меня произвели въ корнеты и вдругъ... въ одинъ прекрасный день, предъ весною тысяча восемьсотъ пятьдесятъ пятаго года, въ скромномъ жилищѣ моемъ раздается бѣшеный звонокъ, затѣмъ шумъ въ передней, бряцанье сабли, восклицанія безумной радости и въ комнату ко мнѣ влетаетъ весь сіяющій Постельниковъ...

ГЛАВА СОРОКЪ ВТОРАЯ.

Увидавъ Постельникова, да еще въ такіе мудреные дни, я даже обомлѣлъ, а онъ ну меня цѣловать, ну меня вертѣть и поздравлять.

«Что такое?» думаю себѣ,—и какъ я ни золъ былъ на Постельникова, а спрашиваю его, съ чѣмъ онъ меня поздравляетъ?

— Дружище мой, Филимоша, говоритъ,—ты свободенъ!

— Что? что, говорю,—такое?

— Мы свободны!

«Э, думаю,—нѣтъ, братъ, не надуешь!»

— Да радуйся же! говоритъ,—скотъ ты этакій: радуйся и поздравляй ее!

— Кого-о?—пытаю съ удивленіемъ.

— Да ее, ее, нашу толстомясую мать Ѳедору Ивановну! Ну, Россію, что ли, Россію! будто ты не понимаешь: она свободна и всѣ должны радоваться.

— Нѣтъ, молъ,—не надуешь, не хочу радоваться.

— Да пойми же, пентюхъ, пойми, — с-в-о-б-о-д-с-н-ъ... Слово-то ты это одно пойми!

— И понимать, говорю,—ничего не хочу.

— Ну, такъ ты, говоритъ,—послѣ этого даже не скотъ, а *рабъ*... понимаешь ли ты, рабъ въ своей душѣ!

«Ладно, думаю,—отваливай, дружокъ, отваливай».

— Да ты, шутъ этакій,—пристаетъ,—пойми только, куда мы теперь пойдемъ, какія мы антраша теперь станемъ выкидывать!

— Ничего, отвѣчаю,—и понимать не хочу.

— Такъ вотъ же тебѣ за то, и будутъ на твою долю одно: «ярмо съ гремушкою да бичъ».

— И чудесно, только оставьте меня въ покоѣ.

Такъ я и сбылъ его съ рукъ; но черезъ мѣсяцъ онъ вдругъ снова предсталъ моему изумленному взору и уже не съ веселою улыбкою, а въ самомъ строгомъ чинѣ и началъ на *вы*.

— Вы, говоритъ,—на меня когда-то роптали и сердились.

— Никогда, отвѣчаю,—я на васъ не роптали.

Думаю, чортъ съ тобой совсѣмъ: еще и за это достанется.

— Нѣтъ, ужъ это, говоритъ,—мнѣ обстоятельно извѣстно; вы даже обо мнѣ никогда ничего не говорите и тогда, когда я къ вамъ, какъ къ товарищу, съ общею радостною вѣстью пріѣхалъ, вы и тутъ меня приняли съ недовѣріемъ; но Богъ съ вами, я вамъ все это прощаю. Мы давно знакомы, но вы, вѣроятно, не знаете моихъ правилъ: мои правила таковы чтобы за всякое зло платить добромъ.

«Да, думаю себѣ,—знаю я: ты до дна маслянъ, только тобой подавишься», и говорю:—Вы очень добры.

— Совсѣмъ нѣтъ; но это, извините меня, самое злое и самое тонкое мщеніе—платить добромъ за оскорбленія. Вотъ въ чемъ вопросъ: хотите ли вы ѣхать за границу?

Я даже привскочилъ.

— Какъ, говорю,—за какую за границу?

— За какую! Ужъ, конечно, за Западную: въ Парижъ, въ Лондонъ,—въ Лондонѣ теперь чудныя дѣла дѣлаются... Что тамъ только печатается!.. Тамъ восходитъ наша звѣзда, хотите почитать?

— Нѣтъ, говорю,—не хочу.

— Но отчего же?

— Да такъ, не хочу, да и только...

— И ѣхать не хотите?

— Нѣтъ, ѣхать хочу, но...

— Что за но...

— Но меня, говорю,—не пустятъ за границу.

— Отчего это не пустятъ? — и Постельниковъ захохоталъ.—Не оттого ли, что ты именинникъ-то четырнадцатаго декабря?.. Э, братъ, это уже все назади осталось; теперь на политику иной взглядъ, и нынче даже не такія вещи ничего не значатъ. Я, я,—понимаешь,—я тебѣ отвѣчаю, что тебя пустятъ. Ты въ отпускъ хочешь или въ отставку?

— Ахъ, зачѣмъ же, отвѣчаю,—въ отпускъ! Нѣтъ, ужъ я если только можно, въ чистую отставку хочу.

— Ступай, и въ отставку подавай по болѣзни рапортъ, и катай за границу.

— Да мнѣ никто и свидѣтельства, говорю,—не дастъ, что я боленъ.

Постельниковъ меня за это даже обругалъ.

— Дуракъ!—говоритъ,—ты извини меня: просто дуракъ! Да ты не хочешь ли, я тебѣ достану свидѣтельство, что ты во второй половинѣ беременности?

— Ну, ужъ это, говорю,—ты вздоръ несешь!

— Держишь пари?

— И пари не хочу.

— Нѣтъ, пари! держи пари.

И самъ руку протягиваетъ.

— Нечего, говорю,—и пари держать, потому что все это вздоръ

— Нѣтъ, ты держи со мною пари.

— Сдѣлай милость, говорю,—отстань, мнѣ это непріятно.

— Такъ что жъ ты споришь? Я ужъ знаю, что говорю. Съ моего брата на перевязочномъ пунктѣ въ Крыму сорокъ рублей взяли, чтобы контузію ему на полную пенсію приписать, когда его и комаръ не кусалъ; но мой братъ дуракъ: ему правую руку отмѣтили, а онъ лѣвую подвязалъ, потомъ и вышелъ изъ этого только одинъ скандалъ, насилу-насилу кое-какъ поправили. А для умнаго человѣка ничего не побоятся сдѣлать. Возьмись за самое легкое, за такъ-называемое «казначейское средство»: притворись сумасшедшимъ, напусти на себя маленькую меланхолію, говори вздоръ: «я, молъ, дитя кормлю; жду писемъ изъ розоваго замка» и тому подобное... Согласенъ?

— Хорошо, отвѣчаю,—согласенъ.

— Ну, вотъ только всего и надо. И сто рублей дать тоже согласенъ?

— Я триста дамъ.

— На что же триста? Ты, милый другъ, этакъ Петербургу цѣны портишь,—за триста тебя здѣсь теперь вѣдь на родной матери перевѣнчаютъ и въ томъ тебѣ документъ дадутъ.

— Да мнѣ ужъ, говорю,—не до расчетовъ: лишь бы вырваться, не съ деньгами жить, а съ добрыми людьми...

Постельниковъ вдругъ порскнулъ и потомъ такъ и покатился со смѣху.

— Прекрасно, говоритъ,—вотъ и это прекрасно! Извини меня, что я смѣюсь, но это для начала очень хорошо: «не съ деньгами жить, а съ добрыми людьми»!.. Это чортъ знаетъ какъ хорошо, ты такъ и комиссіи... какъ они къ тебѣ пріѣдутъ свидѣтельствовать... Это скоро сдѣлается. Я извѣщу, что ты не того...

Постельниковъ помоталъ пальцемъ у своего лба и добавилъ:

— Извѣщу, что у тебя меланхолія и что ты съ оружіемъ въ рукахъ небезопасенъ, а ты: «не съ деньгами, молъ, жить, а съ добрыми людьми», и вообще чѣмъ будешь глупѣе, тѣмъ лучше.

И съ этимъ Постельниковъ, сжавъ мою руку, исчезъ.

ГЛАВА СОРОКЪ ТРЕТЬЯ.

Два-три дня я прожилъ такъ, на власть Божію, но въ большомъ разстройствѣ, и многимъ, кто видѣлъ меня въ

эти дни, казался чрезвычайно страннымъ. Совершеннѣе притворяться меланхоликомъ, какъ выходило у меня безъ всякаго притворства, было невозможно. На третій день ко мнѣ нагрянула комиссія, съ которой я, въ крайнемъ моемъ замѣшательствѣ, рѣшительно не зналъ что говорить.

Разсказывалъ имъ за меня все Постельниковъ, до упада смѣявшійся надъ тѣмъ, какъ онъ будто бы на снхъ дняхъ приходитъ ко мнѣ, а я будто сижу на кровати и говорю, что «я дитя кормлю»; а черезъ недѣлю онъ привезъ мнѣ чистый отпускъ за границу, съ единственнымъ условіемъ взять отъ него какія-то бумаги и доставить ихъ въ Лондонъ для напечатанія въ «Колоколѣ».

— Конечно,—убѣждалъ меня Постельниковъ:—ты не подумай, Филимоша, что я съ тѣмъ только о тебѣ и хлопоталъ, чтобы ты эти бумажонки отвезъ; нѣтъ, на это у насъ теперь сколько угодно есть охотниковъ, но ты знаешь мои правила: я далъ тѣмъ нашимъ, лондонцамъ-то, слово съ каждымъ знакомымъ, кто ѣдетъ за границу, что-нибудь туда посылать, и потому не нарушаю этого порядка и съ тобой; свези и ты имъ кой-что. Да здѣсь, впрочемъ, все и довольно невинное: насчетъ нашего генерала и насчетъ дворни. Въ Берлинѣ ты все это можешь даже смѣло въ почтовый ящикъ бросить,—оттуда ужъ оно дойдетъ.

Признаюсь вамъ, принимая вручаемый мнѣ Постельниковымъ конвертъ, я былъ твердо увѣренъ, что онъ, по своей «неспособности къ своей службѣ», непремѣнно опять хочетъ сыграть на меня. Ошибался я или нѣтъ, но планъ его мнѣ казался ясенъ: только-что я выѣду, меня цапъ-царапъ и схватятъ съ поличнымъ—съ бумагами про какую-то дворню и про генерала.

«Нѣтъ, чортъ возьми, думаю,—довольно: болѣе не поддамся», и сшутилъ съ его письмомъ такую же штуку, какую онъ разсказывалъ про темлякъ, то-есть «хорошо, говорю,—мой другъ; благодарю тебя за довѣріе... Какъ же, отвезу, непремѣнно отвезу и лично Герцену въ руки отдамъ»,—а самъ началъ его на прощанье обнимать и цѣловать лукавыми лобзаніями, да и сунулъ его конвертъ ему же самому въ задній карманъ. Что вы всѣ, господа, опять смотрите на меня такими удивленными глазами? Не кажется ли вамъ, что я неблагодарно поступилъ по отношенію къ господину Постельникову? Можетъ-быть и такъ, можетъ-

быть даже, что онъ отнюдь и не имѣлъ никакого намѣренія устраивать мнѣ на этихъ бумажонкахъ ловушку, но обжогшіеся на молокѣ, дуютъ и на воду; въ этомъ самая дурная сторона предательства: оно родитъ подозрительность въ душахъ самыхъ довѣрчивыхъ.

И вотъ, наконецъ, я опять за границей, и опять на свободѣ, на свободѣ послѣ неустаннаго паденія на меня столькихъ внезапныхъ и несподеванныхъ бѣдъ и напастей! Я самъ не вѣрилъ своей свободѣ. Я не поѣхалъ ни въ Парижъ, ни въ Лондонъ, а остался въ маленькомъ германскомъ городкѣ, гдѣ хотѣлъ спокойно жить, мыслить и продолжать мое неожиданно и такъ оригинально прерванное занятіе науками. Все это мнѣ и удалось: при моей нетребовательности за границею, мнѣ постоянно все удается, и не удалось долго лишь стремленіе усвоить себѣ привычку знать, что свободенъ. Проходили мѣсяцы и годы, а я все, просыпаясь, каждое утро спрашивалъ себя: дѣйствительно ли я проснулся? на самомъ ли дѣлѣ я въ Германіи и имѣю право не только не ѣздить сегодня въ манежѣ, но даже вытолкать отъ себя господина Постельникова, если бъ онъ вздумалъ посѣтить мое убѣжище.

Наконецъ, всеисцѣляющее время уврачевало и этотъ недугъ сомнѣнія, и я совершенно освоился съ моимъ блаженнѣйшимъ состояніемъ въ тишинѣ и стройной послѣдовательности европейской жизни, и даже началъ совсѣмъ позабывать нашу россійскую чехарду.

ГЛАВА СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

Такъ тихо и мирно провелъ я цѣлые годы, то сидя въ моемъ укромномъ уголкѣ, то посѣщая столицы Европы и изучая ихъ историческіе памятники, а въ это время здѣсь, на Руси, все выдвигались вопросы, реформы шли за реформами, люди будто бы покидали свои обычныя кривлянья и шутки, брались за что-то въ серьезъ; я, признаюсь, ничего отъ этого не ждалъ и ни во что не вѣрилъ, и такъ, къ стыду моему, не только не принялъ ни въ чемъ ни малѣйшаго участія, но даже былъ удивленъ, замѣтивъ, что это уже не одни либеральные разговоры, и что въ самомъ дѣлѣ сдѣлано много безповоротнаго, надъ чѣмъ пошутить никакому шутнику неудобно. Въ это время старикъ, дядя мой, умеръ и мои домашніе обстоятельства потребовали моего

возвращенія въ Россію. Я этому даже обрадовался; я почувствовалъ влеченіе, родъ недуга, увидѣть Россію обновленную, мыслящую и серьезно устрояющую самоё себя въ долготу дней. Я приближался къ отечеству съ душевнымъ трепетомъ, какъ къ купинѣ, очищаемой божественнымъ огнемъ, и переѣхалъ границу крестясь и благословляясь... и что бы вы думали: надолго ли во мнѣ хватило этого торжественнаго заряда? Помогли ли мнѣ соотчичи укрѣпить мою вѣру въ то, что время шутовства, всякихъ уродствъ и кривляній здѣсь минуло навсегда, и что подъ вѣяніемъ духа той свободы, о которой у насъ не смѣли и мечтать въ мое время, теперь всѣ образованные русскіе люди взялись за умъ и серьезно тянутъ свою земскую тягу, поощряя робкихъ, защищая слабыхъ, исправляя и воодушевляя помраченныхъ и малодушныхъ, и вообще свивая и скручивая наше растрепанное волокно въ одну крѣпкую бечеву, чтобы сцѣпить ею воедино великую рознь нашу и дать ей окрѣпнуть въ сознаніи силы и права?..

Какъ бы не такъ!

ГЛАВА СОРОКЪ ПЯТАЯ.

Прежде всего мнѣ пришлось, разумѣется, поблагоговѣть предъ Петербургомъ; городъ узнать нельзя: похорошѣлъ, обстроился, провелъ рельсы по улицамъ, а либерализмъ такъ и ходитъ волнами, какъ море; страшно даже какъ бы онъ всего не захлестнулъ, какъ бы имъ люди не захлебнулись! «Государь въ столицѣ, а на дрожкахъ ѣздятъ писаря, въ фуражкахъ ходятъ офицеры»; у дверей ресторановъ столики выставили, кучера на козлахъ трубки курятъ... Ума помраченье, что̀ за вольности! Офицеры не колотятъ приказныхъ ни на улицахъ, ни въ трактирахъ, да и приказныхъ что-то не видно.

Гдѣ бы это они всѣ подѣвались?—спрашиваю одного стараго знакомаго.

— А ихъ,—отвѣчаетъ,—сократили, теперь вѣдь у насъ на все благоразумная экономія. Служба—не богадѣльня.

— Что же, и прекрасно, говорю;—пусть себѣ за другой трудъ берутся.

Посѣтилъ стараго товарища, гусара,—нынче директоромъ департамента служитъ. Живетъ такимъ бариномъ, что даже и завистливый человѣкъ, пожалуй, позавидовалъ бы.

— Вѣрно, говорю, хорошее жалованье получаете?

— Нѣтъ, какое же, отвѣчаетъ, — жалованье! У насъ оклады небольшіе. Все экономію загоняютъ. Квартира, вотъ... да и то не изъ лучшихъ.

Я дальше и разспрашивать не сталъ: вѣрно, думаю, братецъ ты мой, взятки берешь, и, встрѣтясь съ другимъ знакомымъ, выразилъ ему на этотъ счетъ подозрѣніе; но знакомый только яростно расхохотался.

— Этакъ ты, пожалуй, заподозришь, говоритъ,—что и я взятки беру?

— А ты сколько, спрашиваю,—получаешь жалованья?

— Да у насъ оклады, отвѣчаетъ, — небольшіе; я всего около двухъ тысячъ имѣю жалованья.

— А живешь, молъ,—чудесно и лошадей держишь?

— Да вѣдь, другъ мой, на то, разсказываетъ, — у насъ есть суммы: къ двумъ тысячамъ жалованья я имѣю три добавочныхъ, да «къ нимъ» тысячу двѣсти, да двѣ тысячи прибавочныхъ, да «къ нимъ» тысяча четыреста, да награды, да на экипажъ.

— И онъ, стало-быть, говорю,—точно также?

— А конечно; онъ еще болѣе: ему, кромѣ добавочныхъ и прибавочныхъ, даютъ и на дачу, и на поѣздку за границу, и на воспитаніе дѣтей; да въ прошедшемъ году онъ дочь выдалъ замужъ, — выдали на дочь, и на похороны отца, и онъ и его братъ — оба выпросили: зачѣмъ же ему брать взятки? Да ему ихъ и не дадутъ.

— Отчего же, любопытствую, — не дадутъ? Онъ мѣсто вліятельное занимаетъ.

— Такъ что же такое, что мѣсто занимаетъ; по онъ вѣдь службою не занимается.

— Вотъ тебѣ и разъ! Это же почему не занимается?

— Да некогда, милый другъ; у насъ нынче *своею* службой почти никто не занимается; мы всѣ нынче завалены сторонними занятіями; каждый сидитъ въ двадцати комитетахъ по разнымъ вопросамъ, а тутъ благотворительствовать... Мы вѣдь нынче всѣ благотворимъ... да: благотворимъ и сами, и жены наши всѣ этимъ заняты, и ни намъ некогда служить, ни женамъ нашимъ некогда хозяйничать... Просто бѣда отъ благотворенія! А кто въ военныхъ чинахъ, такъ еще стараются быть на разводахъ, на парадахъ, на церемоніяхъ... вѣчный кипятокъ.

— Это, пытаю, — зачѣмъ же на церемоніи-то ѣздить? Развѣ этого требуютъ?

— Нѣтъ, не требуютъ, но вѣдь хочется же на виду быть... Это доходитъ нынче даже до цинизма, да и нельзя иначе... иначе ты закиснешь; а между тѣмъ за всѣмъ за этимъ *своею* службою заниматься некогда. Вотъ видишь, у меня шестнадцать разныхъ книгъ; все это казначейскія книги по разнымъ ученымъ и благотворительнымъ обществамъ... Выбираютъ въ казначеи, и иду... и служу... Все дѣло-то на грошъ, а его нужно вписать, записать, перечесть, выписать въ расходы, и все самъ веду.

— А ты зачѣмъ, говорю, — на это дѣло какого-нибудь писарька не принаймешь?

— Нельзя, голубчикъ, этого нельзя... у насъ по всѣмъ этимъ дѣламъ начальствуютъ барыни, — народъ, за самымъ небольшимъ исключеніемъ, самый пустой и безтолковый, но требовательный, а отъ нихъ, братъ, подчасъ много зависитъ при случаѣ... Вѣдь изъ того мы всѣ этихъ обществъ и держимся. У насъ нынче всѣ по обществамъ: даже и попы, и архіереи есть... Нынче это прежнія протекціи очень съ успѣхомъ замѣняетъ, а инымъ даже не малыя и прямыя выгоды приноситъ.

— Какія же прямыя-то выгоды тутъ возможны?

— Возможны, другъ мой, возможны: знаешь пословицу— «и попъ отъ алтаря питается», ну, и изъ благотворителей тоже есть такіе: вонъ недавно одна этакая на женскую гимназію собирала, да весь сборъ ошибкою въ карманѣ увезла.

— Зачѣмъ же вы не смотрите за этимъ?

— Смотримъ, да какъ ты усмотришь, — отъ школъ ее отогнали, она кинулась на колокола собирать, и колокола вышли тоже не звонки. Слѣдимъ, любезный другъ, зорко слѣдимъ, но дѣятельность-то стала ужъ очень обширна, — не услѣдишь.

— А на службѣ писарьки работаютъ?

— Ну, нѣтъ, и тамъ есть «этакія крысы» безкарьерныя... опѣ незамѣтны, но есть. А ты вотъ что, если хочешь быть по-старому, по-гусарски, пріятелемъ, — запиши, сдѣлай милость, что-нибудь.

— На что это записать?

— А вотъ на что хочешь; въ этой книгѣ на «Общество

снабженія книгами безграмотнаго народа», въ этой — на «Комитетъ для возбужденія вопросовъ», въ этой — на «Комитетъ по устройству комитетовъ», здѣсь — «Комитетъ для обсужденія безполезности нѣкоторыхъ обществъ», а вотъ въ этой — на «Подачу религіознаго утѣшенія недостаточнымъ и бѣдствующимъ»... вообще все добрыя дѣла; запиши на что хочешь, хоть пять, десять рублей.

«Экъ деньги-то, подумалъ я про себя, какъ у васъ нынѣ при экономіи дешевы», а, однако, записалъ десять рублей на «Комитетъ для обсужденія безполезности нѣкоторыхъ обществъ». Что же, и въ самомъ дѣлѣ это учрежденіе нужное.

— Благодарю,—говоритъ, вставая, мой пріятель: — мнѣ пора въ комитетъ, а если хочешь повидаться, въ четвергъ, въ два часа тридцать пять минутъ, я свободенъ, но и то, впрочемъ, въ это время мы должны поговорить, о чемъ мы будемъ разговаривать въ засѣданіи, а въ три четверти третьяго у меня собирается уже и самое засѣданіе.

«Ну, думаю себѣ, этакой кипучей дѣятельности нигдѣ, ни въ какой другой странѣ на обоихъ полушаріяхъ нѣтъ. Въ цѣлую недѣлю человѣкъ одинъ только разъ имѣетъ десять минутъ свободнаго времени, да выходитъ, что и тѣхъ нѣтъ!.. Ужъ этого пріятеля, Богъ съ нимъ, лучше не безпокоить».

— А когда же ты,—спрашиваю его совсѣмъ на порогѣ:— когда же ты что-нибудь читаешь?

— Когда намъ читать! мы ничего, отвѣчаетъ,— не читаемъ, да и зачѣмъ?

— Ну, чтобы хоть немножко освѣжить себя послѣ работы.

— Какое тамъ освѣженіе: въ литературѣ идетъ только одно бездарное науськиванье на нѣмцевъ, да на поляковъ. У насъ совсѣмъ теперь перевелись хорошіе писатели.

— Прощай же, говорю, — голубчикъ, и съ тѣмъ ушелъ.

Экономія и недосуги этихъ господъ, признаюсь, меня жестоконько покоробили; но, думаю, можетъ-быть, это только въ чиновничествѣ загостилось старое кривляньe на новый ладъ. Дай-ка заверну въ другіе углы; поглазѣю на литературу: за что такъ на нее жалуются?

ГЛАВА СОРОКЪ ШЕСТАЯ.

Пока недѣлю какую придется еще пробыть въ Петербургѣ — буду читать. Въ самомъ дѣлѣ, за границей всего

одну или двѣ газетки видѣлъ, а тутъ ихъ вонъ сколько!.. Вѣдь что же-нибудь въ нихъ написано. Накупилъ... Ухъ, Боже мой! дѣйствительно, вездѣ понаписано! Одинъ день почиталъ, другой почиталъ, нѣтъ,—вижу страшно; за человѣческій смыслъ свой надо поопасаться. Другое бы дѣло, можетъ-быть, интересно съ кѣмъ-нибудь изъ пишущихъ лично познакомиться. Обращаюсь съ такою просьбою къ одному товарищу: «познакомьте, говорю, меня съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ». Но тотъ при первыхъ моихъ словахъ кислую гримасу состроилъ.

— Не стоитъ, говоритъ, — Боже васъ сохрани... не совѣтую... Особенно, вы человѣкъ не здѣшній, такъ это даже и не безопасно.

— Какая, возражаю,—возможна опасность?

— Да денегъ попросятъ, — имъ вѣдь ни добавочныхъ, ни прибавочныхъ не даютъ,—они и кучатся.

— Ну?

— Ну, а далъ—и пропало, потому это «абсолютной честности» не мѣшаетъ; а не дашь — въ какой-нибудь газеткѣ отхлещутъ. Это тоже «абсолютной честности» не мѣшаетъ. Нѣтъ, лучше совѣтую беречься.

— Было бы, говорю,—еще за что и отхлестать?

— Ну, у насъ на этотъ счетъ просто: вы вотъ сегодня при мнѣ нанимали себѣ въ деревню лакея, и онъ вамъ, по вашему выраженію, «не понравился», а завтра можно напечатать, что вы смотрите на наемъ себѣ лакея съ другой точки зрѣнія, и добиваетесь, чтобъ онъ вамъ «нравился». Нѣтъ, оставьте ихъ лучше въ покоѣ; «съ ними» у насъ порядочные люди нынче не знакомятся.

Я задумался и говорю, что хоть только для курьеза желалъ бы кого-нибудь изъ нихъ видѣть, чтобы понять, что въ нихъ за закалъ.

— Ахъ, оставьте, пожалуйста; да они всѣ давно сами другъ про друга все высказали; больше знать про нихъ не интересно.

— Однако, живутъ они: не топятся и не стрѣляются.

— Съ чего имъ топиться! Бранятъ ихъ, ругаютъ, да что такое брань? что это за тяжкая напасть? Про иного дѣло скажутъ, а онъ самъ на десятерыхъ навретъ еще худшаго,— вотъ и затушевался.

— Ну, напраслина-то вѣдь можетъ быть и опровергнута.

— Какъ разъ! Одинъ-то разъ, конечно, можно, пожалуй, и опровергнуть, а если на васъ, по всѣмъ правиламъ осады, разомъ цѣлые батальоны, цѣлые полки на васъ двинутъ, ящикъ Пандоры со всякими скверностями на васъ опрокинутъ, — такъ отъ всѣхъ ужъ и не отпрянься. Макіавелли не даромъ говорилъ: «лги, лги и лги,— что-нибудь прилипнетъ и останется».

— Но зато, говорю, — въ такихъ занятіяхъ самъ портишься.

— Небольшая въ томъ и потеря; уголь сажею не можетъ замараться.

— Уваженіе всѣхъ честныхъ людей этимъ теряется.

— Очень оно имъ нужно!

— Да и самъ теряешь возможность къ усовершенствованію себя и воспитанію.

— Да полноте, пожалуйста: кто въ Россіи о такихъ пустякахъ заботится. У насъ не тѣмъ концомъ носъ пришить, чтобы думать о самосовершенствованіи или о судѣ потомства.

И точно, сколько я потомъ ни приглядывался, дѣйствительно носъ у насъ не тѣмъ концомъ пришить и не туда его тянетъ.

ГЛАВА СОРОКЪ СЕДЬМАЯ.

Ходилъ въ театръ: давали пьесу, въ которой показано народное недовѣріе къ тому, что новая правда воцаряется. Одно дѣйствующее лицо говоритъ, что пока въ лежащихъ надъ Невою каменныхъ «свинтусахъ» (сфинксахъ) живое сердце не встрепенется, до тѣхъ поръ все будетъ только для одного вида. Автора жесточайше изругали за эту пьесу. Спрашивалъ свѣдущихъ людей: за что же онъ изруганъ? За то, чтобы правды не говорилъ, отвѣчаютъ... Какая дивная литература съ ложью въ идеалѣ!

Познакомился, наконецъ, случайно въ клубѣ художниковъ съ однимъ поэтомъ и, возмущенный тѣмъ, что слышалъ, поговорилъ съ нимъ о правдѣ и честности. Поэтъ того же мнѣнія, что правда не годится, и даже разъяснялъ мнѣ, почему правды въ литературѣ говорить не слѣдуетъ; это будто бы потому, что «правда есть мечъ обоюду-острый» и ею подчасъ можетъ пользоваться и правительство; честность, говоритъ, можно признавать только одну «абсолютную», ко-

торую можетъ имѣть и воръ, и фальшивый монетчикъ. Дальше я не хотѣлъ и рѣчи вести объ этомъ: взаправду «за человѣка страшно!» Спрашиваю только ужъ о самыхъ практическихъ вещахъ: вотъ, говорю, къ удивленію моему, я вижу у васъ подъ однимъ изданіемъ подписывается редакторъ Калатузовъ... скажите мнѣ, пожалуйста... меня это очень интересуетъ... я зналъ одного Калатузова въ гимназіи.

— Этотъ здѣшній, очень онъ плохъ,—перебиваетъ меня поэтъ.

— Редакторъ-то?

— Да, ахъ, какъ безнадежно плохъ:—какъ котелка.

— Скажите, Бога ради, и тотъ, говорю, былъ небоекъ.

— Ну, все-таки это вѣрно не тотъ. Этотъ, напримѣръ, какъ забралъ себѣ въ голову, что въ Англіи была королева Елисавета, а нынче королева Викторія, такъ и твердитъ, что «въ Англіи женщинамъ лучше, потому что тамъ королевы царствуютъ». Сотрудники хотѣли его въ этомъ разувѣрить,—не дается: «вы, говоритъ, меня подводите на смѣхъ». А «абсолютная» честность есть.

— Какъ же, говорю,—его редакторомъ-то сдѣлали?

— А что же такое? Для утвержденія въ редакторствѣ у насъ вѣдь пока еще въ губернскомъ правленіи не свидѣтельствуютъ. Да и что такое редакторъ? Редакторы есть всякіе. Беремъ, батюшка, въ этомъ примѣры съ нашихъ заатлантическихъ братій. А впрочемъ, и прекрасно: весь вопросъ въ абсолютной честности: она литературу убиваетъ, но зато злобу-съ, злобу и затменіе въ умахъ раститъ и множитъ.

— Есть же, однако, полагаю, между ними люди, для которыхъ дорога не одна абсолютная честность?

— Какъ же-съ, непремѣнно есть, и вотъ недалеко ходить. Вонъ, видите, за тѣмъ столомъ сидитъ пентюхъ-то,— это извѣстный православистъ, онъ меня на-дняхъ какъ-то тутъ встрѣчаетъ и говоритъ:—«Что жъ вы, батюшка, намъ то ничего не даете?»—Удивляюсь, отвѣчаю,—что вы меня объ этомъ и спрашиваете..

— А что такое?

— Да вѣдь вы меня, говорю, — въ своемъ изданіи ругаете.—Удивляется: «когда»?—Да постоянно, молъ.—«Ну, извините, пожалуйста». — Да вы что жъ, этого не читали, что ли?—«Ну, вотъ, стану, говоритъ, я этимъ навозомъ за-

ниматься... Я все съ бумагами... сильно-было поразстроился и теперь весь биржей поглощенъ... Богъ съ ними!»

— Это вы изволите говорить: «Богъ съ ними»?

— Нѣтъ, это не я, а онъ: я Бога не безпокою. Я хотѣлъ открыть изданіе въ среднемъ духѣ, но никакого содѣйствія нѣтъ.

— Отчего же?

— Да я по глупости шесть тысячъ попросилъ, и отказали, говорятъ: «Денегъ нѣтъ»... Послѣ узналъ, что теперь, чтобы получить что-нибудь, надо милліонъ просить: тогда дадутъ. Думаю опять скоро просить.

— Милліонъ?

— Нѣтъ, милліонъ восемьсотъ пятьдесятъ семь тысячъ, такъ смѣта выходитъ.

— На журналъ или на газету?

— Нѣтъ, на особое предпріятіе...

Поэтъ всталъ, зѣвнулъ и, протягивая мнѣ руку, добавилъ:

— На одно предпріятіе, обѣщающее впереди милліардъ въ туманѣ.

— И что жъ,—спрашиваю, удерживая его за руку, — имѣете надежду, что дадутъ вамъ эти деньги?

— Да, непремѣнно, говоритъ, — дадутъ; у насъ все это хорошо обставлено, въ національномъ духѣ: чухонскій графъ изъ Финляндіи, два остзейскіе барона и три жида во главѣ предпріятія, да полторы дюжины полячишекъ для сплетенъ. Непремѣнно дадутъ.

Я заплатилъ за столомъ деньги за себя и за поэта, и ушелъ. Это кстати былъ послѣдній день моего пребыванія въ Петербургѣ.

ГЛАВА СОРОКЪ ВОСЬМАЯ.

Москву я проѣхалъ на-скоро: пробылъ только всего одинъ день и посѣтилъ двухъ знакомыхъ... Люди уже солидные,— у обоихъ дѣти въ университетѣ.

Здѣсь Петербургъ не чествуютъ; тамъ, говорятъ, всѣ искривлялись: «кто съ кѣмъ согласенъ и кто о чемъ споритъ,—и того не разберешь. Они скоро всѣ провалятся въ свою финскую яму».

Давно, я помню, въ Москвѣ все ждутъ этого петербургскаго провала и все еще не теряютъ надежды, что эта благая радость ихъ совершится.

— А васъ, любопытствую, — Богъ милуетъ, не боитесь провалиться?

— Ну, мы!.. Петербургъ, братъ, говорятъ, — строенъ милліонами, а Москва—вѣками. Подъ нами земля прочная. Тамъ, въ Петербургѣ-то, у васъ вонъ ужъ, говорятъ, отцовъ рѣжутъ, да на матеряхъ женятся, а насъ этимъ не увлечешь: тутъ у насъ и храмы, и мощи — это наша святыня, да и въ учености наша молодежь своихъ свѣтильниковъ имѣетъ... преданія... Кудрявцева и Грановскаго чтитъ. Разумѣется, Кудрявцевъ и Грановскій ужъ того... немножко для нашего времени не годятся... а все жъ если бы нашъ университетъ еще того... немножко бы ему хорошей чемерицы въ носъ, и студенты чтобъ отъ профессоровъ не зависѣли, и университетъ бы нашъ даже еще коекуда годился... а то ни одного уже профессора хорошаго не стало.

— Какъ ни одного?

— Да рѣшительно ни одного: въ петербургскихъ газетахъ ихъ славно за это отжариваютъ.

Вотъ тебѣ и «наши преданія» и «наша святыня»!

Экой вздоръ какой! Экая городьба!

Поѣлъ у Гурина пресловутой утки съ груздями, заболѣлъ и ѣду въ деревню; свой губернскій городъ, въ которомъ меня такъ памятно сѣкли, проѣзжаю мимо; не останавливаюсь и въ уѣздномъ и являюсь къ себѣ въ Одолѣнское — Ватажкова тожъ.

И вотъ они опять—знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безпечна и пуста,
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата мелкаго и мелкаго тиранства!...

Что-то здѣсь новаго, на этихъ сонныхъ нивахъ, на этой черноземной пажити?

ГЛАВА СОРОКЪ ДЕВЯТАЯ.

Просторъ и лѣнь, лѣнь и просторъ! Они опять предо мною во всей своей красѣ; но кровли крышъ покрыты лучше и мужики въ сапогахъ. Это большая новость, въ которой я, впрочемъ, никогда не отчаивался, вѣруя, что и мужикъ знаетъ, что подъ крѣпкою крышей безопаснѣй жить и въ крѣпкихъ сапогахъ ходить удобнѣе, чѣмъ въ дырявыхъ лаптяхъ.

Спросилъ въ бесѣдѣ своего приказчика:

— Поправляются ли мужики?

— Какъ же, говоритъ,—теперь они живутъ гораздо прежняго превосходнѣйше.

Хотѣлъ даже перекреститься на образъ, но, поопасавшись, не придерживается ли мой приказчикъ нигилистическаго образа мыслей, воздержался, чтобы сразу себя предъ нимъ не скомпрометировать, и только вздохнулъ: «буди, Господи, благословенъ за сіе!»

Но какъ же остальное? Какъ она, наша интеллигенція?

— Много ли, спрашиваю, — здѣсь сосѣдей-помѣщиковъ теперь живетъ и какъ они хозяйничаютъ?

— Нѣтъ, докладываетъ,—какіе же здѣсь господа? Господъ здѣсь нѣтъ; господа всѣ уѣхали по земскимъ учрежденіямъ, мѣстовъ себѣ стараются въ губерніи.

— Неужто же всѣ по учрежденіямъ? Этого быть не можетъ!

— Да живутъ-съ, говоритъ, — у насъ одни господа Локотковы, мелкопомѣстные.

— Ну, такъ какъ же, молъ,—ты мнѣ говоришь, что никого нѣтъ? Я даже знаю этого Локоткова. (Это, если вы помните, тотъ самый мой старый товарищъ, что въ гимназіи француза дразнилъ и въ печки сало кидалъ). Ты, приказываю, вели-ка мнѣ завтра дрожки заложить: я къ нему съѣзжу.

— Это, отвѣчаетъ,—какъ вамъ будетъ угодно; но только они къ себѣ никакого благороднаго званія не принимаютъ, и у насъ ихъ, господина Локоткова, всѣ почитаютъ ни за что.

— Это, молъ,—что за глупость?

— Точно такъ-съ, говоритъ,—какъ они сами своего званія рѣшившись и ходятъ въ зипунѣ, и званіе свое порочатъ и съ родительницей своей Аграфеной Ивановной поступаютъ очень неблагородно.

Заинтересовался я знать о Локотковѣ.

— Разскажи, говорю, — мнѣ, сдѣлай милость, толкомъ: какъ же это онъ такъ живетъ?

— Совсѣмъ, отвѣчаетъ, — въ родѣ мужика живутъ; въ одной избѣ съ работниками.

— И въ полѣ работаетъ?

— Нѣтъ-съ, въ полѣ они не работаютъ, а все подъ сарасмъ книжки сочиняютъ.

— О чемъ же, молъ,—тѣ книжки, не знаешь ли?

— Давали-съ они намъ, да не интересно: все по крестьянскому сословію, про мужиковъ... Ничего не вѣрно: крестьяне смѣются.

— Ну, а съ матерью-то у нихъ что же: нелады, что ли?

— Постоянные нелады: еще шесть дней въ недѣлю ничего, и туда и сюда, только промежъ собою ничего не говорятъ, да отворачиваются; а ужъ въ воскресенье непремѣнно и карамболь.

— Да почему же въ воскресенье-то карамболь?

— Потому, какъ у нихъ промежъ собой все несогласіе выходитъ въ пирогахъ.

— Ничего, говорю, — братецъ мой, не понимаю: какъ такъ въ пирогахъ у нихъ несогласіе?

— Да баринъ Локотковъ, говоритъ, — велятъ матушкѣ, чтобъ и имъ, и людямъ одинаковые пироги печь, а госпожа Аграфена Ивановна говорятъ: «я этого понять не могу», и заставляютъ стряпуху, чтобъ людскіе пироги были хуже.

— Ну?

— Ну-съ, вотъ изъ-за этого изъ-за самаго они завсегда и ссорятся: Аграфена Ивановна говорятъ, что пусть пироги хоть изъ одного тѣста, да съ отличкою: господскіе чтобъ съ гладкою коркой, а работничьи на щипокъ защипнуть; а баринъ сердятся и сами придутъ и перещипываютъ у загнетки. Они перещипываютъ, а Аграфена Ивановна послѣ приказываютъ стряпухѣ: «станешь сажать, говорятъ, — въ печку, такъ людскіе шесть пироговъ на полъ урони, чтобъ они въ сору обвалялись»; а баринъ за это взыскъ... Сейчасъ тутъ у припечка и ссора... Они и толкнутъ старуху.

— Это мать-то?

— Точно такъ-съ; ну, а народъ се, Аграфену Ивановну, жалѣетъ, какъ они при прежнемъ крѣпостномъ званіи были для своихъ людей барыня добрая. Ввечеру баринъ соберутъ къ избѣ мужиковъ и заставляютъ судить себя съ барыней; барыня заплачутъ: «Ребятушки, изволятъ говорить, я себя не жалѣвши его воспитывала, чтобъ онъ въ полковые пошелъ, да генераломъ былъ». А баринъ говорятъ: «А я, ребята, говорятъ, этихъ глупостей не хочу; я хочу мужикомъ быть». Ну, мужики, извѣстно, всѣ сейчасъ на барынину сторону. «Съ чего, баютъ, съ какого мѣста ты такого за-

хотѣлъ? Нѣшъ тебѣ мужикомъ-то лучше быть?» — Баринъ крикнутъ: «Лучше, честнѣе, говорятъ, ребята, быть мужикомъ». Мужики плюнутъ и разойдутся. «Врешь, бають, въ генералахъ честнѣй быть,—мы и сами, говорятъ, хоть сейчасъ всѣ согласны въ генералы идти». Только всего и суда у нихъ выходитъ; а стряпуха, просто ни одна стряпуха у нихъ больше недѣли изъ-за этого не живетъ, потому что никакъ угодить нельзя. Теперь съ полгода баринъ книги сочинять оставили и сами стали пироги печь, только ѣсть ихъ никакъ нельзя... невкусно... Баринъ и сами даже это чувствуютъ, что не умѣютъ, и говорятъ: «Вотъ, говорятъ, ребята, какое мнѣ классическое воспитаніе дали, что даже противъ матери я не могу потрафить». Дьячокъ Сергѣй на нихъ даже по этому случаю волостному правленію доносъ подавалъ.

— Въ чемъ же доносъ?

— Да насчетъ ихъ странности. Писалъ, что господинъ Локотковъ самъ, говоритъ, ночью къ Каракозову по телеграфу леталъ.

— Ну?

— Мужики было убить его за это хотѣли, а начальство этимъ пренебрегло; даже дьячка же Сергѣя самого за это и послали въ монастырь дрова пилить, да и то сказали, что это еще ему милость за то, что онъ глупъ и не зналъ, что дѣластъ. Теперь вѣдь, сударь, у насъ не то, какъ прежде: ничего не разберешь, добавилъ, махнувъ съ неудовольствіемъ рукою, приказчикъ.

— Да дьячокъ-то вашъ, спрашиваю,—откуда же взялъ, что по телеграфу летать можно?

— Это,—отвѣчаетъ мой приказчикъ,—у нихъ, у духовенства, нынче больше все происходитъ съ отчаянности, такъ какъ на нихъ теперь законъ вышелъ, чтобъ ихъ сокращать; гдѣ два было, говорятъ, одинъ останется...

— Ну, такъ что же, молъ, изъ этого?

— Такъ вотъ они, выходитъ, теперь другъ передъ дружкой и хотятъ все себя одинъ противъ другого показать.

«Фу, думаю, какой вздоръ мнѣ этотъ человѣкъ разсказываетъ!» Махнулъ рукой и отпустилъ его съ Богомъ.

Однако, не утерпѣлъ, переспросилъ еще кое-кого изъ людей насчетъ всего этого и оказалось, что приказчикъ мой не лжетъ.

«Ну, думаю, чѣмъ узнавать черезъ плебсъ, да черезъ десятыя руки, пущусь-ка лучше я самъ въ самое море, окунусь въ самую интеллигенцію».

Начинаю съ того, что̀ еще уцѣлѣло въ селахъ и что̀ здѣсь репрезентуетъ мѣстную образованность.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ.

Отправился съ визитомъ къ своему попу. Добрѣйшій Михаилъ Сидоровичъ, или отецъ Михаилъ, — скромнѣйшій человѣкъ и запивушка, котораго дядя мой, князь Одолѣнскій, скончавшійся въ схимѣ, заставлялъ когда-то хоронить его борзыхъ собакъ и поклоняться золотому тельцу, — уже не живетъ. Вмѣсто него священствуетъ сынъ его, отецъ Иванъ. Я зналъ его еще семинаристомъ, когда онъ, бывало, приходилъ во флигель къ покойной матушкѣ Христа славить, а теперь онъ ужъ лѣтъ десять на мѣстѣ и бородой по самые глаза заросъ,—настоящій Атта-Троль.

Засталъ его дома за писаніемъ. Увидавъ меня, онъ скорѣе спряталъ въ столъ тетрадку. Поздоровались. Спрашиваю его: «какъ, батюшка, поживаете?»

— Что, сударь, Орестъ Марковичъ! жизнь наша противъ прежняго стала, говоритъ, гораздо хуже.

«Вотъ-те и разъ, думаю, нашелся человѣкъ, которому даже хуже кажется».

— Чѣмъ же, пытаю,—вамъ теперь, отецъ Иванъ, хуже?

— Да какъ же, сударь, не хуже? въ прежнее время, при помѣщикахъ, сами изволите помнить, бывало и соломкой, и хлѣбцемъ, и всѣмъ дворяне не забывали, и крестьянъ на подмогу въ рабочую пору посылывали; а нынѣ нѣтъ того ничего, и народъ къ намъ совсѣмъ охладѣлъ.

— Народъ-то, говорю,—отчего же охладѣлъ? Это въ вашихъ рукахъ—возобновить его теплоту къ религіи.

— Нѣтъ, ужъ, какое же, сударь, возобновленіе! Прежде онъ въ крѣпостномъ званіи страдалъ и былъ постоянно въ нуждѣ и въ горести, и прибѣгалъ въ несчастіи своемъ къ Господу; а теперь, изволите видѣть... нынче мужичокъ идетъ въ церковь только когда захочетъ...

«Ну, думаю, лучше это мимо».

— Между собою, любопытствую,—какъ вы теперь, батюшка, живете? — потому что я зналъ, что всегда бывало

здѣсь, какъ и вездѣ: гдѣ два причта, тамъ и страшная, безкровная война.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ.

Только-что я коснулся въ разговорѣ съ отцомъ Иваномъ деликатной исторіи войны на поповкахъ, мой собесѣдникъ такъ и замахалъ руками.

— Ужасно, сударь, Орестъ Марковичъ, ужасно, говоритъ, — мы, духовные, къ этому смятенію подвержены, о мирѣ всего міра Господа умоляемъ, а самимъ намъ въ этомъ недугѣ вражды исцѣленія нѣтъ.

Добродушный священникъ съ сокрушеніемъ осѣнилъ себя крестомъ и, вздохнувъ, добавилъ: «думаю, говоритъ, что это не иначе какъ оттого, что гдѣ преизбыточествуетъ благодать, тамъ преобладаетъ и грѣхъ».

— А вѣдь и ссориться-то, говорю, — кажется, не за что бы?

— Да, совершенно, сударь, часто не за что.

— А все-таки ссоритесь?

— Да вѣдь какъ же быть: ссоримся-съ и даже люте отъ сего страждемъ и оскудѣваемъ.

Я посовѣтовалъ, что надо бы, молъ, стараться ужъ какъ-нибудь ладить.

— Знаете, это такъ, говорю, — надо дѣлать: бери всякъ въ руки метлу да мети *свою улицу* — весь городъ и очистится. Блюди каждый самъ себя, гони отъ себя смуту, вотъ она и повсюду исчезнетъ.

— Нельзя-съ,—улыбается отецъ Иванъ.—другіе товарищи не согласятся.

— Да что вамъ до товарищей?

— Нѣтъ-съ; да теперь и время не такое-съ. Это надо было какъ-нибудь прежде дѣлать, до сокращенія, а теперь ужъ хоть и грѣхъ воровать, но нельзя миновать.

Чтобы отойти отъ этого вопроса, я только и нашелся, что, молъ, хоть промежду себя-то съ отцомъ Маркеломъ старайтесь ладить—не давайте дурного примѣра и соблазна темнымъ людямъ!

— Да ничего,—отвѣчаетъ отецъ Иванъ:—мы между собой стараемся, чтобы ладно... только вотъ отецъ Маркелъ у насъ... коллега очень щекотисты...

— Что такое?

— Къ крминаціямъ они имѣютъ ужасное пристрастіе: все кляузничаютъ ужасно. Впали въ нѣкую дружбу съ нашимъ дьякономъ Викторычемъ, а тотъ давно прокриминаціями обязанъ, и намѣреваются вдвоемъ, чтобы какъ-нибудь меня со второго штата въ заштатъ свести и вдвоемъ остаться по новому правилу.

— Это, говорю, — жаль: ничто добро, ничто красно, а жити братіе вкупѣ.

— Какое ужъ, отвѣчаетъ, — «вкупѣ» жить, Орестъ Марковичъ, когда и на своемъ-то на особомъ дворѣ и то никакъ не убережешься! Вотъ, какъ изволите видѣть: я все дома сижу. Какъ только пошелъ разговоръ про новыя правила, что будутъ насъ сокращать, я, опасаясь злыхъ клеветъ и навѣтовъ, все сижу дома,—а по осени вдругъ меня и вызываютъ къ преосвященному. Знаете, дѣло это у насъ, по духовному состоянію, столь страшное, что только вспомянешь про всеобжирающую консисторію, такъ просто лытки трясутся. Изволите знать сами, великій государь Петръ Первый въ регламентѣ духовномъ ихъ наименовалъ: «оныя архіерейскія несытыя собаки»... Говорить не остается, сударь!.. Семьдесятъ верстъ проѣхалъ, толконулся къ секретарю, чтобы хоть узнать, зачѣмъ? «Ничего, говорятъ, не вѣдаемъ: тебя не консисторія звала, а самъ владыко по секрету вытребовали». Предстаю со страхомъ самому владыкѣ, — такъ и такъ, говорю, такой-то священникъ. Они какъ только услыхали мою фамилію, такъ и говорятъ: «а, это ты, такой-сякой, плясунъ и игрунъ!»

Я даже, знаете, предъ владыкою онѣмѣлъ и устами слова не могу выговорить.

— Никакъ нѣтъ, — говорю, ваше преосвященство: я жизнь провождаю тихую въ домѣ своемъ.

— Ты еще противурѣчишь! Слѣдуй, говорятъ,— за мной!

Привели меня въ небольшой покойчикъ и изъ полбюра (не могу ужъ вамъ объяснить, что такое называлось полбюро) вынимаетъ бумагу.

— Читай, говорятъ,—гласно.

Я читаю въ предстаніи здѣсь секретаря и соборнаго протодьякона. Пишетъ, — это вижу по почерку, — коллега мой, отецъ Маркелъ, что: «такого-то, говоритъ, числа, осеннею порою, въ позднее сумерочное время, проходя мимо оконъ священника такого-то,—имя мое тутъ названо,—невзначай

заглянулъ я въ узкій створъ между двумя нарочито притворенными ставнями его ярко освѣщеннаго окна и замѣтилъ сего священника безумно скачущимъ и пляшущимъ съ неприличными удареніями пятами ногъ по подряснику».

— Остановись,—говорятъ его преосвященство,—на семъ пунктѣ и объясни, что ты можешь противъ этого въ оправданіе свое отвѣтствовать?

— Что же, говорю, — владыко святый, все сіе истинно.

— Зачѣмъ же это, — изволятъ спрашивать, — ты столь нагло плясалъ, ударяя пятами?

— Съ горя, говорю,—ваше преосвященство.

— Объяснись!—изволили приказать.

— Какъ по недостаточности моего званія, говорю, — владыко святый, жена моя каждый вечеръ, по неимѣнію работницы, отправляется для доенія коровы въ хлѣвъ, гдѣ хранится навозъ, то я, содержа на рукахъ свое малое грудное дитя, плачущее по матери и просящее груди, — какъ груди дать ему не имѣю и чѣмъ его разсѣять не знаю, — то я, не умѣя настоящихъ французскихъ танцевъ, такъ съ симъ младенцемъ плавно по-жидовски прискакую по комнатѣ и пою ему: «тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота», или что другое въ семъ родѣ невиннаго содержанія, дабы оно было утѣшно отъ сего, и въ томъ вся вина моя.

Владыка задумались и говорятъ:

— Хорошо, сіе непредосудительно, въ сихъ цѣляхъ, какъ отецъ, невозбранно танцовать можешь, но читай дальше!

«Другажды», читаю, пишутъ отецъ Маркелъ, «проходя съ дьякономъ случайно вечернею порою мимо дома того же священника отца Іоанна, опять видѣли, какъ онъ со всѣмъ своимъ семействомъ, съ женою, племянникомъ и съ купно пріѣхавшею къ нему на каникулярное время изъ женской гимназіи племянницею, азартно игралъ въ карты, яростно ударяя по столу то кралею, то хлапомъ, и при семъ непозволительно восклицалъ: «никто больше меня, никто!» Прочитавъ сіе, взглянулъ я на преосвященнаго владыку и, не дожидаясь его вопроса, говорю:

— И сіе, ваше преосвященство, правда. Точно, говорю,— однажды, и всего только однажды, игралъ я по случаю племянницына пріѣзда, но было сіе не для ради забавы и празднолюбія, а съ философскою цѣлью, въ видахъ указа-

нія превосходства Адамова пола предъ Евинымъ поломъ, а отнюдь не для праздной забавы и утѣшенія.

— Объяснись,—говорятъ владыко,—и въ этомъ!

— Было, говорю, — сіе такъ, что племянница моя, дочь брата моего, что въ приказные вышелъ и служитъ совѣтникомъ, пріѣхавъ изъ губерніи, начала обременять понятія моей жены, что якобы нашъ мужской полъ долженъ въ скорости обратиться въ ничтожество, а женскій надъ нами будетъ властвовать и господствовать; то я ей на это возразилъ нѣсколько апостольскимъ словомъ, но какъ она на то начала, громко хохоча, козлякать и брыкать, книги мои безъ толку порицая, то я, въ книгахъ новаго сочиненія достаточной практики по бѣдности своей не имѣя, а чувствуя, что стерпѣть сію обиду всему мужскому колѣну не долженъ, то я, не зная, что на всѣ ея слова ей отвѣчать, сказалъ ей: «Буде ты столь превосходно умна, то скажи, говорю, мнѣ такое поученіе, чтобъ я призналъ тебя въ чемъ-нибудь наученною»; но тутъ, владыко, и жена моя, хотя она всегда до сего часа была женщина богобоязненная и ко мнѣ почтительная, но вдругъ тоже къ сей племянницѣ за женскій полъ присоединилась и зачали вдвоемъ столь громко цокотать, какъ двѣ сороки, «что васъ, говорятъ, больше нашего учатъ, а мы васъ все-таки какъ захотимъ, такъ обманываемъ», то я, преосвященный владыко, дабы унять имъ оное, обуявшее ихъ, безсміслiе, потерявъ спокойствіе, воскликнулъ:

— Стой, говорю, — стой, ни одна не смѣй больше ни слова говорить! Этого я не могу! Давайте, говорю, на томъ самомъ спорить, на чемъ всѣ мы поровну учены, и увидимъ, кто изъ насъ совершеннѣе? Есть, говорю, у насъ карты?

«Жена говоритъ: есть.

«— Давай, говорю,—сюда карты.

«Жена подала карты.

«Говорю: сдавай въ дураки!

«Сдали. Я и жену, и племянницу ученую кряду по три раза дурами и оставилъ. Довольно, говорю, съ васъ; но видя, что онѣ и симъ еще мало въ неправотѣ своего спора убѣдились, говорю:

«— Сдавай въ короли!

«Сдали въ короли. Я вышелъ королемъ, сынишку,— виноватъ, ваше преосвященство, сынишку тоже для сего дис-

пута съ собою посадилъ, — его въ принцы вывелъ, а жену въ мужики. Вотъ, говорю, твое мѣсто; а племянницу солдатомъ оставилъ, — это, молъ, тебѣ и есть твоя настоящая должность.»

— Вотъ, говорю,—ваше преосвященство, истинно докладываю я, едино съ сею философскою цѣлью въ карты игралъ и нимало себя и мужской полъ не уронилъ.

Владыко разсмѣялись. «Ступай, говорятъ,—игрунъ и танцунъ, на свое мѣсто», а отцу Маркелу съ дьякономъ носъ и утерли... но я симъ недоволенъ...

— Помилуйте, говорю,—да чего же вамъ еще?

— Какъ чего? Ахъ, нѣтъ, Орестъ Марковичъ, такъ нельзя: вѣдь они вонъ, и дьяконъ, и отецъ Маркелъ, по сіе время ходятъ, и отецъ Маркелъ все вздыхаетъ на небо.

— Такъ что же вамъ до этого?

— Ахъ, какъ вы это располагаете: это они прокриминацію затѣваютъ... Нѣтъ, пока эти новыя права взойдутъ, тутъ еще много грѣха будетъ!

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРАЯ.

Встрѣчаю на другой день въ березовой рощицѣ отца дьякона; сидитъ и колесныя втулки сверлитъ.

— Вы, говорю,—отецъ дьяконъ, какъ поживаете?

— Ничего, говоритъ, — Орестъ Марковичъ, живемъ преестественно въ своемъ видѣ. Я въ настоящее время нынче вѣдь все овцами занимаюсь.

— А, а! скажите, говорю, — пожалуй, торговать пустились?

— Да-съ, овцами, и вотъ тоже колеса дѣлаю и пчелъ завелъ.

— И что же, говорю, — счастливо вамъ ведется?

— Да какъ вамъ доложить: торгую понемножку. Нельзя: время такое пришло, что однимъ нынче духовенству ничѣмъ заниматься нельзя. Насъ вѣдь, дьяконовъ-то, слыхали?.. насъ скоро уничтожатъ. У насъ тутъ по сосѣдству Полпвановскій дьяконъ на шасе постоялый дворъ снялъ, — чудесно ему идетъ, а у меня капиталу нѣтъ: пока кой-чѣмъ берусь, а впереди никто какъ Богъ. Въ прошломъ году до сорока штукъ овецъ было продалъ, да вотъ Богъ этимъ несчастьемъ посѣтилъ...

— Какимъ, говорю,—несчастьемъ?

— Да какъ же-съ? развѣ не изволили слышать? вѣдь мы все просудили съ отцомъ Маркеломъ.

— Да, да, говорю, — слышалъ; разсказывалъ мнѣ отецъ Иванъ.

— Да, мы, говоритъ, — съ нимъ, съ отцомъ Иваномъ, тутъ немного поссорились, и имъ чрезъ насъ вдобавокъ того ничего и не было насчетъ ихъ плясоты, а вѣдь они вонъ, небось, вамъ не разсказали, что̀ съ ними съ самими-то отъ того произошло?

— Нѣтъ, молъ,—не говорилъ.

— Они вѣдь у насъ къ нынѣшнему времени не отъ своего дѣла совсѣмъ разсудокъ потеряли. Какъ съ племянницею они разъ насчетъ бабьяго надъ нами преимущества поспорили, такъ съ тѣхъ поръ все о направленіи умовъ только и помышляютъ. Проповѣди о постѣ, или о молитвѣ говорить они уже не могутъ, а все выйдутъ къ аналою, да экспромту о лягушкѣ: «какъ, говорятъ, нынѣ нѣкіе глаголемые анатомы въ свѣтскихъ книгахъ о душѣ лжесвидѣтельствуютъ по разсѣченію лягушки», или «сколь дерзновенно, говорятъ, нынѣ нѣкіе лжеанатомы по усѣченному и электрическою искрою припаленному кошачьему хвосту полагаютъ о жизни»... а прихожане этимъ смущались, что въ церкви, говоритъ, сказываетъ онъ негожія рѣчи про припаленный кошкинъ хвостъ и лягушку; и дошло это вскорѣ до благочиннаго; и отцу Ивану экспромту теперь говорить запрещено, иначе какъ по тетрадкѣ, съ пропускомъ благочиннаго; а они что ни начнутъ сочинять, — все опять мимовольно или отъ лягушки, или—что̀ уже совсѣмъ не идуще—отъ кошкина хвоста пишутъ, и, главное, все понапрасну, потому что говорить имъ этого ничего никогда не позволятъ. Вы у нихъ изволили быть?

— Былъ.

— И непремѣнно за писаніемъ ихъ застали?

— Кажется, говорю, — онъ точно что-то писалъ и спряталъ.

— Спряталъ!—быстро воскликнулъ дьяконъ: — ну, такъ поздравляю же васъ, сударь... Это онъ опять разчалъ запрещенную проповѣдь.

— Да почему же вы такъ увѣрены, что онъ непремѣнно запрещенную проповѣдь пишетъ?

— Да потому, что и о лягушкѣ, и о кошкиномъ хвостѣ, и

о женскомъ нравилѣ имъ это все запрещено, а они ужъ не свободомысленны, и отъ другого теперь не исходятъ.

— Отецъ Маркелъ же, любопытствую,—свободнѣе?

Дьяконъ крякнулъ и рукой махнулъ.

— Тоже, говоритъ,—сударь, и они сильно попутаны; но только тотъ вѣдь у насъ ко всему этому воительна враги одолѣнія продерзостью возмогаетъ.

— Вотъ какъ!

— Какъ же-съ! Они, отецъ Маркелъ, видя, что отцу Ивану ничего на ихъ доносу не вышло ни за плясаніе, ни за карты, впали въ ужасную гнѣвность, и послѣ, разъ за разомъ, еще сорокъ три бумаги на него написали. «Мнѣ, твердятъ, ужъ теперь все равно; если ему ничего не досталось, такъ и я ничего не боюсь. Я только, говорятъ, дороги не знаю, а то я бы плюнулъ на всѣхъ и самъ къ Гарибальди пошелъ». Мнѣ даже жаль ихъ стало, потому ничего не успѣваетъ, а напрасно молва бываетъ.

«Я говорю: отецъ Маркелъ, бросьте все это: видите, говорю, что ничего уже отъ него при нынѣшнемъ начальствѣ не позаимствуешь. Не слушаетъ. Я матушку ихъ, супругу, Марѳу Тихоновну, началъ просить. Матушка, говорю, вы уговорите своего отца Маркела, чтобъ онъ бросилъ и помирился, потому какъ у насъ по торговой части судбище считается всего хуже, а лучше всего миръ. Матушка сразу со мной согласились, но говорятъ: «Охъ, дьяконъ, молчи: онъ просто въ родѣ какъ бы въ изступленіи ума». Стоимъ, этакъ, съ нею за угломъ, да разговариваемъ, а отецъ Маркелъ и вотъ онъ.

«—Что, говоритъ, — все тутъ небось про меня злословите?»

Матушка говоритъ: «Маркелъ Семенычъ, ты лучше послушай-ка, что дьяконъ-то какъ складно для тебя говоритъ: помирись ты съ отцомъ Иваномъ!» А отецъ Маркелъ какъ заскачетъ на мѣстѣ: «знаю, говоритъ, я васъ, знаю, что вы за люди съ дьякономъ-то». И что же вы, сударь, послѣ сего можете себѣ представить? Вдругъ, сударь мой, вызываетъ меня черезъ три дня попадья, Марѳа Тихоновна, черезъ мою жену на огородъ.

«—Охъ, дьяконъ, говоритъ, — вѣдь намъ съ тобой плохо!

— Что, молъ, чѣмъ плохо?

«— Да, вѣдь, мой отецъ Маркелъ-то на насъ съ тобой третьяго дня рапортъ послалъ».

Такъ, знаете, меня варомъ и обварило...

— Какъ такъ рапортъ? Въ какомъ смыслѣ?

«— А вотъ поди же, говоритъ. — Какъ мы съ тобой онамедни за угломъ стояли, онъ послѣ того цѣлую ночь меня мучилъ: говори, пристаетъ, жена, какъ дьяконъ тебѣ говорилъ: чѣмъ можно попа Ивана изнять?»

— Ничѣмъ, говорю,—его изнять нельзя!

«— А! ничѣмъ! ничѣмъ! говоритъ, — это я знаю: это тебя дьяконъ научилъ. Ты теперь, говоритъ, презрѣвъ законъ и религію, идешь противъ мужа. И такъ меня тутъ такимъ словомъ обидѣлъ, что я тебѣ и сказать не могу».

— Матушка, да это что же, молъ, такое несообразное?

«— Нѣтъ, а ты, говоритъ, еще подожди что̀ будетъ?» И потомъ онъ цѣлый день все со мной воевалъ и послѣ обѣда, и слава Богу, заснулъ, а я, плачучи, вынула изъ сундука кусочекъ холстинки, что съ похоронъ дали, да и стала ему исподнія шить; а онъ вдругъ какъ вскочетъ. «Стой, говоритъ, злодѣйка! что̀ ты это дѣлаешь?»

«— Тебѣ, говорю,—Маркелъ Семенычъ, исподнія шью».

«— Врешь, говоритъ, — ты это не мнѣ шьешь, а ты это дьякону».

Ну, разумѣется, попадья—женщина престарѣлая—заплакала и подумала себѣ такую женскую мысль, что дай, молъ, я ему докажу, что я это *ему* шью, а не дьякону, и взяла красной бумаги и начала на тѣхъ исподнихъ литеры *въди* мѣтить, а онъ, отецъ Маркелъ, подкрался, да за руку ее хапъ.

«— А! говоритъ, — вотъ когда я тебя поймалъ! Что ты тутъ выводишь?

«— Твое имено выставляю, *въди*»,—говоритъ попадья.

«— А что такое, говоритъ,—означаетъ это *въди?*»

Попадья говоритъ, что обозначаетъ его фамилію: «Вѣдепятинъ», а онъ говоритъ: «врешь, эти вѣди значитъ Викторычъ, дьяконъ», и я, говоритъ,—объ этомъ рапортъ донесу. Сѣлъ ночью и написалъ.

Я даже не воздержался при этихъ словахъ дьякона и воскликнулъ: «фу, какая глупость!»

— Нѣтъ-съ, вы еще насчетъ глупости подождите,—останавливаетъ разсказчикъ: — почему же это *въди* означаетъ,

что «Викторычъ», когда имя мое *Еремай*, а фамилія *Колявкинъ?* Вѣдь это съ ихъ стороны ничего болѣе, какъ одна глупая забывчивость, что сколько лѣтъ со мною священнодѣйствуютъ, а не знаютъ какъ ихъ дьякона зовутъ! А между тѣмъ, какъ вы, сударь полагаете? — воскликнулъ дьяконъ, становясь въ наполеоновскую позицію, — что изъ того воспослѣдовало? На третій день благочинный пріѣхалъ, уговаривалъ отца Маркела, — что, молъ, по вашему сану, хоша бы и точно такое дѣло было, такъ его нельзя оглашать, потому что за это вы сана лишитесь. Но отецъ Маркелъ: «пускай, говорятъ, я лучше всего рѣшусь, а этого такъ не пожертвую». Позвали насъ въ консисторію. Отецъ Маркелъ говоритъ: «я ничего не боюсь и поличное съ собою повезу», и повезли то бѣльишко съ собою; но все это дѣло сочтено за глупость, и отецъ Маркелъ хоша отосланъ въ монастырь на дьячевскую обязанность, но очень въ надеждѣ, что хотя они генерала Гарибальди и напрасно дождались, но зато теперь скоро, говоритъ, — графъ Бисмарковъ изъ Петербурга адъютанта пришлетъ и настоящихъ русскихъ всѣхъ выгонитъ въ Ташкентъ барановъ стричь... Ну, пустъ, но, вѣдь, это еще можетъ пока одинъ разговоръ такой... А я страждую, и всего уже больше какъ на тридцать овецъ пострадовалъ. А за что? За сосѣдскую глупость, а межъ тѣмъ, если этакъ долго эти приходы не разверстаются у насъ, все будутъ идти прокриминаціи, и когда меня въ настоящемъ видѣ сократятъ, мнѣ по торговой части тогда ужъ и починать будетъ не съ чѣмъ. Вотъ что, Орестъ Марковичъ, духовное лицо у насъ теперь въ смущеніе приводитъ.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯ.

Такъ, помаленьку устраиваясь и поучаясь, сижу я однажды предъ вечеромъ у себя дома и вижу, что ко мнѣ на дворъ въѣхала пара лошадей въ небольшомъ тарантасикѣ и изъ него выходитъ очень небольшой человѣчекъ, совсѣмъ похожій съ виду на художника: матовый, блѣдный брюнетикъ, съ длинными, черными, прямыми волосами, съ бородкой и съ подвязанными черною косынкой ушами. Походка легкая и осторожная: совсѣмъ петербургская золотуха и мозоли, а глаза сѣрые, большіе, очень добрые и располагающіе.

Подойдя къ открытому окну, у котораго я стоялъ, гость

очень развязно поклонился, и нѣсколько меланхолическимъ голосомъ говоритъ:

— Я не изъ самыхъ пріятныхъ посѣтителей: вашъ становой Васильевъ, честь имѣю рекомендоваться,—и съ этимъ направляется на крыльцо, а я встрѣчаю его на порогѣ.

Долженъ вамъ сказать, что я питаю большое довѣріе къ первымъ впечатлѣніямъ, и этотъ золотушный становой необыкновенно понравился мнѣ, какъ только я на него взглянулъ. Я всегда видалъ становыхъ сытыхъ, румяныхъ, даже красныхъ, мѣшковатыхъ, нескладныхъ и рѣзкихъ, а такихъ, какъ этотъ, мнѣ никогда и въ умъ не приходило себѣ представить.

— Радъ, говорю,—очень съ вами познакомиться,—и повѣрьте, дѣйствительно былъ радъ. Такой мягкій человѣкъ, что хоть его къ больной ранѣ прикладывай, и особенно мнѣ въ немъ понравилось, что хотя онъ съ вида и похожъ на художника, но нѣтъ въ немъ ни этой семинарской застѣнчивости, ни маркерской развязности и вообще ничего лакейскаго, безъ чего художникъ у насъ рѣдко обходится. Это просто входитъ бѣдный джентльменъ,—въ своемъ родѣ олицетвореніе благородной и спокойной гордости и нищеты рыцаря Ламанчскаго.

— Благодарю за доброе слово, — отвѣчаетъ онъ тихо и кротко на мое привѣтствіе и входя добавляетъ:—впрочемъ, я, по счастію, дѣйствительно привезъ вамъ такія вѣсти, что онѣ стоятъ добраго слова,—и съ этимъ даетъ мнѣ бумагу, а самъ прямо отходитъ къ шкапу съ книгами и начинаетъ читать титулы переплетовъ.

Я пробѣжалъ бумагу и вижу, что предводитель дворянства нашей губерніи, въ уваженіе долгаго моего пребыванія за границей и пріобрѣтенныхъ тамъ познаній по части сельскаго благоустройства, проситъ меня принять на себя трудъ приготовить къ предстоящему собранію земства соображенія насчетъ возможно лучшаго устройства врачебной части въ селеніяхъ.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

Какъ я кончилъ читать, становой ко мнѣ оборачивается и говоритъ:

— А что, я вѣдь правъ: вамъ, конечно, будетъ пріятно для бѣднаго человѣчества поработать.

Я отвѣчаю, что онъ-то правъ, и что я, дѣйствительно, съ удовольствіемъ возьмусь за поручаемое мнѣ дѣло и сдѣлаю все, что въ силахъ, но только жалѣю, что очень мало знаю условія теперешняго сельскаго быта въ Россіи, и добавилъ, что большей пользы надо бы ожидать лишь отъ такихъ людей, какъ онъ и другіе, на глазахъ которыхъ начались и совершаются всѣ нынѣшнія реформы.

— И, полноте!—отвѣчаетъ становой:—да у меня-то о такихъ практическихъ дѣлахъ вовсе и соображенія нѣтъ. Я вотъ больше все по этой части,—и онъ кивнулъ рукой на шкапъ съ книгами.

Намъ подали чай, и мы сѣли за столъ.

— Вамъ,—начинаетъ становой:—можно очень позавидовать: вы, кажется, совсѣмъ опредѣлились.

Я посмотрѣлъ на него вопросительно. Онъ понялъ мое недоумѣніе и сейчасъ объяснилъ:

— Я это сужу по вашимъ книгамъ,—у васъ все болѣе книги историческія.

— Это, отвѣчаю,—книги подбора моего покойнаго дяди, а вы меня застали вотъ за *Душою животныхъ* Вундта,—и показываю ему книгу.

— Не читалъ, говоритъ, — да и не желаю. Господинъ Вундтъ очень односторонній мыслитель. Я читалъ *Тѣло и душа* Ульрици. Это гораздо лучше. Признавать душу у всѣхъ тварей это еще не Богъ вѣсть какое свободомысліе, да и вовсе не ново. Преосвященный Иннокентій вѣдь тоже не отвергалъ души животныхъ. Я слышалъ, что онъ объ этомъ даже писалъ бывшему кіевскому ректору Максимовичу, но что намъ еще пока до душъ животныхъ, когда мы своей души не понимаемъ? Согласитесь, это важнѣе.

Я согласился, что стремленіе постичь свою душу очень важно.

— Очень радъ, что вы такъ думаете,—отвѣчалъ становой:—а у насъ этимъ важнѣйшимъ дѣломъ въ жизни преступно пренебрегаютъ. А кричатъ: «нашъ вѣкъ! нашъ вѣкъ!» Скажите же, пожалуйста, въ чемъ превосходство этого вѣка предъ вѣками Платона, Сократа, Сенеки, Плутарха, Канта или Гегеля? Что тогда стремились понять, за то теперь даже взяться не знаютъ. Это ли прогрессъ!.. Нѣтъ-съ: это регрессъ, и это еще Гавріиломъ Романовичемъ Державинымъ замѣчено и сказано въ его одѣ «на Счастіе», что

ужъ человѣчество теряетъ умственный устой: «Повисли въ воздухѣ мартышки и весь свѣтъ сталъ полосатый шутъ». Я понимаю прогрессъ по Спенсеру, то-есть прогрессъ вижу въ наисовершеннѣйшемъ раскрытіи нашихъ способностей; но этотъ «нашъ вѣкъ» какія же раскрылъ способности? Однѣ самыя грубыя. У насъ тутъ докторъ есть въ городѣ, Алексѣй Ивановичъ Отрожденскій, прекрасный человѣкъ, честный и свѣдущій,—вамъ съ нимъ даже не худо будетъ посовѣтоваться насчетъ врачебной части въ селеніяхъ,—но ужасно грубый матеріалистъ. Даже странно: онъ знаетъ, конечно, что въ теченіе семи лѣтъ все матеріальное существо человѣка израсходывается и замѣняется, а не можетъ убѣдить себя въ необходимости признать въ человѣкѣ независимое начало, сохраняющее намъ тождественность нашего сознанія во всю жизнь. Какое отупѣніе смысла! Это даже обидно и мнѣ очень непріятно. Я здоровья, видите, не богатырскаго и впечатлителенъ и отъ всѣхъ этакихъ вещей страдаю, а здѣсь особенно много охотниковъ издѣваться надъ вопросами духовнаго міра. Это, по-моему, не что иное какъ невѣжество, распространяемое просвѣщеніемъ, и я оправдываю Льва Николаича Толстого, что онъ назвалъ печать «орудіемъ невѣжества». По крайней мѣрѣ по отношенію къ знаменитому «нашему вѣку» это очень вѣрно. Преданія и внутренній голосъ души ничего подобнаго не распространяютъ.

«Вотъ, думаю, какая птица ко мнѣ залетѣла!»

— Васъ, говорю,- кажется, занимаютъ философскіе вопросы.

— Да, немножко, сколько необходимо, и сколько могу имъ отдать при моей службѣ; да и согласитесь, какъ ими не интересоваться: здѣсь живемъ минуту, а *тамъ* вѣчность впереди насъ и вѣчность позади насъ, и что такое мы въ этой экономіи? Неужто ничто? Но тогда зачѣмъ же всѣ хлопоты о правахъ, о справедливости? Зачѣмъ даже эти сегодняшнія хлопоты объ устройствѣ врачебной помощи? Тогда все вздоръ, nihil. Не все ли равно, такъ ли пропадутъ эфемериды, или иначе? Минутой раньше или минутой позже — не все ли это равно? Родительское чувство, или гуманность... Да и они ничтожны!.. Если дѣти наши мошки и жизнь ихъ есть жизнь мошекъ, или еще того менѣе, такъ о чемъ хлопотать? Родилось, умерло и пропало; а если всѣ сразу

умрутъ, и еще лучше—и совсѣмъ не о чемъ будетъ хлопотать. А ужъ что касается до иныхъ заботъ,—о правахъ, о справедливости, о возмездіи, объ отмщеніи притѣснителямъ и обо всемъ, о чемъ теперь всѣ говорятъ и пишутъ, такъ это ужъ просто сумасшествіе: стремиться къ идеаламъ для того, что само въ себѣ есть niHil... Я не понимаю такого идеализма при сознаніи своей случайности.

«Позвольте, да что же это за становой!»

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ.

Я крайне заинтересовался моимъ гостемъ и говорю ему, что любопытствую знать, какого мнѣнія держится онъ объ этомъ самъ?

— Я вамъ на это, говоритъ, — могу смѣло отвѣчать: я держусь самаго простого мнѣнія, и какъ мнѣ и очень многимъ кажется, самаго яснаго: въ экономіи природы ничто не исчезаетъ, никакая гадость; за что же должно исчезнуть одно самое лучшее: начало, воодушевлявшее человѣка и двигавшее его разумъ и волю? Этого не можетъ быть! Разумѣется, утверждаютъ, что все это не матерія, а функція; я однако этого мнѣнія не раздѣляю и стою за самостоятельное начало душевныхъ явленій. Конечно, объ этомъ теперь идутъ и почти всегда шли безконечные споры, но меня это не смущаетъ: во-первыхъ, истинные ученые за насъ... Вонъ ужъ и Лудвигъ въ *Lehrbuch der Physiologie* прямо сознаетъ, что въ каждомъ ощущеніи, кромѣ того, что въ немъ можетъ быть объяснено раздраженіемъ нервовъ, есть *нѣчто* особенное, отъ нервъ независимое, а душой-то всѣ эти вопросы постигаются ясно и укладываются въ ней безмятежно. Отрожденскій все упираетъ на то, что даже и самому Строителю міра мѣста будто бы нигдѣ нѣтъ; а я ему возражаю, что мы и о мѣстахъ ничего не знаемъ, и указываю на книжку Фламаріона *Множественность обитаемыхъ міровъ*, но онъ не хочетъ ее читать, а только бранится и говоритъ: «Это спиритскія бредни». Но какъ же спиритскія бредни, когда вѣдь онъ самъ этой книги не читалъ и даже не знаетъ, что Фламаріонъ профессоръ астрономіи? Вотъ такимъ образомъ съ нимъ совсѣмъ спорить и невозможно.

— Вы метафизикъ?

— Нѣтъ, я въ вопросахъ этого рода рѣдко иду путемъ умозаключеній, хотя и люблю искусную и ловкую игру

этимъ орудіемъ, какъ, напримѣръ, у Лаврентія Стерна, котораго у насъ, впрочемъ, невѣжды считаютъ своимъ братомъ скотомъ, между тѣмъ, какъ онъ въ своемъ «Коранѣ» приводитъ очень усердно и тончайшія фибры Левенхука, и песчинку, покрывающую сто двадцать пять орифисовъ, черезъ которыя мы дышимъ, и другое многое множество современныхъ ему открытій въ доказательство, что вещи и явленія, которыхъ мы не можемъ постигать нашимъ разсудкомъ, вовсе не невозможны отъ этого,—но все это въ сторону. Я признаю священныя тайны завѣта и не подвергаю ихъ безплодной критикѣ. Къ чему, когда инструментъ нашъ плохъ и не беретъ этого? Нѣтъ, постиженіе сверхъестественнаго и духовнаго и метафизическимъ методомъ, по-моему, не приноситъ никакого утѣшенія и только сбиваетъ. Развѣ иногда въ шутку съ Отрожденскимъ, когда онъ издѣвается надъ вѣчностью и отвергаетъ все неизслѣдимое на томъ основаніи, что все сущее будто бы уже изслѣдовано въ своихъ явленіяхъ и причинахъ, ну, тогда я, шутя, дозволяю себѣ употребить нѣчто въ родѣ метафизическаго метода такимъ образомъ, что спросишь: Извѣстно ли ученымъ, отчего кошки слѣпыми рождаются? отчего конь коню въ одномъ мѣстѣ другъ друга чешутъ? отчего голубь въ полночь воркуетъ? «Неизвѣстно!..» Но, говоритъ, «это вздоръ!» Какъ вздоръ? Вотъ ужъ сейчасъ отсюда прямо и пойдетъ несостоятельность и посылки на то, что еще «откроютъ». Дай Богъ, конечно, открытій, я ихъ жарко желаю,—не по своей, разумѣется, должности,—но все, что ученые откроютъ, то все въ нашу пользу, а не въ пользу матеріалистовъ. Вонъ матеріалисты нивѣсть какъ радовались работамъ надъ мозгами, а что вышло? Открыто, что мозгъ свиньи и дельфина очень развитъ, а собака вѣдь умнѣе ихъ, хоть мозгъ ея развитъ и хуже. Вотъ вамъ и доказали!

Становой добродушно засмѣялся.

— Вы, любопытствую,—въ духовной академіи воспитывались, или въ университетѣ?

— Нѣтъ, я такъ, кое-въ-какомъ французскомъ пансіонишкѣ учился: въ казенное заведеніе, по тогдашнимъ правиламъ, я не могъ попасть, потому что Васильевъ, какъ я называюсь,—это вѣдь не настоящая, то-есть не родовая моя фамилія. Моя покойница матушка была швейцарка... дѣвица... очень бѣдная... въ экономкахъ служила у одного

русскаго помѣщика. Отца своего я не зналъ... я... понимаете, только сынъ моей матери, и Васильевымъ называюсь по крестному отцу. Самъ я, однако, русскій, а въ чины произошелъ такимъ образомъ, что въ харьковскомъ университетѣ экзаменъ на уѣзднаго учителя выдержалъ; но матушка пожелала, чтобъ я вышелъ изъ учителей и пошелъ въ чиновники. Находила, что это благороднѣе; можетъ-быть, заблуждалась; ну, это ей такъ было угодно, — я исполнилъ ея волю; а теперь ужъ и она скончалась, а я все служу. Боюсь, чтобъ ей не было непріятно, что я какъ будто ждалъ ея кончины. Да и зачѣмъ мѣнять?

— Но насколько, говорю, — смѣю позволить себѣ судить о васъ по нашему мимолетному знакомству и по вашимъ искреннимъ словамъ,—вамъ, вѣроятно, учительскія занятія были бы гораздо сроднѣе, чѣмъ обязанности полицейской службы?

— Ахъ, полноте: не все ли это равно, на какомъ стулѣ ни посидѣть въ чужой гостиной? Не оглянешься, какъ праотцы отсюда домой позовутъ. Нѣтъ, это мнѣ совершенно все равно: на умѣренныя мои потребности жалованья мнѣ достаетъ; я даже и роскошь себѣ позволяю — фортепіано имѣю; а служба самая легкая: все только исполняю то, что велѣно, а своею совѣстью, своимъ разумомъ и волей ни на волосъ ничего не дѣлаю... Какъ хотите, эти выгоды чего-нибудь да стоятъ; я совершенно безотвѣтственъ! Знаете, summa jus summa injuria — высочайшее право есть высочайшее безправіе. Вотъ если бъ у меня была такая ужасная должность, какъ напримѣръ прокурорская, гдѣ надо людей обвинять,— ну, это, разумѣется, было бы мнѣ нестерпимо, и я бы страдалъ и терзался; но теперь я совершенно доволенъ моимъ положеніемъ и счастливъ.

— Но жаль, замѣчаю, — что вы себѣ, напримѣръ, не усвоили адвокатуры. Вы могли бы принести много добра.

— Ахъ, нѣтъ, пожалуйста, не жалѣйте! Да и какое тамъ возможно добро? Одного выручай, другого топи. Нѣтъ, это тоже не по мнѣ, и я благодарю Бога, что я на своемъ мѣстѣ.

— Да ужъ судьей даже, и то, — настаиваю, — вы были бы болѣе на мѣстѣ.

— Нѣтъ, Боже меня сохрани: что здѣсь за правда на этой планетѣ, и особенно юридическая правда, которая и на наши-то несовершенныя понятія совсѣмъ не правда, а часто одно поношеніе правды! Да иначе и быть не можетъ. Юридическая правда идетъ *подъ чертою* закона несовершеннаго, а правда нравственная выше всякой черты въ мірѣ. Я вѣдь, если откровенно говорить, я до сихъ поръ себѣ не рѣшилъ: преступленіе ли породило законъ, или законъ породилъ преступленіе? А когда мысленно дѣлаю себя чѣмъ-нибудь судьей, то я, въ здравомъ умѣ, думаю, какъ король Лиръ думалъ въ своемъ помѣшательствѣ: стоитъ только вникнуть въ исторію преступленій и видишь: «нѣтъ виноватыхъ». Я знаю, что это противно — не законамъ гражданскимъ,— нѣтъ, я объ этомъ вздорѣ не говорю, но это противно положеніямъ, вытекающимъ изъ понятія о самостоятельности душевныхъ явленій. Вотъ тутъ и начинается мой разладъ и неопредѣленность, потому что я все-таки чувствую, что «нѣтъ виноватыхъ», а это несовмѣстимо. Отрожденскій увѣряетъ меня, что я сумасшедшій. Онъ видитъ вопіющую несообразность въ томъ, что я, допуская свободную волю, не оправдываю убійства и мщенія, и клянется, что меня за мои несообразности когда-нибудь въ желтый домъ посадятъ. Но скажите, Бога ради, развѣ меньшая несообразность утверждать, что у человѣка нѣтъ свободной воли, что онъ зависитъ отъ молекулъ и отъ нервныхъ узловъ, и въ то же самое время мстить ему за то, что онъ думаетъ или поступаетъ такъ, а не этакъ? Вѣдь это верхъ несправедливости! Нѣтъ, я убѣжденъ, что мстить и убивать человѣка не слѣдуетъ ни обыкновеннымъ людямъ, ни правителямъ. Никто не виноватъ—«нѣтъ виноватыхъ»! Если все дѣло въ нашихъ молекулахъ и нервахъ, то люди ни въ чемъ не виноваты, а если душевныя движенія ихъ независимы, то «правители всегда впору своему народу», какъ сказалъ Монтескьё; потомъ вѣдь... что же такое и сами правители? Что тутъ серьезнаго и съ кѣмъ изъ нихъ стоитъ считаться? Все это такое nihil, такое *ничто*... Одинъ крошечку получше, другой крошечку похуже: не все ли это равно тому, кто совсѣмъ нигилистъ и кто *не гилистъ*? Это можетъ озабочивать одну мелочь: газетчиковъ, журналистовъ и другой подобный имъ мелкій людъ, но не настоящаго человѣка, постигающаго свое призваніе. Другое дѣло, если

бы могло идти дѣло о чемъ-нибудь такомъ, чѣмъ бы достигалась общая правда...

— А вы надѣетесь, что она достижима?

— Еще бы! Непремѣнно-съ достижима.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ.

Становой улыбнулся, вздохнулъ и, помолчавъ, тихо проговорилъ въ раздумьѣ:

— Одна минута малѣйшаго сомнѣнія въ этомъ была бы минута непростительной, малодушной трусости.

— А какъ близка эта минута? Когда вы ожидаете видѣть царство всеобщей правды?

Становой снова улыбнулся, беззаботно и бодро крякнувъ, отвѣчалъ, что годъ тому назадъ ему лучшіе врачи въ Петербургѣ сказали, что онъ больше двухъ лѣтъ не проживетъ.

— Ну, допустимъ, говоритъ,—что эти ученые люди, при нынѣшней точности ихъ основательной науки, лѣтъ на десять ошиблись, а все-таки мнѣ, значитъ, недалеко до интереснаго дня.

— То-есть вы интереснымъ днемъ считаете день смерти?

— Да, когда отворится дверь въ другую комнату. Аполлонъ Николаевичъ Майковъ съ поэтическимъ прозорливствомъ подмѣтилъ это любопытство у Сенеки въ его разговорѣ съ Луканомъ въ «Трехъ смертяхъ». Согласитесь, что это самый интереснѣйшій моментъ въ человѣческой жизни. Вотъ я сижу у васъ, и очень весело обо всемъ мы разсуждаемъ, а вѣдь я не знаю, есть ли у васъ кто тамъ за этой запертою дверью, или никого нѣтъ? А между тѣмъ всякій шорохъ оттуда меня... если не тревожитъ, то интересуетъ: кто тамъ такой? что онъ дѣлаетъ? А сердиться на то, что вы мнѣ этого не сообщаете,—я не смѣю: вы хозяинъ, вы имѣете право сказать мнѣ объ этомъ и имѣете право не сказать. Это такъ; но разъ, что я заподозрилъ, что тамъ кто-то есть, я все-таки долженъ лучше предполагать, что тамъ хорошее общество. Я обязанъ такъ думать изъ уваженія къ хозяину, и вотъ я стараюсь быть достойнымъ этого общества, я усиливаюсь держать себя порядочно, вести разговоръ, не оскорбляющій развитого чувства. Проходитъ нѣкоторое время, и вдругъ вы, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, отворите двери и попросите меня перейти въ то общество и... мнѣ

ничего; мнѣ не стыдно и меня оттуда не выгонятъ. А держи я себя здѣсь сорванцомъ и негодяемъ, мнѣ туда или отъ стыда нельзя будетъ взойти, или просто меня даже не пустятъ.

— А если тамъ никого и ничего нѣтъ въ той комнатѣ?

— Что жъ такое? Если и такъ, то развѣ мнѣ хуже отъ того, что я велъ себя крошечку получше? Я и тогда все-таки не въ потерѣ. Повѣрьте, что самое маленькое усовершенствованіе есть въ сущности очень большое пріобрѣтеніе и доставляетъ изящнѣйшее наслажденіе. Я вѣдь отрицаю значеніе такъ-называемыхъ великихъ успѣховъ цивилизаціи: учрежденія, законы — это все только обуздываетъ зло, а добра создать не можетъ ни одинъ геній; эта планета исправительный домъ, и ея условія неудобны для общаго благоденствія. Человѣкъ тутъ легко обозливается и легко падаетъ. Вотъ на этотъ-то счетъ и велико ученіе церкви о благодати, которая въ церковномъ единеніи восполняетъ оскудѣвающихъ и регулируетъ вселенскую правду.

— Скажите, говорю,—Бога ради: зачѣмъ же вы, при такомъ вашемъ воззрѣніи на все, не ищете мѣста священника?

— Это уже не вы одни мнѣ говорите, но вѣдь все это такъ только кажется, а на самомъ дѣлѣ я, видите, никакъ еще для себя не опредѣлюсь въ самыхъ важныхъ вопросахъ; у меня все мѣшается, то одно, то другое... Отрожденскій,—тотъ матеріалистъ, о которомъ я вамъ говорилъ,—потѣшается надъ этими моими затрудненіями опредѣлить себя и предсказываетъ, что я опредѣлю себя въ сумасшедшій домъ; но это опять хорошо такъ, въ шутку, говорить, а на самомъ дѣлѣ опредѣлиться ужасно трудно, а для меня даже кажется будетъ и совсѣмъ невозможно; но чтобы быть честнымъ и послѣдовательнымъ, я ужъ, разумѣется, долженъ идти, пока дальше нельзя будетъ.

— Въ чемъ же, говорю,—ваши затрудненія? Можетъ-быть, это что-нибудь такое, что, при извѣстныхъ стараніяхъ, при извѣстныхъ усиліяхъ, могло быть бы улажено?

— Нѣтъ, благодарю васъ; это дѣло здѣсь, въ Россіи, уже неисправимое: я самъ виноватъ, я былъ неосторожень или, если вы хотите, довѣрчивъ—и попался. Позвольте, я вамъ это разскажу?

— Ахъ, пожалуйста!

— Извольте, случай прекурьезный.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ.

— Я былъ очень радъ,—началъ становой:—что родился римскимъ католикомъ; въ такой странѣ, какъ Россія, которую принято называть самою вѣротерпимою и по неотразимымъ побужденіямъ искать соединенія съ независимѣйшею церковью, я уже былъ и лютераниномъ, и реформатомъ, и вообще три раза перешелъ изъ одного христіанскаго исповѣданія въ другое, и все благополучно; но два года тому назадъ я принялъ православіе, и вотъ въ этомъ собственно вся исторія. Мнѣ одно очень нравилось, но особенно въ этомъ случаѣ на меня имѣли очень большое вліяніе неодобренныя сочиненія Иннокентія и запрещенныя богословскія сочиненія Хомякова, написанныя, впрочемъ, въ строго-православномъ духѣ. Это могущественная пропаганда въ пользу православія. Я убѣдился изъ второго тома этихъ сочиненій въ чистотѣ и многихъ превосходствахъ восточнаго православія, а особенно въ его прекрасномъ устраненіи государства въ дѣлѣ вѣры. Плѣнясь этимъ, я съ свободнѣйшею совѣстью перешелъ въ православіе; но... оказывается, что этой вѣры я уже перемѣнить не могу.

— Конечно, говорю,—не можете. А вы этого не знали?

— Представьте, этого-то я и не зналъ; а то, разумѣется, я подождалъ бы.

— То-есть, чего же вы подождали бы?

— Испыталъ бы прежде еще нѣкоторыя другія вѣроисповѣданія, которыя можно перемѣнить, а православіе оставилъ бы на самый послѣдъ.

— Да зачѣмъ же, спрашиваю,—это вамъ нужно мѣнять его? Развѣ вы разочаровались и въ убѣдительности словъ Иннокентія и Хомякова, и въ чистотѣ самаго православія?

— Нѣтъ, не разочаровался нисколько ни въ чемъ, но меня смутило, что православія нельзя перемѣнить. Сознаніе этой несвободности меня лишаетъ спокойствія совѣсти. Самостоятельность моя этимъ подавлена и возмущается. Я подалъ просьбу, чтобъ мнѣ позволили выйти, а если не позволятъ, то думаю уйти въ Турцію, гдѣ христіанскія исповѣданія не имѣютъ протекціи и оттого въ извѣстномъ отношеніи свободнѣе и ближе къ духу Христова ученія. Жду съ нетерпѣніемъ отвѣта, а теперь прощайте и извините меня, что я отнялъ у васъ много времени.

Я было просилъ его поужинать и переночевать, но становой отъ этого рѣшительно отказался и сказалъ, что онъ долженъ еще поспѣшить въ сосѣднюю деревню для продажи «крестьянскихъ излишковъ» на взысканіе недоимки.

— Какіе же вы у нихъ находите «излишки»?—спрашиваю его на порогѣ.

— А какіе у нихъ могутъ быть излишки? Никакихъ. Продаемъ и ложку, и плошку, овцу, корову, — все, кромѣ лошадей и сохъ.

— И что же, вы производите это, не смущаясь совѣстью и безъ борьбы?

— Ну, какъ вамъ сказать, операція самая непріятная, потому что тутъ и дѣтскій плачъ, и женскій вой, и тяжелые мужичьи вздохи... однимъ словомъ, все, что описано у Беранже: «вставай, братъ,—пора, подать въ деревнѣ сбираютъ съ утра...» Очень тяжело; но вѣдь во всякомъ случаѣ видѣть эти страданія и скорбѣть о своемъ безсиліи отвратить ихъ все-таки легче, чѣмъ быть ихъ иниціаторомъ. Мои обязанности все-таки всѣхъ легче: я машина, да-съ, я не что другое, какъ послѣдняя спица въ колесницѣ: съ меня за это не взыщется, а тѣмъ, кто эти денежки тянетъ, да транжиритъ безъ толку... Охъ, я скорблю за нихъ; а впрочемъ, все равно: вездѣ непониманіе—«нѣтъ виноватыхъ, нѣтъ виноватыхъ», да, можетъ-быть, нѣтъ и правыхъ.

На сихъ словахъ мы разстались съ этимъ антикомъ, и онъ уѣхалъ.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ВОСЬМАЯ.

Становой Васильевъ довольно долго не шелъ у меня изъ головы, и я даже во снѣ не разъ видалъ его священникомъ въ ризѣ, а въ его фуражечкѣ съ кокардой—отца Маркела, ожидавшаго себѣ въ помощь генерала Гарибальди изъ Петербурга. Впрочемъ, я и въявь былъ того убѣжденія, что имъ очень удобно было бы помѣняться мѣстами, если бы только не мѣшало становому смущавшее его недозволеніе перемѣнить православную вѣру, которую онъ собственно и не имѣлъ нужды перемѣнять. Но вопросъ объ устройствѣ врачебной части въ селеніяхъ занималъ меня еще болѣе и вытѣснилъ на время изъ моей головы и ссоры нашей поповки, и религіозно-философскія сомнѣнія моего приходскаго станового. Я никогда ничѣмъ дѣльнымъ не послу-

жилъ землѣ своей и потому при этомъ случаѣ, представлявшемся мнѣ порадѣть въ ея пользу, взялся за дѣло съ энергіей, какой даже не предполагалъ въ себѣ.

Я принялся писать. Пока я излагалъ историческое развитіе этого дѣла въ чужихъ краяхъ, все у меня шло какъ по маслу; но какъ только я написалъ: «обращаемся теперь къ Россіи»—все стало въ пень и не движется.

Съ великими натугами скомпилировалъ я кое-какъ, по официальнымъ источникамъ, то, что разновременно предполагалось и установлялось для народнаго здравія; но чувствую, что все это сухо и что въ исполненіи, какъ и въ неисполненіи всѣхъ этихъ предначертаній и указовъ, вездѣ или непроглядная тьма, или злая иронія... Выходитъ, что все это никуда не годилось, кромѣ какъ на смѣхъ... А что здѣсь гоже? что пріимчиво? что въ этомъ родѣ можетъ принести добрый плодъ на нашей почвѣ? Просто отчаяніе! Чѣмъ больше думаю, тѣмъ громаднѣе вырастаютъ и громоздятся предо мною самыя ужасныя опасенія насмѣшекъ жизни. Комическая вещь, въ самомъ дѣлѣ, если и въ настоящемъ случаѣ съ народомъ повторится комедія, которую господа врачи разыгрываютъ съ больными нищими, назначая имъ лафитъ къ столу и катанье предъ обѣдомъ въ покойной коляскѣ!.. А съ другой стороны, что же и присовѣтуешь, когда и лафитъ, и коляска нужны? Говорятъ: главное дѣло гигіена; но, Бога ради: какая же такая гигіена слыхана въ русской избѣ?.. А между тѣмъ до собраній, въ которыя я долженъ явиться, остается уже недалеко и надо будетъ представить дѣло въ обстоятельномъ изложеніи, съ обдуманными предположеніями. Что же предполагать и что планировать? Просто до нѣкотораго отчаянія дошелъ я и впалъ въ такую нервическую раздражительность, что на себя управы никакой не находилъ.

Думалъ-думалъ, и видя, что ничего не выдумаю, рѣшилъ себѣ съѣздить въ свой уѣздный городъ и повидаться съ тѣмъ матеріалистомъ-врачомъ Отрожденскимъ, о которомъ мнѣ говорилъ и съ которымъ даже совѣтовалъ повидаться становой Васильевъ. Сказано—сдѣлано: пріѣзжаю въ городишко, остановился на постояломъ дворѣ, и чтобъ имѣть предлогъ познакомиться съ докторомъ не совсѣмъ официальнымъ путемъ, посылаю просить его къ себѣ, какъ больной—врача.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ.

Человѣкъ пошелъ и черезъ минуту возвращается.

— Лѣкарь, говоритъ, — не пошли-съ.

— Какъ, спрашиваю, — отчего онъ не пошелъ?

— Начали, говоритъ, — разспрашивать: «Умираетъ твой баринъ или нѣтъ?» — Я говорю: нѣтъ, слава Богу, не умираетъ. — «И на ногахъ, можетъ-быть, ходитъ?» — На чемъ же имъ, отвѣчаю, и ходить, какъ не на ногахъ. — Докторъ меня и поругалъ: «Не остри, изволили сказать, потому что отъ этого умнѣе не будешь, а отправляйся къ своему барину и скажи, что я къ нему не пойду, потому что у кого ноги здоровы, тотъ самъ можетъ къ лѣкарю придти».

Выслушавъ такой рапортъ моего слуги, я нимало не обидѣлся; что же, думаю, изъ «новыхъ людей» онъ! Взялъ шляпу и трость, и пошелъ къ нему самъ.

Застаю, въ неособенно чистой комнатѣ, небольшого довольно полнаго брюнета, лѣтъ сорока двухъ, скоро пишущаго что-то за ломбернымъ столомъ.

Извинился и спрашиваю: дома ли докторъ Отрожденскій?

— Весь къ вашимъ услугамъ, — отвѣчаетъ, не оборачиваясь, брюнетъ. — Присядьте, если угодно; я сейчасъ только отзывъ уѣздному начальнику допишу.

Я присѣлъ и смотрю сбоку на моего хозяина: лицо довольно симпатичное, а въ большихъ сѣрыхъ глазахъ видны и умъ, и доброта.

Пока я его разсматривалъ, онъ кончилъ свое писаніе, расчеркнулся, записалъ бумагу въ книгу, запечаталъ въ конвертъ, свистнулъ и, вручивъ вошедшему солдату этотъ пакетъ, обратился ко мнѣ съ вопросомъ, что мнѣ угодно?

— Прежде всего, говорю, — мнѣ, господинъ докторъ, кажется, что я немножко нездоровъ.

— Ну, будьте увѣрены, что если еще самимъ вамъ только *кажется*, что вы нездоровы, такъ болѣзнь не очень опасная. Что же такое вы чувствуете?

Я пожаловался на нервное раздраженіе.

Лѣкарь посмотрѣлъ на меня, пожалъ меня рукой не за пульсъ, а за плечо и, вздохнувъ, отвѣчаетъ:

— Вы вотъ очень толсты: видите, сколько мяса и жиру себѣ наѣли. Васъ надо бы хорошенько выпотнить.

— Какъ же, говорю,—это выпотнять?

— Вы богаты или нѣтъ?

— У меня, отвѣчаю:—есть обезпеченное состояніе.

— Да? ну, это скверно: не на кордѣ же вамъ въ самомъ дѣлѣ себя гонять, хоть и это бы для васъ очень хорошо. Меньше ѣшьте, меньше спите... Управляющій у васъ есть?

— Есть.

— Отпустите его, а сами разбирайтесь съ мужиками: они вамъ скоро жиру поспустятъ. Потомъ, когда обвыкнетесь и будете имѣть уже настоящее тѣло, — полное, вотъ какъ я, но безъ жира, тогда и избавитесь отъ всякой нервической чепухи.

— Но вѣдь согласитесь, говорю: — эта первическая чепуха очень непріятна.

— Ну, съ какой стороны смотрѣть на это: кому не на что жаловаться, такъ гадкіе нервы имѣть даже очень хорошо. Больше я вамъ ничего сказать не могу,—заключилъ докторъ, и самъ приподнимается съ мѣста, выпроваживая меня такимъ образомъ вонъ.

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ.

«Нѣтъ, позволь, думаю себѣ, братъ, ты меня такъ скоро не выживешь».

— Я, говорю,—кромѣ того, имѣю надобность поговорить съ вами уже не о моемъ здоровьѣ, а о народномъ. Я имѣю порученіе представить будущему собранію земства нѣкоторыя соображенія насчетъ устройства врачебной части въ селеніяхъ.

— Такъ зачѣмъ же, говоритъ, — вы мнѣ давеча не дали знать объ этомъ съ вашимъ лакеемъ? Я бы по первому его слову пришелъ къ вамъ.

Я нѣсколько позамѣшкалъ отвѣтомъ и пробурчалъ, что не хотѣлъ его безпокоить.

— Напрасно, отвѣчаетъ. — Вѣдь все же равно, вы меня звали, только не за тѣмъ, за чѣмъ слѣдовало; а по службѣ звать никакой обиды для меня нѣтъ. Назвался груздемъ— полѣзай въ кузовъ; да я и самъ бы радъ скорѣе съ плечъ свалить эту пустую консультацію. Не знаю, что вамъ угодно отъ меня узнать, но знаю, что рѣшительно ничего не знаю

о томъ, что̀ можно сдѣлать для учрежденія врачебной части въ селеніяхъ.

— Представьте, что и я, говорю,—тоже не знаю.

— Ну, вотъ и прекрасно! значитъ, у̀ насъ обоихъ на первыхъ же порахъ достигается самое полное соглашеніе: вы такъ и донесите, что мы оба, посовѣтовавшись, рѣшили, что мы оба ничего не знаемъ.

— Но это будетъ шутка.

— Нѣтъ, напротивъ, самая серьезная вещь. Шутить будутъ тѣ, кто начнетъ разсказывать, что они что-нибудь знаютъ и могутъ что-нибудь сдѣлать.

— Не можете ли, по крайней мѣрѣ, сообщить ваши взгляды о томъ, что̀ надо преобразовать?

— Это могу: надо преобразовать европейское общество и экономическое распоряженіе его средствами. У меня для этого примѣнительно къ Россіи даже составлена кое-какая смѣта, которою я,—исходя изъ того, что исправное хозяйство одного крестьянскаго дома сто̀итъ среднимъ числомъ сто пятьдесятъ рублей, — доказываю, что̀ путемъ благоразумныхъ сбереженій въ одномъ Петербургѣ можно въ три года во всей Россіи уменьшить на двадцать пять процентовъ число заболѣваній и на пятьдесятъ процентовъ цифру смертности.

— Это, отвѣчаю,—очень интересно, но вѣдь отъ насъ не этихъ соображеній требуютъ. Отъ насъ ждутъ соображеній: что̀ можно сдѣлать для народнаго здоровья въ тѣхъ средствахъ, въ какихъ̀ находится нынче жизнь народа.

— Да, отъ насъ требуютъ соображеній: какъ бы соорудить народу епанчу изъ тришкина кафтана? Портные, я слышалъ, по поводу такой шутки говорятъ: «что если это выправить, да переправить, да аршинъ шесть прибавить, то выйдетъ и епанча на плеча».

— Согласенъ, отвѣчаю, — съ вами и въ этомъ; но вѣдь надо же съ чего-нибудь начать, чтобы найти выходъ изъ этого положенія. Я вотъ разсмотрѣлъ нѣсколько статистическихъ отчетовъ о заболѣвающихъ и о смертности по группамъ болѣзней, и...

— И напрасно все вы это сдѣлали,—перебилъ меня докторъ. — Эти отчеты способны только путать, а не уяснить дѣло. Наша литература въ этомъ отличается. Вонъ я недавно читалъ въ одной газетѣ, будто *всѣ* болѣзни войска

разносятъ. Очень умно! И лихорадка, и насморкъ — это все отъ войскъ! Глупо, но есть выводъ и направленіе, и дѣло въ шляпѣ. Такъ и всѣ смертные случаи у насъ приписываются той или другой причинѣ для того, чтобъ отписаться, а народъ мретъ положительно только отъ трехъ причинъ: отъ холода, отъ голода и отъ глупости. Отъ этихъ хворобъ его и надо лѣчить. Какія же отъ этого лѣкарства и въ какомъ порядкѣ ихъ надо давать? Это то же, что извѣстная задача: какъ въ одной лодкѣ перевезти чрезъ рѣку волка, козу и капусту, чтобъ волкъ козы не съѣлъ, а коза — капусты, и чтобы всѣ цѣлы были. Если вы устремитесь прежде всего на уничтоженіе вредно дѣйствующихъ причинъ отъ холода и голода, тогда надо будетъ лѣчить не народъ, а нѣкоторыхъ другихъ особъ, изъ которыхъ каждой надо будетъ или выпустить крови отъ одной пятой до шестой части вѣса всего тѣла, или же подвѣсить ихъ каждаго минутъ на пятнадцать на веревку. Потомъ бы можно, пожалуй, и снять, а можно и не снимать... Но это ни къ чему путному не поведетъ, потому что въ народѣ останется одна глупость, и онъ, избавившись отъ голода, обожрется и сдуру устроится еще хуже нынѣшняго. Стало-быть, надо начинать съ азовъ — съ лѣченія *отъ глупости.* Я постоянно имѣю съ этимъ дѣло, и давно предоставилъ моему фельдшеру свободное право — по его собственной фантазіи опредѣлять причины смерти вскрываемыхъ труповъ, и знаю, что онъ все вретъ. Дѣло гораздо проще. Зимой мужики дохнутъ преимущественно отъ холода, отъ дрянной одежды и дрянного помѣщенія, по веснамъ — съ голоду, потому что при началѣ полевыхъ работъ аппетитъ у нихъ разгорается огромный, а удовлетворять его нечѣмъ; а затѣмъ остальное время—отъ пьянства, драки и вообще всякихъ глупостей, происходящихъ у глупаго человѣка отъ сытости.

— Вы сытость, говорю,—тоже полагаете въ числѣ вредностей?

— А непремѣнно: дурака до-сыта кормить нужно съ предосторожностями. Смотрите: вонъ овсяная лошадь... ставьте ее къ овсу смѣло: она ѣстъ, и ей ничего, а припустите-ка мужичью клячу: она либо облопается и падетъ, либо пойдетъ лягаться во что попало, пока сама себѣ всѣ ноги поотколотитъ. Вонъ у насъ теперь на линіи, гдѣ чу-

гунку строятъ, какой моръ пошелъ! Всякій день меня туда возятъ; человѣка по четыре, по пяти вскрываю: неукротимо мрутъ отъ хорошей пищи.

— Отъ хорошей?!—спрашиваю съ удивленіемъ.

— Да, отъ хорошей-съ, а не отъ худой. Это чиновникамъ хочется доказать, что отъ худой, чтобы подрядчика прижать, а я знаю, что непомѣрная смертность идетъ отъ хорошаго свойства пищи, и мужики сами это знаютъ. Какъ только еще началась эта исторія, человѣкъ съ двадцать сразу умерло; я спрашиваю: «отчего вы, ребята, дохнете?» — «А все съ чистаго хлѣба, говорятъ, дохнемъ, ваше высокоблагородіе, — какъ мы зимой этого чистаго хлѣбушка дома не чавкали, а все съ мякиной, такъ вотъ таперича на чистой хлѣбъ насъ посадили и помираемъ». Обдержатся — ничего, а какъ новая партія придетъ — опять дохнутъ. Съ мѣсяцъ тому назадъ сразу шесть человѣкъ вытянулись: два брата какъ другъ противъ друга сидѣли, ѣвши кашу, такъ оба и покатились. Вскрывалъ ихъ фельдшеръ: въ желудкѣ каша, въ пищеводѣ каша, въ глоткѣ каша и во рту каша; а остальные, которые переносятъ, жалуются: «Мы, баютъ, твоя милость, съ сытости стали на ноги падать, работать не можемъ».

— Ну, и чѣмъ же вы имъ помогли? Любопытно знать.

— Велѣлъ ихъ въ полъ-обѣда оттонять отъ котла палками. Подрядчикъ этого не смѣлъ; но они сами изъ себя трехъ разгонщиковъ выбрали, и смертность уменьшилась, а теперь въѣлись, и ничего: фунтъ меду мнѣ въ благодарность принесли.

Представьте себѣ мое положеніе съ этакимъ консультантомъ!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ.

— Но вѣдь это, говорю,—все, что вы изволили разсказать, случаи экстренные, а вѣдь мы должны имѣть въ виду другое, когда крестьянинъ умираетъ своею смертью безъ медицинской помощи.

— Да зачѣмъ же ему нужно умирать съ медицинскою помощью? — вопросилъ лѣкарь. — Развѣ ему отъ этого легче будетъ и дешевле? Пустяки-съ все это! Поколику я медикъ и могу оказать человѣку услугу, чтобъ онъ при моемъ содѣйствіи умеръ съ медицинскою помощью, то ручаюсь

вамъ, что отъ этого мужику будетъ нимало не легче, а только гораздо хлопотнѣе и убыточнѣе.

Удивился я, и прошу его объяснить мнѣ: отчего же это будетъ убыточнѣе, если съ мужика ни за рецептъ, ни за лѣкарство ничего не возьмутъ?

— А оттого, отвѣчаетъ, — что мужикъ не вы, онъ не пойдетъ къ лѣкарю, пока ему только *кажется*, что онъ нездоровъ. Это дѣлаютъ жиды, да дворяне, эти охотники пачкаться, а мужикъ человѣкъ степенный и солидный, онъ разсказами это про свои болѣзни докучать не любитъ и отъ лѣкаря прячется, и со смокомъ дожидается, пока смерть придетъ, а тогда ужъ любитъ, чтобъ ему не мѣшали умирать и даже готовъ за это деньги платить.

«Ну,—думаю себѣ,—это ты, любезный другъ, врешь; я вовсе не такъ глупъ, чтобы тебѣ повѣрить», и говорю ему:

— Извините меня, но я никогда еще не слыхалъ, чтобы какой-нибудь человѣкъ платилъ врачу деньги за то, чтобъ ему поскорѣе умереть.

— Мало ли, отвѣчаетъ,—чего вы не слыхали. Я много разъ это видѣлъ въ военныхъ больницахъ, особенно въ Петербургѣ: казаки изъ старовѣровъ, ахъ, какъ спокойно это совершаютъ! Съ большою-съ, съ большою серьезностью... скорѣе семь разъ умретъ, чѣмъ позволитъ себѣ клистиръ сдѣлать, да-съ. Да вотъ даже нынѣшнимъ еще лѣтомъ со мной былъ такой случай, уже не въ больницѣ. Тутъ помѣщица есть, очень важная барыня, — отсюда верстахъ въ десяти, — тоже вотъ, въ родѣ васъ, совсѣмъ ожирѣла. Разсердилась она какъ-то на дочь и расходились у ней, какъ у васъ, самордаки; дочь ея пишетъ мнѣ, что «маменька умираетъ совсѣмъ». Думаю: чортъ знаетъ, пожалуй, чего добраго, и дѣйствительно умретъ, и за нее, какъ за что путное, подъ судъ попадешь, что не подалъ помощи. Отправился къ ней на таратайкѣ. Пріѣзжаю, просятъ подождать. Жду и наблюдаю изъ залы, какъ мальчишка-лакейченокъ въ передней читаетъ старому лакею газету «Вѣсть», и оба ею очень довольны. Старый лакей внушаетъ молодому лакею: «вотъ, говоритъ, какъ должно пишутъ настоящіе господа», и самъ сѣдой оселъ отъ радости заплакать готовъ. Великій народъ россійскій!.. Прошелъ часъ; выходитъ ко мнѣ прекрасная барышня, дочка, и съ заплаканными глазками говоритъ, что маменькѣ ея, изволите видѣть, полегче (вѣрно,

помирились), и что теперь онѣ изволили заснуть и не велѣли себя будить, а васъ, говоритъ, приказали просить въ контору, тамъ вамъ завтракъ подадутъ, и съ этимъ словомъ подаетъ мнѣ рубль серебромъ въ розовомъ пакетикѣ. Я завтрака ѣсть не пошелъ, спросилъ себѣ стаканъ воды и положилъ на тарелку рубль его барыни, а барышнѣ сказалъ: «Сдѣлайте одолженіе, сударыня, скажите отъ меня вашей маменькѣ, что видалъ я на своемъ вѣку разныхъ свиней, но ужъ такой полновѣсной свиньи, какъ ваша родительница, до сей поры не видывалъ».

И въ таратайку ихъ я не сѣлъ, а ушелъ отъ нихъ пѣшкомъ. Жара страшная, десять верстъ ходьбы все-таки изрядно: пыль столбомъ стоитъ, солнце печетъ. На половинѣ дороги есть деревушка. Иду по улицѣ — даже собаки не тявкаютъ, — отъ жары кто куда, подъ застрѣхи, да въ подполья попрятались. Смотрю, — у одной хатенки на порогѣ двое ребятишекъ сидятъ и синее молоко одной ложкой хлебаютъ и дѣлятся этою ложкою какъ самые заправскіе соціалисты. Одинъ разъ одинъ хлебнетъ, другому передаетъ, а тотъ хлебнетъ, этому передаетъ. Удивительно! Досужій человѣкъ на это цѣлое разсужденіе о русскомъ народѣ можетъ написать. И вдругъ это молоко меня соблазнило. Зайду, думаю, въ избу, нельзя ли хоть уста промочить. Вошелъ; во-первыхъ, муха! самая неумѣримая муха! Такъ жужжитъ, даже стонъ стоитъ. Во-вторыхъ, жара нестерпимая и никого въ избѣ нѣтъ, только откуда-то тянется мучительное тяжкое оханье. Я вышелъ на дворъ, вижу бабенка навозъ вилами сушитъ.

— Есть, говорю,—у тебя молоко?

Думала-думала и отвѣчаетъ, что молоко есть.

— Дай же, говорю, — мнѣ молока; я тебѣ гривенникъ дамъ?

— А на что, говоритъ,—мнѣ твой гривенникъ? Гривенникъ-то у насъ еще, слава Богу, и свой есть.

Однако, согласилась, дала молока.

Сѣлъ я въ сѣняхъ на скамеечку, пью это молоко, а въ избѣ такъ и разливается мучительнѣйшій стонъ.

— Это, говорю,—кто у васъ такъ мучится?

— Старичокъ, говоритъ,—свекоръ больной помираетъ.

Я выпилъ молоко и подхожу къ старику. Гляжу, старичище настоящій Сатурнъ; человѣкъ здоровья несмѣтнаго,—

мускулы просто воловьи, лежитъ, глаза выпучилъ и страшно, страшно стонетъ.

— Что, говорю,—съ тобою дѣдъ?

— А?

— Что, молъ,—съ тобою?

— Отойди прочь, ничего,—и опять застоналъ.

— Да что, молъ,—такое съ тобою? Чѣмъ ты болѣешь?

— Отойди прочь, ничего.

Я ощупалъ у него пузо: вижу, ужасъ что газовъ спертo. Я скорѣе сболталъ стаканъ слабительной импровизаціи, подношу и говорю:

— Пей скорѣе, старикъ, и здоровъ будешь, еще сто лѣтъ проживешь.

— Отойди прочь, говоритъ,—не мѣшай: я помираю.

— Пей, говорю,—скорѣе!—выпей только и сейчасъ выздоровѣешь. Гдѣ же тамъ, и слушать не хочетъ; «помираю» да и кончено.

«Ну, думаю себѣ, не хочешь, братъ, слабительнаго, такъ я тебя инымъ путемъ облегчу», а меня, чувствую, въ это время кто-то за колѣнку потихоньку теребитъ, точно какъ теленокъ губами забираетъ. Оглянулся, вижу стоитъ возлѣ меня большой мужикъ. Голова съ просѣдью, лѣтъ около пятидесяти. Увидалъ, что я его замѣтилъ, и дѣлаетъ шагъ назадъ, и ехидно манитъ меня за собою пальцемъ.

— Что, говорю,—тебѣ нужно?

— Батюшка, ваше благородіе, шепчетъ, — пожалуйте!.. примите! — и съ этимъ словомъ суетъ мнѣ что-то въ руку.

— Это, спрашиваю,—что такое?

— Полтина серебра, извольте принять... полтину серебра.

— За что же ты, дуракъ, даешь мнѣ эту полтину серебра?

— Не мѣшайте, батюшка, Божьему старику помирать.

— Ты кто ему доводишься?

— Сынъ, говоритъ,—батюшка, родной сынъ; это батька мой родной; помилосердуйте, не мѣшайте ему помирать.

А тутъ, гляжу, изъ сѣней лѣзетъ бабенка, такая старушенція, совсѣмъ кикимора, вся съ сверчка, плачетъ и шамшитъ:

— Батюшка, не мѣшай ты ему, моему голубчику, помирать-то! Мы за тебя Бога помолимъ.

«Что же, думаю, за что мнѣ добрымъ людямъ перечить! Тотъ самъ хочетъ помирать,, родные тоже хотятъ, чтобъ онъ умеръ, а мнѣ это не стоитъ ни одного гроша»: выплеснулъ слабительное.

— Помирайте, говорю,—себѣ съ Богомъ хоть всѣ.

Они это отмѣнно восчувствовали и даже за самую околицу меня провожали съ благодарностью.

Спрашиваю дорогою:

— Что же, наслѣдства, что ли, молъ, ждете отъ старика-то?

— Нѣтъ, говорятъ,—батюшка, какое наслѣдство: мы бѣдные, да ужъ онъ совсѣмъ въ путь-то собрался... и причастился, теперь ему ужъ больно охота помереть.

Только-что за околицу я вышелъ, гляжу, мальчишка бѣжитъ.

— Тятя, кричитъ,—дѣдушка протянулся.

И всѣ заголосили:

— Одинъ ты, молъ,—у насъ только и былъ!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ВТОРАЯ.

— А все же, говорю, — этотъ случай нимало не приводитъ насъ ни къ какому заключенію о томъ, какъ избавить народъ отъ его болѣзней и безвременной смерти.

— Я вамъ мое мнѣніе сказалъ,—отвѣчалъ лѣкарь.—Я себѣ давно рѣшилъ, что всѣ хлопоты объ устройствѣ врачебной части въ сельніяхъ ни къ чему не поведутъ, кромѣ обремененія крестьянъ, и давно пересталъ объ этомъ думать, а думаю о лѣченіи народа отъ глупости, объ устройствѣ хорошей, настоящей школы, сообразной вкусамъ народа и настоящей потребности, то-есть, чтобы всѣ эти гуманные принципы педагогіи прочь, а завести школы, соотвѣтственныя нравамъ народа, спартанскія, съ бойломъ.

— Вы хотите бить?

— А непремѣнно-съ; это и народу понравится, да и характеры будутъ воспитываться сильнѣе, реальнѣе и злѣе. Такъ мы вѣрнѣе къ чему-нибудь дойдемъ, чѣмъ съ этими небитыми фалалеями, которые теперь изо всѣхъ новыхъ школъ выходятъ. Я, при первыхъ деньгахъ, открою первый «образцовый пансіонъ», гдѣ не будетъ никакой поблажки. Я это уже зрѣло обдумалъ и даже, если не воспретитъ мнѣ правительство, сдѣлаю вывѣску: «Новое воспитательное за-

веденіе съ бойломъ»; а, по желанію родителей, даже будутъ жестоко бить, и вы увидите, что я, наконецъ, создамъ типъ *новыхъ людей*, — типъ, желая достичь котораго, наши ученые и литературные слѣпыши отъ него только удаляются. Доказательство налицо: теперь все, что̀ моложе сорока лѣтъ, уже все скверно, все размягчено и распарено теплымъ слоемъ гуманнаго обращенія. Такимъ людишкамъ нужны выгоды буржуазной жизни, и они на своихъ ребрахъ кола не переломятъ; а безъ этого ничего не будетъ.

— Ну, а объ устройствѣ врачебной-то части... мы такъ ни къ чему и не приблизились.

— Да и не къ чему приближаться; я вамъ сказалъ и, кажется, доказалъ, что это вовсе не нужно.

— Простите, говорю, — пожалуйста; но тогда позвольтельно спросить васъ: зачѣмъ же, по-вашему, сами врачи?

— А для нѣсколькихъ потребностей: для собственнаго пропитанія, для административнаго декорума, для уничтоженія стыда у женщинъ, для истощенія кармановъ у богачей и для вскрытія умирающихъ отъ холода, голода и глупости.

Нѣтъ, вижу, что съ этого барина, видно, ужъ взятки гладки, да онъ вдобавокъ и говорить со мною больше не хочетъ: всталъ и стоитъ, какъ воткнутый гвоздь, а приставать къ нему не безопасно: или въ дверь толкнетъ, или, по меньшей мѣрѣ, какъ-нибудь некрасиво обзоветъ.

— Не посовѣтуете ли, спрашиваю, — по крайности, къ кому бы мнѣ обратиться: не занимаетъ ли этотъ вопросъ кого-нибудь другого, не имѣетъ ли съ нимъ еще кто-нибудь знакомства, отъ кого бы можно было получить другія соображенія.

— Толкнитесь, отвѣчаетъ, — къ смотрителю уѣзднаго училища: онъ здѣсь дѣвкамъ съ лица веснушки сводитъ и зубы заговариваетъ, также и отъ лихорадки какія-то записки даетъ; и къ протопопу можете зайти, онъ по лѣчебнику Каменецкаго лѣчитъ. У него, въ самомъ дѣлѣ, врачебной практики даже больше, чѣмъ у меня: я только мертвыхъ рѣжу, да и то не поспѣваю; вотъ и теперь сейчасъ надо ѣхать.

— Извините, говорю, — еще одинъ вопросъ: а акушерка здѣшняя знаетъ деревенскій бытъ?

— Нѣтъ, къ ней не ходите: ее въ деревни не берутъ;

она только офицерамъ, которые стоятъ съ полкомъ, деньги подъ залогъ даетъ, да скворцовъ учитъ говорить и продаетъ ихъ купцамъ. Вотъ становой у насъ былъ Васильевъ, тотъ, можетъ-быть, и могъ бы вамъ что-нибудь сказать, онъ въ душевныхъ болѣзняхъ подавалъ утѣшеніе, умѣлъ уговаривать терпѣть, — но и его, на ваше несчастіе, вчерашній день взяли и увезли въ губернскій городъ.

— Какъ, говорю, — Васильева-то увезли! За что же это? Я его знаю, — казалось, такой прекрасный человѣкъ.

— Ну, прекрасный не прекрасный, а былъ человѣкъ очень пригодный досужнымъ людямъ для развлеченія, а взяли его по доносу благочиннаго, что онъ будто бы хотѣлъ бѣжать въ Турцію и перемѣнить тамъ вѣру. Я ему предлагалъ принять его въ самую толерантную вѣру, — въ безвѣріе, но онъ не соглашался, боялся, что будетъ чувствовать себя несвободнымъ отъ необходимости объяснять свои движенія причинами, зависящими отъ молекулъ и нервныхъ центровъ, ну, вотъ и зависитъ теперь отъ смотрителя тюремнаго замка. Впрочемъ, время идетъ и трупъ, ожидающій моего визита, каждую минуту все больше и больше воняетъ; надо пожалѣть людей и скорѣе его порѣзать.

Говорить было болѣе некогда, и мы разстались; но когда я былъ уже на улицѣ, лѣкарь высунулся въ фуражкѣ изъ окна и крикнулъ мнѣ:

— Послушайте! повидайтесь-ко вы съ посредникомъ Готовцевымъ.

— А что такое?

— Да онъ вѣдь у насъ администраторъ отъ самыхъ младыхъ ногтей и первый въ своемъ участкѣ школы завелъ, — его всѣмъ въ примѣръ ставятъ. Не откроетъ ли онъ вамъ при своихъ дарованіяхъ секрета, какъ устроить, чтобы народъ не умиралъ безъ медицинской помощи?

Я поблагодарилъ, раскланялся и скрылся.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯ.

Ни къ акушеркѣ, ни къ смотрителю училища, разумѣется, я не пошелъ, а отправился повидаться съ посредникомъ Готовцевымъ.

Прихожу, велѣлъ о себѣ доложить и ожидаю въ залѣ. Выходитъ хозяинъ, молодой человѣкъ, высокій, румяный,

пухлый, съ кадычкомъ и очень тяжелымъ взглядомъ сверху внизъ.

Отрекомендовались другъ другу, присѣли, и я изложилъ озабочивающее меня дѣло и попросилъ услуги совѣтомъ.

— По-моему, дѣло это очень не трудно уладить; но здѣсь, какъ и во всякомъ дѣлѣ, нужна рѣшительность, а ее у насъ, знаете... ее-то у насъ и нѣтъ нигдѣ, гдѣ она нужна. У насъ теперь не дѣло дѣлается, а разыгрывается въ лицахъ басня о лебедѣ, ракѣ и щукѣ, которые взялись везти возъ. Суды тянутъ въ одну сторону, администрація — въ другую, земство — потянетъ въ третью. Планы и предначертанія сыплются какъ изъ рога изобилія, а осуществлять ихъ невѣдомо какъ: «всякій бестія на своемъ мѣстѣ» и всякъ стоитъ за свою шкуру. Безъ одной руководящей, и притомъ смѣло руководящей воли въ нашемъ хаосѣ нельзя, и воля эта должна быть ауторизована, отвѣтъ ея долженъ быть отвѣтъ Пилата жидамъ: «еже писахъ — писахъ»; тогда и возможно все: и всяческое благоустройство, и единодѣйствіе... и все. А у насъ... Вы не приглядывались къ ходу дѣлъ въ губерніи?

Отвѣчаю, что еще не приглядывался.

— Напрасно; вы очень много потеряли.

Я отвѣчалъ, что не лишаю себя надежды возвратить эту потерю, потому что скоро поѣду въ губернскій городъ на засѣданія земства, а можетъ-быть и раньше, чтобы тамъ поискать у кого-нибудь совѣта и содѣйствія въ моихъ затрудненіяхъ.

— И прекрасно сдѣлаете: тамъ есть у насъ старикъ Фортунатовъ, нашъ русскій человѣкъ и очень силенъ при губернаторѣ.

Я замѣтилъ, что я этого Фортунатова знаю по гимназіи и по университету.

— Ну, вотъ, отвѣчаетъ, — лучше этого вамъ и не надо: онъ всемогущъ, потому что губернаторъ безпрестанно все путаетъ, и такъ путаетъ, что только одинъ Василій Ивановичъ Фортунатовъ можетъ что-нибудь разобрать въ томъ, что онъ напуталъ. Фортунатовъ — это такой винтикъ въ здѣшнемъ механизмѣ, что выньте его — и вся машина станетъ, или чортъ знаетъ что заворочаетъ. Вы съ нимъ можете говорить прямо и откровенно: онъ человѣкъ русскій

и прямой, немножко, конечно, съ лукавинкой, но ужъ это наша національная черта, а зато онъ одинъ всѣхъ рѣшительнѣе. Вы не были здѣсь, когда поднялась исторія изъ-за школъ? Это было ужасное дѣло: вынь да положь, чтобы въ селахъ были школы открыты, а мужики, что имъ ни говори, только затылки чешутъ. Фортунатовъ видитъ разъ всѣхъ насъ, посредниковъ, за обѣдомъ: «братцы, говоритъ, ради самого Господа Бога выручайте: страсть какъ изъ Петербурга за эти проклятыя школы насъ нажигаютъ!» Поговорили, а мужики школъ все-таки не строятъ; тогда Фортунатовъ встрѣчаетъ разъ меня одного: «Ильюша, братецъ, говоритъ (онъ большой простякъ и всѣмъ почти *ты* говоритъ), да развернись хоть ты одинъ! будь хоть ты одинъ порѣшительнѣй; заставь ты этихъ шельмъ, нашихъ мужичонковъ, школы поскорѣе построить». Дѣло, какъ видите, трудное, потому что, съ одной стороны, мужикъ не понимаетъ пользы ученія, а съ другой — нельзя его приневоливать строить школы, не велѣно приневоливать. Но тѣмъ не менѣе есть же свои администраторскіе пріемы, гдѣ я могу, не выходя изъ... изъ... изъ круга приличій, заставить... или... какъ это сказать... склонить...—Извольте, говорю, Василій Ивановичъ, если дѣло идетъ о рѣшительности, я берусь за это дѣло и школы вамъ будутъ, но только уже смотрите, Василій Ивановичъ! — «Что, спрашиваетъ, такое?» — А чтобы мои руки были развязаны, чтобъ я былъ свободенъ, чтобы мнѣ никто не препятствовалъ дѣйствовать самостоятельно! Имъ было круто, онъ и согласился, говоритъ: «Господи! да Богъ тебѣ въ помощь, Ильюша, что хочешь съ ними дѣлай, только дѣйствуй!» Я человѣкъ аккуратный, впередъ обо всемъ условился: смотрите же, говорю, чуръ-чура: я вѣдь разойдусь, могу и противъ земства ударить, такъ вы и тамъ меня не предайте.— «Ну, что ты, Богъ съ тобой, сами себя, что ли, мы станемъ предавать?» — Ну, когда такъ — я и поставилъ дѣло такъ, что всѣ только рты разинули. Въ одинъ годъ весь участокъ школами обзавелъ. Пріѣзжайте въ какую хотите деревушку въ моемъ участкѣ и спросите: «есть школа?» ужъ, конечно, не скажутъ, что нѣтъ.

— Какъ же, говорю,—вы всего этого достигли? Какимъ волшебствомъ?

— Вотъ вамъ и волшебство!—самодовольно воскликнулъ

посредникъ и, выступивъ на середину комнаты, продолжалъ:—Никакого волшебства не было и тѣни, а просто-напросто административная рѣшительность. Вы знаете, я что сдѣлалъ? Я, я, честный и неподкупный человѣкъ, который горло вырветъ тому, кто заикнется про мою честь: я школами взятки бралъ!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

— Какъ же это такъ школами взятки брать?—воскликнулъ я, глядя во всѣ глаза.

— Да-съ; я очень просто это дѣлалъ; жалуется общество на помѣщика или сосѣдей. «Хорошо, говорю, прежде, школу постройте!» Въ ногахъ валяются, плачутъ... Ничего: сказалъ: «школу постройте и тогда приходите!» такъ на своемъ стою. Повертятся, повертятся мужичонки и выстроятъ, и вотъ вамъ лучшее доказательство: у меня уже весь, *буквально весь* участокъ обстроенъ школами. Конечно, въ этихъ школахъ нѣтъ почти еще книгъ и учителей, но я ужъ начинаю второй кругъ и ужъ дѣло пошло и на учителей. Это, спросите, какъ?

Я молчу.

— А опять, продолжаетъ,—все тѣмъ же самымъ порядкомъ: имѣешь надобность ко мнѣ, найми въ школу учителя. Отговорокъ никакихъ: найми учителя, и тогда твое дѣло сдѣлается. Мнѣ самому ничего не нужно, но для службы я чортъ... и такимъ только образомъ и можно что-нибудь благоустроять. А безъ рѣшительности ни къ чему не придете. Захотѣлось теперь устройства врачебной части; пусть начальство выскажется, что ему этого хочется: это ему принадлежитъ; но не мѣшай оно энергическимъ исполнителямъ, какъ это дѣлать. Ѳемидѣ ли вы служите, или земству, или администраціи—это должно быть все равно: каммертонъ данъ—пой, сигналъ пущенъ—пали. Если бы начальство стояло стойко и рѣшительно, я... я вамъ головой отвѣчаю, что я не только врачебную часть, а я чортъ знаетъ что заведу вамъ въ Россіи съ нашимъ народомъ! Нашъ народъ, слава Богу, глупъ, съ нимъ еще, слава Богу, жить можно... «Строй, собачій сынъ, больницу!» закричалъ посредникъ на меня неистово, поднявъ руки надъ моею головой. «Нанимай лѣкаря, или... я тебя... чортъ тебя!...» и Готовцевъ началъ такъ штырять меня кулаками

подъ ребра, что я, въ качествѣ модели народа, все подавался назадъ и назадъ и наконецъ стукнулся затылкомъ объ стѣну и остановился. Дальше отступать было некуда.

— А-а! — закричалъ въ эту секунду Готовцевъ: — такъ вотъ я тебя, канальскій народъ, наконецъ, приперъ къ стѣнѣ... теперь тебѣ ужъ некуда назадъ податься, и ты строишь что мнѣ нужно... и за это я тебя цѣлую... да-съ, цѣлую самъ своими собственными устами.

Съ этимъ онъ взялъ меня обѣими руками за лацканы, поцѣловалъ меня холоднымъ поцѣлуемъ въ лобъ и проговорилъ: «вотъ какъ я тебя благодарю за твое послушаніе! А если ты огрызаешься и возбуждаешь вѣдомство противъ вѣдомства (онъ началъ меня раскачивать за тѣ же самые лацканы), если ты сѣешь интриги и, не понимая начальственныхъ заботъ о тебѣ, начинаешь собираться мнѣ возражать... то... я на тебя плюю!.. то я иду напроломъ... я самъ дѣлаюсь администраторомъ, и (тутъ онъ закачалъ меня во всю мочь, такъ что даже затрещали лацканы) если ты придешь ко мнѣ за чѣмъ-нибудь, такъ я... схвачу тебя за шиворотъ... и выброшу вонъ... да еще въ сѣняхъ приподдамъ колѣномъ».

И представьте себѣ: онъ, дѣйствительно, только не плюнулъ на меня, а то продѣлалъ со мною все, что говорилъ: то-есть, схватилъ меня за шиворотъ, выбросилъ вонъ и приподдалъ въ сѣняхъ колѣномъ.

Я понялъ изъ этого затруднительность сельскихъ общинъ въ совершенствѣ и, удирая скорѣй домой въ деревню, всю дорогу не могъ придти въ себя.

— Нѣтъ,— рѣшилъ я себѣ,—нѣтъ, господа уѣздная интеллигенція: простите вы меня, а я къ вамъ больше не ѣздокъ. Съ вами, чего добраго, совсѣмъ расшибешься.

Но какъ дѣло-то, однако, не терпитъ и, взявшись представить записку, ее все-таки надо представить, то думаю: дѣйствительно, махну-ка я въ губернскій городъ, — тамъ и архивы, и все-таки тамъ больше людей съ образованіемъ; тамъ я и посовѣтуюсь и допишу записку, а между тѣмъ подойдетъ время къ открытію собраній.

Сборы не велики: ѣду въ губернскій городъ и, признаюсь вамъ, ѣду не съ покойнымъ духомъ.

Что-то, молъ, опять мнѣ идетъ здѣсь на Руси все хуже и хуже: чѣмъ-то теперь здѣсь одаритъ Господь!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ.

Прежде всего не узнаю того самаго города, который былъ мнѣ столь памятенъ по моимъ въ немъ страданіямъ. Архитектурное обозрѣніе и костоколотная мостовая тѣ же, что и были, но смущаетъ меня нестерпимо какой-то необъяснимый цвѣтъ всего сущаго. То, бывало, всѣ дома были бѣлые да желтые, а у купцовъ водились съ этакими голубыми и желтыми отворотцами, словно лацканы на уланскомъ мундирѣ, — была настоящая житейская пестрота, а теперь, гляжу, только одинъ неопредѣленный цвѣтъ, которому нѣтъ и названія.

Первое, о чемъ я полюбопытствовалъ, умываясь, какъ Чичиковъ, у себя въ номерѣ, былъ именно неопредѣленный цвѣтъ нашего города.

— Объясните мнѣ, пожалуйста, почтенный гражданинъ,— спрашиваю я у коридорнаго лакея: — что это у васъ за странною краской красятъ дома и заборы?

— А это-съ, сударь, отвѣчаетъ, — у насъ нынче называется «цвѣтъ подъ утиное яйцо».

— Этакого цвѣта у васъ, помнится, — никогда не было?

— И званія его, сударь, прежде никогда не слыхали.

— Откуда же онъ у васъ взялся?

— А это нынѣшній губернаторъ насъ, говоритъ, — въ прошломъ году перекрасилъ.

— Вотъ, молъ,—оно что.

— Точно такъ-съ, утверждаетъ «гражданинъ».—Прежде цвѣта были разные, кто какіе хотѣлъ, а потомъ былъ старичокъ-губернаторъ — тотъ велѣлъ все въ одинаковое, въ розовое окрасить, а потомъ его смѣнилъ молодой губернаторъ, тотъ приказалъ сдѣлать все въ одинаковое, въ мрачно-сѣрое, а этотъ, нынѣшній, какъ пріѣхали: «что это, изволитъ говорить, за гадость такая! перекрасить все въ одинаковое, въ голубое», но только оно по розовому съ сѣрымъ въ голубой не вышло, а выяснилось, какъ изволите видѣть, вотъ этакъ, подъ утиное яйцо. Съ тѣхъ поръ такъ ужъ больше не перекрашиваютъ, а въ чистотѣ у насъ попрежнему остались только однѣ церкви: съ архіереемъ всѣ губернаторы за это ссорились, но онъ такъ и не разрѣшилъ церквей подъ утиное яйцо подводить.

Я поблагодарилъ слугу за обстоятельный разсказъ, а самъ принарядился, кликнулъ извозчика и спрашиваю:

— Знаешь, любезный, гдѣ Фортунатовъ живетъ?

Извозчикъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и потомъ, какъ бы чего внезапно оробѣлъ или обидясь, отвѣчалъ:

— Помилуйте, какъ же не знать!

Поѣхали и пріѣзжаемъ.

Извозчикъ осаживаетъ у подъѣзда лошадь и шепчетъ: «первый человѣкъ!»

— Что ты говоришь?

— Василій-то Иванычъ, говорю-съ, — у насъ первый человѣкъ.

Ладно, молъ.

Вхожу въ переднюю,—грязненько; спрашиваю грязненькаго казачка: дома ли баринъ? Отвѣчаетъ, что дома. — Занятъ или нѣтъ? — «Никакъ нѣтъ-съ, отвѣчаетъ; они послѣ послѣобѣденнаго вставанья на диванѣ въ кабинетѣ лежатъ, дыню кушаютъ».

Велѣлъ доложить, а самъ вступаю въ залу.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ.

Ужъ я ходилъ-ходилъ,—ходилъ-ходилъ по этой залѣ, нѣтъ ни отвѣта, ни привѣта, и казачокъ совсѣмъ какъ сквозь землю провалился.

Наконецъ растворяется дверь и казачокъ тихо подходитъ на цыпочкахъ и шепчетъ:

— Баринъ, говоритъ,—изволятъ спрашивать: вы по дѣлу или безъ дѣла?

Чортъ знаетъ, думаю, что̀ на это отвѣчать! Скажу, однако, если онъ бьетъ на такую офиціальность, что пріѣхалъ по дѣлу.

Малецъ пошелъ и опять выходитъ и говоритъ: «по дѣлу пожалуйте въ присутствіе».

— Ну, молъ,—такъ поди скажи, что я безъ дѣла.

Пошелъ, но и опять является.

— Какъ, говоритъ,—ваша фамилія?

— Ватажковъ, говорю,—Ватажковъ, я же тебѣ сказалъ, что Ватажковъ.

Юркнулъ малецъ и возвращается съ отвѣтомъ, что барин-де сказалъ, что они никакого Сапожкова не знаютъ.

То-есть просто изъ терпѣнія вывели!..

Разсвирѣпѣлъ я, завязалъ мальчишкѣ дурака, и ухожу, какъ вдругъ слышу добродушнымъ голосомъ кричатъ:

— Ахъ, ты, заморская птица! Орестъ Марковичъ! воротись, братъ, воротись. Я вѣдь думалъ, что чортъ знаетъ кто, что съ докладомъ входишь?

Гляжу, въ окнѣ красуется Василій Ивановичъ Фортунатовъ,—толстъ, сѣдъ, сопитъ и весь лоснится.

Возвращаюсь я, и облобызались.

Обыкновенные вопросы: что ты, какъ ты, откуда, давно ли, надолго ли? Отвѣтивъ на этотъ допросъ впопадъ и невпопадъ, начинаю самъ любопытствовать.

— Какъ ты? говорю. — Я вѣдь тебя оставилъ соціалистомъ, республиканцемъ и спичкой, а теперь ты цѣлая бочка.

— Ожирѣлъ, братъ, отвѣчаетъ,—ожирѣлъ и одышка замучила.

— А убѣжденія, молъ, каковы?

— Какія же убѣжденія: вонъ старшему сыну шестнадцатый годъ, — ужъ за сестриными горничными волочится, а второму четырнадцать; все своимъ хребтомъ воздоилъ и, видишь, домишко себѣ сколотилъ, — теперь пропріетеръ.

— Отчего же это ты по новымъ учрежденіямъ-то не служишь, ни по судебной части, и не ищешь мѣста по земству?

— Зачѣмъ? пусть молодые послужатъ, а я вотъ еще годокъ—да въ монастырь хочу.

— Ты въ монастырь? Развѣ ты овдовѣлъ?

— Нѣтъ, жена, слава Богу, здорова: да такъ, братъ... грѣхи юности-то пора какъ-нибудь на смарку пускать.

— Да вѣдь ты еще и не старъ.

— Старъ не старъ, а около пяти десятковъ вертится, а, главное, все надоѣло. Модныя эти учрежденія, модные люди... ну, ихъ совсѣмъ къ Богу!

— А что такое? Обижаютъ тебя, что ли?

— Нѣтъ, не то, что обижаютъ... Обижать-то гдѣ имъ обижать. Ужъ тоже хватилъ «обижать»! Кто-о? Сами къ ставцу лицомъ сѣсть не умѣютъ, да имъ меня обижать? Тьфу!.. мы ихъ и сами еще забидимъ. Нѣтъ, братъ, не обижаютъ, а такъ...—Фортунатовъ вздохнулъ и добавилъ:— Довольно грѣшить.

Показалось мнѣ, что старый пріятель мой не только со мною хитритъ и лицемѣритъ, но даже и не задаетъ себѣ труда врать поскладнѣе, и потому, чтобы положить этому конецъ, я прямо перешелъ къ моей запискѣ, которую я долженъ составить, и говорю, что прошу у него совѣта.

— Нѣтъ, душа моя,—отвѣчаетъ онъ:—это по части новыхъ людей,—къ нимъ обращайся, а я къ такимъ дѣламъ не касаюсь.

— Да я къ новымъ-то ужъ обращался.

— Ну и что же: много умнаго наслушался.

Я разсказалъ.

Фортунатовъ расхохотался.

— Ахъ, вы, прохвосты этакіе, а еще какъ свиньи небо скопать хотятъ! Мы вонъ вчера одного изъ нихъ въ сумасшедшій домъ посадили, и всѣхъ бы ихъ туда въ пору.

— А кого это, спрашиваю,—вы посадили въ сумасшедшій домъ?

— Становишку одного, Васильева.

— Боже мой! Вѣдь я его знаю!—Философъ.

— Ну, вотъ онъ и есть. Философію знаетъ и богословію, всего Макарія выштудировалъ и на службѣ состоитъ, а не зналъ, что мы на богослововъ-то не надѣемся, а сами отцовское восточное православіе оберегаемъ и у насъ господствующей вѣры нельзя перемѣнять. Подъ судъ вѣдь угодилъ бы, поросенокъ цуцкой, и если бы «новымъ людямъ», невѣрующимъ въ Бога, его отдать—засудили бы по законамъ; а вѣдь все же онъ человѣчишко! Я по-старинѣ направилъ все это на пунктъ помѣшательства.

— Ну?

— Ну, освидѣтельствовали его вчера и, убѣдивши его, что онъ не богословъ, а *богъ словъ*, посадили на-время въ сумасшедшій домъ.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ.

У меня невольно вырвалось восклицаніе о странной судьбѣ несчастнаго Васильева, но Фортунатовъ остановилъ меня тѣмъ, что Васильеву только надо благодарить Бога, что для него все разрѣшилось сумасшедшимъ домомъ.

— И то, говоритъ, — вѣдь тутъ, братъ, надо было это поворотить, потому на него, вѣдь поди-ка ты, истцы-то три

власти: судъ, администрація и духовное начальство, — а ихъ, небось, самъ Соломонъ не помиритъ.

— Не ладятъ?

— И не говори лучше: просто котораго ни возьми—что твой Навуходоносоръ!.. коренье изъ земли норовитъ все выворотить.

— Губернаторъ каковъ у васъ?

Фортунатовъ махнулъ рукой.

— Сдѣлай, говоритъ,—ему визитъ, посмотри на него, а, главное, послушай,—поетъ курскаго соловья прекраснѣе.

— Да я, отвѣчаю,—и то непремѣнно поѣду.

— Посовѣтоваться... вотъ это молодецъ! Сдѣлай милость, голубчикъ, поѣзжай! То-есть разуважишь ты его въ конецъ и будешь первый его другъ и пріятель, и не оглянешься, какъ онъ первое мѣсто тебѣ предложитъ. Страсть любитъ свѣжихъ людей, а черезъ полгода выгонитъ. Злою страстью обуянъ къ перемѣнамъ. Архіерей нашъ ономедни ему махнулъ: «Полагаю, говоритъ, ваше превосходительство, что если бы вы сами у себя подъ начальствомъ находились, то вы и самого себя смѣнили бы?»—Вотъ, батюшка, кому бы нашимъ Пальмерстономъ-то быть, а онъ въ рясѣ. Ты когда у губернатора будешь, Боже тебя сохрани: ни одного слова про архіерея не обмолвись, — потому что послѣ того, какъ тотъ ему не допустилъ перемазать храмовъ, онъ теперь яростный врагъ церкви, черезъ что мнѣ Богъ помогъ и станового Васильева отъ тюрьмы спасти и въ сумасшедшій домъ пристроить.

— Позволь же, говорю, — пожалуйста, какъ же ты уживаешься съ такимъ губернаторомъ?

— А что такое?

— Да отчего же онъ тебя не смѣнитъ, если онъ всѣхъ смѣняетъ?

— А меня ему зачѣмъ же смѣнять? Онъ только однихъ способныхъ людей смѣняетъ, которые за дѣло берутся съ рвеніемъ съ особеннымъ, съ талантомъ и со тщаніемъ. Эти на него угодить не могутъ. Они ему сдѣлаютъ хорошо, а онъ ждетъ, чтобъ они что-нибудь еще лучше отличились,—чудо сверхъестественное чтобы ему показать; а такъ какъ чуда изъ юда не сдѣлаешь, то послѣ сколь хорошо они ни исполняй, ужъ ему все это нипочемъ — свѣжаго ищетъ; ну, а какъ всѣхъ ихъ, способныхъ-то, поразгонитъ, тогда опять

за всѣхъ за нихъ я одинъ, неспособный, и дѣйствую. Способностей своихъ я не неволю и старанья тоже; валю какъ попало черезъ пень колоду, — онъ и доволенъ: «при васъ, говоритъ, я всегда покоенъ». Такъ и тебѣ мое опытное благословеніе: если хочешь быть нынѣшнему начальству прелюбезенъ и дѣлу полезенъ, не прилагай, сдѣлай милость, ни къ чему великаго раченія, потому хоша этимъ у насъ и хвастаются, что будто способныхъ людей ищутъ, но все это вздоръ,—нашему начальству способные люди тягостны. А ты пойди, пожалуй, къ губернатору, посовѣтуйся съ нимъ для его забавы, да и скопни свою записку ногой, какъ копнется. Чортъ съ нею: придетъ время, все само устроится.

— Ну, нѣтъ, говорю, — я какъ-нибудь не хочу. Тогда лучше совсѣмъ отказаться.

— Ну, какъ знаешь; только послушай же меня: повремени, не докучай никому и не серьезничай. Самое главное, не серьезничай, а то, братъ... надоѣшь всѣмъ такъ,—извини,—тогда и я отъ тебя отрекусь. Поживи, посмотри на насъ: съ кѣмъ тутъ серьезничать-то станешь? А я межъ тѣмъ губернаторшѣ скажу, что способный человѣкъ пріѣхалъ, и въ аппетитъ ихъ введу на тебя посмотрѣть,—вотъ тогда ты и поѣзжай.

«Что же, разсуждаю,—такъ ли, не такъ ли, а въ самомъ дѣлѣ немножко оріентироваться въ городѣ не мѣшаетъ».

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ВОСЬМАЯ.

Живу около недѣли и прислушиваюсь. Дѣйствительно, мой старый пріятель Фортунатовъ правъ: мирнымъ временемъ жизнь эту совсѣмъ нельзя назвать: перестрѣлка идетъ безумолчная.

Въ первые дни моего здѣсь пребыванія всѣ были заняты бенефисомъ станового Васильева, а потомъ тотчасъ же занялись другимъ бенефисомъ, устроеннымъ однимъ мировымъ судьею полицеймейстеру. Судьи праведные считаютъ своимъ призваніемъ строить рожны полиціи, а полиція платитъ тѣмъ же судьямъ; всѣ другъ другу «доказываютъ», и случаевъ «доказывать» имъ цѣлая бездна. Одинъ такой какъ изъ колеса выпалъ въ самый день моего пріѣзда. Передъ самою полиціей подрались купецъ съ мѣщаниномъ. За что у нихъ началась схватка—неизвѣстно; полиція застала дѣло

въ томъ положеніи, что здоровый купецъ даетъ пуплому мѣщанину оплеуху; а тотъ падаетъ, поднимается и, вставая, говоритъ:

— Ну, бэй еще!

Купецъ безъ затрудненія удовлетворяетъ его просьбу; мѣщанинъ снова падаетъ, и снова поднимается и кричитъ:

— А ну, бей еще!

Купецъ и опять ему не отказываетъ.

— Ну, бей, бей! пожалуйста, бей!

Купецъ бьетъ, бьетъ; дѣло заходитъ въ азартъ: одинъ колотитъ, другой проситъ бить, и такъ до истощенія силъ съ одной стороны и до облитія кровью съ другой. Полиція составляетъ актъ и передаетъ его вмѣстѣ съ виновными мировому судьѣ. Начинается разбирательство: купца защищалъ учитель естественныхъ наукъ и, какъ вы думаете, чѣмъ онъ защищалъ? Естественными науками. Нимало не отвергая того, что купецъ билъ, и даже сильно билъ мѣщанина, учитель поставилъ судьѣ на видъ, что купецъ вовсе не наносилъ никакой обиды дѣйствіемъ и дѣлалъ этимъ не что иное, какъ такую именно услугу мѣщанину, о которой тотъ его неотступно просилъ при самихъ служителяхъ полиціи, — услугу, которой послѣдніе не поняли и, по непонятливости своей, приняли въ преступленіе.

— Одно,—говорилъ защитникъ:—купца можно бы еще обвинить въ глупости, что онъ исполнилъ глупую просьбу, но и это невозможно, потому что купцу просьба мѣщанина, — чтобы его бить, — могла показаться самою законною, ибо купецъ, находясь выше мѣщанина по степени развитія, зналъ, что многіе нервные субъекты нуждаются въ причиненіи имъ физической боли и успокаиваются только послѣ ударовъ, составляющихъ для нихъ, такъ сказать, благодѣяніе.

Судья все это выслушалъ и нашелъ, что купецъ, дѣйствительно, могъ быть вовлеченъ въ драку единственно просьбою мѣщанина его побить и, на основаніи физіологической потребности послѣдняго быть битымъ, освободилъ драчуна отъ всякой отвѣтственности. Въ городѣ заговорили, что «судья молодецъ», а черезъ недѣлю полицеймейстеръ сталъ разсказывать, что будто «послѣ того, какъ

у него побывалъ случайно по одному дѣлу этотъ мировой судья, у него, полицеймейстера, пропали со стола золотые часы, и пропали такъ, что онъ ихъ и искать не можетъ, хотя знаетъ, гдѣ они». Полицеймейстеру замѣтили, что распускать такіе слухи очень неловко, но полицеймейстеръ отвѣчалъ:

— Что же я такое сказалъ? Я вѣдь говорю, что *послѣ него* часы пропали, а не то, чтобы онъ взялъ... Это ничего.

Въ городѣ заговорили:

— Молодецъ полицеймейстеръ!

А вечеромъ разнесся слухъ, что мировой судья купилъ себѣ въ единственномъ здѣшнемъ оружейномъ магазинѣ единственный револьверъ и зарядилъ его порохомъ, хотя и безъ пуль, а полицеймейстеръ велѣлъ пожарному слесарю отпустить свою черкесскую шашку и запереть ее къ себѣ въ гардеробный шкафъ.

Въ городѣ положительно ожидаютъ катастрофы.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ.

Я почувствовалъ себя смущеннымъ и пошелъ къ Фортунатову съ повинной головой.

— А что, говоритъ,—братецъ, правъ я или нѣтъ?.. Да посмотри: то ли еще увидишь? Ты вотъ изволь-ка завтра снаряжаться на большое представленіе.

— Куда это?

— А, братъ, начальникъ губерніи съ начальницей сами тебя восхотѣли видѣть! Ты вѣдь, небось, обо мнѣ какъ думаешь? а я тебя восхвалилъ какъ сваха: способнѣйшій, говорю,—человѣкъ и при этомъ ученъ, много начитанъ, жилъ за границею и—извини меня—преестественная, говорю,—шельма!

— Ну, это ты зачѣмъ же?

— Нѣтъ, а ты молчи-ка. Я вѣдь, разумѣется, тамъ не такъ, а гораздо помягче говорилъ, но только въ этомъ родѣ чувствовать далъ. Такъ, другъ, оба и вскочили, и онъ, и она: подавай, говорятъ, — намъ сейчасъ этого способнаго человѣка! «Служить не желаетъ ли?» Не знаю, молъ, но не надѣюсь, потому что онъ человѣкъ съ состояніемъ независимымъ. — «Это-то и нужно! мнѣ именно это-то и нужно, кричитъ, — чтобы меня окружали люди съ независимымъ состояніемъ».

— Очень мнѣ нужно его «окружать»!

— Нѣтъ, ты постой, что̀ дальше-то будетъ. Я говорю: да онъ, опричь того, ваше превосходительство, и съ норовомъ независимымъ, а это вѣдь, молъ, на службѣ не годится.—«Какъ, что за вздоръ? отчего не годится?» — Правило-де такое китайскаго философа Конфуція есть: по-китайски оно такъ читается: «чинъ чина почитай».—«Вздоръ, это чинопочитаніе! кричитъ.—Это-то все у насъ и портитъ»... Слышишь ты?.. Ей-Богу: такъ и говоритъ, что «это вздоръ»... Ты иди къ нему, сдѣлай милость, завтра, а то онъ весь исхудаетъ.

— Да зачѣмъ ты все это, любезный другъ, сдѣлалъ? Зачѣмъ ты ихъ на меня настрочилъ?

— Ишь ты, ишь! Что же ты не самъ развѣ собирался ему визитъ сдѣлать? Ну, вотъ и иди теперь, и встрѣча тебѣ готова, а ужъ что, братъ, сама-то начальница...

— Что?

— Нѣтъ, ты меня оставь на минуту, потому мнѣ ее, бѣдняжку, даже жалко.

— Да полно гримасничать!

— Чего, братъ, гримасничать? Истинно правда. Ей способности въ человѣкѣ всего дороже: она вѣдь въ Петербургѣ женскую сапожную мастерскую «на разумно экономическихъ началахъ» заводила; да вотъ, отозвали ее оттуда на это̀ губернаторство сюда къ супругу со всѣми ея физіологическими колодками. Но душой она все еще тамъ, тамъ въ Петербургѣ, съ способными людьми. Наслушавшись про тебя, такъ и киваетъ локонами: «Василій Ивановичъ, думали ли вы, говоритъ, когда-нибудь надъ тѣмъ... она всегда думаетъ *надъ* чѣмъ-нибудь, а не о *чемъ*-нибудь,— думали ли вы надъ тѣмъ, что если бъ очень способнаго человѣка соединить съ очень способной женщиной, что̀ бы отъ нихъ могло произойти?» Вотъ тутъ, извини, я ужъ тебѣ немножко подгадилъ: я знаю, что ей все хочется имѣть некрещеныхъ дѣтей, и чтобъ непремѣнно «отъ неизвѣстнаго», и чтобъ одно чадо, сынъ, называлося «Трудъ», а другое, дочь— «Сѣкора». Зная это, въ твоихъ интересахъ, разумѣется, надо было отвѣчать ей: что «отъ соединенія двухъ способныхъ людей геній произойдетъ», а я ударилъ въ противную сторону и охранилъ начальство. Пустяки, говорю, ваше превосходительство: плюсъ на плюсъ даетъ минусъ.—«Ахъ,

правда!...» А я и самъ алгебру-то позабылъ и не знаю, правда или неправда, что плюсъ на плюсъ даетъ минусъ: да ничего: женщинъ математикой только жигани, — онѣ страсть этой штуки боятся.

«О, чортъ тебя возьми, думаю,—что онъ тамъ навстрѣчу мнѣ наболталъ и наготовилъ, а я теперь являйся и расхлебывай!—Ну, да ладно же, думаю, другъ мой сердечный: придется тебѣ брать свои похвалы назадъ», и самъ рѣшилъ сдѣлать завтра визитъ самый сухой и самый короткій.

А... а все-таки долженъ вамъ сознаться, что ночь послѣ этого провелъ прескверно и въ перерывчатомъ снѣ видѣлъ льва. Что бы это такое значило? Посылалъ къ хозяину гостиницы попросить, нѣтъ ли сонника? Но хозяйская дочка даже обидѣлась и отвѣчала, что «она такими глупостями не занимается». Рѣшительно нѣтъ никакой надежды предусмотрѣть свою судьбу,—и я поѣхалъ лицомъ къ лицу открывать, что сей сонъ обозначаетъ?

ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ.

Переносясь воспоминаніями къ этому многознаменательному дню моей жизни, я прежде всего вижу себя въ очень большой залѣ, среди густой и пестрой толпы, съ перваго взгляда какъ нельзя больше напомнившей мнѣ группы изъ сцены на днѣ моря въ балетѣ *Конекъ-Горбунокъ*. Самое совмѣщеніе обитателей водъ было такъ же несообразно, какъ въ упомянутомъ балетѣ: тутъ двигались въ видѣ крупныхъ бѣлотѣлыхъ судаковъ массивные толстопузые совѣтники; полудремалъ въ углѣ жирный, черный налимъ въ длинномъ купеческомъ сюртукѣ, только изрѣдка дуновеніемъ устъ отгонявшій отъ себя неотвязную муху; вдоль стѣны въ рядъ на стульяхъ сидѣли смиренными плотицами разнокалиберныя просительницы, — всѣ съ одинаково утомленнымъ и утомляющимъ видомъ; изъ угла въ уголъ по залѣ, какъ ершъ съ карасемъ, бѣгали взадъ и впередъ курносая барышня-просительница въ венгерскихъ сапожкахъ и сѣромъ платьицѣ, подобранномъ на пажи, съ молодымъ гусаромъ въ венгеркѣ съ золотыми шнурками. Эта пара горячо разсуждала о комъ-то, кто «заѣденъ средою», и при поворотѣ оба вдругъ въ тактъ пощелкивали себя сложенными листами своихъ просьбъ, гусаръ сзади по ляжкѣ, а барышня спереди по кораблику своего корсета, служившаго ей въ этомъ слу-

чаѣ кирасою. У окна, на самомъ горячемъ солнопекѣ, сидѣлъ совсѣмъ ослизшій пескарь,—бѣлый человѣчекъ, лѣтъ двадцати, обливавшійся потомъ; онъ все пробовалъ читать какую-то газету и засыпалъ. У другого окна цѣлая группа: шилистая, востроносая, пестрая щука въ кавалерійскомъ полковничьемъ мундирѣ полусидѣла на подоконникѣ, а передъ нею, сложа на груди руки, вертѣлся красноглазый окунь въ армейскомъ пѣхотномъ мундирѣ. Правый и лѣвый флангъ занимали выстроившіяся шпалерами мелкія рыбки въ родѣ снятковъ. Щука—это былъ полицеймейстеръ, окунь... былъ окунь, а мелочь улыбалась, глядя въ большой ротъ востроносаго полицеймейстера, и наперерывъ старалась уловить его намѣреніе сострить надъ окунемъ. Бѣдный, жалкій, но довольно плутоватый офицеръ, не сводя глазъ съ полицеймейстера, безумолчно лепеталъ оправдательныя рѣчи, часто крестясь и произнося то имя Божіе, то имя какой-то Авдотьи Гордѣвны, у которой онъ якобы по всей совѣсти вчера былъ на террасѣ, и потому въ это самое время «физически» не могъ участвовать въ подбитіи морды Катькѣ-Чернявкѣ, которая, впрочемъ, какъ допускалъ онъ, можетъ-быть, и весьма того заслуживала, чтобъ ее побили, потому что, привыкши обращаться съ приказными да съ купеческими дѣтьми, она думаетъ, что точно такъ же можетъ дѣлать и съ офицерами, и за то и поплатилась.

Въ этой группѣ разговоръ не умолкалъ. Хотя сама героиня Катька-Чернявка скоро была позабыта, но зато всѣ безпрестанно упоминали Авдотью Гордѣвну и тѣшились. Я узналъ при семъ случаѣ, что Авдотья Гордѣвна бѣла какъ сахаръ, вдова тридцати лѣтъ и любитъ наливочку, а когда выпьетъ, то становится такъ добра, что хоть всю ее разбери тогда, она слова не скажетъ. Вдали отсюда шуршали четыре черные, мрачные рака въ образѣ заштатныхъ чиновниковъ. Стоя у самой входной двери, они все-таки еще, вѣроятно, находили свое положеніе слишкомъ выдающимся и, постоянно перешептываясь, пятились другъ за друга назадъ и заводили клешни. Я прислушался къ ихъ шопоту: одинъ ракъ жаловался, что его приставъ совсѣмъ напрасно обвинилъ, будто онъ ночью подбилъ старый лубокъ къ щели своей крыши; а другой, заикаясь и трясясь, повторялъ все только одно слово «въ заштатъ». У самыхъ дверей сидѣли два духовныя лица: городской кладбищенскій священникъ

и сельскій дьяконъ, и разсуждали между собою, какъ придется новая реформа приходскимъ и кладбищенскимъ. Причемъ городской кладбищенскій священникъ все останавливался предъ тѣмъ, что «какъ же, молъ, это: вѣдь у насъ нѣтъ прихода, а одни мертвецы?» Но сельскій дьяконъ успокоивалъ его, говоря: «а мы доселѣ и живыми, и мертвыми обладали, но вотъ теперь сразу всего лишимся».

Къ этой парѣ вдругъ вырвался изъ дверей и подскочилъ высокій, худощавый брюнетъ въ черномъ, просаленномъ фракѣ. Онъ склонился передъ священникомъ и съ сильнымъ польскимъ акцентомъ проговорилъ:

— Э-э, покорнѣйше васъ прошу благословить.

Священникъ немного смѣшался, привсталъ и, поддерживая лѣвою рукой правый рукавъ рясы, благословилъ.

Вошедшій обратился съ просьбой о благословеніи и къ дьякону. Дьяконъ извинился. Пришлецъ распрямился и, не говоря болѣе ни одного слова, отошелъ къ печкѣ. Здѣсь, какъ обтянутый черною эмалью, стоялъ онъ по-наполеоновски, скрестя руки, съ рыжеватой шляпой у груди, и то жался, то распрямлялся, поднималъ вверхъ голову и вдругъ опускалъ ее, ворошилъ длиннымъ, внизъ направленнымъ, польскимъ усомъ и заворачивался въ сторону.

Становилось жарко и душно, какъ въ полдень подъ лопухомъ, всѣ начали притихать: только мухи жужжали и рты всѣмъ кривила зѣвота.

Но всеблагое Провидѣніе, вѣдающее мѣру человѣческаго терпѣнія, смилостивилось: зеленыя суконныя портьеры, закрывавшія дверь противоположнаго входу конца покоя, распахнулись, и вдоль залы, быстро кося ножками, прожегъ маленькій борзый паучокъ, таща подъ мышкой синюю папку съ надписью: «къ докладу» и прежде, чѣмъ онъ скрылся, въ тѣхъ же самыхъ темныхъ полотнищахъ сукна, откуда онъ выскочилъ, заколыхался огромный китъ... Этотъ китъ былъ другъ мой, Василій Ивановичъ Фортунатовъ. Онъ сталъ, окинулъ глазами залу, пошевелилъ изъ стороны въ сторону челюстями и уплылъ назадъ за сукно.

Въ залѣ все стихло; даже гусаръ съ барышней стали въ шеренгу и только окунь хватилъ-было: «физически Катьку не могъ я прибить», но ему разомъ шикнуло нѣсколько голосовъ, и прежде, чѣмъ я понялъ причину этого шика, предъ завѣшенными дверями стоялъ истый неподдѣльный,

вареный, красный омаръ во фракѣ съ отличіемъ; за нимъ водилъ челюстями Фортунатовъ, а предъ нимъ, выгибаясь и щелкая каблукъ о каблукъ, расшаркивался полякъ.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ.

Фортунатовъ пошепталъ губернатору на ухо и показалъ на меня глазами.

Губернаторъ сощурился, посмотрѣлъ въ мою сторону и, свертывая ротикъ трубочкой, процѣдилъ:

— Я, кажется, вижу господина Ватажкова?

Я подошелъ, раскланялся и утвердилъ его превосходительство въ его догадкѣ.

Губернаторъ подалъ мнѣ руку, ласково улыбнулся и потянулъ меня въ портьерѣ, сказавъ:

— Я сейчасъ буду.

Фортунатовъ шепнулъ мнѣ:

— Ползи въ кабинетъ,—и какимъ-то непостижимо ловкимъ пріемомъ, однимъ указательнымъ пальцемъ втолкнулъ меня за портьеру.

Здѣсь мнѣ, конечно, нельзя было оставаться между портьерой и дверью: я налегъ на ручку и смѣшался... Передо мной открылась большая наугольная комната съ тремя письменными столами: одинъ большой посрединѣ, а два меньшіе—у стѣнъ, съ конторкой, заваленною бумагами, съ оттоманами, корзинами, сонетами, этажеркой, уставленною томами словаря Толя и исторіи Шлоссера, съ пуговками электрическихъ звонковъ, темною и несхожею копіей съ картины Рибейры, изображающей св. Севастіана, пронзеннаго стрѣлой, съ дурно написанною въ овалѣ головкой графини Ченчи и олеографіей тройки Вернета, — этими тремя неотразимыми произведеніями, почти повсемѣстно и въ провинціяхъ, и въ столицахъ репрезентующими любовь къ живописи ничего не понимающихъ въ искусствѣ хозяевъ. Эти три картины, съ которыми, конечно, каждому доводилось встрѣчаться въ чиновничьихъ домахъ, всегда производили на меня точно такое впечатлѣніе, какое должны были ощущать сказочные русскіе витязи, встрѣчавшіе на распутьи столбы съ тремя надписями: «самому ли быть убиту, или коню быть съѣдену, или обоимъ въ плѣнъ попасть». Тутъ: или быть пронзеннымъ стрѣлою, какъ св. Севастіанъ и какъ онъ же ждать себѣ помощи отъ одного неба, или совершать

преступленіе надъ преступникомъ и презирать тѣхъ, кто тебя презираетъ, какъ сдѣлала юная графиня Ченчи, или нестись отсюда по доламъ, горамъ, скованнымъ морозомъ рѣкамъ и перелогамъ на бѣшеной тройкѣ, вовсе не мечтая ни о Свѣтланиномъ снѣ, ни о «бѣдной Танѣ», какая всякому когда-либо мерещилась, нестись и нестись, даже не испытуя по-гоголевски: «Русь, куда стремишься ты?» а просто... «колокольчикъ динь-динь-динь средь невѣдомыхъ равнинъ»... Но все дѣло не въ томъ и не это меня остановило и не объ этомъ я размышлялъ, когда, отворивъ дверь губернаторскаго кабинета среди описанной обстановки, увидѣлъ предъ самымъ большимъ письменнымъ столомъ высокое съ рѣзными украшеніями кресло, обитое краснымъ сафьяномъ, и на немъ... настоящаго геральдическаго льва, какихъ рисуютъ въ щитахъ гербовъ. Левъ окинулъ меня суровымъ взглядомъ въ стеклышко и, вмѣсто всякаго привѣтствія, прорычалъ:

— Докладъ уже конченъ и губернаторъ болѣе заниматься не будетъ.

Я еще не собрался ничего на это отвѣчать, какъ въ кабинетъ вскочилъ Фортунатовъ и, подбѣжавъ ко льву, назвалъ мою фамилію и опять выкатилъ тѣми же пятами.

Левъ приподнялся, движеніемъ брови выпустилъ изъ орбиты стеклышко и... вмѣстѣ съ тѣмъ изъ него все какъ будто выпало: теперь я видѣлъ, что эта была просто женщина, еще не старая, некрасивая, съ черными локонами, крупными чертами лица и повелительнымъ твердымъ выраженіемъ лица. Одѣта она была строго, въ черное шелковое платье безъ всякаго банта за спиной; однимъ словомъ, это была губернаторша.

Она довольно привѣтливо для ея геральдическаго величія протянула мнѣ руку и спросила, давно ли я изъ-за границы, гдѣ жилъ и чѣмъ занимался? Получивъ отъ меня на послѣдній вопросъ отвѣтъ, что я отставнымъ корнетомъ пошелъ доучиваться въ Бонскій университетъ, она меня за это похвалила и затѣмъ прямо спросила:

— А скажите, пожалуйста, много ли въ Боннѣ поляковъ?

Я отвѣчалъ, что на мой взглядъ ихъ всего болѣе учится военнымъ наукамъ въ Мецѣ.

— Несчастные, даже учатся военнымъ наукамъ, но имъ

все, все должно простить, даже это тяготѣніе къ школѣ убійствъ. Имъ попрежнему сочувствуютъ въ Европѣ?

— Кто не знаетъ сущности ихъ притязаній, тѣ сочувствуютъ.

— Вы не такъ говорите, — остановила меня губернаторша.

— Я вамъ сообщаю, что̀ видѣлъ.

— Совсѣмъ не въ томъ дѣло: на нихъ, какъ и на всю нашу несчастную молодежь, направлены всѣ осадныя орудія: родной деспотизмъ, народность и православіе. Это омерзительно! Что же дѣлаютъ заграничныя общества въ пользу поляковъ?

— Кажется ничего.

— А у насъ въ Петербургѣ?

Я отвѣчалъ, что вовсе не зналъ въ Петербургѣ такихъ обществъ, которыя блюдутъ польскую справу.

— Они были,—таинственно уронила губернаторша и добавила:—но, разумѣется, всѣ они имѣли другія названія и дѣйствовали для вида въ другихъ будто бы цѣляхъ. Зато здѣсь, въ провинціяхъ, до сихъ поръ еще ничего подобнаго... нѣтъ, и тутъ эти несчастные люди гибнутъ, а мы, глядя на нихъ, лишь восклицаемъ: «кровь ихъ на насъ и на чадѣхъ нашихъ». Я не могу... нѣтъ, рѣшительно не могу привыкнуть къ этой новой должности: я не разъ говорила Егору Егоровичу (такъ зовутъ губернатора): «брось ты, Жоржъ, это все. Умоляю тебя, хоть для меня брось, потому что иначе я не могу, потому что на тебѣ кровь... Напиши откровенно и прямо, что ты этого не можешь: и брось, потому что... что же это такое, до чего же наконецъ будетъ расходиться у всѣхъ слово съ дѣломъ? На насъ кровь... брось, умой руки, и мы выйдемъ чисты.»

Я замѣтилъ, что у супруга ея превосходительства прекрасная должность, на которой можно дѣлать много добра.

— Полноте, Бога ради, что̀ это за должность! Что̀ такое теперь губернаторская власть? Это миражъ, призракъ, одинъ обликъ власти. Тутъ власть на власти; одни предводители со своимъ земскимъ настроеніемъ съ ума сведутъ. Гмъ, крѣпостники, а туда же «мы» да мы. Мой мужъ, конечно, не позволитъ, но одному губернатору предводитель сказалъ: «вы здѣсь калифъ на часъ, а я земскій человѣкъ». Каково-съ! А Петербургъ и совсѣмъ все перевертываетъ по-своему, и пе-

ревертываетъ никого не спросясь. Зачѣмъ же тогда губернаторы? Не нужно ихъ вовсе, если такъ. Нѣтъ, это самое непріятное мѣсто, и я имъ совершенно недовольна; разумѣется, если Егоръ Егоровичъ говоритъ, что это нужно для будущаго, то я въ его мужскія дѣла не мѣшаюсь, но все что̀ я вижу, все во что̀ я вникаю въ теченіе дѣлъ по его должности, то, по-моему, это такая мизерность, которою способному человѣку даже стыдно заниматься.

— Какія же мѣста вамъ, спрашиваю,—нравятся больше губернаторскихъ?

— Ахъ, Боже мой! да мало ли нынче дѣлъ для способнаго человѣка: идти въ нотаріусы, идти въ маклера, въ повѣренные по дѣламъ, — у насъ вѣдь есть связи: наконецъ, издавай газету или журналъ, и громи, и разбивай, и поднимай вопросы, и служи такимъ образомъ молодому поколѣнію, а не правительству.

Въ это время разговоръ нашъ прервался приходомъ губернатора, который возвратился съ видомъ тяжкаго утомленія и, пожавъ мнѣ молча съ большимъ сочувствіемъ руку, бережно усадилъ меня въ кресло.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ВТОРАЯ.

— Мы говоримъ здѣсь, Грегуаръ, о тебѣ,—начала губернаторша.—Господинъ Ватажковъ находитъ, что твое мѣсто лучшее изъ всѣхъ, на какое ты могъ бы разсчитывать.

Я поспѣшилъ поправить редакцію этой фразы и возстановилъ свои слова въ ихъ точномъ смыслѣ.

— Помилуйте, мало ли дѣла теперь способному человѣку,— отвѣчалъ мнѣ, махнувъ рукою, губернаторъ и сейчасъ же добавилъ:—но я ничего не имѣю и противъ этого мѣста; и здѣсь способный человѣкъ могъ бы, и очень бы могъ, кое-что дѣлать, если бы только не эта вѣчная путаница всѣхъ словъ, инструкцій, требованій и... потомъ эти наши суды-съ!..— Губернаторъ зажмурилъ глаза и пожалъ плечами.—Вы здѣсь уже нѣсколько дней, такъ вы должны были слышать о разбирательствѣ купца, избившаго мѣщанина по его яко бы собственной просьбѣ?

Я отвѣчалъ, что мнѣ это извѣстно.

— Это верхъ совершенства!—воскликнулъ губернаторъ и, захохотавъ, добавилъ:—А еще хотимъ всѣхъ ру-с-си-фи-цировать... А кстати,—обернулся онъ къ женѣ:—ты знаешь,

нашъ фортепіанный настройщикъ совсѣмъ руссифицировался,—принялъ православіе, а потому проситъ объ опредѣленіи.

Губернаторъ въ послѣдней фразѣ очень хорошо передразнилъ видѣннаго мною полячка, а губернаторша въ это время вскинула въ глазъ стеклышко и передо мною опять явился самый грозный геральдическій левъ.

— И ты, Грегуаръ, дашь ему какое-нибудь мѣсто? —спросила она строго мужа.

— Ну, не знаю, другъ мой... пока еще ничего не знаю,— отвѣчалъ нѣсколько потерянно губернаторъ.

— Я надѣюсь, что не дашь.

— Это почему?

— Измѣннику! я этого не позволяю.

— Ну, вотъ видишь, какъ ты скора: не позволяешь полячку перемѣнить вѣры, не разобравши, для чего онъ это дѣлаетъ? Почему жъ ты не допускаешь, что у него это могло случиться и довольно искренно?

— Полно, Бога ради! Онъ не такъ глупъ, чтобы придавать значеніе поповской стрижкѣ: всѣ вѣры вздоръ, — творецъ всего кислородъ.

— Ну, хорошо, это такъ, я допускаю, что единственный богъ есть Богъ—кислородъ, но твой полячокъ бѣденъ... «жена и дзѣци», а имъ нужно дрова и свѣчи... Ахъ, какъ всѣ вы, господа, даже самые гуманнѣйшіе, въ сущности злы и нетерпимы! Ну, ну, сдѣлай бѣдный человѣкъ что-нибудь для того, чтобъ усвоить возможность воспользоваться положеніемъ дѣлъ... ну, ну, что вамъ отъ этого, très chaud или froid? Ничуть не бывало: вокругъ васъ все обстоитъ благополучно и ничто не волнуется, кромѣ собственной вашей нетерпимости. Удивительно, какъ это у насъ повсюду развился этотъ талантъ подуськивать,—проговорилъ онъ, оборачивая ко мнѣ довольное, благодушнымъ матомъ розоваго либерализма подернутое лицо. — Я часто, слушая похвалы нынѣшнему вѣку, говорю себѣ: нѣтъ, я старовѣръ! Помилуйте, что такое за прогрессъ въ этомъ воинственномъ настроеніи? Я тебя рву за руки, а ты меня тянешь за ноги... Гони, догоняй, бей!.. улёлё, ату-его, и все за что? За то, что ты какъ-нибудь не такъ крестишься, или не такъ думаешь... Помилуйте! помилуйте! что это такое? Ты полякъ, ты нѣмецъ, ты москаль... Да что это за вздоръ, я васъ

спрашиваю? Не все ли равно люди? Богъ, говорятъ, даже и жидовъ манной кормилъ, а теперь я долженъ всѣхъ ихъ изъ города выгнать... Я больше Бога, что ли? И это прогрессъ! И это *девятнадцатый вѣкъ!* Нѣтъ, я старовѣръ,— и неисправимый старовѣръ. И гдѣ здѣсь, не понимаю, дипломатическія соображенія? Я рѣшительно не знаю, чего смотрятъ у насъ? Помилуйте: намъ ли считаться, напримѣръ, съ Англіей? Гдѣ у насъ Дерби? Дайте мнѣ Дерби! Онъ у нихъ изъ плохенькихъ, но а намъ еще ничего-съ; намъ еще былъ бы хорошъ-съ! Дайте его мнѣ и я его приспособлю, но нѣтъ-съ его-съ, вотъ въ чемъ дѣло! Намъ ли ссориться съ кѣмъ-нибудь въ Европѣ, когда у насъ на свои самыя пустыя домашнія дѣла способныхъ людей нѣтъ. Гдѣ онъ у насъ *человѣкъ?* Я часто слышу о способныхъ людяхъ, но на чемъ же испытываются ихъ способности? Нѣтъ, дайте ему задачу... Да этого мало-съ; у насъ еще ни въ чемъ настоящаго движенія нѣтъ; у насъ никакой, ровно никакой жизни нѣтъ: все... фикціи, однѣ фикціи! Пожалуйста загляните только въ газеты... что это такое? Все вѣдь стоитъ! Развѣ это печать, которая всегда вертится вокругъ да около? А тутъ обрусеніе, армія, споры, Боккъ, Ѳадѣевъ, Ширренъ, Самаринъ, Скарятинъ, Катковъ... Что это, спрашиваю васъ, за особы?.. А о нихъ споръ, раздоръ, изъ-за нихъ дробленіе на партіи, а дѣла дѣлать некогда и некому. Нѣтъ-съ, я старовѣръ, и я сознательный старовѣръ, потому что я зналъ лучшее время, когда все это только разворачивалось и распочиналось; то было благородное время, когда въ Петербургѣ школа устраивалась возлѣ школы, и молодежь, и наши дамы, и я, и моя жена, и ея сестра... я былъ начальникомъ отдѣленія, а она была дочь директора... но мы всѣ, всѣ были *вмѣстѣ:* ни чиновъ, ни споровъ, ни попрековъ русскимъ или польскимъ происхожденіемъ и симпатіями, а всѣ заодно, и... вдругъ изъ Москвы пускаютъ интригу, развиваютъ ее, находятъ въ Петербургѣ пособниковъ и вотъ въ позапрошломъ году, когда меня послали сюда, на эту должность, я уже ничего не могъ сгруппировать въ Петербургѣ. Я хотѣлъ тамъ хорошенько обстановиться и пріѣхать сюда съ своими готовыми людьми, но, понимаете, этого уже нельзя, этого уже невозможно было сдѣлать, потому что всѣ на себя печати поналожили: тотъ абсолютистъ, тотъ консти-

туціонистъ, этотъ радикалъ... и каждый хочетъ, чтобы я держалъ его сторону... Да что это за вздоръ такой, господа? Къ чему, позвольте мнѣ узнать, я стану держать чью-нибудь сторону?.. Я вовсе не вижу на то причины! *Кто я* и *что я*, это дѣло моей совѣсти и должно оставаться моею тайной... И наконецъ, все это глупость; я понимаю абсолютизмъ, конечно, не по-кошелевски; я имѣю опредѣленныя чувства къ республикамъ извѣстнаго строя, къ республикамъ съ строгимъ и умнымъ правленіемъ, но... (губернаторъ развелъ руками), но... конституціонное правительство... извините меня, это чортъ знаетъ что!.. Но, впрочемъ, я и въ этомъ случаѣ способенъ не противорѣчить: учредите закрытую баллотировку, и тогда, я не утаюсь, тогда я выскажусь, и ясно выскажусь; я буду знать тогда куда положить мой шаръ, но... иначе высказываться, и притомъ еще высказываться теперь именно, когда начала всѣхъ, такъ сказать, направленій бродятъ и имѣютъ болѣе или менѣе сильныхъ адептовъ въ самыхъ вліятельныхъ сферахъ, и кто восторжествуетъ—неизвѣстно,— нѣтъ-съ, je vous fais mon compliment; я даромъ и себѣ, и семьѣ своей головы свернуть не хочу, и... наконецъ,—губернаторъ вздохнулъ и договорилъ:—и, наконецъ, я въ настоящую минуту убѣжденъ, что въ наше время возможно одно направленіе—христіанское, но не поповско-христіанское съ запахомъ конопляпаго масла и ладана, а высоко-христіанское, какъ я его понимаю...

Онъ сложилъ котелочкой два пальца лѣвой руки и, швыряя во всѣ стороны тихіе щелчки, отъ которыхъ будто должно было летать что-то въ родѣ благодати, шепталъ:

— Миръ, миръ и миръ, и на всѣ стороны миръ,—вотъ что должно быть нашею задачей въ данную минуту, потому что concordia parva res crescunt, — малыя вещи становятся великимъ согласіемъ, — вотъ что читается на червонцѣ, а мы это забываемъ, и за то у насъ нѣтъ ни согласія, ни червонцевъ. Вотъ вамъ и тема; садитесь и пишите!

Я молчалъ, а губернаторъ хлебнулъ воды и перевелъ духъ.

— Вамъ навязываютъ трудъ о сельскихъ больницахъ— заговорилъ онъ послѣ этой поправки. — Это всегда такъ у насъ; свѣжій, способный человѣкъ,—его сейчасъ и завалятъ хламомъ; нѣтъ, а вы дайте человѣку идти самому; пусть

онъ *самъ* беретъ себѣ вопросъ и работаетъ... Я разработать ничего не могу — некогда; я могу бросить мысль — вотъ мое дѣло,—и онъ опять началъ пускать на воздухъ щелчки...—Но я долженъ имѣть людей способныхъ поднять, подхватить мою мысль на лету и развить ее... тоже на лету, а такихъ людей нѣтъ, положительно нѣтъ. И, не забудьте, ихъ у насъ нигдѣ теперь нѣтъ! Ихъ у самого Горчакова нѣтъ... я, по крайней мѣрѣ, ихъ и тамъ не вижу. То же самое, что вездѣ-съ... Возятся со славянскимъ вопросомъ, и ни взадъ, ни впередъ! Развѣ такъ надо? Если бъ это вести какъ должно, то-есть, если бы не скрывать, что, съ одной стороны, панславистскій вопросъ — это вопросъ революціонный; что вообще національности — дѣло аристократическое, ибо мужику-съ все равно, русскій съ него подати беретъ, или не-русскій, а насильственно обрусить никого нельзя, потому что... былъ-съ вѣкъ созиданія искусственныхъ монархій, а теперь...

Губернаторъ бросилъ свои руки по разнымъ направленіямъ и проговорилъ:

— Теперь-съ вотъ что: теперь вѣкъ разъединенія всякихъ насильственныхъ политическихъ сцѣпленій, и противъ этого бороться глупо-съ... Извините, бросая мысли, я увлекаюсь, но вы это оформите мягче.

Я только поглядѣлъ на этого метателя... Нѣтъ, думаю, самъ, братъ, оформливай, что набросалъ.

Онъ, вѣроятно, замѣтилъ мое недоумѣніе и спросилъ, намѣренъ ли я служить.

— Нѣтъ, отвѣчаю,—отнюдь не намѣренъ.

— А почему?

Я хотѣлъ-было сказать, что неспособенъ; но, думаю, попадусь: скажетъ: «да неспособнымъ-то и служить», и отвѣтилъ, что мое здоровье плохо.

— Полноте, Бога ради! Нынѣшняя служба никого не изнуряетъ. Василій Ивановичъ говорилъ мнѣ, что вы нуждаетесь въ нѣкоторыхъ матеріалахъ для своей работы о больницахъ. Чудакъ этотъ Василій Ивановичъ!—вставилъ губернаторъ съ добродушною улыбкой. — Труженикъ вѣчный, а мастеръ — никогда! Я какъ увидѣлъ его — сказалъ это и не ошибся.

— А я его очень люблю,—сухо замѣтила губернаторша.

выбрасывая стеклышко изъ глазъ и дѣлаясь опять изъ страшнаго льва просто непріятной женщиной.

— И я, мой другъ, его люблю—отозвался губернаторъ:— но не могу же я его способностямъ давать больше цѣны, чѣмъ онѣ стоятъ. Не могу я ему ставить пять балловъ, когда ему слѣдуетъ два... только два! Онъ прекрасный человѣкъ, mais il est borné... онъ ограниченъ,—перевелъ мнѣ его превосходительство, и добавилъ, что онъ велѣлъ Фортунатову пустить меня въ канцелярію, гдѣ мнѣ «все откроютъ», и просилъ меня быть съ нимъ безъ чиновъ и за чѣмъ только нужно — идти прямо къ нему, въ чемъ даже взялъ съ меня и слово.

Для перваго визита мнѣ показалось довольно.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯ.

Я поблагодарилъ, раскланялся и ушелъ обласканный, но очень недовольный собой. Что это за вздорное знакомство! Противно даже. Зато, думаю, болѣе меня не позовутъ, потому что, вѣрно, я имъ, въ свою очередь, не очень понравился. Но Фортунатовъ зашелъ вечеромъ и поздравляетъ:

— Прекрасно, говоритъ ,— ты себя держалъ, ты вѣрно все больше молчалъ.

— Да, говорю,—я молчалъ.

— Ну, вотъ губернаторъ тебя нашелъ очень дѣльнымъ и даже велѣлъ сегодня же къ нему писаря прислать: вѣрно хочетъ «набросать мыслей» и будетъ просить тебя ихъ развить; а губернаторша все только сожалѣетъ, что не могла съ тобой наединѣ поговорить.

— О чемъ же? Мы съ ней и такъ, кажется, много говорили и о полякахъ, и о призваніяхъ.

— Ну, да про поляковъ теперь ужъ все пустое, съ полгода тому бѣда была у насъ. Тутъ есть полячокъ Фуфаевскій, — онъ все нашимъ дамамъ будущее предсказываетъ по линіямъ рукъ, да шулерничаетъ, — такъ онъ ее напугалъ, что на ней польская кровь гдѣ-то присохла. Она, бѣдняга, даже ночью, какъ леди Макбетъ, по губернаторскому дому все ходила да стонала: «Кровь на насъ, кровь! иди прочь, Грегуаръ, на тебѣ кровь!» Ну, а тому отъ нея идти прочь неохота: вотъ она его этимъ и переломила на польскую сторону... Да это все вздоръ. Она мнѣ что-то другое о тебѣ говорила... О чемъ бишь она хотѣла отъ тебя,

какъ отъ способнаго человѣка, узнать?.. Да! вспомнилъ: ей надо знать открыто или нѣтъ средство, чтобы дѣтей въ ретортѣ приготовлять?

— Это, говорю,—что за глупость?

— Писано, говоритъ она,—будто было про это, а ей непремѣнно это нужно: она дошла по книжкѣ Пельтана, что женщины сами виноваты въ своемъ уничиженіи, потому что сами рождаютъ своихъ угнетателей. Она хочетъ, чтобы дѣти въ ретортахъ приготовлялись, какого нужно пола или совсѣмъ безполые. Я обѣщалъ ей, что ты насчетъ этихъ реторгъ пошныряешь по литературѣ и скажешь ей, гдѣ про это писалось и какъ это дѣлать.

— Ты, говорю,—гороховый шутъ и циникъ.

— Нѣтъ, ей-Богу, говоритъ, — я ей обѣщалъ, — да еще самъ, каналья, и смѣется.

— Ну, а успѣлъ обѣщать, такъ умѣй самъ и исполнять какъ знаешь.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

Цѣлую ночь я, однакожъ, продумалъ лежа въ постели: что̀ это за люди и что̀ за странный позывъ у нихъ къ самой безпричинной и самой беззавѣтной откровенности? Думалъ, рѣшалъ и ничего не рѣшилъ; а на утро только-что сѣлъ-было за свою записку, какъ вдругъ является совсѣмъ незнакомый господинъ, средняго роста, бѣлый, бѣлобрысый, съ толстыми, блѣдными, одутловатыми щеками, большими, выпуклыми голубыми глазами и розовыми губками сердечкомъ.

Вошелъ онъ очень торопливо, размахивая фуражкой съ кокардой, плюхнулъ прямо на стулъ у моего письменнаго стола и, усѣвшись, отрекомендовался Семеномъ Иваповичемъ Дергальскимъ.

Говоритъ картавя, присюсюкивая и сильно поплевывая въ собесѣдника.

— Плишелъ, говоритъ, — къ вамъ съ доблымъ намѣленіемъ, вы человѣкъ чузой и не видите, что съ вами тволятъ. Кто васъ лекомендовалъ Фольтунатову?

Я отвѣчалъ, что мы съ Фортунатовымъ старые знакомые.

— Плесквельно, это плесквельно!—заговорилъ мой гость:— Фольтунатовъ пельвый подлецъ!—Извините меня: онъ васъ

длугъ, но я плезде всего цестный целовѣкъ и говолю плявду. Это онъ васъ повелъ къ губельнатолю?

— Онъ.

— Ахъ, мельзавецъ! Извините, я говолю всегда плямо. Онъ вѣдь не плявитель канцеляліи, а фокусникъ; онъ самъ и есть «сѣвельный магъ и вольсебникъ». Онъ хитлъ какъ чолтъ. Длугіе плячутъ... Но позвольте я это написю.

Я подалъ ему карандашъ, а онъ написалъ прячутъ, и продолжалъ:

— Да-съ; плячутъ отъ начальства новыхъ людей, а онъ налосьно всѣхъ подводитъ, и члесь то безплистлястнымъ слыветъ, а потомъ всѣхъ въ дуляцкіе колпаки налязаетъ. Я самое тлюдное влемя въ западныхъ губельніяхъ слюзилъ и полезенъ былъ, и нагляды полючалъ, потому сто я плямой настояссій лусскій человѣкъ... Я не хитлецъ, какъ онъ, сто баляхнинскимъ налѣчіемъ говолитъ, а самъ и насымъ и васымъ, хузе зида Іоськи, сто ваксу плодаетъ; а я, видите, я даже на визитныхъ кальточкахъ себя не маскилую...— и съ этимъ онъ подалъ мнѣ свою карточку, на которой было напечатано: *Семенъ Ивановичъ Дегальскій — почтовый люстраторъ*.—Видите, какъ плямо иду, а онъ ботвинью и бузянину лопаетъ, а люскихъ людей выдаетъ ляху Фуфаевскому. Онъ сказалъ мнѣ: «я тебя съ губельнатоломъ сблизу, и всѣхъ ляховъ здѣсь съ нимъ выведесь»... какъ самаго способнаго человѣка меня пледставилъ. Губельнатоль плосилъ меня: «будьте, говолитъ, моимъ глазомъ и ухомъ, потому сто я хоть знаю все, сто дѣлается въ голодѣ, а сто изъ голода... Но, позвольте, это я написю.

И онъ написалъ: *въ городѣ*, и продолжалъ снова:

— «Сто изъ голода выѣзжаетъ, это только вы одни мозете знать». Я на это для обьсей пользы согласился, а Фольтунатовъ мнѣ такъ устлоилъ, сто я съ губельнатоломъ говолить не могъ.

— Отчего же?

— Потому что губельнатолша всегда тутъ зе вельтится. Фольтунатову подлецу это на луку: ему она не мѣсяетъ; потому сто онъ пли ней налёсно о лазныхъ вздоляхъ говолитъ: какъ дѣтей въ летолтахъ пліготовлять и тому подобное, а самъ подсовываетъ ея музу сто хоцетъ къ подписи, мелзавецъ, а я долженъ былъ дѣло лясказать, что я за день пролюстлиловалъ, кто о цемъ писетъ, — а она не

выходитъ. Я какъ настоясскій слузбистъ плямо посолъ, плямымъ путемъ, и одинъ лазъ пли ней плямо сказалъ ему: васе плевосходительство: мы о такихъ вестяхъ не пліучены говолить пли тлетьемъ лицѣ», а она сейцасъ: «Это и пликласно! говолитъ: Глегуалъ, выди, мой длугъ, вонъ, пока онъ долозитъ». Сто я тутъ могъ сдѣлать? Я нацинаю говолить, и наконецъ забываю, сто это она, а не онъ, и говолю, что Фуфаевскій послалъ своему блату въ Польсу письмо, стобъ онъ выслалъ ему сюда для губельнатолсы симпатическую польскую блошку, стобы подъ платьемъ носить; а она какъ вскочитъ... «Глегуалъ! кличитъ: лясполядись сейчасъ его уловить! онъ меня обидѣлъ»—и съ тѣхъ полъ меня въ домъ не плинимаютъ. Тутъ Фольтунатовъ какъ путный и вмѣсялся. «Позвольте, говолитъ, вамъ объяснить: вѣдь онъ это не съ злымъ умысломъ сказалъ: онъ хотѣлъ сказать, сто Фуфаевскій выписываетъ для губельнатолсы польскую блошку, а сказалъ *блошку*»... Но нѣтъ, позвольте каландашъ, а то вы тоже этого не поймете.

Дергальскій схватилъ карандашъ и написалъ чётко: б-р-о-ш-к-у.

— Вотъ сло о цемъ дѣло!—продолжалъ онъ,—и это имъ Фольтунатовъ объяснилъ, да кстати и всѣмъ лазблаговѣстилъ и сдѣлалъ меня сутомъ голоховымъ, а для чего? для того, сто я зналъ, что онъ губельнатолу яму лоетъ.

— Онъ... губернатору яму роетъ?

— А какъ зе? Я знаю, сто онъ ему одинъ лазъ далъ подписать, и куда онъ это хотѣлъ отплавить.—Вотъ посмотлите, и даетъ бумагу, на которой написано: «Отца продалъ, мать заложилъ и въ томъ руку приложилъ», а подписано имя губернатора... Я это зналъ,—продолжалъ Дергальскій,—и стлемился послѣ ссолы все это сообсить, но мнѣ не довѣляютъ, а почему? потому сто меня Фольтунатовъ сумаседсимъ и дулакомъ поставилъ, а подлецъ Фуфаевскій на меня козла изъ конюсни выпустилъ, а козелъ мнѣ насквозь бокъ логами плопололъ и изувѣцилъ меня пли всѣхъ поселеди улицы. Я тли мѣсяца въ постели лезалъ, и послалъ самую плавдивую залобу, сто козелъ на меня умысленно пуссенъ за мой патліотизмъ, а они на-смѣхъ завели дѣло «о плободаніи меня козломъ съ политическими цѣлями по польской интлигѣ», и во влемя моей болѣзни въ Петелбулгъ статью послали «о полякуюссемъ козлѣ», я тепель, послѣ

того, какъ это напецатано, ужъ я имъ нимало не опасенъ, потому сто сситаюсь сумаседсимъ и интлиганомъ. Я вазныя, очень вазныя весси знаю, но не могу сказать, потому сто все, сто я ни сказю, только на-смѣхъ поднимаютъ: «его-де и козелъ съ политическими цѣлями билъ». Мнѣ тепель одному дѣлать нецего: я собилаю палтію, и плисолъ васъ плосить: составимте палтію.

— Позвольте, говорю: противъ кого же мы будемъ партію составлять?

— Плотивъ всѣхъ, плотивъ Фольтунатова, плотивъ всѣхъ пледателей.

— Да я здѣсь, отвѣчаю,—новый человѣкъ и ни въ какія интриги входить не хочу.

— Не хотите? а если не хотите въ интлиги входить, ну такъ вы плопали.

— Напротивъ, со мной всѣ очень довѣрчивы и откровенны!

Дергальскій вскочилъ и захохоталъ.

— Поздлявляю!—заговорилъ онъ:—поздлявляю васъ! *Откловенны*... здѣсь всегда съ того начинается... всѣ откловенны!... они какъ слѣпни всѣ въ новаго человѣка своихъ яицъ накладутъ, а потомъ челвяки-то выведутся, да вамъ скулу всю и плоглызутъ... Поздлявляю! Тепель вы много отъ нихъ слысали длугъ пло длуга,—ну и попались; тепель всѣ васъ и станутъ подозлѣвать, что вы ихъ длугъ длугу выдаете. Не вѣльте имъ! никому не вѣльте! Не интлиговать здѣсь тепель никому нельзя — повѣльте, нельзя. Дазе когда вы интлигуете — меньше глѣха; вы тогда на одной столонѣ... Мой вамъ совѣтъ: составимте палтію.

— Нѣтъ-съ, отвѣчаю:—я ни къ какой партіи здѣсь принадлежать не намѣренъ, я сдѣлаю свое дѣло и уѣду.

— Нѣтъ-съ, вы такъ не сдѣлаете; сначала всѣ такъ говолятъ, а какъ вамъ голяцаго за козу зальютъ, такъ и не уѣдете. Генелалъ Пелловъ тоже сюда на недѣлю пліѣхалъ, а какъ пледводитель его нехолосо плинялъ, такъ онъ здѣсь ужъ втолой годъ живетъ, и ходитъ въ клубъ спать.

Это еще, думаю,—что такое?

— Пелловъ, Пелловъ, извѣстный генелалъ...—Дергальскій опять схватилъ карандашъ и написалъ: «П-е-р-л-о-в-ъ.—Знаете?

— Знаю.

— Ну вотъ онъ самый и есть: и зена, и дѣти узе сюда

къ нему ѣдутъ, — онъ бѣдный человѣкъ, а больсе тысяци лублей стлафу въ клубъ пелеплациваетъ, и вотъ увидите, будетъ здѣсь сидѣть, пока совсѣмъ лазолится.

— А зачѣмъ онъ платитъ штрафъ?

— А потому сто все пледводителю этимъ мститъ: пледводительскій зять сталшиной въ клубѣ, а Пелловъ всякое его дезульство плиходитъ и спитъ въ клубѣ до утла, стобъ и пледводительскій зять, какъ сталсина сидѣлъ, — вотъ за это и платитъ.

Что такое за чепуха? Неужто все это вправду выдѣлывается въ такое серьезное время? Дергальскій клянется и божится, что все это именно такъ; что предводитель терпѣть не можетъ губернатора и что потому всѣ думали, что они съ генераломъ Перловымъ сойдутся, а вышло иначе: предводитель — ученый генералъ и свысока принялъ Перлова,—боевого генерала, и вотъ у нихъ, у двухъ генераловъ, ученаго и боевого, зашла война, и Перловъ, недовольный предводителемъ, не будучи въ силахъ ничѣмъ отмстить ему лично, спитъ въ клубѣ на дежурствѣ предводительскаго зятя и разоряетъ себя на платежи штрафа. Чортъ знаетъ что такое!

— Вы, говорю,—не имѣете ли какихъ-нибудь соображеній объ устройствѣ врачебной части Россіи? Вотъ это мнѣ очень интересно!

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Дергальскій:—не имѣю... Я слихалъ сто будто насъ полицёймейстель своихъ позалныхъ солдатъ отъ всѣхъ болѣзней келасиномъ лѣчитъ, и очень холосо; но будто бы у нихъ отъ этого животы насквозь свѣтятся; однако, я боюсь это утвельздать, потому что, мозетъ быть, мнѣ все это на смѣхъ говолили, для того стобъ я это распустилъ, а потомъ подъ этотъ слѣдъ хотятъ сдѣлать какую-нибудь дѣйствительную гадость, и тогда пло ту узъ нельзя будетъ сказать. Я тепель остолозенъ.

— Не поздно ли?

— Да, поздно; но если составить палтію...

— Нѣтъ, меня, говорю,—увольте.

— Залѣю, говоритъ,—оцень. Вы, по клайней мѣлѣ, хоть цѣмъ-нибудь запаситесь.

— Чѣмъ же?

— Секлетъ какой-нибудь имѣйте въ лукахъ, а то...

— Чего же вы опасаетесь?

— Чего? пѣлымъ вѣднымъ человѣкомъ васъ сдѣлаютъ,— да-съ!

Съ этимъ Дергальскій вздохнулъ, крѣпко сжалъ мою руку и вышелъ.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ.

Ужасно разстроилъ меня этотъ сюсюкающій господинъ и звукомъ своего голоса, и своими нервами, и своими комическими несчастіями, и открытіемъ мнѣ глазъ. Послѣднее особенно было мнѣ непріятно. Въ самомъ дѣлѣ: гдѣ же это я и съ кѣмъ я? И наконецъ, кто же мнѣ ручается, что онъ самъ говоритъ правду, а не клевещетъ? Однимъ словомъ, я въ мужскомъ тѣлѣ ощущалъ безпокойное чувство женщины, которой незваная и непрошенная дружба открываетъ измѣны любимаго человѣка и ковы разлучницы. На что мнѣ было знать все это, и какая польза мнѣ изъ всѣхъ этихъ предостереженій? Лучше всего.. въ сторону бы какъ-нибудь отъ всего этого.

Открываюсь Фортунатову: говорю ему, что мнѣ что-то страшно захандрилось, что я думаю извиниться письмомъ передъ предводителемъ и уѣхать домой, отказавшись вовсе представлять мою неоконченную записку объ устройствѣ сельской медицины.

Фортунатовъ вооружился противъ этого.

— Это, говоритъ, — будетъ стыдъ и позоръ, срамъ и безчестіе; да и отчего это тебѣ такъ вдругъ пришла фантазія бѣжать.

— Робость, шучу,—напала.

— Да ты не ухмыляйся; у тебя не равно не былъ ли какъ-нибудь нашъ сюсюка?

— Кто это сюсюка?

— Почтмейстеръ.

— Ты, говорю,—отгадалъ: онъ былъ у меня.

Фортунатовъ хлопнулъ по столу рукой и воскликнулъ:

— Экое веретено, экая скотина!.. Такой мерзавецъ: кто ни пріѣдетъ новый человѣкъ, онъ всегда ходитъ, всѣхъ смущаетъ. Мститъ все намъ. Ну, да погоди онъ себѣ: онъ нынче, говорятъ, сталъ ночами по заборамъ мѣломъ всякія пасквили на губернатора и на меня сочинять; дай срокъ, пусть его только на этой обличительной литературѣ изловятъ, ужъ я ему голову сорву.

— Онъ, говорю, — и безъ того на тебя плачется и считаетъ тебя коварнымъ человѣкомъ.

— Коварнымъ? ладно, пусть считаетъ. Дуракъ онъ и больше ничего: его ужъ и козлы съ политическими цѣлями бьютъ.

— Не знаю, говорилъ или не говорилъ, а въ сатирическихъ газетахъ было написано; не читалъ статью: «Полякующій козелъ»?

— Нѣтъ, не читалъ и не хочу.

— Напрасно, — это остроумно написано, да къ тому же это и правда: я навѣрно знаю: это Фуфаевскій училъ козла биться и спустилъ его на Дергальскаго.

— Извините, пожалуйста, но это не дѣлаетъ всѣмъ вамъ чести, что вы злите человѣка до потери сознанія, пока онъ на всѣхъ кошкой сталъ бросаться.

Фортунатовъ харкнулъ и плюнулъ.

— Нечего, говорю, — плевать: онъ комиченъ немножко, а все-таки онъ русскій человѣкъ, и пока вы его не дразнили, какъ собаку, онъ жилъ, служилъ и дѣло дѣлалъ. А онъ, видно, вретъ-вретъ, да и правду скажетъ, что въ васъ русскаго-то только и есть, что квасъ да буженина.

— Ты, братъ,—отвѣчаетъ мнѣ Фортунатовъ:—если тебѣ нравятся эти сентиментальныя рацеи разводить, такъ разводи ихъ себѣ разводами съ кѣмъ хочешь, вонъ хоть къ женѣ моей ступай, она тебя кстати морошкой угоститъ, — а мнѣ, любезный другъ, ужъ всѣ эти дураки надоѣли, и русскіе, и польскіе, и нѣмецкіе. По мнѣ хоть всѣхъ бы ихъ въ одинъ костеръ, да подпалить лучинкою, такъ въ ту же пору. — Вотъ не угодно ли получить бумаги ворошокъ, — позаймись, Христа ради, — и съ этимъ подаетъ свертокъ.

— Что это такое?

— Губернаторскія мысли, какъ все извлечь изъ ничего.

Разворачиваю и читаю, великолѣпнѣйшимъ каллиграфическимъ почеркомъ надписано: «Секретно. Рядъ мыслей о возможности совмѣщенія мнимо несовмѣстимыхъ началъ управленія посредствомъ примиренія идей».

— Ну, что это ты мнѣ, Василій Иванычъ, за вздоръ такой приносишь?

— А ты обработай, чтобъ оно вышло не вздоръ.

— Нѣтъ, опять говорю, — Дергальскій видно правъ, что

ты нарочно всѣмъ подводишь вотъ этакій неразрѣшимый вздоръ разрѣшать.

Фортунатовъ повелъ на меня косо глазами, обошелъ комнату и, поровнявшись съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ я сидѣлъ, вдругъ ткнулъ мнѣ кукишъ.

— Вотъ на-ка, говоритъ, — тебѣ съ твоимъ Дерѣальскимъ! Напрасно я за всѣхъ за васъ въ петлю небось не лѣзу! Я, братъ, съ натурою человѣкъ былъ, а не мудрецъ, и жену любилъ, а отъ этого у меня шесть дѣтей приключилось: имъ кусокъ хлѣба надо. Что вы, черти, въ самомъ дѣлѣ на меня претендуете? Я человѣкъ глупый, ну такъ и знайте. Я и самъ когда-то было прослылъ за умнаго человѣка, да увидалъ, что это глупо, что съ умомъ на Руси съ голоду издохнешь, и ради дѣтей въ дураки пошелъ, ну и зато воспиталъ ихъ не такъ, какъ у умниковъ воспитываютъ: мои себя честнымъ трудомъ пропитаютъ, и ребятъ въ ретортахъ приготовлять не станутъ, и польскаго козла не испужаются. Что-нибудь одно: умомъ хочешь кичиться,— ну другого не ищи, либо терпи, пусть тебя дуракъ дуракомъ зоветъ. А мнѣ плевать на все: хоть зовуткой зови, только хлѣбомъ корми.

— Прегадкая, говорю,—у тебя философія.

— Своя, братъ, зато: не у нѣмца вычиталъ; эта по крайности не обманетъ.

— Скажи лучше, незнакомъ ли ты съ генераломъ Перловымъ?

— Съ Иваномъ-то воиномъ?

— Да.

— Господи помилуй!— Фортунатовъ перекрестился и нѣжнымъ, ласковымъ тономъ добавилъ: — Я обожаю этого человѣка.

— Онъ какъ же, по-твоему, уменъ или глупъ?

Фортунатовъ покусалъ себѣ ноготь, вздохнулъ и говоритъ:

— Это вѣдь у насъ только у однихъ такихъ людей цѣнить не умѣютъ. У англичанъ вонъ военачальникъ Магдалу какую-то, изъ глины смазанную, въ Абиссиніи взялъ, да и за ту его золотомъ обсыпали, такъ что и внуки еще макушки изъ золотой кучи наружу не выдерутъ; а этотъ вѣдь въ такой адъ водилъ солдатъ, что другому и не подумать бы ихъ туда вести, а онъ идетъ впереди, самъ пляшетъ, на балалайкѣ играетъ, саблю броситъ, да вѣткой

съ ракиты помахиваетъ: «Эхъ, говоритъ, ребята, отъ аглицкихъ мухъ хорошо и этимъ отмахиваться». Душа занимается! Солдатамъ-то просто и задуматься некогда, — такъ и умираютъ, посмѣиваясь, за матушку за Русь да за вѣру!.. Какъ хочешь, вѣдь это, братъ, талантъ! Нѣтъ, это тебѣ сюсюка хорошо посовѣтовалъ: ты сходи къ Перлову, не пожалѣешь.

— Да какъ же, говорю, — я и радъ бы пойти, да не могу: надо же, чтобы меня ему кто-нибудь представилъ.

— Сдѣлай милость, выбрось ты изъ башки этотъ вздоръ: ничего этого у насъ не надо: мы люди простые, ѣдимъ пряники неписанные, а онъ такой рубака... и притомъ ему дѣлать нечего, и онъ очень радъ будетъ предъ новымъ человѣкомъ начальство поругать.

— А это для чего же?—спрашиваю.

— Что это — начальство-то ругать? Да это ужъ, знаешь, такая школа: хорошъ жемчужокъ да не знаешь куда спрятать, и въ коробъ не лѣзетъ и изъ короба не идетъ; съ подчиненными и съ солдатами—отецъ, равному—братъ, а старшаго начальства не переноситъ, и оно, въ свою очередь, тоже его не переваривaетъ. Да онъ и самъ не знаетъ, на какой гвоздокъ себя повѣсить. Службу ему надо, да чтобы безъ начальства, а такой еще нѣтъ. Одно бы развѣ: послать его съ особою арміей въ центральную Азію разыскать жидовъ, позабытыхъ въ плѣну Зоровавелемъ. Это бы ему совсѣмъ по шерсти, — такъ вѣдь не посылаютъ! Вотъ онъ, бѣдняга, здѣсь такъ и мается: коровъ доитъ, шинокъ держитъ, сосѣдскихъ куръ на огородѣ стрѣляетъ, да въ клубъ спать ходитъ.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ.

На другой день встрѣчаю случайно Фортунатова, а онъ и кричитъ еще издали:

— А я, говоритъ, — братъ, сейчасъ отъ кровожаднаго генерала: про тебя съ нимъ разговаривали и про твои заботы о народѣ сказывалъ ему.

— Ну что же такое, говорю, — что ты все съ такими усмѣшками и про народъ, и про мои заботы, и про генерала? Что же твой генералъ?

— Очень радъ тебя видѣть, и о народѣ, сказалъ, пого-

[illegible]

И [illegible] у калитки нѣтъ звонка. Я [illegible] и слегка постучалъ [illegible] — И такъ не заперто, — отвѣ[тилъ] [illegible] голосъ.

Я [отворилъ] калитку и увидѣлъ предъ собою необык[новенно] чистенькій дворикъ, усыпанный желтымъ пескомъ, а въ глубинѣ [illegible] садъ, отдѣланный узорчатою рѣшеткой. На крыльцѣ домика сидѣлъ тучный, крупный человѣкъ, съ густыми волосами впросѣдь [?], съ небольшими коричневыми [illegible] глазами и носомъ изъ разряда тѣхъ, которые называются дулями. Человѣкъ этотъ былъ одѣтъ въ полосатые широкіе шаровары и сѣрый нанковый казакинъ. Онъ сидѣлъ на крыльцѣ, прямо на полу, сложивъ ноги по-турецки. Въ зубахъ у него дымился чубукъ, упертый другимъ концомъ въ укрѣпленную на одной ступени желѣзную подножку, а въ рукахъ держалъ черный, частый роговой гребень и копошился имъ въ бѣлой какъ ленъ головѣ лежавшаго у него въ колѣняхъ трехлѣтняго длинноволосаго мальчишки, босого и въ довольно грязной ситцевой рубашкѣ.

— Пожалуйте! — проговорилъ онъ мнѣ привѣтливо, увидя меня на порогѣ калитки, и при этомъ толкнулъ слегка мальчишку, оросилъ [?] ему гребень и велѣлъ идти къ матери.

— Это, что вы видите, — продолжалъ онъ: — кухаркинъ

нъ; всякій день, каналья, волочетъ ко мнѣ послѣ обѣда ребенъ: «Дяденька, говоритъ, попугай непріятелей». Соѣдки дьячихи дѣти, семинаристы, его научили. Прошу васъ въ комнату.

Я поклонился и пошелъ за нимъ, а самъ все думаю: кто же это, самъ онъ генералъ Перловъ, или нѣтъ? Онъ сейчасъ же это замѣтилъ и, введя меня въ небольшую круглую залу, отрекомендовался. Это былъ онъ самъ кровожадный генералъ Перловъ; мою же рекомендацію онъ отстранилъ, сказавъ, что я ему уже достаточно отрекомендованъ моимъ пріятелемъ.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ.

Мы сѣли въ небольшой, по старинѣ меблированной гостиной, выходящей на улицу тѣми окнами, изъ которыхъ на двухъ стояли чубуки, а на третьемъ красный пѣтухъ въ генеральской каскѣ и козелъ въ черной шляпѣ, а противъ нихъ на стѣнѣ портретъ царя Алексѣя Михайловича съ развернутымъ указомъ, что «учали на Москву приходить такіе-сякіе дѣти нѣмцы и ихъ, такихъ-сякихъ дѣтей, нѣмцевъ, на воеводства бы не сажать, а писать по черной сотнѣ».

Въ углу сіялъ отъ лампады большой образъ пророка Иліи съ надписью: «ревнуя поревновахъ о Богѣ Вседержителѣ». Генералъ свистнулъ и приказалъ вошедшей женщинѣ подать намъ чаю и, какъ предсказывалъ мой пріятель, немедленно же началъ поругивать все петербургское начальство, а затѣмъ и мѣстныя власти. Бранился онъ довольно зло и минутами очень ѣдко, и обращался къ помянутому указу царя Алексѣя, но про все это въ подробностяхъ вамъ нечего разсказывать. Особенно зло отъ него доставалось высокопоставленнымъ лицамъ въ Петербургѣ; къ мѣстнымъ же онъ относился съ нѣсколько презрительною ироніей.

— Здѣсь верховодятъ и рядятъ,—говорилъ онъ:—козелъ да пѣтухъ: вотъ я и изображеніе ихъ изъ почтенія къ нимъ на окно выставилъ, — добавилъ онъ, указывая чубукомъ на чучелъ.—Здѣсь всѣ знаютъ, что это представляетъ. То вотъ этотъ пѣтухъ — предводитель - многоженецъ оретъ да шпорой брыкаетъ; то этотъ козленокъ — губернаторъ блеетъ да бороденкой помахиваетъ, — все ничего: идетъ.

воримъ. Иди къ нему; теперь тебѣ даже ужъ и нельзя не идти, невѣжливо.

«Сбываетъ,—думаю:—разбойникъ, меня съ рукъ!.. Ну, а ужъ нечего дѣлать: пойду къ кровожадному генералу».

— Только ты, говоритъ, — иди вечеромъ и въ сюртукѣ, а не во фракѣ; а то онъ не любитъ, если на визитъ похоже.

Я и на это согласился.

Пришелъ вечеръ, я одѣлся и пошелъ.

Домикъ кровожаднаго генерала я, разумѣется, и прежде зналъ. Это небольшой, деревянный, чистенькій домикъ въ три окна, изъ которыхъ на двухъ крайнихъ стояли чубуки, а на третьемъ, среднемъ, два чучела: большой, голенастый красный пѣтухъ въ каскѣ съ перьями, и молодой черный козленокъ съ бородой, при штатской шпагѣ и въ цилиндрической гражданской шляпѣ.

Подъѣзда съ улицы нѣтъ, а у калитки нѣтъ звонка. Я взялся за большое желѣзное кольцо и слегка потрепалъ его.

— Не стучите, не стучите, и такъ не заперто, — отвѣчалъ мнѣ со двора немного рѣзкій, но добрый и кроткій голосъ.

Я пріотворилъ калитку и увидѣлъ предъ собою необыкновенно чистенькій дворикъ, усыпанный желтымъ пескомъ, а въ глубинѣ — садъ, отдѣланный узорчатою рѣшеткой. На крыльцѣ домика сидѣлъ тучный, крупный человѣкъ, съ густыми волосами впросѣдь, съ небольшими коричневыми, медвѣжьими глазками и носомъ изъ разряда тѣхъ, которые называются дулями. Человѣкъ этотъ былъ одѣтъ въ полосатые турецкіе шаровары и сѣрый нанковый казакинъ. Онъ сидѣлъ на крыльцѣ, прямо на полу, сложивъ ноги по-турецки. Въ зубахъ у него дымился чубукъ, упертый другимъ концомъ въ укрѣпленную на одной ступени желѣзную подножку, а въ рукахъ держалъ черный, частый роговой гребень и копошился имъ въ бѣлой какъ ленъ головкѣ лежавшаго у него въ колѣняхъ трехлѣтняго длинноволосаго мальчишки, босого и въ довольно грязной ситцевой рубашкѣ.

— Пожалуйте!—проговорилъ онъ мнѣ привѣтливо, увидя меня на порогѣ калитки, и при этомъ толкнулъ слегка мальчишку, бросилъ ему гребень и велѣлъ идти къ матери.

— Это, что вы видите, — продолжалъ онъ: — кухаркинъ

сынъ; всякій день, каналья, волочетъ ко мнѣ послѣ обѣда гребень: «Дяденька, говоритъ, попугай непріятелей». Сосѣдки дьячихи дѣти, семинаристы, его научили. Прошу васъ въ комнату.

Я поклонился и пошелъ за нимъ, а самъ все думаю: кто же это, самъ онъ генералъ Перловъ, или нѣтъ? Онъ сейчасъ же это замѣтилъ и, введя меня въ небольшую круглую залу, отрекомендовался. Это былъ онъ самъ кровожадный генералъ Перловъ; мою же рекомендацію онъ отстранилъ, сказавъ, что я ему уже достаточно отрекомендованъ моимъ пріятелемъ.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ.

Мы сѣли въ небольшой, по старинѣ меблированной гостиной, выходящей на улицу тѣми окнами, изъ которыхъ на двухъ стояли чубуки, а на третьемъ красный пѣтухъ въ генеральской каскѣ и козелъ въ черной шляпѣ, а противъ нихъ на стѣнѣ портретъ царя Алексѣя Михайловича съ развернутымъ указомъ, что «учали на Москву приходить такіе-сякіе дѣти нѣмцы и ихъ, такихъ-сякихъ дѣтей, нѣмцевъ, на воеводства бы не сажать, а писать по черной сотнѣ».

Въ углу сіялъ отъ лампады большой образъ пророка Иліи съ надписью: «ревнуя поревновахъ о Богѣ Вседержителѣ». Генералъ свистнулъ и приказалъ вошедшей женщинѣ подать намъ чаю и, какъ предсказывалъ мой пріятель, немедленно же началъ поругивать все петербургское начальство, а затѣмъ и мѣстныя власти. Бранился онъ довольно зло и минутами очень ѣдко, и обращался къ помянутому указу царя Алексѣя, но про все это въ подробностяхъ вамъ нечего разсказывать. Особенно зло отъ него доставалось высокопоставленнымъ лицамъ въ Петербургѣ; къ мѣстнымъ же онъ относился съ нѣсколько презрительною ироніей.

— Здѣсь верховодятъ и рядятъ,—говорилъ онъ:—козелъ да пѣтухъ: вотъ я и изображеніе ихъ изъ почтенія къ нимъ на окно выставилъ, — добавилъ онъ, указывая чубукомъ на чучелъ.—Здѣсь всѣ знаютъ, что это представляетъ. То вотъ этотъ пѣтухъ — предводитель - многоженецъ оретъ да шпорой брыкаетъ; то этотъ козленокъ — губернаторъ блеетъ да бороденкой помахиваетъ, — все ничего: идетъ.

Знаете, какъ покойный Панинъ Великой Екатеринѣ отвѣчалъ на вопросъ: чѣмъ сей край управляется? «Управляется»,—говоритъ онъ:—«матушка императрица, милостію Божіею да глупостію народной».—Генералъ весело и громко засмѣялся, и потомъ вдругъ неожиданно меня спросилъ:

— Вы Николая Тургенева новую книжку читали?

Я отвѣчалъ утвердительно. Генералъ, помолчавъ, высморкался и сначала тихо улыбнулся, а потомъ совсѣмъ захохоталъ.

— «Стяните вы ее, Россію-то, а то вѣдь она у васъ р-а-з-с-ы-п-е-т-с-я!» — привелъ онъ изъ тургеневской брошюры и снова захохоталъ.— Вы впрочемъ сами здѣсь, кажется, на счетъ стягиванья... липкимъ пластыремъ, что ли, ее, Ѳедорошку, спеленать хотите? — обратился онъ ко мнѣ, отирая выступившія отъ смѣха слезы.— Скажите, Бога ради, что̀ такое вы задумали намъ присластить.

Я разсказалъ.

— Пустое дѣло,—отвѣчалъ, махнувъ рукой, генералъ.— Вы можетъ-быть не любите прямого слова; въ такомъ случаѣ извините меня, что я вамъ такъ говорю, но только, по-моему, все это больше ничего какъ отъ бездѣлья рукодѣлье. Нѣтъ, вы опишите-ка насъ всѣхъ хорошенько, если умѣете,—вотъ это дѣло будетъ! Я знаю, что будь здѣсь покойный Гоголь, или Несторъ Васильичъ Кукольникъ, они бы отсюда по сту томовъ написали. Сюда прежде всего надо хорошаго писателя, чтобъ онъ все это описалъ, а потомъ хорошаго боевого генерала, чтобъ онъ всѣхъ отсюда вонъ выгналъ. Вонъ что̀ здѣсь нужно, а не больницы, о которыхъ васъ никто не проситъ. Чего вы ихъ насильно-то навязываете? Молчатъ и еще, какъ Шевченко писалъ, «на тридцати языкахъ молчатъ», а молчатъ, значитъ «благодействуютъ».

Генералъ опять засмѣялся и потомъ неожиданно спросилъ:

— Вы Шевченку покойнаго не знали?

Я отвѣчалъ, что не зналъ.

— А ко мнѣ его одинъ полицеймейстеръ привозилъ. Расхвалилъ, каналья, что будто «стихи, говоритъ, отличные на начальство знаетъ». Ну, молъ, пожалуй, привезите: и точно недурно, даже можно сказать очень недурно: *Сонъ*, *Кавказъ* и *Къ Памятнику*, но больше всего поля-

ковъ терпѣть не могъ. Ухъ, батюшка мой, какъ онъ ихъ, бездѣльниковъ, ненавидѣлъ! То-есть это просто чортъ знаетъ что такое! *Гайдамаки* читаетъ и кричитъ: «будемъ, будемъ рѣзать тату!» Я ужъ и окна велѣлъ позатворять... противъ поляковъ это, знаете, не безопасно,—и послѣ цѣлую недѣлю лопатой голосъ изъ комнаты выгребали,—столько онъ накричалъ.

— Но вы же вѣдь, ваше превосходительство,—спрашиваю,—кажется и сами очень изволите не любить поляковъ?

— Поляковъ? нѣтъ, я враждебнаго противъ нихъ не имѣю ничего... а любить ихъ тоже не за что. Аристократишки, трусы, дрянь, хвастуны, интриганы и рухавка... ухъ, какая рухавка! Ухъ, ухъ, ухъ, какая рухавка! Такіе бездѣльники, что съ ними драться-то даже не съ кѣмъ. Какъ въ шакалку не надо стрѣлять, потому что ружье опоганишь, такъ и въ поляка; на него хорошаго солдата посылать жалко. Въ послѣднее повстанье я шелъ усмирять ихъ, думалъ, что авось тѣ канальи, которые въ нашихъ корпусахъ и академіяхъ учились, хоть тѣ, хоть для гонора, для шика не ударятъ лицомъ въ грязь и попрактикуютъ нашихъ молодыхъ солдатиковъ,—какъ-нибудь соберутся насъ поколотить. Ничего не бывало: вѣровали, рухавка этакая канальская, что Наполеонъ на нихъ смотритъ, а смотрѣть-то и не на что. Подлѣйшая для насъ война была! Если бы не кое-какія свои старыя хитрости—просто бы несчастье: могли бы деморализоваться войска. У меня въ два мѣсяца одинъ офицеръ влюбился въ польку и убѣжалъ, одинъ въ карты проигрался и застрѣлился, да два солдатика съ ума сошли. Сноситесь объ этомъ по начальству, пишите въ Петербургъ: много тамъ поймутъ боевое дѣло «военные чиновники» и «моменты»!.. Я,—вѣчное благодареніе Творцу и Создателю (генералъ набожно перекрестился),—я вышелъ изъ затрудненій безъ петербургскихъ наставленій.

Я говорю: «Я слушаю, ваше превосходительство, съ крайнимъ любопытствомъ».

Генералъ сталъ продолжать.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ВОСЬМАЯ.

— Я, говоритъ,—дѣйствовалъ на корень: офицеры и солдаты скучали; надо было ихъ развлечь, а въ деревушкѣ

чѣмъ же ихъ развлечь? Вижу, бывало, что ужъ очень затосковали и носы повѣсили, ну, и жаль ихъ бывало; и говорю: ну, ужъ чортъ васъ возьми, прозѣвайте такъ и быть: выпустите человѣкъ пять плѣнныхъ изъ сарая, пускай они по лѣсу побѣгаютъ. А какъ тѣ побѣгутъ, пошлешь за ними погоняться,—народъ немножко и поразсѣется. Но только вѣдь подите жъ вы, треанаѳемскія ихъ души, эти полячишки: совсѣмъ отъ меня бѣгать не стали. «Бѣгите, паны», шепчутъ имъ подученные люди,—нѣтъ, не идутъ! По пяти цѣлковыхъ, наконецъ, черезъ вѣрныя руки давалъ каждому, который согласится бѣжать: деньги возьмутъ—а не бѣгутъ. Самъ наконецъ, лично, съ глаза на глазъ ихъ подманивалъ: «Эхъ, говорю, паны братья, какая большая банда здѣсь недалеко въ лѣсу есть!—такая, молъ, что даже боимся ее». Не идутъ да и только!

— Но позвольте же, возражаю,—но откуда же плѣнные-то у васъ взялись?

— А это какіе-то старые, еще до моихъ временъ попались. Я ихъ по наслѣдству получилъ. При мнѣ шаталась какая-то горстка, человѣкъ въ шестьдесятъ; солдатики человѣкъ сорокъ изъ нихъ закололи, а человѣкъ двадцать взяли. Я приказалъ тройку повѣсить, а человѣкъ пятнадцать назадъ выпустить, чтобы разсказывали, какой съ ними у меня судъ; съ тѣхъ поръ въ моемъ районѣ все и стихло.

— Какъ же это, спрашиваю, вы безъ суда сейчасъ и повѣсили?

— Ну, вотъ еще, судить! Чего жъ поляковъ судить? Который виноватъ?—Они всѣ виноваты, а котораго повѣсить, это солдаты гораздо правосуднѣе чиновниковъ разбираютъ: которые потяжеле, пошибче ранены, тѣхъ и вздернутъ, а которые поздоровѣй и порѣзвѣй—тѣхъ выпустятъ, чтобы дальше пробѣжали да понагнали страху, какъ ихъ москали пробираютъ. Зато этакой просто какъ заяцъ летитъ и службу свою мнѣ лучше всякой газеты исполняетъ. Они, впрочемъ, и вообще народъ исполнительный, ни съ кѣмъ на свѣтѣ такъ не легко управляться, какъ съ поляками. Они къ европейской политикѣ, дѣйствительно, довольно непонятливы, по своей безтолковости: потому и Наполеона ждутъ къ себѣ; но зато отъ природы сотворены, чтобы русской политикѣ подчиняться, и, сами того не сознавая, очень ее

любятъ, право. Съ полякомъ, вѣдь, главное, не надо только церемониться и антимоніи разводить; вѣренъ онъ—не кори его ничѣмъ, а если нашелъ у него порохъ въ фортепіано,—какъ я у одного своего пріятеля отыскалъ... тутъ же положилъ его на фортепіано да велѣлъ казакамъ хорошенько нагайками выпороть, а потомъ опять обѣдать его зазвалъ—и ничего. Полякъ за это никогда не сердится. Напротивъ, этотъ мой пріятель, послѣ того, какъ я его выпоролъ, даже всѣмъ меня хвалилъ—трубою про меня трубилъ: «остро, говоритъ, постемпуе,—але человѣкъ, бардзо почтивый». Вѣдь и вся эта рухавка-то вышла изъ-за церемоній, все это «пять офяръ», пять варшавскихъ мертвецовъ надѣлали. Говоръ пошелъ: «стржѣляйонъ насъ, пане москали!» Ну, вотъ вамъ и претекстъ для жалобъ и къ Наполеону, и къ Европѣ. Кровь, знаете, благородное дѣло! Тутъ и панъ Халявскій, и панъ Малявскій—всѣ въ азартъ входятъ: «и меня и меня, говорятъ, ледви не застрѣлили!» А надо было никого не убивать, и даже холостымъ зарядомъ не стрѣлять, а казаковъ съ нагайками на нихъ, да пожарную команду съ водой. Какъ вспороли бы ихъ хорошенько, да водой какъ куръ облили бы,—они бы и молчали, и не стали бы хвалиться, что «и я въ скурэ досталъ», и «мнѣ воды за шіе залили!» а напротивъ, стали бы всѣ перекоряться—Стась на Яся, а Ясь на Стася,—дескать «меня не обливали» и «меня нагайкой не лупили». Что бы тутъ дипломаты вашей Европы-то, за кого бы стали заступаться, когда и обиженныхъ нѣтъ? Надо, вѣдь, всегда играть на благородныхъ страстяхъ человѣка, а такового у поляковъ есть гордость: вотъ и надо бы не стрѣлять въ нихъ, а пороть да водою окачивать.

— Я полагаю, что ваше превосходительство шутите?

— Нимало-съ; да что же шуточнаго во всемъ томъ, что̀ я вамъ говорю?

— Помилуйте, да что̀ же бы, въ самомъ дѣлѣ, Европа-то тогда о насъ сказала?

— А вотъ теперь, небось, она зато про васъ очень хорошо говоритъ! А я бы, будь моя воля, я бы и Европу-то всю выпоролъ.

Я даже не выдержалъ и разсмѣялся.

— За что̀ же, молъ, ваше превосходительство, вы такъ строго хотите обойтись съ Европой?

— Съ Европой-то-съ! Господи помилуй: да мало ли на ней, на старой грѣшницѣ, всякихъ винъ и неправдъ? И мотовство, и фатовство, и лукавство, и черезъ нее, проклятую цивилизацію, сколько рабочихъ рукъ отъ сохи оторвано, и казенную амуницію рветъ, — да еще не за что ее пороть. Нѣтъ-съ; пороть ее, пороть!

— Если дастся.

— Вздоръ-съ! Разумѣется, если ее дипломатическимъ путемъ къ тому приглашать, она не дастся, а кличъ по землѣ русской кликнуть... какъ Бирнамскій лѣсъ съ прутьями пойдемъ и всѣхъ перепоремъ, и славянъ освободимъ, и Константинополь возьмемъ, и Парижскую губернію учредимъ, — и сюсюку Дергальскаго туда губернаторомъ посадимъ.

— Ну-съ, говорю,—о Парижской губерніи, я полагаю, теперь намъ ужъ не время думать, когда тамъ Бисмаркъ и Мольтке хозяйничаютъ.

— А что же такое ваши Бисмаркъ и Мольтке?

— Геніальные люди.

— Вздоръ-съ, мы всѣхъ поколотимъ.

Я усомнился и поставилъ на видъ превосходное устройство нѣмецкихъ силъ и образованность ихъ военачальниковъ.

— Вздоръ-съ,—возразилъ генералъ.—Пусть себѣ они и умны, и учены, а мы все-таки ихъ поколотимъ.

— Да какимъ же образомъ?

— Да такимъ образомъ, что они тамъ своими умами да знаніями разочтутъ, а мы имъ такую глупость удеремъ, что они только рты разинутъ. Гдѣ по ихъ, по-ученому, намъ бы надо быть, тамъ насъ никого не будетъ, а гдѣ насъ не потребуется, тамъ мы всѣ и явимся и поколотимъ, и опять въ Берлинъ Дергальскаго губернаторомъ посадимъ. Какъ только дипломатія отойдетъ въ сторону, такъ мы сейчасъ и поколотимъ. А то дипломаты!... сидятъ и смотрятся какъ нарцисы въ свою чернильницу, а боевые генералы плѣсенью обрастаютъ и съ голоду пухнутъ.

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ.

Я помолчалъ и потомъ тихо замѣтилъ генералу, что, однако, и дипломатическихъ пріемовъ огуломъ осуждать нельзя.

— Я и не спорю-съ противъ этого,—отвѣчалъ генералъ.—

Я и самъ дипломатіи не отвергаю, но только я не отвергаю настоящей дипломатіи, короткой. Отвѣть такъ, чтобы про твой отвѣтъ и разсказывать было нельзя. Со мною и съ самимъ бывали случаи, что я держался дипломатіи. Я разъ прихожу, не помню, гдѣ-то въ Германіи, какого-то короля хотѣлъ посмотрѣть. Ѣздилъ по Рейну, глядѣлъ-глядѣлъ на эти кирпичи, которые называютъ «развалинами»,—страсть надоѣло. Дай на другое взгляну: наговорили про одинъ дворецъ, что очень хорошъ и очень стоитъ, чтобы взглянуть, я и пошелъ. Прихожу-съ; а тамъ внизу передъ самою лѣстницей сидитъ нѣмецъ и показываетъ мнѣ, скотина, пальцемъ на этакія огромныя войлочныя калоши.

«— Это, молъ,—что такое?

«— Надѣнь, говоритъ.

«— Зачѣмъ же, молъ,—я ихъ стану надѣвать?

«— А затѣмъ, что безъ того, говоритъ,—по дворцу не пойдешь.

«— Ахъ ты, говорю, каналья этакая! Да я у своего государя не по такому дворцу, да и то безъ калошъ ходилъ,—а стану я для твоего короля шутомъ наряжаться!

«— Ну, такъ вотъ, говоритъ,—и не пойдешь!

«А я плюнулъ ему въ эти кеньги и сказалъ:

«— Ну, такъ вотъ, скажи же своему королю, что я ему въ калоши плюнулъ...

«Справлялся послѣ этого, сказали ли что-нибудь объ этомъ королю? ничего не сказали. Такъ и присохло. Вотъ такой тонъ, по-моему, должна держать и дипломатія: чтобъ плюнулъ кому, и присохло! На насъ, боевыхъ генераловъ, клевещутъ, будто мы только какъ цѣпныя собаки нужны, когда насъ надо спустить, а въ системѣ мирнаго времени ничего будто не понимаемъ. Врутъ-съ! А спросите-ка... теперь вотъ всѣ газетчики взялись за то, что въ Польшѣ одна неуклонная система должна заключаться въ томъ, чтобы не давать полякамъ забываться; а я-съ еще раньше, когда еще слуха о послѣдней рухавкѣ не было, говорилъ: закажите вы въ Англіи или въ Америкѣ гуттаперчеваго человѣка, одѣвайте его то паномъ, то ксендзомъ, то жидомъ, и возите его года въ два разъ по городамъ и вѣшайте. Послушайся они этого моего совѣта,—никто бы и

не ворохнулся, и капли крови не было бы пролито. Да что и говорить!

Генералъ махнулъ рукой и добавилъ:

— Хоть бы на будущее-то время послушнѣе были, да загодя теперь такую штуку припасли бы, да по Ревелю, да по Ригѣ повозили нѣмцемъ одѣтую, а то вѣдь опять, гляди, скоро понадобится нѣмцевъ колоть. А мнѣ, какъ хотите, мнѣ нѣмцевъ жалко: это не то, что гоноровое полячье безмозглое,—это люди обстоятельные и не перепорть мы ихъ сами, они пріятнѣйшіе соотечественники намъ были бы. Я помню, самъ въ Остзейскомъ краѣ два года стоялъ при покойномъ императорѣ, такъ эти господа нѣмцы намъ первые друзья были. Бывало, ничего каналья и по-русски-то не понимаетъ, а даже наши пѣсни поетъ: замѣсто «по мосту-мосту» задуваетъ:

Офъ демъ брике, брике, брике,
Офъ демъ калинишевъ брике.

А нынче вонъ, пишутъ, и они ужъ Wacht am Rhein запѣли и заиграли. Кто же, какъ не сами мы въ этомъ виноваты? Ну и надо теперь для ихъ спасенія, по крайней мѣрѣ, хоть гуттаперчевую куклу на свой счетъ заказывать, да какимъ-нибудь ее колбасникомъ или гофъ-герихтомъ наряжать и провѣшивать, чтобъ надъ живыми людьми не пришлось этой гадости дѣлать.

— А не находите ли вы, спрашиваю,—опасности въ томъ, что нѣмцы провѣдали бы, что человѣкъ-то, котораго вѣшаютъ, сдѣланъ изъ гуттаперчи?

— Ну, такъ что же такое, что провѣдали бы? Да имъ даже подъ рукою можно было бы это и разсказывать, а они все писали бы, что «москали всѣхъ повѣшали»; ученая Европа и порѣшила бы, что на Балтійскомъ поморьѣ нѣмцевъ ужъ нѣтъ, что нѣмцы всѣ ужъ перевѣшаны, а которые остались, тѣ, стало-быть, наши. Тогда они—послѣ пиши не пиши—никто заступаться не станетъ, потому что поляковъ ужъ нѣтъ, всѣ перевѣшаны; а за русскихъ заступаться не принято,—и весь бы этотъ дурацкій остзейскій вопросъ такъ и порѣшился бы гуттаперчевою куклой.

— Куклой!.. ну, говорю,—ваше превосходительство, теперь я ужъ даже и не сомнѣваюсь, что вы это все изволите шутить.

— Полноте, сдѣлайте милость! Вы меня этимъ даже

обижаете!—возразилъ съ неудовольствіемъ генералъ.—А съ другой стороны, я даже и не понимаю, что васъ такъ удивляетъ, что кукла можетъ производить впечатлѣніе? Мало ли развѣ вы видите у насъ куколъ, которыхъ всѣ знаютъ за куколъ, а они не только впечатлѣніе производятъ, но даже рѣшеніемъ вопросовъ руководятъ? Вы здѣшній?

— Да, здѣшній.

— И еще, можетъ-быть, въ здѣшней гимназіи обучались?

Я отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, такъ вы не можете не знать господина Калатузова?

— Какъ же, отвѣчаю,—очень хорошо его знаю.

— Дуракъ онъ?

— Да, не уменъ.

— Чего не уменъ, просто дуракъ. Я и отца его зналъ, и тотъ былъ дуракъ, и мать его зналъ—и та была дура, и вся родня ихъ были дураки, а и они на этого всѣ дивовались, что уже очень глупъ: никакъ до десяти лѣтъ казанскаго мыла отъ пряника не могъ отличить. Если, бывало, какъ-нибудь мать въ банѣ въ сторону засмотрится, онъ сейчасъ все мыло и поѣстъ. Людей сколько за это пороли. Просто отчаянье! До восемнадцати лѣтъ дома у гувернантки учился, пока ее обнимать началъ, а ничему не выучился; въ гимназію въ первый классъ по девятнадцатому году отдали и черезъ пять лѣтъ изо второго класса назадъ вынули. Ни къ одному мѣсту не годился,—а вонъ добрые люди его въ Петербургѣ научили газету издавать, и пошло, и заговорили про него, какъ онъ вопросы рѣшаетъ. Вотъ вы его посмотрите: вчера былъ у меня; пріѣхалъ въ земство, гласнымъ выбранъ ради своего литературнаго значенія и будетъ голосъ подавать.

— Что же, спрашиваю,—поумнѣлъ онъ хотя немножко, редакторствуя?

— Какое же поумнѣть? Мыла, разумѣется, ужъ не ѣстъ; а пока сидѣлъ у меня—все пальцами носъ себѣ чистилъ. Изъ ничего вѣдь, батюшка, только Богъ свѣтъ создалъ, да и это нынѣшніе ученые у Него оспариваютъ. Нѣтъ-съ; сей Калатузовъ только помудрешѣлъ. Спрашиваю его, что какъ его дѣла идутъ?

— Шли, говоритъ,—хорошо, а съ прошлаго года пошли хуже.

— Отчего же, молъ, это?

— Западъ, говоритъ,—у меня отвалился.

— Ну, вы, конечно, это горе поправили?

Думалъ онъ думалъ:—м-да,—отвѣчаетъ,—поправилъ.

— Ну, и теперь, значитъ, опять хорошо?

— М-да, не совсѣмъ: теперь востокъ отпалъ.

— Фу, говорю,—какое критическое положеніе: этакъ все, пожалуй, можетъ разсыпаться?

Думалъ, опять думалъ и говоритъ, что можетъ.

— Такъ нельзя ли, молъ, какъ-нибудь такъ, чтобы и востоку, и западу приходилось по вкусу?

— М-можно, да... людей нѣтъ!

— Что̀ такое?—Удивился, знаете, безмѣрно, что ужъ даже и пѣтый дуракъ и тотъ на безлюдье жалуется.—Что̀ такое, переспрашиваю,—и получаю въ отвѣтъ:

— Людей нѣтъ.

— Въ Петербургѣ-то способныхъ людей нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Не вѣрю, говорю.—Вы поискали бы ихъ поприлежнѣе, какъ голодный хлѣба ищетъ.

— Искалъ,—отвѣчаетъ.

— Ну, и что же? Неужто нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Ну, вы въ Москвѣ поискали бы.

— А тамъ, говоритъ,—и подавно нѣтъ. Нынче ихъ нигдѣ ужъ нѣтъ; нынче надо совсѣмъ другое дѣлать.

— Что такое? любопытствую.—Разскажи, молъ, дура любезная, удиви, что̀ ты такое надумала? А онъ-съ меня, дѣйствительно, и удивилъ!

— Надо, отвѣчаетъ,—разомъ два изданія издавать: одно такъ, а другое иначе.

— Ну, скажите Бога ради, не тонкая ли бестія?—воскликнулъ, подскочивъ, генералъ.—Видите выдумалъ какой способъ! Теперь ему всѣ будутъ кланяться, вотъ увидите, и заискивать станутъ. Не утаю грѣха,—я ему вчера первый поклонился: начните, молъ, нашего брата солдата въ одномъ изданіи ругать, такъ хоть въ другомъ поддержите. Мы, молъ, за то подписываться станемъ.

— М-да, говоритъ,—въ другомъ мы поддержимъ.

— Такъ вотъ-съ, сударь,—заговорилъ, выпрямляясь во весь ростъ, генералъ:—вотъ вамъ въ нашъ вѣкъ кто на всѣхъ угодитъ, кто всѣмъ тонъ задастъ и кто прочнѣе всѣхъ на землѣ водворится: это—*безнатурный дуракъ!*

ГЛАВА ВОСЬМИДЕСЯТАЯ.

Это было послѣднее слово, которое я слышалъ отъ генерала въ его домѣ. Затѣмъ, по случаю наступившихъ сумерекъ, старикъ предложилъ мнѣ пройтись, и мы съ нимъ долго ходили, но я не помню, что у насъ за разговоръ шелъ въ то время. Въ памяти у меня оставалось одно пугало: «безнатурный дуракъ», угрожая которымъ Перловъ говорилъ не только безъ шутки и иронiи, а даже съ яростію, съ непримиримою досадой и съ горькою слезой на рѣсницахъ.

Старикъ проводилъ меня до моей квартиры, и здѣсь, крѣпко сжимая мою руку, еще нѣсколько минутъ на кого-то все жаловался; упоминалъ упавшимъ голосомъ фамилiи нѣкоторыхъ важныхъ лицъ петербургскаго высшаго круга и, въ заключеніе, вздохнувъ и потягивая мою руку книзу, прошепталъ:

— Вотъ такъ-то-съ царскаго слугу и изогнули какъ дугу!—а затѣмъ быстро спросилъ:—вы сейчасъ ляжете спать дома?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ я:—я еще поработаю надъ моей запиской.

— А я домой только завтра, а до утра пойду въ дворянскiй клубъ спать: я тамъ такимъ манеромъ предводительскаго зятя мучу: я сплю, а онъ дежуритъ, а у него жена молодая. Но зато штрафъ шельмовскiй дорого стоитъ.

Тягостнѣйшiя на меня напали размышленiя: фу ты, думаю себѣ, да что же это, въ самомъ дѣлѣ, за патока съ имбирем, ничего не разберемъ! Что это за люди и что за странныя у всѣхъ заботы, что за скорби, страсти и волненiя? Отчего это все такъ духомъ взмѣшалось, взбуровилось и что, наконецъ, изъ этого всего выйдетъ? Что снимется пѣною, что падетъ осадкой на дно и что отстоится и пойдетъ на потребу?

А генерала жалко. Изъ всѣхъ людей, которыхъ я встрѣтилъ въ это время, онъ положительно самый симпатичнѣйшiй человѣкъ. Въ немъ какъ-то все пріятно: и его голосъ,

и его манеры, и его тонъ, въ которомъ не отличишь ироніи и шутки отъ серьезнаго дѣла, и его гнѣвъ при угрозѣ господствомъ «безнатурнаго дурака», и его тихое: «вотъ и царскаго слугу изогнули какъ въ дугу», и даже его не совсѣмъ мнѣ понятное намѣреніе идти въ дворянскій клубъ спать до свѣта.

Да, онъ положительно симпатичнѣе всѣхъ... кромѣ пристава Васильева. Ахъ, Боже мой: зачѣмъ, однакоже, до сихъ поръ не навѣщу въ сумасшедшемъ домѣ моего бѣднаго философа и богослова? Что-то онъ, какъ тамъ оріентировался? Находитъ ли еще и тамъ свое положеніе сноснымъ и хорошимъ? Это просто даже грѣхъ позабыть такую чистую душу... Рѣшилъ я себѣ, что завтра же непремѣнно къ нему пойду, и съ тѣмъ легъ въ постель.

Записка не пишется, да и что̀ писать—самъ не знаю, а ужъ въ умѣ у меня начали зарождаться лукавые замыслы, какъ бы свалить это дѣло съ плечъ долой.

— Не совсѣмъ это нравственно и благородно, думаю я,— засыпая, ну да что же подѣлаешь, когда ничего иного не умѣешь? Конечно, оно можно бы... да настойчивости и цѣпкости въ насъ нѣтъ... Лѣкарь Отрожденскій правъ: кажется, дѣйствительно, народъ еще можетъ быть предоставленъ пока своей смерти и сойдется съ ней и безъ медицинской помощи... Однако, какъ это безнравственно!.. Но... но Перловъ «безнатурнымъ дуракомъ» грозится... Страшно! Глупость-то такъ со всѣхъ сторонъ и напираетъ, и не ждетъ... Вздоры и раздоры такъ всѣхъ и засасываютъ... И вдругъ, среди сладкой дремоты, завязывающей и путающей эти мои соображенія, я чувствую толчокъ какою-то мягкою и доброю рукой, и тихій голосъ прошепталъ мнѣ надъ ухомъ: «Спи! это все сонъ!.. все это сонъ. Вся жизнь есть сонъ: проснешься, тогда поймешь, зачѣмъ все это путается».

Я узналъ голосъ станового Васильева и... уснулъ, а утромъ просыпаюсь, и первое, что меня осѣнило: зачѣмъ же, однако, *мнѣ* поручили составить эту записку?—*мнѣ*, который не знаетъ Россіи, который менѣе всѣхъ ихъ живетъ здѣсь?

— Позвольте, позвольте!—воскликнулъ я вдругъ, хвативъ себя за голову.—Да я въ умѣ ли или нѣтъ? Что̀ же это такое: я вѣдь ужъ не совсѣмъ понимаю, напримѣръ, что въ словахъ Перлова сказано на смѣхъ, и что̀ взаправду

имѣетъ смыслъ и могло бы стоить вниманія?.. Что-то есть такого и иного!.. Позвольте... позвольте! Они (и у меня уже свои мнѳическія *они*), они свели меня умышленно съ ума и... кто же это на-смѣхъ подвелъ меня писать записку? Нѣтъ! это не спроста... это...

Я вскочилъ, одѣлся и побѣжалъ къ Дергальскому.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ.

Застаю его дома, отвожу потихоньку въ сторону и секретно спрашиваю: не писалъ ли когда-нибудь кому-нибудь Фортунатовъ, чтобы пригласить меня къ составленію предварительной записки объ учрежденіи врачебной части въ селеніяхъ?

— Позвольте, отвѣчаетъ,—я сейчасъ сплявлюсь.

Юркнулъ куда-то въ шкафъ, покопошился тамъ, пошелестилъ бумагами и отвѣчаетъ:

— Есть! писалъ!

И съ этимъ подаетъ мнѣ смятое письмо съ рубцомъ отъ бечевки, которою была стянута пачка.

Это было письмо Фортунатова къ предводителю моего уѣзда. Касающаяся до меня фраза заключалась въ слѣдующемъ: «Кстати, къ вамъ, по сосѣдству, пріѣхалъ помѣщикъ Орестъ Ватажковъ; онъ человѣкъ бывалый за границей и навѣрно близко знаетъ, какъ въ чужихъ краяхъ устраиваютъ врачебную часть въ селеніяхъ. Прихватите-ка и его сюда: дѣло это непремѣнно надо свалить къ чорту съ плечъ».

— Да, вѣдь, предводитель, замѣчаю,—этого письма не получилъ?

— Какъ же... нѣтъ, получилъ.

— Какъ же получилъ, когда оно здѣсь у васъ?

— Да, да, да... онъ, стало-быть, не получилъ.

Я простился и иду домой, и вдругъ узнаю изъ непосредственнаго своего доклада, что я уже самъ путаюсь и сбиваюсь, что я уже полонъ подозрѣній, недовѣрій, что хожу потихоньку освѣдомляться, кто о чемъ говорилъ и писалъ, что даже самъ *читаю чужія письма*... вообще веду себя скверно, гадко, неблагородно, и имя мнѣ теперь... *интриганъ!*

Я встрепенулся и остолбенѣлъ на мѣстѣ. Я испугался этого ужаснаго, позорнаго имени, тѣмъ болѣе, что самъ не могъ дать себѣ отчета: слышу ли я это слово внутри себя,

или... или я даже изловленъ на интриганствѣ и подвергаюсь позорному обличенію.

Увы! это было такъ: глаза мои сказали мнѣ, что я пойманъ.

Поймалъ меня тотъ щуковатый полицеймейстеръ, котораго я видѣлъ у губернатора. Чортъ его знаетъ, откуда онъ проѣзжалъ мимо квартиры злосчастнаго Дергальскаго и по какому праву онъ, съ самою возмутительною фамильярностью, погрозилъ мнѣ, шутя, пальцемъ и въ силу чего онъ счелъ себя въ правѣ назвать меня интриганомъ. Фуй, неужто же такъ черезчуръ легко запутаться и... даже падать? А вѣдь, какъ хотите, неумѣстная и безсмысленная фамильярность полицеймейстера не что иное, какъ признакъ весьма не высокаго положенія моихъ фондовъ. Когда же я ихъ такъ уронилъ и чѣмъ именно? Это преглупо и предосадно.

Я возвратился домой въ самомъ дурномъ расположеніи духа, но только-что переступилъ порогъ, какъ сейчасъ же утѣшился: у себя я, сверхъ всякаго ожиданія, нашелъ генерала Перлова.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ВТОРАЯ.

Старикъ этотъ былъ мнѣ теперь вдвое милъ: я разсказалъ ему всѣ свои недоумѣнія и сюрпризы съ такою полною откровенностью, съ какою можно разсказывать свои дѣла только сердечнѣйшему другу. Онъ все молчалъ и сосалъ янтарь своего черешневаго чубука, изрѣдка лишь отзываясь самыми короткими, но опредѣлительными выраженіями. Губернатора назвалъ «свистуномъ», губернаторшу обругалъ нецензурнымъ словомъ, про Дергальскаго сказалъ, что онъ «балалайка безструнная», а Фортунатова похвалилъ: «этотъ, говоритъ, въ кулакѣ изъ яйца цыпленка выведетъ»; а впрочемъ, обо всѣхъ сказалъ, что «всѣ они вмѣстѣ порядочная сволочь», и предлагалъ ихъ повѣсить. Предводителя я ужъ, разумѣется, и не коснулся, но о полицеймейстерѣ разсказалъ, какъ онъ нагло сейчасъ со мною расфамильярничался.

— Гвардейская привычка-съ,—отвѣчаетъ генералъ.—Ихъ, этихъ господъ, знаю: былъ и со мной такой случай, что ихъ братія пробовали со мной фамильярничать, да вѣдь мнѣ въ кашу не плюнешь. Я еще тогда въ маленькомъ чинѣ

служилъ. Мы не поладили какъ-то за картами. Мнѣ денщикъ ихъ говоритъ: «не ходите, говоритъ, къ намъ больше, ваше благородіе, а то наши господа хотятъ васъ бить». Я ему далъ на водку и прихожу и спрашиваю: правда ли, господа, будто вы хотите меня бить?—«Правда»; а ихъ осьмеро, а я одинъ. Ну, какъ же вы меня будете бить, когда васъ осьмеро, а я одинъ?—«А вотъ какъ», отвѣчаетъ самъ хозяинъ, да прямо меня по щекѣ. Я очень спокойно говорю: я этому, господа, не вѣрю. Онъ второй разъ. Я опять говорю,—не вѣрю. Онъ въ третій; ну, тогда я взялъ его за ноги, взмахнулъ да и началъ имъ же самимъ дѣйствовать, и всѣхъ ихъ переколотилъ и взялъ изъ-подъ скамьи помойный тазъ, облилъ ихъ, да и ушелъ.

— Вы очень сильны.

— Нѣтъ, пудовъ двѣнадцать я больше теперь не подниму, а былъ силенъ: два француза меня безоружнаго хотѣли въ плѣнъ отвести, такъ я ихъ за вихры взялъ, лобъ объ лобъ толкнулъ и бросилъ,—больше ужъ не вставали. Да русскій человѣкъ вѣдь, вообще, если его лѣкарствами не портить, такъ онъ очень силенъ.

Ахъ, думаю, вотъ эта рѣчь мнѣ очень на руку, и спрашиваю: лѣчился ли онъ самъ когда-нибудь?

— Какъ же-съ, отвѣчаетъ.—Я въ медицину не вѣрю, даже одного лѣкаря разъ выпоролъ за ошибку, но я вѣдь женатый человѣкъ, такъ для женскаго спокойствія, когда нездоровится, постоянно лѣчусь, но только гомеопатіей и въ ослабленныхъ пріемахъ.

— Ихъ пріемы-то и вообще, молъ, ужъ ослаблены.

— Ну все-таки, знаете, я нахожу, что еще сильно... все-таки лѣкарство, и внутрь пускать его не хорошо; а, я, какъ принесутъ изъ гомеопатической аптеки скляночку у себя ее на окно за занавѣску ставлю, оно тамъ и стоитъ: этакъ и жена спокойна, и я выздоравливаю. Вотъ вы бы этотъ способъ для народа и порекомендовали,—это ужъ самое безвредное. Ей-Богу!.. Ахъ, да и кстати: записку-то свою бросьте: дворяне ужъ съѣзжаются, и они всѣ будутъ противъ этого, потому что предводитель хочетъ. Вотъ и опишите: губернаторъ не хочетъ, предводитель хочетъ, дворянство не хочетъ потому, что предводитель хочетъ, а предводитель хочетъ потому, что губернаторъ не хочетъ... Вотъ опишите это, и будетъ вамъ лучшая повѣсть нашего времени, и от-

дадутъ васъ за нее подъ судъ, а судъ оправдастъ, и тогда публика книжку раскупитъ. Впрочемъ, я предложу Калатузову, не хочетъ ли, я самъ опишу все это въ видѣ романа. Не умѣю, да ничего. Гарибальди пишетъ, и тоже довольно скверно. А теперь поѣдемте, я обѣщалъ васъ привезти познакомить къ четыремъ дворянамъ... Отличные ребята, да вы вѣдь и должны имъ сдѣлать визиты какъ пріѣзжій.

Я поѣхалъ и былъ съ его превосходительствомъ не у четырехъ, а у шести «отличныхъ ребятъ», которые какъ въ одно слово ругали предводителя и научили меня стоять на томъ, что при такихъ повсемѣстныхъ разладицахъ ничего предпринимать нельзя и надо все бросить.

— Это все *мои молодцы*.—пояснялъ мнѣ генералъ, когда мы ѣхали съ нимъ домой.—Это все анти-предводительская партія, и вы ужъ теперь къ предводительскимъ не ѣздите, а то будетъ худо!

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯ.

Съ этой поры я, милостивые государи, увидѣлъ себя не только помѣшаннымъ, но даже въ силкахъ, отъ которыхъ такъ долго и ревностно отбивался. И пребывалъ я совсѣмъ отуманенный на засѣданіяхъ, на обѣдахъ, даваемыхъ, по здѣшнему выраженію, съ «генераломъ Перловымъ»; былъ приглашаемъ «па генерала Перлова» и утромъ, и вечеромъ я слушалъ, какъ онъ жестоко казнилъ все и всѣхъ. Самъ я больше молчалъ и отзывался на все только изрѣдка, но представьте же себѣ, что при всемъ этомъ... меня изъ губерніи выслали. Что, какъ и почему? ничего этого не знаю, но пріѣхалъ полицеймейстеръ и попросилъ меня уѣхать. Ходилъ я за объясненіями къ губернатору — не принялъ; ходилъ къ Фортунатову — на нервы жалуется и говоритъ: «ничего я, братецъ, не знаю»; ходилъ къ Перлову, — тотъ говоритъ: «повѣсить бы ихъ всѣхъ и больше ничего, но вы, говоритъ,—погодите: я съ Калатузовымъ поладилъ и романъ ему сочинять буду, тамъ у меня все будетъ описано».

Навѣстилъ въ послѣдній вечеръ станового Васильева въ сумасшедшемъ домѣ. Онъ спокоенъ какъ нельзя болѣе.

— Какъ же, говорю, — вы это все сносите?

— А что жъ? отвѣчаетъ,—тутъ прекрасно, и знаете ли, я здѣсь даже совершенно успокоился насчетъ многаго.

— Опредѣлились?

— Совершенно опредѣлился. Я христіанство, какъ религію, теперь совсѣмъ отвергаю. Мнѣ въ этомъ очень много помогъ здѣшній прокуроръ; онъ насъ навѣщаетъ и даетъ мнѣ *Revue Spirite*. Я проникся этимъ ученіемъ и, усвоивъ его, могу оставаться членомъ какой угодно церкви; передъ судомъ спиритизма религіозныя различія — это не болѣе, какъ «обычаи извѣстной гостиной», — не болѣе. А вѣдь въ чужомъ домѣ надо же вести себя такъ, какъ тамъ принято. Внутреннихъ моихъ убѣжденій, *истинной* моей вѣры, я не обязанъ предъявлять и осуждать за иновѣрство тоже нужды не имѣю. У спиритовъ это очень ясно; у нихъ, впрочемъ, все ясно: виноватыхъ нѣтъ, но не абсолютно. Преступленіе воли карается, но кара не вѣчна; она смягчается по мѣрѣ заслугъ и смываетъ преступленія воли. Я очень радъ, что мнѣ назначили этотъ экзаменъ здѣсь.

— Будто, говорю, — ваше спокойствіе нимало не страдаетъ даже отъ здѣшняго общества?

— Я этого не сказалъ, *мое*... Что *мое*, то, можетъ-быть, немножко и страдаетъ, но вѣдь это кратковременно и потомъ все это плоды *нашей* цивилизаціи (вы вѣдь, конечно, знаете, что увеличеніе числа помѣшанныхъ находится въ извѣстномъ отношеніи къ цивилизаціи: мужиковъ сумасшедшихъ почти совсѣмъ нѣтъ), а зато я, самъ я (Васильевъ просіялъ радостью), я спокоенъ какъ нельзя болѣе и... вы знаете оду Державина *Безсмертіе души?*

— Наизусть, отвѣчаю, — не помню.

— Тамъ есть такіе стихи:

> Отъ безконечной единицы,
> Въ комъ всѣхъ существъ вратится кругъ,
> Какія бъ ни текли частицы,
> Всѣ живы, вѣчны, вѣченъ духъ!

Безконечная единица и ея частицы, въ ней же вращающіяся... вы это понимаете?

— Интересуюсь, говорю, — знать отъ васъ, какъ вы это понимаете?

— А это очень ясно, — отвѣчалъ съ безпредѣльнымъ счастіемъ на лицѣ Васильевъ: — частицы здѣсь и въ другихъ областяхъ; онѣ тутъ и тамъ испытываются и совершенствуются и когда освобождаются, входятъ снова въ составъ

единицы и потомъ снова развиваясь текутъ... Вамъ, я вижу, это непонятно? Мы съ прокуроромъ вчера выразили это чертежами.

Васильевъ вынулъ изъ больничнаго халата бумажку, на которой были начерчены одинъ въ другомъ три круга, начинающіеся на одной чертѣ и затушеванные снизу на равное пространство.

— Видите, все, что темное — это сонъ жизни, или теперешнее наше существованіе, а все свободное теченіе — это настоящее бытіе, безъ кожаной ризы, въ которой мы здѣсь спеленуты. Тѣло душевное бросается въ затушеванной площади, а тѣло духовное, о которомъ говоритъ апостолъ Павелъ, течетъ въ сіяніи міровъ. Послѣ каждаго пробужденія кругозоръ все шире, видѣніе все полнѣе, любовь многообъемлющѣе, прошеніе неограниченнѣе... Какое блаженство! И... зато вы видите: преграды все возвышаются къ его достиженію. Вы знаете, отчего у русскихъ такъ много прославленныхъ святыхъ и тьмы тьмъ не прославленныхъ? Это все оттого, что здѣсь еще недавно было такъ страшно жить, оттого, что земная жизнь здѣсь для благороднаго духа легко и скоро теряетъ всякую цѣну. Впрочемъ, въ этомъ отношеніи у насъ и теперь еще довольно благопріятно. Да, да, Россія въ экзаменаціонномъ отношеніи, конечно, и теперь еще, вообще, наилучшее отдѣленіе: здѣсь человѣкъ какъ золото выгоралъ отъ несправедливости; но вотъ намъ дѣлается знакомо правосудіе, расширяется у насъ мало-помалу свобода мысли, вообще становится нѣсколько легче, и я боюсь, не станутъ ли и здѣсь люди вѣрить, что тутъ ихъ настоящая жизнь, а не... то, что здѣсь есть на самомъ дѣлѣ...

— То-есть?

— То-есть исправительный карцеръ при сумасшедшемъ домѣ, въ который насъ сажаютъ для обуздыванія нашей злой воли.

— Прощай, думаю,—мудрецъ въ сумасшедшемъ домѣ,— и съ этимъ, пожелавъ ему счастія, уѣхалъ.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

Черезъ сутки я былъ уже въ Москвѣ, а на третій день, усаживаясь въ вагонъ петербургской дороги, очутился носъ

къ носу съ моимъ уѣзднымъ знакомцемъ и рѣшительнымъ посредникомъ Готовцевымъ.

— Батюшка мой! Васъ ли я вижу? — восклицаетъ онъ, окидывая меня величественнымъ взглядомъ.

— Я, говорю,—что, съ своей стороны, могу болѣе подивиться, онъ ли это?

— Отчего же?..

— Да оттого, что вы такъ недавно были заняты службой.

— Полноте, Бога ради; я ужъ совсѣмъ тамъ не служу; меня *они,* бездѣльники, вѣдь подъ судъ отдали.

— За школы?

— Представьте, да, за школы. Прежде воспользовались ими и получили благодарность за устройство, а потомъ... Подлецъ, батюшка, вашъ Фортунатовъ! Губернаторъ человѣкъ нерѣшительный, но онъ благороднѣе: онъ вспомнилъ меня и сказалъ: «Надо бы и Готовцева къ чему-нибудь представить». А бездѣльникъ Фортунатовъ: «Представить бы, говоритъ,— его къ ордену *бѣшеной собаки!*» Ну, не скотъ ли и не циникъ ли? Пошелъ доказывать, что меня надо... подобрать... а губернаторъ безъ рѣшимости... онъ сейчасъ и согласенъ, и меня не только не наградили, а остановили на половинѣ дѣла; а тутъ еще земство начинаетъ дѣйствовать и тоже взялось за меня, и вотъ я подъ судомъ и ѣду въ Петербургъ въ министерство, чтобъ искать опоры; и... буду тамъ служить, но ужъ это чортово земство пропеку-съ! Да-съ, пропеку. Вы какъ?

— Со мной, хвалюсь, — поступили тоже не хуже, чѣмъ съ вами, довольно рѣшительно, — и разсказываю ему, какъ меня выслали.

Готовцевъ сатирически улыбнулся.

— И вы, говоритъ,—этакую всякую мѣру считаете «довольно рѣшительною»?

— А вы нѣтъ?

— Еще бы! Я бы васъ за это не выслалъ, а къ Макару телятъ гонять послалъ.

— Но за что же-съ? позвольте узнать.

— А-а! не участвуйте въ комплотахъ. Я вамъ признаюсь, вѣдь все ваше поведеніе для меня было всегда очень подозрительно; я и самъ думалъ, что вы за господинъ такой, что ко всѣмъ ѣздите и всѣхъ просите: «посовѣтуйте

мнѣ, Бога ради», да все твердите: «народъ, села, села, н
родъ»... Эй вы, вы!..— продолжалъ онъ, взглядывая на ме
проницательно и грозя мнѣ пальцемъ предъ самымъ н
сомъ.—Губернатора вы могли надувать, но ужъ меня-то в
не надули: я сразу понялъ, что въ вашемъ поведеніи чт
то есть и (добавилъ онъ въ другомъ тонѣ) вы если пр
играли вашу нынѣшнюю ставку, то проиграли ее еди
ственно чрезъ свою нерѣшительность. Почему вы мнѣ прям
не высказались?

— Въ чемъ-съ, милостивый государь, въ чемъ?

— Конституціоналистъ вы, или вы радикалъ? Выска
житесь вы, и я бы вамъ рискнулъ высказаться, что я сам
готовъ сюда Гамбетту, да-съ, да-съ не Дерби, какъ этот
губернаторъ желаетъ, а прямо Рошфора сюда и непримир
римаго Гамбетту сюда вытребовать... Я самый рѣшительны
человѣкъ въ Россіи!

— Нѣтъ, позвольте ужъ васъ перебить: если на то по
шло, такъ я знаю человѣка, который гораздо рѣшительнѣе
васъ.

— Это кто?

— Генералъ Перловъ; онъ прямо говоритъ, что если бъ
его воля, то онъ всю Европу бы перепоролъ, а всѣхъ насъ
перевѣшалъ бы.

— Да... но вы забываете, что вѣдь между нами съ Пер
ловымъ лежитъ бездна: онъ всѣхъ хочетъ перевѣшать, а я
вѣдь противъ смертной казни и, въ случаѣ чего-нибудь, я
бы первыхъ такихъ господъ самихъ перевѣшалъ, — отвѣ
чалъ, отворачиваясь, Готовцевъ.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЬ ПЯТАЯ.

Живу затѣмъ я цѣлое лѣто въ Петербургѣ и жду де
негъ изъ деревни. Скука страшная: жара, духота; Излеръ
и Бергъ, Альфонсины и Финеты, танцы въ панталонахъ.
но безъ увлеченія, и танцы съ увлеченіемъ, но безъ пан
талонъ, порицаніе сильныхъ и преклоненіе предъ ними.
задоръ и безсиліе, кичливость знаніями и литература, по
лучившая наименованіе «орудія невѣжества»... Нѣтъ, нѣтъ.
эта страна, можетъ-быть, и дѣйствительно очень хорошее
«экзаменаціонное отдѣленіе», но... я слишкомъ слабо при
готовленъ; мнѣ нужно что-нибудь полегче, *пообразнѣе,*

поспокойнѣе. А пока, дастъ Богъ, можно будетъ уѣхать за границу; вспомнилось мнѣ, что я художникъ, и взялся сдѣлать вытравкой портретъ Дмитрія Петровича Журавскаго,—человѣка, какъ извѣстно, всю свою жизнь положившаго на то, чтобъ облегчить тяжелую долю крестьянъ, и собиравшаго гроши своего заработка на ихъ выкупъ... Какъ хотите, характеръ первой величины, — какъ его не передать потомству? Сдѣлалъ доску и понесъ ее въ редакцію одного иллюстрированнаго изданія. «Дарю, молъ, вамъ ее,— печатайте».

Благодарятъ: говорятъ, что имъ этого не надо: это-де *не интересно.*

— Помилуйте, убѣждаю ихъ:—вѣдь это человѣкъ большой воли, человѣкъ *дѣла,* а не фарсовъ, и притомъ человѣкъ, дѣлавшій благое дѣло въ сороковыхъ годахъ, когда почти не было никакихъ средствъ ничего путнаго дѣлать.

— А его, спрашиваютъ,—повѣсили или не повѣсили?

— Нѣтъ, не повѣсили.

— И онъ изъ тюрьмы не убѣжалъ?

— Онъ и въ тюрьмѣ-то вовсе не былъ: онъ дѣйствовалъ законно.

— Ну, такъ ужъ это, отвѣчаютъ,—даже и совсѣмъ не интересно.

Отхожу и, какъ герой сентиментальнаго путешествія Стерна, говорю:

— Нѣтъ, это положительно лучше во Франціи, потому что тамъ даже нашихъ веневскихъ бабъ, Авдотью и Марью, и тѣхъ увѣковѣчили и по сю пору шоколадъ съ ихъ изображеніями продаютъ.

И вотъ-съ дѣла мои идутъ скверно: имѣніе не продается, и я даже зазимовалъ въ Петербургѣ.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ.

О Рождествѣ меня навѣщаетъ Фортунатовъ: радостный-прерадостный, веселый-превеселый.

— На три дня, говоритъ,—всего пріѣхалъ, и то тебя разыскалъ. Пошли разсказы: губернатора уже нѣтъ: «Онъ очень мнѣ надокучилъ,—говоритъ Фортунатовъ,—и, наконецъ, я его давануль въ затылокъ, такъ что ему сразу больничку въ губы продернули. Полетѣлъ, сердечный, кверху тормашками!

Теперь посмотрю, каковъ будетъ новый. Только ужъ мнѣ все равно: я по земству служу. Теперь въ открытую играть буду». Генералъ Перловъ дошелъ, говоритъ, до обнищанія, потому что все еще ходитъ въ клубъ спать (такъ какъ предводительскаго зятя опять выбрали старшиною). «Если,— говоритъ упрямый старикъ,—войны не будетъ и романа написать не сумѣю, то мирюсь съ тѣмъ, что не миновать мнѣ долговой тюрьмы». Дергальскій отставленъ и сидитъ въ острогѣ за возмущеніе мѣщанъ противъ полицейскаго десятскаго, а приставъ Васильевъ выпущенъ на свободу, питается акридами и медомъ, поднимался вмѣстѣ съ прокуроромъ на небо по лѣстницѣ, которую видѣлъ во снѣ Іаковъ, и держалъ тамъ дебаты о беззаконности наказаній, въ чемъ и духи, и прокуроръ пришли къ полному соглашенію; но какъ господину прокурору нужно получать жалованье, которое ему дается за обвиненія, то онъ увѣренъ, что о невмѣняемости съ нимъ говорили или «легкіе», или «шаловливые» духи, которыхъ мнѣніе не авторитетно, и потому онъ спокойно продолжаетъ брать казенное жалованье, говорить о возмутительности вѣчныхъ наказаній за гробомъ и подводить людей подъ возможно тяжкую кару на землѣ.

На этомъ, почтенный читатель, можно бы, кажется, и кончить, но надобно еще одно послѣднее сказанье, чтобъ лѣтопись окончилась моя.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ.

Вотъ въ чемъ-съ должно заключаться это послѣднее сказанье: затянувшаяся бесѣда наша была внезапно прервана неожиданнымъ появленіемъ дядинаго слуги, который пришелъ извѣстить его, что къ нему заѣзжали два офицера отъ генерала Постельникова.

Занимавшій насъ своими разсказами, дядя мой такъ и затрепеталъ; да, признаюсь вамъ, что мы и всѣ-то сами себя нехорошо почувствовали. Страшно, знаете, не страшно, а все, какъ Гоголь говорилъ,—«трясеніе ощущается».

Пристали мы къ слугѣ: какъ это было; какіе два офицера приходили, и зачѣмъ?

— Ничего, говоритъ,—не знаю зачѣмъ, а только очень сожалѣли, что не застали, даже за головы хватались: «что

мы, говорятъ, теперь генералу скажемъ?» и съ тѣмъ и уѣхали. Обѣщали завтра рано заѣхать, а я, говоритъ, сюда и побѣжалъ, чтобъ извѣстить.

Добиваемся: не было ли еще чего говорено? Разспрашиваемъ слугу: не замѣтилъ ли онъ чего особеннаго въ этихъ гостяхъ?

Лакей поводитъ глазами и не знаетъ, что̀ сказать, а намъ кажется, что онъ ни вѣсть что̀ знаетъ да скрываетъ отъ насъ.

А мы его такъ и допрашиваемъ, такъ и шпыняемъ — хуже инквизиторовъ.

Бѣдный малый даже съ толку сбился и залепеталъ:

— Да Господи помилуй: ничего они особеннаго не говорили, а только одинъ говоритъ: — оставимъ въ конвертѣ; а другой говоритъ: — «нѣтъ это нехорошо: онъ прочтетъ, надумается и откажется. Нѣтъ, а мы его сразу, неожиданно, накроемъ!»

Изволите слышать: это называется «ничего особеннаго»!

Дядя всталъ на ноги и зашатался: совсѣмъ вдругъ сталъ боленъ и еле держится.

Уговаривали его успокоиться, просили остаться переночевать,—нѣтъ, и слушать не хочетъ.

Человѣка мы отправили впередъ на извозчикѣ, а сами вдвоемъ пошли пѣшечкомъ.

Идемъ молча,—слово не вяжется, во рту сухо. Чувствую это я и замѣчаю, что и дядя мой чувствуетъ то же самое, и говоритъ:

— У меня, братъ, что-то даже во рту сухо.

Я отвѣчаю, что и у меня тоже.

— Ну, такъ зайдемъ, говоритъ, — куда-нибудь пропустить... А?

— Что же, пожалуй, говорю,—зайдемъ.

— То-то; оно это и для храбрости не мѣшаетъ.

— Да, очень радъ, отвѣчаю,—зайдемъ.

— Только возьмемъ нумерокъ, чтобъ поспокойнѣе... а то я этихъ общихъ комнатъ терпѣть не могу... лакеи все такъ тебѣ въ ротъ и смотрятъ.

Понимаю, думаю себѣ,—любезнѣйшій дядюшка, все понимаю.

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ВОСЬМАЯ.

Завернули мы въ одинъ изъ ночныхъ кабачковъ... заняли комнату и заказали ужинъ и... насвистались, да такъ насвистались, что мнѣ стало казаться, что уже мы оба и лыка не вяжемъ.

И все это дядя!

— Пей, да пей, другъ мой, пристаетъ. — Наше вѣдь только сегодня, а завтра не наше; да все для храбрости еще да еще...

И сталъ мой дядя веселый, рѣчистый: пошелъ вспоминать про Брюлова, какъ тотъ, уѣзжая изъ Россіи, и платье, и бѣлье, и обувь по сю сторону границы бросилъ; про Нестора Васильевича Кукольника, про Глинку, про актера Соленика и Ивана Ивановича Панаева, какъ они разъ, на Крестовскомъ, варили такую жженку, что у прислуги отъ однихъ паровъ голова кругомъ шла; потомъ про Аполлона Григорьева со Львомъ Меемъ, какъ эти оба поэта, по вдохновенію, одновременно другъ къ другу навстрѣчу на Невскій выходили, и потомъ презрительно отозвался про нынѣшнихъ литераторовъ и художниковъ, которые пить совсѣмъ не умѣютъ.

Тутъ я что-то возразилъ, что тогда былъ вѣкъ романтизма и поэзіи и были и писатели такого характера, а нынче вѣкъ гражданскихъ чувствъ и свободы...

Но только-что я это вымолвилъ, дядя мой такъ и закипѣлъ.

— Ахъ, вы, говоритъ, — чухонцы этакіе: и вы смѣете романтиковъ не уважать? Какія такія у васъ гражданскія чувства? Откуда вамъ свобода возьмется? Да вамъ и вольности-то ваши дворянскія Дмитрій Васильевичъ Волковъ писалъ, запертый на замокъ вмѣстѣ съ датскимъ кобелемъ, а вамъ это любо? Ну, такъ вотъ за то же вамъ кукишъ будетъ подъ носъ изъ всѣхъ этихъ вольностей: людишекъ у васъ, это, отобрали... Что, вѣдь отобрали?

— Ну, и что жъ такое: мы очень рады.

— Ну, а теперь въ рекруты пойдете?

— И пойдемъ-съ, и гордимся тѣмъ, что это начинается съ нашего времени.

Но тутъ дядя вдругъ началъ жестоко глумиться надо

всѣмъ *нашимъ временемъ* и пошелъ, милостивые государи, что же доказывать, что нѣтъ, говоритъ, у васъ на Руси ни аристократовъ, ни демократовъ, ни патріотовъ, ни измѣнниковъ, а есть только одна деревенская попадья.

Согласитесь, что это Богъ знаетъ что за странный выводъ, и съ моей стороны весьма простительно было сказать, что я его даже не понимаю, и думаю, что и самъ-то онъ себя не понимаетъ и говоритъ это единственно по поводу рюмки желудочной водки, стакана англійскаго пива да бутылки французскаго шампанскаго. Но представьте же себѣ, что вѣдь нѣтъ-съ: онъ еще пошелъ со мной спорить и отстаивать свое обидное сравненіе всего нашего общества съ деревенскою попадьею, и на какомъ же основаніи-съ? Это даже любопытно.

— Ты гляди, говоритъ, — когда деревенская попадья въ церковь придетъ, она не стоитъ какъ всѣ люди, а все туда-сюда егозитъ, ерзаетъ, да напередъ лѣзетъ, а скажетъ ей добрый человѣкъ: «чего ты, шальная, егозишь въ Божьемъ храмѣ? молись потихонечку», такъ она еще обижается и обругаетъ: «ишь, дуракъ, молъ, какой выдумалъ: какой это Божій храмъ—это наша съ батюшкой церковь». И у васъ, говоритъ, ужъ нѣтъ ничего Божьяго, а все только «ваше съ батюшкой».

— И за то, говоритъ, — все, чѣмъ вы расхвастались, можно у васъ назадъ отнять: однихъ крестьянъ назадъ не закрѣпятъ, а васъ, либераловъ, всѣхъ можно какъ слесаршу Пошлепкину и унтеръ-офицерскую жену на улицѣ выпороть и доложить ревизору, что вы сами себя выпороли... и сойдетъ, какъ на собакѣ присохнетъ, лучше чѣмъ встарь, присыхало; а ужъ меня не выпорютъ.

Но тутъ я, милостивые государи, оказался совершенно слабъ и помню только, что дядя какъ будто подсовывалъ мнѣ подъ голову подушку, а самъ, весь красненькій, бурчалъ:

— Нѣтъ-съ: слуга вашъ покорный, а ужъ я удеру, и вамъ меня пороть не придется!

На этомъ мѣстѣ, однако, для меня уже все кончилось, и я нѣсколько минутъ видѣлъ самого моего дядю деревенскою попадьею и хотѣлъ его спросить: зачѣмъ это онъ не молится тихо, а все егозитъ да ерзаетъ, но это оказалось сверхъ моихъ возможностей.

Получилъ я назадъ даръ слова не скоро, и это случилось такимъ образомъ: увидѣлъ я себя въ полумракѣ незнакомой комнаты, началъ припоминать: «гдѣ я и что это такое?»

Кое-какъ припомнилъ вчерашній загулъ и начинаю думать:

«А хорошо ли это? А что сэръ Чаннингъ-то пишетъ? Ну, дядя, ужъ я вамъ за то вычитаю канонъ, что вы меня опоили».

И съ этимъ, знаете, встаю... А гдѣ же дядя? А его и слѣдъ простылъ.

Звоню.

Входитъ лакей.

— Который часъ? любопытствую.

— Восьмой-съ, говоритъ.

— Стало-быть, еще не разсвѣтало?

— Нѣтъ-съ, ужъ это, говоритъ,—опять смеркло.

Представьте себѣ, это я, значитъ, почти сутки проспалъ.

Стыдно ужасно предъ лакеемъ! Что же это такое—народу проповѣдуемъ о трезвости, а сами...

Достойный примѣръ!

— Дайте, говорю,—поскорѣе мнѣ счетъ.

— Да счетъ, отвѣчаетъ,—еще вчера-съ этотъ господинъ заплатили.

— Какой господинъ?

— А что съ вами-то былъ.

— Да онъ гдѣ же теперь?

— А они, говоритъ,—еще вчера ушли-съ. Заплатили-съ, спросили бумаги, что-то тутъ вамъ написали и ушли.

— Скорѣй давайте мнѣ огня и эту бумагу.

Человѣкъ исполнилъ мою просьбу, и я, поддерживая одною рукою больную голову, а другою листъ сѣрой бумаги, прочелъ:

«Не сердись, что я тебя подпоилъ. Дѣло опасное. Я не хочу, чтобы и тебѣ что-нибудь досталось, а это неминуемо, если ты будешь знать, гдѣ я. Пожалуйста, иди ко мнѣ на квартиру и жди отъ меня извѣстій».

Можете себѣ представить этакой сюрпризъ, да еще на больную голову!

ГЛАВА ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ.

Прихожу я на дядину квартиру, — все въ порядкѣ, но человѣкъ въ большомъ затрудненіи, что дядя не ночевалъ дома, и до сихъ поръ его нѣтъ.

— А два офицера, это, любопытствую,—не приходили?

— Какъ же-съ, говоритъ,—приходили: они и утромъ два раза приходили, и въ пять часовъ вечера были, и сейчасъ опять только вышли, и снова обѣщали, часовъ въ одиннадцать, быть.

— Тьфу ты, что̀ это за пропасть такая!

Съ досады и съ немочи вчерашняго кутежа я ткнулся въ мягкій диванъ и ну спать... и спалъ, спалъ, спалъ, перевидавъ во снѣ живыми всѣхъ покойниковъ, и Нестора Кукольника, и Глинку, и Григорьева, и Панаева, и цѣлую Русь деревенскихъ попадей, и—вдругъ слышу: дзынь-дзынь, брязь-брязь...

— Встаньте-съ, — говоритъ мнѣ дядинъ слуга: — отбою вѣдь нѣтъ,—вотъ уже и нынче третій разъ приходятъ. «Дядюшки, говорятъ, нѣтъ, такъ хоть племянника буди».

— Вотъ те и разъ! Господи, да я-то имъ на что?

— А ужъ не могу доложить, но только спросили, сочинитель вы или нѣтъ?..

— Ну, а ты же, молъ, что̀ отвѣтилъ?

— Я такъ, говоритъ,—и отвѣтилъ, что вы сочинитель, и вотъ они васъ ждутъ.

— Отцы мои небесные! да что же это за наказаніе такое? — вопросилъ я, возведя глаза мои къ милосердому Небу.—Ко мнѣ-то что же за дѣло? Я-то что̀ же такое сочинилъ?.. Меня только всю мою жизнь ругаютъ и ужъ давно доказали и мою отсталость, и неспособность, и даже мою литературную... безчестность... Да, такъ, такъ: нечего конфузиться — именно безчестность. — Гриша, говорю, — голубчикъ мой: поищи тамъ на полкахъ хорошихъ газетъ, гдѣ меня ругаютъ, вынеси этимъ господамъ и скажи, что они не туда попали.

Лакей Гриша съ малороссійской флегмою направился къ полкамъ, а я уже было хотѣлъ уползти и удрать чернымъ ходомъ, какъ вдругъ эти-то канальскія черныя двери пріотворились и изъ-за нихъ высунулась бѣлокурая головка

съ усиками, и нѣжный голосокъ самою музыкальною нотою прозвенѣлъ:

— Excusez-moi, si je ne suis pas venu... съ того хода, гдѣ слѣдовало, но намъ такъ долго не удавалось къ вамъ проникнуть...

— Ничего-съ, отвѣчаю, — сдѣлайте милость, не извиняйтесь.

— Нѣтъ, не извиняться нельзя, но знаете... какъ быть: служба... и не радъ, да готовъ.

— Конечно, говорю,—конечно. Чѣмъ, однако, прикажете служить?

— Вотъ, мой товарищъ, — позвольте вамъ представить, поручикъ, — онъ тутъ назвалъ какую-то фамилію и вытянулъ изъ-за себя здороваго купидона съ краснымъ лицомъ и русыми котелками на вискахъ.

Я поклонился отрекомендованному мнѣ гостю, который при этомъ поправилъ усъ и портупею и положительно крякнулъ, какъ бы заявилъ этимъ, что онъ человѣкъ не робкаго десятка.

«Да мнѣ-то, думаю, что̀ такое до васъ? По мнѣ, вы какіе ни будьте, я васъ и знать не хочу», и сейчасъ же самъ крякнулъ, и объявилъ имъ, что я здѣсь не хозяинъ и что хозяина самого, дяди моего, нѣту дома.

— Какъ же это такъ? Вы намъ скажите, пожалуйста, гдѣ онъ? Vous n'y perdrez rien, между тѣмъ какъ намъ это очень нужно,—говорилъ, сѣменя, юнѣйшій гость мой, межъ тѣмъ какъ старѣйшій строго молчалъ, опираясь на столъ рукою въ бѣлой замшевой перчаткѣ.

— Нѣтъ, вы, Бога ради, скажите, гдѣ вашъ дядюшка? мы его разыщемъ,—приставалъ младшій.

— Рѣшительно, говорю,—не знаю; что̀ хотите—не знаю. Самъ даже этимъ интересуюсь, но все тщетно.

— Это изумительно.

— А однако это такъ.

— Ну, въ такомъ разѣ позвольте за васъ взяться.

Я смѣшался.

— Что? что такое? какъ за меня взяться?

— А вотъ вы сейчасъ съ этимъ познакомитесь,—отвѣчалъ гость, вытаскивая изъ кармана и предлагая мнѣ конвертъ съ большою печатью.

— Прошу, говоритъ,—вскрыть.

Нечего дѣлать: принимаю трепещущими руками этотъ конвертъ; вскрываю его; вытаскиваю оттуда листъ веленевой бумаги, на которомъ картиннѣйшимъ писарскимъ почеркомъ написано... «Къ ней». Да-съ: ни болѣе, ни менѣе, какъ стихотвореніе, озаглавленное «Къ ней».

ГЛАВА ДЕВЯТИДЕСЯТАЯ.

Протеръ глаза еще разъ, взглянулъ—все то же самое—и вверху надпись «Къ ней»...

Я обидѣлся и разсердился и, не соображая уже никакихъ послѣдствій, спросилъ съ досадою: «это еще что такое?»

— А это, отвѣчаетъ мнѣ младшій изъ моихъ гостей:—на сихъ дняхъ въ балетѣ бенефисъ одной танцовщицы, которая... съ ней очень многія важныя лица знакомы, потому что она не только танцуетъ, но... elle visite les pauvres и...

— Но, позвольте, возражаю, — что же мнѣ до нея за дѣло?

— Совершенно вѣрно, совершенно вѣрно: вамъ нѣтъ до нея никакого дѣла, и она ни для кого никакого прямого значенія не имѣетъ, но... les jeunes gens font foule chez elle... и стараются услугами... совершенно невинными... невинными ей услугами доставить удовольствіе одному... очень, очень почтенному и вліятельному лицу. Онъ человѣкъ уже, конечно, не первой молодости и въ эти годы, знаете, женщина для человѣка много значитъ и легко пріобрѣтаетъ надъ нимъ вліяніе. Согласитесь, что все это вѣрно?

— Отлично-съ, говорю,—но что же мнѣ до этого за дѣло?

Гость обидѣлся.

— Я, говоритъ,—и не настаиваю, что *вамъ* есть до этого дѣло, но я прошу у васъ помощи и совѣта.

— А, это, молъ, другое совсѣмъ дѣло и, успокоенный, прошу гостей садиться.

Офицеры поблагодарили, присѣли и младшій опять началъ:

— Генералъ Постельниковъ, именемъ котораго мы рѣшились дѣйствовать, совсѣмъ объ этомъ не знаетъ. Да-съ: онъ насъ сюда не посылалъ, а это мы сами, потому что, встрѣтивъ въ спискахъ фамилію вашего дядюшки и зная, что ваша семья такая литературная...

Ну, ужъ тутъ я, видя, что мой гость затрудняется и не знаетъ, какъ ему выпутаться, не сталъ ему помогать никакими возраженіями, а предоставилъ все собственному его уму и краснорѣчію—пусть, молъ, какъ знаетъ, не спѣша, изъяснится. Онъ, бѣднякъ, и изъяснялся, и попотѣлъ-таки, попотѣлъ, пока одолѣлъ мою безпонятливость, и зато во всѣхъ подробностяхъ открылся, что онъ желаетъ быть замѣченнымъ генераломъ Постельниковымъ, и потому хочетъ преподнести его танцовщицѣ букетъ и стихи, но что стихи у него вышли очень плохи и онъ проситъ ихъ поправить.

«Такъ вотъ, думаю, чѣмъ весь этотъ переполохъ объясняется! Бѣдный мой дядя: за что же ты гибнешь?» И съ этимъ я вдругъ расхрабрился, кричу: «человѣкъ, чаю намъ!»—Господа, прошу васъ закурить сигары, а я сейчасъ... и, дѣйствительно, я въ ту же минуту присѣлъ и поправилъ, и даже ужъ, самъ не знаю, какъ поправилъ офицерское стихотвореніе «*Къ ней*», и пожелалъ автору понравиться балетной феѣ и ея покровителю.

— Ахъ, да! я цѣню вашу дружбу,—отвѣчалъ со вздохомъ мой гость:—цѣню и ваше доброе желаніе, но нашъ генералъ, нашъ бѣдный добрый генералъ... онъ теперь въ такомъ положеніи, что il s'émert d'un rien, и нельзя поручиться, въ какомъ состояніи онъ будетъ въ этотъ моментъ.

Я полюбопытствовалъ, что же такое отравляетъ драгоцѣнное спокойствіе генерала Постельникова.

— Ахъ, это то же самое-съ, я думаю, что̀ отравляетъ нынче спокойствіе многихъ и многихъ людей въ нашемъ отечествѣ... Это, въ самомъ дѣлѣ, иначе даже не можетъ и быть для истинныхъ европейцевъ: я молодъ, я еще, можно сказать, незначителенъ и не чувствую всего этого такъ близко. Но... но и я... je déplore les maux de ma patrie. Но онъ, нашъ генералъ, онъ, который помнитъ все это въ иномъ видѣ, когда эта «дурная болѣзнь», какъ мы это называемъ, еще робко кралась въ Россію подъ контрабандными знаменами Герцена, но Герценъ, помилуйте... Герцена только забили; онъ былъ заѣденъ средою и сталъ рѣзокъ, но онъ все-таки былъ человѣкъ просвѣщенный и остроумный,—возьмите хоть однѣ его клички «трехполѣнный», трехполѣнный, вѣдь это все острота ума, а теперь...

«Господи!.. что, думаю, за несчастье: еще какой такой Филимонъ угрожаетъ моей робкой родинѣ?» Но оказывается, что этотъ новый злополучный Филимонъ этого новаго, столь прекраснаго и либеральнаго времени есть разыскиваемый въ зародышѣ *Русскій Духъ* или, на бонтонномъ языкѣ современнаго бонтона, «дурная болѣзнь» нашего времени, для запугиванія котораго ее соединяютъ въ одну семью со всѣми семью язвами Египта.

— Трудное же, говорю,—господа, вамъ дѣло досталось—ловить русскій духъ!

— Чрезвычайно трудное-съ: еще ни одно наше поколѣніе ничего подобнаго не одолѣвало, но зато-съ мы, и только мы, первые, съ сознаніемъ можемъ сказать, что мы уже не прежнія вздорныя незабудки, а мы — сила, мы оппозиція, мы идемъ противъ невѣжества массы и, по теоріи Дарвина, будемъ до истощенія силъ бороться за свое существованіе. Quoi qu'il arrive, а мы до новолунія дадимъ генеральное сраженіе этому русскому духу.

— Да, было бы, говорю,—еще гдѣ его искать?

— О, не безпокойтесь: онъ такого свойства, что самъ скажется! Теперь его очень хорошо все понемножку издали по носу, да по носу! это очень тонкая тактика! Онъ этого долго не стерпитъ наконецъ и откуда-нибудь брызнетъ и запахнетъ. J'espère, que moitié de force, moitié de gré мы скоро заставимъ его высказаться, и тогда вы увидите, что всеобщее мнѣніе о безполезности нашего учрежденія есть черная клевета. Благодарю васъ, что поправили мнѣ стихи. Прощайте... Если что-нибудь будетъ нужно... пожалуйста: я всегда готовъ къ вашимъ услугамъ... что вы смотрите на моего товарища? — не безпокойтесь, онъ нѣмецъ, и ничего не понимаетъ ни по-французски, ни по-русски: я его беру съ собой для того только, чтобы не быть одному, потому что, знаете, про нашихъ немножко нехорошая слава прошла изъ-за одного человѣка, но, впрочемъ, и у нихъ тоже, у господъ нѣмцевъ-то, этотъ Пихлеръ... Ахъ, нехорошо-съ, нехорошо, очень нехорошо: впередъ ручаюсь, его нарочно осудятъ наши мужики! Ну, да чортъ ихъ возьми. Поклонитесь вашему дядюшкѣ и скажите ему, что генералъ, еще недавно вспоминая о немъ, говорилъ, что онъ имѣлъ случай представлять о его почтенныхъ трудахъ для этихъ, какъ они... госпиталей или

больницъ и теперь въ самыхъ достойныхъ кружкахъ tout le monde révère sa vertu.

ГЛАВА ДЕВЯНОСТО ПЕРВАЯ.

Съ этимъ мы распростились, но я не могъ исполнить порученія моего гостя и передать моему дядѣ уваженія, которымъ tout le monde почтилъ sa vertu, потому что дядя мой не появлялся въ свое жилище. Оказалось, что съ перепугу, что его ловятъ и преслѣдуютъ на суровомъ сѣверѣ, онъ ударился удирать на чужбину черезъ нашъ теплый югъ, но здѣсь съ нимъ тоже случилась маленькая непріятность, не совсѣмъ удобная въ его почтенные годы: на сихъ дняхъ я получилъ увѣдомленіе, что его какой-то армейскій капитанъ невзначай выпоролъ на улицѣ, въ Одессѣ, во время недавнихъ сраженій грековъ съ жидами, и добродѣтельный Орестъ Марковичъ Ватажковъ столь удивился этой странной неожиданности, что, возвратясь выпоротый къ себѣ въ номеръ, благополучно скончался «естественною смертью», оставивъ на столѣ билетъ на пароходъ, съ которымъ долженъ былъ уѣхать за границу вечеромъ того самаго дня, когда пѣхотный капитанъ высѣкъ его на тротуарѣ, неподалеку отъ зданія новой судебной палаты.

Впрочемъ, къ гордости всѣхъ русскихъ патріотовъ (если таковые на Руси возможны), я долженъ сказать, что многострадальный дядя мой, несмотря на всѣ свои западническія симпатіи, отошелъ отъ сего міра съ пламенной любовью къ родинѣ и въ доставленномъ мнѣ посмертномъ письмѣ начерталъ слабою рукою: «Извини, любезный другъ и племянникъ, что пишу тебѣ весьма плохо, ибо пишу лежа на животѣ, такъ какъ другой позиціи въ ожиданіи смерти приспособить себѣ не могу, благодаря скорострѣльному капитану, который жестоко зарядилъ меня съ казенной части. Но находясь въ семъ положеніи за жидовъ и грековъ, которыхъ не имѣлъ чести познать до этого пріятнаго случая, я утѣшаюсь хоть тѣмъ, что умираю выпоротый все-таки самими моими соотчичами и тѣмъ кончаю съ милой родиной всѣ мои счеты, между тѣмъ какъ тебя соотечественники еще только предали на судъ онѣмеченныхъ и провонявшихся килькой ревельскихъ чухонъ за недостатокъ почтенія къ исключенному за демонстраціи противъ прави-

тельства дерптскому нѣмецкому студенту, предсказывавшему, что наша Россія должна разлетѣться «wie Rauch».

ГЛАВА ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ.

Что же засимъ? — герой этой, долго утомлявшей читателя повѣсти умеръ, и умеръ, какъ жилъ, среди странныхъ неожиданностей русской жизни, такъ незаслуженно несущей покоръ въ однообразіи, — пора кончить и самую повѣсть съ пожеланіемъ всѣмъ ее прочитавшимъ — силы, терпѣнія и любви къ родинѣ, съ полнымъ упованіемъ, что пусть, по пословицѣ, «велика растетъ чужая земля своей похвальбой, а наша крѣпка станетъ своею хайкою».

Оглавленіе

XV ТОМА.

Смѣхъ и горе.

	стр.
Глава первая	5
Глава вторая	7
Глава третья	8
Глава четвертая	12
Глава пятая	16
Глава шестая	18
Глава седьмая	19
Глава восьмая	21
Глава девятая	24
Глава десятая	27
Глава одиннадцатая	28
Глава двѣнадцатая	30
Глава тринадцатая	34
Глава четырнадцатая	34
Глава пятнадцатая	36
Глава шестнадцатая	37
Глава семнадцатая	39
Глава восемнадцатая	40
Глава девятнадцатая	42
Глава двадцатая	44
Глава двадцать первая	46
Глава двадцать вторая	47
Глава двадцать третья	49
Глава двадцать четвертая	50
Глава двадцать пятая	52
Глава двадцать шестая	53

стр.
Глава двадцать седьмая 54
Глава двадцать восьмая 56
Глава двадцать девятая 57
Глава тридцатая 58
Глава тридцать первая 59
Глава тридцать вторая 60
Глава тридцать третья 63
Глава тридцать четвертая 64
Глава тридцать пятая. 65
Глава тридцать шестая 66
Глава тридцать седьмая 69
Глава тридцать восьмая 70
Глава тридцать девятая 72
Глава сороковая 74
Глава сорокъ первая 75
Глава сорокъ вторая 75
Глава сорокъ третья 78
Глава сорокъ четвертая 80
Глава сорокъ пятая 81
Глава сорокъ шестая 84
Глава сорокъ седьмая 86
Глава сорокъ восьмая. 88
Глава сорокъ девятая 89
Глава пятидесятая 93
Глава пятьдесятъ первая 94
Глава пятьдесятъ вторая 98
Глава пятьдесятъ третья 102
Глава пятьдесятъ четвертая 103
Глава пятьдесятъ пятая 106
Глава пятьдесятъ шестая 110
Глава пятьдесятъ седьмая 112
Глава пятьдесятъ восьмая 113
Глава пядтьдесятъ девятая 115
Глава шестидесятая 116
Глава шестьдесятъ первая 119
Глава шестьдесятъ вторая 123
Глава шестьдесятъ третья 125
Глава шестьдесятъ четвертая 128
Глава шестьдесятъ пятая 130
Глава шестьдесятъ шестая 131

стр.
Глава шестьдесятъ седьмая 133
Глава шестьдесятъ восьмая 135
Глава шестьдесятъ девятая 137
Глава семидесятая 139
Глава семьдесятъ первая 142
Глава семьдесятъ вторая 143
Глава семьдесятъ третья 150
Глава семьдесятъ четвертая 151
Глава семьдесятъ пятая 156
Глава семьдесятъ шестая 159
Глава семьдесятъ седьмая 161
Глава семьдесятъ восьмая 163
Глава семьдесятъ девятая 166
Глава восьмидесятая 171
Глава восемьдесятъ первая 173
Глава восемьдесятъ вторая 174
Глава восемьдесятъ третья 176
Глава восемьдесятъ четвертая 178
Глава восемьдесятъ пятая 180
Глава восемьдесятъ шестая 181
Глава восемьдесятъ седьмая 182
Глава восемьдесятъ восьмая 184
Глава восемьдесятъ девятая 187
Глава девятидесятая 189
Глава девяносто первая 192
Глава девяносто вторая 193

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

СТАРЫЕ ГОДЫ ВЪ СЕЛѢ ПЛОДОМАСОВѢ.

ОЧЕРКЪ ПЕРВЫЙ.
БОЯРИНЪ НИКИТА ЮРЬЕВИЧЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Бранка.

Основаніе села Плодомасова покрыто мракомъ неизвѣстности, а названіе свое оно получило по имени бояръ Плодомасовыхъ, которые владѣли этимъ селомъ издревле и для которыхъ господствующая надо всею окрестностью плодомасовская барская усадьба была гнѣздомъ, колыбелью и питомникомъ.

Родъ дворянъ Плодомасовыхъ—родъ очень старый. Имена Плодомасовыхъ встрѣчаются въ росписяхъ служилыхъ людей Ивана III и Ивана Грознаго, при которомъ двое изъ Плодомасовыхъ покончили свою служебную карьеру: одинъ на колу, а другой на плахѣ.

Затѣмъ этотъ опальный, всѣми позабытый дворянскій родъ до царствованія Петра Перваго широко жилъ въ своемъ родномъ гнѣздѣ—въ селѣ Плодомасовѣ. Это большое, старое село лежало среди дремучихъ лѣсовъ, на берегу быстраго притока Волги,—многоводной рѣки Турицы, въ мѣстности свѣжей, здоровой, богатой и лѣсами, и лугами, и водами, и всѣмъ тѣмъ, что восхитило очи Творца, воззрѣвшаго на Свое твореніе, и исторгло у Него въ похвалу Себѣ: «это добро зѣло», — это прекрасно. Но, живучи во всемъ этомъ довольствѣ и прохладѣ, родъ Плодомасовыхъ не раз-

множился, и въ эпоху царствованія перваго императора представителемъ всего рода бояръ Плодомасовыхъ оказался только одинъ, холостой и безродный боярчукъ Никита Юрьичъ. Никита Юрьичъ, съ тѣхъ поръ, съ которыхъ онъ былъ въ состояніи себя помнить, помнилъ себя круглымъ сиротою и возрасталъ на рукахъ мамъ и пѣстуновъ во всемъ барскомъ своеволіи тогдашняго времени, — своеволіи, которому, однако, уже полагался конецъ строгою рукою царствовавшаго преобразователя. Никитѣ Плодомасову было суждено быть свидѣтелемъ начала забастовки этихъ боярскихъ самовольствъ и самому подпасть подъ одно изъ колесъ, на которыхъ царь двигалъ въ новую жизнь нерушимую застарь Россіи. Въ 1715 г. пріѣхали въ село Плодомасово, въ большой красной сафьянной кибиткѣ, какіе-то комиссары и, не принимая никакихъ подсулъ и подарковъ, взяли съ собой въ эту кибитку восемнадцатилѣтняго плодомасовскаго боярчука и увезли его далеко, къ самому царю, въ Питеръ, а царь послалъ его съ другими молодыми людьми въ чужіе края, гдѣ Никита Плодомасовъ не столько учился, сколько мучился и, наконецъ, по возвращеніи въ отечество, въ 1720 году, пользуясь недосугами государя, откупился у его жадныхъ вельможъ на свободу и удралъ опять въ село Плодомасово.

Здѣсь Никита Плодомасовъ повелъ себя такъ, какъ теперь ведутъ себя молодые турки, возвращающіеся домой изъ парижской французской коллегіи: онъ старался вознаградить себя за всѣ стѣсненія, претерпѣнныя имъ въ теченіе пяти лѣтъ отъ цивилизаціи и подневольной жизни. Онъ сѣлъ феодаломъ въ своемъ старомъ, какъ коровай, расплывшемся домѣ: реставрировалъ опять старые отцовскіе и дѣдовскіе порядки; завелъ соколиныя и псовыя охоты съ крѣпостными псарями, сокольничими, стремянными и доѣзжачими, которые всѣ вмѣстѣ составляли одну разбойничью ватагу, не знавшую ни стыда, ни совѣсти, ни удержа, и не уважавшую никакого закона, кромѣ прихоти своего полудикаго владыки.

Съ этой сволочью вновь возвратившійся цивилизованный бояринъ совершалъ похожденія невѣроятныя до сказочности. Потравы и вытаптыванье сосѣднихъ полей; произвольный сборъ дани съ купцовъ, проѣзжавшихъ черезъ мосты, устроенные въ его владѣніяхъ; ограбленіе ярмарочныхъ

обозовъ; умыканье и растлѣніе дѣвицъ,—все это были только невинныя шутки, которыми потѣшался бояринъ. Инстинкты его достигали размѣровъ гораздо страшнѣйшихъ: онъ ѣздилъ съ своими охотниками, какъ настоящій разбойничій атаманъ; бралъ ради потѣхи гумна и села; ходилъ въ атаку на маленькіе, беззащитные города, бралъ въ плѣнъ капитанъ-исправниковъ и брилъ поповъ и дьяковъ. Но былъ положенъ предѣлъ и дебоширствамъ Плодомасова, и притомъ положенъ былъ этотъ предѣлъ самымъ неожиданнымъ образомъ.

Кочуя съ своею опричниною по далекимъ селамъ и проселкамъ, Никита Плодомасовъ, осенью въ 1748 году, заѣхалъ случайно въ село Закромы. Это удаленное отъ Плодомасовки село Закромы было даже не село, а просто деревушка дворовъ въ двадцать. Она отстояла отъ имѣнія Плодомасова слишкомъ на двѣсти верстъ и, по причинѣ этой отдаленности, до сихъ поръ скрывалась и отъ плодомасовскаго вниманія, и отъ его нападеній; а принадлежали Закромы отставному петровскому потѣшному Андрею Байцурову.

Здѣсь, въ скромномъ домикѣ закромскаго помѣщика, Никита Плодомасовъ увидѣлъ пятнадцатилѣтнюю дочь Байцурова Марѳу Андревну и, имѣя въ то время уже пятьдесятъ одинъ годъ отъ роду, страстно влюбился въ этого ребенка и на второй же день своего посѣщенія сдѣлалъ ея родителямъ декларацію.

Объ отказѣ, или хотя бы о малѣйшей нерѣшительности въ отвѣтѣ со стороны этихъ бѣдныхъ дворянъ Плодомасовъ и не помышлялъ. Было бы несправедливо сказать, что, по его мнѣнію, онъ дѣлалъ мелкимъ сошкамъ Байцуровымъ слишкомъ большую честь своимъ предложеніемъ: онъ — гораздо проще, —вовсе и не думалъ о томъ, какъ могутъ быть приняты его желанія? Онъ зналъ только одно, что желанія его должны быть исполнены, и потому даже вовсе и не чинился въ заявленіи своихъ требованій.

— Мнѣ одинокая жизнь съ подлыми женщинами уже наконецъ того и прискучила,—сказалъ онъ старикамъ Байцуровымъ:—и я въ намѣреніи себя отъ нея воздержать съ вашею дочерью, которая мнѣ видомъ и нравомъ весьма понравилась. Благословите ее мнѣ, прошу?

Слова эти Плодомасовъ сказалъ Байцуровымъ въ первый

же день своего посѣщенія, за ужиномъ, за которымъ дочь ихъ, о которой шло дѣло, не присутствовала.

Сколь было безцеремонно это предложеніе, столь же безцеремоненъ былъ и послѣдовавшій на него отвѣтъ.

Мать Байцуровой наотрѣзъ отказала Плодомасову. Плодомасовъ былъ столь удивленъ этимъ отказомъ, что даже не нашелся, какъ и разсердиться, а только сказалъ:

— Это почему?

— А потому, честной бояринъ, что, во-первыхъ, ты для насъ, мелкихъ сошекъ, не пара; а, во-вторыхъ, ты моего мужа, а ея отца, на пару лѣтъ будешь старше; а, въ-третьихъ, скажу тебѣ, что на мѣсто твоихъ подлыхъ женщинъ, на тѣ же пуховики, я свою дочь класть не намѣрена, и чести дѣвству ея въ твоей любови нисколько не вижу.

— Я пухъ пущу по вѣтру и наволочки сожгу, — отвѣчалъ, понемногу входя во гнѣвъ, Плодомасовъ.

— Хоша и пухъ вѣтромъ пустишь, а гдѣ шелудивый конь валялся, тамъ не слѣдъ чистой ногой наступать: лишай сядетъ. Извини, дорогой гость, и не прими за остуду, а отъ нашей крови тебѣ жены не будетъ,—заключила ему съ поклономъ, вставши изъ-за стола, Байцурова.

Этого Никита Юрьичъ снести не могъ. «Будетъ!—вскричалъ онъ,—будетъ!» и черезъ десять минутъ послѣ высказаннаго ему отказа, боярышня Байцурова, спеленатая, какъ ребенокъ, плодомасовскими людьми въ охотничьи охабни и бурки, была увязана въ торока у самаго крыльца родительскаго дома, а черезъ другія десять минутъ она, въ центрѣ предводительствуемаго Плодомасовымъ отряда, неслась во всю скачь въ сторону незнакомую, невѣдомую и, во всякомъ случаѣ, страшную.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Погоня.

Дворянъ Байцуровыхъ и всю ихъ дворовую прислугу на другой день крестьяне нашли крѣпко связанныхъ чембурами и сворами и томившихся въ самомъ печальномъ положеніи.

О погонѣ нечего было и думать. Положеніе Руслана, стремившагося отнять похищенную у него Людмилу, было не затруднительнѣе положенія, въ которомъ нашли себя развязанные крестьянами Байцуровы.

Старики Байцуровы приняли на свои несчастныя груди эту семейную катастрофу не одинаково. И тяжкія обиды, и жгучія слезы, стоны и разрывающая сердце скорбь по нѣжно любимой единственной дочери, которая теперь, въ ея юномъ возрастѣ, какъ голубка, бьется въ развращенныхъ объятіяхъ алчнаго ворона, все это звало старика Байцурова къ мщенію; но у него, какъ у бѣднаго дворянина, не было ни вьюго-подобныхъ коней, ни всадниковъ, способныхъ стать грудь противъ груди съ плодомасовскою ордою, ни блестящихъ бердышей и самопаловъ, какіе мотались у тѣхъ за каждыми тороками, и наконецъ—у тѣхъ впереди было четырнадцать часовъ времени, четырнадцать часовъ, въ теченіе которыхъ добрые кони Плодомасова могли занести сокровище бѣдной четы, ихъ нѣжную, ихъ умную дочку, болѣе, чѣмъ за половину разстоянія, отдѣляющаго Закромы отъ Плодомасовки. Конечно, всѣ худые закромскіе людишки, сбѣжавшіеся въ хоромы по случаю боярскаго несчастія, были теперь въ сборѣ; конечно, не за горами были стоявшія по дворамъ и задворкамъ и байцуровскія понурыя лошадки: Байцуровъ могъ собрать и свою кавалерію и летѣть съ нею на выручку похищеннаго дитяти своего. Это даже и было первою мыслью старика, когда собравшіеся люди отпустили узлы связывавшихъ его веревокъ; но куда же годны его пахотныя лошаденки для погони за охотничьими аргамаками Плодомасова, на которыхъ теперь мчатъ его дочь? Куда годны его смирные людишки для того, чтобы сражаться съ буйною опричниной Плодомасова, которая будетъ стоять за барскую наложницу, — за нее, за его маленькую дочку, что станетъ наложницей Плодомасова прежде, чѣмъ отецъ ея успѣетъ проѣхать половину пути, отдѣляющаго его деревушку отъ развратнаго гнѣзда похитителя? Страданія Байцурова, какъ себѣ можно представить, были ужасны: его дитя представлялось ему отсюда беззащитнымъ въ самой леденящей кровь обстановкѣ: она трепеталась передъ нимъ въ торокахъ на крупѣ коня, простирая свои слабыя ручонки къ нему, къ отцу своему, въ которомъ ея дѣтская головка видѣла всегда идеалъ всякой справедливости и мощи; онъ слышалъ ея стоны, подхватываемые и раздираемые въ клочки буйнымъ осеннимъ вѣтромъ; онъ видѣлъ ее брошенную въ позорную постель, и возлѣ ея блѣднаго, заплаканнаго личика свер-

кали въ глаза старику сѣдыя, щетинистыя брови багроваго Плодомасова.

Подъ натискомъ этихъ ужасныхъ представленій, ожесточавшихся отъ угнетающаго сознанія своего безсилія защитить дочь или отмстить за нее, петровскій ветеранъ упалъ на полъ и, лежа лицомъ на землѣ, обливалъ затоптанныя крестьянскими лаптями доски своими обильными слезами. Несравненно болѣе геройства, силы и находчивости въ эти ужасныя минуты явила его жена, Пелагея Дмитріевна Байцурова. Схоронивъ на днѣ души всю безмѣрную материнскую скорбь свою, она, минуты не теряя, велѣла заложить кибитку, одѣла мужа въ его давно безъ употребленія хранившуюся въ кладовой полковую либерію, посадила его въ повозку и отправила въ городъ, гдѣ была высшая мѣстная власть. Байцурова отправила туда мужа для принесенія той власти жалобы и требованія у нея защиты. Но, посылая туда мужа, Байцурова, очевидно, немного разсчитывала на горячее участіе и защиту со стороны этой власти, и имѣла, конечно, для этого уважительныя основанія. Несмотря на всю строгость царствовавшаго государя, въ мѣстахъ удаленныхъ отъ его недреманнаго ока, въ оны времена, какъ и въ дни гораздо позднѣйшіе, на Руси во всю ширь царилъ безграничный русскій произволъ, мирволье и безсудство. Байцурова это знала и, пославъ мужа въ городъ, приняла и другія мѣры. Не успѣла скрыться за околицей кибитка ея мужа, какъ у ветхаго крыльца домика стояла уже другая, запряженная парою кибитчонка, — въ эту усаживалась сама госпожа съ дородною мамою похищенной боярышни, плѣнною туркинею Вассой.

Кибитчонка, въ которой отправлялись въ путь эти женщины, выѣхавъ изъ околицы, взяла совсѣмъ въ противоположную сторону отъ направленія, принятаго кибиткою Байцурова, и, колыхаясь по колеямъ топкой осенней грязи, потянула къ селу Плодомасову.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Дѣвичій слѣдъ.

Въ осеннюю ростепель, при которой случилось похищеніе боярышни Байцуровой и при которой выѣхали въ разныя стороны отецъ и мать молодой плѣнницы, путь на тонущихъ по ступицу повозкахъ совершался крайне медленно. Ста-

рику Байцурову, по крайней мѣрѣ, нужно было трое сутокъ, чтобы доѣхать до города, а женѣ его съ сопровождавшею ее мамкой-туркиней столько же, чтобы добраться до Плодомасовки.

Между тѣмъ въ селѣ Плодомасовкѣ, передъ вечеромъ того самаго дня, въ который изъ Закромовъ выѣхала оборонительная миссія, съ вышекъ господскаго дома праздными холопами, ключникомъ и дворецкимъ, на взгорьѣ черныхъ полей былъ усмотрѣнъ конный отрядъ ихъ владыки.

Въ расположеніи этого отряда опытными и наблюдательными крѣпостными очами замѣчено было нѣчто странное. Буланый аргамакъ самого боярина, обыкновенно красовавшійся всегда впереди всѣхъ коней, нынче уступилъ свое мѣсто другимъ рядовымъ конямъ и шелъ сзади. Издали, съ плодомасовскихъ вышекъ чуть видна была только одна сухая голова аргамака съ блиставшимъ на ней серебрянымъ налобникомъ; его бѣлая звѣзда изъ змѣиныхъ головокъ, обыкновенно издалека сверкавшая на перекрестѣ напоперсныхъ ремней сѣдла, была нынче закрыта выступавшею впереди боярина конною толпою. Не видно было и чеканенныхъ пряжекъ на опушенномъ черномъ соболемъ малиновомъ бешметѣ боярина, потому что бояринъ лежалъ своей грудью на шеѣ коня и глядѣлъ на что-то такое, что бережно везли передъ нимъ его вѣрные слуги.

Впереди приближавшейся группы ѣхали четыре всадника: два впереди и два сзади. Они ѣхали въ такомъ другъ отъ друга разстояніи, что двое ѣдущіе рядомъ могли безъ затрудненія подать одинъ другому руки, а головы двухъ заднихъ лошадей совсѣмъ почти ложились на крупы переднихъ.

Всѣ эти четыре всадника бережно везли нѣчто такое, чего никакъ не могла издали разсмотрѣть и опредѣлить плодомасовская дворня, готовая во срѣтенье своего приближавшагося повелителя.

Но вотъ отрядъ подходитъ все ближе и ближе; наблюдающіе его приближеніе домашніе люди уже узнаютъ въ лицо каждаго изъ четырехъ всадниковъ, везущихъ впереди отряда странную ношу; видно, наконецъ, и грозно нахмуренное лицо самого боярина. Онъ понуро и мрачно глядитъ изъ-подъ надавленныхъ тяжелою аксамитною шапкою бро-

вей на эту бережно охраняемую ношу. Что бы это было такое? — раненый туръ, сохатый лось или гнѣздо робкихъ сернъ, которыхъ ретивымъ псарямъ боярина удалось взять живыми и которыхъ живыми вздумалось и довезти домой боярской прихоти? Но зачѣмъ же въ подходящемъ отрядѣ эта нерушимая тишина, столь несвойственная возвращенію Плодомасова съ отъѣзжихъ полей. Зачѣмъ не слышно ни бубновъ, ни пѣсенъ; зачѣмъ не прыгаютъ на сворахъ нетерпѣливые псы; зачѣмъ не обскакиваютъ отрядъ избранные гарцуны и не несется вихремъ доѣзжачій Шибай возвѣщать дворецкому: какія яства и питья должны ждать на столѣ приближающагося владыку и кто именно, какая пара крѣпостныхъ одалисокъ должна быть прислана съ сѣней держать сегодня кисти у штофнаго одѣяла повелителя?

Такого безпорядка еще никогда не было, и дворецкій, и орда холопей, и весь сонмъ покорныхъ наложницъ, безразличныхъ въ своихъ чувствахъ къ господину и равнодушно ожидающихъ, чьи тайныя красы мелькнутъ въ его воображеніи и обозначатъ его сегодняшнюю прихоть, — все это недоумѣваетъ, наблюдая тихое возвращеніе Плодомасова. Недоумѣнію этому нѣтъ мѣры, нѣтъ предѣловъ и, кажется, не будетъ конца, потому что, чѣмъ ближе подъѣзжаютъ бояринъ и его сподвижники, чѣмъ болѣе возможностей является разсмотрѣть ихъ, — тѣмъ пуще сбиваются и путаются зарождающіяся соображенія и выше, и выше растетъ колоссальное недоумѣніе!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Съ вечера дѣвушка.

Но вотъ кому-то удалось разсмотрѣть, что четыре всадника, ѣдущіе впереди отряда, держатъ подъ укрюками сѣдельныхъ арчаковъ углы большого пестраго персидскаго ковра. Это тотъ самый коверъ, назначеніемъ котораго было покрывать въ отъѣзжемъ полѣ большой боярскій шатеръ. Теперь на этомъ коврѣ, подвѣшенномъ, какъ люлька, между четырьмя сѣдлами, лежитъ что-то маленькое, обложенное бѣлыми пуховыми подушками и укутанное ярко-цвѣтнымъ шелковымъ архалукомъ боярина.

Яркіе покровы, въ которые закутана загадочная фигурка, были смочены падавшимъ цѣлый день дождемъ и позволяли ясно опредѣлять, что подъ ними сокрыть не ра-

неный богатырь, а не болѣе какъ четырнадцати или пятнадцатилѣтній ребенокъ.

Когда охотничій караванъ подошелъ къ самому дому, всѣ увидѣли, что на остановившемъ общее вниманіе коврѣ была привезена дѣвушка.

Молодая, съ мокрыми черными кудрями головка плѣнницы была открыта и утопала въ смокшей подушкѣ; уста дѣвицы были полуоткрыты; зубы крѣпко стиснуты, а вѣки глазъ сомкнуты. Она казалась спящею; но въ самомъ дѣлѣ она была въ долгомъ, непробудномъ обморокѣ. Такою-то была привезена своими похитителями въ село Плодомасово закромская боярышня Марѳа Андревна Байцурова.

Потерявъ сознаніе въ минуту своего неожиданнаго похищенія изъ родительскаго дома, она не выходила изъ обморока во все время, пока конный отрядъ Плодомасова несся, взрывая желѣзомъ копытъ черную грязь непроѣзжихъ полей; она не пришла въ себя во время короткой передышки, данной конямъ послѣ сорокаверстной перескачки, и въ этомъ видимомъ образѣ смерти достигла гнѣзда плодомасовскаго боярина. Въ этотъ домъ ее привели роковыя судьбы.—Это всѣ увидѣли сразу, когда незваной пришелицѣ улыбнулся самъ сумрачный, непривѣтливый день осенній. Чуть только стали у боярскаго крыльца дрожащія съ устали ноги принесшихъ ее коней, сквозь грязно-сѣрыя облака золотыми стрѣлами упалъ пукъ вечерняго солнца и, какъ бы благословивъ прибытіе боярышни, снова закрылся.

Это было сочтено предзнаменованіемъ, и въ этомъ найдено было много чуднаго и сверхъестественнаго. Сѣрый день улыбнулся надъ домомъ безпутства и оргій, и спящая плѣнница входила въ этотъ домъ сонной царевной, которыя, по народному повѣрью, всегда такъ безпятненно чисты и безъ сравненія прекрасны. На томъ же богатомъ коврѣ, на которомъ боярышня совершала свое путешествіе, ее въ торжественномъ безмолвіи внесли въ плодомасовскій домъ; положили на чистое ложе, поставленное среди просторнаго, свѣтлаго покоя, и окружили это ложе спящей красавицы цѣлымъ роемъ прислужницъ, получившихъ строгій наказъ беречь ея пробужденіе и предупреждать ея желанія.

Съ женщинами, окружавшими дѣвственное ложе сонной

боярышни, происходило нѣчто подобное тому, что, по апокрифическимъ сказаніямъ, происходило съ языческими идолами при восходѣ звѣзды, возвѣстившей рожденіе Христа. Всѣ эти крѣпостныя юницы почувствовали, что вѣкъ ихъ конченъ, но въ сердцахъ ихъ не было ни зависти, ни злости къ этой пришелицѣ. Онѣ только чувствовали, что народился нѣкто болій ихъ, съ которымъ имъ уже нельзя и думать ни спорить, ни состязаться.

Онѣ стояли и безмолвно ожидали, когда настанетъ часъ имъ быть убраннымъ изъ этого смраднаго капища, ожидающаго кажденія очищающихъ куреній.

Самъ Плодомасовъ, уложивъ боярышню, не оставался въ ея комнатѣ ни минуты. Выйдя изъ этой комнаты, онъ также не предавался и оргіямъ, обыкновенно сопровождавшимъ его возвращеніе домой. Онъ одиноко сидѣлъ въ своей опочивальнѣ и нетерпѣливо ждалъ пошептуху, за которою посланы были быстрые гонцы въ далекое село. Эта чародѣйка должна была силою своихъ чаръ прекратить долгій, смерти подобный сонъ привезенной боярышни.

Но дѣло обошлось безъ шептухи. Прежде, чѣмъ она успѣла явиться въ хоромы призывавшаго ее боярина, сѣнныя дѣвушки и вновь наряженныя мамы, обстоявшія ложе спящей боярышни, стали замѣчать, что долгій сонъ боярышни начинаетъ проходить.

О полуночи къ сумрачному боярину была послана первая вѣсточка, что по лицу у боярышни разстилается алый цвѣтъ, а по груди разсыпается бѣлый пухъ и изъ косточки въ косточку нѣжный мозжечекъ идетъ. Плодомасовъ всталъ, бросилъ вѣстницѣ на полъ горсть серебряныхъ денегъ и велѣлъ стеречь плѣнницу недреманнымъ окомъ, пуще любимаго глаза.

Передъ ранней зарей пришла и вторая, и третья вѣсть, что боярышня открыла свои звѣздныя очи разсыпчатыя и, отъ тяжкаго сна пробудившись, спросила: гдѣ она, у какихъ людей, и желаетъ знать о своемъ отцѣ съ матерью? Плодомасовъ воспрянулъ; онъ ничего не велѣлъ отвѣчать боярышнѣ и не пошелъ и самъ въ опочивальню красавицы.

Невѣдомый ему доселѣ страхъ удерживалъ его отъ святотатственнаго приближенія къ дѣвѣ, взращенной и взлелѣянной не подъ крышами его крѣпостной дворни. Онъ боялся, что одно появленіе его передъ нею убьетъ ее, и отлагалъ

мигъ этого появленія. Онъ не пошелъ привѣтствовать свою пробудившуюся «бранку». Все время, пока сѣнныя дѣвушки и вновь наряженныя мамы любовались дѣвственною красотою боярышни Байцуровой и смотрѣли, какъ подъ ея тонкою кожею изъ косточки въ косточку мозжечекъ переливается, бояринъ ихъ весь день до вечера испытывалъ незнакомыя ему муки. Ему хотѣлось отъ своей плѣнницы чего-то совсѣмъ не того, что онъ прямо бралъ отъ своихъ крѣпостныхъ одалисокъ. Онъ видѣлъ въ ней нѣкоторое новое, незнакомое ему доселѣ счастіе, и боялся погубить это счастіе: онъ боялся ея сопротивленія, боялся своего гнѣва, который, возставъ, не пощадитъ и ее. Онъ не пощадитъ ее, онъ изольетъ на нее свой гнѣвъ и броситъ ее въ подачку послѣднему псарю своему... А тогда?.. Тогда... тогда онъ запоретъ псаря, но... ее не воротитъ.

Нѣтъ! онъ самъ хотѣлъ глядѣться въ ея звѣздчатомъ взорѣ, орошенномъ слезами! Дѣло должно было идти о томъ: какъ сдѣлать все это, чтобы взоръ ея обратился къ нему? Время? ласки? выжиданія? А если тѣмъ временемъ погоня? О, погоня! тогда, если только будетъ погоня... тогда Плодомасовъ рѣшилъ, что̀ ему дѣлать! Тогда... онъ не пощадитъ никого, ни ее, ни себя; но ея ужъ не возьмутъ изъ его дома такою, какою она внесена въ него.

Богъ знаетъ, сколько бы еще продолжались эти колебанія Плодомасова и какой бы онъ нашелъ изъ нихъ выходъ, если бы случайное обстоятельство не подвинуло его къ разрѣшенію всего этого, хотя и въ духѣ его обычныхъ правилъ, но совершенно иначе, чѣмъ предполагалъ онъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Бѣсноватому коню конопляное удило.

Въ сумерки этого же самаго дня, прежде чѣмъ старикъ Байцуровъ успѣлъ проѣхать половину своего пути къ городу и жена его, въ сопровожденіи мамы-туркини, такую же часть своей дороги къ селу Плодомасову, въ плодомасовскія области прибылъ земскій приставъ.

Приставъ этотъ былъ нѣкоторымъ образомъ свой человѣкъ въ плодомасовскомъ домѣ: за него когда-то была выдана замужъ одна изъ наиболѣе любимыхъ крѣпостныхъ фаворитокъ боярина, которую Плодомасовъ хотѣлъ осчастливить этимъ благороднымъ бракомъ и съ которою отъ вре-

мени до времени, наѣзжая въ городъ, онъ, не стѣснялся ея замужнимъ положеніемъ, видался на прежнихъ правахъ. Пріѣзжая въ плодомасовскій домъ, мужъ отставной боярской барыни служилъ боярину шутомъ и посмѣшищемъ: стоя на головѣ, онъ выпивалъ стопы вина и меду; ходилъ на кругахъ колесомъ; разбивалъ затылкомъ орѣхи и плясалъ на столѣ казачка передъ всей барской дворней.

Въ силу такихъ обстоятельствъ, приставъ считался въ числѣ приближенныхъ людей Плодомасова. Бояринъ не забывалъ семьи подьячаго своими милостями; снабжалъ закромы его амбаришекъ зерномъ, наполы—огородиной, а задворокъ—живностью; крестилъ у его жены своихъ собственныхъ дѣтей и допускалъ его самого за подаяніемъ предъ свое лицезрѣніе.

Зная такія отношенія пріѣзжаго подьячаго къ боярину, холопство не замедлило доложить о немъ Плодомасову и истолковать вырвавшееся при этомъ у боярина легкое рычаніе за знакъ согласія къ тому, чтобы приставъ былъ допущенъ.

Приставъ былъ введенъ и поставленъ предъ боярскія очи.

— Чего тебѣ?— спросилъ, окинувъ гнѣвнымъ окомъ его фигуру, Плодомасовъ.

Выгинаясь, кланяясь и вытягиваясь, какъ придавленная палкой змѣя, подьячій подползалъ къ боярину, не смѣя взвести голоса и поднять на него своихъ заплывшихъ глазъ.

— Чего тебѣ нужно?— воскликнулъ бояринъ мягче и глядя на это безтолковое выгибанье подьячаго.— Подьячій продолжалъ ползти и снова не подавалъ ни гласа, ни послушанія.

Сколь ни привыкъ Плодомасовъ къ рабскому пресмыкательству передъ собою, но такое долгое и робкое ползанье уже и ему не нравилось: онъ чувствовалъ, что такъ долго безмолвствуетъ человѣкъ тогда, когда ему страшно разомкнуть уста свои. Плодомасову вдругъ вступило на мысль, что пресмыкающійся передъ нимъ земскій является къ нему чьимъ-то посломъ съ недобрыми вѣстями, и густыя сѣробурыя брови насупились и задвигались, сходясь одна съ другою, какъ сходятся два сердитые и готовые броситься одинъ на другого медвѣдя.

— Говори, песъ!—вскрикнулъ бояринъ.

Подьячій, вмѣсто отвѣта, совсѣмъ легъ на землю къ ногамъ Плодомасова и, лежа ницъ лицомъ, поднялъ къ нему въ рукѣ сложенный листъ бумаги.

Плодомасовъ — всегдашній врагъ бумаги, всего менѣе склоненъ былъ встрѣчаться съ нею сегодня. Въ этотъ день онъ и безъ того сумѣлъ уже на многое пересердиться, да и притомъ день этотъ по ощущеніямъ, принесеннымъ съ собою боярину Плодомасову, въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ не похожъ на всѣ прежніе дни его жизни. Теперь ли ему насильно отрывать себя отъ этихъ ощущеній къ бумагѣ! Но бумага эта тянется къ нему съ неотступною назойливостью. Несмотря на то, что онъ отталкивалъ ее и рукою, и желтымъ каблукомъ узорнаго сапога,—она опять и тянется, и трепещетъ. Плодомасовъ увидѣлъ, что ему отъ этой бумаги не отвязаться: онъ выдернулъ ее изъ рукъ раболѣпнаго пристава—нетерпѣливо развернулъ, прочиталъ и остолбенѣлъ.

Бумага эта, въ глазахъ Плодомасова, превосходила своею дерзостію все, что̀ возможно на свѣтѣ. Въ ней говорилось, что дошло до вѣдома самой императрицы, что помѣщикъ Никита Юрьевъ Плодомасовъ, живучи въ своей отчинѣ, селѣ Плодомасовѣ, предается столь великимъ своеволіямъ и безчинствамъ, что по собственному ея, императрицы, приказанію поручается губернатору дѣло это строго дознать и, буде вѣсти, до слуха государыни дошедшія, окажутся справедливыми, то того Плодомасова, нимало не медля, заарестовать и изъ имѣнія его выслать, воспретивъ ему навсегда въ отчинахъ своихъ всякое проживаніе.

Исполненіе этого строгаго и грознаго императорскаго указа, не взирая на все самодержавство Елизаветы Петровны, было начато, какъ мы видимъ, покорнымъ преподнесеніемъ этого самаго указа самому виноватому Плодомасову, на его милостивое воззрѣніе и обсужденіе.

Бояринъ Плодомасовъ прочиталъ указъ и воспрянулъ, какъ звѣрь. Вмѣсто испуга и благопокорности волѣ монаршей, чего почти несомнѣнно ожидалъ распростертый на полу подьячій, Плодомасовъ возсталъ во всей безднѣ дерзости своего безумія. Послалъ тысячи неистовѣйшихъ проклятій, онъ свистнулъ людей и велѣлъ быть всѣмъ предъ его лицо въ соборѣ и наготовѣ. Къ чему быть наготовѣ?—про то едва ли зналъ и самъ Плодомасовъ; но это было

для него безразлично, потому что онъ въ эти минуты былъ готовъ буквально на все грубое, дерзкое, на все гадкое для издѣвательства надъ явленнымъ ему указомъ, призывавшимъ его къ покорности и порядку. Онъ жаждалъ теперь только одного: оказать самое рѣзкое сопротивленіе этому призыву.

Безразлично было, къ чему именно готовиться и для буйной боярской опричнины, которая и сама любила барскій разгулъ, да и не пріучена была ни къ какимъ разсужденіямъ. Людямъ этимъ было все равно: куда ни идти, гдѣ ни разбойничать, надъ кѣмъ ни издѣваться. Они сызмальства отвыкли отъ всего добраго: они сами установили между собою обычай отрекаться отца и матери, и безтрепетно могли видѣть и поруганье отцовскихъ сѣдинъ, и издѣвательства надъ слезами матери, и безчестіе родныхъ сестеръ. Любили ли или не любили они своего буйнаго боярина, — это все равно, потому что они любили буйную жизнь, всѣ возможности къ которой открывались для нихъ въ раболѣпномъ служеніи буйной волѣ Плодомасова. Взросшіе въ его школѣ, въ селѣ, удаленномъ не только отъ столицъ, но и отъ всякаго средоточія власти, они имѣли понятіе о законной власти только чрезъ такихъ представителей этой власти, какъ ходившій передъ ними колесомъ на кругахъ приставъ, и потому, весьма естественно, не могли чувствовать ни малѣйшаго авторитета этой власти.

Дѣло, цѣль для разрѣшенія дикихъ стремленій боярина указалъ стоявшій передъ нимъ колѣнопреклоненный подьячій.

— Отецъ! отецъ!—заголосилъ онъ боярину по выслушаніи его гнѣвнаго приказа о сборѣ людей. — Не вели ты этого; не вели сѣдлать коней и взнуздывать; вели холопамъ твоимъ съ свайкой, да съ лыкомъ сѣсть по конникамъ да смирные лапти плесть, а то гордотой пущій гнѣвъ на себя оборотишь.

Плодомасовъ вскипѣлъ; схватилъ лежащій на столѣ указъ, быстро разорвалъ эту бумагу на мелкіе кусочки, бросилъ ихъ на полъ и, наступивъ на нихъ ногою, проговорилъ:

— Вотъ я куда ея указы кладу! Она не праваго ложа.

Подьячій упалъ на локоть на полъ и въ ужасѣ выпятился крюкомъ, точно въ несутерпной судорогѣ.

— Умилосердись! не слышу! ничего не слышу!—вопилъ

колѣнопреклоненный представитель власти, то закрывая руками уши, то молитвенно простирая эти руки къ поламъ пестраго архалука бушующаго боярина. — Выслушай, милостивецъ,—я еще не все сказалъ тебѣ. На тебя и еще невзгода идетъ,—отъ дѣлъ твоихъ. Встрѣтилъ я Байцурова, ѣдетъ на тебя съ жалобой, что ты у него его дочку отъемомъ увезъ. Отпусти ее, бояринъ,—если она ужъ и неправильная, отпусти—свои люди не доказчики, только скорѣе ее изъ дома вонъ, а то не сейчасъ, то на утріе, гляди, бѣды за нее вытерпишь.

Этого было довольно Плодомасову. Кто? мелкая сошка Байцуровъ, не принявшій чести, которая была ему сдѣлана предложеніемъ брака его дочери, приноситъ на него жалобу, и по этой жалобѣ могутъ съ него, Плодомасова, что-нибудь взыскивать? Нѣтъ, этого ужъ нельзя снесть Плодомасову!

«Онъ не хотѣлъ, чтобы она была моею женою,—промелькнуло въ умѣ Плодомасова, — такъ я же ее въ другой чинъ сдѣлаю. Чѣмъ, да и вправду, она лучше моихъ дѣвокъ, что я такъ смотрю на нее? Когда ужъ и этотъ подьячій не сомнѣвается, что она, побывши въ моемъ домѣ, теперь неправильная, а я отпущу ее такъ! а я дамъ посмѣяться надо мною!»

Въ душѣ Плодомасова произошелъ совершенный поворотъ; тѣхъ нѣжныхъ и застѣнчивыхъ чувствъ, которыми она недавно была полна къ юной плѣнницѣ, теперь въ ней не оставалось и слабаго слѣда.

— Быть съ нею всему тому, что и допрежь ея было со всѣми непокорными,—рѣшилъ боярин.—Будетъ она моею, и не забуду я моею подачкою и вѣрныхъ слугъ моихъ: останется и Васькѣ, и Тараскѣ, и всей челяди.—Иди за мной и смотри, что я съ ней за эти слова твои сдѣлаю!—рявкнулъ бояринъ приставу и потащилъ его еле дышащаго вслѣдъ за собою въ верхній этажъ, гдѣ въ той же опочивальнѣ молодая боярышня, кругленькая и бѣлая, какъ свѣжая рѣпочка, сидѣла посреди широкой постели и плакала, трогая горемъ своимъ и старыхъ мамъ и нянь, и стоящихъ вокругъ нея молодыхъ сѣнныхъ дѣвушекъ.

Бояринъ текъ какъ тяжелая грозовая туча, подхваченная неукротимой бурей. Подойдя къ дверямъ опочивальни своей плѣнницы, онъ не коснулся рукою замочной мѣди и не крик-

нулъ, чтобы дверь была отперта ему изнутри, но прямо сшибъ ее съ петель однимъ ударомъ сапога и предсталъ изумленнымъ взорамъ боярышни и ея свиты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Къ полуночи молодушка.

Когда случилось внезапное появленіе Плодомасова у дверей молодой бранки Байцуровой, на дворѣ, по причинѣ короткаго осенняго дня, стояла уже густая, непроницаемая тьма; моросилъ мелкій, частый дождикъ, и тихій, но упругій вѣтеръ уныло вылъ и шумѣлъ за выходящими въ садъ окнами боярышниной опочивальни.

Боярышня, какъ сказано, сидѣла и плакала, плакали и всѣ ее окружающіе. У всѣхъ на лицѣ было одно ея горе, и появленія Плодомасова сюда въ эту минуту не ожидалъ никто, а сама боярышня всѣхъ менѣе. Въ тоскѣ объ отцѣ и о матери, которыхъ нѣжно любила, она вовсе не имѣла и времени размышлять ни о своей судьбѣ, ни о своемъ похитителѣ. Она вовсе не думала о немъ и рѣшительно окаменѣла при его появленіи. Увидѣвъ передъ собою Плодомасова, боярышня Марѳонька даже не потянула одѣяла, чтобы закрыть свои плечи, сверкнувшія передъ распаленными гнѣвомъ глазами боярина.

— Ну, дорогая боярышня, какъ спала-почивала, и что во снѣ видала?—спросилъ ее Плодомасовъ, садясь насупротивъ постели на тяжелое кресло, за которымъ, раболѣпно притаясь, сталъ земскій приставъ.

— Спала, бояринъ, въ твоемъ терему сладко и за тотъ сонъ тебя благодарствую; а видѣла во снѣ моего отца съ матерью и надѣюсь, что ты меня не задержишь неволей и отпустишь къ нимъ,—смѣло отвѣчала боярышня.

— Ну, ужъ на это, соколка моя, лучше не надѣйся. Не на то увезена, чтобы тебѣ опять подъ отцовскій потолокъ идти.

Дѣвушка посмотрѣла въ глаза боярину своими дѣтскими глазами и спросила:

— На что же я, бояринъ, увезена?

— На что?

Плодомасова неожиданно смутилъ этотъ наивный вопросъ. Онъ хотѣлъ отвѣтить ей что-то немилосердное и безстыдное, но, глядя въ ея дѣтское личико, застыдился этого своего намѣренія.

А въ эту минуту дѣвушка тихо скользнула съ постели и, перебѣжавъ босыми ногами разстояніе, отдѣлявшее кресло боярина отъ ея кровати, со слезами бросилась въ ноги Плодомасову и, рыдая, проговорила:

— Бояринъ! умилосердись надо мной! Немилостивыхъ адъ ждетъ! Отпусти меня къ батюшкѣ съ матушкой,—я въ монастырь пойду и стану за тебя Бога молить.

Плодомасовъ рѣшительно не зналъ, какъ ему приступить къ приведенію въ исполненіе своихъ угрозъ. Онъ мялся и пыхтѣлъ, глядя въ плачущія очи ребенка, и не отнималъ у дѣвушки своихъ большихъ, красныхъ рукъ, которыя та въ отчаяніи сжимала въ своихъ ручонкахъ.

— Я,—заговорилъ онъ наконецъ:—хотѣлъ-было тебя сдѣлать своей честною женою...

— Нѣтъ! нѣтъ!—отвѣчала, быстро вспрыгнувъ и отскочивъ отъ него къ своей кровати, боярышня. — Нѣтъ, я не хочу быть твоею женою: ты отпусти меня къ батюшкѣ!

— Стой!—гнѣвливо остановилъ ее Плодомасовъ.

— Люди добрые, заступитесь за меня!—отчаянно вскрикнула боярышня, кидаясь въ толпу сердобольныхъ нянь, мамъ и сѣнныхъ дѣвушекъ, такъ недавно лившихъ о ней горячія слезы и оказывавшихъ ей столько искренняго участія.

Но теперь боярышня не узнала ни одного лица въ этой толпѣ: такъ измѣнило ихъ присутствіе боярина.

Няни, мамы и сѣнныя дѣвушки разступились, какъ только боярышня вскочила въ среду ихъ, и снова скучились сзади ея, оставляя плѣнницу впереди себя, лицомъ къ лицу съ Никитою Плодомасовымъ.

Боярышня, выданная такимъ маневромъ головою, оглянулась на робкую челядь и, въ одно мгновеніе, словно переродилась.

— Дай мнѣ, раба, мой шугаикъ!—произнесла она твердымъ и рѣшительнымъ голосомъ, замѣтивъ свое непозволительное дезабилье.

Десятки рукъ въ мгновеніе ока поспѣшили исполнить ея требованіе.

Плодомасовъ ничему этому не прекословилъ.

Боярышня теперь стояла передъ нимъ совсѣмъ одѣтая, во всемъ томъ нарядѣ, въ которомъ она плѣнила его въ своемъ родительскомъ домѣ. Слезы, недавно обильно лив-

шіяся по ея лицу, теперь высохли, и грустные, сухіе глаза ея смотрѣли съ выраженіемъ того безтрепетнаго спокойствія, видъ котораго такъ непереносенъ самоуправцамъ, потому что онъ въ одно и то же время и смущаетъ, и бѣситъ ихъ.

— Такъ знаешь ли ты, умная боярышня, что я съ тобою сдѣлаю?—вскричалъ Плодомасовъ.

— А что бы ты со мною ни сдѣлалъ, на всемъ томъ, пока я въ твоихъ рукахъ, твоя воля; но женою твоей я быть не хочу.

— Что?—вскрикнулъ, побагровѣвъ, Плодомасовъ.

— Гнѣва твоего не пугаюся,—отвѣчала боярышня.—Что ты больше гнѣвливъ и страшенъ, то мнѣ радостнѣй: убить велишь—всего лучше будетъ.

— Такъ не женой же и не боярышней, а вотъ такою жъ, какъ эти, ты будешь! — вскричалъ Плодомасовъ, указавъ рукою на своихъ сѣнныхъ дѣвушекъ, и неистово захлопалъ въ ладоши.

На этотъ призывъ, какъ сказочный листъ передъ травою, предсталъ передъ Плодомасовымъ старый дворецкій и, водя въ ужасѣ вокругъ глазами, произносилъ одно ни къ чему, повидимому, не идущее слово: драгуны!

— Что за драгуны? гдѣ эти драгуны?

— Здѣсь, бояринъ, драгуны,—отвѣчалъ старикъ, указывая на дверь, которая въ это время отворилась, и въ комнату, бренча своей сбруей, вошелъ тяжелой поступью драгунъ въ невиданной здѣсь никѣмъ до сихъ поръ тяжелой, мѣдью кованной каскѣ съ чернымъ конскимъ хвостомъ на гребнѣ.

Онъ привезъ боярину строгій губернаторскій приказъ не сдѣлать никакого зла похищенной имъ боярышнѣ Байцуровой и беречь ее паче своего ока, а наипаче не смѣть дерзать и мыслію на ней жениться.

Это не только было написано въ бумагѣ, которую драгунъ вручилъ Плодомасову, но все это было во всеуслышаніе сказано ему драгуномъ и на словахъ, и слова эти слышали и его челядь, и земскій приставъ, въ глазахъ котораго Плодомасовъ обличалъ столько дерзкаго непослушанія указу, писанному именемъ царицы, и наконецъ въ глазахъ самой боярышни, за которую вдругъ является такая горячая защита.

Плодомасовъ взглянулъ на спокойное лицо дѣвушки изъ-за которой загорѣлся весь этотъ сыръ-боръ, и почувствовалъ, что все это дѣло совсѣмъ какой-то вздоръ, изъ-за котораго нимало не стоило ничего подобнаго поднимать и затѣвать борьбу, въ которой вдругъ ему стало слышаться что-то роковое.

Плодомасовъ еще разъ взглянулъ на Байцурову, и она ему въ эту минуту даже не понравилась. Такъ, дѣвочка-снѣгурочка, грибокъ сыроѣжка, вздоръ передъ этими бѣлогрудыми лебедками, которыхъ онъ всѣхъ непосредственный султанъ, минутный мужъ и повелитель. Стоило ли все это сотой доли его боярскаго безпокойства, когда все дѣло это взять въ комъ, смести, да за дворъ везти... и домъ боярскій будетъ такъ же полонъ, и постеля боярская такъ же согрѣта? Но этотъ торчащій здѣсь драгунъ; этотъ земскій ярыжка и вся эта сволочь, при которой производится его обуздываніе, тогда какъ никто не долженъ былъ знать, что и на него есть узда,—вотъ что не переносно; вотъ съ чѣмъ нельзя примириться Плодомасову! Холопья душа самоуправца чувствуетъ, что она не можетъ снести холопьей насмѣшки. Ему все равно, сложитъ ли эта насмѣшка чьи-нибудь уста въ улыбку, или сомкнетъ ихъ раболѣпнымъ молчаніемъ: онъ не только въ улыбкѣ, не только въ молчаніи, но даже въ стонахъ, которыми онъ можетъ заставить стонать и молчаніе, и улыбку, — во всемъ онъ будетъ слышать насмѣшку надъ его безсиліемъ передъ этимъ драгуномъ, передъ какими-то угрозами, передъ кѣмъ-то старшимъ, кто отнынѣ займетъ главенство въ подвластныхъ ему умахъ.

Плодомасовъ все это сообразилъ въ одно мгновеніе; въ другое рѣшилъ, что онъ во что бы то ни стало не долженъ допустить этого главенства, и для этого превзойдетъ дерзостью все, что до сихъ поръ когда-нибудь дѣлывалъ; а въ третье онъ всталъ, хлопнулъ въ ладоши и молча указалъ вбѣжавшимъ слугамъ на драгуна.

Тотъ, наблюдая боярина, понялъ его жестъ и, выхвативъ палашъ, бросился въ уголъ покоя; но жестъ боярина еще быстрѣе былъ понятъ его челядью, и драгунъ не успѣлъ размахнуть ни одного раза вооруженною рукою, какъ уже лежалъ на полу, сдавленный крѣпкими, желѣзными руками чуть не по всѣмъ суставамъ. Грозный конскій хвостъ на

головѣ драгуна, за минуту передъ симъ столь угрожающій и останавливающій на себѣ всеобщее вниманіе, теперь ничего не значилъ.

— Веревку!—скомандовалъ бояринъ, обратясь къ одному личардѣ.

— Попа и дьяковъ!—повелѣлъ онъ другому.

— Затрави петлю и спусти черезъ крюкъ въ потолкѣ,— приказалъ онъ рабу, принесшему свѣжую пеньковую веревку.

Петля была затравлена изъ вытрепаннаго конца веревки и спущена черезъ крюкъ, на которомъ держался пологъ боярышниной постели.

Въ комнату, трепеща и спотыкаясь, предстали выпихнутые черезъ порогъ въ спину попъ и дьяки.

— Становись передъ образомъ, — скомандовалъ попу бояринъ.

— Батюшка, помилосердуй!—молился боярину трепещущій и плачущій священникъ.

Бояринъ свистнулъ.

Два гайдука схватила дрожащаго попа и всунули его въ принесенную ризу, а третій намыливалъ передъ его глазами кускомъ мыла веревочную петлю.

— Начинай! — сказалъ Плодомасовъ замирающему священнику, когда облачившіе его гайдуки поставили его передъ образомъ.

— Что прикажешь, отецъ?—едва пролепеталъ почти потерявшій со страху всякое сознаніе священникъ.

— Вѣнчанье,—отвѣтилъ Плодомасовъ.

Всѣ такъ и остолбенѣли.

— Пой!—бѣшено крикнулъ бояринъ.

— Кому?—едва могъ обронить, глядя на намыленную петлю, священникъ.

— Мнѣ,—отвѣчалъ Плодомасовъ и, сорвавъ за руку съ мѣста боярышню Марѳу Андревну, сталъ съ нею за поповскою ризою.

Плачущій попъ и плачущіе дьяки пѣли вѣнчанье плачущей боярышнѣ, которую со связанными сзади локоточками и завязаннымъ ртомъ держали на рукахъ плачущія дѣвушки; но самъ бояринъ, ко всеобщему удивленію, молился искренно, тихо и съ умиленіемъ.

— Теперь же, попъ, я тебя пожалѣю, — сказалъ Плодомасовъ по окончаніи обряда. — Я тебя отъ бѣды уберегъ и

тебѣ обыскныхъ припасъ. Давай книгу! Вотъ государынинъ драгунъ, да этотъ другой воеводскій посолъ (онъ указалъ на пристава) они чужіе люди и распишутся, что боярышня со мной радостью и охотою повѣнчалась.

— Царскій драгунъ, чай, неграмотенъ, а воеводскій посолъ хитеръ въ письменности, давайте ему, онъ за обоихъ распишется, — продолжалъ отдавать приказаніе Плодомасовъ.

— А чтобы его лучше охота брала подписываться, накиньте ему, пока послѣднее слово выведетъ, мыльный осилъ на шею, — заключилъ бояринъ, замѣтивъ нерѣшимость и дрожаніе пристава.

Чиновнику надѣли петлю на шею, а въ руки дали лебяжье перо, и онъ написалъ въ обыскной книгѣ все, что требовалъ Плодомасовъ.

— Ну, вотъ такъ хорошо, — сказалъ бояринъ и приказалъ подьячему написать въ концѣ бумаги, привезенной драгуномъ: «мужа съ женою никакая власть не разлучаетъ».

Чуть только эта подпись подоспѣла, бояринъ выхватилъ листъ изъ-подъ рукъ пристава и бросилъ въ глаза драгуну бумагу, въ которой Плодомасову повелѣвалось: «наипаче не смѣть дерзать и мыслію жениться на боярышнѣ Байцуровой».

Но, справясь съ указами власти и съ ея посланными, Плодомасову оставалось справиться съ живою силою молодой жены. Это оказалось всего труднѣй... Силкомъ связанную боярышню обвѣнчали; но чуть ей послѣ вѣнчанія распустили бѣлые локотки ея, она легкой векшею прыгнула на окно и крикнула:

— Шагъ ко мнѣ шагнешь, — за окномъ на землѣ буду! Не послушаешь, такъ вели за разъ твоему попу мнѣ отходную честь!

Бояринъ и слуги окаменѣли.

— Выйди вонъ! — сказала боярышня, не сходя съ окна. — Выйди вонъ, а не то я сейчасъ за окно брошусь!

Бояринъ махнулъ рукой людямъ и самъ вслѣдъ имъ сталъ выходить спиной къ двери.

Марѳа Андревна стояла попрежнему на краю раскрытаго окна.

— А долго же ты такъ простоишь? — спросилъ ее Плодомасовъ на порогѣ.

— А пока горючъ камень треснетъ, либо пока сама захочу. Плодомасову легло по сердцу дать ей волю и послушаться. Онъ ушелъ, а она простояла такъ до разсвѣтной поры.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Ко бѣлу свѣту хозяюшка.

Поздній осенній разсвѣтъ засталъ село Плодомасово, или собственно плодомасовскую господскую усадьбу въ такомъ положеніи, въ какомъ мѣстъ этихъ еще не освѣщало ни одно утро. Помѣщичій домъ былъ буквально обложенъ войсками.

Репутація, которую пріобрѣлъ себѣ Никита Плодомасовъ, не позволяла шутить, когда дѣло шло о томъ, чтобы ограничить своеволіе этого дебошира и отнять у него его добычу. Губернаторъ самъ побезпокоился сдѣлать визитъ Плодомасову и собралъ себѣ свиту, которая дала ему возможность разсчитывать, что онъ не будетъ сконфуженъ и выйдетъ изъ плодомасовскаго дома не впередъ пятками и не внизъ головой.

Драгунъ было цѣлыхъ три отряда. Одинъ изъ этихъ отрядовъ обложилъ усадьбу со стороны лѣса и отнялъ у всѣхъ находящихся въ домѣ всякую возможность побѣга; другой, ставъ частію между домомъ и деревней, а частію вдоль берега Турицы, дѣлалъ невозможною всякую надежду на какое-нибудь подкрѣпленіе или защиту; а третій, имѣвшій въ головѣ своей губернатора, офицера, оскорбленнаго Байцурова и драгуна, нѣсколько часовъ назадъ бывшаго свидѣтелемъ насильственнаго вѣнчанія боярышни съ Плодомасовымъ, прямо подвигался на его разбойничій домъ.

Но можно ли назвать разбойничьимъ домомъ такой домъ, гдѣ теперь такъ мало отваги, какъ въ домѣ плодомасовскомъ? Да, именно потому-то и идетъ этому дому это названіе, что въ виду приближающейся силы въ размѣрахъ, не допускающихъ сопротивленія, домъ плодомасовскій ни въ одной душѣ не являлъ никакой искры отваги, ни малѣйшаго знака спокойныхъ усилій перенести съ достоинствомъ долю побѣжденнаго.

Напротивъ! все недавно здѣсь бушевавшее рабство присмирѣло и замолкло при видѣ силъ, о которыхъ рабы вовсе не имѣли никакихъ понятій, а боринъ хоть и имѣлъ, да позабылъ давно.

У всѣхъ обитателей плодомасовскаго дома, у которыхъ еще кое-какъ работали головы, въ головахъ этихъ вертѣлась только одна разбойничья мысль: какъ спасти себя и выдать боярина?

Плодомасовъ не призывалъ никого къ оружію и оборонѣ. Онъ не сдѣлалъ этого, во-первыхъ, потому, что онъ читалъ предательство и измѣну себѣ на всѣхъ лицахъ, которыя передъ собою видѣлъ. На всѣхъ? Нѣтъ, было одно лицо, на которомъ онъ не видалъ ни зла, ни предательства: это было лицо его молодой жены, виновницы всей этой исторіи.

Пятнадцатилѣтняя боярыня Плодомасова не обличала ни страха, ни трепета, ни волненія, ни злорадства. Она стояла на окнѣ только съ однимъ чувствомъ: она съ чувствомъ безконечной любви глядѣла на отца, быстро несшагося къ ней впереди отряда. Окружающихъ боярышню женщинъ билъ лихорадочный трепетъ, онѣ протягивали свои робкія руки къ не оставлявшей своего мѣста боярышнѣ и робко шептали: «Спаси насъ! спаси — мы ни въ чемъ неповинны».

Плодомасовъ слышалъ эти моленія и самъ готовъ былъ молить ее защитить его, много повиннаго и мнилось ему... мнилось ему, что она его защититъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Необъяснимыя явленія увеличиваютъ страхъ.

Находясь подъ вліяніемъ такихъ чувствъ смятенья и страха, столпившіяся въ боярышниной комнатѣ жилицы плодомасовскаго дома были еще болѣе испуганы новымъ, непонятнымъ явленіемъ, потрясшимъ ихъ послѣднія силы. Онѣ вдругъ замѣтили посреди себя незнакомыя, никогда никѣмъ невиданныя и неизвѣстно откуда пришедшія лица. Это были двѣ какія-то удивительныя женщины. Какъ онѣ пришли и откуда взялись, это для всѣхъ было задачей.

Но вотъ въ чьей-то испуганной головѣ мелькнуло, что это вовсе и не женщины, а сверхъестественные мстители и предвѣстницы смерти, выступившія изъ стѣнъ обреченнаго на гибель дома. И въ самомъ дѣлѣ, видъ ихъ и страненъ, и страшенъ: одна въ шушунѣ, блѣдна какъ мертвецъ, а очи какъ угли. Это тигрица, у которой отняли ребенка. А другая... что за лицо и что за одежда! Лицо эѳіопа, два длинные зуба блестятъ въ темной пасти раскрытаго рта; сѣдыя космы падаютъ съ головы густыми прядями; сухая

Губернаторъ просилъ ее продолжать.

Марѳа Андревна съ горькою жалостью взглянула на униженнаго Плодомасова и отвѣчала:

— Да, я точно съ нимъ вѣнчана, но я не вѣнчана насильно.

— Какъ не насильно? — вскрикнулъ удивленный губернаторъ.

— Какъ, сердечная дочка моя! Неужто съ твоего то все было согласія? — воскликнулъ, заломивъ руки, Байцуровъ.

Присутствующая толпа стояла, пораженная неразрѣшимымъ для нея недоумѣніемъ; одна мать Байцуровой прочитала разгадку всего этого въ сокровенныхъ тайникахъ дочернинаго сердца. Она сжала дочернину руку и шепнула:

— Дѣло, дочь, дѣло!

— Пусть за меня никому зла не будетъ! — отвѣчала матери на ухо дочь, хороня на плечѣ ея свое личико.

— Скажите же, милостивая государыня, какъ все такое происходить могло въ столь непонятной исторіи. У насъ есть доказательства совершенно противныя... Вы говорите въ испугѣ... вы ободритесь.

Марѳа Андревна приподняла головку съ материнна плеча и отвѣтила:

— До всего, что вы о комъ знаете, въ томъ мое дѣло сторона: а что ко мнѣ касается, то мужъ мой въ томъ правъ, и я на него не въ послухахъ.

Удивленіе губернатора возросло до того, что онъ развелъ руки и при всѣхъ сознался, что ничего не понимаетъ.

Старуха Байцурова вступилась въ его спасеніе и, выступивъ впередъ, сказала:

— Дѣвичьей душѣ не надо дивиться, ваше превосходительство. Дѣвушка съ печи падаетъ, пока до земли долетитъ, сорокъ думъ передумаетъ, и въ томъ дива нѣтъ; была съ вечера дѣвушкой, ко полуночи молодушкой, ко бѣлу свѣту хозяюшкой, а хозяйкѣ не честь быть ни въ послухахъ, ни въ доказчицахъ. — Старуха тихо выдвинула дочь за руку впередъ себя и добавила: — хозяйкино дѣло теперь весть дорогихъ гостей за столъ да потчивать.

Марѳа Андревна поклонилась губернатору и сказала:

— Прошу милости къ нашему хлѣбу-соли.

Губернаторъ еще недоумѣвалъ и глазами хлопалъ

— Ваше превосходительство, — опять выступила и ему

одному вслухъ заговорила Байцурова: — у насъ, что съ трубами свадьба, что и безъ трубъ свадьба: дѣло попомъ пѣтое, и жена мужу нерушимый кусъ. Не наша воля на то была, а ея да Божья, что видимъ теперь ее здѣсь властною госпожей, а не невольною бранкой. Здѣсь холопы не доказчики, а жены нашего рода на мужей не послухи. Она все дѣло рѣшила, и она, ваше превосходительство, ждетъ, что вы подъ руку ее къ столу сведете.

Губернаторъ шаркнулъ, подалъ Марѳѣ Андревнѣ локоть и повелъ ее внизъ въ парадные покои.

Комната, служившая мѣстомъ всѣхъ этихъ событій, все опустѣвала и, наконецъ, посреди ея остался одинъ Плодомасовъ. Онъ смутно понималъ, что недавняя великая бѣда для него минула; понималъ, что все это сдѣлала его ребенокъ-жена, но онъ также чувствовалъ и сознавалъ, что съ этой бѣдою навсегда минула здѣсь и власть его. Бранка побѣдила своего плѣнителя, и надъ всѣмъ, что только Плодомасовъ имѣлъ въ своихъ владѣніяхъ, онъ видѣлъ ея твердый благостный духъ.

Онъ чувствовалъ, что здѣсь отнынѣ будетъ выше всего *она*, а не онъ, и весь дикій мятежъ его дикихъ страстей покоренъ.

Да, власть его восхищена. Вотъ онъ, стоя здѣсь одинъ, всѣми позабытый и брошенный, слышитъ, какъ въ тѣхъ его дальнихъ парадныхъ покояхъ раздаются гостиные голоса; вонъ эти домочадцы, еще такъ недавно поднявшіе холопьи носы свои передъ нимъ, снова смирились и снуютъ и раболѣпно покорствуютъ вновь единодержавно-воцарившейся въ домѣ новой волѣ, и онъ самъ, Плодомасовъ, онъ самъ, большой моголъ, султанъ и властитель всего здѣсь сущаго, онъ разрѣшенъ отъ власти и... онъ радъ тому: онъ тихо крестится и шепчетъ: «Боже! устроевый тако, — слава Тебѣ!»

Плодомасовъ смятенъ, какъ застѣнчивое дитя, и не знаетъ только одного: какъ ему теперь сняться отсюдова съ мѣста, на которомъ стоитъ, куда идти и какъ показать свои очи въ своемъ новомъ положеніи?

Но новые вс[illegible] его дома кругомъ смотрятъ и все видятъ.

Старуха Байцурова проводила въ почетное мѣсто губернатора и драгуна и заставила своего мужа занимать ихъ и чествовать, а сама вернулась къ Плодомасову и, взявши его руку, сказала:

— Ну, что жъ? — разумѣешь ли нынѣ, хитрый воръ, какую ты себѣ бѣду укралъ?

— Матушка-свекровь, сверхъ ума благодарствую,—отвѣчалъ Плодомасовъ, повалившись ей въ ноги.

— Не для тебя то, однако, все сдѣлано, а и для своей души. У насъ родъ такой, что мы до суда и до сваръ неповадливы, а и ты постыдись, что въ храбромъ-то уборѣ, да лежишь у бабьихъ ногъ безъ храбрости... Встань! встань!—добавила она ласковѣй.—Умыкнутая жена, что и рукой выданная, — назадъ нечего взять; но помни, что не пара ты ей и что старый мужъ да нравливый молодой женѣ на руку колодой падаетъ.

— Сударыня-свекровь, оставь безпокоиться! пусть она во всемъ госпожей здѣсь будетъ.

— Да, но гляди, зять, чтобы холопьи сусальные глаза моей дочери слезъ не видали; а теперь сдѣлаемъ промежъ насъ родное согласіе и пойдемъ къ гостямъ, честь-честью.

Байцурова поцѣловалась съ Плодомасовымъ и, взявъ его подъ руку, пошла съ нимъ въ гостиную, гдѣ Плодомасова ожидала его молодая жена и его незваные гости. Никитѣ Юрьичу Плодомасову не оставалось ничего болѣе, какъ отпировать со всѣми этими гостями свою свадьбу, и онъ отпировалъ ее, а потомъ отпустилъ каждаго гостя домой съ дорогими подарками.

ОЧЕРКЪ ВТОРОЙ.

БОЯРЫНЯ МАРѲА АНДРЕВНА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Хрустальная вдова.

Послѣ свадьбы Марѳы Андревны протекло полтора десятка лѣтъ. Въ эти годы отошелъ мирно и тихо къ отцамъ старикъ Байцуровъ; къ концу пятнадцатаго года плодомасовскаго брака у Марѳы Андревны родился сынъ Алексѣй, которымъ порадовался укрощенный бояринъ Никита и старушка Байцурова, и вслѣдъ затѣмъ сами они обои, и зять, и свекровь, въ одинъ и тотъ же годъ тоже переселились въ вѣчность.

Не стало у Марѳы Андревны ни отца, ни матери, ни

мужа, она осталась на свѣтѣ молодою тридцатилѣтнею вдовою, съ ослѣпительной красотою, богатымъ состояніемъ, заключавшимся въ трехъ тысячахъ душъ, и съ единственнымъ однолѣтнимъ сыномъ.

Какъ было жить этой молодой вдовѣ, насильно повѣнчанной пятнадцать лѣтъ тому назадъ съ нелюбимымъ старымъ мужемъ, который, по выраженію ея матери, долженъ былъ ей колодою падать на руку.

Прошлое Маѳы Андревны не давало никакихъ основательныхъ данныхъ для предсказаній, какъ она проведетъ свою остальную жизнь? Маѳа Андревна принадлежала къ идеалу женщинъ мудреца Сократа: она жила такъ, что о ней не находили ничего разсказывать.

Съ тѣхъ поръ, какъ мы оставили бранку женою боярина Никиты, до того дня, когда мы встрѣчаемъ ее вдовою, въ теченіе цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ, Маѳа Андревна правила домомъ и властвовала надо всѣмъ имѣніемъ и надъ своимъ старымъ мужемъ, и никого этой властью не озлобила, никому ею не надокучила. Она не забирала власть, а власть сама ей давалась—власть шла къ ней, какъ къ «имущей власть».

Мужъ ея со дня женитьбы своей не выѣзжалъ изъ усадьбы,—онъ одѣлся въ грубую свиту, опоясался ремнемъ, много молился и сокрушенно плакалъ. Жена ему была утѣшеніемъ: при ней его меньше терзалъ страхъ смерти и страхъ того, что ждетъ насъ послѣ смерти. Маѳа Андревна защищала его отъ грозъ воображенія, какъ защищала отъ грозъ природы, при которыхъ старый боярин падалъ сѣдою головою въ колѣни юной жены и стоналъ: «Защити, защити меня, праведница! При тебѣ меня Божій громъ не ударитъ».

Для всѣхъ постороннихъ и для своихъ челядинцевъ Плодомасовъ какъ бы исчезъ и не существовалъ. Пятнадцать лѣтъ онъ ни на минуту не забывалъ, что жена его была его спасительницей, и жилъ въ благоговѣйномъ почтеніи къ ея благородному характеру. Онъ во всемъ слушалъ ее и ея мать, сдѣлавшуюся послѣ жены его первымъ другомъ и совѣтникомъ.

На пятнадцатомъ году брака Маѳа Андревна совершила счастіе мужа, по которомъ втайнѣ крайне томилась душа старика, но уста и въ молитвѣ счастія того просить не

дерзали; Марѳа Андревна возстановила угасавшій съ ея мужемъ родъ Плодомасовыхъ, она—дала мужу сына.

Этимъ мѣра счастія Никиты Плодомасова была преисполнена и остепененный буянъ, тихо отходя христіаниномъ въ вѣчную жизнь, еще разъ благословилъ Марѳу Андревну за послѣдній поцѣлуй, которымъ она приняла его послѣдній дыханіе.

Но что же будетъ теперь? Запоетъ ли молодая боярыня, пригорюнившись: «Скучно, матушка, весною жить одной?» Нахлынутъ ли къ ней, прослышавъ про ея вдовство, молодые бояре и князья, и положитъ ли она на чью-нибудь молодую грудь свое бѣлое лицо, или запрядетъ Пенелопину пряжу и станетъ исканьями жениховъ забавляться да тѣшиться?

Нѣтъ; не судьба намъ и на этотъ разъ увидать молодую боярыню въ обличеніяхъ сердечныхъ ея слабостей. Идутъ опять длинные годы; прошло снова опять цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ, а про вдову Марѳу Андревну и слуховъ нѣтъ, и на славу ея и тѣнь не легла; живетъ она съ сыномъ своимъ хрустальною вдовицею, вся насквозь хрусталемъ свѣтясь.

Упрекали ее, что она, дома сидя, раньше вѣка состарѣется; но она, слыша порой тѣ упреки, отвѣчала, что матери съ дѣтемъ домосѣдство не въ муку.

Собственная крѣпостная дворня Плодомасовой во всѣ эти годы видѣла свою боярыню въ «распарадѣ» только одинъ разъ за все ея вдовство; это было черезъ три года послѣ рожденія Алексѣя Никитича, когда, по старому обычаю, боярыня предъ всѣмъ собраніемъ домочадцевъ сажала малолѣтняго сына на бѣлаго коня и обѣщалась за него Богу, что сдѣлаетъ изъ него честнаго слугу вѣрѣ и Россіи.

Затѣмъ цѣлыя пятнадцать лѣтъ боярыня Плодомасова опять жила тихохонько. Въ эти пятнадцать лѣтъ она возрастила себѣ сокола-сына. Выходила боярыня сына, выхолила его и молодцомъ-молодца съ Божьимъ благословеніемъ и материнскою молитвою пятнадцати лѣтъ выслала его въ Питеръ служить государынѣ, слава великихъ дарованій которой вдохновляла и радовала Плодомасову въ ея пустынномъ захолустьѣ.

Соблазняли боярыню слухи о нравахъ дворскихъ и воль-

ностяхъ, но она надѣялась, что вложила въ сердце сына добрыя сѣмена.

— Живи чисто! — завѣщала она сыну и твердо надѣялась, что онъ соблюдетъ свою чистоту, какъ она свою соблюдала.—«Это все, что чѣмъ манится,—почасту писывала она сыну въ столицу, — дано Богомъ въ умноженіе рода, да отецъ будешь, а не прелюбодѣй. Помни, что гдѣ двое у грѣха безпечны, тамъ отъ нихъ третій нарождается и будетъ отъ безумныхъ людей безгрѣшно стыдъ терпѣть, а потому блюдись, дабы этого не было».

Въ это время, когда боярыня осталась въ своемъ Плодомасовѣ совсѣмъ одинокою, ей уже минуло сорокъ пять лѣтъ; красота ея отцвѣтала въ ея тихомъ заточеніи, и чистая, непорочная жизнь укрѣпила за нею названіе «хрустальной вдовы».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прилетный соколъ и домашнее вабило.

Еще пять лѣтъ прошло мимо, а съ ними боярынѣ стукнуло пять десятковъ, и она наложила на себя старушечій повойникъ.

Для плодомасовской жизни наступила новая пора.

Никто никогда не видалъ отъ природы чинную и серьезную боярыню, какою всѣ видятъ ее теперь. Она шутлива, весела, радостна: она смѣется съ слугами и подпѣваетъ слегка своимъ сѣннымъ дѣвушкамъ, обряжающимъ давно забытые большіе покои такъ-называемаго «мужского верха».

Да и какъ не быть боярынѣ шутливой и радостной, когда она, послѣ пятилѣтней разлуки съ единственнымъ сыномъ, ждетъ къ себѣ Алексѣя Никитича на долгую побывку и мечтаетъ, какимъ она его увидитъ бравымъ офицеромъ, въ щегольскомъ расшитомъ гвардейскомъ кафтанѣ, въ крагахъ и въ пудрѣ; какъ онъ, блестящій молодой гвардеецъ блестящей гвардіи, отъ свѣтлаго дворца императрицы перенесется къ старой матери и увидитъ, что и здѣсь не убого и не зазорно ни жить, ни людей принять.

— А тамъ...

Марѳѣ Андревнѣ мерещится вдали свѣтлоокая невѣстка, съ кроткими очами, съ плавною поступью, съ вѣрной душою. «И будемъ жить вмѣстѣ, и будетъ и радость, и счастье, и здоровые внуки, и румяныя внучки».

Приготовленія кончены; покои свѣтлы и пышны, какъ брачный чертогъ; спѣшитъ въ нихъ и принцъ сердца боярыни Плодомасовой.

Алексѣй Никитичъ былъ на самомъ дѣлѣ дѣйствительнымъ молодцомъ, и притомъ покорнымъ сыномъ.

За полверсты, не доѣзжая до материнскаго дома, онъ сошелъ къ ручью, умылся, надѣлъ на себя все парадное платье и предсталъ Маѳѣ Андревнѣ, какъ она ему о томъ писала въ полкъ, чтобы «пріѣхалъ онъ къ ней и въ добромъ здоровьѣ, и въ полномъ парадѣ». Онъ сошелъ у материнскаго крыльца, въ парикѣ, съ косою за плечами, въ щегольскомъ гвардейскомъ мундирѣ. Боярыня встрѣтила сына на верхней ступени съ образомъ, съ хлѣбомъ-солью. На глазахъ у нея были слезы: ей хотѣлось скорѣе броситься къ сыну и прижать его къ своей груди, но она этого себѣ не позволила и тѣмъ показала, какъ долженъ вести себя и Алексѣй Никитичъ.

Молодой Плодомасовъ поклонился матери въ ноги, приложился къ образу и постоялъ на колѣняхъ, пока мать три раза коснулась его темени хлѣбомъ.

Затѣмъ они зажили. У Плодомасова былъ долгій годовой отпускъ.

Маѳа Андревна, какъ мы видѣли, имѣла намѣреніе женить сына; и тотчасъ, какъ дорогой гость ея немножко у нея обгостился, она начала его понемножку повыспрашивать, какіе онъ имѣетъ собственные насчетъ брака взгляды и планы? Оказалось, что скорый бракъ вовсе не манилъ Алексѣя Никитича.

— Но отчего же такъ, милый другъ мой, ты предпочитаешь долго ходить кавалеромъ?—спрашивала его боярыня.

— Такъ, матушка, влеченія къ брачной жизни еще о сей порѣ не чувствую,—отвѣчалъ сынъ.

— А ужъ не маленькій ты, пора бы и чувствовать.

— Да теперь, матушка, къ тому же такъ рано въ мои годы изрядные кавалеры и не женятся.

— Для чего же такъ: неужли въ старые годы жениться лучше, чѣмъ въ молодые? А по-моему, что лучше какъ въ молодой вѣкъ жениться, да взять жену по мыслямъ и по сердцу? Въ этомъ Божій законъ, да и любовь сладка къ порѣ да во-время, а что же въ томъ радости, чтобы ста-

рымъ тѣломъ молодой вѣкъ задавить? Злѣй этого обыка для жизни быть не можетъ.

Сынъ промолчалъ, сконфуженный простыми и прямыми словами матери.

А Марѳа Андревна вдругъ ревниво заподозрила: нѣтъ ли у ея сына какой-нибудь тайной зазнобы въ Петербургѣ.

Ловко и тонко, то съ далекими подходами, то съ неожиданной, сбивающей сына съ такту прямизной разспрашивала она его: гдѣ онъ у кого бываетъ въ Петербургѣ, какихъ людей знаетъ, и наконецъ, прямо спросила: а съ кѣмъ же ты живешь?

Плодомасовъ понялъ, что вопросъ материнъ предложенъ не въ прямомъ его смыслѣ, и гвардейская этикетность его и собственная скромность возмутились этимъ безцеремоннымъ вопросомъ.

— Матушка, я въ этомъ еще неповиненъ, — отвѣчалъ, тупя глаза, Плодомасовъ.

— Хвалю, — отвѣчала мать: — будь достоинъ чистой невѣсты.

Сконфуженный сынъ жарко поцѣловалъ материну руку.

Марѳу Андревну, которая знала все-таки столичные нравы екатерининскаго вѣка, очень занималъ вопросъ о нравственности сына.

Застѣнчивый и скромный отвѣтъ гвардейца нравился Марѳѣ Андревнѣ чрезвычайно; но она хотѣла удостовѣриться еще точнѣе, что взлелѣянное ею дитя ея дѣйствительно непогрѣшимо въ своей чистотѣ, и потому священникъ, отецъ Алексѣй, получилъ порученіе узнать это ближе, а Алексѣю Никитичу велѣно было тутъ же вскорѣ послѣ пріѣзда говѣть и пріобщаться.

По окончаніи исповѣди, отецъ Алексѣй, худой, длинный старичокъ, вовсе не питущій, но съ краснымъ носомъ, укрѣпилъ Марѳу Андревну въ этомъ мнѣніи: онъ вошелъ къ ней и благопокорно прошепталъ:

— Дѣвственникъ!

— Это въ нашъ вѣкъ рѣдкость, — произнесла Марѳа Андревна.

— Рѣдко, сударыня, рѣдко.

— Господи, сколь я счастлива! — воскликнула Марѳа Андревна, и въ самомъ дѣлѣ она была необыкновенно счастлива и довольна.

Сынъ дѣлалъ полную честь трудамъ воспитавшей его матери, и блаженная мать души въ немъ не чуяла и еще усугубила къ нему свою нѣжность.

— Тамошній омутъ чистъ переплылъ, а ужъ тутъ у меня и замутиться не въ чемъ.

И она не отпускала сына отъ себя ни на шагъ, пѣстовала его, нѣжила, холила и любовалась имъ и за него радовалась.

И пошла тихо и мирно жизнь въ селѣ Плодомасовѣ. Мать не нарадуется, что видитъ сына, и дни летятъ для нея, какъ краткія мгновенья. Ей и въ голову не приходитъ освѣдомиться: такъ ли весело въ деревенскомъ уединеніи сыну ея, какъ весело ей отъ единой мысли, что онъ съ нею подъ одной кровлей.

Все, казалось, шло стройно и прекрасно, но вдругъ среди такого семейнаго счастія красавица сѣнная дѣвушка Маѳы Андревны, ходившая за самою боярыней, «спальная покоевка», заскучала, затосковала и потомъ, раздѣвая разъ боярыню, бросилась ей въ ноги и зарыдала.

Маѳа Андревна знала, что̀ значатъ такіе поклоны въ ея монастырѣ. Строгія брови Маѳы Андревны сдвинулись, глаза сверкнули и губы выразили и гнѣвъ, и презрѣніе. Виновная не поднималась, гнѣвная боярыня стояла, не отнимая у нея своей ноги, которую та обливала горячей слезою.

— И ты это смѣла? ходя за мной за самой, ты не могла себя соблюсти?

— Матушка! голова моя не нынче уже передъ вами на плахѣ.

— Не нынче?

— Матушка... давно... пятый мѣсяцъ—и дѣвушка опять пала горячимъ лицомъ къ ножкѣ боярыни.

— Кайся же, *кто*? Кто дерзнулъ на тебя?

Дѣвушка молчала.

Три раза боярыня повторила свой вопросъ, и три раза дѣвушка отвѣчала на него только одними рыданіями.

— Говори: кто? Я прощаю тебя, — произнесла Маѳа Андревна.

Дѣвушка поцѣловала барынины ноги, потомъ руки.

— Тебѣ, какъ ты за мною ходила, то какъ ты ни виновата, что всего этого не чувствовала, но тебѣ за мужикомъ не быть.

Дѣвушка опять упала въ ноги.

— Говори, кто тобой виноватъ: холостой или женатый?

Виноватая молчала.

— Говори! если холостой... Богъ васъ проститъ, но чтобъ завтра же у меня при всѣхъ тебя замужъ просилъ. Чего ты водишь глазами? Слышишь, перестань, тебѣ говорю: я не люблю, кто такъ страшно взглядываетъ. Иди, и чтобъ онъ завтра тебя себѣ замужъ просилъ, а не то велю ему лобъ забрить.

Дѣвушка отчаянно ударила себя въ грудь и воскликнула:

— Этому быть нельзя!

— Что ты такое врешь! знать я не хочу и велю, чтобъ было, какъ приказываю.

Дѣвушка отчаянно закачала головой и воскликнула:

— Господи, Господи! да научи же меня, какъ мнѣ слово сказать и покаяться!

— Холостой... По любви съ нимъ сошлась... и нельзя имъ жениться!—быстро сообразила Марѳа Андревна и, въ негодованіи оттолкнувъ отъ себя дѣвушку, крикнула:—Сейчасъ же скажи его имя: кто онъ такой?

— Охъ, да никто! – отвѣчала, терзаясь, дѣвушка.

— Никто?.. Какъ это никто? что жъ это въ банѣ, что ли, къ тебѣ пристало?

Дѣвушка стояла на колѣняхъ и, поникнувъ головою, молчала.

Марѳа Андревна сѣла въ кресла и снова вспрыгнула, сама надѣла на свои ноги шитые золотомъ босовички и, подойдя къ дѣвушкѣ, высоко подняла ея лицо за подбородокъ и, взглянувъ ей прямо въ глаза, проговорила:

— Хотя бы то сынъ мой родной, я это сейчасъ знать желаю, и ты не смѣешь меня ослушаться!

И метаясь подъ проницающимъ взоромъ своей чистой боярыни, дѣвушка въ терзаніяхъ и мукахъ шопотомъ отвѣчала:

— *Онъ!*

Этого сюрприза Марѳа Андревна не ожидала... Омутъ переплылъ, а на чистой водѣ осѣтился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

По дѣламъ воздаяніе.

Марѳа Андревна была ужасно оскорблена этимъ поступкомъ сына, и притомъ въ ней боролось теперь множество чувствъ разомъ.

Сынъ дѣлалъ полную честь трудамъ воспитавшей его матери, и блаженная мать души въ немъ не чуяла и еще усугубила къ нему свою нѣжность.

— Тамошній омутъ чистъ переплылъ, а ужъ тутъ у меня и замутиться не въ чемъ.

И она не отпускала сына отъ себя ни на шагъ, пѣстовала его, нѣжила, холила и любовалась имъ и за него радовалась.

И пошла тихо и мирно жизнь въ селѣ Плодомасовѣ. Мать не нарадуется, что видитъ сына, и дни летятъ для нея, какъ краткія мгновенья. Ей и въ голову не приходитъ освѣдомиться: такъ ли весело въ деревенскомъ уединеніи сыну ея, какъ весело ей отъ единой мысли, что онъ съ нею подъ одной кровлей.

Все, казалось, шло стройно и прекрасно, но вдругъ среди такого семейнаго счастія красавица сѣнная дѣвушка Маѳы Андревны, ходившая за самою боярыней, «спальная покоевка», заскучала, затосковала и потомъ, раздѣвая разъ боярыню, бросилась ей въ ноги и зарыдала.

Маѳа Андревна знала, что̀ значатъ такіе поклоны въ ея монастырѣ. Строгія брови Маѳы Андревны сдвинулись, глаза сверкнули и губы выразили и гнѣвъ, и презрѣніе. Виновная не поднималась, гнѣвная боярыня стояла, не отнимая у нея своей ноги, которую та обливала горячей слезою.

— И ты это смѣла? ходя за мной за самой, ты не могла себя соблюсти?

— Матушка! голова моя не нынче уже передъ вами на плахѣ.

— Не нынче?

— Матушка... давно... пятый мѣсяцъ—и дѣвушка опять пала горячимъ лицомъ къ ножкѣ боярыни.

— Кайся же, *кто*? Кто дерзнулъ на тебя?

Дѣвушка молчала.

Три раза боярыня повторила свой вопросъ, и три раза дѣвушка отвѣчала на него только одними рыданіями.

— Говори: кто? Я прощаю тебя, — произнесла Маѳа Андревна.

Дѣвушка поцѣловала барынины ноги, потомъ руки.

— Тебѣ, какъ ты за мною ходила, то какъ ты ни виновата, что всего этого не чувствовала, но тебѣ за мужикомъ не быть.

Дѣвушка опять упала въ ноги.

— Говори, кто тобой виноватъ: холостой или женатый?

Виноватая молчала.

— Говори! если холостой... Богъ васъ проститъ, но чтобъ завтра же у меня при всѣхъ тебя замужъ просилъ. Чего ты водишь глазами? Слышишь, перестань, тебѣ говорю: я не люблю, кто такъ страшно взглядываетъ. Иди, и чтобъ онъ завтра тебя себѣ замужъ просилъ, а не то велю ему лобъ забрить.

Дѣвушка отчаянно ударила себя въ грудь и воскликнула:

— Этому быть нельзя!

— Что ты такое врешь! знать я не хочу и велю, чтобъ было, какъ приказываю.

Дѣвушка отчаянно закачала головой и воскликнула:

— Господи, Господи! да научи же меня, какъ мнѣ слово сказать и покаяться!

— Холостой... По любви съ нимъ сошлась... и нельзя имъ жениться!—быстро сообразила Марѳа Андревна и, въ негодованіи оттолкнувъ отъ себя дѣвушку, крикнула:—Сейчасъ же скажи его имя: кто онъ такой?

— Охъ, да никто!—отвѣчала, терзаясь, дѣвушка.

— Никто?.. Какъ это никто? что жъ это въ банѣ, что ли, къ тебѣ пристало?

Дѣвушка стояла на колѣняхъ и, поникнувъ головою, молчала.

Марѳа Андревна сѣла въ кресла и снова вспрыгнула, сама надѣла на свои ноги шитые золотомъ босовички и, подойдя къ дѣвушкѣ, высоко подняла ея лицо за подбородокъ и, взглянувъ ей прямо въ глаза, проговорила:

— Хотя бы то сынъ мой родной, я это сейчасъ знать желаю, и ты не смѣешь меня ослушаться!

И метаясь подъ проницающимъ взоромъ своей чистой боярыни, дѣвушка въ терзаніяхъ и мукахъ шопотомъ отвѣчала:

— *Онъ!*

Этого сюрприза Марѳа Андревна не ожидала... Омутъ переплылъ, а на чистой водѣ осѣтился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

По дѣламъ воздаяніе.

Марѳа Андревна была ужасно оскорблена этимъ поступкомъ сына, и притомъ въ ней боролось теперь множество чувствъ разомъ.

Передъ ней вдругъ возсталъ во весь ростъ свой покойный Никита Юрьичъ. — не тотъ Никита Юрьичъ, который доживалъ возлѣ нея свои послѣдніе годы, а тотъ боярин-разбойникъ, который загубилъ нѣкогда ея красу дѣвичью и который до встрѣчи съ нею не зналъ ничего святого на свѣтѣ. «Вотъ онъ, и этотъ по отцовымъ стопамъ начинаетъ,— мнилось боярынѣ: — дѣвичья честь не завѣтъ ему и материнъ домъ не нетлѣнный кутъ: идетъ на все, что мескъ невзнузданный... Нѣтъ, не должно мнѣ это спустить ему,— иначе его злообычіе въ немъ коренать станетъ! Нѣтъ, у сего начала растетъ золъ конецъ».

— Иди!—сказала она покоевкѣ и, указавъ ей рукою на двери, сама опустилась въ кресло у кровати и заплакала.

Оставшись одна, Марѳа Андревна искала теперь въ своемъ умѣ рѣшенія, что она должна сдѣлать? какъ ей поступить? Рѣшеніе не приходило, и Марѳа Андревна легла спать, но не спала. Рѣшеніе не приходило и на другой день, и на третій, и Марѳа Андревна цѣлыхъ три дня не выходила изъ своей комнаты и не пускала къ себѣ сына.

Этого не бывало еще съ Марѳою Андревной никогда, и никто въ цѣломъ домѣ не зналъ, чему приписать ея упорное затворничество.

Къ ней подъ дверь подсылали приближенныхъ слугъ, подходили и заводили съ ней разговоръ и молодой баринъ, и священникъ отецъ Алексѣй; но Марѳа Андревна никому не отвѣчала ни одного слова и только рѣзкимъ, сердитымъ постукиваньемъ въ дверь давала чувствовать, что она требуетъ, чтобы ее оставили.

На четвертый день Марѳа Андревна сама покинула свое заточеніе. Въ этотъ день люди увидѣли, что боярыня встала очень рано и прошла въ садъ въ одномъ темненькомъ капотѣ и шелковомъ повойничкѣ. Тамъ, въ саду, она пробыла одна-одинёшенька около часу и вышла оттуда, заперши за собою на замокъ ворота и опустивъ ключъ въ карманъ своего капота. Къ господскому обѣду въ этотъ день былъ приглашенъ отецъ Алексѣй.

Марѳа Андревна вышла къ столу, но не кушала и съ сыномъ не говорила.

Послѣ обѣда, когда вся домашняя челядь, кто только гдѣ могъ найти удобное мѣстечко и свободную минуту, уснули по

темнымъ уголкамъ и закоулочкамъ обширнаго дома, Марѳа Андревна встала и сказала отцу Алексѣю:

— Пойдемъ-ка, отецъ, со мною въ садъ, походимъ.

— Пойдемъ и ты, — заключила она, оборотясь на ходу къ сыну.

Марѳа Андревна шла впередъ, священникъ и сынъ за нею.

Плодомасова прошла дворъ, отперла садовую калитку и, вступивъ въ садъ, замкнула снова ее за собою.

Садомъ боярыня прошла тихо, по направленію къ пустой банѣ. Во всю дорогу Марѳа Андревна не говорила ни съ сыномъ, ни съ священникомъ и, дойдя до цѣли своего нѣсколько таинственнаго путешествія, сѣла на завалинку подъ однимъ изъ банныхъ оконъ. Около нея съ одной стороны присѣлъ отецъ Алексѣй, съ другой — опустился-было гвардейскій поручикъ.

— А ты, поросенокъ, передъ матерью можешь и постоять!—вдругъ оттолкнула сына Марѳа Андревна.

— Стань!—повторила она изумленному молодому человѣку и затѣмъ непосредственно обратилась къ нему съ вопросомъ:

— Кто тебѣ далъ эти эполеты?

— Государыня императрица,—отвѣчалъ Плодомасовъ.

— Сними же и положи ихъ сюда на материны колѣни.

Недоумѣвающій поручикъ гвардіи безропотно исполнилъ материнское требованіе.

— Ну, теперь,—сказала ему Марѳа Андревна:—государынѣ императрицѣ до тебя болѣе дѣла нѣтъ... Что ею тебѣ жаловано, того я на тебѣ безчестить не смѣю, а безъ царскаго жалованья ты моя утроба.

Съ этимъ она взяла сына за руку и, передавая отцу Алексѣю, проговорила:

— Отдаю тебѣ, отецъ Алексѣй, непокорнаго сына, который оскорбилъ меня и самъ свою вину знаетъ. Поди съ нимъ туда.

Она указала черезъ плечо на баню.

— Туда, — повторила она черезъ минуту: — и тамъ... накажи его тамъ.

— Поснизойдите, Марѳа Андревна! — ходатайствовалъ священникъ.

— Не люблю я, не люблю, попъ, кто не въ свое дѣло мѣшается.

— Позволь же тебѣ, питательница, доложить, что, вѣдь, онъ слуга царскій,—убѣждалъ священникъ.

— Материнъ сынъ прежде, чѣмъ слуга: мать отъ Бога.

— И къ тому же онъ въ отпускъ... на отдохновеніе къ тебѣ прибылъ.

— Перестань пусторѣчить: я все не хуже тебя знаю, дуракамъ и въ алтарѣ не спускаютъ: иди и дѣлай, что сказано.

Священникъ не зналъ опять, чѣмъ бы еще затруднить дѣло.

— Да вотъ я и лозы къ сему пригодной для наказанія не имѣю.

— Иди, куда велю; тамъ все есть.

— Ну, пожалуйте ея волю исполнить,—пригласилъ отецъ Алексѣй поручика.

Плодомасовъ молча поклонился матери въ ноги и молча пошелъ въ баню за отцомъ Алексѣемъ.

Тамъ, на верхней полкѣ, лежалъ большой пукъ березовыхъ прутьевъ, нарѣзанныхъ утромъ собственными руками Маѳы Андревны и крѣпко связанныхъ шелковымъ пояскомъ, которымъ она подвязывала въ сырую погоду юбки.

— Мы вотъ какъ поступимъ,—заговорилъ тихонько, вступивъ въ баню, отецъ Алексѣй:—вы, ваше благородіе, Алексѣй Никитичъ, такъ здѣсь за углышкомъ стойте, да какъ мога послышнѣе голосомъ своимъ блекочите, а я буду лозой по доскамъ ударять.

— Нѣтъ, не надо, я мать обманывать не хочу, — отвѣчалъ офицеръ.

— А вотъ это тебѣ, отецъ Алексѣй, и стыдно! Раздумайка, хорошо ли ты сына матери солгать училъ!—отозвалась вдругъ изъ-за окна разслышавшая весь этотъ разговоръ Маѳа Андревна.—Дурно это, попъ, дурно!

Сконфуженный отецъ Алексѣй поникъ головою и, глядя на лозу, заговорилъ:

— Да помилуй меня, легконосица: не могу... руки мои трепещутъ... меня большая жаль обдержитъ! Отмѣни ему сіе наказаніе хоша за его благопокорность!

— А ты жалѣй да дѣлай,—отвѣчала изъ-за окна непреклонная Маѳа Андревна.—Кто съ холопами въ одной повадкѣ живетъ, тотъ въ одной стати съ ними и наказуется.

— Совершимъ по реченному, — прошепталъ, вздохнувъ,

отецъ Алексѣй и, засучивъ широкій рукавъ рясы, началъ, ничто же сумнясь, сѣчь поручика Плодомасова и сѣкъ до тѣхъ поръ, пока Марѳа Андревна постучала своей палочкой въ окно и крикнула: «довольно!»

— Наказалъ,—объявилъ, выйдя, священникъ.

Марѳа Андревна не отвѣтила ему ни слова. Она была взволнована, потрясена и почти убита. Ей жаль было сына и стало еще жалче послѣ его покорности, возбранявшей ему обмануть ее въ опредѣленномъ ею наказаніи. Она стыла, зябла, умирала отъ немощи и страданья, но хранила нѣмое молчаніе.

Передъ Марѳу Андревну предсталъ наказанный ею сынъ и поклонился ей въ ноги.

Марѳа Андревна вспыхнула. Видъ виновника ея и его собственныхъ страданій возмутилъ ее, и она ударила его въ это время по спинѣ своей палочкой и далеко отбросила эту палочку въ куртину.

Алексѣй Никитичъ поднялъ брошенную матерью палочку, подалъ ее Марѳѣ Андревнѣ и опять поклонился ей въ ноги.

Марѳа Андревна опять ударила его тѣмъ же порядкомъ и опять швырнула отъ себя палку.

Сынъ снова всталъ, нашелъ палку, снова подалъ ее своей матери и снова легъ ей въ ноги.

Марѳа Андревна тронула его въ голову и сказала: «встань!»

Алексѣй Никитичъ поднялся, поцѣловалъ материну руку, и всѣ трое пошли домой послѣ этой прогулки.

Разумѣется, все, что произошло здѣсь, навсегда осталось неизвѣстнымъ никому, кромѣ тѣхъ, кто принималъ въ этомъ непосредственное участіе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Зазвучали другія струны.

Марѳа Андревна, наказавъ такъ несообразно взрослаго сына, изнемогла и духомъ, и плотью. Цѣлую ночь, смѣнившую этотъ тягостный день, она не могла уснуть ни на минуту: она все ходила, плакала, молилась Богу и жаловалась Ему на свое сердце, на свой характеръ; потомъ падала ницъ и благодарила Его за дарованіе ей такого покорнаго такого добраго сына!

Часа въ три послѣ полуночи, въ пору общаго глубокаго сна, Марѳа Андревна спустилась тихонько съ своего женскаго верха внизъ, перешла длинные ряды пустыхъ темныхъ комнатъ, взошла тише вора на «мужской верхъ», подошла къ дверямъ сыновней спальни, стала, прислонясь лбомъ къ ихъ створу, и заплакала. Битый часъ она тихо, какъ извалянная изъ камня, стояла здѣсь, тихо всхлипывая и прерывая свои слезы, лишь только для того, чтобы, прислонясь ухомъ къ двери, послушать, какъ дышитъ обидно наказанный ею спящій сынъ ея. Наконецъ, кипѣвшія въ груди ея благодатныя слезы облегчили ее. Она перекрестила нѣсколько разъ сынову дверь, поклонилась ему у порога лицомъ до земли, прошептала сквозь слезы: «прости, мое дитя, Христа ради», и отошла. Во всю обратную дорогу къ своей опочивальнѣ она шла тихо, плачучи въ свой шейный платокъ.

Марѳѣ Андревнѣ пришлось невмоготу: у нея силъ не ставало быть одной; ей бы хотѣлось взойти къ сыну и поцѣловать его руки, ноги, которыя представлялись ей такими, какими она цѣловала ихъ въ его колыбели. Она Богъ знаетъ что̀ дала бы за удовольствіе обнять его и сказать ему, что она не такая жестокая, какою должна была ему показаться; что ей его жаль; что она его прощаетъ; но повести себя такъ было несообразно съ ея нравомъ и правилами.

А между тѣмъ сердце не слушалось этихъ правилъ: оно все безпокойнѣе и неумолчнѣе молило дать ему излиться въ нѣжности и ласкѣ.

А кому иному, если не ему, можно было бы отдать эту потокомъ рвущуюся ласку? Но нѣтъ. — ему показать свою слабость она не можетъ.

Марѳа Андревна подумала и, не доходя до своей спальни, вдругъ повернула съ прямого пути и стала тихо взбираться по скрипучимъ ступенямъ деревянной лѣстницы въ верхнюю дѣвичью. Тихо, задыхаясь и дрожа, какъ осторожный любовникъ, отыскала она среди спящихъ здѣсь женщинъ сынову фаворитку, закрыла ладонью ей ротъ, тихо шепнула: «иди со мной!» и увела ее къ себѣ за рукавъ сорочки.

Марѳа Андревна впервые въ жизни ходила со страхомъ по своему собственному дому,—впервые боялась она, чтобы ее кто-нибудь случайно не увидалъ и не подслушалъ.

Приведя дѣвушку къ себѣ въ опочивальню, боярыня посадила ее на свою кровать и крѣпко сжала ее руками за плечи.

Дѣвушка порывалась встать.

— Сиди! сиди! — страстно и скоро шептала ей Марѳа Андревна, и съ этимъ, повернувъ ее лицомъ къ лампадѣ, начала гладить ее по головѣ, по лицу и по молодымъ атласнымъ плечамъ, а съ устъ ея летѣли съ лаской слова: «Хорошенькая!.. ишь, какая хорошенькая! Ты прехорошенькая!.. мнѣ тебя жаль!»—вырвалось вдругъ громко изъ устъ Марѳы Андревны, и она ближе и ближе потянула красавицу къ свѣту лампады, передвинула нѣсколько разъ передъ собою изъ стороны въ сторону лицо и обнаженный бюстъ дѣвушки, любуясь ею при разныхъ тонахъ освѣщенія, и, вдругъ схвативъ ее крѣпко въ свои объятія, шепнула ей съ материнской страстностью: «Мы вмѣстѣ, вмѣстѣ съ тобою... сбережемъ что родится!»

Съ этимъ Марѳа Андревна еще тѣснѣе сжала въ объятіяхъ дѣвушку; а та какъ павиликой обвила алебастровыми руками сухую боярынину шею, и онѣ обѣ зарыдали и обѣ цѣловали другъ друга. Разницы общественнаго положенія теперь между ними не было: любовь все это сгладила и объединила.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Бабушка ворожитъ своему внучку.

Виновница этихъ скорбей и этихъ радостныхъ слезъ Марѳы Андревны была такъ умна, что никому не дала ни одного намека о перемѣнѣ, происшедшей въ ея положеніи. Марѳа Андревна это замѣтила, и расположеніе ея къ крѣпостной фавориткѣ сына увеличилось еще болѣе.

— Ты неглупая дѣвка,—сказала она покоевкѣ, когда та одинъ разъ ее одѣвала, но, слѣдуя своей строгой системѣ сдержанности, съ тѣхъ поръ все-таки долгое время не обращалась къ ней ни съ какими нѣжностями. Это, по соображеніямъ Марѳы Андревны, должно было идти такъ, пока она не дастъ всѣмъ дѣламъ новаго направленія. Новое направленіе было готово.

Марѳа Андревна не стѣснялась тѣмъ, что срокъ годовому отпуску сына еще далеко не истекъ, и рѣшила отправить Алексѣя Никитича въ Петербургъ немедленно.

— Я вижу,—сказала она:—что тебѣ съ матерью скучно и ты не умѣешь держать себя въ деревнѣ... Въ деревнѣ надо трудиться, а то здѣсь много и безъ тебя дворянскихъ пастуховъ болтается. Ступай лучше маршируй и служи своей государынѣ.

Сынъ повиновался и этому распоряженію матери безпрекословно, какъ повиновался онъ всѣмъ вообще ея распоряженіямъ.

День отъѣзда Алексѣя Никитича былъ назначенъ и наступилъ.

Во время служенія въ залѣ напутственнаго молебна по случаю отъѣзда сына, Марѳа Андревна стояла на колѣняхъ и моргала, старалась отворачиваться, какъ будто отдавая приказанія стоявшей возлѣ нея ключницѣ. Она совладѣла съ собою и не заплакала. Но зазвенѣвшій во время завтрака у крыльца поддужный колокольчикъ и бубенцы ее срѣзали: она подскочила на мѣстѣ и взялась за бокъ.

— Что съ вами, матушка?—спросилъ ее сынъ.

— Колетъ меня что-то, — отвѣчала она и, сейчасъ же обратясь къ отцу Алексѣю, добавила:—я замѣчаю, что, какъ будто простудилась, когда мы съ тобой, отецъ Алексѣй, на току опытъ молотили.

— До бѣды, Марѳа Андревна, развѣ долго? — отвѣчалъ отецъ Алексѣй, кушая жареную въ сметанѣ печенку.—Все вдругъ, государыня, можетъ быть. Я тоже намедни пошелъ ночью лошадокъ загарнуть, на задворкѣ, а большой вѣтеръ былъ, — и пригнулся, чтобъ дверь за собой притворить, а сивуха моя какъ меня шарахнетъ въ поясницу, такъ я насилу выползъ, и даже еще по сей часъ этотъ бокъ саднѣетъ.

Марѳа Андревна остановила рѣчь попа взглядомъ и стала благословлять сына, а когда тотъ поклонился ей въ ноги, она сама нагнулась поднять его и, поднимая, шепнула:

— Служи тамъ какъ надобно, а я здѣсь свою кровь не забуду.

Алексѣй Никитичъ Плодомасовъ опять поѣхалъ въ блистательную екатерининскую гвардію, а Марѳа Андревна опять осталась одна-одинёшенька въ своей Плодомасовкѣ.

Первымъ дѣломъ Марѳы Андревны, проводя сына, было приласкать оставленную имъ сироту-фаворитку. При сынѣ

она не хотѣла быть потворщицей его слабостей; но чуть онъ уѣхалъ, она сейчасъ же взяла дѣвушку къ себѣ на антресоли и посадила ее за подушку плесть кружева, наказавъ строго-настрого ничѣмъ себя не утруждать и не насиловать.

Милости боярыни къ виновной дѣвушкѣ вводили всю домашнюю челядь въ недоумѣніе. У многихъ зашевелилась мысль подслужиться по поводу этой исторіи барынѣ и поустроить посредствомъ этой подслуги свое собственное счастье. Любимый поваръ Маѳы Андревны первый сдѣлалъ на этотъ предметъ первую пробу. Въ одинъ вечеръ, получивши приказаніе насчетъ завтрашняго стола, онъ прямо осмѣлился просить у Плодомасовой позволенія жениться на этой дѣвушкѣ.

Онъ ждалъ за нею приданаго и милостей.

Маѳа Андревна только завязала ему дурака и отпустила.

Попробовалъ этого же счастья просить у нея другой— смѣлый человѣкъ, садовникъ, а за нимъ третій — портной; но къ этимъ Маѳа Андревна уже не была такъ снисходительна, какъ къ повару, а прямо сказала имъ:

— Я эти ваши холопскія хитрости вижу и понимаю, чѣмъ вамъ сладка эта дѣвка! А впередъ подобныхъ рѣчей чтобъ я ни отъ кого не слыхала.

Маѳа Андревна безотступно берегла дѣвушку, и когда той доходилъ седьмой мѣсяцъ, Плодомасова сама собственными руками начала кроить свивальники, распашеночки и шапочки. Онѣ все это шили вдвоемъ у одного и того же окна, обыкновенно молча, и объ думая объ Алексѣѣ Никитичѣ. Разговоровъ у нихъ почти никакихъ не было; и Маѳѣ Андревнѣ это было не трудно, потому что она въ тридцать лѣтъ одинокой или почти что одинокой жизни привыкла къ думѣ и молчанью.

— Прибери!—говорила только Маѳа Андревна своей собесѣдницѣ, подавая ей дошитую дѣтскую шапочку или свивальникъ.

Дѣвушка брала вещь, цѣловала съ теплѣйшей благодарностью барынину руку, и онѣ объ опять начинали молча работать.

Наконецъ дѣтскаго приданаго наготовлено было очень много: больше уже нечего было и готовить.

Марѳа Андревна обратилась къ другимъ гораздо болѣе важнымъ заботамъ объ участи ожидаемаго ребенка.

Плодомасова позвала къ себѣ отца Алексѣя и велѣла ему писать подъ свою диктовку: «Во имя Отца и Сына и св. Духа».

— Это что будетъ, государыня Марѳа Андревна?—спросилъ отецъ Алексѣй.

— А моя духовная, — отвѣчала боярыня и продолжала излагать свою волю, что всю свою законную часть изъ мужниного имѣнія, равно какъ и имѣніе отъ ея родителей, ею унаслѣдованное, она, въ наказаніе сыну своему Алексѣю, не думавшему объ участи его незаконнаго младенца, завѣщаваетъ ребенку, который такого-то года, мѣсяца и числа долженъ родиться отъ ея крѣпостной сѣнной дѣвушки такой-то. А помимо сего награжденія, отъ нея тому младенцу по праву ея даримаго, она клятвою сына своего обязываетъ отдать тому младенцу третію часть и изъ его собственной доли, ибо симъ грѣхъ его безпечности о семъ младенцѣ хотя частію искупленъ быть можетъ. Марѳа Андревна подписала свою волю; отецъ Алексѣй ее засвидѣтельствовалъ и унесъ въ алтарь своей церкви.

Одновременно съ этимъ Силуянъ, дворецкій Марѳы Андревны, былъ посланъ добывать ожидаемому новорожденному неизвѣстнаго пола дворянское имя и вернулся съ доброю вѣстью.—Имя было припасено.

Боярыня Плодомасова была успокоена, и внуку ея оставалось только родиться на судьбу, уже навороженную его бабушкой.

Но въ это время съ Марѳой Андревной случилось неожиданное и ужасное происшествіе: ее постигло роковое испытаніе всѣмъ ея силамъ и крѣпостямъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Домашній воръ.

Марѳа Андревна, живучи одна въ своемъ огромномъ домѣ, постоянно держалась болѣе однѣхъ антресолей. Тамъ у нея были комнаты низенькія, уютныя, съ большими образниками, съ теплыми, широкими лежанками изъ пестрыхъ саксонскихъ кафель, съ гуслями изъ корельской березы и съ рядомъ большихъ длинныхъ сундуковъ, тяжело окованныхъ желѣзомъ и мѣдью. Здѣсь была постоянная спальня

Маѳы Андревны и ея образная, а съ осени боярыня почти совсѣмъ закупоривалась на цѣлую зиму на антресоли, и вышка эта дѣлалась исключительнымъ ея мѣстопребываніемъ во всѣ дни и ночи. Старухѣ и на антресоляхъ было не тѣсно, — и вправду, здѣсь было столько помѣщенія, что свободно размѣщались всѣ подручные покоики: и спальный, и образной, и столовый, и пріемный залецъ съ фортункой, на которой боярыня игрывала съ отцомъ Алексѣемъ, и гардеробная, и пялечная, — словомъ, все, что нужно для помѣщенія одинокой старухи, и здѣсь Маѳѣ Андревнѣ было пріятнѣе и веселѣе, чѣмъ въ пустыхъ большихъ покояхъ.

— Волковня это у меня, а не домъ, — говаривала, бывало, Маѳа Андревна, проходя иногда съ кѣмъ-нибудь по своимъ большимъ нижнимъ покоямъ:—ишь, куда ни глянешь, хоть волковъ пугай, пусто.

Большіе покои тяготили Маѳу Андревну своей пустотой, и она сходила въ нихъ рѣдко, только при гостяхъ, которые тоже посѣщали ее очень рѣдко, или въ другихъ какихъ-нибудь экстренныхъ случаяхъ, встрѣчавшихся еще рѣже. Большіе покои нижняго этажа цѣлые зимніе дни спали, но зато оживлялись съ большою энергіею ночью. Это было оживленіе совершенно особенное, напоминавшее слегка то, что бываетъ будто на Лысой горѣ на шабашѣ.

Внизу зимой жили только сѣнныя дѣвушки, да орава лакеевъ. Дѣвушки сидѣли здѣсь на звонкихъ донцахъ за прялками по своимъ дѣвичьимъ, а лакеи — въ большой и въ малой переднихъ, одни за картами, а другіе, кто потрудолюбивѣе и подомовитѣе, за вязаньемъ чулокъ и перчатокъ. Гостиныя же, залы, столовыя и наугольные покои были, какъ сказано, постоянно пусты во весь день до вечера и навѣщались только набродными номадами по ночамъ. Когда на плодомасовскія небеса спускалась ночь и въ боярскомъ домѣ меркли послѣдніе огни, между лакейскими и дѣвичьими начиналось таинственное сообщеніе. Съ той и съ другой стороны ночные бродяги и бродяжки, какъ мураши-сластены, расползались по всѣмъ покоямъ барскаго дома; здѣсь они встрѣчались и справляли свой шабашъ на пушистыхъ коврахъ и диванахъ.

Шумъ, поднимаемый въ нижнихъ большихъ покояхъ плодомасовскаго дома, бывалъ иногда столь неосторожень, что будилъ самоё, спящую на антресоляхъ Маѳу Андревну;

но какъ подобный шумъ былъ для Марѳы Андревны не новость, то она хотя и сердилась за него понемножку на своихъ челядинцевъ, но никогда этимъ шумомъ не тревожилась и не придавала ему никакого особаго значенія.

Развѣ когда уже очень всѣмъ этимъ Марѳу Андревну допекали, и ей не спалось, то она рѣшалась принимать какія-нибудь мѣры противъ этого безчинства, но и то скорѣе для потѣхи, чѣмъ для строгости. Боярыня вставала, сходила тихонько внизъ и обходила съ палочкой домъ. Тогда, зачуявъ издали ея приближеніе, одни притаивались по угламъ, другіе, не помня себя, опромстью летѣли во всѣ стороны, какъ куропатки.

Въ бо́льшую часть подобныхъ своихъ ночныхъ обходовъ Марѳа Андревна возвращалась къ себѣ безъ всякаго успѣха, только, бывало, распугаетъ развѣ свою праздную челядь. Но иногда случалось иное. Случалось, что Марѳѣ Андревнѣ попадалась за рукавъ какая-нибудь дѣвушка, и Марѳа Андревна вела эту ночную бродяжку къ себѣ за ухо, ставила ее передъ образникомъ на колѣни на мѣшочекъ, насыпанный гречею, и, усѣвшись сама на сундучокъ, заставляла грѣшницу класть земные поклоны, опредѣляя число ихъ сотнями, а иногда даже тысячей. Этимъ, впрочемъ, все наказаніе и кончалось. Марѳа Андревна терпѣть не могла, если дѣвушка была съ прибылью или просилась замужъ, но такъ-называемое «гулянье» считала необходимымъ зломъ, которое и преслѣдовала только болѣе для порядка. Таковъ былъ духъ времени.

Съ сына она взыскала строго за оскорбленіе ея дома, за то, что онъ посягнулъ на дѣвушку, которая ходила за самою ею, Марѳой Андревной, а болѣе же всего за то, что онъ ея сынъ, который, по ея понятіямъ, долженъ былъ быть не тѣмъ, чѣмъ могли быть рабы.

По отношенію къ рабамъ Марѳа Андревна была далеко снисходительнѣе. Она и въ обходы-то свои пускалась, какъ сказано, только во время безсонницъ, и то словно для развлеченія, какъ на охоту. А то Марѳа Андревна, сколь бы ей ни докучали, едва замѣчала ключницѣ: ты бы, мать моя, ночью-то хоть иной разъ посматривала за крысами.

— За какими, матушка, крысами?—освѣдомлялась ключница.

— Да вонъ за рукастыми, да ногастыми, что по перед-

пимъ спятъ. Скажи имъ, что ужъ я когда-нибудь къ нимъ сойду, такъ плохо имъ будетъ.

Ключница сказывала, и крысы какъ будто унимались, но ненадолго, и черезъ нѣкоторое время опять начиналось то же шныряньe.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Незваные гости.

Домъ боярыни Марѳы Андревны, хотя былъ населенъ очень людно, но въ нравахъ этого населенія подъ старость лѣтъ боярыни начинала господствовать большая распущенность. Домъ въ ночное время содержался неопасливо, и хотя время тогдашнее было не безпечное, но въ домѣ Плодомасовой почти никакой осторожности противъ внѣшнихъ напастей не наблюдалось. Здѣсь всѣ вмѣстѣ, какъ и каждый порознь, были увѣрены, что ихъ очень много и что они «шапками всѣхъ закидаютъ», а эта политика шапокъ, хотя и бойка, но, какъ извѣстно, не всегда хорошо себя оправдываетъ. Такъ это и случилось въ плодомасовскомъ домѣ, который слылъ богатымъ и который, по тогдашнимъ смутнымъ временамъ, можетъ-быть, слѣдовало оберегать гораздо потщательнѣй, чѣмъ онъ оберегался. Народъ бредилъ пугачевщиной; вездѣ шатались шайки мужиковъ и холоповъ, взманенныхъ популярными успѣхами Пугачева; они искали добычи, а плодомасовскій домъ обѣщалъ этой добычи цѣлыя горы.

Въ ноябрѣ, въ самую ненастную дождливую темень, въ самую глухую полночь Марѳѣ Андревнѣ показалось, что у нея внизу дома происходитъ цѣлая свалка. Шумъ, порою достигавшій оттуда до ея слуха, былъ такъ смѣлъ и дерзокъ, что боярыня уже хотѣла встать и сойти, или послать внизъ спавшую въ смежномъ съ нею покоѣ фаворитку Алексѣя Никитича; но самой Марѳѣ Андревнѣ нездоровилось, а будить непорожнюю женщину и гонять ее по лѣстницѣ боярыня пожалѣла. Въ этихъ соображеніяхъ Марѳа Андревна рѣшилась оставить разборъ дѣла до завтра: обернула голову теплымъ одѣяломъ и уснула.

Но вотъ слышится Марѳѣ Андревнѣ, будто кто-то трогаетъ дверь на лѣстницу внизу. Крѣпкая дверь хорошо заперта и не отворится, а Марѳѣ Андревнѣ опять спится и снова ей слышно, что по комнатамъ будто кто-то ходитъ.

Полежала Марѳа Андревна еще съ минуточку, и вдругъ ей кажется, что вокругъ нея будто вѣтеръ вѣетъ, а кромѣ вѣтра, по ея покоямъ ходятъ и живые люди. Марѳа Андревна совсѣмъ проснулась и покричала дѣвушку, но отвѣта не было. Тогда она, удивленная, встала сама, надѣла босовички и вышла. И что же Марѳа Андревна увидала? она увидала, что прямо противъ нея, въ другой комнатѣ, на сундукѣ лежитъ дѣвушка, та самая, которою грѣшенъ былъ Алексѣй Никитичъ, и лежитъ она очень странно и неестественно— лежитъ вся навзничь, руки подъ спиною, а на рту платокъ.

Какъ ни смѣла и подчасъ ни находчива была Марѳа Андревна, но здѣсь она ничего не могла вдругъ сообразить и придумать. А между тѣмъ для удивленія Марѳы Андревны, кромѣ горящей свѣчи и связанной дѣвушки, приготовлены были и нѣкоторыя другія новины: какъ разъ противъ вторыхъ дверей Плодомасова увидала молодецъ къ молодцу человѣкъ двадцать незнакомыхъ людей: рожа рожи страшнѣе, ножи за поясами, въ рукахъ у кого ломъ, у кого топоръ, у кого ружья, да свѣчи.

«Что это такое? видѣніе, что ли?» — подумала Марѳа Андревна; но врывавшійся въ окно вѣтеръ съ дождемъ и еще двѣ рожи, глядѣвшія въ выбитое окно изъ черныхъ вѣтвей растущей подъ самыми окнами липы, пронесли мигомъ послѣдніе просонки боярыни.

— Это, пожалуй, и Пугачъ!—рѣшила она и, торопливо накинувъ на плечи шушунъ, вышла и стала на порогѣ двери.

Домъ Плодомасовой посѣтилъ небольшой отдѣлъ разбойничьей шайки. Шайка эта, зная, что въ домѣ Плодомасовой множество прислуги, между которой есть не мало людей очень преданныхъ своей госпожѣ, не рисковала напасть на домъ открытою силой, а дѣйствовала воровски. Разбойники прошли низомъ дома, кого заперли, кого перевязали и, не имѣя возможности проникнуть наверхъ къ боярынѣ безъ большого шума черезъ лѣстницу, проникли къ ней въ окно, къ которому какъ нельзя болѣе было удобно подниматься по стоящей здѣсь старой черной липѣ.

Марѳа Андревна недолго стояла въ своемъ наблюдательномъ созерцаніи: разбойники ее замѣтили и сейчасъ же, однимъ ударомъ приклада, сшибли ее съ ногъ, бросили на полъ и тоже завязали ей ротъ. При ея глазахъ, взламы-

вали ея сундуки, забирали ея добро, вязали все это въ узлы и выкидывали за окно прямо на землю или передавали на веревкахъ темнымъ страшнымъ людямъ, которые, какъ вороны, сидѣли въ вѣтвяхъ черной липы и утаскивали все, что имъ подавали.

Вѣтеръ вылъ и заносилъ въ комнату брызги мелкаго осенняго дождя; свѣчи у разбойниковъ то вспыхивали широкимъ краснымъ пламенемъ, то гасли, и тогда снова поднимались хлопоты, чтобы зажечь ихъ. Марѳа Андревна лежала связанная на полу и молча смотрѣла на все это безчинство. Она понимала, что разбойники пробрались на ея антресоль очень хитро и что путь этотъ непремѣнно былъ указанъ имъ кѣмъ-нибудь изъ своихъ людей, знавшихъ всѣ обычаи дома, знавшихъ все его размѣщеніе, всѣ его ходы и выходы.

Лежа на полу, Плодомасова старалась сквозь мелькавшія у ея лица грязныя сапожищи разбойниковъ разглядывать разбойничьи лица и, наконецъ, въ одномъ изъ нихъ узнала своего слугу Ваньку Жорнова.

Марѳа Андревна ясно припомнила, что она очень недавно видѣла это лицо въ своихъ покояхъ, и удивилась, увидавъ его теперь чуть не атаманомъ этого отдѣла разбойничьей шайки.

Въ печальномъ положеніи Марѳы Андревны не представлялось никакой возможности уйти внизъ, гдѣ она еще могла ожидать хоть какую-нибудь помощь; да и то, думала она, Богъ знаетъ, помощь эта станетъ ли на ея сторону, или на сторону Ваньки Жорнова.

Въ тѣ времена ни на какое старое добро, ни на какую защиту отъ свой челяди помѣщики не надѣялись.

Марѳа Андревна, пожалуй, болѣе, чѣмъ многіе другіе, могла положиться на любовь своихъ челядинцевъ, съ которыми она всегда была справедлива и милостива, но тогда и правда и милость не цѣнились и не помнились. «Добрую барыню» въ самарскомъ уѣздѣ мужики и плачучи повѣсили на ракиту. Да Марѳѣ Андревнѣ это было почти все равно: на ея ли сторону стала бы ея челядь, или на сторону разбойниковъ и предводившаго ими Ваньки Жорнова,—все равно: ей внизъ съ своихъ антресолей теперь не добраться.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пытка.

Марѳа Андревна, не видя ни малѣйшей надежды къ спасенію, отвернулась отъ картины разбоя и стала приготовляться къ смерти. Сундуки и укладки ея были опорожнены и все, что̀ въ нихъ вмѣщалось, повышвырено за окно. Въ покояхъ оставалось уже очень немного, надъ чѣмъ бы стоило еще поработать. Послѣднее вниманіе разбойниковъ пало на одинъ желѣзный сундукъ, привернутый черезъ мѣдныя шайбы винтами къ полу и запертый изнутри хитрою стальною пружиною. Ни одинъ ломъ, ни одинъ топоръ не бралъ этого заманчиваго сундука. По той тщательности, съ которою сундукъ этотъ былъ укрѣпленъ и запертъ, разбойники не сомнѣвались, что въ немъ-то и должны заключаться всѣ наицѣннѣйшія богатства домовитой боярыни. А сундукъ этотъ только-что былъ Марѳой Андревной перебранъ прошедшимъ вечеромъ, и въ немъ не было ничего, кромѣ дѣтскаго бѣлья, припасеннаго ею ожидаемому новорожденному.

Со рта Марѳы Андревны сорвали платокъ и потребовали, чтобы она указала гдѣ ключъ.

Марѳа Андревна встрепенулась. Она обернулась и сказала:

— Какъ же ты смѣешь думать, холопъ, что я дамъ тебѣ ключъ?

— Не дашь?

— Ну, разумѣется, не дамъ,—отвѣчала заносчиво и рѣзко Марѳа Андревна.

Разбойникъ, не разсуждая долго, ударилъ старуху сапогомъ въ лицо.

— Подай ключъ! — приставали къ ней со всѣхъ сторонъ.

— Не дамъ я ключа,—отвѣчала Марѳа Андревна, отплевывая бѣгущую изъ рта кровь.

Что̀ съ ней ни дѣлали, били ее, вывертывали ей пальцы и локти, таскали ее по полу за волосы! «не дамъ», отвѣчала желѣзная старуха.

— Я сказала, не дамъ, и не дамъ!

— Такъ на лучину ее, вѣдьму! сама заговоритъ, гдѣ ключъ спрятанъ,— скомандовалъ Ванька Жорновъ.

Съ Марѳы Андревны стащили ея золотомъ шитые босовички, согнули ей колѣни и подъ икры подсунули пукъ пылающей лучины.

— Не дамъ я ключа вамъ, холопамъ,—проскрипѣла сквозь зубы Плодомасова.

— А ты, боярыня, не крѣпись изнапрасна, мы вѣдь все допытаемся, заговоришь,—приставалъ, коптя ея ноги, Жорновъ.

— Врешь, подлый холопъ: не заговорю.

— Заговоришь.

Но Марѳа Андревна собрала силы, плюнула Жорнову въ самое лицо и опять назвала его «холопомъ».

— Холопъ! Нѣтъ, я твой господинъ теперь, а ты моя холопка.

— Подлый смердъ!—крикнула въ азартѣ, забывъ на минуту самую боль свою, истязуемая и снова плюнула прямо въ глаза своему палачу.

Ее били и истязали несказанно; она не ожидала помощи ни откуда: видѣла сочувствіе въ глазахъ одной своей задыхавшейся дѣвушки, но и не думала уступить холопамъ.

Разбойники становились втупикъ: ломать половицы, къ которымъ привинченъ сундукъ,—ихъ не выломишь изъ-подъ взакрой положеннаго вѣнца. Зажечь домъ—нѣтъ прибыли, да и освѣтишь слѣдъ ходящимъ по всей окружности войскамъ; сложить ее, старуху, всю на лучину, спалить ей прежде спину, потомъ грудь и животъ,—страшно, что помретъ, а не скажетъ.

Марѳѣ Андревнѣ было радостно, что эти звѣри не знали, что̀ съ ней сдѣлать?

— А что у тебя тутъ въ сундукѣ?—спросилъ ее Жорновъ.

— Тутъ мое золото, да серебро, да окатный жемчугъ.

У разбойниковъ даже и въ сердцѣ похолонуло, и въ ушахъ зазвенѣло.

Даже честью стали просить Марѳу Андревну.

— Матушка, старушенька, не губи себя, мы твоей крови не жаждоваемъ: дай ключъ отъ укладки съ бурмистскимъ зерномъ.

— Не дамъ,—отвѣчала Марѳа Андревна.

— Такъ мы же у тебя выпытаемъ!

— Ничего не выпытаешь, холопъ.

Но у насъ, ни въ чемъ не знавшихъ ни мѣры, ни удержу, люди на злѣ, какъ и на добрѣ, не останавливаются.

У Емельяна Петровича были пытальщики дошлые,—знали, какъ какого человѣка какимъ зломъ донимать; а преданія Емельяновы были живы въ народѣ и не безвѣдомы и Ванькѣ Жорнову.

Марѳѣ Андревнѣ погрозили непереноснымъ срамомъ, что раздѣнутъ ее сейчасъ до-нага, осмолятъ ей голову дегтянымъ ведромъ и обсыпятъ пуховой подушкой, да, привязавъ на шелудиваго коня, о разсвѣтѣ въ село на базаръ выгонятъ.

Услыхавъ этотъ ужасный приказъ Ваньки Жорнова, Марѳа Андревна вздрогнула, и холодный потъ выступилъ у нея даже по закоптѣлымъ опалинамъ.

— Неужто же надо покориться холопамъ, или посрамить передъ нечистымъ взоромъ непорочную наготу свою.

Марѳа Андревна, однако, сообразила, что уже теперь ей не помогла бы и покорность, что разбойники, найдя въ сундукѣ однѣ дѣтскія тряпки, пришли бы еще въ бо́льшую ярость и все равно не простили бы ей ея упорства. Они отмстили бы ей именно тѣмъ мщеніемъ, къ которому она обнаружила страхъ и боясь котораго отдала бы имъ ключъ.

Безчестье ея казалось неотклонимымъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Помощь нежданная и для многихъ, можетъ-быть, невѣроятная.

— Николай угодникъ! защити меня, твою вдову грѣшную,—взвыла голосомъ страшнаго отчаянія Марѳа Андревна, устремивъ глаза къ висѣвшему въ углу большому образу, передъ которымъ меркла задуваемая вѣтромъ лампада, и упованію Марѳы Андревны на защиту отселѣ не было мѣры и предѣловъ. Вѣра ея въ защиту, дѣйствительно, могла двигать горами.

— Что́ у тебя въ сундукѣ? — впослѣднее приступили къ ней разбойники, мѣшая ей творить ея молитвы.

— Сокровища,— отвѣчала боярыня, прервавъ на минуту свой молитвенный шопотъ, и опять замолила.

— Подай ключъ!

— Не дамъ, — попрежнему смѣло и твердо сказала боя-

рыня, и снова зоветъ чудотворца, зоветъ его смѣло, громко и уповательно, словно требуетъ.

— Спѣши...—кричитъ,—спѣши скорѣе, не постыди моихъ упованій!

Разбойникамъ даже становится страшно отъ этого крика: зычно кричитъ Марѳа Андревна; страшно ей и ротъ закрыть, страшно, что и на небѣ ее услышатъ.

— Полно! — скомандовалъ Иванъ Жорновъ: — перестань, ребята, слушать: пори подушку и подавай ведро.

— Не посрами меня, скорый помощникъ! Явись сюда— я вѣрую и погибаю!—страшно громко вскрикнула несчастная старуха и... вышло какъ-то такъ и дивно, и страшно, что скорый помощникъ словно дыханіемъ бури явился къ ней на помощь.

Свистя, грохоча и вѳя, дунулъ въ распахнутое окно вѣтеръ, съ силой дотолѣ неслыханной, и вздрогнули старыя стѣны и съ угла сорвалась огромная въ тяжеломъ окладѣ икона святого Николая, которой молилась Плодомасова; загремѣли отъ ея паденія всѣ стекла въ окнахъ и кіотахъ; зажженныя свѣчи сразу погасли и выпали изъ разбойничьихъ рукъ, и затѣмъ ужъ что̀ кому видѣлось, то тому одному и было извѣстно.

Обезсиленная истязаніями Марѳа Андревна видѣла только, что разбойники всѣ, какъ одинъ человѣкъ, бросились къ выбитому ими окну, и какъ демоны, архангельской силой низвергнутые, стремглавъ со стонами и визгомъ полетѣли внизъ изъ антресолей. Затѣмъ истерзанная и обожженная старуха, лежа, связанная, на полу въ комнатѣ, въ которой свисталъ и бушевалъ предразсвѣтный вѣтеръ, впала въ долгій и тяжелый обморокъ, въ которомъ всѣ событія катастрофы для нея сгладились и исчезли. Связанная дѣвушка, оставшаяся безмолвною свидѣтельницей всей этой исторіи, видѣла только, что когда въ комнату хлынулъ сильный вѣтеръ, икона сорвалась со стѣны, выпала изъ образника, разбила стекло и горящую лампаду и затѣмъ, качнувшись съ угла на уголъ, стала нижнимъ ребромъ на подугольномъ столикѣ.

Но разбойники видѣли совсѣмъ другое.

Пойманные на другой день войсками въ лѣсу, они возвратили все заграбленное ими у Плодомасовой добро и по-

казали, что въ плодомасовскомъ домѣ ихъ страшно покаралъ за ихъ вину Николай угодникъ.

Они увѣряли, что какъ только старая Плодомасиха крикнула святителю: «поспѣшай!»—то изъ-за иконы мгновенно сверкнули молоньи, и икона эта вышла изъ своего мѣста и пошла на нихъ по воздуху, попаляя ихъ и ослѣпляя сіяніемъ, котораго имъ перенесть было невозможно.

Марѣ Андревнѣ возвратили ея добро; а природа возвратила ей ея здоровье; не возвратилось только здоровье къ подругѣ ея несчастія.

Но для того, чтобы не нарушать послѣдовательности нашего разсказа, возвратимся къ темной ночи разбойничьяго нападенія на домъ Плодомасовой и войдемъ въ обезображенные холодные покои антресолей, гдѣ Марѳа Андревна и свидѣтельница ея страданій остаются связанными и безчувственными.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Сынъ, стоившій своей матери жизни.

Несчастная дѣвушка, раздѣлявшая съ Марѳой Андревной всѣ ужасы прошедшей ночи, поплатилась за это жизнью. Несмотря на то, что она только лежала связанною и не подвергалась отъ разбойниковъ никакимъ другимъ истязаніямъ, она не выдержала и къ утру начала терзаться многотрудными, несчастными, преждевременными родами, которые перенесть ей было тѣмъ тяжче, что она лежала скрученная по всѣмъ суставамъ, и едва высвободила изъ-подъ тугой повязки ротъ, чтобы облегчать свои страданія стономъ.

Эти вопли и стоны вывели Марѳу Андревну изъ обморока, и это было къ счастію обѣихъ—иначе обѣ несчастныя женщины провалялись бы здѣсь Богъ вѣсть до какого времени. Въ пустынный садъ теперь забрести было некому, и нельзя было ожидать, чтобы кто-нибудь замѣтилъ выбитое на антресоляхъ окно; а покоевые слуги и сѣнныя дѣвушки, вѣроятно, тоже или побиты, или заперты, или связаны, или же, если ихъ эта бѣда и обминула, то тогда они не знаютъ ничего и никто изъ нихъ не посмѣетъ взойти наверхъ, пока ихъ боярыня не сошлетъ внизъ свою покоевку и кого-нибудь къ себѣ не потребуетъ.

Марѳа Андревна все это сообразила и увидѣла совер-

шенную невозможность ожидать никакой сторонней помощи ни для себя, ни для другой мученицы, которая теперь еще болѣе ея нуждалась во всякомъ пособіи. Изувѣченная боярыня рѣшила сама себѣ помогать: она прежде всего приподняла съ полу свои руки и хотѣла на нихъ опереться, но вывернутыя въ суставахъ руки ей не повиновались. Старушка прислонилась къ полу ногами, но обожженныя подошвы ея ногъ тоже сказали ей, чтобы она на нихъ не надѣялась. Ноги Плодомасовой отъ самыхъ икръ до пальцевъ были, какъ сплошнымъ янтаремъ, унизаны безконечными ожогами, изъ которыхъ многіе уже начинали лопаться и открывали зіяющія раны.

Въ распоряженіи Марѳы Андревны оставались одни колѣни, на нихъ еще можно было кое-какъ опереться. Марѳа Андревна приподнялась съ неимовѣрнѣйшими страданіями и поползла къ роженицѣ на колѣняхъ. Ползучи, она несла передъ собою свои вывихнутыя и въ настоящее время ни къ чему непригодныя руки.

Доползши до роженицы, Плодомасова увидала только одну совершенную невозможность освободить мученицу отъ связывающихъ ее прочно узъ и, сказавъ ей: «терпи, другъ! терпи, другъ!»—сама такимъ же точно образомъ на колѣняхъ заколтыхала снова черезъ всѣ антресоли къ лѣстницѣ, сползла на груди внизъ по ступенямъ и, наконецъ, достигла запертыхъ нижнихъ дверей и застучала въ нихъ головою.

Долго Марѳѣ Андревнѣ приходилось стучать; но, наконецъ, внизу дома послышалась тревога: очередные истопники, заставъ домъ запертымъ, смекнули, что что-то неладно, выломали двери, отперли однихъ, развязали другихъ, и поднялся говоръ и суета.

Марѳа Андревна, стоя на колѣняхъ внизу лѣстницы, все-таки продолжала стучать головою въ дверь и была, наконецъ, услышана.

Двери, раздѣлявшія ее съ ея слугами, были выломаны, и Марѳа Андревна поднята на руки своихъ вѣрныхъ рабовъ и рабынь.

Она послала наверхъ женщинъ и повитуху, а себѣ потребовала теплую баню и костоправку.

Истопили баню, набили въ большое липовое корыто мыльнистой пѣны, вложили въ него Марѳу Андревну и начали

ее расправлять, да вытягивать. Кости становились на мѣста, а о мясѣ Марѳа Андревна не заботилась. Вѣруя, что живая кость обрастетъ мясомъ, она хлопотала только поскорѣй выправиться и терпѣливо сносила безъ малѣйшаго стона несносную боль отъ вытягиваній и отъ ожоговъ, лопавшихся въ мыльнистой щелочи.

Между тѣмъ какъ костоправка вытягивала и ломала въ банѣ Марѳу Андревну, сѣнная дѣвушка, раздѣлявшая съ боярыней ужасы этой ночи, родила еле дававшаго признаки жизни семимѣсячнаго мальчика. Дитя было безъ ногтей, безъ вѣкъ и безъ всякаго голоса. Никакимъ образомъ нельзя было сомнѣваться, что дитя это жить не можетъ. Въ этомъ никто и не сомнѣвался, а о матери его нечего было и разговаривать: она только и дожила, пока взнесли на коврахъ на антресоли Марѳу Андревну; поцѣловавъ похолодѣвшими устами боярынину руку, крѣпостная красавица скончалась, не сказавъ никому ни одного слова. Марѳа Андревна тотчасъ же снова распорядилась: она велѣла подать себѣ изъ кладовой кругъ восковыхъ свѣчей, отсчитала по свѣчкѣ на каждую семью своихъ подданныхъ и послала разложить эти свѣчки на окна избъ и дворовыхъ клѣтей. Какъ только вечерній сумракъ спустился на село Плодомасово, всѣ его подслѣповатыя окна озарились краснымъ пламенемъ тысячи свѣчекъ, и тысяча душъ сразу послали небу молитву по усопшей.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Плодомасова доканчиваетъ дѣло природы и начинаетъ иныя дѣйствованія.

Марѳа Андревна велѣла показать себѣ недоношеннаго внука, взглянула на него, покачала сомнительно головой и потребовала себѣ изъ своей большой кладовой давно не употребляющуюся кармазинную бархатную шубку на заячьемъ мѣху. Ребенка смазали теплымъ лампаднымъ масломъ и всунули въ нагрѣтый рукавъ этой шубки, а самую шубу положили въ уголъ теплой лежанки, у которой стояла кровать Марѳы Андревны. Здѣсь младенецъ долженъ былъ дозрѣть.

Марѳа Андревна согрѣвала такимъ образомъ внука въ теченіе полутора мѣсяца, а въ теченіе этого срока внучекъ научился подавать слабый голосокъ, и сталъ ему тѣсенъ

рукавъ бабушкиной шубы, замѣнявшей ему покинутыя имъ до срока ложесна матери.

Въ теченіе этого же срока поправилась и Марѳа Андревна и написала въ Петербургъ сыну слѣдующее посланіе: «Извѣщаю тебя, милый другъ мой, Аліошинька, что я нынче щедротами Всевышняго Бога чувствую себя здоровой, но, по отпускѣ тебѣ прошедшаго письма, была у самаго гроба и прошла половину мытарствъ: была у меня въ домѣ бунтовщичья сволочь и грозили мнѣ всякими бѣдами, но Богъ и святой угодникъ ни до чего худого меня отъ нихъ не допустили. Пограбленіе ихъ мнѣ все назадъ возвращено, а здоровье мое опять, слава Богу; врагамъ же симъ, слышно, оскудѣло оружіе въ конецъ и самая память о нихъ вскорѣ погибнетъ съ шумомъ.—А еще увѣдомляю тебя, что извѣстная тебѣ дѣвушка моя, къ крайнему моему огорченію, скончалась. Она въ ту ночь отъ перепуга обронила дитя незрѣлое, но я сіе дитя со всякимъ стараніемъ сберегла и сохраняла его слишкомъ сорокъ дней въ рукавѣ моей заячьей шубки, и оно тамъ вызрѣло и, полагать надо, по волѣ Всевышняго памѣрено жить. Окрещенъ же сей младенецъ извѣстнымъ тебѣ отцомъ Алексѣемъ осторожно, не погруженіемъ, а политъ съ чайнаго блюдца и названъ Парменомъ, такъ какъ такое имя значилось въ метрикѣ, которую дворецкій Силуянъ досталъ мнѣ у бѣдныхъ дворянъ Тугановыхъ на ихъ сына, что почти вровень съ симъ всего за мѣсяцъ у нихъ родился и наскоряхъ затѣмъ умеръ. Мертвымъ помѣстили нашего, а сего сдѣлали живымъ. Дѣло сіе я устроила къ общему удовольствію какъ своему, такъ и дворянъ Тугановыхъ, коимъ сіе все равно, а я имъ подарила за то деревушку Глаголиху, съ восемьюдесятью мужиками».

Осенью слѣдовавшаго за симъ года Алексѣй Никитичъ получилъ отъ матери другое письмо самаго неожиданнаго содержанія: «По отпускѣ къ тебѣ послѣдняго письма моего,— писала Марѳа Андревна, — много все еще я заботилась и хлопотала, но живу, благодаря Создателя, весьма довольна и въ спокойствіи. Живая моя живуличка все такъ и просится на живое стуличко, и съ моихъ колѣнъ, когда не спитъ, мало и сходитъ. Божьимъ дитемъ симъ, не знаю тебѣ какъ и сказать, сколь я довольна и, чтобы веселѣй его тѣшить, купила у одной сосѣдней госпожи двухъ маленькихъ карловъ настоящей русской природы изъ крѣпостныхъ: оба

очень не велики и забавны; мужчинка называется Николай, а карлица—Марья. Карликъ умнѣе, а дѣвчужка изрядно съ придурью,—за пару триста рублей дала,—вырастетъ мальчикъ, будетъ съ кѣмъ играть. Я, другъ мой, полагаю такъ, что теперь намъ съ тобой опять бы время повидаться, но только лучше, думаю, мнѣ къ тебѣ съѣздить, чтобы отъ службы тебя не отрывать, да и отъ веселостей, о коихъ при дворѣ императрицы описываешь; а потому жди меня къ себѣ въ Питеръ по первопутку, ибо въ Москвѣ буду малое время, а хочу видѣть, что тамъ у васъ будетъ происходить передъ Рождествомъ, пробуду святки,—кстати привезу тебѣ показать и новокупленныхъ карликовъ».

Какъ только выпалъ снѣгъ и установился зимній первопутокъ, Марѳа Андревна, дѣйствительно, препожаловала въ Петербургъ и препожаловала съ немалою свитою.

Кромѣ лакеевъ, истопниковъ и сѣнныхъ дѣвушекъ и самоварницъ, за Марѳою Андревною въ петербургскую квартиру молодого Плодомасова вбирались два крошечные человѣчка: оба въ кашемировыхъ бухарскихъ бешметахъ,—не разобрать, не то мужчины это, не то женщины. Это были карлики Николай Аѳанасьичъ и Марья Аѳанасьевна, пріобрѣтенные Марѳой Андревной для забавы новорожденнаго внука, котораго сзади всего несла большая толстая мама.

— Это что же такое, матушка?—неосторожно освѣдомился Плодомасовъ, не замѣчая закрытаго маминой шубой ребенка.

— А это, другъ мой, здѣсь дворянинъ Парменъ Семенычъ Тугановъ.—Подай-ка его сюда, баба!

Мама вывернула изъ шубы цвѣтущаго розоваго младенца и подала его Марѳѣ Андревнѣ, которая тотчасъ же посадила его верхомъ на колѣни и, держа его за толстыя ручонки, стала его качать, напѣвая:

Тараданъ, тараданъ,
Сѣла баба на баранъ,
Поѣхала по горамъ:
Встрѣлись гости,
Разсыпались кости.
Стой, баба, не бѣги,
Подай мои пироги,
Съ лучкомъ, съ мачкомъ,
Съ козинымъ бобочкомъ.
Хопъ! пошелъ!

Плодомасова поцѣловала расхохотавшагося мальчишку

и, бросивъ его на руки стоявшаго передъ нею сына, тихо шепнула ему:

— Видишь... у бабки на лежанкѣ въ заячьемъ рукавѣ доспѣлъ!.. Понеси его къ образу да благослови.

Оставивъ ребенка на рукахъ отца, Марѳа Андревна кивнула людямъ и пошла въ дальнія комнаты переодѣваться.

Среди опустѣлаго покоя остались гвардеецъ Алексѣй Плодомасовъ и на его рукахъ дворянинъ Парменъ Тугановъ. Глядя другъ на друга, оба они, казалось, были удивлены, и оба молчали.

ОЧЕРКЪ ТРЕТІЙ.

ПЛОДОМАСОВСКІЕ КАРЛИКИ *).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ умнѣе и Марья Аѳанасьевна съ придурью.

У старогородскаго городничаго Порохонцева былъ именинный пирогъ, и по этому случаю были гости: два купца изъ богатыхъ, чиновники и изъ духовенства: среброкудрый протоіерей Савелій Туберозовъ, маленькій, кроткій паче всѣхъ человѣкъ отецъ Бенефисовъ и непомѣрный дьяконъ Ахилла. Всѣ, и хозяева, и гости, сидѣли, ѣли, пили и потомъ, отпавъ отъ стола, зажужжали. Въ залѣ стоялъ шумный говоръ и ходили густыя облака табачнаго дыма. Въ это время хозяинъ случайно глянулъ въ окно и, оборотясь къ женѣ, воскликнулъ:

— Оля! смотри, мой дружокъ, тебѣ Богъ посылаетъ еще какихъ-то новыхъ гостей!

Такое восклицаніе вызвало всеобщее любопытство: всѣ, кто былъ въ комнатѣ, встали съ мѣстъ, подошли къ окнамъ и остановились, вперя взоры вдаль, на крутой спускъ, по которому осторожно сползаетъ, словно трехглавый змѣй,

---

*) Здѣсь долженъ чувствоваться большой перерывъ въ Плодомасовской хроникѣ. Наступающій очеркъ предоставляетъ эпоху гораздо позднѣйшую, когда Плодомасова уже умерла. Глубокое старчество Марѳы Андревны передается лишь устами ея фаворитнаго карлика Николая Аѳанасьевича. Очеркъ этотъ *частію* вошелъ въ хронику «*Соборяне*».

могучая рослая тройка большихъ мѣдно-красныхъ коней. Коренникъ мнется и тычетъ ногами какъ старый генералъ, подходящій чтобы кого-то распечь: онъ то скуситъ губу налѣво, то скуситъ направо, то встряхнетъ головой, и опять тычетъ и тычетъ: пристяжныя вьются и сжимаются какъ спутанныя; малиновый колокольчикъ шлепнетъ колечкомъ въ край и снова прилипъ и молчитъ: бубенчики глухо рокочутъ, но безъ всякаго звона. Но вотъ этотъ трехглавый змѣй сползъ, показались хребты коней, махнулъ въ воздухѣ хвостъ пристяжной изъ-подъ вѣтра; тройка выровнялась и понеслась по мосту, мѣрно и въ тактъ ударяя подковами о звонкія доски. Показались золоченая дуга съ травленою распиской и большія, бронзой кованыя, троечныя дрожки гитарой. На дрожкахъ рядкомъ, какъ сидятъ на козеткахъ, сидѣли два маленькія существа: одно мужское и одно женское; мужчина былъ въ темно-зеленой камлотовой шинели и въ большомъ картузѣ изъ шляпнаго волокнистаго плюша, а женщина—въ масаковомъ гроденаплевомъ салопѣ съ большимъ бархатнымъ воротникомъ лиловаго цвѣта и въ чепчикѣ съ коричневыми лентами.

— Боже, да это плодомасовскіе карлики!

— Не можетъ быть!

— Смотрите сами!

— Точно, точно они!

— Да какъ же: вонъ Николай-то Аѳанасьичъ, глядите, увидалъ насъ и кланяется; а вонъ и Марья Аѳанасьевна киваетъ.

Такіе возгласы раздались со всѣхъ сторонъ при видѣ карликовъ, и всѣ словно не вѣсть чему обрадовались ихъ пріѣзду. Хозяева захлопотали, возобновляя для новыхъ гостей завтракъ, а прежніе гости внимательно смотрѣли на двери, въ которыя должны были показаться маленькіе люди. И они, наконецъ, показались. Впереди шелъ старичокъ, ростомъ съ небольшого осьмилѣтняго мальчика, за нимъ старушка немного побольше. Старичокъ былъ весь чистота и благообразіе: на лицѣ его не было ни желтыхъ пятенъ, ни морщинъ, обыкновенно портящихъ лица карликовъ; у него была очень пропорціональная фигурка, круглая, какъ шаръ, головка, покрытая совершенно бѣлыми, коротко остриженными волосами, и небольшіе коричневые медвѣжьи глазки. Карлица была лишена пріятности брата: она была одутловата, у нея былъ глуповатый, чувственный ротъ и тупые глаза.

На карликѣ, Николаѣ Аѳанасьевичѣ, несмотря на жаркое, лѣтнее время, были надѣты теплые плисовые сапожки, черные панталоны изъ лохматой байки, желтоватый фланелевый жилетъ и коричневый фракъ съ металлическими пуговицами. Бѣлье его было безукоризненной чистоты, и бѣлыя, безкровныя щечки его туго поддерживалъ высокій атласный галстукъ. Карлица была въ шелковомъ зеленомъ капотѣ и большомъ кружевномъ воротничкѣ городками.

Николай Аѳанасьевичъ, войдя въ комнату, вытянулъ свои ручки по швамъ, потомъ преподнесъ правую руку съ картузомъ къ сердцу, шаркнулъ ножкой объ ножку и, направясь въ развалецъ прямо къ именинницѣ, проговорилъ тихимъ и ровнымъ старческимъ голоскомъ:

— Господинъ нашъ Никита Алексѣевичъ Плодомасовъ и господинъ Парменъ Семенычъ Тугановъ отъ себя и отъ супруги своей изволили приказать намъ, ихъ слугамъ, принести вамъ, сударыня Ольга Арсентьевна, ихъ поздравленіе. Сестрица, повторите!—отнесся онъ къ стоявшей возлѣ него сестрѣ, и когда та кончила свое поздравленіе, Николай Аѳанасьевичъ шаркнулъ городничему и продолжалъ: — А васъ, сударь Воинъ Васильичъ, и всю честную компанію, съ дорогою именинницей. И затѣмъ, сударь, имѣю честь доложить, что, прославъ насъ съ сестрицей для принесенія вамъ ихъ поздравленія, и господинъ мой, и Парменъ Семеновичъ Тугановъ просятъ извиненія за наше холопье посольство, но сами теперь въ своихъ минутахъ не вольны и принесутъ вамъ въ томъ извиненіе сегодня вечеромъ.

— Парменъ Семенычъ будетъ здѣсь! — воскликнулъ городничій.

— Вмѣстѣ съ господиномъ моимъ Никитою Алексѣичемъ Плодомасовымъ, проѣздомъ въ Петербургъ; просятъ простить, что заѣдутъ къ вамъ въ дорожномъ положеніи.

Въ обществѣ началась суета, пользуясь которою карликъ подошелъ подъ благословеніе къ большому протопопу Туберозову и тихо проговорилъ:

— Парменъ Семенычъ просили васъ, отецъ протоіерей, побывать вечеромъ сюда.

— Скажи, голубчикъ, буду,—отвѣчалъ Туберозовъ.

Карликъ взялъ благословеніе у маленькаго, кроткаго паче всѣхъ человѣкъ отца Захаріи, потомъ протянулъ ручку Ахиллѣ и, улыбнувшись, проговорилъ:

— Только сдѣлайте милость, сударь, отецъ дьяконъ, силы не пробуйте.

— А что, Николай Аѳанасьичъ, развѣ онъ того... здоровъ?—пошутилъ съ карликомъ хозяинъ.

— Силку свою, сударь, все пробовать любятъ-съ,—отвѣчалъ старичокъ.—Есть надъ кѣмъ? надъ калѣчкой силиться!

— А что ваше здоровье, Николай Аѳанасьичъ, пытали карлика дамы, окружая его со всѣхъ сторонъ и пожимая его ручонки.

— Какое, милостивыя мои государыни, здоровье! Смѣхъ отвѣчать: точно поросенокъ сталъ: Петровки на дворѣ, а я все зябну.

— Зябнете!

— Да какъ же-съ: вотъ какъ кроликъ, весь въ мѣшокъ, весь въ заячій зашитъ. Да и чему дивиться, прекрасныя госпожи,—осьмой десятокъ лѣтъ уже совершилъ, ненужный человѣкъ.

Николая Аѳанасьевича наперебой засыпали вопросами о различныхъ предметахъ, усаживали, потчивали всѣмъ; онъ отвѣчалъ на всѣ вопросы умно и находчиво, но отказывался отъ всѣхъ угощеній, говоря, что давно уже ѣстъ мало и то однажды въ сутки.

— Вотъ сестрица, онѣ покушаютъ,—проговорилъ онъ и тотчасъ же, обратясь къ сестрѣ, добавилъ: — садитесь, сестрица, кушайте! Когда просятъ хозяева, чего церемониться? Вы, можетъ-быть, безъ меня не хотите, такъ позвольте мнѣ, сударыня Ольга Арсентьевна, морковной начиночки изъ пирожка на блюдце... Вотъ такъ, довольно-съ, довольно! Теперь, сестрица, кушайте, а съ меня довольно. Меня нынче, государи мои, и кормить-то ужъ не за что,—нитянаго чулка и того вязать не въ состояніи. Лучше гораздо сестрицы вязалъ когда-то, а нынче стану вязать, все петли спускаю.

— А бывало, Никола, ты славно вязалъ! — отозвался Туберозовъ, весь оживившійся и повеселѣвшій съ прибытіемъ карлика.

— Ахъ, отецъ Савелій, государь! Время, государь, время,— карликъ улыбнулся и договорилъ шутя: — строгости надо мной, государь, не стало; избаловался послѣ смерти моей благодѣтельницы. Что! хлѣбъ-соль готовые, кровъ теплый— поѣлъ казакъ да на бокъ, съ того казакъ и гладокъ.

Протопопъ Туберозовъ посмотрѣлъ въ глаза карлику съ счастливою улыбкой и сказалъ:

— Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую передъ собою вижу, съ которою умереть бы хотѣлось.

— А она, батушка (онъ говорилъ *у* вмѣсто *ю*), она, сказка-то, добрая, прежде насъ померла.

— А забываешь, Николушка, про госпожу-то свою? Про боярыню-то свою, Марѳу Андревну, забываешь? — проговорилъ, юля около карлика, дьяконъ Ахилла, котораго Николай Аѳанасьевичъ не то чтобы не любилъ, а какъ бы опасался и остерегался.

— Забывать, сударь, отецъ дьяконъ, старъ, самъ къ ней, къ утѣшительницѣ моей, служить на томъ свѣтѣ собираюсь, — отвѣчалъ карликъ очень тихо и неспѣшно, и съ легкимъ только полуоборотомъ въ сторону Ахиллы.

— Утѣшительная, говорятъ, была старуха, — отнесся безразлично ко всему собранію дьяконъ.

— Ты это въ какомъ же смыслѣ берешь ея утѣщительность?—спросилъ Туберозовъ.

— Забавная!

Протопопъ улыбнулся и махнулъ рукой, а Николай Аѳанасьевичъ поправилъ Ахиллу, твердо сказавъ ему:

— Утѣшительница, сударь, *утѣшительница*, а не забавница.

— Что ты ему безплодно внушаешь, Никола! ты лучше разскажи, какъ она тебя ожесточила-то, какъ откупъ-то сдѣлала,—посовѣтовалъ протопопъ.

— Что, отецъ протопопъ, старое это, сударь.

— Наитеплѣйше это у него выходитъ, когда онъ разсказываетъ, какъ онъ ожесточился,—обратился Туберозовъ къ присутствующимъ.

— А ужъ такъ, батушка, она, госпожа моя, умѣла человѣка и ожесточить, и утѣшить. И ожесточала, и утѣшала, какъ развѣ только одинъ ангелъ Господень можетъ утѣшить,—сейчасъ же отозвался карликъ. — Въ сокровенная души, бывало, человѣка проникнетъ, и утѣшитъ, а мановеніемъ своимъ вся благая для него и совершитъ.

— А ты въ самомъ дѣлѣ разскажи, какъ это ты ожесточенъ былъ.

— Да разскажи, Николаша, разскажи!

— Что жъ, милостивые государи, смѣетесь ли вы, или

не смѣетесь, а вправду интересуетесь объ этомъ слышать, но если вся компанія желаетъ, я ослушаться не смѣю, разскажу.

— Пожалуйста, Николай Аѳанасьичъ, разсказывай.

— Разскажу, — отвѣчалъ, улыбнувшись, карликъ: — разскажу, потому что повѣсть эта даже и пріятная.

Съ этими словами карликъ началъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ въ ожесточеніи.

— Это всего было черезъ годъ, какъ онѣ меня у прежнихъ господъ купили. Я прожилъ этотъ годокъ въ грусти, потому былъ отторгнутъ, знаете, отъ фамиліи. Разумѣется, виду этого, что грущу, не подавалъ, чтобы какъ помѣщицѣ въ томъ не донесли, или бы сами онѣ не замѣтили, но только все это было втуне, потому что покойница, по большому уму своему, все это провидѣли. Стали приближаться мои именины, она и изволитъ говорить:

— Какой же, говоритъ, — я тебѣ, Николай, подарокъ подарю?

— Матушка, говорю,—какой же мнѣ еще, глупцу, подарокъ? Я и такъ всѣмъ свыше главы моей доволенъ.

— Нѣтъ, изволятъ говорить, — я думаю хоть рублемъ одарить.

Что жъ, я отказываться, разумѣется, не посмѣлъ, поцѣловалъ ея ручку, говорю:—много, говорю, вашей милостью, взысканъ, и сѣлъ опять чулокъ вязать. Я еще тогда хорошо глазами видѣлъ, и что Марѳа Андревна, что я, заравно такіе самые нитяные чулки на господина моего Алексѣя Никитича въ гвардію вязалъ. Вяжу, сударь, такъ-то и въ этотъ часъ чулокъ, да и заплакалъ. Богъ знаетъ отчего заплакалъ, такъ, знаете, вспомнилось что-то про родныхъ, передъ днемъ ангела, и заплакалъ. А Марѳа Андревна видятъ это, потому что я напротивъ ихъ кресла на скамеечкѣ всегда вязалъ, и спрашиваютъ:

— Что жъ ты это, изволятъ говорить, — нынче, Николаша, плачешь?

— Такъ, отвѣчаю,—матушка, что-то слезы такъ... да и, знаете, что имъ доложить-то, отчего плачу, и не знаю.

Всталъ, ручку ихъ поцѣловалъ, да и опять сѣлъ на свою скамеечку.

— Не извольте, говорю, — сударыня, обращать взоровъ вашихъ на эту слабость,—это я такъ, сдуру, эти мои слезы пролилъ.

И опять сидимъ да работаемъ; и я чулокъ вяжу, и онѣ чулочекъ вязать изволятъ. Только вдругъ онѣ этакъ повязали и изволятъ спрашивать:

— А куда жъ ты, Николай, рубль тотъ дѣнешь, что я тебѣ завтра подарить хочу?

— Тятенькѣ, говорю, — сударыня, своему при вѣрной оказіи отправлю.

— А если, говорятъ,—я тебѣ два подарю?

— Другой, докладываю,—маменькѣ пошлю.

— А если три?

— Братцу, говорю,—Ивану Аѳанасьевичу.

Онѣ покачали головкой, да и изволятъ говорить:

— Много же какъ тебѣ, братецъ, денегъ-то надо, чтобы всѣхъ одѣлить! Это ты такой маленькій этого и вѣкъ не заслужишь.

— Господу, говорю,—было угодно такимъ создать меня,— да съ сими словами и опять заплакалъ; опять сердце, знаете, сжалось: и сержусь на свои слезы, и плачу.

Онѣ же, покойница, глядѣли-глядѣли на меня, и этакъ молчкомъ меня къ себѣ однимъ пальчикомъ и поманули: я упалъ имъ въ ноги, а онѣ положили мою голову въ колѣни, да и я плачу, и онѣ изволятъ плакать. Потомъ встали да и говорятъ:

— Ты не ропщешь, Николаша, на Бога?

— Никогда, говорю, — матушка, на Создателя своего не ропщу.

— Ну, Онъ, изволятъ говорить,—тебя за это и утѣшитъ.

Встали онѣ, знаете, съ этимъ словомъ, велѣли мнѣ приказать, чтобы къ нимъ послали бурмистра Дементія, въ ихъ нижній кабинетъ, и сами туда отправились.

— Не плачь, говорятъ,—Николаша:—тебя Господь утѣшитъ.

И точно утѣшилъ.

При этомъ Николай Аѳанасьевичъ заморгалъ частенько своими тонкими вѣками и вдругъ проворно соскочилъ со стула, отбѣжалъ въ уголокъ, взмахнулъ надъ глазами своими ручками, какъ крылышками, отеръ бѣлымъ платочкомъ слезы и возвратился со стыдливою улыбкой на прежъ-

нее мѣсто. Усѣвшись снова, онъ началъ другимъ, нѣсколько торжественнымъ голосомъ:

— Обновился майскій день моего ангела, девятаго числа мая; встаю я, судари мои, рано; вышелъ на цыпочкахъ, потихоньку умылся, потому что я у нихъ, у Маѳы Андревны, въ ножкахъ за ширмою, на коврѣ спалъ; одѣлся да и пошелъ въ церковь. Я имѣлъ то намѣреніе, чтобъ отстоять заутреню и обѣдню, а послѣ у отца Алексѣя, какъ должно моему ангелу, молебенъ отслужить.

— Вошелъ я, сударь, въ церковь и прошелъ прямо въ алтарь, чтобъ у отца Алексѣя благословеніе принять, и вижу, что покойникъ отецъ Алексѣй какъ-то необыкновенно какъ радостны въ выраженіи и меня шепотливо поздравляютъ «съ великою радостію». Я, поистинѣ вамъ доложу, все это отнесъ, разумѣется, къ праздничному дню и къ именинамъ моимъ. Но что-жъ тутъ, государи мои, воспослѣдовало! Выхожу я съ просфорою на лѣвый клиросъ, такъ какъ я съ покойнымъ дьячкомъ Ефимычемъ на лѣвомъ клиросѣ пѣлъ, и вдругъ мнѣ въ народѣ представились и матушка, и отецъ, и братецъ Иванъ Аѳанасьевичъ. Батушку-то съ матушкой я въ народѣ еще и не очень вижу, но братецъ Иванъ Аѳанасьевичъ, какъ онъ былъ... этакой гвардіонъ,—я его сейчасъ увидалъ. Думаю: это видѣніе, потому что очень ужъ я желалъ ихъ этотъ день видѣть, — но нѣтъ, не видѣнье! Вижу, маменька, — крестьянка онѣ были, — такъ и ударяются плачутъ. Думаю, вѣрно, у своихъ господъ онѣ отпросились и издалека пришли съ своимъ дитей повидаться. Разумѣется, я, чтобы благочинія церковнаго не нарушать, ушелъ скорѣй совсѣмъ въ алтарь, такъ и обѣдня по чину, какъ должно, кончилась, и тогда... Вотъ только чтобъ эти слезы дурацкія опять разсказать не мѣшали! — проговорилъ, быстро обмахнувъ платочкомъ глаза, Николай Аѳанасьевичъ. — Выхожу я, сударь, послѣ обѣдни изъ алтаря, чтобы святителю молебенъ пѣть, а смотрю, предъ аналоемъ съ иконою стоитъ сама Маѳа Андревна, къ обѣднѣ пожаловала, а за нею сестрица Марья Аѳанасьевна, родители мои и братецъ. Стали пѣть «святителю отче Николае», и вдругъ отецъ Алексѣй на молитвѣ всю родню мою поминаетъ. Очень я былъ, сударь, всѣмъ этимъ тронутъ. Отцу Алексѣю я, по состоянію своему, что имѣлъ запла-

тилъ, хотя они и брать не хотѣли, но это нельзя же даромъ молиться,—да и подхожу къ Маѳѣ Андревнѣ, чтобъ ее поздравить. А онѣ меня тихонько ручкой отъ себя отстранили и говорятъ:

— Иди прежде родителямъ поклонись.

Я повидался съ отцомъ, съ матушкой, съ братцемъ, и все со слезами. Сестрица Марья Аѳанасьевна (Николай Аѳанасьевичъ съ ласковою улыбкой указалъ на сестру), сестрица ничего — не плачутъ, потому что у нихъ характеръ лучше, а я слабъ и плачу. Тутъ, батушка, выходимъ мы на паперть; госпожа моя Маѳа Андревна достаютъ изъ карманчика кошелечекъ кувшинчикомъ, и самъ я видѣлъ даже, какъ онѣ этотъ кошелечекъ вязали, да не зналъ, разумѣется, кому онъ.

— Одари, говорятъ мнѣ,—Николаша, свою родню.

Я начинаю одарять: тятенькѣ серебряный рубль, маменькѣ рубль, братцу Ивану Аѳанасьевичу рубль, и все новые рубли; а въ кошелечкѣ и еще четыре рубля.

— Это, говорю,—матушка, для чего прикажете?

А ко мнѣ, гляжу, бурмистръ Дементій и подводитъ и невѣстушку, и трехъ ребятишекъ, всѣ въ свиткахъ. Всѣхъ я, по ея великой милости, одаряю, какъ виночерпій и хлѣбодаръ, что въ Писаніи. Ну-съ, одарилъ, и пошли мы домой изъ церкви всѣ: покойница госпожа и отецъ Алексѣй, и я, сестрица Марья Аѳанасьевна, и родители, и всѣ дѣти братцевы. Сестрица Марья Аѳанасьевна опять и здѣсь идутъ ничего, разумно, ну, а я, глупецъ, все и тутъ, самъ не знаю чего, рѣкой разливаюсь, плачу. Но все же, однако, я, милостивые государи, до сихъ поръ хоть и плакалъ, но шелъ благопристойно за госпожей; но тутъ, батушка, у крыльца господскаго, вдругъ смотрю, вижу, стоятъ три подводы, лошади запряжены разгонныя господскія Маѳы Андревны, а братцевы двѣ лошаденки сзади прицѣплены, и на телѣгахъ, вижу, весь багажъ моихъ родителей и братца. Я, батушка, этимъ смутился и не знаю, что думать, что это значитъ? Маѳа Андревна до сего времени, идучи съ отцомъ Алексѣемъ, все о покосахъ изволили разговаривать и вниманія на меня будто не обращали, а тутъ вдругъ ступили ножками на крыльцо, оборачиваются ко мнѣ и изволятъ говорить такое слово: «Вотъ тебѣ, слуга мой вѣрный, отпускная, пусти своихъ стариковъ и брата съ дѣтьми на волю»,

и... и... бумагу-то эту... отпускную-то... за жилетъ мнѣ и положили... Ну, ужъ этого я не перенесъ... (Николай Аѳанасьевичъ приподнялъ руки вровень съ своимъ лицомъ и заговорилъ):— Ты, говорю ей, въ своемъ безуміи! Жестокая, говорю, ты жестокая! За что, говорю, ты хочешь меня раздавить своей благостью!— и тутъ грудь мнѣ перехватило, виски заныли, въ глазахъ по всему свѣту замелькали лампады, и я безъ чувствъ упалъ у отцовскихъ возовъ съ тою отпускной.

— Ахъ, старичокъ прелестный! — воскликнулъ растроганный дьяконъ Ахилла, хлопнувъ по плечу Николая Аѳанасьевича.

— Да-съ,— продолжалъ, вытеревъ себѣ ротикъ, карликъ.— А пришелъ-то я въ себя ужъ черезъ девять дней, потому что горячка у меня сдѣлалась. Осматриваюсь и вижу, госпожа сидятъ у моего изголовья и говорятъ:—охъ, прости ты меня Христа-ради, Николаша: чуть я тебя, сумасшедшая, не убила!—Такъ вотъ-съ она какой великанъ-то была, госпожа Плодомасова!

— Ахъ ты, старичокъ прелестный! — опять воскликнулъ дьяконъ Ахилла, схвативъ Николая Аѳанасьевича въ шутку за пуговичку фрака и какъ бы оторвавъ ее.

Карликъ молча попробовалъ эту пуговицу и, удостовѣрясь, что она цѣла и на своемъ мѣстѣ, сказалъ:

— Да-съ, да, ничтожный человѣкъ, а заботились обо мнѣ, довѣряли; даже скорби свои иногда открывали, когда въ разлукѣ по Алексѣѣ Никитичѣ скорбѣли. Получатъ, бывало, письмо, сейчасъ, сначала, скоро-скоро пошептомъ его пробѣжатъ, а потомъ и все вслухъ читаютъ. Онѣ сидятъ читаютъ, а я передъ ними стою, чулокъ вяжу, да слушаю. Прочитаемъ, и въ разговоръ сейчасъ вступимъ:

— Теперь его въ офицеры, бывало скажутъ,—должно быть скоро произведутъ.

— А я говорю: ужъ по ранжиру, матушка, непремѣнно произведутъ.

— Тогда, разсуждаютъ, — какъ ты думаешь: ему вѣдь больше надо будетъ денегъ посылать?

— А какъ же, отвѣчаю, — матушка? обойтись безъ того никакъ нельзя, непремѣнно тогда надо больше.

— То-то, скажутъ, — намъ вѣдь здѣсь деньги все равно и не нужны.

— Да намъ, молъ, онѣ на что же, матушка, нужны!

Тутъ Николай Аѳанасьевичъ щелкнулъ пальчиками и, привздохнувъ, съ озабоченнѣйшею миной проговорилъ:

— А сестрица Марья Аѳанасьевна въ это время молчатъ, покойница на нихъ за это сейчасъ и разгнѣваются,—сейчасъ начинаютъ деревянностью попрекать: «Деревяжка ты, скажутъ, деревяжка! Недаромъ мнѣ тебя за братомъ-то твоимъ безъ денегъ въ придачу отдали».

Николай Аѳанасьевичъ вдругъ спохватился, покраснѣлъ и, повернувшись къ своей тупоумной сестрѣ, проговорилъ:

— Вы простите меня, сестрица, что я это разсказываю?

— Сказывайте, ничего, сказывайте,—отвѣчала, водя языкомъ за щекою, Марья Аѳанасьевна.

— Сестрица, бывало, расплачутся,—продолжалъ Николай Аѳанасьевичъ: — а я ее куда-нибудь въ уголокъ или на лѣстницу тихонечко съ глазъ Маѳы Андревны выманю и уговорю: — сестрица, говорю, успокойтесь, пожалѣйте себя; эта немилость къ милости, — потому что я вѣдь ужъ, бывало, знаю, что у нея все къ милости. И точно, горячее да сплывчивое сердце ихъ сейчасъ скоро, бывало, и пройдетъ: «Марья! — бывало, зовутъ черезъ минутку. — Полно, мать, злиться-то. Чего ты кошкой-то ощетинилась? Иди, сядь здѣсь, работай».

— Вы вѣдь, сестрица, не сердитесь?

— Сказывайте, что жъ мнѣ? сказывайте! —отвѣчала Марья Аѳанасьевна.

— Да-съ; тѣмъ, бывало, и кончено. Сестрица возьмутъ скамеечку, поставятъ у ихъ ножекъ и опять начинаютъ вязать. Ну, тутъ я ужъ, какъ это спокойствіе водворится, сейчасъ подхожу къ Маѳѣ Андревнѣ, попрошу у нихъ ручку поцѣловать и скажу:—покорно васъ, матушка, благодаримъ!—Сейчасъ всѣ даже слезой взволнуются.

— Ты у меня, говорятъ, Николай, нѣжный. — Отчего это только, я понять не могу, отчего она у насъ такая деревянная? скажутъ опять на сестрицу.—А я, — продолжалъ Николай Аѳанасьевичъ, улыбнувшись: — я эту рѣчь ихъ сейчасъ, какъ секретарь, подъ сукно, подъ сукно. «Сестрица! шепчу, сестрица, просите скорѣй ручку поцѣловать!»

Маѳа Андревна услышатъ, сейчасъ и конецъ.

— «Сиди ужъ, мать моя, скажутъ сестрицѣ,—не надо

мнѣ твоихъ поцѣлуевъ»,—и пойдемъ колтыхать спицами въ трое рукъ. Только и слышно, что спицы эти три-ти-ти-ти-три-ти-ти, да мушка ж-ж-жу-ж-жу-ж-жу пролетитъ. Вотъ въ такой тишинѣ невозмутимой, милостивые государи, въ селѣ Плодомасовѣ жили, и такъ пятьдесятъ пять лѣтъ вмѣстѣ прожили.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Николай Аѳанасьевичъ сконфуженъ.

— Ну, а васъ же самихъ съ сестрицей на волю Маріа Андревна не отпустила? — спросилъ судья Дарьяновъ карлика, когда тотъ окончилъ свою повѣсть и хотѣлъ встать.

— На волю? Нѣтъ, сударь Валерьянъ Николаичъ, меня не отпускали. Сестрица Марья Аѳанасьевна были приписаны къ родительской отпускной, а меня не отпускали, да это вѣдь и къ моей пользѣ все. Онѣ, бывало, изволятъ говорить: «Послѣ смерти моей живи гдѣ хочешь (потому что онѣ на меня капиталъ положили), а пока жива, я тебя на волю не отпущу».

— Да и на что, говорю,—мнѣ, матушка, она, воля? Меня на ней воробьи заклюютъ.

— Ахъ ты маленькій этакой!—воскликнулъ въ умиленіи Ахилла.

— Да, конечно-съ, заклюютъ,—подтвердилъ Николай Аѳанасьевичъ.—Вонъ у насъ дворецкій Глѣбъ Степановичъ, на волю ихъ отпустили, они гостиницу открыли и занялись винцомъ, а теперь по гостиному двору ходятъ, да купцамъ съ конфетныхъ билетиковъ стихи читаютъ. Ничего прекраснаго въ этомъ нѣтъ.

— А онъ вѣдь, Николай-то Аѳанасьевичъ-то, онъ у нея во всемъ правая рука былъ. Крѣпостной, да не рабъ, а больше другъ и наперсникъ,—отозвался Туберозовъ, желая возвысить этимъ отзывомъ значеніе Николая Аѳанасьевича и снова наладить разговоръ на желанную тему.

— Служилъ, батушка, отецъ протоіерей, по разумѣнію своему угождалъ и берегъ ихъ. Въ Москву и въ Питеръ покойница ѣзжали, никогда горничныхъ съ собою не брали. Терпѣть женской прислуги въ дорогѣ не могли. Изволятъ, бывало, говорить: «Все эти Милитрисы Кирбитьевны квохчутъ, да въ гостиницахъ по коридорамъ расхаживаютъ, а Николаша, говорятъ, у меня, какъ заяцъ, въ углу сидитъ».

Онѣ вѣдь меня за мужчину вовсе не почитали, а все, бывало, заяцъ.

Николай Аѳанасьевичъ разсмѣялся и добавилъ:

— Да и взаправду, какой же я ужъ мужчина, когда на меня, извините, ни сапожковъ и никакого мужского платья готоваго нельзя купить, — не придется. Это и точно, ихъ слово справедливое было, что я заяцъ.

— Но не совсѣмъ же она тебя всегда считала зайцемъ, когда хотѣла женить?— отозвался городничій Порохонцевъ.

— Да, это такое ихъ господское желаніе, батушка, Воинъ Васильевичъ, было, — проговорилъ сконфузясь карликъ.— Было, сударь,—добавилъ онъ, все понижая голосъ:—было.

— Неужто, Николай Аѳанасьичъ, было? — откликнулось разомъ нѣсколько голосовъ.

Николай Аѳанасьевичъ потупилъ стыдливо взоръ себѣ въ колѣни и шопотомъ проронилъ:

— Не могу солгать, дѣйствительно, такое дѣло было.

Всѣ, кто здѣсь были, разомъ пристали къ карлику:

— Голубчикъ, Николай Аѳанасьевичъ, разскажите про это.

— Ахъ, господа, про что тутъ разсказывать,—отговаривался, краснѣя и отмахиваясь отъ просьбъ руками, Николай Аѳанасьевичъ.

Его просили неотступно, дамы его брали за руки, цѣловали его въ лобъ; онъ ловилъ на лету прикасавшіяся къ нему дамскія руки и цѣловалъ ихъ, но все-таки отказывался отъ разсказа, находя его и долгимъ, и незанимательнымъ. Но вотъ что-то вдругъ неожиданно стукнуло объ полъ; именинница, стоявшая въ эту минуту предъ кресломъ карлика, въ испугѣ посторонилась, и глазамъ Николая Аѳанасьевича представился колѣнопреклоненный, съ воздѣтыми кверху руками, дьяконъ Ахилла.

— Душечка, душка, душанчикъ, — мотая головой, выбивалъ Ахилла.

— Что вы? Что вы это, отецъ дьяконъ? — заговорилъ, быстро подскочивъ къ дьякону, Николай Аѳанасьевичъ.

Стоя на своихъ ножкахъ, карликъ былъ на вершокъ ниже колѣнопреклоненнаго Ахиллы, который, обнявъ его своими руками, крѣпко цѣловалъ и между поцѣлуями барабанилъ:

— Никола... Николаша... Николаврa... если ты... не разскажешь, какъ тебя женить хотѣли... то ты просто не другъ Кесарю!

— Скажу, скажу, все разскажу, только поднимайтесь, отецъ дьяконъ.

Ахилла всталъ и, обмахнувъ съ рясы пыль, самодовольно возгласилъ:

— А то говорятъ: *не разскажетъ!* Съ чего такъ не разскажетъ? Я сказалъ: *выпрошу,* вотъ и выпросилъ. Теперь, господа, опять по мѣстамъ и чтобъ тихо, а вы, хозяйка, велите Николаврѣ стаканъ воды съ червоннымъ виномъ, какъ въ домахъ подаютъ.

Всѣ усѣлись. Николаю Ѳанасьевичу подали стаканъ воды, въ который онъ самъ опустилъ нѣсколько капель краснаго вина, и началъ:

— Это, господа, было вскорѣ послѣ французскаго замиренія, какъ я со въ Бозѣ почивающимъ государемъ императоромъ разговаривалъ.

— Вы съ государемъ разговаривали?—перебили разсказчика нѣсколько голосовъ.

— А какъ бы вы изволили полагать?—отвѣчалъ съ тихою улыбкой карликъ.—Съ самимъ императоромъ Александромъ Первымъ, имѣлъ честь отвѣчать ему.

— Ха-ха-ха! Вотъ Богъ меня убей, шельма какая у насъ этотъ Николавра! — взвылъ вдругъ отъ удовольствія дьяконъ Ахилла и, хлопнувъ себя ладонями по бедрамъ, добавилъ:—глядите на него, а онъ, клопштосъ, съ царемъ разговаривалъ!

— Сиди, дьяконъ, сиди!—спокойно и внушительно произнесъ Туберозовъ.

Ахилла показалъ руками, что онъ болѣе ничего не скажетъ, и сѣлъ.

Разсказъ начался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Николай Ѳанасьевичъ во всей славѣ своей.

— Это какъ будто отъ разговора моего съ государемъ императоромъ даже и начало имѣло,—спокойно заговорилъ Николай Ѳанасьевичъ. — Госпожа моя, Марѳа Андревна, имѣла желаніе быть въ Москвѣ, когда туда ждали императора послѣ побѣды надъ Наполеономъ. Разумѣется, и я, по ихъ волѣ, при нихъ находился. Онѣ, покойница, тогда уже были въ большихъ лѣтахъ и, по нездоровью своему,

стали нѣсколько стропотны, гнѣвливы и обидчивы. Молодымъ господамъ въ домѣ у насъ было скучно, и покойница это видѣли и много на это досадовали. Себѣ этого ничего, бывало, не приписываютъ, а больше всѣхъ на Алексѣя Никитича сердились,—все полагали, что не такъ, вѣрно, у нихъ въ домѣ порядокъ устроенъ, чтобы всѣмъ весело было, и что чрезъ то ихъ всѣ забываютъ. Вотъ Алексѣй Никитичъ и достали маменькѣ приглашеніе на балъ, на который государя ожидали. Марѳа Андревна сейчасъ Алексѣю Никитичу ручку пожаловали и не скрыли отъ меня, что это имъ очень большое удовольствіе доставило. Сдѣлали онѣ себѣ нарядъ безцѣнный и мнѣ французу-портному заказали синій фракъ аглицкаго сукна съ золотыми пуговицами, панталоны—сударыни, простите!—жилетъ и галстукъ бѣлые, манишку съ кружевными гофереями и серебряныя пряжки на башмаки, сорокъ два рубля заплатили. Алексѣй Никитичъ для маменькинаго удовольствія такъ упросили, чтобъ и меня туда можно было на балъ взять. Приказано было метръ-д'отелю, чтобы ввести меня въ оранжерею при домѣ и напротивъ самаго зала, куда государь взойдетъ, въ углу поставить.

— Такъ это, милостивые государи, все и исполнилось, но не совсѣмъ. Поставилъ меня, знаете, метръ-д'отель въ уголокъ у большого такого дерева, китайская пальма называется, и сказалъ, чтобъ я смотрѣлъ, что отсюда увижу. А что оттуда увидать можно?—Ничего. Вотъ я, знаете, какъ Закхей мытарь, цапъ-царапъ—да и взлѣзъ на этакую невысокую скалу, изъ такого, знаете, изъ ноздреватаго камня, въ видѣ натуральной сдѣлана. Взлѣзъ я на нее на самый верхъ и стою подъ пальмой, за стволокъ-то держуся. Въ залѣ шумъ, блескъ, музыка и распарады, а я хоть и на скалѣ подъ пальмой стою, а все ничего не вижу, кромѣ какъ головы. Такъ ничего совсѣмъ ужъ и видѣть не надѣялся, но только вышло, что больше всѣхъ увидалъ. Вдругъ-съ всѣ эти головы въ залахъ засуетились, раздвинулись, и государь съ княземъ Голицынымъ прямо и входятъ отъ жары въ оранжерею. И еще-то, представьте, идетъ не только-что въ оранжерею, а даже въ самый тотъ дальній уголъ прохладный, куда меня спрятали. Я такъ, сударыни, и засохъ. На скалѣ-то засохъ и не слѣзу.

— Страшно?—спросилъ Туберозовъ.

— Какъ вамъ доложить, отецъ протопопъ: не страшно, но и не нестрашно.

— А я бы убѣгъ, — сказалъ, не вытерпѣвъ, дьяконъ Ахилла.

— Чего же, сударь, бѣжать?

— Чего бѣжать? Да потому, что никогда царской фамиліи не видалъ, вотъ испугался бъ и убѣгъ, — отвѣчалъ гигантъ.

— Ну-съ, я не бѣгалъ,—продолжалъ карликъ.—Не могу сказать, чтобы совсѣмъ ни капли не испугался, но не бѣгалъ. А его величество тѣмъ часомъ все подходятъ, да подходятъ; я слышу, какъ сапожки на нихъ рипъ-рипъ-рипъ; вижу ужъ и ликъ у нихъ этакій тихій, взракъ ласковый, да ужъ, знаете, на отчаянность, и думаю и не думаю: какъ и зачѣмъ это я предъ ними на самомъ на виду являюсь? Такъ, думъ совершенно никакихъ, а одно млѣнье въ суставахъ. А государь вдругъ этакъ головку повернули и, вижу, изволили вскинуть на меня свои очи и на мнѣ ихъ и остановили. Я думаю: что же я статуя есть, или человѣкъ? Человѣкъ. Я взялъ да и поклонился своему императору. Они посмотрѣли на меня и изволятъ князю Голицыну говорить по-французски: «Ахъ, какой миніатюрный экземпляръ! Чей, любопытствуютъ, это такой?» Князь Голицынъ, вижу, въ затруднительности, какъ ихъ величеству отвѣтить; а я, какъ французскую рѣчь могу понимать, самъ и отвѣчаю:

— Госпожи Плодомасовой, говорю,—ваше императорское величество.

Государь обратился ко мнѣ и изволятъ меня спрашивать:

— Какой вы націи?

— Вѣрноподданный, говорю,—вашего императорскаго величества.

— Какой же вы уроженецъ?—изволятъ спрашивать.

А я опять отвѣчаю:

— Изъ крестьянъ, говорю,—вѣрноподданный вашего императорскаго величества!

Императоръ и разсмѣялись.

— Bravo!—изволили пошутить,—bravo, mon petit sujet fidèle, и ручкой, этакъ, меня за голову взяли.

Николай Аоанасьевичъ понизилъ голосъ и сквозь тихую улыбку шопотомъ добавилъ:

— Ручкой-то своей, знаете, взяли, обняли, а здѣсь... непримѣтно для нихъ, пуговочкой своего обшлага, носъ-то мнѣ ужасно чувствительно больно придавили.

— А ты же, вѣдь, ничего... не закричалъ?—спросилъ дьяконъ.

— Нѣтъ-съ, какъ можно! Я-съ,—заключилъ Николай Аѳанасьевичъ:—только какъ они выпустили меня, я поцѣловалъ ихъ ручку... что счастливъ и удостоенъ чести, и только и всего моего разговора съ ихъ величествомъ было. А послѣ, разумѣется, какъ сняли меня изъ-подъ пальмы и повезли въ каретѣ домой, такъ вотъ тутъ ужъ все плакалъ.

— Отчего же ты въ каретѣ-то плакалъ?—спросилъ дьяконъ Ахилла.

— Да какъ же отчего?—отвѣчалъ, удивясь и смаргивая слезы, карликъ.—Отъ умиленія чувствъ плачешь.

— Да-а, вотъ отчего!—догадался Ахилла.—Ну, а когда жъ про жененье-то?

— Ну-съ, позвольте. Сейчасъ и про жененье.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ женихъ.

— Только-что это случайное вниманіе императора ко мнѣ по Москвѣ въ большихъ домахъ разгласилось, покойница Марѳа Андревна начали меня всюду возить и показывать, а я, истину вамъ докладываю, не лгу, былъ тогда самый маленькій карликъ во всей Москвѣ. Но недолго это было-съ, всего одну зиму...

Въ это время дьяконъ, ни съ того, ни съ сего, вдругъ оглушительно фыркнулъ и, свѣсивъ голову за спинку стула, тихо захохоталъ.

Замѣтя, что его смѣхъ остановилъ разсказъ, Ахилла приподнялся и сказалъ:

— Нѣтъ, это ничего!.. Разсказывай, сдѣлай милость, Николавра:—это я по своему дѣлу смѣюсь. Какъ со мной графъ Кленыхинъ говорилъ.

Карликъ молчалъ.

— Да ничего; говорите!—упрашивалъ Ахилла.—Графъ Кленыхинъ новый семинарскій корпусъ у насъ смотрѣлъ, я ему, въ родѣ вотъ какъ ты, поклонился, а онъ говоритъ: «пошелъ прочь, дуракъ!»—вотъ и весь нашъ разговоръ. Вотъ чему я разсмѣялся.

Николай Аѳанасьевичъ улыбнулся и сталъ продолжать:

— На другую зиму,—заговорилъ онъ:—Вихіорова генеральша привезла изъ-за Петербурга чухоночку Метту Ивановну, карлицу, еще меньше меня на палецъ. Покойница госпожа Марѳа Андревна слышать объ этомъ не могли. Сначала все изволили говорить, что эта карлица не натуральная, а свинцомъ будто опоенная; но какъ пріѣхали и изволили сами Метту Ивановну увидать, и разсердились, что она этакая бѣленькая и совершенная. И во снѣ стали видѣть, какъ бы намъ Метту Ивановну себѣ купить, а Вихіорша, та слышать не хочетъ, чтобы продать. Вотъ тутъ Марѳа Андревна и объясняютъ, что «мой Николай, говорятъ, умный и государю отвѣчать умѣлъ, а твоя, говорятъ, дѣвчушка, что жъ, только на видъ хороша, а въ ней особеннаго ничего не нахожу». А генеральша говорятъ, что и во мнѣ ничего особеннаго не видятъ, — такъ межъ собой объ госпожи за насъ и поспорятъ. Марѳа Андревна говорятъ той: «продай», а эта имъ говоритъ, чтобы меня продать. Марѳа Андревна вскипятъ вдругъ: «я, вѣдь, изволятъ говорить, не для игрушки ее у тебя торгую: я ее въ невѣсты на выводъ покупаю, чтобы Николая на ней женить».—А госпожа Вихіорова говорятъ: «что же, я его и у себя женю». Марѳа Андревна говорятъ: «я тебѣ отъ нихъ дѣтей дамъ, если будутъ», и та тоже говоритъ, что и онѣ Марѳѣ Андревнѣ пожалуютъ дѣтей, если родятся. Марѳа Андревна разсердятся и велятъ мнѣ прощаться съ Меттой Ивановной. А потомъ, день-два пройдетъ, Марѳа Андревна опять не выдержатъ, заѣдемъ, и какъ только онѣ войдутъ, сейчасъ и объявляютъ: «ну, слушай, матушка, я тебѣ, чтобы попусту не говорить, тысячу рублей за твою уродиху дамъ», а генеральша меня не порочатъ уродомъ, но двѣ за меня Марѳѣ Андревнѣ предлагаютъ. Пойдутъ другъ другу набавлять и набавляютъ-набавляютъ, и потомъ разсердится Марѳа Андревна, вскрикнетъ: «я, матушка, своими людьми не торгую», а госпожа Вихіорова тоже отвѣчаютъ, что и онѣ не торгуютъ, — такъ и опять велятъ намъ съ Меттой Ивановной прощаться.

— До десяти тысячъ рублей, милостивые государи, доторговались за насъ, а все дѣло не подвигалось, потому что моя госпожа за ту даетъ десять тысячъ, а та за меня одиннадцать. До самой весны, государи мои, такъ тяну-

лось, и доложу вамъ, госпожа Вихіорова ужасно переломили Марѳы Андревны весь характеръ. Скучаютъ, страшно скучаютъ! И на меня все начинаютъ гнѣваться: «Это ты, изволятъ говорить, сякой-такой пентюхъ, что дѣвку въ воображеніе ввести не можешь, чтобы сама за тебя просилась».

— Матушка, говорю, Марѳа Андревна, да чѣмъ же, говорю, нитательница, я могу ее въ воображеніе вводить? Ручку, говорю, матушка, мнѣ, дураку, пожалуйте!

— Маленькій,—прошепталъ сочувственно дьяконъ.

— Ну-съ, такъ дальше больше, дошло до весны, — пора намъ стало и домой въ Плодомасово изъ Москвы собираться. Марѳа Андревна опять приказали мнѣ одѣваться, и чтобъ одѣлся я въ гишпанское платье. Поѣхали къ Вихіоркѣ и опять не сторговались. Марѳа Андревна говорятъ ей: «Ну, хоть позволь же ты своей каракатицѣ, пусть они хоть походятъ вмѣстѣ съ Николашей передъ домомъ». Генеральша на это согласилась, и мы съ Меттой Ивановной по тротуару, на Мясницкой, противъ генеральшиныхъ оконъ и гуляли. Марѳа Андревна, покойница, и этому радовались, и всякихъ костюмовъ намъ обоимъ нашили. Пріѣдемъ, бывало, онѣ и приказываютъ: «надѣньте, Николаша съ Меттой, пейзанскіе костюмы». Мы оба въ деревянныхъ башмакахъ; я въ камзолѣ и въ шляпѣ, а она въ высокомъ чепчикѣ, выстроимся парой и ходимъ, и народа на насъ много соберется, стоитъ и смотритъ. Другой разъ велятъ намъ одѣться туркомъ съ турчанкой,—мы тоже опять ходимъ; или матросомъ съ матроской, — мы и этакъ ходимъ. А то были у насъ тоже медвѣжьи платьица, тѣ изъ коричневой фланели, въ родѣ чехловъ, сшиты. Всунутъ насъ, бывало, въ нихъ, будто руку въ перчатку, ничего, кромѣ глазъ, и не видно, а на макушечкахъ такія суконныя завязочки ушками подѣланы, треплются. Но въ этихъ платьицахъ насъ на улицу не посылали, потому тамъ собаки... разорвать могли, а велятъ, бывало, одѣться, когда обѣ госпожи за столомъ кофей кушаютъ, и чтобы во время ихъ кофею на коврѣ противъ ихъ стола бороться. Метта Ивановна пресильныя были, даромъ что женщина, но я, бывало, если имъ хорошенько подножку дамъ, онѣ сейчасъ и слетятъ, но только я, впрочемъ, это рѣдко дѣлалъ; я всегда Меттѣ Ивановнѣ больше поддавался, потому что мнѣ ихъ жаль

было по ихъ женскому полу, да и генеральша сейчасъ, бывало, въ ихъ защиту, собачку болонку кличутъ, а та меня за голеняшки, а Марѳа Андревна этого не снесутъ и сердятся... А тоже покойница заказали намъ уже самый лучшій костюмъ, онъ у меня и теперь цѣлъ—меня одѣли французскимъ гренадеромъ, а Метту Ивановну маркизой. У меня этакій киверъ, медвѣжій мѣховой, высокій, мундиръ длинный, ружье со штычкомъ и тесакъ, а Меттѣ Ивановнѣ робъ и опахало большое. Я, бывало, стану въ дверяхъ съ ружьемъ, а Метта Ивановна съ опахаломъ проходятъ, и я имъ честь отдаю, и потомъ Марѳа Андревна съ генеральшею опять за насъ торгуются, чтобы насъ женить.

Но только надо вамъ доложить, что всѣ эти наряды и костюмы для насъ съ Меттой Ивановной все моя госпожа на свой счетъ дѣлали, потому что онѣ ужъ навѣрное надѣялись, что мы Метту Ивановну купимъ, и даже такъ, что чѣмъ больше онѣ на насъ двоихъ этихъ костюмовъ надѣлывали, тѣмъ больше увѣрялись, что мы ихніе; а дѣло-то совсѣмъ было не туда.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ двуличный.

— Предъ самою весной Марѳа Андревна говорятъ генеральшѣ: «Что же это мы съ тобою, матушка, дѣлаемъ, ни Мишу, ни Гришу? Надо же, говорятъ, это на чемъ-нибудь намъ кончить», да на томъ, было, и кончили, что чуть самихъ на Ваганьково кладбище не отнесли. Зачахли покойница, желчью покрылись, на всѣхъ стали сердиться, и вотъ минуты одной, какова есть минута, не хотятъ ждать: вынь да положь имъ Метту Ивановну, чтобы женить меня!

У кого въ домѣ Свѣтлое Христово Воскресеніе, а у насъ тревога, а къ Красной Горкѣ ждемъ послѣдній отвѣтъ и не знаемъ, какъ ей и передать его.

— Тутъ-то Алексѣй Никитичъ,—дай имъ Богъ здоровья, ужъ и имъ это дѣло насолило,—видятъ, что бѣда ожидаетъ неминучая, вдругъ надумались и доложили маменькѣ, что Вихіоршина карлица пропала.

Марѳѣ Андревнѣ все, знаете, отъ этого легче стало, что ужъ ни у кого ея нѣтъ.

— Какъ же, спрашиваютъ,—она пропала?

Алексѣй Никитичъ отвѣчаютъ, что жидъ укралъ.

— Какъ? Какой жидъ?—все разспрашиваютъ.

Сочиняемъ имъ, что попало: такъ, молъ, жидъ этакій каштановатый, съ бородою, всѣ видѣли, взялъ да понесъ

— Что же,—изволятъ спрашивать: — зачѣмъ же его не остановили?

— Такъ, молъ, онъ изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ переулокъ, такъ и унесъ.

— Да и она-то, разсуждаютъ, — дура какая, что ее не суть, а она не кричитъ. Мой Николай ни за что бы, говорятъ,—не дался.

— Да какъ же можно, говорю,—сударыня, жиду сдаться! Самъ это говорю, а самому мочи нѣтъ совѣстно, что ихъ обманываю; а онѣ ужъ какъ ребенокъ всему стали вѣрить.

Но тутъ Алексѣй Никитичъ маленькую ошибку дали: памѣреніе ихъ такое сыновнее было, разумѣется, чтобы скорѣе Марѳу Андревну со мною въ деревню отправить, чтобы все это тутъ позабылось; они и сказали маменькѣ:

— Вы, изволятъ говорить,—маменька, не безпокойтесь, ее найдутъ, потому что ее ищутъ, и какъ найдутъ, я вамъ сейчасъ и отпишу въ деревню.

А покойница, какъ это услыхали, сейчасъ за это слово и ухватились:

— Нѣтъ, ужъ, говорятъ, — если ищутъ, такъ я лучше подожду, я этого жида хочу посмотрѣть, который унесъ ее.

Тутъ, судари мои, мы ужъ квартальнаго съ собою лгать подрядили: тотъ всякій день приходитъ и вретъ, что ищутъ, да не находятъ. Марѳа Андревна ему всякій день синенькую, а меня, всякій день, къ ранней обѣднѣ посылаютъ, въ церковь Іоанну Воинственнику молебенъ о сбѣжавшей рабѣ служить...

— Іоанну Воинственнику? Іоанну Воинственнику, говоришь ты, ходилъ молебенъ-то служить?—перебилъ карлика дьяконъ.

— Да-съ, Іоанну Воинственнику.

— Это совсѣмъ не тому святому служилъ.

— Дьяконъ, сядь! Сядь, тебѣ говорю, сядь! — рѣшилъ отецъ Савелій:—а ты, Николай, продолжай.

— Да что, батушка, продолжать, когда вся ужъ почти моя сказка и разсказана. Ѣдемъ мы одинъ разъ съ Марѳой Андревной отъ Иверской Божіей Матери, а генеральша Вихіорова и хлопъ на самой Петровкѣ навстрѣчу въ коляскѣ

и Метта Ивановна съ ними. Тутъ Марѳа Андревна все поняли и... повѣрите, государи мои, или нѣтъ... тихо, но прегорько въ каретѣ заплакали.

Карликъ замолчалъ.

— Ну, Никола!—подогналъ его отецъ Савелій.

— Ну-съ, а тутъ ужъ что жъ, пріѣхали домой и говорятъ Алексѣю Никитичу: «а ты, сынъ мой, говорятъ,—выходишь дуракъ, что смѣлъ свою мать обманывать, да еще полицейскаго ярыжку, квартальнаго приводилъ»,—и съ этимъ велѣли укладываться и уѣхали.

— А вамъ же,—спросили Николая Аѳанасьевича:—вамъ ничего не досталось?

— Было-съ,—отвѣчалъ старичокъ:—было. Своими устами прямо мнѣ они ничего не изрекли, а все наметки давали. Въ обратный путь какъ ѣхали, то какъ скоро на знакомомъ постояломъ дворѣ остановимся, они изволятъ про что-нибудь хозяйственное съ дворникомъ разсуждать, да сейчасъ и вставятъ: «теперь, говорятъ, прощай: больше я ужъ въ столицы не ѣздокъ,—ни за что, говорятъ, не поѣду».—Что жъ такъ разгнѣвались, сударыня?—скажетъ дворникъ. А они: «я, изволятъ говорить,—гнѣваться не гнѣваюсь, да и никто тамъ моего гнѣва, спасибо, не боится, но не люблю людей двуличныхъ, а тѣмъ особенно столичныхъ», да на меня при этомъ и взглянутъ.

— Ну-съ?

— Ну-съ, я ужъ это, разумѣется, понимаю, что это на мой счетъ съ Алексѣемъ Никитичемъ про двуличность,—подойду, униженно вину свою чувствуя, поцѣлую ручку и шепчу:—«достоинъ, государыня, достоинъ сего, достоинъ!»

— Аксіосъ,—замѣтилъ дьяконъ.

— Да-съ, аксіосъ. Этимъ укоренiемъ вины своей, по всякую минуту, ихъ наконецъ и успокоилъ.

— Это напотомъ!—воскликнулъ Туберозовъ.

Николай Аѳанасьевичъ обернулся на стульцѣ ко всѣмъ слушателямъ и заключилъ:

— Я вѣдь вамъ докладывалъ, что исторія самая простая и нисколько не занимательная. А мы, сестрица,—добавилъ онъ, вставая,—засимъ и поѣдемте!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ улетаетъ и съ нимъ улетаетъ старая сказка.

Марья Аѳанасьевна стала собираться.

Всѣ стали съ мѣста, чтобы проводить маленькихъ гостей и бесѣда уже казалась совершенно законченною, какъ вдругъ дьяконъ Ахилла опять выступилъ со споромъ, что Николай Аѳанасьевичъ не тому святому молебенъ служилъ.

— Это, отецъ дьяконъ, не мое, сударь, дѣло знать,— оправдывался, отыскивая свой пуховый картузъ, Николай Аѳанасьевичъ. — Я въ первый разъ пришелъ въ церковь, подалъ записку о *бѣжавшей рабѣ* и полтинникъ; священникъ и стали служить Іоанну Воинственнику, такъ оно послѣ и шло.

— Плохъ, значитъ, священникъ.

— Чѣмъ? чѣмъ? чѣмъ? Чѣмъ такъ по-твоему плохъ этотъ священникъ? — вмѣшался неожиданно кроткій отецъ Бенефисовъ.

— Тѣмъ, отецъ Захарія, плохъ онъ, что дѣла своего не знаетъ,—отвѣчалъ Бенефисову съ отмѣнною развязностью Ахилла.—*О бѣжавшемъ рабѣ* нешто Іоанну Воинственнику пѣть подобаетъ?

— Да, да! А кому же по-твоему? Кому же? Кому?

— Кому? Вѣдь слава тебѣ Господи, сколько, я думаю, лѣтъ эта таблица передъ вами у ктитора на стѣнѣ наклеена; а я вѣдь по печатному читать разумѣю и знаю, кому за что молебенъ пѣть.

— Да!

— Ну, и только! Ѳедору Тирону, если вамъ угодно слышать, вотъ кому.

— Ложно осуждаешь: Іоанну Воинственнику они праведно служили.

— Не конфузьте себя, отецъ Захарія.

— Я тебѣ говорю: правильно.

— А я вамъ говорю: понапрасну себя не конфузьте.

— Да что ты тутъ со мной споришь! Ишь! ишь!.. спорщикъ какой!

— Нѣтъ, это что вы со мной споите! Я васъ вѣдь, если захочу, сейчасъ могу оконфузить.

— Ну, оконфузь!

— Ей-Богу, оконфужу!

— Ну, оконфузь!

— Ей-Богу, вѣдь оконфужу, не просите лучше, потому я эту ктиторскую таблицу наизусть знаю.

— Да ты не разговаривай, а оконфузь, оконфузь!—смѣясь и радуясь, частилъ Захарія Бенефисовъ, глядя то на дьякона, то на чинно хранящаго молчаніе отца Туберозова.

— Оконфузить? извольте,—рѣшилъ Ахилла, и сейчасъ же, закинувъ далеко на локоть широкій рукавъ, загнулъ правою рукой большой палецъ лѣвой руки, какъ будто собирался его отломить, и началъ:—вотъ первое: объ исцѣленіи отрясовичной болѣзни—преподобному Марою.

— Преподобному Марою,—повторилъ за нимъ, соглашаясь, отецъ Бенефисовъ.

— Отъ огрызной болѣзни—великомученику Артемію,—вычитывалъ Ахилла, заломивъ тѣмъ же способомъ второй палецъ.

— Артемію,—повторилъ Бенефисовъ.

— О разрѣшеніи неплодства—Роману Чудотворцу; если возненавидитъ мужъ жену свою—мученикамъ Гурію, Самону и Авивѣ; объ отогнаніи бѣсовъ—преподобному Нифонту; объ избавленіи отъ блудныя страсти—преподобному Мартемьяну...

— И преподобному Моисею Угрину,—тихо вставилъ, до сихъ поръ только въ тактъ покачивавшій своею головкой, Бенефисовъ.

Дьяконъ, уже загнувшій всѣ пять пальцевъ лѣвой руки, секунду подумалъ, глядя въ глаза отцу Захаріи, и затѣмъ, разжавъ лѣвую руку, чтобы загибать ею пальцы правой, произнесъ:

— Да, можно тоже и Моисею Угрину.

— Ну, теперь продолжай.

— Отъ виннаго запойства—мученику Вонифатію...

— И Моисею Мурину.

— Что-съ?

— Вонифатію и *Моисею Мурину*,—повторилъ отецъ Захарія.

— Точно,—подтвердилъ дьяконъ.

— Продолжай.

— О сохраненіи отъ злого очарованія—священномученику Кипріяну...

— И Святой Устиніи.

— Да позвольте же, наконецъ, отецъ Захарія!

— Да нечего мнѣ тебѣ позволять, русскимъ словомъ ясно напечатано: «*и святой Устиніи*».

— Ну, хорошо! ну, *и святой Устиніи*, а объ обрѣтеніи украденныхъ вещей и *бѣжавшихъ рабовъ* (дьяконъ началъ съ этого мѣста подчеркивать свои слова) *Ѳедору Тирону, его же память празднуемъ семнадцатаго февраля.*

Но только-что Ахилла вострубилъ свое послѣднее слово, какъ Захарія, тою же своею тихою и безстрастною рѣчью, продолжалъ чтеніе таблички словами:

— И Іоанну Воинственнику, его же память празднуемъ десятаго іюля.

Ахилла похлопалъ глазами и проговорилъ:

— Точно, теперь вспомнилъ: есть и Іоанну Воинственнику.

— Такъ о чемъ же это вы, сударь, отецъ дьяконъ, изволили спорить?—спросилъ, протягивая на прощанье свою ручку Ахиллѣ, Николай Аѳанасьевичъ.

— Ну, вотъ, поди же ты говори со мной! Дубликаты позабылъ, вотъ изъ чего спорилъ,—отвѣчалъ дьяконъ.

КОТИНЪ ДОИЛЕЦЪ И ПЛАТОНИДА.

Изломанная утварь
Разрушеннаго дома.
Шекспиръ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ Старомъ Городѣ не было человѣка, который пользовался бы такою извѣстностью и уваженіемъ, какими пользуется тамъ даже въ наше неуважительное время очень скромный человѣкъ, обработавшій безплодную почву нынѣ плодоноснаго городского острова. Человѣкъ этотъ происходилъ отъ раскольничьяго колѣна купца Дѣева; но не родъ и не порода, а жизнь и дѣла этого человѣка дали ему его извѣстность и почтеніе отъ ближнихъ.

Купецъ Семенъ Дмитріевичъ Дѣевъ былъ только виновникомъ золъ для того, о комъ здѣсь будетъ разсказано.

Это небольшая исторія.

Сдѣлавшись главою людей, не пошедшихъ къ соединенію съ церковью, старый Дѣевъ построилъ себѣ деревянный домъ, на «отлетѣ», въ самомъ концѣ города. Нынче никто не живетъ въ этомъ домѣ, и онъ стоитъ одинокій, сумрачный и непривѣтливый. Таковъ же, впрочемъ, былъ этотъ сѣрый, двухъ-этажный домъ, съ двумя ярусами маленькихъ окошекъ, и въ тѣ дни, когда въ немъ еще обитали живые люди, и въ окна его свѣтили мерцающіе огоньки неугасимыхъ лампадокъ. Домъ этотъ не хотѣлъ имѣть сообщенія ни съ кѣмъ и немилосердно каралъ тѣхъ изъ своихъ обитателей, у кого по какому-нибудь случаю замѣчалось хоть малѣйшее желаніе сблизиться съ новымъ міромъ.

Въ цѣломъ городѣ почти никто не имѣлъ никакого понятія о томъ, какъ живется въ раскольничьемъ домѣ Семена Дѣева. На улицѣ старогорожане встрѣчали только самого Дѣева, но встрѣчали его всегда капризнаго, угрюмаго, ко гнѣву склоннаго и мстительнаго. Если же встрѣчался гдѣ-нибудь кто бы то ни было изъ другихъ жильцовъ этого дома, то всѣ смотрѣли на него какъ на выходца съ того свѣта. О женщинахъ, здѣсь жившихъ, знали еще менѣе, чѣмъ о мужчинахъ. Онѣ тамъ рождались, или приходили туда для сожительства, тамъ же и умирали. Ворота дѣвскаго дома затворялись за ними только за мертвыми. Изъ этого были только два исключенія.

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, въ одну самую бурную, темнѣйшую и человѣконенавистную ночь, грозный дѣвскій домъ вытолкнулъ въ безпріютность молодую дѣвушку.

Домъ словно выплюнулъ спросонья это дитя и снова захлопнулъ до другого случая свои сердитыя вѣки.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вытолкнутая дѣвушка была сирота, племянница Семена Дѣева, Аксинья Матвѣевна. Ей было тогда всего восемнадцать лѣтъ; но, несмотря на свое строгое дѣвичье затворничество, она знала, куда ей нужно идти въ эту суровую ночь своего изгнанія. Она шла изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ переулокъ, прямо къ маленькому, сѣренькому домику на церковномъ погостѣ, и здѣсь робко постучалась въ покосившееся окошко. Черезъ нѣсколько минутъ, она постучалась нѣсколько смѣлѣе, и въ ту же минуту навстрѣчу ей выскочилъ молодой человѣкъ, въ одномъ бѣльѣ и въ сапожныхъ опоркахъ. Это былъ попамарь Іона Пизонскій.

— Ксюша! Косатка!—вскричалъ онъ съ изумленіемъ, увидя передъ собою дѣвушку.

Изгнанница только уныло шепнула:

— Выгнали.

— Выгнали?

— Выгнали; избили и выгнали.

Молодой человѣкъ, съ безпечнѣйшею радостью, широко распахнулъ калитку и, перехвативъ къ себѣ дѣвушку, заперъ задвижкой ворота и внесъ на рукахъ свою дрожащую гостью въ очень небольшую горенку.

Весь домикъ Іоны Пизонскаго, къ которому пришла

Ксюша, состоялъ изъ одной крошечной горенки и еще меньшей приспѣшной. Іона Пизонскій былъ человѣкъ одинокій и молодой. Онъ проводилъ беззаботнѣйшую жизнь и обыкновенно распѣвалъ съ голода самыя веселыя пѣсни. Пѣсни эти, его красота и беззаботная удаль полонили для него сердца старогородскихъ затворницъ и добыли ему пылкое сердечко изгнанницы дѣвскаго дома. Сцена, которую мы видѣли, была сцена, резюмировавшая ихъ тайную любовь въ тотъ моментъ, когда силою природы вещей любовь эта перестала быть тайною для дѣвскаго дома.

Выгнанная сирота, скромная какъ агнецъ, пошла на все за своимъ любимцемъ: она приняла его вѣру, его имя и званіе—сдѣлалась его женой и понамарицей, а черезъ пять мѣсяцевъ родила ему сына Константина.

— Оступилась и не доносила,—острилъ на свой счетъ по этому случаю понамарь Пизонскій; а черезъ годъ самъ оступился, рубя осенью хворость на крутомъ обрывѣ надъ Турицею, полетѣлъ внизъ головою и одинъ-одиноко отдалъ свою веселую душу единому Богу.

Понамарица осталась съ годовымъ ребенкомъ одна, яко перстъ.

Ворота дѣвскаго дома, въ которыя постучалась вдова въ эту годину несчастія, отворились только для того, чтобы послать ей одно проклятіе.

Не имѣя ни роду, ни племени, ни пристанища, куда приклонить голову, вдова Пизонская пріютилась въ женскомъ монастырѣ, въ келейныя. Туда же въ женскій монастырь внесла она съ собою и своего сына, назвавъ его обманно дѣвочкой Макриной.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Хитрость, вызванная отчаяннымъ положеніемъ вдовы, удалась ей какъ нельзя лучше. Благодаря безпрестанному бдѣнію матери, настоящій полъ ребенка не былъ никогда никѣмъ обнаруженъ; но зато и не знало его и само дитя, и само оно тоже считало себя дѣвочкой. Когда же Константинъ Пизонскій, подъ псевдонимомъ Макрины, достигъ въ монастырѣ двѣнадцатилѣтняго возраста, вдова Пизонская, заботясь о воспитаніи сына, вывела его вонъ изъ обители, переодѣла въ оврагѣ изъ юбки и черноколенкороваго платья въ желтый нанковый халатъ и отдала въ ду-

ховное приходское училище, подъ его настоящимъ именемъ Константина Пизонскаго. Но книжная премудрость не далась ребенку. Несчастное дитя прежде всего сдѣлалось всеобщимъ посмѣшищемъ. Скинувъ съ себя свой женскій псевдонимъ, оно, во-первыхъ, никакъ не могло пріучиться считать себя мальчикомъ и постоянно говорило: «я была, я пришла, я ѣла»; а это дало поводъ издѣваться надъ нимъ съ первой же минуты. Учиться ребенокъ былъ очень способенъ; но тогдашняя училищная строгость и ядовитыя докуки товарищей отняли у него всякую возможность успѣха. Запуганность его дошла до невѣроятныхъ предѣловъ и была причиною окончательнаго смѣщенія его въ неспособные. Однажды, еще вскорѣ послѣ своего поступленія въ училище, Пизонскій, надписывая свое имя на тетради, вмѣсто Константинъ, написалъ Кинстинтинъ. Учитель поймалъ его на этой ошибкѣ и, ударивъ по головѣ лозою, спросилъ:

— Какъ твое имя?

— Константинъ,—отвѣчалъ ребенокъ.

— Пиши на табулѣ.

Дитя взяло дрожащею рукою мѣлъ и почувствовало, что рука его бѣжитъ, бѣжитъ, бѣжитъ неудержимо и чертитъ одну за другою безконечныя буквы. Во всю доску тянется Константинтинтинтинтинтин... и все нѣтъ ему конца, нѣтъ заключенія, нѣтъ предѣла. Ребенокъ чувствуетъ, что это что-то не то, что это что-то неладно,—онъ млѣетъ, дрожитъ и все ведетъ слогъ за слогомъ: «тинтинтинтинтин»...

— Что ты, стрикулистъ, такъ больно длиненъ?—замѣчастъ ядовито учитель:—держись своей препорціи!

Пизонскій быстро стеръ съ доски безконечную цѣпь слоговъ и твердою, рѣшительною рукою написалъ короткое «Котинъ».

Приведенный въ недоумѣніе этимъ быстрымъ сокращеніемъ протяжно-сложеннаго слова, учитель счелъ это за оскорбительный фарсъ: онъ снова рѣзнулъ Пизонскаго лозою по уху и снова еще болѣе строгимъ голосомъ напомянулъ ему о соблюденіи «препорціи».

— Не могу,—рѣшительно отвѣчалъ ребенокъ.

— Чего жъ ты не можешь?

— Не могу написать по препорціи.

Учитель качнулъ назадъ головою, и дитя, зная, что̀ означастъ сей знакъ, съ невозмутимою покорностью подошло къ

скамейкѣ, у которой всегда лежали, въ ведрѣ, пучки розогъ.

— Ну, Макрина, укладывайся!—приглашали его очередные сѣкуторы, и совершалася казнь.

И всякій разъ повторялись надъ нимъ эти шутки и потѣхи, и всякій день выводилъ онъ цѣлый часъ, при общемъ смѣхѣ, безконечное *Константинтинтин*, и потомъ, доходя до отчаянія, вдругъ писалъ короткое—*Котинъ*, и шелъ къ сѣкуторской скамейкѣ. Всякій день его стегали по незажившимъ рубцамъ, и онъ все-таки не входилъ въ свою порцію, а всегда или ползъ съ своимъ именемъ въ безконечность, или отчаянно ставилъ короткое: «Котинъ».

Окончательное воспитаніе Пизонскаго завершилось тѣмъ, что товарищи сломали ему носовой хрящъ и своротили на сторону носъ, а начальство исключило его «за великовозрастіемъ и малоуспѣшіемъ» изъ училища и предоставило ему избрать себѣ дозволенный закономъ родъ жизни. Для Пизонскаго всѣ дозволенные роды жизни были равнозначащи и равноцѣнны, а потому онъ вовсе не заблагоразсудилъ позаботиться объ избраніи какого-нибудь одного изъ нихъ себѣ въ исключительную собственность. Онъ прежде всего подумалъ о хлѣбѣ и поступилъ въ науку къ энциклопедисту-ремесленнику, мѣднику, механику, переплетчику, астроному и поэту. Вдвоемъ съ своимъ чудакомъ-хозяиномъ они были все и ничего: они переплетали книги, малярничали, лудили кастрюли—и все это дѣлали «ничтоже сумняшеся», и дешево, и скверно. Скуднаго дневного заработка имъ едва доставало на самое нищенское пропитаніе; но это ихъ нимало не смущало. Сидя зачастую и безъ работы, и безъ хлѣба, они забывали о голодѣ, азартно читали какую-нибудь старую астрономію и тыкали пальцами по засаленному небесному атласу. Спускающаяся на землю вечерняя темень только пригоняла ихъ къ окну, изъ котораго они глазѣли цѣлыя ночи на небо и опредѣляли созвѣздія или читали на память Манфреда и козловскаго «Чернеца», или же, наконецъ, усѣвшись на порожкѣ своей хаты, распѣвали дуэтомъ:

О, человѣкъ!
Вспомни свой вѣкъ.
Взгляни ты на гробы,
Они вѣчны домы.

Неизвѣстно, докуда бы продолжалось такое сладкое и

поэтическое житье нашей Макрины, если бы ее, какъ человѣка, не избравшаго себѣ въ срокъ никакого дозволеннаго закономъ рода жизни, не отдали «по разряду» въ округи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Три года Константинъ Пизонскій пробылъ дьячкомъ полковой церкви и, наконецъ, по ходатайству матери, возвращенъ для ея прокормленія. Но своей старухи Константинъ Пизонскій, возвратясь домой, уже не засталъ на свѣтѣ. Онъ пришелъ въ Старый Городъ и явился къ дядѣ-старовѣру Маркелу Дѣеву. Маркелъ Семеновичъ Дѣевъ допустилъ Пизонскаго къ себѣ на глаза, выслушалъ все, что тотъ говорилъ ему, а потомъ позвалъ всѣхъ, кто у него былъ въ семьѣ, и сказалъ племяннику:

— А ну-ка, повернись!

— Какъ, дядюшка? — спросилъ Пизонскій.

— Такъ, бокомъ повернись.

Тотъ повернулся.

— Ну, а теперь задомъ стань.

Пизонскій и это исполнилъ.

— Хорошъ?—спросилъ Маркелъ Семенычъ домашнихъ.

Общій хохотъ, гдѣ громкій, гдѣ сдержанный, раздался изъ всѣхъ угловъ въ отвѣтъ на это восклицаніе.

На Пизонскаго и дѣйствительно трудно было смотрѣть безъ смѣха: его лысая и, вдобавокъ, по-солдатски обточенная голова, его кривой носъ, его птичьи-круглые глаза, синія губы и длинный нанковый капотъ, купленный въ томъ городѣ, гдѣ кончилась его военная карьера,—все это вмѣстѣ взятое давало самый смѣшной и дурашный видъ его фигурѣ.

— Служилъ куцымъ бѣсомъ три года и выслужилъ три пуговицы — и то ладно. Ну, и больше же, братъ, не хлопочи, не оборачивайся, а какъ сталъ теперь лбомъ къ порогу, такъ и иди вонъ, откуда пришелъ,—объявилъ ему дядя, твердо и рѣшительно изгоняя навсегда изъ своего правовѣрнаго дома сына еретика и еретицы.

Пизонскій вышелъ.

Съ непокрытою отъ разсѣянности головою прошелъ онъ по всему городу, удивляя своею лысиною прохожихъ, которые смѣялись надъ нимъ злѣе, чѣмъ дѣти смѣялись надъ лысымъ пророкомъ; но Пизонскій, однако, былъ терпѣливѣй

пророка: онъ никого не проклялъ, а только тихо поплакалъ, сѣвши подъ ракитой за городскою заставой. Онъ былъ совершенно безпріютенъ и сидѣлъ на дорогѣ, какъ ощипанный филинъ. Обыкновенно думаютъ, что въ такомъ положеніи человѣкъ находится на одинъ короткій шагъ отъ злого дѣла, но это не со всѣми такъ бываетъ. По крайней мѣрѣ Пизонскій не задумывалъ никакихъ злыхъ дѣлъ: ему было только очень тяжело и больно, и онъ сидѣлъ и плакалъ просто — чтобъ выплакаться. Однако, невозможно же было вѣчно сидѣть на большой дорогѣ: надо было куда-нибудь шагать, гдѣ-нибудь искать какого бы то ни было пріюта.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Пизонскій вспомнилъ, что у него гдѣ-то, не очень далеко отъ города, была замужемъ за однодворцемъ материна племянница, а его двоюродная сестра, по фамиліи Набокова, и пошелъ искать ее. Шелъ онъ — близко ли, далеко ли—и пришелъ на другой вечеръ въ село, гдѣ надѣялся увидать свою родственницу и гдѣ узналъ, что ни ея самой, ни ея мужа въ живыхъ нѣтъ, а что остались послѣ нихъ двѣ дѣвочки: Глаша лѣтъ пяти, да Нилочка — по второму году; но и ихъ, этихъ сиротъ, нѣту въ наличности, и ихъ забрала къ себѣ на воспитаніе слѣпая нищая, Пустыриха. Вотъ тебѣ и весь родъ, и все племя!

«Пойду, посмотрю, по крайней мѣрѣ, хоть какія эти дѣвоньки», подумалъ все болѣе и болѣе сиротѣвшій Пизонскій, и онъ отыскалъ Пустыриху и нашелъ у нея дѣтей.

Встрѣча его съ дѣтьми была передъ вечеромъ. Обѣ дѣвочки, въ ветчайшихъ рубищахъ, сидѣли на пыльной завалинкѣ: старшая играла, подкидывая ручонками крошечные камешки, а младшая—томилась, лѣниво слѣдя глазенками за сестриными руками.

Пизонскій выскочилъ къ нимъ неожиданно, изъ-за угла хаты, и остановился передъ ними, какъ уродливый сказочный геній.

Посмотрѣвъ на дѣтей, онъ сѣлъ около нихъ на травку и обнялъ ихъ обѣими руками.

— Голубятки!—заговорилъ онъ:—плохо вамъ тутъ у бабушки?

Дѣти пугливо прижались одна къ другой, сначала долго

другъ на друга смотрѣли и потомъ обѣ разомъ тихо заплакали.

Пизонскій опустилъ въ карманъ руку и, доставъ оттуда немного смятую, печеную луковицу, обдулъ прилипшія къ ней крошки хлѣба, разломилъ ее ногтями пополамъ и подалъ сироткамъ.

Тайный ли голосъ крови, или заманчивый вкусъ сладкой, печеной луковицы, сразу расположилъ сироткъ къ Пизонскому. Онѣ сползли съ завалины, усѣлись одна противъ другой на его колѣняхъ и сосали лукъ, теребя ручонками ясную, солдатскую пуговицу, пришитую къ воротнику дядинаго коленкороваго халата.

— Бьетъ васъ бабушка, дѣтки? — началъ прямо Пизонскій, поглаживая дѣвочекъ по головкамъ.

— Ботъ,—прошептали тихо дѣти.

— И больно?

— Боно,—проронили онѣ еще тише и робче и, смаргивая слезы, напряженно смотрѣли съ раздирающей дѣтской тоскою на ту же глупо блестящую пуговицу.

Пизонскій развздыхался. Дробныя слезы ребячьи на щекахъ забитаго ребенка непереносимы. Необъятная любовь и нѣжность овладѣли сердцемъ Пизонскаго въ виду этихъ слезъ. Онъ готовъ былъ все сдѣлать, чтобы отереть эти слезы; но что могъ для кого-нибудь сдѣлать онъ,—нищій, калѣка и уродъ, когда сотни людей, представляя себѣ его собственное положеніе, навѣрное почитаютъ его самого обреченнымъ на гибель?

И всякій бы простилъ ему безучастіе, потому что бѣдный уродъ ничего не могъ сдѣлать для двухъ сиротъ. У нихъ былъ хотя нищенскій пріютъ Пустырихи, Пизонскій же былъ совсѣмъ безпріютенъ. А взять чужое дитя—это, говорятъ, такъ отвѣтственно, что страхомъ этой отвѣтственности всегда можно извинить себя и оставить все на волю безотвѣтственнаго случая.

Пизонскій, къ счастію, не философствовалъ, а хорошо чувствовалъ и потому поступилъ иначе.

Дождавшись возвращенія Пустырихи домой, онъ попросился у нея переночевать. Ночью онъ все вставалъ и навѣдывался къ дѣтямъ, а къ утру окрестъ его запорхали какія-то чудныя грезы, и утромъ онъ, забывая собственную

безпомощность и безпріютность, сталъ умолять старуху чтобы она отдала ему сиротокъ.

— Я ихъ, бабушка, воздою, я выучу ихъ, бабонька,— говорилъ Пизонскій.

Старуха и слушать объ этомъ не хотѣла. Она хотѣла посылать дѣтей побираться, и потому выгнала самого Пизонскаго и захлопнула у него передъ носомъ дверь свою.

«Тягаться съ нею судомъ,—подумалъ Пизонскій,—долго, и денегъ у меня нѣтъ на то, да и пока велятъ ей отдать мнѣ дѣтей, она ихъ непремѣнно ослѣпитъ».—Но разстаться съ дѣтьми и снова идти Богъ знаетъ куда одному—Пизонскому теперь уже показалось невозможно, и онъ въ теченіе слѣдующей за симъ ночи придумалъ нѣчто другое.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Увидѣвъ у одного крестьянскаго половня лозовую плетушку, въ которой носятъ мякину и ухоботье, Пизонскій утащилъ ее за сарай, высыпалъ изъ нея вонъ ржаной колосъ, настлалъ на дно свѣжаго сѣна и припряталъ у Пустырихи на огородѣ. (Онъ сдѣлалъ преступленіе — онъ укралъ плетушку). Чуть только на другой день выглянуло на небѣ солнышко и Пустыриха, по заведенному порядку, тронулась съ поводаркой въ поборъ, Пизонскій схватилъ оставшихся дома дѣвочекъ, посадилъ ихъ въ плетушку, подцѣпилъ ее своимъ кушакомъ за плечи и съ длиннымъ костылемъ въ рукѣ зашагалъ своими длинными ногами къ городу. Боязнь погони и страхъ за участь дѣтей, которыя, какъ не оперившіяся птички, спали свернувшись въ плетушкѣ за его плечами, такъ гнали Пизонскаго, что онъ, не отдыхая, отмахалъ въ лѣтній день шестьдесятъ верстъ и вечеромъ сталъ въ Старый Городъ. Здѣсь ему не было мѣста одному, и сюда онъ теперь являлся еще съ двумя взятыми на свое попеченіе дѣтьми.

Всякій имѣлъ полное основаніе назвать этого человѣка дуракомъ.

— Что-то онъ теперь будетъ дѣлать? Куда онъ съ ними подѣнется?

— Дуракъ!

. . . . . .

. . . . . .

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Качаясь за спиною Пизонскаго, обѣ путешествовавшія въ плетушкѣ сиротки спали цѣлый день; но вечерняя прохлада разбудила ихъ, и онѣ начали съ холоду ёжиться и попискивать. Но это ужъ было у пристани. Пизонскій въ это время уже свернулъ въ сторону въ подгородніе конопляники. Здѣсь онъ взялъ обѣихъ дѣвочекъ подъ мышки, вытрясъ на землю бывшее на днѣ плетушки сѣно, уложилъ на него дѣтей, сѣлъ надъ ними на корточки, какъ насѣдка, и, подобравъ ихъ подъ грудь, въ теченіе всей короткой ночи согрѣвалъ ихъ животною теплотою собственнаго тѣла и самъ плакалъ... сладко плакалъ отъ счастья.

«Чего мнѣ!—думалъ онъ,—и за что такая радость! Ты, Господь, хотѣлъ собрать дѣтей Іерусалима, какъ кокошъ собираетъ птенцы, а они не захотѣли... они Тебя огорчили,—они не пошли, а мои пришли ко мнѣ... я ихъ унесъ... укралъ... Я ихъ грѣю... Господи! прости мнѣ, что я ихъ укралъ!.. Дай мнѣ укрыть ихъ отъ зла... и прости мнѣ... прости, сдѣлай милость, что я также укралъ и плетушку!»

И онъ всхлипнулъ, окончивъ эту молитву, и тутъ же уснулъ, согрѣвая подъ грудью своею крѣпко спавшихъ сиротокъ.

Рослая конопля закрывала это гнѣздо такъ, что его можно было видѣть только съ неба.

Раннимъ утромъ, чуть только вспыхнуло погожее солнышко, Пизонскій всталъ съ своего мѣста, накрылъ спящихъ дѣтей плетушкой, и чтобы они, проснувшись, не могли ее съ себя сбросить, связалъ надъ нею крестъ-накрестъ четыре пучка конопли и вышелъ изъ своей засады. Оглядѣвшись на всѣ стороны, онъ вздохнулъ, перекрестился и прямо задами побрелъ къ городскимъ огородамъ. Городъ еще спалъ, нѣжась въ подымавшемся съ рѣки дымчатомъ туманѣ. Мѣста, которыми теперь шелъ Пизонскій, очевидно, были ему не очень знакомы, потому что онъ долго осматривалъ, припоминалъ малѣйшія примѣты и только послѣ долгихъ соображеній, открывъ глазами большой огородъ, обнесенный вокругъ высокимъ плетнемъ изъ лѣсной орѣшины, направился прямо къ этому огороду и перелѣзъ черезъ окружавшую его канаву, потомъ черезъ плетень. Очу-

тившись затѣмъ на самомъ огородѣ, Пизонскій изогнулся дугою, быстро пробѣжалъ по межамъ и спрятался въ грядахъ напереннаго гороха. Здѣсь онъ присѣлъ и сталъ кого-то высматривать. Цѣлый часъ онъ просидѣлъ въ горохѣ, то робко высовывая свою голову выше зелени, то снова быстро падая въ межу при малѣйшемъ шумѣ. Ради какихъ соображеній явился сюда Пизонскій, только нѣсколько дней тому назадъ изгнанный изъ этого дома съ неслыханной суровостью и позоромъ, и кого онъ теперь желалъ здѣсь встрѣтить? Этого отгадать было невозможно. Одно только можно было основательно предположить, что Пизонскій ждалъ здѣсь не Маркела Семеныча.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пизонскій, дѣйствительно, выжидалъ появленія совсѣмъ другого лица изъ семьи Дѣевыхъ, и невыразимо смутился, когда тихо скрипнули ворота задняго двора и на огородъ вышелъ высокій кучерявый парень въ свѣтлой розовой рубашкѣ. Это былъ не Маркелъ Семенычъ и не сынъ его, Марко Маркелычъ, но, очевидно, это все-таки былъ и не тотъ, кого желалъ встрѣтить Пизонскій.

Завидя вошедшаго молодца, Пизонскій не только не всталъ, но пригнулся какъ можно ниже.

Молодой человѣкъ, который вошелъ въ огородъ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по узкой дорожкѣ, раздѣлявшей гряды на двѣ ровныя половины, подперся лѣвой рукой въ бокъ и, весело глянувъ по широкому пространству, занятому росистыми овощами, тихо зѣвнулъ, потянулся и сталъ, почесывая сапожкомъ одной ноги другую. Этотъ юноша была сама молодость, сама воплощенная свѣжесть. Пизонскій его разсматривалъ не безъ удовольствія, забывъ даже какъ будто о своемъ нетерпѣніи. Но вотъ ворота скрипнули еще разъ. Въ этотъ разъ на огородѣ показалась высокая, молодая женщина съ веселымъ румянцемъ и прямыми соболиными бровями. Она была одѣта въ темной шерстяной юбкѣ, старенькой гарнитуровой душегрѣйкѣ и покрыта по головѣ бѣлымъ бумажнымъ платкомъ съ розовыми каемочками.

Завидя эту женщину, Константинъ Іонычъ покраснѣлъ отъ радости до ушей и заметался по межѣ. Явно было, что это и есть то самое лицо, которое онъ хотѣлъ здѣсь видѣть, и что теперь его занимала одна мысль: какъ при-

влечь на себя ея вниманіе, не обративъ на себя въ то же время вниманія стоящаго парня. Но такой маневръ былъ рѣшительно невозможенъ, и Пизонскій снова присѣлъ на колѣни и, удерживая дыханіе, сталъ торопливо раздвигать синеватые усы гороха.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Между тѣмъ бѣлолицая красавица, войдя на огородъ, приподняла одной рукою отъ росной травы юбку и прямо направилась къ грядѣ съ молодымъ свекольникомъ. Пизонскому показалось, что, завидя стоящаго на дорожкѣ парня, молодая женщина немножко смутилась, но тотчасъ же и улыбнулась. Дойдя спокойною поступью до гряды, она поставила на межу большую, расписанную сусальнымъ золотомъ деревянную чашу и стала проворно срывать и класть въ нее молодые свекольные листья. Этимъ временемъ парень приблизился тихой, щеголеватой походкой къ красавицѣ и съ веселой улыбкой проговорилъ:

— Здравствуйте, невѣстка!

Та, къ которой относилось это привѣтствіе, не обратила на него никакого вниманія.

Молодой человѣкъ снова усмѣхнулся; онъ обошелъ невѣстку съ другой стороны и уже гораздо смѣлѣе прежняго проговорилъ;

— Платонида Андревна, здравствуйте!

— Здравствуй и ты, Авениръ Маркелычъ, — отвѣчала, не подымая лица отъ гряды, Платонида Андревна.

Авениръ отдалъ невѣсткѣ низкій поклонъ и сталъ помогать ей рвать въ чашку свекольникъ.

— Ну, а помогать мнѣ я тебя не прошу, — проговорила Платонида Андревна.

— Что же это вамъ мѣшаетъ?

— Не мѣшаетъ, а не хочу.

— Позволите?

— Нѣтъ, не позволю.

И съ этимъ словомъ выбросила назадъ изъ чаши нарванный Авенировъ пукъ свекольныхъ листьевъ.

— Отчего вы, невѣстка, такая сердитая?—запыталъ, распрямляясь во весь ростъ, молодой деверь.

— Такъ; не хочу, чтобы ты тутъ вертѣлся.

Авениръ улыбнулся, опять нарвалъ другую горсть зелени и опять положилъ ее въ расписную чашку.

— Послушай, Авениръ! иди ты, сдѣлай милость, отъ меня съ своею помощью прочь! — вскрикнула красавица и, не выдержавъ, разсмѣялась и бросила нарванную Авениромъ зелень прямо ему въ лицо.

Авениръ, кажется, только и дожидался этой перемѣны.

— Ну, вы же вотъ, невѣстка, разсмѣялись и опять стали красавица!

— Еще соври что-нибудь.

— Вотъ ей-Богу, разрази меня Богъ на семъ мѣстѣ — красавица, а нѣту на свѣтѣ ни одной царицы такой красивой, какъ вы!—заговорилъ онъ, глядя на нее со сложенными на груди руками.

— Тьфу!—отплюнулась безъ сердца Платонида Андревна и опять стала рвать бѣлой рукой росный свекольникъ.

Авениръ отошелъ, походилъ немножко и, снова приблизясь къ невѣсткѣ, заговорилъ тихо:

— А отчего это и объ чемъ вы, невѣстка, вчера съ вечера плакали?

— А ты почему это знаешь, что я плакала?

— Да я жъ будто не слышалъ?

— Гм! Гдѣ жъ это ты, дуракъ, могъ это слышать?

Платонида Андревна улыбнулась и сказала:

— Нѣтъ, я вижу, что вправду надо на тебя Марку Маркелычу жаловаться, чтобы тебя на ночь запирали.

— Для чего меня запирать?

— Чтобъ ты подъ окнами, гдѣ тебѣ не слѣдуетъ, не шатался.

— Ну, у меня про то на случай и потолокъ въ палаткѣ разбирается,—отвѣчалъ Авениръ.

— Дуракъ ты самъ-то разборчатый и больше ничего, — проговорила Платонида Андревна. — Мало тебя, дурака, и безъ того за меня колотятъ, такъ ты, видно, хочешь, чтобъ еще больше тебя братъ съ отцомъ колотили. Ну, и поколотятъ.

— А пусть ихъ пока еще поколотятъ. Только я чуть ли скоро и самъ не начну имъ сдачи давать.

— Ну, да, какъ же, сдачи! Нѣтъ, а ты вотъ что, Авениръ; онъ вонъ, свекоръ-то, Маркелъ Семенычъ, намедни при всѣхъ при отцахъ изъ моленной сказалъ, что онъ та-

кую духовную напишетъ, что все одному Марку Маркелычу отдастъ, а тебѣ, глупому, за твое непочтенье къ родителю,— шишъ съ масломъ.

— Что жъ? вы же, невѣстка, тогда съ вашимъ мужемъ богаче будете. Я этимъ счастливъ буду.

— Ммм!.. Нѣтъ, скажи ты, пожалуйста, что ты это въ самомъ дѣлѣ, Авениръ, о себѣ думаешь?

— А ничего я, невѣстка, не думаю. Про что мнѣ много думать-то?

— Нѣтъ, тебѣ нравится, что ли, чтобъ тебя били за меня да колотили?

— А можетъ-быть и нравится.

— Дуракъ.

— Дуракъ, да вамъ преданный.

— Такъ я не хочу, чтобы тебя увѣчили за меня, да еще нищимъ сдѣлали? Что ты это забралъ себѣ въ голову?

Авениръ молчалъ и стоялъ сложа руки. Платонида Андревна, сдвинувъ брови, говорила внушительно:

— Ты бъ то, непутящій ты парень, взялъ себѣ въ разумъ, что я вѣдь твоего брата жена; невѣстка тебѣ называюсь.

— Да я развѣ этого не помню, что ли? — отозвался нетерпѣливо Авениръ. — Я все это прекрасно помню, и ничего нехорошаго не думаю.

— Нехорошаго! Хорошее или нехорошее ты себѣ думаешь, а только знай ты себѣ, что ты мнѣ надоѣлъ, и я не хочу, чтобъ ты за мной слонялся. Слышишь ты это, Авенирка, или нѣтъ? Слышишь! не смѣй и никакъ не смѣй ты здѣсь со мной больше встрѣчаться... И заступаться за меня тоже дома не смѣй и не приставай ко мнѣ, что я красивая... потому что не хочу я этого; не хочу и не желаю... Да и... коли ужъ на правду пошло, такъ знай, что и ты мнѣ постылъ, вотъ что!

— Ну, это что... на что пустое говорить, невѣстка, неправду?

— Какъ пустое? Какъ это пустое? Съ чего это ты взялъ, что это пустое?

Авениръ махнулъ рукою и, положивъ на губы свекольный листочекъ, насосалъ его и равнодушно хлопнулъ.

Платонида Андревна разсмѣялась и, пожавъ плечами проговорила:

— Ну, глядите, пожалуйста, на этого дурака, добрые люди!

— Эхъ, ужъ, невѣстка, полно вамъ все меня дуракомъ-то звать,—отвѣчалъ Авениръ.

— Что?

— А зачѣмъ вы меня цѣловали-то?

— Когда это? Когда это я тебя, дурака, цѣловала? Врешь ты это все, врешь ты это, лгунъ, никогда я тебя не цѣловала.

— Никогда?

— Никогда.

Платонида Андревна покраснѣла и, нагнувшись, стала еще скорѣе дергать свекольные листья и бросать ихъ въ чашу совсѣмъ съ землею.

— А забыли вы, невѣстка, какъ нашихъ въ прошломъ году дома-то не было?..

— Ну?

— А мы съ вами тогда въ прятки играли да на сѣнѣ боролись... то, помните?

Платонида Андревна приподнялась и, строго смотря въ глаза Авениру, спросила:

— Такъ что-жъ такое, что боролись?

— Ну, вотъ тутъ-то вы меня щекотали...

— Ну?..

— Ну, да и поцѣловали, отпираться нечего, что поцѣловали.

— Пффю, пустяки какіе онъ помнитъ! — отвѣчала, закрывая рукавомъ лицо, Платонида Андревна.—Можетъ, что и вправду какъ-нибудь тогда поцѣловала, потому что ты еще мальчикъ — отчего жъ мнѣ тебя было не поцѣловать. Ты моему мужу младшій братъ. Я этакъ хоть и еще сто разъ тебя, изволь, поцѣлую.

— Ну, поцѣлуйте.

Авениръ сдѣлалъ къ невѣсткѣ шагъ и слегка тронулъ ее за бѣлый кисейный рукавъ.

— Поди прочь, дуракъ!—серьезно проговорила, отшвырнувъ девереву руку, Платонида Андревна.

— Важность онъ какую придумалъ,—продолжала она: — что я поцѣловала! Въ этомъ острогѣ живучи, чорта съ рогами и того поцѣлуешь.

— А вотъ же и опять, невѣстка, неправду сказали; вотъ не очень-то вы брата цѣлуете.

— Авениръ! — крикнула, приподнявшись и стараясь говорить какъ можно строже, Платонида Андревна. Что ты, негодный ты парень, очень хочешь, чтобъ я тебя изругала? Такъ я тебя, поганаго мальчишку, сейчасъ вотъ какъ нельзя хуже отдѣлаю.

— Да что вы это все меня мальчишка да мальчишка. Полно вамъ; пора и перестать мальчишкой-то звать меня.

— А потому я тебя такъ зову, что ты мальчишка.

— Что мнѣ двадцать-одинъ годъ, то и вамъ вѣдь столько же. Ничуть моего не больше на свѣтѣ прожили.

— Я женщина.

— А я мужчина.

— Дуракъ ты, а не мужчина. Важность какая, мужчина! Да и развѣ такіе-то бываютъ мужчины?

— Да, а то, невѣстка, какіе же?

— Какіе?.. А я вотъ не посмотрю, что ты мужчина, да оплеуху тебѣ хорошую дамъ.

— Ну и что жъ такое—дамъ!

— И ей-Богу дамъ!

— Да сдѣлайте одолженіе.

— И ударю тебя, и изругаю, и какъ не надо хуже высрамлю,—сказала, возвышая голосъ и на этотъ разъ непритворно сердясь, Платонида Андревна.—Что это въ самомъ дѣлѣ за наказаніе! Ничего, балбеска этакой, не дѣлаетъ; на пильню его калачомъ не заманишь, торговлѣ не учится, съ пристани все норовитъ какъ бы ему домой скорѣй; да еще теперь что себѣ, мерзавецъ, вообразилъ? Голова бъ у другого треснула такое подумать. Иди ты, негодяй, прочь!—крикнула она, размахнувшись на Авенира чашкой.—Прочь; а то сейчасъ брата крикну!

— Платоннннида! — раздался въ эту минуту со двора изъ-за сарая сухой, дребезжащій голосъ.

При первыхъ звукахъ этого голоса, Авениръ запрыгалъ козломъ черезъ гряды и, перескочивъ черезъ межу въ горохъ, очутился какъ разъ лицомъ къ лицу съ притаившимся здѣсь Пизонскимъ.

Оба они сидѣли на корточкахъ другъ противъ друга, какъ сидятъ рано утромъ на лѣсной опушкѣ молодые зайцы, и оба протирали себѣ руками удивленные глаза.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Между тѣмъ, Платонида Андревна, слѣдя съ улыбкой за прыгающимъ Авениромъ, спокойно отвѣчала мужу:

— Сейчасъ!

— Что, не знаешь ли ты, гдѣ это Авенируъ? — продолжалъ тотъ же голосъ уже нѣсколько ближе.

— Нѣтъ, Марко Маркелычъ, не знаю,—опять отозвалась Платонида Андревна.

Въ калиткѣ показался похожій на ежа низенькій, черный съ просѣдью человѣкъ, лѣтъ сорока-пяти, съ злою физіономіею и сурово выглядывающими исподлобья подозрительными глазами.

— А здѣсь его нѣтъ?—спросилъ онъ, остановясь и распявшись руками на калиткѣ.

— Нѣтъ.

— И не бывалъ?

— И не бывалъ.

— Взаправду?

— Да что же ему здѣсь, Марко Маркелычъ, дѣлать?

— Гдѣ жъ это онъ, шальная собака, запропастился?

— Мнѣ будто показалось что-то, что онъ на пристань рано пошелъ,—отвѣчала Платонида Андревна.

— Опять же-таки все это онъ безъ времени дѣлаетъ.

— Торопился, видно, что работы много.

— Усерденъ очень! Ну-къ бы ему нынче за это его усердіе опять безъ чаю. Мы съ батюшкой идемъ на прядильню, а ты, если онъ вернется, чтобъ самовара ему другого не смѣла ставить! Слышишь ты про то или нѣтъ?

— Слышу.

— Не давать ему чаю, когда онъ своего времени не помнитъ.

— Не дамъ.

— Такой мой приказъ: не давать!

— Да не дамъ же, не дамъ, Марко Маркелычъ. Неужели-жъ-таки я васъ въ этомъ ослушаюсь? Можете послѣ и Дарью спросить,—отвѣчала мужу Платонида Андревна.

Калитка хлопнула на блокъ, и изъ-за гряды синихъ бобовъ въ ту же минуту съ испугомъ высунулась голова Авенира. Онъ проворно запрыгалъ опять козломъ черезъ гряды и, на бѣгу, тихо показывалъ Платонидѣ Андревнѣ рукою на гряду гороха.

— Скройся ты съ глазъ моихъ, нерачитель ненавистный!—проговорила, встрѣчая его и озираясь по сторонамъ, Платонида Андревна.—Что ты бзыришь-то козломъ по огороду? Пошелъ, тебѣ говорятъ, вонъ!

Но Авениръ, не слущая этого приказа, тихо взялъ невѣстку за рукавъ и тихо же съ серьезной миной указалъ ей рукою на гороховую гряду, за которой скрывался доселѣ Пизонскій.

Платонида Андревна только-что взглянула по этому направленію, какъ пронзительно вскрикнула и уронила изъ рукъ чашу со свекольникомъ. Въ горохѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ поставленнаго для воробьевъ пугала, стояла длинная, смѣшная фигура Пизонскаго, на которой, тоже какъ и на пугалѣ, висѣли лохмотья мокраго коленкороваго халата, подпоясаннаго зеленою коноплею.

— Миленькая! Постой! Миленькая Платонида Андревна, постойте!—заговорилъ Пизонскій, вылѣзая изъ-за своей засады.—Я къ тебѣ, дѣвушка, не съ зломъ пришла.

Платонида Андревна съ нѣмымъ удивленіемъ разсматривала предстоящую ей странную фигуру; ей казалось, что это само гороховое пугало сошло съ мѣста, чтобы обличить ее въ грѣхѣ Иродіады, т. е. въ ея хотя дѣтской, но все-таки сердечной слабости къ мужниному брату.

Константинъ Іонычъ, разрушая убѣжденія Платониды Андревны о его тождествѣ съ гороховымъ пугаломъ, поспѣшилъ счестьси съ нею родствомъ, потомъ напомнилъ, какъ его три дня назадъ приняли Маркелъ Семенычъ и мужъ Платониды, Марко Маркелычъ, и наконецъ, поклонившись Платонидѣ Андревнѣ до земли, сталъ просить ее пособить ему пріютить спрятанныхъ имъ на конопляникѣ дѣтей.

Извѣстное дѣло, что никогда и никому женщина неспособна оказать болѣе великодушнаго сочувствія и услуги, какъ человѣку, сдѣлавшемуся случайно повѣреннымъ ея сердечной слабости.

Платонида Андревна подтвердила непреложную истину этого мнѣнія: не разспрашивая ничего болѣе у Пизонскаго, она прямо обратилась съ вопросомъ къ Авениру:

— Ну, какъ же быть? Что же мы, Авениръ, сдѣласмъ?

Авениръ только развелъ руками.

— Развѣ вотъ что,—продолжала Платонида Андревна:—развѣ, ступай ты, Авенирка, отъ меня къ бабушкѣ Ро-

ховнѣ; она хоть и не изъ церковныхъ, по не строгая; она, можетъ, сжалится—приметъ.

А Пизонскій продолжалъ:

— И доложу тебѣ, моя умница, что одежонки на нихъ, на бѣдныхъ птенчикахъ, теперь никакой нѣтъ ровнехонько; одна-таки еще въ рубашечкѣ, а другая, меньшинькая—совсѣмъ голенькая. Завернула я ее въ свои штанцы, да не очень ей въ нихъ пристойно, а ея лохмотики всѣ свалились, да, совсѣмъ свалились.

— Это ничего,—отвѣчала Платонида Андревна:—лохмотковъ я сейчасъ вынесу. Чтобъ только Дарья-воровка за мною какъ не подсмотрѣла! — добавила она, взглянувъ на Авенира и приложивъ къ губамъ палецъ. — Она ночче все за мной, какъ есть всякій мой шагъ замѣчаетъ.

— А вы, невѣстка, будто какъ на пугало что̀ негодное несете: сверните въ комочекъ да и пронесите, — научалъ Авениръ невѣстку.

— Только я свое развѣ что — дѣтскаго у меня ничего нѣтъ, потому дѣтей у насъ нѣтъ въ домѣ—не рожаю я,— заговорила, бѣгучи къ калиткѣ, Платонида Андревна.

Минутъ черезъ пять она громко закричала на дворѣ «шугууу!» и выскочила на огородъ съ туго свернутымъ комкомъ, изъ котораго мотались и коленкоръ, и холстъ, и пола стеганой ватной шубеечки.

Ткнувъ этотъ сверточекъ Пизонскому, она дернула за локоть Авенира и сказала:

— На забѣги оттуда въ трактиръ, тамъ чаю напейся,— и съ этимъ она сунула ему въ руку пятиалтынный.

Авениръ ласково отвелъ невѣсткину руку и проговорилъ:

— Спрячьте, невѣстка, спрячьте; вамъ самимъ надо; а я и безъ чаю хорошъ буду.

Съ этими словами Авениръ не хуже ловкаго волтижера перелетѣлъ черезъ частоколъ и побѣжалъ вслѣдъ за Пизонскимъ, который, обхвативъ руками данныя ему ветошки, уже выбирался широкими шагами на поле.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Древлепечатная бабушка Февронья Роховна, мѣстная знахарка и акушерка, была старуха очень добрая и, по замѣчанію Платониды Андревны, «не строгая». Она пустила Пизонскаго съ принесенными имъ въ плетушкѣ

дѣтьми пожить въ маленькомъ деревянномъ чуланчикѣ, гдѣ у нея висѣли разные цѣлебные и мнимоцѣлебные коренья и травки. Пока до осени Пизонскій и пріютился здѣсь такъ, что, по крайней мѣрѣ, и дождь, и ночные холода ему съ дѣтьми были не страшны; а Авениръ каждую недѣлю раза два приносилъ сюда отъ Платониды Андревны и печенаго, и варенаго, и молока, и свѣжей огородины. Пизонскій устраивался. Онъ постоянно сидѣлъ на полу въ чуланѣ возлѣ кровати, на которой помѣщались его дѣти, и то забавлялъ ихъ самодѣльными игрушками, то ковыялъ иглою, перешивая имъ изъ присылаемой Платонидой Андревной ветоши разныя рубашечки, шапочки, фуфаечки, да епанечки. Шилъ онъ прекрасно, какъ искусная женщина. Этому его научили въ монастырѣ, когда считали его дѣвочкой. О Пизонскомъ еще почти никто въ это время не зналъ въ Старомъ Городѣ; а кто зналъ, тотъ или ничего о немъ не думалъ, или думалъ, что это новый пищій, новый стоялецъ соборнаго притвора. Сама бабушка Роховна, глядя на его возню и хлопоты, не предрекала ему другой судьбины и мысленно упрекала его, зачѣмъ онъ забралъ дѣтишекъ.

— Какъ ты съ ними будешь, Іонычъ?—говорила ему не разъ, указывая на дѣтей, бабушка Роховна.

— Бабушка,—отвѣчалъ старухѣ Пизонскій:—сидѣлъ пророкъ Илія одинъ въ степи безлюдной; предъ очами его было море синее, а за спиною острая скала каменная, и надо бы ему погибнуть голодомъ у этой скалы дикой.

— Такъ, батюшка,—подтвердила Роховна.

— Да послалъ къ нему Господь ворона,—говорилъ, ожившись, Пизонскій:—и повелѣлъ птицѣ кормить слугу своего, и она его кормила. Замѣчай: птица, бабушка, кормила! *птица!*

— Такъ, батюшка, точно что кормила.

— Да, мать Февронья Роховна, кормила. И послалъ мнѣ Господь двухъ птицъ: летаетъ ко мнѣ воронъ Авениръ и печется обо мнѣ бѣлая лебедь Платонида Андревна, и прокормятъ они меня съ цыплятками моими, пока я обошью ребетёнокъ и сама стану на ноги.

«Гдѣ тебѣ стать на ноги?» — молча, думала про себя, отходя отъ него, бабушка Роховна; но скоро она перемѣнила это мнѣніе.

Константинъ Іонычъ, принимая пособіе Авенира и Платониды, и самъ не сидѣлъ сиднемъ и не ждалъ воды подъ лежачій камень. Энциклопедизмъ его скоро ему пригодился и его выручилъ. Пизонскій показалъ бабушкѣ Роховнѣ, что ни самъ онъ, ни его цыплята не пропадутъ — ни съ холоду, ни съ голоду.

Обшивъ дѣвочекъ, Константинъ Іонычъ вступилъ съ бабушкой въ переговоры о дозволеніи обрядить ея чуланъ на свой счетъ въ жилую каморку, съ тѣмъ, что онъ, какъ Богъ его поправитъ, сдастъ ей все въ порядкѣ, а пока будетъ здѣсь жить, станетъ ей платить по полтиннику въ мѣсяцъ.

Бабушка Роховна, не видя для себя въ этомъ ничего, кромѣ прибытка, согласилась. Пизонскій, пользуясь тѣми часами, когда нашалившіяся дѣти засыпали, натаскалъ на бабушкинъ дворъ мѣшковъ глины, вымазалъ чуланъ самымъ тщательнымъ образомъ, напихалъ въ подполье земли, сложилъ крошечную печурку и, наконецъ, спокойно крякнулъ.

У-у! какъ богатъ и какъ счастливъ теперь былъ Пизонскій и какимъ назидательнымъ примѣромъ онъ могъ бы служить для великаго множества людей, разрѣшающихъ проблематическіе трактаты о счастьи!

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Съ устройствомъ каморки, Пизонскій далеко отогналъ отъ себя всякое безпокойство. Теперь у него была только одна насущная забота, — забота пріучить старшую, пятилѣтнюю дѣвочку Глашу присматривать, въ его отсутствіе, за ея младшей сестрой Нилочкой, или, какъ Пизонскій звалъ ее, *Милочкой*.

Достигнувъ того, что малосмысленную Милочку можно было оставлять подъ надзоромъ Глаши, Константинъ Іонычъ началъ отлучаться на короткое время изъ дома, и послѣ каждой такой отлучки возвращался всегда домой съ покупками, на которыя истратилъ послѣдніе два рубля, принесенные имъ изъ солдатчины. Прежде всего Пизонскій пришелъ домой съ старымъ муравленымъ горшкомъ; потомъ онъ въ нѣсколько пріемовъ натаскалъ къ себѣ разныхъ негодныхъ баночекъ, пузырьковъ и бутылочекъ и, наконецъ, принесъ чернильныхъ орѣшковъ, меду и голландской сажи. Съ

этими препаратами и съ этимъ матеріаломъ Пизонскій усѣлся передъ печкой за химическія занятія. Дня черезъ два онъ вышелъ изъ дому съ большой бутылкой чернилъ и съ деревяннымъ ящикомъ черной, лоснящейся ваксы. На чернилахъ Пизонскій сбанкрутовалъ, потому что сторожа присутственныхъ мѣстъ дѣлали чернила на казенныя деньги и, слѣдовательно, могли продавать этотъ продуктъ на сторону гораздо дешевле Пизонскаго; но его свѣжая вакса оказалась гораздо лучше сухой синей ваксы, получаемой въ плиткахъ изъ Москвы, и эта часть коммерціи его выручила. Константинъ Іонычъ совсѣмъ ожилъ и сталъ еще смѣлѣе и предпріимчивѣе. Скоро Старый Городъ увидалъ его безпрестанно снующаго изъ дома въ домъ съ набитымъ ваксою деревяннымъ ящикомъ и съ дешевыми, очень прочными самодѣльными щетками. Пизонскій леталъ съ своимъ ящикомъ во всѣ дома, въ лавки, въ присутственныя мѣста, на постоялые дворы; вездѣ онъ тихо и не спѣша снискивалъ себѣ общую расположенность, со всѣми знакомился и всякому на что-нибудь пригожался. Въ уѣздномъ судѣ часы били лѣтъ двадцать съ такимъ частымъ боемъ, что никто не могъ счесть, сколько они ударили—часъ или двѣнадцать: Пизонскій снялъ часы, попилилъ, постучалъ и они стали бить отчетисто: разъ, два, три—какъ слѣдуетъ. Отцу-протопопу Тубѣрозову онъ устроилъ въ окнѣ жестяной вентиляторъ. Отецъ-протопопъ похвалилъ его и сказалъ: «да, ты не изященъ, но не безъ таланта». Городскому головѣ Котинъ сдѣлалъ деревянную ногу, чтобы чистить на ней его высокія голенища, и тотъ тоже не преминулъ похвалить его. Дьякону Ахиллѣ приправилъ, по его просьбѣ, шпоры къ сапогамъ, въ которыхъ дьяконъ намѣревался ѣздить верхомъ въ деревню къ знакомымъ. Правда, что шпоры эти жили недолго, потому что встрѣтившій Ахиллу со шпорами протоіерей Тубѣрозовъ тутъ же велѣлъ эти шпоры отломить; но тѣмъ не менѣе и эти шпоры все-таки тоже были за Пизонскаго. Потомъ Пизонскій кому починилъ зонтикъ, кому полудилъ кастрюлю, кому спаялъ изломанныя мѣдныя вещи, склеилъ разбитую посуду, и Старый Городъ не успѣлъ оглянуться, какъ Пизонскій въ самое короткое время прослылъ въ немъ самымъ преполезнымъ человѣкомъ. Теперь, кажется, если бы Пизонскій самъ задумалъ почему-нибудь оставить Старый Городъ, такъ всѣ бы заговорили въ одинъ голосъ: «нѣтъ, какъ же

это мы останемся безъ Константина Іоныча?» Почтмейстерша, слышавшая за большую хозяйку и великую ехидну, даже ужъ впередъ нѣсколько разъ публично выражала такое мнѣніе, что безъ Пизонскаго въ Старомъ Городѣ и жить было бы невозможно.

Съ голоса почтмейстерши, въ самомъ скоромъ времени, то же самое заговорили о Пизонскомъ и другіе.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,—говорили эти другіе:—Боже спаси насъ остаться безъ Константина Іоныча! Теперь даже вспомнить это время, какъ его у насъ не было, когда за всякимъ пустякомъ, бывало, посылай въ губернію, такъ и не понимаешь даже, какъ это мы и жили.

Пизонскій, можетъ-быть, уже долженъ бы былъ заботиться о томъ, чтобы не возбуждать противъ себя зависти и злословія, но Пизонскій велъ себя тихо, ровно и, не возносясь своими успѣхами, не возбуждалъ и ничьей зависти.

Доброе имя его все росло и общее расположеніе къ нему все увеличивалось. Расположеніе это выражалось не одними словами, но и дѣлами. Въ городѣ вдругъ оказалось нѣсколько лицъ, которыхъ стала серьезно занимать мысль о томъ, какъ бы прочно устроить здѣсь бытъ многополезнаго Константина Іоныча.

Первая выразила такую заботливость почтмейстерша.

Эта полная, животрепещущая дама, которой, какъ греческаго огня, боялись всѣ почтальоны и которой больше всѣхъ боялся ея мужъ, зашла въ своей расположенности къ многополезному Пизонскому до того, что вмѣнила мужу въ непремѣнную обязанность дать Пизонскому мѣсто при почтовой конторѣ.

— Матушка!—начиналъ, складывая на груди руки, умоляющій почтмейстеръ, желая этимъ покорнымъ жестомъ изъяснить супругѣ, какъ трудно создать для Пизонскаго мѣсто при почтовой конторѣ.

— Что-съ?—грозно окликала мужа животрепещущая почтмейстерша:—я этого требую; слышите: *требую?*

— Ангелъ мой!—еще ниже одною нотою запѣвалъ почтмейстеръ:—но если этого нельзя?

Почтмейстерша посмотрѣла на мужа холоднымъ, презрительнымъ взглядомъ.

— Голубчикъ Дезидерій Иванычъ,—обратился на другой день почтмейстеръ къ своему сортировщику: — сдѣлай ми-

лость, научи, какъ бы намъ дать въ конторѣ Пизонскому мѣсто. Непремѣнно этого требуетъ Агаѳья Алексѣвна.

— Ахъ, ты Боже мой!—отвѣчалъ сортировщикъ, и оба они съ почтмейстеромъ задумались.

— Развѣ вотъ что,—началъ, потянувъ себя двумя перстами за нижнюю губу, Дезидерій Иванычъ: — развѣ посадить его расписываться въ получательской книгѣ.

— Вы, ей-Богу, министръ,—отвѣчалъ обрадованный почтмейстеръ и тотчасъ же послалъ сторожа за Константиномъ Низонскимъ.

Призванный Пизонскій и радъ и не радъ былъ своему счастью: съ одной стороны его манила прелесть заработка за расписку вмѣсто неграмотныхъ, а съ другой, какъ вспоминалъ онъ степень собственной грамотности, и особенно бралъ въ расчетъ долговременное неупражненіе въ этомъ капризномъ искусствѣ, онъ не рѣшался взяться за это хитрое дѣло.

— Робка я, дѣвушка, на перѣ,—говорилъ онъ почтмейстеру.

— Дезидерій Иванычъ тебя, Константинъ Іонычъ, поучитъ; онъ тебя поучитъ, поучитъ.

Пизонскій подумалъ и, поджигаемый безгрѣшной корыстью, отвѣчалъ: «ну, развѣ поучить».

Дали Пизонскому мѣсто «расписчика», но только не въ прокъ пошло ему это мѣсто по протекціи. Первый же почтовый день, въ который ему пришлось расписываться за неграмотнаго получателя, былъ и послѣднимъ днемъ его почтовой службы.

— Пиши, Константинъ Іонычъ, — диктовалъ ему сортировщикъ.

Пизонскій взялъ въ руки перо, сначала его послюнилъ, потомъ обмакнулъ, потомъ положилъ на бумагу руку, а на руку налегнулъ правой щекою, долго выводилъ перомъ разные разводы и, наконецъ, воскликнулъ: *«есть!»*

Сортировщикъ съ внятными разстановками началъ диктовать: «оные семь рублей и десять копеекъ серебромъ получилъ и расписался такой-то, а вмѣсто его, неграмотнаго, отставной рядовой Константинъ Пизонскій».

Пизонскій еще крѣпче прижалъ щеку къ бумагѣ и пошелъ выводить.

На этотъ разъ онъ рисовалъ до безконечности долго;

круглые глаза его выпирало отъ внимательнаго слѣдованія за водящею перомъ рукою; на лбу собирались капли холоднаго пота, и все лицо его выражало невыносимую тревогу.

Это продолжалось добрую четверть часа, по истеченіи которой Пизонскій вдругъ быстро откинулся на спинку стула, потомъ вскочилъ и затрясся, не сводя глазъ съ своей расписки. Видъ его въ это время былъ просто ужасенъ: онъ походилъ на медіума, вызвавшаго страшнаго духа и испуганнаго его явленіемъ. Сортировщикъ и почтмейстеръ заглянули на роковую страницу и тоже остолбенѣли. На этой страницѣ рукою Пизонскаго было изображено: «Оніе скилбуры и удастъ кокеу съ рублемъ почулъ и распился отстегни на видъ Контантинтантин...»

Это убійственное для воспроизведенія перомъ имя подняло въ душѣ Пизонскаго всѣ забытыя страданія его сиротскаго дѣтства; каждое одно изъ другого вытекавшее «тантинтантин» являлось передъ нимъ новымъ, злымъ, насмѣшливымъ кобольдомъ, или гномомъ, и онъ не выдержалъ, всталъ и въ страхѣ затрясся.

— Вотъ, ангелъ мой, какъ онъ расписался, — говорилъ черезъ минуту почтмейстеръ, предъявляя женѣ испорченною получательскую книгу.

Почтмейстерша не выдержала и улыбнулась, прочитавши Пизонскаго «скилбуры».

— И «отстегни на видъ»,—указывалъ ей, обрадованный ся улыбкою, почтмейстеръ.

— Ну, что жъ вы тутъ такое особенное показываете?

— Да помилуй же, душка: «отстегни на видъ». Какъ же это можно такъ сказать? Въ этомъ вѣдь просто нѣтъ смысла.

— Да, я это вижу, но я все-таки буду о немъ самаго хорошаго мнѣнія,—отвѣчала почтмейстерша такъ, какъ будто она была хорошаго мнѣнія о тѣхъ, которые къ почтовой службѣ неспособны.

Этотъ новый анекдотъ о Пизонскомъ разошелся по городу; но и онъ нимало не повредилъ его незыблемой репутаціи.

Напротивъ, Пизонскаго чуть ли не съ этихъ поръ и начали принимать въ чиновничьихъ домахъ не какъ ремесленника, а какъ свободнаго художника, которому мелочи приказностроительства даже и неприличны. Его те-

перь не кормили на кухняхъ, а сажали на особый стулъ у двери залы; ему подносили рюмку водки не между пальцами, а на ломтѣ хлѣба, и говорили ему въ глаза не просто «ты», а «ты, Константинъ Іонычъ». Онъ до такой степени выдвигался изъ положенія рабочаго смерда, что даже самъ голова сталъ посылать ему чаю не въ сѣни, а въ молодцовскую, и позволялъ разсуждать съ собою стоя у притолоки. И не прошло года, какъ всѣ замѣтные люди Стараго Города самымъ незамѣтнымъ образомъ очутились друзьями и сторонниками убогаго пришельца Пизонскаго и ему настала пора сдѣлаться собственникомъ и гражданиномъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Принося всѣмъ и каждому посильныя услуги и втираясь, безъ всякихъ подобострастныхъ искательствъ, во всеобщее расположеніе, Константинъ Іонычъ никогда не жаловался на свою судьбу и даже никогда ни слова никому не говорилъ о своихъ сироткахъ. Развѣ когда кто самъ его о нихъ спрашивалъ: «Ну, какъ, Константинъ Іонычъ, твои дѣти?» то только въ такихъ случаяхъ Пизонскій отвѣчалъ: «А живутъ, моя дѣвушка, помаленечку».

— Ты бы, Константинъ Іонычъ, подумалъ, чтобъ дать имъ какое-нибудь воспитаніе,—говорили ему барыни.

Пизонскій отмалчивался или коротко отвѣчалъ:

— Какъ же, дѣвонька, я думаю.

— Хоть бы ты ко мнѣ ихъ присылалъ поучиться, — предлагала ему почтмейстерша.

Пизонскій и отъ этого отдѣлывался.

— Дики онѣ у меня, дружокъ: очень сиротливы; людей не видали; куда имъ въ господскомъ домѣ!

У Константина Іоныча насчетъ воспитанія сиротъ были свои планы, о которыхъ онъ ни съ кѣмъ не говорилъ, но которые зналъ до малѣйшихъ деталей.

Совѣсть, не допускавшая Пизонскаго никому ни на шагъ перебивать никакой дороги, изощрила его вниманіе къ тѣмъ брѣсовымъ средствамъ, которыя лежатъ праздными которыя какъ бы никому ни на что не нужны и не обращаютъ на себя ничьего вниманія. Неудача почтовой карьеры еще болѣе убѣдила Пизонскаго, что онъ не можетъ идти путями протекцій. Онъ чувствовалъ, что ему

пригодны одни прямые пути; что для него гораздо удобнѣе брать въ свои руки то, чѣмъ небрегли другіе, что̀ не дастъ ему ни недостойной борьбы, ни враговъ и завистниковъ.

Пизонскій видѣлъ, что на нашей просторной землѣ, на нашей широкой полосѣ, и нежатой, и неоранной, еще нетронутаго добра будетъ и преизбудетъ на всякую плоть, не щадящую пота своего, и онъ сдѣлалъ новый шагъ къ устройству сиротъ своихъ. Въ одно лѣто Пизонскій явился на сходку въ думу и сказалъ:

— Не будетъ ли, господа думцы, вашей милости пустить меня съ сиротами покормиться подъ мостъ на пустой островъ?

— И вправду,—заговорило общество: — пустимъ ихъ на нашъ пустой островъ. Все равно вѣдь отъ этого пустыря никакой пользы нѣтъ,—пусть же этою лядою хоть добрый человѣкъ пользуется.

И Пизонскій безданно и безпошлинно получилъ въ долгосрочную временную собственность пустой островъ — царство запустѣнія, бурьяна, ужей и крапивы.

Это пріобрѣтеніе было для Пизонскаго такимъ великимъ счастіемъ, что онъ не могъ и вообразить теперь кого-нибудь счастливѣе себя на цѣломъ свѣтѣ. Въ первый же годъ по полученіи въ свою власть этого острова, онъ поставилъ здѣсь хибарочку, выкопалъ землянку, окопалъ ровокъ и поставилъ воротцы. На другой годъ пустынный островъ былъ уже бакшою, давшею Пизонскому съ сиротами и хлѣбъ, и соль, и все, еже имъ на потребу. Зимою Пизонскій почувствовалъ себя даже баріномъ. Онъ добылъ, гдѣ могъ, различныхъ книжекъ и научилъ своихъ сиротокъ грамотѣ, и успѣхи обѣихъ, очень понятливыхъ дѣвочекъ, были Пизонскому неслыханнымъ утѣшеніемъ. Въ такомъ прелестномъ благополучіи, въ такомъ райскомъ житьѣ прошли для нашего Робинзона цѣлые четыре года: семейный міръ его не возмущался ничѣмъ ни на минуту; дѣти его подрастали и учились; у него завелись лошадка и телѣжка, которую онъ, по любви къ искусствамъ, каждую весну перекрашивалъ въ новую краску; годы шли урожайные, нечего было и желать больше. Пизонскій всѣми былъ почитаемъ за человѣка годнаго на все и повсюду, и, дѣйствительно, онъ только не годился въ чиновники.

Такъ Пизонскій возникъ безъ опеки и безъ покровительствъ и уже самъ покровительствовалъ тому, что̀ имѣетъ право на покровительство,—*дѣтству*. Но... всегда ждутъ насъ, гдѣ мы не думаемъ, разныя скверныя *но*.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Въ тотъ приснопамятный годъ, когда во многихъ мѣстахъ Россіи передъ осенью во второй разъ зацвѣли въ садахъ вишни и яблони и народъ запророчествовалъ по этому явленію великій моръ на люди, отошелъ въ вѣчность Марко Дѣевъ, мужъ встрѣченной нами утромъ на огородѣ молодицы Платониды Андревны. Въ огромной дубовой колодѣ, съ пудовыми свѣчами, съ ладаннымъ куреніемъ и гнусливымъ раскольничьимъ пѣніемъ отнесли его на кладбище и сравняли, по обычаю, съ землею, которую онъ протопталъ лѣтъ полсотни своими сапожищами. Никто особенно не убивался на могилѣ отшедшаго Марка. Вдова его, Платонида Андревна, тихонько поплакала, да старикъ Маркелъ Семенычъ уронилъ нѣсколько слезинокъ. Только всего и было вещественнаго выраженія скорби по этомъ усопшемъ. Братъ покойника Авениръ оставался совершенно равнодушенъ къ смерти своего жестокаго брата, тѣмъ болѣе, что въ теченіе трехъ послѣднихъ дней, которые мертвецъ простоялъ въ домѣ, старикъ Маркелъ Семенычъ, начавшій, страха ради холернаго, прилежать чарочкѣ, разъ пять принимался колотить Авенира чѣмъ попадя, упрекая его при этомъ въ безчувственности и говоря, что «вотъ тебѣ бы, нерачителю, слѣдовало растянуться, а не брату». Маркелъ Семенычъ, взволновавшись одинъ разъ горемъ утраты, страхомъ смерти и виномъ утѣшенія, никакъ не могъ войти въ свою форму и не уставалъ поддерживать себя стаканомъ. Засыпавъ сына землею, онъ и тамъ, на кладбищѣ, выпилъ за его душу одну серебряную чарочку, роздалъ тамъ же своею рукою мѣшокъ мѣдныхъ денегъ на поминъ сыновней души и сѣлъ верхомъ на свои старинныя дрожки, запряженныя толстою вороною лошадью, а въ колѣни, бокомъ къ нему, робко присѣла овдовѣвшая невѣстка Платонида Андревна. Ясные съ темной поволокой глаза молодой вдовы были очень мало заплаканы, и чуть только она съ свекромъ выѣхала съ кладбища на поле, отдѣляющее могилки отъ города, эти ясные глаза совсѣмъ высохли и взглянули изъ-подъ густыхъ рѣсницъ сво-

ихъ еще чище, чѣмъ смотрѣли доселѣ. Словно они только умылись слезой, или словно теперь только они и увидѣли впервые свѣтъ Божій. Да именно скорѣе можно было предполагать, что они теперь только впервые и увидѣли этотъ свѣтъ. Это говорили не одни глаза красавицы, но и ея бѣлая грудь, которая вздыхала теперь вольно и широко, колышась подъ кармазинной душегрѣйкой.

Кто бы теперь только дерзнулъ напомнить этой пышной розѣ: «*ты вдовица!*» чья бы рука налегнула срѣзать такимъ напоминаніемъ этотъ роскошнѣйшій цвѣтокъ, такъ сильно протестовавшій за свое право цвѣсти, зрѣніе радовать и разливаться ароматомъ? Нѣтъ, самый пламеннѣйшій идеалистъ не посовѣтовалъ бы ей проводить жизнь въ воздыханіяхъ о переселившихся въ вѣчность; ее не осудилъ бы на сожженіе съ мужемъ самый фанатическій индіецъ, и если суровый аскетъ не сказалъ бы ей: «Жено! впередъ отпущаются ти вси грѣхи», то поэтъ, глядя въ ея дѣтское личико, долженъ былъ воскликнуть:

Мертвый въ гробѣ мирно спи,
Жизнью пользуйся живущій!

Даже суровый старикъ Дѣевъ не щунялъ се за скудость источниковъ ея слезъ, и онъ, возвращаясь съ сыновнихъ похоронъ, прощалъ невѣсткѣ земную красоту ея и, поглядѣвъ на нее, проговорилъ только:

— Тебѣ неловко сидѣть, Платонида! Сядь, лебедь, сюда, ближе!—съ этимъ старикъ своею рукою подвинулъ невѣстку отъ кучеровой спины къ своимъ колѣнямъ и еще разъ добавилъ:—сядь такъ.

— Нѣтъ, тятенька, ничего мнѣ; мнѣ очень даже прекрасно,—отвѣчала Платонида Андревна.

— А ты еще попридвинься: такъ еще будетъ лучше.

Платонида Андревна въ угоду свекру слегка подвинулась. Маркелъ Семенычъ долго смотрѣлъ ей на носъ, на лобъ, на рѣсницы и, наконецъ, проговорилъ:

— Ты, молодица, по мужѣ хошь и плачь въ свою мѣру, потому что онъ тебѣ былъ мужъ; ну, очень-то ужъ ты не убивайся: ты забыта и обижена въ моемъ домѣ не будешь.

Платонида Андревна легонько поклонилась свекру.

Эта покорная благодарность такъ понравилась Маркелу Семенычу, что онъ, слѣзая у воротъ съ дрожекъ, крѣпко сжалъ за локоть невѣсткину руку и еще разъ сказалъ ей:

— Не бойся, моя лебедь, никого не бойся.

За заупокойнымъ столомъ Маркелъ Семенычъ нѣсколько разъ публично заговаривалъ, что хоша сынъ его и умеръ бездѣтнымъ, но что онъ, почитаючи его вдову, а свою невѣстку, желаетъ ей сдѣлать опредѣленіе и намѣренъ дать ей равную съ Авенирамъ часть.

— А можетъ-быть даже,—добавлялъ онъ, искоса взглядывая на Авенира:—можетъ-быть, что въ такомъ буду мнѣніи, что и все ей одной отпишу, какъ она того заслуживаетъ, потому что ничѣмъ я не могу ее укорить и всѣмъ я ею доволенъ, а добро есть мое собственное—кому его захочу отдать, тому и отдамъ.

Платонида Андревна краснѣла до самыхъ ушей, и не знала, что ей говорить и что думать, и въ смущеніи растерянно кланялась за столомъ въ поясъ свекру.

Во все время обѣда Маркелъ Семенычъ все себя подправлялъ, все попивалъ по чашечкѣ и, наконецъ, захмелѣлъ. Проводивъ, какъ могъ, гостей, онъ повалился на диванъ и только безсмысленно произнесъ:

— Невѣстка!

Платонида Андревна съ Авенирамъ взяли старика подъ руки и отвели его въ спальню.

— Невѣстка!—произнесъ онъ снова, еще болѣе заплетая языкомъ, когда его положили въ постель.

— Что изволите?—спросила его Платонида Андревна; но Маркелъ Семенычъ уже спалъ и ничего ей не отвѣтилъ.

Авениръ съ Платонидой оставили старика высыпаться и разошлись.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Авениръ, побродивъ по огороду, пошелъ со двора, а молодая вдова сѣла, пригорюнясь, у окошечка. Суроваго, непривѣтливаго мужа ей не жаль было, потому что ничего она отъ него во всю свою жизнь не видѣла, кромѣ угрозъ да попрековъ, и никогда ничего лучшаго не ожидала отъ него и въ будущемъ. Но что же и теперь у нея впереди? Что ждетъ ее, одинокую, вдовую, безприданную, въ ея нынѣшнихъ молодыхъ годахъ? А жизнь такъ хороша, а жить такъ хочется, такъ манится, такъ что-то кружится-кружится передъ глазами...

— Эхъ, чуръ меня совсѣмъ, что это такое мнѣ ду-

мается,—проговорила въ досадѣ Платонида Андревна и, сердито почесавъ одною рукою локоть другой руки, оперлась ею о подоконникъ и сѣла и стала глядѣть, какъ на карнизѣ фронтона амбаровъ сладко цѣлуются съ дружками сизые голуби.

Пусто и скучно вокругъ; скучно и пусто и на сердцѣ Платониды Андревны.

«Лучше бъ ужъ скорѣй состарѣться; лучше бъ я не шла никогда замужъ; лучше бъ меня въ монастырь отдали...» думала она, отирая кисейнымъ рукавомъ выступавшія на глазахъ почти дѣтскія слезы, и, вздыхая, перекладывала голову съ одной усталой руки на другую. Такъ прошелъ часъ-другой, и тяжелый день тихо сгорѣлъ передъ ея глазами.

Въ самыя густыя сумерки къ ней вошелъ Авениръ. Онъ оглянулся по комнатѣ, повѣсилъ на колокъ фуражку, сѣлъ противъ невѣстки на стулъ и подалъ ей на рукѣ кисть винограда.

— Гдѣ ты это взялъ, Авениръ?—спросила его Платонида Андревна.

— Лялинымъ бакалей пришла, такъ и этого привезли; только, говорятъ, его теперь ѣсть при этой болѣзни не годится.

— Отчего не годится? Ну-ка, давай-ка сюда, я погляжу, какъ не годится.

Платонида взяла виноградную кисть, объѣла на ней всѣ ягоды, обтерла рукавомъ алыя губы и, выбросивъ на галлерейку за окно пустую кисть, потихоньку засмѣялась.

И Авениръ, и вдова были совершенно спокойны; но обоимъ имъ что-то не говорилось.

— Ты гдѣ былъ?—спросила Платонида нехотя своего деверя.

— Такъ... въ проходку немножко ходилъ,—отвѣчалъ Авениръ.

— Скучища у насъ на дворѣ такая, что ужасть.

— Да, вѣдь, что заведешь дѣлать-то?

— Что ты говоришь?

— Говорю, что что жъ, молъ, заведешь дѣлать, что скука?

— Мой бы згадъ: теперь хорошо спать ложиться,—проговорила Платонида Андревна.

— Да и что жъ такое.

— Только и всего, что тятенька встанутъ, надо имъ чай собрать.

— А вы тогда и встаньте, какъ онъ проснется; да онъ хмеленъ очень; наврядъ онъ еще и проснется-то.

— И то послушаюся тебя, часочекъ какой вздремну покуда такъ въ платьѣ. Иди-ка ты отъ меня съ Богомъ.

Молодой человѣкъ всталъ и снялъ съ гвоздя свою фуражку. Въ одно время съ нимъ поднялась съ своего мѣста и Платонида и, позѣвывая, проговорила:

— Охъ, Господи, что-й-то у меня передъ чѣмъ-то такъ локти чешутся?

— На другомъ мѣстѣ спать, невѣстка.

— Еще что ври! на какомъ это на другомъ мѣстѣ спать мнѣ? Это локти къ горю чешутся,—добавила она, выпроваживая деверя, и защелкнула за нимъ дверь на задвижку.

Оставшись одна въ запертой комнатѣ, Платонида поставила около покрытаго ковромъ сундука свѣчу и желѣзный ящичекъ съ трутомъ, сѣрниками и огнивомъ, перекрестилась, легла на этотъ сундукъ и, утомленная трехдневными хлопотами по похоронамъ, въ ту же минуту крѣпко заснула.

Ничего во снѣ не привидѣлось Платонидѣ Андревнѣ, только все ей сквозь крѣпкій сонъ хотѣлось проснуться, потому что знала она, что нужно еще напоить свекра чаемъ, и даже стало ей чудиться, будто свекоръ ее кличетъ и говоритъ ей: «что жъ это ты, Платонида, развалилась, словно бѣлуга разварная! встань же, напой меня, пожалуйста, чаемъ». И два, и три, и четыре раза все это слышалось Платонидѣ, и наконецъ, въ пятый разъ уже послышалось такъ явственно, что она вскочила и, сидя на постели, крикнула:

— Сейчасъ, тятенька, сейчасъ!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Протеревши глаза, Платонида Андревна оглянулась по покою: кругомъ темнота густая: чернаго шкафа даже никакъ не отличишь отъ желтой стѣны; на лежанкѣ, впрочемъ, чуть обозначается блестящій самоваръ, да длинное полотенце бѣлѣется на шнуркѣ, словно мертвецъ, стоящій въ саванѣ.

Платонида Андревна вздула огня, потомъ запустила руку

подъ сундукъ и достала оттуда топоръ, а изъ угла взяла сухое березовое полѣно, чтобы нащипать лучинки. Но прежде, чѣмъ ударить хоть разъ топоромъ по плахѣ, она подумала: «да не послышалось ли все это мнѣ во снѣ? Можетъ, батюшка и спитъ еще».

Эта мысль заставила молодую женщину взять свѣчу и выйти въ залу.

На большихъ стѣнныхъ часахъ было половина перваго. Платонида Андревна потихоньку подошла къ двери свекровой спальни и прилегла ухомъ къ створу. Въ опочивальнѣ старика было тихохонько.

— Это мнѣ, значитъ, все во снѣ почудилось,—рѣшила вдова и, зѣвнувъ, пошла опять въ свою комнату.

Снова заперщись на крючокъ въ своей вдовьей спальнѣ, Платонида Андревна поставила свѣчу на столъ противъ окна и стала раздѣваться.

«Ну, да будетъ же съ меня хоть и этого счастья! будетъ съ меня хоть и того, что я хоть въ спальнѣ-то у себя въ покоѣ поживу одна безъ него, безъ привередника», подумала она и, нетерпѣливо сбросивъ на полъ двѣ лишнія теперь подушки, развязала юбку и сѣла на постель съ такою смѣлостью, съ какою не подходила къ ней и не садилась на нее ни разу отъ роду.

Эта рослая, дородная красавица съ душою младенца, съ силою мужчины, съ грудью, которая должна бы вскормить богатыря, теперь напоминала невиннѣйшую пансіонерку, которая, вознаграждая себя за годъ стѣсненія, тѣшится однодневной свободой отпуска.

Новыя ощущенія независимости и свободы такъ переполнили собою младенческую душу и мысли Платониды Андревны, что ей даже не захотѣлось болѣе спать; да къ тому же она и выспалась. Теперь ей хотѣлось сидѣть, думать, Богъ вѣсть о чемъ думать, и только думать. Она такъ долго не смѣла ни ступить, ни молвить слова безъ упрека и безъ поученія, и вотъ теперь она одна, никто ее не видитъ на этой постели, никто ей не скажетъ: «чего ты тутъ вьёшься? чего егозишь, чего ёрзаешь?»

Она пересѣла еще разъ, и еще; потомъ прилегла вповерекъ кровати и снова привстала и, улыбнувшись на двѣ лежащія на полу подушки, вспрыгнула, постояла, завела назадъ за голову руки, закрыла глаза и черезъ минуту,

раскрывъ ихъ, кинулась въ страхѣ въ уголъ постели и задрожала. На верхней подушкѣ покойнаго Марка, которую шаловливая вдова его сбросила на полъ по самой срединѣ, пала небольшая ложбиночка, какъ будто бы здѣсь кто-то незримый лежалъ головою. Въ самомъ верху надъ этой запавшей ложбинкой, въ томъ мѣстѣ, гдѣ на мертвецкомъ вѣнцѣ нарисованъ Спаситель, сидѣлъ сѣрый, ночной мотылекъ. Онъ сидѣлъ, высоко приподнявшись на тоненькихъ ножкахъ, и то поднималъ, то опускалъ свои крылышки, словно схимникъ, осѣняющій воскрытіями своей мантіи незамкнутую могилу.

Платонида вздрогнула. Сѣрая пыльная тля въ мгновеніе ока истлила ея эгоистическую радость; а этой порой мотылекъ и еще разъ, и два, и три раза тихо коснулся подушки своими крылами и тихо же снялся, и тихо пропалъ за окномъ во тьмѣ теплой ночи.

Вдова быстро встала съ постели, спѣшной рукой затворила за улетѣвшею бабочкой открытую раму и молвила: «грѣхъ мнѣ! не честь мнѣ; не слѣдъ мнѣ валять по полу его подушки!»

Съ этими словами она подняла подушки съ полу и положила ихъ на пустую лежанку.

Въ эту минуту ей послышалось, что у нея за дверью кто-то вздохнулъ.

Платонида схватила еще торопливѣе тѣ же самыя подушки и, положивъ ихъ на диванъ подъ святые, быстро отошла отъ нихъ прочь и стала у своей кровати.

Теперь все было тихо по цѣлой комнатѣ, и на полу, и на холодной лежанкѣ, и за запертой дверью, и на постели.

— О, упокой, упокой его, Господи,—лепетала себѣ вдова съ чувствомъ теплой признательности къ мужу за то, что онъ умеръ и оставилъ ее хоть госпожою этого угла да постели.—Но полно мнѣ полуночничать!

И Платонида стала раздѣваться.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Но едва молодая вдова сняла съ себя платье, какъ въ мертвой тишинѣ ночи ей опять показалось, что какъ будто кто-то стукнулъ рюмкой у шкафика, въ которомъ покойный мужъ всегда держалъ подъ ключомъ вино и настойку. Платонида Андревна, стянувъ съ себя половину чулка, подо-

ждала и, не услыхавъ болѣе ни одного звука, подумала: вѣрно, это возятся мыши.

Успокоивъ себя такимъ предположеніемъ, молодая женщина сдернула съ себя чулки и подошла къ стоявшему передъ окномъ маленькому паркетному столику; поставила на него свѣчу и, лѣниво потянувшись, стала смѣнять дневную сорочку. Но чуть лишь она спустила съ плеча распущенный воротъ, какъ вдругъ ей показалось, что что-то такое темною тѣнью промелькнуло по галереѣ мимо самаго ея окошка. Ей почудилось, что это словно тѣнь человѣческая. Платонида Андревна была впечатлительна, но она сообразила, что это ходитъ живой человѣкъ, а не пришлецъ изъ гроба, и въ ту же секунду быстро задула свѣчку и, скорѣй нахвативъ на себя ночную рубашку, подумала:

«Однако, что жъ это за мерзавецъ сталъ этотъ негодный Авенирка! Въ рожу ему только послѣ этого остается плюнуть».

И она твердо рѣшилась не простить шалуну этой новой его дерзости. Платонида накинула себѣ на голыя плечи старенькую гарнитуровую шубейку, въ которой мы ее видѣли утромъ разговаривавшую съ Авениромъ на огородѣ, и притаилась тихо за оконницей. На галереѣ теперь все было тихохонько, не слышно было ни шума, ни шороха; но Платонида не довѣряла этой тишинѣ. Она притаилась и стояла съ самымъ рѣшительнымъ намѣреніемъ, при первомъ новомъ появленіи подъ ея окномъ ночного посѣтителя, распахнуть раму и плюнуть ему въ лицо.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Соображенія Платониды Андревны не обманули ея: ночной гость не заставилъ себя долго дожидаться.

Не успѣла полураздѣтая красавица и двухъ минутъ простоять за оконнымъ косякомъ, какъ со стороны галереи, по темному стеклу окна, тихо выползла сначала одна кисть человѣческой руки, потомъ показался локоть, потомъ плечо, и наконецъ, выдвинулась цѣлая мужская фигура...

Какъ ни темна была безлунная ночь, только изрѣдка мерцавшая нѣсколькими звѣздочками, но въ комнатѣ стало еще темнѣе, когда единственное окно совсѣмъ заслонила собою подошедшая фигура.

Платонида продолжала стоять тихо, прикрывая накрестъ

сложенными руками бѣлую грудь, въ которой крѣпко стучало и невольно замирало, и страхомъ, и негодованіемъ, нетерпѣливое сердце. Несмотря, однако, на все свое негодованіе, оскорбленная вдова удерживалась и, утаивал дыханіе, ждала, чѣмъ это все кончится.

Ночной соглядатай стоялъ и прислушивался очень долго, наконецъ, ободренный мертвою тишиною, осторожно тронулъ пальцами запертыя изнутри полы створчатой рамы. Онъ дѣлалъ это съ большой осторожностью, но дѣлалъ неловко. Пальцы его безпрестанно соскользали и черкали ногтями по окрашенной планкѣ рамы. Платонида слегка придвинула къ окну свое ухо, и ей стало слышно, что царапавшійся къ ней человѣкъ тяжело дышитъ и дрожитъ всѣмъ тѣломъ. По мѣрѣ того, какъ Платонида Андревна, скрѣпя свое сердце, долѣе и долѣе удерживалась, противная сторона все становилась смѣлѣе и уже начинала потряхивать раму безъ всякаго опасенія и безъ всякой осторожности.

«Однако, этакъ онъ, мерзавецъ, чего добраго, еще можетъ разбудить и свекра»,—подумала Платонида Андревна, и съ неописаннымъ негодованіемъ бросилась къ окну и остолбенѣла.

Это былъ совсѣмъ не Авениръ, а у окна стоялъ самъ ея сѣдой свекоръ Маркелъ Семенычъ.

Платонида удержала свой порывъ и въ недоумѣніи опустила руки.

Увидя передъ собою невѣстку, Маркелъ Семенычъ на мгновенье смутился, но потомъ что-то глухо забормоталъ и тихо застучалъ въ стекло косточкою средняго пальца.

— Что вамъ, тятенька, угодно? — выговорила, стараясь оправиться въ свою очередь, и Платонида Андревна.

Старикъ снова что-то зашепталъ еще тише; но изъ этихъ рѣчей его въ комнатѣ не было слышно ни одного слова.

— Не слышу, — сказала Платонида Андревна, прикладывая къ створу окна свое ухо.

Маркелъ Семенычъ началъ страстно цѣловать стекло, къ которому прилегалъ локоть Платониды.

Невѣстка съ ужасомъ посмотрѣла на свекра и не узнала его. Совершенно сѣдая голова старика, напоминающая прекрасную голову Авенира, была художественно вспутана, какъ голова бѣловласаго Юпитера; глаза его горѣли, и бѣлая миткалевая рубаха ходила ходенемъ на трепещущей груди.

— Лебедь! лебедь!—шепталъ опалѣвшій старикъ, царапаясь въ окно невѣсткиной вдовьей спальни, какъ блудливый котъ въ закрытую скрыницу.

— Я, тятенька, сейчасъ вамъ поставлю самоваръ,—проговорила, отодвигаясь отъ окна, смущенная Платонида Андревна.

— Нѣтъ, ты самовара не ставь... Мнѣ не надо самовара... Ты мнѣ отопри... впусти меня... я тебѣ одно дорогое слово скажу... одно только слово...

— Ну, дай часъ, тятенька, я вразъ одѣнусь.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ тебѣ одѣваться?.. тебѣ и одѣваться не надо: ты не одѣвайся; ты отопри скорѣй... отопри...

— Да я, тятенька, въ одной блошницѣ!

— Ну, такъ что жъ, что въ одной блошницѣ!.. Мы, вѣдь, съ тобой не чужіе... Отопри на минутку,—настаивалъ безпокойно, суетясь на одномъ мѣстѣ, старикъ.

Платонидѣ стало страшно, и она бросилась въ сторону, но только лишь бѣлое плечо ея сверкнуло въ темнотѣ ночи передъ глазами Маркела Семеныча, какъ мѣдный крючокъ, запиравшій раму, отъ сильнаго толчка полетѣлъ на подоконникъ и рама съ шумомъ распахнулась, а обѣ руки свекра схватились за тѣло невѣстки.

— Тятенька! тятенька! да что же это такое?—закричала, отчаянно вырываясь, Платонида Андревна; но свекоръ, вмѣсто отвѣта, рванулъ сильной рукою врозь ея руки и впился горячими губами въ ея обнаженную грудь...

— Блудня! прочь отъ меня! вскрикнула съ омерзѣніемъ Платонида, почувствовавъ на своей груди трясущуюся сухую бороду свекра.

Уразумѣвъ теперь, наконецъ, настоящій смыслъ его посѣщенія, она съ азартомъ запустила обѣ свои руки въ бѣлые волосы старика и оттянула его голову отъ своей груди. Въ это же самое мгновеніе она почувствовала, что крѣпкія, жилистыя руки свекра растерзали ея холщевую рубашку, и Платонида, почти нагая, очутилась въ объятіяхъ распаленнаго старца.

— Авениръ! — вскрикнула она, но старикъ перехватилъ ей горло и сталъ цѣловать ее въ губы.

Онъ былъ очень силенъ и Платонида напрасно молила:

— Батюшка, смилуйся! я отъ тебя этого стерпѣть не могу!

Маркелъ Семенычъ только крѣпче обнялъ станъ невѣстки

и, прошептавъ: «со мной — не съ чужимъ» — и перенесъ въ комнату черезъ подоконникъ свою ногу.

Платонида воспользовалась этимъ движеніемъ,—юркнула изъ-подъ рукъ свекра на полъ, и въ рукѣ ея вдругъ блеснулъ топоръ, которымъ она за часъ передъ этимъ собиралась щипать лучину. Въ одно мгновенье топоръ этотъ звякнулъ, вонзился въ столбъ галлереи, и въ это же самое мгновеніе Маркелъ Семенычъ тяжело рухнулся навзничь и застоналъ...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Бросивъ топоромъ въ свекра, Платонида Андревна была увѣрена, что она убила старика. Въ нѣмомъ ужасѣ она выскочила изъ своей комнаты, перебѣжала дворъ, остановилась у заднихъ воротъ и, тяжело дыша, схватилась за сердце. Въ тишинѣ ночи до ея слуха долетѣло прерывистое хрипѣніе. Платонида Андревна дрожала: въ ушахъ ея раздавались рѣзкіе, свистящіе звуки, какъ будто надъ самою ея головою быстро проносилась безчисленная стая куропатокъ; крыши и стѣны зданій шатались и откуда-то капала кровь; острогъ, страшное, безчеловѣчное наказаніе, вѣчная каторга, — все разомъ, какъ молнія, пронеслось предъ мысленными очами вдовы, еще такъ недавно мечтавшей о жизни, и заставило ее встрепенуться съ отчаянной энергіей. Она запахнула около груди шубейку, тихо выползла въ подворотню на огородъ, съ огорода перебралась, черезъ тынъ, за городъ и, ударившись бѣжать задами, пропала въ темнотѣ ночи.

Между тѣмъ, Маркелъ Семенычъ тяжело хрипѣлъ, лежа на галлереѣ. Ударъ Платониды Андревны минулъ его сѣдой головы; но онъ минулъ ея лишь только потому, что за терцію до этого удара двѣ сильныя руки Авенира схватили отца сзади и бросили его на полъ, въ то самое мгновеніе, когда блеснувшій топоръ, слегка поранивъ плечо старика, глубоко завязъ въ деревѣ. Маркелъ Семенычъ не чувствовалъ ни своей вины, ни своего стыда и униженія. Теперь не было ни страсти въ его крови, ни негодованія въ его сердцѣ, ни силы въ мышцахъ. Старая плоть его, распалясь виномъ и взыгравъ сластью желаній, сразу упала до совершеннаго безсилія. Такъ оцѣпенѣвшій подъ снѣгомъ оврагъ порою взыграетъ при мартовскомъ солнцѣ, зашу-

митъ быстрымъ подснѣжнымъ потокомъ и, сбѣжавъ, обезсиленный, рухнетъ всей своею массою на холодное днище.

Не видя со стороны отца никакого сопротивленія, Авениръ подержалъ его на полу и потомъ освободилъ, а самъ молча скрылся. Старикъ, оставшись одинъ, опомнился не скоро и не вдругъ почувствовалъ униженное состояніе, въ которомъ теперь находился.

О побѣгѣ Платониды Андревны ни онъ, ни Авениръ не знали во всю ночь. Оба они думали, что невѣстка заперлась у себя въ кладовой на вышкѣ. Первый въ домѣ хватился ея на другой день Авениръ. Онъ долго искалъ ее и нигдѣ не нашелъ. Старикъ Маркелъ Семенычъ заперся у себя и не показывался.

Платонида Андревна сгинула. Нигдѣ не могли найти никакихъ ея слѣдовъ, и пропажа ея сдѣлалась причиною большихъ несчастій для того, кто менѣе всѣхъ былъ въ ней повиненъ.

Вынужденный объяснять чѣмъ-нибудь пропажу невѣстки и не увѣренный, что она сама станетъ разсказывать въ случаѣ ея отысканія, Маркелъ Семенычъ завершилъ ночь безумія своего клеветою, что Платонида съ Авеніромъ хотѣли его убить и ограбить, и показалъ свою рану. Этимъ старикъ мстилъ и сыну, и невѣсткѣ, и разомъ отдѣлывался отъ нихъ обоихъ. Авенира взяли въ тюрьму, а полицейскимъ розыскомъ, поднявшимся по случаю пропажи Платониды Андревны, было обнаружено, что ночные водоливы, работавшіе въ ту ночь на одной чинившейся баркѣ, видѣли, какъ кто-то весь въ бѣломъ, не то женщина, не то, еще вѣрнѣе, вѣдьма шибко пробѣжала по берегу и вдругъ гдѣ-то исчезла. Двое изъ водоливовъ говорили, что вѣдьма скинулась рыбою и бросилась въ воду, а двое другихъ, напротивъ, утверждали, что они ясно видѣли, какъ она переплыла въ рубашкѣ рѣчку и вышла на бакшу къ Константину Пизонскому.

Пизонскаго заподозрили въ укрывательствѣ дѣвской невѣстки; его обыскивали, допрашивали, посадили въ острогъ и, вѣроятно, присудили бы къ ссылкѣ. Хотя Константинъ Іонычъ на всѣ дѣлаемые ему вопросы только и отвѣчалъ слѣдователямъ, что «ничего я этого, милые, никогда не знала и не вѣдала», но было ясно, какъ солнце, что въ

цѣломъ мірѣ, можетъ-быть, лишь одинъ Пизонскій и зналъ, куда дѣлась пропавшая дѣвская невѣстка. И судьи, и обыватели города живо чувствовали, что для разъясненія всего неразгаданнаго дѣла только и нужно, чтобы разомкнулись молчаливыя уста Константина Пизонскаго. Судьи утверждали, что старогородскій Робинзонъ лжетъ, отпираясь отъ всякаго участія въ исчезновеніи Платониды Андревны, и что онъ, можетъ-быть, и самъ прикосновененъ къ покушенію на жизнь старика Дѣева. Не отрицалъ и народъ, что Константинъ Іонычъ лжетъ, повторяя свое «не знаю, не вѣдаю»; но народъ былъ увѣренъ, что Пизонскій лжетъ, покрывая чужой грѣхъ. Хорошо это или не хорошо, народъ не строго разбираетъ и вѣритъ, что «есть ложь во спасеніе».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

По этому дѣлу Константинъ Іонычъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и освобожденъ съ оставленіемъ въ подозрѣніи, но ничего къ обнаруженію Авенира и Платониды отъ него не узнали. Впослѣдствіи же говорили и несомнѣнно вѣрили, что Платонида никуда далеко не уходила, а была скрыта у скитницъ, и что появившаяся затѣмъ въ этомъ скитѣ «провидущая» старица Іоиль была эта же самая Платонида. Она «выплакала очи» и была слѣпа, — ходила ощупью съ палочкой, а въ глазныхъ впадинахъ у нея были вставлены «образочки». Объ Авенирѣ говорили, что онъ, будучи сданъ въ солдаты, вышелъ «большой воинъ на Кавказѣ», — заслужилъ себѣ «чинъ и крестъ» и при отмѣнной своей красотѣ женился на генеральской дочери. Одинъ разъ онъ пріѣзжалъ будто въ Старый Городъ и ходилъ въ скитъ и видѣлъ старицу Іоиль, а она его видѣть не могла, но по голосу узнала и вздрогнула, а по головѣ руками пошарила и спросила:

— Покаянная ли теперь сія глава или еще не раскаянная?

Авениръ отвѣчалъ:

— Покаянная.

— Вотъ и хорошо, — сказала старица Іоиль: — окорми разумомъ путь свой къ пристанищу благотишному, — и затѣмъ добавила:

— А теперь прощай, съ Богомъ, навѣки.

КОТИНЪ ДОИЛЕЦЪ И ПЛАТОНИДА.

Изломанная утварь
Разрушеннаго дома.
Шекспиръ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ Старомъ Городѣ не было человѣка, который пользовался бы такою извѣстностью и уваженіемъ, какими пользуется тамъ даже въ наше неуважительное время очень скромный человѣкъ, обработавшій безплодную почву нынѣ плодоноснаго городского острова. Человѣкъ этотъ происходилъ отъ раскольничьяго колѣна купца Дѣева; но не родъ и не порода, а жизнь и дѣла этого человѣка дали ему его извѣстность и почтеніе отъ ближнихъ.

Купецъ Семенъ Дмитріевичъ Дѣевъ былъ только виновникомъ золъ для того, о комъ здѣсь будетъ разсказано.

Это небольшая исторія.

Сдѣлавшись главою людей, не пошедшихъ къ соединенію съ церковью, старый Дѣевъ построилъ себѣ деревянный домъ, на «отлетѣ», въ самомъ концѣ города. Нынче никто не живетъ въ этомъ домѣ, и онъ стоитъ одинокій, сумрачный и непривѣтливый. Таковъ же, впрочемъ, былъ этотъ сѣрый, двухъ-этажный домъ, съ двумя ярусами маленькихъ окошекъ, и въ тѣ дни, когда въ немъ еще обитали живые люди, и въ окна его свѣтили мерцающіе огоньки неугасимыхъ лампадокъ. Домъ этотъ не хотѣлъ имѣть сообщенія ни съ кѣмъ и немилосердно каралъ тѣхъ изъ своихъ обитателей, у кого по какому-нибудь случаю замѣчалось хоть малѣйшее желаніе сблизиться съ новымъ міромъ.

Въ цѣломъ городѣ почти никто не имѣлъ никакого понятія о томъ, какъ живется въ раскольничьемъ домѣ Семена Дѣева. На улицѣ старогорожане встрѣчали только самого Дѣева, но встрѣчали его всегда капризнаго, угрюмаго, ко гнѣву склоннаго и мстительнаго. Если же встрѣчался гдѣ-нибудь кто бы то ни было изъ другихъ жильцовъ этого дома, то всѣ смотрѣли на него какъ на выходца съ того свѣта. О женщинахъ, здѣсь жившихъ, знали еще менѣе, чѣмъ о мужчинахъ. Онѣ тамъ рождались, или приходили туда для сожительства, тамъ же и умирали. Ворота дѣевскаго дома затворялись за ними только за мертвыми. Изъ этого были только два исключенія.

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, въ одну самую бурную, темнѣйшую и человѣконенавистную ночь, грозный дѣевскій домъ вытолкнулъ въ безпріютность молодую дѣвушку.

Домъ словно выплюнулъ спросонья это дитя и снова захлопнулъ до другого случая свои сердитыя вѣки.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вытолкнутая дѣвушка была сирота, племянница Семена Дѣева, Аксинья Матвѣевна. Ей было тогда всего восемнадцать лѣтъ; но, несмотря на свое строгое дѣвичье затворничество, она знала, куда ей нужно идти въ эту суровую ночь своего изгнанія. Она шла изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ переулокъ, прямо къ маленькому, сѣренькому домику на церковномъ погостѣ, и здѣсь робко постучалась въ покосившееся окошко. Черезъ нѣсколько минутъ, она постучалась нѣсколько смѣлѣе, и въ ту же минуту навстрѣчу ей выскочилъ молодой человѣкъ, въ одномъ бѣльѣ и въ сапожныхъ опоркахъ. Это былъ понамарь Іона Пизонскій.

— Ксюша! Косатка!—вскричалъ онъ съ изумленіемъ, увидя передъ собою дѣвушку.

Изгнанница только уныло шепнула:

— Выгнали.

— Выгнали?

— Выгнали; избили и выгнали.

Молодой человѣкъ, съ безпечнѣйшею радостью, широко распахнулъ калитку и, перехвативъ къ себѣ дѣвушку, заперъ задвижкой ворота и внесъ на рукахъ свою дрожащую гостью въ очень небольшую горенку.

Весь домикъ Іоны Пизонскаго, къ которому пришла

Ксюша, состоялъ изъ одной крошечной горенки и еще меньшей приспѣшной. Іона Пизонскій былъ человѣкъ одинокій и молодой. Онъ проводилъ беззаботнѣйшую жизнь и обыкновенно распѣвалъ съ голода самыя веселыя пѣсни. Пѣсни эти, его красота и беззаботная удаль полонили для него сердца старогородскихъ затворницъ и добыли ему пылкое сердечко изгнанницы дѣвскаго дома. Сцена, которую мы видѣли, была сцена, резюмировавшая ихъ тайную любовь въ тотъ моментъ, когда силою природы вещей любовь эта перестала быть тайною для дѣвскаго дома.

Выгнанная сирота, скромная какъ агнецъ, пошла на все за своимъ любимцемъ: она приняла его вѣру, его имя и званіе—сдѣлалась его женой и понамарицей, а черезъ пять мѣсяцевъ родила ему сына Константина.

— Оступилась и не доносила,—острилъ на свой счетъ по этому случаю понамарь Пизонскій; а черезъ годъ самъ оступился, рубя осенью хворость на крутомъ обрывѣ надъ Турицею, полетѣлъ внизъ головою и одинъ-одиноко отдалъ свою веселую душу единому Богу.

Понамарица осталась съ годовымъ ребенкомъ одна, яко перстъ.

Ворота дѣвскаго дома, въ которыя постучалась вдова въ эту годину несчастія, отворились только для того, чтобы послать ей одно проклятіе.

Не имѣя ни роду, ни племени, ни пристанища, куда приклонить голову, вдова Пизонская пріютилась въ женскомъ монастырѣ, въ келейныя. Туда же въ женскій монастырь внесла она съ собою и своего сына, назвавъ его обманно дѣвочкой Макриной.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Хитрость, вызванная отчаяннымъ положеніемъ вдовы, удалась ей какъ нельзя лучше. Благодаря безпрестанному бдѣнію матери, настоящій полъ ребенка не былъ никогда никѣмъ обнаруженъ; но зато и не знало его и само дитя, и само оно тоже считало себя дѣвочкой. Когда же Константинъ Пизонскій, подъ псевдонимомъ Макрины, достигъ въ монастырѣ двѣнадцатилѣтняго возраста, вдова Пизонская, заботясь о воспитаніи сына, вывела его вонъ изъ обители, переодѣла въ оврагѣ изъ юбки и черноколенкороваго платья въ желтый нанковый халатъ и отдала въ ду-

ховное приходское училище, подъ его настоящимъ именемъ Константина Пизонскаго. Но книжная премудрость не далась ребенку. Несчастное дитя прежде всего сдѣлалось всеобщимъ посмѣшищемъ. Скинувъ съ себя свой женскій псевдонимъ, оно, во-первыхъ, никакъ не могло пріучиться считать себя мальчикомъ и постоянно говорило: «я была, я пришла, я ѣла»; а это дало поводъ издѣваться надъ нимъ съ первой же минуты. Учиться ребенокъ былъ очень способенъ; но тогдашняя училищная строгость и ядовитыя докуки товарищей отняли у него всякую возможность успѣха. Запуганность его дошла до невѣроятныхъ предѣловъ и была причиною окончательнаго смѣщенія его въ неспособные. Однажды, еще вскорѣ послѣ своего поступленія въ училище, Пизонскій, надписывая свое имя на тетради, вмѣсто Константинъ, написалъ Кинстинтинъ. Учитель поймалъ его на этой ошибкѣ и, ударивъ по головѣ лозою, спросилъ:

— Какъ твое имя?

— Константинъ,—отвѣчалъ ребенокъ.

— Пиши на табулѣ.

Дитя взяло дрожащею рукою мѣлъ и почувствовало, что рука его бѣжитъ, бѣжитъ, бѣжитъ неудержимо и чертитъ одну за другою безконечныя буквы. Во всю доску тянется Константинтинтинтинтинтин... и все нѣтъ ему конца, нѣтъ заключенія, нѣтъ предѣла. Ребенокъ чувствуетъ, что это что-то не то, что это что-то неладно,—онъ млѣетъ, дрожитъ и все ведетъ слогъ за слогомъ: «тинтинтинтинтин»...

— Что ты, стрикулистъ, такъ больно длиненъ?—замѣчаетъ ядовито учитель:—держись своей препорціи!

Пизонскій быстро стеръ съ доски безконечную цѣпь слоговъ и твердою, рѣшительною рукою написалъ короткое «Котинъ».

Приведенный въ недоумѣніе этимъ быстрымъ сокращеніемъ протяжно-сложеннаго слова, учитель счелъ это за оскорбительный фарсъ: онъ снова рѣзнулъ Пизонскаго лозою по уху и снова еще болѣе строгимъ голосомъ напомянулъ ему о соблюденіи «препорціи».

— Не могу,—рѣшительно отвѣчалъ ребенокъ.

— Чего жъ ты не можешь?

— Не могу написать по препорціи.

Учитель качнулъ назадъ головою, и дитя, зная, что означаетъ сей знакъ, съ невозмутимою покорностью подошло къ

скамейкѣ, у которой всегда лежали, въ ведрѣ, пучки розогъ.

— Ну, Макрина, укладывайся!—приглашали его очередные сѣкуторы, и совершалася казнь.

И всякій разъ повторялись надъ нимъ эти шутки и потѣхи, и всякій день выводилъ онъ цѣлый часъ, при общемъ смѣхѣ, безконечное *Константинтинтин*, и потомъ, доходя до отчаянія, вдругъ писалъ короткое—*Котинъ*, и шелъ къ сѣкуторской скамейкѣ. Всякій день его стегали по незаживпшмъ рубцамъ, и онъ все-таки не входилъ въ свою пропорцію, а всегда или ползъ съ своимъ именемъ въ безконечность, или отчаянно ставилъ короткое: «Котинъ».

Окончательное воспитаніе Пизонскаго завершилось тѣмъ, что товарищи сломали ему носовой хрящъ и своротили на сторону носъ, а начальство исключило его «за великовозрастіемъ и малоуспѣшіемъ» изъ училища и предоставило ему избрать себѣ дозволенный закономъ родъ жизни. Для Пизонскаго всѣ дозволенные роды жизни были равнозначащи и равноцѣнны, а потому онъ вовсе не заблагоразсудилъ позаботиться объ избраніи какого-нибудь одного изъ нихъ себѣ въ исключительную собственность. Онъ прежде всего подумалъ о хлѣбѣ и поступилъ въ науку къ энциклопедисту-ремесленнику, мѣднику, механику, переплетчику, астроному и поэту. Вдвоемъ съ своимъ чудакомъ-хозяиномъ они были все и ничего: они переплетали книги, малярничали, лудили кастрюли—и все это дѣлали «ничтоже сумняшеся», и дешево, и скверно. Скуднаго дневного заработка имъ едва доставало на самое нищенское пропитаніе; но это ихъ нимало не смущало. Сидя зачастую и безъ работы, и безъ хлѣба, они забывали о голодѣ, азартно читали какую-нибудь старую астрономію и тыкали пальцами по засаленному небесному атласу. Спускающаяся на землю вечерняя темень только пригоняла ихъ къ окну, изъ котораго они глазѣли цѣлыя ночи на небо и опредѣляли созвѣздія или читали на память Манфреда и козловскаго «Чернеца», или же, наконецъ, усѣвшись на порожкѣ своей хаты, распѣвали дуэтомъ:

О, человѣкъ!
Вспомни свой вѣкъ.
Взгляни ты на гробы,
Они вѣчны домы.

Неизвѣстно, докуда бы продолжалось такое сладкое и

поэтическое житье нашей Макрины, если бы ее, какъ человѣка, не избравшаго себѣ въ срокъ никакого дозволеннаго закономъ рода жизни, не отдали «по разряду» въ округы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Три года Константинъ Пизонскій пробылъ дьячкомъ полковой церкви и, наконецъ, по ходатайству матери, возвращенъ для ея прокормленія. Но своей старухи Константинъ Пизонскій, возвратясь домой, уже не засталъ на свѣтѣ. Онъ пришелъ въ Старый Городъ и явился къ дядѣ-старовѣру Маркелу Дѣеву. Маркелъ Семеновичъ Дѣевъ допустилъ Пизонскаго къ себѣ на глаза, выслушалъ все, что тотъ говорилъ ему, а потомъ позвалъ всѣхъ, кто у него былъ въ семьѣ, и сказалъ племяннику:

— А ну-ка, повернись!

— Какъ, дядюшка? — спросилъ Пизонскій.

— Такъ, бокомъ повернись.

Тотъ повернулся.

— Ну, а теперь задомъ стань.

Пизонскій и это исполнилъ.

— Хорошъ?—спросилъ Маркелъ Семенычъ домашнихъ.

Общій хохотъ, гдѣ громкій, гдѣ сдержанный, раздался изъ всѣхъ угловъ въ отвѣтъ на это восклицаніе.

На Пизонскаго и дѣйствительно трудно было смотрѣть безъ смѣха: его лысая и, вдобавокъ, по-солдатски обточенная голова, его кривой носъ, его птичьи-круглые глаза, синія губы и длинный нанковый капотъ, купленный въ томъ городѣ, гдѣ кончилась его военная карьера,—все это вмѣстѣ взятое давало самый смѣшной и дурацкій видъ его фигурѣ.

— Служилъ кацымъ бѣсомъ три года и выслужилъ три пуговицы — и то ладно. Ну, и больше же, братъ, не хлопочи, не оборачивайся, а какъ сталъ теперь лбомъ къ порогу, такъ и иди вонъ, откуда пришелъ,—объявилъ ему дядя, твердо и рѣшительно изгоняя навсегда изъ своего правовѣрнаго дома сына еретика и еретицы.

Пизонскій вышелъ.

Съ непокрытою отъ разсѣянности головою прошелъ онъ по всему городу, удивляя своею лысиною прохожихъ, которые смѣялись надъ нимъ злѣе, чѣмъ дѣти смѣялись надъ лысымъ пророкомъ; но Пизонскій, однако, былъ терпѣливѣй

пророка: онъ никого не проклялъ, а только тихо поплакалъ, сѣвши подъ ракитой за городскою заставой. Онъ былъ совершенно безпріютенъ и сидѣлъ на дорогѣ, какъ ощипанный филинъ. Обыкновенно думаютъ, что въ такомъ положеніи человѣкъ находится на одинъ короткій шагъ отъ злого дѣла, но это не со всѣми такъ бываетъ. По крайней мѣрѣ Пизонскій не задумывалъ никакихъ злыхъ дѣлъ: ему было только очень тяжело и больно, и онъ сидѣлъ и плакалъ просто — чтобъ выплакаться. Однако, невозможно же было вѣчно сидѣть на большой дорогѣ: надо было куда-нибудь шагать, гдѣ-нибудь искать какого бы то ни было пріюта.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Пизонскій вспомнилъ, что у него гдѣ-то, не очень далеко отъ города, была замужемъ за однодворцемъ материна племянница, а его двоюродная сестра, по фамиліи Набокова, и пошелъ искать ее. Шелъ онъ — близко ли, далеко ли—и пришелъ на другой вечеръ въ село, гдѣ надѣялся увидать свою родственницу и гдѣ узналъ, что ни ея самой, ни ея мужа въ живыхъ нѣтъ, а что остались послѣ нихъ двѣ дѣвочки: Глаша лѣтъ пяти, да Нилочка — по второму году; но и ихъ, этихъ сиротъ, нѣту въ наличности, и ихъ забрала къ себѣ на воспитаніе слѣпая нищая, Пустыриха. Вотъ тебѣ и весь родъ, и все племя!

«Пойду, посмотрю, по крайней мѣрѣ, хоть какія эти дѣвоньки», подумалъ все болѣе и болѣе сиротѣвшій Пизонскій, и онъ отыскалъ Пустыриху и нашелъ у нея дѣтей.

Встрѣча его съ дѣтьми была передъ вечеромъ. Обѣ дѣвочки, въ ветчайшихъ рубищахъ, сидѣли на пыльной завалинкѣ: старшая играла, подкидывая ручонками крошечные камешки, а младшая—томилась, лѣниво слѣдя глазенками за сестриными руками.

Пизонскій выскочилъ къ нимъ неожиданно, изъ-за угла хаты, и остановился передъ ними, какъ уродливый сказочный геній.

Посмотрѣвъ на дѣтей, онъ сѣлъ около нихъ на травку и обнялъ ихъ обѣими руками.

— Голубятки!—заговорилъ онъ:—плохо вамъ тутъ у бабушки?

Дѣти пугливо прижались одна къ другой, сначала долго

другъ на друга смотрѣли и потомъ обѣ разомъ тихо заплакали.

Пизонскій опустилъ въ карманъ руку и, доставъ оттуда немного смятую, печеную луковицу, обдулъ прилипшія къ ней крошки хлѣба, разломилъ ее ногтями пополамъ и подалъ сироткамъ.

Тайный ли голосъ крови, или заманчивый вкусъ сладкой, печеной луковицы, сразу расположилъ сиротокъ къ Пизонскому. Онѣ сползли съ завалины, усѣлись одна противъ другой на его колѣняхъ и сосали лукъ, теребя ручонками ясную, солдатскую пуговицу, пришитую къ воротнику дядинаго коленкороваго халата.

— Бьетъ васъ бабушка, дѣтки?—началъ прямо Пизонскій, поглаживая дѣвочекъ по головкамъ.

— Ботъ,—прошептали тихо дѣти.

— И больно?

— Боно,—проронили онѣ еще тише и робче и, смаргивая слезы, напряженно смотрѣли съ раздирающей дѣтской тоскою на ту же глупо блестящую пуговицу.

Пизонскій развздыхался. Дробныя слезы ребячьи на щекахъ забитаго ребенка непереносимы. Необъятная любовь и нѣжность овладѣли сердцемъ Пизонскаго въ виду этихъ слезъ. Онъ готовъ былъ все сдѣлать, чтобы отереть эти слезы; но что могъ для кого-нибудь сдѣлать онъ,—нищій, калѣка и уродъ, когда сотни людей, представляя себѣ его собственное положеніе, навѣрное почитаютъ его самого обреченнымъ на гибель?

И всякій бы простилъ ему безучастіе, потому что бѣдный уродъ ничего не могъ сдѣлать для двухъ сиротъ. У нихъ былъ хотя нищенскій пріютъ Пустырихи, Пизонскій же былъ совсѣмъ безпріютенъ. А взять чужое дитя—это, говорятъ, такъ отвѣтственно, что страхомъ этой отвѣтственности всегда можно извинить себя и оставить все на волю безотвѣтственнаго случая.

Пизонскій, къ счастію, не философствовалъ, а хорошо чувствовалъ и потому поступилъ иначе.

Дождавшись возвращенія Пустырихи домой, онъ попросился у нея переночевать. Ночью онъ все вставалъ и навѣдывался къ дѣтямъ, а къ утру окрестъ его запорхали какія-то чудныя грезы, и утромъ онъ, забывая собственную

безпомощность и безпріютность, сталъ умолять старуху чтобы она отдала ему сиротокъ.

— Я ихъ, бабушка, воздою, я выучу ихъ, бабонька,— говорилъ Пизонскій.

Старуха и слушать объ этомъ не хотѣла. Она хотѣла посылать дѣтей побираться, и потому выгнала самого Пизонскаго и захлопнула у него передъ носомъ дверь свою.

«Тягаться съ нею судомъ,—подумалъ Пизонскій,—долго, и денегъ у меня нѣтъ на то, да и пока велятъ ей отдать мнѣ дѣтей, она ихъ непремѣнно ослѣпитъ».—Но разстаться съ дѣтьми и снова идти Богъ знаетъ куда одному—Пизонскому теперь уже показалось невозможно, и онъ въ теченіе слѣдующей за симъ ночи придумалъ нѣчто другое.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Увидѣвъ у одного крестьянскаго половня лозовую плетушку, въ которой носятъ мякину и ухоботье, Пизонскій утащилъ ее за сарай, высыпалъ изъ нея вонъ ржаной колосъ, настлалъ на дно свѣжаго сѣна и припряталъ у Пустырихи на огородѣ. (Онъ сдѣлалъ преступленіе — онъ укралъ плетушку). Чуть только на другой день выглянуло на небѣ солнышко и Пустыриха, по заведенному порядку, тронулась съ поводаркой въ поборъ, Пизонскій схватилъ оставшихся дома дѣвочекъ, посадилъ ихъ въ плетушку, подцѣпилъ ее своимъ кушакомъ за плечи и съ длиннымъ костылемъ въ рукѣ зашагалъ своими длинными ногами къ городу. Боязнь погони и страхъ за участь дѣтей, которыя, какъ не оперившіяся птички, спали свернувшись въ плетушкѣ за его плечами, такъ гнали Пизонскаго, что онъ, не отдыхая, отмахалъ въ лѣтній день шестьдесятъ верстъ и вечеромъ сталъ въ Старый Городъ. Здѣсь ему не было мѣста одному, и сюда онъ теперь являлся еще съ двумя взятыми на свое попеченіе дѣтьми.

Всякій имѣлъ полное основаніе назвать этого человѣка дуракомъ.

— Что-то онъ теперь будетъ дѣлать? Куда онъ съ ними подѣнется?

— Дуракъ!

. . . . . .

. . . . . .

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Качаясь за спиною Пизонскаго, объ путешествовавшія въ плетушкѣ сиротки спали цѣлый день; но вечерняя прохлада разбудила ихъ, и онѣ начали съ холоду ёжиться и попискивать. Но это ужъ было у пристани. Пизонскій въ это время уже свернулъ въ сторону въ подгородніе конопляники. Здѣсь онъ взялъ обѣихъ дѣвочекъ подъ мышки, вытрясъ на землю бывшее на днѣ плетушки сѣно, уложилъ на него дѣтей, сѣлъ надъ ними на корточки, какъ насѣдка, и, подобравъ ихъ подъ грудь, въ теченіе всей короткой ночи согрѣвалъ ихъ животною теплотою собственнаго тѣла и самъ плакалъ... сладко плакалъ отъ счастья.

«Чего мнѣ!—думалъ онъ,—и за что такая радость! Ты, Господь, хотѣлъ собрать дѣтей Іерусалима, какъ кокошъ собираетъ птенцы, а они не захотѣли... они Тебя огорчили,—они не пошли, а мои пришли ко мнѣ... я ихъ унесъ... укралъ... Я ихъ грѣю... Господи! прости мнѣ, что я ихъ укралъ!.. Дай мнѣ укрыть ихъ отъ зла... и прости мнѣ... прости, сдѣлай милость, что я также укралъ и плетушку!»

И онъ всхлипнулъ, окончивъ эту молитву, и тутъ же уснулъ, согрѣвая подъ грудью своею крѣпко спавшихъ сиротокъ.

Рослая конопля закрывала это гнѣздо такъ, что его можно было видѣть только съ неба.

Раннимъ утромъ, чуть только вспыхнуло погожее солнышко, Пизонскій всталъ съ своего мѣста, накрылъ спящихъ дѣтей плетушкой, и чтобы они, проснувшись, не могли ее съ себя сбросить, связалъ надъ нею крестъ-накрестъ четыре пучка конопли и вышелъ изъ своей засады. Оглядѣвшись на всѣ стороны, онъ вздохнулъ, перекрестился и прямо задами побрелъ къ городскимъ огородамъ. Городъ еще спалъ, нѣжась въ подымавшемся съ рѣки дымчатомъ туманѣ. Мѣста, которыми теперь шелъ Пизонскій, очевидно, были ему не очень знакомы, потому что онъ долго осматривалъ, припоминалъ малѣйшія примѣты и только послѣ долгихъ соображеній, открывъ глазами большой огородъ, обнесенный вокругъ высокимъ плетнемъ изъ лѣсной орѣшины, направился прямо къ этому огороду и перелѣзъ черезъ окружавшую его канаву, потомъ черезъ плетень. Очу-

тившись затѣмъ на самомъ огородѣ, Пизонскій изогнулся дугою, быстро пробѣжалъ по межамъ и спрятался въ грядахъ напереннаго гороха. Здѣсь онъ присѣлъ и сталъ кого-то высматривать. Цѣлый часъ онъ просидѣлъ въ горохѣ, то робко высовывая свою голову выше зелени, то снова быстро падая въ межу при малѣйшемъ шумѣ. Ради какихъ соображеній явился сюда Пизонскій, только нѣсколько дней тому назадъ изгнанный изъ этого дома съ неслыханной суровостью и позоромъ, и кого онъ теперь желалъ здѣсь встрѣтить? Этого отгадать было невозможно. Одно только можно было основательно предположить, что Пизонскій ждалъ здѣсь не Маркела Семеныча.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пизонскій, дѣйствительно, выжидалъ появленія совсѣмъ другого лица изъ семьи Дѣевыхъ, и невыразимо смутился, когда тихо скрипнули ворота задняго двора и на огородъ вышелъ высокій кучерявый парень въ свѣтлой розовой рубашкѣ. Это былъ не Маркелъ Семенычъ и не сынъ его, Марко Маркелычъ, но, очевидно, это все-таки былъ и не тотъ, кого желалъ встрѣтить Пизонскій.

Завидя вошедшаго молодца, Пизонскій не только не всталъ, но пригнулся какъ можно ниже.

Молодой человѣкъ, который вошелъ въ огородъ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по узкой дорожкѣ, раздѣлявшей гряды на двѣ ровныя половины, подперся лѣвой рукой въ бокъ и, весело глянувъ по широкому пространству, занятому росистыми овощами, тихо зѣвнулъ, потянулся и сталъ, почесывая сапожкомъ одной ноги другую. Этотъ юноша была сама молодость, сама воплощенная свѣжесть. Пизонскій его разсматривалъ не безъ удовольствія, забывъ даже какъ будто о своемъ нетерпѣніи. Но вотъ ворота скрипнули еще разъ. Въ этотъ разъ на огородѣ показалась высокая, молодая женщина съ веселымъ румянцемъ и прямыми соболиными бровями. Она была одѣта въ темной шерстяной юбкѣ, старенькой гарнитуровой душегрѣйкѣ и покрыта по головѣ бѣлымъ бумажнымъ платкомъ съ розовыми каемочками.

Завидя эту женщину, Константинъ Іонычъ покраснѣлъ отъ радости до ушей и заметался по межѣ. Явно было, что это и есть то самое лицо, которое онъ хотѣлъ здѣсь видѣть, и что теперь его занимала одна мысль: какъ при-

влечь на себя ея вниманіе, не обративъ на себя въ то же время вниманія стоящаго парня. Но такой маневръ былъ рѣшительно невозможенъ, и Пизонскій снова присѣлъ на колѣни и, удерживая дыханіе, сталъ торопливо раздвигать синеватые усы гороха.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Между тѣмъ бѣлолицая красавица, войдя на огородъ, приподняла одной рукою отъ росной травы юбку и прямо направилась къ грядѣ съ молодымъ свекольникомъ. Пизонскому показалось, что, завидя стоящаго на дорожкѣ парня, молодая женщина немножко смутилась, но тотчасъ же и улыбнулась. Дойдя спокойною поступью до гряды, она поставила на межу большую, расписанную сусальнымъ золотомъ деревянную чашу и стала проворно срывать и класть въ нее молодые свекольные листья. Этимъ временемъ парень приблизился тихой, щеголеватой походкой къ красавицѣ и съ веселой улыбкой проговорилъ:

— Здравствуйте, невѣстка!

Та, къ которой относилось это привѣтствіе, не обратила на него никакого вниманія.

Молодой человѣкъ снова усмѣхнулся; онъ обошелъ невѣстку съ другой стороны и уже гораздо смѣлѣе прежняго проговорилъ;

— Платонида Андревна, здравствуйте!

— Здравствуй и ты, Авениръ Маркелычъ, — отвѣчала, не подымая лица отъ гряды, Платонида Андревна.

Авениръ отдалъ невѣсткѣ низкій поклонъ и сталъ помогать ей рвать въ чашку свекольникъ.

— Ну, а помогать мнѣ я тебя не прошу, — проговорила Платонида Андревна.

— Что же это вамъ мѣшаетъ?

— Не мѣшаетъ, а не хочу.

— Позволите?

— Нѣтъ, не позволю.

И съ этимъ словомъ выбросила назадъ изъ чаши нарванный Авенировъ пукъ свекольныхъ листьевъ.

— Отчего вы, невѣстка, такая сердитая?—запыталъ, распрямляясь во весь ростъ, молодой деверь.

— Такъ; не хочу, чтобы ты тутъ вертѣлся.

Авениръ улыбнулся, опять нарвалъ другую горсть зелени и опять положилъ ее въ расписную чашку.

— Послушай, Авениръ! иди ты, сдѣлай милость, отъ меня съ своею помощью прочь! — вскрикнула красавица и, не выдержавъ, разсмѣялась и бросила нарванную Авениромъ зелень прямо ему въ лицо.

Авениръ, кажется, только и дожидался этой перемѣны.

— Ну, вы же вотъ, невѣстка, разсмѣялись и опять стали красавица!

— Еще соври что-нибудь.

— Вотъ ей-Богу, разрази меня Богъ на семъ мѣстѣ — красавица, а нѣту на свѣтѣ ни одной царицы такой красивой, какъ вы!—заговорилъ онъ, глядя на нее со сложенными на груди руками.

— Тьфу!—отплюнулась безъ сердца Платонида Андревна и опять стала рвать бѣлой рукой росный свекольникъ.

Авениръ отошелъ, походилъ немножко и, снова приблизясь къ невѣсткѣ, заговорилъ тихо:

— А отчего это и объ чемъ вы, невѣстка, вчера съ вечера плакали?

— А ты почему это знаешь, что я плакала?

— Да я жъ будто не слышалъ?

— Гм! Гдѣ жъ это ты, дуракъ, могъ это слышать?

Платонида Андревна улыбнулась и сказала:

— Нѣтъ, я вижу, что вправду надо на тебя Марку Маркелычу жаловаться, чтобы тебя на ночь запирали.

— Для чего меня запирать?

— Чтобъ ты подъ окнами, гдѣ тебѣ не слѣдуетъ, не шатался.

— Ну, у меня про то на случай и потолокъ въ палаткѣ разбирается,—отвѣчалъ Авениръ.

— Дуракъ ты самъ-то разборчатый и больше ничего, — проговорила Платонида Андревна. — Мало тебя, дурака, и безъ того за меня колотятъ, такъ ты, видно, хочешь, чтобъ еще больше тебя братъ съ отцомъ колотили. Ну, и поколотятъ.

— А пусть ихъ пока еще поколотятъ. Только я чуть ли скоро и самъ не начну имъ сдачи давать.

— Ну, да, какъ же, сдачи! Нѣтъ, а ты вотъ что, Авениръ; онъ вонъ, свекоръ-то, Маркелъ Семенычъ, намедни при всѣхъ при отцахъ изъ моленной сказалъ, что онъ та-

кую духовную напишетъ, что все одному Марку Маркелычу отдастъ, а тебѣ, глупому, за твое непочтенье къ родителю,— шишъ съ масломъ.

— Что жъ? вы же, невѣстка, тогда съ вашимъ мужемъ богаче будете. Я этимъ счастливъ буду.

— Ммм!.. Нѣтъ, скажи ты, пожалуйста, что ты это въ самомъ дѣлѣ, Авениръ, о себѣ думаешь?

— А ничего я, невѣстка, не думаю. Про что мнѣ много думать-то?

— Нѣтъ, тебѣ нравится, что ли, чтобъ тебя били за меня да колотили?

— А можетъ-быть и нравится.

— Дуракъ.

— Дуракъ, да вамъ преданный.

— Такъ я не хочу, чтобы тебя увѣчили за меня, да еще нищимъ сдѣлали? Что ты это забралъ себѣ въ голову?

Авениръ молчалъ и стоялъ сложа руки. Платонида Андревна, сдвинувъ брови, говорила внушительно:

— Ты бъ то, непутящій ты парень, взялъ себѣ въ разумъ, что я вѣдь твоего брата жена; невѣстка тебѣ называюсь.

— Да я развѣ этого не помню, что ли? — отозвался нетерпѣливо Авениръ. — Я все это прекрасно помню, и ничего нехорошаго не думаю.

— Нехорошаго! Хорошее или нехорошее ты себѣ думаешь, а только знай ты себѣ, что ты мнѣ надоѣлъ, и я не хочу, чтобъ ты за мной слонялся. Слышишь ты это, Авенирка, или нѣтъ? Слышишь! не смѣй и никакъ не смѣй ты здѣсь со мной больше встрѣчаться... И заступаться за меня тоже дома не смѣй и не приставай ко мнѣ, что я красивая... потому что не хочу я этого; не хочу и не желаю... Да и... коли ужъ на правду пошло, такъ знай, что и ты мнѣ постылъ, вотъ что!

— Ну, это что... на что пустое говорить, невѣстка, неправду?

— Какъ пустое? Какъ это пустое? Съ чего это ты взялъ, что это пустое?

Авениръ махнулъ рукою и, наложивъ на губы свекольный листочекъ, насосалъ его и равнодушно хлопнулъ.

Платонида Андревна разсмѣялась и, пожавъ плечами проговорила:

— Ну, глядите, пожалуйста, на этого дурака, добрые люди!

— Эхъ, ужъ, невѣстка, полно вамъ все меня дуракомъ-то звать,—отвѣчалъ Авениръ.

— Что?

— А зачѣмъ вы меня цѣловали-то?

— Когда это? Когда это я тебя, дурака, цѣловала? Врешь ты это все, врешь ты это, лгунъ, никогда я тебя не цѣловала.

— Никогда?

— Никогда.

Платонида Андревна покраснѣла и, нагнувшись, стала еще скорѣе дергать свекольные листья и бросать ихъ въ чашу совсѣмъ съ землею.

— А забыли вы, невѣстка, какъ нашихъ въ прошломъ году дома-то не было?..

— Ну?

— А мы съ вами тогда въ прятки играли да на сѣнѣ боролись... то, помните?

Платонида Андревна приподнялась и, строго смотря въ глаза Авениру, спросила:

— Такъ что-жъ такое, что боролись?

— Ну, вотъ тутъ-то вы меня щекотали...

— Ну?..

— Ну, да и поцѣловали, отпираться нечего, что поцѣловали.

— Пффф, пустяки какіе онъ помнитъ! — отвѣчала, закрывая рукавомъ лицо, Платонида Андревна.—Можетъ, что и вправду какъ-нибудь тогда поцѣловала, потому что ты еще мальчикъ — отчего жъ мнѣ тебя было не поцѣловать. Ты моему мужу младшій братъ. Я этакъ хоть и еще сто разъ тебя, изволь, поцѣлую.

— Ну, поцѣлуйте.

Авениръ сдѣлалъ къ невѣсткѣ шагъ и слегка тронулъ ее за бѣлый кисейный рукавъ.

— Поди прочь, дуракъ!—серьезно проговорила, отшвырнувъ девереву руку, Платонида Андревна.

— Важность онъ какую придумалъ,—продолжала она: — что я поцѣловала! Въ этомъ острогѣ живучи, чорта съ рогами и того поцѣлуешь.

— А вотъ же и опять, невѣстка, неправду сказали; вотъ не очень-то вы брата цѣлуете.

— Авенпръ! — крикнула, приподнявшись и стараясь говорить какъ можно строже, Платонида Андревна. Что ты, негодный ты парень, очень хочешь, чтобъ я тебя изругала? Такъ я тебя, поганаго мальчишку, сейчасъ вотъ какъ нельзя хуже отдѣлаю.

— Да что вы это все меня мальчишка да мальчишка. Полно вамъ; пора и перестать мальчишкой-то звать меня.

— А потому я тебя такъ зову, что ты мальчишка.

— Что мнѣ двадцать-одинъ годъ, то и вамъ вѣдь столько же. Ничуть моего не больше на свѣтѣ прожили.

— Я женщина.

— А я мужчина.

— Дуракъ ты, а не мужчина. Важность какая, мужчина! Да и развѣ такіе-то бываютъ мужчины?

— Да, а то, невѣстка, какіе же?

— Какіе?.. А я вотъ не посмотрю, что ты мужчина, да оплеуху тебѣ хорошую дамъ.

— Ну и что жъ такое—дамъ!

— И ей-Богу дамъ!

— Да сдѣлайте одолженіе.

— И ударю тебя, и изругаю, и какъ не надо хуже высрамлю,—сказала, возвышая голосъ и на этотъ разъ непритворно сердясь, Платонида Андревна.—Что это въ самомъ дѣлѣ за наказаніе! Ничего, балбеска этакой, не дѣлаетъ; на пильню его калачомъ не заманишь, торговлѣ не учится, съ пристани все норовитъ какъ бы ему домой скорѣй; да еще теперь что себѣ, мерзавецъ, вообразилъ? Голова бъ у другого треснула такое подумать. Иди ты, негодяй, прочь!— крикнула она, размахнувшись на Авенира чашкой.—Прочь; а то сейчасъ брата крикну!

— Платоннннида! — раздался въ эту минуту со двора изъ-за сарая сухой, дребезжащій голосъ.

При первыхъ звукахъ этого голоса, Авениръ запрыгалъ козломъ черезъ гряды и, перескочивъ черезъ межу въ горохъ, очутился какъ разъ лицомъ къ лицу съ притаившимся здѣсь Пизонскимъ.

Оба они сидѣли на корточкахъ другъ противъ друга, какъ сидятъ рано утромъ на лѣсной опушкѣ молодые зайцы, и оба протирали себѣ руками удивленные глаза.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Между тѣмъ, Платонида Андревна, слѣдя съ улыбкой за прыгающимъ Авенировъ, спокойно отвѣчала мужу:

— Сейчасъ!

— Что, не знаешь ли ты, гдѣ это Авениръ? — продолжалъ тотъ же голосъ уже нѣсколько ближе.

— Нѣтъ, Марко Маркелычъ, не знаю,—опять отозвалась Платонида Андревна.

Въ калиткѣ показался похожій на ежа низенькій, черный съ просѣдью человѣкъ, лѣтъ сорока-пяти, съ злою физіономіею и сурово выглядывающими исподлобья подозрительными глазами.

— А здѣсь его нѣтъ?—спросилъ онъ, остановясь и распявшись руками на калиткѣ.

— Нѣтъ.

— И не бывалъ?

— И не бывалъ.

— Взаправду?

— Да что же ему здѣсь, Марко Маркелычъ, дѣлать?

— Гдѣ жъ это онъ, шальная собака, запропастился?

— Мнѣ будто показалось что-то, что онъ на пристань рано пошелъ,—отвѣчала Платонида Андревна.

— Опять же-таки все это онъ безъ времени дѣлаетъ.

— Торопился, видно, что работы много.

— Усерденъ очень! Ну-къ бы ему нынче за это его усердіе опять безъ чаю. Мы съ батюшкой идемъ на прядильню, а ты, если онъ вернется, чтобъ самовара ему другого не смѣла ставить! Слышишь ты про то или нѣтъ?

— Слышу.

— Не давать ему чаю, когда онъ своего времени не помнитъ.

— Не дамъ.

— Такой мой приказъ: не давать!

— Да не дамъ же, не дамъ, Марко Маркелычъ. Неужели-жъ-таки я васъ въ этомъ ослушаюсь? Можете послѣ и Дарью спросить,—отвѣчала мужу Платонида Андревна.

Калитка хлопнула на блокъ, и изъ-за гряды синихъ бобовъ въ ту же минуту съ испугомъ высунулась голова Авенира. Онъ проворно запрыгалъ опять козломъ черезъ гряды и, на бѣгу, тихо показывалъ Платонидѣ Андревнѣ рукою на гряду гороха.

— Скройся ты съ глазъ моихъ, нерачитель ненавистный!—проговорила, встрѣчая его и озираясь по сторонамъ, Платонида Андревна.—Что ты бзыришь-то козломъ по огороду? Пошелъ, тебѣ говорятъ, вонъ!

Но Авениръ, не слущая этого приказа, тихо взялъ невѣстку за рукавъ и тихо же съ серьезной миной указалъ ей рукою на гороховую гряду, за которой скрывался доселѣ Пизонскій.

Платонида Андревна только-что взглянула по этому направленію, какъ пронзительно вскрикнула и уронила изъ рукъ чашу со свекольникомъ. Въ горохѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ поставленнаго для воробьевъ пугала, стояла длинная, смѣшная фигура Пизонскаго, на которой, тоже какъ и на пугалѣ, висѣли лохмотья мокраго коленкороваго халата, подпоясаннаго зеленою коноплею.

— Миленькая! Постой! Миленькая Платонида Андревна, постойте!—заговорилъ Пизонскій, вылѣзая изъ-за своей засады.—Я къ тебѣ, дѣвушка, не съ зломъ пришла.

Платонида Андревна съ нѣмымъ удивленіемъ разсматривала предстоящую ей странную фигуру; ей казалось, что это само гороховое пугало сошло съ мѣста, чтобы обличить ее въ грѣхѣ Иродіады, т. е. въ ея хотя дѣтской, но все-таки сердечной слабости къ мужниному брату.

Константинъ Іонычъ, разрушая убѣжденія Платониды Андревны о его тождествѣ съ гороховымъ пугаломъ, поспѣшилъ счестьси съ нею родствомъ, потомъ напомнилъ, какъ его три дня назадъ приняли Маркелъ Семенычъ и мужъ Платониды, Марко Маркелычъ, и наконецъ, поклонившись Платонидѣ Андревнѣ до земли, сталъ просить ее пособить ему пріютить спрятанныхъ имъ на конопляникѣ дѣтей.

Извѣстное дѣло, что никогда и никому женщина неспособна оказать болѣе великодушнаго сочувствія и услуги, какъ человѣку, сдѣлавшемуся случайно повѣреннымъ ея сердечной слабости.

Платонида Андревна подтвердила непреложную истину этого мнѣнія: не разспрашивая ничего болѣе у Пизонскаго, она прямо обратилась съ вопросомъ къ Авениру:

— Ну, какъ же быть? Что же мы, Авениръ, сдѣласмъ?

Авениръ только развелъ руками.

— Развѣ вотъ что,—продолжала Платонида Андревна:—развѣ, ступай ты, Авенирка, отъ меня къ бабушкѣ Ро-

ховнѣ; она хоть и не изъ церковныхъ, но не строгая; она, можетъ, сжалится—приметъ.

А Пизонскій продолжалъ:

— И доложу тебѣ, моя умница, что одежонки на нихъ, на бѣдныхъ птенчикахъ, теперь никакой нѣтъ ровнехонько; одна-таки еще въ рубашечкѣ, а другая, меньшинькая—совсѣмъ голенькая. Завернула я ее въ свои штанцы, да не очень ей въ нихъ пристойно, а ея лохмотики всѣ свалились, да, совсѣмъ свалились.

— Это ничего,—отвѣчала Платонида Андревна:—лохмотковъ я сейчасъ вынесу. Чтобъ только Дарья-воровка за мною какъ не подсмотрѣла! — добавила она, взглянувъ на Авенира и приложивъ къ губамъ палецъ. — Она нонче все за мной, какъ есть всякій мой шагъ замѣчаетъ.

— А вы, невѣстка, будто какъ на пугало что негодное несете: сверните въ комочекъ да и пронесите, — научалъ Авениръ невѣстку.

— Только я свое развѣ что — дѣтскаго у меня ничего нѣтъ, потому дѣтей у насъ нѣтъ въ домѣ—не рожаю я,— заговорила, бѣгучи къ калиткѣ, Платонида Андревна.

Минутъ черезъ пять она громко закричала на дворѣ «шугууу!» и выскочила на огородъ съ туго свернутымъ комкомъ, изъ котораго мотались и коленкоръ, и холстъ, и пола стеганой ватной шубеечки.

Ткнувъ этотъ сверточекъ Пизонскому, она дернула за локоть Авенира и сказала:

— На забѣги оттуда въ трактиръ, тамъ чаю напейся,— и съ этимъ она сунула ему въ руку пятиалтынный.

Авениръ ласково отвелъ невѣсткину руку и проговорилъ:

— Спрячьте, невѣстка, спрячьте; вамъ самимъ надо; а я и безъ чаю хорошъ буду.

Съ этими словами Авениръ не хуже ловкаго волтижера перелетѣлъ черезъ частоколъ и побѣжалъ вслѣдъ за Пизонскимъ, который, обхвативъ руками данныя ему ветошки, уже выбирался широкими шагами на поле.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Древлепечатная бабушка Февронья Роховна, мѣстная знахарка и акушерка, была старуха очень добрая и, по замѣчанію Платониды Андревны, «не строгая». Она пустила Пизонскаго съ принесенными имъ въ плетушкѣ

дѣтьми пожить въ маленькомъ деревянномъ чуланчикѣ, гдѣ у нея висѣли разные цѣлебные и мнимоцѣлебные коренья и травки. Пока до осени Пизонскій и пріютился здѣсь такъ, что, по крайней мѣрѣ, и дождь, и ночные холода ему съ дѣтьми были не страшны; а Авениръ каждую недѣлю раза два приносилъ сюда отъ Платониды Андревны и печенаго, и варенаго, и молока, и свѣжей огородины. Пизонскій устраивался. Онъ постоянно сидѣлъ на полу въ чуланѣ возлѣ кровати, на которой помѣщались его дѣти, и то забавлялъ ихъ самодѣльными игрушками, то ковылялъ иглою, перешивая имъ изъ присылаемой Платонидой Андревной ветоши разныя рубашечки, шапочки, фуфаечки, да епанечки. Шилъ онъ прекрасно, какъ искусная женщина. Этому его научили въ монастырѣ, когда считали его дѣвочкой. О Пизонскомъ еще почти никто въ это время не зналъ въ Старомъ Городѣ; а кто зналъ, тотъ или ничего о немъ не думалъ, или думалъ, что это новый нищій, новый стоялецъ соборнаго притвора. Сама бабушка Роховна, глядя на его возню и хлопоты, не предрекала ему другой судьбины и мысленно упрекала его, зачѣмъ онъ забралъ дѣтишекъ.

— Какъ ты съ ними будешь, Іонычъ?—говорила ему не разъ, указывая на дѣтей, бабушка Роховна.

— Бабушка,—отвѣчалъ старухѣ Пизонскій:—сидѣлъ пророкъ Илія одинъ въ степи безлюдной; предъ очами его было море синее, а за спиною острая скала каменная, и надо бы ему погибнуть голодомъ у этой скалы дикой.

— Такъ, батюшка,—подтвердила Роховна.

— Да послалъ къ нему Господь ворона,—говорилъ, оживляясь, Пизонскій:—и повелѣлъ птицѣ кормить слугу своего, и она его кормила. Замѣчай: птица, бабушка, кормила! *птица!*

— Такъ, батюшка, точно что кормила.

— Да, мать Февронья Роховна, кормила. И послалъ мнѣ Господь двухъ птицъ: летаетъ ко мнѣ воронъ Авениръ и печется обо мнѣ бѣлая лебедь Платонида Андревна, и прокормятъ они меня съ цыплятками моими, пока я обошью ребетёнокъ и самъ стану на ноги.

«Гдѣ тебѣ стать на ноги?» — молча, думала про себя, отходя отъ него, бабушка Роховна; но скоро она перемѣнила это мнѣніе.

Константинъ Іонычъ, принимая пособіе Авенира и Платониды, и самъ не сидѣлъ сиднемъ и не ждалъ воды подъ лежачій камень. Энциклопедизмъ его скоро ему пригодился и его выручилъ. Пизонскій показалъ бабушкѣ Роховнѣ, что ни самъ онъ, ни его цыплята не пропадутъ — ни съ холоду, ни съ голоду.

Обшивъ дѣвочекъ, Константинъ Іонычъ вступилъ съ бабушкой въ переговоры о дозволеніи обрядить ея чуланъ на свой счетъ въ жилую каморку, съ тѣмъ, что онъ, какъ Богъ его поправитъ, сдастъ ей все въ порядкѣ, а пока будетъ здѣсь жить, станетъ ей платить по полтиннику въ мѣсяцъ.

Бабушка Роховна, не видя для себя въ этомъ ничего, кромѣ прибытка, согласилась. Пизонскій, пользуясь тѣми часами, когда наигравшіяся дѣти засыпали, натаскалъ на бабушкинъ дворъ мѣшковъ глины, вымазалъ чуланъ самымъ тщательнымъ образомъ, напихалъ въ подполье земли, сложилъ крошечную печурку и, наконецъ, спокойно крякнулъ.

У-у! какъ богатъ и какъ счастливъ теперь былъ Пизонскій и какимъ назидательнымъ примѣромъ онъ могъ бы служить для великаго множества людей, разрѣшающихъ проблематическіе трактаты о счастьи!

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Съ устройствомъ каморки, Пизонскій далеко отогналъ отъ себя всякое безпокойство. Теперь у него была только одна насущная забота, — забота пріучить старшую, пятилѣтнюю дѣвочку Глашу присматривать, въ его отсутствіе, за ея младшей сестрой Нилочкой, или, какъ Пизонскій звалъ ее, *Милочкой*.

Достигнувъ того, что малосмысленную Милочку можно было оставлять подъ надзоромъ Глаши, Константинъ Іонычъ началъ отлучаться на короткое время изъ дома, и послѣ каждой такой отлучки возвращался всегда домой съ покупками, на которыя истратилъ послѣдніе два рубля, принесенные имъ изъ солдатчины. Прежде всего Пизонскій пришелъ домой съ старымъ муравленымъ горшкомъ; потомъ онъ въ нѣсколько пріемовъ натаскалъ къ себѣ разныхъ негодныхъ баночекъ, пузырьковъ и бутылочекъ и, наконецъ, принесъ чернильныхъ орѣшковъ, меду и голландской сажи. Съ

этими препаратами и съ этимъ матеріаломъ Пизонскій усѣлся передъ печкой за химическія занятія. Дня черезъ два онъ вышелъ изъ дому съ большой бутылкой чернилъ и съ деревяннымъ ящикомъ черной, лоснящейся ваксы. На чернилахъ Пизонскій сбанкрутовалъ, потому что сторожа присутственныхъ мѣстъ дѣлали чернила на казенныя деньги и, слѣдовательно, могли продавать этотъ продуктъ на сторону гораздо дешевле Пизонскаго; но его свѣжая ваксa оказалась гораздо лучше сухой синей ваксы, получаемой въ плиткахъ изъ Москвы, и эта часть коммерціи его выручила. Константинъ Іонычъ совсѣмъ ожилъ и сталъ еще смѣлѣе и предпріимчивѣе. Скоро Старый Городъ увидалъ его безпрестанно снующаго изъ дома въ домъ съ набитымъ ваксою деревяннымъ ящикомъ и съ дешевыми, очень прочными самодѣльными щетками. Пизонскій леталъ съ своимъ ящикомъ во всѣ дома, въ лавки, въ присутственныя мѣста, на постоялые дворы; вездѣ онъ тихо и не спѣша снискивалъ себѣ общую расположенность, со всѣми знакомился и всякому на что-нибудь пригожался. Въ уѣздномъ судѣ часы били лѣтъ двадцать съ такимъ частымъ боемъ, что никто не могъ счесть, сколько они ударили—часъ или двѣнадцать: Пизонскій снялъ часы, попилилъ, постучалъ и они стали бить отчетисто: разъ, два, три—какъ слѣдуетъ. Отцу-протопопу Тубѐрозову онъ устроилъ въ окнѣ жестяной вентиляторъ. Отецъ-протопопъ похвалилъ его и сказалъ: «да, ты не изященъ, но не безъ таланта». Городскому головѣ Котинъ сдѣлалъ деревянную ногу, чтобы чистить на ней его высокія голенища, и тотъ тоже не преминулъ похвалить его. Дьякону Ахиллѣ приправилъ, по его просьбѣ, шпоры къ сапогамъ, въ которыхъ дьяконъ намѣревался ѣздить верхомъ въ деревню къ знакомымъ. Правда, что шпоры эти жили недолго, потому что встрѣтившій Ахиллу со шпорами протоіерей Тубѐрозовъ тутъ же велѣлъ эти шпоры отломить; но тѣмъ не менѣе и эти шпоры все-таки тоже были за Пизонскаго. Потомъ Пизонскій кому починилъ зонтикъ, кому полудилъ кастрюлю, кому спаялъ изломанныя мѣдныя вещи, склеилъ разбитую посуду, и Старый Городъ не успѣлъ оглянуться, какъ Пизонскій въ самое короткое время прослылъ въ немъ самымъ преполезнымъ человѣкомъ. Теперь, кажется, если бы Пизонскій самъ задумалъ почему-нибудь оставить Старый Городъ, такъ всѣ бы заговорили въ одинъ голосъ: «нѣтъ, какъ же

это мы останемся безъ Константина Іоныча?» Почтмейстерша, слышавшая за большую хозяйку и великую ехидну, даже ужъ впередъ нѣсколько разъ публично выражала такое мнѣніе, что безъ Пизонскаго въ Старомъ Городѣ и жить было бы невозможно.

Съ голоса почтмейстерши, въ самомъ скоромъ времени, то же самое заговорили о Пизонскомъ и другіе.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,—говорили эти другіе:—Боже спаси насъ остаться безъ Константина Іоныча! Теперь даже вспомнить это время, какъ его у насъ не было, когда за всякимъ пустякомъ, бывало, посылай въ губернію, такъ и не понимаешь даже, какъ это мы и жили.

Пизонскій, можетъ-быть, уже долженъ бы былъ заботиться о томъ, чтобы не возбуждать противъ себя зависти и злословія, но Пизонскій велъ себя тихо, ровно и, не возносясь своими успѣхами, не возбуждалъ и ничьей зависти.

Доброе имя его все росло и общее расположеніе къ нему все увеличивалось. Расположеніе это выражалось не одними словами, но и дѣлами. Въ городѣ вдругъ оказалось нѣсколько лицъ, которыхъ стала серьезно занимать мысль о томъ, какъ бы прочно устроить здѣсь бытъ многополезнаго Константина Іоныча.

Первая выразила такую заботливость почтмейстерша.

Эта полная, животрепещущая дама, которой, какъ греческаго огня, боялись всѣ почтальоны и которой больше всѣхъ боялся ея мужъ, зашла въ своей расположенности къ многополезному Пизонскому до того, что вмѣнила мужу въ непремѣнную обязанность дать Пизонскому мѣсто при почтовой конторѣ.

— Матушка!—начиналъ, складывая на груди руки, умоляющій почтмейстеръ, желая этимъ покорнымъ жестомъ изъяснить супругѣ, какъ трудно создать для Пизонскаго мѣсто при почтовой конторѣ.

— Что-съ?—грозно окликала мужа животрепещущая почтмейстерша:—я этого требую; слышите: *требую*?

— Ангелъ мой!—еще ниже одною нотою запѣвалъ почтмейстеръ:—но если этого нельзя?

Почтмейстерша посмотрѣла на мужа холоднымъ, презрительнымъ взглядомъ.

— Голубчикъ Дезидерій Иванычъ,—обратился на другой день почтмейстеръ къ своему сортировщику: — сдѣлай ми-

лость, научи, какъ бы намъ дать въ конторѣ Пизонскому мѣсто. Непремѣнно этого требуетъ Агаѳья Алексѣвна.

— Ахъ, ты Боже мой!—отвѣчалъ сортировщикъ, и оба они съ почтмейстеромъ задумались.

— Развѣ вотъ что,—началъ, потянувъ себя двумя перстами за нижнюю губу, Дезидерій Иванычъ: — развѣ посадить его расписываться въ получательской книгѣ.

— Вы, ей-Богу, министръ,—отвѣчалъ обрадованный почтмейстеръ и тотчасъ же послалъ сторожа за Константиномъ Низонскимъ.

Призванный Пизонскій и радъ и не радъ былъ своему счастью: съ одной стороны его манила прелесть заработка за расписку вмѣсто неграмотныхъ, а съ другой, какъ вспоминалъ онъ степень собственной грамотности, и особенно бралъ въ расчетъ долговременное неупражненіе въ этомъ капризномъ искусствѣ, онъ не рѣшался взяться за это хитрое дѣло.

— Робка я, дѣвушка, на перѣ,—говорилъ онъ почтмейстеру.

— Дезидерій Иванычъ тебя, Константинъ Іонычъ, поучитъ; онъ тебя поучитъ, поучитъ.

Пизонскій подумалъ и, поджигаемый безгрѣшной корыстью, отвѣчалъ: «ну, развѣ поучить».

Дали Пизонскому мѣсто «расписчика», но только не въ прокъ пошло ему это мѣсто по протекціи. Первый же почтовый день, въ который ему пришлось расписываться за неграмотнаго получателя, былъ и послѣднимъ днемъ его почтовой службы.

— Пиши, Константинъ Іонычъ,—диктовалъ ему сортировщикъ.

Пизонскій взялъ въ руки перо, сначала его послюнилъ, потомъ обмакнулъ, потомъ положилъ на бумагу руку, а на руку налегнулъ правой щекою, долго выводилъ перомъ разные разводы и, наконецъ, воскликнулъ: *«есть!»*

Сортировщикъ съ внятными разстановками началъ диктовать: «оные семь рублей и десять копеекъ серебромъ получилъ и расписался такой-то, а вмѣсто его, неграмотнаго, отставной рядовой Константинъ Пизонскій».

Пизонскій еще крѣпче прижалъ щеку къ бумагѣ и пошелъ выводить.

На этотъ разъ онъ рисовалъ до безконечности долго;

круглые глаза его выпирало отъ внимательнаго слѣдованія за водящею перомъ рукою; на лбу собирались капли холоднаго пота, и все лицо его выражало невыносимую тревогу.

Это продолжалось добрую четверть часа, по истеченіи которой Пизонскій вдругъ быстро откинулся на спинку стула, потомъ вскочилъ и затрясся, не сводя глазъ съ своей расписки. Видъ его въ это время былъ просто ужасенъ: онъ походилъ на медіума, вызвавшаго страшнаго духа и испуганнаго его явленіемъ. Сортировщикъ и почтмейстеръ заглянули на роковую страницу и тоже остолбенѣли. На этой страницѣ рукою Пизонскаго было изображено: «Оніе скилбуры и удастъ кокеу съ рублемъ почулъ и распился отстегни на видъ Контантинтантин...»

Это убійственное для воспроизведенія перомъ имя подняло въ душѣ Пизонскаго всѣ забытыя страданія его сиротскаго дѣтства; каждое одно изъ другого вытекавшее «тантинтантин» являлось передъ нимъ новымъ, злымъ, насмѣшливымъ кобольдомъ, или гномомъ, и онъ не выдержалъ, всталъ и въ страхѣ затрясся.

— Вотъ, ангелъ мой, какъ онъ расписался, — говорилъ черезъ минуту почтмейстеръ, предъявляя женѣ испорченною получательскую книгу.

Почтмейстерша не выдержала и улыбнулась, прочитавши Пизонскаго «скилбуры».

— И «отстегни на видъ»,—указывалъ ей, обрадованный ея улыбкою, почтмейстеръ.

— Ну, что жъ вы тутъ такое особенное показываете?

— Да помилуй же, душка: «отстегни на видъ». Какъ же это можно такъ сказать? Въ этомъ вѣдь просто нѣтъ смысла.

— Да, я это вижу, но я все-таки буду о немъ самаго хорошаго мнѣнія,—отвѣчала почтмейстерша такъ, какъ будто она была хорошаго мнѣнія о тѣхъ, которые къ почтовой службѣ неспособны.

Этотъ новый анекдотъ о Пизонскомъ разошелся по городу; но и онъ нимало не повредилъ его незыблемой репутаціи.

Напротивъ, Пизонскаго чуть ли не съ этихъ поръ и начали принимать въ чиновничьихъ домахъ не какъ ремесленника, а какъ свободнаго художника, которому мелочи приказностроительства даже и неприличны. Его те-

перь не кормили на кухняхъ, а сажали на особый стулъ у двери залы; ему подносили рюмку водки не между пальцами, а на ломтѣ хлѣба, и говорили ему въ глаза не просто «ты», а «ты, Константинъ Іонычъ». Онъ до такой степени выдвигался изъ положенія рабочаго смерда, что даже самъ голова сталъ посылать ему чаю не въ сѣни, а въ молодцовскую, и позволялъ разсуждать съ собою стоя у притолоки. И не прошло года, какъ всѣ замѣтные люди Стараго Города самымъ незамѣтнымъ образомъ очутились друзьями и сторонниками убогаго пришельца Пизонскаго и ему настала пора сдѣлаться собственникомъ и гражданиномъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Принося всѣмъ и каждому посильныя услуги и втираясь, безъ всякихъ подобострастныхъ искательствъ, во всеобщее расположеніе, Константинъ Іонычъ никогда не жаловался на свою судьбу и даже никогда ни слова никому не говорилъ о своихъ сироткахъ. Развѣ когда кто самъ его о нихъ спрашивалъ: «Ну, какъ, Константинъ Іонычъ, твои дѣти?» то только въ такихъ случаяхъ Пизонскій отвѣчалъ: «А живутъ, моя дѣвушка, помаленечку».

— Ты бы, Константинъ Іонычъ, подумалъ, чтобъ дать имъ какое-нибудь воспитаніе,—говорили ему барыни.

Пизонскій отмалчивался или коротко отвѣчалъ:

— Какъ же, дѣвонька, я думаю.

— Хоть бы ты ко мнѣ ихъ присылалъ поучиться, — предлагала ему почтмейстерша.

Пизонскій и отъ этого отдѣлывался.

— Дики онѣ у меня, дружокъ: очень сиротливы; людей не видали; куда имъ въ господскомъ домѣ!

У Константина Іоныча насчетъ воспитанія сиротъ были свои планы, о которыхъ онъ ни съ кѣмъ не говорилъ, но которые зналъ до малѣйшихъ деталей.

Совѣсть, не допускавшая Пизонскаго никому ни на шагъ перебивать никакой дороги, изощрила его вниманіе къ тѣмъ брѳсовымъ средствамъ, которыя лежатъ праздными которыя какъ бы никому ни на что не нужны и не обращаютъ на себя ничьего вниманія. Неудача почтовой карьеры еще болѣе убѣдила Пизонскаго, что онъ не можетъ идти путями протекцій. Онъ чувствовалъ, что ему

пригодны одни прямые пути; что для него гораздо удобнѣе брать въ свои руки то, чѣмъ небрегли другіе, что не дастъ ему ни недостойной борьбы, ни враговъ и завистниковъ.

Пизонскій видѣлъ, что на нашей просторной землѣ, на нашей широкой полосѣ, и нежатой, и неоранной, еще нетронутаго добра будетъ и преизбудетъ на всякую плоть, не щадящую пота своего, и онъ сдѣлалъ новый шагъ къ устройству сиротъ своихъ. Въ одно лѣто Пизонскій явился на сходку въ думу и сказалъ:

— Не будетъ ли, господа думцы, вашей милости пустить меня съ сиротами покормиться подъ мостъ на пустой островъ?

— И вправду,—заговорило общество: — пустимъ ихъ на нашъ пустой островъ. Все равно вѣдь отъ этого пустыря никакой пользы нѣтъ,—пусть же этою лядою хоть добрый человѣкъ пользуется.

И Пизонскій безданно и безпошлинно получилъ въ долгосрочную временную собственность пустой островъ — царство запустѣнія, бурьяна, ужей и крапивы.

Это пріобрѣтеніе было для Пизонскаго такимъ великимъ счастіемъ, что онъ не могъ и вообразить теперь кого-нибудь счастливѣе себя на цѣломъ свѣтѣ. Въ первый же годъ по полученіи въ свою власть этого острова, онъ поставилъ здѣсь хибарочку, выкопалъ землянку, окопалъ ровокъ и поставилъ воротцы. На другой годъ пустынный островъ былъ уже бакшою, давшею Пизонскому съ сиротами и хлѣбъ, и соль, и все, еже имъ на потребу. Зимою Пизонскій почувствовалъ себя даже бариномъ. Онъ добылъ, гдѣ могъ, различныхъ книжекъ и научилъ своихъ сиротокъ грамотѣ, и успѣхи обѣихъ, очень понятливыхъ дѣвочекъ, были Пизонскому неслыханнымъ утѣшеніемъ. Въ такомъ прелестномъ благополучіи, въ такомъ райскомъ житьѣ прошли для нашего Робинзона цѣлые четыре года: семейный міръ его не возмущался ничѣмъ ни на минуту; дѣти его подрастали и учились; у него завелись лошадка и телѣжка, которую онъ, по любви къ искусствамъ, каждую весну перекрашивалъ въ новую краску; годы шли урожайные, нечего было и желать больше. Пизонскій всѣми былъ почитаемъ за человѣка годнаго на все и повсюду, и, дѣйствительно, онъ только не годился въ чиновники.

Такъ Пизонскій возникъ безъ опеки и безъ покровительствъ и уже самъ покровительствовалъ тому, что̀ имѣетъ право на покровительство,—*дѣтству*. Но... всегда ждутъ насъ, гдѣ мы не думаемъ, разныя скверныя *но*.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Въ тотъ приснопамятный годъ, когда во многихъ мѣстахъ Россіи передъ осенью во второй разъ зацвѣли въ садахъ вишни и яблони и народъ запророчествовалъ по этому явленію великій моръ на люди, отошелъ въ вѣчность Марко Дѣевъ, мужъ встрѣченной нами утромъ на огородѣ молодицы Платониды Андревны. Въ огромной дубовой колодѣ, съ пудовыми свѣчами, съ ладаннымъ куреніемъ и гнусливымъ раскольничьимъ пѣніемъ отнесли его на кладбище и сравняли, по обычаю, съ землею, которую онъ протопталъ лѣтъ полсотни своими сапожищами. Никто особенно не убивался на могилѣ отшедшаго Марка. Вдова его, Платонида Андревна, тихонько поплакала, да старикъ Маркелъ Семенычъ уронилъ нѣсколько слезинокъ. Только всего и было вещественнаго выраженія скорби по этомъ усопшемъ. Братъ покойника Авенирь оставался совершенно равнодушенъ къ смерти своего жестокаго брата, тѣмъ болѣе, что въ теченіе трехъ послѣднихъ дней, которые мертвецъ простоялъ въ домѣ, старикъ Маркелъ Семенычъ, начавшій, страха ради холернаго, прилежать чарочкѣ, разъ пять принимался колотить Авенира чѣмъ попадя, упрекая его при этомъ въ безчувственности и говоря, что «вотъ тебѣ бы, нерачителю, слѣдовало растянуться, а не брату». Маркелъ Семенычъ, взволновавшись одинъ разъ горемъ утраты, страхомъ смерти и виномъ утѣшенія, никакъ не могъ войти въ свою форму и не уставалъ поддерживать себя стаканомъ. Засыпавъ сына землею, онъ и тамъ, на кладбищѣ, выпилъ за его душу одну серебряную чарочку, роздалъ тамъ же своею рукою мѣшокъ мѣдныхъ денегъ на поминъ сыновней души и сѣлъ верхомъ на свои старинныя дрожки, запряжённыя толстою вороною лошадью, а въ колѣни, бокомъ къ нему, робко присѣла овдовѣвшая невѣстка Платонида Андревна. Ясные съ темной поволокой глаза молодой вдовы были очень мало заплаканы, и чуть только она съ свекромъ выѣхала съ кладбища на поле, отдѣляющее могилки отъ города, эти ясные глаза совсѣмъ высохли и взглянули изъ-подъ густыхъ рѣсницъ сво-

ихъ еще чище, чѣмъ смотрѣли доселѣ. Словно они только умылись слезой, или словно теперь только они и увидѣли впервые свѣтъ Божій. Да именно скорѣе можно было предполагать, что они теперь только впервые и увидѣли этотъ свѣтъ. Это говорили не одни глаза красавицы, но и ея бѣлая грудь, которая вздыхала теперь вольно и широко, колышась подъ кармазинной душегрѣйкой.

Кто бы теперь только дерзнулъ напомнить этой пышной розѣ: «*ты вдовица!*» чья бы рука налегнула срѣзать такимъ напоминаніемъ этотъ роскошнѣйшій цвѣтокъ, такъ сильно протестовавшій за свое право цвѣсти, зрѣніе радовать и разливаться ароматомъ? Нѣтъ, самый пламеннѣйшій идеалистъ не посовѣтовалъ бы ей проводить жизнь въ воздыханіяхъ о переселившихся въ вѣчность; ее не осудилъ бы на сожженіе съ мужемъ самый фанатическій индіецъ, и если суровый аскетъ не сказалъ бы ей: «Жено! впередъ отпущаются ти вси грѣхи», то поэтъ, глядя въ ея дѣтское личико, долженъ былъ воскликнуть:

Мертвый въ гробѣ мирно спи,
Жизнью пользуйся живущій!

Даже суровый старикъ Дѣевъ не щунялъ ее за скудость источниковъ ея слезъ, и онъ, возвращаясь съ сыновнихъ похоронъ, прощалъ невѣсткѣ земную красоту ея и, поглядѣвъ на нее, проговорилъ только:

— Тебѣ неловко сидѣть, Платонида! Сядь, лебедь, сюда, ближе!—съ этимъ старикъ своею рукою подвинулъ невѣстку отъ кучеровой спины къ своимъ колѣнямъ и еще разъ добавилъ:—сядь такъ.

— Нѣтъ, тятенька, ничего мнѣ; мнѣ очень даже прекрасно,—отвѣчала Платонида Андревна.

— А ты еще попридвинься: такъ еще будетъ лучше.

Платонида Андревна въ угоду свекру слегка подвинулась. Маркелъ Семенычъ долго смотрѣлъ ей на носъ, на лобъ, на рѣсницы и, наконецъ, проговорилъ:

— Ты, молодица, по мужѣ хошь и плачь въ свою мѣру, потому что онъ тебѣ былъ мужъ; ну, очень-то ужъ ты не убивайся: ты забыта и обижена въ моемъ домѣ не будешь.

Платонида Андревна легонько поклонилась свекру.

Эта покорная благодарность такъ понравилась Маркелу Семенычу, что онъ, слѣзая у воротъ съ дрожекъ, крѣпко сжалъ за локоть невѣсткину руку и еще разъ сказалъ ей:

— Не бойся, моя лебедь, никого не бойся.

За заупокойнымъ столомъ Маркелъ Семенычъ нѣсколько разъ публично заговаривалъ, что хоша сынъ его и умеръ бездѣтнымъ, но что онъ, почитаючи его вдову, а свою невѣстку, желаетъ ей сдѣлать опредѣленіе и намѣренъ дать ей равную съ Авениромъ часть.

— А можетъ-быть даже,—добавлялъ онъ, искоса взглядывая на Авенира:—можетъ-быть, что въ такомъ буду мнѣніи, что и все ей одной отпишу, какъ она того заслуживаетъ, потому что ничѣмъ я не могу ее укорить и всѣмъ я ею доволенъ, а добро есть мое собственное—кому его захочу отдать, тому и отдамъ.

Платонида Андревна краснѣла до самыхъ ушей, и не знала, что ей говорить и что думать, и въ смущеніи растерянно кланялась за столомъ въ поясъ свекру.

Во все время обѣда Маркелъ Семенычъ все себя подправлялъ, все попивалъ по чашечкѣ и, наконецъ, захмелѣлъ. Проводивъ, какъ могъ, гостей, онъ повалился на диванъ и только безсмысленно произнесъ:

— Невѣстка!

Платонида Андревна съ Авениромъ взяли старика подъ руки и отвели его въ спальню.

— Невѣстка!—произнесъ онъ снова, еще болѣе заплетая языкомъ, когда его положили въ постель.

— Что изволите?—спросила его Платонида Андревна; но Маркелъ Семенычъ уже спалъ и ничего ей не отвѣтилъ.

Авенировъ съ Платонидой оставили старика высыпаться и разошлись.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Авенировъ, побродивъ по огороду, пошелъ со двора, а молодая вдова сѣла, пригорюнясь, у окошечка. Суроваго, непривѣтливаго мужа ей не жаль было, потому что ничего она отъ него во всю свою жизнь не видѣла, кромѣ угрозъ да попрековъ, и никогда ничего лучшаго не ожидала отъ него и въ будущемъ. Но что же и теперь у нея впереди? Что ждетъ ее, одинокую, вдовую, безприданную, въ ея нынѣшнихъ молодыхъ годахъ? А жизнь такъ хороша, а жить такъ хочется, такъ манится, такъ что-то кружится-кружится передъ глазами...

— Эхъ, чуръ меня совсѣмъ, что это такое мнѣ ду-

мается,—проговорила въ досадѣ Платонида Андревна и, сердито почесавъ одною рукою локоть другой руки, оперлась ею о подоконникъ и сѣла и стала глядѣть, какъ на карнизѣ фронтона амбаровъ сладко цѣлуются съ дружками сизые голуби.

Пусто и скучно вокругъ; скучно и пусто и на сердцѣ Платониды Андревны.

«Лучше бъ ужъ скорѣй состарѣться; лучше бъ я не шла никогда замужъ; лучше бъ меня въ монастырь отдали...» думала она, отирая кисейнымъ рукавомъ выступавшія на глазахъ почти дѣтскія слезы, и, вздыхая, перекладывала голову съ одной усталой руки на другую. Такъ прошелъ часъ-другой, и тяжелый день тихо сгорѣлъ передъ ея глазами.

Въ самыя густыя сумерки къ ней вошелъ Авениръ. Онъ оглянулся по комнатѣ, повѣсилъ на колокъ фуражку, сѣлъ противъ невѣстки на стулъ и подалъ ей на рукѣ кисть винограда.

— Гдѣ ты это взялъ, Авениръ?—спросила его Платонида Андревна.

— Лялинымъ бакалей пришла, такъ и этого привезли; только, говорятъ, его теперь ѣсть при этой болѣзни не годится.

— Отчего не годится? Ну-ка, давай-ка сюда, я погляжу, какъ не годится.

Платонида взяла виноградную кисть, объѣла на ней всѣ ягоды, обтерла рукавомъ алыя губы и, выбросивъ на галлерейку за окно пустую кисть, потихоньку засмѣялась.

И Авениръ, и вдова были совершенно спокойны; но обоимъ имъ что-то не говорилось.

— Ты гдѣ былъ?—спросила Платонида нехотя своего деверя.

— Такъ... въ проходку немножко ходилъ,—отвѣчалъ Авениръ.

— Скучища у насъ на дворѣ такая, что ужасть.

— Да, вѣдь, что заведешь дѣлать-то?

— Что ты говоришь?

— Говорю, что что жъ, молъ, заведешь дѣлать, что скука?

— Мой бы згадъ: теперь хорошо спать ложиться,—проговорила Платонида Андревна.

— Да и что жъ такое.

— Только и всего, что тятенька встанутъ, надо имъ чай собрать.

— А вы тогда и встаньте, какъ онъ проснется; да онъ хмеленъ очень; наврядъ онъ еще и проснется-то.

— И то послушаюся тебя, часочекъ какой вздремну покуда такъ въ платьѣ. Иди-ка ты отъ меня съ Богомъ.

Молодой человѣкъ всталъ и снялъ съ гвоздя свою фуражку. Въ одно время съ нимъ поднялась съ своего мѣста и Платонида и, позѣвывая, проговорила:

— Охъ, Господи, что-й-то у меня передъ чѣмъ-то такъ локти чешутся?

— На другомъ мѣстѣ спать, невѣстка.

— Еще что ври! на какомъ это на другомъ мѣстѣ спать мнѣ? Это локти къ горю чешутся,—добавила она, выпроваживая деверя, и защелкнула за нимъ дверь на задвижку.

Оставшись одна въ запертой комнатѣ, Платонида поставила около покрытаго ковромъ сундука свѣчу и желѣзный ящичекъ съ трутомъ, сѣрниками и огнивомъ, перекрестилась, легла на этотъ сундукъ и, утомленная трехдневными хлопотами по похоронамъ, въ ту же минуту крѣпко заснула.

Ничего во снѣ не привидѣлось Платонидѣ Андревнѣ, только все ей сквозь крѣпкій сонъ хотѣлось проснуться, потому что знала она, что нужно еще напоить свекра чаемъ, и даже стало ей чудиться, будто свекоръ ее кличетъ и говоритъ ей: «что жъ это ты, Платонида, развалилась, словно бѣлуга разварная! встань же, напой меня, пожалуйста, чаемъ». И два, и три, и четыре раза все это слышалось Платонидѣ, и наконецъ, въ пятый разъ уже послышалось такъ явственно, что она вскочила и, сидя на постели, крикнула:

— Сейчасъ, тятенька, сейчасъ!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Протеревши глаза, Платонида Андревна оглянулась по покою: кругомъ темнота густая: чернаго шкафа даже никакъ не отличишь отъ желтой стѣны; на лежанкѣ, впрочемъ, чуть обозначается блестящій самоваръ, да длинное полотенце бѣлѣется на шнуркѣ, словно мертвецъ, стоящій въ саванѣ.

Платонида Андревна вздула огня, потомъ запустила руку

подъ сундукъ и достала оттуда топоръ, а изъ угла взяла сухое березовое полѣно, чтобы нащипать лучинки. Но прежде, чѣмъ ударить хоть разъ топоромъ по плахѣ, она подумала: «да не послышалось ли все это мнѣ во снѣ? Можетъ, батюшка и спитъ еще».

Эта мысль заставила молодую женщину взять свѣчу и выйти въ залу.

На большихъ стѣнныхъ часахъ было половина перваго. Платонида Андревна потихоньку подошла къ двери свекровой спальни и прилегла ухомъ къ створу. Въ опочивальнѣ старика было тихохонько.

— Это мнѣ, значитъ, все во снѣ почудилось,—рѣшила вдова и, зѣвнувъ, пошла опять въ свою комнату.

Снова запершись на крючокъ въ своей вдовьей спальнѣ, Платонида Андревна поставила свѣчу на столъ противъ окна и стала раздѣваться.

«Ну, да будетъ же съ меня хоть и этого счастья! будетъ съ меня хоть и того, что я хоть въ спальнѣ-то у себя въ покоѣ поживу одна безъ него, безъ привередника», подумала она и, нетерпѣливо сбросивъ на полъ двѣ лишнія теперь подушки, развязала юбку и сѣла на постель съ такою смѣлостью, съ какою не подходила къ ней и не садилась на нее ни разу отъ роду.

Эта рослая, дородная красавица съ душою младенца, съ силою мужчины, съ грудью, которая должна бы вскормить богатыря, теперь напоминала невиннѣйшую пансіонерку, которая, вознаграждая себя за годъ стѣсненія, тѣшится однодневной свободой отпуска.

Новыя ощущенія независимости и свободы такъ переполнили собою младенческую душу и мысли Платониды Андревны, что ей даже не захотѣлось болѣе спать; да къ тому же она и выспалась. Теперь ей хотѣлось сидѣть, думать, Богъ вѣсть о чемъ думать, и только думать. Она такъ долго не смѣла ни ступить, ни молвить слова безъ упрека и безъ поученія, и вотъ теперь она одна, никто ее не видитъ на этой постели, никто ей не скажетъ: «чего ты тутъ вьёшься? чего егозишь, чего ёрзаешь?»

Она пересѣла еще разъ, и еще; потомъ прилегла вповерекъ кровати и снова привстала и, улыбнувшись на двѣ лежащія на полу подушки, вспрыгнула, постояла, завела назадъ за голову руки, закрыла глаза и черезъ минуту,

раскрывъ ихъ, кинулась въ страхѣ въ уголъ постели и задрожала. На верхней подушкѣ покойнаго Марка, которую шаловливая вдова его сбросила на полъ по самой срединѣ, пала небольшая ложбиночка, какъ будто бы здѣсь кто-то незримый лежалъ головою. Въ самомъ верху надъ этой запавшей ложбинкой, въ томъ мѣстѣ, гдѣ на мертвецкомъ вѣнцѣ нарисованъ Спаситель, сидѣлъ сѣрый, ночной мотылекъ. Онъ сидѣлъ, высоко приподнявшись на тоненькихъ ножкахъ, и то поднималъ, то опускалъ свои крылышки, словно схимникъ, осѣняющій воскрытіями своей мантіи незамкнутую могилу.

Платонида вздрогнула. Сѣрая пыльная тля въ мгновеніе ока истлила ея эгоистическую радость; а этой порой мотылекъ и еще разъ, и два, и три раза тихо коснулся подушки своими крылами и тихо же снялся, и тихо пропалъ за окномъ во тьмѣ теплой ночи.

Вдова быстро встала съ постели, спѣшной рукой затворила за улетѣвшею бабочкой открытую раму и молвила: «грѣхъ мнѣ! не честь мнѣ; не слѣдъ мнѣ валять по полу его подушки!»

Съ этими словами она подняла подушки съ полу и положила ихъ на пустую лежанку.

Въ эту минуту ей послышалось, что у нея за дверью кто-то вздохнулъ.

Платонида схватила еще торопливѣе тѣ же самыя подушки и, положивъ ихъ на диванъ подъ святые, быстро отошла отъ нихъ прочь и стала у своей кровати.

Теперь все было тихо по цѣлой комнатѣ, и на полу, и на холодной лежанкѣ, и за запертой дверью, и на постели.

— О, упокой, упокой его, Господи,—лепетала себѣ вдова съ чувствомъ теплой признательности къ мужу за то, что онъ умеръ и оставилъ ее хоть госпожою этого угла да постели.—Но полно мнѣ полуночничать!

И Платонида стала раздѣваться.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Но едва молодая вдова сняла съ себя платье, какъ въ мертвой тишинѣ ночи ей опять показалось, что какъ будто кто-то стукнулъ рюмкой у шкафика, въ которомъ покойный мужъ всегда держалъ подъ ключомъ вино и настойку. Платонида Андревна, стянувъ съ себя половину чулка, подо-

ждала и, не услыхавъ болѣе ни одного звука, подумала: вѣрно, это возятся мыши.

Успокоивъ себя такимъ предположеніемъ, молодая женщина сдернула съ себя чулки и подошла къ стоявшему передъ окномъ маленькому паркетному столику; поставила на него свѣчу и, лѣниво потянувшись, стала смѣнять дневную сорочку. Но чуть лишь она спустила съ плеча распущенный воротъ, какъ вдругъ ей показалось, что что-то такое темною тѣнью промелькнуло по галереѣ мимо самаго ея окошка. Ей почудилось, что это словно тѣнь человѣческая. Платонида Андревна была впечатлительна, но она сообразила, что это ходитъ живой человѣкъ, а не пришлецъ изъ гроба, и въ ту же секунду быстро задула свѣчку и, скорѣй нахвативъ на себя ночную рубашку, подумала:

«Однако, что жъ это за мерзавецъ сталъ этотъ негодный Авенирка! Въ рожу ему только послѣ этого остается плюнуть».

И она твердо рѣшилась не простить шалуну этой новой его дерзости. Платонида накинула себѣ на голыя плечи старенькую гарнитуровую шубейку, въ которой мы ее видѣли утромъ разговаривавшую съ Авениромъ на огородѣ, и притаилась тихо за оконницей. На галереѣ теперь все было тихохонько, не слышно было ни шума, ни шороха; но Платонида не довѣряла этой тишинѣ. Она притаилась и стояла съ самымъ рѣшительнымъ намѣреніемъ, при первомъ новомъ появленіи подъ ея окномъ ночного посѣтителя, распахнуть раму и плюнуть ему въ лицо.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Соображенія Платониды Андревны не обманули ея: ночной гость не заставилъ себя долго дожидаться.

Не успѣла полураздѣтая красавица и двухъ минутъ простоять за оконнымъ косякомъ, какъ со стороны галереи, по темному стеклу окна, тихо выползла сначала одна кисть человѣческой руки, потомъ показался локоть, потомъ плечо, и наконецъ, выдвинулась цѣлая мужская фигура...

Какъ ни темна была безлунная ночь, только изрѣдка мерцавшая нѣсколькими звѣздочками, но въ комнатѣ стало еще темнѣе, когда единственное окно совсѣмъ заслонила собою подошедшая фигура.

Платонида продолжала стоять тихо, прикрывая накрестъ

сложенными руками бѣлую грудь, въ которой крѣпко стучало и невольно замирало, и страхомъ, и негодованіемъ, нетерпѣливое сердце. Несмотря, однако, на все свое негодованіе, оскорбленная вдова удерживалась и, утаивая дыханіе, ждала, чѣмъ это все кончится.

Ночной соглядатай стоялъ и прислушивался очень долго, наконецъ, ободренный мертвою тишиною, осторожно тронулъ пальцами запертыя изнутри полы створчатой рамы. Онъ дѣлалъ это съ большой осторожностью, но дѣлалъ неловко. Пальцы его безпрестанно соскользали и черкали ногтями по окрашенной планкѣ рамы. Платонида слегка придвинула къ окну свое ухо, и ей стало слышно, что царапавшійся къ ней человѣкъ тяжело дышитъ и дрожитъ всѣмъ тѣломъ. По мѣрѣ того, какъ Платонида Андревна, скрѣпя свое сердце, долѣе и долѣе удерживалась, противная сторона все становилась смѣлѣе и уже начинала потряхивать раму безъ всякаго опасенія и безъ всякой осторожности.

«Однако, этакъ онъ, мерзавецъ, чего добраго, еще можетъ разбудить и свекра»,—подумала Платонида Андревна, и съ неописаннымъ негодованіемъ бросилась къ окну и остолбенѣла.

Это былъ совсѣмъ не Авениръ, а у окна стоялъ самъ ея сѣдой свекоръ Маркелъ Семенычъ.

Платонида удержала свой порывъ и въ недоумѣніи опустила руки.

Увидя передъ собою невѣстку, Маркелъ Семенычъ на мгновенье смутился, но потомъ что-то глухо забормоталъ и тихо застучалъ въ стекло косточкою средняго пальца.

— Что вамъ, тятенька, угодно? — выговорила, стараясь оправиться въ свою очередь, и Платонида Андревна.

Старикъ снова что-то зашепталъ еще тише; но изъ этихъ рѣчей его въ комнатѣ не было слышно ни одного слова.

— Не слышу, — сказала Платонида Андревна, прикладывая къ створу окна свое ухо.

Маркелъ Семенычъ началъ страстно цѣловать стекло, къ которому прилегалъ локоть Платониды.

Невѣстка съ ужасомъ посмотрѣла на свекра и не узнала его. Совершенно сѣдая голова старика, напоминающая прекрасную голову Авенира, была художественно вспутана, какъ голова бѣловласаго Юпитера; глаза его горѣли, и бѣлая миткалевая рубаха ходила ходенемъ на трепещущей груди.

— Лебедь! лебедь!—шепталъ ошалѣвшій старикъ, царапаясь въ окно невѣсткиной вдовьей спальни, какъ блудливый котъ въ закрытую скрыницу.

— Я, тятенька, сейчасъ вамъ поставлю самоваръ,—проговорила, отодвигаясь отъ окна, смущенная Платонида Андревна.

— Нѣтъ, ты самовара не ставь... Мнѣ не надо самовара... Ты мнѣ отопри... впусти меня... я тебѣ одно дорогое слово скажу... одно только слово...

— Ну, дай часъ, тятенька, я вразъ одѣнусь.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ тебѣ одѣваться?.. тебѣ и одѣваться не надо: ты не одѣвайся; ты отопри скорѣй... отопри...

— Да я, тятенька, въ одной блошницѣ!

— Ну, такъ что жъ, что въ одной блошницѣ!.. Мы, вѣдь, съ тобой не чужіе... Отопри на минутку,—настаивалъ безпокойно, суетясь на одномъ мѣстѣ, старикъ.

Платонидѣ стало страшно, и она бросилась въ сторону, но только лишь бѣлое плечо ея сверкнуло въ темнотѣ ночи передъ глазами Маркела Семеныча, какъ мѣдный крючокъ, запиравшій раму, отъ сильнаго толчка полетѣлъ на подоконникъ и рама съ шумомъ распахнулась, а обѣ руки свекра схватились за тѣло невѣстки.

— Тятенька! тятенька! да что же это такое?—закричала, отчаянно вырываясь, Платонида Андревна; но свекоръ, вмѣсто отвѣта, рванулъ сильной рукою врозь ея руки и впился горячими губами въ ея обнаженную грудь...

— Блудня! прочь отъ меня! вскрикнула съ омерзѣніемъ Платонида, почувствовавъ на своей груди трясущуюся сухую бороду свекра.

Уразумѣвъ теперь, наконецъ, настоящій смыслъ его посѣщенія, она съ азартомъ запустила обѣ свои руки въ бѣлые волосы старика и оттянула его голову отъ своей груди. Въ это же самое мгновеніе она почувствовала, что крѣпкія, жилистыя руки свекра растерзали ея холщевую рубашку, и Платонида, почти нагая, очутилась въ объятіяхъ распаленнаго старца.

— Авениръ! — вскрикнула она, но старикъ перехватилъ ей горло и сталъ цѣловать ее въ губы.

Онъ былъ очень силенъ и Платонида напрасно молила:

— Батюшка, смилуйся! я отъ тебя этого стерпѣть не могу!

Маркелъ Семенычъ только крѣпче обнялъ станъ невѣстки

и, процѣдивъ: «со мной — не съ чужимъ» — и перенесъ въ комнату черезъ подоконникъ свою ногу.

Платонида воспользовалась этимъ движеніемъ,—юркнула изъ-подъ рукъ свекра на полъ, и въ рукѣ ея вдругъ блеснулъ топоръ, которымъ она за часъ передъ этимъ собиралась щипать лучину. Въ одно мгновенье топоръ этотъ звякнулъ, вонзился въ столбъ галлереи, и въ это же самое мгновеніе Маркелъ Семенычъ тяжело рухнулся навзничь и застоналъ...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Бросивъ топоромъ въ свекра, Платонида Андревна была увѣрена, что она убила старика. Въ нѣмомъ ужасѣ она выскочила изъ своей комнаты, перебѣжала дворъ, остановилась у заднихъ воротъ и, тяжело дыша, схватилась за сердце. Въ тишинѣ ночи до ея слуха долетѣло прерывистое хрипѣніе. Платонида Андревна дрожала: въ ушахъ ея раздавались рѣзкіе, свистящіе звуки, какъ будто надъ самою ея головою быстро проносилась безчисленная стая куропатокъ; крыши и стѣны зданій шатались и откуда-то капала кровь; острогъ, страшное, безчеловѣчное наказаніе, вѣчная каторга, — все разомъ, какъ молнія, пронеслось предъ мысленными очами вдовы, еще такъ недавно мечтавшей о жизни, и заставило ее встрепенуться съ отчаянной энергіей. Она запахнула около груди шубейку, тихо выползла въ подворотню на огородъ, съ огорода перебралась, черезъ тынъ, за городъ и, ударившись бѣжать задами, пропала въ темнотѣ ночи.

Между тѣмъ, Маркелъ Семенычъ тяжело хрипѣлъ, лежа на галлереѣ. Ударъ Платониды Андревны минулъ его сѣдой головы; но онъ минулъ ея лишь только потому, что за терцію до этого удара двѣ сильныя руки Авенира схватили отца сзади и бросили его на полъ, въ то самое мгновеніе, когда блеснувшій топоръ, слегка поранивъ плечо старика, глубоко завязъ въ деревѣ. Маркелъ Семенычъ не чувствовалъ ни своей вины, ни своего стыда и униженія. Теперь не было ни страсти въ его крови, ни негодованія въ его сердцѣ, ни силы въ мышцахъ. Старая плоть его, распалясь ниномъ и взыгравъ сластью желаній, сразу упала до совершеннаго безсилія. Такъ оцѣпенѣвшій подъ снѣгомъ оврагъ порою взыграетъ при мартовскомъ солнцѣ, запу-

митъ быстрымъ подснѣжнымъ потокомъ и, сбѣжавъ, обезсиленный, рухнетъ всей своею массою на холодное днище.

Не видя со стороны отца никакого сопротивленія, Авениръ подержалъ его на полу и потомъ освободилъ, а самъ молча скрылся. Старикъ, оставшись одинъ, опомнился не скоро и не вдругъ почувствовалъ униженное состояніе, въ которомъ теперь находился.

О побѣгѣ Платониды Андревны ни онъ, ни Авениръ не знали во всю ночь. Оба они думали, что невѣстка заперлась у себя въ кладовой на вышкѣ. Первый въ домѣ хватился ея на другой день Авениръ. Онъ долго искалъ ее и нигдѣ не нашелъ. Старикъ Маркелъ Семенычъ заперся у себя и не показывался.

Платонида Андревна сгинула. Нигдѣ не могли найти никакихъ ея слѣдовъ, и пропажа ея сдѣлалась причиною большихъ несчастій для того, кто менѣе всѣхъ былъ въ ней повиненъ.

Вынужденный объяснять чѣмъ-нибудь пропажу невѣстки и не увѣренный, что она сама станетъ разсказывать въ случаѣ ея отысканія, Маркелъ Семенычъ завершилъ ночь безумія своего клеветою, что Платонида съ Авениромъ хотѣли его убить и ограбить, и показалъ свою рану. Этимъ старикъ мстилъ и сыну, и невѣсткѣ, и разомъ отдѣлывался отъ нихъ обоихъ. Авенира взяли въ тюрьму, а полицейскимъ розыскомъ, поднявшимся по случаю пропажи Платониды Андревны, было обнаружено, что ночные водоливы, работавшіе въ ту ночь на одной чинившейся баркѣ, видѣли, какъ кто-то весь въ бѣломъ, не то женщина, не то, еще вѣрнѣе, вѣдьма шибко пробѣжала по берегу и вдругъ гдѣ-то исчезла. Двое изъ водоливовъ говорили, что вѣдьма скинулась рыбою и бросилась въ воду, а двое другихъ, напротивъ, утверждали, что они ясно видѣли, какъ она переплыла въ рубашкѣ рѣчку и вышла на бакшу къ Константину Пизонскому.

Пизонскаго заподозрили въ укрывательствѣ дѣвской невѣстки; его обыскивали, допрашивали, посадили въ острогъ и, вѣроятно, присудили бы къ ссылкѣ. Хотя Константинъ Іонычъ на всѣ дѣлаемые ему вопросы только и отвѣчалъ слѣдователямъ, что «ничего я этого, милые, никогда не знала и не вѣдала», но было ясно, какъ солнце, что въ

цѣломъ мірѣ, можетъ-быть, лишь одинъ Пизонскій и зналъ, куда дѣлась пропавшая дѣвская невѣстка. И судьи, и обыватели города живо чувствовали, что для разъясненія всего неразгаданнаго дѣла только и нужно, чтобы разомкнулись молчаливыя уста Константина Пизонскаго. Судьи утверждали, что старогородскій Робинзонъ лжетъ, отпираясь отъ всякаго участія въ исчезновеніи Платониды Андревны, и что онъ, можетъ-быть, и самъ прикосновененъ къ покушенію на жизнь старика Дѣева. Не отрицалъ и народъ, что Константинъ Іонычъ лжетъ, повторяя свое «не знаю, не вѣдаю»; но народъ былъ увѣренъ, что Пизонскій лжетъ, покрывая чужой грѣхъ. Хорошо это или не хорошо, народъ не строго разбираетъ и вѣритъ, что «есть ложь во спасеніе».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

По этому дѣлу Константинъ Іонычъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и освобожденъ съ оставленіемъ въ подозрѣніи, но ничего къ обнаруженію Авенира и Платониды отъ него не узнали. Впослѣдствіи же говорили и несомнѣнно вѣрили, что Платонида никуда далеко не уходила, а была скрыта у скитницъ, и что появившаяся затѣмъ въ этомъ скитѣ «провидущая» старица Іоиль была эта же самая Платонида. Она «выплакала очи» и была слѣпа, — ходила ощупью съ палочкой, а въ глазныхъ впадинахъ у нея были вставлены «образочки». Объ Авенирѣ говорили, что онъ, будучи сданъ въ солдаты, вышелъ «большой воинъ на Кавказѣ», — заслужилъ себѣ «чинъ и крестъ» и при отмѣнной своей красотѣ женился на генеральской дочери. Одинъ разъ онъ пріѣзжалъ будто въ Старый Городъ и ходилъ въ скитъ и видѣлъ старицу Іоиль, а она его видѣть не могла, но по голосу узнала и вздрогнула, а по головѣ руками пошарила и спросила:

— Покаянная ли теперь сія глава или еще не раскаянная?

Авениръ отвѣчалъ:

— Покаянная.

— Вотъ и хорошо, — сказала старица Іоиль: — окорми разумомъ путь свой къ пристанищу благотишному, — и затѣмъ добавила:

— А теперь прощай, съ Богомъ, навѣки.

ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИКЪ.

РАЗСКАЗЪ НА МОГИЛѢ.

(Святой памяти благословеннаго дня 19-го февраля 1861 г.).

«Души ихъ во благихъ водворятся.»
Погребальная пѣснь.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

У насъ многіе думаютъ, что «художники» — это только живописцы, да скульпторы, и то такіе, которые удостоены этого званія академіею, а другихъ не хотятъ и почитать за художниковъ. Сазиковъ и Овчинниковъ для многихъ не больше какъ «серебренники». У другихъ людей не такъ: Гейне вспоминалъ про портного, который «былъ художникъ» и «имѣлъ идеи», а дамскія платья работы Ворть и сейчасъ называютъ «художественными произведеніями». Объ одномъ изъ нихъ недавно писали, будто оно «сосредоточиваетъ бездну фантазіи въ шипѣ».

Въ Америкѣ область художественная понимается еще шире: знаменитый американскій писатель Бретъ-Гартъ разсказываетъ, что у нихъ чрезвычайно прославился «художникъ», который «работалъ надъ мертвыми». Онъ придавалъ лицамъ почившихъ различныя *«утѣшительныя выраженія»*, свидѣтельствующія о болѣе или менѣе счастливомъ состояніи ихъ отлетѣвшихъ душъ.

Было нѣсколько степеней этого искусства, — я помню три: «1) спокойствіе, 2) возвышенное созерцаніе и 3) блаженство непосредственнаго собесѣдованія съ Богомъ». Слава художника отвѣчала высокому совершенству его работы,

т. е. была огромна, но, къ сожалѣнію, художникъ погибъ жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественнаго творчества. Онъ былъ убитъ камнями за то, что усвоилъ «выраженіе блаженнаго собесѣдованія съ Богомъ» лицу одного умершаго фальшиваго банкира, который обобралъ весь городъ. Осчастливленные наслѣдники плута такимъ заказомъ хотѣли выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни...

Былъ въ такомъ же необычайномъ художественномъ родѣ мастеръ и у насъ на Руси.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Моего младшаго брата няньчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была изъ прежнихъ актрисъ бывшаго орловскаго театра графа Каменскаго, и все, что я далѣе разскажу, происходило тоже въ Орлѣ во дни моего отрочества.

Братъ моложе меня на семь лѣтъ, слѣдовательно, когда ему было два года и онъ находился на рукахъ у Любови Онисимовны, мнѣ минуло уже лѣтъ девять, и я свободно могъ понимать разсказываемыя мнѣ исторіи.

Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бѣла, какъ лунь; черты лица ея были тонки и нѣжны, а высокій станъ совершенно прямъ и удивительно строенъ, какъ у молодой дѣвушки.

Матушка и тетка, глядя на нее, не разъ говорили, что она несомнѣнно была въ свое время красавица.

Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила въ жизни трагическое и... иногда запивала.

Она насъ водила гулять на кладбище къ Троицѣ, садилась здѣсь всегда на одну простую могилку съ старымъ крестомъ и нерѣдко что-нибудь мнѣ разсказывала.

Тутъ я отъ нея и услыхалъ исторію «тупейнаго художника».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Онъ былъ собратъ нашей нянѣ по театру; разница была въ томъ, что она «представляла на сценѣ и танцовала танцы», а онъ былъ «тупейный художникъ», т. е. парикмахеръ и гримировщикъ, который всѣхъ крѣпостныхъ арти-

стокъ графа «рисовалъ и причесывалъ». Но это не былъ простой, банальный мастеръ съ тупейной гребенкой за ухомъ и съ жестянкой растертыхъ на салѣ румянъ, а былъ это— человѣкъ съ *идеями,*— словомъ, *художникъ.*

Лучше его, по словамъ Любови Онисимовны, никто не могъ «сдѣлать въ лицѣ воображенія».

При которомъ именно изъ графовъ Каменскихъ процвѣтали объ эти художественныя натуры, я съ точностью указать не смѣю. Графовъ Каменскихъ извѣстно три, и всѣхъ ихъ орловскіе старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михайлу Ѳедотовича крѣпостные убили за жестокость въ 1809 году, а у него было два сына: Николай, умершій въ 1811 г., и Сергѣй, умершій въ 1835 г.

Ребенкомъ, еще въ сороковыхъ годахъ, я помню еще огромное сѣрое деревянное зданіе съ фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длиннымъ полуразвалившимся заборомъ. Это и была проклятая усадьба графа Каменскаго; тутъ же былъ и театръ. Онъ приходился гдѣ-то такъ, что былъ очень хорошо виденъ съ кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочетъ разсказать, то всегда почти начинала словами:

— Погляди-ка, милый, туда... Видишь, какое страшное?

— Страшное, няня.

— Ну, а что я тебѣ сейчасъ разскажу, такъ это еще страшнѣй.

Вотъ одинъ изъ такихъ ея разсказовъ о тупейщикѣ Аркадіи, чувствительномъ и смѣломъ молодомъ человѣкѣ, который былъ очень близокъ ея сердцу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Аркадій «причесывалъ и рисовалъ» однѣхъ актрисъ. Для мужчинъ былъ другой парикмахеръ, а Аркадій если и ходилъ иногда «на мужскую половину», то только въ такомъ случаѣ, если самъ графъ приказывалъ «отрисовать кого-нибудь въ очень благородномъ видѣ». Главная особенность гримировальнаго туше этого художника состояла въ идейности, благодаря которой онъ могъ придавать лицамъ самыя тонкія и разнообразныя выраженія.

— Призовутъ его, бывало, — говорила Любовь Онисн-

мовна: — и скажутъ: «надо, чтобы въ лицѣ было такое-то и такое воображеніе». Аркадій отойдетъ, велитъ актеру или актрисѣ передъ собою стоять или сидѣть, а самъ сложитъ руки на груди и думаетъ. И въ это время самъ всякаго красавца краше, потому что ростомъ онъ былъ умѣренный, но стройный, какъ сказать невозможно, носикъ тоненькій и гордый, а глаза ангельскіе, добрые, и густой хохолокъ прекрасиво съ головы на глаза свѣшивался, — такъ что глядитъ онъ, бывало, какъ изъ-за туманнаго облака.

Словомъ, тупейный художникъ былъ красавецъ и «*всѣмъ* нравился». «Самъ графъ» его тоже любилъ и «отъ всѣхъ отличалъ, одѣвалъ прелестно, но содержалъ въ самой большой строгости». Ни за что не хотѣлъ, чтобы Аркадій еще кого кромѣ его остригъ, обрилъ и причесалъ, и для того *всегда* держалъ его при своей уборной и кромѣ какъ въ театръ Аркадій никуда не имѣлъ выхода.

Даже въ церковь для исповѣди или причастія его не пускали, потому что графъ самъ въ Бога не вѣрилъ, а духовныхъ терпѣть не могъ, и одинъ разъ на Пасхѣ борисоглѣбскихъ священниковъ со крестомъ борзыми затравилъ *).

Графъ же, по словамъ Любови Онисимовны, былъ такъ страшно нехорошъ, черезъ свое всегдашнее злѣнье, что на всѣхъ звѣрей сразу походилъ. Но Аркадій и этому звѣрообразію умѣлъ дать, хотя на время, такое воображеніе, что когда графъ вечеромъ въ ложѣ сидѣлъ, то показывался даже многихъ важнѣе.

А въ натурѣ-то графа, къ большой его досадѣ, именно и недоставало всего болѣе важности и «военнаго воображенія».

И вотъ, чтобы никто не могъ воспользоваться услугами такого неподражаемаго артиста, какъ Аркадій, онъ сидѣлъ «весь свой вѣкъ безъ выпуска и денегъ не видалъ въ ру-

*) Разсказанный случай былъ извѣстенъ въ Орлѣ очень многимъ. Я слыхалъ объ этомъ отъ моей бабушки Алферьевой и отъ извѣстнаго своею непогрѣшительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который *самъ видѣлъ*, «какъ псы духовенство рвали», а спасся отъ графа только тѣмъ, что «взялъ грѣха на душу». Когда графъ его велѣлъ привести и спросилъ: «тебѣ жаль ихъ?» Андросовъ отвѣчалъ: «никакъ нѣтъ, ваше сіятельство, такъ имъ и надо: пусть не пляются». За это его Каменскій помиловалъ.

кахъ отъ роду». А было ему тогда уже лѣтъ за двадцать пять, а Любови Онисимовнѣ девятнадцатый годъ. Они, разумѣется, были знакомы, и у нихъ образовалось то, что въ таковые годы случается, т. е. они другъ друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, какъ далекими намеками при всѣхъ, во время гримировки.

Свиданія съ-глаза-на-глазъ были совершенно невозможны и даже немыслимы...

— Насъ, актрисъ,—говорила Любовь Онисимовна:—берегли въ такомъ же родѣ, какъ у знатныхъ господъ берегутъ *кормилицъ:* при насъ были приставлены пожилыя женщины, у которыхъ есть дѣти, и если, помилуй Богъ, съ которою-нибудь изъ насъ что бы случилось, то у тѣхъ женщинъ всѣ дѣти поступали на страшное тиранство.

Завѣтъ цѣломудрія могъ нарушать только «самъ»,—тотъ, кто его уставилъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Любовь Онисимовна въ то время была не только въ цвѣтѣ своей дѣвственной красы, но и въ самомъ интересномъ моментѣ развитія своего многосторонняго таланта: она «пѣла въ хорахъ подпури», танцовала «первые па въ *Китайской огородницѣ*» и, чувствуя призваніе къ трагизму, «знала всѣ роли *наизусть*».

Въ какихъ именно было годахъ—точно не знаю, но случилось, что черезъ Орелъ проѣзжалъ государь (не могу сказать, Александръ Павловичъ или Николай Павловичъ) и въ Орлѣ ночевалъ, а вечеромъ ожидали, что онъ будетъ въ театрѣ у графа Каменскаго.

Графъ тогда всю знать къ себѣ въ театръ пригласилъ (мѣстъ за деньги не продавали) и спектакль поставили самый лучшій. Любовь Онисимовна должна была и пѣть въ «подпури», и танцовать «Китайскую огородницу», а тутъ вдругъ еще во время самой послѣдней репетиціи упала кулиса и пришибла ногу актрисѣ, которой слѣдовало играть въ пьесѣ «герцогиню де-Бурблянъ».

Никогда и нигдѣ я не встрѣчалъ роли этого наименованія, но Любовь Онисимовна произносила ее именно такъ.

Плотниковъ, уронившихъ кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли въ ея каморку, но роли герцогини де-Бурблянъ играть было некому.

— Тутъ,—говорила Любовь Онисимовна:—я и вызвалась, потому что мнѣ очень нравилось, какъ герцогиня де-Бурблянъ у отцовыхъ ногъ прощенья проситъ и съ распущенными волосами умираетъ. А у меня у самой волосы были удивительно какіе большіе и русые, и Аркадій ихъ убиралъ заглядѣніе.

Графъ былъ очень обрадованъ неожиданнымъ вызовомъ дѣвушки исполнить роль, и, получивъ отъ режиссера удостовѣреніе, что «Люба роли не испортитъ», отвѣтилъ:

— За порчу мнѣ твоя спина отвѣтитъ, а ей отнеси отъ меня камариновыя серьги.

«Камариновыя же серьги» у нихъ былъ подарокъ и лестный, и противный. Это былъ первый знакъ особенной чести быть возведенною на краткій мигъ въ одалиски владыки. За этимъ вскорѣ, а иногда и сейчасъ же, отдавалось приказаніе Аркадію убрать обреченную дѣвушку послѣ театра «въ невинномъ видѣ святою Цециліей», и во всемъ въ бѣломъ, въ вѣнкѣ и съ лиліей въ рукахъ символизованную innocence доставляли на графскую половину.

— Это,—говорила няня:—по твоему возрасту непонятно,—но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я объ Аркадіи мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на столъ, а сама плачу и какъ вечеромъ представлять буду, того уже и подумать не могу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

А въ эти самые роковые часы другое,—тоже роковое и искусительное дѣло подкралось и къ Аркадію.

Пріѣхалъ представиться государю изъ своей деревни братъ графа, который былъ еще собой хуже и давно въ деревнѣ жилъ и формы не надѣвалъ и не брился, потому что «все лицо у него въ буграхъ заросло». Тутъ же, при такомъ особенномъ случаѣ, надо было примундириться и всего себя самого привести въ порядокъ и «въ военное воображеніе», какое требовалось по формѣ.

А требовалось много.

— Теперь этого и не понимаютъ, какъ тогда было строго,—говорила няня.—Тогда во всемъ форменность наблюдалась и было положеніе для важныхъ господъ какъ въ лицахъ, такъ и въ причесаніи головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по формѣ, съ хох-

ломъ стоймя и съ височками, то все лицо выйдетъ совершенно точно мужицкая балалайка безъ струнъ. Важные господа ужасно какъ этого боялись. Въ этомъ и много значило мастерство въ бритьѣ и въ прическѣ, — какъ на лицѣ между бакенбардъ и усовъ дорожки пробрить, и какъ завитки положить, и какъ вычесать,—отъ этого отъ самой отъ малости въ лицѣ выходила совсѣмъ другая фантазія. Штатскимъ господамъ, по словамъ няни, легче было, потому что на нихъ внимательнаго призрѣнія не обращали,— отъ нихъ только требовался видъ посмирнѣе, а отъ военныхъ больше требовалось,—чтобы передъ старшимъ воображалась смирность, а на всѣхъ прочихъ отвага безмѣрная хорохорилась.

Это-то вотъ и умѣлъ придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своимъ удивительнымъ искусствомъ Аркадій.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Деревенскій же братъ графа былъ еще некрасивѣе городского и вдобавокъ въ деревнѣ совсѣмъ «заволохатѣлъ» и «напустилъ въ лицо такую грубость», что даже самъ это чувствовалъ, а убирать его было некому, потому что онъ ко всему очень скупъ былъ и своего парикмахера въ Москву по оброку отпустилъ, да и лицо у этого второго графа было все въ большихъ буграхъ, такъ что его брить нельзя, чтобы всего не изрѣзать.

Пріѣзжаетъ онъ въ Орелъ, позвалъ къ себѣ городскихъ цырюльниковъ и говоритъ:

— Кто изъ васъ можетъ сдѣлать меня наподобіе брата моего графа Каменскаго, тому я два золотыхъ даю, а на того, кто обрѣжетъ, вотъ два пистолета на столъ кладу. Хорошо сдѣлаешь—бери золото и уходи, а если обрѣжешь одинъ прыщикъ или на волосокъ бакенбарды не такъ проведешь—то сейчасъ убью.

А все это пугалъ, потому что пистолеты были съ пустымъ выстрѣломъ.

Въ Орлѣ тогда городскихъ цырюльниковъ мало было, да и тѣ больше по банямъ только съ тазиками ходили, — рожки да піявки ставить, а ни вкуса, ни фантазіи не имѣли. Они сами это понимали и всѣ отказались «преображать» Каменскаго. «Богъ съ тобою, думаютъ,—и съ твоимъ золотомъ».

— Мы, говорятъ,—этого не можемъ, что̀ вамъ угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у насъ и бритвовъ такихъ нѣтъ, потому что у насъ бритвы простыя русскія, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкія. Это одинъ графскій Аркадій можетъ.

Графъ велѣлъ выгнать городскихъ цырюльниковъ по шеямъ, а они и рады, что на волю вырвались, а самъ пріѣзжаетъ къ старшему брату и говоритъ:

— Такъ и такъ, братъ, я къ тебѣ съ большой моей просьбой,—отпусти мнѣ передъ вечеромъ твоего Аркашку, чтобы онъ меня какъ слѣдуетъ въ хорошее положеніе привелъ. Я давно не брился, а здѣшніе цырюльники не умѣютъ.

Графъ отвѣчаетъ брату:

— Здѣшніе цырюльники, разумѣется—гадость. Я даже не зналъ, что они здѣсь и есть, потому что у меня и собакъ свои стригутъ. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву далъ, что Аркашка, пока я живъ, никого кромѣ меня убирать не будетъ. Какъ ты думаешь, — развѣ я могу мое же слово передъ моимъ рабомъ перемѣнить?

Тотъ говоритъ:

— А почему нѣтъ: ты постановилъ, ты и отмѣнишь.

А графъ-хозяинъ отвѣчаетъ, что для него этакое сужденіе даже странно.

— Послѣ того, говоритъ, — если я самъ такъ поступать начну, то что же я отъ людей могу требовать? Аркашкѣ сказано, что я такъ положилъ, и всѣ это знаютъ, и за то ему содержанье всѣхъ лучше, а если онъ когда дерзнетъ и до кого-нибудь кромѣ меня съ своимъ искусствомъ тронется,—я его запорю и въ солдаты отдамъ.

Братъ и говоритъ:

— Что-нибудь одно—или запорешь, или въ солдаты отдашь, а водвою вмѣстѣ это не сдѣлаешь.

— Хорошо,—говоритъ графъ: — пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потомъ сдамъ.

— И это, говоритъ, послѣднее твое слово, братъ?

— Да, послѣднее.

— И въ этомъ только все дѣло?

— Да, въ этомъ.

— Ну, въ такомъ разѣ и прекрасно, а то я думалъ, что

тебѣ свой братъ дешевле крѣпостного холопа. Такъ ты слова своего и не мѣняй, а пришли Аркашку ко мнѣ моего *пуделя остричь*. А тамъ уже мое дѣло, что онъ сдѣлаетъ.

Графу неловко было отъ этого отказаться.

— Хорошо, говоритъ,—пуделя остричь я его пришлю.

— Ну, мнѣ только и надо.

Пожалъ графъ руку и уѣхалъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

А было это время передъ вечеромъ, въ сумерки, зимою, когда огни зажигаютъ.

Графъ призвалъ Аркадія и говоритъ:

— Ступай къ моему брату въ его домъ и остриги у него его пуделя.

Аркадій спрашиваетъ:

— Только ли будетъ всего приказанія?

— Ничего больше,—говоритъ графъ:—но поскорѣй возвращайся актрисъ убирать. Люба нынче въ трехъ положеніяхъ должна быть убрана, а послѣ театра представь мнѣ ее святой Цециліей.

Аркадій Ильичъ пошатнулся.

Графъ говоритъ:

— Что это съ тобой?

А Аркадій отвѣчаетъ:

— Виноватъ, на коврѣ оступился.

Графъ намекнулъ:

— Смотри, къ добру ли это?

А у Аркадія на душѣ такое сдѣлалось, что ему все равно, быть добру или худу.

Услыхалъ, что меня велѣно Цециліей убирать и, словно ничего не видя и не слыша, взялъ свой приборъ въ кожаной шкатулкѣ и пошелъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Приходитъ къ графову брату, а у того уже у зеркала свѣчи зажжены и опять два пистолета рядомъ, да тутъ же уже не два золотыхъ, а десять, и пистолеты набиты не пустымъ выстрѣломъ, а черкесскими пулями.

Графовъ братъ говоритъ:

— Пуделя у меня никакого нѣтъ, а вотъ мнѣ что нужно:

сдѣлай мнѣ туалетъ въ самой отважной минѣ, и получай десять золотыхъ, а если обрѣжешь—убью.

Аркадій посмотрѣлъ, посмотрѣлъ и вдругъ,—Господь его знаетъ, что̀ съ нимъ сдѣлалось,—сталъ графова брата и стричь, и брить. Въ одну минуту сдѣлалъ все въ лучшемъ видѣ, золото въ карманъ ссыпалъ и говоритъ:

— Прощайте.

Тотъ отвѣчаетъ:

— Иди, но только я хотѣлъ бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это рѣшился?

А Аркадій говоритъ:

— Отчего я рѣшился—это знаетъ только моя грудь да подоплека.

— Или, можетъ-быть, ты отъ пули заговоренъ, что и пистолетовъ не боишься.

— Пистолеты—это пустяки,—отвѣчаетъ Аркадій:—объ нихъ я и не думалъ.

— Какъ же такъ? неужели ты смѣлъ думать, что твоего графа слово тверже моего и я въ тебя за порѣзъ не выстрѣлю? Если на тебѣ заговора нѣтъ, ты бы жизнь кончилъ.

Аркадій, какъ ему графа напомянули, опять вздрогнулъ и точно въ полусняхъ проговорилъ:

— Заговора на мнѣ нѣтъ, а есть во мнѣ смыслъ отъ Бога: пока бы ты руку съ пистолетомъ сталъ поднимать, чтобы въ меня выстрѣлить, я бы прежде тебѣ бритвою все горло перерѣзалъ.

И съ тѣмъ бросился вонъ и пришелъ въ театръ какъ разъ въ свое время и сталъ меня убирать, а самъ весь трясется. И какъ завьетъ мнѣ одинъ локонъ и пригнется, чтобы губами отдувать, такъ все одно шепчетъ:

— Не бойся, увезу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Спектакль хорошо шелъ, потому что всѣ мы какъ каменныя были, пріучены и къ страху, и къ мучительству:—что̀ на сердцѣ ни есть, а свое исполненіе дѣлали такъ, что ничего и незамѣтно.

Со сцены видѣли и графа, и его брата—оба одинъ на другого похожи. За кулисы пришли—даже отличить трудно. Только нашъ тихій-претихій, будто сдобрившись. Это у него всегда бывало передъ самою большою лютостію.

И всѣ мы млѣемъ и крестимся:

— Господи! помилуй и спаси. На кого его звѣрство обрушится?

А намъ про Аркашину безумную отчаянность, что̀ онъ сдѣлалъ, было еще неизвѣстно, но самъ Аркадій, разумѣется, понималъ, что ему не быть прощады, и былъ блѣдный, когда графовъ братъ взглянулъ на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнулъ. А я была очень слухмена и разслыхала; онъ сказалъ:

— Я тебѣ какъ братъ совѣтую: ты его бойся, когда онъ бритвой брѣетъ.

Нашъ только тихо улыбнулся.

Кажется, что-то и самъ Аркаша слышалъ, потому что когда сталъ меня къ послѣднему представленію герцогиней убирать, такъ—чего никогда съ нимъ не бывало — столько пудры переложилъ, что костюмеръ-французъ сталъ меня отряхивать и сказалъ:

— Тро боку, тро боку! — и щеточкой лишнее съ меня счистилъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

А какъ все представленіе окончилось, тогда сняли съ меня платье герцогини де-Бурблянъ и одѣли Цециліей— одно этакое бѣлое, просто безъ рукавовъ, а на плечахъ только узелками подхвачено, — терпѣть мы этого убора не могли. Ну, а потомъ идетъ Аркадій, чтобы мнѣ голову причесать въ невинный фасонъ, какъ на картинахъ обозначено у святой Цециліи, и тоненькій вѣнецъ обручикомъ закрѣпить, и видитъ Аркадій, что у дверей моей каморочки стоятъ шесть человѣкъ. Это значитъ, чтобы, какъ онъ только, убравши меня, назадъ въ дверь покажется, такъ сейчасъ его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у насъ были такія, что лучше сто разъ тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячкомъ скрячивали, и заворачивали: все это было. Казенное наказаніе послѣ этого уже за ничто ставили. Подъ всѣмъ домомъ были подведены потайные погреба, гдѣ люди живые на цѣпяхъ, какъ медвѣди, сидѣли. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, какъ тамъ цѣпи гремятъ и люди въ оковахъ стонутъ. Вѣрно, хотѣли, чтобы объ нихъ вѣсть дошла или начальство услышало, но на-

чальство и думать не смѣло вступаться. И долго тутъ томили людей, а иныхъ на всю жизнь. Одинъ сидѣлъ-сидѣлъ, да стихъ выдумалъ:

«Приползутъ, говоритъ, змѣи и высосутъ очи,
И зальютъ тебѣ ядомъ лицо скорпіоны».

Стишокъ этотъ, бывало, самъ себѣ въ умѣ шепчешь и страшишься.

А другіе даже съ медвѣдями были прикованы, такъ что медвѣдь только на полвершка его лапой задрать не можетъ.

Только съ Аркадіемъ Ильичемъ ничего этого не сдѣлали, потому что онъ какъ вскочилъ въ мою каморочку, такъ въ то же мгновеніе сразу схватилъ столъ и вдругъ все окно вышибъ, и больше я уже ничего и не помню...

Стала я въ себя приходить, оттого что моимъ ногамъ очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся въ шубѣ въ волчьей или въ медвѣжьей, а вкругъ — тьма промежная и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человѣка въ кучкѣ, въ широкихъ саняхъ сидятъ,—одинъ меня держитъ, это Аркадій Ильичъ, а другой во всю мочь лошадей погоняетъ... Снѣгъ такъ и брызжетъ изъ-подъ копытъ у коней, а сани, что секунда, то на одинъ, то на другой бокъ валятся. Если бы мы не въ самой серединѣ на полу сидѣли, да руками не держались, то никому невозможно бы уцѣлѣть.

И слышу у нихъ разговоръ тревожный, какъ всегда въ ожиданіи, — понимаю только: «гонятъ, гонятъ, гони, гони!» и больше ничего.

Аркадій Ильичъ, какъ замѣтилъ, что я въ себя прихожу, пригнулся ко мнѣ и говоритъ:

— Любушка голубушка! за нами гонятся... согласна ли умереть, если не уйдемъ?

Я отвѣчала, что даже съ радостью согласна.

Надѣялся онъ уйти въ турецкій Хрущукъ, куда тогда много нашихъ людей отъ Каменскаго бѣжали.

И вдругъ тутъ мы по льду какую-то рѣчку перелетѣли и впереди что-то въ родѣ жилья засѣрѣло и собаки залаяли, а ямщикъ еще тройку нахлесталъ и сразу на одинъ бокъ саней навалился, скособочилъ ихъ, и мы съ Аркадіемъ въ снѣгъ вывалились, а онъ, и сани, и лошади, все изъ глазъ пропало.

Аркадій говоритъ:

— Ничего не бойся, это такъ надобно, потому что ямщикъ, который насъ везъ, я его не знаю, а онъ насъ не знаетъ. Онъ съ тѣмъ за три золотыхъ нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь надъ нами будь воля Божья: вотъ село Сухая Орлица, — тутъ смѣлый священникъ живетъ, отчаянныя свадьбы вѣнчаетъ и много нашихъ людей проводилъ. Мы ему подарокъ подаримъ, онъ насъ до вечера спрячетъ и перевѣнчаетъ, а къ вечеру ямщикъ опять подъѣдетъ, и мы тогда скроемся.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Постучали мы въ домъ и взошли въ сѣни. Отворилъ самъ священникъ, старый, приземковатый, одного зуба въ переднемъ строю нѣтъ, и жена у него старушка старенькая—огонь вздула. Мы имъ оба въ ноги кинулись.

— Спасите, дайте обогрѣться и спрячьте до вечера.

Батюшка спрашиваетъ:

— А что вы, свѣты мои, со сносомъ или просто бѣглые?

Аркадій говоритъ:

— Ничего мы ни у кого не унесли, а бѣжимъ отъ лютости графа Каменскаго и хотимъ уйти въ турецкій Хрущукъ, гдѣ уже не мало нашихъ людей живетъ. И насъ не найдутъ, а съ нами есть свои деньги, и мы вамъ дадимъ за одну ночь переночевать золотой червонецъ и перевѣнчаться три червонца. Перевѣнчать, если можете, а если нѣтъ, то мы тамъ въ Хрущукѣ окрутимся.

Тотъ говоритъ:

— Нѣтъ, отчего же не могу? — я могу. Что тамъ еще въ Хрущукъ везть. Давай за все вмѣстѣ пять золотыхъ— я васъ здѣсь окручу.

И Аркадій подалъ ему пять золотыхъ, а я вынула изъ ушей камариновыя серьги и отдала матушкѣ.

Священникъ взялъ и сказалъ:

— Охъ, свѣты мои, все бы это ничего,—не такихъ, мнѣ случалось, кручивалъ, но не хорошо, что вы графскіе. Хоть я и попъ, а мнѣ его лютости страшно. Ну, да ужъ пускай, что Богъ дастъ, то и будетъ, — прибавьте еще лобанчикъ хоть обрѣзанный и прячьтесь.

Аркадій далъ ему шестой червонецъ полный, а онъ тогда своей попадьѣ говоритъ:

— Что же ты, старуха, стоишь? Дай бѣглянкѣ хоть свою

юбченку да шушунчикъ какой-нибудь, а то на нее смотрѣть стыдно — она вся какъ голая. А потомъ хотѣлъ насъ въ церковь свести и тамъ въ сундукъ съ ризами спрятать. Но только-что попадья стала меня за переборочкой одѣвать, какъ вдругъ слышимъ у двери кто-то звякъ въ кольцо

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

У насъ сердца у обоихъ и замерли. А батюшка шепнулъ Аркадію:

— Ну, свѣтъ, въ сундукъ съ ризами вамъ теперь, видно, не попасть, а полѣзай-ка скорѣй подъ перину.

А мнѣ говоритъ:

— А ты, свѣтъ, вотъ сюда.

Взялъ да въ часовой футляръ меня и поставилъ и заперъ, и ключъ къ себѣ въ карманъ положилъ, и пошелъ пріѣзжимъ двери открывать. А ихъ, слышно, народу много, и кои у дверей стоятъ, а два человѣка уже снаружи въ окна смотрятъ.

Вошло семь человѣкъ погони все изъ графскихъ охотниковъ, съ кистенями и съ арапниками, а за поясами своры веревочныя, и съ ними восьмой, графскій дворецкій, въ длинной волчьей шубѣ съ высокимъ козыремъ.

Футляръ, въ которомъ я была спрятана, во всю переднюю половинку былъ пропилейный рѣшетчатый, старой тонкой кисейкой затянутъ, и мнѣ сквозь ту кисею глядѣть можно.

А старичокъ-священникъ сробѣлъ, что ли, что дѣло плохо — весь трясется передъ дворецкимъ и крестится и кричитъ скоренько:

— Охъ, свѣты мои, ой, свѣты ясные! знаю, знаю, чего ищете, но только я тутъ передъ свѣтлѣйшимъ графомъ ни въ чемъ не виноватъ, ей, право, не виноватъ, ей, не виноватъ!

А самъ какъ перекрестится, такъ пальцами черезъ лѣвое плечо на часовой футляръ кажетъ, гдѣ я заперта.

«Пропала я», думаю, видя, какъ онъ это чудо дѣлаетъ.

Дворецкій тоже это увидалъ и говоритъ:

— Намъ все извѣстно. Подавай ключъ вотъ отъ этихъ часовъ.

А попъ опять замахалъ рукой:

— Ой, свѣты мои, ой, ясненькіе! простите, не взыски-

вайте: я позабылъ, гдѣ ключъ положилъ, ей, позабылъ, ей, позабылъ.

А съ этимъ все себя другою рукой по карману гладитъ.

Дворецкій и это чудо опять замѣтилъ, и ключъ у него изъ кармана досталъ и меня отперъ.

— Вылѣзай, говоритъ, — соколка, а соколъ твой теперь намъ самъ скажется.

А Аркаша уже и оказался: сбросилъ съ себя поповскую постель на полъ и стоитъ.

— Да, говоритъ, — видно нечего дѣлать, ваша взяла, — везите меня на терзаніе, но она ни въ чемъ неповинна: я ее силой умчалъ.

А къ попу обернулся да только и сдѣлалъ всего, что въ лицо ему плюнулъ.

Тотъ говоритъ:

— Свѣты мои, видите еще какое надъ саномъ моимъ и вѣрностію поруганіе? Доложите про это пресвѣтлому графу.

Дворецкій ему отвѣчаетъ:

— Ничего, не безпокойся, все это ему причтется, — и велѣлъ насъ съ Аркадіемъ выводить.

Разсадились мы всѣ на трое саней, на переднія связаннаго Аркадія съ охотниками, а меня подъ такою же охраною повезли на заднихъ, а на середнихъ залишніе люди поѣхали.

Народъ, гдѣ насъ встрѣтитъ, все разступается,—думаютъ, можетъ-быть, свадьба.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Очень скоро доскакали и какъ впали на графскій дворъ, такъ я и не видала тѣхъ саней, на которыхъ Аркашу везли, а меня взяли въ свое прежнее мѣсто и все съ допроса на допросъ брали: сколь долго времени я съ Аркадіемъ наединѣ находилась.

Я всѣмъ говорю:

— Ахъ, даже нисколечко!

Тутъ что мнѣ, вѣрно, на роду было назначено не съ милымъ, а съ постылымъ, — той судьбы я и не минула, а придучи къ себѣ въ каморку только было ткнулась головой въ подушку, чтобы оплакать свое несчастіе, какъ вдругъ слышу изъ-подъ пола ужасные стоны.

У насъ это такъ было, что въ деревянной постройкѣ

мы, дѣвицы, на второмъ жильѣ жили, а внизу была большая, высокая комната, гдѣ мы пѣть и танцовать учились, и оттуда къ намъ вверхъ все слышно было. И адскій царь Сатана надоумилъ ихъ, жестокихъ, чтобы имъ терзать Аркашу подъ моимъ покойцемъ...

Какъ почуяла я, что это его терзаютъ... и бросилась... въ дверь ударилась, чтобъ къ нему бѣжать... а дверь заперта... Сама не знаю, что̀ сдѣлать хотѣла... и упала, а на полу еще слышнѣй... И ни ножа, ни гвоздя—ничего нѣтъ, на чемъ бы можно какъ-нибудь кончиться... Я взяла да своей же косой и замоталась... Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звонъ въ ушахъ, а въ глазахъ круги и замерло... А стала я ужъ опять себя чувствовать въ незнакомомъ мѣстѣ, въ большой свѣтлой избѣ... И телятки тутъ были... много теляточекъ, штукъ больше десяти,—такіе ласковые, придетъ и холодными губами руку лижетъ, думаетъ мать сосетъ... Я оттого и проснулась, что щекотно стало... Вожу вокругъ глазами и думаю, гдѣ я? Смотрю, входитъ женщина, пожилая, высокая, вся въ синей пестряди и пестрядиннымъ чистымъ платкомъ повязана, а лицо ласковое.

Замѣтила эта женщина, что я въ признакъ пришла, и обласкала меня, и разсказала, что нахожусь при своемъ же графскомъ домѣ въ телячьей избѣ... «Это вонъ тамъ было», поясняла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направленію къ самому отдаленному углу полуразрушенныхъ сѣрыхъ загражденій.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

На скотномъ дворѣ она очутилась потому, что была подъ сомнѣніемъ, не сдѣлалась ли она въ родѣ сумасшедшей? Такихъ скотамъ уподоблявшихся на скотномъ и испытывали, потому что скотники были народъ пожилой и степенный, и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

— Она, какъ убралася передъ вечеромъ,—продолжала няня:—сама мнѣ постельку изъ свѣжей овсяной соломки сдѣлала. Такъ распушила мягко, какъ пуховичокъ, и говоритъ: «я тебѣ, дѣвушка, все открою. Будь что будетъ, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, какъ и ты, и не весь свой вѣкъ

эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видѣла, но только не дай Богъ о томъ вспомнить, а тебѣ скажу: не сокрушайся, что въ ссылъ на скотный дворъ попала,—на ссылу лучше, но только вотъ этого ужаснаго плакона берегись...»

И вынимаетъ изъ-за шейнаго платка бѣленькій стеклянный пузырекъ и показываетъ.

Я спрашиваю:

— Что это?

А она отвѣчаетъ:

— Это и есть ужасный плаконъ, а въ немъ ядъ для забвенія.

Я говорю:

— Дай мнѣ забвеннаго яду: я все забыть хочу.

Она говоритъ:

— Не пей—это водка. Я съ собой не совладала разъ, выпила... добрые люди мнѣ дали... Теперь и не могу—надо мнѣ это, а ты не пей пока можно, а меня не суди, что я пососу—очень больно мнѣ. А тебѣ еще есть въ свѣтѣ утѣшеніе: *его* Господь ужъ отъ тиранства избавилъ!..

Я такъ и вскрикнула: «умеръ!» да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы,—бѣлые... Что это!

А она мнѣ говоритъ:

— Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще тамъ побѣлѣла, какъ тебя изъ косы выпутали, а онъ живъ и ото всего тиранства спасенъ: графъ ему такую милость сдѣлалъ, какой никому и не было,—я тебѣ, какъ ночь придетъ, все разскажу, а теперь еще пососу... Отсосаться надо... жжетъ сердце.

И все сосала, все сосала, и заснула.

Ночью, какъ всѣ заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, безъ огня подошла къ окошечку и, вижу, опять стоя пососала изъ плаканчика и опять его спрятала, а меня тихо спрашиваетъ:

— Спитъ горе или не спитъ?

Я отвѣчаю:

— Горе не спитъ.

Она подошла ко мнѣ къ постели и разсказала, что графъ Аркадія послѣ наказанія къ себѣ призывалъ и сказалъ:

— Ты долженъ былъ все пройти, что тебѣ отъ меня сказано, но какъ ты былъ мой фаворитъ, то теперь будетъ тебѣ отъ меня милость: я тебя пошлю завтра безъ зачета въ солдаты сдать, но за то, что ты брата моего, графа и дво-

рянина, съ пистолетами его не побоялся, я тебѣ путь чести открою,—я не хочу, чтобы ты былъ ниже того, какъ самъ себя съ благороднымъ духомъ поставилъ. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчасъ прямо на войну послали, и ты не будешь служить въ простыхъ во солдатахъ, а будешь въ полковыхъ сержантахъ и покажи свою храбрость. Тогда надъ тобой не моя воля, а царская.

— Ему,—говорила пестрядинная старушка:—теперь легче и бояться больше нечего: надъ нимъ одна уже власть—что пасть въ сраженіи, а не господское тиранство.

Я такъ и вѣрила, и три года все каждую ночь во снѣ одно видѣла, какъ Аркадій Ильичъ сражается.

Такъ три года прошло, и во все это время мнѣ была Божія милость, что къ театру меня не возвращали, а все я тутъ же въ телячьей избѣ оставалась жить, при тетушкѣ Дросидѣ въ младшихъ. И мнѣ тутъ очень хорошо было, потому что я эту женщину жалѣла, и когда она, бывало, ночью не очень выпьетъ, такъ любила ее слушать. А она еще помнила, какъ стараго графа наши люди зарѣзали, и самъ главный камердинеръ,—потому что никакъ уже больше не могли его адской лютости вытерпѣть. Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Дросиду много дѣлала и съ удовольствіемъ: скотинки эти у меня какъ дѣтки были. Къ теляткамъ, бывало, такъ привыкнешь, что когда котораго отпоишь и его поведутъ колоть для стола, такъ сама его перекрестишь и сама о немъ послѣ три дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня не хорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тутъ, послѣ того, какъ Аркадій Ильичъ меня увозилъ по холоду безъ чувствъ, я вѣрно ноги простудила и въ носкѣ для танцевъ уже у меня никакой крѣпости не стало. Сдѣлалась я такою же пестрядинкою, какъ и Дросида, и Богъ знаетъ, докуда бы прожила въ такой унылости, какъ вдругъ, одинъ разъ, была я у себя въ избѣ передъ вечеромъ: солнышко садится, а я у окна тальки разматываю, и вдругъ мнѣ въ окно упадаетъ небольшой камень, а самъ весь въ бумажку завернутъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула, — никого нѣтъ.

— Навѣрно, думаю, это кто-нибудь съ воли черезъ заборъ кинулъ, да не попалъ куда надо, а къ намъ съ старушкой вбросилъ. И думаю себѣ: развернуть или нѣтъ эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непремѣнно что-нибудь написано? А можетъ-быть это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записочку съ камушкомъ опять точно такимъ же родомъ кому слѣдуетъ переброшу.

Развернула и стала читать, и глазамъ своимъ не вѣрю...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Писано:

«Вѣрная моя Люба! Сражался я и служилъ государю и проливалъ свою кровь не однажды, и вышелъ мнѣ за то офицерскій чинъ и благородное званіе. Теперь я пріѣхалъ на свободѣ въ отпускъ для излѣченія ранъ и остановился въ Пушкарской слободѣ, на постояломъ дворѣ у дворника, а завтра ордена и кресты надѣну и къ графу явлюсь и принесу всѣ свои деньги, которыя мнѣ на лѣченье даны, пятьсотъ рублей, и буду просить мнѣ тебя выкупить, и въ надеждѣ, что обвѣнчаемся передъ престоломъ Всевышняго Создателя».

— А дальше,—продолжала Любовь Онисимовна, всегда съ подавляемымъ чувствомъ:—писалъ такъ, что, «какое, говоритъ, вы надъ собою бѣдствіе видѣли и чему подвергались, то я то за страданіе ваше, а не во грѣхъ и не за слабость поставляю и предоставляю то Богу, а къ вамъ одно мое уваженіе чувствую». И подписано: «Аркадій Ильинъ».

Любовь Онисимовна письмо сейчасъ же сожгла на загнеткѣ и никому про него не сказала, ни даже пестрядинной старухѣ, а только всю ночь Богу молилась, нимало о себѣ словъ не произнося, а все за него, потому что, говоритъ, хотя онъ и писалъ, что онъ теперь офицеръ и со крестами и ранами, однако, я никакъ вообразить не могла, чтобы графъ съ нимъ обходился иначе, нежели прежде.

Просто сказать, боялась, что еще его бить будутъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

На утро, рано, Любовь Онисимовна вывела телятокъ на солнышко и начала ихъ съ корочки изъ лоханокъ молочкомъ поить, какъ вдругъ до ея слуха стало достигать, что «на

волѣ», за забором, люди, куда-то поспѣшая, бѣгутъ и шибко между собою разговариваютъ.

— Что такое они говорили, того я,—сказывала она:—ни одного слова не разслышала, но точно ножъ слова ихъ мнѣ рѣзали сердце. И какъ въѣхалъ въ это время въ ворота навозникъ Филиппъ, я и говорю ему:

— Филюшка, батюшка, не слыхалъ ли, про что это люди идутъ, да такъ любопытно разговариваютъ?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это, говоритъ,—они идутъ смотрѣть, какъ въ Пушкарской слободѣ постоялый дворникъ ночью соннаго офицера зарѣзалъ. Совсѣмъ, говоритъ, горло перехватилъ и пятьсотъ рублей денегъ съ него снялъ. Поймали его, весь въ крови, говорятъ, и деньги при немъ.

И какъ онъ мнѣ это выговорилъ, я тутъ же брякъ съ ногъ долой...

Такъ и вышло: этотъ дворникъ Аркадія Ильича зарѣзалъ... и похоронили его вотъ тутъ, въ этой самой могилкѣ, на которой сидимъ... Да, тутъ онъ и сейчасъ подъ нами, подъ этой земелькой лежитъ... А то ты думалъ, отчего же я все сюда гулять-то съ вами хожу... Мнѣ не туда глядѣть хочется (указала она на мрачныя и сѣдыя развалины), а вотъ здѣсь возлѣ него посидѣть, и... и капельку за его душу помяну...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Тутъ Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказъ досказаннымъ, вынула изъ кармана пузыречекъ, и «помянула», или «пососала», но я ее спросилъ:

— А кто же здѣсь схоронилъ знаменитаго тупейнаго художника?

— Губернаторъ, голубчикъ, самъ губернаторъ на похоронахъ былъ. Какъ же! Офицеръ, — его и за обѣдней и дьяконъ, и батюшка «боляриномъ» Аркадіемъ называли и какъ опустили гробъ, солдаты пустыми зарядами вверхъ изъ ружей выстрѣлили. А постоялаго дворника послѣ, черезъ годъ, палачъ на Ильинкѣ на площади кнутомъ наказывалъ. Сорокъ и три кнута ему за Аркадія Ильича дали, и онъ выдержалъ—живъ остался и въ каторжную работу клейменый пошелъ. Наши мужчины, которымъ возможно было, смотрѣть бѣгали, а старики, которые помнили, какъ

за жестокаго графа наказывали, говорили, что это сорокъ и три кнута мало, потому что Аркаша былъ изъ простыхъ, а тѣмъ за графа такъ сто и одинъ кнутъ дали. Четнаго удара, вѣдь, это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить въ не-четъ. Нарочно тогда палачъ, говорятъ, тульскій былъ привезенъ, и ему передъ дѣломъ три стакана рому дали выпить. Онъ потомъ такъ билъ, что сто кнутовъ ударилъ все только для одного мученія и тотъ все живъ былъ, а потомъ какъ сто первымъ щелканулъ, такъ всю позвонцовую кость и растрощилъ. Стали поднимать съ доски, а онъ ужъ и кончается... Покрыли рогожечкой, да въ острогъ и повезли, — дорогой умеръ. А тульскій, сказываютъ, все еще покрикивалъ: «давай еще кого бить—всѣхъ орловскихъ убью».

— Ну, а вы же, говорю, на похоронахъ были или нѣтъ?

— Ходила. Со всѣми вмѣстѣ ходила: графъ велѣлъ, чтобы всѣхъ театральныхъ свести посмотрѣть, какъ изъ нашихъ людей человѣкъ заслужиться могъ.

— И прощались съ нимъ?

— Да, какъ же! всѣ подходили, прощались, и я... перемѣнился онъ, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень блѣдный,—говорили, весь кровью истекъ, потому что онъ его въ самую полночь еще зарѣзалъ... Сколько это онъ своей крови пролилъ...

Она умолкла и задумалась.

— А вы, говорю,—сами послѣ это каково перенесли?

Она какъ бы очнулась и провела по лбу рукою.

— По началу не помню, говоритъ,—какъ домой пришла... Со всѣми вмѣстѣ, вѣдь, — такъ вѣрно кто-нибудь меня велъ... А ввечеру Дросида Петровна говоритъ:

— Ну, такъ нельзя, — ты не спишь, а между тѣмъ лежишь какъ каменная. Это не хорошо — ты плачь, чтобы изъ сердца истокъ былъ.

Я говорю:

— Не могу, теточка, — сердце у меня какъ уголь горитъ и истоку нѣтъ.

А она говоритъ:

— Ну, значитъ, теперь плакона не миновать.

Налила мнѣ изъ своей бутылочки и говоритъ:

— Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь дѣлать нечего: облей уголь—пососи.

Я говорю: «не хочется».

— Дурочка, говоритъ: — да кому же сначала хотѣлось. Вѣдь оно горе-горькое, а ядъ горевой еще горче, а облить уголь этимъ ядомъ — на минуту гаснетъ. Соси скорѣе, соси!

Я сразу весь плаконъ выпила. Противно было, но спать безъ того не могла, и на другую ночь тоже... выпила... и теперь безъ этого уснуть не могу, и сама себѣ плакончикъ завела и винца покупаю... А ты, хорошій мальчикъ, мамашѣ этого никогда не говори, никогда не выдавай простыхъ людей: потому что простыхъ людей вѣдь надо беречь, простые люди все вѣдь страдатели. А вотъ мы когда домой пойдемъ, то я опять за уголкомъ у кабачка въ окошечко постучу... Сами туда не взойдемъ, а я свой пустой плакончикъ отдамъ, а мнѣ новый высунутъ.

Я былъ растроганъ и обѣщался, что никогда и ни за что не скажу о ея «плакончикѣ».

— Спасибо, голубчикъ,—не говори: мнѣ это нужно.

И какъ сейчасъ я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда всѣ въ домѣ уснутъ, она тихо приподнимается съ постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встаетъ, крадется на своихъ длинныхъ, простуженныхъ ногахъ къ окошечку... Стоитъ минутку, озирается, слушаетъ: не идетъ ли изъ спальни мама; потомъ тихонько стукнетъ шейкой «плакончика» о зубы, приладится и «пососетъ...» Глотокъ, два, три... Уголекъ залила и Аркашу помянула, и опять назадъ въ постельку,—юркъ подъ одѣяльце и вскорѣ начинаетъ тихо-претихо посвистывать—фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!

Болѣе ужасныхъ и раздирающихъ душу поминокъ я во всю мою жизнь не видывалъ.

ТОМЛЕНЬЕ ДУХА.

(Изъ отроческихъ воспоминаній).

«Все это томленье духа».
Экклезіастъ.

Въ числѣ людей, которые принимали участіе въ моемъ воспитаніи, былъ длинный и тощій нѣмецъ Иванъ Яковлевичъ, по прозванью Коза. Настоящей его фамиліи я не знаю,—онъ своею наружностью напоминалъ козу, и всѣ мы звали его заочно Козою.

Это было въ деревнѣ, въ орловской губерніи, у моихъ богатыхъ родственниковъ. Я у нихъ росъ и воспитывался, пока меня отдали въ школу, въ городъ. Для насъ въ деревнѣ было нѣсколько учителей: русскій—Иванъ Степановичъ Птицынъ съ женою, жилъ во флигелѣ, и французъ, мосье Люи, тоже съ женою и сыномъ Альвиномъ, который учился вмѣстѣ съ нами. Эти тоже жили въ особомъ флигелѣ, и еще былъ нѣмецъ Кольбергъ, одинокій, часто пьяный и драчливый. Онъ такъ часто ссорился съ прислугою, что надоѣлъ дядѣ и былъ внезапно разсчитанъ: тогда на его мѣсто былъ взятъ Коза, который ранѣе этого жилъ уже въ нѣсколькихъ помѣщичьихъ домахъ въ околоткѣ, но нигдѣ долго не уживался. Говорили, что онъ человѣкъ очень смирный и хорошій, но «съ фантазіями». Его къ намъ и приняли съ такимъ уговоромъ, чтобы жилъ съ нами и училъ насъ по-нѣмецки, но никакихъ своихъ фантазій не смѣлъ бы показывать.

Онъ взялся это исполнять, и мѣсяца три исполнялъ очень хорошо, но потомъ вдругъ не выдержалъ и пока-

залъ такую фантазію, какъ будто и не давалъ никакого зарока.

Лѣтомъ разъ заѣхала къ дядѣ, по дорогѣ въ свое имѣніе, губернаторша съ сыномъ, мальчикомъ лѣтъ одиннадцати, очень избалованнымъ и непослушнымъ. Мы пошли въ фруктовый садъ, и тамъ этотъ гость оборвалъ какую-то рѣдкостную сливу, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали себѣ клятву во всемъ запираться и ничего не сказывать. Дядя вечеромъ пошелъ въ садъ и увидалъ, что слива оборвана. Онъ разсердился, позвалъ садовникова сына, мальчика Костю, и сталъ его спрашивать: кто оборвалъ сливу? Костя не зналъ, и на него упало подозрѣніе, что эту сливу оборвалъ онъ и теперь запирается. Его за это велѣли высѣчь крыжовникомъ, а онъ испугался и сказалъ, что будто въ самомъ дѣлѣ онъ съѣлъ сливы. Тогда его все-таки высѣкли. А мы знали кто оборвалъ, но ничего не говорили, чтобы не нарушать клятву и не пристыдить своего гостя, но къ вечеру нѣкоторыхъ изъ насъ это стало невыносимо мучить, и когда мы начали укладываться спать, то я не стерпѣлъ и сказалъ Ивану Яковлевичу, что Костю наказали напрасно,— что онъ не воръ, а воръ вотъ кто, а мы всѣ дали клятву его скрыть.

Иванъ Яковлевичъ вдругъ поблѣднѣлъ и вскрикнулъ:

— Какъ клятву! Какъ вы смѣли клясться? Развѣ вы не христіане! Кто вамъ позволилъ чѣмъ-нибудь клясться? Видите, сколько отъ этого зла вышло, и теперь я уйду отъ васъ.

Мы еще больше встревожились и стали его упрашивать, но онъ твердилъ:

— Нѣтъ, я уйду, я непремѣнно уйду, и не самъ уйду, а меня выгонятъ, и это будетъ хорошо... Это будетъ къ лучшему.

Такъ все говорилъ, а самъ плакалъ и потомъ вдругъ приложилъ лобъ къ оконному стеклу, вздохнулъ и побѣжалъ изъ комнаты.

Куда и зачѣмъ побѣжалъ—мы не могли догадаться и долго ждали его возвращенія, но потомъ такъ и уснули, не дождавшись, чтобъ онъ назадъ пришелъ; а утромъ, когда старая дѣвушка Василиса Матвѣевна принесла намъ свѣжее

бѣлье, мы узнали, что Иванъ Яковлевичъ къ намъ и совсѣмъ не воротится, потому что онъ сошелъ съ ума.

— Боже мой!.. Мы такъ и обомлѣли... Бѣдный, добрый Иванъ Яковлевичъ сошелъ съ ума!.. Это все мы виноваты. Но что же онъ такое сдѣлалъ?

— А онъ явился въ безчеловѣчномъ видѣ къ господамъ и сдѣлалъ фантазію, и ему за это отказано.

Фантазія состояла въ томъ, что, взволнованный нашимъ двойнымъ злочинствомъ, Коза сошелъ внизъ, въ гостиную, и, «имѣя въ лицѣ видъ безчеловѣчный», подошелъ къ губернаторшѣ и сказалъ ей совершенно спокойнымъ «безчеловѣчнымъ голосомъ»:

— У вашего сына дурное сердце: онъ сдѣлалъ поступокъ, за который бѣднаго мальчика высѣкли и заставили налгать на себя... Вашъ несчастный сынъ имѣлъ силу это стерпѣть, да еще научилъ другихъ клясться, чего Іисусъ Христосъ никому не позволилъ и просилъ никогда не дѣлать. Мнѣ жаль вашего темнаго, непросвѣщеннаго сына. Помогите ему открыть глаза, увидать свѣтъ и исправиться, а то изъ него выйдетъ дурной человѣкъ, который умертвитъ свой духъ и можетъ много другихъ испортить.

Съ губернаторшею сдѣлалось дурно, и она зашлась въ истерикѣ.

Страшно разсерженный происшедшею сценою, дядя вытолкнулъ Козу за двери и сейчасъ же велѣлъ запереть его въ конторѣ, а сегодня его велѣно уже отправить на мужицкой подводѣ въ Орелъ.

Мы за него обидѣлись и сказали:

— Для чего же это «на мужичьей подводѣ»?

— А то на чемъ же?—отвѣчала Василиса.

— Можно было въ телѣжкѣ, въ которой на почту ѣздятъ.

— Ну, какъ же! еще ему чего? Въ этой телѣжкѣ попа святую воду пѣть возятъ... Для чего же его, глупаго нѣмца, держать въ одной чести съ батюшкой. Батюшка за наши грѣхи въ алтарѣ молится, а его довольно бы еще и не на подводѣ, а на навозницѣ вывезти.

— И за что вы его такъ не любите?

— За то, что онъ дуракъ и вральменъ.

— Онъ никогда не вретъ, а всегда правду говоритъ.

— А вотъ это-то совсѣмъ и не нужно! Что такое его

правда? Правда тоже хорошо, да не по всякую минуту и не ко всякому съ нею лѣзть. Онъ самъ для себя свою правду и твори, а другимъ свой законъ на чужой кадыкъ не накидывай. У насъ свой-то законъ еще гораздо много пополнѣй ихняго: мы если и солжемъ, такъ у насъ сколько угодно и отмолиться можно: у насъ и угодники есть, и страстотерпцы, и мученики, и Прасковеи. Ему за насъ встрѣвать нечего. Зато ему и показали гдѣ Богъ и гдѣ порогъ.

— Какъ же это показываютъ?

— Гдѣ Богъ-то?

— Да.

— А поставятъ человѣка къ двери лицомъ да сзади дадутъ хорошенько по затылку шлыкъ, а онъ тогда долженъ въ подворотню шмыгъ.

— И это по-вашему значитъ показать человѣку «гдѣ Богъ»?

— Да. Вонъ пошелъ, вотъ и все!

— Такъ, значитъ, и ему показали «гдѣ Богъ»?

— Ну, ужъ какъ никакъ, а показали «гдѣ Богъ» и все тутъ.

— Что же: онъ *Его* увидитъ, и... пожалуй, будетъ радъ, что его прогнали.

— Ну, ужъ это пусть его радуется, какъ ему нравится: намъ его жалѣть нечего.

Мнѣ было очень жалко Ивана Яковлевича, а сынъ француза Люи, маленькій Альвинъ, еще болѣе о немъ разжалобился. Онъ пришелъ къ намъ въ комнату весь въ слезахъ и сталъ звать меня, чтобы вмѣстѣ убѣжать черезъ крестьянскіе конопляники за околицу и тамъ спрятаться въ конопляхъ, пока повезутъ Ивана Яковлевича на подводѣ, и мы подводу остановимъ и съ нимъ простимся. Мы такъ и сдѣлали,—побѣжали и спрятались, но подвода очень долго не ѣхала. Оказалось, что Иванъ Яковлевичъ пожалѣлъ мужика, который былъ наряженъ его везти, и уволилъ его отъ этой повинности, а самъ пошелъ пѣшкомъ. На немъ былъ его зеленый фракъ и сѣрая мантилія изъ казинета, а въ рукахъ у него мотался очень маленькій свертокъ съ бѣльемъ и синій тиковый зонтикъ. Коза шелъ не только спокойно, но какъ бы торжественно, а лицо его было даже весело и выражало удовольствіе. Увидавъ насъ, онъ остановился и воскликнулъ:

— Прекрасно, дѣти! Прекрасно! О, сколько для меня есть радости въ одну эту минуту!—и онъ раскрылъ для объятій руки, а на глазахъ его заблистали слезы.

Мы бросились къ нему и тоже заплакали, повторяя: «Простите насъ, простите!» А въ чемъ мы просили прощенія—мы и сами того не могли опредѣлить, но онъ помогъ намъ понять и сказалъ:

— Вы дурно сдѣлали, что не берегли свою свободу и позволили себѣ клясться: поклявшись, вы уже перестали быть свободны, вы стали невольниками вашей клятвы... Да; вы уже не имѣли свободы говорить правду и вотъ черезъ это бѣднаго мальчика сочли воромъ и высѣкли. Могло быть, что его на всю жизнь могли считать воромъ и... можетъ-быть, онъ тогда бы и сдѣлался воромъ. Надо было это разорить... И я разорилъ... Надо было бунтовать, и я бунтовалъ... (Иванъ Яковлевичъ сталъ горячиться). Я иначе не могъ... во мнѣ духъ взбунтовался... проснулся къ жизни духъ... свободный духъ отъ всякой клятвы... и я пошелъ... я говорилъ... я стеръ... я опровергъ клятву... не должно клясться... Безъ клятвы будь правдивъ... Вотъ что нужно... нигдѣ и ни передъ кѣмъ не лги... не лги ни словомъ, ни лицомъ... Не бойся никого!.. Что писано въ прописи, чтобы кого-то бояться,—это все вздоръ есть! Іисусъ Христосъ больше значитъ, чѣмъ пропись... О, я думаю, что Онъ больше значитъ! Какъ вы думаете, кто больше?

— Христосъ больше.

— Ну, конечно, Христосъ больше, а Онъ сказалъ: «никого не бойтесь». Онъ побѣдилъ страхъ... Страхъ пустяки... Нѣтъ страха!.. Даже я!.. я побѣдилъ страхъ! Я его прогналъ вонъ... И вы гоните его вонъ!.. И онъ уйдетъ... Гдѣ онъ здѣсь? Его здѣсь нѣтъ. Здѣсь трое насъ и кто между насъ?.. А!.. Кто? Страхъ? Нѣтъ, не страхъ, а нашъ Христосъ! Онъ съ нами. Что?.. Вы это видите ли?.. вы это чувствуете ли?.. вы это понимаете ли?

Мы не знали, что ему отвѣчать, но мы «понимали», что мы «чувствуемъ» что-то самое прекрасное, и такъ и сказали.

Коза возрадовался и заговорилъ:

— Вотъ это и есть то, что надо, и дай Богъ, чтобы вы никогда объ этомъ не позабыли. Для этого одного стоитъ всегда быть правдивымъ во всѣхъ случаяхъ жизни.

Чистая совѣсть гдѣ хотите покажетъ Бога, а ложь гдѣ хотите удалитъ отъ Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите.

— О, да, да!—отвѣчали мы:—мы впередъ не будемъ ни лгать, ни клясться, но какъ намъ загладить то зло, которое мы сдѣлали?

— Загладить... загладить можетъ только одинъ Богъ. Заглаждать—это не наше дѣло. Любите Костю и напоминайте другимъ, что онъ не виноватъ,—что онъ оклеветалъ себя отъ страха.

— Мы все такъ сдѣлаемъ, но вы, Иванъ Яковлевичъ, куда вы идете? У васъ есть гдѣ-нибудь свой домъ?

Онъ покачалъ отрицательно головою и сказалъ:

— Зачѣмъ мнѣ свой домъ?

— Ну, у васъ есть... семейные... кто васъ любитъ?

— Семейные?.. Нѣтъ... И зачѣмъ мнѣ семейные?

— Кто же у васъ свои?

— Ну, кто свои... кто свои!.. Ну, вотъ вы мнѣ теперь свои... «свои»—это тѣ, съ кѣмъ одно и то же любишь...

— А особенно близкихъ развѣ нѣтъ?

— Для чего же особенные? Что это вамъ такое!.. Надо дѣлать все вмѣстное, а совсѣмъ не особенное.

— Но куда же вы теперь отправляетесь?..

Онъ повелъ плечами и весело отвѣтилъ:

— Куда я?.. Къ блаженной вѣчности; а по какому тракту,—это совсѣмъ все равно—только надо вездѣ дѣлать Божіе дѣло.

Мы не поняли, что такое значитъ «дѣлать Божіе дѣло», и плачевно приставали къ Козѣ.

— Намъ жаль, что вамъ отказали совершенно напрасно.

Онъ тихо покачалъ головою и отвѣчалъ:

— Нѣтъ; мнѣ отказали совсѣмъ не напрасно.

— Какъ не напрасно: вѣдь вы поступили всѣхъ насъ честнѣе и ничего дурного не сдѣлали.

— Ну, вотъ! Для чего же дѣлать дурное! Это не надо... но я сдѣлалъ безпокойство: я сдѣлалъ бунтъ противъ тьмы вѣка сего... и меня нужно гнать... Это ужъ такъ... и это очень хорошо!

— Вы это такъ говорите, какъ будто вы сами этому даже рады.

— Даже радъ! Да, я радъ! Я очень радъ! Вѣдь у насъ

«борьба наша не съ плотію и кровію, а съ тьмою вѣка,— съ духами злобы, живущими на землѣ». Мы ведемъ войну противъ тьмы вѣковъ и противъ духовъ злобы, а они гонятъ насъ и убиваютъ, какъ ранѣе гнали и убивали тѣхъ, которые были во всемъ насъ лучше.

— Но за что? за что это гонятъ тѣхъ, кто не сдѣлалъ никому зла? Это ужасно!

— Ничего, отвѣчалъ, еще больше сіяя, Коза, — напротивъ, это хорошо... это-то и хорошо, что ихъ гонятъ напрасно: это ихъ воспитываетъ; это ихъ укрѣпляетъ... И неужто вы хотѣли бы, чтобы меня не такъ выгнали, какъ теперь выгоняютъ за бунтъ противъ тьмы вѣка и духовъ злобы, а чтобы я самъ сдѣлалъ кому-нибудь зло!

— О, нѣтъ!

— Ну, такъ что же!.. Значитъ все какъ слѣдуетъ быть... все прекрасно... Со временемъ... если вамъ откроется, въ чемъ состоитъ жизнь, и вы захотите жить самымъ лучшимъ образомъ, то-есть жить такъ, чтобы духи злобы васъ гнали, — то вы тогда будете это понимать... Когда они гонятъ—это прекрасно, это радость... это счастье! но...

Онъ взялъ насъ за плечи и продолжалъ пониженнымъ голосомъ:

— Но когда они васъ ласкаютъ и хвалятъ... Вотъ тогда...

— Вы говорите что-то страшно...

— Да: это страшно. Тогда бойтесь, тогда осматривайтесь, тогда... ищите, чтобы спасъ васъ Отецъ вашъ небесный.

— Отецъ небесный! Но мы вѣдь не знаемъ... какъ это искать, что надо сдѣлать...

— Что сдѣлать?

— Чтобы Онъ насъ спасъ.

Ага! И я это тоже не знаю... и я это... даже не стою, а Онъ...

У Ивана Яковлевича въ груди закипѣли слезы, и онъ сталъ говорить точно въ экстазѣ:

— Я бѣдный грѣшникъ, который вышелъ изъ ничтожества: я червякъ, который выползъ изъ грязи, а Отецъ держитъ меня на своихъ колѣняхъ; Онъ носитъ меня въ своихъ объятіяхъ, какъ сына, который не умѣетъ ходить, и не бросаетъ меня, не сердится, что я такой неумѣха, и хотя я глупъ, но Онъ мнѣ внушаетъ все, что человѣку

нужно, и я вѣрю, что я у Него могу понять какъ разъ столько, сколько мнѣ нужно, и... вы тоже поймете... вамъ духъ скажетъ... Тогда придетъ спасеніе и вы не будете спрашивать: какъ оно пришло?.. И это все надо... тихо... Тссъ! Богъ идетъ въ тишинѣ... Still!

Коза вдругъ поникъ головою, сжалъ на груди руки и сталъ читать по-нѣмецки «Отче нашъ». Мы безъ его приглашенія схватили съ головъ свои шапочки и съ нимъ вмѣстѣ молились. Онъ кончилъ молитву, положилъ намъ на головы свои руки и съ полными слезъ глазами закончилъ свою молитву по-русски.

— Нашъ Отецъ!—сказалъ онъ:—благодарю Тебя, что Ты вновь далъ мнѣ радость быть изгнаннымъ за исполненіе святой воли Твоей. Укрѣпи сердца терпящихъ за послушаніе Твоей волѣ и просвѣти разумомъ и милосердіемъ очи людей, насъ гонящихъ. Не оставь также этихъ дѣтей Твоихъ надолго въ пустынѣ: дай имъ войти въ разумѣніе и вкусить то блаженство, какое я теперь по Твоей благости ощущаю въ моемъ духѣ. Дай имъ понять, въ чемъ есть Твоя воля! — И онъ еще разъ обнялъ насъ, поцѣловалъ и пошелъ въ городъ совершенно безпріютный и совершенно счастливый, а мы, у которыхъ все было изобильно и готово, стояли на колѣняхъ, на пыльной дорожкѣ, и, глядя вслѣдъ Козѣ, плакали.

Онъ будто метнулъ въ насъ что-то острое и вмѣстѣ съ тѣмъ радостное до восторга. Коза на насъ что-то призвалъ, насъ что-то обвѣяло, мы хотѣли что-то понять, чтобы кончить мольбой о смягченьи сердецъ, и вдругъ оба вскочили, погнались за нимъ и закричали:

— Иванъ Яковличъ!.. Иванъ Яковличъ!..

Онъ остановился и обернулся, и показалось намъ, будто онъ вдругъ сдѣлался какой-то другой: выросъ какъ-то и разсвѣтился. Вѣроятно, это происходило оттого, что онъ теперь стоялъ на холмѣ и его освѣщало солнце. Но однако и голосъ у него тоже измѣнился. Онъ какъ-то будто лилъ слова по воздуху:

— Что вамъ еще? что вамъ?

А мы не знали, что именно хотѣли ему сказать, и спросили:

— Увидимъ ли мы васъ когда-нибудь?

Онъ ясно отвѣчалъ:

— Увидите.

— Когда же это будетъ?

Онъ глуше проговорилъ:

— Это случится... можетъ-быть... совсѣмъ неожиданно. а потомъ это опять не случится, и потомъ это опять иногда случится...

Мы, казалось, бѣжали за нимъ, а между тѣмъ онъ одинъ шелъ впереди, а мы все отставали и кричали:

— Гдѣ мы увидимся?

Но онъ отвѣчалъ уже издалека:

— Все равно,—и началъ разводить руками во всѣ стороны, точно хотѣлъ пояснить, что для свиданія съ нимъ «иногда» всѣ стороны ровны. Пространство для него не существуетъ. «Все равно... иногда увидимся.., и опять... не увидимся... иногда», и еще что-то такое, а самъ все дальше и дальше отъ глазъ, и вдругъ какъ-то будто даже смѣшно затрепеталъ ручками и побѣжалъ-побѣжалъ, и скрылся, и съ тѣхъ поръ ушло очень много лѣтъ, и Козы долго, очень долго не было передо мною, но потомъ вдругъ онъ совершенно неожиданно явился разъ, и два, и еще втретье, и сталъ такъ близко, какъ будто онъ и не отходилъ, а между тѣмъ... все бѣжитъ и бѣжитъ впередъ... И въ эти минуты мнѣ показалось, будто и я не совсѣмъ все стоялъ... И я будто иногда плелся и тоже помаленечку подвигался, но зато я чувствовалъ и то, какъ я слабъ, какъ я усталъ и дальше плестись не въ силахъ... Кончено! я отстану и его опять уже никогда болѣе не увижу!.. Но тутъ всегда приходитъ нежданная помощь: откуда-то кто-то возьмется и покажетъ «гдѣ Богъ»... и тогда сейчасъ же опять обозришься, всѣхъ *своихъ* тогда чувствуешь въ собственномъ сердцѣ, и ни съ однимъ изъ нихъ уже не боишься разстаться, потому что «у всѣхъ напоенныхъ однимъ духомъ должно быть одно разумѣніе жизни».

ПЛАМЕННАЯ ПАТРІОТКА.

Изъ чужеземныхъ правительственныхъ знаменитостей я видѣлъ покойнаго Наполеона III—на открытіи бульвара въ Парижѣ, князя Бисмарка—на водахъ, Макъ-Магона—на разводѣ и нынѣшняго австрійскаго императора, Франца-Іосифа—за кружкою пива.

Самое памятное впечатлѣніе произвелъ на меня Францъ-Іосифъ, хотя онъ при этомъ капитально поссорилъ между собою двухъ моихъ соотечественниковъ.

Это стоитъ того, чтобы разсказать.

Я былъ за границею три раза, изъ которыхъ два раза проѣзжалъ «столбовою» русскою дорогою, прямо изъ Петербурга въ Парижъ, а въ третій, по обстоятельствамъ, сдѣлалъ крюкъ и заѣхалъ въ Вѣну. Кстати я хотѣлъ навѣстить одну достойную почтенія русскую даму.

Это было въ концѣ мая или въ началѣ іюня. Поѣздъ, въ которомъ я ѣхалъ, привезъ меня въ Вѣну около четырехъ часовъ пополудни. Квартиры мнѣ для себя не пришлось отыскивать: въ Кіевѣ снабдили меня рекомендаціею, избавлявшею отъ всякихъ хлопотъ. Я, какъ пріѣхалъ, такъ сейчасъ же и устроился, а черезъ часъ уже привелъ себя въ порядокъ и пошелъ къ моей соотечественницѣ.

Въ этотъ часъ Вѣна тоже сдѣлала свой туалетъ: надъ нею прошелъ сильный лѣтній дождикъ и потомъ вдругъ на совершенно голубомъ небѣ засверкало лучистое солнце. Красивый городъ, умывшись, смотрѣлъ еще красивѣе.

Улицы, которыми велъ меня проводникъ, всѣ казались очень изящными, но по мѣрѣ того, какъ мы подвигались къ Леопольдштадту, изящество ихъ становилось еще замѣтнѣе. Зданія были больше, сильнѣе и величественнѣе. У

одного изъ такихъ проводникъ остановился и сказалъ, что это отель, который мнѣ нужно.

Мы вошли чрезъ величественную арку въ обширный залъ, расписанный въ помпейскомъ вкусѣ. Направо и налѣво у этого зала были тяжелыя двери изъ темнаго дуба; противоположная стѣна роскошно драпирована краснова-тымъ сукномъ. Посрединѣ залы стояла коляска, запря-женная парою живыхъ лошадей, и на козлахъ сидѣлъ кучеръ.

Этотъ великолѣпный залъ попросту есть не что иное, какъ «ворота». Мы были подъ такими воротами, какихъ я еще не видалъ ни въ Петербургѣ, ни въ Парижѣ.

Вправо находилось помѣщеніе швейцара. Оно тоже замѣчательно; замѣчателенъ и самъ великолѣпный швейцаръ съ камергерской фигурой: онъ сидѣлъ тутъ, какъ золо-тистый жукъ, въ витринѣ изъ громадной величины зеркаль-ныхъ стеколъ. Ему все вокругъ было видно; а возлѣ него, для важности или для какого другого удобства, стояли три ассистента и всѣ съ аксельбантами. Если бы пред-ставилась надобность кого-нибудь не пропустить или вы-вести, такой швейцаръ самъ, конечно, рукъ бы объ это не пачкалъ.

На мой вопросъ: «здѣсь ли моя знакомая?»—одинъ изъ ассистентовъ отвѣчалъ: «здѣсь», а когда я спросилъ: «могу ли я ее видѣть?»—ассистентъ доложилъ швейцару, а тотъ повелъ дипломатически бровью и *самъ* объяснилъ мнѣ:

— Собственно говоря, я не думаю, чтобы княгинѣ те-перь было удобно принять васъ,—ей поданы лошади, и ея сіятельство сейчасъ уѣзжаетъ кататься. Но если вамъ очень нужно...

— Да,—перебилъ я:— мнѣ очень нужно.

— Въ такомъ случаѣ я прошу у васъ минуту тер-пѣнія.

Было ясно, что я имѣю дѣло съ настоящимъ дипло-матомъ и о минутѣ терпѣнія споръ былъ неумѣстенъ.

Мы взаимно другъ другу поклонились.

Швейцаръ пожалъ электрическую пуговку въ столѣ, передъ которымъ помѣщалось его папское кресло съ высокою готическою спинкою, и, приложивъ ухо къ трубкѣ, черезъ секунду объяснилъ мнѣ:

— Княгиня уже сходитъ съ лѣстницы.

Я остался ее ждать.

Черезъ минуту моя знакомая показалась на бѣлыхъ мраморныхъ ступеняхъ, въ сопровожденіи давно мнѣ извѣстной ся пожилой русской горничной Анны Фетисовны, у которой есть роль въ этомъ маленькомъ разсказѣ.

Княгиня встрѣтила меня съ отличающею ее всегдашнею милою привѣтливостью и, сказавъ, что она сейчасъ ѣдетъ сдѣлать свою послѣобѣденную прогулку, пригласила меня прокатиться вмѣстѣ.

Она хотѣла показать мнѣ Пратеръ. Я ничего не имѣлъ противъ этого, и мы поѣхали: я рядомъ съ княгинею на заднемъ сидѣньи, а напротивъ насъ Анна Фетисовна.

Въ противорѣчіе тѣмъ, кто утверждаетъ, что за границею всѣ ѣздятъ гораздо тише, чѣмъ въ Россіи, мы понеслись по вѣнскимъ улицамъ очень шибко. Кони были рѣзвые и горячіе, кучеръ — мастеръ своего дѣла. Вѣнцы въ парной, дышловой упряжи правятъ такъ же красиво и ловко, какъ поляки. Наши кучера такъ ѣздить не умѣютъ. Они очень грузны и сучатъ вожжами,—нѣтъ у нихъ свободнаго движенія въ лентѣ и всей той «элеваціи», которой такъ много въ кракусѣ и въ вѣнцѣ.

Не успѣлъ я оглянуться, какъ мы были уже въ Пратерѣ.

Я не буду дѣлать ни малѣйшей попытки къ тому, чтобы описывать этотъ паркъ, но скажу только то, что необходимо для надлежащаго освѣщенія предстоящей сцены.

Напоминаю, что это было около пяти часовъ вечера и тотчасъ послѣ сильнаго дождя. Свѣжая влажность еще лежала повсюду: тяжелый гравій на дорожкахъ казался коричневымъ: на листьяхъ деревьевъ сверкали чистыя капли.

Было порядочно сыро, и я не знаю: эта ли сырость или нѣсколько ранній часъ были причиною, что всѣ лучшія аллеи парка, по которымъ мы прокатили, были совершенно пусты. Едва-едва мы встрѣтили какого-то садовника въ куртцѣ съ граблями и лопаткой за плечами, и болѣе никого; но моя добрая хозяйка вспомнила, что, кромѣ этой, такъ-сказать, бѣловой части парка, есть еще *черновая*, называемая Kalbs-Prater или «телячій паркъ»—мѣсто гуляныя вѣнской черни.

— Это, говорятъ, будто бы интересно, — сказала княгиня, и тотчасъ же велѣла кучеру ѣхать въ Kalbs-Prater.

Тотъ взялъ влѣво, крикнулъ свой гортанный «ой», щелкнулъ бичомъ, и подъ нами точно стала осѣдать почва, мы куда-то какъ будто спускались, мы падали, какъ будто роняли себя въ низшую сферу.

Ситуація прекрасно гармонировала съ общественностью.

Картина быстро мѣнялась: аллеи становились уже и были менѣе чисто содержаны; на пескѣ и по окраинамъ куртинъ, кое-гдѣ, мелькали обрывки бумажекъ. Зато начали встрѣчаться люди, все пѣшеходы, сначала продавцы извѣстныхъ вѣнскихъ колбасиковъ, потомъ—публика. Нѣкоторые плелись съ дѣтьми. Здѣшняя публика, очевидно, сырости не боялась, а боялась только потерять минуту дорогого времени.

Бѣдный, когда женится, ему ночь коротка, еще кратчо часъ отдыха у такихъ трудолюбивыхъ и бережливыхъ людей, какъ южные нѣмцы, у которыхъ, однако, потребность въ удовольствіи велика почти такъ же, какъ у французовъ.

Навстрѣчу намъ не было никакого движенія,—мы всѣхъ обгоняли. Очевидно, цѣль стремленія у всѣхъ была впереди, она была тамъ, куда и мы поспѣшили и откуда теперь минута отъ минуты слышнѣе стали долетать какіе-то звуки. Странные звуки, точно жужжаніе пчелы между стекломъ и занавѣской. Но вотъ сквозь вершины деревьевъ мелькнулъ высокій фронтонъ большого деревяннаго зданія; коляска опять взяла влѣво и вдругъ остановилась. Мы были на перекресткѣ двухъ дорожекъ. Передъ нами открылась довольно большая лужайка, на которой, по ту сторону, стоялъ большой деревянный домъ въ швейцарскомъ вкусѣ, а передъ нимъ, на травѣ, тянулись длинные столы и за ними сидѣло множество всякаго народа. Передъ каждымъ гостемъ стояла его кружка пива, а на открытой галлереѣ играли четыре музыканта и вѣялись въ пляскѣ венгерецъ съ венгеркой. Вотъ откуда неслись тѣ музыкальные звуки, которые издали напоминали жужжаніе пчелы между стекломъ и занавѣскою. Жужжаніе это слышно и теперь, съ тою разницею, что теперь въ звукахъ уже можно слышать что-то хватающее за какой-то нервъ и разливающееся вокругъ со стономъ, со звономъ, съ подзадоромъ.

— Это танцуютъ *чардашъ:* я вамъ совѣтую обратить на нихъ вниманіе,—проговорила княгиня. — Вы это не часто

встрѣтите: чардашъ никто не сумѣетъ такъ исполнить, какъ венгерцы. Кучеръ, подъѣзжайте ближе.

Кучеръ тронулъ впередъ, но едва лошади переступили два шага, онъ остановилъ ихъ снова.

Мы, конечно, подвинулись, но все-таки стояли еще слишкомъ далеко, чтобы имѣть возможность разсмотрѣть танцоровъ, а потому княгиня еще разъ сказала кучеру подъѣхать ближе. Онъ, однако, казалось, не слыхалъ этого повторенія, но зато, когда княгиня сказала ему то же самое втретьи, кучеръ не только тронулъ вожжи, но звонко хлопнулъ бичомъ и сразу выдвинулъ экипажъ на самую середину лужайки.

Теперь мы все могли видѣть въ подробностяхъ и сами были на виду у всѣхъ. Нѣсколько человѣкъ изъ сидѣвшихъ за столами при щелкѣ бича оглянулись, но сейчасъ же опять обратились къ танцорамъ, и только со ступеней нижней террасы на насъ смотрѣлъ одинъ толстый кельнеръ, но какъ будто ожидалъ какого-то надлежащаго момента, когда между имъ и нами долженъ произойти обмѣнъ соотвѣтствующихъ взаимныхъ сношеній.

Я старался самымъ добросовѣстнымъ образомъ исполнить совѣтъ моей дамы и хотѣлъ глядѣть на чардашъ, не сводя глазъ, но случайное обстоятельство привлекло *мое вниманіе* къ другому.

Едва мы остановились, какъ кучеръ слегка полуоборотился къ экипажу и сказалъ:

— Kaiser!

— Wo ist der Kaiser?

Кучеръ вмѣсто отвѣта повелъ оттопыреннымъ мизинцемъ перчатки въ лѣвую сторону, къ противоположному концу поляны, гдѣ при такомъ же перекресткѣ, какъ тотъ, съ котораго мы выѣхали, теперь виднѣлись двѣ конскія головы свѣтло-буланой, золотистой масти.

Видны были только двѣ эти прекрасныя головы въ наборныхъ уздечкахъ съ бирюзовыми пукальками, а самый экипажъ оставался на такомъ разстояніи, на какомъ сначала хотѣлъ удержать насъ нашъ кучеръ.

«Это, подумалъ я себѣ,—въ самомъ дѣлѣ очень деликатно, но зато онъ оттуда ничего хорошаго не увидитъ, да и на себя не даетъ намъ полюбоваться. А это досадно».

Только не нужно было досадовать: въ эту самую минуту,

глядя по направленію, гдѣ стояли лошади, я безъ всякаго затрудненія увидалъ высокаго, немножко сутуловатаго, но браваго мужчину, въ синей австрійской курткѣ и въ простомъ военномъ кепи.

Это и былъ его апостолическое величество, старшій членъ дома Габсбурговъ, царствующій императоръ Францъ-Іосифъ. Онъ былъ совершенно одинъ и шелъ прямо къ расположеннымъ на лужайкѣ столамъ, за которыми сидѣли вѣнскіе сапожники. Императоръ подошелъ и у перваго стола сѣлъ на скамейку съ краю, рядомъ съ высокимъ работникомъ въ свѣтло-сѣрой блузѣ, а толстый кельнеръ въ ту же самую секунду положилъ передъ нимъ на столъ черный войлочный кружочекъ и поставилъ на него мастерски вспѣненную кружку пива.

Францъ-Іосифъ взялъ кружку въ руки, но не пилъ; пока длился танецъ, онъ все держалъ ее въ рукѣ, а когда чардашъ былъ оконченъ, императоръ молча протянулъ свою кружку къ сосѣду. Тотъ сразу понялъ, что ему надо сдѣлать: онъ чокнулся съ государемъ и сейчасъ же, оборотясь къ другому сосѣду, передачею чокнулся съ нимъ. Съ этимъ вразъ, сколько здѣсь было людей, всѣ встали, всѣ чокнулись другъ съ другомъ и на всю поляну дохнуло общее, дружное «Hoch!» Это «hoch» здѣсь кричатъ не громко и безъ раскатовъ, а такъ, какъ будто хорошо вздохнутъ отъ сердца.

Императоръ осушилъ кружку за единый вздохъ, поклонился и ушелъ.

Буланые кони умчали его назадъ тою же дорогою, по которой, вслѣдъ за нимъ, уѣхали и мы. Но съ нами теперь ѣхала значительная сила произведеннаго этимъ случаемъ впечатлѣнія, и вся она мѣстилась главнымъ образомъ въ Аннѣ Фетисовнѣ. Дѣвушка, къ немалому нашему удивленію, *плакала!..* Она сидѣла передъ нами, закрывъ глаза бѣлымъ носовымъ платкомъ, и прижимала его руками.

— Анна Фетисовна! что съ вами?—отнеслась къ ней съ доброй и ласковой шуткой княгиня.

Та продолжала плакать.

— О чемъ вы плачете?

Анна Фетисовна открыла глаза и проговорила:

— Такъ,—ни о чемъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?

Дѣвушка глубоко вздохнула и отвѣчала:

— Ихняя простота мнѣ трогательна.

Княгиня подмигнула мнѣ и, шутя, сказала:

— Toujours servile! C'est ainsi que l'on arrive aux cieux.

Но шутка какъ-то не бралась за сердце. Волненіе Анны Фетисовны давало иной смыслъ этому пустому случаю.

Мы возвратились въ отель и застали здѣсь еще одного гостя. Это былъ австрійскій баронъ, который собирался въ Россію и учился по-русски. Мы пили чай, а Анна Фетисовна намъ прислуживала. Говорили о многомъ: о Россіи, о петербургскихъ знакомыхъ, о курсѣ нашихъ денегъ, о томъ, кто у насъ всѣхъ лучше проворовался, и, наконецъ, о нашей сегодняшней встрѣчѣ съ Францомъ-Іосифомъ.

Весь разговоръ шелъ по-русски, такъ что Анна Фетисовна должна была все отъ слова до слова слышать.

Княгиня разсказывала мнѣ не совсѣмъ «легальныя» вещи изъ придворныхъ буколикъ и политическихъ рапсодій. Баронъ улыбался.

Всего этого я не имѣю нужды вспоминать, но одно считаю умѣстнымъ замѣтить, что многія черты характера австрійскаго императора собесѣдница моя старалась мнѣ истолковать въ смыслѣ исканія *популярности*.

Этотъ трактатъ о популярности или, вѣрнѣе сказать, о популярничаньи, былъ развитъ съ особою подробностію и съ примѣрами, въ числѣ коихъ опять выпрыгнула сегодняшняя кружка пива. И, —моя вина, если я ошибаюсь,— мнѣ казалось, что это дѣлалось гораздо менѣе для насъ, чѣмъ для Анны Фетисовны, которая во все время то входила, то выходила, подавая что-нибудь нужное своей госпожѣ.

Это былъ какой-то женскій капризъ, который увлекъ мою соотечественницу до того, что она перешла отъ императора къ народу или къ народамъ, къ австрійцамъ и къ намъ. Ей даже нравилось, какъ «вѣнскіе сапожники» держали себя «*съ достоинствомъ*», и затѣмъ она быстро переносилась на родину, къ нашимъ русскимъ людямъ, къ ихъ пирамъ и забавамъ, къ зелену-вину, и опять къ слезамъ и къ разстройству впечатлительной Анны Фетисовны.

Это уже говорилось по-французски, но баронъ все-таки только продолжалъ улыбаться.

— Мы еще спросимъ у моей почтенной Жанны ея мнѣ-

нія,—сказала княгиня и, когда дѣвушка пришла за чашкою, хозяйка сказала:

— Анна Фетисовна, вамъ вѣдь сегодня очень понравился здѣшній король?

— Да-съ, очень понравился,—скоро отвѣчала Анна Фетисовна.

Княгиня шепнула мнѣ: «она злится», и продолжала вслухъ:

— А какъ вы думаете, если бы онъ пріѣхалъ къ намъ въ Москву, подъ качели?

Дѣвушка молчала.

— Вы не хотите съ нами говорить?

— Для чего же ему къ намъ, въ Москву, пріѣзжать?

— Ну, а если бы взялъ да и пріѣхалъ? Какъ вы думаете: присѣлъ ли бы онъ къ нашимъ мужичкамъ?

— Зачѣмъ же ему къ нашимъ присѣдать, когда у него свои есть,—отвѣчала Анна Фетисовна и поспѣшно ушла съ пустою чашкою въ свою комнату.

— Она положительно злится, — сказала по-французски княгиня, и добавила, что Анна Фетисовна пламенная патріотка и страдаетъ страстію къ обобщеніямъ.

Баронъ все улыбался и скоро ушелъ. Я ушелъ часомъ позже.

Когда я простился, Анна Фетисовна, со свѣчою въ рукѣ, пошла проводить меня по незнакомымъ переходамъ отеля до лѣстницы и неожиданно сказала:

— И вы, сударь, согласны съ тѣмъ, что нашей природы всѣ люди безъ достоинства?

— Нѣтъ, говорю,—не согласенъ.

— А зачѣмъ же вы ничего не сказали?

— Не хотѣлъ напрасно спорить.

— Ахъ, нѣтъ, сударь, это бы не напрасно... И еще при чужомъ баронѣ... Для чего всегда о своихъ такъ обидно! Будто намъ что̀ дурное, а не хорошее нравится.

Мнѣ стало ее жалко, да передъ нею и совѣстно.

Заграничное мое странствованіе продолжалось недолго. Осенью я уже былъ въ Петербургѣ и однажды въ одномъ изъ переходовъ гостинаго двора неожиданно встрѣчаю Анну Фетисовну съ корзинкою гаруснаго вязанья.

Поздоровались и я ее спрашиваю о княгинѣ, а Анна Фетисовна отвѣчаетъ:

— Я о княгинѣ, сударь, ничего не знаю — мы съ нею разстались.

— Неужели тамъ, за границею?

— Да, я одна вернулась.

Зная ихъ долголѣтнюю свычку, почти, можно сказать, дружбу, я выразилъ непритворное удивленіе и спросилъ:

— Изъ-за чего же вы разстались?

— Вы эту причину знаете: при васъ было...

— Неужели изъ-за австрійскаго императора?

Анна Фетисовна минуту промолчала, а потомъ вдругъ отрѣзала:

— Что же мнѣ вамъ сказывать: сами видѣли... Онъ очень вѣжливый и въ томъ ему честь, а мнѣ за княгиню больно стало—за ихъ необразованіе.

— Да что же тутъ касалось образованія княгини?

— А то, что *онъ*, король, да умѣлъ какъ сдѣлать, всталъ да сѣлъ со всѣми заровно, а мы, какъ статуи, въ коляскѣ напоказъ выпятились и сидѣли. Всѣ насъ и осмѣяли.

— Я, говорю,—не видалъ, чтобы тамъ надъ нами смѣялись.

— Нѣтъ-съ, не тамъ, а въ гостиницѣ — и швейцаръ, и всѣ люди.

— Что же они вамъ говорили?

— Ничего не говорили, потому что я по-ихнему не понимаю, а я въ глазахъ ихъ видѣла, какъ они не уважаютъ нашу необразованность.

— Ну-съ,—и этого вамъ было довольно, чтобы разстаться съ княгиней!

— Да... что же... чего удивительно, когда Господь точно смѣсилъ намъ языки, и мы не стали ни въ чемъ понимать другъ друга... Нельзя оставаться, когда во всѣхъ нашихъ мысляхъ стало несогласно, я и отпросилась сюда. Не хочу больше служить: живу по своей сѣрой природѣ.

Въ этой «природѣ» чувствовалось настоящее *достоинство*, съ которымъ ей тяжка необразованность.

Княгиня недаромъ называла ее «пламенною патріоткою».

БЕЗСТЫДНИКЪ.

Мы выдержали въ морѣ штормъ на самомъ утломъ суденышкѣ, недостатковъ котораго я, впрочемъ, не понималъ. Ставъ на якорь, въ какіе-нибудь полчаса матросы все привели въ порядокъ, и мы тоже всѣ сами себя упорядочили, пообѣдали, чѣмъ Богъ послалъ, и находились въ нѣсколько праздничномъ настроеніи.

Насъ было немного: командиръ судна, два флотскихъ офицера, штурманъ, да я и старый морякъ Порфирій Никитичъ, съ которымъ мы были взяты на это судно просто ради компаніи, «по знакомству»,—провѣтриться.

На радостяхъ, что бѣда сошла съ рукъ, всѣ мы были словоохотливы и разболтались, а темой для разговора служила, конечно, только-что прошедшая непогода. По поводу ея припоминали разные болѣе серьезные случаи изъ морской жизни, и незамѣтно заговорили о томъ, какое значеніе имѣетъ море на образованіе характера человѣка, вращающагося въ его стихіи. Разумѣется, среди моряковъ море нашло себѣ довольно горячихъ апологетовъ, выходило, что будто море едва ли не панацея отъ всѣхъ золъ, современнаго обмелѣнія чувствъ, мысли и характера.

— Гмъ!—замѣтилъ старикъ Порфирій Никитичъ: — что же? это хорошо; значитъ, все очень легко поправить: стоитъ только всѣхъ, кто на землѣ очень обмелѣлъ духомъ, посадить на корабли, да вывесть на море.

— Ну, вотъ какой вы сдѣлали выводъ!

— А что же такое?

— Да мы такъ не говорили: здѣсь шла рѣчь о томъ, что море воспитываетъ постояннымъ обращеніемъ въ морской жизни, а не то, что взялъ человѣка, всунулъ его въ морской мундиръ, такъ онъ сейчасъ и перемѣнится. Разумѣется, это, что вы выдумали,—невозможно.

— Позвольте, позвольте,—перебилъ Порфирій Никитичъ:— во-первыхъ, это совсѣмъ не я выдумалъ, а это сказалъ одинъ историческій мудрецъ.

— Ну, къ чорту этихъ классиковъ!

— Во-первыхъ, мой историческій мудрецъ былъ вовсе не классическій, а русскій и состоялъ на государственной службѣ по провіантской части; а во-вторыхъ, все то, что имъ было на этотъ счетъ сказано, въ свое время было публично признано за достовѣрную и несомнѣнную истину въ очень большой и почтенной компаніи. И я, какъ добрый патріотъ, хочу за это стоять, потому что все это относится къ многосторонности и талантливости русскаго человѣка.

— Нельзя ли разсказать, что это за историческое свидѣтельство?

— Извольте.

Прибывъ вскорѣ послѣ Крымской войны въ Петербургъ, я разъ очутился у Степана Александровича Хрулева, гдѣ встрѣтилъ очень большое и пестрое собраніе: были военные разнаго оружія и между ними нѣсколько нашихъ черноморцевъ, которые познакомились со Степаномъ Александровичемъ въ севастопольскихъ траншеяхъ. Встрѣча съ товарищами была для меня, разумѣется, очень пріятна и мы, моряки, засѣли за особый столикъ: бесѣдуемъ себѣ и мочимъ губы въ хересѣ. А занятія на хрулевскихъ вечерахъ были такія, что тамъ всѣ по преимуществу въ карты играли и притомъ «по здоровой», «и приписывали и отписывали они мѣломъ и такъ занимались дѣломъ». Храбрый покойничекъ, не тѣмъ онъ будь помянутъ, любилъ сильныя ощущенія, да это ему о ту пору было и необходимо. Ну, а мы, моряки, безъ картъ обходились, а завели дискурсъ и, какъ сейчасъ помню, о чемъ у насъ была рѣчь: о книгѣ, которая тогда вышла, подъ заглавіемъ «Изнанка Крымской войны». Она въ свое время большого шума надѣлала,

и всѣ мы ея тогда только-что поначитались и были ею сильно взволнованы. Оно и понятно: книга трактовала о злоупотребленіяхъ, бывшихъ причиною большинства нашихъ недавнихъ страданій, которыя у всѣхъ участвовавшихъ въ севастопольской оборонѣ тогда были въ самой свѣжей памяти: все шевелило самыя живыя раны. Главнымъ образомъ книга обличала воровство и казнокрадство тѣхъ комиссаріатщиковъ и провіантщиковъ, благодаря которымъ намъ не разъ доводилось и голодать, и холодать, и сохнуть, и мокнуть.

Естественное дѣло, что печатное обличеніе этихъ гадостей у каждаго изъ насъ возбудило свои собственныя воспоминанія и подняло давно накипѣвшую желчь: ну, мы, разумѣется, и пошли ругаться. Занятіе самое компанское: сидимъ себѣ, да оныхъ своихъ благодѣтелей изъ подлеца въ подлеца переваливаемъ. А тутъ мой сосѣдъ, тоже нашъ черноморскій, капитанъ Евграфъ Ивановичъ (необыкновенно этакій деликатный былъ человѣкъ, самаго еще добраго морского закала), львенокъ нахимовскій, а доброты преестественной и немножко заика, ловитъ меня подъ столомъ рукою за колѣно и весь ежится...

— Что такое, думаю:—чего ему хочется?

— Извините, говорю,—мой добрѣйшій. Если вамъ что-нибудь нужно по секрету—кликните слугу: я здѣсь тоже гость и всѣхъ выходовъ не знаю. А онъ заикнулся и опять за свое. А я вѣдь по глупости своей пылокъ, гдѣ не надо, да и разгорячен былъ всѣми этими воспоминаніями-то, и притомъ же я еще чертовски щекотливъ, а Евграфъ Ивановичъ меня этакъ какъ-то не смѣло, щекотно, пальцами за колѣно забираетъ, совершенно будто теленокъ мягкими губами жеваться хочетъ.

— Да перестаньте же, говорю,—Евграфъ Ивановичъ, что вы это еще выдумали? Я вѣдь не дама, чтобы меня подъ столомъ за колѣно хватать,—можете мнѣ ваши чувства при всѣхъ открыть. А Евграфъ Ивановичъ, милота безцѣнная,—еще больше сконфузился и шепчетъ:

— Бе-е-е-зстыд-д-никъ, говоритъ,—вы, Порфирій Никитичъ.

— Не знаю, говорю, — мнѣ кажется, что вы больше безстыдникъ. Съ вами, того и гляди, попадешь еще въ

подозрѣніе въ принадлежности къ какой-нибудь вредной сектѣ.

— Ка-а-а-къ вамъ... ра-а-звѣ можно, можно та-а-къ про интендантовъ съ комиссіонерами гово-орить?

— А вамъ, спрашиваю,—что за дѣло за нихъ заступаться?

— Я-а-а за нихъ не за-а-а-ступа-а-юсь,—еще тише шепчетъ Евграфъ Ивановичъ,—а развѣ вы не видите, кто тутъ за два шага за вашей спиной сидитъ?

— Кто тамъ такой у меня за спиной сидитъ?—я не виноватъ: у меня за спиной глазъ нѣтъ.

А самъ за этимъ оборачиваюсь и вижу: сзади меня за столикомъ сидитъ въ провіантскомъ мундирѣ этакая огромная туша—совершенно какъ Гоголь сказалъ,—свинья въ ермолкѣ. Сидитъ и рѣжется, подлецъ, по огромному кушу и съ самымъ этакимъ возмутительнымъ для нашего брата-голяка спокойствіемъ: «дескать намъ что проиграть, что выиграть—все равно: мы вѣдь это только для своего удовольствія, потому у насъ житница уготована: пей, ѣшь и веселись!» Ну, словомъ сказать, все нутро въ бѣдномъ человѣкѣ поднимаетъ!

— Ишь ты, говорю, — птица какая! Какъ же это я раньше его не замѣтилъ! И, знаете, завидѣвъ врага воочію-то, чортъ знаетъ, какимъ духомъ занялся, и вмѣсто того, чтобы замолчать, еще громче заговорилъ въ прежнемъ же родѣ, да началъ нарочно, какъ умѣлъ, посолонѣе пересаливать.

— Разбойники, говорю, — кровопійцы эти ненасытныя, интендантскія утробы! Въ то самое время, какъ мы, бѣдные офицеры и солдаты, кровь свою, можно сказать, какъ бурачный квасъ изъ втулки въ крымскую грязь цѣдили,— а они насъ же обкрадывали, свои плутовскіе карманы набивали, дома себѣ строили, да имѣнья покупали!

Евграфъ Ивановичъ такъ и захлебывается шопотомъ:

— Не-е-рестаньте!

А я говорю:

— Чего перестать? Развѣ это неправда, что мы съ голоду мерли; тухлую солонину да капусту по ихъ милости жрали; да соломой вмѣсто корпій раны перевязывали, а они хересъ да дрей-мадеры распивали?

И все, знаете, въ этомъ родѣ на ихъ счетъ разъѣзжаю. Собесѣдники мои, видя, что я въ такомъ азартѣ, уже меня не трогаютъ, а только, кои повеселѣе, посмѣиваются да ноготками объ рюмки съ хересомъ пощелкиваютъ, а милота моя, застѣнчивый человѣкъ, Евграфъ Ивановичъ, весь стыдомъ за меня проникся,—набралъ со стола полную горсть карточныхъ двоекъ, растопырилъ ихъ въ обѣихъ рукахъ вѣеромъ, весь ими закрылся и шепчетъ:

— Ахъ, Порфирій Никитичъ, ахъ, без-з-зстыд-д-дникъ какой, что-о-о онъ разсказываетъ! Въ ва-съ со-о-страданія нѣтъ...

Меня эта краснодѣвственность его еще больше взорвала.

— Вотъ такъ, думаю,—у насъ всегда, у русскихъ: правый, съ чистой совѣстью, сидитъ да краснѣетъ, а нахалъ прожженый, какъ вороватый кухонный котъ-васька, знай уписываетъ, что̀ стянулъ, и ухомъ не ведетъ.

И съ этимъ оглянулся назадъ, гдѣ за столомъ сидѣлъ раздражавшій меня провіантщикъ, и вижу, что онъ и точно ухомъ не ведетъ. Чтобы онъ не слыхалъ этого моего широковѣщанія насчетъ всей его почтенной корпораціи,—этого и быть не могло; но сидитъ себѣ, какъ сидѣлъ, куритъ большую благовонную регалію да козыряетъ. И, какъ все у человѣка очень много зависитъ отъ настроенія, то ужъ мнѣ кажется, что и козыряетъ-то, или, просто сказать, картами ходитъ онъ какъ-то особенно противно: такъ это, знаете, какъ-то ихъ словно отъ себя, и пальцемъ не шевеля, пошвыриваетъ: «дескать, на̀, вамъ, сволочи,—мнѣ все это наплевать». Еще онъ мнѣ этимъ сталъ отвратительнѣе черезъ то, что какъ будто онъ же надо мною своимъ спокойствіемъ нѣкотораго верха бралъ: я надрываюсь, задираю, гавкаю на него, какъ шавка на слона, а онъ и ухомъ не хлопнетъ. Я и полѣзъ еще далѣе.

— Ну, такъ врешь же, думаю,—волкъ тебя ѣшь! Ты у меня повернешься; я, братъ, человѣкъ русскій, и церемониться не стану; пріятенъ или непріятенъ буду хозяину, а ужъ я тебя жигану. И жигануль: все, что̀ зналъ о немъ лично, все въ нехитромъ иносказаніи и пустилъ.

— Мы, говорю,—честные русскіе люди, которыхъ никто не смѣетъ воровствомъ укорить, мы израненные, искалѣченные послѣ войны еще и мѣста себѣ нигдѣ добиться не можемъ, намъ и женъ прокормить не на что, а этимъ прото-

канальямъ, какъ они по части хапусъ гевезенъ отличатся, все такъ и садитъ: и въ мирное время имъ есть мѣсто на службѣ и даже есть мѣсто въ обществѣ, и жены у нихъ въ шелку да въ бархатѣ, а фаворитки еще того авантажнѣе...

Шумѣлъ я, шумѣлъ, болталъ, болталъ и уморился... Уже у меня и словъ, и голосу стало недоставать, а онъ все-таки ничего. Просто весь преферансъ на его сторонѣ: даже Евграфъ Ивановичъ это замѣтилъ и начинаетъ надо мной подтрунивать.

— А что-о-о? шепчетъ, — что-о-о вы, ба-ба-ба-тенька, своимъ безстыдствомъ взяли?

— Что, отвѣчаю,—вы еще тутъ со своимъ «ба-ба-ба-тенька», —уже сидите лучше смирно.

А самъ, знаете, откровенно сказать, дѣйствительно чувствую себя сконфуженнымъ. Но все это были-съ еще цвѣточки, а ягодки ждали меня впереди.

Игра передъ ужиномъ кончилась и за столомъ стали разсчитываться; провіантщикъ былъ въ огромнѣйшемъ выигрышѣ и вытащилъ изъ кармана престрашенный толстый бумажникъ, полнешенекъ сотенными, и еще къ нимъ приложилъ десятка два выигрышныхъ, и все это опять съ тѣмъ же невозмутимымъ, но возмутительнымъ спокойствіемъ въ карманъ спряталъ.

Ну, тутъ и всѣ встали и начали похаживать. Въ это время подходитъ къ нашему столу хозяинъ и говоритъ:

— А вы что, господа, все, кажется, бездѣльничали да злословили?

— А вамъ, говорю,—развѣ слышно было?

— Ну, еще бы, говоритъ,—не слышно: ваша милость точно на кораблѣ орали.

— Ну, вы, прошу,—Степанъ Александровичъ, пожалуйста, меня простите.

— Что же вамъ прощать; Богъ васъ проститъ.

— Не выдержалъ, говорю,—не стерпѣлъ.

— Да вѣдь развѣ утерпишь?

— Увидалъ, говорю,—все внутри и задвигалось, и хотя чувствовалъ, что противъ васъ неловко поступаю...

— А противъ меня-то что же вы такое сдѣлали?

И все, знасте, въ этомъ родѣ на ихъ счетъ разъѣзжаю. Собесѣдники мои, видя, что я въ такомъ азартѣ, уже меня не трогаютъ, а только, кои повеселѣе, посмѣиваются да ноготками объ рюмки съ хересомъ пощелкиваютъ, а милота моя, застѣнчивый человѣкъ, Евграфъ Ивановичъ, весь стыдомъ за меня проникся,—набралъ со стола полную горсть карточныхъ двоекъ, растопырилъ ихъ въ обѣихъ рукахъ вѣеромъ, весь ими закрылся и шепчетъ:

— Ахъ, Порфирій Никитичъ, ахъ, без-з-зстыд-д-дникъ какой, что-о-о онъ разсказываетъ! Въ ва-съ со-о-страданія нѣтъ...

Меня эта краснодѣвственность его еще больше взорвала.

— Вотъ такъ, думаю,—у насъ всегда, у русскихъ: правый, съ чистой совѣстью, сидитъ да краснѣетъ, а нахалъ прожженый, какъ вороватый кухонный котъ-васька, знай уписываетъ, что̀ стянулъ, и ухомъ не ведетъ.

И съ этимъ оглянулся назадъ, гдѣ за столомъ сидѣлъ раздражавшій меня провіантщикъ, и вижу, что онъ и точно ухомъ не ведетъ. Чтобы онъ не слыхалъ этого моего широковѣщанія насчетъ всей его почтенной корпораціи,—этого и быть не могло; но сидитъ себѣ, какъ сидѣлъ, куритъ большую благовонную регалію да козыряетъ. И, какъ все у человѣка очень много зависитъ отъ настроенія, то ужъ мнѣ кажется, что и козыряетъ-то, или, просто сказать, картами ходитъ онъ какъ-то особенно противно: такъ это, знаете, какъ-то ихъ словно отъ себя, и пальцемъ не шевеля, пошвыриваетъ: «дескать, на̀, вамъ, сволочи,—мнѣ все это наплевать». Еще онъ мнѣ этимъ сталъ отвратительнѣе черезъ то, что какъ будто онъ же надо мною своимъ спокойствіемъ нѣкотораго верха бралъ: я надрываюсь, задираю, гавкаю на него, какъ шавка на слона, а онъ и ухомъ не хлопнетъ. Я и полѣзъ еще далѣе.

— Ну, такъ врешь же, думаю,—волкъ тебя ѣшь! Ты у меня повернешься; я, братъ, человѣкъ русскій, и церемониться не стану; пріятенъ или непріятенъ буду хозяину, а ужъ я тебя жигану. И жигануль: все, что̀ зналъ о немъ лично, все въ нехитромъ иносказаніи и пустилъ.

— Мы, говорю,—честные русскіе люди, которыхъ никто не смѣетъ воровствомъ укорить, мы израненные, искалѣченные послѣ войны еще и мѣста себѣ нигдѣ добиться не можемъ, намъ и женъ прокормить не на что, а этимъ прото-

канальямъ, какъ они по части хаптусъ гевезенъ отличатся, все такъ и садитъ: и въ мирное время имъ есть мѣсто на службѣ и даже есть мѣсто въ обществѣ, и жены у нихъ въ шелку да въ бархатѣ, а фаворитки еще того авантажнѣе...

Шумѣлъ я, шумѣлъ, болталъ, болталъ и уморился... Уже у меня и словъ, и голосу стало недоставать, а онъ все-таки ничего. Просто весь преферансъ на его сторонѣ: даже Евграфъ Ивановичъ это замѣтилъ и начинаетъ надо мной подтрунивать.

— А что-о-о? шепчетъ,—что-о-о вы, ба-ба-ба-тенька, своимъ безстыдствомъ взяли?

— Что, отвѣчаю,—вы еще тутъ со своимъ «ба-ба-ба-тенька», — уже сидите лучше смирно.

А самъ, знаете, откровенно сказать, дѣйствительно чувствую себя сконфуженнымъ. Но все это были-съ еще цвѣточки, а ягодки ждали меня впереди.

Игра передъ ужиномъ кончилась и за столомъ стали разсчитываться; провіантщикъ былъ въ огромнѣйшемъ выигрышѣ и вытащилъ изъ кармана престрашенный толстый бумажникъ, полнешенекъ сотенными, и еще къ нимъ приложилъ десятка два выигрышныхъ, и все это опять съ тѣмъ же невозмутимымъ, но возмутительнымъ спокойствіемъ въ карманъ спряталъ.

Ну, тутъ и всѣ встали и начали похаживать. Въ это время подходитъ къ нашему столу хозяинъ и говоритъ:

— А вы что, господа, все, кажется, бездѣльничали да злословили?

— А вамъ, говорю,—развѣ слышно было?

— Ну, еще бы, говоритъ,—не слышно: ваша милость точно на кораблѣ орали.

— Ну, вы, прошу,—Степанъ Александровичъ, пожалуйста, меня простите.

— Что же вамъ прощать; Богъ васъ проститъ.

— Не выдержалъ, говорю,—не стерпѣлъ.

— Да вѣдь развѣ утерпишь?

— Увидалъ, говорю,—все внутри и задвигалось, и хотя чувствовалъ, что противъ васъ неловко поступаю...

— А противъ меня-то что же вы такое сдѣлали?

Тотъ взялъ влѣво, крикнулъ свой гортанный «ой», щелкнулъ бичомъ, и подъ нами точно стала осѣдать почва, мы куда-то какъ будто спускались, мы падали, какъ будто роняли себя въ низшую сферу.

Ситуація прекрасно гармонировала съ общественностью.

Картина быстро мѣнялась: аллеи становились уже и были менѣе чисто содержаны; на пескѣ и по окраинамъ куртинъ, кое-гдѣ, мелькали обрывки бумажекъ. Зато начали встрѣчаться люди, все пѣшеходы, сначала продавцы извѣстныхъ вѣнскихъ колбасиковъ, потомъ—публика. Нѣкоторые плелись съ дѣтьми. Здѣшняя публика, очевидно, сырости не боялась, а боялась только потерять минуту дорогого времени.

Бѣдный, когда женится, ему ночь коротка, еще кратчо часъ отдыха у такихъ трудолюбивыхъ и бережливыхъ людей, какъ южные нѣмцы, у которыхъ, однако, потребность въ удовольствіи велика почти такъ же, какъ у французовъ.

Навстрѣчу намъ не было никакого движенія,—мы всѣхъ обгоняли. Очевидно, цѣль стремленія у всѣхъ была впереди, она была тамъ, куда и мы поспѣшили и откуда теперь минута отъ минуты слышнѣе стали долетать какіе-то звуки. Странные звуки, точно жужжаніе пчелы между стекломъ и занавѣской. Но вотъ сквозь вершины деревьевъ мелькнулъ высокій фронтонъ большого деревяннаго зданія; коляска опять взяла влѣво и вдругъ остановилась. Мы были на перекресткѣ двухъ дорожекъ. Передъ нами открылась довольно большая лужайка, на которой, по ту сторону, стоялъ большой деревянный домъ въ швейцарскомъ вкусѣ, а передъ нимъ, на травѣ, тянулись длинные столы и за ними сидѣло множество всякаго народа. Передъ каждымъ гостемъ стояла его кружка пива, а на открытой галлереѣ играли четыре музыканта и вѣялись въ пляскѣ венгерецъ съ венгеркой. Вотъ откуда неслись тѣ музыкальные звуки, которые издали напоминали жужжаніе пчелы между стекломъ и занавѣскою. Жужжаніе это слышно и теперь, съ тою разницею, что теперь въ звукахъ уже можно слышать что-то хватающее за какой-то нервъ и разливающееся вокругъ со стономъ, со звономъ, съ подзадоромъ.

— Это танцуютъ *чардашъ:* я вамъ совѣтую обратить на нихъ вниманіе, — проговорила княгиня. — Вы это не часто

встрѣтите: чардашъ никто не сумѣетъ такъ исполнить, какъ венгерцы. Кучеръ, подъѣзжайте ближе.

Кучеръ тронулъ впередъ, но едва лошади переступили два шага, онъ остановилъ ихъ снова.

Мы, конечно, подвинулись, но все-таки стояли еще слишкомъ далеко, чтобы имѣть возможность разсмотрѣть танцоровъ, а потому княгиня еще разъ сказала кучеру подъѣхать ближе. Онъ, однако, казалось, не слыхалъ этого повторенія, но зато, когда княгиня сказала ему то же самое втретьи, кучеръ не только тронулъ вожжи, но звонко хлопнулъ бичомъ и сразу выдвинулъ экипажъ на самую середину лужайки.

Теперь мы все могли видѣть въ подробностяхъ и сами были на виду у всѣхъ. Нѣсколько человѣкъ изъ сидѣвшихъ за столами при щелкѣ бича оглянулись, но сейчасъ же опять обратились къ танцорамъ, и только со ступеней нижней террасы на насъ смотрѣлъ одинъ толстый кельнеръ, но какъ будто ожидалъ какого-то надлежащаго момента, когда между имъ и нами долженъ произойти обмѣнъ соотвѣтствующихъ взаимныхъ сношеній.

Я старался самымъ добросовѣстнымъ образомъ исполнить совѣтъ моей дамы и хотѣлъ глядѣть на чардашъ, не сводя глазъ, но случайное обстоятельство привлекло *мое вниманіе* къ другому.

Едва мы остановились, какъ кучеръ слегка полуоборотился къ экипажу и сказалъ:

— Kaiser!

— Wo ist der Kaiser?

Кучеръ вмѣсто отвѣта повелъ оттопыреннымъ мизинцемъ перчатки въ лѣвую сторону, къ противоположному концу поляны, гдѣ при такомъ же перекресткѣ, какъ тотъ, съ котораго мы выѣхали, теперь виднѣлись двѣ конскія головы свѣтло-буланой, золотистой масти.

Видны были только двѣ эти прекрасныя головы въ наборныхъ уздечкахъ съ бирюзовыми пукальками, а самый экипажъ оставался на такомъ разстояніи, на какомъ сначала хотѣлъ удержать насъ нашъ кучеръ.

«Это, подумалъ я себѣ,—въ самомъ дѣлѣ очень деликатно, но зато онъ оттуда ничего хорошаго не увидитъ, да и на себя не даетъ намъ полюбоваться. А это досадно».

Только не нужно было досадовать: въ эту самую минуту,

глядя по направленію, гдѣ стояли лошади, я безъ всякаго затрудненія увидалъ высокаго, немножко сутуловатаго, но браваго мужчину, въ синей австрійской курткѣ и въ простомъ военномъ кепи.

Это и былъ его апостолическое величество, старшій членъ дома Габсбурговъ, царствующій императоръ Францъ-Іосифъ. Онъ былъ совершенно одинъ и шелъ прямо къ расположеннымъ на лужайкѣ столамъ, за которыми сидѣли вѣнскіе сапожники. Императоръ подошелъ и у перваго стола сѣлъ на скамейку съ краю, рядомъ съ высокимъ работникомъ въ свѣтло-сѣрой блузѣ, а толстый кельнеръ въ ту же самую секунду положилъ передъ нимъ на столъ черный войлочный кружочекъ и поставилъ на него мастерски вспѣненную кружку пива.

Францъ-Іосифъ взялъ кружку въ руки, но не пилъ; пока длился танецъ, онъ все держалъ ее въ рукѣ, а когда чардашъ былъ оконченъ, императоръ молча протянулъ свою кружку къ сосѣду. Тотъ сразу понялъ, что ему надо сдѣлать: онъ чокнулся съ государемъ и сейчасъ же, оборотясь къ другому сосѣду, передачею чокнулся съ нимъ. Съ этимъ вразъ, сколько здѣсь было людей, всѣ встали, всѣ чокнулись другъ съ другомъ и на всю поляну дохнуло общее, дружное «Hoch!» Это «hoch» здѣсь кричатъ не громко и безъ раскатовъ, а такъ, какъ будто хорошо вздохнутъ отъ сердца.

Императоръ осушилъ кружку за единый вздохъ, поклонился и ушелъ.

Буланые кони умчали его назадъ тою же дорогою, по которой, вслѣдъ за нимъ, уѣхали и мы. Но съ нами теперь ѣхала значительная сила произведеннаго этимъ случаемъ впечатлѣнія, и вся она мѣстилась главнымъ образомъ въ Аннѣ Фетисовнѣ. Дѣвушка, къ немалому нашему удивленію, *плакала!..* Она сидѣла передъ нами, закрывъ глаза бѣлымъ носовымъ платкомъ, и прижимала его руками.

— Анна Фетисовна! что съ вами?—отнеслась къ ней съ доброй и ласковой шуткой княгиня.

Та продолжала плакать.

— О чемъ вы плачете?

Анна Фетисовна открыла глаза и проговорила:

— Такъ,—ни о чемъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?

Дѣвушка глубоко вздохнула и отвѣчала:

— Ихняя простота мнѣ трогательна.

Княгиня подмигнула мнѣ и, шутя, сказала:

— Toujours servile! C'est ainsi que l'on arrive aux cieux.

Но шутка какъ-то не бралась за сердце. Волненіе Анны Фетисовны давало иной смыслъ этому пустому случаю.

Мы возвратились въ отель и застали здѣсь еще одного гостя. Это былъ австрійскій баронъ, который собирался въ Россію и учился по-русски. Мы пили чай, а Анна Фетисовна намъ прислуживала. Говорили о многомъ: о Россіи, о петербургскихъ знакомыхъ, о курсѣ нашихъ денегъ, о томъ, кто у насъ всѣхъ лучше проворовался, и, наконецъ, о нашей сегодняшней встрѣчѣ съ Францомъ-Іосифомъ.

Весь разговоръ шелъ по-русски, такъ что Анна Фетисовна должна была все отъ слова до слова слышать.

Княгиня разсказывала мнѣ не совсѣмъ «легальныя» вещи изъ придворныхъ буколикъ и политическихъ рапсодій. Баронъ улыбался.

Всего этого я не имѣю нужды вспоминать, но одно считаю умѣстнымъ замѣтить, что многія черты характера австрійскаго императора собесѣдница моя старалась мнѣ истолковать въ смыслѣ исканія *популярности*.

Этотъ трактатъ о популярности или, вѣрнѣе сказать, о популярничаньи, былъ развитъ съ особою подробностію и съ примѣрами, въ числѣ коихъ опять выпрыгнула сегодняшняя кружка пива. И, —моя вина, если я ошибаюсь,— мнѣ казалось, что это дѣлалось гораздо менѣе для насъ, чѣмъ для Анны Фетисовны, которая во все время то входила, то выходила, подавая что-нибудь нужное своей госпожѣ.

Это былъ какой-то женскій капризъ, который увлекъ мою соотечественницу до того, что она перешла отъ императора къ народу или къ народамъ, къ австрійцамъ и къ намъ. Ей даже нравилось, какъ «вѣнскіе сапожники» держали себя «*съ достоинствомъ*», и затѣмъ она быстро переносилась на родину, къ нашимъ русскимъ людямъ, къ ихъ пирамъ и забавамъ, къ зелену-вину, и опять къ слезамъ и къ разстройству впечатлительной Анны Фетисовны.

Это уже говорилось по-французски, но баронъ все-таки только продолжалъ улыбаться.

— Мы еще спросимъ у моей почтенной Жанны ея мнѣ-

нія,—сказала княгиня и, когда дѣвушка пришла за чашкою, хозяйка сказала:

— Анна Фетисовна, вамъ вѣдь сегодня очень понравился здѣшній король?

— Да-съ, очень понравился,—скоро отвѣчала Анна Фетисовна.

Княгиня шепнула мнѣ: «она злится», и продолжала вслухъ:

— А какъ вы думаете, если бы онъ пріѣхалъ къ намъ въ Москву, подъ качели?

Дѣвушка молчала.

— Вы не хотите съ нами говорить?

— Для чего же ему къ намъ, въ Москву, пріѣзжать?

— Ну, а если бы взялъ да и пріѣхалъ? Какъ вы думаете: присѣлъ ли бы онъ къ нашимъ мужичкамъ?

— Зачѣмъ же ему къ нашимъ присѣдать, когда у него свои есть,—отвѣчала Анна Фетисовна и поспѣшно ушла съ пустою чашкою въ свою комнату.

— Она положительно злится, — сказала по-французски княгиня, и добавила, что Анна Фетисовна пламенная патріотка и страдаетъ страстію къ обобщеніямъ.

Баронъ все улыбался и скоро ушелъ. Я ушелъ часомъ позже.

Когда я простился, Анна Фетисовна, со свѣчою въ рукѣ, пошла проводить меня по незнакомымъ переходамъ отеля до лѣстницы и неожиданно сказала:

— И вы, сударь, согласны съ тѣмъ, что нашей природы всѣ люди безъ достоинства?

— Нѣтъ, говорю,—не согласенъ.

— А зачѣмъ же вы ничего не сказали?

— Не хотѣлъ напрасно спорить.

— Ахъ, нѣтъ, сударь, это бы не напрасно... И еще при чужомъ баронѣ... Для чего всегда о своихъ такъ обидно! Будто намъ что̀ дурное, а не хорошее нравится.

Мнѣ стало ее жалко, да передъ нею и совѣстно.

Заграничное мое странствованіе продолжалось недолго. Осенью я уже былъ въ Петербургѣ и однажды въ одномъ изъ переходовъ гостинаго двора неожиданно встрѣчаю Анну Фетисовну съ корзинкою гарусная вязанья.

Поздоровались и я ее спрашиваю о княгинѣ, а Анна Фетисовна отвѣчаетъ:

— Я о княгинѣ, сударь, ничего не знаю — мы съ нею разстались.

— Неужели тамъ, за границею?

— Да, я одна вернулась.

Зная ихъ долголѣтнюю свычку, почти, можно сказать, дружбу, я выразилъ непритворное удивленіе и спросилъ:

— Изъ-за чего же вы разстались?

— Вы эту причину знаете: при васъ было...

— Неужели изъ-за австрійскаго императора?

Анна Фетисовна минуту промолчала, а потомъ вдругъ отрѣзала:

— Что же мнѣ вамъ сказывать: сами видѣли... Онъ очень вѣжливый и въ томъ ему честь, а мнѣ за княгиню больно стало—за ихъ необразованіе.

— Да что же тутъ касалось образованія княгини?

— А то, что *онъ*, король, да умѣлъ какъ сдѣлать, всталъ да сѣлъ со всѣми заровно, а мы, какъ статуи, въ коляскѣ напоказъ выпятились и сидѣли. Всѣ насъ и осмѣяли.

— Я, говорю,—не видалъ, чтобы тамъ надъ нами смѣялись.

— Нѣтъ-съ, не тамъ, а въ гостиницѣ — и швейцаръ, и всѣ люди.

— Что же они вамъ говорили?

— Ничего не говорили, потому что я по-ихнему не понимаю, а я въ глазахъ ихъ видѣла, какъ они не уважаютъ нашу необразованность.

— Ну-съ,—и этого вамъ было довольно, чтобы разстаться съ княгиней!

— Да... что же... чего удивительно, когда Господь точно смѣсилъ намъ языки, и мы не стали ни въ чемъ понимать другъ друга... Нельзя оставаться, когда во всѣхъ нашихъ мысляхъ стало несогласно, я и отпросилась сюда. Не хочу больше служить: живу по своей сѣрой природѣ.

Въ этой «природѣ» чувствовалось настоящее *достоинство*, съ которымъ ей тяжка необразованность.

Княгиня недаромъ называла ее «пламенною патріоткою».

БЕЗСТЫДНИКЪ.

Мы выдержали въ морѣ штормъ на самомъ утломъ суденышкѣ, недостатковъ котораго я, впрочемъ, не понималъ. Ставъ на якорь, въ какіе-нибудь полчаса матросы все привели въ порядокъ, и мы тоже всѣ сами себя упорядочили, пообѣдали, чѣмъ Богъ послалъ, и находились въ нѣсколько праздничномъ настроеніи.

Насъ было немного: командиръ судна, два флотскихъ офицера, штурманъ, да я и старый морякъ Порфирій Никитичъ, съ которымъ мы были взяты на это судно просто ради компаніи, «по знакомству»,—провѣтриться.

На радостяхъ, что бѣда сошла съ рукъ, всѣ мы были словоохотливы и разболтались, а темой для разговора служила, конечно, только-что прошедшая непогода. По поводу ея припоминали разные болѣе серьезные случаи изъ морской жизни, и незамѣтно заговорили о томъ, какое значеніе имѣетъ море на образованіе характера человѣка, вращающагося въ его стихіи. Разумѣется, среди моряковъ море нашло себѣ довольно горячихъ апологетовъ, выходило, что будто море едва ли не панацея отъ всѣхъ золъ, современнаго обмелѣнія чувствъ, мысли и характера.

— Гмъ!—замѣтилъ старикъ Порфирій Никитичъ: — что же? это хорошо; значитъ, все очень легко поправить: стоитъ только всѣхъ, кто на землѣ очень обмелѣлъ духомъ, посадить на корабли, да вывесть на море.

— Ну, вотъ какой вы сдѣлали выводъ!

— А что же такое?

— Да мы такъ не говорили: здѣсь шла рѣчь о томъ, что море воспитываетъ постояннымъ обращеніемъ въ морской жизни, а не то, что взялъ человѣка, всунулъ его въ морской мундиръ, такъ онъ сейчасъ и перемѣнится. Разумѣется, это, что вы выдумали,—невозможно.

— Позвольте, позвольте,—перебилъ Порфирій Никитичъ:— во-первыхъ, это совсѣмъ не я выдумалъ, а это сказалъ одинъ историческій мудрецъ.

— Ну, къ чорту этихъ классиковъ!

— Во-первыхъ, мой историческій мудрецъ былъ вовсе не классическій, а русскій и состоялъ на государственной службѣ по провіантской части; а во-вторыхъ, все то, что имъ было на этотъ счетъ сказано, въ свое время было публично признано за достовѣрную и несомнѣнную истину въ очень большой и почтенной компаніи. И я, какъ добрый патріотъ, хочу за это стоять, потому что все это относится къ многосторонности и талантливости русскаго человѣка.

— Нельзя ли разсказать, что это за историческое свидѣтельство?

— Извольте.

Прибывъ вскорѣ послѣ Крымской войны въ Петербургъ, я разъ очутился у Степана Александровича Хрулева, гдѣ встрѣтилъ очень большое и пестрое собраніе: были военные разнаго оружія и между ними нѣсколько нашихъ черноморцевъ, которые познакомились со Степаномъ Александровичемъ въ севастопольскихъ траншеяхъ. Встрѣча съ товарищами была для меня, разумѣется, очень пріятна и мы, моряки, засѣли за особый столикъ: бесѣдуемъ себѣ и мочимъ губы въ хересѣ. А занятія на хрулевскихъ вечерахъ были такія, что тамъ всѣ по преимуществу въ карты играли и притомъ «по здоровой», «и приписывали и отписывали они мѣломъ и такъ занимались дѣломъ». Храбрый покойничекъ, не тѣмъ онъ будь помянутъ, любилъ сильныя ощущенія, да это ему о ту пору было и необходимо. Ну, а мы, моряки, безъ картъ обходились, а завели дискурсъ и, какъ сейчасъ помню, о чемъ у насъ была рѣчь: о книгѣ, которая тогда вышла, подъ заглавіемъ «Изнанка Крымской войны». Она въ свое время большого шума надѣлала

и всѣ мы ея тогда только-что поначитались и были ею сильно взволнованы. Оно и понятно: книга трактовала о злоупотребленіяхъ, бывшихъ причиною большинства нашихъ недавнихъ страданій, которыя у всѣхъ участвовавшихъ въ севастопольской оборонѣ тогда были въ самой свѣжей памяти: все шевелило самыя живыя раны. Главнымъ образомъ книга обличала воровство и казнокрадство тѣхъ комиссаріатщиковъ и провіантщиковъ, благодаря которымъ намъ не разъ доводилось и голодать, и холодать, и сохнуть, и мокнуть.

Естественное дѣло, что печатное обличеніе этихъ гадостей у каждаго изъ насъ возбудило свои собственныя воспоминанія и подняло давно накипѣвшую желчь: ну, мы, разумѣется, и пошли ругаться. Занятіе самое компанское: сидимъ себѣ, да оныхъ своихъ благодѣтелей изъ подлеца въ подлеца переваливаемъ. А тутъ мой сосѣдъ, тоже нашъ черноморскій, капитанъ Евграфъ Ивановичъ (необыкновенно этакій деликатный былъ человѣкъ, самаго еще добраго морского закала), львенокъ нахимовскій, а доброты преестественной и немножко заика, ловитъ меня подъ столомъ рукою за колѣно и весь ежится...

— Что такое, думаю:—чего ему хочется?

— Извините, говорю,—мой добрѣйшій. Если вамъ что-нибудь нужно по секрету—кликните слугу: я здѣсь тоже гость и всѣхъ выходовъ не знаю. А онъ заикнулся и опять за свое. А я вѣдь по глупости своей пылокъ, гдѣ не надо, да и разгорячень былъ всѣми этими воспоминаніями-то, и притомъ же я еще чертовски щекотливъ, а Евграфъ Ивановичъ меня этакъ какъ-то не смѣло, щекотно, пальцами за колѣно забираетъ, совершенно будто теленокъ мягкими губами жеваться хочетъ.

— Да перестаньте же, говорю,—Евграфъ Ивановичъ, что вы это еще выдумали? Я вѣдь не дама, чтобы меня подъ столомъ за колѣно хватать,—можете мнѣ ваши чувства при всѣхъ открыть. А Евграфъ Ивановичъ, милота безцѣнная,—еще больше сконфузился и шепчетъ:

— Бе-с-с-зстыд-д-никъ, говоритъ,—вы, Порфирій Никитичъ.

— Не знаю, говорю, — мнѣ кажется, что вы больше безстыдникъ. Съ вами, того и гляди, попадешь еще въ

подозрѣніе въ принадлежности къ какой-нибудь вредной сектѣ.

— Ка-а-а-къ вамъ... ра-а-звѣ можно, можно та-а-къ про интендантовъ съ комиссіонерами гово-орить?

— А вамъ, спрашиваю,—что̀ за дѣло за нихъ заступаться?

— Я-а-а за нихъ не за-а-а-ступа-а-юсь,—еще тише шепчетъ Евграфъ Ивановичъ,—а развѣ вы не видите, кто тутъ за два шага за вашей спиной сидитъ?

— Кто тамъ такой у меня за спиной сидитъ?—я не виноватъ: у меня за спиной глазъ нѣтъ.

А самъ за этимъ оборачиваюсь и вижу: сзади меня за столикомъ сидитъ въ провіантскомъ мундирѣ этакая огромная туша—совершенно какъ Гоголь сказалъ,—свинья въ ермолкѣ. Сидитъ и рѣкется, подлецъ, по огромному кушу и съ самымъ этакимъ возмутительнымъ для нашего брата-голяка спокойствіемъ: «дескать намъ что проиграть, что выиграть—все равно: мы вѣдь это только для своего удовольствія, потому у насъ житница уготована: пей, ѣшь и веселись!» Ну, словомъ сказать, все нутро въ бѣдномъ человѣкѣ поднимаетъ!

— Ишь ты, говорю, — птица какая! Какъ же это я раньше его не замѣтилъ! И, знаете, завидѣвъ врага воочію-то, чортъ знаетъ, какимъ духомъ занялся, и вмѣсто того, чтобы замолчать, еще громче заговорилъ въ прежнемъ же родѣ, да началъ нарочно, какъ умѣлъ, посолонѣе пересаливать.

— Разбойники, говорю, — кровопійцы эти ненасытныя, интендантскія утробы! Въ то самое время, какъ мы, бѣдные офицеры и солдаты, кровь свою, можно сказать, какъ бурачный квасъ изъ втулки въ крымскую грязь цѣдили,—а они насъ же обкрадывали, свои плутовскіе карманы набивали, дома себѣ строили, да имѣнья покупали!

Евграфъ Ивановичъ такъ и захлебывается шопотомъ:

— Пе-е-рестаньте!

А я говорю:

— Чего перестать? Развѣ это неправда, что мы съ голоду мерли; тухлую солонину да капусту по ихъ милости жрали; да соломой вмѣсто корпій раны перевязывали, а они хересъ да дрей-мадеры распивали?

И все, знаете, въ этомъ родѣ на ихъ счетъ разъѣзжаю. Собесѣдники мои, видя, что я въ такомъ азартѣ, уже меня не трогаютъ, а только, кои повеселѣе, посмѣиваются да ноготками объ рюмки съ хересомъ пощелкиваютъ, а милота моя, застѣнчивый человѣкъ, Евграфъ Ивановичъ, весь стыдомъ за меня проникся,—набралъ со стола полную горсть карточныхъ двоекъ, растопырилъ ихъ въ обѣихъ рукахъ вѣеромъ, весь ими закрылся и шепчетъ:

— Ахъ, Порфирій Никитичъ, ахъ, без-з-зстыд-д-дникъ какой, что-о-о онъ разсказываетъ! Въ ва-съ со-о-страданія нѣтъ...

Меня эта краснодѣвственность его еще больше взорвала.

— Вотъ такъ, думаю,—у насъ всегда, у русскихъ: правый, съ чистой совѣстью, сидитъ да краснѣетъ, а нахалъ прожженый, какъ вороватый кухонный котъ-васька, знай уписываетъ, что̀ стянулъ, и ухомъ не ведетъ.

И съ этимъ оглянулся назадъ, гдѣ за столомъ сидѣлъ раздражавшій меня провіантщикъ, и вижу, что онъ и точно ухомъ не ведетъ. Чтобы онъ не слыхалъ этого моего широковѣщанія насчетъ всей его почтенной корпораціи,—этого и быть не могло; но сидитъ себѣ, какъ сидѣлъ, куритъ большую благовонную регалію да козыряетъ. И, какъ все у человѣка очень много зависитъ отъ настроенія, то ужъ мнѣ кажется, что и козыряетъ-то, или, просто сказать, картами ходитъ онъ какъ-то особенно противно: такъ это, знаете, какъ-то ихъ словно отъ себя, и пальцемъ не шевеля, пошвыриваетъ: «дескать, на̀, вамъ, сволочи,—мнѣ все это наплевать». Еще онъ мнѣ этимъ сталъ отвратительнѣе черезъ то, что какъ будто онъ же надо мною своимъ спокойствіемъ нѣкотораго верха браль: я надрываюсь, задираю, гавкаю на него, какъ шавка на слона, а онъ и ухомъ не хлопнетъ. Я и полѣзъ еще далѣе.

— Ну, такъ врешь же, думаю,—волкъ тебя ѣшь! Ты у меня повернешься; я, братъ, человѣкъ русскій, и церемониться не стану; пріятенъ или непріятенъ буду хозяину, а ужъ я тебя жигану. И жигануль: все, что̀ зналъ о немъ лично, все въ нехитромъ иносказаніи и пустилъ.

— Мы, говорю,—честные русскіе люди, которыхъ никто не смѣетъ воровствомъ укорить, мы израненные, искалѣченные послѣ войны еще и мѣста себѣ нигдѣ добиться не можемъ, намъ и женъ прокормить не на что, а этимъ прото-

канальямъ, какъ они по части хаптусъ гевезенъ отличатся, все такъ и садитъ: и въ мирное время имъ есть мѣсто на службѣ и даже есть мѣсто въ обществѣ, и жены у нихъ въ шелку да въ бархатѣ, а фаворитки еще того авантажнѣе...

Шумѣлъ я, шумѣлъ, болталъ, болталъ и уморился... Уже у меня и словъ, и голосу стало недоставать, а онъ все-таки ничего. Просто весь преферансъ на его сторонѣ: даже Евграфъ Ивановичъ это замѣтилъ и начинаетъ надо мной подтрунивать.

— А что-о-о? шепчетъ,—что-о-о вы, ба-ба-ба-тенька, своимъ безстыдствомъ взяли?

— Что, отвѣчаю,—вы еще тутъ со своимъ «ба-ба-ба-тенька», —уже сидите лучше смирно.

А самъ, знаете, откровенно сказать, дѣйствительно чувствую себя сконфуженнымъ. Но все это были-съ еще цвѣточки, а ягодки ждали меня впереди.

Игра передъ ужиномъ кончилась и за столомъ стали разсчитываться; провіантщикъ былъ въ огромнѣйшемъ выигрышѣ и вытащилъ изъ кармана престрашенный толстый бумажникъ, полнешенекъ сотенными, и еще къ нимъ приложилъ десятка два выигрышныхъ, и все это опять съ тѣмъ же невозмутимымъ, но возмутительнымъ спокойствіемъ въ карманъ спряталъ.

Ну, тутъ и всѣ встали и начали похаживать. Въ это время подходитъ къ нашему столу хозяинъ и говоритъ:

— А вы что, господа, все, кажется, бездѣльничали да злословили?

— А вамъ, говорю,—развѣ слышно было?

— Ну, еще бы, говоритъ,—не слышно: ваша милость точно на кораблѣ орали.

— Ну, вы, прошу,—Степанъ Александровичъ, пожалуйста, меня простите.

— Что же вамъ прощать; Богъ васъ проститъ.

— Не выдержалъ, говорю,—не стерпѣлъ.

— Да вѣдь развѣ утерпишь?

— Увидалъ, говорю,—все внутри и задвигалось, и хотя чувствовалъ, что противъ васъ неловко поступаю...

— А противъ меня-то что же вы такое сдѣлали?

— Да вѣдь онъ вашъ гость...

— Ахъ, это-то... Ну, батюшка, что мнѣ до этого; мало ли кто ко мнѣ ходитъ: учрежденъ ковчегъ, и лѣзетъ всякой твари по парѣ, а нечистыхъ паръ и по семи. Да и притомъ этотъ Анемподистъ Петровичъ человѣкъ очень умный, онъ на такіе пустяки не обидится.

— Не обидится?—спрашиваю съ удивленіемъ.

— Конечно, не обидится.

— Значитъ, онъ мѣдный лобъ?

— Ну, вотъ ужъ и мѣдный лобъ! Напротивъ, онъ человѣкъ довольно чувствительный; но уменъ и имѣетъ очень широкій взглядъ на вещи; а, къ тому же, ему это, небось, вѣдь и не первоучина: онъ, можетъ-быть, и битъ бывалъ; а что ругать, такъ ихъ брата теперь вездѣ ругаютъ.

— А они всюду ходятъ?

— Да отчего же не ходить, если пускаютъ и еще зовутъ?

Меня зло взяло уже на самого хозяина.

— Вотъ то-то у насъ, говорю, ваше превосходительство, и худо, что у насъ дрянныхъ людей вездѣ ругаютъ и всюду принимаютъ. Это еще Грибоѣдовъ замѣтилъ, да и до сихъ поръ это все такъ продолжается.

— Да и впередъ продолжаться будетъ, потому что иначе и не можетъ быть.

— Полноте, говорю я съ неподдѣльной грустью,—отчего же это, напримѣръ, въ Англіи... (которою всѣ мы тогда бредили подъ вліяніемъ катковскаго «Русскаго Вѣстника»).

Но чуть я только упомянулъ объ Англіи, Степанъ Александровичъ окинулъ меня своимъ тяжелымъ взглядомъ и перебилъ:

— Что это вы катковскаго туману намъ напустить хотите? Англія намъ не примѣръ.

— Отчего, развѣ тамъ ангелы живутъ, а не люди?

— Люди-то тоже люди, да у нихъ другіе порядки.

— Я, говорю,—политики не касаюсь.

— И я ея не касаюсь: мы вѣдь, слава Богу, русскіе дворяне, а не англицкіе лорды, чтобы намъ обременять свои благородныя головы политикою! А что въ Англіи можетъ быть честныхъ или по крайней мѣрѣ порядочныхъ людей побольше, чѣмъ у насъ, такъ это ваша правда. Тутъ и

удивляться нечего. Тамъ честнымъ человѣкомъ быть выгодно, а подлецомъ невыгодно,—ну, вотъ они тамъ при такихъ порядкахъ и развелись. Тамъ вѣдь еще малое дитя воспитываютъ, говорятъ ему: «будь джентльменъ» и толкуютъ ему, что̀ это такое значитъ; а у насъ твердятъ: «отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ». Ну, дитя смышлено: оно и смекаетъ, что̀ ему дѣлать. Вотъ оно такъ и идетъ. Надо все это представлять себѣ благоразумно, съ точки зрѣнія выгоды, а не по-вашему, какъ у васъ тамъ на морѣ,—все идеальничаютъ. Зато вы никуда и негодны.

— Это, говорю,—почему мы никуда негодны?

— Да, такъ, негодны: не къ масти, да и баста: подика я сунься куда-нибудь, напримѣръ, васъ на службу теперь рекомендовать съ такой рѣчью: «что вотъ, молъ, черноморскій офицеръ и честнѣйшій человѣкъ: ни самъ не своруетъ, ни другому не дастъ своровать, а за правду шумъ и крикъ подниметъ»,— я и васъ не опредѣлю, да и себя скомпрометирую: меня за васъ дуракомъ назовутъ. Скажутъ: «хорошъ вашъ молодецъ, да намъ такого ненадобѣ, намъ похуже надобѣ»,—и я за васъ никуда просить и не пойду, а вотъ за него-то, за этого барина (хозяинъ кивнулъ на стоящаго у закуски провіантщика), за него я куда вамъ угодно полѣзу, потому что при нашихъ порядкахъ это люди ходкіе и всякій за нихъ можетъ быть увѣренъ въ успѣхѣ.

— Что же это развѣ, говорю,— такъ и должно быть?

— А разумѣется, такъ должно быть, потому что онъ человѣкъ очень ловкій и на все податливый, а это всякому интересно и всякій смекаетъ, на что̀ онъ ему можетъ пригодиться; а вы на что кому нужны? Вы съ правдою-то съ своею со всѣми перессоритесь, а потому вашего брата только и остается, что съ берега опять за хвостъ, да назадъ на корабль перекинуть, чтобы вы тутъ на сушѣ не пылились.

— Замѣтьте это себѣ, господа,—подчеркнулъ Порфирій Никитичъ,— вѣдь это я вамъ не вру, не сочиненіе для забавы вашей сочиняю, а передаю вамъ слова человѣка историческаго, которыя непремѣнно должны имѣть свое историческое значеніе, хотя если не въ учебной исторіи,

то, по крайней мѣрѣ, въ устныхъ преданіяхъ нашей морской семьи. Такъ, господа, смотрѣли тогда на насъ, какъ на людей вокругъ себя чистыхъ и... этакъ, знаете, всесовершенно чистыхъ... Ну, да все это въ скобкахъ; а я обращаюсь опять къ своей исторіи на закускѣ у Хрулева.

— Такъ-то, благодѣтель мой,—похлопавъ меня по плечу, дружески заключилъ Степанъ Александровичъ,—вѣкъ идеаловъ прошелъ. Нынче даже кто и совсѣмъ по-латыни не знаетъ и тотъ говоритъ suum cuique,—пойдемте-ка лучше закусывать, а то вотъ на этотъ счетъ Анемподистъ Петровичъ ужъ настоящая свинья: онъ, пожалуй, одинъ всю семгу слопаетъ, а семушка хорошая: я самъ у Смурова на Морской съ пробы взялъ. Кстати я васъ съ нимъ тутъ у закуски и познакомлю.

— Съ кѣмъ это?

— Съ Анемподистомъ Петровичемъ.

— Нѣтъ, покорно васъ благодарю-съ.

— Что же? Неужели не желаете?

— Отнюдь не желаю.

— Жаль: большого ума человѣкъ, почти, можно сказать, государственнаго и, въ то же время, знаете, чисто русскій человѣкъ: далеко вглубь видитъ и далеко пойдетъ.

— Ну, Богъ съ нимъ.

— Да, разумѣется, а только человѣкъ пріятный и поучительный.

— Еще чего, думаю, — въ немъ отыскалъ: даже и поучительности! Тьфу!

Мы подошли къ закусочному столу и вмѣшались въ толпу, въ которой ораторствовалъ учительный Анемподистъ Петровичъ. Онъ занималъ центръ. Я сталъ прислушиваться, что̀ такое вѣщаетъ этотъ «учитель».

Онъ, однако, сначала все говорилъ просто насчетъ семги; но, дѣйствительно, говорилъ очень основательно и съ большимъ знаніемъ предмета. Мнѣ все это казалось свойствомъ, которое каждому порядочному человѣку можетъ внушить омерзѣніе.

Онъ и сосалъ, и чмокалъ, и языкомъ по нёбу сластилъ, и губами причавкивалъ, и все это, чтобы тоньше развѣдать и вѣрнѣе оцѣнить эту семгу. Смакуетъ ее, а самъ сквозь зубы, какъ гоголевскій Пѣтухъ, разсказываетъ:

— М... н... н... да... недурна... очень недурна, можно даже сказать хороша...

Кто-то замѣчаетъ:

— Даже очень хороша.

— М... н... да... пожалуй... м... н... ничего... мягкотѣла...

— Просто что твое масло.

— М... да... маслянista...

— Ишь вы какъ скупо хвалите-то,—замѣчаетъ опять какой-то полковникъ со шрамомъ черезъ весь лобъ и переносье,—а намъ послѣ крымской гнили-то все хорошо кажется,—тамъ вѣдь ничего этого нельзя было достать.

— М... н... ну... отчего же... нѣтъ, мы и тамъ м... н... тоже получали...

— Зато, я думаю, какою цѣною!

— М... н... да, разумѣется... обходилось... но въ довольномъ количествѣ... доставали для себя... Черезъ Кіевъ... отъ купца Покровскаго выписывали... хорошая была семга, такъ и называли «провіантская»... Свѣтлѣйшему къ столу... м... н... тоже онъ доставлялъ... Покровскій... Только та, разумѣется, была похуже, потому что ему эту цѣну не смѣли ставить, ну, а наши... ничего — платили.

Полковникъ со шрамомъ даже вздохнулъ.

— У васъ денегъ много было, говоритъ, — и вы не знали, куда ихъ дѣвать.

— Да, иные, точно, терялись отъ непривычки... м... п... одинъ, я помню, у насъ... мн... слыхалъ про «штофные карманы» и велѣлъ портному, чтобы тотъ ему штофные карманы поставилъ, и вышла глупость... портной ему изъ штофной матеріи и сдѣладъ... Очень смѣялись.

— А это въ чемъ же дѣло было?

— Чтобы объемомъ штофъ вмѣщался... м... н... потому у насъ... м... п... бумажники были... м... такіе большіе...

— Ахъ ты, думаю, рожа этакая богопротивная! И еще этакъ безсовѣстно обо всемъ разсказываетъ.

А онъ продолжаетъ про какого-то ихняго же провіантщика, или комиссарщика, который въ эту ужасную пору, среди всеобщихъ страданій и военной нужды, еще хуже потерялся, — «вдругъ, говоритъ, совсѣмъ со вкуса сбился, чортъ знаетъ, что лопать началъ».

— Ахъ, думаю,—отлично. Всѣмъ бы вамъ этакъ сбиться и «чортъ знаетъ, что лопать»; но это «чортъ знаетъ, что» вышло совсѣмъ неожиданное.

— Всегда квасъ, говоритъ, — любилъ и одинъ квасъ и употреблялъ. Изъ послѣдовательныхъ людей былъ — семинарскаго воспитанія... Его отецъ былъ протопопъ и извѣстный проповѣдникъ, и такой завѣтъ ему завѣщалъ, что если есть средства на вино, то пить пиво, есть на пиво — пить квасъ, а есть на квасъ—пить воду. Онъ все и пилъ квасъ, и другого не хотѣлъ, но только во время военныхъ дѣйствій сталъ шампанское въ свой квасъ лить...

— Какъ же это?

— Такъ... м... н... Пополамъ тростилъ: полстакана квасу нальетъ и полстакана шампанскаго... вмѣстѣ смѣшаетъ и пьетъ.

— Экая свинья! — прошепталъ я, но такъ неосторожно, что Анемподистъ Петровичъ это услышалъ и, взглянувъ въ мою сторону, отозвался:

— Да, ничего себѣ, хамламе порядочный; но, однако, я вамъ долженъ сказать, что шампанское съ квасомъ это совсѣмъ не такъ дурно, какъ вы думаете... У насъ это, у провіантскихъ, въ военное время даже въ моду... вошло... М... н... очень многіе изъ нашихъ даже до сихъ поръ продолжаютъ... привыкли... Иностранцы не могутъ... пробовали ихъ для шутки поить, такъ они... того... выплевывали... не могутъ.

Я хоть не иностранецъ, но плюнулъ и хотѣлъ отойти, но въ эту самую минуту этотъ превосходный Анемподистъ Петровичъ вдругъ самымъ непосредственнымъ образомъ оборотился ко мнѣ и говоритъ:

— А вотъ, извините меня, сдѣлайте милость, я вамъ тоже, если позволите, хотѣлъ сдѣлать маленькое возраженіе насчетъ русской природы.

Не знаю ужъ, право, съ чего, но я, вмѣсто того, чтобы ему оторвать какую-нибудь грубость, отвѣтилъ:

— Сдѣлайте милость, скажите.

— Я, говоритъ,— вкратцѣ—всего только два слова скажу: вы о русскихъ очень неправо и обидно судите.

Я такъ и подскочилъ на мѣстѣ.

— Какъ! Я обидно сужу?

— Да. Я, вотъ, въ карты игралъ, а урывками долго слушалъ, о чемъ вы изволили разсуждать съ товарищами, и мнѣ за всѣхъ своихъ соотечественниковъ очень стало обидно. Повѣрьте, напрасно вы этакъ русскихъ унижаете.

— Кто? Я, говорю,—унижаю?

— А, разумѣется, унижаете: какъ же вы... я долго слушалъ... изволите дѣлить русскихъ людей на двѣ половины: одни, будто, все честные люди и герои, а другіе все воры и мошенники.

— А—а... такъ вотъ что, говорю,—вамъ обидно!

— Нѣтъ-съ, мнѣ за самого себя ровно ничего не обидно, потому что у меня есть свое отцовское, дворянское наставленіе, чтобы ничего непріятнаго никогда на свой счетъ не принимать; а мнѣ за другихъ, за всѣхъ русскихъ людей эта несправедливость обидна. Наши русскіе люди, мнѣ кажется, всѣ *безъ исключенія* ко всякимъ добродѣтелямъ способны. Вы изволите говорить, что когда вы, т. е. вообще строевые воины, свою кровь въ крымскую грязь проливали, такъ мы, провіантщики, въ это время крали да грабили,— это справедливо.

— Да,—отвѣчаю съ задоромъ,—я утверждаю, что это справедливо; и теперь, когда вы объ этомъ подломъ квасѣ съ шампанскимъ разсказали, такъ я еще болѣе убѣждаюсь, какъ я правъ былъ въ томъ, что̀ сказалъ.

— Ну, мы про квасъ съ шампанскимъ оставимъ, — это дѣло вкуса, какъ кому нравится. Король Фридрихъ ассафетиду въ кушаньѣ употреблялъ, но я въ томъ еще большой подлости не вижу. А вотъ насчетъ вашего раздѣла нашихъ русскихъ людей на двѣ такія несходности я не согласенъ. По-моему, знаете, такъ цѣлую половину націи обижать не слѣдуетъ: всѣ мы отъ одного ребра и однимъ мvромъ мазаны.

— Ну, это, говорю,—вы извините: мы хоть и всѣ однимъ мvромъ мазаны, да не всѣ воры.

Онъ будто немножко не разслышалъ и переспрашиваетъ:

— Что такое?

А я ему твердо въ упоръ повторяю:

— Мы не воры.

— Я это знаю-съ. Гдѣ же вамъ воровать? Вамъ и на-

— Ахъ, думаю,—отлично. Всѣмъ бы вамъ этакъ сбиться и «чортъ знаетъ, что лопать»; но это «чортъ знаетъ, что» вышло совсѣмъ неожиданное.

— Всегда квасъ, говоритъ, — любилъ и одинъ квасъ и употреблялъ. Изъ послѣдовательныхъ людей былъ — семинарскаго воспитанія... Его отецъ былъ протопопъ и извѣстный проповѣдникъ, и такой завѣтъ ему завѣщалъ, что если есть средства на вино, то пить пиво, есть на пиво — пить квасъ, а есть на квасъ—пить воду. Онъ все и пилъ квасъ, и другого не хотѣлъ, но только во время военныхъ дѣйствій сталъ шампанское въ свой квасъ лить...

— Какъ же это?

— Такъ... м... н... Пополамъ тростилъ: полстакана квасу нальетъ и полстакана шампанскаго... вмѣстѣ смѣшаетъ и пьетъ.

— Экая свинья! — прошепталъ я, но такъ неосторожно, что Анемподистъ Петровичъ это услышалъ и, взглянувъ въ мою сторону, отозвался:

— Да, ничего себѣ, хамламе порядочный; но, однако, я вамъ долженъ сказать, что шампанское съ квасомъ это совсѣмъ не такъ дурно, какъ вы думаете... У насъ это, у провіантскихъ, въ военное время даже въ моду... вошло... М... н... очень многіе изъ нашихъ даже до сихъ поръ продолжаютъ... привыкли... Иностранцы не могутъ... пробовали ихъ для шутки поить, такъ они... того... выплевывали... не могутъ.

Я хоть не иностранецъ, но плюнулъ и хотѣлъ отойти, но въ эту самую минуту этотъ превосходный Анемподистъ Петровичъ вдругъ самымъ непосредственнымъ образомъ оборотился ко мнѣ и говоритъ:

— А вотъ, извините меня, сдѣлайте милость, я вамъ тоже, если позволите, хотѣлъ сдѣлать маленькое возраженіе насчетъ русской природы.

Не знаю ужъ, право, съ чего, но я, вмѣсто того, чтобы ему оторвать какую-нибудь грубость, отвѣтилъ:

— Сдѣлайте милость, скажите.

— Я, говоритъ,—вкратцѣ—всего только два слова скажу: вы о русскихъ очень неправо и обидно судите.

Я такъ и подскочилъ на мѣстѣ.

— Какъ! Я обидно сужу?

— Да. Я, вотъ, въ карты игралъ, а урывками долго слушалъ, о чемъ вы изволили разсуждать съ товарищами, и мнѣ за всѣхъ своихъ соотечественниковъ очень стало обидно. Повѣрьте, напрасно вы этакъ русскихъ унижаете.

— Кто? Я, говорю,—унижаю?

— А, разумѣется, унижаете: какъ же вы... я долго слушалъ... изволите дѣлить русскихъ людей на двѣ половины: одни, будто, все честные люди и герои, а другіе все воры и мошенники.

— А—а... такъ вотъ что, говорю,—вамъ обидно!

— Нѣтъ-съ, мнѣ за самого себя ровно ничего не обидно, потому что у меня есть свое отцовское, дворянское наставленіе, чтобы ничего непріятнаго никогда на свой счетъ не принимать; а мнѣ за другихъ, за всѣхъ русскихъ людей эта несправедливость обидна. Наши русскіе люди, мнѣ кажется, всѣ *безъ исключенія* ко всякимъ добродѣтелямъ способны. Вы изволите говорить, что когда вы, т. е. вообще строевые воины, свою кровь въ крымскую грязь проливали, такъ мы, провіантщики, въ это время крали да грабили,— это справедливо.

— Да,—отвѣчаю съ задоромъ,—я утверждаю, что это справедливо; и теперь, когда вы объ этомъ подломъ квасѣ съ шампанскимъ разсказали, такъ я еще болѣе убѣждаюсь, какъ я правъ былъ въ томъ, что̀ сказалъ.

— Ну, мы про квасъ съ шампанскимъ оставимъ, — это дѣло вкуса, какъ кому нравится. Король Фридрихъ ассафетиду въ кушаньѣ употреблялъ, но я въ томъ еще большой подлости не вижу. А вотъ насчетъ вашего раздѣла нашихъ русскихъ людей на двѣ такія несходности я не согласенъ. По-моему, знаете, такъ цѣлую половину націи обижать не слѣдуетъ: всѣ мы отъ одного ребра и однимъ мvромъ мазаны.

— Ну, это, говорю,—вы извините: мы хоть и всѣ однимъ мvромъ мазаны, да не всѣ воры.

Онъ будто немножко не разслышалъ и переспрашиваетъ:

— Что такое?

А я ему твердо въ упоръ повторяю:

— Мы не воры.

— Я это знаю-съ. Гдѣ же вамъ воровать? Вамъ и на-

учиться красть-то до сихъ поръ было невозможно. У васъ еще покойный Лазаревъ честность завелъ, ну она покуда и держится; а что впереди—про то Богъ вѣсть...

— Нѣтъ, это всегда такъ будетъ!

— Почему?

— Потому, что у насъ служатъ честные люди.

— Честные люди! Но я это и не оспариваю. Очень честные, только нельзя же такъ утверждать, что будто одни ваши честны, а другіе безчестны. Пустяки! Я за нихъ заступаюсь!.. *Я за всѣхъ русскихъ стою!..* Да-съ! Повѣрьте, что не вы одни можете только голодать, сражаться и геройски умирать; а мы будто какъ отъ купели крещенія только воровать и способны. Пустяки-съ! Несправедливо-съ! Всѣ люди русскіе и всѣ на долю свою имѣемъ отъ своей богатой натуры на все сообразную способность. Мы русскіе какъ кошки: куда насъ ни брось — вездѣ мордой въ грязь не ударимся, а прямо на лапки станемъ; гдѣ что умѣстно, такъ себя тамъ и покажемъ: умирать — такъ умирать, а красть—такъ красть. Васъ поставили къ тому, чтобы сражаться, и вы это исполнили въ лучшемъ видѣ—вы сражались и умирали героями, и на всю Европу отличились; а мы были при такомъ дѣлѣ, гдѣ можно было красть, и мы тоже отличились и такъ крали, что тоже далеко извѣстны. А если бы вышло, напримѣръ, такое повелѣніе, чтобы всѣхъ насъ переставить одного на мѣсто другого, насъ, напримѣръ, въ траншеи, а васъ къ поставкамъ, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...

Такъ и выпалилъ!

Я было совсѣмъ приготовился ему отрѣзать:

— Какой вы скотина!

Но всѣ пришли въ ужасный восторгъ отъ его откровенности и закричали:

— Браво, браво, Анемподистъ Петровичъ! Безстыдно, но хорошо сказано, — и пошли веселымъ смѣхомъ заливаться, точно не вѣсть какую радость онъ имъ на ихъ счетъ открылъ; даже Евграфъ Ивановичъ и тотъ пустилъ:

— Пра-пра-пра-вда!

А тотъ, мѣдный лобъ, набилъ наново ротъ семгой, и еще началъ мнѣ читать нравоученіе.

— Разумѣется, говоритъ, — если вы раньше всѣ несо-

образности высказали только по своей неопытности, такъ Богъ вамъ это проститъ, но впередъ этакъ съ людьми своей націи не поступайте; зачѣмъ однихъ хвалить, а другихъ порочить; мы положительно всѣ на все способны, и Господь благословитъ, вы еще не умрете прежде, чѣмъ сами въ этомъ убѣдитесь.

Такъ я же виноватъ и остался, и я же еще получилъ отъ этого практическаго мудреца внушеніе, да и при всеобщемъ со всѣхъ сторонъ одобреніи. Ну, понятно, я послѣ такого урока осѣлся со своей прытью и... откровенно вамъ скажу, нынче часто объ этихъ безстыжихъ рѣчахъ вспоминаю и нахожу, что безстыдникъ-то — чего добраго, — пожалуй, былъ и правъ.

Оглавленіе

XVI ТОМА.

стр.

Старые годы въ селѣ Плодомасовѣ:

Очеркъ первый. Бояринъ Никита Юрьевичъ 3

Очеркъ второй. Боярыня Марѳа Андревна 30

Очеркъ третій. Плодомасовскіе карлики 61

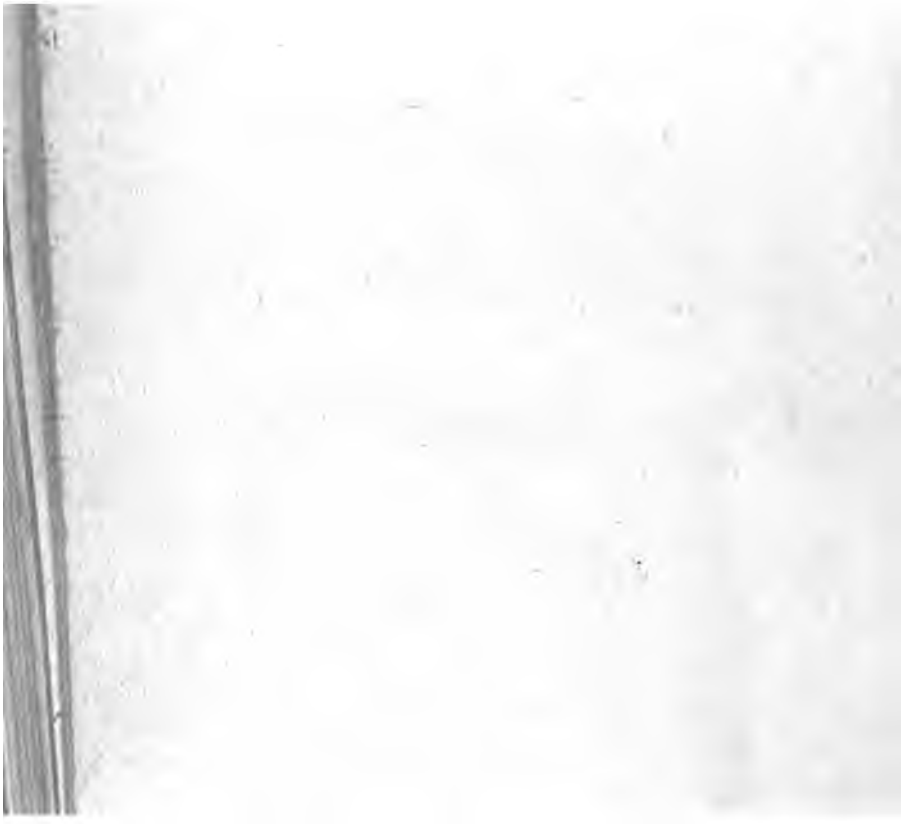
Котинъ доилецъ и Платонида 86

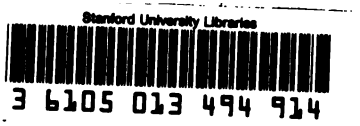
Тупейный художникъ. Разсказъ на могилѣ. 126

Томленіе духа. Изъ отроческихъ воспоминаній. 148

Пламенная патріотка 157

Безстыдникъ 166





L711
ed.3a
V.13-16

DOC JAN 29 1990 MAY 10 1987

DEC 12 [illegible]

FEB 16 1978

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.